



ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

Яков Бутович ЛОШАДИ МОЕЙ ДУШИ



ЯКОВ БУТОВИЧ
Лошади
моей души

воспоминания коннозаводчика

ЯКОВ БУТОВИЧ
ЛОШАДИ МОЕЙ ДУШИ



ЯКОВ БУТОВИЧ

Лошади
моей души

*Воспоминания
коннозаводчика*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«КНИЖНЫЙ МИР»
ПЕРМЬ
2008

УДК 636.1
ББК 46.11
Б 93

Инициативная группа, готовившая книгу к публикации,
выражает благодарность за помощь в издании
Всероссийскому научно-исследовательскому институту
коневодства РСХА им. К. А. Тимирязева, Музею коневодства,
Тульскому областному краеведческому музею,
Тульской областной универсальной научной библиотеке,
Тульскому областному архиву,
Государственному музею Л. Н. Толстого (г. Москва),
Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького,
а также Г. А. Рождественской, доктору сельскохозяйственных
наук, научному сотруднику ВНИИ коневодства,
писателю Е. Н. Гусярову
и предпринимателям К. Н. Мельникову, Е. С. Поповой.

© 2008, А. А. Соколов, публикатор; послесловие
© 2008, Е. Н. Гусяров, предисловие
© 2008, С. П. Можеева, оформление

ISBN 978-5-903861-02-6

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

У воспоминаний знаменитого коннозаводчика Я. И. Бутовича трудная судьба – более семидесяти лет они ждали публикации. Верил ли сам автор, что его труд, часть которого написана в тюрьме, выйдет в свет? Как ни странно, верил – в рукописи встречаются прямые обращения к читателю и будущему редактору. Наверное, это можно объяснить тем, что Яков Иванович был человеком одной идеи, одного дела и даже в мыслях он не мог допустить, что дело это погибнет.

Чудом сохраненные стопы тетрадей превратились в книгу, чтобы открыть потомкам уникальный пласт культуры и истории страны.

Первый том воспоминаний Я. И. Бутовича вышел в Перми в 2003 году. Тогда мы не были уверены, хотя и надеялись, что нам удастся издать продолжение этих мемуаров. Книга называлась «Мои Полканы и Лебедей»: именно эти две линии – Полканов и Лебедей – Бутович считал главными в орловской породе лошадей. Рукопись печаталась с некоторыми сокращениями (выпущенные при публикации размышления автора о генеалогии, скрещивании и родословных лошадей важны сегодня лишь специалистам, а нам хотелось сделать книгу интересной широкому кругу читателей).

В первом томе повествование было доведено до 1912 года.

Книга нашла своего читателя, она оказалась нужна и востребована. Поэтому сегодня выходит в свет второй том «Воспоминаний» Я. И. Бутовича. В нем завершается рассказ о дореволюционном времени, начатый в первом томе. Вторую часть мы озаглавили «Лошади моей души» – это слова Бутовича. В этот том вошли также записи, сделанные автором в тульской тюрьме в 1928 году. Они не являются продолжением собственно воспоминаний. Это скорее дневник и рабочие записи по коннозаводству.

Очерки же истории Прилепского завода и отечественного коннозаводства в революционное время и в первое десятилетие советской власти будут опубликованы в третьем, и последнем, томе нашего издания.

Мы предпочли публиковать текст Бутовича в том порядке, в каком датированы тетради рукописи. Нужно объяснить читателю, чем было вызвано такое решение.

Я. И. Бутович прервал первую часть своих воспоминаний на событиях Февральской революции 1917 года. Думаем, по цензурным соображениям. Напомним, что эта часть написана им еще на свободе, в Прилепах. Закончив первую книгу, Яков Иванович сразу же приступил ко второй большой литературной работе под названием «Архив сельца Прилеп», к описанию восьмидесяти двух лучших рысистых заводов прежней России. Он написал примерно пятьдесят заводских очерков, и тут его работа была прервана: Прилепский завод ликвидировали, галерею эвакуировали в Москву, самого Бутовича арестовали.

До двенадцатой тетради, написанной в тульской тюрьме, история Прилепского завода во время революции и в начале 1920-х годов рассказана на основе и в рамках родословных рысаков, вошедших уже в состав советских заводов. И только с двенадцатой тетради автор возвращается к последовательным воспоминаниям о том же времени и с теми же участниками. Об этом он говорит в коротком вступительном слове. Заключительную часть воспоминаний мы предполагаем издать в третьем томе.

Мы сохранили даты, проставленные Я. И. Бутовичем в тексте: автор обозначал таким образом начало новой тетради. Мы решили не исключать из текста многочисленные развернутые родословные рысаков и повторяющиеся в разных тетрадях детали и события истории. Трудно сказать, какую последовательность предпочел бы сам Яков Иванович. Родословные пишутся для текущей работы, для специалистов-селекционеров, а широкому кругу читателей интересна мемуарная часть тетрадей и, может быть, родословные лишь самых известных лошадей прошлого. Но представим, что детально и с любовью разобранные автором генеалогические гнезда и линии мы изъяли из рукописи. Тогда совсем пропала бы одна из главных, но как бы скрытая «фабулой» история о том, как человек сохранил в тюрьме личность и остался верен до конца главному делу своей жизни – орловским рысакам.

Бутович не покинул Россию. В одной из тюремных тетрадей он записал: «Сожалею ли я об этом теперь, когда пишу эти строки в полутемной камере сырого полуподвала на знаменитой «десятке» в тульской тюрьме? Вот вопрос, на который я дам чистосердечный ответ: нет, не сожалею! Сохранившийся мной для республики и русских людей завод теперь достиг кульминационной точки своего процветания... Много испытал я за одиннадцать лет революции, потерял всё – и средства, и семью, даже имя, которое мои враги втоптали в грязь, но я не сожалею о том, что остался в России и служил на коннозаводском поприще народу. Пройдут годы, десятки лет, и мое имя, быть может, с благодарностью и уважением вспомнят и помянут добрым словом...»

ЛОШАДИ ДУШИ МОЕЙ

Не так давно пришло время по-настоящему открывать неведомые русские таланты, сгинувшие за границей, потерявшиеся в смутном времени, унесенные лихими ветрами XX века. Мы уже открыли для себя драгоценнейшие россыпи, удивительные величины. Вероятно, еще далеко не все открыто и приобщено к отечественной культуре. Но среди этих открытий, безусловно, имя Якова Ивановича Бутовича и его воспоминания. К плеяде имен выдающихся русских писателей, умевших талантливо рассказать о деле, о непреходящей ценности и красоте человеческого труда, таких как Глеб Успенский, Александр Энгельгардт, Николай Гарин-Михайловский (сюда же можно отнести авторов талантливых записок о собственной жизни – певца Фёдора Шаляпина, художника Константина Коровина), добавилось еще одно имя.

Яков Иванович Бутович – знаменитый коннозаводчик, выдающийся организатор конного дела, неутомимый популяризатор и практик орловского коневодства, усилиям которого мы, в сущности, и обязаны сохранением породы орловского рысака. Его конный завод был одним из самых знаменитых в дореволюционной России. Бутович обладал прирожденным чувством лошади, тем, что называется Божьим даром. Он любил лошадь смертной любовью. Смерть от любви к женщине давно питает большую и малую литературу. Смерть от любви к лошади – дело пока исключительное. Яков Бутович тут пример первый и величайший. После революции 1917 года он не уехал за границу, где в Ницце у него была собственность, где жили его родные. Он не уехал только потому, что не смог бросить на погибель свое живое дело и угадал в себе силу спасти от гибели русскую лошадь. Он использовал для этого любые возможности. Сам выступил инициатором национализации своего конезавода. Более того, потомственный дворянин, барин, рафинированный аристократ, он явился инициатором создания в пролетарском Наркомате земледелия уникальной организации – Чрезвычайной комиссии по спасению племенного животноводства, где был специальный отдел по спасению племенного коннозаводства и, конкретно, племенного поголовья орловского рысака. Орловский рысак был спасен, но сам Бутович вскоре отправился в застенки другой Чрезвычайной комиссии и оттуда уже не вышел.

Другое дело Я. И. Бутовича – создание знаменитой картинной галереи, единственной в мире, которая посвящена лошади, истории русского коннозаводства. Это начинание столь масштабно, что его смело можно поставить в один ряд с деяниями таких русских предпринимателей-патриотов, как Третьяков, Щукин, Бахрушин, Рябушинский.

Бутович обладал также поразительным писательским даром. Он оставил громадное литературное наследие, которое только теперь начинает приходить к читателю. Его воспоминания читаются как роман приключений, все это приключения духа и мысли, и происходят они в исчезнувшем мире, населенном необычайными людьми с живыми и сильными характерами, в мире, полном увлекательных событий. Проза Бутовича упруга, насыщена жизнью. Чудо еще и в том, что нам открывается неведомый мир, особое людское сословие, громадный пласт русской культуры, о котором мы, пожалуй, подозревали, но и представить себе не могли, насколько он глубок и своеобразен. Тут драгоценная грань ушедшей русской жизни, которая воскресла вдруг, и видеть ее отныне мы будем глазами Якова Бутовича.

Хотя все это было как бы и на виду: и лошади, и события, и главное люди. Есть и сейчас люди, продолжающие дело Бутовича. Они совершенствуют чудеснейшее из земных созданий – лошадь: воспитывают ее, закаляют волю, заставляют сражаться на ипподромах, просто выживать вместе с народом. После выхода в свет воспоминаний Бутовича отсвет благородства и высокой романтики уже не уйдет из труда и усилий коннозаводчика, конюха, наездника и табунщика, просто любителя и знатока лошади.

Семьдесят лет имя Якова Ивановича Бутовича было насильственно отлучено от нашей памяти. Насилие над личностью калечит человека. Насилие над памятью калечит народ. Такие события, как выход книги Бутовича, возвращают жизнь нашему парализованному сознанию. Теперь он сам, его имя, его труды заняли подобающее место среди народного достояния. И это справедливо. Пока отечество наше способно на подобную справедливость, оно имеет право на будущее.

Узнавши, что Я. И. Бутович томился и закончил свои дни в знаменитом Орловском центре, самой грозной советской политической тюрьме, я списался с нынешним Управлением Федеральной службы безопасности по Орловской области и попросил выяснить, как и когда он погиб. Ответ пока был краткий: «Бутович Яков Иванович, 1881 г. р., уроженец пос. М. Касперо-Николаевка Херсонского уезда Херсонской губ. Проживал в г. Мценске Орловской обл., коневод. Арестован в 1937 г. Расстрелян». Позднее выяснилось, что Я. И. Бутович посмертно реабилитирован 17 мая 1989 года.

Бывший узник советских лагерей Олег Волков издал в Париже книгу «Погружение во тьму». В этой книге он упоминает о своей встрече с Бутовичем. Это, пожалуй, единственное свидетельство человека, который видел Якова Ивановича в последние дни его жизни. Едкий стиль автора не заслоняет картины мужества. Вот небольшая цитата из книги: «...Он старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он с некоторым вызовом бросил на все помещение: «Сословие? Дворянин, конечно!»...

Повезло Якову Ивановичу. В камере появился высокий массивный человек в черной, военного покроя гимнастерке... Помещенный к нам Крымзенков – кажется, Константин Иванович – оказался одним из главных консультантов Наркомзема, как раз по коневодству. Он отлично знал Якова Ивановича и не скрывал своего восхищения им. «Лучший знаток орловского рысака в России, он вывел достойного преемника бессмертного Крепыша, знаменитого Ловчего, слава которого облетела все ипподромы мира!» – так несколько торжественно аттестовал он Бутовича...

Необщительный Яков Иванович с Крымзенковым беседовал часами. Они словно не могли наговориться, перебирая и сопоставляя тысячи вариантов скрещивания линий, способных дать новых рекордистов. Генеалогию русских рысаков оба знали по восходящей, вплоть до Сметанки графа Орлова. Углубившись в ее сплетения, собеседники покидали тюрьму и кочевали по прославленным конным заводам России... Любителям внимать чужим разговорам скоро наскучивали рассуждения о статьях и резвости рысаков с героическими кличками, и они уходили. Кознетворцы же не рисковали задевать: Крымзенков – широкоплечий и крепкий, с пудовыми кулаками, да и манера Якова Ивановича расхолаживала нахалов.

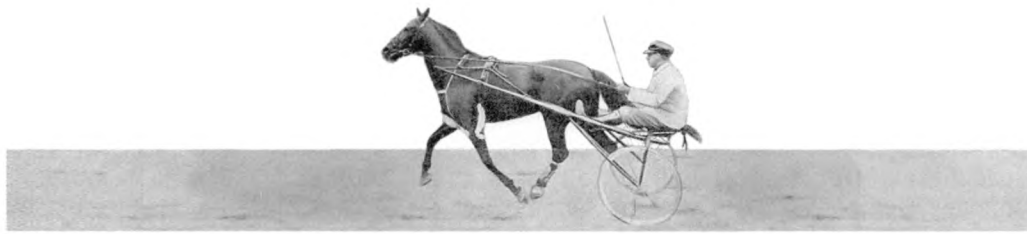
– Принеси-ка мне чаю, – спокойно, с уверенностью в своем праве распоряжаться сказал он как-то Ваське Шалавому, распущенному карманнику, вздумавшему приступить к нему с остротами. Вор, всем на изумление, отправился к чайнику нацедить кружку.

– Спасибо, голубчик, – поблагодарил Бутович, принимая из его рук чай, точно и не ждал, чтоб его поручение не выполнили.

У Бутовича были все приметы русского барства: вежливость, исключавшая и тень фамильярности; сознание собственного достоинства и даже исключительности при достаточно скромной манере держаться; благосклонность с еле проступающим оттенком снисходительности...»

Тут с кончика моего пера едва не соскочила, казалось бы, естественная фраза: «Жизнь Якова Бутовича закончилась трагически». Но ведь не пишут так о бойце, павшем в бою. Пишут: «Пал смертью храбрых». Яков Иванович Бутович пал смертью честных, до конца исполнивших свой долг.

Началась долгая жизнь его книги. У нее непременно будет счастливая судьба. Потому что книга эта пришла ко времени, оказалась нужна именно сегодня. Вот как определил свое отношение к ней пермский начкон Андрей Соколов: «Настоящую цену этой рукописи я узнал в начале 1990-х годов. Все, конечно, помнят, какое трудное это было время, особенно в коневодстве. На наших глазах истязали заводы, рушились сложившиеся, скрепленные традициями коллективы, гибли талантливые люди и лошади. Нам казалось тогда, что мы умираем медленной смертью, что не будет у нас уже ни страны, ни привычного дела, ни будущего, что нас поглотит агрессивное нашествие заемных идей и коней – американской, европейской закваски, вдруг заполнивших высокие трибуны и беговые дорожки. Сознаю, мы впали тогда в грешное уныние, дошли до пределов отчаяния. Вот тогда-то я и припал к этой рукописи, как к роднику. И она спасла меня. Разве можно наши трудности сравнивать с теми, в которых жили и работали Бутович и его сподвижники? Нас угнетают моральные переживания, а тех ведь просто-напросто убивали. Тем не менее, умирая сами, они спасли породу. А мы чем хуже? Чтение рукописи стало тогда для меня, и не только для меня, спасением. Именно тогда я и решил во что бы то ни стало издать эту книгу. В суровейшее для отечества время русский патриот Яков Бутович спас орловского рысака. Теперь, в сходных условиях, его дух помогает нам делать то же самое».



1912 ГОД. ПЕТЕРБУРГ

Первую половину зимы 1912 года я решил провести в Петербурге. Петербург веселился в эту зиму как никогда. Не отставал от других и я. Помимо бегов, выставок, вечерних кабачков, театров и ресторанов я много бывал в обществе, а также в художественных и литературных кружках. Описать здесь ту петербургскую жизнь решительно невозможно, да это и выходит за рамки коннозаводских мемуаров, а потому я остановлюсь лишь на личности А. С. Путилова, у которого часто бывал, и коснусь своих отношений с А. А. Богдановым, ибо эти лица хорошо известны в коннозаводских и спортивных кругах.

Знакомство мое с Александром Сергеевичем Путиловым было старое, давнее. Я с ним познакомился еще в 1901 году, когда был в Николаевском кавалерийском училище, и, приезжая в Санкт-Петербург, всегда его навещал, а иногда и проводил вечера в беседах об охоте и на другие темы.

По окончании Императорского Александровского лицея Путилов определился на службу в канцелярию Государственного совета, и здесь протекла вся его служебная деятельность. По своим убеждениям Путилов был ярким монархистом и находил, что Россией можно управлять только применяя методы Плеве, а никак не иначе. Путилов очень быстро делал карьеру и в 1912 году имел уже значительное положение в высших бюрократических кругах Петербурга. Его блестящее продвижение по службе прервала революция. Приказ о назначении Путилова не то товарищем министра внутренних дел, не то даже министром был уже подписан государем, но его не успели опубликовать. Это было за день или два до революции. На смену старым чиновникам пришли новые люди, и Путилов сейчас же подал в отставку, предрекая России без царя и с такими министрами, как Гучковы, Коноваловы и Терещенко, полную и бесповоротную гибель. Насколько он оказался прав, пусть судит читатель этих мемуаров.

Не то в 1924-м, не то в 1925 году Путилов был расстрелян по известному делу присылки денег бывшей императрице Марии Фёдоровне бывшими лицеистами, оставшимися в Петербурге. Я не знаю, насколько эта версия верна, но так передавали мне общие знакомые причину трагической гибели Путилова.

Отец Путилова был крупным помещиком, у него были имения в Саратовской и Рязанской губерниях. Женат он был на дочери известного коннозаводчика Д. П. Яновича. Путилов-отец жил всегда в рязанском имении и там имел очень большой конный завод. При старике Путилове этот завод производил хороших городских лошадей, но иногда из него выходили и призовые лошади, правда не особенно высокого класса. А. С. Путилов наследовал завод отца вместе с саратовским имением; а его брат, женатый на баронессе Корф, получил рязанское имение и лошадьми не интересовался.

Как коннозаводчик Путилов являл собой вполне определенную и весьма одно-стороннюю фигуру: он был приверженцем только форм в орловском рысаке и на

призовое направление смотрел как на вредное и ни к чему не нужное. Это был крайне узкий и, конечно, неправильный взгляд. В конце концов свой завод Путилов свел на нет. Американского рысака он не признавал совершенно и издевался над ним всячески. Иначе как «драными кошками» американских рысаков и не называл. Нечего и говорить, что метизацию он клял на всех перекрестках, считал, что коннозаводчики-метизаторы чуть ли не государственные преступники, что они губят орловскую породу. На эту тему он написал ряд блестящих статей и сделал немало удачных выступлений. В своей коннозаводской деятельности Путилов сделал ставку на борисовских, а позднее на елисеевских (что то же самое) производителей – и жестоко ошибся. В течение ряда лет он брал в производители своего завода исключительно этих жеребцов. Хорошие, но сыроватые и простые лошади, все не бежавшие, воспитанные по-старинному на варках, без тренировки, в итоге погубили его завод. Путилов не учел, что борисовский завод пережил свою славу. Насколько у него была сильна вера в борисовскую лошадь, можно понять из такого примера. Как-то навестив меня в Петербурге (это было еще в 1902 году), Путилов увидел только что полученный мною из Касперовки портрет вороного жеребца Типичного борисовского завода. Типичному тогда было ровно 20 лет, и я, разочаровавшись в нем, продавал жеребца за 500 рублей. Александр Сергеевич пришел в восторг от типа и форм этой лошади и заглазно немедленно же ее купил. Много позднее, когда я гостил в Завиваловке у Лодыженских, Путилов приехал меня проведать из своего саратовского имения. Мы много говорили о лошадях, и Путилов уверял меня, что если бы он занялся тренировкой своих лошадей, то они бы великолепно побежали. Я ему возражал, но он остался при своем убеждении. Затем он стал уверять меня, что если бы я взял у него для опытов в свой завод двух кобыл и покрыл бы их своими знаменитыми жеребцами, то от такого сочетания получил бы выдающихся лошадей. «Извольте, сделаем опыт», – предложил я ему и просил уступить мне двух кобыл его завода. Путилов был очень рад и тут же недорого продал мне гнедую Узорную от Убылого и Натурщицы и вороную Умру от того же жеребца и Тучи. Когда привели этих кобыл в Прилепы, я их осмотрел и только пожал плечами. Я сдержал слово и получил от них по одному жеребенку, после чего кобыл продали. Жеребята ничего не стоили и остались в Прилепах как пользовательные лошади. Если память мне не изменяет, приплод этих кобыл даже не был внесен в заводскую книгу и о нем не было дано сведений в Главное управление государственного коннозаводства.

Я уже упоминал, что лошади старых путиловских кровей кое-что резвое и могли дать, и давали. Примером может служить хотя бы серая кобыла Неприступная, уже завода А. С. Путилова, имевшая рекорд 2.24, что для того времени и для кобыл было очень хорошо. Неприступная была результатом соединения старых путиловских кровей со стороны матери и кожинских со стороны отца. А. С. Путилов хорошо знал весьма известный в свое время завод рысистых лошадей К. А. Битко. Этот завод был по соседству с рязанским имением отца Путилова, и Александр Сергеевич там часто бывал. Он перевозносил лошадей этого завода, восторгался самим Битко, считал, что выше, чем Битко, коннозаводчика не было и лучше лошадей, чем у него, также ни у кого не было. По этому поводу друзья Путилова, и я в том числе, трунили над ним, но теперь, по зрелому размышлению, я думаю, что Путилов отчасти был прав. Через несколько лет после этих разговоров мне удалось лично увидеть двух лошадей завода Битко. Это было в Подах у князя Орлова. Производителем там состоял вороной жеребец Очарователь, родившийся в 1885 году в заводе Битко от Чернеца и Подары. Это была решительно необыкновенная во всех отношениях лошадь, одна из лучших, мною когда-либо виденных. Еще лучше была белая кобыла Досадница, родившаяся в 1887-м у Битко от Потешного и Досады. Досадница была сухости, красоты и породности непомерной. Я реко-

мендовал ее для Чесменского завода, которым она и была куплена, но там Пуксинг от нее ничего не сумел отвести и в то время не смог разобраться в этой замечательной кобыле. Еще в Подах от Досадницы родились призовые Знатная и Любушка (о красоте последней я написал, рассказывая о киевской выставке). Интересно отметить, что Досадница происходила по прямой женской линии от Грозы, дочери великой болдаревской Чародейки! По-видимому, из рук Битко действительно выходили замечательные лошади, но их мало знали – явление в России не только возможное, но и обычное. Элементы, вошедшие в состав завода Битко, были поистине замечательные, ибо этот завод был весь построен на болдаревском фундаменте, а лучше болдаревских лошадей в свое время не было. Нельзя не удивляться тому, что А. С. Путилов, сделавшись самостоятельным коннозаводчиком и зная лошадей Битко, не разыскал их для себя, а всю жизнь повертелся на борисовских кровях. Поступи он иначе, согласно своему высокому мнению о битковских лошадях, результат его коннозаводской деятельности был бы совершенно иным.

А. С. Путилов в вопросах чистопородности имел в коннозаводском ведомстве весьма большой вес. Когда была образована специальная комиссия для издания заводских книг по чистопородности, то в эту комиссию был назначен и он. Председателем комиссии стал Ф. Н. Измайлов, членами – С. Г. Карузо, Путилов и одно время фон Мекк. Первую скрипку в комиссии играл, конечно, Карузо, но и Путилов тоже был столпом этой комиссии. На почве зависти комиссию, что называется, травили, хотя и не открыто, а глухо. Великий князь Дмитрий Константинович придавал комиссии особенно важное значение, и при нем ее работа достигла своего апогея. С уходом Дмитрия Константиновича с поста главноуправляющего государственным коннозаводством генерал Зданович стал всячески умалять значение комиссии, и Путилов почти отошел от дел. Когда скончался Карузо, а затем и Измайлов, Путилов решительно отказался от участия в работе комиссии. В итоге деятельность последней была сведена до роли заурядной ведомственной, а затем и вовсе прихлопнута.

Писать по вопросам коннозаводства Путилов начал сейчас же по окончании Александровского лицея, а затем составил и напечатал ряд весьма интересных статей за своей подписью (иногда он подписывал инициалами «А. П.»). Помимо статей Путилов составил несколько докладов и записок по тем же вопросам. Писал он хорошо, красиво и ясно. Это был, несомненно, один из самых интересных авторов по вопросам рысистого дела. В полемике – а ему одно время приходилось частенько полемизировать – он был едок и беспощаден.

Теперь будет уместно сказать о моих личных отношениях с Путиловым. Они были дружескими, сердечными и очень теплыми. Познакомил меня с ним в 1901 году редактор журнала «Коннозаводство» С. В. Ростовцев. Нас особенно сблизила, конечно, общая любовь к орловскому рысаку, а затем мы сошлись характерами и были хороши до последних дней жизни Александра Сергеевича, хотя в последние годы я и видел его всего лишь два или три раза. В начале нашего знакомства, когда я только стал бывать у Путилова, он жил в Санкт-Петербурге, на Знаменской улице, где занимал в третьем этаже небольшую квартиру. Квартира состояла из четырех комнат и была скромно, но хорошо меблирована. Главной комнатой был, конечно, кабинет, где стояли большой письменный стол, всегда заваленный бумагами, мягкие, удобные кресла и располагалась коннозаводская библиотека. Картин в квартире вовсе не было, а стены украшали свечковские литографии, изображавшие Визапура, Отрада, Летуна и прочих прежних рысаков.

Путилов был небольшого роста, сухощавый господин, с умными и чрезвычайно быстрыми глазами. Нечего и говорить, ибо это само собою разумеется, что Путилов был превосходно воспитан и вежлив. По характеру это был решительный и доволь-

но-таки сухой человек, с которым, однако, приятно было иметь дело, потому что у него слово никогда не расходилось с делом.

С особенным удовольствием я вспоминаю всегда наши беседы, споры, планы и проекты. Когда в Петербург приезжал С. Г. Карузо, мы проводили у Путилова не только вечера, но и целые ночи. Все мы тогда были молоды и полны самых радужных надежд. Все мечтали стать если не великими людьми, то по меньшей мере знаменитостями. В отношении Путилова и меня это отчасти сбылось, ибо мы добились кое-какой известности, бедняга же Карузо трагически погиб в ранних годах.



Кассы на ипподроме Санкт-Петербурга. 1900-е гг.

Бывая у Путилова во время своих наездов в Петербург, я частенько встречал у него интересных людей и очень хорошо проводил время. В один из таких приездов Путилов открыл ящик письменного стола и достал оттуда объемистую книгу. Я сразу догадался, что это опись какого-нибудь рысистого завода, и спросил: «Что это за опись, Александр Сергеевич?» Он молча мне ее протянул. Я взял, открыл крышку переплета и... остолбенел. В моих руках была подлинная и полная опись Александровского завода А. Б. Казакова! Как хорошо известно всем любителям рысистой лошади, опись завода Казакова была напечатана лишь однажды, а именно в 1854 году (книга Граевского), завод же был продан в 1863-м. В книге Граевского приплод под матками был доведен лишь до 1850 года, так что о приплоде этого завода с 1851-го по 1863 год нигде и никогда не было напечатано. Если принять во внимание исключительное значение казакских лошадей, опубликование полной описи этого завода представляло совершенно необычайный интерес. Для генеалогов это явилось бы событием первостепенной важности. Кроме того, опись содержала и другие важные данные, такие, например, как рост некоторых лошадей и приметы. Оказалось, что эта опись была вручена Путилову внуком Казакова В. И. Звегинцовым для просмотра. Звегинцов предполагал ее издать, а потому в свое время не передал С. Г. Карузо. Сделай он это, опись Казакова была бы напечатана в заводской книге орловских рысаков, так же как были напечатаны Карузо подробные описи знаменитых заводов Коробьина, Охотникова и Кожина. К несчастью, Звегинцов не осуществил своего намерения и опись Александровского завода, очевидно, погибла со всем его имуществом. Потеря невосполнимая для генеалога и историка коннозаводства. Так как Звегинцов сам хотел издать казакскую опись, то я, просмотрев ее, тут же вернул Путилову, не сочтя удобным и возможным сделать из нее хотя бы малейшие выписки. К счастью, Карузо, который вскоре после меня ее тоже увидел, записал, а потом и опубликовал в журнале «Коннозаводство» рост некоторых казакских жеребцов, в том числе великого Полкана 6-го.

Моя дружба с Александром Александровичем Богдановым образовалась на почве коллекционерства. Я был знаком с ним шапочно, изредка встречал его на петербургском бегу. Как-то разговорившись с ним, узнал, что ему принадлежит портрет кисти Сверчкова, изображающий Варвара на ходу. Я просил разрешения посмотреть этот портрет и навестил Богданова. Тот жил на Фонтанке в собственном доме, где занимал в бельэтаже огромную квартиру, роскошно обставленную. Он оказался большим любителем искусства, и на этой почве мы сошлись. Я стал часто у него бывать, вместе с ним посещал антикваров, и между нами установились дружеские отношения. С течением времени они становились все теснее, во время революции омрачились, но затем все разъяснилось и мы продолжили встречаться дружески. Когда я приезжал в Петербург, то неизменно бывал у Богданова, и если в это время он покупал какую-либо картину, то звонил мне и я ехал ее смотреть.

А. А. Богданов принадлежал к богатой семье петербургского купечества, сделавшей состояние на табачном деле. Их табачная фирма, весьма известная в Петербурге, вообще была одной из наиболее крупных и солидных фирм в России. Богдановы были очень богаты. Дядя Богданова, Н. Н. Богданов, был, кроме того, известнейшим спортсменом-лошадником и в течение долгих лет имел призовую конюшню, которая считалась одной из лучших на петербургском ипподроме. Н. Н. Богданову принадлежал знаменитый телегинский Варвар.

Александр Александрович частенько покупал призовых лошадей, но своей конюшни уже не имел, а ставил их в общественные конюшни к разным наездникам. Это было уже не серьезное дело, а лишь забава, и, бывало, рассердившись на проигрыш своей лошади, Богданов немедля ее продавал, потом, месяца через два-три, покупал новую. В чем Богданов был постоянен, так это в городской охоте. Он был настоящий городской охотник, и выезды его были известны всему Петербургу. Городскую охоту Богданов держал неизменно и без перерыва вплоть до самой революции. Выезды его были несколько кричащи, чересчур ярки, подчас перегружены серебром или томпаком, но по подбору лошадей, пожалуй, являлись лучшими в Санкт-Петербурге. Богданов был мастер собрать пару: его глаз замечал интересных на бегу лошадей, затем он их покупал, и они съезжались в пары. Александр Александрович любил пустить пыль в глаза и умел это сделать как никто. Его коляски бывали либо на ярко-красном, либо на желтом, канареечного цвета, ходу. Лошадей он больше всего любил золотисто-рыжих, и у него перебывало их немало на городской конюшне. Вожжи никогда не были скромными, а обязательно утрированно яркими, иногда даже белыми. Представьте же себе пару огненно-рыжих лошадей в запряжке из серебра от великих мастеров сего дела Санова и Лакова, и красавца кучера, и белые вожжи, и коляску на красном или канареечном ходу, и самого Богданова, в котором было чуть ли не десять пудов, в модном костюме и с неизменным ярким цветком в бутоньерке, – и все это несло по Невскому проспекту так, что только подковы лошадей звенели по торцовой мостовой да кучер едва успевал кричать: «Пади! Берегись!» Это было ярко, это бросалось в глаза всем и каждому, но у Богданова это выходило красиво, и всем нравилось.

Богданов был самобытнейшей и интереснейшей личностью. От одного общего знакомого я слышал, что он долго-долго сидел в гимназии, почему его и прозвали Гимназистом (прозвище это сравнительно долго держалось за ним). Я познакомился с Богдановым тогда, когда его звезда не только взошла, но и ярко блистала на петербургском небосклоне и он находился в зените своей славы. Это был уже великолепный Богданов, которого все знали и которому все кланялись, воротила в банках, друг петербургских финансовых королей Путилова, Каминки и Верстрата. Богданов был умен, своеобразен, чрезвычайно остроумен, удивительно умел нравиться людям, обладал незаурядными финансовыми способностями, был большим комиком, и в его лице сцена потеряла, возможно, одно из славнейших дарований.

Прирожденный актер, он в жизни нередко чувствовал себя как на сцене, то есть играл, и тогда бывал восхитителен и неподражаем. Общество же у него собиралось крайне интересное, но смешанное. И было одно неперемное условие, которому надо было отвечать: чтобы попасть к Богданову, должно было обладать известностью, точнее, именем – либо в литературном, либо в финансовом, либо же в конно-заводском или другом мире. Только тогда вы допускались в его интимный кружок, в число его знакомых, иначе дальше делового свидания в кабинете вам не удалось бы проникнуть. В то время я считал это известного рода фанфаронством, но теперь, когда пишу эти строки и переживаю эти воспоминания, я думаю, что Богданов, поступая так, был прав, ибо среди этих так или иначе известных людей были все удачники, то есть люди, сумевшие выдвинуться из общего или же среднего уровня, а стало быть, и наиболее талантливые и даровитые. Неудивительно поэтому, что у Богданова было так интересно и занимательно бывать. Мы с Богдановым последние года два до войны были уже настолько хороши, что я стал называть его «дядя Саша», а он меня – «дядя Яша». Это настолько привилось и всем понравилось, что в богдановском кружке среди интимных друзей ко мне нередко так и обращались.

Богданов любил все изящное и красивое; это был эстет, который во всем искал красоту и поклонялся ей. Его обстановка, сначала на Фонтанке, а потом в Ковенском переулке, куда он переехал, была не только роскошна, но и изысканна: мебель, картины, ковры, бронза, мрамор, посуда, сервировка, драпри и обюсоны... То же можно сказать и про его лошадей, собак и сердечные увлечения. А еще он любил картины. Когда бывал свободен, часами мог смотреть на них. Покупал он только первоклассные произведения лучших русских художников и платил за них подчас крупные деньги, иногда по 10–15 тысяч рублей за полотно. Будучи собачником, он любил произведения Френца, и у него было несколько первоклассных картин этого мастера; как лошадиник – выше всех художников ставил Сверчкова и имел до десяти картин его кисти, притом исключительных. Главным его поставщиком был знаменитый торговец картинами и мелкий ростовщик Карягин. Это была тоже в своем роде замечательная личность. Карягин не имел магазина, а торговал, как тогда говорили, с квартиры. Он был неизменным посетителем всех аукционов и распродаж и целые дни рыскал по Петербургу в поисках товара. Я неоднократно присутствовал при продаже картин Карягиным. Это был спектакль! Карягин выходил из себя, когда дядя Саша корил какую-нибудь знаменитую картину с целью что-нибудь выторговать, указывал на отдельное неудачное место картины. «Ну посмотри, – говорил он, – что это за нос? Здесь Репин ошибся». Карягин отходил, щурил глаз, приставлял к нему кулак в виде зрительной трубы и решительно не соглашался, начиная, наоборот, всячески расхваливать этот нос, говорить, что так написать нос мог только такой мастер, как Репин. «Что хотите, – обычно заключал он, – картина замечательная. Богдановский товар». Он, конечно, льстил дяде Саше, и это была высшая похвала в его устах: картина так хороша, что ее впору купить только Богданову. Эти слова хитреца Феди Карягина стали известны в самых широких кругах коллекционеров и торговцев, выражение «богдановский товар» стало ходовым.

У Богданова было замечательное собрание картин Репина, Маковских, Семирадского, Айвазовского, Риццони, Боголюбова, Шишкина – словом, лучших наших художников определенного периода. Новую школу он не любил и не собирал. Более подробно я остановлюсь на «лошадиных» картинах, описание которых может представить интерес и для читателей этих мемуаров. У Богданова было две или три картины профессора Ковалевского; из них одна изображала интересную сцену: ремонтер в форме лейб-улана смотрел лошадь, которую перед ним проводили на рысях. Картина была невелика и очень тщательно написана. Еще лучше была небольшая картинка того же художника с изображением пахаря, возвращающегося с поля: тот был на белой кобыле, впряженной в соху, а сзади тихо шел рыжий жере-



Р. Френц. *Автопортрет*

бенок с бубенчиком на шее. Эта картина была тонко написана, очень приятна по колориту и от других картин Ковалевского выгодно отличалась своей задушевностью и теплотой. Обе картины во время революции перешли в собственность московскому присяжному поверенному Е. В. Канделаки. Принадлежал Богданову еще большой портрет работы Ковалевского, купленный им у графа Кронгельма. Это был портрет Александра III верхом на белой лошади. Серьезное и капитальное произведение, которое дядя Саша по дружбе уступил мне за 1600 рублей – цену для того времени небольшую. Среди работ Френца имелось два капитальных произведения: «Стая гончих» и «Приезд на охоту великого князя Николая Михайловича». Последняя картина была также в свое время куплена мною. Наконец, из работ Сверчкова прежде всего следует отметить картину «Затравили». Эта замечательная картина, одна из лучших в творчестве прославленного художника, принадлежала когда-то Ю. А. Воейковой и входила в состав ее знаменитой картинной галереи. Когда эта галерея распродавалась в Москве, картину купил московский миллионер Стахеев, и она пошла в приданое его дочери, которая вышла замуж за А. А. Богданова. Когда Богданов развелся со своей первой женой (Стахеевой), то картину он у нее купил. Я был прямо-таки влюблен в эту картину и неоднократно предлагал Богданову за нее 10 тысяч рублей, но он и слышать не хотел о продаже. Однако судьбе было угодно, чтобы во время революции я стал собственником этой замечательной картины... В моем присутствии Богданов купил у Карягина две выдающиеся картины – «Баловни судьбы» и «Пасынки судьбы». На первой в овале были изображены головы жеребца и кобылы орловской породы во всем блеске их красоты, а на второй, тоже в овале, – четыре головы несчастных рабочих кляч, обреченных на живодерку. Эти два овала также стали моей собственностью: Богданов мне их продал, уезжая во время революции за границу. У Богданова была и знаменитая картина «Катание троек на Масленице». Картина была написана Сверчковым по заказу Академии художеств специально для Филадельфийской Всемирной выставки 1876 года. Там она имела шумный успех и получила золотую медаль. Американцы предлагали за нее очень большие деньги, но петербургский меценат и миллионер Кокарев не пожелал выпустить картину за границу и за 12 тысяч рублей приобрел ее у Сверчкова. Тридцать девять лет эта картина украшала знаменитый кокаревский особняк в Царском Селе и после смерти мецената в 1915 году была продана с другими его картинами

с аукциона. За эту картину был особенно жаркий бой среди покупателей, и когда молодой аукционист опустил в третий и последний раз, то картина осталась за нефтяным королем Лианозовым за 27 тысяч рублей – рекордная цена для картины русской школы и для произведения Сверчкова в особенности! Лианозов владел этой картиной недолго, ибо после революции, покидая пределы России, продал ее в июне 1917 года А. А. Богданову за 37 тысяч рублей, причем следует иметь в виду, что хотя деньги тогда уже начали падать, но это была все же громадная цена. В самые тяжелые годы революции я купил эту картину у дяди Саши и заплатил за нее 3 миллиарда рублей, что выходило примерно 12 тысяч золотом. Для революционного времени это была сумасшедшая цена, но кому же неизвестно, что все мы, коллекционеры, сумасшедшие люди, ослепленные своей страстью. К сожалению, я не сумел удержать в своих руках эту картину и в одну из тяжелых минут продал ее П. П. Бакулину за 4 миллиарда. Впрочем, о продаже картины Бакулину я не жалею: в тот момент он меня действительно выручил, да и картина попала в хорошие руки, в дружескую мне семью, где старший Павлуша, большой любитель искусства и чуткий человек, обещал в будущем стать знаменитым коллекционером. Когда все эти картины были сосредоточены в петербургской квартире Богданова, освещены рефлекторами и удачно, со вкусом развешаны, то вполне естественно, что полюбоваться столь замечательным собранием приезжало немало любителей и знатоков искусства.

Я обещал описать хотя бы один из знаменитых богдановских обедов, которые были так интересны по составу участников и так вкусны по своим меню. Богданов был большим гастрономом и держал первоклассного повара, настоящего «мэтра». Аппетит у дяди Саши был поистине феноменальный, что, впрочем, неудивительно, если принять во внимание его колоссальную фигуру. За столом он свободно справлялся с хорошей пуляжкой, почти уничтожал в один присест небольшой окорок или индюка и так далее в том же роде. Впрочем, обжорой его назвать было нельзя, это было болезненное явление, как говорили доктора, и Богданов с этим сам всячески боролся.

Зимой 1912 года я как-то сидел у него вечером, и вдруг дядя Саша мне говорит: «Дядя Яша, на будущей неделе у меня обед, будут только Путилов со своей французенкой (в то время Богданов развелся с первой женой и жил один), Верстрат и Каминка, оба со своими дамами. Вы понимаете, что это за обед – три главных финансовых короля Петербурга, которые делают погоду на бирже, держат в своих руках контрольные пакеты чуть ли не всех предприятий и одного слова, одной улыбки которых достаточно, чтобы человек, сегодня бедный, завтра стал богачом. Они обещали быть, но при условии, что обед будет в обстановке «стрикт ентимите», то есть больше никого. Да, дорого бы дали разные директора банков, князья, графы и другие лица, чтобы присутствовать на этом обеде. Но я никого не могу пригласить, кроме вас, дядя Яша, на что я уже получил согласие».

Через неделю после этого разговора состоялся сей исторический обед. Так как обедали дамы, то по петербургской традиции мужчины были во фраках, а Путилов даже при ленте и звезде, что, впрочем, объяснялось тем, что он после обеда ехал на вечерний прием в одно из посольств (до своего сказочного обогащения и выхода в отставку Путилов служил по Министерству финансов и был товарищем министра у Витте).

Когда я приехал в Ковенский переулок, то с трудом узнал столь хорошо известную мне швейцарскую: по лестнице до квартиры Богданова был разостлан роскошный красный ковер, швейцарская и лестница были уставлены растениями, и два швейцара в новеньких ливреях ждали гостей. Дядя Саша, во фраке, напудренный, припомаженный и какой-то подтянутый, встречал гостей. Несколько лакеев, все в ливрейных фраках, стояли в передней. Гостиная и приемные комнаты были превращены в оранжерею: лучшие цветы Ниццы наполняли комнаты своим благоуханием и придавали и без того роскошной обстановке какой-то волшебный вид. Я приехал вторым, Путилов со своей французенкой был уже там. Она сидела с ногами на

диване, вся в волнах воздушных кружев. Это была некрасивая молодая женщина, о которой говорили, что у нее есть скрытые от глаз непосвященных достоинства... Путилов был невысокого роста, сухой, элегантный и изящный господин, с тонкими чертами породистого лица и стальными, пронизывающими вас насквозь глазами. Он производил впечатление прежде всего светского человека, принадлежащего к лучшему обществу. Богданов нас познакомил, и мы обменялись двумя-тремя малозначащими фразами. Почти сейчас же после этого подъехали со своими дамами Верстрат и Каминка. Их знал весь Петербург, да и не один Петербург, а, пожалуй, половина России. Во время обеда я был кавалером мадам Путиловой. Если гостиные были превращены в оранжереи, то из столовой сделали какую-то сказочную блестящую раковину, которая вся горела и искрилась от многих сотен электрических ламп, искусно сгруппированных рукой опытного мастера. Цветы, нежные фиалки и душистые ландыши, гирляндой образуя венок, красиво лежали только на обеденном столе. Стол был сервирован замечательно, но главным его украшением были знаменитые хрустальные передачи и остальной обеденный хрусталь, всего лишь год тому назад купленный Богдановым на парижском аукционе. Каждый бокал, каждую рюмку, каждый стакан украшала миниатюра с эротическим сюжетом. Эти миниатюры были работы одного из лучших французских художников прошлого века, и когда вино искрилось в хрустале, то эротика бокалов прямо оживала и приобретала телесный цвет и такой же теплый тон. Это было не только красиво, не только возбуждало, это сразу создавало настроение. Богданов умел принять, умел не только поддерживать, но и организовать интересный разговор за столом. Поэтому беседа не умолкала, а текла свободно, легко и непринужденно.

Беседа шла на самые разнообразные темы и несколько раз вскользь касалась последних финансовых новостей дня. Наконец Путилов, зная, что я коннозаводчик, а этой темы еще не касались, как светский человек, сделал диверсию в эту сторону, с тем чтобы оказать мне внимание. Разговор на несколько минут сосредоточился на лошадиных темах. Заговорили о том, как трудно получить классную лошадь, на что Каминка довольно наивно мне сказал: «А я думал, что это просто. Что же тут трудно – быть коннозаводчиком?» Путилов тонко улыбнулся, так как Каминка, несмотря на весь свой теперешний лоск, нет-нет да и садился в лужу и этим выдавал свое дешевое воспитание. Богданов не дал мне ответить: в нем заговорил лошадиник и он сказал Каминке: «Сделаться великим коннозаводчиком нельзя, это уже в крови: коннозаводчиками не делаются, а рождаются, как и великими финансовыми деятелями и великими государственными людьми!» Гром аплодисментов покрыл слова хозяина, и стали пить за здоровье и тех, и других, то есть и коннозаводчиков, и финансистов.

После революции Богданов уехал в Крым, вернуться в Санкт-Петербург уже не решился; он приехал в Москву и здесь занял одну комнату у доктора Вестфалена, который еще мальчишкой рос в его петербургском доме. Во время расцвета НЭПа Богданов уехал в Петербург и открыл на Невском большой бакалейный магазин. Дела его пошли блестяще, он опять начал покупать картины и на Сергиевской, 55, стал отделять себе большую квартиру. В это время я приехал в Петербург и целые дни проводил с дядей Сашей. Днем я заходил к нему в магазин и наблюдал, как там шла торговля. Торговали бойко, Богданов, прирожденный коммерсант, поставил дело блестяще и хорошо вел его. Однако вскоре начались репрессии против представителей НЭПа, и тогда Богданов поступил крайне умно и благоразумно: он все ликвидировал и получил разрешение ехать за границу лечить глаза, которые у него были действительно плохи – временами он почти ничего не видел. Богданов уехал в Париж, там встретился с Путиловым и больше в Россию, конечно, не вернулся. Вскоре после этого туда уехала и его жена. Перед отъездом дядя Саша написал мне очень милое и трогательное письмо, и я глубоко сожалел, что еще одним близким мне и дорогим человеком стало в России меньше.

В ноябре 1912 года я совершенно случайно в магазине Александра встретил Е. В. Сухомлинову – супругу военного министра. Эта встреча имела исключительные последствия для коннозаводского ведомства, а потому расскажу о ней подробно. Однако прежде необходимо сообщить здесь кое-какие данные о самой Е. В. Сухомлиновой и ее первом муже В. Н. Бутовиче – моем двоюродном брате.

Владимир Николаевич Бутович родился в 1873 году в местечке Круполь Полтавской губернии, родовом имении этой линии рода Бутовичей. Его отец, Николай Ильич, родился в 1839 году в том же Круполе и умер в 1883-м, когда его единственному сыну было десять лет. Николай Ильич был младшим сыном в семье и по прочно укоренившейся среди малороссийского дворянства традиции наследовал, как младший, резиденцию, то есть главное имение рода, а именно Круполь. Его брат, Иван Ильич, был моим отцом. Николай Ильич был очень богат: помимо знаменитого Круполя он наследовал еще Березань и порядочный капитал от своего отца и моего деда, Ильи Алексеевича Бутовича. Вскоре после смерти Николая Ильича умерла и мать Вовы, и он остался круглым сиротой. Была учреждена дворянская опека, и как плохо она ни вела его дела, но, когда Владимир Николаевич достиг совершеннолетия, у него в банке был миллионный капитал и около 6 тысяч десятин незаложенной земли в Полтавской губернии, то есть громадное состояние в несколько миллионов рублей. Окончив киевскую гимназию, Владимир Николаевич поступил по призванию в Институт инженеров путей сообщения, но из-за слабого здоровья (у него, по мнению докторов, началась чахотка, от которой умерла и его мать) вынужден был оставить Петербург и переехать в более теплый климат. Усиленное лечение на юге Франции дало свои плоды, и Владимир Николаевич смог вернуться в Россию, поселиться в Одессе, где и окончил Новороссийский университет. Однако служить ему рекомендовали только на юге, и он получил должность инспектора народных училищ Киевской губернии. По службе он продвигался очень быстро, так как был умным, талантливым и очень дельным человеком, да и связи и средства, конечно, помогали. Словом, года через три он был назначен директором народных училищ Бессарабской губернии и в этой должности пробыл несколько лет. Назначение его в попечители Рижского учебного округа было решено в положительном смысле, но этому помешал как раз в то время разразившийся скандал между ним и киевским генерал-губернатором В. А. Сухомлиновым.

В. Н. Бутович, будучи еще инспектором народных училищ Киевской губернии, во время ревизии вверенных ему школ познакомился с очень красивой молодой учительницей, в которую и влюбился. Звали ее Екатерина Викторовна Ташкевич. Это увлечение закончилось женитьбой, и молодые поселились в Киеве, где у Владимира Николаевича была постоянная квартира. Наезжая иногда в Киев, я всегда бывал у них, так как очень дружил со своим двоюродным братом.

Екатерина Викторовна была удивительно красивая блондинка с чистым и ярко-золотым цветом волос, изящная, милая и грациозная. Выйдя замуж за Владимира Николаевича, она сделала блестящую партию, ибо Владимир Николаевич, помимо имени, средств и положения, имел хороший характер. К тому же он был очень красив. У него был лишь один существенный недостаток: этот богатейший человек был... скуп. У них родился сын, единственный ребенок в семье. Впоследствии о Екатерине Викторовне писали и говорили много самых невероятных вещей, но я не берусь, да и не хочу высказываться по этому поводу. Владимир Николаевич безумно любил свою жену, и они, насколько я мог заметить, были счастливы. Впрочем, мне всегда почему-то казалось, что это счастье недолговечно и что рано или поздно неравный брак, брак по любви, соединивший двух людей, столь различных по своему воспитанию, положению и средствам, окончится чем-то недобрым.

Я любил бывать у моего двоюродного брата, мы подолгу беседовали об украинской старине и преданиях нашего рода. Надо здесь сказать, что Владимир Николаевич наследовал все фамильные портреты семьи, бумаги, документы, оружие, ут-

варь и прочие реликвии, накопленные за несколько столетий в нашем роду. Я всегда любил старину, а потому все это меня живо интересовало и привлекало. Владимир Николаевич подходил к этим материалам с научной стороны, обрабатывал их и писал историю рода, которая так и не увидела свет вследствие его вынужденного отъезда за границу. Он делился со мной своими «открытиями» и был, несмотря на крайне живой характер и подвижность, все же типичным кабинетным ученым.

Собрание этой старины было богатейшее и притом самое разнообразное. Тут были сундуки (сундуки) с разными платьями, платками, вышивками, плахтами и прочим. Все это не только сохраняло следы старинного украинского домоводства, но и поражало своим исполинским «скопом» – так много было накоплено, а затем и сохранено когда-то столь ценного, а теперь исторического тряпья. Очень много было также оружия, самого разного и дорогого, притом все это не только принадлежало предкам, но и носилось ими в сражениях, в чем и состояла особая прелесть этого собрания. Хороша была и утварь – кубки, чарки, миски из серебра и других металлов, причем большинство было именных. Другие предметы – седла с дорогим набором из бирюзы или червонного золота, всякие ларцы, поставцы и прочее – когда-то служили в походах дедам, а теперь мирно покоились на полочках и столах киевской квартиры их потомка. Но особенно замечательно было собрание фамильных портретов: тут не было имен знаменитых художников, но с точки зрения рода и интересов отошедшего быта это собрание было, несомненно, одним из полнейших и интереснейших не только в Малороссии, но и в России.

У Владимира Николаевича была составленная им самим опись всех портретов, с датами и кратким перечислением подвигов и службы изображенного лица. Один такой список я получил от него и сохранил. Так как все собрание Владимира Николаевича после его отъезда за границу было упаковано в ящики и отправлено в Круполь, то очевидно, что во время революции оно там и погибло. Полагаю, что этот список да еще подаренная мне прадедовская уздечка с набором червонного золота по красному сафьяну – вот все, что уцелело от той старины, которая сохранялась в течение нескольких столетий в нашем роду. Для интереса приведу здесь некоторые данные из того списка. Вот имена и подвиги наиболее интересных лиц (все они носили фамилию Бутович):

1. Иван Богданович – войсковой товарищ; посланец гетмана Самойловича в Москву (1675–1676); знаменитый дипломат и тончайший интриган на политической арене того смутного времени.

2. Степан Иванович – генеральный есаул, в январе 1711 года под Лысянкой попавший в неволю «бусурманскую».

3. Демьян Степанович – «знатный бунчуковый товарищ», имевший в свое время полномочие «всю старину и товарищество значковое и куренное переписать».

4. Степан Степанович – участник и герой всех турецких, польских и персидских походов.

5. Григорий Филонович – знаменитый протопоп (1654), сторонник московского правительства; ездил в Москву с гетманом Брюховецким (1665) и пр.; историческая личность.

6. Алексей Петрович (мой прадед) – первый бургомистр (1783), черниговский вице-губернатор, витебский гражданский генерал-губернатор.

7. Григорий Петрович (брат предыдущего) – маршал дворянства (1806–1813; 1817–1819); играл видную роль в 1812 году.

8. Фёдор Максимович – в 1812 году командовал ополчением Черниговской губернии; был в походах 1805 года в Австрии; в 1806-м – в Пруссии и в 1812-м – в ополчении.

9. Андрей Алексеевич – 1-й георгиевский кавалер, командир уланского полка; боевые отличия: 1831 год – под Прагой; 1832-й – против поляков; на Троховских полях пожалован крестом Св. Владимира за блестящую атаку и т. д.

10. Иван Фёдорович – киевский поветовый маршал, потом киевский губернский маршал (1807).

11. Николай Иванович (1832), Владимир Иванович (1844) и др. – киевские предводители.

Казалось, что все обещало Владимиру Николаевичу и его жене спокойную и безмятежную жизнь, но случилось совершенно иное, и для Владимира Николаевича настали дни борьбы и огорчений. В то время, к которому относится этот рассказ, командующим войсками Киевского военного округа и генерал-губернатором был генерал Сухомлинов, молодящийся старик и один из сподвижников когда-то знаменитого генерала Драгомирова. Сухомлинов встречался, конечно, в обществе с Екатериной Викторовной и влюбился в нее со всей страстью чувствующего и сознающего, что это его последняя любовь. Екатерина Викторовна оказалась честолюбивой авантюристкой и пошла навстречу исканиям старика: ей мало было быть женой Владимира Николаевича, ей захотелось Петербурга, славы и почета, а все называли Сухомлинова кандидатом в военные министры. Влюбленные, вернее влюбленный и преследовавшая свою цель Екатерина Викторовна, не ожидали того скандала, который грянул и, конечно, погубил бы их, во всяком случае прервал бы карьеру Сухомлинова и тем самым разрушил бы в корне честолюбивые замыслы Екатерины Викторовны, если бы не ошибка, сделанная государем. Когда Владимир Николаевич узнал об измене, то между ним и Сухомлиновым разыгралась бурная сцена, где киевляне стояли на стороне Бутовича. Возмущенный Владимир Николаевич, желая наказать жену, сказал, что он развода не даст, забрал сына и уехал в Круполь. Екатерина Викторовна, не получив развода, не могла выйти замуж за Сухомлинова и жила бы у него в Санкт-Петербурге либо инкогнито, либо в роли содержанки – ни то ни другое ее, конечно, не устраивало, и она употребила все свое влияние, чтобы подействовать на совершенно ослепленного старика генерала и заставить его предпринять решительные шаги. Этой женщине судьба до поры до времени ворожила. Сухомлинов, воспользовавшись отъездом из Киева Владимира Николаевича и пустив в ход все свои связи, подлоги и прочее, устроил развод и сейчас же женился.

К тому времени его назначили начальником Генерального штаба, и чета Сухомлиновых уехала в Петербург. Они полагали, что этим все и закончится, но Владимир Николаевич начал действовать с решимостью и энергией прямо-таки удивительными. Он подал в суд. Выяснилось, что ряд темных личностей сфабриковали для Сухомлинова подложные бумаги – на них основывал Синод свое постановление о разводе – и прочее. Словом, пресса начала писать и разгорелся невообразимый скандал. Владимира Николаевича хотели признать сумасшедшим, но он с сыном скрылся за границу и оттуда писал и искал защиты всюду, начиная от государя и кончая Дворянским собранием. Я не буду приводить здесь подробности и отдельные эпизоды этого невероятного скандала, который длился несколько лет, нашумел не только на всю Россию, но и на всю Европу, и замечу лишь, что именно тогда Сухомлинов познакомился и сошелся, благодаря своей супруге, со всеми теми темными личностями и аферистами, которые были ему нужны по делу развода, а потом, во время войны, погубили его репутацию и его самого. Положить предел этому скандалу было крайне легко и необходимо самому государю. Когда об этом ему доложили, намекнув, что поведение Сухомлинова таково, что его следует немедленно отправить в отставку и тогда скандал сам собою потеряет свою остроту и станет конфликтом лишь двух частных лиц, государь, который был чрезвычайно упрям, ответил: «Сухомлинов нужен мне и России, а Бутович нет». Говорят, что впоследствии государь осознал свою роковую ошибку, но было уже поздно, и Сухомлинов стал его злым гением и одним из пособников его гибели. Вот в двух словах история развода Владимира Николаевича, и теперь я могу вернуться к своей встрече с Е. В. Сухомлиновой уже в Санкт-Петербурге.

Сухомлинова меня, конечно, узнала, первая подошла ко мне, начала говорить и затем усиленно приглашать к себе. Я отказывался, но она так мило и настойчиво меня просила, да и окружающие начали уже обращать внимание на эту сцену. Дабы положить этому конец, я просил разрешения лишь проводить ее до военного министерства, а там думал улизнуть. Перспектива знакомства с Сухомлиновым мне совершенно не улыбалась, да и после всех скандалов одного из Бутовичей с Сухомлиновым мое появление в их доме было бы по меньшей мере странно. У магазина Александра стоял автомобиль военного министерства, который вмиг доставил нас на Мойку. Едучи в этой машине и ведя бессодержательную беседу с Екатериной Викторовной, я думал о превратностях судьбы: действительно, эта женщина еще каких-нибудь семь-восемь лет тому назад получала 25 рублей в месяц и учила крестьянских детей в глуши Киевской губернии, и вдруг она становится женой одного из богатейших помещиков, а еще через несколько лет – женой всеильного военного министра Российской империи. Да, судьба всегда ворожит своим баловням, а Екатерина Викторовна была из их числа... Едва автомобиль подкатил к министерскому подъезду, к нам подскочили несколько вестовых и дежурных. Я хотел откланяться, но Екатерина Викторовна полусерьезно мне сказала: «Здесь вы в моей власти: вы в плену. Пойдемте наверх. Муж так много о вас от меня слышал и давно хотел с вами познакомиться». Положение мое было, что называется, пиковое. Я посмотрел на решительные лица вестовых, увидел, что они шутку своей генеральши принимают всерьез и меня, чего доброго, действительно не выпустят. Оставалось одно – подать руку Екатерине Викторовне и подняться с ней наверх, что я и сделал. Ну, думаю, посижу несколько минут, выпью чашку чая, дня через два сделаю визит и на том отношении закончатся. Пройдя ряд больших приемных и зал, холодно и чопорно обставленных, мы вошли в ярко освещенную гостиную, где горел камин и было тепло и очень уютно. Попросив меня сесть, Сухомлинова скрылась в боковую дверь и через несколько минут вышла оттуда с мужем. Это был среднего роста старик, седой, с небольшой бородкой в виде эспаньолки, в военном сюртуке, с крестом на шее и Георгием в петлице, в генерал-адъютантских погонах и при аксельбантах. Лицо у него было подвижное, в манерах было что-то мягкое и вкрадчивое, голос приятный, а выражение глаз пронизывающее, но доброе и с хитринкой – то, что называется «себе на уме». Екатерина Викторовна нас познакомила, и мы начали беседовать, а она на время покинула нас. Сухомлинов умел говорить и еще лучше умел льстить. Он был очень умен, в этом не было никакого сомнения, но и, кроме того, очень хитер. Он также обладал шармом и совершенно очаровывал своего собеседника. Он мне наговорил, конечно, много очень приятного и лестного, а я слушал его и, не оставаясь в свою очередь перед ним в долгу, думал: «Вот чем ты берешь государя, старый шармёр...» Жена министра вернулась, подали чай, и разговор стал общим. В это время в соседней комнате промелькнули несколько генералов Генерального штаба с увесистыми портфелями в руках и прошли в кабинет министра. Оттуда выглянул адъютант в чине ротмистра, с которым я позднее познакомился, некто Булацель, как бы желая напомнить генералу, что у него важное заседание. Я поднялся и стал прощаться, Сухомлинов проводил меня до нижней лестницы, где мы и расстались с ним, уверяя друг друга, что будем встречаться. Так совершенно случайно состоялось мое знакомство с Сухомлиновым, которое на этом не оборвалось, а имело продолжение и вызвало весьма важные последствия.

Через два дня, когда я сидел у себя в номере и, по обыкновению, просматривал вечернюю «Биржевку» перед тем, как ехать в город с визитами, раздался стук в дверь. «Entrez»*, – ответил я по-французски, так как в то время останавливался на

* Войдите (фр.).

Морской в «Отель де Франс», где почти вся прислуга была нерусская. Дверь отворилась, и на пороге моего номера показался генерал-адъютант Сухомлинов. Он делал мне ответный визит уже через два дня, подчеркивая этим, какое значение придавал знакомству со мной. На этот раз мы беседовали довольно долго, и Сухомлинов, что называется, взял быка за рога. Он мне сказал, что от жены знает, какой я ярый сторонник орловского рысака, и что ему также известно, что генерал Зданович не на месте и служит постоянной угрозой орловским коннозаводчикам, но что он силен, так как его поддерживает граф Воронцов-Дашков и через Шубинского теперь начала поддерживать и Государственная дума. Далее Сухомлинов заметил, что Зданович мало внимания уделяет верховому коннозаводству страны и что этого совершенно достаточно, чтобы он, Сухомлинов, как военный министр, потребовал его ухода. Я молча смотрел на Сухомлинова. Он, улыбнувшись, добавил: «Стоит мне сказать государю два слова, и завтра же Здановича не будет. Однако я не имею подходящего кандидата и сделаю это только в том случае, если вы, Яков Иванович, укажете мне на такового!» Было ясно, что Сухомлинову решительно все равно, кто будет управляющим коннозаводством, Зданович или Иванов, так же мало ему дела и до верхового коннозаводства, но ему что-то от меня нужно. «Какая цена, вот в чем дело», – подумал я, и старый хитрец как бы прочел это в моих глазах и сказал: «Так зная дело и проведя своего кандидата в управляющие коннозаводством, вы, Яков Иванович, примете самое деятельное участие в делах коннозаводского ведомства. Подумайте только!»

Открывались новые для меня перспективы, и старик ловко сыграл на моем честолюбии. Однако это не была цена, которую хотел получить Сухомлинов за назначение в управляющие коннозаводством моего кандидата, и я уклончиво ответил, что прошу разрешения подумать. Тогда Сухомлинов, засмеявшись и взяв меня за руку, сказал: «Вы подумайте только, Яков Иванович, какое произведет впечатление на государя императора, когда я, прося уволить Здановича, укажу имя нового кандидата и доложу, что вы его мне рекомендовали, а я вам, лидеру орловцев и знаменитому коннозаводчику, слепо верю! Государь, конечно, расхохочется от всей души и скажет: «Как, вы?! Вы проводите кандидата Бутовича?! Ну, не вашего Бутовича, но все-таки Бутовича... Это великолепно!» «Вот она, цена, – подумал я. – Теперь понятно, почему Екатерина Викторовна так усиленно тащила меня к себе и почему ее муж так хитро и ловко вел разговор о Здановиче: им надо показать, что если Владимир Николаевич их непримиримый враг, то вот другие Бутовичи, в данном случае Яков Иванович, не только у них бывают, но даже и прибегают к их любезности: хотя вопрос и государственный, а не личный, но все же проводят его через Сухомлинова...»

Сухомлинов, видя мое колебание, встал, начал прощаться и сказал: «Яков Иванович, если орловский рысак будет в опасности, в моем лице вы всегда будете иметь ярого защитника – если будет нужно, обращайтесь тогда прямо ко мне». Умница Сухомлинов знал, чем меня взять, и приберег к концу разговора свой самый сильный и веский аргумент. Мы расстались хорошо, я его проводил до швейцарской, куда высыпала почти вся прислуга с хозяином гостиницы во главе. В гостинице приезд министра произвел впечатление, и Сухомлинов со смехом заметил мне: «Совсем как в Миргороде или Золотоноше во время приезда губернатора...»

Несколько дней я колебался и раздумывал, как поступить, и наконец решил поехать к Рибольту, чтобы ему все рассказать и с ним посоветоваться. Граф Георгий Иванович, с которым у меня были наилучшие отношения, выслушал меня и затем сказал, что вопрос этот настолько личного характера, что он не решаетя дать мне тот или иной прямой совет, после чего добавил, что если бы Зданович ушел и управляющим коннозаводством был назначен коннозаводчик-орловец, то положение орловского коннозаводства было бы надолго укреплено. «В политике не может быть

сентиментальности и личных чувств», – закончил он и затем перевел разговор на другую тему. Ясно, что Рибопьер считал возможным проведение моего кандидата через Сухомлинова, но не находил деликатным сказать это прямо. После разговора с Рибопьером я решил побывать у Сухомлинова и просить его о назначении на пост главного управляющего коннозаводством князя Щербатова. Разумеется, из чувства фамильной солидарности я не должен был идти на этот компромисс, но, оправдывая свой поступок принципиальными соображениями, решился на этот шаг и в конечном счете был за это наказан. Как и каким образом – расскажу позднее.

Когда я приехал к Сухомлинову и сказал, что не только я, но и все мы, орловские коннозаводчики, были бы ему обязаны, если бы вместо Здановича был назначен управляющим коннозаводством полтавский губернский предводитель дворянства и коннозаводчик князь Н. Б. Щербатов, Сухомлинов с радостью принял эту кандидатуру и сказал, что 1 января приказ о назначении Щербатова состоится. Далее он просил меня никому об этом не говорить, и я сообщил ему, что совещался только с графом Рибопьером. Сухомлинов мне на это ответил, что посвятил в дело лишь своего приятеля генерала Винтулова, начальника ремонта армии, ибо последний войдет к нему с докладной запиской военно-коннозаводского характера, которую уже и доложит Сухомлинов государю и проведет Щербатова, указав, что его кандидатура выдвигается коннозаводскими кругами во главе со мною. Таким образом, в это дело были посвящены Сухомлинов, Винтулов, Рибопьер и я. Вернувшись домой, я раздумывал, почему Сухомлинов так радостно принял кандидатуру Щербатова, но как я ни ломал себе голову, а удовлетворительного ответа на этот вопрос найти не смог и предположил, что Сухомлинов так горячо принял эту кандидатуру потому, что Щербатова по его положению было легче, чем кого-либо другого, провести на этот пост. Лишь позднее я сообщил, точнее, узнал, в чем дело: Щербатов был предводителем дворянства Полтавской губернии, а Владимир Николаевич незадолго до моего разговора с Сухомлиновым обратился, как дворянин Полтавской губернии, в Дворянское собрание, прося защиты и разбора его дела за губернским столом. Прецеденты, подобные этому, бывали, и если бы Дворянское собрание высказалось в пользу Владимира Николаевича и об этом было бы доведено до сведения государя императора, то положение Сухомлинова стало бы крайне неприятным. Все это Сухомлинов учел и, назначая Щербатова, убивал еще и этого бобра: разумеется, Щербатов как бывший губернский предводитель мог оказать в губернии давление, затянуть дело и прочее. Так оно впоследствии и произошло. Проведя Щербатова, я уехал во второй половине декабря на праздники в Прилепы и уже там узнал о состоявшемся назначении князя Щербатова. Князь М. М. Андроников, с которым я был в хороших отношениях и который решительно все знал, пронюхал обо всем этом и прислал мне поздравительную телеграмму, а вслед письмом, в котором рекомендовал немедленно возвращаться в Петербург. К письму любезно был приложен следующий приказ, который я сохранил в своем архиве и сейчас здесь привожу.

**Приказ по Главному управлению государственного коннозаводства
в Санкт-Петербурге**

Января 15-го 1913 года № 1

Именным Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату в 1-й день сего января, всемилостивейше повелено мне быть управляющим государственным коннозаводством.

С Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, вступив сего числа в управление государственным коннозаводством, объявляю об этом по ведомству.

**Управляющий государственным коннозаводством
камергер князь Н. Щербатов.**

Получив письмо князя Андроникова, я поехал в Петербург, где уже был Щербатов, вступивший в исправление своих обязанностей. Однако прежде чем рассказать о моей первой встрече с ним, сделаю небольшое отступление и скажу несколько слов о личности самого князя и о том, почему я выдвинул именно его кандидатуру на пост управляющего коннозаводством, а не кандидатуру другого лица.

Со Щербатовым меня познакомил в Дубровке Фёдор Николаевич Измайлов. Незадолго до этого Щербатов купил верстах в двадцати-двадцати пяти от Дубровки имение и таким образом стал полтавским помещиком. Он развел небольшой рысистый завод, основу которого составили лошади завода его отца, не вполне рысистого происхождения. Позднее завод этот превратился в рысистый. Благодаря близости Дубровского завода Щербатов тогда пользовался жеребцами великого князя, но вообще был коннозаводчиком-дилетантом и ничего не только серьезного, но и прямо-таки порядочного у себя на заводе не развел. Женат он был на дочери известного тамбовского коннозаводчика М. Г. Петрово-Соловова. Его имя, средства и связи импонировали многим, и Измайлов неоднократно говорил мне о том, что Щербатова надо ближе привлечь к спортивно-коннозаводским делам.

Читатель этих мемуаров должен иметь в виду, что существование большинства рысистых заводов того времени было тесно связано с существованием тотализатора. На тотализатор все время были нападки со стороны Московской городской думы и известных кругов общества, либеральничавших и искавших себе дешевой популярности. В силу этого мы, коннозаводчики, выдержали не одну осаду против тотализатора и наши лидеры постоянно были озабочены привлечением сильных мира сего на нашу сторону и в наши ряды. Это была одна из причин, по которой Измайлов обратил внимание на Щербатова, затем он думал его использовать и для орловского дела.

Князь Щербатов был человек не глупый, но отнюдь не умный. Чрезвычайно хитрый и отличавшийся вкрадчивыми манерами, он очень мягко стлал, но многим, вероятно, было жестко спать. На посулы был тароват. Будучи недостаточно образован, он, как воспитанный человек, умел это скрыть. Держал тон независимого человека и большого барина и этим подкупал многих. Вскоре после моего знакомства с ним он был избран полтавским губернским предводителем дворянства, что вполне упрочило его положение в губернии. Я тогда же поделился с Измайловым моими впечатлениями о нем, причем сказал, что Щербатов производит самое приятное впечатление (оно так и было в действительности), но что это человек не большого ума и едва ли сможет принести пользу в нашем деле. По просьбе Измайлова Главное управление государственного коннозаводства пригласило князя Щербатова экспертом на всероссийскую выставку 1910 года. Здесь Щербатов имел возможность познакомиться со многими коннозаводчиками и показать себя. Ему, что называется, повезло, и к концу выставки он стал весьма популярной фигурой. Этим он был обязан, конечно, не своей работе в экспертной комиссии, ибо в лошадях он ничего не понимал и в комиссии, вероятно, благоразумно молчал или вторил кому-либо из знатоков. Его выдвинул, вернее, обратил на него внимание съезд; здесь в рысистой секции он без умолку болтал (язык у него был недурно подвешен для несерьезных



Ф. Н. Измайлов

выступлений и в небольшом собрании), отстаивал орловца, очень уместно рассказал о своей поездке в Америку и пребывании в Небраске (к слову, этот рассказ был в измененном виде повторен им в Государственной думе и оратор потерпел жесточайшее, прямо-таки небывалое фиаско).

Надо отдать справедливость Щербатову, держал он тогда себя очень мило. Его предводительский китель, отстаивание перед сильными мира сего интересов орловских коннозаводчиков – все это снискало ему не только популярность, но и любовь известной части съезда. Все как-то забыли, что за словами дел не было: Щербатов был избран в комиссию чемпионата, но орловцев отстоять не смог и генерально провалил. Об этом стоило призадуматься, и прежде всего мне, но как-то за успехами его выступлений в секции этот неуспех был отодвинут назад, и вся ненависть орловцев обрушилась на Шубинского – «папу метизации», как его называл Рибопьер. После выставки я лишь случайно встретался со Щербатовым, принимал с ним общее участие в борьбе за ограничение (группа Струков, Рибопьер и я), причем в последнем случае он не играл почти никакой роли, и, наконец, иногда переписывался с ним – вероятно, по тем же вопросам.

Теперь следует объяснить, почему я выдвинул именно князя Щербатова и через Сухомлинова провел его в управляющие коннозаводством. Коннозаводское ведомство всегда мне несколько напоминало консисторию: та же затхлая атмосфера, та же косность, тот же бюрократизм и то же нежелание следить за временем и идти вровень с ним. Я полагал, что князь Щербатов окажется именно тем человеком, кто способен встряхнуть это ведомство и завести там новые порядки, а главное, новый дух. Щербатов не был бюрократом, он был выдвинут коннозаводскими кругами, а стало быть, должен был их поддерживать; он был богат, имел имя и положение, а стало быть, не нуждался в службе и деньгах и мог быть самостоятельным в своих решениях. А если принять во внимание, что он сам был коннозаводчиком, да еще орловским, казалось, что лучшего и более подходящего кандидата немислимо и подыскать. Я жестоко ошибся во всех своих расчетах, а почему – скажу ниже.

Приехав в Санкт-Петербург, я созвонился по телефону с князем и в тот же день навестил его. Князь стал развивать передо мной свои планы и прочее. Я с некоторым недоумением посмотрел на него: я ждал совершенно другого и полагал, что князь, который либо от Винтулова, либо от Сухомлинова узнал все подробности своего назначения, будет, естественно, меня благодарить и затем предложит работать с ним. Ничего подобного не последовало, и я с недоумением спрашивал себя, да уж знает ли Щербатов подробности своего назначения и не воображает ли он впрямь, что назначен из-за своих прекрасных глаз или коннозаводских познаний (последние равнялись нулю, о чем мне хотя тогда и не было точно известно, но я это предполагал). В это время раздался телефонный звонок, и у князя начался разговор с Винтуловым. Меня неприятно поразил если не заискивающий тон князя, то, во всяком случае, излишне предупредительный. «Вот те на, – подумал я. – Вот и представитель нашей общественности... Да так с Винтуловым и Зданович не стал бы разговаривать!» Все для меня было неясно и тревожно. Я посидел несколько минут и после обычных любезностей поехал на Троицкую, прямо к Андроникову. Князь меня ждал и с нетерпением начал обо всем расспрашивать. Когда я ему все это рассказал, он взялся за голову и сказал: «Что вы наделали! Вы умнейший человек – и так, простите, опрометчиво поступили! Да как только вы получили согласие Сухомлинова на назначение Щербатова, вам надо было к нему съездить и обо всем договориться. А вы сидели в деревне и ждали – чего?! Вот уж эта ваша хохлацкая лень... Непростительно!» – «Да, вышло глупо, сознаюсь, милый князь», – ответил я. И затем сказал, что я предполагал у Щербатова занять должность директора канцелярии. «Как, только директора канцелярии?! – спросил изумленный князь. – Да что вы, Яков Иванович! Помощником – вот кем вам надо быть, и это бы так и было, если бы

вы не поленились съездить к этому полтавскому паничу. О, я кое-что о нем знаю... Это хитрая лисица!» – закончил Мими Андроников и, сделав, по обыкновению, большие глаза, поднял на секунду указательный палец вверх.

Мало-помалу князь успокоился и сказал: «Ну, давайте обсудим положение и решим, как быть». После долгих разговоров мы единодушно пришли к следующим выводам: 1. Князь Щербатов действительно мог ничего не знать о той роли, которую я сыграл при его назначении, и тогда его поведение понятно. 2. Князь обо всем знал, но воспользовался моей оплошностью и не хотел со мной работать, как с чересчур яркой фигурой в орловском вопросе, думая, быть может, дать время улечься страстям. 3. Сухомлинов гениально, со своей точки зрения, мною воспользовался, то есть пустил в ход оба козыря, что я ему дал (о них была речь выше), а затем отвернулся и был очень рад, что я сел в лужу и он насолил одному из Бутовичей. 4. Винтулов уверил Щербатова, что он сыграл главную роль в его назначении, чему нетрудно было поверить, так как именно им была подана записка, которую Сухомлинов представил государю императору.

Затем Андроников мне сказал, что во всех случаях дело мое проиграно, и вот почему. Если князь Щербатов действительно ничего не знал и ему теперь сказать об этом, то, если бы ему и захотелось провести меня, он не сможет, ибо статс-секретарь Танеев не пропустит его представление. Ведь я в том же чине, что и Щербатов, так что меня надо будет сразу сделать генералом, как и его. Нет, на это не пойдут, ибо и так многие видные сановники недовольны назначением Щербатова, который ранее никогда не служил и прямо произведен в действительные статские советники, получил министерский пост. Совсем другое дело, если бы Щербатов оговорил это при своем назначении, тогда бы нас обоих одним приказом произвели и назначили. «Пилюли чиновники проглотили бы сразу, а в два приема давать такое лекарство, согласитесь, чересчур сильная доза, – Андронников рассмеялся и продолжил: – Я знаю Сухомлинова – никогда не захочет вмешиваться, чересчур тонкий дипломат: сделал свое дело и ушел».

Андроников был прав, и я решил поставить крест на службе и никого не винить, так как во всем был виноват сам. Позднее Андроников сообщил мне, что он беседовал с Сухомлиновым и тот от души потешался над тем, какого простака я разыграл. Еще через некоторое время мой старший брат Николай Иванович передал мне, что где-то в обществе он встретил Щербатова, который ему намекнул, что он зондировал почву о возможности моего назначения на крупный пост, но Танеев решительно воспротивился. Я сделал вид, что все так и должно быть, и, пробыв с месяц в Санкт-Петербурге, уехал в Москву. Я забыл еще сказать, что на другой день после моего разговора с Андрониковым я получил приглашение к нему на завтрак. Приезжаю, садимся за стол, и тут только я заметил, что перед моим прибором стоит хорошенький серенький ослик. Я понял шутку и рассмеялся от души. Смеялся и хозяин, приговаривая: «Вы не чувствуете, Яков Иванович, как у вас за эти дни отросли уши, а я так даже вижу бубенчики, которые их украшают и звенят», и он тронул ослика за голову. Тот ее нагнул, и маленькие серебряные колокольчики издали мелодичный звон.

Теперь, когда я думаю об этом времени, меня удивляет лишь одно: как я вдруг возымел желание сделаться чиновником и стать директором канцелярии, то есть закопаться в груде бумаг. Я, человек жизни и практики! Это непостижимо, и теперь я с трудом сам верю, что у меня было такое желание, и рад, что оно тогда не осуществилось.

Назначение Щербатова вызвало в Москве и в России, в коннозаводских кругах, сплошное ликование: все были рады и ждали реформ в коннозаводском ведомстве и привлечения к работе молодых общественных сил. Петербург на назначение Щербатова реагировал определенно отрицательно: чиновный мир был обижен

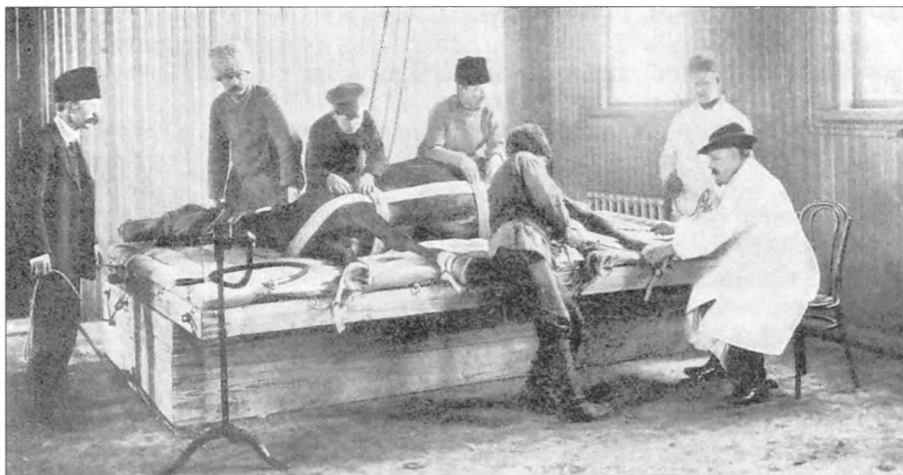
и недоволен по причинам, мною уже указанным, а метизаторы, группировавшиеся вокруг тамошнего бегового общества, опасались репрессий против метизации. Подробности назначения Щербатова стали всем известны, и со дня на день ждали моего назначения; когда же его не последовало, это удивило очень многих и особенно огорчило москвичей. Об ушедшем генерале Здановиче острили, что он из коношни назначен прямо в сенат.

Оправдал ли Щербатов возлагавшиеся на него надежды? Следует ответить, что определенно нет. Разумеется, ничего вредного и дурного он не сделал, да и сделать не мог, но и ничего хорошего при его управлении также создано не было. Щербатов подпал под влияние своего директора канцелярии, который вертел им как хотел, и все осталось по-старому. Это произошло потому, что князь был совершенно неопытен в административной работе, канцелярского дела вовсе не знал и ходил на помощь у своих подчиненных. Все реформы Щербатова свелись к тому, что он в Совет коннозаводства назначил тучу генералов из ремонтного ведомства, в чем справедливо видели влияние инспектора ремонтов Винтулова и желание угодить военному министру. Общественные силы были обмануты, ибо лишь граф Г. И. Рибопьер, председатель Симбирской земской управы Н. Ф. Беляков да кто-то из остзейских дворян были назначены в этот совет. Впрочем, орловцы рады были и тому, что их оставят в покое и не будут травить.

Остается еще сказать несколько слов о том, что Щербатов чрезвычайно понравился государю и тот несколько раз благодарил Сухомлинова за этого кандидата. Это и не удивительно, ибо Щербатов не любил идти вразрез с чьим-либо мнением и предпочитал лавировать и вести дипломатическую игру. Лошадь он, несомненно, любил, но не был истинным охотником; я думаю, что в душе к интересам своего ведомства он относился довольно равнодушно. Его стали упрекать в карьеризме, и, я полагаю, не без оснований. Когда государь император назначил его министром внутренних дел, это вызвало общее недоумение, и многие были поражены, что князь согласился принять столь ответственный в такое тяжелое время пост. Я слышал, что когда состоялось это назначение, то отец князя Щербатова прислал ему лаконичную телеграмму: «Не поздравляю». Если последнее верно, то это лишь доказывает, что старый князь был умнее сына. Я узнал о назначении князя Н. Б. Щербатова министром внутренних дел, едучи в Москву из Прилеп. Мы возвращались из деревни вместе с И. Ф. Лодыженским; в Серпухове прислали последние газеты, и Лодыженский, развернув «Русское слово», что-то прочел и затем сейчас же молча протянул мне газетный лист. Там была телеграмма о назначении князя Щербатова министром внутренних дел. «Бедный Николай и несчастная Россия! – сказал я Лодыженскому. – С такими министрами, как Щербатов, государя ждет судьба последнего Людовика, а Россию – революция». Ровно через полгода эти мои слова повторил в Думе известный кадетский депутат Шингарёв.

Все в том же 1912 году случилось весьма важное для моего завода событие: мой жеребец Кронпринц выиграл Императорский приз в Москве. Немногие заводы в России насчитывали в своих рядах победителей Императорского приза, а потому победа лошади сравнительно молодого завода привлекла общее внимание, принесла лавры и сулила заводу немалые земные блага в виде перспективы появления таких же лошадей, а стало быть, и блестящих продаж ставок. Опишу подробно этот исторический для моего завода день и попутно коснусь тех спортивных событий из жизни опять-таки моего завода, которые ему предшествовали.

Рожденных у меня на заводе лучших лошадей: Кота, Кронпринца, Зулуса, Безнадежную-Ласку (пришла под матерью), Низима, Лакея и других – я не продал, а сдал в аренду моему брату Владимиру Ивановичу, который имел охоту на провинциальных ипподромах. Его лошади подвизались главным образом в Одессе, Киеве, иногда в Елизаветграде. Брат был большим охотником призового дела и потому, живя по-



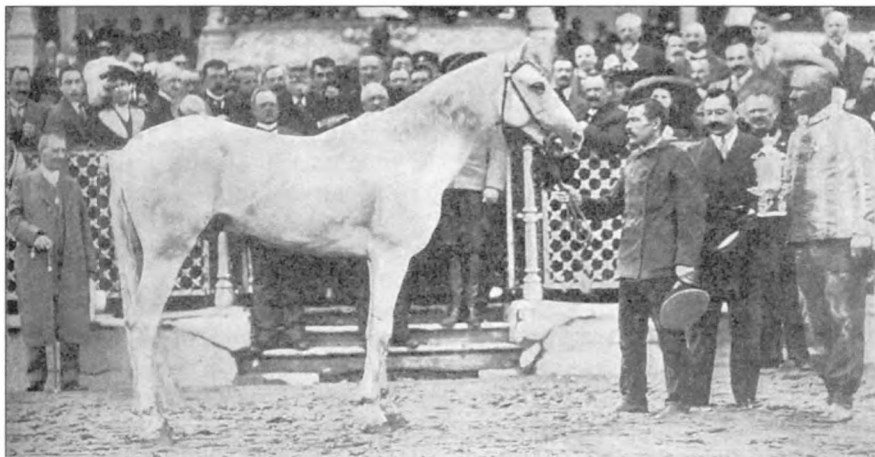
Лазарет бегового общества. В. В. Оболенский осматривает лошадь. 1912 г.

стоянно на юге, в своем имени Херсонской губернии, желал иметь своих лошадей, что называется, на глазах, почему не посылал их в столицы, а охотился тут же, дома. После того как я окончательно обосновался в Тульской губернии, я взял всех этих лошадей от брата с целью передать их в аренду кому-либо в Москве. Вскоре все эти лошади были заарендованы у меня известным наездником Синегубкиным для московского и астраханского охотника И. И. Козлова. От имени последнего они бежали в Москве и затем, по окончании своей призовой карьеры, увенчанные лаврами, вернулись в завод. С весны 1912 года Кронпринц настолько хорошо побежал и выказал себя лошадию столь сильной и дистанционной, что Синегубкин решил его готовить на Императорский приз. Другие наездники и многие охотники отнеслись к этому с недоверием, считая, что Кронпринц не может выиграть у двух резвейших конкурентов – мельниковского Барса и известного Птенца. Синегубкин один знал класс своего питомца и продолжал его готовить к самому трудному и вместе с тем самому почетному призу для орловских рысаков. Естественно, что в Прилепах все живо интересовались результатом этого бега и заводские охотники только о нем и говорили. Приближался день розыгрыша Императорского приза, и накануне этого дня я уехал в Москву. Старший наездник завода А. А. Лохов также просился в Москву посмотреть на бег Кронпринца, и я пригласил его в свою коляску. Всю свою жизнь я отличался суеверием и верил в различные приметы. Отъехав версты две от Прилеп, мы въехали в большое село Кишкино, и первое, что я увидел, была баба с коромыслом на плечах, на котором спокойно качались два ведра с водой. «Хорошая примета», – сказал я Лохову. Он снял шапку и перекрестился, говоря: «Слава Богу, Кронпринц выиграет». Я разговорился с Лоховым, и оказалось, что он не менее суеверен, нежели я. Тут же он рассказал мне, что однажды, когда он служил у Телегина и вел лошадей на бега в Орёл, перед самым городом он повстречал бабу, которая несла ведро с водой. Она поскользнулась и уронила ведро, и вода полилась под колеса тележки, на которой ехал Лохов. По его словам, исключительная удача сопутствовала ему тогда в Орле, он выиграл там все призы. В следующих селах – Лутвинове и Дворицах – нам опять повстречались полные ведра, и настроение Лохова еще более улучшилось. Наконец, у самого вокзала города Тулы баба вышла из подворотни и из ведра выплеснула остатки воды, которые попали под колеса нашего экипажа. Лохов пришел в неистовый восторг и начал меня уверять, что Кронпринц обязательно выигрывает.

Наступил день Императорского приза. Погода стояла пасмурная, можно было ждать дождя. На бегу царило оживление, и трибуны были переполнены. Слышались имена Барса и Птенца: большинство склонялось к тому, что выиграет питомец когда-то знаменитого малютинского завода Птенец, внук великого Летучего по отцу и знаменитого Удалого со стороны матери. Заезда за три до розыгрыша приза прошел ливень, и дорожка стала грязной и очень тяжелой. По такой дорожке могла выиграть только лошадь исключительной силы, ибо одной резвости было уже недостаточно, нужны были тягучесть и сила, сила прежде всего. Прошло еще полчаса, и участники Императорского приза выехали на последнюю проминку перед бегом. Первым показался Птенец, его встретили аплодисментами. Это был небольшой серый жеребец, очень породный и сухой. Им управлял знаменитый наездник Ситников. Птенец промчался мимо трибун на высоком, четком ходу; шерсть его блестяла, глаз горел, а наездник самоуверенно раскланивался с публикой. «Вот он, будущий победитель Императорского приза», – подумал я и вспомнил как-то сразу и с грустью всех баб, встреченных мною по пути с полными ведрами воды... Ляпунов, как обычно, спокойно и уверенно проминал свою лошадь. Его приняли тепло, но Барс не всем нравился: это была небольшая рыже-бурая лошадь, неприятная по типу и весьма мало напоминавшая орловского рысака. В этом не было ничего удивительного: Барс происходил из завода Петрово-Соловова, где были сильны течения и прилития английской и отчасти другой, неизвестной нам крови. Но лошади этих линий испокон веков были необыкновенно сильны, дистанционные и уже насчитывали Императорские призы среди своих представителей. Соперник был серьезный, скажу больше – страшный. Когда вдали показался оранжевый, с сиреневыми полосами камзол Синегубкина, сердце мое почти перестало биться и я стал весь внимание. Синегубкин имел обыкновение ездить в чалчке, на длинных вожжах, взяв руки на себя и несколько откинув корпус назад. На этот раз лошадь его была запряжена в американку. Он сидел прямо и как-то особенно сосредоточенно смотрел меж ушей лошади далеко вперед, на грязно-бурую дорожку круга. Кронпринц за красоту хода был любимцем московской публики. Но здесь он шел значительно спокойнее, не кипел, весь распустился и не так щеголял на ходу, как в прежние свои выступления. Синегубкин был сосредоточенно серьезен и, промяв жеребца, удалился к запряженным сараям. После этой проминки у Кронпринца прибавилось много сторонников и в кассах тотализатора начали усиленно спрашивать его номер. Друзья тесно окружили меня, и мы заняли крайнюю, наиболее удобную ложу на верхнем членском балконе. Со мной были баронесса Розенберг и ее друг, адъютант московского генерал-губернатора штабс-ротмистр Лодыженский, Коноплин и Илюша Лодыженский.

Раздался звонок, возвестивший появление на старте первой лошади. Все устремилось к решетке, все привстало, приподнялось и потянулось ближе к тем местам, откуда был лучше виден весь ход испытания. На вице-президентском балконе все были в сборе. Вице-президент, милейший Павел Сергеевич Окопишников, окруженный старшими членами, в черном сюртуке и цилиндре лично стоял у звонка. Справа от него официально присутствовали представители Главного управления государственного коннозаводства генерал Нелидов и полковник Крамарев, обязанностью которых было следить за правильностью розыгрыша Императорского приза, а после окончания бега подписать протокол и затем отправить его в Петербург. Известно, что во всеподданнейшем отчете указывались только победители Императорского приза – как на бегах, так и на скачках, с приведением резвости бега или скачки и фамилиями заводчика и владельца лошади, выигравшей этот почетнейший в России приз. Условия езды на Императорский приз возвращали охотников к давним временам: все было для современного глаза необычно – и лишний вес, и дистанция 4 версты, и отсутствие хлыста, и езда отдельно на время, и особая строгость в отношении хода, и, наконец, допущение на этот приз только лошадей известного роста и не имевших никаких пороков.

По жребию первым должен был бежать Кронпринц. Жеребец шел спокойно, не горячася, классически хорошо в смысле хода, и Синегубкин вел его всю дистанцию настоящим мастером. Его бег доставил большое удовольствие любителям, и когда он кончал дистанцию, то шумные аплодисменты приветствовали жеребца и его наездника.



Кронпринц, победитель Императорского приза

Дистанция 4 версты была покрыта без сбоя 6.31. Получены первый и четвертый призы с премией коннозаводчику 14 575 рублей плюс кубок (500) и золотая медаль (200 рублей).

Своим отличным бегом Кронпринц задал конкурентам такую задачу, которая для них оказалась неразрешимой. Каждый старался по-своему достигнуть лучшего результата. Вот как в дальнейшем шло испытание. Вторым бежал Шемснур под управлением знаменитого Эдуарда Ратомского. На первой версте он был значительно резвее, вторую версту сделал в резвость Кронпринца, на третьей версте он уже потерял преимущество, а четвертую прошел слабо, однако во флаг попал и получил третий приз. Третьим шел Идеал, но прошел скверно и даже не попал во флаг. Четвертым бежал Птенец. Его публика опять встретила аплодисментами, но своим бегом он положительно разочаровал всех. Начал он сдержанно, но потом потерял все преимущество. Птенец, что называется, совершенно выдохся, и Ситников перестал посылать жеребца, иначе бы тот просто закачался и упал. Кончил Птенец шагом, конечно, далеко за флагом, а Ситников позорно проехал, так как совершенно не рассчитал сил своего жеребца. Последним бежал Барс. Ляпунов провел его ровно, и жеребец сделал все, что мог, придя на четыре секунды тише Кронпринца и получив за этот подвиг второй приз.

Проанализируем теперь мастерскую езду Синегубкина на этот почетнейший приз. Вел он Кронпринца необыкновенно уверенно и ровно: на трех верстах четверти без одиннадцати и десяти чередуются одна за другой, и такое знание пейса замечательно; сообразно с этим первые три версты вышли 1.38; 1.38 и 1.38, то есть в ту же резвость. Последнюю версту он ехал всюю, так как чувствовал, что в этом сухом, чисто арабском жеребце львиное сердце, он отвечает на посыл и имеет еще значительный запас резвости. Полверсты вышли без тринадцати, и это на четвертой версте резвейшая полуверста (удивительны сердце и сила лошади!), а вся верста была покрыта в 1.36, то есть явилась резвейшей во всем беге!

Синегубкин проехал замечательно, но надо отдать должное и силе Кронпринца, который так блестяще одолел своих соперников, что некоторых буквально зарезал,

а вторая лошадь пришла на целых четыре секунды тише. Это тем более удивительно, что Кронпринцу было всего лишь пять лет и во всей истории рысистого терфа лишь один Крепыш выиграл Императорский приз будучи также пятилетком! После бега знатоки и старожилы начали обсуждать езду Кронпринца и пришли к заключению, что проиграть он никак не мог, и вот почему: они говорили, что Кронпринц, участвуя в групповых призах, обыкновенно бежал правой стороной и терял при этом, не вполне обнаруживая свою резвость. Теперь пришлось бежать отдельно на время, и это первый плюс. Второе обстоятельство – увеличенный вес, к чему Кронпринц привык. И наконец, в-третьих, тяжелая дорожка, которая повысила значение веса. И вот при таких-то обстоятельствах, заключали они, Кронпринц не мог проиграть. Весьма жаль, добавлю от себя, что все эти аксиомы были высказаны не до, а после розыгрыша приза!

Посмотрим теперь, что происходило в моей ложе во время бега на Императорский приз. Я, конечно, волновался, но, хорошо владея собой, наружно был совершенно спокоен. Федя Лодыженский, человек весьма экспансивный, нервничал невероятно и волновался больше меня; то же следует сказать и про баронессу Розенберг. Коноплин, как всегда, был спокоен и с часами в руках следил по четвертям и полуверстам за ходом бега. «Раз!» – послышалось со всех сторон, когда раздался короткий удар звонка, возвестивший, что Кронпринц начал свой бег, и все «машины» в руках у охотников и спортсменов были пущены в ход. После того как проехал Кронпринц, Коноплин спокойно положил часы в карман и сказал: «Только Барс может побить эту резвость; он идет последним, его и прикину. Остальные ничего не сделают – прикидывать не стоит. Думаю, дорогой Яков Иванович, что приз выигран жеребцом вашего завода». Как мы уже видели, Коноплин оказался прав и Кронпринц стал победителем. Когда, наконец, проехала последняя лошадь и резульат бега стал известен, меня окружили и поздравлениям не было конца. Особенно торжествовали, конечно, мои друзья, которых, как и врагов, было у меня немало.

Но вот настал торжественный момент вручения победителю выигранного им кубка и золотой медали. Показался Кронпринц, а за ним наездник Синегубкин. Жеребца по традиции подвели к центральному выходу на дорожку и поставили против царской ложи. Синегубкин был весь в грязи, да и вид Кронпринца был непривлекателен: из белого он превратился в пегого – так был перепачкан грязью, сильно подтянулся. Но глаза были налиты кровью и сверкали, как раскаленные угли, – стало быть, жеребец был здоров и бег на нем не отразился. Вместе с Федей Лодыженским я поспешил вниз к лошади, а за нами уже двигалась администрация общества: вице-президент с кубком в руках, два старших члена и генерал Нелидов с золотой медалью для вручения ее победителю. Едва Оконишников приблизился к лошади, как раздались торжественные звуки национального гимна, подхваченные присутствующими, и «Боже, царя храни...» далеко разнеслось по Ходынскому полю... После исполнения гимна Оконишников и Нелидов вручили мне кубок владельца и медаль как заводчику и поздравили меня и Синегубкина. Я передал кубок Синегубкину, так как хотя и был владельцем лошади, но она была в аренде у Козлова. Впоследствии я получил кубок обратно, так как в условиях аренды мой управляющий Ситников предусмотрел выигрыш именных призов и оговорил получение кубков и медалей мною и как заводчиком, и как владельцем лошади. Нечего и говорить, что я сердечно благодарил и поздравлял Синегубкина. Пока фотографии метались по дорожке, улавливали момент и щелкали своими аппаратами, я беседовал с Синегубкиным и спросил его, здесь ли Козлов. «Нет, он в Астрахани, – последовал ответ, – но настоящий владелец козловской конюшни здесь. Это Бакулин». – «Как Бакулин? – спросил я. – Почему же он не пишет лошадей от своего имени?» – «Я вам потом подробно расскажу. Вопрос времени, и скоро вы увидите всех козловских лошадей в цветах Бакулина. Это большой любитель, и он будет, несомненно, одним из крупнейших



Я. И. Бутович в день победы Кронпринца в Императорском призе. 1912 г.

охотников на бегу... Вон он стоит, у решетки», – добавил Синегубкин. Я обернулся и увидел у решетки молодого человека, скромно, но изящно одетого, с приятным лицом и красивыми, несколько тревожными глазами. Рядом с ним стоял другой молодой человек, изумительно красивый, – как я потом узнал, его приятель Л. В. Приходько. Вот при каких обстоятельствах я впервые услышал фамилию Бакулина, с которым мне впоследствии суждено было делать большие дела, так как он стал моим неизменным и постоянным покупателем.



*Кубок
Императорского
приза, полученный
Я. И. Бутовичем*

Внизу, в членской, поздравления были не менее сердечны или, по крайней мере, казались таковыми. Мне пришлось подсаживаться к целому ряду столиков, жать руки, благодарить, пить вино, чокаться, опять благодарить и прочее. За одним из столиков восседал знаменитый московский барышник Ильюшин. Я подошел к нему. Здесь была своя компания во главе со знаменитым Коровкиным, все это были «атташе» при особе Ильюшина, туза конной торговли того времени. Пили неизменный чай с манностями, то есть миндалем и изюмом, и так же горячо принялись поздравлять меня. Ильюшин – настоящий самородок и умница первой руки, из бывших цыган, – говорил всем «ты» и за каждым словом добавлял «ангел мой», причем слово «ангел» выговаривалось как «андел». «Вот что, андел мой, – сказал он мне под конец. – Теперь не стесняйся, прямо накидывая по двести целковых в круг на ставку. Не бойся, заплатят!» – «Как же, жди по двести целковых, – подумал я. – Теперь надо будет накинуть по пятьсот, а то и больше!»

Хитер был Ильюшин и умел купить лошадь. Недели через две после этого разговора он приехал в Прилепы, посмотрел завод, одобрил и отобрал одного четырехлетка. Это был вороной жеребец Урожай, сын малютинского Кобзаря и Ундины, лошадь крупная, дельная, сухая, костистая и необыкновенно эффектная и породная, как внук кожинского Бережливого со стороны матери. «Цена?» – поинтересовался равнодушно Ильюшин. – «Три тысячи». – «Что ты, андел мой! – завопил на всю конюшню Ильюшин, и глаза у него налились кровью и полезли на лоб. – Мыслимо ли за четырехлетка, да еще пестрого, три ноги в чулках, во лбу фонарь, остался один от ставки, и спросить три тысячи?! Нет, не нужен, таких цен не платим!» – «Жеребец не остался, а оставлен от ставки, Василий Петрович, – ответил мой управляющий. –

И оставлен для генерала Гринвальдта. Пойдет на царскую конюшню, да еще, чего доброго, попадет в царские одиночки». – «Чего болтать зря, какая такая царская одиночка с фонарем да вся пестрая, как корова, его и близко-то к царским конюшням не подпустят!» Ильюшин прикинулся равнодушным, и выводка кончилась. «Ладно, – думал я, идя домой через верхний сосновый парк и жадно вдыхая крепкий смолистый запах, – не выпустим тебя, голубчика, с пустыми руками, жеребца продадим...»

После обеда, когда жар стал спадать, мы поехали в табун: Ильюшин, сопровождавший его Коровкин, Ситников и я. У крыльца уже стояла ялтинская четырехместная плетеная корзинка, запряженная парой пятивершковых строкатых жеребцов. «Тьфу! – плюнул Ильюшин, выйдя на крыльцо и увидев пару. – Хороши жеребцы! И где только достали такую пару?» И он полез в корзинку. Мы спустились к реке и въехали в небольшой лесок. Лес звенел от голосов птиц. С озера, от мельницы, поднялась стая куликов и уток и улетела через густо зеленеющие луга к другой низине. Табун маток был рассыпан по лугу на берегу Упы. Завидев нас, табунщики собрали лошадей и медленно стали подводить их к нам. Мы подъехали. Ильюшин не спеша слез, приложил руку к козырьку своей фуражки и долго смотрел. «Хороши кобылы, – сказал он задумчиво и стал обходить табун, внимательно осматривая маток и изредка спрашивая: – А это какая? А эту откуда достали? А эта чьего завода?..»



Модельные платья на дерби. 1914 г.

Под конец заключил: «Ну, табуна такого и у Лейхтенбергского не видал – и в азарте заорал: – Так их и надо, метизаторов, крой, дуй, создавай орловского рыска, да этак вершков пяти, густого, но сухого, а главное, чтобы стан был и стати – все при нем!» А в нескольких шагах от нас река лепетала и рокотала свои вечные сказки, и ей не было дела ни до нас, ни до орловцев, ни до метисов...

Вернулись домой и сели в саду под липами пить чай. Разговор вертелся вокруг прежних барышников, и я с большим интересом слушал Ильюшина. Коровкин решил, что пора приступать к делу, и елеиным голосом стал уговаривать «дружка», сиречь Ильюшина, купить четырехлетка. «Что ты, андел мой, брось. Разве не знаешь, какова торговля нынешним летом – почитай, и почину еще не сделали. От Лейхтенбергского как привели сорок жеребцов, так все и стоят, а из них одних пар, да еще каких, шестнадцать. А лошади все одна к одной. Какую ни тронь, и фасонна, и манерна – всё при ней, а про стати уж и не говори!» Далее – более, и пошла писать губерния.

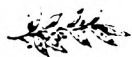
Словом, после долгих дипломатических усилий со стороны Коровкина и двух выпитых самоваров чая Ильюшин наконец сдался и как бы нехотя сказал: «Купить бы, пожалуй, и можно, жеребенок хоть и пестроват, да «бумажка» у него модная. В нашем деле без этого нельзя. В другой раз нарвешься на купчика из Шуи или Иваново-Вознесенска, а он потребует товар помодней – ну, ему и выведешь такого козла: вот, мол, смотрите, чего модней искать, модней и быть не может – бутовского завода, слышали небось, нынче Императорский выиграл. Ну и бери с него деньги, – закончил

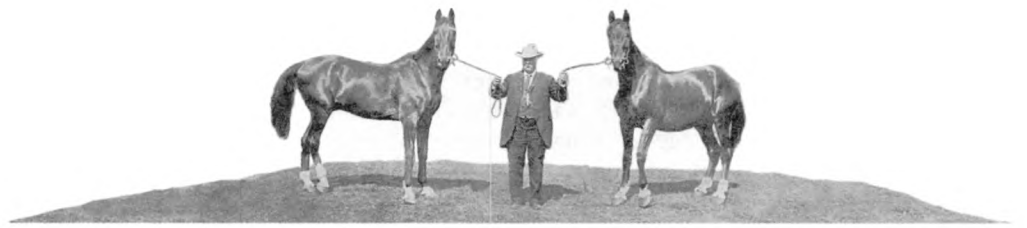
Василий Петрович, опрокидывая свой стакан вверх дном и решительно отказываясь от чая. – Из-за этого бы только и взял... Пожалуй, две тысячи дам». Коровкин вскочил и замахал руками на дружка: что ты, мол, ошалел, опомнись... Словом, эта бесподобная сцена продолжалась во все время чаепития и доставила мне громадное удовольствие. Я также перед дружками не спасовал и продал-таки им Урожая недурно – за 2450 рублей, все время при этом приговаривая, что только знаменитому Василь Петровичу уступаю лошадь – для рекламы, чтобы поддержать фирму, так как нельзя же, чтобы у первого конноторговца Москвы не было лошади моего завода.



Каша (Литой – Комета) завода П. Г. Миндовского

Пора вернуться к последствиям выигрыша Кронпринцем Императорского приза – они были многочисленны и приятны. В следующем же воскресном номере спортивных журналов появились фотографии Кронпринца на ходу, во время осмотра перед Императорским призом, после выигрыша этого приза и прочие. Словом, Алексеев старался вовсю и был на высоте задачи. Особенно удачным оказался снимок «Исполнение народного гимна после Императорского приза»: в центре П. С. Окопишников с кубком в руках, справа я и слева Ф. А. Лодыженский. Этот снимок облетел большинство журналов и украшал многие иллюстрированные приложения газет. Появились затем и хвалебные статьи о молодом заводе, приводились подробности покупки отца Кронпринца Недотрога, вспоминали, что и он в 1897 году выиграл Императорский приз. Прохоров-Грановский разразился целой статьей о Каше – матери Кронпринца – и пропел хвалебный гимн моему таланту и умению выбрать заводскую матку. Пресса была хорошо подготовлена и, как по камертону, нигде не сфальшивив, красиво провела кампанию и здорово-таки прорекламиривала мой завод. Продаж этой осенью было сделано на рекордную сумму, а приездов спортсменов и охотников было как никогда. Где уж тут дремать, когда буквально не было времени передохнуть: каждый день новые лица, приемы, разговоры, дипломатические продажи и просто продажи... Все это в конце концов меня утомило, и я уехал на юг, оставив Ситникова в Прилепах, как всегда во время своих отъездов, полным хозяином дела.





1913 ГОД. ПРИЛЕПЫ

Тысяча девятьсот тринадцатый год ознаменовался в моей жизни крайне неприятным событием, а именно пожаром моего деревенского дома, имевшим место в ночь под Новый год. Однако прежде чем начать рассказывать об этом событии, следует упомянуть, что в 1913 году известность моего завода достигла такой степени, что Прилепы стали весьма часто посещать охотники, спортсмены, коннозаводчики, барышники и вообще различные покупатели. Кто только не перебивал в Прилепах, начиная от крупнейших охотников, таких как Телегин, Коноплин, Щёкин, и кончая учеными, специалистами и профессорами, среди которых М. И. Придорогин и Р. Р. Правохенский, побывавшие в заводе даже по нескольку раз! Приезжали также и представители коннозаводского ведомства, как с целью осмотра завода, так и с целью покупки жеребцов для заводских конюшен. Побывали в Прилепах генерал Клавер, полковники Крамарев, Пусторослев и Басиев. Не забывали меня ни конно-торговцы, ни более мелкие барышники: приезжали и покупали лошадей Ильюшин, Паншин, братья Делины, Грибанов и другие. Жизнь в Прилепах в этом году текла мирно: завод процветал, сельское хозяйство шло настолько хорошо, что я прикупил у Мюрата соседнее имение Плеханово, где было 75 десятин хороших заливных лугов, и вел переговоры с М. И. Фигнер о покупке у нее Лабынок. Эта покупка не осуществилась лишь потому, что вспыхнувшая война помешала дальнейшему разворачиванию завода и связанного с ним хозяйства. В личной моей жизни особых перемен тоже не было, все текло мирно и спокойно: поездки в Москву и Питер, посещение на юге родных, выезды с целью осмотра заводов, поездка на ревизию в Хреновое и общественная работа по коннозаводству. Беговые успехи лошадей также радовали меня и приносили немалую известность заводу. Победоносное шествие Кронпринца на Московском ипподроме в 1913 году продолжалось, и он выходил победителем в дистанционных призах высших групп. Летний сезон Кронпринц закончил блестящим выигрышем трехверстного пятитысячного приза, и от него мало отставали другие лошади завода. Я уже имел случай упомянуть, что все мои лошади, находившиеся в аренде, бежали от имени И. И. Козлова. В 1913 году на афише Московского бегового общества впервые официально появилось имя П. П. Бакулина. Лошади козловской конюшни, на которых ездил Синегубкин, стали записываться от имени И. И. Козлова и П. П. Бакулина. В охотничьих кругах стали говорить, что Козлов, имевший большое торговое дело в городе Астрахани, разорился и, дабы удержать конюшню, взял вполчину пайщиком на всех своих лошадей Бакулина. Я обратился к Синегубкину за разъяснением. Он вполне подтвердил слух о разорении Козлова, весьма об этом сожалел и затем сказал мне, что Бакулин не только заменит Козлова, но и будет более видным и крупным охотником. Он рассказал мне, что у Бакулина многомиллионное состояние, что он владелец шерстоткацкой мануфактуры и человек очень приятный и широкий в делах. Словом, бакулинские деньги появились в охоте, а позднее этот спортсмен истратил немало средств на покупку лошадей и вообще на призовую охоту. «Вам необходимо познакомиться

с ним», – сказал мне Дмитрий Иванович Синегубкин, на что я охотно дал свое согласие. Познакомил нас на бегу, конечно, Синегубкин.

П. П. Бакулин действительно оказался воспитанным, милым и крайне приятным человеком. Он был высокого роста, стройный и красивый брюнет, в то время ему было лет тридцать с небольшим. Бакулин принадлежал к числу тех счастливых в жизни людей, которых природа щедро наделила тем, что французы так метко называют шармом. Люди к нему льнули сами собой, искали его общества и хорошо к нему относились. В Бакулине в высокой степени была развита общественная жилка, не в том смысле, что он был широким работником или деятелем на общественном поприще, а в том отношении, что он сам любил общество (свет). Жил он широко, принимал у себя охотников и любил вращаться в кругу интересных людей. Бакулин принадлежал к весьма почтенной и старинной московской купеческой семье, получил основательное коммерческое образование, а затем, по-видимому, сам продолжил свое образование. Благодаря этому он был замечательным собеседником и в его обществе нельзя было скучать. Политикой он, как мне кажется, интересовался весьма мало, и главные интересы его были сосредоточены на «деле», то есть на своем знаменитом предприятии, той громадной фабрике, которую он вел с большим умением и знанием дела. Фабрика была многомиллионным предприятием, причем все это быстро шло вперед и развивалось, и если бы не революция, то Бакулина, несомненно, ждало бы громадное обогащение и он выдвинулся бы в ряды первых московских богачей! Однако было бы ошибкой думать, что Бакулин принадлежал к числу тех людей, для которых дело наживы было всем и вне его не существовало других интересов и смысла в жизни. Отнюдь нет. Это был довольно разносторонний и весьма пылливый ум: интересовался он очень многим, и среди этих других его жизненных интересов лошади и искусство занимали далеко не последнее место. Лошадей Бакулин любил страстно, по-настоящему и уделял им немало времени. У него был верный глаз и, я думаю, даже чутье к лошади, хотя сам он, как чересчур занятой человек, лошадей не покупал, это всецело лежало на обязанности его наездника Синегубкина. Свою охоту он начал довольно рано, и первая самостоятельная покупка была сделана им у хвалынского коннозаводчика А. Я. Соплякова. Он купил в Москве трех или четырех лошадей, приведенных для продажи с этого завода, и среди них оказался весьма резвый жеребец Заратустра. Первая покупка получилась удачной, Бакулину, что называется, посчастливилось – впрочем, этот охотник «родился в сорочке» и в лошадином деле ему всегда и неизменно везло, как и во всех других его начинаниях и делах. Эти первые лошади Бакулина бежали еще не от его имени, ибо тогда ему, совсем молодому человеку, по некоторым чисто коммерческим соображениям не хотелось выставлять свое имя на беговой афише. Широкие круги публики, а равно и спортсмены впервые увидели имя Бакулина связанным с именем Козлова, то есть признали его как совладельца одной из лучших призовых конюшен Москвы, а стало быть, и России. Я еще не имел случая упомянуть, что Бакулин во всех своих делах был весьма широким человеком. Он ничего не любил делать наполовину и кое-как и, решив официально охотиться, сразу вошел в крупное дело, почему о нем незамедлительно заговорили на бегу.

– Сергей Африканович, а Сергей Африканович, – говорил елеиным голосом Иван Фёдорович Коровкин, попивая чай с манностями и обращаясь к Шпажникову, – Бакулин-то, слышал, в охоту вошел?

– Ну что ж, – отвечал притворно-равнодушным тоном Шпажников, – мало ли их, Бакулиных-то, по Москве.

– Что ты, что ты! Чего зря болтать! – вопил Коровкин. – Понимаешь ли ты, глупый, что такое означает одно слово – Бакулин?! Это миллионы! Вот если бы Господь послал такую благодать, да причалить этому женишку этак сразу же с десяточек лейхтенбергских с конюшни моего дружка Василь Петрова – вот было бы дело!

– Бог даст, завернет и к нам, – говорил Ефим Зубков. – А не завернет – сам пойду, разыщу, заманю...

– Как же, жди... – замечал Шпажников. – Небось у Синегубкина все уже давно вырешено, где и что купить, и ты хоть скачи перед Бакулиным задом и передом, а все равно ничего не продашь.

– Мне бы только причалить его на лейхтенбергских, – не унимался Коровкин.

– Не причалишь, Иван Фёдорович! На такого осетра сноровки, братец, не знаешь. Надо его сначала обойти, потом ему намолот с три короба, да так, чтобы у него и в глазах-то зарябило, и в мыслях бы затуманилось. Тут даже Африканычу, и тому не справиться...

Подобные разговоры велись на бегу среди комиссионеров, мелких охотников и прочего люда, однако и «наверху», где собирались только действительные члены, и в кабинете вице-президента, где бывали только избранные и воротилы общества, заинтересовались Бакулиным. Телегин, развалясь, по обыкновению, в кресле, спросил присутствующих: «Что это, господа, за Бакулин? Правда ли, что это крупный фабрикант и миллионер?»

Свежий приток средств в конюшню Синегубкина, конечно, благоприятно отразился на деле, и эта конюшня приобрела еще большую известность. Через некоторое время Синегубкин всецело перешел на службу к Бакулину, а имя Козлова исчезло с афиши. Я не буду приводить здесь успехов бакулинской конюшни, а они были очень велики, ограничусь лишь тем, что скажу: это была одна из лучших конюшен Москвы по составу лошадей, постановке дела и по той корректности, с которой оно велось. Если бакулинская лошадь была на афише, все могли быть уверены в том, что она едет за выигрышем, и какие-либо комбинации с тотализатором здесь никогда не допускались. Перечислять сейчас главных бакулинских рысаков я не стану, ибо имена некоторых из них были известны всей России, а других – всей Москве. Следует лишь указать, что пополнение этой конюшни последнее время шло главным образом из двух заводов – В. Ф. Шереметева и моего. Именно эти два завода дали главные кадры бойцов в знаменитую призовую конюшню, и я намереваюсь сказать два слова о том, как покупались эти лошади у меня в заводе.

Синегубкин стал постоянным покупателем завода. Он имел обыкновение приезжать два раза в год. Сначала посмотрит лошадей, отберет, переговорит с хозяином и затем через некоторое время приезжает и берет то, что отобрано. Платил он хорошо, в деньгах задержки никогда не было, и никаких куртажей, нелегальных выговорных доплат и прочего не признавалось и не делалось. Таким образом Синегубкин перекупил у меня для Бакулина немало лошадей, и среди них резвейшим был Зов, впоследствии показавший рекорд 2.14 – к сожалению, уже не в цветах Бакулина, а у другого лица. Особенно замечательная ставка была куплена Синегубкиным в количестве восьми или десяти лошадей в год революции. Жаль, что плодами этой покупки Бакулину уже не пришлось воспользоваться, ибо лошадям тогда было два года, а вскоре прихлопнули и самый бег, и события для всех нас понеслись с такой головокружительной быстротой, что стало уже не до лошадей. Один жеребец из этой бакулинской ставки уцелел, долго мотался в Смоленской губернии по случайным пунктам и, когда появился после этого совершенно изломанным и немолодым на московском бегу, умудрился прийти в 2.21! Это был Пахарь, сын Громадного, лошадь, вне всякого сомнения, исключительно высокого класса.

Призовое дело Бакулина все развивалось и развивалось, и Синегубкин, который пользовался полным доверием своего хозяина, стал подумывать о том, чтобы купить для него первоклассный завод. Так как ему приходилось иметь дело с бакулинским размахом, то решено было купить телегинский завод. Не более и не менее. Это тоже было за несколько месяцев до революции. Переговоры велись в строжайшей тайне, о них не знала даже жена Телегина. Телегин, у которого не было детей, склонялся

к тому, чтобы продать половину завода или, вернее, взять пайщиком в дело Бакулина. Завод Телегина в то время имел не только всероссийскую, но положительно европейскую известность, и потому пай, который должен был внести Бакулин, равнялся чуть ли не миллиону и удивить меня не мог. Я был в курсе секретных переговоров, ибо «по охоте» у Синегубкина от меня секретов не было. Во всем этом деле меня удивляли обе стороны, то есть и Телегин, и Бакулин, что я и высказал Синегубкину. Зачем продавал или, вернее, брал компаньона Телегин? Он был уже немолод, денежные его дела были хороши, брать же в компанию мало знакомого ему человека, который будет иметь равное с ним влияние на судьбы завода, было неосторожно, а при сумасбродном характере Телегина и вовсе опасно. Однако миллион есть, по-видимому, миллион, и эта головокружительная цифра соблазняла и привлекала Телегина. Впрочем, я совершенно уверен, что, получив этот миллион, Телегин решительно бы не знал, что с ним делать и куда и как его потратить. Надо было знать Телегина так, как я его знал, чтобы не сомневаться в этом. Что касается Бакулина, то Синегубкин сказал мне, что, входя сначала в пай, тот поступает разумно, ибо тем самым накладывает руку на этот великий завод и, конечно, в будущем станет его полным владельцем, так как наследникам, в случае чего, такого пая не выкупить. Это было верно, но революция не дала возможности осуществиться столь грандиозному проекту: завод не перешел в собственность Бакулину и не остался у Телегиных, а стал Злынский госконзаводом и почти что погиб.

Мало-помалу имя Бакулина стало весьма популярным в самых широких спортивных кругах, и потому закономерно, что в начале революции он, еще сравнительно молодой охотник, был избран в действительные члены Московского бегового общества. Мы с Бакулиным стали бывать друг у друга, хотя и нечасто, так как я почти безвыездно жил в Прилепах. И все же мы встречались при всех моих приездах в Москву, а с конца 1925 года эти отношения приняли не только с самим Бакулиным, его старшим сыном Павлушей, но и со всей его семьей такие формы, что стали для меня особенно близкими и дорогими. Впрочем, о них здесь я говорить не буду, так как в этой работе совершенно не касаюсь своей жизни и деятельности во время революции.

Я уже упомянул, что в ночь под Новый год в Прилепах сгорел дом, в котором я жил. Проведя около месяца в Петербурге, я вместе с профессором Н. С. Самокишем и его племянницей приехал на рождественские праздники домой. После шумной столичной жизни деревенская тишина особенно благотворно подействовала на уставшие нервы. Я проводил время за чтением, посещал конюшни, ездил на реку смотреть работу молодежи на льду, а вечером подсаживался к столику Самокиша, за которым тот целыми днями с неизменной папироской в зубах просиживал, рисуя виньетки для книг, акварели баталий для «Нивы» и других иллюстрированных журналов. Мы мирно беседовали об искусстве, говорили о художниках, строили различные планы будущих работ все в той же дорогой нашему сердцу области искусства, и время летело незаметно.

Приближался Новый год, а с ним и то событие, о котором я намереваюсь здесь рассказать. Прежде чем перейти к пожару, скажу несколько слов о старом прилепском доме. Прилепы были куплены Добрыниным в начале 60-х годов у Скаржинских, они и построили этот дом в 20-х годах XIX столетия. Это был скромный деревенский дом в один этаж, длинный и, как большинство подобных построек того времени, низкий. Он был деревянный, снаружи и внутри оштукатуренный, без каких-либо архитектурных украшений. Однако расположение комнат было удобно, а в доме — очень тепло. В нем жилось хорошо, и эта старая постройка, где прошло и сменилось столько поколений, была как-то особенно уютна и приятна для жизни.

Тридцать первое декабря 1913 года мы провели по обыкновению, занимаясь каждый своим делом. Ужин был перенесен на 11 часов ночи, с тем чтобы Новый год



Дом Я. И. Бутовича в Прилепах

встретить за столом, с бокалами вина в руках. Я читал у себя в кабинете французский роман, Самокиш работал в комнате своей племянницы, и в доме, как всегда в ожидании торжественной минуты, водворилась тишина. Часы в зале нежным, певучим звоном проббили 11 часов. В окна старого дома глядела тихая звездная ночь. Я подошел к окну: из него видна была снежная дорога, уходящая в загадочную даль. Кроткая ночь, казалось, предвещала только хорошее. Я был в том особенном настроении духа, когда чувствуешь себя бодро, уверенно и

спокойно глядишь на близкое и отдаленное будущее. Никакие предчувствия приближающегося несчастья меня не волновали и не смущали, а оно уже было тут, за моими плечами, и через каких-нибудь несколько часов все то, что сейчас так мирно и уютно окружало меня, должно было превратиться в море огня и груды развалин...

В начале двенадцатого мы сели за ужин, весело встретили Новый год и в первом часу мирно разошлись по своим комнатам. Я заснул быстро и, как сейчас помню, засыпая, думал о том, как хорошо, как тихо в деревне, как мирно и приятно складывается моя жизнь... Я был разбужен стуком в дверь. Спросонья я долго не мог



В галерее Я. И. Бутовича в Прилепах

прийти в себя, но громкий, тревожный стук вывел меня из сонного оцепенения, и я, протянув руку к ночному столику, хотел включить лампочку. Электричество не зажглось! Я окончательно пришел в себя, понял, что случилось какое-то большое, непоправимое несчастье, и, вскочив с кровати, крикнул: «Кто там? В чем дело?!» – «Не пугайтесь, Яков Иванович, – ответил мне из-за двери дрожащий голос горничной Насти. – Скорей вставайте, дом горит!» Эти роковые слова электрическим током пронзили мое сознание, и первой моей мыслью было: «Боже, какой ужас! Погибнут, сгорят все картины, все, что я с такой любовью и таким трудом собрал из произведений искусства!» Я как был, на босу ногу, в одной ночной рубашке, выскочил из спальни. «Загорелось в ванной! – кричала, всхлипывая, Настя. – Меня разбудил только сейчас сторож Магомет, и я побежала будить вас!» Присутствие духа мгновенно вернулось ко мне, мною овладело какое-то каменное спокойствие, никогда не покидавшее меня в страшные минуты моей жизни, которых, увы, я пережил немало. Вместе с Настей я через кухню выскочил на двор. Здесь топтался черекс Магомет и, держа винтовку в руках, что-то глухо бормотал. «Магомет, – закричал я, – беги, буди служащих, Ситникова, бей у всех окна и кричи «Пожар!», а ты, Настя, беги на деревню, подымай мужиков!»

Мой решительный тон, громкий голос и полное спокойствие повлияли на них, и они опрометью бросились бежать. Я вернулся в дом, везде было темно. Я ощупью добрался до ванной комнаты, выходящей в переднюю. Вот картина, которая представилась моим глазам: в передней было светло – Самокиш открыл там ставни, а сам, наскоро одетый, сымал с вешалки шубы и бросал их на плечо. Я посмотрел направо: угловой портрет знаменитого Полкана 5-го, купленный мной у графа Зубова, только что загорелся, и пламя начало лизать край полотна. Я схватился за голову: всё погребло, все, вероятно, пьяны, всё сгорит! Первой моей мыслью было спастись портрет Серова, и я крикнул Самокишу: «Что вы делаете?! Бросьте шубы, спасайте Серова!» Однако Самокиш уже отворил дверь и выскочил с шубами на двор. В распахнувшуюся дверь ворвалась свежая струя воздуха, образовался сквозной ветер – и в ванной загудел и застонал огонь. Я открыл туда дверь и в ужасе отшатнулся: там все трещало и уже всюду бушевало море огня. Едкая гарь усиливалась в передней, пламя начинало проникать и туда. У моих ног, странно визжа, метался мой любимый фоксик Скелтс. Кто-то простонал в дальних комнатах, и вернувшийся Самокиш бросился туда и вывел полумертвую от страха Роксану Ивановну в валенках на босу ногу и в шубе поверх рубахи. Волосы ее в беспорядке разметались по плечам. Эти две странные фигуры скрылись в дверях. «Время есть, – подумал я. – Загорелось в конце дома, и если не все пьяны и соберутся через пятнадцать-двадцать минут, то многое спасем». Бросившись в спальню, я по дороге везде открывал ставни, что делал совершенно сознательно, дабы сбежавшийся народ не оказался впотьмах и не начался бы грабёж. В спальне я накинул халат, надел туфли и затем пробежал в кабинет. Здесь, взяв из письменного стола револьвер и деньги, сунул все это в карман, затем вместе с вернувшимся Самокишем, который все время сохранял присутствие духа, мы сняли портрет Летучего кисти Серова и Самокиш вынес его на двор. Крича и размахивая руками как полоумный, ворвался мой управляющий Ситников. На нем лица не было, он, очевидно, не отдавал себе отчета в том, что делает. Я стоял посреди гостиной, а Самокиш выносил одну за другой картины. Я взял Ситникова за руку и успокоил. «Как служащие, рабочие, конюхи, скоро ли?» – спросил я. «Будят! – ответил он. – Магомет всех переполошил, бьет стекла – сейчас прибегут! – и уже более спокойно добавил: – Я думал, что нападение разбойников и нас грабят». – «Вот что, Николай Николаевич, я буду распоряжаться здесь, в доме, а вы ступайте на площадку перед домом, будьте там неотлучно, кругом поставьте сторожей, и туда все спасенное будут сносить». Прошло еще несколько минут, и к горевшему дому сбежались люди. Маточник, наездники, повар, лакеи,

конюхи и рабочие – все они кричали, метались, хватали что попадет под руку, несли во двор. Начали рвать занавески с окон и спасать то, что не нужно. С большим трудом я водворил порядок, криком подчинил себе всех, и мы начали сымать и выносить только картины. С поразительной быстротой, переходя из комнаты в комнату, мы спасли буквально все картины. Подбежали мужики из деревни. Огонь тем временем разрастался, горела крыша, и через переднюю уже выхода не было. Мгновенно выбили окна и дверь, которая вела на балкон, и стали выносить мебель, ковры и прочее имущество. Словом, все было спасено и на другой день недосчитались



Аллея, ведущая к дому Я. И. Бутовича в Прилепах

лишь закусок, кухонной посуды, вин и сигар, которых был у меня большой запас. После спасения картин я вышел на двор, предоставив Ситникову распорядиться спасением остального имущества. Мороз усилился, на дворе было светло как днем. Пламя уже бушевало вовсю, огненные языки его вились по карнизам и опускались все ниже и ниже, охватывая весь дом. Во дворе шум стоял невообразимый. Какие-то женщины плакали, мужики кричали, где-то выли собаки, а церковный колокол бил в набат, гулко разнося по окрестности весть о пожаре. Внутри дома горело все: дым врывался в комнаты, сквозной ветер выл, огонь, треща, уничтожал все на своем пути. Последние люди выскочили из дома, где уже нельзя было оставаться без риска для жизни. Страшные секунды летели. Гул пожара усиливался. Наконец с грохотом и треском рухнула крыша, столб огня и искр высоко поднялся к небу... Все было кончено: пожар пошел на убыль, и дом догорал, как свеча. В огне погиб лишь один дом. Так как стояла тихая морозная погода и ветра не было, остальным постройкам опасность не грозила. Долго стоял я, окруженный служащими, на пожарище и думал о том, что вот уж второй раз в жизни я горю и так же, как тогда, в далекой Маньчжурии, пожар произошел ночью. Если бы не бдительность ночного сторожа Магомета, несомненно, и моя картинная галерея, и все мое остальное имущество погибли бы в огне, а мне в лучшем случае пришлось бы спастись в одной рубашке через окно, а может быть, и погибнуть...

Рядом с домом, в котором я жил, стоял небольшой деревянный флигель из четырех комнат. Это была типичная постройка дачного типа, которую возвел еще Добрынин для своего женатого старшего сына. Туда-то я и перебрался, там и про-

жил все время, пока строился новый дом. Я решил безотлагательно приступить к его постройке с весны 1914 года, а потому надлежало сейчас же позаботиться о приискании архитектора и составлении проекта и планов нового дома. Самокиш рекомендовал мне архитектора Жукова, который, по его словам, был очень талантлив, блестяще кончил академию и теперь работал в Харькове, где имел много заказов. «Если вы пригласите кого-либо из знаменитых столичных архитекторов, – говорил Самокиш, – то это прежде всего будет очень дорого стоить, а затем такой архитектор будет не в состоянии лично присмотреть за производством работ». Я хотел заказать проект знаменитому архитектору, но после слов Самокиша решил обратиться к Жукову. Была послана телеграмма в Харьков, и через три дня Жуков приехал в Прилепы. Вместе с Самокишем мы дали ему задание, причем, приняв во внимание все расширявшуюся мою картинную галерею, решили строить дом, несколько приближавшийся к типу картинных галерей. А так как я уже дважды в своей жизни горел, дом должен был иметь наименьшие шансы сгореть. Камень, кирпич, железные балки, железобетонные потолки, центральное отопление, полное отсутствие печей и каминов, пожарные краны в доме и водопровод – все это должно было служить гарантией против пожара. Дом задумывался в стиле ампир. Жуков составил очень интересный проект, который вполне меня удовлетворил. За свою работу вместе с наблюдением он взял 3 тысячи рублей, то есть очень крупную сумму по тому времени. Дом должен был строить тульский подрядчик Шереметев, с которым и был подписан договор. Стоимость дома – 150 тысяч рублей, как обычно при всех постройках. Вследствие вздорожания материалов и рабочих рук из-за начавшейся войны смета была превышена, и дом обошелся около 200 тысяч рублей. Закладка дома состоялась ранней весной 1914 года, а закончен он был в 1915 году. Дом вышел вполне удачный, чрезвычайно удобный для размещения картинной галереи, и теперь я сожалею лишь о том, что в доме нет ни одного камина – осенью и зимой это дает о себе знать. Но в современных условиях революционной действительности это непоправимо...





1914 ГОД. НАЧАЛО ВОЙНЫ

Наступил знаменитый в истории России 1914 год, а с ним война и затем революция со всеми ее ужасными последствиями, бедами и несчастиями. Но прежде чем говорить об этих событиях (я буду касаться их постольку, поскольку они имели отношение ко мне), скажу несколько слов об О. Э. Витте и его сыне Владимире Оскаровиче, которые к тому времени стали известны в московских спортивных кругах.

Незадолго до объявления войны я уехал из Прилепа в Москву, где прожил дней десять. К концу моего пребывания в Москве было назначено общее собрание действительных членов Московского бегового общества, причем на повестке стоял ряд важных вопросов. Собрание обещало быть бурным, ожидался большой приезд членов из провинции и Петербурга. Так и случилось: собрание было открыто при переполненном зале. Я сидел рядом с П. А. Стаховичем. Стахович был одним из сыновей знаменитого коннозаводчика А. А. Стаховича, очень интересовался лошадьми и в то время уже фактически ведал заводом отца. Он был в чине генерал-лейтенанта и состоял не то при военном министре, не то при Генеральном штабе. В молодости Стахович служил в Кавалергардском полку, затем окончил Академию Генерального штаба, был командирован правительством во время Англо-бурской войны на театр военных действий, потом командовал Лейб-гвардии Уланским Его Величества полком, кавалерийской бригадой. Словом, это был свой человек в высших военных кругах и осведомленность его была очень велика. Меня поразило то обстоятельство, что во время общего собрания



А. А. Стахович

Стахович был очень рассеян и даже имел удрученный вид. Сидя рядом, мы вполголоса обменивались мнениями. Я не мог, конечно, не спросить Стаховича, почему он так настроен, и его ответ крайне удивил меня. Стахович сказал мне буквально следующее: «Война неизбежна, это вопрос нескольких дней. А с ней придет затем революция». Я с недоверием посмотрел на Стаховича и возразил ему, что вести теперь войну, которая, несомненно, превратится в общеевропейскую, чистейшее безумие и на это правительства никогда не пойдут. «Я уверен, что в конце концов все уладится, и хотя положение в Европе в связи с убийством австрийского эрцгерцога чрезвычайно напряженное, но все пройдет и войны не будет». – «Вы неверно оцениваете события. Война будет», – последовал ответ. «Это ужасно! Но если немцы спровоцируют войну, мы их расколотим. Поднявший меч от меча и погибнет!» – закончил я. Стахович покачал головой – по-видимому, для него исход войны не был так ясен. В дальнейшем мы беседовали по поводу возможной войны, и Стахович сказал мне, что по плану



Солдаты. 1914 г.

мобилизации он будет формировать кавалерийскую дивизию и с ней направится на театр военных действий. Я, как офицер запаса, с объявлением войны буду немедленно призван. Разумеется, этот разговор со Стаховичем произвел на меня такое впечатление, что я на другое же утро уехал домой, желая на всякий случай подготовиться к возможному призыву в ряды действующей армии.

Ежедневно рано утром особый нарочный скакал в Тулу за газетами, к 12 часам дня я жадно погружался в чтение и с ужасом видел, что положение все ухудшается и ухудшается, что война неизбежна. Настроение в деревне было тревожное: работа валилась у людей из рук, бабы начинали выть, все были уверены, что война вот-вот будет объявлена. Весть о всеобщей мобилизации была получена в Прилепах в тот же день вечером: ее привез нарочный, прискакавший из волости. Настроение кре-

стыан стало торжественным и сосредоточенным. Ни криков, ни пьяных, ни озорства не было. Чувствовалось какое-то особенно приподнятое настроение и доверие к власти. С утра призывные со всех сел и деревень потянулись к волостным правлениям и дальше в города для распределения по полкам, батальонам и запасным частям. Все в деревне пришло в движение: провожали уходящих на войну, плакали, благословляли и снаряжали в путь воинов. Но, повторяю, настроение у всех было бодрое. По-видимому, война обещала быть популярной, в сознании народа (правильно или нет – это уже другой вопрос) глубоко укоренилось убеждение, что многие его беды идут от немца. Я смотрел на эти проводы, видел эти настроения и мысленно представлял себе, что по всей необъятной матушке России сейчас те же картины: люди спешат, идут или едут по тропинкам, большакам, дорогам и чернотропам, всё и вся направляется к сборным пунктам и переживает то, что чувствовал и переживал каждый из нас...



Призыв в армию. 1914 г.

настежь, церковный колокол гулко раздавался в тиши полей. Возле церкви, внутри и далеко вокруг стоял народ и тихо беседовал, изредка крестясь и вздыхая. Запасных пропускали молча и торжественно вперед, и они прикладывались к образам и лежащему на аналое Святому Евангелию. Минута была торжественная и полная великого значения... В 12 часов дня было назначено молебствие. В дворянском мундире, при шпаге и орденах, я подъехал к церкви, меня тотчас же окружили крестьяне и вслед за мной вошли в церковь. Народ расступился, и я без труда прошел на левый клирос. Молебствие началось. В церкви было душно и жарко. Народу столько, что буквально яблоку негде было упасть. Налицо были все сельские власти. В открытые окна сквозь церковные решетки глядело ясное синее небо, слышалось пение птиц, и многие присутствовавшие думали, конечно, о том, что рабочая пора еще в полном разгаре, что только что скосили и убрали сено, что поспевают рожь, что отцвели просо и греча. У многих было тяжело на душе, и многие думали о том, как то им без хозяина управиться самим с урожаем. Торжественные церковные напевы наполняли мою душу, важность наступивших событий, исторические последствия войны – все это тревожило и пугало меня, и я горячо молился не только за себя, но и за Россию... Молебствие близилось к концу. Вот провозгласили многолетие государю императору, царствующему дому и христолюбивому православному воинству, и народ, медленно крестясь, стал расходиться по домам.

В тот же столь памятный для меня день, в 10 часов вечера, к дому подскакал на уставшей лошаденке урядник и велел принявшему ее конюшу немедленно запречь другую лошадь. Обычно урядник далее конторы не проникал, не говоря уже о том, что никогда бы ранее он не решился отдавать в барской усадьбе распоряжения, но теперь все изменилось: он по мобилизации был снабжен чрезвычайными полномо-

чиями. Войдя ко мне в кабинет, он обратился уже по-военному: «Ваше высококородие, пакет от воинского начальника. Потрудитесь расписаться, что получили сегодняшнего числа, в 10 часов вечера». Я взял пакет. Цвет конверта, особая прочность, сургучная печать – все указывало на то, что это призыв в действующую армию. В призывном листе воинского начальника кратко указывалось, что мне предлагается с получением сего в трехдневный срок явиться в город Кирсанов, в штаб 3-го запасного кавалерийского полка. Итак, я был призван, к чему уже был готов, а потому назначил свой отъезд из Прилеп на 2 часа следующего дня. Утром я передал дела своему управляющему Ситникову, дал ему все указания, обошел конюшни, простился с лошадьми. Через несколько часов предстояло все это покинуть, и, быть может, навсегда... Кто не переживал таких минут, тому никогда не понять, что делалось у меня на душе и что я перечувствовал и пережил тогда. Перед отъездом отец Михаил отслужил напутственный молебен и благословил меня образом, пожелав как можно скорее и счастливо вернуться к моим мирным занятиям. В маленький флигелек, где я тогда жил, так как дом еще строился, набилась масса народу: собрались все служащие, многие крестьяне. И все горячо молились, многие плакали. Нервы мои не выдержали, слезы сами собой потекли по щекам, и я был рад, когда тяжелый момент расставания кончился.



*Школа в лазарете бегового общества.
Группа солдат занимается с сестрой и студентом*

Я сел в автомобиль, чтобы прямо ехать в Москву, где всего за два дня предстояло сшить военную форму и купить оружие. Быстро мчалась машина, унося меня по направлению к Москве; еще быстрее роились мысли в голове, а знакомые виды мелькали один за другим и со сказочной, досадной быстротой скрывались из моих глаз. Вот уже не видно Прилепской усадьбы, хотя еще мелькают вер-

шины столетних дубов и лип, но скоро скроются и они, и Бог его знает, вернусь ли я когда-либо сюда и увижу ли это дорогое гнездо, где положено столько труда, любви и забот. Еще один, другой поворот – и скрылась из глаз высокая колокольня нашей приходской церковки. Быстро промелькнула Тула, где царило необыкновенное оживление и суматоха, автомобиль пронесся по Миллионной улице и выехал за Московскую заставу. И вот я опять очутился среди полей, лугов, зеленеющих холмов и пашен...

В Москву я приехал к вечеру и с трудом получил номер в «Славянском базаре». Москва кишела, как муравейник: на улицах сновал народ, повсюду были военные, мальчишки-газетчики выкрикивали звонкими голосами новости вечерних газет, было очень шумно и оживленно. В гостинице мобилизация уже дала о себе знать: кое-кто из знакомой прислуги отсутствовал, так как был призван в ряды действующей армии. Синегубкин ждал меня в гостинице, и я просил его помочь мне заказать обмундировку. У него оказался знакомый портной, который сейчас же приехал, снял мерку и обещал через 36 часов доставить мне две пары военного обмундирования и форменное пальто. Он в точности выполнил заказ, и я мог ехать в Кирсанов уже в военной форме. В то время получить так быстро обмундировку было почти невоз-

можно, ибо портные хотя и работали день и ночь, но были сверх всякой меры завалены заказами и положительно сбились с ног. Знакомые приказчики в магазине военных вещей Живаго без очереди продали мне оружие, и я, таким образом, был совершенно готов к походной жизни. Что творилось в магазине Живаго, трудно себе даже представить: люди разных профессий, большей частью пожилые, в штатском платье, покупали погоны, шашки, револьверы, портупей, кобуры и прочее военное снаряжение; многие из них имели растерянный вид, другие – смущенный и даже испуганный, и как бы не понимали, что это с ними так внезапно стряслось. Незнакомые обращались друг к другу, заговаривали, совещались, иногда раздавались вопросы вроде следующего: «Как вы думаете, при современном развитии техники долго ли продлится война?» Большинство полагало, что война продлится не более трех месяцев, и в этом, как показали дальнейшие события, жестоко ошибалось.

Наконец настал день моего отъезда в Кирсанов. Синегубкин спросил, нужны ли мне деньги, говоря, что может достать любую сумму, но я поблагодарил и отказался (в то время все русские люди почувствовали себя братьями и проявляли редкое единодушие в оказании всевозможных услуг лицам, призванным в армию). Саратовский поезд уходил из Москвы вечером. Когда я приехал на вокзал, то пришел в неопишуемый ужас от толпы и давки: весь перрон был усеян военными и провожавшими их семьями, вагоны брали с боем. Крики носильщиков, громкие разговоры, плач женщин и детей, военная команда патрулей – все слилось в один сплошной гул и стон. С величайшим трудом я протиснулся в вагон. В купе было десять человек! По коридору пройти было совершенно невозможно, ибо там вплотную стояли военные, направлявшиеся в свои части. Среди отъезжающих я увидел одну даму – это была Т. Н. Телегина. Я спросил ее, куда она едет, и получил ответ: «В Козлов, а оттуда к себе в Александровку, на завод». Ну, думаю, дура баба, нашла время, когда ехать – в самый разгар мобилизации, не могла подождать два-три дня, ведь и без нее тут давка и теснота невообразимые...

Медленно отошел поезд от перрона вокзала; как по мановению волшебной руки, шапки слетели с голов, и все мы начали креститься. Замелькали золотые маковки московских церквей, потом окрестности города; поезд уносил нас все дальше и дальше от родных мест и приближал каждого к той судьбе, к тем страданиям и лишениям, которые были ему уготованы... Ночью промелькнул Козлов, на заре мы были уже в Тамбове, а в 12 часов дня я приехал в Кирсанов. На вокзале та же картина, однако порядка было больше, офицеры уже в походном снаряжении, и везде я видел кавалерийские мундиры разных полков, так как в Кирсанове, кроме кавалеристов, других военных не было.

Кирсанов – небольшой городок Тамбовской губернии. Как все такие города черноземной полосы России, невообразимо грязный и скучный. Собор, несколько церквей, хлебная биржа, синематограф, почта, телеграф, контора нотариуса да несколько присутственных мест – вот его главные здания. В городе была всего одна гостиница, да и ее лишь с большой натяжкой можно было назвать таковой. Мебель в номерах была старая, стулья без ножек, столы кривые, комод с одним ящиком, а умывальники отсутствовали совсем. О кровати и говорить нечего: на нее не только было страшно лечь, но страшно даже посмотреть. Свободных номеров, конечно, не было, и меня приютил М. Ф. Шипов, сын директора Московской конторы Государственного банка Ф. Н. Шипова, тоже призванный из запаса, как и я. Шипов был внуком знаменитого коннозаводчика, я с ним был знаком по Москве. Наша гостиница стояла на главной улице города и окнами выходила на базарную площадь. На базаре была вечная толчея, а дважды в неделю, когда в город съезжались окрестные крестьяне со своими продуктами и скотом, поднимался такой невообразимый шум и гам, что в гостинице не было ни минуты покоя. Вокруг базарной площади было несколько двухэтажных каменных домов, принадлежавших кирсановскому купече-

ству, и там находились лучшие и главные магазины города. В боковых улицах стояли скромные домики кирсановских обывателей, мало чем отличавшиеся от жилищ зажиточных крестьян и мещан в деревнях, пригородах и посадах. В обыкновенное время все засыпало в этом тихом, как будто кем-то замороженном городе: извозчики, стоявшие по углам, сами дремали, и дремали их клячи; откормленные коты спали в витринах магазинов, и решительно все собаки Кирсанова, забравшись в свои закуты и подворотни, тоже предавались мирному сну. Лишь иногда по скверной мостовой города прогрохочет купеческая пролетка да редкие прохожие, как будто сами удивляясь, зачем и почему они вышли на улицу, быстро промелькнут и так же быстро скроются. Пыль на улице стоит столбом, солнце печет немилосердно. И лишь вечером город немного оживает: появляется гуляющая публика, от болот, озер и с дальних лугов тянет прохладой, и можно не только дышать, но и решиться выйти на улицу. В это время господают офицеры, кто верхом, кто на извозчиках, кто в своих экипажах, едут в городской сад и «на картинки». Сад располагался в конце города и лишь по недоразумению назывался садом; собственно говоря, это было нечто такое, что не подходило ни под понятие парка, ни под понятие роши, сада или даже палисадника. Это было небольшое огороженное место с чахлой растительностью и кривыми дорожками. Главной притягательной силой городского сада были небольшой ресторан да синематограф, который кирсановцы окрестили «картинками». Нечего и говорить, что все в этом городе – вернее, здешняя интеллигенция – занимались сплетнями и усердно работали языками. Выезд генерала из штаба полка в город составлял уже событие, о котором говорили, спрашивая друг друга: «Видели, генерал сегодня проехал?» – «А кто правил?» – «Ну конечно, не сам, а кучер». – «Да нет, вы меня не поняли. Иван правил или Пётр?» И далее в том же роде, вплоть до того, с кем и как генерал раскланивался. Еще до представления в полк мне суждено было видеть генеральский выезд, о котором столько говорили кирсановцы. Так как Шипов приехал на два дня раньше всех остальных офицеров, то он и заполучил лучший номер гостиницы с балконом, выходящим на главную улицу. В день моего приезда, около двух часов пополудни, мы вышли на балкон; я был уже в походной форме и при оружии, так как думал через несколько минут ехать в полк представляться и затем явиться к командиру полка и познакомиться с господами офицерами. В это время мимо нас пронеслась коляска, запряженная парой недурных гнедых жеребцов полурысистой породы. Правил браваый кавалерист с лихо сдвинутой набекрень бескозыркой, в мундире, обшитом красными кантами и с заброшенными назад желтыми шнурами. В коляске сидел еще молодежавый генерал с Владимиром на шее, при шпаге и с иголки одетый. Рядом помещался адъютант. Коляска пронеслась мимо нас, но я успел рассмотреть генерала: это был А. Ф. Керн, с которым я был знаком по Петербургу. «Да ведь это Алечка Керн», – сказал я удивленно Шипову. «Он самый». – «Ну, как он себя держит?» – «Превосходно!» – последовал ответ, и я стал собираться в полк.

Третий запасной кавалерийский полк был расквартирован верстах в четырех от Кирсанова, на высоком месте. Это был целый городок, с церковью, казармами, конюшнями, цейхгаузами, громадными складами, офицерскими флигелями и зданием штаба полка. В мирное время здесь сосредоточивались запасы амуниции и прочего на случай войны для пополнения дивизии. Сюда же приходили осенью молодые лошади, купленные ремонтными комиссиями; здесь они выезжали и через год распределялись по полкам (каждый запасной полк питал целую кавалерийскую дивизию). И сюда же после объявления войны эти полки присылали на сохранение свое ценное имущество, офицерские вещи и прочее – разумеется, если все это доходило до места назначения, а не терялось, не гибло в огне, если полк стоял близко к границе. С объявлением войны запасные полки силою вещей превратились в целые корпуса людей и лошадей. Сюда шли тысячи призывных, сюда сводились



*Я. И. Бутович в г. Кирсанове.
1915 г.*

лошади, здесь сосредоточивалась амуниция, тут шло краткое обучение, и уж затем из запасного полка маршевые эскадроны следовали по требованию начальства в действующую армию. Словом, во время войны это была огромная военная единица и работы всем было хоть отбавляй. Каждый эскадронный командир по числу бывших у него солдат и людей превращался в полкового командира, а полковой командир – чуть ли не в команди-ра корпуса.

Приехав в полк, я прошел в канцелярию, передал свои бумаги адъютанту и был сейчас же принят командующим полком. Керн, обменявшись со мной своими впечатлениями о блестяще проведенной мобилизации, затем дружески простился, пригласив меня к себе в 7 часов обедать. Словом, вне службы у нас установились отношения добрых знакомых, продолжавшиеся все время моего пребывания в полку. Я был прикомандирован к 5-му эскадрону, которым командовал ротмистр Клавер, сын председателя покупной комиссии государственного коннозаводства генерал-лейтенанта Клавера, с которым, естественно, я был хорошо знаком. Кадровое офицерство полка составляли очень милые и скромные кавалеристы, среди которых было немало знатоков и любителей верховой лошади. Шестым эскадронам командовал ротмистр Сакмин, которого я иногда встречал в Москве на бегах, так как его родной брат не без успеха ездил на призах и заведовал конюшней елецкого коннозаводчика Ростовцева. Я не стану здесь останавливаться на личности каждого кадрового офицера полка, скажу только, что все они в дни войны работали не покладая рук, много, конечно, сделали и к нам, призывникам, относились с редким вниманием и предупредительностью. Следует сказать хотя бы несколько слов о последней группе призванных офицеров. Ее состав был чрезвычайно разнороден. Прежде всего, была масса прапорщиков, то есть людей очень мало подготовленных и чуждых кавалерийских традиций и военного духа. Среди них были люди всех профессий, начиная от молодого профессора и кончая судебным следователем. Они не особенно рвались в бой и, видимо, тяготились тем, что были оторваны от своих мирных занятий. Значительно меньше среди призывников было прежних кадровых офицеров, окончивших, как я, кадетские корпуса и кавалерийские училища и после недолгой службы ушедших в запас. Это был небольшой, но вполне надежный резерв офицер-



В окопах

ства, который, впрочем, быстро иссяк, почти целиком уйдя с первыми же маршевыми эскадронами на фронт.

Генерал-майор Керн, к которому я пришел в тот же день обедать, был удивительно милый, приятный и культурный человек. В молодости он служил в Уланском Ее Величества полку, затем командовал эскадронами в запасном гвардейском полку, что стоял в Кричевских казармах Новгородской губернии, и наконец получил 3-й запасной кавалерийский полк. Он встретил меня дома с распростертыми объятиями, просил снять оружие и сказал, что здесь я для него Яков Иванович, а он для меня – Альфред Фёдорович. Сели за стол; два денщика в белоснежных гимнастерках двигались, очевидно из уважения к генеральскому чину своего командира, на цыпочках и ловко служили у стола. Генеральский повар постарался вовсю, и обед из четырех блюд вышел на славу. Мы обедали вдвоем, так как Керн был старый и, как о нем говорили в Питере, убежденный холостяк. Долго беседовали после обеда о начавшейся войне, высказывали разные соображения, обсуждали назначения и прочее, а затем генерал, так как в этот вечер он был свободен, предложил мне поехать с ним «на картинку», обещав показать «весь Кирсанов». Подали знакомую, уже описанную мною коляску и пару гнедых, и мы торжественно покатали в городской сад. Мое появление вместе с генералом произвело должное впечатление на молодежь и кадровое офицерство полка и создало мне привилегированное положение, которым я, впрочем, никогда не пользовался. «Весь Кирсанов» имел удручающий вид: удивительно малоинтеллигентные и некрасивые лица, мелкие чиновники и лавочники, какие-то невероятные, все время хихикающие барышни – все это выглядело прямо-таки жалко.

Ускоренным темпом формировались первые маршевые эскадроны, и когда недели через три они должны были отправиться в действующую армию, то встал вопрос, кого из господ офицеров назначить идти с этими первыми маршами. Я забыл упомянуть, что по дислокации войск кадровые офицеры запасных полков на все время войны прикреплялись к своим полкам и на войну не шли, так как их обязанностью было подготовить, обучить и затем отправить в маршевые эскадроны. Генерал Керн, с моей точки зрения, которую, впрочем, разделили, как верную, все офицеры призыва, распределил всех нас на три очереди, причем распределение было сделано исключительно по годам. В первую очередь шли самые молодые, со вторыми эскадронами – следующие по годам, и с третьими маршевыми эскадронами, которые по плану должны были идти через восемь месяцев, так сказать на шапочный разбор, – мы, то есть более пожилые по летам. Все были удовлетворены таким решением, и генерал Керн поступил справедливо. В других полках, я слышал, в этом вопросе был допущен произвол, что вызвало немало нареканий. В том, что третьи марши вообще не уйдут, никто из кадровых офицеров не сомневался, так как никто тогда в полку не допускал, что война надолго затянется и потребует гораздо больше маршевых эскадронов, чем три очереди.

В самых общих чертах скажу о моей работе в Кирсанове. Я был назначен командиром 3-го маршевого эскадрона Волынского уланского полка, в котором, как помнит читатель, я когда-то начинал свою службу. Мой эскадрон стоял в деревне Шиповке, верстах в шести от Кирсанова, а от штаба полка почти в десяти верстах. Солдаты все были почтенного возраста – старики, их в полку именовали бородачами. Лошади были даны замечательные, то есть молодые заводские, из числа тех, что предназначались для кадрового пополнения полков. Мои бородачи с трудом управлялись с этими кровными конями, и первые полтора месяца ушли главным образом на подготовку лошадей и всадников. Получив приказ о своем назначении, я поехал в Шиповку не сразу, а дней через пять: необходимо было дать моим офицерам время хоть несколько привести в военный вид бородачей и вселить в них воинский дух. Наконец, послав вперед со своим денщиком вещи, я назначил на утро того же

дня прием эскадрона. Из полка вестовой привел мне рыжую кобылу Минерву, которую я лично с Алечкой Керном отобрал для своей езды и которая ходила под моим седлом все время моего пребывания в полку. Я отправился в Шиповку принимать эскадрон. Солдаты стояли в пешем строю, так как седла еще не были получены и лошади находились по коновязям. Подъехав к эскадрону, я слез с коня, принял рапорт, поздоровался с солдатами, поздравил их с походом и сказал несколько приветственно-ободряющих слов. После этого эскадрон был распущен, и я познакомился с тем, как расквартировали людей. Они стояли по квартирам в крестьянских избах и занимали всю деревню Шиповку и смежные с ней выселки. Со следующего же дня мы, согласно распоряжению из полка, приступили к оборудованию конюшен из крестьянских плетней и риг. Мне квартира была отведена в лучшей избе, в самом центре деревни. Денщик уже хлопотал там, разбирал мои вещи и раскладывал походную кровать. Изба была светлая и чистая, в ней мне предстояло прожить несколько месяцев. Вахмистр принес флаг со значком командира эскадрона и вывесил его у избы. Словом, я принял бразды правления и вступил в командование эскадрона. Первое время мы были заняты приемом амуниции, конского снаряжения, обмундирования и прочего. Когда эта часть работы была закончена, начались учения: утром верховая езда, два раза в неделю стрельба, а по вечерам пеший строй. Пришлось засесть опять, как в молодости, за уставы и освежить в памяти кавалерийские сигналы, что для меня было нелегко, так как у меня был неважный слух. Особенно трудны были учения с пиками, так как никто из солдат, да и нас, офицеров, не знал обращения с ними, ибо в наше время пики были только в казачьих частях. Кое-как справились и с этим, и работа эскадрона мало-помалу наладилась. Вставать приходилось рано, после учения я отдыхал, а затем ехал в штаб полка обедать. Здесь, в офицерском собрании, было многолюдно и шумно. После скромного обеда из трех блюд молодежь играла на бильярде, а кто постарше читали газеты и журналы в библиотеке или же играли в карты. В 5 часов все разъезжались по своим частям на вечерние занятия. Так однообразно текла наша жизнь. Я до такой степени уставал, что вечером засыпал и в город не ездил. После вечерней зари, когда эскадрон, помолвившись, расходился на ночлег, я обыкновенно садился у открытого окна своей квартиры и предавался мечтам. Какая неожиданная метаморфоза произошла со мной: после веселой, удобной и отчасти праздной жизни в Прилепах, после шумного света обеих столиц, удовольствий и роскоши я очутился в крестьянской избе, спал на походной кровати, на матраце, который был набит свежим сеном, умывался во дворе, вставал в 5 часов утра, целый день был занят и жил в самых суровых условиях, лишенный малейшего комфорта, к которому так привык и который так ценит каждый культурный человек! Да, контраст с прежней жизнью был очень резок, и мне приходилось трудно. Близость конюшен привлекала массу мух и других насекомых, в комнате было душно, кровать была узка, и я спал плохо, тревожным сном, просыпаясь иногда совсем разбитым. А тут еще по вечерам, когда хотелось отдохнуть и сосредоточиться, в деревне начиналась своя жизнь. Шум, гам, крики. Гуляли парни и девки, по улице бродил народ, слышна была перебранка хозяек. По вечерам мне особенно досаждали песни. Они начинались в десять вечера и затихали лишь к полуночи. В этой стороне Тамбовской губернии народ поет как-то особенно заунывно и пение напоминает скорее вой, чем какую-либо мелодию. Словом, это заунывное, сиплое и протяжное пение вконец расстраивало меня, угнетающе действовало на психику, и я долго затем, покинув Шиповку, не мог его забыть...

Первые маршевые эскадроны ушли в действующую армию, жизнь и работа мало-помалу входили в свою колею. Не было уже той спешки и горячки, как в первое время, не скакали взад и вперед конные вестовые со срочными распоряжениями, не трещал полевой телефон, и можно было работать спокойнее. Прошло почти полтора месяца,



Передовой санитарный отряд Императорского Московского общества поощрения рысистого коннозаводства на бивуаке. 1916 г.

как я служил в полку, и в одно прекрасное утро стало известно, что на другой день приезжает из Тамбова начальник бригады (именовался он не командиром, а начальником бригады потому, что был на правах начальника дивизии) генерал-лейтенант Рындин и произведет смотр. Кадровые офицеры любили Рындина и между собой называли его «папа Рындин». На следующий день генерал

Керн в сопровождении адъютанта выехал с рапортом на вокзал. Я был назначен дежурным по городу и вокзалу (такое дежурство тогда существовало и было необходимо, ибо масса призванных солдат могла устроить дебош или перепиться в городе – словом, нарушить порядок). Саратовский поезд прибыл в 12 часов дня, и специальный вагон генерала сейчас же отцепили. В ведении Рындина было три запасных кавалерийских полка в Тамбове, Кирсанове и Борисоглебске, целая армия лошадей и солдат. Кроме того, он был здесь старшим генералом и все было подчинено ему. Естественно, что в то время Рындин пользовался огромной властью и имел чрезвычайные полномочия. Он вышел из своего вагона в сопровождении адъютанта и двух офицеров. Керн подошел с рапортом, и генералы дружески поздоровались друг с другом. Рындин был высокого роста, довольно тучный, с приятными чертами лица, добрыми глазами, красивой седой бородой-лопатой и величественными манерами. На шее его красовался орден. Говорил он громко, слегка картавя и растягивая слова, причем из горла иногда вылетал приятный барский рык. Генерал Рындин подошел к моей команде и так лихо поздоровался с солдатами, что они сразу повеселели и дружно гаркнули ему ответ. Керн представил меня. Рындин весьма милостиво поздоровался со мной и затем сказал: «Очень рад познакомиться с вами, очень много о вас слышал. Прощу завтра ко мне обедать». И, обратившись к Керну, спросил: «Ты ничего не имеешь против, Алечка?» Керн, конечно, поспешил его заверить, что он будет очень рад и что мы с ним старые знакомые. Рындин оттого спросил Керна, что останавливался всегда у него и в квартире хозяином был уже не он, а Керн. Подали коляску, и генералы величественно отбыли в полк...

Как дежурный по городу, я в первый день не присутствовал на смотре. В 7 часов вечера я пришел к Керну. Обедали оба генерала, офицеры, сопровождавшие Рындина, наши штаб-офицеры, наш адъютант и я. Говорили почти исключительно генералы, лишь изредка мы принимали участие в разговоре. После кофе Рындин отпустил всех, попросив меня остаться. «А ведь я вас хорошо знаю, Яков Иванович, так как мне о вас очень много говорил мой августейший командир, великий князь Дмитрий Константинович. Он считает вас одним из лучших знатоков лошади, и я вас прошу завтра смотреть со мной выводку лошадей». Я, конечно, благодарил Рындина. Оказалось, что он служил в Конно-гренадерском полку и был хорош с великим князем.

Выводка началась на другой день, ровно в 8 часов утра. На внутреннем дворе полка, на большом плацу, были выстроены поэскадронно колонной все лошади кадрового пополнения, которые в свое время были куплены ремонтными комиссиями у коннозаводчиков для кавалерийских полков. На плацу перед полком выстроились маршевые

эскадроны, то есть лошади, взятые у населения по мобилизации. Всего представлялось около 4500 лошадей! Во время ревизии Хреновского государственного завода я шутил говорил генералу Здановичу, что едва ли когда-либо в жизни еще увижу на выводке столько лошадей (около тысячи), а оказалось, что в Кирсанове передо мной прошло в четыре раза больше! Так как я был приглашен принять участие в осмотре лошадей, то заранее известил командира 5-го эскадрона ротмистра Клавера, чтобы он представил моих лошадей, когда до них дойдет очередь. Генерал-лейтенант Рындин в сопровождении адъютанта, двух своих офицеров и меня пошел в полк. Он отдал распоряжение начинать выводку. За отдельным столом поместился адъютант полка с писарями; на столе лежали описи лошадей по эскадронам и их аттестаты в отдельных папках. Первый, головной, эскадрон ротмистра барона Нольде открыл выводку. Впереди шел командир эскадрона, за ним его офицеры, вахмистр, наездники эскадрона и кузнец. Все это продефилировало мимо генерала. Нольде с офицерами встали с правой стороны начальника, а вахмистр, наездники и кузнец выстроились с другой стороны выводной площадки. Лошади двинулись на выводку; каждая из них была в новом суголовье, причем мундштучные поводья были опрокинуты на шею лошади, а трензельные оставались в руках кавалериста-солдата. На выводке каждая лошадь останавливалась, кавалерист лихо становился лицом к лошади и быстрым движением подымал правую руку с трензелем, а левую опускал – вся голова лошади оказывалась превосходно видна. Кавалеристы ставили лошадей мастерски – в запасных полках щеголяли этим умением. Объявлялось имя лошади, завод, в котором она родилась, и ремонтная комиссия, из которой она поступила в полк.

Оценка лошадей началась. У более интересных экземпляров мы спрашивали происхождение (такое объявлялось из аттестатов); кроме того, генерал интересовался характером лошади, степенью ее подготовки и другими подробностями. Эти сведения докладывал, естественно, командир эскадрона. Одна за другой проходили эти чудные лошади, и, глядя на них, я думал о том, сколь неизмеримо выше стояла работа над экстерьером у верховых коннозаводчиков, нежели у нас, рысачников. Лошади были все сухи, кровны и породны. Головки маленькие, шеи красивые, спины короткие и ровные, ноги без пороков. Лишь изредка попадались небольшие раздражения скакательных суставов, грифельные косточки, мелькала мягкая бабочка или едва уловимый козинчик – и это все! В обсуждении форм лошадей принимали участие только оба генерала и я. Рындин превосходно знал лошадь, Керн слабее, но все же видел ее и понимал. Судили очень строго. Ежегодно после этих осмотров начальник бригады рапортовал в Петербург, в Управление по ремонту армии, о качестве прибывших лошадей и посылал поименные списки с указанием найденных недостатков и подразделением всех лошадей на разряды. Эти данные сверялись с данными ремонтных комиссий, и раз в год, в декабре, по управлению выходил циркуляр, подводивший итог и дававший оценку деятельности ремонтных комиссий за истекший период. Мы смотрели выводку с неослабевающим интересом, а для меня, который первый раз в жизни видел результаты работы верховых заводчиков, она была особенно поучительна. Стало совершенно очевидно, что мы, рысистые заводчики, в погоне за одной резвостью не уделяли должного внимания экстерьеру рысака. Значит, не все было благополучно в нашем рысистом деле! Я высказал эту мысль Рындину, и он ответил: «Ох, не напоминайте мне об этих рысаках! Сколько неприятностей и нареканий, что ремонтные комиссии их бракуют, а принимать их никак нельзя, так как они нехороши, а иногда и порочны по себе. Ваше мнение, мнение знаменитого рысистого коннозаводчика, очень ценно, и то, что вы откровенно сознаетесь в этом, делает вам честь».

В тот день успели просмотреть только кадровых лошадей. На другой день шла выводка маршевых эскадронов, и здесь лошади были совсем иные: кровь рысака и тяжеловоза чувствовалась всюду, и лошади были грубее, сырее и проще. Но удивив-

тельное дело, эти полукровки и лошади еще меньшей степени кровности были лучше наших призовых рысаков, ибо у них были хорошие спины, хорошая кость и масса. Так как они почти все имели рысистую кровь, то я на это обстоятельство обратил внимание Рындина, говоря, что рысак как массовый улучшатель себя вполне оправдал. Я не мог также не заметить, что едва ли мне еще когда-либо в жизни представится случай так ясно видеть плодотворную работу рысака в широких массах конского населения нашей страны. Об этом необходимо написать, и я просил разрешения генерала Рындина сослаться на данные настоящей выводки. Рындин его дал охотно и сказал мне, что высоко ценит рысака как улучшателя, но не как лошадь для непосредственного приема в ремонт армии. По его мнению, лошади, происходящие от рысаков и крестьянских маток или же более кровных кобыл зажиточных и помещичьих хозяйств, сохраняя спины и массу, становятся породнее и суше, лучше в езде, а потому совершенно пригодны и желательны для пехотных и артиллерийских частей, а также для обозов первого разряда. Выводка маршевых эскадронов шла быстро. Данные этой выводки привели меня тогда же к заключению, что рысак незаменим для широкого, чисто массового улучшения русской лошади, а что касается мечты сдавать наш рысистый брак в ремонт кавалерии, как о том говорили некоторые коннозаводчики, то ее надо оставить раз и навсегда.

Уезжая из Кирсанова, Рындин очень любезно пригласил меня побывать у него в Тамбове. Недели через две я вместе с Керном поехал к нему в Тамбов. Рындин был вдовец и жил с матерью и своей единственной дочерью. Мамаша Рындина была чопорной старухой: когда-то она состояла фрейлиной государынь императриц и была вдовою генерала от кавалерии. Получала она хорошую пенсию, и Рындины жили широко, ни в чем себе не отказывая. Мы с Керном у них обедали и вечером играли в винт, причем Рындин почтительно говорил своей мамаше: «Ваше высокопревосходительство, ваш ход», а она ему иногда недовольно отвечала: «Слышу, ваше превосходительство, дайте же подумать».

Время шло, я постепенно втягивался в эту жизнь, хотя и очень скучал по Прилепам и своему заводу. Недоставало мне также и моих картин: я так любил дома утром, после кофе с хорошей сигарой, остаться у себя в кабинете наедине с картинами. Для меня это было лучшее время дня. Со стен смотрели на меня портреты знаменитых рысаков – все эти Чародеи, Лебеди, Колдуны, Кролики и Горностаи, которые столько говорили моему сердцу и уму. Моим любимым занятием всегда была история коннозаводства и генеалогия орловского рысака, и даже в Кирсанов я взял с собою несколько заводских книг, которые в часы досуга в десятый раз перечитывал, вспоминая старину и прежних лошадей. Здесь, в Кирсанове, я пытался разыскать что-либо по коннозаводской старине, но все мои поиски были тщетны. Керн посоветовал мне познакомиться с нотариусом Новиковым – тот был местным старожилом и мог мне помочь в моих розысках. Новиков, с которым меня познакомили, оказался очень интересным собеседником, и я стал у него бывать. Он давно жил в Кирсанове и знал все и вся. К нему хорошо относились помещики, а в полку он был свой человек, так как его дочь была замужем за адъютантом полка штаб-ротмистром Зоркиным. Пётр Алексеевич Новиков был уже глубокий старик, наружностью напоминал старого камер-лакея и держал себя с достоинством, а в конторе и важно. В его доме я познакомился с кирсановским помещиком А. Д. Нарышкиным, чьи дела он вел. С Нарышкиным мы очень быстро сошлись, и я каждую субботу после занятий на ямской тройке уезжал к нему в Оржевку и возвращался лишь в понедельник, к утренним занятиям. В Кирсанове, кроме как у Керна и изредка у Новикова, я не бывал ни у кого. Глубокой осенью, когда в свое имение приехала графиня Перовская-Петрово-Соловово, она известила меня об этом и просила ее навестить. Я съездил к ней в Карай-Салтыково и пробыл там дня три, отдыхая и осматривая лошадей когда-то знаменитого петрово-солововского завода. Об этом заводе я буду говорить в свое время, описывая заводы

Тамбовской губернии, а сейчас перейду к семье Нарышкиных, где мне довелось провести немало приятных часов и дней.

Оржевка, имение Нарышкина, находилась в пятнадцати верстах от Кирсанова. Я весьма дорожил этим знакомством, так как здесь, в культурной обстановке и среди людей своего круга, вполне отдыхал от гарнизонной жизни. Семья Нарышкиных состояла из самого Нарышкина, которого звали Александром Дмитриевичем, сокращенно Алеком, его жены Софии Спиридоновны, урожденной Туркул, и ее матери Софьи Константиновны, урожденной Олив. Софья Константиновна принадлежала к тамбовской линии Оливов, ее родная сестра была замужем за известным тамбовским помещиком-богачом, членом Государственного совета Андреевским. Александр Дмитриевич был сыном Дмитрия Константиновича Нарышкина и графини Толь, родной дочери графа К. К. Толя, одного из величайших русских коннозаводчиков, перед памятью которого я всегда благоговел. Отца Алека Нарышкина я встречал в Петербурге и был с ним знаком. Богатейший в свое время человек, писанный красавец и светский лев, он промотал многомиллионное наследство нарышкинского рода. Нарышкины не были богаты, а неудачное ведение большого винокуренного завода расстроило и без того небольшое состояние. Сестры А. Д. Нарышкина – княгиня Н. Д. Лопухина-Демидова и графиня Е. Д. Бенкендорф – были известными красавицами своего времени и богаты по мужьям. Последний сын Д. К. Нарышкина, Кирюша, уже, бедняга, ровно ничего, кроме имени и обворожительной наружности, не имел. Служил он в уланском полку, и я его близко и хорошо знал. Был я знаком и с обеими сестрами Алека, а с одной из них и ее мужем, Лопухиным-Демидовым, был даже в очень хороших отношениях, и они входили в число моих постоянных покупателей лошадей.

Д. К. Нарышкин рассказал мне про знаменитого Молодецкого, и этот его рассказ я намереваюсь здесь передать, ибо все, что относится к этой знаменитой лошади, не может не быть исключительно интересным для рысистых охотников и заводчиков. Это было в очень давние времена, в конце 1850-х или же в самом начале 1860-х годов. Нарышкин учился в Пажеском корпусе и жил тогда, как сирота, у своего дяди Д. П. Нарышкина, знаменитого охотника, коннозаводчика и лошадирика. Д. П. Нарышкину принадлежал знаменитый Молодецкий, и он его так любил, что после случного сезона жеребца ежегодно приводили в Петербург. Стоял он при доме хозяина, и на нем катался сам Нарышкин. Два или три раза, в знак особой милости, дядя разрешил племяннику проехать на Молодецком, и Д. К. Нарышкин говорил мне уже стариком, что он счастлив, что ездил на этой знаменитой лошади, которую современники считали рысаком необычайной резвости и силы. За него было заплачено 6000 рублей серебром, что по тем временам равнялось цене целого имения. Карузо в одной из своих статей, говоря о Молодецком, упомянул, что прежние охотники называли его иногда огненным рысаком.

Мать А. Д. Нарышкина, как я уже сказал, была дочерью графа К. К. Толя и внучкой знаменитого Толя, начальника штаба светлейшего Кутузова-Смоленского в столь памятном для всякого русского человека 1812 году. Она была из первых красавиц своего времени и, да будет ей то прощено потомками, немало способствовала тому, что от громадного нарышкинского состояния не осталось ничего. До самого последнего времени в обществе можно было услышать удивительные рассказы об этой женщине, которая кружила головы не только в Санкт-Петербурге, но и в столице мира Париже, не говоря уже о Берлине и Вене, и не только простым смертным, но и коронованным особам.

Алек Нарышкин был высокого роста, стройный, хотя и несколько склонный к полноте. Черты лица его были чрезвычайно породны и тонки, и, глядя на него, можно было сразу сказать: вот настоящий аристократ! Его жена была хотя и мила, но капризна. В нее влюблялись мужчины, а во время последнего путешествия Нарышкиных в Италию брат короля, герцог Абрुццкий, положил к ее ногам свое пылкое южное

сердце! Во время войны он присылал письма из Италии в Оржевку, а С. С. Нарышкина всячески поддерживала итальянских пленных, его земляков. Пленных итальянцев (австрийских подданных) посылали главным образом в Кирсанов. Нарышкина о них заботилась, на что военные власти смотрели сквозь пальцы, во-первых, потому, что делала это Нарышкина, а кроме того, уж очень приятны и милы были все эти итальянцы и на них смотрели почти как на союзников, ибо они в этой войне, естественно, не были на стороне своего исконного врага – Австрии.

У Нарышкина была страсть к охоте, и он по целым дням на ней пропадал. Охотник он был замечательный – сужу об этом исключительно по тому невероятному количеству дичи, которое он один, лишь в сопровождении своего постоянного егеря, приносил. Эта дичь составляла лучшие блюда деревенского стола, и подавалась она приготовленной как нигде.

Нельзя обойти молчанием обстановку нарышкинского дома. Здесь было очень много хороших старинных вещей. От громадного состояния всегда кое-что остается, и даже эти остатки представляют большой интерес. Среди предметов мебели были первоклассные образцы этого искусства; то же следует сказать и про фарфор, стекло и прочие предметы. В гостиной висел портрет Петра Великого и его матери, царицы Натальи Кирилловны, происходившей из рода Нарышкиных. Картин в доме не было, зато уцелело несколько портретов лошадей – наследие графа К. К. Толя. Для нас, охотников, они представляли огромный интерес. В кабинете хозяина висели портреты Волны, Дугарки и Секунды кисти Сверчкова и небольшой портрет кобылы Потешной, она же Пава (Полкан 5-й – Приказчица), работы Брюллова и Клодта. Сверчковские портреты кобыл были исключительно интересны прежде всего потому, что изображали лучших кобыл графа Толя, а затем и по своему исполнению. Очень интересен был и портрет Павы, матери призовой толевской Тревоги. Пава была продана графом Толем князю Голицыну и в этом заводе дала замечательный приплод. Она была написана знаменитым скульптором бароном Клодтом совместно с Брюлловым, который, вероятно, исполнил пейзаж. Это был небольшой акварельный портрет. Нарышкин им очень дорожил и полагал, что едва ли Клодт и Брюллов написали другой подобный портрет. В этом я совершенно соглашался с ним, но мы оба тогда ошибались, ибо во время революции я купил у родного внука Сверчкова акварельный портрет кобылы Экзекютрис, тоже исполненный Клодтом и Брюлловым. В столовой висели два сверчковских полотна, изображавшие жеребцов, идущих на случку. Я полагаю, что на одном из них был знаменитый красавец Лебедь-Червонный, проданный Толем графу Ржевускому. Портрет Волны был тогда же подарен мне Нарышкиным, а портреты Дугарки и Секунды я купил уже во время революции, причем Секунду мне продала госпожа Арсеньева, приятельница Нарышкиных. Где находятся остальные три полотна, к сожалению, неизвестно. Вероятно, они погибли. После отъезда Нарышкиных в Италию (кажется, в 1921 году) я специально посылаю в Кирсанов, дабы разыскать эти портреты, но поиски мои не увенчались успехом. У Александра Дмитриевича Нарышкина сохранились заводские книги завода графа Толя, которые он мне и подарил. Об этих книгах я уже писал, а потому скажу здесь только, что я их берегу как зеницу ока и считаю украшением своего коннозаводского архива. Нарышкин не был лошадиником в полном смысле этого слова, но лошадей любил и говорил о них охотно. Несколько раз я пытался говорить с ним о лошадях его деда, желая узнать о них разного рода подробности, но Нарышкин ничего не знал и откровенно в этом сознался. Тогда я перевел разговор на личность самого Толя, полагая, что о нем Нарышкин должен же кое-что знать, но и здесь после первого же вопроса получил ответ вроде следующего: «Что-то припоминаю. Кажется, то было...» «Кажется, – подумал я со вздохом. – Вот они, наши фамильные предания и наша история!»

В том уголке Кирсановского уезда, где жили Нарышкины, помещиков почти не было, а потому у них никто и не бывал, за исключением супругов Арсеньевых.

П. И. Арсеньев в молодости служил в лейб-уланах, а затем, выйдя в отставку, поселился в своем тамбовском имении. Это был довольно состоятельный человек, который решительно ничем не интересовался и скромно и спокойно проживал в своем имении. Решив однажды съездить в Париж, а зачем – и сам не знал, он вернулся оттуда женатым на красивой, но уже немолодой француженке, и это для всех было полнейшей неожиданностью. Как говорили злые языки, мадемуазель Арсеньева в Париже вела довольно легкомысленный образ жизни и, переселившись в деревню и превратившись в русскую барыню, невероятно скучала в кирсановской глуши и только и жила мыслью о прекрасной Франции, куда ежегодно, то с мужем, то одна, уезжала на несколько месяцев. В то время, когда я ей был представлен в доме Нарышкиных, это была женщина уже безо всяких следов былой красоты, довольно эксцентричная и чрезвычайно экспансивная. Она любила фривольный разговор и очень охотно говорила о дамах парижского полусвета, о чем меня со смехом предупредил Нарышкин. Однажды у Нарышкиных по случаю именин был устроен большой обед. Съехались супруги Арсеньевы, Керн, Новиков и я. Софья Спиридоновна была в превосходном и очень веселом расположении духа; мне она сказала, что я буду сидеть за обедом рядом с мадемуазель Арсеньевой и что она надеется, что моя беседа с Арсеньевой всех их развлечет и позабавит. «Поговорите с ней о кокотках. Вы увидите, как она тогда оживится и как будет забавна. Однако прошу вас сделать это так, чтобы ее не обидеть и чтобы она не догадалась, что мы все хотим над ней подтрунить». Задача была трудная, но меня успокоил любезный хозяин, сказав, что он меня выручит и первый начнет разговор, а меня лишь просит его остроумно поддержать. После первых тостов Нарышкин обратился к мадемуазель Арсеньевой и сказал ей, что вот, мол, она сидит рядом со мной и болтает о незначительных вещах, а не знает того, что я пишу серьезный труд, а именно историю парижских дам полусвета. Арсеньева даже припрыгнула от удивления и удовольствия и воскликнула: «Как, месье Бутович, вы пишете *Histoire des cocôtes** и до сих пор ничего мне об этом не сказали?! Да знаете ли вы, что я могу дать много интересных сведений и о Лили Бланш, и о Сюзи, и о Лине Кавальери – я ее лично знала?!» Арсеньева вошла в положительный раж, так и засыпала меня сведениями и вопросами. А я слушал ее внимательно, поддакивал и делал вид, что глубоко ей благодарен за крайне интересные сведения.

В начале или же в середине декабря было получено известие, что в полк приезжает командующий войсками Московского военного округа генерал Сандецкий. Это известие переполошило решительно всех, так как Сандецкий был лютый зверь в образе человеческом. Буквально ни один его смотр не проходил благополучно, все они сопровождалось криками, бранью, оскорблениями, отрешением от должностей и отдачей под суд командного состава. Все офицеры были на ногах, солдаты везде мыли, мели и чистили, в канцелярии усиленно щелкали машинки, адъютант не отвечал на заданные ему вопросы, а только хватался за голову и исчезал в своем кабинете. Больше всего меня поразил генерал Керн: вид у него был совершенно растерянный, он то бесцельно ходил по зданию, то поднимался в офицерское собрание, то сходил опять вниз, в канцелярию, то шел в казармы. Я совершенно уверен, что если бы армия Вильгельма была в одном переходе от Кирсанова, то волнения и страхов было бы много меньше, чем в ожидании приезда генерала Сандецкого. Сандецкий прибыл на другой день рано утром и два дня смотрел полк. Против всякого ожидания все сошло благополучно, он никого не изругал, никого не отдал под суд и никого не отстранил от должности. Во время представления господ офицеров я хорошо рассмотрел Сандецкого: он был высокого роста, с неприятными глазами,

* История кокоток (фр.).

типичный военный бурбон. Когда он уехал, у всех, в особенности же у кадровых офицеров, гора свалилась с плеч и, кажется, решительно все напились до положения риз. Я упомянул здесь об этом генерале лишь для того, чтобы выразить удивление, что подобные типы могли не только состоять на службе, но и занимать должность командующего округом. Весь смысл подобных смотров заключался в том, чтобы нагнать побольше страха, смешать с грязью подчиненных – в этом они видели свой долг и обязанность. Какое жестокое и колоссальное заблуждение, чреватое нарастанием недовольства в широких военных массах!..

Во время приезда генерала Сандецкого в Кирсанове было уже шесть тысяч призванных солдат. Расквартированные по всем ближайшим деревням, они не были обмундированы, не имели оружия и лошадей. Учение проходило раз в неделю с палками вместо ружей! Вся эта масса солдат кормилась на казенный счет, невероятно скучала и томилась по своим родным Ивановкам и Семёновкам. Естественно, что в этих условиях пропаганда, которая тогда уже началась, имела успех. Привлечение таких громадных человеческих масс и сосредоточение их без дела в запасных полках были прежде всего разорительны для страны, а затем и явно бессмысленны. Вместо того чтобы брать нужное число людей партиями, мобилизовали сразу миллионы, оставили их в тылу, и революция показала, кому это было на руку.

Во второй половине декабря я был неожиданно вызван к командующему полком. Явившись в канцелярию, сейчас же был принят генералом Керном. Он обратился ко мне приблизительно со следующими словами: из Управления по ремонту армии было получено предписание отправить в Сибирь, в распоряжение председателя ремонтной комиссии полковника Бураго, вполне надежного офицера, знающего лошадь, с помощником и командой солдат для приема и привода в 3-й запасной кавалерийский полк тысячи лошадей. «Я прошу вас, Яков Иванович, не отказываться от этой командировки, так как больше послать мне некого, – сказал Керн. – И если вы возьмете на себя эту миссию, то я буду совершенно уверен, что она будет блестяще выполнена». Поездка в далекую Сибирь мне мало улыбалась, ибо, живя в Кирсанове, я уже на второй день в случае надобности получал письма из Прилеп и руководил заглазно делами завода и имения. Отказаться, однако, было неудобно, и я дал согласие. Мы стали обсуждать условия поездки и связанные с ней организационные вопросы. В мое распоряжение поступала команда в триста человек с офицером и большое количество конского снаряжения: арканы, канаты, недоуздки, уздечки, щетки со скребницами и прочее. Кроме того, отпускалась весьма крупная по тому времени сумма денег. Генерал спросил меня, кого из офицеров я желаю, чтобы он назначил в мое распоряжение. Подумав, я просил назначить прапорщика Джамгарова, и вот почему. Я никогда не любил, да, впрочем, и не умел, возиться с денежной отчетностью, а Джамгаров, которого я знал по Москве, сын известного банкира и к тому же работавший в своем банке, прекрасно повел бы отчетность, и я был бы спокоен за казенные деньги. Керн вполне одобрил мой план. Получив трехдневный отпуск для устройства личных дел, я поручил Джамгарову формирование эшелона, обеспечение деньгами и конским снаряжением, а сам уехал в Москву, куда вызвал Ситникова. Поездка в Сибирь и пребывание там должны были занять пять-шесть месяцев, а потому в Москве я купил теплые вещи, доху, сшил военное пальто на бараньем меху и сделал большой запас сигар и книг. Отдав все распоряжения Ситникову, я вернулся в Кирсанов. К моему приезду все было уже приготовлено, и я, получив инструкции и бумаги, был готов тронуться в путь.





1915 ГОД. СИБИРЬ

Новый 1915 год я встретил в вагоне по пути в Сибирь. В моем распоряжении было всего десять вагонов: один классный, который занимал я с Джамгаровым да наши два денщика и вестовой, и девять теплушек для солдат. Перед отъездом из Кирсанова ко мне на квартиру явился brave кавалерист и просил либо зачислить его в команду, либо взять к себе в денщики на время сибирской поездки. «Почему ты просишься ехать?» – спросил я его. «Желаю побывать на родине, ваше высокородие, – последовал ответ, – я сибиряк». Я посмотрел на молодца: это был гигант, косая сажень в плечах, ручищи как лапы у медведя, крупные черты лица, и силы, по-видимому, этот человек был огромной. При всем этом у него было приятное и довольно интеллигентное лицо. «Где служил?» – спросил я. «В лейб-гвардии гусарском Его Величества полку, был песенником». – «Твоя фамилия?» – «Шмелёв». – «Из крестьян?» – «Нет, из мещан, вместе с братом имеем кожевенный завод». – «Значит, торгуете, ваше степенство?» – сказал я шутя и велел ему оставаться в денщиках на время сибирской поездки, а своего денщика оставил при кирсановской квартире, то есть в деревне Шиповке. Шмелёв оказался чрезвычайно аккуратным, чистоплотным и исполнительным человеком. Он превосходно знал местные условия и обычаи и был мне крайне полезен в этом путешествии. Я оставил его затем при себе до конца службы, и он ездил со мной и в Полтаву, и в Орёл, и в Тулу, то есть туда, где я впоследствии работал по ремонту армии. После демобилизации он уехал на родину и прислал мне оттуда трогательное благодарственное письмо и в подарок товару своей фабрики на шесть пар сапог! Вернусь, однако, к моему путешествию.

Наши вагоны прицепили к товарному поезду, идущему на Ртищево – Пензу. Ехали мы очень долго, почти две недели, так как на всех станциях и полустанках сейчас же за Челябинском имели длительные остановки, ибо нам навстречу шли эшелоны войск Квантунского армейского корпуса, направлявшегося на театр военных действий. Не только мы, но и все другие поезда – пассажирские, почтовые, товарные и служебные – терпеливо выстаивали часами на глухих сибирских полустанках и станциях, и казалось, что конца-краю не будет этому «дефиле» войск... Сердце радовалось при виде бодрых, здоровых лиц и богатырских фигур квантуновцев, так и думалось, что они постоят за себя! За Омском железнодорожный путь стал значительно свободнее, и мы пошли гораздо быстрее. Наконец прибыли на станцию назначения Тутальскую, откуда нам предстояло двигаться дальше исключительно на лошадях, ибо село Брюханово, где мы должны были ждать первых распоряжений полковника Бураго, находилось от Тутальской в 170 верстах.

Второй раз в жизни мне пришлось ехать по Великому сибирскому пути, так как впервые я проезжал здесь во время Русско-японской войны. Пенза, Самара, Сызрань мне были хорошо знакомы, но Уфу довелось проезжать днем впервые. Что за красивые и благодатные места по реке Белой! Панорамы одна величественнее и красивее другой открывались передо мной. Леса, горы, долины, реки и ручьи – все привлекало и радовало глаз и напоминало картины из детства Багрова-внука, так

талантливо и, по-видимому, верно описанные в свое время Аксаковым. Уфа стоит на высокой горе и очень живописно расположена. Я около трех часов осматривал этот город, посетил Уфимскую заводскую конюшню, которой в то время управлял Пусторослев, хорошо знакомый мне по Хреновскому заводу. Челябинск, куда мы приехали рано утром, перевалив Урал, напоминал скорее большую деревню, нежели город в настоящем смысле этого слова. Другие города, которые я осматривал по пути, не исключая и Новониколаевска (ныне – Новосибирск), который рос со сказочной быстротой, не произвели на меня большого впечатления. Во всех этих городах я искал старину, но решительно ничего найти не мог: ни фарфора, ни мебели, ни картин не было, и об этом, по-видимому, сибиряки имели мало понятия. В этих городах не было ни одного старьевщика-антиквара. На станции в Златоусте я внимательно и подробно осмотрел витрины уральских заводов и купил несколько безделушек: пепельницы, коробочки и прочее из малахита и других камней. Челябинск славился своими изделиями из мамонтовой кости, и я, посетив в этом городе мастерскую таких изделий, тоже кое-что приобрел.

Когда мы приехали на станцию назначения Тутальскую, то, как нарочно, стоявшая до того мягкая погода сменилась жестокими холодами, мороз доходил до 32 градусов. Вытребовав обывательских лошадей, я отправил команду в село Брюханово. Солдаты разместились по три человека в санях; ехать им было хотя и холодно, но терпимо благодаря тихой и совершенно безветренной погоде. Команда делала в



Прибытие почты.

Илл. к книге Дж. А. Фроста «Сибирь и ссылка»

сутки от 50 до 60 верст, и расстояние это преодолевали легко, на ночевку приезжали уже в 4 часа дня. Я ехал на ямской тройке то обгоняя команду, то отставая, и весь переход мы сделали в три дня. Во время этого своего путешествия на лошадях я имел возможность ознакомиться с сибирской деревней. Удивительно богато, привольно и хорошо жил сибирский крестьянин! В избе у него полное довольство: стулья, занавески на окнах, чистые половики, горы пуховых подушек, расписные кованные сундуки, вязаные скатерти на столах, зеркало на стене, швейная машинка, горшки с геранью и нередко граммофон. И это в каждой ямской избе, куда я заезжал, а перевидал я их во время путешествия немало. Конечно, ничего подобного нельзя было встретить в нашей великорусской деревне, и контраст этих изб и этого довольства с тем, что я оставил хотя бы в кирсановской деревне Шиповке, был чрезвычайно резок. Следует, впрочем, заметить, что сибирские ямщики – народ наиболее зажиточный, но и рядовые крестьяне жили столь же привольно и почти столь же богато: держали много лошадей, скота и птицы; во дворах стоял инвентарь: жатки, веялки, сенокосилки и сеялки. Амбары ломились от хлеба, и сам мужик имел веселый, сытый и довольный вид. Крестьяне здесь были вежливы, не угадывалось и следа уныния на их лицах, а о недовольстве в то время и речи не шло. Гостеприимство и радушие здесь было полное, и довольство виделось во всем: подадут на стол утку – она заплыла жиром; наставят всякой всячины – рыбы, сибирских пель-

меней, большие караваи белого хлеба, разных квасов, пива своей варки – и все очень вкусное и крепкое и в большом ходу у крестьян. За столом чисто и опрятно, так что приятно не только сесть за такой стол, но и посмотреть на него.

Мужик в Сибири коренастый, кряжистый, здоровый, сильный и упитанный. Черты лица скорее крупные, чем мелкие, движения медлительные и важные, бороды длинные и часто кучерявые. Что особенно бросилось мне в глаза, это достоинство, с которым держит себя здесь народ: не было и тени подхалимства, а наоборот, ясное сознание собственной силы. Словом, мужик в Сибири был особый и, главное, домовитый. Не отставали от отцов и сыновья: парни, на кого ни поглядишь, все как на подбор, один к одному: глаза ясные, румянец во всю щеку, так и пышет от них здоровьем. Кто из русских людей не знает и не помнит славных подвигов сибирских корпусов во время последней мировой войны? А кто, как я, поездил по Сибири и видел этот народ у себя дома, для того эти подвиги понятны и вполне естественны. Бывало, сидя за столом и разглаживая заиндевевшую бороду, вступишь у хозяина: «Что, чалдон, побьем мы немцев?» – «Отчего нет?» – следовал ответ. И это звучало уверенно и гордо! Я родился и вырос в деревне, люблю и хорошо ее знаю, долгое время вел хозяйство, а потому интересы деревни мне были всегда особенно близки и дороги. То, что я увидел здесь, в крестьянской Сибири, переполнило мое сердце не только радостью, но и величайшими надеждами. Великое будущее ждало Сибирь, а с ней и всю Россию... Именно такой я рисовал в своем воображении патриархальную Русь – деревню дедовских и прадедовских времен. Бодро, уверенно, весело и хорошо чувствовал себя тогда русский человек, попадая в Сибирь, и перед его удивленным взором открывались совсем другие картины, нежели те, которые он рисовал себе дома, собираясь в далекую и страшную Сибирь!.. Только все сказанное относится исключительно к сибирякам, то есть коренным жителям Сибири. Те несколько сел русских переселенцев, которые я из любопытства осмотрел, привели меня прямо в неопикуемый ужас. Бедность, нищета, грязь и убожество – вот что я там застал. Мужичонка корявый, захудалый, оборванный, детишки грязные, бабы бедно и неряшливо одетые. Во дворе ни инвентаря, ни сносной постройки, ни птицы, ни скота. Стоит одна убогая лошаденка, и копается у своих дровней такой мужичонка – точь-в-точь, как его отец и брат где-нибудь в захудалом уезде Рязанской или Тульской губернии. Крепко не любят сибиряки этих переселенцев и называют их татями, туняядцами и пьяницами. Не хотят работать, не могут приспособиться к новым условиям жизни и влачат здесь, в этой обетованной земле, убогое и жалкое существование...

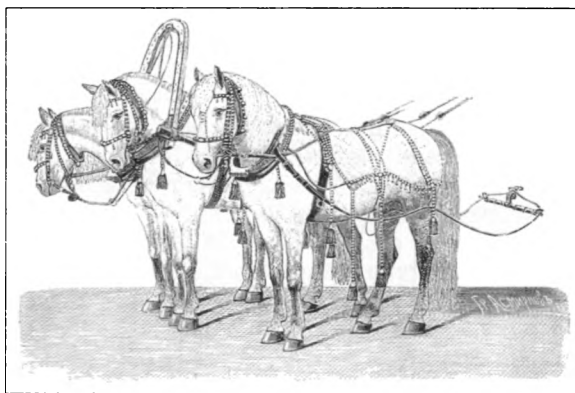
Нельзя не сказать хотя бы несколько слов об удивительно смелой, лихой и быстрой езде здешних ямщиков, ибо она не только увлекательна, но и крайне своеобразна. В Сибири, где расстояния измеряются сотнями, а иногда и тысячами верст, где подъездных и железнодорожных путей почти нет, такая езда и такая организация ямского дела существенно необходимы и вызваны самой жизнью, без такой езды трудно себе представить жизнь сибиряка. Если мне, предположим, необходимо с ближайшей железнодорожной станции попасть в город Кузнецк Томской губернии, то я должен сделать на лошадях 305 верст, ибо таково кратчайшее расстояние от станции до этого города. И такие расстояния здесь никого не смущают и не удивляют – к ним привыкли. Да, велика и грандиозна Сибирь! Потому и неудивительно, что ямщичье дело организовано здесь блестяще, а ямщик является видной фигурой сибирской деревни.

У сибиряков в каждом селе существуют так называемые вольные ямщики, они-то и везут путешественника или просто проезжающего от села к селу, или, как здесь говорят, от станции до станции. Мелькают, как в калейдоскопе, Сосновки, Берёзовки и Тарасовки, ямщиков Ермолаевых сменяют Чалдины, Чалдиных Винтовкины и так далее, пока не кончится ваш путь. Сибиряки называют это ездой «по нашей веревоч-

ке», желая, вероятно, этим сказать, что все ямщики тесно связаны друг с другом и что езда идет гладко и без перебоев, словно по веревочке. Когда мне пришлось ездить по Сибири без команды, осматривая ли заводы или по своему делу, то я только диву давался, как лихо и быстро везли меня «по веревочке». Выйдешь, бывало, к повозке (здесь повозкой называют крытую кибитку-сани), полууляжешься в ней, под спину услужливый ямщик подоткнет подушки, укроет тебя «кошмой» (род большого войлока), сам заберется на облучок – и тройка выезжает со двора. Бочком, свесив на правую сторону ноги, сидит ямщик, туго натянув вожжи и зорко глядя на коренника. Чуть выехали со двора, ямщик загикал, закричал, ударил кнутом по лошадям – и тройка уже мчится по широкой сибирской улице. Такая езда по деревне, то есть во всю конскую прыть, считается обязательной для каждого ямщика и служит признаком особой удалости и заливчатости. Вот уже гурьбой высыпали на улицу другие ямщики, чтобы посмотреть, как Моросейка Чалдин лихо валит на своей тройке, а мы уносимся вдаль, все вперед и вперед, подымая за собой облака снежной пыли. Мелькают крестьянские избы, выстроенные здесь в два порядка, мы выезжаем на поскотину, а за ней начинается бесконечная равнина снегов, которую сменяют леса, горы и реки, а потом опять без конца тянутся все те же снежные равнины, где-то на горизонте сливаясь с холодным оранжево-красным или фиолетово-синим сибирским небом. Без устали гикает, кричит, гонит лошадей ямщик, мы едем то крупной рысью, то вскачь, то опять переходим на рысь, и версты, десятки верст незаметно летят одна за другой. Вот мы проехали полпути, и ямщик переходит на шаг; коренник устало мотает головой, пристяжные на ходу хватают снег, а ямщик поправляет тулуп и уже подбирает вожжи. Передохнули кони, оправился ямщик – и мы опять летим по снежной равнине...

Вдали покажется наконец деревня, во всю прыть своих усталых коней влетает ямщик в село и лихо подкатывает к ямской избе. Мигом закладывают новую тройку, новый ямщик взбирается на облучок, кони нетерпеливо топчут копытами снег и гремят бубенцами, а хозяйка тем временем поит вас горячим чаем с кренделями и расспрашивает про городские новости. Много своеобразной прелести и красоты в этой лихой троечной езде, и кто поездил по Сибири, едва ли когда-нибудь это забудет.

Село Брюханово Кузнецкого уезда Томской губернии – типичное торговое сибирское село. В нем две церкви, базарная площадь и большое население. Устроившись хорошо и удобно, вкусно поужинав, мы с Джемгаровым имели удовольствие после двухнедельной тряски в вагоне и трехдневной езды на лошадях растянуться во весь рост и во всю ширь на хороших кроватях. «Хорошо в Сибири», – сказал я Джемгарову и вскоре заснул богатырским сном. На другое утро, одевшись, напившись кофе с великолепными густыми



Русская тройка

сливками и выкурив утреннюю сигару, как будто был в Прилепах, а совсем не в глухой сибирской деревне, я пошел посмотреть село. Улицы его были значительно шире улиц в наших деревнях, да среди домов большинство двухэтажные, причем нижние этажи были кирпичные, а верх – деревянный. Жили на верхнем этаже, внизу были коморы, кладовые, помещение для работников и прочее. Также поражало

обилие надворных построек при домах, то есть сараев, боковушек, бань. Я шел по улице, с интересом глядя по сторонам, а сибиряки из своих домов и встречные на улице с неменьшим интересом наблюдали за мной.

Местный богач Пьянков, к которому я зашел, принял меня отменно любезно, сказал, что уже слышал о моем приезде, и добавил, что сегодня же хотел быть у меня и познакомиться со знаменитым русским коннозаводчиком. Я удивленно посмотрел на него и спросил, откуда он знает, что я коннозаводчик. «Помилуйте, Яков Иванович, – сказал Пьянков, – кто же из нас, коннозаводчиков, вас не знает?» Итак, Пьянков был сам коннозаводчик, что он и поспешил мне подтвердить, а затем добавил, что я нахожусь в самом центре вновь возникшего района кузнецких конных заводов, созданных по мысли и исключительно благодаря энергии полковника Бураго для производства ремонтной лошади и имеющих стремлением заменить заводские ступицы с их зимовниками и табунами. «Вот в чем дело, вот куда они гнут», – подумал я. Пьянков протянул мне журнал «Коннозаводство и спорт»: «Не желаете ли посмотреть последний номерочек? Только что получен». Вот те и сибирская глушь, вот те и село Брюханово. Вероятно, меня здесь ждет много интересного. Умный сибиряк как будто прочел мои тайные мысли и сказал: «Мы всё вам покажем и вместе с Петром Алексеевичем ждем вашей поддержки». Разговор наш происходил в небольшой конторе, отделенной от магазина стеклянной перегородкой. «Что же я вас не прошу наверх?!» – спохватился Пьянков и засуетился, приглашая меня к себе. «Разрешите мне прежде посмотреть магазин и двор, – попросил я хозяина, – и извините любопытство человека, желающего видеть и знать жизнь и быт Сибири». «Извольте, охотно покажу вам всё», – сказал Пьянков, и мы вошли в магазин. Здесь торговали сукнами, мануфактурой и бакалеей. Из магазина мы вышли на улицу и здесь осмотрели еще две пьянковские лавки: посудную и другую, торговавшую дегтем, мазью, колесами, железом и скобяным товаром. Тут же рядом был небольшой мучной лабаз, где бойко шла торговля мукой, пшеном, солью и прочим. Словом, придя к Пьянкову, можно было купить решительно все, от платка до ботинок и сапог, от стакана до тульского самовара. Это был своего рода местный «Мюр и Мерилиз», и дела он делал громадные; состояние его для деревенского купца было очень большое, что-то около миллиона, как говорили мне брюхановцы. Во дворе пьянковского дома были склады, кладовые и хозяйственные постройки и службы. Здесь было чисто, везде подметено, стройка была прочная, фундаментальная, все было на запорах и замках, а цепные собаки, когда мы вошли во двор, подняли адский лай и визг, рыча и кидаясь на своих цепях. Пьянков жил наверху, на втором этаже, над своей главной лавкой. В доме все было устроено и обставлено на купеческую ногу: полы, крашенные олифой и натертые воском, блестящие, чистые половики и белые дорожки вели от дверей одной комнаты до дверей другой; печи-голландки – кафельные, с горячими лежанками; по стенам висело два зеркала в рамках красного дерева, такова же была остальная обстановка, то есть хотя и красного дерева, но тяжелая и топорной работы. Огромный диван был крыт малиновым трипом; в углу стояла горка с ценной посудой и серебром; у окон висели три клетки с певчими птицами, а в красном углу стояла божница со многими образами и неугасимой лампадой. Сам хозяин был плотный, коренастый человек с умными глазами и рыжей, по пояс, бородой. Одет он был в длинную поддевку черного цвета и высокие сапоги. Волосы носил длинные, посередине надвое разделенные пробором, ходил медленно и говорил степенно и очень умно. О таких людях в Сибири принято говорить: «Купец с медалью – умный человек». И действительно, Пьянков имел медаль и был очень умным человеком. Его сын, довольно стройный, высокий брюнет, был одет в европейское платье и решительно ничем не отличался от московского купца средней руки. Пьянков уже не выезжал по торговым делам своей фирмы в Нижний к Макарию или в Москву и сибирские города, туда ездил и все справлял его сын. Мы уехали

в зале, а тем временем в соседней комнате звенели посудой – очевидно, собирали чай и закуску. Пьянков восседал в высоких креслах у стола и, медленно поглаживая свою большую бороду, вел разговор о сибирских делах и обычаях. Я слушал его с большим интересом и, глядя на весь этот окружавший меня старозаветный быт, думал: «Живы еще на Руси не только типы купечества, описанные нам незабвенным Островским, но и купцы-заволжане, эти тысячники, как их звали в Верховом Заволжье, которые так метко и интересно описаны Мельниковым-Печерским в его замечательном романе «В лесах».

Бураго все не приезжал, а я продолжал жить в Брюханове. Прошло еще немного времени, и я получил от полковника письмо, в котором тот извещал меня, что все еще не может получить отпущенный ему на закупку лошадей миллион рублей в казначействе, так как там нет денег, и как только он получит деньги, то немедленно прибудет в Брюханово. Время, предоставленное мне этой случайной задержкой, я использовал для осмотра и изучения кузнецкой лошади, сведения о ней я затем пополнил от Бураго и некоторых местных охотников, а также осмотрев тысячи лошадей этой, не хочу сказать породы, разновидности.



Сотрудники фельдъегерской службы

В Томской, равно как и в соседних губерниях, имеются весьма обширные земельные пространства, позволяющие местному населению держать большое количество лошадей и прочего скота. Этому также способствует хороший климат данного района и весьма высокое качество здешнего травяного покрова. К тому времени, к которому относится мой рассказ, из-за вздорожания земель в Европейской России и на Северном Кавказе многие животноводы стали искать свободные, просторные земли в пределах России азиатской и затем начали переселяться в Сибирь. Правительство сдавало земли в аренду сроком на 36 лет лицам, желавшим заняться скотоводством. Условия, на которых сдавались земли, были подробно разработаны, и существовали правила о сдаче в аренду казенных земельных участков в Сибири, в степном краю и Туркестане. Все конные заводы, возникшие в Кузнецком уезде, главным образом в районе Брюханова, на многочисленных, специально для того отведенных заимках, базировали свою деятельность на кузнецкой кобыле. Улучшение шло путем прилития крови жеребцов культурных пород.

Сибиряки считают родиной кузнецкой лошади Кузнецкий и Щегловский уезды Томской губернии. Щегловский уезд, по данным местного обследования, представляет собой лесостепь, а Кузнецкий – чистую черноземную степь. В долинах рек Томи, Ины и их многочисленных притоков имеется много превосходных луговых пространств, здесь-то около сотни лет тому назад и была выведена кузнецкая лошадь, или томская, как ее называют еще некоторые иппологи. Вполне естественно,



П. Ковалевский. «Объезд епархии»

что меня очень интересовало не только то, как и каким путем была создана эта лошадь, но и какие элементы были взяты для ее создания. В литературе по этому поводу существует мнение, что наибольшую роль в создании кузнецкой лошади сыграл орловский рысак, кровь которого якобы начала приливаться к местной лошади с 50-х годов XIX столетия благодаря основанию в этой губернии первого рысистого завода Давидовича-Нащинского. Здешние люди приводили мне разные легендарные истории о лошадях этого завода, что вполне понятно, ибо до пионерской деятельности Давидовича-Нащинского в этих краях не имели никакого понятия об орловском рысаке. Отдавая должное лошадям Давидовича-Нащинского, я, однако, считаю, что сибиряки были склонны преувеличивать роль этого завода при создании кузнецкой лошади. Мне, хорошо знакомому с историей рысистого коннозаводства и составом и качеством рысистых заводов, было известно, что Давидович-Нащинский имел трех заводских жеребцов и всего восемь заводских рысистых маток. Вполне понятно, что столь ограниченный контингент рысистых лошадей, если принять во внимание короткий срок существования завода, не мог оказать решающего влияния на создание кузнецкой лошади, насчитывающей многие тысячи представителей, и лишь способствовал ее улучшению, а потому приходилось искать другие данные, могущие пролить свет на историю возникновения кузнецкой лошади.

Расспрашивая местных старожил и вообще охотников-сибиряков, я услышал от них две новые версии на эту тему. Они дают нам вполне достаточный материал, поясняющий, как же в конце концов создалась кузнецкая лошадь. По одной версии, основанием к образованию кузнецкой лошади послужили битюги. В те отдаленные времена, когда еще не был построен Великий сибирский путь, купечество привозило в далекую Сибирь товары из Европейской России на лошадях. Чтобы выдержать такую дальнюю дорогу, да еще с груженым возом, лошади в обозах должны были быть и хорошими, и сильными. Купцы покупали в Европейской России битюгов и на них отправляли свои товары в Сибирь. Здесь товары распродавались, а затем продавались и лошади, которые привезли этот товар. Благодаря врожденной любви сибиряка к лошадям эти битюги легко находили себе покупателей, и местное население отводило на свободных землях от них лошадей. Так шло дело, и к местной лошади приливалась кровь воронежского битюга. Версия, вероятно, вполне соответствует действительности. У кузнецкой лошади есть масса (вес) и несомненные признаки прилития крови какой-то тяжелой породы. Лошади тяжеловозных пород, а стало быть, и битюги, всегда продаются и работают не меринами, а жеребцами,

а потому и с этой точки зрения предание не расходится с реальной возможностью ввоза в то время большого количества именно жеребцов, а не меринков. Не три жеребца и восемь рысистых кобыл Давидовича-Нащинского создали кузнецкую лошадь, а широкое участие и привод сюда в течение долгого ряда лет битюгов и вообще русских тяжелых, улучшенных лошадей. По второй версии, в очень давние времена в Алтайском округе (Кузнецкий уезд на юге граничит с отрогами Алтая) стоял кирасирский полк, который был там же расформирован, и будто бы кирасирские жеребцы, оставшись в крае, и создали кузнецкую лошадь. В то время в кирасирских полках были очень крупные лошади, холоднокровные, то есть и здесь имеется указание на прилитие крови тяжеловозных пород. Я полагаю, что кузнецкую лошадь создали оба фактора: сначала кирасирские тяжелые лошади, а затем и битюги. Нельзя не указать, что в то время коневодство в крае было исключительно табунное, лошади ходили по тучным заливным лугам, брались в работу только вполне закончив свой рост и общее развитие, а это также благоприятствовало созданию кузнецкой лошади.

Перейдем теперь к тому влиянию, которое оказал на этих лошадей орловский рысак. Неоспорим факт, что рысаки впервые сюда попали благодаря Давидовичу-Нащинскому. Он основал свой завод в 1852 году в городе Барнауле Томской губернии. В его заводе было восемь заводских маток, из них две хреновские – Весточка и Хреновая, остальные кобылы были завода графа А. И. Гендрикова. Своих жеребцов он не имел, но выхлопотал у Главного управления государственного коннозаводства для улучшения частного коннозаводства Алтайского горного округа двух хреновских рысаков – Любимца 5-го и Любимого, которые и крыли маток его завода. Несомненно, прилитие крови орловского рысака весьма благоприятно отразилось на складе кузнецкой лошади: несомненно ее облагородило, подсушило и придало ей резвость и хорошую езду. Хреновские жеребцы были уступлены Управлением государственного коннозаводства лишь в 1868 году, причем о Любимце 5-м следует сказать, что он был сыном таких замечательных родителей, как Лондон и Чугунка, и один год состоял даже запасным производителем в Хреновском заводе. До получения этих двух жеребцов Давидович-Нащинский крыл своих маток жеребцом Похвальным, который был им куплен в Санкт-Петербурге, у Громова, и аттестат которого затерялся, а потому установить его происхождение невозможно. Итак, заводские книги с большой точностью позволяют нам установить, что влияние орловского рысака на кузнецкую лошадь началось в 1850-х годах в весьма скромных размерах (один жеребец – Похвальный), а в самом конце 1860-х – в более широких и значительных, ибо тогда стали покрывать уже и оба хреновских жеребца, и жеребцы, родившиеся в заводе Давидовича-Нащинского с 1852-го по 1868 год (в количестве 40–50 голов, считая по четыре жеребца в год за 15 лет; фактически, вероятно, меньше, если принять во внимание процент на падеж и прочее). Такова степень участия орловского рысака в интересующей нас кузнецкой лошади.

Вот как я описываю экстерьер кузнецкой лошади на основании совокупности впечатлений, вынесенных мною от осмотра на месте многих экземпляров. Рост всегда колеблется между 150 и 160 сантиметрами; туловище хорошее и объемистое; короткая и прямая спина с весьма прочной связкой; несколько спущенный, но всегда широкий зад, что мною здесь особенно отмечается; костистая нога (обхват плети 21–23 сантиметра) с развитой мускулатурой; хорошие суставы, как скакательные, так и путовые; шея прямая, без лебединого рисунка, собственного орловскому рысаку; голова большая и весьма часто с горбинкой, точнее, баранья, но не в сильно и некрасиво выраженной степени. К недостаткам кузнецкой лошади я отношу большую голову и саблистые ноги, которые в большой работе могут дать курбы. Что касается большой головы, то для кузнецкой лошади это не суть важно, ибо я согласен с господином Феодосиевым, который говорил, что «голова нужна хозяину,

а лошади – ноги»; и во-вторых, кузнечная лошадь, как лошадь упряжная и только, может себе позволить роскошь иметь большую голову. Таков экстерьер кузнечной лошади по основному очагу ее разведения. Следует еще заметить, что две основные крови, создавшие кузнечную лошадь, весьма удачно ассимилировались, определив ее весьма яркую физиономию.

Благодаря дешевизне кормов в этом районе Сибири кузнечная лошадь заканчивала свое развитие в 5 лет и поступала в работу не ранее этого возраста. В езде она очень добронравна, недурно идет рысью, делая, по моим наблюдениям, до 12 верст в час, и хорошо везет груз, имея ровный, как бы приспособленный для возки тяжестей, шаг. По данным, которые сообщил мне тогда же Бураго, кузнечных лошадей насчитывалось в грубой цифре свыше 200 тысяч голов. Во время войны ремонтные комиссии выкачали отсюда 50 тысяч лошадей для артиллерийских частей, и, как говорил мне все тот же Бураго уже в Санкт-Петербурге незадолго до окончания войны, эти лошади проявили в походах выдающуюся силу и выносливость. Те из них, которые были куплены на юге Кузнечного уезда (в отрогах Алтая), шли под седло господ офицеров и больше приближались к верховому, чем к артиллерийскому сорту. Последнее сообщение Бураго меня чрезвычайно заинтересовало, и я рассказал ему о том, что завод Давидовича-Нащинского был в Барнауле, что в Алтайский округ Управление государственного коннозаводства в 1868 году уступило двух хреновских жеребцов, что благодаря деятельности завода Давидовича-Нащинского прилитие рысистой крови к кузнечной лошади шло с юга, то есть с Алтая. Само собой разумеется, что на юге, где находился завод, в кузнечной лошади было больше орловской рысистой крови, отсюда ее большая пригодность к верховой езде. Бураго вполне со мною согласился, тогда же записал точные даты и хотел ими воспользоваться для своей работы о кузнечной лошади. Интересно отметить, что в 1916 году управляющий государственным коннозаводством П. А. Стахович имел со мной беседу о кузнечной лошади, которую он очень хвалил, так как видел и знал ее работу в действующей армии. Стахович правильно решил, что необходимо всячески поддержать Кузнечный район, съездил туда сам, после чего и был основан кузнечный рассадник этой лошади со штатом в 20 жеребцов и 200 кобыл кузнечных и 4 жеребца орловских рысистых. Что случилось с этим рассадником, я не знаю, но полагаю, что, как и всё в России, он погиб.

Теперь отвечу на вопрос о том, что думал, хотел и сделал в этом районе Бураго. Он верно оценил положение верхового коннозаводства в Европейской России, где с каждым годом с катастрофической быстротой уменьшалось число верховых заводов вследствие полной невозможности вести таковые из-за больших убытков, которые они давали. Нельзя обойти вниманием так называемый «донской вопрос», то есть стремление донского крестьянства и казачества получить для себя земли, находившиеся в аренде у донских коннозаводчиков: осуществись такое – донские заводы, которые давали главный контингент лошадей для нашей кавалерии, погибли бы безвозвратно. Бураго видел, что надо искать новые земли и новые места для образования там в крупном масштабе производства верховой лошади. Русская кавалерия получала немало превосходных ремонтных лошадей из Царства Польского, но близость этой области к границе делала ее на случай войны неустойчивой в смысле покупки там лошадей, и все это имел в виду Бураго. Когда он был назначен председателем сибирской ремонтной комиссии и стал знакомиться со своим обширным районом, то, естественно, оценил кузнечную лошадь.

В Щегловском и Кузнечном уездах природные условия были весьма пригодными для разведения лошадей, а среди местных жителей оказалось много охотников и любителей. Как человек очень умный, настойчивый, энергичный и дальновидный, Бураго решил создать здесь, на базе кузнечной кобылы, район производства ре-

монтных лошадей, сначала артиллерийских, а потом и кавалерийских. Для этого ему нужно было прежде всего подобрать десять-двенадцать человек из числа богатых людей, с тем чтобы они решили устроить под его наблюдением и по его плану конные заводы. Люди нашлись, но средства давать никому не хотелось, ибо дело не казалось достаточно верным и не сулило больших барышей. Тогда Бураго поступил очень остроумно и дальновидно: собрав вокруг Пьянкова такую группу, он два или три года кряду давал им поставку значительного числа лошадей для армии и таким путем не только приохотил их к лошади, но и дал хорошо заработать. Сибиряки, которые туго расстаются с деньгами, как, впрочем, и все богатые люди, увидели, что это дело не пустое, и решили заводы завести. В это время из петербургской канцелярии по ремонту армии сыпались запросы, почему и отчего такие большие партии лошадей закупаются не непосредственно у крестьян и владельцев, а через поставщиков, но Бураго обращал на это мало внимания и умел отписываться. В Томске, в квартире Бураго, состоялось первое собрание этих коннозаводчиков-пионеров, и шесть человек выразили желание завести заводы со штатом свыше 100 маток. Бураго, окрыленный успехом, полетел в Петербург, выхлопотал им участки в аренду сроком на 36 лет и достал жеребцов-производителей из Главного управления государственного коннозаводства. Среди пионеров дела были Пьянков, Чевелёв, Ермолаев и другие. В Петербурге Бураго сделал несколько докладов, и его мысль была поддержана, хотя, откровенно говоря, мало кто верил в ее осуществление. С большим энтузиазмом принялся Бураго за хлопоты и даже успел склонить полтавскую коннозаводчицу Н. Л. Мусман взять в аренду и завести в Кузнецком уезде завод на 150 маток. Бураго вернулся в Томск; будущие коннозаводчики получили свои участки, жеребцов из Петербурга и приняли скупать кобыл. Душой всего дела был неутомимый и подвижный Бураго, который главным образом и скупил им заводской материал. Заводы эти охватили вокруг Брюханова радиус в 50 верст, и село стало центром нового района производства ремонтной лошади. Авторитет Бураго был очень велик, и фактически он вел всю техническую сторону дела. Кроме того, следует иметь в виду, что он же и в дальнейшем, как председатель ремонтной комиссии, должен был стать главным покупателем этих лошадей. Примеру пионеров последовали другие коннозаводчики, и в несколько лет этот район возник не только на бумаге, но и в действительности. На заимках выросли конюшни, базы, варки и дома, материал был уже собран, жеребцы стали покрывать кобыл, и получился первый приплод. Затем жизнь заводов потекла более ровно и менее напряженно. Бураго делал все от него зависящее, чтобы помогать начинавшим дело коннозаводчикам. Ему удалось привить единомышленникам дух охоты, были выписаны коннозаводские журналы, появился опытный персонал – заведующие, фельдшеры и смотрители, и дело пошло на лад. Вместе с Бураго я осмотрел эти заводы, однако расскажу о них позже, когда перейду к описанию всех виденных мною заводов, как в России, так и в Сибири. Здесь же я нахожу нужным сказать, что задача, поставленная Бураго, была удачно выполнена. Я видел приплоды в этих заводах, они были хороши, хотя и не все ровны, но вполне пригодны для ремонта армии. От некоторых производителей приплод был буквально один в один, и трудно было принять этих малышей за полукровок, даже опытный глаз заводчика мог ошибиться. Такие жеребцы, которых ныне называют модным словом «препотентные», особенно ценны, и Бураго сумел их почувствовать, а затем и купить. Разумеется, по качеству и количеству материала Кузнецкому району было далеко до Дона, но ничто не делается сразу, и несомненно, что этот район ожидало большое будущее. Так одному лицу, а именно полковнику Бураго, удалось сделать то, что было под силу лишь государственной власти, и надо с благодарностью и уважением упомянуть его имя в этих коннозаводских мемуарах.

Незадолго до приезда Бураго я получил приглашение от коннозаводчика Ермолаева приехать к нему на именины. Там должны были собраться все местные коннозаводчики и любители лошади, и я охотно принял приглашение. Меня звали на весь день, но я сказал, что к именинному пирогу не успею, а приеду вечером, к ужину. Я хотел выехать из дому сейчас же после обеда и еще засветло добраться до Ермолаева, но после обеда проспал дольше обыкновенного и проснулся довольно



П. Ковалевский. «Опрокинулись»

поздно. Тройка уже стояла у крыльца. От Брюханова до заимки Ермолаева было без малого 40 верст, расстояние по сибирским масштабам небольшое, и я думал проехать его быстро и без приключений. Одевшись, я сунул револьвер в карман и велел Шмелёву ехать со мной. Быстро помчались застоявшиеся кони, и первую часть пути мы преодолели вполне благополучно. Стало темнеть, потом смерклось совсем и вывездило. Я задремал. Проснулся я от сильного толчка и увидел, что стало светлее. Вечер был тихий и морозный. «Далеко ли до заимки?» – спросил я Шмелёва. «Версты три-четыре», – каким-то испуганным голосом ответил он. «Что с тобой?» – спросил я, не видя кругом никакой опасности. «Ваше высокородие, беда... Волки! – прошептал Шмелёв и добавил: – Не говорите громко!» Тут только я увидел, что ямщик Моросейка с величайшим усилием сдерживает тройку: кони испуганно фыркали и рвались вперед. Я посмотрел по сторонам, но волков не увидел. «Где же они?» – «Вон там идут, по опушке леса!» Я посмотрел в указанном направлении: недалеко от нас, параллельно дороге, тянулся лес и двигались какие-то тени. То были волки! «Много их?» – спросил я опять Шмелёва. «Целая стая», – последовал ответ. «Что делать, Шмелёв? Стрелять?» – «Боже оборони! Тогда мигом нападут и сожрут! Если Моросейка удержит лошадей и они не подхватят, волки не решатся напасть. До поскотины недалеко осталось, версты полторы-две. А если кони подхватят, погибли мы: волки сейчас же бросятся на нас, догонят и разорвут в клочья!» – «Экая напасть! – думал я. – Знать бы да ведать, ни за что бы не поехал... Придется пропадать ни за что!» А волки тем временем стали приближаться к нам, я мог их ясно видеть и пересчитать. Стало страшно. Пристяжные лошади жались и валились на коренника, пряли ушами. Моросейка тихо сказал Шмелёву: «Помоги держать пристяжных». Я видел, что он выбивался из сил, что тройка вот-вот подхватит, понесет, вывалит нас из саней, а волки мигом настигнут и разорвут! У Шмелёва зуб на

зуб не попадал, этого смелого человека трясло как в лихорадке. «Дело дрянь, – подумал я, – погибли!»

То, что я пережил и перечувствовал в эти роковые пятнадцать-двадцать минут, пока мы шагом доехали до поскотины, не могу передать! Я не принадлежу к трусливому десятку: был на войне, во время революции дважды был на волосок от смерти, много на своем веку пережил, не раз подвергался опасности, но чувство страха мне было незнакомо. Только в эту ночь, в эти последние несколько минут езды, я испытал чувство страха, и вся моя жизнь, от раннего детства и до самых последних дней, с какой-то сверхъестественной ясностью пронеслась перед моим сознанием... «Это приближение смерти», – подумал я. И в этот момент, как бы в ответ на мои мысли, раздался резкий, какой-то надтреснутый крик ямщика, и тройка, почувствовав волю, рванулась вперед. Еще один миг – и она влетела на поскотину. Лошади мчались во весь дух, быстро приближаясь к жилию, где собаки, уже нас почуяв, подняли лай. Волки отстали. Мы действительно были спасены! «Ну, счастливы вы, ваше высокородие, спаслись прямо чудом!» – сказал мне Шмелёв и, сняв шапку, перекрестился...

Тройка подвалила к усадьбе Ермолаева. Ворота были на запоре. «Видно, нас и ждать перестали», – заметил Шмелёв. На его стук залились визгливым лаем собаки. Затем послышались чьи-то шаги по снегу, спросили, кто приехал, и ворота на оба полотна широко распахнулись перед нами. Тройка въехала в ворота и медленно подкатила к хозяйскому дому. Ермолаев выскочил нам навстречу, озабоченно спрашивая, что случилось. Шмелёв стал рассказывать, в чем дело. Наконец я очутился в небольшой, но ярко освещенной столовой; меня окружили хозяева и гости, и расспросам не было конца. «Да, счастливо отделались, – заметил хозяин. – Как вас не предупредил ваш денщик, ведь он коренной сибиряк? Теперь волки свадьбы свои пригоняют, как раз такое время. Случаи бывают, что и днем набегут, не то что ночью. Ездить, когда уже стемнеет, никак нельзя!» Разговор вращался все время вокруг моей встречи с волками. Сибиряки вспоминали другие подобные случаи, хвалили моего ямщика, который нас спас. Я совершенно пришел в себя и успокоился.

Вскоре хозяин попросил всех к ужину. Чего только не было за этим ужином! Кетовая икра, которую очень любят сибиряки, икра из нельмы (она лучше осетровой – мельче, вкуснее – и так нежна, что не терпит перевозки, почему мы в России и не имеем о ней понятия). Балык был величины непомерной, жирный и сочный; белорыбица – бела и подернута нежным гляncем; разные грибы, соленья, кулебяка двух сортов – с мясом и яйцами, с вязигой и сибирской осетриной. Потом подали рыбу разварную с соленьями, в том числе нельму с солеными огурцами, сибирские пельмени и рыбные пироги. Затем – рябчиков в соусе, глухарей и тетеревов. На сладкое – пирог с вареньем. Это был лукулловский пир, и я отдал ему должное. Не отставали от меня и другие. Выпито было также немало, причем не обошлось без шампанского. После ужина подали чай и к нему на тарелках разложили и расставили всякие сласти: конфеты в ярких бумажках, пастилу, разные пряники, орехи грецкие, волошские, кедровые и американские, изюм, винные ягоды, финики и варенные в медовом соку дыни, арбузы, яблоки и груши. За чаем просидели далеко за полночь. Меня просили рассказать про порядки и дела на московском бегу и про жизнь заводов в России. Никто не решился ехать ночью домой, все заночевали в маленьком доме хозяина.

Вернувшись в Брюханово, я получил извещение, что на другой день приедет Бурого. Шмелёв, который всегда был в курсе всех брюхановских новостей, доложил мне, что Бурого ждут, что останавливается он всегда у Пьянкова, что приедет к обеду, что у Пьянкова идет уже стряпня и уборка к приезду председателя сибирской ремонтной комиссии. «А ездит-то как Бурого! – добавил Шмелёв. – Целым поездом: впе-

реди на двух санях летит конвой, за ним везут денежный ящик, а в нем миллион рублей, и в последних санях сам». «Откуда ты знаешь, что Бураго везет миллион рублей?» – спросил я. «Все говорят, он покупает лошадей и тут же платит деньги – таков сибирский обычай». Бураго действительно возил при себе очень крупные деньги и платил за купленных лошадей тут же наличными. Ассигновки на казначейство он не выписывал, ибо сибиряки не привыкли возиться с казной, и Бураго не шел против обычая. Проработав с Бураго три с половиной месяца, я имел возможность в этом лично убедиться.

Около трех часов Шмелёв влетел ко мне в комнату запыхавшись: «Едут!» Я накинул доху и вышел за ворота. Улица была полна народу, как в праздник. Бабы, мальчишки и свободные мужики высыпали за ворота посмотреть на поезд Бураго. Гремя бубенцами, сани лихо влетели в околицу села. Вот они уже несутся по широкой улице. Впереди на трех санях конвой с винтовками в руках, за ним сани с писарем, денежным ящиком и двумя конвойными, и наконец тройка самого Бураго. Он в дохе, в лихо заломленной папахе, вид бравый, молодцеватый. Знакомые сибиряки с ним здороваются, и он любезно раскланивается с ними. Свободный сибирский народ ни перед кем не ломает шапки, а раскланивается только со своими знакомцами и друзьями – таков еще один обычай в этих вольных и благодатных краях.

Итак, Бураго прибыл в Брюханово и на другой день должна была начаться моя работа в ремонтной комиссии Сибирского района. Прежде я встречался сначала с ремонтерами, а когда институт ремонтеров упразднили и ввели покупку лошадей комиссиями, то я знакомился как с председателями, так и с членами многих комиссий. Однако это были лишь знакомства, встречи на заводах или аукционах. Мне приходилось слышать, что среди прежних ремонтеров, а ныне деятелей ремонтных комиссий, было много выдающихся знатоков лошади, но мы, рысистые коннозаводчики, относились к этим слухам скептически. Надо правду сказать, мы считали себя солью земли и несколько свысока относились к знаниям других причастных к лошадиному делу лиц. Когда я начал свою работу у Бураго и, так сказать, поступил в его практическую школу, то сейчас же не только увидел, но и понял, что в смысле знания лошади по сравнению с ним я суший ребенок. При самых неблагоприятных условиях погоды, даже в трескучий мороз, Бураго принимал, то есть закупал, до ста лошадей в день. Приведенную на ставку лошадь он быстро осматривал и в две-три минуты делал ей оценку, то есть принимал или браковал, указывая владельцу на ее недостатки и пороки. Лошадь он знал в совершенстве и буквально никогда не ошибался. Обмануть его было решительно невозможно. Мысленно ставя тогда себя на его место, я чистосердечно сознавался, что так быстро схватить и оценить лошадь я бы не смог, да и такого знания экстерьера, анатомии и пороков лошади у меня не было. А вместе с тем среди других рысистых коннозаводчиков я, безо всякой похвальбы могу сказать, был одним из наиболее знающих и образованных. Прежде всего я прошел блестяще курс иппологии в кавалерийском училище – теоретическую подготовку, которую в то время имели немногие рысистые коннозаводчики. Затем я много занимался самообразованием, читал все, относящееся к лошади, сам писал, много осмотрел заводов, набил глаз относительно форм и типа и сам уже в то время был коннозаводчиком и с большим успехом разводил лошадей. Если я откровенно сознаюсь, что был ребенком в смысле оценки, навыков и полного, исчерпывающего знания экстерьера и пороков лошади по сравнению с Бураго, то что же сказать про большинство других рысистых коннозаводчиков? Мы все или же, по крайней мере, большинство из нас знали породу, беговое дело, разбирались в типе рысака, но имели весьма поверхностное понятие о тонкостях экстерьера и пороках лошади. Конечно, все коннозаводчики знали, что у лошади есть голова, ноги, шея, хвост, зад, спина; говорили и судили об этих частях лошади, указывали на плохую спину, свислый зад, тяжелую голову и прочие недостатки, которые видел и знал всякий, имев-

ший мало-мальское отношение к лошади. Однако о конституции или свойствах организации понятие имели уже немногие. Почти никто не знал названий всех частей лошади, полагая, что это дело ветеринара; о соединении костей, механических условиях движения знали также не все. Для большинства жабки, сплинты, наkostenники, курбы, сайгина ножка, наливы, если они не были выражены ясно, составляли тайну за семью печатями.

Читатель вправе спросить меня, не преувеличиваю ли я и каким тогда путем эти столь мало сведущие лица вывели таких замечательных лошадей, кои все же родились у них в заводах. Во время работы в ремонтной комиссии я задавал себе этот вопрос неоднократно и полагаю, что нашел на него удовлетворительный ответ. Коннозаводчики последние 25 лет стремились вывести только резвую лошадь и этого достигли вполне; прежние коннозаводчики придавали большое значение формам, имели лучших по себе лошадей, чем наше поколение, и они глубже знали лошадь во всей ее совокупности, чем коннозаводчики моего поколения. Это неоспоримый факт. Последние 25 лет коннозаводское дело сосредоточилось преимущественно в руках богатейших людей страны, а им некогда, да и охоты не было специализироваться, так сказать, во всей совокупности знаний о лошади. Если мы теперь сравним лошадей чистокровных, выводку которых я дважды видел на московском скаковом кругу, с лошадьми рысистыми, то первые и вторые были знаменитыми ипподромными бойцами, однако с той разницей, что среди первых лошади порочные, неправильно-экстерьера и мелкие встречались как исключение, а у нас – далеко нет. Это тоже неоспоримый факт. Происходило так потому, что «чистокровные» коннозаводчики знали лошадь лучше, шире и глубже, чем мы, рысачники. Они были разносторонне и более коннозаводски образованны, нежели мы. Я твердо уверен в том, что прошло бы еще лет десять-пятнадцать – и рысистые коннозаводчики начали бы работать не только над резвостью рысака, но и над его формами, характером, конституцией и вообще над рысистой лошадью, и тогда-то им потребовались бы все эти разносторонние знания. Я должен здесь еще оговориться, и спешу это сделать сейчас же, что быть только знатоком, скажем ремонтером, конечно, легче, чем коннозаводчиком, ибо судить, ценить и критиковать лошадь легче, чем ее создавать, а коннозаводчик – это тот же творец, ибо его работу я рассматриваю, да и не я один, как заводское искусство, притом требующее весьма высокого напряжения. Когда же в одном лице – в ту пору, когда я работал на коннозаводском поприще, – соединялись оба эти дарования, то есть творчество и знание, то результаты получались изумительные. Таким коннозаводчиком был, например, Н. В. Телегин. Проработав у Бураго три с половиной месяца, я без излишней скромности скажу, что стал знать лошадь, не только рысистую, но и всякую, так, как ее знать надлежит. Бураго поручил мне провести закупку уже самостоятельно и, осмотрев затем купленных мною лошадей, их одобрил, а меня поздравил. Словом, я учился у Бураго и кое-чему научился. После работы с Бураго я год проработал в полтавской ремонтной комиссии, почти столько же в орловской и несколько месяцев в тульской. Таким образом, я имел возможность познакомиться и сблизиться с целым рядом деятелей, работавших в ремонтном деле, и должен здесь сказать, что это были люди больших знаний и исключительного опыта. Среди них я встретил много знатоков и ни одного лица, не понимавшего лошадь. Лично мне работа в ремонтных комиссиях принесла величайшую пользу, чрезвычайно расширила кругозор, приучила к полной точности глаза в оценке отдельных статей лошади и общей ее гармонии, дала опыт познания пороков лошади и подвела более прочный фундамент под все знания о лошади, которые я до того времени имел. Свою работу в ремонтных комиссиях я всегда вспоминаю с величайшим удовольствием, а самих ремонтеров – с величайшим уважением. К сожалению, воспользоваться полученным опытом и применить его на деле мне уже не удалось, ибо грянувшая в феврале 1917 года революция воспрепятствовала

этому и на долгое время сделала опытных и знающих людей никому не нужным балластом.

Вернусь, однако, к Бураго. Наше знакомство состоялось в Дубровском заводе, где я с ним встречался несколько раз. В то время Бураго был членом полтавской ремонтной комиссии. Председателем этой комиссии был генерал Скаржинский, крупный помещик Лубенского уезда Полтавской губернии, постоянно живший в своем имении. Скаржинский был выдающимся знатоком лошади и знаменитым в свое время ремонтером. Целый ряд офицеров, посвятивших себя ремонтному делу, прошли его школу, и это считалось лучшей аттестацией. Бураго был его любимым учеником. Я был знаком со Скаржинским, и он очень хорошо относился ко мне. Скаржинский был закадычным другом Ф. Н. Измайлова и постоянно бывал у него в Дубровке. А я первые шаги на коннозаводском поприще сделал под руководством Измайлова и был его учеником. Дружеские, сердечные отношения, которые установились у меня с Измайловым, не прекращались до самой его смерти, которая произошла в Москве, во время заседания правления Всероссийского союза коннозаводчиков (Измайлов умер прямо у меня на руках). Вполне понятно, что я был своим человеком в Дубровском заводе и у Ф. Н. Измайлова и встречался там не только со Скаржинским, но и с Бураго. Здесь, в Сибири, Бураго принял меня сердечно.

Прием лошадей происходил на площади, недалеко от дома Пьянкова. Была выстроена небольшая беседка, скорее шалаш, то есть три стены из хвороста и крыша, а поверх всего этого густо положены сосновые ветки. Передней стены, фасадной, не было, но, продрогнув, тут все же можно было укрыться от ветра и снега. Перед этой беседкой было расчищено и хорошо утрамбовано место. Здесь ставилась осматриваемая лошадь. Спереди и сзади выводки тоже было расчищено, дабы после осмотра лошади на стойке имелась возможность посмотреть ее и в движении. К 9 часам утра вся прибывшая со мною из Кирсанова команда выстроилась для встречи начальника, имея на правом фланге прапорщика Джамгарова. Сам Бураго стал между шалашом и выводкой; в шалаше поставили столик, и там поместились два писаря. Команда вместе с Джамгаровым отошла правее шалаша, и там сейчас же закипела работа: солдаты начали развязывать тюки с недоузками и арканами, запылала небольшая походная жаровня и кузнец приготовил инструменты для таврения принятых лошадей. Бураго посмотрел по сторонам, увидел, что все на местах, и громким голосом крикнул: «Давай!» Первая лошадь, гремя подковами по деревянному помосту выводной площадки и поджимаясь, замерла на выводке. Лошадей начал сдавать коннозаводчик Чевелёв, который получил подряд на известное число лошадей, и я с удовольствием увидел, что выводчик он опытный и знает свое дело. Бураго пригласил меня к себе, то есть быть на время приема лошадей членом ремонтной комиссии – честь, которой не мог, конечно, по отсутствию знаний удостоиться рядовой офицер. Я подошел и стал рядом с Бураго. Ремонтные комиссии состояли из трех офицеров, одного ветеринарного врача и двух писарей. Таков был штат. Принимали лошадей только члены комиссии. После осмотра лошади председатель совещался с членами комиссии и затем объявлял результат осмотра и куда, в какую часть и по какой цене принята лошадь. Дело ветеринарного врача было осмотреть лошадей с точки зрения их здоровья. Во время войны каждая комиссия из-за большого количества работы разделялась, так сказать, на две комиссии: в одном пункте принимал один председатель, а во втором – вместе другие члены комиссии. Старший унтер-офицер подал мне конскую мерку, и Бураго объяснил, что я должен каждую лошадь возможно скорее измерить и затем продиктовать писарям возраст, пол, масть и приметы лошади. Как только лошадь становилась на выводку, я подходил к ней с меркой; тем временем фельдшер смотрел зубы и определял возраст лошади; пока я мерил, он сообщал мне года, и я, отойдя от лошади и бросив на нее общий взгляд, диктовал

писарям: «Конь бурый, восемь лет, два, два, правое ухо – пень, во лбу звезда, левая задняя нога с путовым суставом...» Выражение «два, два, правое ухо – пень» означает, что у данной лошади рост два аршина, два вершка и правое ухо на четверть срезано, что часто встречается у сибирских лошадей. После этого Бураго велел пробежать мимо него с лошадьё и, посоветовавшись со мною, принимал или же браковал лошадь. Первое время по моей просьбе он указывал мне на все особенности лошади и ее недостатки, так как я хотел подучиться у этого опытного знатока-практика. Если лошадь принималась, ее немедленно брал у владельца солдат и отводил к команде. Там владелец получал обратно свой недоуздок, а на лошадь надевали казенный вместе с арканом; затем ей подрезали хвост и тут же таврили. Тем временем писари успевали написать две бирки с номером лошади и вестовой относил их унтер-офицеру. Одна бирка тут же вплеталась в гриву лошади, а другая – в хвост. Так происходила приемка лошадей во всех ремонтных комиссиях.

В два месяца все лошади были куплены, затем сосредоточены в Брюханове, оттуда они пошли на Тутальскую и были погружены в Кирсанов. Я распростился с Бураго, сердечно его благодарил за гостеприимство и теплое отношение ко мне и со своим эшелонем двинулся в обратный путь, в Россию. Обрато мы ехали значительно скорее и благополучно прибыли в свой полк. Генерал Керн благодарил меня за блестяще выполненное поручение и, когда я сдал лошадей, команду и денежную отчетность, которая у Джемгарова оказалась, конечно, в блестящем порядке, предоставил мне десятидневный отпуск. Я уехал в Прилепы, где не был почти полгода и где мое хотя бы кратковременное присутствие было больше чем необходимо.





1915–1916 ГОДЫ ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Отдохнув в Прилепах и сделав здесь все необходимые распоряжения, я уехал в Москву, чтобы там повидаться с охотниками, побывать на бегу и продать лошадей. Кроме того, в Москве я хотел купить автомобиль, так как предполагал летом из Кирсанова предпринять целый ряд экскурсий по старинным коннозаводским гнездам Тамбовской губернии. Автомобиль я купил очень удачно, хотя и заплатил дорого, у московского охотника Г. И. Исакова. Свел нас и устроил покупку известный комиссионер, постоянно вертевшийся на бегу, некто Шпажников. Это была сильная машина последнего выпуска и одной из лучших автомобильных марок. Временно я оставил ее у Исакова в Москве, с тем чтобы по первой моей телеграмме автомобиль был отправлен в Кирсанов. Исаковский шофер, очень опытный и добросовестный, согласился ехать. Лошадей я продал хорошо и считал свою поездку в Москву чрезвычайно удачной.

Поездку по коннозаводским гнездам я решил предпринять в двух целях. Прежде всего, я хотел издать небольшую книжку с описанием моих посещений и дать картину этих когда-то знаменитых барских усадеб, где родилось в свое время столько знаменитых орловских рысаков. Во-вторых, я справедливо полагал, что именно здесь мне удастся найти много коннозаводской старины, то есть портреты лошадей, старые заводские книги, аттестаты, призовые кубки, а может быть, и переписку коннозаводчиков, и даже мемуары. У меня были, например, точные сведения, что в бывшем имении С. М. Лиона находились портреты кисти Сверчкова, что у наследников Л. Сенявина сохранилось много коннозаводской старины и портрет знаменитого Ларчика. То же говорили про бывшие имения князя Гагарина и князя Волконского. Словом, эта поездка сулила чрезвычайно много удачи и обещала значительно пополнить мой коннозаводской архив и собрание портретов лошадей. Естественно, что я с большим интересом к ней относился и составил себе тогда маршрут по уездам. В сокращенном виде приведу его здесь.

Свое обследование я должен был начать с Борисоглебского уезда, как смежного с Кирсановским. В этом уезде я предполагал осмотреть лишь бывшее имение Маслова, где когда-то был небольшой завод исключительно из лошадей графа К. К. Толя. Я думал там найти переписку с этим коннозаводчиком и подлинные аттестаты графа, которые мне нигде не удавалось встретить.

Обследование Борисоглебского уезда представляло громадный интерес. Прежде всего потому, что здесь когда-то были Дубовицкие хутора, бывшее имение Н. А. Дубовицкого, а потом его сына А. Н. Дубовицкого. По имевшимся у меня сведениям, хотя это имение и перешло в другие руки, но там были и портреты, и книги, и очень большой архив. Неменьший интерес вызывала и поездка в великолепное Петровское, бывшее имение знаменитого коннозаводчика и англomана князя Н. С. Гагари-

на, а потом его сына, князя Н. Н. Гагарина. Здесь могли сохраниться сведения о происхождении Бруса и самого Буяна, и при удаче можно было бы пролить свет на генеалогию петрово-солововских лошадей, в частности знаменитого Дара. В том же уезде находилось и бывшее имение князя П. Д. Волконского, владевшего в свое время хотя и очень большим заводом, но упряжного характера. Тем не менее от лошадей Волконского произошли и некоторые призовые лошади, а незадолго до войны Н. П. Писарев подарил мне книгу «Подробные сведения о конских заводах в России», изданную в 1839 году, полученную им из этого имения. Таким образом, и там, вероятно, имелась коннозаводская старина.

В Козловском уезде я должен был осмотреть Таракановку – село, где когда-то был завод большого знатока и любителя лошади С. В. Рахманинова. По словам М. В. Ознобишина, Рахманинов был лично знаком со Сверчковым и последний писал для него портреты лошадей. Неподалеку от Таракановки, все в том же Козловском уезде, было село Песчаное Озеро, знаменитое гнездо С. И. Терпигорева, где могло найтись немало интересного материала.

Что же касается Тамбовского уезда, то он исстари считался самым коннозаводским. В этом уезде был ряд старых дворянских гнезд, о посещении которых я думал прямо-таки с трепетом. Начать объезд Тамбовского уезда я предполагал со знаменитой Лавровки, принадлежавшей в свое время В. П. Воейкову. Рядом предстояло осмотреть хутор незабвенного коннозаводчика И. Д. Ознобишина и имение Куньи Липяги господина Арапова. Там, по многим сведениям, имелось шесть портретов каких-то старых рысаков, хотя сам Арапов и не был коннозаводчиком. Также у меня были сведения, что до десяти портретов сохранилось в имении бывшего тамбовского губернского предводителя дворянства С. М. Лиона. Неподалеку от лионовского имения находилось сельцо Боголюбовка, где свой завод был у майора Л. Сенявина, владельца Ларчика. Имение уцелело в руках его наследников, и там, несомненно, был большой материал. Не меньший интерес вызывало у меня посещение двух имений братьев Загряжских, которые повели когда-то свои заводы от циммермановских корней. У наследников А. И. Загряжского было два портрета воейковского Лебеда, о чем мне лично говорил И. Т. Афанасьев. Само собой разумеется, что знаменитая Елизаветовка, когда-то принадлежавшая Ф. М. Циммерману, а тогда сенатору Фролову, могла дать весьма обильный исторический материал, не говоря уже об удовольствии увидеть это старинное коннозаводское гнездо, из которого вышло такое громадное количество лошадей, давших начало многим рысистым заводам, и притом не только Тамбовской губернии. Село Хитрово, где жил и работал великий знаток лошади генерал А. И. Сабуров, перешло уже в третьи руки – от Сабурова к А. П. Вальдгерту, а затем к его наследникам, и мне было интересно посмотреть на родину Волокиты, Ромео и других лошадей.

Закончить объезд коннозаводских гнезд Тамбовского уезда я предполагал знаменитой Найдёной – селом, где было имение графа Соллогуба. Я всегда был горячим поклонником коннозаводской деятельности графа Соллогуба и в тайниках души лелеял мечту найти подлинную опись этого завода, которая никогда не была напечатана. Если бы мне удалось тогда разыскать и получить эту опись, это стало бы историческим событием для русских генеалогов: был бы наконец пролит свет на истинное происхождение многих соллогубовских лошадей. Еще я намечал к посещению родовое гнездо Павловых в Усманском уезде, где по моим, и притом уже проверенным сведениям, хранился подлинный, рукой В. И. Шишкина написанный аттестат Атласного 3-го – родоначальника всех заводов братьев Павловых. Там же была и другая коннозаводская старина, в том числе известная записка Шишкина, опубликованная В. И. Павловым в 1896 году.

Если бы мне удалось осуществить эту экскурсию, то, вне всякого сомнения, помимо огромного удовольствия я приобрел бы массу ценного исторического мате-

риала или, по крайней мере, снял копии с наиболее интересных документов. Я словно чувствовал, что после войны делать это будет уже поздно, что может грянуть революция и многие из этих исторических гнезд станут жертвой дикости крестьянских масс. К величайшему несчастью, мои самые худшие предположения оправдались: буквально все эти гнезда были подло и преступно разграблены и погибли в огне пожарищ... Казалось, ничто не могло помешать поездке: автомобиль был куплен, маршрут составлен и время, несомненно, нашлось бы, но, как часто случается в жизни, человек предполагает, а Бог располагает. Так и на этот раз, вместо поездки, столь меня интересовавшей, я получил направление в распоряжение председателя полтавской ремонтной комиссии и должен был покинуть Кирсанов. Вот как это случилось.

Вернувшись в Кирсанов, я недели три был очень занят в полку. А когда несколько освободился и подобрал в своем эскадроне, который вновь принял, дельных и надежных офицеров, пришло распоряжение из Управления по ремонту армии. В полтавскую ремонтную комиссию нужен был знающий лошадей офицер, и было приказано немедленно откомандировать меня в Полтаву в распоряжение председателя комиссии генерал-майора А. Г. Яковлева.

Ехать к месту новой службы мне чрезвычайно не хотелось. Прежде всего надо было отказаться от мысли совершить столь интересовавшую меня поездку, а кроме того, беспокойная жизнь члена ремонтной комиссии в вечных разъездах по городам и пунктам своего района в летнюю жару, духоту и пыль также весьма мало улыбалась. Нелегко бывает человеку оставлять насиженное место, а Кирсанов стал в то время для меня таким насиженным гнездом. Там у меня была квартира, прилично обставленная, из Прилеп привели пару пегих воейковских меринов с коляской и кучером Василием Масловым, был свой повар. Круг знакомства, хотя и ограниченный, но существовал, с офицерством полка я жил очень хорошо, а с генералом Керном находился в приятельских отношениях. Словом, поездка в Полтаву меня совершенно не устраивала и я просил Керна послать на мое место другого офицера. «При всем желании вашу просьбу исполнить не могу, – сказал милейший Альфред Фёдорович. – В распоряжении начальника управления сказано откомандировать именно вас». Нечего было делать, пришлось опять бросить Кирсанов, оставить все намеченные планы и ехать в Полтаву. Это было, если память мне не изменяет, в конце мая.

Когда я приехал в Полтаву, ремонтной комиссии там не оказалось: она выехала на прием лошадей в Кременчуг, но скоро должна была вернуться. Подъезжая к Полтаве со стороны Харькова, я любовался хорошо знакомыми красивыми видами. Полтава стоит на высоком месте, и весь город тонет в садах. Справа от него, на горе, величественно высится монастырь, утопающий в сочной зелени спящих дубрав; внизу расстилаются луга, далее идут леса, и река Ворскла протекает здесь со своими живописными, но мелководными притоками. В излучинах зеленеющих берегов этой благодатной реки водится немало дичи. Я смотрел на знакомые виды и вспоминал годы моей юности, которые прошли в этом городе.

Вокзал отстоит от города довольно далеко, но извозчики в Полтаве хорошие, и я быстро доехал до гостиницы. Когда мы въехали на главную улицу города – Александровскую, потом повернули направо и стали кольцом огибать городской сад, передо мной как живые встали картины давнего прошлого. Именно по этой улице и по этому кольцу вокруг сада нас, кадет, дважды в день водили стройными рядами на прогулку. Я смотрел по сторонам и видел знакомые здания: вот Дворянское собрание, а вот дом губернатора, далее разные присутственные места и наконец большое трехэтажное здание кадетского корпуса. Я вспомнил некоторые магазины по старым, еще с детства знакомым вывескам: писчебумажный магазин Дохмана, кондитерская Кандыбы – все стояло по-прежнему и на старых местах. Полтава – чистенький городок,



Крестный ход в Полтаве

живописный, тихий и уютный. Однако теперь, после жизни в столицах, поездок и знакомства с большими городами Запада, он показался мне маленьким, спящим, скромным и провинциальным. Не то было в молодости, когда Полтава представлялась мне большой и полной всяких тайн. Да, сильно расходятся наши впечатления, впечатления зрелых, много видевших людей, с впечатлениями юности...

Я остановился в знаменитой гостинице Воробьева, где всегда останавливалась моя мать, приезжая в Полтаву меня навестить. Тут же стоял в давние времена и мой дед, крупнейший помещик Полтавской губернии. В то время, к которому относится мой рассказ, в Полтаве первой гостиницей считалась уже другая, более модная и заново отстроенная, но я по семейной традиции остановился в воробьевских номерах. В моем распоряжении было дня три совершенно свободного времени, и я стал бесцельно бродить по городу. Вечером поехал в монастырь. Долго мы подымались по крутой горе, и, когда извозчик подъехал наконец к монастырю, жар уже совершенно спал. Я зашел в церковь, там шла служба. Я всегда любил церковное пение, особенно службу в монастырях. Есть что-то особенно притягательное в этой строгой службе, в этих черных монашеских мантиях и клобуках, медленно, как тени,двигающихся в полутемном храме. Отстояв службу, я прошел в монастырскую рощу. Здесь все звенело на разные лады от оглушительного пения птиц. Голос соловья, который гремел в ближайшем ракитнике, все покрывал. Кругом плыли голубые, лиловые, розовые облака. Где-то вдаль послышалась мелодичная песня малоросса, и, как бы вторя ей, раздавалась звонкая, вольная песня жаворонка, лившаяся на землю из лазурного пространства небес.

В эти дни я посетил окрестности Полтавы. Съездил на знаменитую Шведскую могилу и побывал на даче у Мясоедова. Это была лучшая дача в окрестностях Полтавы, ее построил знаменитый художник и один из столпов передвижничества Г. Г. Мясоедов. Теперь она принадлежала его сыну – начинающему живописцу, только что окончившему Академию художеств. Молодой человек очень любил старину и охотно показал мне свое собрание. У него был недурной фарфор, стекло, бисер, малороссийские вышивки и изделия из фаянса знаменитой фабрики при Межигорском монастыре, что близ Киева. Мясоедов предупредил меня, чтобы я напрасно не искал в городах Украины картин наших художников, здесь их совершенно не было.

Для этого надо ехать в Петербург, Москву и в Центральную Россию, добавил он. Мясоедов оказался совершенно прав, и почти за год пребывания здесь я купил лишь маленькую картину Филиппова, две акварели и один или два рисунка. Зато здесь было много предметов прикладного искусства, и свою коллекцию фарфора я составил именно в это время. Мясоедов дал мне адреса двух полтавских торговцев-старьевщиков. Один был Пороховник и торговал на главной улице, другой – Перский – имел лавчонку на Кобелякской, оба торговца были евреи. Через Перского я приобрел очень много первоклассного фарфора.

В разговорах об искусстве я так засиделся у Мясоедова, что, уговоренный любезным хозяином, остался у него ночевать. Ночь выдалась темная и тихая. Сильно парило, как перед дождем, и душистый воздух был полон тепла. По сторонам часто вспыхивали зарницы... Я не скоро заснул, а когда проснулся, стояло уже ясное и теплое летнее утро. Солнце ярко горело в небесной вышине, и кругом царила невозмутимая тишина: ничто не шелохнется, ничто не дрогнет. Тихо во всем доме, как в зачарованном замке. Только в саду, куда я вышел, наскоро одевшись, повсюду слышалось щебетание птиц да лилась с поднебесья звонкая и вольная песнь жаворонка. Сад мясоедовской дачи был удивительно живописен. В глубине сада находился большой пруд, весь заросший водорослями и обсаженный плакучими ивами. К нему вела аллея из серебристых пирамидальных тополей, которые особенно красивы именно здесь, на своей родине – Украине. Этот пруд не раз писал старик Мясоедов, и я его сейчас же узнал. В саду было много фруктовых деревьев, вишневых куртин и других ягодников. Однако не они составляли красу и прелесть этого как бы нарочито запущенного уголка. Столетние дубы и вязы то собирались в куртины, то поодиночке живописно были разбросаны чьей-то умелой рукой по поляне. Уходящие вдаль аллеи таинственно открывали свои перспективы и манили в прохладу ветвей. Посаженные в виде стены кусты шиповника были усыпаны цветами. Особенно была красива белая куртина ландышей на скате ручья, через который был переброшен небольшой мостик. Одурающий запах этих цветов, тяжелый запах листвы, какой-то особый медвяный аромат трав и полевых цветов – все это чувствовалось, пьянило, бодрило и одновременно переживалось. Эти впечатления могут быть мало с чем сравнимы, и потому неудивительно, что в течение года, часто бывая в Полтаве, я постоянно навещал Мясоедова и его знаменитый сад.

В день возвращения комиссии утром я посетил Полтавский кадетский корпус. Кадеты были уже распущены на каникулы, и оставались лишь те, кому некуда и не к кому было ехать. Мне и в прежние годы всегда бывало жаль этих товарищей, и я попросил офицера, оставшегося в корпусе с ними, передать им деньги на сласти и удовольствия. Вместе с этим офицером я обошел пустые классы, побывал в корпусной церкви, зашел во все четыре роты, а затем в большой зал, где красовался хорошо мне знакомый портрет Петра Великого и картина Полтавского боя, подаренная корпусу одним из наших императоров. Полтавский корпус носил имя Петровского, а мы, кадеты, были петровцами. Здесь, в этом зале, мне вспомнилось прошлое: многие из нас, мальчиков, жили тогда смелыми, возвышенными мечтаниями и грезил о славном будущем! Где эти грезы? Где эти мечты? Все навсегда унеслось с теми невозвратными годами и с теми людьми...

По приезде в Полтаву, в тот же день, я, не застав председателя полтавской ремонтной комиссии генерал-майора Яковлева, расписался у него на квартире, а в канцелярии оставил свои командировочные документы. Таким образом Яковлев, вернувшись в Полтаву, узнал о моем приезде и тотчас же вызвал меня к себе. Я пошел к генералу являться. Это был невысокий, плотный брюнет с небольшой эспаньолкой, которая очень шла к его лицу с живыми, красивыми глазами, и, несмотря на года, очень подвижный и свободный в движениях. А. Г. Яковлев был родным

братом известного певца Яковлева. Службу свою он начал в Лейб-гвардии Уланском Ее Величества полку. Женившись на очень богатой женщине, дочери известного петербургского кондитера, он вынужден был уйти из полка и устроился при Управлении по ремонту армии. Долгое время его направляли в различные комиссии к наиболее опытным председателям на практику, и когда он достаточно узнал лошадь, то был назначен членом ремонтной комиссии. Позднее его произвели в генералы и он получил полтавскую ремонтную комиссию. В управлении Яковлев не считался знатоком лошади. Когда я, едучи в Полтаву, случайно в Харькове встретился с полковником Кулаковым, который после смерти Измайлова получил назначение управляющего Дубровским конным заводом, то он мне прямо сказал, что я буду очень полезен в полтавской комиссии, ибо Яковлев плохо знает лошадь. Проработав с Яковлевым почти год, я должен категорически опровергнуть это неправильное убеждение. Яковлев превосходно знал свое дело и верховую лошадь, был опытным ремонтником и стоял вполне на высоте своего назначения. Если о Яковлеве сложилось такое мнение, это лишь указывает на то, насколько строгие требования предъявлялись к знаниям членов ремонтных комиссий.

Старшим членом комиссии был полковник Арнольди. Милый и сердечный человек, небогатый помещик Курской губернии. Лошадь он любил и знал превосходно. Ему, между прочим, принадлежала очень интересная небольшая картина кисти Сверчкова, изображавшая охотника на белой лошади. Картина вызывала интерес еще и тем, что была написана Сверчковым в 1840-х годах и, стало быть, принадлежала к первым, самым ранним работам художника. Вторым членом комиссии был капитан артиллерии Кондзеровский, родной брат известного генерала Кондзеровского, бывшего в Ставке главнокомандующего, и В. К. Кондзеровского, старшего члена Московского бегового общества и видного чиновника коннозаводского ведомства. Капитан Кондзеровский лошадь знал слабее и едва ли ее любил. Ветеринарным врачом в комиссии работал почтенный старик в чине действительного статского советника, фамилию которого я позабыл. Будучи уже в отставке, он постоянно проживал в Полтаве. Как человек без всяких средств и обремененный большой семьей, он очень нуждался, ибо скромной пенсии на жизнь, конечно, не хватало, почему он и должен был искать дополнительного заработка. В комиссию он поступил по вольному найму и, таким образом, не терял права на свою скромную пенсию. Наконец, следует сказать несколько слов и о старшем писаре Хмеловском, на котором держалась вся канцелярия. Это был опытный, сверхсрочной службы писарь, дельный, знающий и порядочный человек.

В чем заключались обязанности ремонтной комиссии в мирное время? Согласно инструкции каждая ремонтная комиссия принимала ремонт лошадей для армии один раз в год, именно осенью. Прием ремонта начинался в августе и заканчивался в начале октября. В районе каждой комиссии был ряд пунктов, начиная с губернского города и кончая уездными, а иногда и заводами, куда комиссия выезжала в заранее опубликованное время для закупки лошадей. Вся годовая закупка заканчивалась в два месяца. Принимали лошадей исключительно от коннозаводчиков и собственников, и уж затем, если оставались по наряду не докупленные лошади, назначался дополнительный пункт, на котором и принимались лошади от конноторговцев. Район полтавской ремонтной комиссии охватывал Полтавскую, Черниговскую губернии и Путивльский уезд Курской губернии. Это был чрезвычайно важный район, ибо здесь находились такие знаменитые заводы верховых лошадей, как Дубровский великого князя Дмитрия Константиновича, Диканьский князя Кочубея, заводы Остроградского, Родзянко, Трифановского, Струкова, Волика, Зарудной, Капнистов, Леонтовича, Мусман, Масалитинова (рысистые лошади, но сдавались в ремонт), Масленникова и других. Помимо ежегодной закупки ремонта на комиссии в мирное время лежало ознакомление с заводами района, инструктирование коннозаводчиков, информиро-

вание их по всем вопросам ремонтного дела и выдача зимой нуждавшимся задатков под тех лошадей, которые должны были идти в сдачу осенью. В военное время ко всем этим обязанностям была добавлена еще покупка лошадей для различных частей действующей армии. Наряды на эти закупки сыпались как из рога изобилия, и комиссия круглый год разъезжала по своему району, закупая лошадей. Эти последние поставки производили в основном барышники. Таким образом, в военное время дел было хоть отбавляй и все мы находились в постоянных разъездах.

Я не стану описывать закупки лошадей для действующей армии (они ничем не отличались от такой же работы хотя бы сибирской ремонтной комиссии), но подробно расскажу о закупке очередного годового ремонта, ибо это имеет общий, притом весьма значительный, коннозаводской интерес. Однако замечу, что главным пунктом закупки лошадей для армии были Ромны, в силу того что именно здесь жили два главных поставщика комиссии – барышники-евреи братья Миренские.

Ромны – это весьма симпатичный городок Полтавской губернии. Замечателен он был в то время тем, что в нем 40 лет кряду держала гостиницу бывшая помещица Марья Петровна. Она была настолько популярна в городе, что у ее гостиницы имени и вывески не было, все позабыли даже фамилию этой дамы и всегда говорили «у Марьи Петровны», «к Марье Петровне». Когда я в первый раз приехал в Ромны и велел везти себя в лучшую гостиницу, то извозчик спокойно ответил: «Поедем до Марьи Петровны». – «Что ты ерунду городишь! – сердито сказал я извозчику. – Вези меня в лучшую гостиницу, а не в частный дом». – «Ну я ж говорю, до Марьи Петровны», – спокойно повторил хохол. Я окончательно вышел из себя, но подошедший Арнольди, узнав, в чем дело, рассмеялся от души и рассказал мне, кто такая Марья Петровна. Ее гостиница была лучшей в городе, можно сказать, единственной: все остальные – грязные и зловонные, полные клопов номера, где останавливаться было решительно невозможно. Сама Марья Петровна, высокая, седая почтенная дама в темном платье, с наколкой на голове, говорила только по-малороссийски и целый день восседала в столовой с каким-нибудь вязанием в руках. Обстановка этой столовой была замечательна, она нисколько не напоминала гостиничную. Посредине стоял обеденный стол со стульями вокруг него, а по бокам, у окон и стен, – кресла, кушетки, пуфы и прочие принадлежности помещичьей обстановки. По стенам висели портреты предков Марьи Петровны и несколько фотографий. Обед, один для всех, подавался в строго определенное время и состоял исключительно из малороссийских блюд. После обеда гости, как называла Марья Петровна своих постояльцев, подолгу засиживались в столовой, ведя общую беседу. Было здесь уютно, и вы чувствовали себя как бы в семье. По вечерам и утрам можно было спросить самовар к себе в номер, а если вы заходили в это время в общую столовую-гостиную, то там обязательно встречали Марью Петровну в обществе уездного предводителя дворянства Скляревича, милейшего, но совершенно допотопного старика, помнившего, вероятно, еще времена Гоголя. Оба пили чай у окна за маленьким столиком и мирно беседовали. Роменская гостиница была достопримечательностью губернии, думаю даже, что в то время в России нигде подобной гостиницы не было.

Главные поставщики полтавской ремонтной комиссии, братья Герш Борохович и Лейба Борохович Миренские, заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Это были сыновья известного ливранта-барышника, который начал с грошей и умер богатым человеком. Старик Миренский за свою страстную охоту к лошади пользовался покровительством генерала Скаржинского и благодаря этому разбогател и сделал карьеру. Родом он был из Ромен и в молодости решительно ничего, кроме страсти к лошади, не имел. Когда в Ромны на прием лошадей приезжал Скаржинский, Миренский мальчишкой часами стоял где-нибудь у забора и любовался чудными конями. Генерал обратил на него внимание и сказал одному из поставщиков комиссии взять мальчугана на службу. Так началась карьера Миренского. Он быстро

пошел в гору, сам стал делать поставки и по справедливости считался одним из лучших и наиболее добросовестных конноторговцев. Всю свою жизнь работал он только с ремонтной лошадей и ничего другого не признавал. В Роменском уезде он держал посессию (аренду) и там подготовлял к сдаче в ремонт собранных им по заводам и ярмаркам коней. Умирая, Миренский оставил капитал, и оба его сына, Лейба и Герш, продолжили дело своего отца. От посессии они отказались и занимались подготовкой лошадей у себя на дворах. Лейба был плотный, коренастый мужчина, с окладистой черной бородой. Местные помещики за важный вид и степенность прозвали его Лордом. Герш был подвижный, рыжеватый и крайне плутоватый еврей. Однако лошадь он знал лучше брата, был смелее в делах и поэтому разбогател очень скоро. Его прозвали Бароном. Во время войны, когда я познакомился с обоими Миренскими, Лейбе принадлежал хороший конный двор в Ромнах, недалеко от вокзала, а Герш был собственником двора на Засулье. Это было предместье города, и там Герш имел целое владение и конюшню на сто лошадей. Дом Герша Бороховича стоял тут же. Кроме того, ему принадлежала мельница в городе, где мололи крупчатку. Герш имел привычку всех господ называть «панночку»; говорил он хорошо, был умен, но любил прикинуться дурачком. Лейба был проще, прямее и честнее. Оба они благоговели перед памятью генерала Скаржинского или, по крайней мере, делали вид.

Я любил беседовать с Гершем и от него узнал немало интересного о прежних малороссийских заводах верховых лошадей. Особенно интересны были сведения о заводе Мазаракия, когда-то гремевшем на всю Россию. Герш рассказывал прямо-таки чудеса о красоте лошадей этого завода. У меня глаза разгорались от этих разговоров, и когда я увидел лошадей Трифановского, в которых была сильно кровь этого завода, то подумал, что, вероятно, Герш не погрешил против истины. Много рассказывал он мне также и о Скаржинском, которого считал величайшим знатоком лошади и которого называл не иначе как «бог лошадиного дела». В доме Миренского я познакомился со знаменитым Шапиро. Это был барышник из Риги, который оставил этот город, боясь попасть со своим товаром в руки немцев, и временно перебрался в Ромны, где работал в доле с Гершем Бороховичем. Шапиро был милый и знающий человек, с виду совершенный европеец и джентльмен. Впрочем, и в делах очень аккуратный и приятный. По сравнению с ним и Барон, и Лорд были не более чем сапожники в смысле жизни, манер и воспитания. Впрочем, и лошадь Шапиро понимал тоньше и лучше, чем Миренские.

Во время наших приездов в Ромны Миренские сдавали зараз по 400–500 лошадей. Сначала обычно принимали лошадей у Лейбы. Как сейчас вижу его во дворе, с кнутом в руках отдающего распоряжения конюхам, или подымающего ногу лошади, или же подравнивающего товар, то есть делающего ранжир тем лошадям, которые в этот день идут в сдачу. Но вот начинается выводка. Лорд тут как тут и спокойно дает объяснения генералу или членам комиссии, где и у кого куплена каждая лошадь. Говорит он с малороссийским акцентом и, делая выразительные глаза, решается иногда указать комиссии на особые стати лошади. Выводчик у него замечательный, и Лейба им очень дорожит. Довольствовался Лейба Борохович сравнительно малым и больше 50–70 лошадей в наш приезд не сдавал. Герш по этому поводу трунил над ним и говорил, что это происходит не от скромности, а наоборот, от жадности: Лейба, мол, так скуп, что лично мечется по ярмаркам и базарам, сам всех лошадей покупает и комисионеров не имеет. Лейба на эти слова отмалчивался или говорил: «Хай ему, черту, пусть брешет!»

Приемы лошадей у Герша происходили на Засулье; зараз представлялась партия в 300–400 лошадей, а то и более. Хотя летний день и длинен, но при жаре, пыли и духоте, что царит на юге, больше сотни лошадей мы принять не успевали, да и то возвращались домой поздно вечером, грязные, как трубочисты. На обед полагался

перерыв в два часа. Таким образом, прием лошадей в Ромнах шел иногда пять-шесть дней кряду. Во время приема Герш любил поострить и позабавить генерала. Это ему не всегда удавалось, и иногда генерал обзывал его нахалом, на что барон не обижался. Выводчик на Засулье был тот же, что и у Лейбы (брatья Миренские оплачивали его пополам, да и второго такого выводчика, по правде сказать, трудно было бы сыскать). Однако в один из наших приездов первую же лошадь вывел юркий и худенький еврей, в сюртуке и в презабавной клетчатой фуражке. «Что это такое?» – спросил генерал Миренского. «Так себе еврейчик», – ответил самодовольно Герш Борохович. «Какой же это выводчик? – сказал опять Яковлев. – Он нас только задержит, ведь и лошадь толком поставить не сумеет». Однако лошадь стояла как вкопанная, а перед ней – еврейчик с пейсами. Лошадь осмотрели. Генерал крикнул: «Пройдись!» – и выводчик тронул лошадь с места. Это был вороной жеребец артиллерийского сорта. Он хотел накрыть выводчика, но тот ловко увернулся и побежал с лошастью. Мы все расхохотались, так забавна была эта фигурка. Жеребец играл, но выводчик ловко осаживал, играл поводом, приседал и хорошо показал лошадь. То же было и дальше. Еврейчик оказался беженцем из Польши и знаменитым ливрантом по фамилии Файтель. Его прозвали у Миренского Файтелем-польским, и хотя он хорошо выводил лошадей, но при этом был так комичен, что мы все, и солдаты тоже, покатывались со смеху. Тогда генерал запретил ему выводить лошадей, сказав: «Это не театр». Файтель-польский передал лошадь солдату и стал около выводки, вооружившись большой суковатой палкой. Во время приема он нет-нет да и вставлял словечко и корчил при этом такую невинную рожу, что поневоле рассмеешься. Герш и сам в карман за словом не лез. Они, бывало, рассмешат генерала, смотришь, Герш и выпросил надбавки на какого-нибудь одра. Тогда он подходил к коню, трепал его по шее и говорил: «Хороший конь!» – и мысленно уже ощущал удовольствие от лишнего четвертного билета в своем кармане. Я несколько раз беседовал с Файтелем, и он мне рассказывал о варшавской ремонтной комиссии и ее знаменитом председателе генерале Транквилевском. Рассказы его были очень комичны, Файтель был талантливый актер-комик.

Я уже сказал, что Герш был порядочный плут и с ним надо было держать ухо востро. Надуть нас было невозможно, но ему это иногда удавалось. Прodelывал он это таким образом. Пройдет на выводке лошадей сорок пять; скоро обеденный перерыв, генерал устал, Арнольди зол, а Кондзеровский мечтает об обеде у Марьи Петровны. Тут-то Герш в числе последних пяти номеров, которые идут быстро, вновь выведет две-три лошадки, которые были уже забракованы утром. Случалось, что такую лошадь примут, но чаще ее все же замечали, гнали вон, а Герша генерал ругательски ругал. Однажды тому удалось очень ловко обмануть комиссию: он умудрился-таки всунуть трех забракованных утром лошадей. Я заметил, но смолчал. Вечером я сказал об этом генералу, и он меня поблагодарил. Арнольди начал кипиться и заявил, что это невозможно. Я сообщил номера, и вечером генерал сказал Гершу, что такие-то номера ему возвращаются и что он в последний раз предупреждает Миренского. Герш не на шутку струхнул. Арнольди был смущен. Через месяц все забылось, и Герш опять в конце выводки повторил лошадку. Я заметил ему вслух, что она уже была на выводке утром. Генерал нахмурился, внимательно посмотрел и сказал: «Вы правы». Он хотел прекратить прием, но Герш завопил на Файтеля-польского, что это он, сатана, по ошибке велел вывести лошадь, и поднялся весь еврейский кагал. Герш оправдывался и, сняв шапку и утирая платком пот, обильно катившийся по его лицу, вдруг сказал: «Ну, кто пана Бутовича обманет на лошади – тот трех дней не проживет!» Это было сказано так неожиданно, с таким сердцем и такой верой, что все рассмеялись и инцидент был исчерпан. Прием продолжался, сойдя на этот раз благополучно для Герша, который в дальнейшем, убедившись в бесполезности подобных трюков, больше к ним не прибегал.

Приближалось время начала закупки годового ремонта, и я с величайшим интересом ждал этого момента. Перед началом серьезной работы мы разъехались дней на десять по домам отдохнуть. Прощаясь со мной, генерал шутя мне сказал: «Знаете, Яков Иванович, ведь вам предстоит увидеть всех невест Полтавской губернии. На приемы ремонта, как на праздник, съезжаются все помещики, будут обеды, приглашения и прочее, а вы так скромно одеты. А вместе с тем на вас, как на холостяка и завидного жениха, будут направлены взоры всех невест и мамаш». Я в свою очередь посмеялся и сказал генералу, что сегодня же pošлю Шмелёва в Петербург заказать платье у Норденштрема (это был лучший военный портной, который шил государю императору) и надеюсь не посрамить звание члена полтавской ремонтной комиссии. Перед отъездом в Прилепы, в тот же вечер, я вызвал портного, он снял с меня мерку, и Шмелёв уехал с ней в Петербург, где должен был сделать заказ и купить также новое походное снаряжение. Все было привезено вовремя, и я с удовольствием переделался и бросил то платье, которое когда-то наспех сшил мне неизвестный портной в Москве по протекции Синегубкина. Словом, внешне я переродился, а так как время отъезда наступило, то я выехал в Полтаву.

Тут все уже были в сборе, и через два дня нам предстояло выехать на первый пункт, которым всегда намечался город Константиноград. Яковлев заметно волновался: дело приема годовичного ремонта сулило немало забот, ибо приходилось принимать лошадей у князя Кочубея, генерала от кавалерии Остроградского, у великого князя Дмитрия Константиновича и других влиятельных лиц и сильных мира сего. Здесь помимо знания лошади надо было иметь много такта и выдержки, чтобы никого не обидеть отзывом о лошади, ее оценкой. Словом, помимо чисто специальной работы Яковлеву предстояло немало дипломатических переговоров. Тем, кто знает большое самолюбие всех охотников и коннозаводчиков, станет понятно, что задача Яковлева была не из легких.

В Константиноград мы приехали накануне дня, назначенного по расписанию для приемки лошадей годового ремонта. В городе был уже большой съезд помещиков, и в гостинице все было занято; однако для ремонтной комиссии по телеграмме генерала номера были оставлены, и мы там сейчас же устроились. Город имел до некоторой степени праздничный вид: на улицах было много приезжих и гуляющей публики. Тут же встречались управляющие, нарядчики, смотрители заводов, а иногда и конюхи в форменных фуражках – одни с дворянской короной на околыше, другие с золотым или серебряным позументом. Изредка по городу проводили запоздавших коней да громыхала тяжелая карета или коляска спешившего в Константиноград помещика. Немало было и солдат, приехавших в комиссию за приемом и отводом в полки лошадей. Это были уже не старики-бородачи, скромно и подчас неряшливо одетые, сонные и недовольные, что их оторвали от насиженных мест и домов, а кадровая молодежь, то есть регулярные солдаты. Команду 3-го запасного кавалерийского полка привел унтер-офицер Вейс – лихой красавец, первый ездок в полку, опытный кавалерист, хорошо знавший обращение с лошады. Все солдаты были одеты с иголочки, в обмундирование первого срока, подобраны из лучших и наиболее храбрых кавалеристов, их белые гимнастерки и заломленные набекрень бескозырки мелькали то тут то там по городу. Помимо этой команды прибыла также команда солдат из Кричевичских казарм, то есть из Гвардейского запасного кавалерийского полка. Этим предстояло принять лошадей, предназначенных в гвардию. Тут мелькали мундиры кавалергардов, кирасиров, конногренадеров, лейб-уланов и лейб-гусаров. Гвардейцы были настоящими щеголями, большинство в собственном новеньком обмундировании. Народ крупный, стройный, и все красавцы, один к одному. Кирасиры и кавалергарды были крупны, широки в плечах и, как говорится, разных мастей. Уланы и гусары легче, проворнее, изящнее, и почти все голубоглазые блондины с румянцем во всю щеку. Они, конечно, свели с ума немало красавиц,

и вечером константиноградские мещанки и горожанки наверняка оказывались в любовных объятиях этих красавцев. Прибыла также команда солдат и от частей артиллерии. Эти были скромнее одеты и держали себя более степенно, за исключением, впрочем, конноартиллеристов, которые ни в чем не отставали от своих кавалерийских собратьев. Словом, город оживился и вечером на музыке в городском саду яблоку негде было упасть. В номере у генерала, где собрались все представители ремонтной комиссии, образовался настоящий салон. Дамы-коннозаводчицы, помещики и просто знакомые оживленно беседовали о завтрашнем дне. Двое вестовых, специально прикомандированные к председателю комиссии на время приема годового ремонта, разносили чай и печенье. Поздно вечером гости разошлись, и генерал, отдав последние распоряжения, простился с нами. Я вернулся к себе в номер, долго не мог заснуть и валялся в кровати с французским романом в руках. Наконец я потушил свет, и в открытое окно глянула теплая южная ночь. По небу искрились мириады звезд, тихо мерцали, будто играя в бесконечной своей высоте, и мысли уносились далеко вперед, сначала мелькали одна за другой, а затем угасали в голове...

Проснулся я довольно рано и сейчас же стал одеваться. Прием лошадей был назначен на 9 часов утра. Напившись чаю, мы с капитаном Кондзеровским, как младшие по чину, поехали вперед к команде. Генерал Яковлев вместе с Арнольди должны были приехать потом. По прочно укоренившейся традиции за генералом высылались коннозаводчиками коляска. Когда мы вышли из гостиницы, то я увидел, что у крыльца уже стояла новенькая, с игопочки, коляска, запряженная в стяж четверней караковых лошадей. «Чи лошади?» – спросил я кучера. «Генерала от кавалерии Остроградского!» – последовал ответ. Приемка лошадей должна была происходить сейчас же за городом, на площади. Времени было еще много, погода стояла чудесная, город маленький, а стало быть, расстояния небольшие, и потому мы с Кондзеровским решили идти пешком. По пути нас то и дело обгоняли коляски, шарабаны, кабриолеты и даже одна линейка, запряженная четверкой серых лошадей. Все это спешило на приемку, молодежь боялась запоздать и пропустить приезд генерала.

Когда мы подошли к площади, перед моими глазами предстала поистине восхитительная картина. Зеленой тканью далеко раскинулась площадь, с левой и правой стороны отороченная рядами белой акации. Ближе к городу был раскинут шатер, алые полотнища которого ярко выделялись на общем белом фоне палатки. У шатра был целый цветник дам, барышень и молодежи. Нарядные платья мамаш, светлые костюмы, пажеские, лицейские, правоведские, гимназические курточки и мундирчики – все это смешалось в один поток ярких красок! Папаши хлопотали у лошадей, и их дворянские фуражки, шляпы и кепки далеко мелькали на площади, то скрываясь, то опять выплывая из-за лошадиных круп и голов. Вся площадь была усеяна экипажами, подводами и лошадьми. На правом фланге этой лошадиной армии, вытянувшись в стройные ряды, стояли перевозные коновязи, и у них было привязано 60 лошадей, серых, гнедых, рыжих и вороных, – все в клетчатых коротких и щегольских попонках и желтой свиной кожи новеньких недоуздках! Это были лошади коннозаводчика господина Волика. Я глазам своим не верил, видя такое богатство, такую ставку. А за ней стояли другие, не так, правда, щегольски показанные, но еще более интересные! Среди этого лошадиного моря группами бродили барышники, высматривая лошадей и прицениваясь к тем, которые, как брак, не будут приняты и попадут в их лапы. Конюхи с озабоченным видом примачивали гривы и челки лошадей, обмахивали щетками и конскими хвостами пыль и докучливых мух и изредка перекидывались словечком. А возле шатра, правее от него, была устроена выводная площадка, и место вокруг нее посыпано разноцветным песком; тут стояли стулья для членов ремонтной комиссии и, поодаль, два стола и скамьи для писарей. На правом фланге, то есть при въезде на площадь, была выстроена команда солдат

под начальством старшего унтер-офицера Вейса. Здесь мундиры гвардейцев по яркости красок соперничали с туалетами дам, а статные и стройные кавалеристы с их приветливыми, веселыми, иногда чуть задорными лицами немногим уступали той светской молодежи, что стояла у шатра. И над всем этим беззаботным и красивым обществом счастливых молодых людей расстиралось необъятное небо, по которому медленно плыли полупрозрачные перистые облака. Вот та картина, которая открылась передо мной на площади в городе Константинограде. Могу ли я забыть ее, равно как и то давно ушедшее и счастливое время?!

Раздалась команда «Смирно!», и мы с Кондзеровским увидели выстроенную часть. «Что за картина кругом! Что за красавцы эти brave кавалеристы! – говорил я Кондзеровскому, осматриваясь. – Признаюсь откровенно, я ничего подобного не ожидал увидеть». Кондзеровский только улыбался. Я подошел к части, быстро окинул взглядом этих молодцев и вместо обычного «Здорово, ребята!» крикнул им: «Здорово, красавцы!» Как один человек гаркнули они мне в ответ: «Здравия желаем вашему высокородию!» – и на всех лицах заиграли задорные улыбки. Вместе с Кондзеровским мы подошли к шатру, и он меня представил дамам и познакомил с молодежью. Завязался общий разговор. Дамы просили нас, конечно шутя, быть более снисходительными и не такими строгими к лошадям, как генерал и полковник. В это время к шалашу подошел Вейс и доложил мне, что ровно 9 часов. Это означало, что через несколько минут приедет генерал и надо идти к команде для встречи. Я был в прекрасном расположении духа и хотел пошутить. «Хотите, mademoiselle, я вас сейчас испугаю?» – обратился я к дамам. «Нет, вы нас не испугаете, не успеете и не сумеете испугать, – жеманно ответили мне некоторые из них. – А вот вам достанется от генерала, так как вы опоздаете к команде». Ни слова не добавив больше, я повернул голову, посмотрел на команду, увидел, что все взоры обращены на меня, и громко, не сходя с места, скомандовал: «Равняйся!», да так, что было слышно во всех углах обширного плаца. «Ах! – вскрикнули барышни. – Как это нехорошо, как это неожиданно! Вы нас так испугали!» – «Генерал едет», – раздалось со всех сторон, и я спешно направился к команде. Из-за угла показалась открытая коляска четверней, раздалась моя команда: «Смирно, глаза направо, господа офицеры!» – и генерал Яковлев в сопровождении полковника Арнольди подкатил к нашей части. Генерал был великолепен: в белоснежном кителе, рейтузах галифе (тогда их еще не носили все прохвосты и мерзавцы), высоких сапогах, с Владимиром на шее и в петлице, при оружии, со стеком в руках. Легко выскочил он из коляски, бравой походкой подошел к части и поздоровался с ней. После этого, сделав распоряжение Вейсу расставить солдат по местам для приема, сказал: «Господа офицеры, прошу следовать за мной». В сопровождении членов своей комиссии генерал направился к шатру здороваться и приветствовать дам. К тому времени там собрались все коннозаводчики и владельцы лошадей. После непродолжительной пятиминутной беседы Яковлев сказал нам: «Ну, господа, пора и начинать», и мы все направились к выводной площадке. Генерал встал посередине, Арнольди справа, я слева, писарь Хмеловский подал наклеенную на небольшой картон шкалу цен и разрядов лошадей и записную книжку Яковлеву. Кондзеровский взял мерку: он должен был измерять лошадей и диктовать их приметы. Ветеринарный врач отправился с фельдшером к лошадям, солдаты были уже на местах. Тогда генерал позвал Вейса и спросил его, чьи лошади приведены к сдаче. Вейс прочел по списку фамилии коннозаводчиков, которые привели своих лошадей. Яковлев выслушал и громко сказал: «Лошадей генерала от кавалерии Остроградского на ставку».

Итак, покупка годового ремонта началась! Кругом наступила полная тишина. Мадемуазель Остроградская подошла к выводке с аттестатами в руках и передала их генералу. На выводке появилась первая лошадь этого завода. Я прочел происхождение жеребца. Это был караковый жеребец, хотя и верхового типа, но не

совсем приятный. Генерал посмотрел на него и поморщился. Лошадь два раза пробежала мимо нас и опять стала на выводку. Мы начали совещаться: лошадь была приемная, но следовало решить вопрос, по какому разряду ее принять и к какой цене в этом разряде ее отнести. Приходилось считаться и с положением Остроградского, и с тем, что его завод требовал поддержки, так как генерал был сравнительно небогатый человек, а в задачу каждой ремонтной комиссии входило поддерживать верховые заводы своего района и не довести их до уничтожения. Учтя все это и проголосовав вопрос (генерал спрашивал мнение каждого из нас, начиная с младшего), генерал объявил цену. Остроградская согласилась, и лошадь была принята. Предстояло решить вопрос, куда ее назначить. По типу и качеству жеребец попал под офицерское седло в артиллерию. Вся



Е. А. Стобеус

ставка завода Остроградского была невелика, лошадей четырнадцать-шестнадцать. Лошади были разнотипны, преимущественно караковой масти, некоторые с дефектами и, что называется, среднего качества. Это объяснялось тем, что генерал не был талантливым коннозаводчиком и завод его был составлен и веден без плана. Я был знаком как с самим Остроградским, так и с его семьей и в Петербурге бывал у них. Мой приятель Е. А. Стобеус был женат на дочери Остроградского, и я хорошо знал историю этого завода. Генерал Остроградский всю жизнь прослужил в кавалерии и имел обыкновение верховых жеребцов и кобыл, которые у него отработали под седлом, отправлять в свое небольшое имение Полтавской губернии. Засим он же дешево покупал при случае в полках и у офицеров кобыл. Вот из этих-то случайных кадров и составилась его завод. Производителями в заводе были казенные жеребцы, они-то кое-как и подправляли качество ставок. Словом, приплоды этого завода отнюдь не украшали партию лошадей, которая ежегодно покупалась полтавской ремонтной комиссией. Но все же с обывательской точки зрения это были очень хорошие лошади, а с нашей, ремонтной, приемлемые. При оценке следующих лошадей было потруднее, так как мадемуазель Остроградская, естественно, стремилась получить цену повыше. Но мы, оставаясь в рамках объективности, назначали максимум того, что стоила лошадь, и лишь в одном случае, для поощрения коннозаводской деятельности владельца, дали высшую цену по первому разряду плюс премию, что составляло надбавку в 150 рублей. Лошадь того не стоила, но так поступить было необходимо по ранее высказанным мною соображениям. Наконец была принята последняя лошадь этого завода. Мадемуазель Остроградская нас поблагодарила и отошла к палатке. Генерал облегченно вздохнул и тихо сказал: «Гора с плеч свалилась. Но лошади оказались лучше, чем я думал!» Прием солдатами, клеймение лошадей, писание бирок, прочее шли тем же порядком, что и в сибирской, и во всех остальных ремонтных комиссиях, с той, однако, разницей, что к принятым лошадям относились крайне внимательно и бережно. Их не привязывали к коновязям, а небольшими партиями отправляли по конюшням, с тем чтобы на другой день отгрузить в запасные полки и части артиллерии. После приема таких лошадей командами ответственность за состояние лошади уже лежала на них, почему к нам и присылались за приемом лучшие полковые унтер-офицеры и наиболее опытные и дельные солдаты. Следует еще заметить, что все лошади, назначенные в армейскую кавалерию, шли в 3-й запасной кавалерийский полк, а назначенные в гвардию – в гвардейский запасной полк, и уже оттуда их после годового обучения рассылали по полкам. Однако назначение

лошади, то есть род ее будущей службы, определялось нами. Таким образом, на выводке только и раздавалось: «Гвардия-кирасиры!.. Гвардия легкая!.. Третий полк!.. Артиллерия!.. Артиллерия верховая!», и для всех этих категорий существовало еще добавление «офицерская» – для лучших лошадей, которые были хороши и под офицерское седло. Не успеет генерал дать назначение, как лошадь уже подхватывает либо кирасир, либо кавалергард. Что касается гвардейских лошадей, то эти последние, прибыв в Гвардейский запасный кавалерийский полк, распределялись в нем по полкам уже самим командиром, однако согласно нашим отметкам. Полагаю, что приведенные сведения могут кое-кого заинтересовать, и следует сказать, что в то время дело это было поставлено образцово.

После лошадей Остроградского мы начали принимать лошадей коннозаводчика Волика, имение которого находилось на границе Полтавской и Харьковской губерний. Я уже сообщил читателю, что, приехав на приемку, был поражен этой ставкой. Прежде всего бросилось в глаза число лошадей – 60 голов! И это ставка одного завода! А значит, в нем должно быть до сотни маток (так оно и оказалось на самом деле). Лошади были удивительно хорошо подготовлены и щегольски выставлены. Когда они стояли у своих коновязей под красивыми клетчатыми попонками, в свежих желтых недоузках, расставленные по мастям, имея на правом фланге серых и на левом рыжих, – это была поразительно красивая картина! Ни одна лошадь не была забракована. Это доказывало, что Волик хорошо знал свое дело и вел на сдачу лошадей наверняка. Все его лошади были крупные, дельные, костистые, довольно сухие, вполне правильные и породные. Удивляло то, что сделаны они были как по одному лекалу. Я настолько этим заинтересовался, что, сев за столик, тут же просмотрел все 60 аттестатов на лошадей этого завода. Вся ставка происходила от трех жеребцов Новоалександровского завода, то есть от полукровных производителей. Названия матерей и бабок тоже указывались в аттестатах, и в громадном большинстве они были от старых новоалександровских жеребцов. Однако у многих бабок имелась пометка «местная малороссийская кобыла» или «рысистая кобыла». Словом, это был типичный завод, где три поколения работали с новоалександровскими полукровными жеребцами и где чистой (английской) крови еще не подливалось. Таковая в известной дозе, конечно, была в новоалександровских жеребцах, но прямо, то есть непосредственно к заводу Волика, она еще не приливалась. Здесь имела место заводская работа исключительно в рамках полукровного материала, притом весьма однородного, и это было крайне интересно. Работа вполне себя оправдала, и лошади были хороши. Теперь следует отметить недостатки этой ставки. Лошади для кавалерийских были сыроваты. Но боже избави, никаких наливов или сквозняков и в помине не было, ибо ни один уважающий себя ремонтный коннозаводчик не позволит себе даже привести на сдачу такую лошадь. Затем у некоторых были мало отбитые сухожилия и у четырех-пяти кобыл передние ноги «дудочкой», как образно говорили братья Миренские, то есть с круглой пястной костью. Но все недостатки терялись в общей массе этих превосходных и дельных лошадей, которые почти все были приняты для кирасирских полков. Однако под офицерское седло ни одна не была назначена: после успехов наших знаменитых кавалеристов Родзянко, фон Эксе и других на конкурсах в Англии и Италии, после работы офицерской кавалерийской школы над высококровной лошастью, развитием скакового дела в России и военно-скакового спорта в полках офицерство требовало более сухой, подвижной и кровной лошади. Генерал также не согласился дать ни одной лошади премии. Дело, конечно, было не в 150 рублях, а в принципе.

Коннозаводская работа Волика настолько меня заинтересовала, что во время приемки лошадей я просил его подробно рассказать мне, как он создал свой завод. Вот что он мне тогда рассказал. Еще молодым человеком он заинтересовался лошадьми и первоначально завел небольшой рысистый завод; не чужд он был и при-

зовой охоты, и его лошади бегали тогда на Полтавском ипподроме. «Вы меня не помните, Яков Иванович, а я был у вашего отца в Касперовке и своих первых лошадей купил у него». – «Совершенно верно, – ответил я, – теперь припоминаю вашу фамилию по записям заводских книг». – «Вскоре рысистое дело, как убыточное, я прекратил, – продолжал Волик, – но, любя лошадей, решил завести небольшой ремонтный завод. Тут все дело можно было вести самому, не надо было ни наездников, ни дорогих сбруй, ни качалок. Пять лучших по формам рысистых кобыл я оставил для этого нового завода, а еще десять мне купили ливранты: кобылы были очень хороши, но без аттестатов. Все они происходили из наших южных заводов, почему я и считаю их старой малороссийской породы. Жеребец был взят из Полтавской заводской конюшни, но по совету полковника Фетисова (я кадетом бывал у него в гостях, он лет двадцать управлял Полтавской заводской конюшней). И до сего времени включительно я беру жеребцов там же, и всегда выбираю дельных, крупных и костистых, обязательно новоалександровских. Они стоят у меня на постоянном пункте, то есть три года, а лучших я оставляю еще на трехлетие и дольше. Первые мои ставки были очень пестры, их я за бесценок распродал ливрантам. Хотел уж совсем бросить заводское дело, да встретил генерала Скаржинского, и он меня отговорил. А когда осенью был, как сейчас вы, на приемке ремонта в Константинограде, лично заехал ко мне, осмотрел завод и сказал: «Среди молодых кобылок, особенно дочерей Ноя, есть будущие матки. Оставьте их всех в заводе, и уже от них и опять от новоалександровского жеребца я буду принимать у вас ремонты. Жаловаться на убытки не будете». – «Выходит, – перебил я его, – что Скаржинский дал вам как бы план ведения завода». – «Совершенно верно. Он же первые годы сам и сортировал завод, и оставлял молодых кобылок в матки – словом, учил меня делу. Дальше все пошло как по писаному, а теперь у меня около сотни кобыл, завод дает большой доход. Брак продаю на сторону, почти по цене ремонтных, а иногда и дороже. Желающих купить сколько угодно».

Так создал Волик свой завод. Сам он был весьма типичной и интересной фигурой. Высокого роста, бритый, худой, сухой и смуглый, жгучий брюнет, он имел какой-то оливковый цвет кожи. Такие лица часто встречаются на юге, и в большинстве случаев их обладатели происходят из Таганрога и вообще из тех мест. Нет никакого сомнения, что при создании самого Волика, вернее, его рода смешалось немало человеческих рас еще в отдаленные годы Слободской Украины, откуда он и сам происходил. В нем, быть может, текла кровь и турка, и венгра, и грека, и беглого из Новороссии. Один Бог знает происхождение такого сорта людей. Однако все они бывают очень предприимчивы, смелы, дельны и, переселяясь в новые места, нередко богатеют и выходят в люди. Отец Волика был одним из них. Сам Волик был уже приписан к купеческому сословию, имел торговлю в Харькове, но занимался почти исключительно своим именем и заводом. Говорили, что он был весьма богатый человек.

«Сейчас вы увидите замечательных верховых лошадей», – сказал мне Яковлев, когда началась приемка лошадей Струкова. Завод этот был основан знаменитым кавалерийским генералом и знатоком лошади А. П. Струковым, о котором я уже имел случай говорить в этих мемуарах. После смерти Струкова завод достался его брату, члену Государственного совета Ан. П. Струкову, и лошадей сдавал его сын. Ставка этого завода была невелика – всего двенадцать-шестнадцать голов, зато какие это были лошади! Все золотисто-рыжей масти, сухие, породные, правильные, необыкновенно красивые и высокой степени кровности, то есть *près de sang**, как говорят французы. В них было 15/16, 31/32 и больше чистой крови. Все они были приняты по высшей оценке и назначены под офицерские седла. Лучших верховых

* Близко по крови, с прибавкой крови (фр.).

лошадей я в своей жизни не видал, да и вряд ли когда-либо увижу. Судя по этой ставке покойный Струков был не только знаменитым кавалеристом и глубоким знатоком лошади, но и не менее знаменитым коннозаводчиком. То, что все лошади были рыжей масти, объясняется тем, что Струков служил в Уланском Ее Величества полку, а масть лошадей этого полка – рыжая. Естественно, что он хотел видеть своих лошадей именно в этом полку и, создавая завод, принял это во внимание. Я уже отмечал, что почти все лошади Остроградского были караковой масти, что тоже понятно: генерал служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, который сидел на караковых лошадях. После приема струковских лошадей генерал велел сделать всем им выводку. Их вывели группой, и все мы вместе с присутствующими коннозаводчиками долго ими любовались и разбирали их стати и формы.

Последняя ставка лошадей, виденная мною в Константинограде, была ставка адмиральши Зарудной, как доложил нам управляющий ее заводом. Тут было около двадцати лошадей, исключительно интересных по типу. Лошади были крупные, правильные и очень красивые. Они были плотнее, массивнее струковских, но при этом абсолютно сухи и вполне верхового типа, в самом лучшем понимании этого слова. Некоторые из них как будто сошли к нам со сверчковских портретов, изображающих прежних орловских верховых лошадей. Лошади Зарудной меня настолько заинтересовали, что я самым внимательным образом прочел все их аттестаты. Как оказалось, их происхождение вполне и точно отвечало их наружным формам. В основу завода Зарудной, одного из старейших верховых заводов Украины, легли семь кобыл, купленных в Хреновском заводе еще у графини А. А. Орловой-Чесменской. В дальнейшем, в течение долгого ряда лет, приливалась кровь то арабских, то английских жеребцов. Таким образом, получились, в сущности, чистые англо-арабы, и так было до 1880-х годов, когда в завод начали брать орлово-ростопчинских жеребцов. В то время когда я осматривал ставку этого завода, лошадей Зарудной надо было считать орлово-ростопчинами, так они и отмечались нами в приемных ведомостях. Исключительно высокое качество этих лошадей обуславливалось тем, что в основу завода, по-видимому, легли замечательные орловские кобылы, а затем длительное время производителями брались только выдающиеся жеребцы, либо английские, либо арабские, хотя последних надо назвать шире, именно восточными, ибо лет пятнадцать производителем в заводе состоял персидский жеребец, хотя и родившийся у графа Гудовича, но происходивший от знаменитого персидского жеребца Шаха, выведенного графом Гудовичем из Персии в 1808 году. Высокое качество положенного в основу завода материала, умелый выбор ценных производителей, правильное ведение дела и создали этот замечательный завод. Все лошади Зарудной, принятые нами, были удивительно хороши, но среди них рыжая кобыла Цепочка была так красива, так нежна и женственна, что я решительно отказываюсь описывать ее наружность. Цепочка – лучшая верховая кобыла, которую я видел на своем веку, а видеть их мне пришлось немало. Удивительнее всего то, что о заводе Зарудной в широких коннозаводских кругах России решительно ничего не было известно. Происходило это, вероятно, потому, что Зарудные никогда своих лошадей по выставкам не водили и знали их лишь местные люди.

Глядя на этих замечательных орлово-ростопчинцев, я удивлялся, почему покойный Измайлов, этот фанатик орлово-ростопчинской породы, не взял в свое время для Дубровского завода ничего у Зарудной. Живя в Полтавской губернии и будучи приятелем генерала Скаржинского, который отлично знал заводы своего района, Измайлов, конечно, слышал от него о лошадях Зарудной. Если он не купил там маток, то, думаю, лишь потому, что Дубровский завод производил орлово-ростопчинцев исключительно вороной масти. Так как августейший командир этого полка великий князь Дмитрий Константинович уступал много лошадей в этот полк, который, как известно, сидит на вороных лошадях, и великий князь хотел видеть у себя

в заводе только вороных верховых лошадей. Лошади Зарудной были преимущественно светло-рыжие либо гнедые. Остается лишь пожалеть, что из-за такого, в сущности, второстепенного вопроса многие ценные орлово-ростопчинские линии не попали в Дубровский завод, отчего прежде всего пострадал сам этот завод, а затем, конечно, и орлово-ростопчинская порода лошадей.

Помимо этих главных заводов, сдававших своих лошадей в Константинограде, были приняты лошади и других, второстепенных, но на них я останавливаться не буду.

Вечером того же дня в канцелярии комиссии, под которую занимался отдельный номер, происходила выплата денег коннозаводчикам и владельцам купленных лоша-

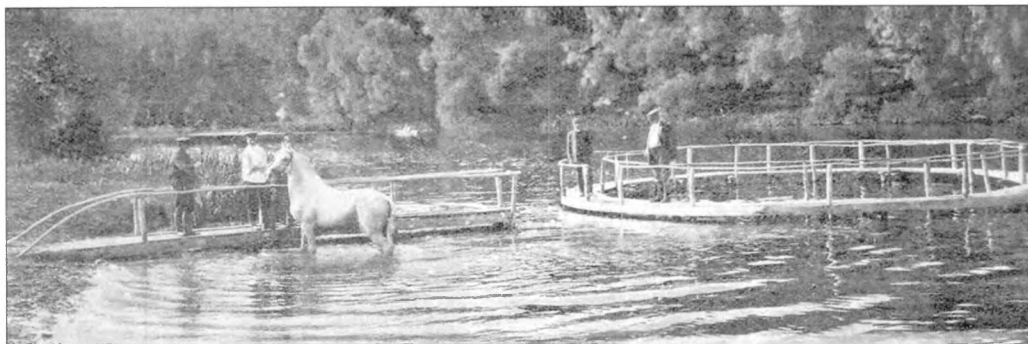


*Непобедимая. Караковая орловская кобыла. Родилась в 1843 г.
у В. П. Охотникова от Бычка и Щуки*

дей, а на другой день – погрузка последних и отправка их в полки. Я был свободен и на вечер пригласил к себе управляющего адмиральши Зарудной. Мне было интересно побеседовать с ним об этом заводе и кое о чем его расспросить. Только мы разговорились о лошадях, как подошло несколько коннозаводчиков и разговор стал общим. С лошадью беседа перешла на семью Зарудных, и здесь я узнал такие интересные подробности о роде мадам Зарудной, что их, в самом, конечно, сжатом виде, здесь изложу. Зарудные – старый и богатый малороссийский род. Богатство было увеличено удачной женитьбой Зарудного на мадемуазель Квитке, род которой принадлежал к одному из богатейших и замечательнейших в истории Слободской Украины. Таким образом окрепло состояние и положение Зарудных, и с тех пор эта фамилия занимает весьма видное место в среде полтавского дворянства. По данным, которые мне сообщил один из собеседников, род Квиток происходит из Приднепровской Украины. В давние времена будто бы родоначальник Квиток, совсем еще мальчиком, пришел на берега трех степных речек и поселился там. Впоследствии здесь возник город Харьков. «Квитка» по-малороссийски означает «цветочек». Якобы мальчик был словно весенний цветочек, потому его прозвали Квиткой, и прозвище это осталось за ним как фамилия. Не правда ли, какое интересное и романтическое сказание? К роду Квиток принадлежал и известный писатель Г. Ф. Квитка

(псевдоним – Основьяненко). Один из Квиток 25 лет был харьковским губернским предводителем дворянства, а предки Квиток известны в истории с XVII века. Словом, все прошлое рода – поучительная, живая летопись, в которой много привлекательных страниц. По уверению управляющего Зарудной, один из Квиток был женат на Шидловской. Это сообщение напомнило мне о знаменитом коннозаводчике Р. М. Шидловском, который в свое время купил у Шишкина едва ли не всех лучших его кобыл и отвел их в свое харьковское имение, где основал конный завод. Тогда Шидловским, о котором немало писал Коптев, были куплены такие исторические кобылы, как Богатая, мать знаменитого Молодецкого, Бриллиантки и Богача; родная сестра Полкана 3-го Белянка, от которой Непобедимая – мать меншиковского Непобедимого-Молодца; Дуброва, мать старого шишкинского Горностая, Булата, голохвастовского Барса и других; Уборная, мать вороного Молодецкого; Усадница, мать голохвастовского Похвального, Настоящего, Битвы и других и т. д. Как интересно, подумалось мне, было бы посмотреть на имение Шидловского, может, там нашлись бы и портреты этих знаменитых маток, старые шишкинские аттестаты и другие исторические материалы коннозаводского характера. «Далеко ли отсюда до имения, принадлежавшего Шидловскому?» – спросил я управляющего Зарудной. «Верст шестьдесят будет, – последовал ответ. – Ведь Константиноградский уезд граничит с Волковским уездом Харьковской губернии». Если бы в моем распоряжении был автомобиль, можно было бы съездить за один день. Я выразил сожаление, что располагаю только одним свободным днем, иначе бы обязательно съездил посмотреть это историческое коннозаводское гнездо. «Это легко устроить, – сказал мне один из слушателей. – Возьмите земский автомобиль. Вам, конечно, дадут с удовольствием. Вы заплатите только за расстойание и в тот же день вернетесь сюда». Это предложение меня чрезвычайно обрадовало, и я решил съездить в Волковский уезд, в село Знаменское, когда-то принадлежавшее Р. М. Шидловскому. Мой знакомый взялся все устроить и обещал, что на другой день, в 8 часов утра, машина будет меня ждать у подъезда гостиницы.

Предупредив генерала и получив его согласие, я утром, радостный и преисполненный всяческих надежд, тронулся в путь. Земский шофер хорошо знал дороги, погода была чудесная, и мы незаметно приблизились к цели нашего путешествия. Еще издали показалось большое село, потом церковь, а затем, правее ее, тенистый столетний парк. Мы медленно подъехали к усадьбе. Торжественно стояли когда-то красивые, а ныне облупившиеся и разрушенные въездные ворота. Большая площадка перед домом заросла сорной травой, и уныло глядели разросшиеся старые дубы да несколько разбитых ваз на своих высоких, но уже изрядно покосившихся постаментах. Дом небольшой, но красивой архитектуры, выстроенный в благословенные времена александровского царствования, обветшал и казался вымершим. Мы остановились у подъезда. Ни одна собака не выскочила нам навстречу, ни один человек не показался во дворе. Казалось, что здесь все вымерло. Я вошел в дом. Везде было пусто: ни людей, ни детского смеха и веселья, ни мебели – ничего. Паркетные, уже прогнившие, полы скрипели и оседали под тяжестью моих шагов. Комнаты с красивыми, стильными печами в виде колонн на широком постаменте и с урной наверху, богатые раскраской и изящные, уже поблекших красок потолки, двери красного дерева – все это указывало, что когда-то здесь было жилье человека не только очень богатого, но и с большим вкусом. Я обошел дом и вернулся в белый колонный зал. Заметив дверь, ведущую на балкон, я прошел туда и был очарован открывшимся видом. Перед домом лежало большое озеро, и к нему спускалась каменная лестница. На лужайке столетние деревья составляли редкие группы с таким расчетом, чтобы не заслонять красивого вида. За озером начинался большой и, по видимому, очень старый парк. Погода стояла тихая, ясная. По небу плыли и кучились молочно-розовые облака. Яркая, сочная зелень лужайки, деревья более густых



Купание лошадей

и темных тонов и ряд высоких пирамидальных тополей дополняли эту чудную картину. Ни один звук, ни один шорох не долетали до моего слуха, тишина в доме, в саду и кругом была полная. Я стоял как зачарованный и думал о судьбе этого, когда-то столь цветущего и красивого дворянского гнезда. Вероятно, последние владельцы имения разорились и теперь оно, оставшись за банком, было назначено в продажу с публичных торгов. Я сел на ступеньки террасы и довольно долго оставался один, думая о прошлом. Совершенно неожиданно меня кто-то окликнул. Я вздрогнул и повернул голову. На балконе стоял молодой человек в студенческой фуражке и белой рубашке, вышитой малороссийским узором. «Позвольте познакомиться», – обратился он и назвал свою фамилию. Я также сказал свою, и мы разговорились. Это оказался сын местного приходского священника, студент Харьковского университета. Он мне сообщил, что Знаменское уже лет тридцать как перешло из рода Шидловских в другие руки и что последний владелец имения разорился, все постепенно распродал, сам уехал в Харьков, а имение осенью за долги пойдет с публичных торгов. Я сообщил студенту о цели моего приезда. Он мне ответил, что в доме решительно ничего нет – ни мебели, ни бумаг, то же и в бывшей конторе, и посоветовал сходить на деревню, где жил один старик, когда-то бывший лакеем еще у Шидловских, который мог бы дать все интересующие меня сведения. Мы с молодым человеком вышли из усадьбы и направились в деревню.

Старик лакей жил на покое у своей внучки и охотно стал со мною беседовать про то, как широко и привольно жили паны Шидловские, как принимали губернатора и архиерея, как устраивали балы с музыкой из Харькова и как к ним съезжалась вся губерния. Поговорив со стариком, я предложил ему сигару, которую он взял с большим удовольствием, сказав при этом: «Вот такие-то сигары всё нашему барину присылали из Харькова от Лемера, с винами да закусками». («Лемер» – знаменитая французская фирма, существовавшая в Харькове свыше ста лет, – торговала сигарами, вином и гастрономией.) От старика лакея я узнал, что у Шидловских в доме висело много масляных портретов лошадей какого-то знаменитого заезжего художника. «Куда же девались эти портреты?» – спросил я его. «А когда нашего последнего барина назначили губернатором в дальние великороссийские губернии, он продал имение и дом со всей обстановкой. Так тут все и осталось, а сам уехал. Лет тридцать здесь висели после него картины, а потом все этот мотюга, – и он прибавил крепкое слово, – пропил та размотал. Жиды все скупили да и свезли в Харьков...» Я спросил старика, не осталось ли у него какой-либо старины от Шидловских. Он охотно показал мне бисерный кошелек, вазочку завода Миклашевского и другую мелочь. «Только не продам, – сказал старик, – бо то память и я внучке подарувал». Оглянувшись по сторонам, я увидел две великолепные рамы, стильные, лепные, не перегруженные орнаментом и очень красивые. В них висели лубочного производ-

ства картинки. «Рамы из дому Шидловского?» – спросил я старика. Он ответил утвердительно. «Куплю их на память о Шидловском», – подумал я и по привычке каждого коллекционера повернул одну из рам, чтобы узнать, нет ли на обороте какой-либо надписи. Я даже вскрикнул от удовольствия, найдя надпись, и передал раму студенту. Тот долго разбирал и затем вслух прочел: «Усан от Дубровы, дочери Уборновой». Таким образом, не подлежало никакому сомнению, что у Шидловского были портреты лошадей, а значит, и его знаменитые кобылы, купленные по огромным ценам у Шишкина, были написаны. Весьма возможно, что заезжий художник был не кто иной, как сам Сверчков. Обе рамы были мною отправлены из Константинограда в Москву, там перезолочены, и в ту раму, где висел портрет Усана, сына знаменитой Дубровы, в Прилепах я вставил другого сына Дубровы, а именно знаменитого Горноста. В другой раме поместился шишкинский Кролик. Судя по размерам рам, весьма возможно, что и ранее в них висели сверчковские оригиналы, так как рамы были излюбленного Сверчковым для его конских портретов формата.

Поблагодарив студента и простившись с ним и стариком лакеем, я уехал обратно в Константиноград. По дороге я думал о том, с какой ужасающей быстротой гибнет и исчезает в России старина и как мало мы ценим и любим наши культурные ценности и прошлое. Это есть первый и вернейший показатель нашей дикости и полного нашего варварства.

Из Константинограда ремонтная комиссия выехала на следующий пункт, в Карловку – имение герцога Мекленбург-Стрелецкого. Карловка занимала едва ли не половину Константиноградского уезда, в этом имении было несколько десятков тысяч десятин земли, и оно было величиной с хорошее немецкое княжество. В Карловке, которая в стародавние времена была еще гетманским владением, находилась очень большой конный завод, и ремонтная комиссия ежегодно принимала там свыше сотни голов ремонта. Я уже имел сведения, что в Карловке якобы лучше всего сохранился прежний тип малороссийской верховой лошади, завод ведется не прерываясь со времен гетманщины, а потому осмотр этого завода меня чрезвычайно интересовал. Всем громаднейшим карловским имением управлял некто Шейдеман, русский немец, впоследствии член Государственной думы и родной брат генерала от кавалерии Шейдемана, командовавшего на войне сначала корпусом, а потом, если не ошибаюсь, армией. Это был крупный мужчина, говоривший громким голосом, самоуверенный и резкий, но не лишенный ума и такта с лицами, выше его стоящими на общественном поприще. В общем, это был настоящий немец и в нем, как мне кажется, не было ни одной черты, свойственной русскому человеку. Хозяин он был замечательный, дело свое знал превосходно, и хозяйство давало герцогу огромные доходы.

Мы приехали в Карловку часам к двенадцати дня, причем всю комиссию из Константинограда привезли прямо на тот хутор, где находился завод. Здесь, у выводной площадки перед зданием завода, мы были встречены главным управляющим Шейдеманом, управляющим хутором, управляющим заводом, ветеринарным врачом и главным бухгалтером имения – словом, целой армией административных лиц, державших себя очень важно, но вместе с тем и корректно. Здания завода, кирпичные, крытые черепицей, были велики, удобны и, по-видимому, недавно построены. Конюшни стояли в три ряда и соединены были между собою варками. Начиная от фасона крыш и кончая архитектурой, это были типичные прусские сельскохозяйственные постройки, такие мне приходилось видеть в имениях Восточной Пруссии.

Прием карловских лошадей происходил быстро и безо всяких задержек. Это была удивительно ровная ставка: лошади сухие, преимущественно рыжие, рослые, мускулистые, с идеальными спинами и чрезвычайно глубокие. На них, несомненно, лежал отпечаток прежних малороссийских лошадей, и они были так однотипны, что иных с трудом можно было отличить одну от другой. Я представил себе, как хорош

и однороден должен быть такой табун. В них чувствовалась кровь, но вместе с тем араб, или азиат, или англичанин не были ясно выражены – во всяком случае, не преобладали. Было у всех этих лошадей что-то свое, особенное, что и составляло, по всей вероятности, малороссийскую сущность. Читатели этих мемуаров, как лошатники, меня, конечно, хорошо поймут: трудно, почти невозможно на словах передать оттенок и описать ясно эту сущность малороссийского типа, ее надо видеть, чтобы вполне понять. В своем воображении именно такими я и рисовал себе старых малороссийских лошадей, и очень рад, что, посмотрев карловскую ставку, в ней не разочаровался. Все эти лошади, по их стальным ногам, закалу, объему и глубине, не знали сноса, их по старости лет и за непригодностью не продавали и не браковали, так что они до самых последних дней несли работу и справлялись с ней. Для генерала Яковлева и нас, членов ремонтной комиссии, прием карловских лошадей облегался еще тем, что Шейдеман мало интересовался вопросом цены и на объявленную для каждой лошади цену только величественно кивал головой (при миллионных оборотах имения получить на десять тысяч больше или меньше не имело решительно никакого значения). Яковлев был этому очень рад и загибал экономию вовсю, чтобы потом поддержать на эти деньги путем премий и высших разрядов других коннозаводчиков. На другой день я смотрел вместе с Шейдеманом заводских производителей и маток, последних – в табуне. Среди жеребцов преобладали собственные, и Шейдеман был сторонником их полного использования, полагая тем закрепить тип карловской лошади. Я вполне с ним согласился и знаю, что впоследствии, когда досужие советники предлагали герцогу освежить кровь завода, пустив туда только чистокровных жеребцов, Шейдеман, опираясь отчасти и на мой авторитет, и на предствление председателя полтавской ремонтной комиссии, провалил этот вопрос. Такая точка зрения, высказанная Шейдеманом, крайне поразила и показала, что он был весьма сведущим в вопросах разведения человеком или же советовался по этому поводу с кем-либо из особенно авторитетных лиц. Такое разведение карловских лошадей, ведомое разумно и осторожно, сулило самые благоприятные результаты в будущем, да, впрочем, и в настоящем оно уже вполне себя оправдывало. Табун в 150 маток был так ровен и так однотипен, что в этом отношении я должен поставить его на совершенно исключительное место среди всех других виденных мною верховых табунов. Тут не было таких кобыл, как Цепочка Зарудной, или дубровская Прелесть, или какая-нибудь Мельпомена Сангушко, при взгляде на коих замирает сердце охотника и из уст его вырываются слова восхищения, зато тут было 150 кобыл, одна в одну по своему ярко выраженному типу. Судя по этим экземплярам, думаю, что хорошие кони водились в старину на Украине и были у вельможного пана гетмана, и у пана полковника, и у войсковых есаулов и старшин, а также у самого генерального писаря...

Мы закончили прием около 7 часов вечера и уехали в Карловку обедать, там же я должен был ночевать. Генерал, сговорившись с бухгалтером, что платеж за принятых лошадей он сделает в городе, уехал после обеда, а вместе с ним и Арнольди, в Полтаву, где хотел дня два отдохнуть. Я остался на день в Карловке, с тем чтобы осмотреть здесь хозяйство и конный завод. Герцог сам никогда не жил в Карловке, а потому его дворец был заколочен. Мне отвели помещение, вполне удобное, в так называемом свитском флигеле, где еще при старом герцоге, когда тот приезжал в Карловку, останавливались лица свиты, то есть генералитет и адъютанты. Утром меня разбудил Шейдеман. Я стал быстро одеваться. Старик лакей, мягко ступая по ковру, внес на серебряном подносе кофе, хлеб, масло и сыр карловского изготовления. На дворе уже стучал и шумел мотор автомобиля. Все было грандиозно в этом грандиозном хозяйстве! Даже для беглого осмотра потребовался автомобиль и два дня времени, а чтобы познакомиться с этим хозяйством мало-мальски подробно, пришлось бы прожить в Карловке не менее недели. Картины, одна интереснее дру-

гой, разворачивались перед глазами беспрестанно: то стадо замечательных коров, то отары овец, то стадо в 200–300 волов серой украинской породы, то табуны лошадей, то, наконец, бесконечные луга, поля и пашни. На этих неоглядных, уже скошенных лугах стояли скирды сена и нагуливались стада рогатого скота. Далее чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга. Сотни ланов уже сжатого хлеба стояли по пути, и десятка два паровых молотилок гудели по разным хуторам. Множество плугов, в каждый из которых была запряжена пара серых украинских волов, уже готовили земли к озимому севу. По всем дорогам двигались подводы и арбы с хлебом, верховые объездчики, бочки с водой или дрожки приказчиков. Оживление царило везде. И вся эта жизнь золотилась, озарялась и согревалась безоблачным летним украинским небом...

На другой день, после обеда, мы вместе с Шейдеманом покинули Карловку и уехали в Полтаву, где мне предстояло принимать лошадей, а Шейдеман хотел видеть ставку завода княгини Кочубей.

В Полтаве я не присутствовал на приемке лошадей, так как меня продуло в дороге, когда я ехал в автомобиле из Карловки в Полтаву, и два дня я не выходил из комнаты. Яковлев был очень недоволен, что я заболел, так как ему одному пришлось справляться, как он выразился, со строптивой княгиней Кочубей. Последняя была очень требовательна и все находила, что ее лошадей недостаточно оценивают. Арнольди мне рассказывал, что генерал нервничал и прием хотя и прошел гладко, благодаря такту председателя комиссии, но причинил немало хлопот. Кроме лошадей княгини в Полтаве не было других интересных и сколько-нибудь крупных ставок, и на другой день вечером комиссия в полном составе выехала в Хорол.

В Хороле, куда мы приехали ночью, был большой съезд помещиков. Посещая этот город, я всегда останавливался у председателя местной земской управы господина Велецкого, что сделал и на этот раз. У Велецкого был свой дом в городе, утопавший в весьма живописном украинском садочке. Дом этот походил скорее на деревенский, чем на городской, имелись при нем и все службы, и пруд. Велецкие были небогатые, зато очень гостеприимные люди. У Велецкого был и небольшой ремонтный завод, правда весьма посредственного качества, но он давал много лошадей комиссии для действующей армии, и Велецкий, как говорят, хорошо на этом заработал.

В Хороле для годового ремонта было представлено немало интересных лошадей, но я остановлюсь здесь на ставках только двух заводов – Капниста и Родзянко. Прежде всего потому, что их ставки были лучшими, а затем и потому, что это были старейшие заводы губернии. О заводе Капниста я могу это сказать положительно, так как я имел возможность ознакомиться с его историей. Завод этот был основан предками настоящего владельца в 1740 году, то есть на 35 лет раньше, чем начал свою коннозаводскую деятельность незабвенный граф А. Г. Орлов-Чесменский. Я точно установил эту дату и не сомневаюсь, что завод Капниста был старейшим не только на Украине, но и во всей России. Факт замечательный, и я тогда же решил, что после войны надо будет об этом написать статью. Нахождение в России частного верхового завода, который велся без перерыва почти два столетия, – явление, заслуживающее всяческой похвалы и удивления, и меня поражало, что верховые коннозаводчики и ремонтное ведомство либо не знали об этом, либо не придавали этому должного значения. Следует заметить, что Капнисты принадлежат к одному из самых почтенных и старых родов, обосновавшихся в Малороссии, а равно и наиболее богатых и широко известных не только у себя на родине, но и далеко за пределами ее. Каждому образованному человеку известно, что один из Капнистов (родившийся в 1757 году) был известным в свое время писателем и другом Львова, бывшего душою того кружка, к которому принадлежали Державин, Богданович и Хемницер. Комедия Капниста «Ябеда» – яркое изображение продажности тогдашнего

чиновничества – по своему общественному значению приближалась к гоголевскому «Ревизору». Внук этого Капниста был поэтом, а многие другие представители рода занимали выдающееся общественное и служебное положение в России. Один из представителей этой семьи и основал в 1740 году в Хорольском уезде, при селе Трубейцы, конный завод. В начале XIX века (приблизительно в 1813 году) отделение этого завода было создано в Екатеринославском, одном из имений Капнистов. Я ознакомился с некоторыми архивными материалами и данными об этом старейшем русском заводе, но так как в моем распоряжении было всего лишь несколько часов, то эти данные крайне скудны. Я предполагал позднее, после войны, основательно ознакомиться с историей завода Капниста, но этому, как, впрочем, и многим другим моим благим намерениям и начинаниям, помешала революция.

Именно в 1740 году Капнистом были выведены из Турции и с Кавказа жеребцы и кобылы, которые легли в основание завода. Таким образом, при своем создании завод получил исключительно восточный фундамент. Затем в разные периоды существования завода сюда поступали различные производители, а иногда и кобылы. Последнее, как редкий факт, надо особенно отметить: обычно свой плодовой состав верховые заводы пополняют путем саморемонта. В 20–30-х годах XIX столетия от-



Упражнения офицеров Уланского Его Величества полка

дана была дань увлечению английскими лошадьми: тогда был куплен в Англии Сер-Соломон. Когда вошел в славу орловский завод (Хреновая), Капнисты стали и там покупать заводской материал. Я сам читал о происхождении кобыл в заводской книге, причем отмечу, что от Лыски, орловской кобылы, и английского Сер-Соломона был оставлен производитель и против него стояла отметка «рысистый». Это было приблизительно в 1830-х годах. После отмены крепостного права завод уже не покупал маток, а ограничивался лишь покупкой производителей. Общее впечатление, которое я вынес, – это пристрастие или, вернее, любовь этих коннозаводчиков к восточной крови. Много материала было взято и выведено в разное время из Персии, Турции и с Кавказа. Таким образом, был период, когда завод Капниста являлся, сужу только на основании данных заводских книг, для Полтавской, Екатеринославской и Херсонской губерний тем, чем знаменитый завод арабских лошадей князя Романа Сангушко – для Вольни и Польши, то есть распространителем восточной крови. Интересно отметить, что у Капнистов одно время велись в чистоте отде-

лы «арабский», «персидский» и «горский» очень недолго существовали отделы «английский» и «гольштейнский», то есть шла настоящая заводская работа. Во все годы своего существования завод был очень велик, имея до десяти заводских жеребцов, не менее сотни маток и общее поголовье 270–300 лошадей. В самое последнее время завод был сокращен почти вдвое.

На выводке во время приема этот старинный завод вполне поддержал свою былую славу и выставил превосходных лошадей ясно выраженного восточного типа. Было, между прочим, много серых и красно-серых лошадей, и золотисто-гнедых, и рыжих с большим отметом, который так часто встречается у азиатов. Лошади Капниста были не крупны, но и не мелки, очень сухи, породны. Любого жеребца из ставки этого завода можно было взять, надеть на него восточную уздечку – и арабоманы восхищались бы им и говорили, что такие лошади рождаются только на Востоке! Я думаю, что читатели этих мемуаров припомнят весьма распространенную открытку, на которой была изображена белая арабская кобыла замечательной красоты и типа. Это было тогда, когда открытые письма только что вошли в моду, ими все увлекались, и я в том числе. Теперь я могу сообщить читателю, что эта «арабская» кобыла была завода Капниста.

Лошади другого коннозаводчика – Родзянко, также представителя знаменитой малороссийской фамилии, были хотя и хороши, но хуже лошадей Капниста. Завод Родзянко существовал почти столетие и первоначально производил только упряжных лошадей, которые сдавались в тяжелую и легкую артиллерию. У Родзянко было четыре заводских жеребца и до пятидесяти маток при общем поголовье в 200 лошадей. При генерале Скаржинском завод был переформирован в верховой, но упряжные лошади там все же остались и изредка проскакивали в ремонтных ставках. Сорт лошадей был превосходный. Считаю, что после карловской ставки лошади Родзянко больше всего напоминали прежних малороссийских верховых лошадей: так же, как и карловские, они были прежде всего крупны и дельны, а уж затем породны и эффектны. Глубина лошадей Родзянко, трость их ноги и ширина кости были замечательны и бросались в глаза. Ни Капнист, ни Родзянко на сдаче лошадей своего завода не присутствовали, их представляли ремонтной комиссии управляющие.

Не могу не сказать несколько слов о страстном любителе лошади и крупном коннозаводчике Н. Н. Устимовиче. Устимович по образованию был инженер-технолог. Однако после смерти отца он бросил специальность, поселился в своем имении и всецело ушел в хозяйство и завод, который сам основал. Коннозаводское дело у него быстро разрослось, и к тому времени, когда я с ним познакомился, в его заводе было четыре производителя и до семидесяти заводских маток. Ежегодно он сдавал в ремонт не менее сорока голов. Лошади были у него сухие, правильные и породные. Воспитывал он их очень хорошо. Крови были арабские (от Капниста), орлово-ростопчинские; были также чистокровные жеребцы в составе производителей. Устимович был страстный лошади и очень милый человек. Это был типичный малоросс – ленивый, несколько медлительный в движениях и поступках, уже немолодой, но по-прежнему красивый брюнет, с длинными запорожскими усами. Часто бывая в Полтаве, он постоянно меня навещал, и мы целые вечера проводили в беседах о лошадях. От Устимовича я узнал много интересного как о верховых заводах Полтавской губернии, так и об отдельных лошадях.

В том же Хороле сдавал приплод своего завода и некто Позерн. Завод был старинный, основанный в 1830 году, но в мое время находившийся в упадке. Велся он в крупных размерах: здесь имелось три жеребца и до сорока маток. Крови были те же, что и у Устимовича, то есть орлово-ростопчинские, отчасти арабские и английские. Помимо крупных коннозаводчиков в Хороле, да и в других пунктах, своих лошадей сдавали коннозаводчики-кустари, приводя на сдачу по две-три лошади.

Из Хорола комиссия отправилась в Лубны. В этом уезде было много коннозаводчиков, здесь жил в своем имении знаменитый Скаржинский. В Лубнах комиссия принимала лошадей дня два, а иногда и три. Лучшие лошади были у братьев Леонтовичей. Самый крупный завод был у И. Н. Леонтовича – 3 жеребца и 32 матки, затем у В. Н. Леонтовича стоял казенный жеребец и было 16 маток, и небольшой завод имел К. Н. Леонтович. Все три завода происходили от одного корня и по кровям были родственными. Самая крупная ставка была у Ивана Николаевича – ежегодно не менее 25 приемных лошадей. Иван Николаевич превосходно воспитывал своих лошадей, умело их выдерживал. Это были превосходные кавалерийские лошади, для полков армейской кавалерии, но выдающихся экземпляров среди них не было. Помимо трех братьев Леонтовичей своих лошадей сдавал еще С. П. Леонтович, у которого в заводе было до семнадцати кобыл. Это был посредственный завод, и происходившие из него лошади принимались по невысокой цене.

Из других коннозаводчиков следует отметить крупную ставку Н. Л. Мусман. Госпожа Мусман, урожденная княжна Голицына, была страстной охотницей, и ее имя я уже имел случай упомянуть, говоря о своей поездке в Сибирь за лошадьми. По совету Бурого госпожа Мусман основала ремонтный завод и в Сибири. В свое время у Н. Л. Мусман было два конных завода, но после смерти мужа они были слиты в один. Заводских маток в этом заводе насчитывалось тридцать при двух производителях. Лошади, приведенные на сдачу в Лубны, были очень неровные: попадались и превосходные экземпляры, но немало было и посредственных. Кроме того, многие лошади этой ставки имели ушибы, грыжи и растяжения сухожилий, почему и не могли быть приняты. Это указывало на то, что порядка на заводе у госпожи Мусман не было. На сдаче присутствовала сама владелица и с ней шесть ее красавиц дочерей, из которых в то время ни одна еще не была замужем.

Большой завод в Лубенском уезде имел некто Боярский. Завод был старинный. Когда-то он производил исключительно упряжных лошадей, а затем перешел на производство верховых на упряжной основе, сохранившейся здесь от давних времен. Лошади еще не успели вылиться в определенный тип, были разнобойны и шли преимущественно в пограничную стражу или же в артиллерию под седло. Старинный завод (основанный в 1830 году) был и у господина Александровича. Он производил недурных верховых лошадей, но ставки были невелики и никогда не превышали двенадцати голов.

Лубенским предводителем дворянства состоял И. Н. Леонтович. Он принимал у себя в эти дни ремонтную комиссию. Во время приемки, на второй день, он устроил большой обед, как для ремонтной комиссии, так и для съехавшихся коннозаводчиков и гостей. Здесь были все Леонтовичи, госпожа Мусман с дочерьми, подъехавший из Дубровки полковник Кулаков, господин Боярский, только что получивший где-то губернаторское место, Александрович и, конечно, вся местная знать. Обедали весело, шумно, много говорили о лошадях, обсуждали губернские новости, а когда после обеда в гостиную подали кофе, вокруг меня образовался кружок из коннозаводчиков. Мы совершенно забыли о присутствии дам и начали одну из бесконечных бесед на коннозаводские темы. Говорили, спорили, подвергали критике и обсуждению многих заводских жеребцов, а иногда и целые заводы. Тем временем генерал Яковлев, Арнольди, Кондзеровский и сам хозяин занимали дам. Им было, видимо, не особенно весело, ибо мадам Леонтович прервала нашу беседу и дамы напустились на меня, что я затеял эту коннозаводскую беседу и что потому-де все мужчины их покинули. Делать было нечего, мы подсели к общему кружку. Дамы безапелляционно заявили, что только в России есть такие фанатики, как я и другие лошадаики, которые могут забыть все на свете и говорить о лошадях без конца, с утра до вечера. Генерал Яковлев их поддержал и заметил, что такое явление и такой фанатизм возможны только в России, за границей, мол, нет ничего подобного, там

всему свое время и место. Мы как могли отбивались от нападков, но дамы остались при своем мнении, находя, что это ненормально так любить лошадей, любить до такой степени, что позволить себе хотя бы на короткое время забыть об их присутствии. Недавно, в 1925 году, мне с поразительной ясностью и точностью вспомнился этот эпизод, и вот по какому поводу. Я получил через Ригу последние новинки французского книжного рынка и первым делом открыл книжку моего любимого писателя Поля Бурже. «Вот как, – подумал я улыбнувшись, – значит, и во Франции существуют такие же фанатики, как и мы, грешные. Видно, все мы, лошаадники, одним миром мазаны!»

О лубенском предводителе И. Н. Леонтовиче следует сказать еще несколько слов. Это был маленького роста, сухощавый, подвижный, косой на один глаз и уже немолодой человек. Он имел свою партию в уезде, в губернии также был очень влиятелен. А потому генерал Яковлев хотя и не любил его, но ладил с ним и, бывая в Лубнах, всегда к нему заходил. Супруга Леонтовича, неглупая женщина, имела салон, где обсуждались не только местные и губернские дела, но и вопросы высшей политики. Леонтович был либерал, и этого ему в душе не мог простить Яковлев. Правду сказать, это было довольно забавное зрелище: предводитель-либерал, критикующий режим, которому он всем обязан. По этому поводу невольно вспоминаются слова одного писателя – о том, что на Западе вольнодумствуют сапожники, стремясь стать богатыми, а в России баре колобродят и мутят, чтобы во что бы то ни стало стать сапожниками! Слова этого писателя оказались вещими, и во время революции я собственными глазами видел, как последний премьер царского правительства князь Голицын добывал средства к жизни тем, что сапожничал!..

За Лубнами настала очередь приема лошадей в Лохвице. Этот совершенно старосветский малороссийский городок, редко кем посещаемый, лучше всех других полтавских городов сохранил свой патриархальный, древнеукраинский вид. Старый быт в нем уцелел вполне, и я несколько не был удивлен, когда вечером, гуляя по городу, увидел нищего с поводырем, певшего надтреснутым старческим голосом древнюю украинскую песню, прославляющую подвиги запорожцев и сечевиков. Я долго слушал старого кобзаря и глядел по сторонам. Вот открылись окошки маленьких домиков, и допотопные старушки, подперев руками свои седые головы, уселись слушать кобзаря, молодые бабы в национальных костюмах вышли на улицу, извозчики послезали с козел и тоже стали слушать. Кругом стояла невозмутимая тишина, и можно было подумать, что вы не в городе, а где-нибудь в захолустной украинской деревеньке далекого Пирятинского или Гадячского уезда. Когда же я подал нищему серебряную монету в 50 копеек, он поднял на меня свои мутные глаза и нараспев сказал: «Дай тоби Боже журавлиный век и лебединый клик!» – пожелание долгих лет жизни и всяческого успеха.

В Лохвице прием лошадей прошел очень быстро, так как здесь сдавали своих лошадей только четыре коннозаводчика: господин Ильяшевич, С. П. Кочубей, графиня Ламздорф-Галаган и генеральша Русинова. Завод Ильяшевича был основан в 1892 году и имел в своем составе и рысистых, и арабских, и английских, и прочие породы лошадей. Завод был небольшой, всего лишь в 20 заводских маток; представленный ремонт только удовлетворителен. Зато превосходных лошадей привел и сдал член Государственной думы Кочубей. Ставка его была невелика, всего лишь 10 голов. Этот завод существовал уже тридцать с небольшим лет и производил превосходных лошадей, высокого сорта и качества. В основание завода легли старые малороссийские кочубеевские кони, и лошади были хороши, совершенно не уступали карловским. Самыми крупными конными заводами в уезде были заводы графини Ламздорф-Галаган и генеральши Русиновой. У первой было до сорока заводских маток разных пород – мешанина и низкий сорт. Лошади Русиновой оказались лучше; в заводе было до сорока маток, но велся завод неважно. Несколько

лохвицких кустарей – Савицкий, Дукельский и другие – тоже не привели ничего интересного. Словом, в Лохвицком уезде ни у кого из коннозаводчиков, кроме С. П. Кочубея, не было настоящих лошадей и правильно поставленного коннозаводского дела.

В предыдущие годы из Лохвицы комиссия обыкновенно ездила в Миргород, однако на этот год было внесено изменение и вместо Миргорода приемным пунктом объявлен Дубровский конный завод. Это изменение было сделано согласно личному желанию великого князя Дмитрия Константиновича. До войны великий князь не сдавал лошадей своего завода в ремонт, а продавал их на собственном аукционе при Дубровском заводе, обычно 10 и 11 ноября каждого года. Верховых лошадей Дубровского завода охотно покупали, и они шли преимущественно под офицерское седло. Во время войны обстоятельства изменились, офицерство перестало покупать лошадей, и тогда великий князь решил сдать продажную ставку в ремонт. Нам было известно, что он уже прибыл в Дубровский завод и будет лично присутствовать при сдаче своих лошадей. Там же должны были сдавать и те коннозаводчики, которые обычно водили своих лошадей в Миргород. В связи с установлением нового пункта в Дубровском заводе и предстоящим там приемом лошадей у великого князя генерал Яковлев нервничал и, говоря откровенно, без особой охоты думал о предстоящей поездке. Мне поездка в Дубровку, при тех отношениях, которые существовали у меня со дней юности с дубровскими старожилами, крайне улыбалась, а предстоящая встреча с великим князем сулила немало интересного. В Дубровке мне пришлось бы увидеть ставку весьма известного завода ремонтных лошадей князя Б. Б. Мещерского. Завод этот насчитывал в своем составе до пяти производителей и около семидесяти заводских маток и находился в семи или шести верстах от Дубровки, в имении князя Мещерского Столбино. Столбинский завод был старинным и давно производил превосходных верховых лошадей. Однако в последнее время завод «освежили», влив туда чистые крови, то есть англичан. Сделано это было моим другом Б. П. Огарёвым – наследником как этого завода, так и всего состояния князя Мещерского, который был бездетен. Огарёв служил в гвардейской конной артиллерии, был большим любителем лошади, и меня крайне интересовали эти его первые шаги на коннозаводском поприще. К величайшему огорчению, попасть на пункт в Дубровку мне не пришлось, ибо я получил из Одессы от брата телеграмму о серьезной болезни моей матери и должен был спешно туда выехать. Вернуться я смог лишь в Кременчуг, то есть на следующий сборный пункт, что мне было очень удобно, ибо от Одессы до Кременчуга в поезде прямого сообщения всего лишь одна ночь езды.

Когда я приехал в Кременчуг, комиссии там еще не было и я целые сутки употребил на осмотр города, вернее проболтался без дела. Кременчуг – самый южный город Полтавской губернии и весьма мало напоминает ее остальные, столь типичные и патриархальные города. Кременчуг – это уже Новороссия. Нечто среднее между Одессой и Николаевом. Кременчугский уезд издавна славился среди нас, охотников, тем, что в нем были сосредоточены все рысистые, за исключением Дубровского, заводы Полтавской губернии. В Кременчуге когда-то был и ипподром, но он просуществовал недолго. В уезде были рысистые заводы Сухотина, Остроградского (где родился Питомец), Дыздырева, Котляревского, Милорадовича и Шапошникова. Пункт в Кременчуге был учрежден по желанию и согласно просьбам рысистых коннозаводчиков.

Комиссия прибыла в Кременчуг поздно вечером. Генерал был не в духе и, когда я вечером пил у него чай, жаловался мне на Кременчуг и рысистых коннозаводчиков: «Подумайте, в такую жару тащиться в эту дыру! И для чего?! Для того, чтобы посмотреть двадцать-тридцать рысистых калек из брака местных заводов и не принять ни одной из них, а через час-другой прекратить работу комиссии за отсутствием лоша-

дей и ехать на следующий пункт?! Ведь это безобразие! И я удивляюсь рысистым заводчикам, которые настояли на создании этого пункта». – «Есть ли здесь верховые заводы?» – спросил я генерала, желая его успокоить. «Да, два, – последовал ответ. – Один Маламы, небольшая ставка в десять голов, а другой – молодого Гроттена (это сын Павла Павловича, которого вы, конечно, знали и который управлял Стрелецким государственным конным заводом). Завод Гроттена небольшой, составлен его отцом из стрелецкого брака и пока не произвел ничего выдающегося. А главное, этим заводам что вести своих лошадей в Хорол, что в Кременчуг – решительно все равно: оба завода находятся на полпути от этих городов. Зачем же, – язвительно добавил генерал, – надо было создавать пункт в Кременчуге? Только из каприза господ рысачников! Других причин и оснований не вижу. Впрочем, вы завтра сами увидите этих рысистых красавцев».

На следующий день я их действительно увидел и признаюсь, что не ожидал встретить ни столь низкого качества, ни такого полного непонимания требований к ремонтной лошади (думал, что генерал отчасти преувеличивает). Однако расскажу все по порядку. Прием лошадей начался, по обыкновению, в 9 часов утра. Быстро промелькнули ставки господина Гроттена, затем господина Маламы, и нарядчик доложил, что очередь за рысистыми лошадьми господина Афанасьева. Генерал велел подавать лошадей, а Арнольди мне вполголоса сказал: «Начинается!» Сейчас же вслед за тем здоровый малый в соломенном бриле, шароварах шириной в Черное море и домотканой холстинной рубашке – словом, настоящий «дядько», как их там называют, на стареньком недоуздке, путаясь в аркане, подвел на ставку вороного жеребца. «Це Сатана 2-й от знаменитого Сатаны!» – с гордостью сообщил он и стал успокаивать свою лошадь. Гомерический хохот раздался ему в ответ. Смеялись от души не только генерал и комиссия, не только солдаты, но и вся публика! Вид «дядька», безобразная лошадь и это «Сатана от знаменитого Сатаны» не могли не рассмешить всех присутствовавших. Генерал первым пришел в себя и, передав мне шкалу и записную книжку со словами: «Прошу вас председательствовать и продолжать прием. Я в этом сорте лошадей ничего не понимаю», отошел в сторону и подсел к Маламе. Это было очень хитро с его стороны, ибо мне, коннозаводчику-рысачнику, предстояло разобрать по косточкам этот рысистый «товар» и затем его забраковать. Рысачникам не пришлось бы уже говорить, что это сделали господа ремонтеры, которые не понимают рысака, и Яковлев вперед предвкушал свой реванш! Я начал прием с Сатаны 2-го, «сына знаменитого Сатаны». Это была крупная вороная лошадь, без спины, без ребра, ко всему еще и узкогрудая, с разметом передних ног. Нечего и говорить, что копыта Сатаны 2-го были запущены, да и вся лошадь была в таком виде, что хороший хозяин постеснялся бы показать ее доброму знакомому, не то что «вести в люди». Я забракował Сатану 2-го. Та же участь постигла его сестер и братьев. Следует сказать, что все эти лошади родились в заводе Н. А. Афанасьева, который в то время ликвидировал свой завод и решил остатки его сдать в ремонт. Старый Сатана родился в заводе Сухотина и был в свое время резвой лошадью. Будучи представителем крови Бычка, он, как и почти все его потомки, имел плохую спину. Кроме того, лошади господина Афанасьева были плохо кормлены и так же плохо воспитаны, отсюда недоразвитость, узкогрудость и прочие «достоинства». Лошади других рысистых коннозаводчиков, а приводили те только брак, тоже были нехороши, и я с горем пополам принял лишь одну кобылу. Словом, генерал был прав: комиссия в Кременчуге нечего было делать, и приезд сюда обернулся лишь потерей времени и тратой казенных средств.

Из Кременчуга мы направились в Ромны, куда приехали ночью. В Ромнах сдавал своих лошадей знаменитый коннозаводчик Трифановский. Незадолго до этого он наследовал завод от своей матери Е. М. Трифановской, которая вела его с большим успехом несколько десятков лет. Завод Трифановского был широко

известен в России, и лошади этого завода неоднократно получали на местных, окружных и всероссийских выставках высшие премии. Состав завода был большой, а именно 5 заводских жеребцов и 50 заводских маток. Основан завод был в 1877 году путем покупки в полном составе едва ли не лучшего на юге России завода господина Мазаракия. Этот знаменитый верховой завод велся великолепно, с полным знанием дела и большой любовью к нему. Посмотреть всю ставку завода было, конечно, очень интересно, и я с нетерпением ждал поездки в Ромны. Ставка была принята целиком, то есть без брака. Лошади были дельны, породны и хороши. Верховые лошади исключительно высокого качества все были назначены под офицерское седло. Большинство лошадей этого завода были рыжей масти, орлово-ростопчины, однако с примесью английской крови. Кроме ставки Трифановского, в Ромнах не было других интересных лошадей, за исключением светлосерой кобылы стрелецкого типа, которую привел и сдал некто Виктор Берченко, коннозаводчик-кустарь.

В Пирятине, куда мы приехали рано утром, большую ставку лошадей сдавала О. М. Гербаневская. Это был все артиллерийский товар, мы приняли у нее лошадей сорок. По кровям они происходили от рысаков в смеси с различными тяжеловозными породами. Благодаря сухому климату и такой же почве в Полтавской губернии все эти лошади значительно подсохли, то есть, сохранив массу и аллюр упряжных и шаговых пород, стали поворотливее и суше своих предков. Для артиллерии лучшего и желать было трудно. Завод Гербаневской был основан еще в 1850 году. Первоначально он производил только рысаков для своих нужд и продажи на местный рынок. Однако с развитием призового дела и поступлением на рынок по дешевым ценам брака из призовых заводов ведение рысистого завода такого направления стало явно убыточным, и Гербаневский решил завод уничтожить. Генерал Скаржинский не допустил этого и, дав в завод тяжелых жеребцов, стал производить там артиллерийскую лошадь. Я уже упоминал о том, что Скаржинский был величайшим знатоком лошади.

Кроме Гербаневской в Пирятине сдавали своих лошадей князь Репнин, имевший недурных верховых лошадей, и господа Катериничи. Два брата Катериничи привели неважных артиллерийских лошадей, ставка их была невелика и с трудом прошла по невысокой цене. Лошади происходили от рысаков, но умелой заводской работы не было. Средств у этих коннозаводчиков, по-видимому, также не было, и завод ждала распродажа, о чем, впрочем, сожалеть не приходилось. М. К. Катеринич имел очень большой рысистый завод, весьма посредственный по кровям и ведшийся по старинке, то есть с недосмотром и недокормом. Кое-что было пригодно для ремонта, почему и принято нами. Итак, Пирятин дал в ремонт главным образом артиллерийских лошадей, притом весьма хорошего качества.

По традиции, установившейся еще со времен первого председателя полтавской ремонтной комиссии генерала Скаржинского, после приема комиссия уезжала ужинать и затем проводила весь следующий день в имении и на заводе Гербаневской. Ее имение находилось недалеко от Пирятина, и поездка туда вечером по холодку доставляла истинное удовольствие. Имение было хорошее, большое, тысячи две десятин земли. Оно принадлежало Ольге Михайловне Гербаневской и двум ее братьям, из которых один еще учился, а другой был призван и находился в действующей армии. Дом был старинный, в один этаж, длинный, с низкими комнатами, очень уютный и прекрасно обставленный. Сад тенистый, старый, с прудами, фруктовыми деревьями и грунтовыми сараями для персиков и слив. Постройки имения большие, домовитые, но отнюдь не роскошные. Все было сделано прочно, и везде чувствовался хозяйский глаз. Ольга Михайловна была замечательная хозяйка и в доме, и в поле. Она принадлежала к числу тех редких женщин, которые одарены большим запасом здравого смысла и хорошими хозяйственными способностями. Конный

завод содержался ею хорошо. Производители были казенные, из Полтавской заводской конюшни; матки, конечно, все свои. Они были довольно однотипны и все безупречно правильны – в этом-то и сказался талант Скаржинского, который сумел создать такое однородное и правильное в смысле экстерьера гнездо заводских маток. Мы очень мило провели время в обществе радушной, доброй и гостеприимной хозяйки: гуляли в саду, ездили в табун, купались и, наконец, ловили в прудах больших карасей и жирных линей. Жизнь в Гербаневке текла мирно и спокойно, ничто, казалось, не нарушало ее уклада.

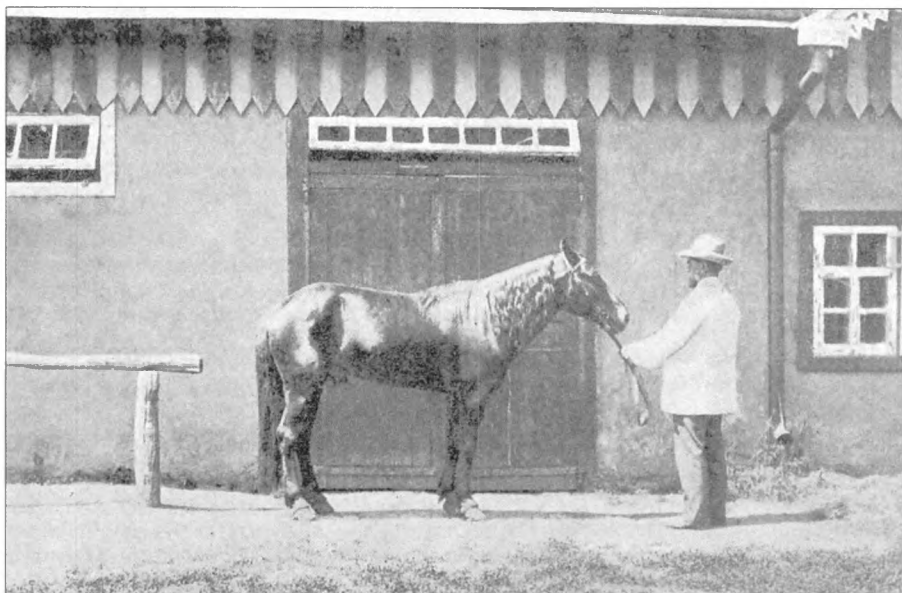
Из Пирятина мы проехали в Прилуки. На этом заканчивался наш объезд и закупка годового ремонта в Полтавской губернии. В Прилуках было шумно и оживленно, ибо это довольно значительный торговый центр губернии, а кроме того, здесь сосредоточено главное производство махорки. Зная об этом, я нисколько не был удивлен, когда встретил случайно на улице Н. Н. Вахрамеева, призового охотника и одного из совладельцев ярославской махорочной фабрики «Бр. Вахрамеевы». Я был знаком с Вахрамеевым, так как он был одним из моих покупателей. Ему был, между прочим, продан мною гнедой жеребец Заглоба, от Петушка и Золовки. Вахрамеев мне сказал, что у него здесь контора, большие дела, что всю махорку, потребную для фабрики, он закупает в Прилуках и затем уже отправляет ее в Ярославль для переработки. У Вахрамеева в Прилуках был свой дом, рысаки, и жил он великолепно. Он пригласил меня к себе ужинать, и я провел у него весь вечер, беседуя с ним об охоте, да, кстати, продав ему рысистую кобылу.

В Прилуках сдавали лошадей несколько коннозаводчиков, и лучшие лошади были у отставного ротмистра Масленникова. Страстный охотник, он не прочь был и подторговать лошадьми, когда представлялся удобный случай. Это был типичный кавалерист старого времени. Высокий, худой, уже немолодой, хотя в его рыжей бороде и волосах не было ни одного седого волоса. Говорили, что он замечательный хозяин и якобы удвоил свое состояние. В обращении это был очень приятный и воспитанный человек. Завод свой Масленников основал в 1881 году, уйдя в отставку и поселившись навсегда в своем, тогда разрушенном и разоренном, имении. Он привел все в порядок, уплатил долги, завел хороший завод и имел недурной капиталец в банке – явление довольно редкое для помещика средней руки. В заводе у Масленникова было до тридцати маток. Он был сторонником чистой крови. Каждому, кто занимался разведением лошадей, хорошо известно, что работать с чистой кровью весьма трудно, для этого надо иметь и надлежащие знания, и большой опыт. У Масленникова, по-видимому, было и то и другое. Представленные им лошади имели 3/4, а иногда 7/8 английской крови, были рослы, чрезвычайно сухи и правильны. Некоторые экземпляры были, что называется, переразвиты, и на это пришлось Масленникову указать. Он совершенно с этим согласился и предполагал в следующем же случном сезоне таким маткам, которые давали переразвитый приплод, подвести полукровного новоалександровского жеребца. За исключением двух-трех, все остальные виденные мною лошади Масленникова были золотисто-рыжей масти и чрезвычайно отметистые. Нередко попадались экземпляры лысые и в четыре ноги белые. Причем у некоторых белизна подымалась выше скакательных суставов, а на передних ногах доходила до запястья. За кровность (английскую) лошадям Масленникова, согласно существовавшим тогда правилам, мы должны были дать прибавку к основной цене, что и сделали весьма охотно.

Не хуже лошадей Масленникова, но совершенно в другом роде были лошади, приведенные В. П. Кочубеем. Это был богатейший помещик Полтавской губернии. Жил он постоянно в Петербурге и за границей, и сдавал его лошадей управляющий. Завод В. П. Кочубея, очень большой, находился в трех смежных имениях Прилукского уезда, и в основе его лежали старые малороссийские лошади. Несравненно хуже были лошади графа Ламздорф-Галагана. Его большой завод (до

тридцати маток) был основан недавно предприимчивым немцем управляющим в целях извлечения дохода. Выдающихся экземпляров среди лошадей не было во все. Я уже упомянул, что в Прилуках был весьма важный приемный пункт. Припоминаю еще, что здесь сдавали своих ремонтных лошадей двое Марковичей, двое Милорадовичей, двое Депрерадовичей и некоторые другие, но лошади их у меня в памяти не остались.

Среди рысистых охотников Прилуки были знамениты тем, что здесь жил некто Сенаторский. Во всех спортивных изданиях в продолжение целого ряда лет можно было прочесть объявления, что в Прилуках, в доме у Сенаторского, продается замечательный иноходец, или такая-то резвая призовая лошадь, или же тройка иноходцев и так далее. В течение каждого года неизменно появлялись эти объявления, и имя Сенаторского стало хорошо известно всем охотникам, читавшим спортивные журналы. Сенаторский был преподавателем латинского и греческого языков в прилуцкой классической гимназии. Уже немолодым человеком он какими-то неведомыми судьбами пристрастился к лошадям и начал заводить у себя иноходцев, которых особенно любил. Купит, бывало, недорого такую лошадку, в степи подъездит ее, получит



Прилуцкий охотник И. П. Сенаторский с иноходцем Самолётом

удовольствие, а затем по объявлению продаст ее кому-либо из богатых охотников. Любил он съезжать этих иноходцев и в тройки и потом их продавал. Лет пятнадцать тому назад он задумал завести призовую лошадку и с этой целью посетил Дубровский завод, где из брака купил кобылу Безудержную, воспитал ее и начал сам работать. Безудержная оказалась очень резвой и ехала тогда почти что в рекордные секунды. Сенаторский продал ее трехлеткой за 10 тысяч рублей Шишкину, у которого она, показав выдающуюся резвость, неожиданно пала. В Прилуках Сенаторский, получивший такую сумму, стал знаменитостью и героем дня. О нем заговорили все, разумеется, завидуя ему, так как в то время 10 тысяч рублей были большие деньги. Заговорили о нем и в Москве, и в Петербурге, что вот-де, мол, какое чудо: учитель древних языков, а сумел купить из брака у такого знатока, как Измайлов, а затем и воспитать, и наездить такую резвую лошадь, как Безудержная! Сенаторский стал ежегодно бывать в Дубровке, купил там из брака еще несколько лошадей, долго

с ними возился, но ничего путного от них не добился и продал их. Второй Безудержной ему получить не удалось! Потом он покупал бракованных лошадей у Малютина, у Руссо, но и они дальше посредственности не пошли. Так как Сенаторский покупал только брак, платил за него гроши, а в Прилуках содержание лошади стоило очень дешево, то естественно, что он ничего на лошадях не потерял, а еще подработал. Сенаторский так приохотился к делу, что стал иногда посылать статьи и заметки в спортивные журналы, и его имя стало небезызвестно в спортивных кругах. На деньги, вырученные от продажи своей знаменитой Безудержной, он купил в Прилуках хорошенький домик и выстроил небольшую конюшню. Сенаторского по его иноходцам знали московские и другие охотники. Когда сын В. Н. Телегина Николай Васильевич никак не мог по страстной охоте к лошадям кончить сначала орловскую гимназию, из которой за неуспехи в науках вылетел, а потом московскую, где ему грозила та же участь, старику Телегину пришла блестящая мысль свезти сына в Прилуки к Сенаторскому. Его расчет оказался верным: Сенаторский вытянул Телегина за уши, что, вероятно, в захолустной гимназии, да еще и для учителя этой гимназии, было нетрудно, и Телегин получил аттестат зрелости. Однако уговорить его поступить в университет старику Телегину никак не удалось, и Николай Васильевич сейчас же после гимназической скамьи всецело ушел в дела завода и стал ездить с рысаками отца по ипподромам. Не того, конечно, хотел старик Телегин, но время оправдало образ действий сына, ибо на избранном им поприще он стал известен всей России.

По стопам Телегина пошел и Карузо. Вот как это произошло. С. Г. Карузо должен был оставить гимназию в Тирасполе, а потом в Одессе, ибо он целые дни в классах вместо занятий либо читал книгу Коптева, либо составлял родословные таблицы, вводя их до «белого жеребца Сметанки, выведенного из Аравии в 1775 году». Господа преподаватели приходили в негодование от этих упражнений молодого Карузо, и за полную неуспешность в науках тот был взят отцом сначала из одной гимназии, потом из другой, иначе ему грозило исключение. Когда Карузо впервые познакомился с Измайловым, ему было около восемнадцати лет. Он поразил всех в Дубровке своей феноменальной памятью, знанием генеалогии и страстной, совершенно фанатичной любовью к орловскому рысаку. На него обратили внимание, поручили ему сначала некоторые генеалогические работы в Дубровке, а затем великий князь решил определить его на службу по государственному коннозаводству и вверить редактирование заводской книги русских рысаков. Тут-то и выяснилось, что Карузо не получил среднего образования, а потому на службу мог поступить только канцеляристом. Тогда Измайлов прибег к Сенаторскому. Последний и здесь оказал услугу нашему коннозаводству: за год он подготовил Карузо на аттестат зрелости и тот благополучно сдал экзамен в прилуцкой гимназии. Много ли преуспел Карузо за этот год в науках, судить не берусь, зато совершенно уверен, что старик Сенаторский немало преуспел в генеалогической науке, в которой был так силен его ученик. Карузо сделал блестящую карьеру как генеалог, и его труды в этой области общеизвестны. Имя его стало знаменито в России, и Сенаторский впоследствии мог справедливо гордиться такими учениками, как Телегин и Карузо!

Прилуками оканчивался ежегодный объезд пунктов по приему ремонтных лошадей в Полтавской губернии, и мы переехали в Черниговскую. Исстари эта губерния не имела хороших лошадей, то же наблюдалось и в мое время. Конных заводов здесь не было. На всю губернию было назначено лишь два приемных пункта – в губернском городе Чернигове и в одном из уездных городов. Там мы, приняв лошадей пятнадцать-двадцать от кустарей-коннозаводчиков и случайных любителей, направились в город Путивль Курской губернии, где находился последний пункт покупки годового ремонта. Здесь тоже не было богато лошадьми, но хорошие артиллерийские все же попадались. Недурных рысаков привел коннозаводчик Масалитинов.



Н. В. Телегин, секретарь Общества Г. Г. Унгер, инженер Ф. Н. Герингер (в форме), подрядчики-строители дорожки Московского ипподрома братья Никифоровы

Итак, закупка годового ремонта нашей комиссией была закончена, а я имел возможность по выставленным приплодам хорошо ознакомиться с верховыми заводами этого края. Полагаю, читатель совершенно согласится со мною в том, что район полтавской ремонтной комиссии был богатейший и нигде больше, кроме западного края и Дона, нельзя было видеть и купить столько замечательных верховых лошадей. У всех этих верховых коннозаводчиков была одна и ясно осознанная цель – производство правильной, дельной и красивой верховой лошади. Так как все эти коннозаводчики работали в одном направлении, то они и достигли столь замечательных результатов. Создание у нас рысистой лошади значительно осложнилось тем, что приходилось работать одновременно в двух направлениях: добиваться и резвости, и правильных, красивых форм. Таких коннозаводчиков, впрочем, было немного, большинство работало исключительно в одном направлении, а именно желало получить только призовую лошадь. Те коннозаводчики, которые поставили себе задачей вывести не только резвую, но и правильную, дельную лошадь, добились лучших и наиболее прочных результатов. Их имена, а равно и их деятельность будут не скоро забыты, а их лошади играют сейчас исключительную роль в орловской рысистой породе. Те, кто добивался только резвости и совершенно игнорировал формы, создали немало ипподромных бойцов. Но ипподромные триумфы уже позабыты, а лошади, родившиеся у них, в громадном большинстве не играют в рысистом коннозаводстве решительно никакой роли. От всей деятельности таких коннозаводчиков только и осталось, что упоминание об их победах на страницах рысистых календарей да старых спортивных журналов. Если бы рысистые коннозаводчики требовали от своих подопечных кроме резвости еще и веса, роста, правильных форм и вся система беговых испытаний была построена сообразно с этим, то несомненно, что рысак имел бы теперь совершенно другие формы и стал бы, наподобие чистокровной английской и некоторых других пород, лошадью не местного, российского, а универсального значения, то есть имел бы за собой общеевропейский и океанский рынки. Возвращаясь вновь к своим впечатлениям обо всех



И. И. Воронцов-Дашков

этих верховых заводах и лошадях, я скажу, что задача верховых коннозаводчиков при одном требовании (экстерьер) была много легче, чем задача коннозаводчиков рысистых – конечно, я имею в виду прежде всего таких деятелей, как Малютин, граф Воронцов-Дашков (первые 35 лет его коннозаводской работы), князь Вяземский, господы Борисовские. Верховые коннозаводчики блестяще справились со своей задачей. Очередь теперь за рысачниками. Им надлежит, как ни трудна и как ни сложна эта задача, создать таких рысистых лошадей, которые были бы прежде всего дельны, затем правильны и наконец резвы. Если за разрешение этой задачи возьмутся не отдельные таланты, а все общество рысистых коннозаводчиков, задача будет исполнена и орловский рысак спасен!

Прошел десяток лет с тех пор, как я видел всех

этих верховых лошадей, но они и сейчас стоят у меня перед глазами как живые! Какое это было невероятное богатство, какая красота, сколько дела и мощи! Конечно, мне уже не дожить до нового возрождения в России верхового коннозаводства и никогда больше не увидеть таких лошадей!

На этом я закончу описывать свои впечатления о почти что годовой работе в полтавской ремонтной комиссии. Однако прежде чем расстаться с Полтавой, расскажу, как я увлекся именно в это время фарфором, бисером, хрусталем и стеклом и составил замечательную коллекцию этих предметов в полторы тысячи номеров. Моей основной страстью в области коллекционирования всегда была и остается картина, то есть станковая живопись. Читатель уже знает, что в том районе, куда меня тогда закинула судьба, картин совершенно не было, о чем меня своевременно предупредил молодой художник Мясоедов. Но, посещая в Полтаве лавки старьевщиков Перского и Пороховника, я не мог не обратить внимания на фарфор и бисер. Первый меня привлек своими красивыми формами, яркостью раскраски и тонкостью живописи. На иных предметах фарфора цветы, виды городов, а иногда и целые бытовые картины были исполнены не только художественно, но прямо-таки виртуозно. Бисер был приятен глазу своими особенными, поблекшими красками, тонкостью работы и стариной. Я увлекся фарфором и бисером и стал собирать эти красивые вещи. Все, что было у Перского и Пороховника, и все, что мне нравилось, было куплено. То же

следует сказать и про тех старьевщиков, что торговали в Кременчуге, Чернигове и еще двух-трех провинциальных городах. Так как моя страсть все развивалась и мне не нравилось делать что-либо наполовину, то я с головой ушел в это увлечение. К фарфору и бисеру присоединились стекло и хрусталь, которые я также полюбил и стал собирать. К тому времени, к которому относится этот рассказ, русское общество сильно увлекалось предметами старины, а потому цены на фарфор, бисер, стекло и хрусталь стояли очень высокие.

Как известно, спрос родит предложение, поэтому в каждом уездном городке завелись специальные комиссионеры, которые наперечет знали, у кого из местных обитателей имеются подобные вещи. Из Киева, Одессы и Харькова периодически наезжали крупные антиквары и при помощи этих комиссионеров скупали все, что только могли. Вещей становилось все меньше, цены на них росли, и все труднее стало их добывать. Придешь, бывало, в Полтаве в лавочку Перского, а там, кроме хлама, ничего нет. Досада берет, что ничего не можешь купить, и уходишь домой расстроенный и недовольный. Коллекционерство – это не только мания, но, если хотите, особая болезнь. Хочется покупать все новые и новые вещи, рыскать, искать и откапывать старину. Это обращается в своего рода спорт. Зато сколько сильных переживаний, приятных ощущений и радости испытывает каждый коллекционер, найдя какую-либо первоклассную или же просто хорошую вещь! Надо быть коллекционером, чтобы это вполне понять и уразуметь. Так как у Перского в лавчонке



М. В. и Л. Д. Вяземские

вещи стали попадаться очень редко, то я решил сам ездить по домам и разыскивать старину. Однако для этого надо было иметь адреса, а у меня их не было. Заходить же в каждый дом, не зная, как тебя примут, было, конечно, невозможно. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль пригласить Перского в качестве комиссионера. Он должен был заранее узнавать адреса, где есть интересные вещи, и уж затем вместе с ним я должен был их осматривать и, если возможно, покупать. Перский согласился и назначил с каждой купленной мною вещи куртаж в 15 процентов. Однако прежде чем рассказать об этих посещениях горожан в поисках «товара», скажу несколько слов о самом Перском.

У него была небольшая лавочка старины и всякого хлама на Кобеляжской улице. Перский был презабавный тип. Еврей небольшого роста, очень юркий и неглупый. Держал он себя с должным почтением к сильным мира сего, и когда находился в их обществе, то не прочь был пошуметь и даже покричать – словом, показать себя: вот, мол, что я за человек и с кем я знаком. Замечу вскользь, что это типичная черта еврейского характера, получившая свое полное развитие и применение в годы революции... В то время это было только забавно и доставляло мне немало удовольствия. Приходил Перский ежедневно ко мне около 6 часов вечера; я уже пообедал, отдохнул и пью в воробьевских номерах чай. Предлагаю ему присесть. Он долго

отказывается, затем со всевозможными ужимками и извинениями, что должно было служить признаком хорошего еврейского тона, садится на кончик стула, и беседа о старине начинается. Я звоню и требую стакан. При появлении лакея Перский преображается и отдает ему распоряжения, чувствуя себя героем дня и всячески желая показать: «Смотри, с кем я пью чай! А тебя, хама, не посадят за один стол с баринном!» Напившись чаю, мы выходим на улицу. На Перском неизменная соломенная шляпа, из кармана торчит газета (какой еврей, живший в черте оседлости, даже самый бедный, не читал газет и не интересовался политикой!), в руках зонтик. Он вылетает на середину улицы с громким криком «Фурке, фурке!», то есть зовет извозчика. При этом он гордо озирается по сторонам и победоносно смотрит на городского. Только тот хочет унять не в меру раскричавшегося еврейчика, как замечает меня и, вытягиваясь, берет под козырек. Перский торжествует и подсаживает меня в экипаж. Мы едем в предместье города к какой-нибудь допотопной старушке смотреть чашку, старый чайник или фарфоровую вазочку. Перский всю дорогу сидит важно и озирается по сторонам, желая, чтобы его увидело как можно больше народу. Если при этом он встретит околоточного надзирателя и тот с удивлением посмотрит на него – вот, мол, куда забрался, Перский в душе торжествует и тоже думает: «Знай, с кем я знаком – теперь будешь со мной осторожен!» Я сижу рядом с ним и читаю в его душе, как в открытой книге. Иногда я смеюсь и говорю ему об этом, а он только чмокает губами и приговаривает: «Ой какой же вы умный! Это же верно!» Лыстать он любил чрезвычайно и в этом отношении переходил иногда все границы. Наконец мы подъезжаем к старенькому домику. Во дворе начинает лаять и метаться на цепи собака. Перский встает и идет вперед парламентаром. Хотя у него в руках зонтик, он берет еще у извозчика кнут. Когда он возвращается, мы идем в дом. Происходит представление. Перский усиленно именуется меня «господин генерал» и «ваше превосходительство», затем подставляет мне кресло или стул и упрашивает садиться. Он чувствует себя здесь как дома: еще бы, он привез к этим беднякам покупателя и будет платить деньги! Наконец хозяйка выносит или вынимает из шкапчика вещь, из-за которой мы приехали. В большинстве случаев это какой-нибудь пустяк, не стоящий внимания, и я, извинившись перед хозяйкой, уезжаю. По дороге Перскому влетает, и мы едем дальше. Если вещь интересна, я ее тут же покупаю, причем торгуется Перский, нередко разыгрывая презабавные сцены. Если вещь первоклассна, выпустить ее из рук нельзя, так как хозяйка на другой день начнет приценяться, советоваться с кумушками и обязательно раздумает продавать. Надо покупать немедленно. Иногда удавалось купить интересную вещь сразу, но чаще приходилось долго торговаться, а уговаривать, чтобы продали, еще дольше. В этих случаях Перский был велик: он пускал в ход все свое красноречие, брал жертву измором – и вещь оставалась у нас в руках. В богатых домах Перский держал себя иначе: он отводил в сторону хозяина или хозяйку и либо критиковал вещь, либо же указывал на то, что вторично такого знаменитого покупателя он не сможет дать. В большинстве случаев его маневр удавался. Именно через Перского мною были куплены многие первоклассные вещи у госпожи Джевецкой. Муж Джевецкой был в свое время директором банка в Полтаве. Когда распродалась обстановка в имении Абазы, сына бывшего министра, он купил там лучшие вещи, которые его вдова и продала мне. У Джевецкой я приобрел много первоклассных фигурок, замечательные вазы Императорского фарфорового завода, старинную посуду и прочие редкие вещи.

Как-то однажды вечером я зашел в лавочку Перского и присутствовал при следующей сцене. За прилавком был сам хозяин. Глаза его горели, лицо пылало – видимо, он весь ушел в свое торговое дело и предвкушал получение хорошего куша. Против него стоял красавец еврей, изящно одетый, и держал в руке маленькую фигурку индюка. Это был знаменитый киевский антиквар, миллионер Золотницкий.

Яша Золотницкий, как все его звали в Киеве, был знатоком своего дела, и если, бывало, попадала ему хорошая вещь, то он ее уже не выпускал. Я с ним не только был знаком, но и являлся давним покупателем в его фирме. Я подсел к прилавку и стал наблюдать. «Так как цена, господин Перский, за этого маленького, такого крошечного индюка?» – спросил Золотницкий. «Меньше 50 рублей я не возьму», – отвечал Перский. «Как, за такую пустую фигурку 50 рублей?! Нет, господин Перский, вы с ума сошли или же забыли, что имеете дело со мной! Я знаю цену деньгам!» – волновался Золотницкий, но индюка продолжал держать в руках. Видимо, фигурка ему очень нравилась и он хотел ее во что бы то ни стало купить. Перский это видел, чутьем торговца это чувствовал и решил дать Золотницкому генеральный бой. Яша, ворча себе под нос, поднял опять фигурку, поднес ее к близоруким глазам, повернул раз, другой, посмотрел на марку и сказал: «Нет, купить не могу. Фигурка замечательная, но вы, господин Перский, просите за нее сумасшедшую цену. Помните, что это я вам говорю, господин Перский, я, Золотницкий!» Глаза Перского еще больше загорелись, и он не сказал, а прямо прокричал: «Господин Золотницкий, если вы поставите фигурку на прилавок – цена будет другая!» Золотницкий удивленно посмотрел на Перского, не понимая, откуда у того взялась такая настойчивость и прыть, и медленно-медленно стал опускать фигурку индюка к витрине прилавка. Наступила решительная минута заключения или же расторжения сделки. В лавочке повисла мертвая тишина. Было слышно, как муха, пролетая, жужжала и затем, с размаху ударившись о стекло, стихла. Жена Перского на цыпочках подошла к дверям и молча наблюдала. Я тоже молчал, а Перский, весь красный, с каплями крупного пота на лбу, смотрел, как Яша Золотницкий все ниже и ниже опускал фигурку индючка... Вот она почти уже коснулась стекла, но в этот миг Золотницкий резким движением руки поднял ее вверх и веселым голосом обратился Перскому: «Вот и не поставлю! Что вы тогда со мной сделаете, господин Перский?» – «Получу 50 рублей», – так же весело ответил Перский, после чего Яша Золотницкий положил индючка в карман. Надо было видеть выражение этих лиц, слышать мертвую тишину, наступившую в лавочке, чувствовать игру страстей и жадность глаз и рук, чтобы вполне оценить эту замечательную сцену.

Когда Золотницкий заплатил деньги, я попросил его показать мне индючка и объяснить, почему он заплатил за него такие большие деньги. Он охотно мне его показал и объяснил, что это одна из редчайших поповских фигур – как по тесту, так и по исполнению и поливе. А главное, фигурка принадлежит к числу миниатюр, выпущенных этим заводом, которые чрезвычайно дороги. «Я получаю за нее с Ганзена (знаменитого киевского коллекционера фарфора) 500 рублей и ни одной копейкой меньше, – добавил Золотницкий и торжествующе посмотрел на Перского. – Надо же себя вознаградить за те волнения, которые заставил меня пережить этот господин!» Ровно через десять лет, а именно в 1926 году, я увидел такую же фигурку-миниатюру индючка, на этот раз в Москве, и поспешил ее купить.

Перский работал со мной в Полтаве. Когда же я выезжал с комиссией в уездные города, там были другие комиссионеры. Как только я приезжал, они сейчас же являлись ко мне с докладом, и в свободное время я объезжал или обходил с ними интересные адреса. Таким путем я приобрел много замечательных вещей. Особенно интересны были фарфоровые часы с фигуркой всадника, на которого нападает тигр. Фигурка сделана в духе работ Ораса Верне и является замечательнейшим произведением фарфорового искусства. Еще большей редкостью была корзинка для фруктов времен императрицы Екатерины Второй, купленная мной совершенно случайно. Приехав в Прилуки, я вечером вместе с комиссионером Баткиным направился по адресам в поисках старины. Мы пробродили целый вечер, ничего хорошего не увидели, и я, усталый и злой, возвращался в гостиницу. Подойдя к ней, я случайно заглянул в подвальный этаж, где у открытого окна работал старый еврей-сапожник.

Каково же было мое изумление, когда я заметил у него на столе, среди разбросанных сапожных инструментов, дратвы и вара, поразительной красоты фарфоровую корзинку! Указав на нее пальцем Баткину, я вместе с ним вошел к сапожнику. Хитрить тут было нечего, и я прямо спросил сапожника, не продаст ли он мне эту корзинку. «Спросите хозяйку, – ответил сапожник. – Это ее корзинка». Старуха еврейка сначала наотрез отказалась продать эту вещь, говоря, что она ее получила еще от своей бабки. Я стал уговаривать старуху. Баткин что-то сказал ей по-еврейски, после чего она, обратившись ко мне, сказала: «Хорошо, я продам ее вам, только за большие деньги». «Сколько же вы хотите получить?» – спросил я в свою очередь. «Десять рублей», – нерешительно ответила старуха. Ни слова не говоря, я вынул десятирублевую бумажку, положил ее на стол и взял корзинку. В ней были обрезки кожи, нитки и всякая другая дребедень. Это была довольно большая корзинка для фруктов. Я стал ее рассматривать. Удивительно массивная, сделанная из первоклассного теста, белая с зелеными ручками, с гирляндами листьев и гроздьями спелого винограда вокруг – это была, несомненно, первоклассная вещь! Когда же я посмотрел метку, то моей радости и удивлению не было конца. В тесте была метка «Е II», то есть это было изделие Императорского фарфорового завода времен Екатерины. Изделия того времени чрезвычайно редки и ценятся весьма дорого. Совершенно случайно я купил не только замечательную фарфоровую вещь, но и лучшую во всем моем, тогда уже немаленьком, собрании. Каким образом эта редкая вещь попала в бедную еврейскую семью? Впрочем, этому еще могло быть объяснение – мало ли замечательных вещей попадает в разные руки, где не знают их настоящей цены? Но как, будучи в таких руках, среди сапожных инструментов, детворы и тесноты, могла уцелеть, сохраниться и не разбиться столь хрупкая вещь – это положительно непостижимо!

Нельзя не рассказать хотя бы в двух словах, как благодаря немцам я купил сразу весь фарфор в антикварном магазине Идлуса в Чернигове. Дело было во время наступления немецких войск, в момент одного из опасных прорывов на Южном фронте. Мы получили срочное распоряжение выехать в Чернигов и принять лошадей ввиду возможного появления в городе немцев. Нам был предоставлен особый вагон. Когда мы прибыли в Чернигов, там была невероятная суета: учреждения упаковывались, власти собирались уезжать и с часу на час ожидали распоряжения начать эвакуацию города. Чернигов представлял собой сплошной муравейник. Среди еврейского населения царил паника: на улицах и площадях стояли и галдели евреи, нервно размахивая руками и теребя себя за пейсы (в Чернигове евреи тогда еще носили лапсердаки, пейсы и имели совершенно ветхозаветный вид). Мы быстро управились с порученным нам делом – приняли и отправили с солдатами лошадей – и в тот же вечер должны были уехать обратно в Полтаву. В Чернигове я был в первый раз и города не знал. В гостинице мне дали адрес Идлуса, и я отправился к нему в магазин. Там тоже была суматоха. Старик Идлис стонал и причитал, что все его имущество погибло, что все заберут немцы и ни за что ему не заплатят. Его сыновья укладывали в ящики то, что было поценнее. Тут же сновали детишки, и в магазине стоял невообразимый шум и гам от еврейского гортанного говора. Я с удивлением начал рассматривать фарфор. Здесь были первоклассные вещи. Разговорившись с хозяином, я узнал, что черниговцы у него очень мало покупают, а раз в год приезжает из Петербурга граф Мусин-Пушкин и берет у него весь первоклассный фарфор. Для графа главным образом он его и собирал. Я знал собрание Мусина-Пушкина, одно из лучших в Петербурге, и подумал: «Так вот где берет он свои замечательные фарфоровые вещи!» «Теперь все погибло, все заберут или перебьют немцы!» – твердил в отчаянии старый Идлис. – Погибли мои деньги!» Затем совершенно неожиданно, обратившись ко мне, он сказал: «Купите у меня в магазине весь фарфор, господин офицер. Я вам его дешево отдам. Вы его увезете, а от меня груз

не примут». «Это идея, – подумал я. – Но где взять денег на такую крупную покупку?» «Я бы купил весь ваш фарфор, – сказал я Идлису, – но у меня с собою нет денег». Он спросил мою фамилию и сказал, что знает ее, после чего предложил мне выдать ему вексель. Я согласился. Моментально из витрин стали выкладывать фарфор и ставить его на прилавок. Всего оказалось 330 вещей! «Вынимайте всё, что есть в ящиках», – велел я Идлису. Он сначала не соглашался, но когда я заявил, что отказываюсь от покупки, то махнул рукой, и из этих трех ящиков одна за другой стали появляться лучшие вещи, собранные Идлисом для графа Мусина-Пушкина. У меня глаза разгорелись от удовольствия при виде столь редких и чудных вещей. Мы вновь пересчитали фарфор – оказалось 430 вещей! «Цена?» – спросил я Идлиса. «Десять тысяч. И это даром!» Я предложил половину, и за 6 тысяч рублей фарфор был мною куплен. Достали векселя, и я их тут же подписал сроком на месяц платеж на Тулу. Вслед за этим я сейчас же послал в гостиницу за Шмелёвым. Тот моментально явился, и я послал его привести несколько солдат из команды. Не прошло и часа, как Шмелёв, трое солдат и семья Идлиса уже упаковывали фарфор. Я сидел, наблюдал, курил сигару и беседовал со стариком Идлисом. Как ни был он расстроен, но любитель и знаток в нем иногда загорался: подымая ту или иную вещь, он любовно на нее смотрел, определял марку, а затем со вздохом передавал сыну для упаковки. «Вот старый Попов, – говорил он мне. – А вот замечательный сервиз Марколини, я купил его за 500 рублей у директора здешнего музея Рашевского. А вот Миклаш – и какой Миклаш!» Миклаш оказался Миклашевским (знаменитый завод фарфора в Черниговской губернии). Удивительна эта страсть у всех евреев – сокращать отдельные слова, как будто у них нет времени произнести их полностью. Эта еврейская особенность получила во время революции полное право гражданства, и весь русский язык был исковеркан и уничтожен этими сокращениями... Не прошло и трех часов, как весь фарфор был уложен. Я отправил его со Шмелёвым на станцию, с тем чтобы тот погрузил его в вагон с лошадьми. Вагон должен был тронуться лишь ночью. Тревога, поднятая в Чернигове, оказалась ложной, немцы туда не попали, эвакуация не имела места, но зато я стал собственником замечательного собрания фарфоровых вещей, которые при других обстоятельствах никогда бы ко мне не попали. Следует признаться, что мне, как коллекционеру, всегда везло: я часто, и притом совершенно случайно, попадал на знаменитые вещи, и мне удавалось их купить. Впрочем, счастье счастьем, а умение остается умением и тоже что-нибудь да значит. Недаром же индийский писатель Рабиндранат Тагор говорил: «Искусство приобретать – трудное искусство. Многие пробуют, но не многие успевают». Эти столь верные слова я и взял девизом для одной из своих работ, а именно для описания картинной галереи сельца Прилеп.

Вскоре после окончания приема годового ремонта у меня с генералом Яковлевым вышли некоторые разногласия, и я просил его откомандировать меня обратно, в 3-й запасной кавалерийский полк. Генерал сначала не соглашался, но потом должен был уступить, и я, простившись как с председателем, так и с членами полтавской ремонтной комиссии, покинул Полтаву и выехал в Кирсанов.





1916 ГОД КИРСАНОВ. АРХАНГЕЛЬСК. ВОЛОГДА

В полтавской ремонтной комиссии я проработал около года и, вернувшись в Кирсанов, генерала Керна там уже не застал. Он получил назначение начальника бригады кавалерийского запаса и выехал в Харьков, к месту своей новой службы. Полком в Кирсанове командовал прибывший из действующей армии полковник фон Крузенштерн. Ранее он служил в Конно-гренадерском полку, с которым и ушел на войну. Крузенштерн был сухой, строгий и очень требовательный командир. Он был высокого роста, красивый, с проседью, брюнет, по своему происхождению швед, внук или правнук знаменитого адмирала фон Крузенштерна. Фамилия Крузенштернов вполне обрусела, многие ее представители служили в гвардии и достигли высоких командных должностей. Это все были чрезвычайно дельные, скромные и хорошие служаки. С одним из Крузенштернов я был в дружеских отношениях – в то время когда я оканчивал Николаевское кавалерийское училище, он кончал Пажеский корпус. Когда я явился к полковнику Крузенштерну, он принял меня очень любезно, но крайне удивился тому, что я покинул такую хорошую и приятную службу, как ремонтная комиссия. «Куда же вас назначить?» – спросил он меня. Я просил временно прикомандировать меня к штабу полка, так как предполагал в октябре, во время объезда запасных кавалерийских полков начальником ремонта армии, просить его о назначении меня в одну из ремонтных комиссий, работавших в районе Тульской губернии. Это дало бы мне возможность свободное время жить в Прилепах и не терять времени на дорогу, как это приходилось делать тогда, когда я служил в Полтаве. Крузенштерн выполнил мою просьбу, и я был прикомандирован к полку.

Итак, я опять волею судьбы оказался в Кирсанове. Первые мои впечатления после почти что годового отсутствия были те же, что и ранее: все кругом было так же серо, скучно и тускло. Провинциальная жизнь захолустного городка текла все тем же порядком. «Нотер» Новиков еще больше постарел. В полку было много работы. Кадровые офицеры, которых порядочно тянул по службе новый командир, имели усталый вид, и лишь молодые офицеры вносили оживление и своим беспечным и жизнерадостным видом доставляли старикам и нам, людям пожившим и немало поработавшим, некоторое развлечение. Эта молодежь заменила собой прапорщиков, которых в полку уже не осталось ни одного: все они либо ушли в действующую армию, либо же по болезни и полной непригодности были отправлены в отставку. Молодежь, сменившая их, окончила либо ускоренные курсы Николаевского кавалерийского училища, либо таковые же курсы Пажеского корпуса. Все эти юноши, по крайней мере громадное их большинство, происходили из хороших буржуазных семей и были преимущественно уроженцами обеих столиц. Они никогда и не мечтали о военной службе, и лишь необычайные обстоятельства заставили их времен-

но надеть военный мундир. Многие из них имели высшее образование. Одни окончили Александровский лицей или Императорское училище правоведения, другие – университеты либо технические учебные заведения. По окончании курса общих наук они поступали в военные училища (Николаевское кавалерийское, Пажеский корпус, Тверское и Елисаветградское кавалерийские) и через год, пройдя ускоренный военный курс, выпускались в запасные кавалерийские полки в чине корнетов и с очередными маршевыми эскадронами уходили на войну. Среди этой молодежи было немало талантливых и премилых людей.

Один из молодых офицеров запасного кавалерийского полка Ю. Ф. Милеев был страстным лошадиником и после войны хотел посвятить себя конскому делу. Он окончил Императорское училище правоведения и прошел дополнительный военный курс в Пажеском корпусе. Милеев принадлежал к богатой петербургской семье. Его отец также был когда-то правоведом и делал блестящую карьеру, но рано умер. Две сестры отца, тетки молодого Милеева, были из числа первых красавиц своего времени, и одна из них была замужем за графом Головиным, а другая – за лейб-уланом Перевошиковым, впоследствии блестящим кавалерийским генералом. Я думаю, что портрет красавицы Головиной еще у многих в памяти, так как он был написан Репиным, относился к числу его наиболее удачных работ и неоднократно воспроизводился в печати, когда речь шла о работах маститого петербургского художника. Милеев тоже был удивительно красив. Все в полку его любили и называли не иначе как Юрочка. Юрий Фёдорович был среднего роста, стройный, с тонкими чертами лица. Он был блондином с редкой красоты золотистым отливом волос, которые носил довольно коротко стриженными. Нос у него был несколько вздернутый, что придавало его лицу какой-то особенно задорный вид. Главная отличительная черта его лица была удивительная, как бы ему одному присущая, миловидность. Милеев был очень талантливый молодой человек. Он был знаком с кружком писателей и поэтов, группировавшихся вокруг Кузьмина, также очень хорош с Игорем Северяниным. Юрочка сам был поэт и писал красивые стихи. Его имя начинало уже приобретать некоторую известность, и стихи его охотно печатались, в особенности в сборниках эстетического направления, которых тогда выходило в Петербурге и Москве несколько. Я сблизился с Юрочкой Милеевым – впрочем, не на почве поэзии, а по более прозаичным делам, то есть по лошадиной охоте. Милеев знал меня как коннозаводчика. Да, впрочем, надо без лишней скромности сказать: кто тогда в России из лошадиников не знал моего имени? А потому неудивительно, что Юрочка просил меня взять его в Прилепы и показать завод. В полку он посещал все выводки, получал спортивные журналы и действительно не на шутку был увлечен лошадьми. Незадолго до его ухода в действующую армию я взял его с собой в Прилепы, и здесь он два дня пропадал в конюшне. Из этого молодого человека вышел бы толк по лошадиному делу, но судьбе, к несчастью, угодно было другое.

В армии он был скоро отличен – получил три боевых ордена, но вследствие тяжелой контузии в голову его зрение настолько ослабло, что он был отправлен обратно в запасной полк. После революции, которая застала его в Кирсанове, он оказался отрезанным от семьи. Его мать, сестра и брат уехали на юг, а он, вырвавшись наконец из Кирсанова, очутился в Москве, один, безо всяких средств. Тут я его случайно встретил и пригласил в Прилепы, где он прожил немногим больше года. Когда началась Гражданская война, Юрочка не мог усидеть на месте и решил прорваться на юг, чтобы принять участие в военных действиях. Я его снабдил, чем мог. Как сейчас помню эту роковую минуту его отъезда из Прилеп, куда ему уже не суждено было вернуться... Юрочка оделся простым солдатом, и все его вещи поместились в холщовом солдатском походном мешке. За несколько минут до отъезда я зашел к нему в комнату, где он кончал укладку своего мешка, и, увидев его переодетым солдатом, подумал: «Не прорвется. Лицо выдаст!» После этих коротких сборов на-

стала минута расставания. По старому обычаю все мы: Юрочка, я, молодой художник Покаржевский и старик лакей – на минуту присели в большой гостиной. Воцарилась мертвая тишина. «Ну, с Богом! – сказал я, решив прервать наконец это тягостное молчание и обнимая Юрочку. – Возвращайся скорей!» «Счастливого пути!» – раздалось со всех сторон, но по нервным и неуверенным голосам я чувствовал, что все думают то же, что и я: не прорваться Юрочке через красный фронт к белым и не вернуться живым домой. В последнюю минуту я решил проводить Милеева и сел с ним в тележку. Тогда революция была уже в полном разгаре, и в экипажах ездить было нельзя. Юрочку должны были доставить до ближайшей станции Козлова Засека (ныне Ясная Поляна). Последние две версты до станции, чтобы не возбудить ничьих подозрений, он должен был идти пешком со своим солдатским мешком за плечами. Уже вечерело, когда мы тронулись в путь. Далекие перелески Козловой Засеки чернели, пушистыми волнами ложился серебряный туман на землю, в воздухе чувствовалась сырость и приближение ночи. Мы ехали молча. Вдали показался лес, а за ним было уже недалеко и до станции. Я остановил лошадь, встал и еще раз простился и мысленно благословил молодого героя, отправлявшегося воевать за наши идеалы и попорченную свободу. Долго стоял я у опушки леса и смотрел вдаль, пока знакомый и дорогой мне образ совсем не скрылся из виду. Вечерняя заря уже широкой алой тканью раскинулась по небосклону и затем погасла. Ей на смену заблестал яркими, безмолвными звездами бесконечный, темный свод небес. Что-то ждало впереди, там, где разыгрывались ужасы Гражданской войны, Юрочку Милеева? Счастье ли, почести и слава или же гибель от руки врага, смерть от тяжелой болезни в походном лазарете никому неведомого украинского городка?..

Милеев благополучно прошел через фронт и около года героически сражался против красных. Затем он был убит во время атаки. Умер он в страшных мучениях: неприятельской гранатой ему оторвало ноги. Так погиб этот талантливый, полный жизни и веры, храбрый и верный долгу своих предков молодой человек. И я верю, что придет время, когда имя его, наряду с другими славными русскими именами погибших героев, будет произноситься с любовью и уважением!

Все эти подробности о жизни и смерти Милеева после его отъезда из Прилеп я узнал из письма его матери ко мне. Госпожа Милеева хотела издать сборник его стихотворений и спрашивала в письме, не у меня ли сохраняются рукописи стихов ее покойного сына. Увы! Я должен был ответить, что Юрочка их взял с собой и что, вероятно, все они погибли. Счастлив, что могу теперь, хотя отчасти, исполнить желание матери погибшего героя и опубликовать здесь строки из стихотворения, написанного Ю. Ф. Милеевым в Прилепах в марте 1918 года.

*...Лишь робкий луч луны мерцает
В тяжелой позолоте рам...
Как много в наше время драм!
И кто их после разгадает?*

...Я пробыл в Кирсанове уже около месяца, возобновил свои прежние знакомства и несколько раз побывал в Оржевке у Нарышкиных. Там все шло как и год тому назад: Алек Нарышкин целыми днями пропадал на охоте, Софи возилась с итальянцами, а Софья Константиновна неустанно хлопотала по хозяйству. По воскресеньям здесь собирались все те же знакомые и друзья, неизменно приезжала из своего именина чета Арсеньевых. Воскресный день проходил незаметно, в прогулках, катании и разговорах. Вечером все собиравшись в кабинете хозяина, и беседа иногда затягивалась за полночь. Я редко оставался ночевать, предпочитал уезжать домой на заре. Дорога от Оржевки до Кирсанова очень живописна и наполовину идет старым лесом. Интересно было наблюдать, как из-за вершин дальнего леса возникал

сверкающий золотой серп, потом он все рос и рос и вот на безоблачном небосклоне во всей своей утренней красе показывалось солнце. Все начинало блестеть и играть под его живительными, согревающими лучами. Туман все ниже опускался на землю, заря потухала, и только где-то наверху еще сияли слабым розовым светом тонкие полосы полупрозрачных перистых облаков. Вдыхая полной грудью свежий воздух, я глядел на ярко разгорающийся восточный край небосклона и наблюдал, как медленно плывут тонкие облака в сияющем утренней красой ясном небе.

Прошел сентябрь, наступил октябрь. Я начал тяготиться своим бездействием и подумывал о том, что следовало бы написать в Петербург письмо и просить о назначении в орловскую ремонтную комиссию. Прошло еще недели две, и неожиданно я был вызван к командиру полка. Прискакавший вестовой вручил мне служебную записку адъютанта, где было сказано, что сего числа, в 9 часов вечера, я должен явиться на квартиру командира полка. Записка эта меня удивила прежде всего необычностью места встречи. Да и время – 9 часов вечера – также было не служебное. Я решил, что Крузенштерн имеет в виду завтра же отправить меня в какую-либо срочную командировку. Это меня мало устраивало, но делать было нечего, и ровно в девять вечера я явился к Крузенштерну. Тот принял меня по своему обыкновению сухо, но любезно и попросил подождать, пока он не кончит свои дела с адъютантом. В это время обязанности адъютанта исполнял поручик Ильченко, александрийский гусар, толстяк и добрейший малый. Крузенштерн внимательно читал приказ, который ему предстояло подписать, а Ильченко молча стоял с правой стороны от него. Вдруг Крузенштерн поднял недовольное лицо и спросил адъютанта: «Вы редактировали параграф пятый приказа?» – «Так точно», – последовал ответ. «Этот параграф редактирован безграмотно. Здесь сказано отправить на работы в имение генерала Павлова команду в 35 солдат 6-го эскадрона... Никакого генерала Павлова нет. Я такого не знаю!» Тогда Ильченко возразил, что помещик Павлов в чине генерала. «Вы хотите сказать, в чине действительного статского советника? Неужели вы до сих пор не знаете, что генералом может быть только военный?» – и Крузенштерн, собственноручно зачеркнув слово «генерал», поставил «д. с. с.», что означало «действительный статский советник». Ильченко попробовал наивно возразить, что Павлова все называют генералом и он это очень любит. Крузенштерн улыбнулся и, придя в хорошее настроение, сказал: «Как же, я это знаю. Они все, эти штатские превосходительства, любят, когда их называют генералами». После этого Крузенштерн подписал приказ и отпустил адъютанта.

Обратившись ко мне, он спросил, говорю ли я по-французски. «Совершенно свободно, почти как на русском языке», – ответил я удивленно, не понимая, в чем дело. «Видите ли, получено из Главного штаба через Московский военный округ и далее по команде, – Крузенштерн любил выражаться точно, – распоряжение командировать в Петроград знающего французский язык и притом светского офицера. Предстоит получить инструкции в штабе, потом явиться в итальянское посольство, получить их инструкции и затем сопровождать итальянских военнопленных в Архангельск, откуда они уйдут на союзный фронт. Речь идет об австрийских пленных итальянского происхождения, которые, как вы знаете, все уже сосредоточены здесь, в Кирсанове. По-видимому, с вами из посольства будет откомандирован военный атташе. Поручение, которое я вам даю, не только важно, но и имеет до известной степени дипломатический характер». Делать было нечего, и я спросил, когда я должен выехать. «Сегодня в полночь, – последовал лаконичный ответ. – Получите предписание у адъютанта, я его уже подписал». Затем, более мягко прощаясь со мной, Крузенштерн просил меня выполнить это серьезное поручение возможно лучше и пожелал мне счастливого пути. Таким образом, совершенно неожиданно для себя я получил дипломатическое поручение и впервые должен был вступить в сношения и переговоры с посольством дружественной нам иностранной державы. Я не мог,

конечно, тогда предвидеть, что месяц, который я пробуду в этой командировке, станет для меня исключительно интересным и приятным. Я всегда с удовольствием вспоминаю об этом веселом времени.

Приехав в Петроград, я получил инструкцию в штабе и в тот же день посетил итальянское посольство. Меня принял крайне любезно старший секретарь посольства и сейчас же познакомил с двумя офицерами, специально прибывшими из Италии для приема и сопровождения военнопленных на родину. Один офицер был в чине полковника, другой, помоложе, капитан. Их фамилии я позабыл. Это были милые и воспитанные люди, в особенности полковник, или командоре, как его называли итальянские военнопленные. Тут же было решено, что я через несколько дней вернусь в Кирсанов, приму всех пленных и особым эшелонам доставлю их в Архангельск, где они и будут посажены на океанский пароход, чтобы отплыть в Италию. Оба итальянских офицера из Петербурга придут в Москву, там встретят наш эшелон и затем прямо проедут в Архангельск, где уже и примут у меня военнопленных.

На другой день я сделал визит итальянскому послу маркизу Кариотти и был приглашен на обед в посольство. В свою очередь я устроил для обоих итальянских офицеров завтрак в «Европейской», на котором также присутствовал и старший секретарь посольства. После обмена любезностями я вернулся в Кирсанов, принял от воинского начальника по спискам всю партию пленных итальянского происхождения, как офицеров, так и солдат, и двинулся в путь на Архангельск. Мне и господам итальянским офицерам было предоставлено два специальных вагона, а солдаты ехали в теплушках. На вокзале яблоку было негде упасть: на отъезд военнопленных на родину собрался поглядеть весь Кирсанов. Зеленой оркестр играл какой-то бравурный марш, вагоны итальянцы украсили зеленью и союзными флагами, настроение у всех было приподнятое, и, когда после третьего звонка я дал знак кондуктору отправляться, из вагонов грянуло дружное: «Et viva la bella Italia!»*, «Да здравствует великая Россия!»... Оркестр играл итальянский национальный гимн, и под его звуки поезд медленно отходил от дебаркадера вокзала. Итальянцы смеялись, махали платками, шляпами. Во время всего пути из их вагонов неслись песни и звуки музыки. Почти все обзавелись в Кирсанове разными дешевыми инструментами, но и из них эти природные певцы и музыканты умели извлекать красивые и мелодичные звуки.

На другой день, в 10 часов утра, мы прибыли в Москву. На вокзале нас встретил итальянский консул господин Чекато, оба офицера, прибывшие из Италии, и чиновник посольства. После взаимных приветствий офицеры побеседовали с солдатами, затем состоялся обед на передаточном пункте и консул раздал пленным папиросы и табак. У Москвы мы простояли четыре часа, после чего двинулись на Архангельск. Быстро промелькнули Ярославль, Вологда и другие города, и мы поехали по Северной железной дороге, когда-то выстроенной знаменитым меценатом Саввой Мамонтовым. На постройке этой дороги Мамонтов потерял все свое громадное состояние. Дорогу тогда признавали ни для кого не нужной и пустой затеей, а между тем, как оказалось, в великую европейскую войну эта дорога получила исключительное стратегическое значение. Шли мы быстро, с пассажирской скоростью, но за Вологдой приходилось иногда стоять на полустанках и разъездах, так как здесь нам навстречу шли бесконечные поезда с амуницией, снаряжением, орудиями, пулеметами и снарядами. Все это спешило на фронт и шло к нам северным путем из союзных стран. Глядя на эти бесконечные эшелоны, я думал о том, что было бы с нами, если бы Савва Мамонтов в свое время не построил эту дорогу, какие лишения и недостатки терпела бы наша армия, если бы не было этого железнодорожного пути. Вот уж

* «Да здравствует прекрасная Италия!» (ит.)

поистине никто не пророк в своем отечестве, и к бедному Мамонтову это изречение вполне применимо!

Я никогда не был в своих поездках дальше Ярославля, а потому картины пути меня живо интересовали. За Вологдой начинались бесконечные леса. Их сменяли проселки, песчаные горки, чахлые поля, множество болот, луга, а затем опять шли леса, перелески и вновь леса. Северные деревни имеют весьма своеобразный вид. Деревни эти бедны и как-то особенно убоги. Избы в них деревянные. Вот под пасмурным, свинцовым небом вдали промелькнула типичная северная церковка, приютившаяся у небольшой речонки, через которую перекинут ветхий бревенчатый мостик. Церковная паперть довольно высока и обширна, вдоль северной стены идут крытые переходы, церковные подклети. Окна маленькие, высоко прорубленные. Колокольня покосилась, и вся церковь почернела от времени и непогоды – видно, что не одно столетие простояла она здесь. Кругом церкви ограда, тут же бедные могилки, запущенное старое кладбище. Два-три домика, тоже деревянные, старые, покосившиеся, составляют, очевидно, убежище духовенства этого полузабытого уголка... Однако по мере приближения к Архангельску деревни и села становятся богаче, природа величественнее и чувствуется близость моря.



Общий вид Архангельска

Сам Архангельск, куда мы приехали поздно вечером, город замечательный. Это один из старых северных городов. Основан он был в середине XVI столетия и вызван к жизни завязавшимися торговыми сношениями с Англией. До возникновения Архангельска вся торговля и промышленность северной окраины России были сосредоточены в Холмогорах. Первоначально возникший город назывался Новыми Холмогорами и лишь впоследствии был переименован в Архангельск. С основанием Петербурга и устройством здесь порта Петр Великий стремился направить всю торговлю в новый порт, и торговля Архангельска была стеснена различными ограничениями. При Екатерине Великой Архангельску были возвращены льготы, а во время господства континентальной системы, то есть при Наполеоне I, торговля в Архангельске достигла полного развития. С 1820-х годов начинается усиленный вывоз леса из Архангельска, а во время Крымской кампании, ввиду блокады архангельского порта, торговля была убита. Затем она снова развивается и достигает своего апогея во время великой европейской войны.

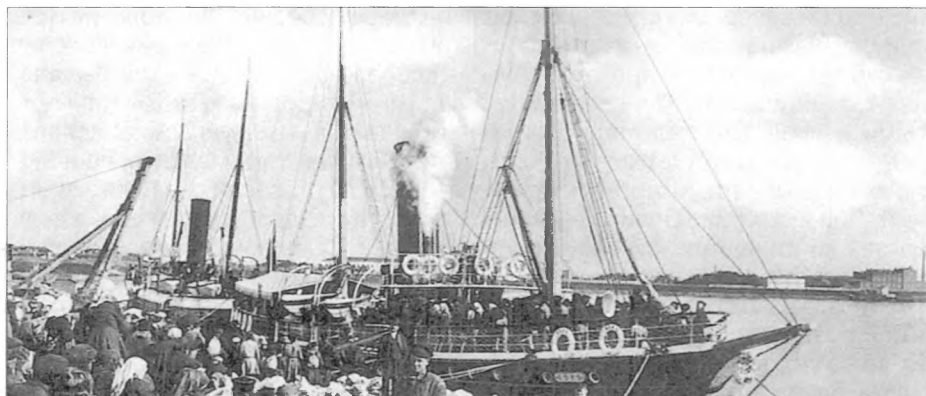
Я осматривал архангельский порт и был поражен его величием. Это был, несомненно, самый большой порт в России. Буквально на несколько верст вокруг порта

тянулись горы заграничных товаров и припасов, снаряжения и амуниции. Все это в ожидании отправки вглубь России стояло в грандиозных штабелях, прикрытых брезентами. Во время войны город рос со сказочной быстротой и превратился в один из грандиознейших городов России. Здесь было много иностранцев, стояли русские и иностранные военные корабли, много океанских пароходов. Везде царило оживление. В городе имели местопребывание губернатор, епархиальный архиерей, обычные губернские учреждения, таможня, начальник судоходных сил, управление маяков Белого моря, особый отдел пограничной страны и иностранные консульства: бельгийское, датское, норвежское, британское и другие. Архангельск, как известно, лежит на правом берегу Северной Двины, в сорока верстах от впадения ее в Белое море. Здесь река так широка, глубока и многоводна, что в порт заходят корабли самой глубокой посадки, не исключая океанских.

Ночь мы все провели в своих вагонах, а наутро я поехал к коменданту города отрапортовать ему о благополучном прибытии команды. Вся власть в городе была сосредоточена в руках адмирала Римского-Корсакова. В городе только и были видны, что матросы и моряки-офицеры. Сухопутных войск тут, кажется, вовсе не было – за три дня пребывания в городе я не видел ни одного кавалериста. Ко мне был прикомандирован мичман Иванов 3-й, очень милый молодой человек, только что выпущенный из морского корпуса. Это был красивый юноша, которому очень шла морская форма. Есть что-то необычайно привлекательное в морской форме, в скромном и изящном покрое этих курток и сюртуков, особом фасоне жилетов и брюк. Почти все моряки хорошо носят форму и отличаются изяществом и известного рода щегольством. Иванов 3-й происходил из старой морской семьи и в каюте корабля, как он мне говорил, чувствовал себя лучше, чем на суше.

Около двух часов дня к эшелону прибыли оба итальянских офицера, и состоялась передача военнопленных. Помимо нас, прямых участников и действующих лиц этой весьма торжественной передачи, тут присутствовало несколько адмиралов и почти все консулы иностранных держав. Немало было и публики, среди которой преобладали иностранцы. Мне пришлось командовать этим иностранным легионом, назовем его так, и после окончания церемонии. Итальянский полковник принял команду и затем поздравил меня кавалером итальянского ордена. Присутствовавший при этом представитель адмирала Римского-Корсакова поблагодарил за прекрасно выполненное поручение и сказал мне, что здесь, в Архангельске, я их гость. «Мичман Иванов 3-й позаботится, чтобы вы не скучали», – добавил он. «Есть», – последовал ответ мичмана.

Итак, поручение мое было исполнено и я был свободен. С железнодорожной станции мы поехали в порт и оттуда в город. В порту нам был подан вельбот. Я впервые



Архангельск. Отход соловецкого парохода

плыл на военном судне. Нас было пятеро или шестеро морских офицеров, в том числе и представитель адмирала. Кроме штабных моряков тут же находились я и мичман Иванов 3-й. Вельбот, ныряя, быстро шел по реке. Мы шли под Андреевским флагом, на корме у нас находился заместитель адмирала, флаг-офицер. В гавани стояли океанские корабли, вдали виднелась наша эскадра, по реке сновали пароходы, плыли груженные баржи и на легких шлюпках моряки отправлялись в открытое море. Где-то вдали показался дымок приближавшегося к Архангельску заграничного парохода. Совсем близко от нас вынырнул миноносец и тотчас скрылся из глаз, направляясь в море. Флаг-офицер велел вельботу держать курс на французский крейсер, так как имел вручить капитану крейсера пакет от адмирала. Легкий, красивый стальной крейсер оказался справа от нас, и мы стали быстро подходить к нему. Часовой с крейсера окликнул нас и, получив ответ флаг-офицера, подпустил к своему кораблю. На мостике показался дежурный офицер, переговорил с флаг-офицером и вызвал наверх капитана крейсера Баррело. Тем временем французские матросы спустили трап, по нему с нашего вельбота быстро поднялся мичман и вручил пакет капитану. Моряки обменялись взаимными приветствиями, и мы поплыли дальше.

Эта морская прогулка доставила мне большое удовольствие, и я с сожалением покинул вельбот, направившись с мичманом в морское собрание обедать. Моряки чрезвычайно гостеприимный народ и умеют принимать гостей. Обед прошел весело и оживленно, и мне оказали много внимания. Обед был превосходный, сервировка хорошая, а вина исключительно иностранные и лучших марок. В конце обеда прибыл адъютант адмирала и объявил нам, что завтра адмирал дает бал в морском собрании в честь прибывших итальянских офицеров. Это известие было принято восторженно, и молодежь сейчас же принялась за хлопоты по устройству бала. На другой день, когда я приехал на бал и по широкой лестнице поднялся наверх, я не сразу узнал вчерашнее собрание. Все было иллюминировано и горело тысячами огней, на лестнице лежал великолепный красный ковер, гостиные были уставлены цветами, из зала доносились звуки музыки и говор гостей. Танцы еще не начинались, съезд был в полном разгаре. Адмирал с супругой, окруженный лицами штаба, на лестнице встречал гостей. На бал прибыли губернатор, местные власти, иностранные консулы, но больше всего было, конечно, моряков. Немало было и хорошеньких женщин. Когда прибыли оба итальянских офицера, то адмирал вместе с ними вошел в зал и бал начался. Центром внимания были итальянцы и состоявшие при них моряки. Итальянцы были при полном параде. Их красивые мундиры, а также моя гусарская венгерка, расшитая золотыми жгутами, бросались в глаза среди черных фраков кавалеров и таких же шуртуков наших и иностранных моряков. Я был в форме Клестьицкого гусарского полка, с итальянским орденом – единственный кавалерийский офицер на балу. Танцевали много, веселились еще больше и разъехались на рассвете после великолепного ужина.

На другой день предстояло отплытие итальянских военнопленных на родину, и надо было встать довольно рано. Мичман Иванов 3-й любезно устроил меня у себя на квартире. В 8 часов утра мы уже были в порту. Там в ожидании отплытия итальянцев царил оживление. Катер адмирала Римского-Корсакова стоял уже под парами. Наконец в сопровождении флаг-офицера и нескольких чинов штаба прибыл адмирал, и все мы поместились в его катере.

На корме катера развевается Андреевский флаг, на носу висит вымпел адмирала, раздается команда рулевого, и мы плавно отчаливаем от пристани. Дует легкий северозападный ветер, или, как его называют моряки, норд-ост. Катер быстро разрезает волны и, мягко покачиваясь из стороны в сторону, идет вверх по реке. Мы проходим мимо леса мачт и кораблей. Завидя флаг адмирала, на военных кораблях горнисты играют заходение и вызывают на шканцы караул и команды, которые становятся во фронт для отдания почестей адмиралу. Мы отдаем честь и быстро



Эвакуация на английских военных судах

несемся мимо, направляясь к океанскому кораблю. Громадный английский корабль, вследствие своей величины и глубокой посадки, едва покачивается на волнах. Сверху донизу, сколько видит глаз, всё усыпано итальянскими военнопленными. Я со страхом гляжу высоко вверх, где на реях и мачтах повисли итальянцы, а Иванов 3-й смеясь говорит мне, что на морском языке это называется «рассыпаться по марсам». Катер адмирала лихо выворачивает под самой кормой английского гиганта. Мне кажется, что еще один вершок – и мы заденем за нос корабля. Но нет, мы уже идем вдоль правого борта, дружное «Ура!» и звуки русского гимна несутся нам навстречу! Корабль-гигант среди грандиозной реки, напоминающей море, масса возбужденных, кричащих и махающих флагами и платками солдат, звуки музыки, далеко разносящиеся вниз по реке, – все это не только величественно и красиво, но и не столь часто повторяется в жизни каждого из нас! Вот раздается команда капитана, и все на мгновение затихает, но только затем, чтобы с новой силой и страстью закричать, приветствуя нас и других союзников. Вздрогнул корабль – раз, другой – и медленно поплыл по реке, направляясь в Белое море, а оттуда на юг, к берегам красавицы Италии. «Et viva la bella!...»* – несется с борта корабля, и шапки летят вверх, и лица полны страсти и оживления. Едва тронулся английский гигант, едва начал он свой дальний и столь опасный путь, как уже подняли якоря и идут за ним, провоя его, катера, моторные лодки и легкие речные пароходы. Гремят на палубах оркестры, играют один за другим национальные гимны союзных стран. Английский гимн сменяется бельгийским, бельгийский – русским, русский – французским, затем итальянским, и так без конца.

Адмирал что-то сказал рулевому, и наш катер на всех парах устремился к уходящему пароходу, в последний раз прошел мимо самого борта корабля и круто повернул назад, держа курс на гавань. Из тысячи уст сразу же раздается новое привет-

* «Да здравствует прекрасная...» (ит.)

ствии в честь адмирала и России. Оркестр играет «Боже, царя храни...», мы быстро удаляемся к гавани. На капитанском мостике стоят оба итальянских офицера; вот командоре снял свою кепку и машет адмиралу и мне, потом смеясь посылает воздушный поцелуй молодому мичману и что-то говорит стоящему рядом с ним английскому капитану с бесстрастным лицом и огненно-рыжей бородой. Страшный рев сирены неожиданно оглашает воздух, итальянский корабль опять вздрагивает, густые клубы черного дыма валят из его труб, и он, на всех парах устремившись в открытое море, быстро скрывается из наших глаз.

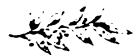
Я пробыл в Архангельске пять дней и охотно бы прожил в этом городе еще столько же, но чувство деликатности не позволило мне этого сделать, так как я был гостем моряков и с меня никто не брал денег. Откланявшись адмиралу Римскому-Корсакову, простившись со всеми знакомыми, я тронулся в обратный путь, не забыв, конечно, сердечно поблагодарить мичмана Иванова 3-го, который все время так заботился обо мне. По пути я решил остановиться в Вологде и навестить там И. М. Дружинина, известного вологодского коннозаводчика, с которым одно время состоял в весьма оживленной переписке по коннозаводским делам. Этот путь от Архангельска до Вологды я преодолел в курьерском поезде очень быстро и в приятном обществе моряков, которые ехали в командировку в Петроград.

Как и Архангельск, Вологда – старый русский город, расположенный на реке того же имени и основанный еще в XIII столетии в не совсем здоровой местности, низкой и отчасти болотистой. В Вологде я хотел познакомиться с древним русским зодчеством, а также поискать здесь всевозможную старину. Остановившись в гостинице, я сейчас же позвонил по телефону Дружинину. Он был очень рад моему приезду, приехал ко мне и пригласил к себе отужинать. Дружинин занимал в то время должность председателя губернской земской управы и был видным лицом в городе. Это был среднего роста, приятный и веселый человек, со светлыми глазами и русыми волосами, очень подвижный и говоривший с ударением на «о» (типичное вологодское наречие). Жил он в своем доме, и хотя не являлся знатоком старины и собирателем, но был окружен интересными старинными вещами, доставшимися ему от отца и деда. Я с большим вниманием пересмотрел его вещи, и мы сели ужинать. Подъехало еще несколько именитых вологжан, и, очевидно в честь меня, разговор шел почти исключительно о лошадях. У Дружинина был конный завод, сам он был постоянным посетителем выставок и коннозаводских съездов, лошадь не только любил, но и знал. В Вологодской губернии кроме его завода существовал еще один рысистый завод, а именно Андреева. Когда я был начинающим коннозаводчиком, Дружинин купил у меня в Херсонской губернии несколько лошадей, в том числе кобылу Мечту и годовичка Фармазона (Скромный – Фея), который был мне показан на другой день: он находился в городской езде у Дружинина. Фармазон, внук Бережливого, был очень хорош по себе и на случный сезон уходил в деревню, где имел большой спрос, так как ежегодно крыл свыше тридцати кобыл. Всех этих лошадей Дружинин купил у меня еще в 1908 году.

К сожалению, проехать на завод Дружинина за недостатком времени я не имел возможности. Я также отклонил предложение любезного хозяина поехать на медвежью охоту, которая была назначена на третий день. Я предполагал остаться в Вологде еще всего лишь один день, да и не был я никогда охотником, так что встреча с медведем меня мало привлекала. На другое утро Дружинин любезно заехал за мной на Фармазоне, и мы вместе осмотрели все достопримечательности города. Он также завез меня в несколько домов, где я видел замечательные вещи, к сожалению не для продажи. Наша экскурсия закончилась посещением некоего Арсеньева, который жил в собственном домике и торговал стариной. Это был еще не старый человек, один из обедневших представителей старинной дворянской фамилии и страстный охотник. Жил он тем, что делал весьма удачно чучела птиц и разных зверей и тор-

говал стариной, в которой понимал превосходно. В то время ничего интересного у него не было, и мы с Дружининым собрались уже ехать, когда этот последний неожиданно сказал: «Покажите Якову Ивановичу вашу замечательную коллекцию платков». – «Я ее не продаю, – отвечал Арсеньев, – но показать, конечно, могу». Он открыл сундук и стал вынимать платки. Я был очарован ими. Тут были старые русские платки, шали, покрывала и небольшие платочки начиная с елизаветинских времен. Особенно хороши были колокольцевские шали, старые русские платки, шали под персидские, шелковые толстые церковные платки, шитые золотом, синие и сиреневые, глубокого тона и исключительно интересного рисунка, шелковые большие дамские платки тридцатых годов. У меня глаза разгорелись при виде такой красоты и богатства, и я решил во что бы то ни стало купить эту коллекцию. «Продайте платки», – обратился я к Арсеньеву. «Что вы! Это все, что у меня есть, и я всю жизнь их собирал – в Вологде, в нашем уезде, по имениям, деревням, церквям и монастырям», – ответил мне Арсеньев и стал сворачивать платки и укладывать их обратно в сундук. Я стал его уговаривать, Дружинин молчал. Наконец, мы склонили его продать платки, и я их купил по 55 рублей, то есть за 5500 рублей, так как всех платков было сто. Одну шаль я подарил Дружинину и просил вручить ее от моего имени его супруге, чем привел в негодование Арсеньева. Это был настоящий любитель, и платки были его коньком. «Я всю свою жизнь их собирал, продал их вам, как крупному коллекционеру, в надежде, что они не расплывутся, а вы их с места раздариваете!» – говорил он мне огорченно. Несомненно, сделка бы разошлась, если бы Дружинин не был для Арсеньева очень нужным человеком. Так совершенно случайно я стал собственником целой коллекции замечательных платков, но удержать их, к моему величайшему огорчению, мне не удалось. Я их так любил и так ценил, что во время революции, боясь, что они погибнут в Прилепах, 90 платков отдал одному знакомому в Тулу и просил его спрятать их. У него эти платки были украдены прислугой. У меня сохранилось из всей этой замечательной коллекции только те 9 платков, что я оставил в Прилепах.

Из Вологды я проехал в Москву и оттуда в Кирсанов. Вскоре после моего возвращения туда прибыл вновь назначенный начальник Управления по ремонту армии генерал-лейтенант В. А. Химец. Он был назначен вместо генерала Винтулова, который должен был по хорошо известным причинам, как друг и ставленник Сухоминова, уйти в отставку. Химец в полку осматривал лошадей. С ним я был хорошо знаком и находился в превосходных отношениях. Он был одним из лучших ездоков в нашей кавалерии, начальником офицерской кавалерийской школы, не совсем удачно командовал на войне частью и последнее свое назначение получил начальником Управления по ремонту армии. Это был исключительный знаток лошади, и его назначение все считали весьма удачным. Химец любил лошадь, постоянно бывал на бегах. К тому же у его брата был небольшой рысистый завод, а сам он был в приятельских отношениях с Н. В. Телегиным. Словом, более подходящего начальника для управления было бы трудно и подыскать. Я обратился к генералу с просьбой о назначении меня в орловскую ремонтную комиссию, и Химец сейчас же охотно дал согласие. Он тут же велел сопровождавшему его старшему адъютанту ротмистру Лопацинскому написать о моем назначении в Петроград. И уже через две недели появился приказ по управлению, что я назначаюсь членом орловской ремонтной комиссии. Мне снова предстояло покинуть Кирсанов, на этот раз навсегда. Получив предписание и прогонные деньги, я выехал в город Орёл, к месту моей новой службы.





1916–1917 ГОДЫ ОРЁЛ. МОСКВА

Приехав в Орёл, я не стал осматривать город, так как хорошо его знал: я бывал в нем несколько раз во время поездок по рысистым заводам Орловской губернии. В Орле я остановился в знакомой гостинице на Болховской улице, где снял номер помесечно. Председателем ремонтной комиссии был полковник Руднев, сослуживец генерала Химеца по офицерской кавалерийской школе. Руднев был очень милый человек, хорошо знавший лошадей, мягкий, деликатный и дельный. Служить с ним было одно удовольствие, и я до конца сохранил с ним наилучшие отношения. Членами комиссии были полковник Ростовцев и я. Ростовцев в молодости служил в Нарвском драгунском полку, который в то время был известен по всей кавалерии. Полк имел замечательную конюшню скаковых лошадей, и многие офицеры полка – барон Ренне, князь Чавчавадзе и другие – были знаменитыми ездоками-охотниками. Ростовцев в свое время также с большим успехом подвизался на джентльменских скачках, и ему принадлежал знаменитый стиплер Тукай. О Тукае Ростовцев любил рассказывать, и я видел у него большой портрет этого жеребца кисти Сверчкова. Портрет написан был очень слабо, что вполне понятно, так как Сверчков его писал уже больным, в год своей смерти. Во время революции молодой Окрюмгеделов, занимавшийся торговлей стариной, продал мне этот портрет за 20 рублей. Ростовцев был среднего роста, некрасивый и неряшливо одетый офицер. Он был родным племянником С. В. Ростовцева, бывшего редактора журнала «Коннозаводство». Полковник Ростовцев лошадей знал превосходно, но в обществе и в жизни это был неинтересный человек, очень недалекий, постоянно нывший и жаловавшийся на свои обстоятельства. У него с другими сонаследниками было имение в Саратовской губернии, и там, по его словам, у них были только убытки и неприятности.

Орловская ремонтная комиссия была дополнительной, то есть созданной во время войны и на период военных действий. Ее работа от работы постоянных ремонтных комиссий отличалась лишь тем, что дополнительные комиссии не принимали годового ремонта, им была дана одна какая-нибудь губерния, где они и скупали, согласно нарядам, присылаемым из Управления по ремонту, обывательских лошадей для частей действующей армии. Орловской дополнительной комиссии был дан район Орловской губернии, здесь и происходила вся наша деятельность. Штаб-квартира – город Орёл, но часто нам приходилось выезжать и в уездные города. Таким образом я познакомился с Мценском, Болховом, Ливнами и другими городами губернии. Приемка лошадей от барышников разрешалась, и у каждой дополнительной комиссии были таковые. При орловской комиссии состоял Пузин, который и делал нам все крупнейшие поставки.

Как громадное большинство городов тогдашней Российской империи, все эти захолустные уездные городишки были невероятно бедны и грязны. Едва ли есть

необходимость описывать здесь хотя бы один такой городок – все они были на один лад. Гостиниц не было, а имелись постоялые дворы и номера, то есть род гостиницы, где нет кухни, нет белья и нет сколько-нибудь приличной прислуги. Мебели тоже почти нет, а та, что имеется, либо без ножек, либо с протертыми сиденьями. Грязь в таких номерах невероятная, а клопов столько, что, возвращаясь в Орёл из уездного города, я первым делом брал ванну и менял не только белье, но и весь костюм. Впоследствии я для таких выездов завел особую пару военного платья.

Интересного в этих городках ничего не было, и за все время моей работы в Орловской губернии я купил в Болхове несколько бисерных кошельков да в Ливнах замечательную чашку завода Терехова и Киселёва. Само собой разумеется, что выезды из Орла во все эти уездные города были сплошной пыткой, но делать было нечего, приходилось работать.

Как сейчас помню, однажды перед выездом в Болхов наша комиссия совершенно неожиданно получила срочное распоряжение начальника управления выехать в город Липецк и там принять лошадей у Файнберга. Это было экстраординарное распоряжение, и нам предстояло его выполнить в Тамбовской губернии, то есть в районе действий ремонтной комиссии генерала Памфилова. Получив это распоряжение, Руднев был очень удивлен и не знал, чем его объяснить. Мы тогда же решили, что у Памфилова какие-нибудь неприятности и на него сделан ложный донос. Болхов был отложен, и мы выехали в Липецк. Я был очень рад этой поездке, ибо надеялся из Липецка проехать в бывшее имение М. И. Кожина, где, по моим сведениям, в доме владельца была особая комната, именованная «Музей Потешного». Там было сосредоточено все, что относилось к жизни и происхождению этой великой лошади. В музее якобы хранились заводские книги кожинского завода, старые аттестаты лошадей, вошедших в состав этого завода, фотографии Потешного и Полканчика, ряд масляных портретов лучших кожинских лошадей, все кубки и серебряные призы, выигранные Потешным, копыто этого первого в России безминутного рысака и прочий архив завода. Осмотр кожинского имения и «Музея Потешного» занимал все мое воображение. Покуда мы ехали в Липецк, я только и думал о том, что вскоре посетю место рождения этого великого жеребца и воочию увижу иконографию его предков!

Во все времена моей жизни и коннозаводской деятельности я больше всего увлекался белым жеребцом Потешным, этим феноменальным рысаком своего времени, и он стал мне особенно близок и дорог. Именно Потешный, как и любовь, нельзя оспаривать. Разбирая других жеребцов, я сужу, критикую, анализирую. Здесь – чувствую! Он для меня то же, что и некоторые произведения подлинного, настоящего искусства, которые всегда остаются свежими, молодыми и яркими. То же чувство повелительно возникает и перед некоторыми крупнейшими фигурами исторического прошлого, которые все еще сохраняют над нами власть очарования, несмотря на то что подчас исповедовали совершенно другое мирозерцание, нежели мы. Словом, для меня Потешный был всегда одной из таких исторических фигур!

Однако к величайшему моему огорчению, побывать в знаменитом селе Знаменском (25 верст от города Липецка) мне не удалось, потому что полковник Руднев после приема лошадей заболел. Ростовцев был в краткосрочном отпуске, и я остался один. Мне надо было спешить в Болхов, где уже третий день ждала приема партия лошадей Пузина. Откладывать приезд туда было нельзя: и так поставщик с каждым днем, кормя около сотни лошадей, терял большие деньги и с нетерпением ждал приезда комиссии. Я всю свою жизнь буду сожалеть о том, что долг службы не позволил мне тогда посетить имение покойного М. И. Кожина, которое вскоре после

этого было разграблено и сожжено. «Музей Потешного» вместе со всеми своими реликвиями погиб в огне, и мне так и не пришлось его увидеть.

В Липецке я провел вечер у Павла Николаевича Кулешова. П. Н. Кулешов, бывший профессор Петровской сельскохозяйственной академии, магистр сельского хозяйства, ветеринарный врач, уйдя в отставку, проживал спокойно в Липецке, где выстроил дом и где одно время был городским головой. В свое время Кулешов много путешествовал, и возведенный им дом напоминал не русскую постройку, а типичный загородный домик, какие строят за границей. Со своей высокой крышей, террасами и балконами он был красив, вместителен и очень удобен. В доме была хорошая обстановка, прекрасная библиотека по животноводству и везде царил образцовый порядок. Здесь было очень уютно, и, войдя к Кулешовым, вы чувствовали, что попали в среду высококультурных и интеллигентных людей. Во дворе при доме имелись все необходимые службы, так же красиво и прочно построенные, и довольно большая конюшня. У Кулешовых детей не было, и эта почтенная чета, сам профессор и его супруга, были удивительно милые и сердечные люди. Жили они, что называется, душа в душу.

П. Н. Кулешов был крупнейшим русским зоотехником. Он пользовался всероссийской известностью и являлся автором целого ряда книг и учебников по животноводству. В частности, его «Тренировка рысаков» вместе с такой же брошюрой ветеринарного врача Оболенского стали первыми книгами на русском языке, познакомившими нас с системой американской тренировки. Учебник Кулешова «Коневодство» был классической книгой. Кто из нашего поколения, да и не только одного нашего, не начинал изучение лошади именно по этому учебнику? Кулешов преподнес мне в Липецке последнее издание учебника с трогательной надписью, и мне приятно было его получить, так как я хорошо знал эту книгу и не раз держал ее в руках. Помимо этого учебника Кулешов был также автором многих других, и его имя постоянно появлялось на страницах специальной прессы. Это был глубоко образованный животновод и, что так редко встречается в России, не только всеми признанный теоретик, но и выдающийся практик. Можно смело сказать, что в этом отношении у него не было соперников, а потому неудивительно, что к голосу его внимательно прислушивались и с ним очень считались. Целый ряд молодых профессоров и ученых, уже составивших себе имя, были учениками Кулешова, из его школы вышли наиболее талантливые и известные русские животноводы. Кулешов был сторонником орловского рысака и неизменно в течение долгого ряда лет высказывался против орловско-американского скрещивания. Это не могло нас не сблизить, и я относился к почтенному профессору с глубокой симпатией. Кулешов неизменно приглашался на всероссийские выставки в качестве эксперта, был непременным участником съездов как по животноводству, так и по коннозаводству. Его голос на этих съездах звучал решительно и уверенно, и когда Павел Николаевич вступал на трибуну, то хотя он и не был природным оратором, но все слушали его с напряженным вниманием. Когда Кулешов говорил, чувствовалось, что это говорит глубоко знающий, всесторонне образованный человек, ученый крупного калибра. Его выступления не раз оказывали решающее влияние на те или иные постановления наших съездов.

Практическая деятельность Кулешова в области животноводства была чрезвычайно многообразной и разносторонней. Я вкратце упомяну лишь о его работе в области коннозаводства. По мысли Кулешова в свое время возникли московские аукционные выставки при Обществе сельского хозяйства. Эти выставки сыграли весьма большую роль, не только дав толчок к обмену производителями, но и облегчив продажу лошадей, особенно тяжеловозных. Последними Кулешов интересовался больше всего. Среди тяжеловозных пород он отдавал предпочтение бельгийским и затем английским породам, среди последних больше всего ценил клейдесдалов.

Особое значение имеет его работа по выписке производителей тяжеловозных пород, которая велась весьма широко, а потому дала крупные и положительные результаты. Кулешов сам ездил за этими жеребцами за границу и, имея там среди заводчиков и торговцев большие связи и будучи тонким знатоком лошади, приводил оттуда выдающихся жеребцов. Интересно отметить, что эта работа Кулешова была оценена самыми широкими кругами населения. К нему непосредственно стало обращаться крестьянство: ходоки с деньгами из многих черноземных губерний, преимущественно из Тамбовской и Воронежской, приезжали в Липецк к Кулешову, передавали ему деньги и просили его привезти для их обществ, а иногда и для отдельных богатых крестьян жеребцов. Особенно активно Павел Николаевич развил эту свою деятельность после того, как вышел в отставку и поселился в Липецке. Вот почему во дворе липецкого дома стояла хорошая конюшня, которая если и бывала полна, то недолго, так как приведенные жеребцы, отдохнув и придя в порядок, разбирались лицами, для которых они были приведены, или же покупались желающими. Этого рода деятельность П. Н. Кулешова принесла стране громадную пользу. Можно смело сказать, что в Усманском и Борисоглебском уездах, в некоторых уездах Владимирской и Воронежской губерний, куда попали лучшие из купленных за границей Кулешовым жеребцов, создались целые районы хороших рабочих лошадей. Этим крестьянство было всецело обязано как своей прирожденной любви к лошади, так и Кулешову, который знал то, что им нужно было дать.

Кулешов был очень интересный собеседник: он не только много знал, но и много видел на своем веку. Он рассказал мне о своих заграничных поездках, о том, как ведут свое дело фермеры в Англии и Бельгии, в каком положении там коннозаводство, а стало быть, и коневодство, показал мне последние иностранные книги и журналы по нашей специальности, фотографии типичных лошадей и сообщил мне много весьма для меня ценного и интересного. Его супруга потчевала меня чаем, и вечер пролетел в этой милой семье незаметно.

Возвращаясь от Кулешова, я зашел, хотя и было уже поздно, по одному адресу насчет коннозаводских книг. Этот адрес мне дал комиссионер гостиницы, и я зашел туда, так сказать, для очистки совести, потом что, собрав весьма хорошую коннозаводскую библиотеку, не думал, что смогу в Липецке ее пополнить чем-либо интересным. Скорее всего, думал я, покажут мне «Книгу о лошади» Врангеля и еще десяток-другой подобных же ходких книг. Однако идти все же следовало: такова уж натура каждого коллекционера, что, имея какой-либо адрес в руках, он не успокоится до тех пор, пока его не использует. Подойдя к дому, я увидел свет в окнах – стало быть, не спят – и, не найдя звонка у входных дверей, слегка постучал в окно. Окно почти сейчас же распахнулось, и из него высунулся старик в халате. Я ему сказал, в чем дело, и он попросил меня зайти. «Вы насчет книг?» – переспросил он меня, когда я вошел в довольно большую комнату, по-видимому гостиную и одновременно кабинет хозяина. «Да», – ответил я ему. «Книги все проданы в Петроград всего лишь несколько дней тому назад, остался только полный комплект журнала Цорна «Ежегодник охотникам до лошадей», – сообщил он. – Но я его дешевле 50 рублей не продам. Даже питерцам эта цена показалась высокой. Едва ли вы купите, хотя комплект редчайший, все три года, с 1823-го по 1826-й включительно, с отдельным томом картинок и в старых переплетах». – «Получите деньги», – сказал я старику и отсчитал ему 50 рублей. Он принес мне ежегодник. «Одной книжки не хватает», – указал я ему, просмотрев комплект. Он засуетился, проверил и вышел из себя от негодования: «Неужели мерзавец антиквар украл у меня этот том, чтобы разбить комплект и потом задаром взять издание?!» Старик стал убирать книги со стола. «Оставьте, я беру журнал за вашу цену и без этой книги. Давайте газету, завернем их». Я стал рассматривать книги. Они были в идеальной сохранности, в богатых сафьяновых переплетах 1820-х годов и снабжены экслибрисом И. И. Жукова. Кар-

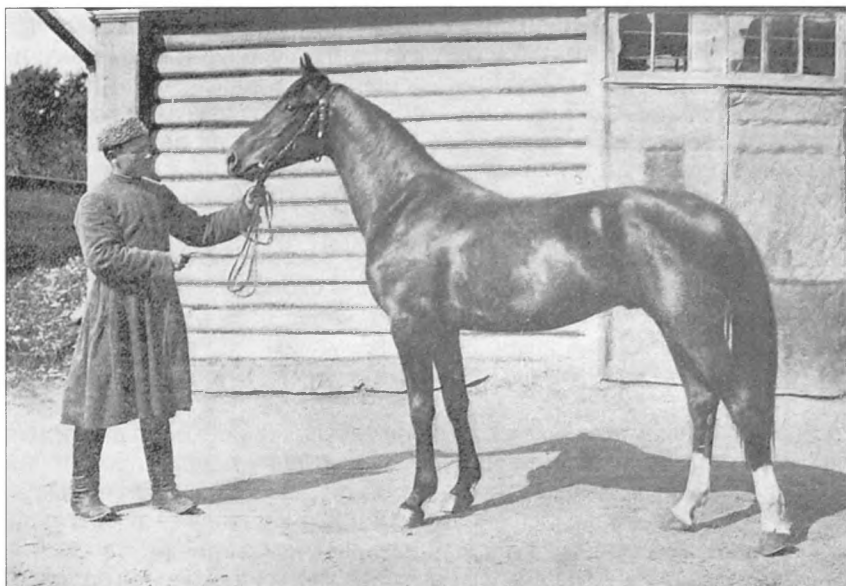
тинки журнала за все три года в хронологическом порядке их выхода были переплетены в отдельный том. Это была находка! Я двадцать лет собирал коннозаводскую библиотеку и нигде не мог найти полного комплекта издания Цорна. Да еще и все картинки, что почти не встречаются на книжном рынке, так как русские люди всегда варварски обращались с книгой и картинки выдирали из журналов, чтобы украшать ими стены. В моем распоряжении в Прилепах было много разрозненных номеров Цорна. Я сейчас же подобрал недостающую книжку к тем, что так удачно были куплены в Липецке, и таким образом составил полный комплект этого редчайшего и для каждого историка коннозаводства важнейшего издания.

Главным и самым крупным поставщиком орловской ремонтной комиссии был некто П. А. Пузин. Пузин происходил из старинной, но обедневшей дворянской семьи. Отец отдал его в Орловский имени Бахтина корпус, но мальчик никак не хотел учиться, и родители попросили взять его из корпуса. Любимым занятием молодого Пузина было убежать из отцовского дома на Конную, где он наблюдал за торгом лошадей и свел обширное знакомство с мелкими барышниками, прасолами и цыганами. Дома он ходил только с кнутиком, дружбу вел с извозчиками и целыми днями пропадал по конюшням соседних особняков. Словом, мальчик страшно, до самозабвения любил лошадей и ничего, кроме них, признавать не хотел. Отец пробовал и так и сяк внушить сыну, что надо учиться, прибегал даже к таким сильным средствам, как розги и таскание за вихры, но ничего с ним поделаться не смог и совсем отказался от сына. Его взяла к себе тетка. На ее хлебах Пузин прожил до восемнадцати лет, помогал ей в хозяйстве, но при этом не забывал Конной и своих друзей барышников. Пузин чувствовал, что уже достаточно хорошо знает лошадь, чтобы самому начать торговлю лошадьми. Как он сколотил свои первые сотни рублей, я не знаю, но дело у него пошло, и лет через пять он стал весьма видным барышником. Это было оригинально по тем временам: барин-барышник. Впрочем, Пузин держал себя просто, можно сказать, он вырос в этом лошадино-торговом кругу.

С учреждением ремонтных комиссий он начал сперва робко, по две-три лошадики, поставлять в ремонт. Вскоре он понял, что это выгодное дело, и сбор по ярмаркам, а затем сдача в ремонт лошадей стали едва ли не главным его занятием. С каждым годом эта работа разворачивалась все шире и шире и давала Пузину определенный доход. Вскоре ему на помощь пришел материально известный тульский помещик В. И. Шатилов, и Пузин еще развил свое дело: он купил на окраине города, недалеко от Конной, двор с хорошим домиком окнами на улицу и выстроил там конюшни на 50–70 лошадей. На воротах появилась вывеска: «Конная торговля П. А. Пузина», и в спортивных журналах замелькали объявления, что в Орле у Пузина можно найти всякого сорта лошадей, начиная от верховых и кончая тяжеловозами. Дело пошло ходко, и Пузин заторговал вовсю. Шатилов дал только деньги, но не свое имя, и вся торговля шла от имени одного Пузина.

Незадолго до войны я случайно посетил заведение, как говорили извозчики в Орле, «господина Пузина». Будучи в Злыни у Н. В. Телегина и зная, что он разводит также и ремонтных лошадей, я предложил ему купить целый верховой завод, который получил в Херсонской губернии по наследству и с которым не знал, что делать. В то время я совершенно не интересовался ремонтом лошадей и был далек от мысли, что мне придется служить по ремонтному делу. Телегин от покупки завода отказался, но сказал мне, что завод, вне всякого сомнения, купит Пузин. Возвращаясь из Злыни, я в Орле заехал к Пузину, познакомился с ним и в два слова продал ему около 50 верховых лошадей, то есть весь завод, по 200 рублей за голову. Я тогда же осмотрел «заведение» Пузина, и не только оно, но и сам хозяин мне понравился, и я даже пригласил его к себе на завод. Вскоре после этого Шатилов вышел из компании, и Пузин стал полным хозяином дела, которое он, в сущности,

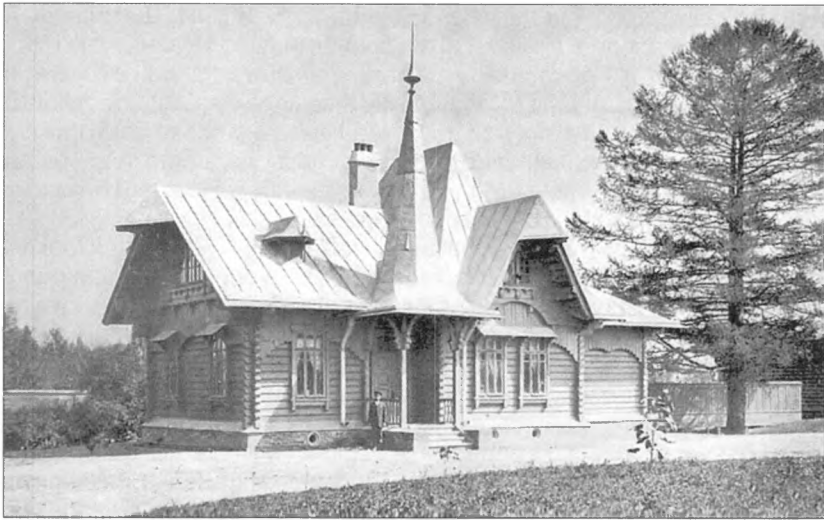
и создал. Словом, перед войной у Пузина была хорошая торговля, но денег свободных тогда еще не было. Во время войны он сильно разбогател на поставках лошадей в армию, купил на той же улице, только ближе к городу, дом, стал ездить на резинках, так что в городе ему уже низко кланялись, величая не Пашкой, а почтительно – Павлом Александровичем. К тому времени он женился на дочери местного помещика, мадемуазель Кологривовой, и кое-что взял за женой. Кологривовы были из местной дворянской знати, для жены-то и купил Пузин второй дом. В нем жила его семья, а сам Пузин лишь ночевал, проводя целый день на своем первом дворе, где домик был превращен в контору и где целый день сновали прасолы, цыгане, барышники и прочий люд. Руднев и Ростовцев жили у него при конторе, занимая две хорошо отделанные комнаты, я же, как уже сказал выше, предпочел не одолжаться и остановился в гостинице. На другой день Пузин сделал мне визит. Ростом он был невелик, но коренаст. У него было здоровое красное лицо, живые, маленькие, но при



На выводке

этом очень быстрые глаза, светлые волосы, мелкие черты лица. Силы он был огромной. Про таких людей говорили в старину: неладно скроен, да крепко шит! Характер у него был предобрый, весельчак он был большой, забулдыга тоже, но при этом великодушен и очень вспыльчив. В торговле слово держал, и иметь с ним дело было не только возможно, но и приятно.

Прием лошадей мы начинали обычно у него во дворе в 9 часов утра. Однажды, когда по болезни Руднева я принимал от Пузина и других лиц партию голов в сто, если не больше, на приемку приехал Телегин и, не подойдя ко мне, встал в сторонке и начал внимательно наблюдать за моей работой. Дело у меня шло быстро и без осечки. Одна за другой проходили передо мной лошади и то мною принимались, то браковались. Попутно я указывал владельцам и Пузину на недостатки или пороки лошадей и называл причину, по которой их не принимаю. Проработав до этого у Бураго, а затем в Полтаве, я уже знал ремонтную, вернее, военную лошадь не хуже любого старого ремонтера, а потому работа уже не только не пугала меня, но и доставляла удовольствие, я вполне был уверен в себе. Простояв с час на приемке, Телегин ушел с хозяином в контору. Ровно в 12 часов дня я прервал прием на



Дом наездника призовой конюшни Г. В. Морозова

45 минут, так как в это время имел обыкновение закусить – тут же, в конторе Пузина. Когда я вошел в контору, хозяин уже хлопотал у стола, Телегин сидел на диване и вел разговор с большим Рудневым, у которого была подвязана щека. Здесь же была Марья Александровна Пузина, скорее всего за деньгами зашедшая к мужу. Быстро подали закуску, выпили по рюмке-другой, и я, закусив, только что хотел закурить сигару, за которой обычно отдыхал минут двадцать-двадцать пять, как совершенно неожиданно человек внес бутылку шампанского. «Что это? По какому случаю?» – спросил я. «Николай Васильевич приветствует», – громко сказал Пузин и стал разливать вино в бокалы. Телегин обратился к нам с маленькой речью, где приветствовал меня в роли ремонтера и высказал пожелание, чтобы побольше коннозаводчиков знали лошадь так, как я ее знаю. У меня с Телегиным были странные отношения. На почве орловского рысака и метиса мы то были заклятые враги, то мирились и вместе, идя на компромиссы, разрешали различные коннозаводские вопросы в общем собрании, то отношения наши становились равнодушными и чисто официальными. В этот период времени они носили именно такой характер. Я был тронут приветствием Телегина и сердечно его благодарил.

Следует сказать хотя бы два слова о том сорте лошадей, которых нам приходилось принимать в Орле. Это была совсем другая лошадь, чем в районе полтавской ремонтной комиссии: более сырая, более тяжелая, менее правильная и менее подвижная. Влияние тяжелых пород и рысака явно чувствовалось решительно во всех лошадях, и для артиллерии они были очень хороши. Кавалерийские попадались лишь в виде исключения. Главный контингент составляли обозные лошади. Из Ливенского уезда лошади приходили более сухие, а некоторые были кровны – несомненное влияние метисного завода господ Шереметевых и работа господина Иваненко, который держал много чистокровных жеребцов, широко их пропагандировал и крыл ими ежегодно 150–200 кобыл.

Обычно в Орле один или два раза в неделю комиссия в полном составе обедала у Пузина. Марья Александровна была милая и гостеприимная хозяйка. Стол простой, но вкусный, вин почти не было, преобладали разные настойки и наливки. На этих обедах бывало весело и непринужденно и речь шла главным образом о лошадях. У Пузина собирался свой дворянский кружок, там частенько бывали коннозаводчики В. А. Офросимов, А. А. Химец, брат генерала Химеца, Телегин и Шнейдер,

когда они проезжали через Орёл в свои имения, И. Н. и В. Н. Шатиловы, Галахов и другие. Иногда после обеда я любил зайти на конный двор Пузина. Там опять кипела работа, но совсем другого рода, чем утром: принимали лошадей от мелких барышников и прасолов, возвращались с лошадьми с ярмарок и базаров пузинские приказчики. Я любил в таких случаях усесться на скамеечке возле конторы с кнутиком в руках и, пощелкивая шпорами, смотреть. Вот цыган подводит партию лошадей в семь-восемь голов. Гривы у лошадей все заплетены соломой, в хвостах также торчат пучки соломы (чтобы лошади в дороге не зачесали гривы и хвосты), лошади выглядят хорошо, товар дельный. Дорофеич, главный пузинский приказчик, не спеша осматривает лошадей, проверяет зубы, отмечает в списке и затем рассылает их по разным конюшням. Иногда мне особенно приглянется какая-либо из приведенных лошадей, я прикажу подвести ее к себе и вместе с Дорофеичем внимательно осмотрю. Иногда в день примут лошадей 25–30. В воротах показывается Пузин, в неизменной поддевке на меху, крытой светло-серым сукном, в смушковой шапке набекрень. В руках у него, как всегда, кнут. Еще из ворот резким, тонким, иногда переходящим в крик голосом он спрашивает Дорофеича, сколько приведено лошадей. Дорофеич не спеша, с достоинством отвечает, и выводка начинается. Пузин лично пересматривает всех приведенных лошадей, заносит их в записную книжку, отмечает цену, и потом все гурьбой идут в контору сводить счета. Через несколько минут оттуда несутся божба, гортанный говор цыган, крики, но все покрывает голос хозяина, водворяющий тишину и спокойствие.

Однажды, сидя так после обеда у Пузина на дворе, я был поражен видом двух лошадей. Их привел агент Пузина из Малоархангельска. Это были бронзово-рыжие мерины четырех с половинной вершков росту, без примет, удивительно правильные, сухие, дельные и красивые. Бросив беглый взгляд на замечательных лошадей, я сразу же увидел, что это залетные птицы. Не было никакого сомнения, что это полукровные лошади, и притом высокой степени кровности, родившиеся где-нибудь на Западе или, быть может, в районе деятельности киевской или полтавской ремонтных комиссий, где тогда были сосредоточены лучшие наши верховые заводы. Еще раз взглянув на этих культурных животных, я решил, что это польские лошади, и спросил пузинского агента, где он их купил. «У поляка-беженца в Малоархангельске, – последовал ответ. – Он совсем прожился и продал лошадей. Поверите ли, ваше высокородие, когда я увозил их у него со двора, он заплакал, как маленький ребенок». Я сейчас же велел послать за Пузиным. Он, посмотрев со мной лошадей, только и сказал: «Ну и товар, такого я и не видывал! Сдавать не буду, оставляю для себя: грех таких лошадей продать!» Пузин был не только барышник, он был и страстный охотник. Ребята на конюшне окрестили этих лошадей поляками, так их и стали звать у Пузина. Всем, кто приезжал, Пузин показывал «поляков», и все приходили от них в восторг. Действительно, лошади эти были достойны всяческих похвал. Приближалась Масленица, и Пузин сообщил мне, что думает собрать тройку, с тем чтобы пустить «поляков» на пристяжку и показать эту тройку Орлу. «Да, тройка будет замечательная, если подберете коренника», – ответил ему я, и на этом мы расстались. Через несколько дней Пузин просил меня посмотреть одну, как он выразился, рысистую лошадь. «Давайте», – сказал я ему в ожидании увидеть что-нибудь интересное «по охоте». Два молодца на двух поводах вывели темно-рыжего жеребца. Лошадь была зла непомерно, подкидывала задом, приплясывала, держала уши назад и норовила ухватить зубами то повод, то руку конюха. Она была необыкновенно низка на ногах, а стало быть, глубока, ребриста, с превосходной короткой спиной, выпуклой почкой и ярко обрисованной хомутиной. Глаз у жеребца, казалось, горел зловещим огнем. Наконец его успокоили, и он застыл на выводке, стоя ровно и не переминаясь на всех четырех ногах. Я люблю подобную стойку и считаю таких лошадей особенно сильными и выносливыми. «Коренник?» – спросил я Пузина. «Так

точно!» – весело отвечал он. «Хорош, очень хорош! Как звать?» – поинтересовался я. «Чёрт», – последовал лаконичный ответ. «Как Чёрт?! – удивился я. – Уж не завода ли Афанасьева и не от сухотинского ли Сатаны? Дайте аттестат». «Бумага», как называют аттестаты барышники, была из завода Бельгардта. Лошадь имела 15/16 орловской рысистой крови и 1/16 клейдесдала. Я знал этот интересный завод. Бельгардт был в свое время полтавским губернатором и имел замечательную пару выездных рыжих, белоногих лошадей собственного завода, а я учился в полтавском корпусе и бывал у него в отпуске. В этот завод в конце 1860-х годов еще покойным отцом Бельгардта был выписан из Англии замечательный клейдесдальский жеребец рыжей масти и сильно отметистый. Жеребец этот был исключительно препотентен и точно повторял себя в приплоде. По словам Бельгардта, он был очень массивен, но сух и не имел таких фризов, как современные нам клейдесдалы. Я думаю, это был суффольский жеребец, а быть может, и клейдесдал, но тогда не чистопородный. Или же надо предположить, что в 1860-х годах в Англии клейдесдалы еще не вылились окончательно в те формы, которые ныне всем нам столь хорошо знакомы. Когда завод Бельгардта перешел на рысистый, то дочерей этого клейдесдала оставили в заводе, так они были хороши. Потому в заводе Бельгардта ряд рысистых лошадей имели примесь клейдесдальской крови. Все это я вспомнил, глядя на Чёрта, которого по аттестату звали Королём. «Это вы его называли Чёртом?» – спросил я Пузина. «Нет, ребята. Зол как черт, того и гляди убьет. Вот они его и называли Чёртом!» Дня через три начали съезжать тройку: умные «поляки» пошли как старые лошади, Чёрт в одиночке шел недурно, но не терпел лошадей рядом с собой, и я посоветовал Пузину бросить затею. «Нет, Яков Иванович, надо съездить и показать тройку Орлу. Сам буду кучером и прокачу вас и Руднева на первый день Масленой». Пузин замечательно ездил, и я несколько не удивился, узнав, что он хочет блеснуть перед Орлом не только своей тройкой, но и своей ездой.

Как-то после обеда дней за пять до Масленой, приехав во двор Пузина, я увидел следующую картину: в ковровые сани закладывали тройку. В новой наборной сбруе, недавно полученной Пузиным из Москвы, тройка выглядела необыкновенно нарядно и была так хороша, что хоть сейчас отсылай ее на придворные конюшни. Я с восхищением обошел тройку. Пузин стал в санях на кучерское место, спокойно разобрал вожжи и крикнул ребятам: «Пуцай!» Двое молодцев сели в сани, и Чёрт, спокойно переступая с ноги на ногу, тронулся с места... как старая лошадь. «Что за чертовщина?» – подумал я, глядя на Чёрта. Пристяжные, изящно полуопустив головы и легко переступая красивыми тонкими ножками, как будто не касались земли, так свободны и плавны были их движения. Тройка на ходу была одно загляденье, и все мы высыпали за ворота, чтобы полюбоваться ее ездой. Пузин взял направо, тронул легкой рысью и сейчас же скрылся из глаз за поворотом улицы. Мы остались ждать. Минут через двадцать послышался топот, скрип саней и звон бубенцов. Мимо нас ураганом пронесся Пузин, подымая за собой вихри снежной пыли. Кольцом вились пристяжные, вытянув голову, летел коренник, а Пузин, весь красный от мороза и лихой езды, гикал и свистел на тройку. Извозчики испуганно сторонились, прохожие оборачивались... Когда Пузин вернулся домой, возбужденный удалой ездой, глаза его горели, щеки были красны, а сам он был в восторге от резвости Чёрта. «Не лошадь – птица! – говорил он, трепля жеребца по шее. – Обязательно надо его пустить на бега!»

Наступила Масленица. У Пузина на блинах было много народу. Как водится, выпили, и после этого хозяин решил показать свою тройку Орлу. О ней уже говорил весь город, и ее появления на катании ждали с нетерпением. Прошло не больше часа, и Пузин на тройке подъехал к дому. Его жена отказалась ехать, а я с Химецом сели в сани. Пузин поехал в город и здесь несколько раз довольно резво промчался по главной улице. Затем он взял вверх по Болховской, и мы выехали на большую

Болховскую дорогу, белой скатертью уходившую вдаль. Встречных было мало, и Пузин дал волю кореннику. Чёрт закинул голову назад и прибавил ходу. Мы неслись по белой равнине, подымая за собой облака снежной пыли. Хмель постепенно разбирал нас и туманил головы. Становилось весело и хорошо. Пузин лихо сбил шапку набекрень, загикал, засвистал и стал посылать коренника. Тройка мчалась уже во всю прыть, а Чёрт все прибавлял и прибавлял ходу, не сбиваясь с рыси. Лошадь эта была действительно необыкновенно резва! Я наблюдал за ходом коренника и с удивлением увидел, что кровные пристяжки начинают отставать. «Поляки» не успевают! – громко смеясь, крикнул я Пузину. – Каков Чёрт?!» Он захохотал в ответ и, вынув кнут, вытянул пристяжных. Тройка подхватила, и мы помчались во весь опор, рискуя каждую минуту вылететь из саней. Проскакав версты две, Пузин успокоил, наконец, тройку, поставил ее на шаг, и мы благополучно вернулись домой, прокатив в последний раз по главной улице города. Да, замечательная это была тройка рыжих! Приятно даже вспомнить, не только что ездить на таких лошадях...

Моя жизнь в гостинице была довольно однообразной и скучной. Вечером перед ужином я имел обыкновение выйти в коридор походить. Дом, в котором помещалась гостиница, был старинный, а потому коридор – широкий. Постояльцы любили гулять в этом коридоре, и здесь происходили между ними знакомства. В этом коридоре я случайно познакомился с Н. А. Неплюевым, встреча с которым вскоре оказалась для меня чрезвычайно полезной. Неплюев, будучи представителем брянских заводов, часто приезжал в Орёл и всегда останавливался рядом со мной в одном и том же номере. Это был среднего роста, энергичный, горячий и пылкий человек. Он был некрасив, с лицом, побитым оспой, и рыжей бородкой. Когда-то он служил в пехоте, но бросил полк и стал искать счастья и денег вне военной службы. Как человек очень умный и дельный, он быстро сделал коммерческую карьеру и стал ворочать большими делами. Это был тип дельца, человека, во что бы то ни стало стремившегося к обогащению, а затем к известности. Первого он почти достиг, что касается второго, то его в то время еще никто не знал. Неплюев, бывая в Орле, стал заходить ко мне по вечерам на часок-другой поболтать. Я увидел, что из него может выйти толк, и стал его постепенно вводить в курс лошадиных дел и приохочивать к лошадям. Я сумел так его заинтересовать, что через некоторое время он принес мне сразу три аттестата рысистых лошадей, которых купил в Брянске: «Думаю с них начать свою охоту». Это были более чем посредственные лошадки маленького завода господина Толынского, и я доказал ему всю глупость и несерьезность такой покупки. Я советовал ему приобрести ставку в одном из первоклассных рысистых заводов. Охотиться он хотел в Орле, и такое начало я считал благоразумным: окажутся классные лошади, пойдет хорошо дело – можно будет вести лошадей и в Москву. Тут же я пригласил его в Прилепы, и мы через несколько дней выехали ко мне на завод. Ситников, чуя верхним чутьем покупателя, постарался вовсю, и выводка около двухсот лошадей – в выводном зале, вечером, при электрическом освещении, – произвела на Неплюева феерическое впечатление. Это было зимой, и ставка двухлеток была еще не продана. Неплюев спросил ее цену. Я назначил 70 тысяч рублей. Он ничего не ответил, так как, видимо, не ожидал услышать такую цифру и не был еще подготовлен платить крупные деньги за лошадей. Однако я ясно видел, что Неплюеву лошади понравились, что у этого человека очень широкий размах и что при умелом подходе ему можно будет продать лошадей.

Прошло около полутора месяцев, и как-то раз, сидя у меня, Неплюев объявил, что если у него пройдет одно дело, то он покупатель на мою ставку. Я пожелал ему всяческого успеха в делах и стал чаще с ним встречаться. Несколько раз я вместе с ним осматривал рысаков у местных купцов и охотников, отношение к лошадям у Неплюева становилось все серьезнее и серьезнее. Время между тем шло, наступила революция, вскоре я должен был покинуть Орёл, а Неплюев все еще не решался

купить у меня лошадей. Он говорил, что с революцией обстоятельства коренным образом изменились и что едва ли Временное правительство разрешит вновь тотализатор. Когда же Временное правительство выдало крупные деньги на производство испытаний, Неплюев увидел в этом благоприятный симптом для будущего русского спорта и стал осторожно вести переговоры о покупке. Дней через пять дело было слажено, и мы с Неплюевым выехали в Прилепы. Здесь я ему продал ставку двухлеток за 60 тысяч рублей плюс возврат после беговой карьеры шести лучших кобыл. Это была одна из моих коронных продаж! Она приобретала тем большее значение, что время было ужасное, революция углублялась, во всех заводах ставки лошадей оставались непроданными, а мне удалось получить 60 тысяч рублей наличными! Следует сказать, что эти деньги спасли мой завод. Если бы я тогда не получил такой крупной суммы, то все погибло бы от голода или за грош было бы распродано мелким охотникам и крестьянам. Кредит мне, как помещику, был закрыт, сено и хлеб развезли мужики, кормить стало нечем, покупателей на лошадей не было, денег свободных тоже. Я был на волосок от гибели, и лишь эти 60 тысяч спасли меня от разорения, а завод от гибели!

Продажа ставки Неплюеву состоялась в мае 1917 года. Я оттого так хорошо помню время этой продажи, что, когда мы ее совершали, выпал глубокий снег и держался сутки, и это в мае! Неплюеву так и не удалось на этих лошадях пожать лавры на столичных и провинциальных ипподромах, ибо октябрьский переворот коренным образом изменил весь строй жизни в России и прекратил все дела и начинания частных лиц. Своих двухлеток Неплюев взял от меня в Орёл, и здесь они работали на ипподроме. Когда в Орле в том году начались бега, я продал Неплюеву трех кобыл-трехлеток – Новинку, Станицу (дочь дербистки Слабости) и Боярскую Думу. Все эти кобылы выиграла. Я слышал, что Неплюев умер во время революции от сыпного тифа в Орле.

В той же гостинице состоялось и мое знакомство с неким господином Кухаренко. Будучи доктором по профессии, он, однако, не практиковал. Женат он был на состоятельной замоскворецкой купчихе, которая его не отпускала от себя ни на шаг и страшно ревновала. С Кухаренко я сошелся на почве коллекционерства. Он был большой любитель старины, и его комната напоминала скорее лавку старьевщика, чем номер в гостинице. Частенько вечером он заходил ко мне, и мы беседовали о старине. Днем он бродил по Орлу в поисках какой-либо старинной вещи. Интересовался стариной и торговал ею также и один из чиновников государственного банка, Спасовский. У него иногда попадались хорошие вещи, которые он привозил из уездов, куда частенько выезжал по делам банка. В Орле я был его главным покупателем и приобрел у него кое-что интересное. Однако самой колоритной фигурой среди орловских торговцев-старьевщиков был некий Мокий Васильевич. Жил он на окраине города, в собственном небольшом доме. Мокий Васильевич был уже глубокий старик, тощий, изможденный, в очках с медной оправой, весьма напоминавший древнего начетчика. Любил он цитировать Писание и был очень религиозен. Носил постоянно длинный, засаленный сюртук, и шея его была всегда повязана красным фуляровым платком. Я думаю, что ему было лет под восемьдесят. Весь его домик был завален хламом, который он ценил на вес золота и запрашивал за него невероятные цены. Каждая вещь у него считалась уникальной и стоила целое состояние. Беда лишь в том, что орловцы не покупали этих уникалов, так как не имели денег и не понимали в старине. Таково было мнение Мокия Васильевича. В действительности же весь его хлам гроша ломаного не стоил! Он все время собирался в Петербург к князю Юсупову, говоря, что только этот меценат в состоянии оценить его товар. Это было у старика манией, и об этом он постоянно говорил. Само собой разумеется, что в Петербург он так и не собрался. Однажды я все-таки купил

у него очень интересную вещь – дрожки александровского времени, превосходной сохранности и очень интересные. В старину такие дрожки назывались гитарой и на них катались петербургские щеголи. Известный художник Орловский часто рисовал таких щеголей во время катания на гитарах, и литографии с этих работ были весьма распространены. Купленную гитару я поставил на хранение в каретный сарай Пузина, но вовремя не успел ее взять в Прилепы, и она погибла в годы революции.

У меня было очень много знакомых в городе. Чаще всего я бывал в доме губернского предводителя дворянства князя Куракина, который был женат на Олив. В доме С. В. Олива я бывал в Петербурге весьма часто, так как был с его сыном, Михаилом Сергеевичем, в приятельских отношениях. Таким образом, княгиню Куракину я хорошо знал еще по Петербургу. У Куракиных была совершенно исключительная обстановка, и занимали они лучший особняк в городе. Старик Куракин, отец предводителя, постоянно жил в Москве и в Орле не бывал. Все вещи в этом доме были фамильными и достались им по наследству от знаменитого «бриллиантового князя», как именовали того Куракина, который при императоре Павле Петровиче был посланником в Париже. Особенно хороши были фамильные портреты, среди которых портрет самого посланника кисти Левицкого (ныне он находится в Третьяковской галерее). Проводить время у Куракиных было очень приятно, здесь я узнавал все петербургские новости, а равно и о предстоящих переменах в высших бюрократических кругах столицы. Куракину принадлежал весьма известный завод верховых лошадей, находившийся в Малоархангельском уезде. Производителем там долго состоял белый арабский жеребец НаDIR, замечательно красивый и правильный по формам. НаDIR был в свое время премирован высшей наградой на одной из всероссийских выставок и в заводе Куракина оставил весьма ценное потомство. Я все собирался поехать осмотреть этот верховой завод, но мне так и не удалось это сделать. Старику Куракину принадлежал, между прочим, один портрет кисти Сверчкова. Об этом мне сказала княгиня, и я просил уступить портрет мне. Написали князю в Москву, он разрешил продать картину, и я получил ее – правда, уплатив очень высокую цену, что-то около 700 рублей. Это был небольшой портрет, исполненный Сверчковым в 1851 году и изображавший каракового жеребца. Установить имя и происхождение этой лошади мне не удалось, хотя я писал по этому поводу в Москву и запрашивал старого князя. Единственное, что я узнал от него, – что портрет был куплен в Москве. Поскольку в Москве одно время жил Д. К. Нарышкин, женатый на дочери графа К. К. Толя, я полагаю, что на портрете изображена одна из толевских лошадей. Известно, что именно в 1851 году Сверчков жил у графа в его знаменитом селе Фёдоровском и написал там для него ряд портретов его знаменитых лошадей.

Весьма видное положение в Орле занимала семья Галаховых. Н. П. Галахов был женат на О. В. Шеншиной, которая доводилась ближайшей родственницей двум великим русским писателям, вернее, одному писателю и одному поэту: Галахова была родственницей и наследницей Тургенева и Фета-Шеншина. Ей принадлежал весьма известный завод верховых лошадей орлово-ростопчинской породы в Воронежской губернии. Я бывал иногда у Галаховых и каждый раз уходил от них очарованным той обстановкой, которая окружала меня в галаховском особняке, а также и самой хозяйкой. Дом Галаховых, типичный дворянский особняк, стоял на одной из лучших улиц Орла и был, как сейчас помню, угловым. Обстановка там была замечательная. Каждая вещь – старинная, красивая или редкая. Кроме того, здесь были реликвии: мебель и вещи Тургенева, перевезенные из его имения Спасского-Лутовинова, и много вещей Фета. Особенно замечательны были вещи Тургенева, а его гостиную и кабинет карельской березы, удивительно стильные и красивые, с богатой отделкой, я и сейчас забыть не могу. От всего веяло стариной, на всем лежал отпечаток бла-

городства и патина времени. Я больше никогда и нигде не видел такого полного, гармоничного и цельного ансамбля вещей, такого типичного барского жилья. Это было настоящее дворянское гнездо, как его понимал и описывал Тургенев. Сама хозяйка – красивая, небольшого роста старушка, с белыми как снег волосами, изящно, но просто одетая, – составляла как бы нечто целое и неразделимое со всей этой редкой обстановкой, увы, уже в то время ушедшего от нас быта. Галахова, сидя в высоком вольтеровском кресле с книжкой французского романа в руках, или работая за пяльцами, или разливая душистый чай в прозрачные саксонские чашки начала XIX века, была всегда одинаково мила и приятна. Я часто жалел о том, что никто из художников не увековечил своей кистью хозяйку этого замечательного исторического дома и его отдельные уголки. Муж госпожи Галаховой был красавец мужчина, уже старик, с длинными седыми усами. Одно время он служил где-то губернатором, но теперь уже был в отставке. Из двух дочерей одна, Кира, слыла красавицей, а сына Галаховых я не видел, так как он находился тогда в действующей армии. Хозяин дома был сыном генерала Галахова, обер-полицмейстера Петербурга (тот служил еще в николаевские времена). В кабинете висел превосходный портрет кисти Сверчкова, изображавший каракового парадера, на котором ездил отец Галахова. Тут же была интересная картина портретного характера, тоже кисти Сверчкова, изображавшая гнедую обер-полицмейстерскую пару на полном ходу на набережной Невы зимой. Оба произведения были исполнены Сверчковым в начале 1850-х годов. Галахов ни за какие деньги не соглашался мне их уступить, о чем я и теперь сожалею.

Частенько заходил ко мне старик Офросимов, и так же часто бывал у него я. В. А. Офросимов был женат на родной сестре П. А. Столыпина. В свое время у Офросимова было очень большое состояние, но он его прожил, и в тот период, когда я находился в Орле, дела его были запутаны. Он, между прочим, наследовал имение и завод известного орловского коннозаводчика Ильи Фёдоровича Офросимова. Как коннозаводчик В. А. Офросимов был полной бездарностью: в какие-нибудь десять лет он совершенно погубил весьма хороший рысистый завод своего дяди, а верховой привел в такое состояние, что у него уже никто не хотел покупать лошадей. Я стал свидетелем однажды довольно грустной картины – как этот старый барин продавал Пузину своих верховых лошадей. Пузин их взял за грош, и только потому, что не хотел отказать Офросимову, которому деньги были нужны, что называется, позарез. Я думаю, так же плохо, как конные заводы, он вел свое хозяйство и свои денежные дела, а потому неудивительно, что был накануне разорения. Офросимов почти безвыездно жил в Орле. Здесь, на одной из центральных улиц, у него был свой дом. Обстановка в доме когда-то была очень хорошая, но при мне там сохранились лишь жалкие остатки ее. Офросимову пришлось познакомиться с тем, что значит продажа старинных и фамильных вещей антикварам, и он распродал постепенно все наиболее ценное и интересное. Уцелел среди фамильных портретов превосходный портрет И. Ф. Офросимова верхом на сером жеребце своего завода, в парадной форме лейб-гвардии гусарского полка. Этот портрет был кисти Сверчкова, и Офросимов даже мне не хотел его уступить. Позднее, именно во время революции, я купил этот портрет у Спасовского в Москве, куда тот привез его на продажу.

В Орле проживал генерал Куликовский. В молодости он служил в Кавалергардском полку, долгое время был ремонтером и вышел в отставку полковником. Во время войны он пожелал опять служить, был призван и получил, как лошадиник, по своей специальности орловскую базу для подготовки артиллерийских лошадей. Он был довольно состоятельным человеком и владел имением в Воронежской губернии. Я окончил Николаевское кавалерийское училище вместе с его сыном, который

вышел в Кирасирский Ее Величества полк. Это был сонный, чрезвычайно тучный, громадного роста и такого же телосложения блондин, не отличавшийся ни особенным умом, ни особенным изяществом. Я сообщаю здесь об этом потому, что в него влюбилась великая княгиня Ольга Александровна, родная сестра государя императора. Она, кажется, была с ним в морганатическом браке или собиралась вступить в таковой. Потому вполне понятно, какое влияние имел в Орле генерал Куликовский. В народе и среди солдат его величали не иначе как «царев сват», так как все знали о том, кем был его сын. Первый визит я должен был сделать генералу Куликовскому вполне официально, по должности вновь назначенного члена ремонтной комиссии. Он меня принял любезно, а когда узнал, что я однокашник его сына, то просил бывать у него запросто. Генерал Куликовский в Орле жил в гостинице, но в другой, нежелезнодорожной. Это был чрезвычайно простой и скромный человек. Ему было уже немало лет, он не был красив и тоже тяжеловат, но все же много изящнее своего сына. Держал он себя в Орле с большим тактом: решительно не вмешивался ни в какие дела, кроме своих собственных, и по службе был аккуратен и делен. Зная его возможности, к нему весьма часто обращались с различного рода просьбами и ходатайствами, но он их отклонял, говоря, что не вмешивается в дела сына и не находит удобным его просить или ему писать. Я часто бывал у Куликовского: он был большой любитель лошади, хорошо ее знал и имел собственный небольшой завод в своем воронежском имении. Он много видел на своем веку, и я особенно охотно его расспрашивал о прежних кавалерийских лошадях наших гвардейских полков. О генерале Куликовском я сохранил самые лучшие воспоминания – как о безупречно порядочном и чрезвычайно сердечном человеке.

У Пузина я познакомился с А. А. Химецом. Химец был гражданским инженером в Орле и до войны довольно хорошо зарабатывал. Во время войны он был призван на действительную службу и в чине прапорщика оставлен в Орле при одной из запасных частей. Химец был родным братом В. А. Химеца, знаменитого ездока русской кавалерии, а в то время начальника Управления по ремонту армии. Если не ошибаюсь, отец братьев был преподавателем иностранных языков в Кадетском корпусе имени Бахтина, что располагался в Орле. А. А. Химец не имел больших средств, однако кое-что у него было и ему принадлежало небольшое имение под Орлом. Он был страстным лошадиником, имел у себя небольшой конный завод. Химецу протезировал знаменитый коннозаводчик Телегин, и вполне естественно, что Химец был метизатором. Производителем у него был один из сыновей Барона-Роджерса. Лошади этого завода не были классны, но бегали с некоторым успехом на провинциальных ипподромах. Химец принимал самое деятельное участие в делах Орловского бегового общества и был душой дела. Коротко говоря, в Орле Химец был виднейшим охотником, знал всех прежних орловских лошадей и еще мальчишкой бегал тайком из корпуса на бег. С его слов я кое-что записал о прежних телегинских рысаках, и эти небезыңтересные сведения приведу в свое время, описывая завод Телегина. Словом, я любил посидеть у Химеца за чайком, поговорить с ним о лошадях и послушать его. От каждого такого посещения, после каждого такого разговора что-нибудь полезное и интересное оставалось в памяти.

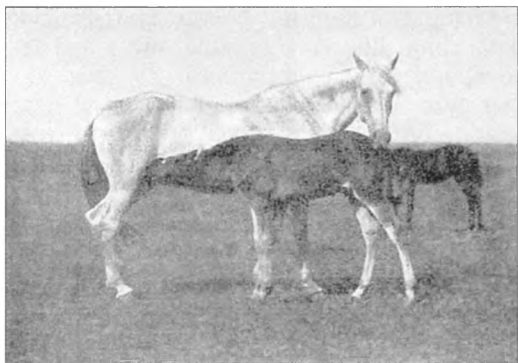
Из Орла в свободное время я часто ездил в Прилепы и, таким образом, имел возможность лично руководить своим делом и конным заводом. В одну из поездок в декабре 1916 года я, гуляя вместе с Ситниковым, прошел вниз к реке и остановился у мельницы побеседовать с крестьянами. Стоял хороший зимний день, помолу было много, и группа крестьян, человек двадцать, ожидая очереди, спокойно разговаривали у своих саней. Мы подошли к ним. После обычных приветствий завязался общий разговор. Мало-помалу разговор оживился, языки развязались и крестьяне начали меня расспрашивать про Распутина. Я был этим неприятно удивлен, но не подал виду и стал спокойно отвечать на их вопросы. Несколько смель-

чаков стали говорить, что Распутин – это позор для царской семьи, критиковали государя и вели беседу в очень повышенном тоне. Другие говорили, что у нас все плохо идет, везде, мол, измена, война проиграна, что так продолжаться не может, должны быть перемены и прочее в том же духе. Словом, настроение было явно революционное, что очень меня встревожило. Тут я лишний раз убедился в том, какую фатальную роль для нашей династии сыграл Распутин и как он уронил и смешал с грязью престиж царской семьи, а стало быть, и верховной власти. Кое-как прекратив этот разговор, я вернулся домой, но мысль о грядущей революции не оставляла меня весь тот день. Я вспомнил и сопоставил то, что сейчас слышал от крестьян, с тем, что мне говорил за несколько дней до моего отъезда из Орла вахмистр одного из запасных кавалерийских полков, прикомандированный к нашей комиссии. Он рассказал мне, что в полках среди запасных солдат очень неспокойно, что после вечерней переключки они собираются землячествами и толкуют открыто о предстоящей революции, об уничтожении бар и господ, о завоевании земли. Пропаганда уже велась тогда и находила вполне благоприятную и уже подготовленную почву среди этих сотен тысяч людей, оторванных от домов и своего хозяйства и томившихся при запасных полках почти безо всякого дела. Солдаты говорили между собой, что ружей после демобилизации они не отдадут, а пойдут отвоевывать землю и волю. В этих разговорах я ясно слышал раскаты приближавшейся революции и с ужасом думал о том, что ждет в ближайшем будущем нас и Россию.

Вечером, как обычно, пришел с докладом мой управляющий Ситников. Мы обсудили с ним текущие дела, и я свел разговор на революцию. Стал доказывать Ситникову, что она невозможна, что восстание будет подавлено и опасаться нам нечего. Быть может, и придется пережить тревожные и тяжелые минуты, но в конце концов, как и в 1905 году, все окончится уступками и сойдет благополучно. Развивая этот оптимистический взгляд, я в душе далеко не был уверен, что все произойдет именно так, и хотел послушать, что на это станет отвечать Ситников. Он был умный, дельный



Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фотозтуды Н. А. Алексеева. 1913 г.



*Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фотоэтюды
Н. А. Алексеева. 1913 г.*

и преданный мне человек, на него я вполне мог положиться. Деревню он знал превосходно, был в постоянном общении с крестьянами, водился с деревенской интеллигенцией, часто бывая в городе, знал настроения мелкого купечества, мещанства и торгового люда, и его мнение было мне очень интересно. Ситников внимательно меня слушал, изредка потирая свою лысину, что всегда служило у него признаком сильного душевного волнения. Наконец он начал говорить и сообщил мне, что, по его мнению, революция неизбежна, что надо быть готовым ко всему худшему, что крестьяне открыто говорят о захва-

те земли, что деревенская интеллигенция и те горожане, с которыми он общается, тоже недовольны и что движение будет поддержано широкими массами. Он говорил долго, убедительно, называл мне имена и закончил свою речь тем, что стал просить меня принять меры: «Надо продать Прилепы. Понизовский дает за завод и имение 500 тысяч рублей. Продайте и, пока не поздно, деньги переведите за границу. Картины и всю обстановку дома надо сейчас же упаковать и отправить в Москву или Петербург. Спешите, пока не поздно. События надвигаются. Революция неизбежна!» Но я и слышать не хотел о продаже завода и имения. Тогда Ситников стал настаивать на том, чтобы отправить из Прилеп картины и все ценное и обязательно продать тысяч на сто лошадей, а деньги держать в золоте. «Время терпит, – отвечал я ему, – но делать что-нибудь надо». На этом мы с ним расстались, так как было далеко за полночь. Ночью я долго думал обо всем этом, но утром все страхи как рукой сняло, и я уехал в Орёл. Беспечность русского человека удивительна и прямо-таки непостижима. «Ничего, авось, обойдется...» Я решил пока что никаких мер не предпринимать.

Ситников последний год все чаще и чаще стал прихварывать, а вскоре после моего отъезда совсем слег. У него оказался злокачественный рак желудка, и дни его были сочтены. Это известие меня очень огорчило, так как я привык к Ситникову как управляющему, ценил и любил его как человека. Недели через две после моего отъезда из Прилеп я получил от Ситникова письмо, где тот писал, что чувствует себя скверно, просил меня приехать и еще раз убеждал принять меры на случай революции. Что-то задержало меня в Орле, и я попал в Прилепы только недели через три, но Ситникова уже не застал в живых. Он умер недели за две-три до революции. Мы его похоронили в церковной ограде села Суходол-Кишкино. Возвращаясь с похорон, я с грустью и чувством глубокой благодарности думал об этом человеке. Если бы Ситников не умер перед самой революцией, то несомненно, что моя личная судьба сложилась бы после нее совершенно иначе, а с ней иначе сложилась бы в послереволюционной России и судьба русского коннозаводства. Этот дальновидный, дельный, энергичный и ловкий человек так устроил бы мои личные дела, что я своевременно покинул бы пределы России богатым человеком и был бы не деятелем, а зрителем всего того, что творилось и творится в несчастном Отечестве. Лично для меня это было бы, конечно, лучше, ибо я свободным и независимым человеком прожил бы где-нибудь за границей и был бы по-своему счастлив. Но что случилось бы с русским коннозаводством, покинутым всеми на произвол судьбы? Это вопрос, на который ответить нетрудно: все бы несомненно и бесповоротно погибло!

Я знаю, что очень многие бранят и даже клянут меня за мою деятельность на поприще коннозаводства после октябрьского переворота. Близорукие люди, они не видят и не понимают, что только благодаря этой тяжелой и самоотверженной деятельности рысистое коннозаводство страны спасено, а с ним уцелел и не погиб орловский рысак, имеющий все шансы при новых, благоприятных условиях не только возродиться, но и расцвести. Беспристрастную оценку этой моей деятельности даст только суд истории. Когда все страсти утихнут и злоба уляжется, история ответит на вопрос о том, следовало или нет предпринимать ту работу по спасению коннозаводства, которую в тяжелых и страшных условиях советской России я предпринял.

...Похоронив Ситникова, я из Прилеп проехал в Москву, где, имея трехнедельный отпуск, предполагал пожить, а кстати и подыскать нового управляющего, а главное, войти в курс дел Московского бегового общества, откуда шли ко мне недобрые вести. Я, кажется, уже упоминал, что Московское беговое общество в то время было тем стержнем, вокруг которого сосредоточивалась вся жизнь рысистых заводов страны. Вести рысистый завод без тесного контакта с этим обществом было положительно невозможно, а потому все, что там делалось, сейчас же отражалось на жизни наших заводов и благосостоянии самих коннозаводчиков. До войны в этом обществе установилось определенное равновесие, в том смысле, что призы были поделены между орловскими и орловско-американскими лошадьми пополам. Среди орловцев и метизаторов воцарилось некоторое спокойствие, острые вопросы решались путем компромисса, а значит, стало вполне возможно вести заводы как одной, так и другой группе коннозаводчиков. Вице-президентом в Московском беговом обществе был Н. П. Шубинский, выдающийся адвокат, член Госдумы, умница и хитрец первой руки, человек искушенный в политической игре, тонкий дипломат и ко всему этому страстный, прямо-таки ярый метизатор. Он в свое время прошел в вице-президенты только потому, что мы, орловцы, его поддержали и отдали ему свои голоса. Однако такое соглашение было достигнуто лишь потому, что Шубинский дал слово стоять на платформе ограничений (то есть 50 процентов орловцам и 50 процентов метисам) и одинаково объективно относиться и к той, и к другой группе коннозаводчиков. Переговоры с Шубинским и партией метизаторов вел я и, достигнув тогда этого соглашения, был уверен, что оно вполне отвечает интересам обеих коннозаводских групп нашей страны. Старый лидер орловцев А. А. Щёкин уже не мог тогда принимать участие в делах партии и общества, так как был разбит параличом, и мне пришлось – разумеется, с согласия партии орловцев – всю ответственность в столь важном шаге взять на себя. Многие орловцы считали этот шаг ошибочным, но подчинились большинству, которое пошло за мной. Шубинский сдержал слово и до войны, а потом и во время войны твердо стоял на платформе 50 процентов и держал себя чрезвычайно корректно в отношении нас, орловцев. Я был рад, что не ошибся и орловцы могут спокойно вести свои заводы, так как при таком положении вещей они были обеспечены и покупателями на лошадей, и возможностью без убытка вести собственные призовые конюшни. Как вице-президент Шубинский был вполне на высоте положения. Прежде всего это был идеальный председатель, а председательствовать в Московском беговом обществе, как известно, было нелегко. Однако во время войны устойчивое равновесие групп стало нарушаться, и далеко не в пользу орловских коннозаводчиков. Многие из нас, орловцев, были призваны, как, например, Жихарев, Ковалевский, И. Д. Бибииков, В. Офросимов, Мамышев, барон Сталь, я. А из метизаторов в призы никто не попал, и большинство в собрании оказалось, таким образом, у метизаторов. Этим не преминул воспользоваться Телегин, завод которого к тому времени достиг высшей точки своего процветания и приобрел прямо-таки европейскую известность. Под влиянием оглушительных побед телегинских рысаков, под влиянием его агитации собрание стало

назначать крупные призы для метисов, снова пошли разговоры о стеснительности и несправедливости существующих ограничений. Атмосфера в обществе сложилась для нас неблагоприятная: Шубинский хотя и осторожно, но явно тянул руку метизаторов, и орловцы начали чувствовать, что дело поворачивается против них. Опасность положения сознавали многие, но, будучи в меньшинстве, ничего не могли поделать. Еще в Орле я получил ряд тревожных писем от своих друзей-орловцев и понимал, что надо принимать меры.

Цель моего приезда в Москву и заключалась в том, чтобы здесь, на месте, ознакомиться с создавшимся положением, а затем действовать скоро и решительно. Но то, что я увидел в Московском беговом обществе, привело меня в немалое смущение и чрезвычайно озадачило. Положение оказалось более серьезно, чем я думал. Везде царил и всем негласно правил Телегин, и метизаторы чувствовали себя как в завоеванной стране: открыто поговаривали о необходимости снять ограничения, нас, орловцев, если не третировали, то свели на вторые роли. Это я почувствовал и по отношению служащих, и в разговорах с администрацией, и в беседах с наездниками. Телегин имел свойство невероятно наглеть, когда чувствовал, что сила на его стороне. Такова уж была натура у этого выдающегося коннозаводчика. На другой же день в вице-президентском кабинете я вел с Шубинским беседу о делах бегового общества. Телегин присутствовал тут же, по обыкновению, развалившись в мягком кресле и утопая в его подушках. Он резко говорил о невозможности дальше вести дело при таких стеснительных ограничениях, издевался над орловцами и затем, обратившись ко мне, начал настоятельно советовать мне взять, пока не поздно, американского жеребца. «Ряды ваши тают, – говорил Телегин. – Охота вам разводиться этих сырёх? Останетесь на богах и разоритесь, тогда как при ваших знаменитых кобылах у вас от американца будут серии выдающихся лошадей и вы не будете знать, куда деньги девать». Шубинский молчал, но в душе, конечно, сочувствовал Телегину. «Да, действовать надо, – подумал я. – А с вами, дорогие друзья, надо похитрить, а потом дать вам генеральное сражение». «Ничего не поделаешь, – отвечал я Телегину, – видно, и впрямь придется переходить в стан метизаторов – против рожна не попрешь!» После этих моих слов у Телегина совершенно развязался язык и он предложил мне крыть у него кобыл и взять Метеора. Шубинский хотя и более осторожно, но также стал развивать передо мной выдающиеся перспективы, которые откроются перед моим заводом, как только я обращусь к американской крови, и закончил свою речь тем, что хотя он, согласно данному слову, строго стоит на платформе 50 процентов, однако он не более чем исполнитель воли общего собрания, что он предвидит уже момент, когда собрание отменит ограничения и положение орловцев станет тогда очень тяжелым. Мне следует заранее к этому подготовиться и пустить американскую кровь в свой завод. Я сделал хорошую мину при этой плохой игре, и мы стали дружески беседовать на разные лошадиные темы. Телегин и здесь не утерпел, чтобы не лягнуть старика Щёкина, своего заклятого врага, говоря, что его песенка спета, что Ледок – метис и прочее. Желая мне польстить, он говорил, что все орловское дело теперь исключительно в моих руках, и если я перейду на сторону метизаторов, то с остальными они легко справятся. Наша беседа окончилась приглашением меня на обед к Телегину.

Когда я к семи часам приехал к нему на дачу в Петровский парк, там были уже Шубинский, Лежнев и еще кое-кто из метизаторов. «Будут меня обрабатывать», – подумал я и опустился в предлощенное хозяином кресло. Обед прошел оживленно, и Телегин был настолько уверен, что с нами, орловцами, уже покончено, что сказал мне даже, что теперь ни я, ни кто другой не сможем вновь сколотить орловскую партию и собрать большинство в общем собрании: «Ряды ваши редеют, число ваших сторонников тает. Подумайте только, за этот последний год Казаков окончательно перешел на метисов, Оболонский кроет кобыл с американским жеребцом, Елисеев

все больше и больше склоняется к нам, Мамышев просил у меня метиса в завод. А стоит мне потряхнуть и дать с десятков моих знаменитых жеребцов орловцам – и вы будете на мели!» – «Что верно, то верно», – ответил я Телегину, и мы пошли посмотреть его рысаков, чем тогда и закончился этот обед.

Весь следующий день я совещался с находившимися в городе орловцами. Настроение у всех было кислое, веры в будущее не было, успехи телегинских рысаков и других метисов действовали на нервы, программа не радовала и не давала свободного хода орловцам – словом, дело было дрянь. Назавтра я назначил собрание и сбор всех частей на дому у Живаго. У меня в номере не умолкая трещал телефон, комиссионер и двое посыльных развозили приглашения на это собрание, и когда я вечером приехал к Живаго, то с радостью увидел, что собрание многолюдно. Русский человек уж так создан, что, покуда гром не грянет, он нипочем не перекрестится. Так и в данном случае: все сидели по норам и молчали, хотя явно сознавали опасность положения, и никто не подумал ранее, что надо всем собраться, обсудить положение и затем принять меры. На нашем собрании присутствовали только действительные члены, ибо они одни, имея решающие голоса, могли оказать влияние на то или иное решение Московского бегового общества.

Дом Живаго для таких собраний был исключительно удобен. Хозяин был богат, хлебосол, столовая представляла превосходный зал, и здесь все чувствовали себя хорошо и не так развязно, как в каком-нибудь отдельном кабинете модного ресторана. Я был глубоко благодарен Живаго за то, что он предоставлял в наше распоряжение свой дом. Председательствовал сам хозяин и, открыв собрание, предоставил мне слово. Я коротко охарактеризовал создавшееся положение и закончил тем, что победа возможна, что у меня есть план, но что прежде, чем приступить к его обсуждению, необходимо заслушать других ораторов. По опыту я хорошо знал, что на таких собраниях надо дать нашим орловцам часа три-четыре всласть поговорить, пожаловаться на свою судьбу, на свои беды и на метизаторов, а уж потом, в два слова развив выработанный план, провести его. Так было и на этот раз. Орловцы много говорили, много жаловались и много стонали. После этого Живаго объявил перерыв, и мы все уселись за чаепитие. После чая я развил перед собранием свой план. Он был чрезвычайно прост.



В членской беседе на бегах



Московские беговые трибуны



Зал общих собраний Московского бегового общества

Необходимо было, по моему мнению, провести в действительные члены значительную группу наших сторонников, преимущественно из числа тех, что постоянно проживали в Москве, и таким образом создать активное ядро членов в поддержку партии. Далее я говорил, что если нам не удастся сделать это теперь, то орловское дело надо считать проигранным, так как метизаторы усиливаются с каждым днем и позднее провести в действительные члены орловцев будет прямо-таки невозможно. Со мной все согласились, и после некоторых дебатов был составлен список, заключающий в себе около двадцати лиц. Тут были известный «дворянин» Павлов, О. Э. Витт и другие. Провести их в действительные члены было возможно, только сделав полную мобилизацию нашей партии, что было нелегко, так как среди нас было много стариков, фактически уже оставших от коннозаводства, не посещавших бегов и собраний общества. Их-то и надлежало во что бы то ни стало всех собрать, так как только тогда у нас будет верное большинство. Кроме того, необходимо было вызвать в Москву и всех призванных. Стали обсуждать, как это сделать, и тут же составили телеграмму иногородним с просьбой обязательно прибыть на собрание и с указанием, почему явка необходима. Затем мы разработали план, как собрать стариков и как упросить их явиться в собрание. Каждый из нас получил персональное поручение привезти таких-то и таких-то членов, и после этого мы разъехались. «Если все мы соберемся, – сказал я в заключение, – успех обеспечен!»

На другой день за подписью Живаго, Расторгуева и моей были переданы в канцелярию для внесения в повестку очередного собрания листки с именами лиц, коих мы предложили к избранию действительные члены. Ознакомившись с ними, секретарь как пуля полетел в кабинет вице-президента, и через каких-нибудь полчаса Шубинский попросил меня к себе. У него были Телегин и еще несколько метизаторов. Все были возбуждены и, видимо, до моего прихода обсуждали создавшееся положение. Я спокойно сел против кресла Шубинского и спросил, в чем дело.

КАРТИНЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Я. И. БУТОВИЧА



С. Аткинсон. «Последний жеребенок»



С. Колосов. «Граф Орлов-Чесменский»



А. Швабе. «Осмотр хреновского табуна»



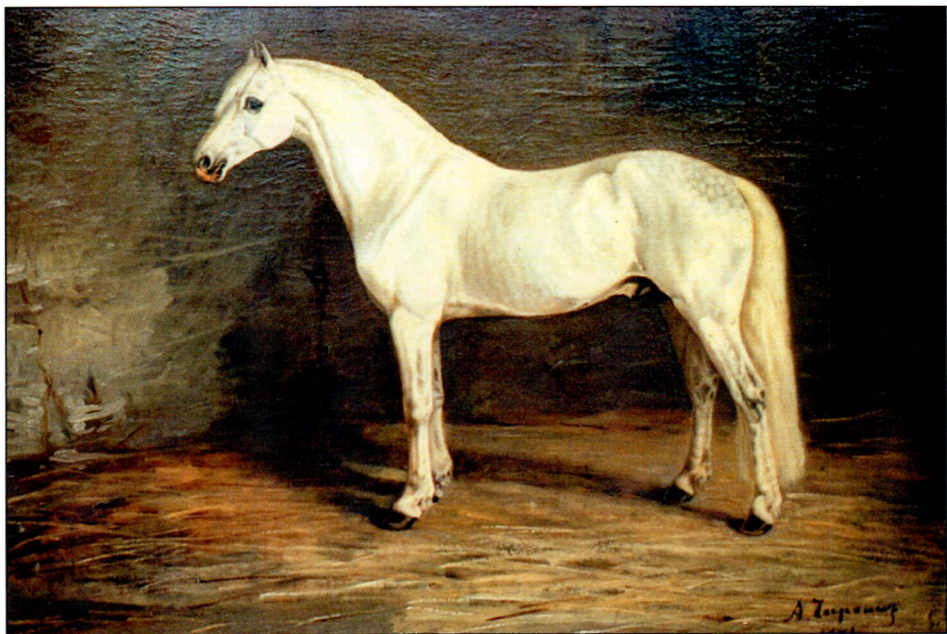
К. Гампельн. «Тройка в Санкт-Петербурге»



Н. Сверчков. «Крутой 2-й»



А. Чиркин. «С возами у избы»



А. Чиркин. «Гранит»



Неизвестный художник. «Граф Орлов на Барсе»



П. Грузинский. «Порожняки»



Н. Сверчков. «Горностай»



Неизвестный художник. «Голландская лошадь»



П. Грузинский. «Катанье на Масленицу»



Н. Сверчков. «Летун»



В. Серов. «Летучий»



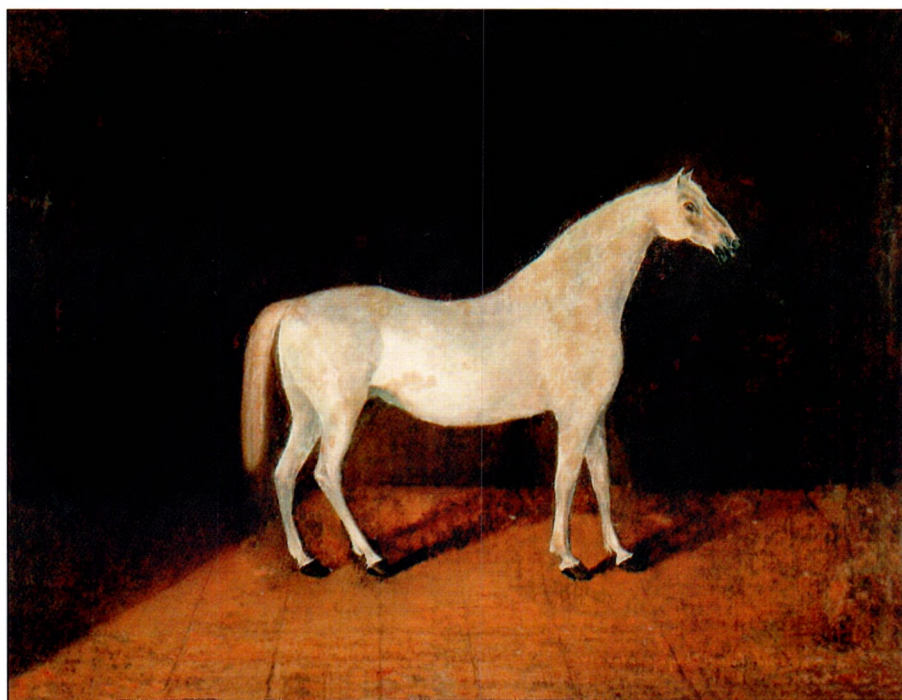
П. Грузинский. «Пара почтовая»



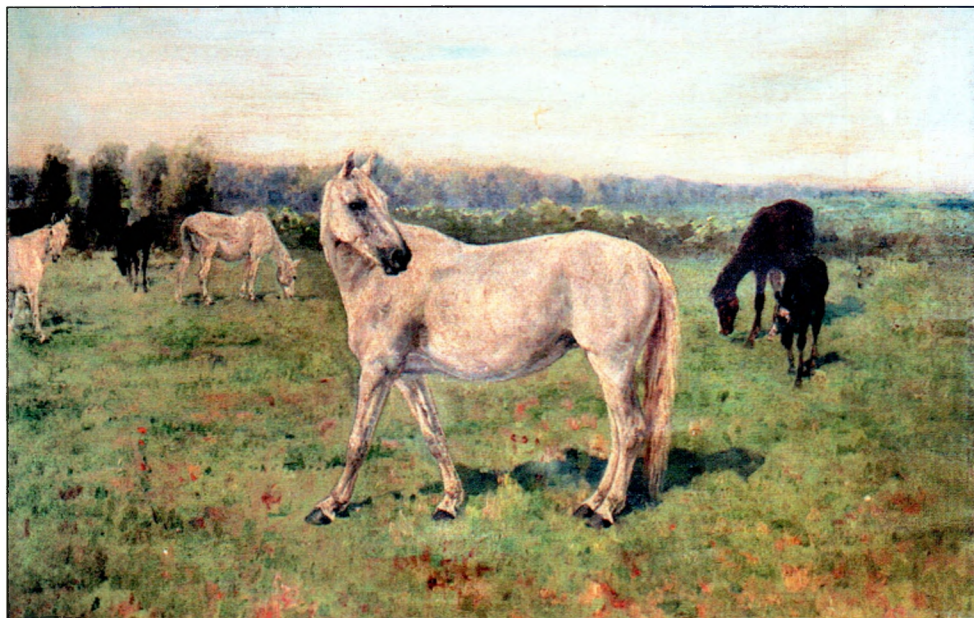
Н. Сверчков. «Катанье на тройках в Масленицу»



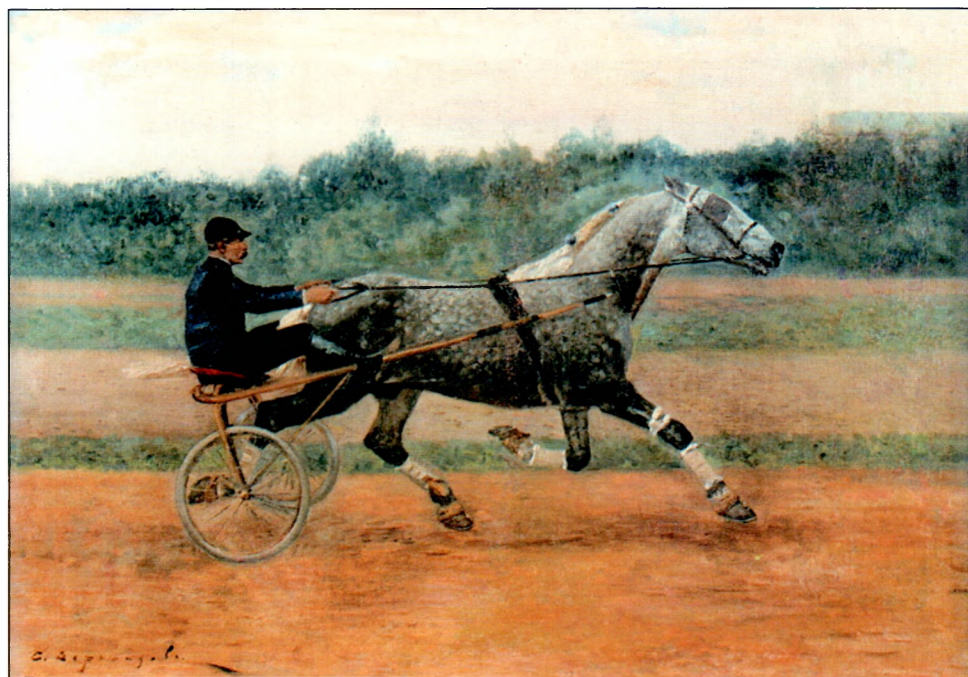
Неизвестный художник. «Испанская лошадь»



Неизвестный художник. «Сметанка»



С. Ворошилов. «Ундина»



С. Ворошилов. «Крепыш на ходу»



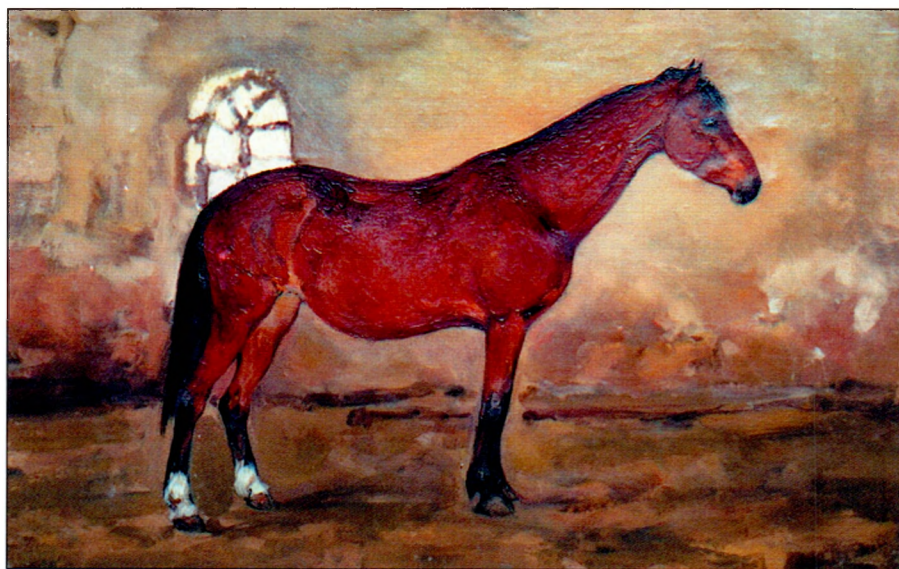
Н. Сверчков. «Визанур 3-й»



С. Ворошилов. «Крепыш»



Н. Сверчков. «Катание детей»



Л. Туржанский. «Приятельница»



К. Гринберг. «Чистяк 3-й»



Н. Сверчков. «Холстомер»



Н. Сверчков. «Праздник Фрола и Лавра»



С. Ворошилов. «Скала»



К. Френц. «Табун Прилепского завода»



К. Зурланд. «Пара рысаков и собака»



П. Соколов. «Почтовая тройка»



Н. Сверчков. «Лошадь заходит в конюшню»



Н. Свечков. «На ярмарку»



Н. Свечков. «Злобный идет на свидание»

Шубинский мягким, тихим голосом, вкрадчиво начал меня спрашивать, как следует понимать наше предложение избрать одновременно чуть ли не двадцать человек в действительные члены, говорил, что подобного прецедента в жизни Московского бегового общества не было. Не дожидаясь моего ответа, Телегин стал кричать, что это война, что они будут защищаться, мобилизуют все свои силы, что мы проиграем, что поднять «мощи», как он выразился про стариков, нам не удастся и прочее в том же роде. Особенно он возмущался кандидатурой Витта и некоторых других, наиболее ярых и непримиримых орловцев. Словом, с обеих сторон было наговорено много «любезностей», после чего мы разошлись.

Через семь дней, это было либо в конце января 1917 года, либо в самом начале февраля, историческое собрание наконец состоялось. Мы, орловцы, на этот раз были на высоте и собрали, что называется, живых и мертвых. Все орловцы были налицо. Среди нас были и такие, которые, как, например, И. И. Миндовская, лет десять не бывали в собрании; некоторых почтенных стариков ввели в собрание под руки, других, как Живаго, внесли на руках (он был тогда уже парализован) – словом, картина была совершенно необычная. Я подсчитал свои ряды: нас, орловцев, было подавляющее большинство. Победа была обеспечена. Но надо было оставаться начеку, дабы она не была сорвана. Пока собрание еще не открылось, я обходил орловцев и благодарил почтенных стариков за поддержку общего дела. Метизаторы были все в сборе, но при нашей полной мобилизации они оказались в меньшинстве. Подобного собрания не было лет десять, и вполне понятно, что метизаторы имели растерянный вид. Мы, орловцы, на этот раз были хорошо организованы, все роли – заранее распределены. Едва председательствующий Шубинский открыл собрание и секретарь огласил список присутствующих, как с нашей стороны поднялся Жихарев и по заранее данной директиве просил проверить ценз всех присутствующих, дабы собрание не было сорвано, то есть не было впоследствии кассировано Главным управлением государственного коннозаводства. Слова Жихарева мы покрыли громом аплодисментов, и эта демонстрация имела весьма внушительный вид. Мы, орловцы, занимали всю правую сторону, метизаторы сидели, как обычно, слева. Их ряды помещались за одним столом, наши же поворачивали покоем далеко за угол, а кое-кто разместился даже за спиной первого ряда, на диванах и в креслах с правой стороны. Телегин, бледный, дрожащий от злости, тихо переговаривался с Шубинским и своими коллегами. Покуда шла проверка цензов, у них, очевидно, шло совещание, как быть и что делать. Однако было уже поздно. Наконец проверка закончилась и секретарь объявил, что всё в должном порядке. Шубинский перешел к очередным делам. Началось обсуждение этих дел, затем пошла вермишель. По моему предложению никто из орловцев не принимал никакого участия в прениях, а потому собрание быстро разрешило вопросы один за другим. Наступил момент баллотировки. Молчание орловцев во время обсуждения текущих дел произвело громадное впечатление на метизаторов: они чувствовали, что через час-другой здесь будет распоряжаться не Телегин, Шубинский и их партия, а другой хозяин. Во время прений Шубинский несколько раз обращался с места ко мне, желая втянуть в обсуждение текущих дел, но я понял его маневр и ограничивался односложными ответами. Я заранее имел это в виду, так как боялся, что при прениях собрание затянется, что наши старики утомятся и разъедутся. А если бы продолжение собрания отложили до следующего дня, то мы бы наверняка проиграли, ибо вторично поднять всех наших сторонников было бы решительно невозможно. Такое собрание, да и то при особой удаче, можно было организовать раз в десять лет! Баллотировка шарами заняла очень много времени, зато победа орловцев была полная: все намеченные нами лица были избраны! Когда вице-президент вновь занял свое председательское кресло и объявил результат баллотировки, гром аплодисментов с нашей стороны покрыл его голос и долго не смолкал. Метизаторы хранили зловещее молчание

и сейчас же стали разъезжаться по домам. Историческое собрание закончилось, мы торжествовали победу, поздравляли друг друга и спокойно могли смотреть в будущее. Двадцать новых действительных членов – это был такой крупный актив для партии, что большинство в собрании нам было обеспечено и в дальнейшем только от нас зависело, пропускать или же нет в действительные члены господ метизаторов.

На другой день, когда я приехал на бег, на утренние поездки, служащие общества меня поздравляли, орловцы сияли и наше положение было совсем другим, чем всего лишь несколько дней тому назад. Новые действительные члены должны были принять участие в ближайшем общем собрании, которое было назначено через семь-восемь дней. Судьбе было угодно, чтобы оно стало последним общим собранием господ действительных членов Императорского московского общества поощрения рысистого коннозаводства. Скажу здесь несколько слов об этом последнем собрании.

На повестке дня стоял всего один вопрос, а именно обсуждение программы летнего сезона. Вопрос исключительной важности, так как он затрагивал материальные интересы всех охотников. Новички прибыли в полном составе. Дебаты открылись и шли своим чередом. Шубинский заметно нервничал, Телегин бесился, но молчал. Метизаторы отстаивали пункт за пунктом призы высших групп, орловцы начали наседать – и пошла писать губерния. Новички, что называется, перестарались и выступали один за другим, внося самые крайние антиметисные предложения – например, уничтожить дерби (!), сократить число призов высших групп, за счет упраздненных именных призов дать призы средним и низшим группам, разыгрывать по три приза одиннадцатой и десятой групп в день и прочее. Шубинский терял терпение, метизаторы были в ярости, в собрании стоял шум. Я спокойно наблюдал за всем происходившим и, разумеется, не был согласен со всеми этими крайностями, но считал выступления новичков полезными, так как они воочию показали метизаторам, на что способны орловцы. Собрание ни до чего договориться не могло, а Шубинский, опасаясь провала именных призов, дерби и призов высших групп, боялся ясно формулировать вопрос и поставить его на баллотировку. Наконец Телегин не выдержал, встал со своего места и подошел ко мне. Бледный, с перекошенным лицом, он нагнулся ко мне и спросил: «Что же это делается, Яша?» Я улыбнулся этой нежности и иронически ему сказал: «Не бойтесь, дерби вам оставим! Скажите Шубинскому объявить перерыв». Каково это было услышать Телегину, который еще несколько дней тому назад царил здесь над всем и вся! Перерыв был объявлен. Я договорился с Шубинским и метизаторами о том, что должно быть сохранено 50 процентов ограничений. Они могут назначать и дерби, и прочие свои призы какой угодно ценности, однако с тем, что мы вправе распределить в орловских призах такие же суммы, и ни рублем меньше! Метизаторы были так напуганы настроением собрания, были в таком меньшинстве, что приняли предложение, а Шубинский усиленно повторял, что я спасаю положение и выручаю общество от невероятного скандала. Это же на все лады он повторял и на следующий день. Договорившись с метизаторами, я собрал орловцев в библиотеке и тут внес свое предложение. Оно было принято, новичков мы призвали к порядку, и когда собрание возобновилось, то с правой стороны уже не было никаких самостоятельных выступлений, все прошло гладко, быстро и так, как было решено. Программа была принята, собрание закрылось, и никто из нас тогда не думал, что это последнее собрание старейшего в России бегового общества. Теперь, когда я пишу эти мемуары, прошло почти десять лет, а двери Московского бегового общества все еще закрыты, там нет ни общих собраний, ни споров, ни раздоров, ни страстной охоты, ни выступлений великих и славных рысаков. Нет и самого общества. Все кануло в Лету. Надолго ли? Вот вопрос, который невольно возникает в голове.

В то время как мы в Москве спорили и горячились, решая в стенах старого неприимного общества судьбу орловца и метиса, в стране началась великая «бескровная» революция, не только перевернувшая вверх дном всю Россию, но и оказавшая влияние на весь цивилизованный мир. Первые известия о революции в Петрограде были получены поздно вечером. Москва немедленно превратилась в гудящий муравейник, и едва ли в ту ночь кто-либо спал во встревоженном городе. На другой день я поехал на Ходынку, так как был беговой день. На улицах была масса народу, но на бегах – решительно никого: трибуны оказались пусты. В членской собралось много охотников, и лица у всех были взволнованные. Бега шли своим чередом, но никто из нас на них не смотрел и ими не интересовался. Это была странная и необычная для глаз картина: бега при пустых трибунах, какое-то безразличное выражение лиц у наездников, отсутствие настоящей борьбы на финише, полное отсутствие интереса в членской. Как будто отбывалась какая-то повинность, и многие, конечно, чувствовали, что вскоре все изменится. Полная уверенность в этом была у громадного большинства членов: зная отношение либералов и Московской городской думы к тотализатору, мы не сомневались в том, что бега будут закрыты. Наши самые худшие предположения оправдались скорее, чем мы думали. Тотализатор был действительно запрещен, и бега прекратились уже через несколько дней после революции. Хотя после долгих хлопот Временное правительство и разрешило бега без тотализатора, и даже выдало субсидию на призы, но это уже была пародия на прежние бега и мощь Московского бегового общества была подорвана.

В середине дня из города стали приходить на бег известия одно тревожнее другого. Стало совершенно ясно, что Москва также перейдет на сторону революции и поддержит Временное правительство. Когда день уже клонился к вечеру, я вместе с Телегиным стоял в библиотеке, окна которой выходили на аллею. Из них открывался вид на Ходынское поле, и мы смотрели, что там делалось. На Ходынском поле строились войска, а по Петербургскому шоссе двигалась в город артиллерия. Все эти войсковые части направлялись к городской думе, чтобы водворить порядок, но все они... немедленно перешли на сторону восставшего народа. Телегин, наблюдая за движением войск, тихим голосом говорил мне о том, что все погибло и что возврата к прежнему уже нет и быть не может. Он был настроен пессимистически и считал, что погибнут наши заводы, что крестьяне сначала разграбят, а потом захватят имения и что ждать нам помощи не от кого и неоткуда. Я был настроен более оптимистически и полагал, что все образуется. Не я оказался прав, а Телегин: все его наихудшие предположения, к несчастью для России, подтвердились. Настроенное у Телегина было ужасное, и он словно тогда уже предчувствовал свою трагическую судьбу. Совсем скоро, в мае, он умер от удара, который случился с ним в беговой беседке во время споров о судьбе общества. Его, почти бездыханного, подняли на руки и отнесли в библиотеку, где положили на диван; здесь он на несколько минут пришел в себя и затем скончался, в той же самой комнате и у того же самого окна, где всего лишь два месяца назад предсказывал мне нашу судьбу...

Я не стал дожидаться окончания бега и решил ехать домой, в гостиницу, а затем покинуть Москву. Спустившись вниз, я застал в вестибюле госпожу Харитоненко, которая с беспомощным видом и растерянным лицом кого-то ждала. Я подошел к ней и поинтересовался, в чем дело и не могу ли я быть ей чем-нибудь полезен. «Я вызвала Шубинского, у меня к нему срочное дело, – ответила мне госпожа Харитоненко. – Но он все не идет». Зная, что Шубинский вел дела у Харитоненко, я взял ее под руку и провел в кабинет вице-президента. У госпожи Харитоненко был ужасно расстроенный вид, и, выходя из кабинета Шубинского, я думал о том, что дело наше плохо, раз все так взволнованы и встревожены. По пути в город мне пришлось наблюдать интересные картины. Знакомый извозчик вез меня в «Славянский базар».

До заставы мы добрались сравнительно быстро и благополучно. Но по Тверской ехать можно было только шагом, так как не только тротуары, но и вся улица была буквально запружена народом. Извозчик, прося посторониться, с трудом пробирался сквозь толпу, а по сторонам и впереди было сплошное море голов. Все это двигалось к центру, говорило и кричало, и можно было подумать, что всех людей охватило массовое умопомешательство. Шли рабочие, мелкие лавочники, служащие, интеллигенты средней руки и прочий люд. Некоторое время рядом с моим извозчиком шел отвратительный тип, злобные глаза которого я до сих пор забыть не могу. Это был мужчина среднего роста, с бородой и длинными, как у большинства социалистов того времени, волосами до плеч. Он был одет в потертое пальто, и на плечах у него был неизменный для таких типов плед. Ноги его были обернуты в какие-то тряпки, ботинок совсем не было, он шел в калошах. Выражение лица у него было дерзкое и хамское. Его, видимо, приводило в бешенство и то, что я офицер, и то, что я еду на хорошем извознике. Ясно было, что он хочет меня оскорбить, но пока не решается. Вскоре толпа стала напирать сильнее и оттерла от меня этого типа до того, как он успел привести в исполнение свое «похвальное» намерение. С трудом и не без риска для себя я добрался наконец до гостиницы, но здесь был тот же хаос. Прислуга разбежалась поглядеть на улицу, и всего лишь один швейцар охранял громадную швейцарскую. В ресторане тоже было пусто, лишь два-три лакея развалились на диванах с экстренным выпуском вечерних телеграмм и не особенно охотно поднялись со своих мест при моем появлении.

В Москве я пробыл еще день, встретив, таким образом, здесь революцию, и вечером уехал в Тулу, откуда хотел обязательно проехать в Прилепы, чтобы посмотреть, что там делается. В поезде народу было битком набито и порядка уже не было никакого. Все-таки удивительно быстро русский человек распускается, теряет сознание собственного достоинства и бросается очертя голову на всякие новшества, предавая забвению прежние формы жизни, с легкомыслием дикаря отбрасывая свое прошлое. Всю ночь я не спал и думал над тем, что случилось. Не раз вспомнил я покойного Ситникова и пожалел о том, что вовремя не послушал его мудрых советов. Надлежало в дальнейшем по возможности не допускать новых ошибок, и потому я стремился в Прилепы, чтобы узнать настроение крестьян и хотя отчасти понять, что ждет мой завод и имение в ближайшем будущем. Однако попасть в Прилепы мне удалось лишь на следующий день, так как моя телеграмма запоздала на целые сутки и из имения за мной не выслали лошадей. Удивительно, что она вообще была доставлена, так как в те дни телеграф был занят рассылкой телеграмм подлеца Гучкова. Эти телеграммы, адресованные «всем, всем, всем», я и сейчас не могу вспомнить без величайшего отвращения! Получить ямских лошадей в Туле оказалось невозможно, так как весь город был как в угаре, и я «имел счастье» и здесь попасть на торжество революции. Из Москвы события докатились уже до Тулы. Приехав в гостиницу, я узнал, что в ночь был арестован тульский губернатор почтенный А. Н. Тройницкий, которого толпа протащила из губернаторского дома сначала в городскую думу, где собрались все революционеры города, а оттуда его отправили в тюрьму. Несчастному Тройницкому не дали даже одеться: подняли с кровати, напялили на него одну генеральскую шинель и так, босого, тащили по улицам города! Надругательству и издевательствам при этом, конечно, не было конца. Из окна гостиницы я наблюдал шествие народа с красными флагами и прочие демонстрации. Нечего было и думать в тот же день выбраться из города.

На другое утро приехали мои лошади, и я поспешил в Прилепы. В Туле переворот уже совершился и вся власть перешла в руки комитета, во главе которого был поставлен некто Джюбич, статистик губернской земской управы. Начиная от заставы и вплоть до Прилеп я встречал немало пеших и конных, которые спешили за новостями в город. Известие о перевороте уже разнеслось по деревням, и в день моего

приезда в имение в нашей волости, а затем и по селам были назначены шествия и собрания. В Прилепах, в усадьбе, было спокойно, но как-то зловеще спокойно! Служащие перешептывались и были явно встревожены. Ровно в три часа две соседние деревни – Пиваловка и Кишкино – прибыли с флагами в деревню Прилепы и все вместе отправились, как тогда говорили, на барский двор. Перед домом собралась толпа человек в триста. Тут были и мужики, и бабы, и подростки. Все гудело, пело, орало, однако пьяных еще не было. Потребовали, чтобы я вышел. Когда я появился на крыльце, все стихло, а затем раздались крики: «Да здравствует революция!», «Власть народу!», «Земля и воля!»... Я постоял несколько минут, посмотрел на эти возбужденные надеждой на предстоящий грабеж лица, поклонился и ушел. Толпа еще минут пятнадцать кричала и бесновалась, но затем... разошлась по домам. Вечером все в деревне были пьяны, только что народившиеся «товарищи» буянили, и все торжество провозглашения революции закончилось дикой дракой, причем одному из крестьян, Ивану Самонину, пропоролы вилами бок!



Праздник Свободы в Туле, 7 апреля 1917 г. Колонна 76-го полка на Киевской улице

Я пробыл в Прилепах два дня и здесь, так же как в Москве и Туле, «имел удовольствие» наблюдать торжество демократии и празднование великой «бескровной» революции. Меня больше всего интересовало, конечно, настроение крестьян, а оно было ужасно и не сулило решительно ничего хорошего. При встрече со мной уже никто не кланялся, выражение лиц было дерзкое, у многих в руках появились дубины, все деревенские власти исчезли, и всюду воцарился произвол. Вечером прилепские крестьяне явились в контору с различными требованиями, и мне передали, как дерзко и вызывающе они себя там вели. Старые, наиболее преданные служащие – маточник Руденко, монтер Марченко, кузнец Посенко – и прислуга в доме говорили мне, что надо ждать беды, что крестьяне открыто грозят захватить землю, а потом все разграбить и сжечь. «Приятные перспективы», – невольно подумал я и опять вспомнил покойного Ситникова. Как хорошо он знал крестьян и как был прав, предостерегая меня!

Настроение было такое и из города неслись такие слухи, что когда на другое утро я уезжал, то мой камердинер Никаноров стал умолять меня не надевать военной формы, а ехать в штатском платье. Я не послушал и, конечно, поехал в военном. На маленькой станции Засаека, что в десяти верстах от Прилеп, столь хорошо известной всем культурным русским людям по своей близости к Ясной Поляне, было сравнительно спокойно. Однако когда я вошел в дежурную к начальнику станции, чтобы взять билет, то застал там целое общество железнодорожников, оживленно и весьма сочувственно обсуждавших только что свершившиеся события. При моем появлении все сразу замолчали, и я, взяв билет, вышел на платформу. До Орла я доехал вполне благополучно, однако был удивлен тем, что увидел и услышал в поезде. В вагонах давка была невероятная, с билетом первого класса я едва попал в третий. Шум, гам, споры – все смешалось в один общий гул, и можно было подумать, что находишься в сумасшедшем доме, а не в поезде. Везде только и говорили, что о Николае и великой «бескровной» революции. «Товарищ! Товарищ!» – раздавалось со всех сторон, но по многим испуганным лицам я видел, что говорившие и сами не знают, что и зачем говорят. Делегаты, а их было множество, и все с красными бантиками, конечно, ораторствовали и спешили туда, в глубь России, довершать и разъяснять революцию...

В Орле революция прошла сравнительно спокойно и безо всяких эксцессов. Этот тихий город, где тогда не было ни фабрик, ни заводов, встретил весть о революции довольно сдержанно. В день моего приезда здесь был назначен парад войск в честь революции и Временного правительства, но я в нем не принял участия, так как приехал во второй половине дня, когда парад был уже закончен. Вечером полковник Руднев мне о нем подробно рассказал, равно как и о том, что губернским комиссаром по распоряжению из Петрограда назначен местный председатель губернской земской управы – либерал, якобы пользовавшийся доверием революционных масс. О моей дальнейшей службе в Орле я не стану здесь распространяться, так как обо всем, что было после революции, я решил ни слова не писать в этих мемуарах. Быть может, когда-нибудь этому периоду своей жизни и деятельности я посвящу особые воспоминания. Теперь же только сообщу, что в Орле я проработал до конца лета 1917 года и оттуда был переведен в Тулу на должность члена тульской ремонтной комиссии. Там меня и застал октябрьский переворот, и на мою долю выпала нелегкая задача ликвидации дел этой комиссии.

Итак, свершилось! Великая «бескровная» революция канула в Лету и уступила свое место Октябрю...

Что ж, первая часть моих мемуаров закончена. Я с чувством глубокой симпатии вспоминаю прошлое, тогдашних сильных людей, связи, мою собственную молодость и все, что навсегда унеслось с теми невозвратными годами.

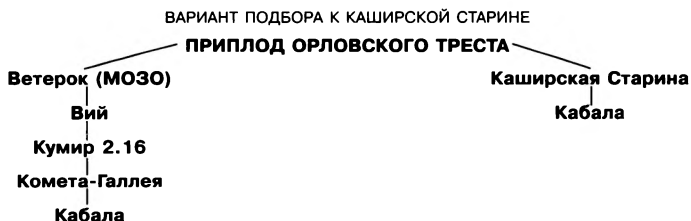




ТУЛЬСКАЯ ТЮРЬМА МЫСЛИ О КОННОЗАВОДСТВЕ

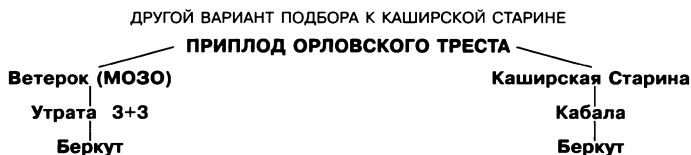
26 ноября 1928 года

В середине декабря 1927 года я выехал из Прилеп в Москву, а когда вновь вернулся в Прилепы, увидел разгром этого коннозаводского гнезда, увидел увод завода, присутствовал при свертывании и перевозке музея в Москву. И получил отставку в самой грубой и оскорбительной форме. Все эти события, имевшие роковые последствия в моей жизни, я когда-нибудь опишу, а теперь вновь берусь за перо, чтобы набросать беглые заметки, занести свои мысли на страницы этой тетради, но уже в стенах Тульской тюрьмы. Ровно одиннадцать месяцев и два дня, как я не брал пера в руки, вынужденный приостановить писание своих мемуаров. Я уже сказал, что в середине декабря 1927 года уехал в Москву. Вернулся я в Прилепы в конце декабря. Месяц шла сдача музея, и тогда я, естественно, писать не мог, а в начале февраля я навсегда покинул Прилепы и выехал в Москву с тем, чтобы, устроив там дела, уехать на жительство в Ленинград. Однако эти планы не сбылись, так как в ночь с 23 на 24 февраля я был арестован в Москве ОГПУ. Сначала находился в тюрьме № 2, потом во внутренней и наконец в Бутырской. Оттуда в середине июня был препровожден в Тульскую тюрьму, где 15–18 октября и слушалось мое дело, окончившееся обвинительным приговором: «Три года тюрьмы со строгой изоляцией». За эти тяжелые месяцы память моя сильно ослабела, в моем распоряжении лишь один том племенной книги и сочинения Коптева, а потому продолжать свою историческую работу я не могу, а буду писать отрывочные заметки, наносить на страницы этих тетрадок свои впечатления дня, сообщать кое-какие данные об интересных людях, с которыми пришлось здесь встретиться, и, наконец, мысли о коннозаводстве и те сведения о лошадях, которые сохранились у меня в памяти и которые могут представлять общий интерес.

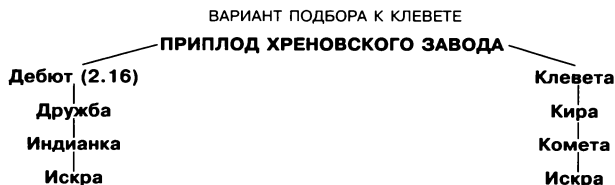


Кабала была замечательной кобылой выставочных форм (золотая медаль), большого класса и прекрасного происхождения, поэтому представляется крайне важным закрепить ее имя. Это работа на закрепление женской линии. Всякий сознательный коннозаводчик должен стремиться к тому, чтобы создавать таких кобыл, которые

происходили бы из выдающихся женских семейств, только тогда успех завода – настоящий, а не случайный – обеспечен. Тем важнее провести работу и создать кобыл, у которых имя родоначальницы семьи было бы закрепленным, как в данном случае.

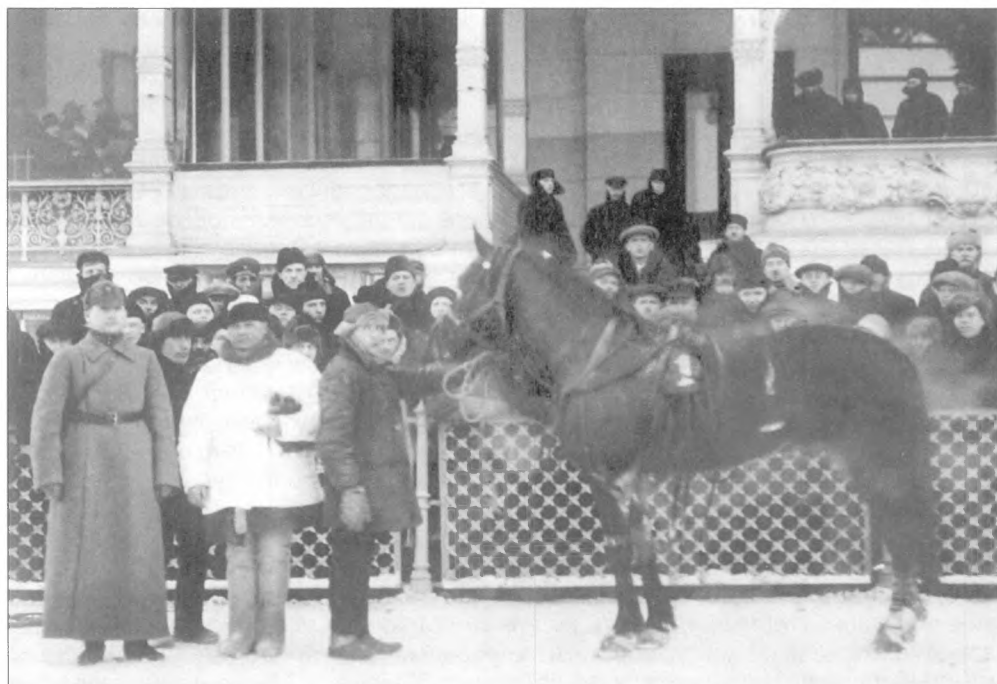


Не менее интересный подбор, так как в данном случае будет повторен Беркут – один из замечательных орловских производителей. Я Беркута никогда не видел. Ветерка знаю хорошо. На днях в беговой афише я вновь увидел его портрет: поразительное сходство с сыном Кабалы и Кронпринца гнедым Кипарисом Прилепского завода. Имя Беркута является общим как для Ветерка, так и для Кипариса, ибо Кипарис и Ветерок – внуки Беркута. Другого родства между этими жеребцами нет. Отсюда следует сделать вывод, что оба они вышли в тип Беркута и, вероятно, близко его, так сказать, экстерьерно воспроизводят. Нечего и говорить, что при предложенном мною варианте подбора (Ветерок – Каширская Старина) близкое повторение имени Беркута (3+3) способно дать такую лошадь, которая явится носителем генов Беркута и будет типичной для этой знаменитой линии нашего коннозаводства, а может, лишь экстерьерно точно или почти точно повторится Беркут. Таким образом, будущий приплод данного сочетания, не принадлежа фактически к прямой мужской линии Беркута (Ветерок по прямой линии отсылается к Вармикам), в действительности будет типичным Беркутом благодаря инбридингу 3+3 по Беркуту, проведенному по боковым линиям. Эти свои соображения подбора к Каширской Старине я высказал несколько недель тому назад в письме специалисту Орловского треста А. Басову, и будет жаль, если ими не воспользуются. К написанным строкам следует сделать небольшую оговорку. Нельзя, конечно, утверждать, что скрещивание Ветерок – Каширская Старина, повторяя Беркута, даст обязательно приплод в Беркута, то есть повторяющий этого жеребца; весьма возможно, что при данном скрещивании и на данный год, скажем 1929-й, верх возьмет ген другого предка. Тогда следует повторить скрещивание в надежде получить подобие Беркута. Практика животноводства, история орловской породы и данные генеалогии говорят нам о полной и более чем вероятной возможности получить искомое. В заключение замечу, что сейчас на Московском ипподроме берут дочь Каширской Старины – Куликовскую Битву. Само собой разумеется, что и ее надо крыть Ветерком или Кумиром. Кстати, о классе последнего. Его рекорд 2.16 не отвечает его классу: Кумир значительно резвее. Он показал эти секунды, будучи уже изломанным; к тому же он поздно поступил в работу, в молодости получил плохое воспитание – недостаток питания в силу общих условий (кормовой вопрос). По себе Кумир очень приятная, крупная и породная лошадь, не имеющая пороков. Он вполне достоин того, чтобы занять место производителя в одном из заводов треста или ЦУ.





Лакей Я. И. Бутовича. Премирован на конской выставке в Симбирске



*Крестник (Эльборус – Клевета) Хреновского завода.
Победитель приза 11-летия Красной армии 1929 г.*

Подбор Дебют – Клевета преследует крайне заманчивую цель – закрепить в приплоде имя кобылы Искры, которая в 1880-х годах основала женское семейство, получившее, благодаря двум ее дочерям – Комете и Индианке, весьма большое значение в коннозаводстве. Комета дала ценный приплод у Щёкина, а ее дочь Каша является родоначальницей Прилепского завода. Что же касается Индианки, то с ее именем связаны все успехи завода Федоровского. Дочь Индианки Дружба оказалась совершенно исключительной заводской маткой, давшей серию выдающихся лошадей. Клевета первым своим жеребенком Крестником (2.14) доказала, что она способна давать классный приплод, а потому о подборе к ней стоит призадуматься. Я знал хорошо не только Кашу и ее приплод, но и мать Каши, Комету, и ее детей. Клевета – в типе, правда в несколько ухудшенном виде, то есть не так блестящая, породна, правильна и крупна, как была Каша. Тем не менее по общему контуру, законченности линий верха, известной точности форм это типичная кобыла своей линии. Раз Клевета типична как представительница именно своей женской семьи, а не линии, например, своего отца Лакея, или деда Недотрога, или кого-либо из других предков, то ясно, что сочетание Дебют – Клевета приобретает особый интерес и значение – как закрепляющее основной «ингредиент» родословной Клеветы, то есть ее женскую линию. Можно почти наверняка сказать, что если от сочетания Дебют – Клевета родится кобылка, то она будет весьма интересной, а может, и знаменитой заводской маткой.

Если бы я делал подбор к Клевете, то я бы имел в виду в качестве партнера для этой кобылы также жеребца Ледка. Дело в том, что отец Клеветы Лакей был лошадью выдающейся резвости, но уже пяти лет был поломан и не смог показать всего своего класса (нога Лакея была бесповоротно погублена, ее так и не вылечили). Тем не менее многие мне говорили, что Лакей был лошадью исключительного класса. А вот как производитель Лакей оказался явным неудачником. Хотя у этого жеребца есть одно достоинство, никем еще не замеченное: Лакей чрезвычайно близко повторяет Варвара. Если вы сравните фотографии обоих жеребцов, то будете поражены и общим сходством, и особенно сходством отдельных частей экстерьера (короткий зад, бедность штанов – это у Лакея и Варвара совершенно совпадает). Таким образом, Лакей должен быть рассматриваем как жеребец типически приближающийся к Варвару: на него ген Варвара оказал решающее влияние. Это весьма интересно и важно отметить. Быть может, если Лакею будет дан соответствующий подбор, укрепленный варваровской частью его родословной, этот жеребец даст и соответствующего класса приплод. Высказанное предположение подкрепляется тем, что дочь Лакея Клевета от Эльборуса, жеребца близкого к Варвару (хотя и не имеет крови его), дала резвого Крестника. Почему же я предлагаю крыть Клевету Ледком? Ледок имеет имя Варвара повторенным два раза, причем женская линия этого жеребца сыграла весьма большую роль в создании Ледка, ведь именно по женской линии мы и видим у Ледка Варвара. Таким образом, и Ледок, и Лакей многим обязаны Варвару. Соединение Ледок – Клевета закрепляет в приплоде имя Варвара, и мне кажется, что не только теоретически, но и на практике это будет удачно. Не только Клевету, но и вообще дочерей Лакея я крыл бы Ледком. Каждый коннозаводчик, если он только знает, любит и чувствует свое дело, имеет чутье при подборе: какое-то шестое чувство ему подсказывает, что вот это соединение будет хорошо, этот жеребенок будет резв и т. д. Старик Щёкин все это очень тонко чувствовал, а потому был блестящим коннозаводчиком. Это-то чутье и подсказывает мне, что сочетание Ледок – Клевета окажется очень удачным. Жаль, если Хреновая, упоенная своим величием, будет продолжать рутинный подбор, то есть крыть наличных хреновских кобыл наличными хреновскими жеребцами, а не прибегнет к индивидуальному подбору и для данного случая не пошлет Клевету в Моршанский завод под Ледка. Клевета, дав такого сына, как Крестник, заслуживает самого внимательного к себе отношения, и будем надеяться, что таковое будет к ней проявлено.

Интересный вариант подбора к Талочке.

Этим летом выказал большую резвость один из жеребцов Нижегородского треста, именно Тополь (2.14). Тополь – сын Талочки, которая родилась у Мельникова в 1916 году. Она не имеет рекорда лишь потому, что к ее совершеннолетию беговые испытания были прерваны. Отец Тополя, посредственный по классу Клад Заветный (4.47), очень интересного происхождения: внук Беркута с одной стороны и Павлина – с другой. Дав такого сына, как Тополь, Талочка тем самым выдвинулась в число знаменитых заводских маток современного коннозаводства, а потому подбор к этой кобыле должен быть сделан со всей возможной тщательностью. Талочка – дочь Воеводы, что само по себе хорошо, ибо после Шкипера, с моей точки зрения, Воевода – лучший сын Корешка. Мать Талочки Тревога – дочь неплохого Самозванца и знаменитой заводской матки Тоски, которая прославила завод Казакова и которую я хо-



С. М. Шибеев

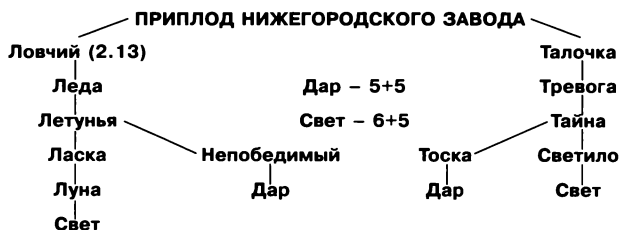
рошо знал. Итак, на примере появления Тополя лишний раз подтвердилась моя теория, что истинно выдающиеся рысаки обычно, как бы в порядке вещей, принадлежат к историческим в рысистом коннозаводстве семействам. Эта истина, неоспоримая, как всякая истина, к сожалению, недостаточно осознана нашими современными специалистами. Даже Витт, имея широчайшие возможности и строя заводы МОЗО, не вполне учел это положение, почему и был жестоко наказан: заводы МОЗО дали немало резвых лошадей, но ни одной великой или же истинно знаменитой, а также весьма мало подлинного заводского материала в том высоком понимании этого слова, какое было присуще покойным Малютину, Телегину и другим выдающимся коннозаводчикам прошлого. Эта неудача заводов МОЗО главным образом, если не исключительно, покоится именно на ошибке Витта, недооценившего значения женской семьи при выборе заводских маток. Витт увлекся рекордами выбираемых кобыл, модными лошадьми – и карта его была бита! Перед моими глазами нет списка маток заводов МОЗО (я все время имею в виду орловскую продукцию), но, если мне не изменяет память, среди многочисленного заводского контингента лишь Богуслава и Говорушка, может быть еще одна-две кобылы (а это капля в море!), принадлежали к историческим женским семействам, особенно Говорушка, которая происходила от знаменитой чалой Задорной – дочери Кролика, так прославившейся в заводе Вельяминова и в Лотарёвском. Неудивительно, что Говорушка оказалась лучшей заводской маткой в МОЗО.

Вернусь, однако, к Талочке, матери Тополя. Я уже сказал, что она происходит из исторической семьи. Здесь нет надобности выяснять значение этого семейства, и я хочу лишь описать формы и тип Тайны, Тоски и Тучи, которые все относятся к данной семье и которых я знал хорошо. Тайна родилась у Башмакова, и я ее видел в заводе Казакова. Это была совершенно арабская кобыла, очень небольшого роста, поразительно породная, женственная, то есть нежная, сухая, длинная, с превосходной спиной, прекрасной шеей и несколько щучьей головой. Тоска 2-я была крупнее Тайны, круглее, шире. Чрезвычайно породная, она являлась кобылой выставочного экстерьера. Долгое время была любимицей Коноплина и украшала его табун, где я ее и увидел. Обе кобылы были ослепительно белой масти, того серебряного оттенка, который так редко встречается у современных рысаков. Тучу купил у Казакова Шибеев, и я ее видел в Москве. Она была крупна и очень дельна, но проще двух описанных кобыл. Туча дала Шибееву Туманную, кобылу большой резвости, которая

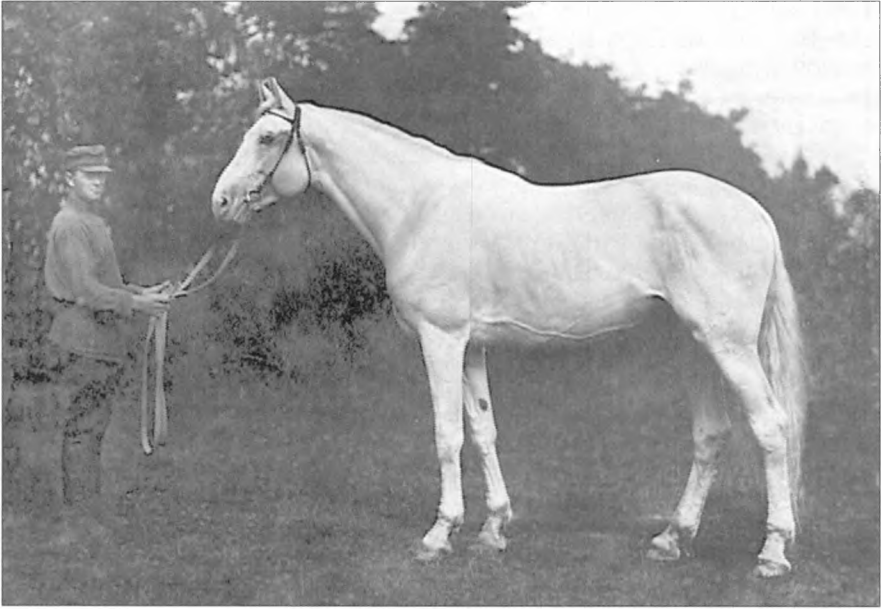
кончила свои дни в Прилепском заводе, куда поступила уже больной. Никогда не забуду картины испуганного табуна, когда Туманная резко выделилась среди всех остальных кобыл своим удивительным движением. Дело было осенью на берегу реки: прилепский табун, рассыпавшись по лугу, мирно пасся, и казалось, ничто не может нарушить его покой. Я любовался этой мирной картиной. Совершенно неожиданно для меня табун сначала насторожился, затем заволновался, на одно мгновение застыл и затем, бросившись вправо, вдруг круто изменил направление и что есть духу помчался к кишкинским заводам. На фоне грозового неба по гладкому ковру умирающего луга неслись табун. Еще мгновение – и, как на экране, картина вновь изменилась. Табун попал на зелень, замедлил ход, и тут-то, обойдя всех, впереди оказалась Туманная. Она неслась, высоко подняв голову, с развевающейся гривой и поднятым хвостом, неслась рысью, тем чудным, чисто сказочным ходом, который так красиво и так верно передавал на своих полотнах Сверчков, создавая свою незабываемую галерею прежних орловских рысаков. Табун едва поспевал за Туманной, а она неслась все вперед и вперед, легко, свободно и непринужденно, как птица. Я долго стоял, зачарованный этой картиной... Таков был ход, таковы были движения и такова была развязность разгона у кобылы Туманной.

Итак, Талочка, принадлежа к замечательной женской семье и вполне оправдав эту принадлежность к знаменитому роду созданием рекордиста на 2400 метров Тополя, заслуживает того, чтобы призадуматься над подбором к ней жеребца. В том положении, в котором я сейчас нахожусь, времени у меня более чем достаточно, и в бессонные ночи я немало думал об этой кобыле. Я мысленно перебрал лучших современных жеребцов, многое взвесил, всесторонне обдумал подбор и пришел к заключению, что Ловчий есть именно тот жеребец, к которому надлежит в 1929 году подвести Талочку.

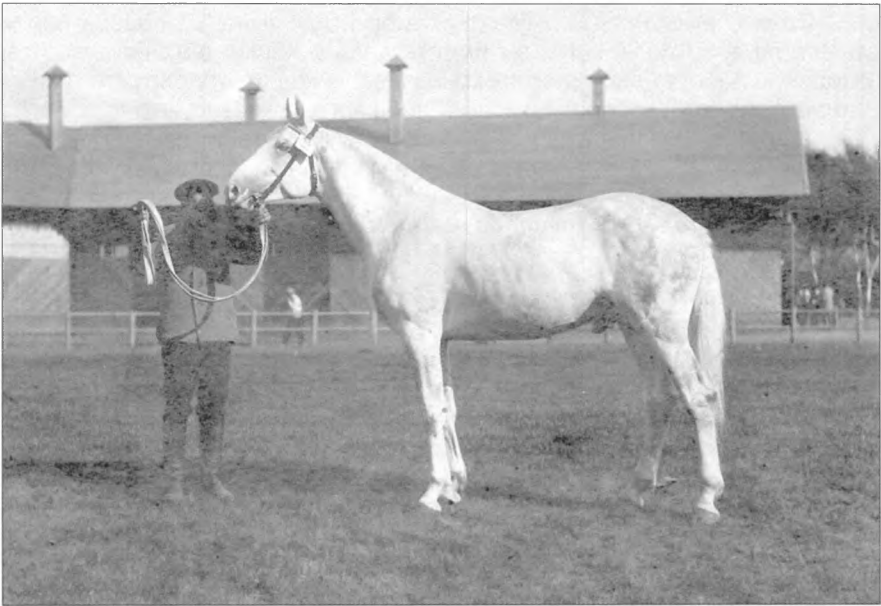
Ловчий родился в Прилепском заводе, и, чтобы меня не заподозрили в понятном пристрастии к этому жеребцу, я особенно подробно мотивирую свой выбор. Прежде всего приведу упрощенную схему данного сочетания, а потом и подробно разовью его.



Ловчий принадлежит к линии Крутого 2-го. Если мы обратимся к вопросу о том, кто был резвейшим сыном Света, то увидим, что это был Кряж (2.19), сын Кручи от Крутого 2-го. Затем дочь Света Радуга (4.52) дала от Кронпринца, прямого потомка Крутого 2-го, высококлассного Отчаянного-Малого. Отсюда можно сделать вывод, что кровь Крутого 2-го удачно сочетается с кровью Света. При соединении Ловчий – Талочка мы повторяем уже исторически проверенное и крайне удачное сочетание линии Крутого 2-го с линией Света. Далее это сочетание даст инбридинг по схеме 6+5 на Света, что крайне интересно, ибо Свет был не только резв, но и замечателен сам по себе. Точно так же сочетание Ловчий – Талочка дает инбридинг на Даре по схеме 5+5. Последнему инбридингу я придаю исключительно важное значение по целому ряду оснований. Прежде всего потому, что Ловчий не столько Кронпринц, не столько Громадный, сколько Дар. Я утверждаю на основании изученной иконографии предков Ловчего, что этот жеребец очень близко, правда в улучшенном виде, отражает по своим формам Дара, а не кого-либо другого из своих знаменитых



Ловчий (Кронпринц – Леда) завода Я. И. Бутовича



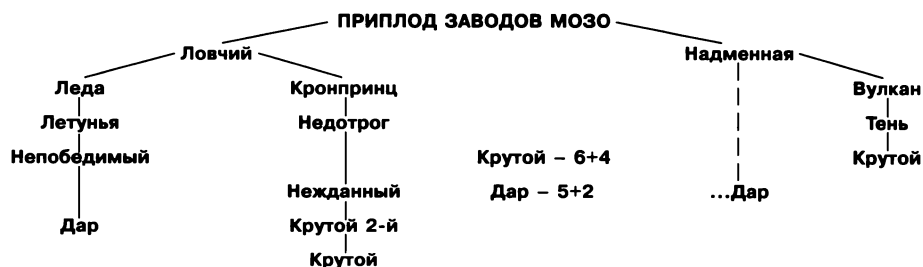
Ловчий в возрасте двух лет

предков. В свете сказанного инбридинг на Дара представляет особенный интерес и приобретает первостепенное значение. Если Ловчий типичен как Дар, не менее типична как внучка Дара Тайна. Это особенно важно для данного сочетания, ибо Тайна – бабка Талочки, которую я предлагаю покрыть Ловчим. Таким образом, типично даровский жеребец и кобыла из типично даровской семьи будут повторять

при сочетании Дар – Ловчий – Талочка имя Дара, а стало быть, есть все шансы предположить, что ген Дара возьмет перевес и на фоне великолепной в остальном родословной будущего приплода Дар выявится особенно ярко. Теперь еще одно положение, в силу которого я настаиваю на данном сочетании: не только Свет хорошо сочетался с Даром (новый пример этому сама Летунья, внучка Дара и правнучка Света; мать Летуньи, Ласка, была единственной представительницей крови Света в заводе Соловových, и от нее и сына Дара родилась Летунья), но и сын Света Светило дал классный приплод от внуков Дара – Боярина, Борца и других. В заключение нельзя не заметить, что Дар принадлежал к числу тех жеребцов, инбридинг на которых в подавляющем большинстве давал хороший, а часто и выдающийся результат. Словом, Дар принадлежал к числу жеребцов, переносящих инбридинг, и это должны учитывать в своей работе молодые зоотехники, ибо далеко не все даже самые знаменитые жеребцы терпят инбридинг и порой вместо ожидаемого улучшения в приплоде дают резкое ухудшение. Сказанного вполне достаточно, дабы признать насущную необходимость если не в этом, то хотя бы в будущем году сочетать Талочку с Ловчим.

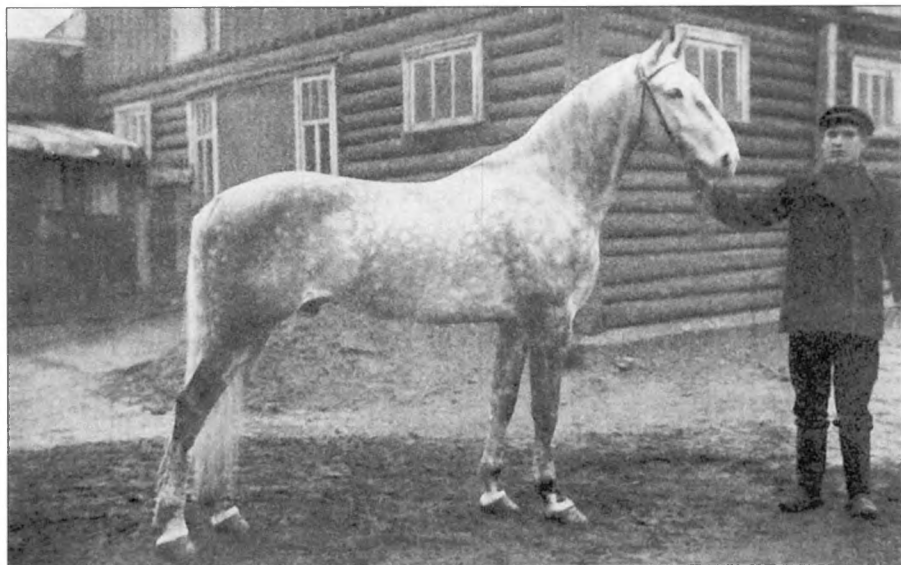
Оставаясь в кругу семьи Дара, я укажу еще на одну кобылу, которую, с моей точки зрения, необходимо покрыть Ловчим. Я имею в виду вороную, первоклассную по резвости Надменную, которая продуцирует в заводе МОЗО. Надменная до сего времени не дала приплода, достойного такой замечательной кобылы, и, думаю, не по своей вине. Тем более следует сделать ей такой подбор, который бы вполне оправдал себя. Конечно, заводская работа не есть работа в аптеке, где, отвеживая на весах разные специи, получают в конце концов порошок нужных качеств. В коннозаводстве вы сплошь и рядом делаете идеальный подбор – и получаете плачевный результат! Однако этим нельзя смущаться, ибо исключение из правил или же случайность всегда возможны, когда вы имеете дело с живым организмом. Кладите в свою заводскую работу опыт прежних коннозаводчиков, инбридируйте таких жеребцов, в отношении которых примерами из прошлого доказано, что они «любят» инбреды на себя, и в большинстве случаев вы получите утешительные результаты.

Сочетание Ловчий – Надменная дает следующую генеалогическую картину:



Не имея под руками заводских книг, я не могу установить, является ли Надменная внучкой или же правнучкой Дара. Поэтому я поставил перед именем Дара в схеме многоточие.

Сочетание Ловчий – Надменная интересно прежде всего как повторение имени Дара через двух таких выдающихся бойцов ипподрома, как Ловчий и Надменная. О деталях повторения крови Дара сказано выше. Что же касается повторения имени Крутого, то ему я придаю не меньшее значение, чем повторению имени Дара, и вот почему: старый вороной Крутой, отец знаменитого призового рысака Крутого 2-го, сам не был знаменит на ипподроме, зато широко прославился в заводе, где давал и первоклассных рысаков (Крутой 2-й, Дивный), и большой процент бегущих, и, наконец, выдающихся заводских маток, среди которых его



Нежданый

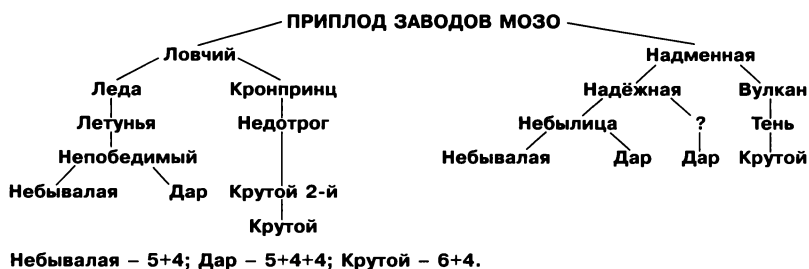
дочь Тень была одной из лучших заводских маток в России. Я мог бы привести массу интересных подробностей о Крутом, но не буду этого делать здесь, так как я все рассказал о нем в моих воспоминаниях, которые когда-нибудь увидят свет. Все эти сведения о Крутом были мною собраны из первоисточника, то есть в заводе Терещенко, от старых служащих, хорошо знавших этого жеребца. Крутой принадлежал к числу тех жеребцов, инбридинг на которых давал превосходные результаты. Наиболее яркий пример тому – заводская деятельность Мовы, Нирваны и ее матери Награды, не говоря уж о других. Вот почему в проектируемом сочетании Ловчий – Надменная интересно повторение имени старого Крутого. Оно в данном случае тем интереснее, что этот жеребец повторяется через лучшую свою дочь Тень, а со стороны Ловчего – через боевую и дошедшую до нас линию Крутого 2-го. Для молодых работников сообщу, что инбридинг на Крутого или же Крутого 2-го возможен, кроме данного случая, только через Нежданного – сына Крутого 2-го, Недотрога и Несносного, но это нежелательно по следующим обстоятельствам. Повторяя старого Крутого или Крутого 2-го через Нежданного, мы отходим от типа Крутых, ибо Нежданый был больше Молодцом (по линии матери), чем Крутым. Кроме того, у Нежданного был отвратительный характер и ни он, ни его дети не терпели езды по общей дорожке. Таким образом, повторение Крутых, отца и сына, через Нежданного наряду с положительными качествами Крутых может усилить отрицательные качества Нежданного. Повторение через Несносного нежелательно потому, что этот жеребец не имел класса. Наконец, повторение через Недотрога, сына Нежданного, усиливая нежелательные (отрицательные) качества Нежданного, может добавить таковые же и от Недотрога – мелкий рост и не всегда удовлетворительную спину. Таким образом, хотя через этих жеребцов Крутые и повторяются, но их положительные качества утонут в отрицательных качествах их сына и внука. Вот почему я не считаю возможным и интересным инбридинг на Недотрога и его отца Нежданного. Это следует иметь в виду тем лицам, которые работают с лошадьми этой крови. Других же сколько-нибудь заметных представителей (в мужской линии) Крутого и Крутого 2-го ныне нет. Приведенный пример должен быть понят и учтен генеалогами и лицами, производящими подбор, в том смысле,

что далеко не достаточно простого инбридинга на того или иного, подчас и очень интересного, жеребца, чтобы обеспечить хороший результат. Надо знать всю совокупность как положительных, так и отрицательных качеств жеребца, на которого производится инбридинг, все хорошо взвесить и только тогда решить, можно ли инбридировать, скажем, Нежданного или его деда, знаменитого старого Крутого, через Нежданного или же нет. Я слышал во время моего процесса (15–18 октября 1928 года в тульском губернском суде) от Н. И. Паншина, что ныне, после опубликования работы Витта, все деятели от мала до велика бредят инбридингом. Я признаю работу Витта классической, но и она несвободна от промахов. Главнейший из них заключается в том, что нигде и ничего не сказано о тех жеребцах, которые хорошо «несут» инбридинги, и о том, что, делая инбридинг, надо не только повторять того или другого жеребца и этим объяснять все качества данной лошади, но и критически оценивать самую возможность инбридинга в каждом конкретном случае (пример с Нежданным – Недотрогом). Сама по себе линия Крутого 2-го через Нежданного представляет большой интерес, определенно прогрессирует и имеет большое значение в современном коннозаводстве, но успех этой линии зиждется на удачных кроссах, а отнюдь не на инбридинге прямой мужской линии. Это необходимо отметить не только по отношению к данной линии, но и по отношению ко многим другим (я не считаю возможными, вернее, нужными также инбридинги среди Лесков, Летучих и Вармиков), что в блестящей работе Витта не сделано. Кроме того, им упущены и другие факторы, которым, например, выдающийся коннозаводчик Родзевич придавал большое значение. Это вопросы характера и темперамента (сердца) лошади. При инбридинге это также должно учитываться, почему и следует для лучших современных рысаков завести своего рода послужные списки или карточки, где, помимо рекордов, веса, промеров, указывать иные данные: стойкость, характер хода, темперамент, экстерьер, пороки и прочее. При инбридинге все это должно приниматься во внимание, а не одна только генеалогическая сторона вопроса. Для меня совершенно ясно, что раз инбридинг на Дара или, скажем, на Полканов, то есть жеребцов прошлого, дает хороший результат, то это значит, что названные жеребцы и лучшие их потомки, которые обычно и инбридируются, свободны от отрицательных качеств или что достоинства берут в них верх над недостатками. В отношении таких лошадей уместен и возможен только генеалогический подход: с одной стороны, они давно сошли со сцены и дополнительные к генеалогическим данные (характер, сердце, экстерьер) не всегда могут быть установлены, а с другой стороны, исторические примеры показывают полную целесообразность инбридингов на таких жеребцах. Тут можно действовать спокойно и более или менее уверенно. Но совсем не то с инбридингами на еще не испытанных, хотя и знаменитых лошадей. Представьте себе, что мы будем инбридировать Леска. Наряду с повышением резвости и большим процентом бегучих мы получим мелких и косолапых лошадей, то есть наряду с положительными качествами Леска закрепим и его отрицательные стороны. Само собой, что это не может входить в задачу разведения. Отдавая должное линии Леска, вполне ценя и признавая ее как весьма интересную, я бы вел работу с ней отнюдь не через инбридинг, а стремился бы соединить ее с такой линией, которая парализует, а не усилит отрицательные качества Лесков. Это, конечно, путь более долгий и трудный, не для всех новоиспеченных «знатоков» доступный, но зато более верный, который сулит появление выдающихся представителей разных линий, и притом со вполне хорошим, а часто и выдающимся экстерьером. Ни для кого не секрет, что несколько лет вся генеалогическая работа на орловских государственных заводах, кроме Прилепского, велась на почти вытеснение других линий и замену их любыми линиями Леска, Корешка и Вармика. Резвых, и даже весьма резвых лошадей, точнее, лошадок мы действительно получили, но настоящих орловских

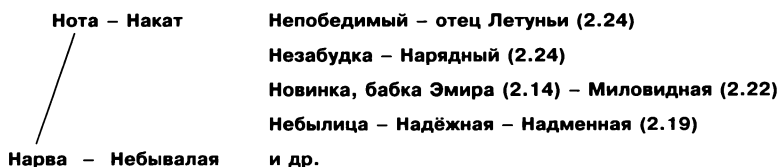
рысаков среди них я что-то не вижу, почему и полагаю, что Прилепский завод ничего не проиграл, работая со старыми кровями. Когда же в этот завод был всунут Барин-Молодой, он не только не повысил, а понизил рост и экстерьер ставок. И это при отсутствии в заводе инбридинга на Вармиков (имей он место, было бы еще хуже). Впрочем, старые орловские крови, которыми так богат Прилепский завод, сделают свое дело и на этом фоне. Барин-Молодой, вероятно, даст, точнее, уже дал классных лошадей, которых мы скоро и увидим по бегу. Однако ничего великого и истинно замечательного по экстерьеру я не жду. Все те вопросы, которых я коснулся, должны быть разработаны в будущих трудах Витта, появления которых я жду с большим интересом.

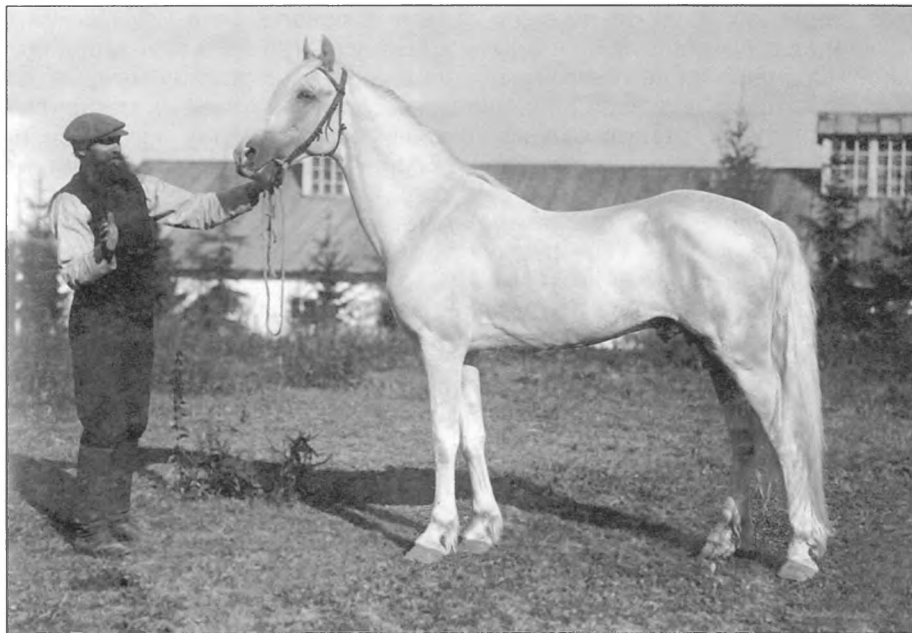
Оставляя за собой право в следующий раз высказаться о том, что, по всей вероятности, принесут инбридинги на Корешков, а затем инбридинги в одной родословной на Корешка, Леска и Вармика, я сейчас подведу итог своим размышлениям о сочетании Ловчий – Надменная. Это сочетание сулит большие возможности: оно повторяет Дара, повторяет старого Крутого (не повторяя при этом Нежданного и Недотрога), интересно в экстерьерном отношении, крайне удачно с точки зрения темперамента сочетаемых лошадей (у Ловчего нет избытка сердца, его много у Надменной), соединяет двух первоклассных по резвости особей и, наконец, гармонично в смысле характера хода как Ловчего, так и Надменной. Будет очень жаль, если Витт, которому я об этом вкратце писал, не воспользуется столь богатыми возможностями.

Я уже закончил писать об этом сочетании и тут вспомнил, что у меня здесь есть две коннозаводские книги: книга Коптева и Племенная книга, первый том с предисловием Витта. В одной из них, в главе о Даре, я нашел именно те данные, которых мне не хватало, когда я начал писать о сочетании Ловчий – Надменная. Эти данные значительно углубляют интерес к проектируемому сочетанию, почему я на них и останавлиюсь. Однако прежде дам схему сочетания в дополненном виде:



Как Непобедимый, так и Надёжная, мать Надменной, происходят от лучших солововских лошадей и относятся к числу тех, кто создал славу солововского завода. Действительно, мать Непобедимого Небывалая дала еще Незабудку, мать превосходного по себе Нарядного, много способствовавшего успеху заводов Чиркина и Куприяновых; затем от нее были Новинка, мать хреновской Миловидной, бабка Эмира, и Небылица, мать Надёжной, от которой классная Надменная. Небывалая была дочерью Нарвы, которая также дала Ноту, мать знаменитого Наката, ушедшего за границу. Вот маленькая схема значения этой женской линии.





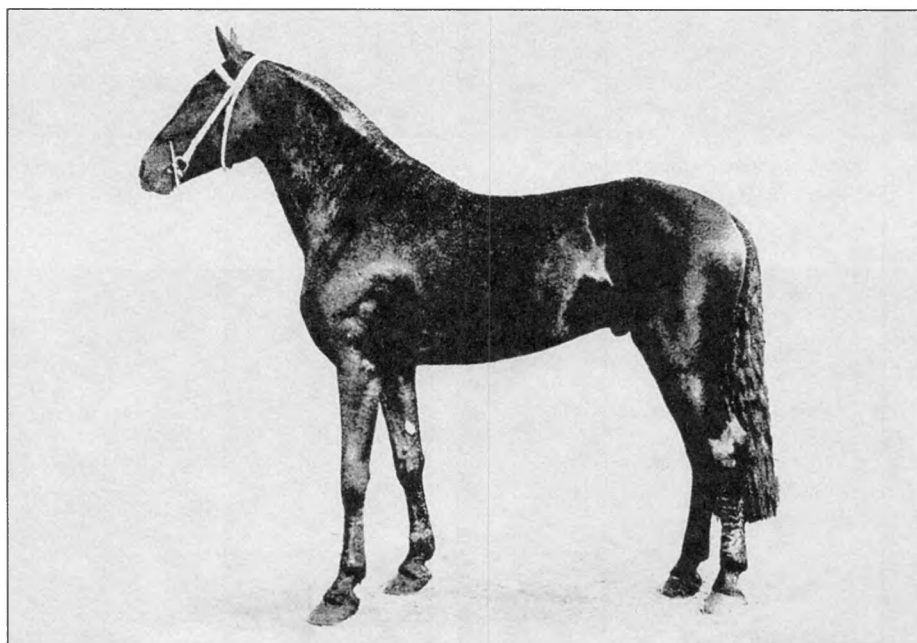
Кронпринц



Эльборус



Бубенчик



Вий



*Ветрогонка (Пегас – Весна)
завода М. А. Сахарова*



*Ундина (Паша – Улыбка)
завода С. А. Терещенко*



*Греми (Барон – Гориславна)
завода М. Н. Голицына*



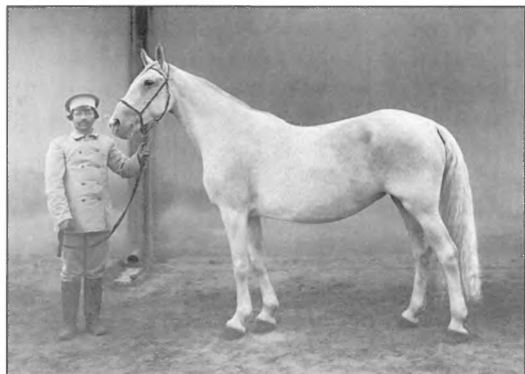
*Атланта (Паша – Ариадна)
завода Л. Д. Вяземского*



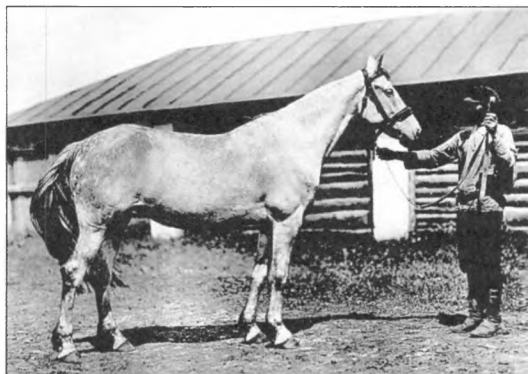
*Офелия (Кумир – Полканша Свирепая)
завода Хрущева*



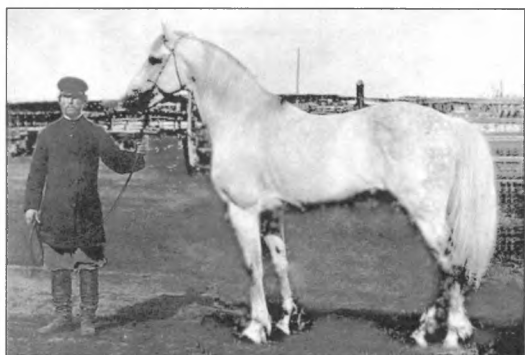
*Скала (Дудак – Соболина)
завода М. Н. Голицына*



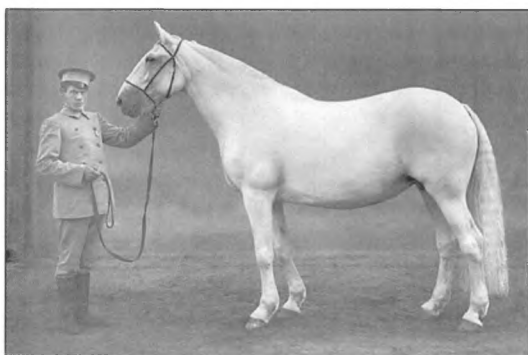
*Комета (Машистый – Краля)
завода Е. Г. Афанасьева*



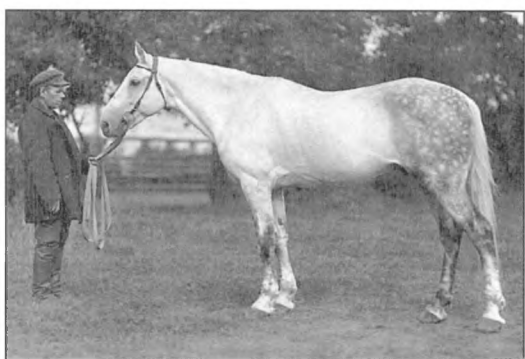
Удачная



Утёс



*Летунья (Непобедимый – Ласка)
завода Петрово-Соловова*



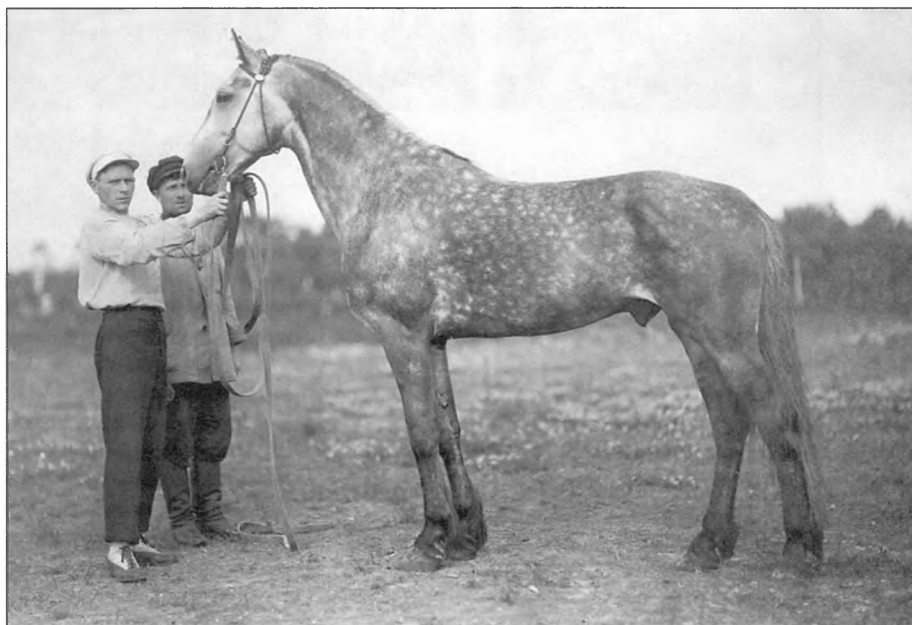
Зонтик



Ветерок



Курск



Кумир

Таким образом, Нарва является родоначальницей знаменитого женского семейства и закрепление ее имени при сочетании Ловчий – Надменная представляет чрезвычайный интерес. Следует также иметь в виду, что мать Надменной несет, как дочь Туза, третью струю даровской крови. В конечном счете сочетание Ловчий – Надменная дает нам Дара в цифровом обозначении 5+4+4, Небывалую – 5+4 и Крутого – 6+4. Полагаю, что всякий, кто имеет хоть малейшее представление о генеалогии орловского рысака, поймет, что в интересах породы Надменная должна быть покрыта Ловчим.

С тех пор как я себя помню, я любил слушать рассказы о лошадях – сначала своей няни, потом, когда подрос и убежал от гувернанток на конюшню, наездника Загуменного, служившего у отца, а позднее – рассказы всех тех лиц, с которыми я встречался и которые разделяли мою страсть к лошади. Я стал изучать коннозаводство, зачитывался Коптевым, с пятого класса кадетского корпуса принялся писать в спортивные журналы и решил заносить в свои тетрадки все интересное о лошадях. К сожалению, через год или два я бросил эту работу и ряд лет не прикасался к ней. У меня была замечательная память, и я решил, что не стоит терять время на записки, так как и без них я прекрасно помнил все слышанное или рассказанное мне о той или другой лошади. В жизни сплошь и рядом приходится встречать людей, обладающих изумительной, но, что называется, односторонней памятью: она как бы специализировалась и удерживает лишь то, что касается интересующего их вопроса (лошади, числа, хронология, генеалогия и прочее), и обходит все то, что их не интересует. Я обладал именно такой памятью: помимо тысяч имен лошадей почти наизусть знал заводские книги, все заводы, всех коннозаводчиков. Словом, все, что касается лошади, в особенности рысистой, легко и прочно оседало в памяти, почему и казалось, что нет надобности в записях. С другой стороны, я очень быстро, чуть ли не на другой день, забывал многое «постороннее»: почти не помнил своего детства, через две-три недели после прочтения забывал героев «Мёртвых душ», «Войны и мира» и других произведений наших великих писателей. Такова была моя память, и мне казалось, что она никогда не изменит мне. Однако по мере вступления на более широкую арену жизни, по мере увлечения разнообразными дисциплинами науки, искусством и собирательством я заметил, что моя память уже не так четко мне служит, как в годы молодости. Правда, я по-прежнему превосходно запоминал все, касавшееся лошадей, но иногда отдельные детали или интересные штрихи все же ускользали от меня и я не мог их припомнить. Тут-то я и решил вновь взяться за ведение памятных тетрадок и вел их довольно регулярно. Моя память до моего ареста была все еще замечательна, и эти записи позволили мне написать тот исторический труд, который в форме воспоминаний воссоздает, в сущности, целую эпоху в нашем коннозаводстве, дает характеристику сотен лошадей и коннозаводчиков и охватывает многие вопросы коннозаводского прошлого. Труд этот после шести тысяч страниц еще не закончен, и вряд ли ему суждено быть законченным так же обстоятельно и добросовестно, как он был начат и веден мною в течение двух-трех лет. Вина в этом не моя, а тех, кто сделал все, чтобы посадить меня в тюрьму...

Теперь, когда я пишу в полутемной камере эти строки после девятимесячного заключения, после тех трагических событий, которые я пережил, моя память настолько ослабела, в голове имена, исторические даты, события, отдельные лошади и люди так перемешались, что без справок и записей я уже писать и работать не могу. Приведу только один, зато яркий пример ослабления моей памяти. Кто из лиц, интересующихся орловской породой, не помнит, что великий хреновский производитель Полкан 3-й был сыном Ловкого 1-го! Я думал, что во всей республике не найдется ни одного охотника, кто бы не знал этого, не говоря уже о прежних временах и прежних охотниках. И вот я, сидя в тюрьме и много думая о лошадях, стал

припоминать, кто был отцом Полкана 3-го. И припомнить не мог! Это было ночью, в те долгие и тяжелые часы, когда вы задыхаетесь от духоты, скверных испарений, страдаете от тесноты, спите в камере, которая рассчитана на двадцать пять человек, а населена шестьюдесятью! В такую кошмарную ночь я думал о Полкане 3-м и не мог вспомнить его отца. В течение двух недель все мои усилия извлечь из памяти это имя были тщетны. В июле этого года по моей просьбе Крымзенков прислал мне Племенную книгу. Я лихорадочно открыл ее, сейчас же нашел Полкана 3-го и узнал, что его отцом был Ловкий. Как мог я забыть происхождение Полкана 3-го, того Полкана 3-го, о котором я написал груды бумаг, перед которым преклонялся, который стал величайшим производителем всех времен и о котором я говорил так много, что покойный Измайлов в шутку меня самого называл Полканом?!

Да, теперь, в том состоянии, в котором я нахожусь, я не только потерял память и здоровье, но, вероятно, потерял и жизнь. Пусть будет, что будет.

Как бы тяжело ни приходилось человеку, в каких бы ужасных, в смысле физических и моральных страданий, условиях он не находился, надежда вернуться к прежней жизни и прежней деятельности все же не покидает его. В такие минуты я берусь за карандаш и записываю свои мысли в эту тетрадь; или открываю коннозаводские книги Коптева и Витта (буду так называть первый том Племенной книги), читаю, вспоминаю, переживаю и надеюсь. Однако положиться на свою память я уже не могу, и если узнаю что-либо интересное, то сейчас же записываю. Правда, здесь, в обстановке полной изолированности от света и нормальных людей, узнать, да еще о лошадях, можно немного, тем не менее и в Тульской тюрьме я встретил двух лиц, рассказ которых о лошадях записал на клочке бумаги и теперь переносу его в эту тетрадь, чтобы не забыть и воспользоваться им, если мне суждено когда-либо писать мои воспоминания по коннозаводству. Начну с рассказа Карпова, который я услышал в Тульской тюрьме.

Это было в конце июня в 25-й камере – камере растратчиков, как ее называли. Недели за две до этого меня привезли в этапном порядке из Бутырской тюрьмы в Тульскую, где по месту совершения мною «преступления» должно было слушаться мое дело. В тюрьме люди знакомятся быстро, а общее несчастье и бесправное положение заключенных скоро сблизает их друг с другом. Не буду говорить здесь об обитателях 25-й камеры, а прямо перейду к рассказу Карпова о жеребце Кудеснике, но прежде познакомлю вас с самим рассказчиком.

Карпов происходил из купеческого класса. На мой вопрос о семье так отвечал: «Наши отцы торговали». Словом, он принадлежал к купечеству, однако не городскому, а тому купечеству, которое вышло из крестьянства и не порвало связи с деревней. Карповы торговали в селе Сергиевском, лежащем на большом тракте между Тулой и Орлом. Сергиевское – богатейшее село князей Гагариных, обставленное ими чисто по-городскому. Там были мощеная улица, первоклассная больница, водопровод и электричество. У Карпова в Сергиевском была крупорушка, и этим делом, а равно и ссыпкой хлеба занимались и он, и отец его, и дед. Так вот с этим-то Карповым, которого звали Сергеем Никифоровичем, я и познакомился в Тульской тюрьме. Попал он сюда по 107-й статье, по обвинению в скупке гречи, и, просидев восемь месяцев, был затем за недоказанностью преступления освобожден. Это был коренастый, среднего роста, весьма плотный человек, с тонкими чертами довольно красивого лица, развитый и неглупый. Карпов был поклонником Льва Толстого и его произведений. Он хорошо их знал, любил цитировать и восхищался их реализмом и красотой. Его дядя лично знал Толстого, а его приятель, старик урядник из Ясенков, много интересного рассказывал ему о том времени, когда Лев Толстой еще вызывал в Ясную урядников. Эти рассказы были очень увлекательны, и Карпову следовало бы их изложить и отправить в толстовский музей. Словом, с Карповым можно было

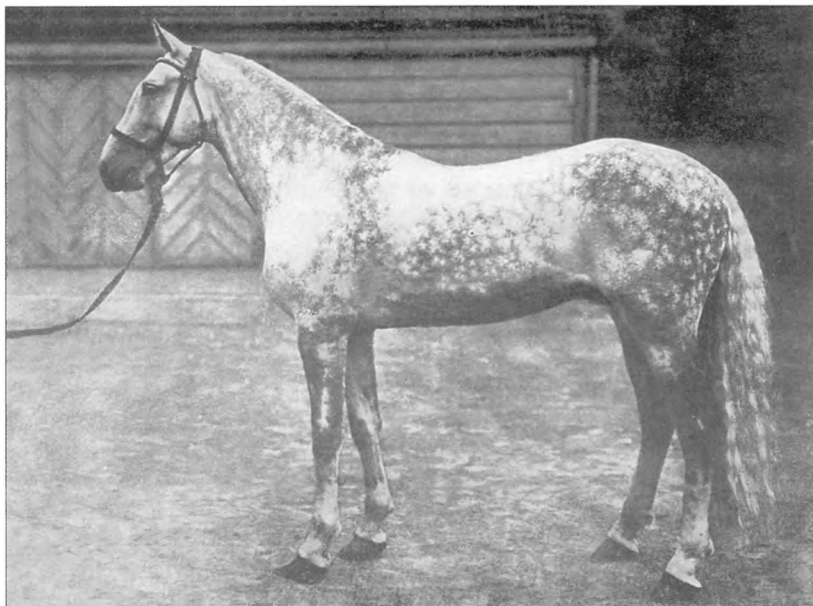
поговорить. По роду своей деятельности он много разъезжал по тульским имениям и хорошо знал этот край.

Я задал ему вопрос, бывал ли он на конских заводах, и от него узнал, что ему известен завод С. Н. Попова и он хорошо помнит знаменитого Кудесника. Сын Залётного Кудесник – лошадь очень интересная, оставившая заметный след в рысистом коннозаводстве, а потому описание ее, сделанное очевидцем, не может не привлечь внимания. Я просил Карпова возможно подробнее рассказать мне о Кудеснике и попутно о заводе Попова, что тот охотно и сделал. Вот рассказ Карпова так, как я его слышал.

«Попов очень любил Кудесника и считал его знаменитой лошадейю. Бывало, приедешь к нему в имение, после чая поговоришь о делах, купишь гречу или хлеб, и затем Попов обязательно предлагает идти на завод. Сначала мы подойдем к деннику Кудесника, а потом Сергей Николаевич велит вывести жеребца наружу. Кудесник был страшно злой: как только мы подойдем к деннику, сейчас же заложит уши и бросается к решетке, желая укусить или схватить вас зубами. Строгости Кудесник был непомерной, и только один конюх, который ухаживал за ним, без боязни входил к нему в денник. Я много раз видел Кудесника на выводке. Попов любил его показывать, так как гордился им. Кудесник был крупной лошадейю, вершков четырех или четырех с половиной, никак не меньше. На выводке оставался так же строг и держал уши назад. Был очень сух, широк в заду, имел ровную спину. Был страшно породный. Хорошая была лошадь, настоящая! Попов рассказывал мне, что он его перекупил. Добрынин, в заводе которого родился Кудесник, очень его ценил: Кудесник хорошо ехал и брал призы. Однако Добрынин соблазнился ценой и неожиданно для всех тульских охотников продал его за 7000 рублей за границу. Когда туляки об этом узнали, они были возмущены, и Попов, человек богатый и в то время получивший наследство, решил перекупить жеребца. Он заплатил берлинскому еврею-барышнику 10 500 рублей и увел жеребца к себе в Ефремовский уезд. Кудесника Попов считал родоначальником своего завода и ни за какие деньги не соглашался крыть с ним чужих кобыл. Исключение из этого правила он сделал раз или два для своих друзей. Станный был человек. Высокообразованный, богатый, говорил на двух мертвых и пяти живых языках, имел ученую степень, был директором тульской гимназии, называл себя патентованным педагогом, а своими делами распорядиться не умел: завод вел плохо, имение под конец прокутил, хозяйство не знал, так что самый последний мужичонка мог его обмануть. Женат был на Любви Ефимовне, которую взял из известного заведения. Да, чудака был человек!» – так заключил свой рассказ Карпов.

Позволю себе сделать некоторый комментарий к этому рассказу. Прежде всего заслуживает большого внимания указание Карпова на то, что Кудесник был страшно зол и отбил от езды. Среди детей Залётного было очень много строгих лошадей, но не отбойных. Очевидно, эту последнюю черту Кудесник наследовал от своей матери, знаменитой Чародейки Черкасской, дочери Волшебника. Как многим охотникам известно, мне принадлежал серый Молодец (2.17), бабка которого, Весёлая, тоже была дочерью Волшебника. И что же? Молодец был так же безумно строг, не впускал к себе в денник никого, кроме своего конюха, и под конец отбил от езды. Сопоставляя эти данные с рассказом Карпова, следует сделать вывод, что и Кудесник, и Молодец – оба наследовали такой характер по Волшебнику, который был объединяющим звеном их родословных. Вот, стало быть, каким характером наделял знаменитый Волшебник некоторых своих потомков, и в современной заводской работе, делая тот или иной подбор и встречаясь с именем Волшебника, надо это учитывать.

Далее обращаю внимание на то, что Кудесник был крупной лошадейю. Стало быть, и в этом он пошел в породу Волшебника, а не своего деда Залётного, который и сам



Недотрог (Нежданный – Булавка) завода П. Г. Миндовского. Победитель Императорского приза. Производитель в заводе Я. И. Бутовича

был мелок, и редко, как исключение, давал крупных лошадей. В точности рост Залётного никому не известен, ибо записей об этом в заводских книгах Добрынина не сохранилось, равно как нет данных о росте Залётного и в других источниках. О том, что Залётный был мелок и давал некрупных лошадей, я узнал от Офросимова и вот при каких обстоятельствах.

Это было давно. Мой завод только что пришел из Херсонской в Тульскую губернию. Я был новый человек и в Прилепах, и в губернии. Ближайший мой сосед Офросимов, которому я успел сделать визит, приехал ко мне с ответным и, само собою разумеется, стал смотреть завод. Производители показывались на выводке. Мнение Офросимова, как одного из старейших коннозаводчиков губернии, мне было интересно и дорого, а потому я не без волнения следил за ним. Производителей у меня в то время было несколько. Провели Молодца, и Офросимов, найдя его грубым, не похвалил. Второй жеребец, Кошут, ему явно не понравился, но из любезности он промолчал. «Что-то будет с Недотрогом?» – подумал я (тот был мелок – три вершка кованный – и имел только удовлетворительные шею и спину, хотя и был страшно сух и породен). Офросимов, увидя Недотрога, положительно пришел в телячий восторг и все приговаривал: «Да ведь это вылитый Залётный, просто такой же!» «Ну и похвалил ты Залётного», – подумалось мне в тот момент, когда уводили Недотрога. Вот как узнал я, что Залётный, который в моем воображении был знаменитым красавцем, был мелок и похож на моего Недотрога.

Добрынин хорошо знал своих лошадей, ибо он высоко ценил Кудесника и не ошибся в нем. Даже в заводе такого чудака, каким был Попов, Кудесник дал много резвых и выдающихся по себе лошадей. Я знал многих его детей и сейчас, когда пишу эти строки, вспоминаю замечательного по типу и формам белого Кобчика 6-го, сына Кудесника, который поныне состоит в Тульской заводской конюшне. Именно таким был, вероятно, и его отец.

Второй рассказ, услышанный мною в 25-й камере, касается одной из лошадей моего завода. Рассказал крестьянин, фамилию которого я не помню и который попал

в тюрьму за бытовое преступление. Прежде чем передать этот рассказ, я должен поведать о том, что десять лет тому назад из моего завода были уведены четыре двухлетние кобылы, которые затем как в воду канули. Рассказать об этом событии необходимо, потому что, как увидит дальше читатель, оно имеет связь с тем, что я услышал десять лет спустя в Тульской тюрьме.

Было то тревожное, неопределенное время, которое столь характерно для первого года нашей революции. Никто не знал, во что выльются происходящие события, чем кончатся грозные раскаты революционного грома, наступит ли ясная погода или ливни и бури сметут с лица земли русской почти все, и без того непрочные, ростки культуры. Жить в такие годы не только страшно, но омерзительно: все звериное в человеке вдруг бурно и как-то сразу обнажается. Каждый день приносил известия о новых убийствах, поджогах, грабежах, а иногда и невероятных зверствах. Все, что казалось таким близким, родным, таким неизбежно прочным и устоявшимся, в эти страшные дни развевалось как дым. Повторяю, это был тяжелый, а для нас, помещиков, еще и поворотный год...

Нелегко было этой осенью и в Прилепах: агрессивное настроение крестьян, систематические кражи из подвалов, кладовых и амбаров, стогов сена с лугов, ежедневные объяснения с обезумевшими от власти и свободы людьми создали не только нестерпимо тяжелую, но прямо-таки гнетущую обстановку. Содержать завод становилось все труднее и труднее: кормов не хватало, работники разбежались, а тут еще начались поджоги и убийства, загорелись помещичьи усадьбы, пока еще главным образом дальние хутора, но уже шли разговоры о том, что пораде громить имения, разбирать скот, инвентарь, а бояр убивать или, в лучшем случае, гнать из насыженных ими «вороньих гнезд», как говорили тогда с легкой руки эсеров крестьяне.

Слухи о том, что крестьяне окрестных деревень собираются громить Прилепы, стали доходить до меня через верных людей. Тогда-то я и решил лучших лошадей развести или спрятать в городе, на хуторах и у знакомых прасолов и мельников. Сделать это надо было тихо, без огласки, ночью, чтобы никто не знал. Четырех двухлетних кобыл, среди которых были две дочери Громадного, Рабыня и Псковитянка, я решил отправить на Красный хутор. На хуторе начиная с осени жил один только сторож, стоял хутор в стороне, и мне казалось, что там кобылы будут в безопасности. Ночью с большими предосторожностями их сдали сторожу, который клялся, что их сбережет, будет кормить и никому не скажет, что они у него спрятаны.

Красный хутор был составной частью прилепского имения, и во времена прежнего владельца Добрынина туда на все лето переводили заводских маток. Хутор стоял на опушке небольшого сведенного леса, который вновь успел подняться и живописно выделялся на горизонте своей яркой и вместе с тем нежной зеленью. Место было высокое, и далеко кругом видны были окрестности: вся прилепская усадьба как на ладони, ясно просматривалась дорога на село Кишкино с его белой церковью, далее синели лутовиновские леса. Река Упа текла здесь особенно причудливо, извиваясь, и составляла едва ли не лучшее украшение этого и без того замечательного пейзажа. Южный склон на Красном хуторе был обращен к реке и полого спускался к лугам. Добрынин очень удачно выбрал место для своего табуна. Это был удобный прогон для маток. Именно в этом месте река делала крутой поворот и затем, неожиданно выпрямившись, текла ровной лентой к селу Ламинцеву. Таким образом, на этой стороне реки образовался почти полуостров в восемнадцать-двадцать десятин. Не менее живописна была местность и по ту сторону реки: здесь к Упе, почти к самым ее берегам, подступали кручи, покрытые лесами, и только узкая тропинка да одноколейная дорога отделяли реку от лесов. Эти леса начинались мелким кустарником когда-то сведенного леса, принадлежавшего крестьянам окрестных деревень. Вслед за кустарником орешника, боярышника, липы, осины и черемухи поднимались зеленые столет-

ние гиганты, вознося свои верхушки к ясному небу. То были леса так называемой казенной засеки, которая на многие десятки верст тянулась по направлению к Калужской губернии. Словом, здесь был тот мирный, спокойный, трогательно печальный и вместе с тем не лишенный величия русский пейзаж, который сильно действует на нас и вносит столько успокоения в душу. Я любил Красный хутор, любил открывавшийся оттуда мирный сельский вид, подолгу любовался им, бродил по лугам, сиживал на берегу реки, гулял и отдыхал там душой и телом. Хорошее это было время, и я благословляю судьбу, что есть о чем вспомнить и кого помянуть...

Постройки на Красном хуторе были еще времен Добрынина. Здесь находилась лишь одна конюшня с пригоном, старая, покосившаяся, сделанная из бревен (в центре были когда-то денники для лучших и более старых кобыл, а в крыльях – прямо сараи). Поодаль стояла избушка сторожа, ранее служившая конюховской, да высоко поднимался журавль над полуразвалившимся теперь колодцем. Крыша была железная, окрашенная в красный цвет – почему и хутор был назван Красным.

Вот на этот-то Красный хутор и были ночью двумя верными конюхами приведены и здесь укрыты четыре двухлетние кобылки из Прилеп. Однако не прошло и недели, как управляющий доложил мне, что кобылы уведены ночью или украдены, а сторож исчез. Я очень жалел о случившемся, но время стояло такое, что жаловаться было некому, а искать опасно. Пришлось примириться с потерей. Особенно я жалел Рабыню, которая была выдающейся кобылой. С тех пор об этих кобылах не было ни слуху ни духу. Само собой разумеется, что других лошадей я больше не пытался нигде и ни у кого прятать, решив оставить на волю Божью в Прилепах – будь что будет! И вышло хорошо: завод уцелел и ныне составляет украшение хреновских табунов.

Узнать судьбу одной из четырех украденных кобыл мне удалось через десять лет. И где же? В Тульской тюрьме! Вот как это случилось.

Стоял тусклый, противный день. Дождь моросил с утра. Я подошел к окну и с тоской стал смотреть из-за решеток. Какое это тяжелое чувство – смотреть из тюремного окна на Божий мир и сознавать, что ты, быть может, обречен долгие годы провести в зловонном, пропахшем человеческими испарениями каменном мешке! Это чувство, которое надо испытать, чтобы его понять, и с которым невозможно примириться и освоиться. Гнетущая тоска охватила все существо, наступила одна из тех минут, когда не хочется жить. Кому из заключенных незнакомо это страшное чувство одиночества, тоски и беспросветной грусти?..

Я стоял и смотрел в окно. Перед глазами была все та же давно опостылевшая картина: грязное шоссе, ведущее к мрачному зданию тюрьмы, слева водокачка, немного далее винный погреб, справа от шоссе ларек ЦРК (Центрального рабочего кооператива), а дальше впереди – проулок, ведущий к Петровскому парку, верхушки деревьев которого виднеются и несколько скрашивают общую печальную картину. Сегодня день передач, и по шоссе двигаются люди, главным образом женщины, скромно или бедно одетые, несут кульки и кошелки с продуктами для заключенных. «Вот они, пчелки, с утра уж за работой», – сказал незнакомый мне голос. Я оглянулся. Рядом со мной стоял крестьянин и грустно смотрел в окно. «Почему пчелки?» – спросил я его. «Как же не пчелки? Ведь все мы, заключенные, трутни. Ничего не делаем, кормимся чужим трудом, а они нас кормят и работают на нас – стало быть, пчелки...» Он заговорил со мной. Это был развитый, спокойный и уравновешенный человек. Мало-помалу разговор перешел на лошадей. Я отвечал неохотно и односложно: на душе было тяжело и как-то не хотелось говорить даже о любимом предмете. Однако вопрос, который вдруг затронул мой сосед, заинтересовал меня. «А помните, как в первые годы революции у вас с хутора увели четырех кобыл?» Я поинтересовался, почему он задал мне этот вопрос. «Да вот, одна из этих кобыл у нас на селе», – последовал ответ. Я попросил своего собеседника рассказать, как она попала к ним, и вот что услышал.

«Когда привели из имения на хутор кобыл, сторож в ту же ночь дал знать плехановцам (это деревня в двух верстах от Красного хутора) и предложил увести кобыл, а ему дать денег, с которыми он и скрылся. Плехановцы – ребята бойкие, вор на воре сидит и вором погоняет. Они переправили кобыл в Сергиевское, а одну гнедую продали крестьянину в Телятники и рассчитались со сторожем. Вот эта-то гнедая кобыла сейчас и живет в Телятниках у моего соседа. Дал он за нее плехановцам 200 рублей, года полтора прятал ее у тестя в соседнем уезде, а потом привел домой. Ну и кобыла же вышла! Бежит, никто ее не обгонит, а в работе второй такой лошади нет во всей округе. Она и сейчас жива. Много было охотников ее купить, да он кобылу не продает. Милкой называет. И действительно, милая лошадь», – закончил свой рассказ крестьянин и просил меня никому об этом не говорить: вам, мол, ее все равно не вернут, а время, сами знаете, какое, отобрать может власть!

Так случайно и через много лет я узнал о судьбе уведенных у меня в начале революции кобыл. Три из них, вероятно также под именами Милок, Маток и Малюток, работают у крестьян, но живы ли они теперь, один Бог знает. Четвертая, и лучшая, находится вблизи Ясной Поляны, у крестьянина, и до сих пор жива. Так как среди уведенных кобыл лишь одна Рабыня была гнедой масти, то не подлежит никакому сомнению, что это именно она. Рабыня была выдающейся по себе двухлетней и как дочь Громадного и внука Залётного представляет очень большой коннозаводской интерес. Дочери Громадного оказались знаменитыми заводскими матками. Достаточно того, что Граница дала жеребца Победителя (2.11), Леда – Ловчего (2.13), Услава – Утёса (2.16, трех лет) и Украину (2.19), Колобородка – Кержанку (4.38), Литва – Ларчика (1.27) и Ливана (2.19), Незабвенная – Новобранца (2.19, трех лет), Благодать – Борьбу (2.18), Складка – Смеха (2.19, трех лет), Купля – Концессию (4.45) и т. д. Несомненно, что и Рабыня, одна из лучших дочерей Громадного в ставке того года, имеет все шансы стать выдающейся заводской маткой. Вот почему я написал В. О. Витту, рассказал ему в письме о Рабыне и советовал купить ее для заводов МОЗО. Отыскать в деревне Телятники владельца кобылы не составит труда. Будет ли это исполнено, сказать не берусь...

В госконезаводах в настоящее время все же имеется, хотя и небольшой, контингент кобыл – дочерей Эх-Ма. Так, в Хреновой – прилепская Ассамблея (2.27), своя Эмблема (2.20), в Моршанске – Незабудка и т. д. Вследствие этого весьма интересно сделать названным кобылам такой подбор, который, по крайней мере теоретически, был бы наиболее разумным и удачным. Прежде чем предложить свои соображения по этому поводу, я приведу три кратких педигри – самого Эх-Ма и еще двух жеребцов, состоящих с ним в родстве: оба они, по моему мнению, должны крыть дочерей Эх-Ма, и, обратно, Эх-Ма должен крыть их дочерей. Вот эти три педигри:

1. Эх-Ма (2.21) – Огонь-Молодой.
2. Удалой-Кролик (1.30; 2.16) – Милая-Моя, Барыш, Огонь-Молодой.
3. Турчонок (1.29; 2.19) – Турочка, Абсурд, Огонь-Молодой.

Нетрудно понять, что я предлагаю в родословных будущего приплода усилить имя Огня-Молодого, которое встречается у двух столь классных современных рысаков, как Турчонок и Удалой-Кролик. Помимо того, Огонь-Молодой является отцом весьма успешного производителя Эх-Ма. Это вынуждает нас обратить внимание на Огня-Молодого, повысить его, так сказать, в разряде и начать работу по закреплению его имени в будущих приплодах наших госконезаводов. Однако прежде чем дать окончательную схему сочетаний Эх-Ма – Турчонок – Удалой-Кролик, полезно сказать несколько слов об этой линии и ее мужском представителе – белом жеребце Эх-Ма.

Эх-Ма принадлежал молодому коннозаводчику А. В. Апушкину, который, сочтя его не только интересным, но и незаурядным производителем и купив его к себе

в завод, показал исключительное чутье коннозаводчика. Будущая заводская деятельность Эх-Ма вполне подтвердила эти надежды и предположения.

Эх-Ма был национализирован в Тамбовской губернии и там попал в весьма неблагоприятные условия существования. Он и его партнерша Младость (тоже принадлежавшая Апушкину) попали в один из совхозов, где заводская работа вовсе не велась. Вообще говоря, в Тамбовской губернии после революции коннозаводская работа так и не была налажена: там не нашлось преданного специалиста и фанатика из «бывших людей», который положил бы свои силы на спасение, а затем ведение конных заводов. Вот почему в Тамбовской, истари коннозаводской, губернии почти целиком погибли все рысистые заводы.

Приблизительно в это время мне пришлось по делам тульских заводов и стад приехать в Москву, в отдел животноводства. Там тогда царил Шемиот-Полочанский. Он свирепствовал и гнал «бывших» и, окружив себя плотной стеной ветеринаров всех мастей и оттенков, делал все, что заблагорассудится. Поездка из Тулы до Москвы была подвигом: попасть в вагон было невозможно, поезда ходили до Москвы по несколько суток, пассажирам самим приходилось на станции грузить дрова на паровоз. Словом, сейчас и самое живое воображение не представит себе, что за кошмар было это путешествие. Ездить мне приходилось не менее двух-трех раз за зиму для разрешения разных вопросов, главным образом кормовых, и за деньгами – без этого все культурное животноводство Тульской губернии погибло бы. Ехать поездом, вернее, попасть в вагон было совершенно невозможно, и вот тогда-то я стал ездить в Москву из Тулы на долгих. В простых розвальнях, на пожилом и втянутом в работу вороном мерине мы со Степаном Кучинским, кучером-поляком, на третьи сутки приезжали в Москву. И таким же порядком возвращались обратно. Утомительные это были путешествия, тяжело было ночевать в грязных и холодных избах, но чего не перенесешь во имя любви и спасения лошади. В одну из таких поездок Апушкин, который служил специалистом в отделе животноводства, указал мне на плачевное состояние конезаводов в Тамбовской губернии, просил спасти и взять в Прилепский завод Эх-Ма и Младость. Я, конечно, дал согласие, но Полочанский заупрямился и не дал разрешения на перевод этих лошадей. И все-таки судьба хранила Эх-Ма. В самых тяжелых условиях он прожил в Тамбовской губернии еще год или два. Когда антоновские банды громили советские хозяйства и уводили племенных лошадей, по просьбе Апушкина, который выхлопотал разрешение, я послал в Тамбовскую губернию за Эх-Ма и Младостью. В итоге обе лошади были приведены в Прилепы. Как просто теперь об этом писать и как трудно было тогда это осуществить! Банды Антонова свирепствовали в Тамбовской губернии, об этом писали в газетах. Все знали, что они не только порют советских работников, а подчас и расстреливают их, а потому никто из конюхов не согласился ехать из Прилеп в этот очаг террора. Однако моя настойчивость в конце концов взяла верх, и согласие ехать за лошадьми в страшный Тамбов, а потом и в уезд выразил нарядчик на маточном отделении Прилепского завода Илья Москаль. Москаль был военнопленный австрийского происхождения, еще до революции с партией таких же пленных командированный из Тулы ко мне в имение на сельскохозяйственные работы. После революции он хотя и не вошел в партию, но остался в республике, вошел во двор ко вдове Яремичевой и стал крестьянствовать в сельце Прилепы. Двор был бедный, запущенный, и по зимам Москаль служил на заводе нарядчиком, тем немного подрабатывая. Это был смелый, находчивый и решительный человек. Поехать за Эх-Ма и Младостью его пришлось соблазнить не только ценой: я выдал в виде премии 25 пудов овса. Москаль прекрасно выполнил поручение и привел обеих лошадей в Прилепы. Лошади прибыли со станции Сызрань деревни Присады и пришли в завод вечером. Я их осмотрел на другое утро, но Москаля принял в тот же вечер у себя в кабинете. Много интересного он мне рассказал, особенно о том, какого страху

набрался с Эх-Ма. Вокруг совхоза, где находился этот жеребец, бродили антоновские банды; Москалю не давали разрешение на поездку в совхоз, но смелый австрияк на свой страх и риск поехал и вывел жеребца. По пути в город его преследовала банда, и не сносить бы Москалю своей головы, если бы резвый Эх-Ма не унес его от врагов. «Страху я набрался много и теперь во второй раз и за сто пудов овса не поехал бы», – сказал в заключение Москаль. Так благодаря моей настойчивости и смелости Москаля был спасен Эх-Ма.

На следующее утро я пошел на конюшню смотреть жеребца. В это время заводом управлял Л. Ф. Ратомский, выдающийся призовой ездок, неплохой знаток экстерьера, но человек совершенно неискушенный в заводском деле. Вывели Эх-Ма. Я взглянул на него, обошел кругом, подумал: «Хорош!» Ратомский – он находился тут же, в стороне, и по свойственной ему привычке наблюдал за мной – заходил вокруг лошади, приговаривая: «Очень хорош! – и затем добавил: – Лучше Кронпринца». Старик сболтнул это и прикусил язычок. Он побоялся, что меня обидел, но я только улыбнулся. Кронпринц был породнее, эффектнее и местами дельнее, но Эх-Ма был глубже и имел лучшую спину, хотя в нем не было той высшей кровности и того аристократизма, которыми был богат Кронпринц. Словом, Ратомский был не прав: Кронпринц как заводской жеребец был выше Эх-Ма, но и этот последний оказался хорошей лошадейю.

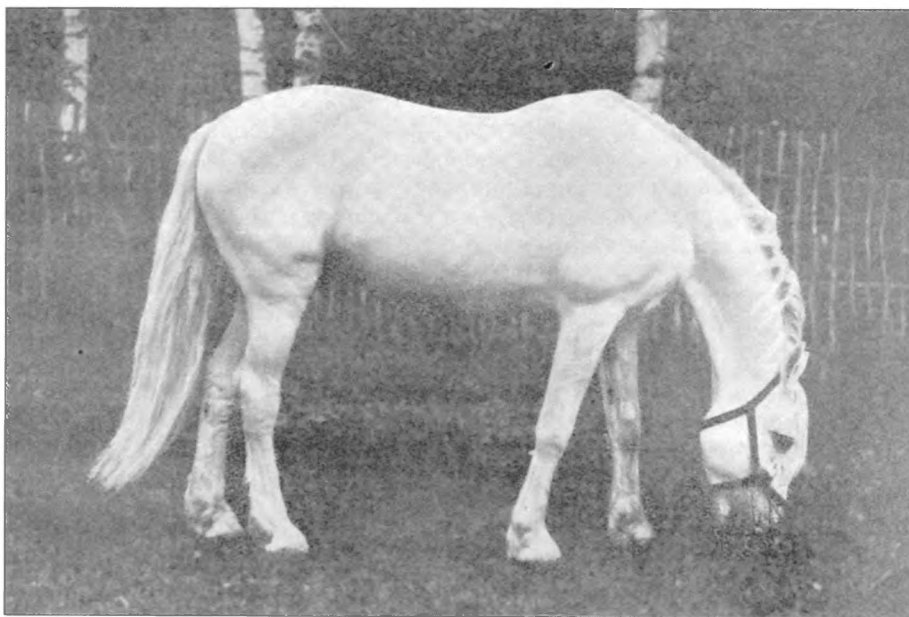
Ростом Эх-Ма был от трех с половиной до четырех вершков, никак не более. Масти белой, но довольно тусклой, без лазури и без того перелива серебра, блеска шерсти, который был так свойствен Кронпринцу. Грива Эх-Ма, небольшая, слегка вьющаяся, была темнее масти жеребца. Хвост густой, с сильной репицей. Жеребец был сух, правильно стоял передними ногами, широко задними, но имел если не жабки, то намеки на них. Круп был очень хорош, линия спины тоже, шея же грубовата и несколько тяжела. Голова пропорциональна остальным частям туловища, но не бросалась в глаза. В общем, это была хорошая лошадь – по типу, несомненно, серый Полкан (смотрите мою теорию о серых и вороных Полканах).

Эх-Ма почти во всех частях своей родословной был Полканом. В прямом мужском колене он шел от Визапур 1-го через его сына Досадного, который был отцом знаменитого Добродея. Сын этого Досадного, Визапур Рюмина, недолгое время состоял производителем у незабвенного коннозаводчика Аркадия Африкановича Болдарева. Болдарев увлекался преимущественно двумя линиями – полкановской и горностаевской – и с ними достиг блестящих успехов. Рюминскому Визапур Болдарев дал знаменитую дочь Полкана 3-го и мать рекордиста Степенного Гильдянку, а родившемуся жеребенку присвоил имя Визапур. Этот последний Визапур и является отцом Огня (5.22). Мать Огня Султанша имеет течение 4+4 на Полкана 3-го, от которого родился классный Огонь-Молодой (4.54), отец Эх-Ма. Мать Эх-Ма в свою очередь имеет течения полкановской крови, ибо она дочь Предмета, родного внука великого кожинского Потешного. Бабка Эх-Ма Кугушевская, помнится, также имела кровь Полкана 5-го, ибо трудно встретить лошадь завода князя Кугушена без крови хреновского Павлина, который был одним из лучших сыновей Полкана 5-го. Не имея под руками заводских книг, утверждать это, конечно, не берусь, но, если память мне не изменяет, Павлин входит в родословную Умницы. Заканчивая этот короткий обзор, должен оговориться, что лично меня не удовлетворяет происхождение матери Огня-Молодого.

Эх-Ма был жеребцом полкановской группы, а потому вполне закономерен его успех на заводском поприще. Как призовой рысак Эх-Ма был лошадейю неплохого класса, но выдающимся или же классным рысаком его назвать, конечно, нельзя.

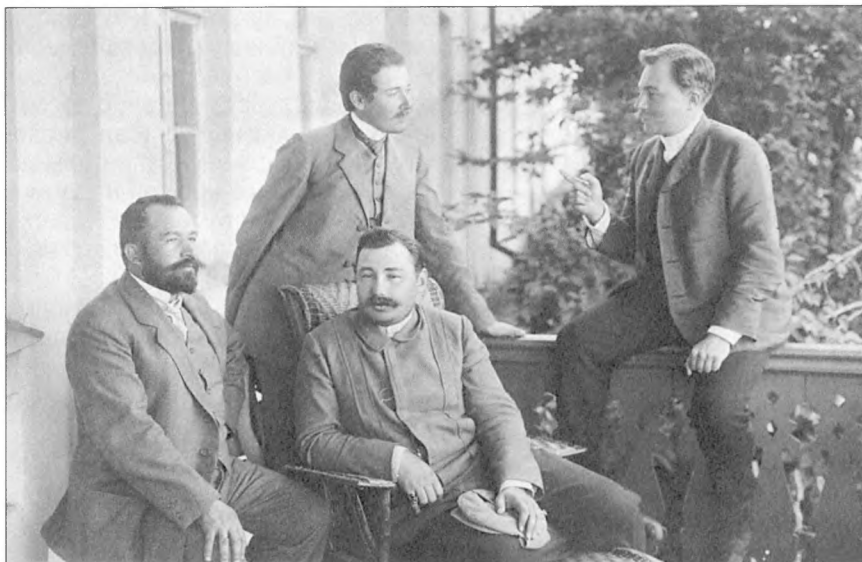
Заводскую работу Эх-Ма, принимая во внимание неблагоприятные условия, необходимо признать очень успешной. Действительно, получая на Прилепском заводе только кобыл второй руки, Эх-Ма дал поголовно бегущий приплод, весьма

высокий процент безминутных и среди них классных – Новобранца (2.19, трех лет), Кумира (2.16) и Эмблему (2.20), которая родилась в Хреновой от пришедшей туда с брюхом кобылы Младости. Достоинство особого внимания, что в Прилепах Эх-Ма лишь однажды получил дочь Громадного, кобылу, впоследствии забракованную, и от нее дал своего резвейшего сына Новобранца. Сочетание Эх-Ма – дочь Громадного интересно тем, что инбридирует Досадного, отца знаменитого Добродея. В Прилепском заводе Эх-Ма не получил ни одной первоклассной кобылы, и это большая ошибка с моей стороны. Теоретически кобылы Урна и Ветрогонка очень к нему подходили, так как повторяли имя кожинского Потешного. Почему же, однако, я не дал этих лучших кобыл Прилепского завода Эх-Ма? У меня была эта мысль, но если бы я попытался ее осуществить, то она не получила бы утверждения руководителей государственного коннозаводства Витта и Щёкина. Оба, увлекавшиеся тремя модными линиями, на Эх-Ма смотрели чуть ли не как на пунктового жеребца. Расскажу здесь интересный эпизод, который вполне подтверждает мои слова.



Громадный в заводе Я. И. Бутовича

В кабинете начальника коннозаводского управления происходил подбор. Во главе этого учреждения стоял тогда Витт, а ближайшим его помощником и, к счастью, только отчасти вдохновителем был Щёкин. Кроме названных лиц присутствовали еще Сопляков, он же Юрасов, Апушкин и я. Дошла речь до подбора к кобыле Младости. Витт и Щёкин предложили Эльборуса, я и Апушкин – Эх-Ма. Надо было видеть, с какой саркастической улыбкой посмотрел на нас Витт и какое чувство скорби и жалости выражало лицо Щёкина по отношению к нам, простецам, которые предлагают крыть кобылу Эх-Ма, в то время как имеют возможность покрыть ее Эльборусом (2.10)! К чести Витта надо сказать, что он хотя в душе и был против, но стал на нашу сторону, так как Апушкин был раньше владельцем Младости и, стало быть, хорошо знал эту кобылу. Когда Апушкин ушел, Щёкин не постеснялся назвать его ненормальным. Прошли годы, и от случки Эх-Ма и Младости родилась Эмблема,



*На крыльце дома в Прилепах
А. С. Атрыганьев, В. А. Щёкин, Я. И. Бутович, Н. А. Сопляков (Юрасов)*

классная кобыла нашего времени. Позднее, уже в Хреновой, Младость была покрыта Эльборусом, но результат получился хуже!

Я должен отметить, что дети Эх-Ма кормились в Прилепском заводе очень плохо, почти голодали, стараниями смоленских «чудотворцев» Раппа, Вильямсена и Владыкина поздно были заезжены и малоработанными поступили на ипподром. Пройди они нормальную школу воспитания, их рекорды были бы еще выше, а значит, еще значительнее была бы и заводская деятельность Эх-Ма.

Я знал тех двух сыновей Огня-Молодого – Барыша и Абсурда, которые были полубратьями Эх-Ма и имена которых мы встречаем в родословных Удалого-Кролика и Турчонка. Ввиду того что ниже я намереваюсь предложить схему сочетания, куда войдут имена этих жеребцов, небезынтересно привести здесь краткое описание их экстерьера и сказать, насколько они отразились в наружности своих внуков – Удалого-Кролика и Турчонка.

Абсурд был крупной лошастью, очень правильной, типичной и дельной. Его мать Арфа была борисовских кровей, и Абсурд своим экстерьером чрезвычайно напоминал лучших сыновей Жемчужного, которых я видел не только в заводе Елисеева, но и на торговой конюшне Паншина в Воронеже. Внук Абсурда Турчонок не имеет ничего общего по своей внешности ни с Абсурдом, ни с отцом этого последнего Огнём-Молодым. Турчонок мелок, у него неудовлетворительная спина – все это наследие другого его предка, Петушка.

Барыш – сын Огня-Молодого и борисовской Бархатной – был лошастью каретного типа и одно время ходил в городе у Блинова. Это была настоящая упряжная лошадь, обладавшая, однако, призовой резвостью (2.25). Течение борисовских кровей мы находим у внука Барыша Удалого-Кролика со стороны его отца, Удалого-Крошки, который был сыном борисовской Ужимки. Ужимку я хорошо знал, так как в свое время арендовал ее у Кореловых и она пробыла в Прилепском заводе два или три года. Это была замечательная кобыла, золотисто-рыжей масти, с превосходной головой, длинной шелковистой гривой и удивительной шеей. Ужимка была очень женственна, но, к сожалению, имела несколько горбатую спину и неудовлетвори-

тельные бабки. Только из-за этого она была продана из завода Елисеева, который очень ценил потомство Жемчужного, а Ужимка была в типе лучших его дочерей. Полу-сестра Ужимки, елисеевская Уступка, дала Уморушку – мать Мумм-Экстра-Дрей (2.11). Сын Ужимки Удалой-Крошка был выставочно хорош, глубок, плотен, с превосходной спиной, породный. Это был настоящий жеребец в полном смысле этого слова. Сын его Удалой-Кролик замечательно выглядит и при этом длиннее, капитальнее и массивнее отца. По общему своему контуру, типу и строению ноги он напоминает мне малютинского Ловчего. Это, несомненно, один из интереснейших современных жеребцов. На его внешности сказались не только борисовские крови, но и более тонченые – влияние его деда Тигрѐнка и бабки Дорогой Памяти.

Сообщив все эти предварительные данные о жеребцах Эх-Ма, Турчонке и Удалом-Кролике и их ближайших предках, изобразим теперь схему скрещивания их потомков в наших современных заводах:

ПРИПЛОД		
Удалой-Кролик	Турчонок	Ассамблея
Милая-Моя	Турочка	Незабудка
Барыш	Абсурд	Эмблема
Огонь-Молодой	Огонь-Молодой	Эх-Ма
		Огонь-Молодой

Таким образом, сочетание дочерей Эх-Ма Ассамблеи, Эмблемы и Незабудки с Турчонком и Удалым-Кроликом дают инбридинг на Огня-Молодого по формуле 3+4. Для осуществления этого коэффициента одинаково пригодны как Турчонок, так и Удалой-Кролик. Однако я отдаю предпочтение последнему. И вот почему. Турчонок мелок, имеет плохую спину и вышел в линию Корешка и Петушка, тогда как Удалой-Кролик хорош по себе и типичен для Огня-Молодого. Однако следует сделать опыт и одну из дочерей Эх-Ма покрыть Турчонком. Само собой разумеется, что дочерей Удалого-Кролика и Турчонка надо, в свою очередь, крыть Эх-Ма или лучшими его сыновьями – Новобранцем и Кумиром. Словом, здесь, в кругу этих трех имен (Эх-Ма, Удалой-Кролик и Турчонок), открывается возможность плановой заводской работы и ее не следует упускать. Осуществят ли это современные руководители коннозаводского ведомства, покажет ближайшее будущее.

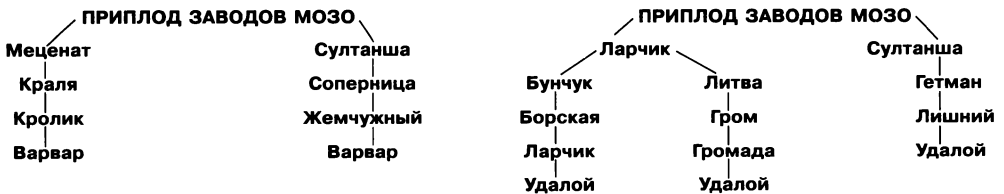
Все в той же 25-й камере, где я просидел с середины июня по 15 ноября 1928 года, перебивало не менее пятисот человек. Это была следственная камера, а потому одни приходили, других за прекращением дела выпускали на свободу, третьих передавали на поруки до суда, четвертые, уже осужденные, переводились в другие камеры и т. д. Немало я насмотрелся в 25-й камере на людей, много перебивало здесь типов, еще больше я услышал жалоб и выслушал историй совершенных преступлений, но более всего, конечно, было стонов скорби, жалоб, искреннего раскаяния и самого подлинного отчаяния. Не спится, бывало, ночью, посмотришь кругом: там не спят, там тихо разговаривают, там негромко плачет новичок или испуганно, обезумевшими глазами обводит камеру и не может освоиться со страшной обстановкой только что приведенный «преступник». Но тяжелее и страшнее всего видеть в такие бессонные ночи, как взрослый, сильный человек, лежа на спине и уткнувши голову в подушку, предается молчаливому отчаянию, переживает свое горе и только судорожное подергивание плеч показывает, что он не спит, а страдает. Да, тяжело сидеть в советской тюрьме, и не дай Бог самому злейшему моему врагу попасть туда...

Одно время в этой камере моим соседом был худенький старичок из деревенских кулачков прежнего типа, по имени Иван Алексеевич. Днем сидел он на своем

сундучке, а ночью, страдая бессонницей, все время курил. Бывалый был человек: участвовал в японской кампании, знал военную жизнь, исколесил пол-России, осел в Ефремовском уезде, сводил у мелкопоместных помещиков рощи, хозяйствовал, был мельником, торговал бакалеей – словом, занимался всем и ничем. Любил говорить о политике, бранил большевиков и предсказывал разорение и всякие напасти российским мужичкам, которые у него разгромили и разворовали в начале революции лавку. Иван Алексеевич любил лошадей и хорошо знал некоторых ефремовских коннозаводчиков. Он преклонялся перед Свечиным, к которому был вхож, и отзывался о нем как о большом барине. Однако лошадей Свечина не одобрял и находил, что лошади у него были жидкие и некормленные. По его словам, Свечин был замечательным рассказчиком. Когда он что-либо рассказывал, все слушали его с затаенным дыханием. Свечин, как утверждал Иван Алексеевич, сильно пил. У него в Ситове собиралось много гостей, и целыми днями шли разговоры об охоте и лошадах. Общество обычно находилось в столовой. Свечин мягкой походкой похаживал по комнате и каждые полчаса прикладывался к рюмочке. Доброты Свечин был исключительной и пользовался уважением всего уезда. Крестьяне его также очень любили и уважали. Под конец своей жизни он сильно расстроил свое состояние, так что единственный его сын должен был жениться на богатой, но брак этот был несчастлив. Особенно дружен был Свечин с Новокущёновым, на заводе которого часто бывал. Ездовые лошади, все рыжие, у Свечина были лучше заводских, хотя и происходили от последних. «Природа у них была основательная», – говорил Иван Алексеевич. Как он мне пояснил, начало свое они вели от каких-то знаменитых полукровных пород.

По словам Ивана Алексеевича, он был очень дружен с коннозаводчиком В. И. Вознесенским, про которого говорил, что это был душа-человек, добряк, а потому бедняк, а брат его – скряга и богач. Жил Василий Иванович у брата и там же в последнее время держал своих лошадей. Про мать Мужичка кобылу Ветёлочку Иван Алексеевич мне рассказал, что Василий Иванович выменял ее у Коноплина не то на суку, не то на кобеля – конечно, борзого, добавлял он. Ветёлочка была у меня в заводе, а потому я ее хорошо знал; желая проверить Ивана Алексеевича, я спросил его, что представляла собой эта кобыла, и он довольно верно ее описал. Между прочим, от Ивана Алексеевича я узнал, что Тихонов, у которого Малютин купил знаменитое имение Быки, был курским городским головой и очень богатым человеком. Почему он вздумал продать и продал Быки, Иван Алексеевич не знал.

Вот два интересных, с моей точки зрения, варианта подбора к вороной кобыле Султанше, дочери Гетмана и Соперницы, знаменитой по своей деятельности в заводе Борисовских.



Первое сочетание Меценат – Султанша фиксирует имя колюбакинского Варвара. Он хотя и повторен через двух борисовских жеребцов Кролика и Жемчужного, однако происхождение их матерей различно, а потому при данном сочетании мы имеем инбридинг на Варвара в чистом виде. Варвар был выдающейся лошадей и по призовой карьере, и по формам, и по заводской деятельности. Покуда завод Бори-

совских в первые десятилетия своего существования базировался на Варваре как главном производителе, завод имел свои лучшие успехи на российских ипподромах. Подобно Варвару, дети его были тоже исключительно хороши по себе, стоит лишь вспомнить легендарного красавца Эммин-Варвара, Тумана, Кролика... В настоящее время повторить имя Варвара так, чтобы одновременно не повторились имена некоторых упрощенно-грубых, чисто упряжных борисовских лошадей, весьма трудно. Предлагаемое сочетание интересно главным образом тем, что повторяет Варвара без этих нежелательных элементов.

Второй вариант подбора к Султанше не менее интересен. В нем будет преследоваться цель закрепления имени Удалого, который повторится трижды. В последнее время малютинские крови вновь заставили говорить о себе: в летнем беговом сезоне истекшего года в Москве лучше других бежали Ловчий (2.13), Зимарь (2.14), трехлетние Бубенчик (2.15) и Утёс (2.16) – все с кровью Удалого. Я хорошо знал малютинский завод и хорошо знаком с типом как детей, так и внуков Удалого. Ларчик, которым я предлагаю покрыть Султаншу, типичный Удалой: та же линия верха, та же характерная голова, те же длина и глубина и, наконец, тот же тип. Единственное, в чем Ларчик отошел от Удалого – в масти: он темно-серый, а Удалой был гнедым. Столь ясно выраженный тип Ларчика позволяет причислить его к группе жеребцов линии Удалого и одновременно признать, что с Корешком, к линии которого он фактически принадлежит, Ларчик не имеет ничего общего. Раз Ларчик – типичный Удалой, то ясно, что желательнее подбирать к нему кобылу с кровью того же жеребца. Этому требованию отвечает Султанша. Свои соображения я изложил Витту и получил от него письмо о том, что в случайном сезоне 1928 года он осуществил этот подбор и покрыл Султаншу с Ларчиком. Теперь остается ждать, каков будет приплод от этого интересного соединения.

Покончив с генеалогической стороной вопроса, перейду к характеристике самой Султанши, вдохновившей меня написать эти строки. Попутно расскажу несколько эпизодов из ее жизни, ибо не только люди, не только лошади, но даже вещи имеют свою историю, и таковая подчас очень поучительна.

Султанша родилась в Прилепах, родилась больше чем неожиданно. Она была мелким и хилым жеребенком. Ее появление на свет Божий было большим сюрпризом для меня. Сопернице исполнилось 24 года, когда от нее родилась Султанша – последний ее жеребенок. Преклонный возраст Соперницы, которая последние два-три года в заводе Елисеева уже не жеребилась, оставляли мне мало надежды, что знаменитая кобыла ожеребится у меня. Мне, вообще говоря, не везло со старыми знаменитостями: у меня в заводе перебивало много исторических кобыл библейского возраста, например Валторна, Баядерка, афанасьевская Победа, Краля – дочь Бережливого, Первая и т. д., но все они не дали приплода и принесли одно разочарование. Сколько было связано надежд с их поступлением в завод, сколько было ожиданий и волнений, как часто я, вместе с маточником Андреем Ивановичем Руденко заходя в денники этих кобыл, приседал и смотрел брюхо, стараясь угадать, жереба или нет какая-нибудь Победа или Краля. Неизменно задавал Андрею Ивановичу все тот же вопрос: «Ну как, Андрей Иванович?» – и неизменно слышал в ответ: «Нет, пожалуйста, холоста!» Это «пожалуйста» Андрей Иванович имел обыкновение вставлять почти после каждого слова. Идешь, бывало, с маточной конюшни домой и даешь себе слово больше никогда, никогда не покупать знаменитых старух, из-за которых приходится столько волноваться. В те давно минувшие и счастливые времена это считалось волнением! Одна Соперница не обманула моих надежд и приплодила от телегинского Гетмана небольшую, худенькую и хилую кобылку, которую я назвал Султаншей, надеясь в тайниках своей души, что она станет такой же знаменитой заводской маткой, как и ее мать, а значит, будет пользоваться в моем заводе таким же почетом, как султанша в гареме султана.

Султанша медленно росла, туго развивалась и среди своих сверстниц выглядела отсталым жеребенком. Несмотря, однако, на мелкий рост, она была правильной, не имела недостатков и в миниатюре напоминала свою мать. Со своим отцом – бурым Гетманом, лошадью несуразной и какой-то развинченной, она не имела ничего общего. Конечно, со дня своего рождения Султанша предназначалась в матки моего завода, не продавалась и даже на выводки не выводилась. По заездке она ничем не выделялась, однако имела хорошие движения. Так прошло два года. Настало время отправить Султаншу в Москву, чтобы там ее поработать и дать ей хоть какой-нибудь рекорд. Осенью того года ко мне на завод приехал наездник Орлинский, который только что поступил к Харитоненко и собирал для него конюшню. Орлинского сопровождал некий Лапин, управляющий конюшней, кассир или бухгалтер московской конторы господ Харитоненко. Они выбрали двух кобыл – дочь Палача Ненависть и дочь Лознгриня Мантию. Последняя была удивительно хороша по себе, в чисто казакском типе. Продавать этих кобыл я отказался, так как предполагал пустить их в завод, но в аренду, в такие надежные руки, отдал их охотно, поставив, однако, условием, чтобы вместе с ними была бы взята и Султанша. Я объяснил Орлинскому, как мне важно, чтобы Султанша прошла тренировку в хороших руках, была бы один раз записана на бег – для официального рекорда – и после этого возвращена в завод. Орлинский дал свое согласие, и все три кобылы ушли в Москву.

Прошло еще около года. Я приехал на конюшню Харитоненко посмотреть кобыл. Мантия была резва, но пришлась не по рукам Орлинскому, Ненависть бежала замечательно, а про Султаншу Орлинский сказал: «Работали все время и выполнили все ваши инструкции». Я сказал, что надо записать Султаншу на приз, и поинтересовался у Орлинского, как она может приехать. Орлинский замылся и промолчал. «Ну все-таки? Ведь кобыла у вас в работе, ведь вы же должны знать, как она может приехать?» – вновь спросил я Орлинского. «Трудно сказать», – последовал ответ. Я понял, что Орлинский сам не работал кобылу – может, вначале раза два сел на нее, а затем, решив, что с ней возиться не стоит, передал ее своему помощнику, а тот – конюхам. Тут же стоял молодой человек, помощник Орлинского, по фамилии, если мне не изменяет память, Мишель. Я задал ему вопрос, приедет ли Султанша версту без пяти. «Может быть», – ответил он неопределенно. Для меня стало ясно, что главы конюшни Харитоненко не занимались Султаншей. И все же я сделал категорическое распоряжение записать ее в ближайшее воскресенье на приз, после чего отправить в завод.

Наступило воскресенье. Султанша появилась на афише. Ехал на ней Мишель. Приз разыгрывался первым, так как был трехлетний, для тихиходов, вот почему я рано приехал на бег и прошел наверх. Раздался звонок, бег начался. Султанша взяла переда и легко выиграла без шестнадцати, к немалому изумлению своего ездока Мишеля и самого Орлинского. Я смеялся от всей души, Орлинский был смущен, а виновница торжества на другой или третий день ушла ко мне в завод.

Султанша, поступив в матки, сильно раздалась. По экстерьеру это правильная, но некрупная кобыла. У нее хороши голова и шея, превосходная спина и правильная линия крупа; ноги очень хороши и правильно стоят. Особенно глубокой ее назвать нельзя. Она, несомненно, в типе своей матери Соперницы, но у той всего было больше: и росту, и глубины, и ширины, и веса. Кроме того, Соперница производила импонирующее впечатление, чего нельзя сказать про Султаншу. Масти Султанша вороной, того чистого, хорошего тона, который старыми барышниками назывался «вороное крыло». Султанша оказалась замечательной заводской маткой и вполне оправдала свою принадлежность к знаменитой женской семье. Ее заводская деятельность протекала во время революции. В эти первые смутные годы Прилепский завод особенно страдал от бескормицы, что не могло не отразиться на приплодах Султанши. Кроме того, с ней случилось несчастье. Это произошло, когда управля-

ющим Прилепским госконезаводом был А. И. Попов. Пришлось срочно послать распоряжение Мышецкому на Фатеевский хутор, что в шести-семи верстах от Прилеп, и я велел Попову отправить нарочного верхом. Все рабочие и разъездные лошади были в поле, и Попов не нашел ничего умнее, как велеть конюху ехать верхом на Султанше. До этого Султанша никогда не ходила под седлом. Попов остановился на ней, потому как она была очень спокойной кобылой с превосходным характером. Малый сложил вчетверо попону, затянул ее подпругой, взял записку и давай Бог ноги. Стоял холодный апрель, через Упу на раевской мельнице ездили вброд – мост еще не был собран. На разгоряченной кобыле конюх переправился через реку и тут же ее, потную, всю зиму простоявшую без работы, после шести верст хорошей гонки, напоил. Султанша вернулась в Прилепы калекой: она была разбита на перед, не могла идти рысью и ходила так, как ходят парализованные или слепые, нащупывающие почву.

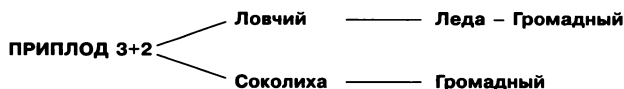
До сего времени из всего своего приплода Султанша дала только двух кобылок, все остальные ее дети были жеребчиками. Дочери Султанши определенно хуже ее сыновей. В этом следует отметить известную аналогию между Султаншей и ее матерью Соперницей, давшей у Елисеева лишь двух кобылок: выдающуюся по себе и классу Сирену, преждевременно павшую, и другую кобылу, имени которой не помню и которая, как брак, ушла из завода. У меня в заводе Соперница дала лишь одного жеребенка, и это была Султанша. Все остальные дети Соперницы были жеребцами, и среди них такие величины, как Спорт, Стрелец и рекордист Барон-С. Сыновья Соперницы были много лучше ее дочерей. Замечу, что одно время Соперница стояла на первом месте по выигрышу своего приплода среди всех рысистых кобыл России.

Резвейшим сыном Султанши был Силач, не вполне выявивший свой класс. Хо-рош и Староста, который ушел под матерью в МОЗО и сейчас двухлетком на первых выступлениях едет гит около без тридцати, что очень резво. За все время Султанша дала лишь двух кобылок: Складку от Громадного и Славуту от Бронтозавра. Интересно отметить, что обе кобылки мелки, в то время как сыновья Султанши были крупными или же лошадьми нормального роста. Если мы проследим третье поколение, то есть заводскую деятельность Складки, то увидим, что и она дала ряд крупных жеребцов и лишь одну кобылку (имени ее не помню, сейчас она в Хреновой) – и кобылка эта мелка! Между прочим, у Складки плохая спина, что прямо-таки непостижимо, ибо и у Соперницы, и у Султанши спины были идеальны. Что же касается Громадного, то он не только имел идеальную спину, но среди всех своих приплодов дал единственную бесспинную лошадь – как раз Складку.

Султаншу я передал в МОЗО, и Витт правильно сделал, включив ее в состав конезаводов этого учреждения. При хорошем подборе и правильном воспитании приплодов Султанша еще покажет себя на заводском поприще, а быть может, по примеру своей великой матери создаст и знаменитую лошадь.

С кем кроют в Хреновском заводе Соколиху? Вот вопрос, который интересует меня в данный момент. Если ее кроют с Эльборусом, такой подбор не может быть признан удачным ввиду усиления в приплоде бычковских влияний, а это отрицательно отразится как на формах, так и на типе приплода. Если ее кроют с Барчуком, то и это плохо: у Барчука также очень сильны бычковские крови. Словом, я не рекомендовал бы крыть Соколиху с Барчуком, хотя отдельные части комбинации Барчук – Соколиха весьма бы гармонировали между собой (возьмем хотя бы повторение болдаревского Чародея). Вот почему сделать это скрещивание можно только в виде опыта. Третий производитель Хреновского завода Курск – явный неудачник, и с ним вообще не следует крыть ценных кобыл. Серый Эмир, молодой сын Эльборуса и Мести, – ценная по себе лошадь, хорошего класса, имеет кровь Бычка не только

через Эльборуса, но и со стороны Мести, поэтому, по высказанным уже соображениям, я также воздержался бы крыть с ним Соколиху. Новый производитель Хреновского завода Ловчий теоретически очень интересен для Соколихи, ибо закрепляет в будущем приплоде имя Громадного.



Однако именно для Соколихи я не рекомендовал бы инбридинг на Громадного. Вообще говоря, теоретически я допускаю этот инбридинг и считаю его крайне интересным, но далеко не для всех потомков Громадного. Среди последних, как и среди детей его отца Летучего, был определенный процент лошадей чрезмерно нервных, переразвитых и с признаками вырождения. Вот такими-то представителями линии Громадного инбридинг на него делать не следует. Соколиху я причисляю именно к этой категории.

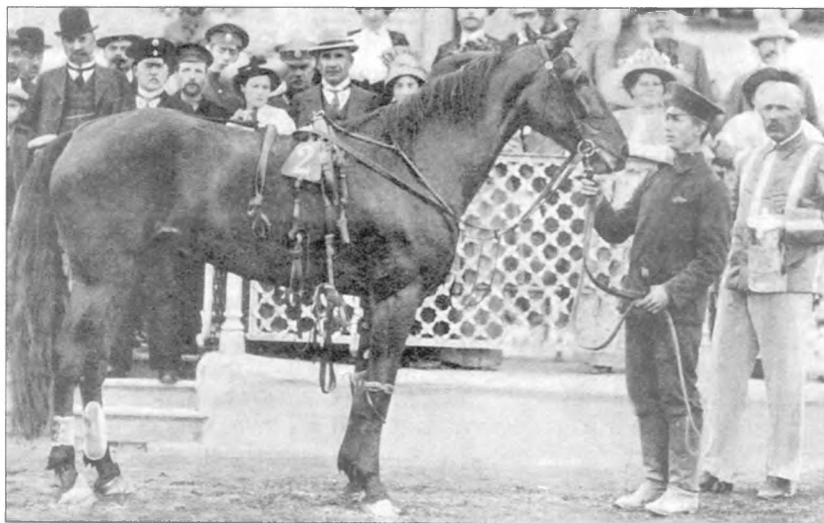
Если мне не изменяет память, до сего времени опытов повторения имени Громадного в родословных современных рысаков произведено не было, и следует пожелать их скорейшего осуществления. Инбридинг на Громадного должным образом могут осуществить теперь только две коннозаводские организации: Хреновской госконезавод и завод Орловского треста. В первом – весь прилепский материал, то есть основное в России ядро оставленного Громадным гнезда, а в заводе Орловского треста несколько выдающихся дочерей Громадного, поступивших в Орловскую губернию в начале революции: Литва, Благодать, Поза. В распоряжении Хреновского завода имеется и лучший внук Громадного, Ловчий. Таким образом, налицо оба элемента, необходимые для инбридинга имени Громадного в будущих приплодах Хреновского завода. Весь вопрос в том, сумеют ли управляющий Хреновским заводом и его помощники подобрать под Ловчего кобыл для повторения имени Громадного. Если они сумеют это сделать, успех обеспечен; если же дадут Ловчему Соколиху или близких ей производительниц линии Летучего, то обеспечен провал комбинации.

Следует вернуться к Соколихе и обрисовать ее, чтобы предложенный вариант подбора стал более понятен. Мать Соколихи была выдающейся кобылой по резвости накоротке и столь же выдающейся заводской маткой. По экстерьеру она была типичной представительницей роговского Полкана, кровь которого так в ней сильна. Это была очень крупная кобыла, с характерной головой, превосходной спиной, несколько высокая на ногах и со спущенным задом. Масти она была бурой, а задние ноги ее были выше скакательного сустава белы. Как мастью, так и отметинами она вышла в Бычков, к каковой линии принадлежал ее отец Соперник, сын Светляка. Соколиха была последним жеребенком Соперницы, которая в год ее рождения преждевременно пала от колик, что стало невосполнимой потерей для моего завода. Незадолго до ее смерти В. Л. Вяземский предлагал мне за нее 10 тысяч рублей, справедливо считая Соперницу одной из лучших орловских кобыл того времени. Соперница у меня в заводе была поставлена с Громадным два раза и дала двух кобылок: серую Славянку (2.22, трех лет) и гнедую Соколиху. Славянка обладала первоклассной резвостью и была выставочно хороша. Она пала от плеввропневмонии весной по четвертому году. Это тоже была страшная потеря для завода. И. И. Казакон считал Славянку лучшей дочерью Громадного.

Соколиха ничего не имеет общего со Славянкой: та вышла в породу отца и была хороша так, как только могли быть хороши некоторые, избранные дочери Летучего, а позднее Громадного. Соколиха вышла в мать, но не такой широкой, как эта последняя; в ней от Громадного ничего нет. Она очень крупна (пяти вершков), имеет

превосходную спину, суха, круп приспущен, но у нее неприятная малопородная голова. Кроме того, она узка, плоска, беднокостна и высока на ногах. Соколиха чрезвычайно нервна, ввести ее в денник спокойно невозможно, если не завязать глаза. Если этого не сделать, то кобыла пулей влетает в двери денника и никакая сила не может ее удержать: конюх вынужден бросить повод и отскочить, иначе она собьет его с ног. Если же в деннике сделать двойную, то есть очень широкую дверь, то Соколиха входит в него относительно спокойно. Эту особенность имели некоторые дети Летучего, в том числе принадлежавший мне знаменитый Смелычак. Двухстворчатая дверь его денника занимала в длину почти всю стену – только тогда два конюха могли спокойно ввести его в денник. Совершеннолетие Соколихи совпало со временем перехода частновладельческих заводов в руки государства, когда врачи и губернские зоотехники стали разъезжать по заводам и распоряжаться там. Соколиха, нервное состояние которой достигло, в силу голодовки и изменившегося в заводах ухода, предельного напряжения, стала на нервной почве дергать задней ногой, у нее признали шпат не только ветврачи, но и Л. Ф. Ратомский. Ратомский оценивал рысистую лошадь только с двух точек зрения: прежде всего по резвости и потом по формам. Формы Соколихи были неудовлетворительны, резвость неизвестна. Ратомский, а тем более ветврачи и зоотехники того времени совершенно не могли оценить происхождение Соколихи и потому требовали ее удаления из завода. В течение трех лет губернская зоотехническая комиссия составила несколько актов с требованием выбраковать кобылу. В первый год, год острого голода, ее предложили передать рабочим и служащим на мясо, позднее, во время нехватки фуража, обменять на сено. Я не мог согласиться с этими постановлениями и отстоял кобылу, вернее, не исполнил ни одного предписания. Велико было позднее удивление некоторых членов комиссии, когда Соколиха, оказавшись в более нормальных условиях, перестала дергать ногой. Впрочем, недостаточно развитый скакательный сустав у Соколихи налицо.

Начало заводской деятельности Соколихи было неудачно: первые два года она скинула. Случена она была впервые в трехлетнем возрасте, что я сделал, думая таким образом скорее ее успокоить. Ратомский, который был очень упрям, торже-



Безнадёжная-Ласка от Ловчего завода Н. П. Малютина и Боярской завода М. Ф. Семиградова, 1908 г. р. Победительница Энгельгардтовского приза для кобыл 4 лет на бегах в Москве 1912 г.

ствовал и говорил мне, что я не прав, не выбраковывая Соколиху из завода. Затем кобыла стала жеребиться и давать превосходных по себе жеребят. От Лакея она имела двух сыновей и дочь, оба жеребца выиграла, кобыла двухлеткой продана в Вятку. Сын Соколихи и Эльборуса Сарафан – выставочная лошадь, однако он был чрезвычайно строг. На Фатеевском хуторе, где сосредоточивалась вся молодежь Прилепского завода, за год его запрягли два раза, что скрывалось от меня в приснопамятные владыкино-самаринские времена, когда эти «почтенные» специалисты вместо заводской и исследовательской работы в заводе вели следовательскую... Неудивительно, что Сарафан не побегал. От Барина-Молодого Соколиха дала превосходную по себе и очень правильную Свирь, которой сейчас два года и которая уже выиграла в Москве. Так как Соколиха дала, считая выкидыши, кряду семь-восемь жеребят, то я решил, учитывая ее нервность и переразвитость, дать ее организму отдохнуть и не случил ее. После этого она два года сама прохолостела. Жеребится ли она сейчас в Хреновой, мне неизвестно.

Опираясь на свой опыт, пользуюсь случаем, дабы сказать здесь в назидание молодежи, что не случать кобылу, то есть давать ей в разгар ее заводской деятельности передохнуть, небезопасно. Среди кобыл находятся такие, которые после этого бывают весь случный сезон в охоте, не отбивают и затем два-три года кряду холостеют. Такова была Соколиха. Приведу и другой пример. Безнадёжная-Ласка дала подряд серию детей, причем последние (Берендей, Буянка, Берег) меня мало удовлетворяли. Я ее тоже не случил, чтобы дать ей отдохнуть. Кобыла до августа была в охоте, очень похудела, в табуне ходила нервно и так «перегорела», как говорил маточник Крал, что и сейчас не обрела своих прежних блестящих форм. Безнадёжная-Ласка – идеальная мать, носить и кормить жеребенка было, видимо, потребностью ее любвеобильной природы, а потому пропущенный год материнства так сказался на ней. К счастью, будучи слученной в последующие годы, она зажеребела и принесла классного Бубенчика, потом Боевого-Порядка и т. д., то есть лошадей, которых и равнять нельзя с Берендеем и Берегом, хотя этот последний – родной брат Бубенчика. Из моей практики вытекает, что отдых, данный кобыле искусственно, как правило, идет во вред, а не на пользу, а потому я рекомендовал бы прибегать к нему лишь в самых исключительных случаях. Кобыл, которым следует дать отдых, предпочтительнее лучше кормить и случить с малопродуктивным жеребцом, дабы они сами прохолостели.

Итак, Соколиха принадлежит, согласно только что сделанному описанию, к нервным, до известной степени истерическим субъектам. Ее переразвитость сказывается во всем, а потому ее ни в коем случае нельзя покрывать жеребцом той же линии, раз эта линия дает, хотя и небольшой процент, столь же нервных лошадей. Стало быть, инбред у Соколихи на Громадного – Летучего более чем неуместен. Соколихе надо подбирать жеребца флегматичного, спокойного и костистого, по своему происхождению относящегося к неродственным ей корням и далеким от нее генеалогическим линиям. Таковым было сочетание Барин-Молодой – Соколиха, давшее превосходную кобылу Свирь. Как заводская матка Соколиха ценна: она дает лошадей по себе лучше, чем она сама, а это самые дорогие и самые любезные моему сердцу кобылы. Я очень рад, что в свое время мне удалось отстоять Соколиху, не дать «товарищам» ее скушать и тем спасти эту единственную в России (СССР) прямую представительницу женского семейства знаменитой Булатной – матери Леска и бабки Корешка!

Итак, по моим соображениям, в Хреновском госконезаводе подходящего жеребца для Соколихи нет, а потому его надлежит искать на стороне. Я считаю, что Зонтик и Ледок суть те два жеребца, которые наиболее подходят к этой кобыле. Причем Зонтик подходит во всех отношениях, а Ледок, как беднокостный, менее, но это в данном случае может быть прощено, ибо остальные данные сочетания Ледок –

Соколиха говорят в его пользу. Считаю нужным еще оговорить, что можно было бы заменить Зонтика его отцом Воеводой. Это было бы, пожалуй, ближе к цели (Ворожей и Булатная будут повторены), но я этого не предлагаю лишь потому, что Воевода стар и почти бесплоден.



С генеалогической точки зрения оба сочетания чрезвычайно интересны: они повторяют одни и те же элементы, то есть Булатную и Ворожея в первом случае и Булатную и Чародея, отца Ворожея, во втором. Поговорим о каждом сочетании в отдельности.

Зонтик – Соколиха. Я много раз критически, вернее, объективно высказывался о происхождении Булатной и об инбридинге на нее, а ныне сам предлагаю это сделать. Почему? Ответ прост: можно не любить Булатную, можно и должно протестовать против вытеснения ее кровью остальных линий орловского коннозаводства – нельзя допустить чрезмерного ее распространения. Но следует отдать должное феноменальным заводским качествам Булатной как кобылы-родоначальницы женской семьи почти европейского значения. Предлагаемое сочетание закрепляет имя Булатной, и притом очень интересно: не через двух ее внуков и правнуков (Лесок – Корешок), как это везде имеет место, а через мужского представителя с одной стороны (Зонтик) и Соколиху, единственную у нас кобылу, происходящую от нее в прямой женской линии, – с другой. Сочетание проверяет силу крови самой Булатной, без вводных комплексов, создавших Корешка и Леска, и метит в одну цель – получить кобылку, типичную по Булатной, и затем дать ей заводское назначение. Быть может, такая кобылка окажется близка к своей знаменитейшей прапрабабке и по заводской деятельности.

Второе повторяемое данным сочетанием имя – имя Ворожея, верного спутника успехов Булатной на заводском поприще. Повторить это имя интересно само по себе, а в такой благоприятной, то есть проверенной, конъюнктуре – тем более. Словом, из соображений чисто генеалогических Соколиха не только просится, но вопиет о том, чтобы ее покрыли Зонтиком. Догадается ли хреновское начальство сделать этот подбор?

Выше я сказал, что Зонтик во всех отношениях подходит к Соколихе. Я имею в виду не только генеалогическую сторону вопроса, но и ряд не менее важных фактов. Зонтик имеет все, чего не имеет Соколиха: проверенный класс, много массы, хорошую кость, ширину и глубину, превосходный характер, отличающийся мягкостью и добродушием. Некоторые недостатки Зонтика – простота и положинка в спине – не страшны, так как у Соколихи спина превосходная и дает Соколиха блестящих и очень породных жеребят, что вполне проверено. Все говорит за то, что сочетание Зонтик – Соколиха является одним из интереснейших.

Ледок – Соколиха. Здесь я имею в виду главным образом усилить полкановские влияния и одновременно повторить Булатную по формуле 4+5. Соколиха не просто принадлежит к линии Полкана 3-го, но и несет чрезвычайно ярко выраженное в ее родословной влияние Полканов. Через своего отца Громадного она происходит от Добродея, внука Визапуря 1-го, этого резвейшего сына Полкана 3-го. Кроме того, и Громадный, и Летучий имеют кровь этого жеребца со стороны своих матерей. Мать Соколихи Соперница хотя и относится к линии Бычка, ибо ее отец Соперник – сын весьма известного в свое время Светляка, но по существу остальных входящих имен была кобылой типично полкановского толка. В ее родословной мы встречаем не только Полкана Рогова, Полкана 5-го, Полкана 6-го, но и Полкана-Чёрного, выдающегося жеребца, сыгравшего некогда весьма видную роль в заводе Н. А. Дубова. Бабка Соколихи Звезда – дочь Ворожея, еще одного выдающегося производителя из рода Полканов. Наконец, прабабка Булавка – дочь Разгрома, сына Полкана 6-го. Идя дальше по женскому ряду предков, мы встречаемся с именем Булатной, на котором и остановим наш обзор, как на имени основательницы семьи. Таким образом, Соколиха – весьма типичная по своей родословной кобыла, притом с явным преобладанием роговского Полкана, а не какого-либо другого представителя этой великой в рысистом коннозаводстве династии.

Ледок отражает в своей родословной роговского Полкана. Под этим я понимаю, что роговский Полкан не только входит в его родословную, но и имеет в ней немаловажное значение. Ледок отходит от типа своего отца Вожака и деда Леска, по типу и формам он является чем-то промежуточным между Лесками и Заплатным. Ближе всего, по-моему, он все-таки к своей бабке, чем к основной мужской линии. В. А. Щёкин, увидев впервые у меня фотографию знаменитой Лебеды 2-й, основательницы этого гнезда, прямо отнес Ледка к ее типу, сказав, что «по-видимому, Ледок вышел в эту породу», с чем я вполне согласен. Анализ родословной матери Ледка показывает, что в ней роговский Полкан повторяется два раза, притом через такого своего представителя, как роговский Варвар! Имя роговского (заметьте, роговского, а не какого-либо другого Полкана) войдет в генеалогическую таблицу Ледка и в третий раз, уже по Вожаку. Таким образом, основой предполагаемого скрещивания является усиление полкановщины при непосредственном повторении Ворожея, интереснейшего по типу, формам и заводской работе жеребца. Что же касается Булатной, то она не просто повторится, а повторится на великолепном фундаменте из восьми Полканов! Ледок обладает превосходным темпераментом, хорошим характером, был отдатлив и добр по езде. По себе он невелик и беднокостен; однако в данном случае этого не следует опасаться, так как Соколиха очень крупна и дает крупных детей. Насчет беднокостности вопрос сложнее. У матери Соколихи дважды повторен Полкан 6-й, который тоже не мог похвастать богатой костью, хотя и был во всех других отношениях лошадью необычайной. Так что ввиду ряда положительных сторон данного сочетания следует примириться с одним возможным минусом. При подборе, кроме теоретической части, рассуждений и разных умствований, лично для меня важную роль всегда играло чутье, и вот это-то чутье подсказывает мне, что сочетание Ледок – Соколиха даст превосходный результат и, быть может, появится такой производитель, которому суждено будет стать продолжателем и наследником славы своего отца.

6 декабря 1928 года

Еще один интересный человек 25-й камеры – старик Назаревский. Я знал эту фамилию по Туле. Один Назаревский служил секретарем бегового общества, был доверенным человеком, правой рукой и заведующим магазином Н. И. Ливенцова,

одного из крупнейших тульских охотников. Мой сокамерник оказался братом этого Назаревского. Познакомившись с ним, я выслушал печальную историю о том, как Николай Афанасьевич Назаревский попал в Тульскую тюрьму и очутился в 25-й камере. Его судили по делу электротреста, по совершенно пустяшному поводу; прокурор издевался над ним, бывшим царским чиновником, суд вынес приговор – три года заключения. По амнистии срок был снижен до полутора лет, и семидесятилетний старик очутился в тюрьме.

Назаревский всю жизнь прослужил в казенной палате. Николай Афанасьевич был типичный чиновник, представитель ныне уже вымершего типа старого служаки. Пунктуальный, аккуратный, благоговевший перед своим начальством, преклонявшийся перед бумагой – такой человек мог попасть в тюрьму только в революционное время. Конечно, его прозвали дедушкой. Первые дни нашей совместной жизни он бодрился, много рассказывал и всех нас смешил. Назаревский – превосходный рассказчик, куплетист, любитель анекдотов, иногда он даже пел своим старческим дребезжащим голосом. Актер-любитель и режиссер-любитель, он много играл на любительских сценах в Туле и в других провинциальных городах, за что был очень любим в кругах тульского чиновничьего общества. Тульский старожил, он знал многих, бывал у многих. Словом, судьба несколько побаловала меня: рядом со мной оказался незаменимый собеседник.

Я расспрашивал Николая Афанасьевича о прежних туляках, главным образом, конечно, о лошадиниках. Его рассказы были не лишены интереса. К сожалению, после первых дней пребывания в камере, когда он так бодрился, он загрустил и стал падать духом. Его, как осужденного, перевели на культработу и поселили в красном уголке (так в Тульской тюрьме называется комната, где ведется просветительская работа). Однако пробыл он там недолго: когда в Тульской тюрьме начали применяться репрессии к «бывшим людям» и растратчикам, он попал в десятое отделение, или на «десятку», как здесь говорят заключенные. Это одиночки полуподвального этажа, до заселения их нами служившие карцерами, куда сажали провинившихся не более как на сутки или двое. Вдруг громом среди ясного неба последовало распоряжение, и всех нас, «бывших людей» и растратчиков, работавших в канцелярии, культпросвете, уголке, сняли с работы и отправили на «десятку».

Было около шести часов вечера 15 ноября, когда из всех камер Тульской тюрьмы стали сводить в десятое отделение этот отборный преступный элемент. Я, конечно, также очутился в числе «избранных» и был определен в первую камеру. Вот что представляло собой это отделение.

Спустившись по зловонной узкой лестнице в полуподвал, вы попадаете в коридор, ярко освещенный большими окнами. Справа идет стена коридора, слева – семь одиночных камер. В коридоре отделения, которое было закрыто с 1923 года, сыро, холодно и жутко. В каждую камеру ведет дверь, обитая железом; камера размером в 5,5 аршина длины и 2,5 аршина ширины, включая в эту площадь и печь в 15 квадратных вершков. Окно устроено высоко, и в камере никогда не бывает хорошего света: осенью и зимой царит полумрак, летом и весной светлее. Одна тусклая лампочка не горит – мерцает с потолка, и при этом слабом искусственном свете находишься 17 часов в сутки! Ни писать, ни читать, конечно, нельзя. Когда мы вошли в камеру, холод и сырость охватили нас. Пол деревянный не просыхает, топчанов нет, форточки тоже, рама одна, и в щели дует. Полочки нет и помину, а вместо параша – небольшой таз. Стены, выбеленные мелом, мажут платье, если к ним прислониться, – приходится сидеть на полу не прислоняясь к стене. Ни ведра, ни скамейки, ни стола в камере нет.

В каждую одиночку поместили по семь человек. Стало так тесно, что размять ноги можно было, лишь сделав два шага вперед и столько же назад. Вонь при сы-

рости и холоде уже к утру становилась нестерпимой, и мы если не теряли сознание, то были близки к этому. Впрочем, потрясение оказалось так сильно, что все мы впали в полное безразличие. Первая камера, куда попал я и еще шесть заключенных, была камерой смертников: сюда сажали тех, кто получил смертный приговор. В этой камере двое покончили жизнь самоубийством: один повесился, другой перерезал артерию – об этом говорит тюремная хроника, а она очень верна. Ужас охватил людей, и без того несчастных и задерганных, когда они попали на знаменитую «десятку». Можно ли описать невозможное? Это надо видеть и пережить, чтобы понять, хотя бы приблизительно!

Нервы старика Назаревского не выдержали, в ту же ночь его замертво вынесли в лазарет: с ним сделался припадок. Теперь Назаревский в лазарете, где я его навестил. Но это уже не бодрящийся семидесятилетний старец, а живой труп!

Добавлю, что протесты и жалобы заключенных, возмущение медицинского персонала сделали свое дело и на третий день камеры начали разгружать, то есть в первую очередь вывели коммунистов и тех, кто происхождением попролетаристей. Нас, классовых, или, как здесь говорят, «классовых» (с ударением на букву «о»), оставили в «десятке», по четыре человека в камере. Остались с нами и следственные по 116-й статье, независимо от их происхождения, и «десятка», превращенная в следственное отделение для растратчиков и «классовых», зажила. Дали топчаны, затопили печи, сделали форточки, дали по столу на камеру – одно из достижений советской власти налицо!

Здесь, в этом полуподвале, мы оказались погребены. Шумы и стуки не доходили до нас. Целый день царил мертвая тишина, нарушаемая лишь лязгом затворов, звоном ключей да стуком замков. Это была действительно полная изоляция. Впечатленные переводом, заключенные и на людей стали меньше походить: все осунулись, похудели, глаза ввалились и как-то почернели. Ко всему с неделю здесь нельзя было не только умыться, но даже руки помыть. Теперь... теперь привыкли. Ко всему привыкает человек!

Еще до этой катастрофы и до перевода в красный уголок Назаревский успел мне кое-что рассказать о тульских охотниках и коннозаводчиках. Прежде всего о Добрынине, ибо он, несомненно, звезда первой величины на тульском коннозаводском небосклоне.

«Род Добрыниных – старый купеческий род – был одним из наиболее уважаемых в Туле. (На мой вопрос, коренные ли туляки Добрынины, Назаревский, подумав, сказал: «Точно ответить не могу, но сколько помню – коренные туляки».) Отец Алексея Николаевича Добрынина, Николай Николаевич, хотя и не был коннозаводчиком, но любил лошадей и имел городскую конюшню. Уже на моих глазах у него ходил в одиночке белый красавец жеребец, и резвее его в городе не было. Лучшую лошадь Тулы знал весь город. Звали жеребца Ширяем. Когда Алексей Николаевич стал собирать завод, отец его настоял, чтобы Ширяя отправили туда. Хотя молодой Добрынин увлекался призовыми лошадьми, а Ширяя на призах не бегал, но сын уступил отцу: порядки в семье держались такие, что ослушаться было нельзя.

И старик Добрынин, и после сын его до самой смерти были городскими головами. Торговали Добрынины с давних времен скобяным товаром, дело у них было и оптовое, и розничное. Торговали на Посольской, в своем доме. Нажили очень большие капиталы. Держали отделение и в Харькове, вместе с большим домом. Этот дом и лавку продала за большие деньги вдова Алексея Николаевича, когда они окончательно разорились. Дом на Посольской и дело перешли к старшему приказчику Иванову, и дело процветало до самой революции. Жили Добрынины на Коммерческой улице, в знаменитом особняке с усадьбой, славившемся по всей Туле. Дом большой, с колоннами, внутри пышно отделанный, с лепкой и всей роскошью того



Тула, улица Посьольская

времени. В этом доме, проданном уже после смерти Алексея Николаевича, город устроил коммерческое училище.

Добрынины гремели на всю губернию. Старик жил по старине, а сын уже тягался с дворянами, кутил и устраивал большие приемы, жил очень открыто и проживал большие деньги. Своего расцвета Добрынины достигли при отце Алексея Николаевича, когда и стали миллионерами. Добрынина-отца уважали и за богатство, и как человека, но и побаивались. Сына любили больше, тоже выбрали головой, но тем уважением он уже не пользовался. В их доме останавливался со своей свитой государь Александр II. Об этом событии долго потом говорила губерния. Царь сделал подарки Добрынину и его жене, после чего старик Добрынин стал еще более популярным человеком. Обстановка в добрынинском доме была замечательная, мебель привозная, из столицы и за границы, была и дареная – царская. После разорения многое из старой посуды и мебели скупили торговцы, наехавшие из столиц, и виднейшие туляки. Кое-что из мебели приобрел Иван Иванович Щёкин; купленные вещи вместе с его домом на Рубцовской улице перешли к дочери его Анне Ивановне, в замужестве Салищевой. Вот откуда в доме Салищевых первоклассный гарнитур и другие вещи, на которые приезжали смотреть из Петербурга и Москвы.

Да, после разорения все прахом пошло, не осталось и следа великого богатства. Всею виной была широкая жизнь Алексея Николаевича да его жена Олимпиада Платоновна – генеральская дочка, писаная красавица. Ну настоящая черкешенка, да и только! Он ее очень любил, а старик всегда говаривал, что до добра она его не доведет. Алексей Николаевич любил выпить. Любила погулять и его жена. Он ей потворствовал, и мало-помалу она стала выпивать, при старике украдкой, а как он умер – посмелее, все больше и больше. Алексея Николаевича она любила и уважала и при нем еще удерживалась, а после его смерти совсем спилась, загуляла, связалась с наездником Мурфи, который ей дорого обошелся, потом с каким-то Куртом Фёдоровичем, этот тоже охулки на руку не положил. Дальше она совсем стала терять себя, в их доме уже мало кто из семейных теперь бывал. Она переехала в Прилепы, стала пить запоем, постарела, гуляла с конюхами и спаивала их.

Другие члены большой семьи Олимпиады Платоновны тоже пили, поразменялись и стусевались с горизонта. Старший сын женился на дочери петербургского купца, спичечного фабриканта и миллионера Василия Андреевича Лапшина. Малый был красавец, а прожил с женой недолго – спился, жена его бросила. Лишь один сын

сохранил имя – Глухие Поляны – и долго там проживал. Так вино и разгул погубили некогда гремевшую на всю Тулу, и не на одну Тулу, купеческую семью.

А. Н. Добрынин мало занимался делом, все больше отъезжая то в Москву, то в Санкт-Петербург, где бегали его лошади. А делами ворочал и денежки прикарманивал главный приказчик и доверенный Иванов, который потом и миллионером стал. До лошадей Алексей Николаевич был охотник страстный, но только до призовых лошадей, городскими увлекался мало, хотя и держал их. По городской охоте далеко ему было до отца. Я еще мальчишкой был, а как сейчас помню выезд старика Добрынина. Лошадь – белая, красавица, вся горит, вся блестит; сбруя так прилажена, затянута и застегнута, что не знаешь, где начинается, а где кончается. Кучер – дородный, сидит с фасоном и не шелохнется; а сам в енотовой шубе, покрытой черным кастором, да из-под бобровой шапки, надвинутой на густые брови, только и посматривает. Эх, время было золотое, время моей бурной молодости, так как жили мы привольно и весело, не то что теперешнее поколение!

Алексей Николаевич любил свой завод и часто ездил в Прилепы, где тот находился. Троек резвее, чем у него, не было во всей губернии, да, думаю, мало у кого были такие тройки и на Руси. Нечего сказать, любитель был троечной езды и ездил бешено. Приедет, бывало, из Москвы, только кофейку попьет, а тройка уже у крыльца позвякивает бубенцами – и пошел в Прилепы смотреть завод, да день-два там и проживет: то на кругу езду смотрит, то в табуне, то на маточной, то в манеже. Мне разок удалось съездить с ним в Прилепы. Ну и бешено же ездил покойник, немногим больше часу с Коммерческой улицы до Прилеп мчались! Вот какая была езда – жутко вспомнить!..

Завод свой он повел с размахом. Денег на свою охоту не жалел и лошадей любил. Главного своего заводчика, Залётного, купил у князя Оболенского. Помню Залётного на тульском бегу: Добрынин несколько раз приводил его и показывал охотникам на езде. Невелик жеребец, а на ходу так и кипел, весь как бы поднимался в воздух и казался крупным. А отъедит, начнут его тут же на кругу водить – ничем не броский, только глаз горит да ушами все время водит. Кобыл Добрынин скупал у разных лиц, но главных кобыл, сколько помню, он купил у князя Черкасского, их так и называли княжескими кобылами. Говорили, что неспроста их получил Добрынин, что князь, тогда уже старик, влюбился в Добрынину, ухаживал за ней, наезжал в Тулу, а когда задумал распродать свой знаменитый завод, тогда и уступил лучших кобыл Алексею Николаевичу. Говорили тогда об этом много, болтали, что князь подарил их Олимпиаде Платоновне. Только не думаю, что так оно и было – мало ли что говорят, не всякому слуху верь. Близок был князь к их семье, увлекался красавицей женой первого тульского купца – это так. Только даром бы Добрынин из амбиции кобыл не принял, деньги за них наверняка заплатил. Завод Добрынина скоро получил известность, лошади стали бежать в столицах и брать призы. По Тульской губернии завод считался первым. В городе добрынинские лошади пользовались огромной популярностью: все ездили на добрынинских лошадях. Бывало, выйдешь после обеда погулять на Киевскую, только и видишь, что серых лошадей в запряжках – все добрынинского завода...»

Таков рассказ Назаревского о семье Добрыниных. Прежде чем приступить к очередному комментарию, прибавлю те сведения и отрывочные данные, которые я слышал от разных лиц в Прилепах.

Н. А. Апасов, брат довольно известного наездника М. А. Апасова, молодым человеком проживал в Прилепах и хорошо знал как сам завод, так и жизнь усадьбы. В давние времена прилепская усадьба принадлежала князьям Гагариным, от них перешла к Скаржинским, затем еще к кому-то и наконец, в начале шестидесятых, к Добрынину. При Гагариных и Скаржинских барский дом с липовым парком и дворовыми службами стоял на низменном берегу реки Упы. В этом месте река, встречая

на своем пути небольшой островок, омывает его и затем, делая колено, поворачивает русло и течет дальше. Тут очень живописное место – немудрено, что Гагарины именно его выбрали для своего местожительства. Место ровное, только низменное и потому довольно сырое. По ту сторону реки тянется высокий нагорный берег Упы. Здесь, напротив усадьбы Гагариных, высилась роща, поделенная надвое глубоким оврагом. На одной из площадок, тут же, стояли хозяйственные постройки – овины, амбары и риги гагаринского имения. Правее рощи раскинулись двory крестьян – позднее сельцо Прилепы, а левее были каменоломни. Часть заречной земли, примыкавшей к самой усадьбе Гагариных, находилась в Крапивенском уезде, а та, что была на другой стороне реки, – в Тульском. Река служила гранью двух уездов.

Когда Скаржинские продавали имение, то усадьбу и шесть десятин земли купил тульский купец Сушкин. Барский дом он разобрал, лучшую часть парка вырубил и соорудил здесь меднопрокатный завод, который приводился в действие водой. Рядом с сушкинским владением выросло еще одно – в пять десятин земли. Эту землю Скаржинский подарил одному из своих крепостных. Позднее здесь поселился и 45 лет прожил огородник Чистиков. Все остальное имение купил Добрынин. Усадьбу свою и конный завод он поставил на высоком берегу Упы, в самой роще, а левее рощи разбил и насадил фруктовый сад. Таким образом, у него, а позднее и у меня, усадьба стояла в Тульском уезде, а земля расположилась в двух уездах – Крапивенском и Тульском. Владения Сушкина (позднее Попова и Чистикова) вклинились в крапивенский участок прилепского имения. По ту сторону реки, сейчас же за чистиковским огородом, Добрынин разбил верстовой круг и построил летние конюшни для призовых лошадей и молодежи, сюда они переводились на весь летний сезон. Заводские же матки уходили на лето на Красный хутор.

На меднопрокатном заводе служил приказчиком отец Апасова. Тут Николай Апасов провел свое детство, почему и знал хорошо добрынинский завод и прилепскую жизнь самих Добрыниных. Отец Апасова разбогател на сушкинских хлебах, купил у Засецкого участок в 130 десятин земли с лесом, что в двух верстах от Прилеп. Затем, также неподалеку от своего нового хутора, купил раевскую мельницу – на границе Тульского и Богородицкого уездов. Николая Апасова я знал уже совладельцем этих имуществ, он занимался барышничеством, охотой и призовой ездой в Туле. Его брат Михаил стал в Москве довольно известным наездником, а другой брат, Александр, сидел на мельнице, где доживали свой век старики; еще два брата, Платон и Павел, хозяйничали на хуторе, а младший, Андрюшка, жил при отце. Перейду, однако, к тому, что рассказал мне Николай Апасов о делах и днях добрынинского завода.

Алексей Николаевич Добрынин хорошо занимался своим заводом. Часто бывал там зимой, проводил в Прилепах часть лета. Хозяйством он не интересовался, все его внимание поглощал завод. При Добрынине лошадей кормили хорошо, матки содержались в блестящем порядке, как и все другие заводские возрасты, о производителях уже и упоминать не приходится. Большое внимание обращал Добрынин на работу молодых лошадей и постоянно держал в заводе хороших наездников. В перерывах столичных беговых сезонов из Москвы и Петербурга в Прилепы на отдых приходила вся призовая конюшня. Тогда работой всех лошадей руководил призовой наездник, какая-нибудь столичная знаменитость. Долгое время у Добрынина служил А. Чернов, старший брат знаменитого малютинского Павла Чернова. В Прилепах перебивало немало охотников, и частенько завод посещали весьма известные коннозаводчики. Добрынин, большой хлебосол, любил принять и угостить и обществом не тяготился. Жилось тогда в прилепской усадьбе привольно и широко. После смерти Алексея Николаевича Олимпиада Платоновна сначала поддерживала старые порядки, но затем мало-помалу все изменилось к худшему. Добрынина стала страдать запоем, в доме устраивались оргии с молодыми деревенскими парнями, которые



П. А. Чернов

почувствовали себя хозяевами положения. Всяк тащил, что только мог. Хозяйство пришло в полный упадок, и это сейчас же отразилось на заводе: лошадей стали скудно кормить. С приближением разорения участились продажи такого материала, какой из завода нельзя было выпускать ни за какие деньги. Много способствовал разорению Олимпиады Платоновны американский наездник Мурфи. Она безумно влюбилась в этого красивого мужчину и жила с ним. Когда Мурфи сколотил состояние в сотню тысяч, он бросил Добрынину и уехал на родину в Америку. Тут на сцене появился темный тип по имени Курт Фёдорович. Он так прибрал к рукам Олимпиаду Платоновну, что стал фактическим распорядителем всех дел. Безобразное поведение матери в конце концов возмутило детей, и они порвали с ней всякие отношения. К тому времени у Добрыниной оставались крохи от громадного состояния, но жить еще было можно. Время шло, все ниже и

ниже опускалась Олимпиада Платоновна. В случае денежной нужды стали вызывать из Тулы купцов и продавать им лошадей. Последнюю крупную покупку сделал Кочергин, приобретя трех лучших кобыл, в том числе Злобную и призовую Катю, о которой Апасов отозвался как о замечательной по себе кобыле. Настало время, и последняя в заводе кобыла Баядерка – знаменитая Баядерка, выигравшая Императорский приз, прославившая имя Добрынина! – была продана в Тулу Новикову. Когда уводили Баядерку, Олимпиада Платоновна вышла ее провожать и разрыдалась. Тяжело было видеть эту опустившуюся, развратную, пьяную женщину, когда-то блестящую красавицу, дочь генерала, жену знаменитого тульского богача. Бесславно кончил свои дни когда-то знаменитый добрынинский завод, прилепские конюшни опустели. Впрочем, ненадолго – на какой-нибудь десяток лет, чтобы затем принять в свои старые стены другой завод – завод автора этих строк.

Вскоре после продажи Баядерки весь инвентарь и имущество дома пошли в уплату долгов. Над Прилепами тяготели три закладные, и Добрынина, поручив продажу имения тульскому мяснику Попову, навсегда покинула Прилепы. Добрынину отвез в город на своей телеге местный крестьянин Дмитрий Тимофеевич Лыков. К чести Курта Фёдоровича он не бросил Добрынину и уехал вместе с ней. Грустно и печально закончилась эта последняя страница жизни в Прилепах добрынинской семьи. Но память об Алексее Николаевиче, его семье, молодой красавице жене жила в тех местах долго и намного пережила бывших владельцев имения.

Апасов, говоря об отдельных добрынинских лошадях, особенно восхищался Баядеркой, что совсем не удивительно: все, кто знал эту кобылу, отзывались о ней одинаково восторженно. К несчастью для русского коннозаводства Баядерка очень поздно поступила в завод, долго не жеребилась и у Добрыниной дала за все время лишь одного жеребенка. Это был призовой Факир-Баядеркин, очень резвый, но капризный и злой жеребец. Апасов рассказывал, что Баядерка была вечно в охоте и не отбивала. Когда потеряли всякую надежду, что кобыла будет жеребиться, ее покрыли тремя жеребцами: Факиром, сейчас же вслед за ним другим производителем и наконец пробником. От этой случки и родился Факир-Баядеркин, записанный от Факира. Апасов клялся мне, что все было именно так. После Баядерки больше всех остальных кобыл хвалил Апасов Эсмеральду. Он говорил, что Эсмеральда необыкновенно резва и очень хороша по себе. В то время я не придавал большого значения оценке Апасова – мало ли по заводам на Руси было резвых и красивых кобыл, но теперь, когда Эсмеральда прославилась созданием Эльборуса (2.10), слова

Апасова приобретают особый интерес и должны быть записаны. О замечательном подборе заводских маток Апасов не мог вспоминать без восторга. Все туляки фанатично поклонялись добрынинским лошадям, и Апасов в этом отношении исключением не был.

От него я получил, между прочим, в подарок заводскую книгу добрынинского завода, веденную с его основания. Книга дает много интересного исторического материала (рост лошадей, продажные цены, отдельные пометки и прочее), и я думал издать из нее выборку, включив в книгу «Архив сельца Прилепы». Не знаю, осуществимо ли это теперь, ибо весь мой архив и переписка сейчас находятся неизвестно где.

Тот же Апасов рассказал мне, что в прилепском доме все стены были увешаны фотографиями добрынинских лошадей. Их тоже продали с молотка, но кто их купил, Апасов не помнил.

Прошло десять или двенадцать лет с того времени, как умер Апасов, и мне удалось-таки узнать, кто тогда на аукционе купил эту интереснейшую коллекцию добрынинских фотографий. Вот как это произошло. В 1927 году я принял приглашение тульского охотника Николая Емельяновича Баташова и заехал к нему. Были приготовлены чай и закуска. Выпили по рюмочке, закусили, выпили по другой – и разговор повернул на лошадей. Вспомнили, как водится, старину. Разговорились и о добрынинском заводе. Я расспрашивал Баташова, но ничего сколько-нибудь значительного не узнал. Я обратил внимание на фотографию темно-серой превосходной по себе кобылы, снятой, по-видимому, в трехлетнем возрасте. «Что это за кобыла?» – спросил я Баташова. «Как, вы ее не узнаете?! – воскликнул удивленный хозяин. – Да ведь это знаменитая Баядерка!» – «Шутите!» Баташов снял фотографию со стены, и на обороте я прочел: «Баядерка. Снята в трехлетнем возрасте». Мой глаз не обманул меня, когда я подумал, что снятая кобыла – трехлетка, но узнать в ней знаменитую красавицу белую Баядерку ни я, ни кто другой не смог бы. Баташов подарил мне фотографию и сообщил, что всю коллекцию добрынинских фотографий купил для него на аукционе в Прилепах... Николай Апасов! Я удивился и рассказал, что десятки раз спрашивал Апасова о том, кто же купил фотографии, но он отвечал, что забыл фамилию покупателя. Оказывается, покупателем был он сам! Бывает же у людей такая короткая память... «Где же остальные фотографии?» – не без волнения спросил я Баташова. «А я их отдал жене убрать». Позвали жену Николая Емельяновича, и она сказала, что долго возилась с этими фотографиями, что их было около 50–70 штук, что ей надоело стирать с них пыль и она снесла их на чердак года три тому назад, а в прошлом году кухарка бросила их в печь, как ненужный хлам. А ведь там были портреты Залётного, Любодейки – матери Эсмеральды, знаменитых княжеских кобыл Чародейки, Догоняхи и Арабки и, вероятно, многих других!..

Я забыл сказать, что у старика Апасова был от первой жены сын Иван. Он имел небольшой лесной участок и две десятины огорода за Пиваловкой. Жил он отдельно от второй семьи отца и занимался главным образом прасольским делом. К этому-то Апасову, или, как его звали все крестьяне, Ивану Андрееву, я однажды поехал собирать грибы на его лесном участке. На обратном пути остановился у него и пил чай на крылечке. С крылечка открывался чудный вид на окрестности: Прилепы были как на ладони, дальше выдвинулось Кишкино, поля, а левее блестела от света заходящего солнца река и желтели зареченские жнивья прилепских крестьян. Домик Апасова, уютный и маленький, стоял на опушке леса, на высоком месте, и воздух здесь был прохладен и свеж. Я отдыхал после прогулки по лесу, лениво потягивал усталые члены, любовался далями, наблюдал за причудливой игрой струек дыма, поднимавшегося из труб соседней деревни, и делал вид, что слушаю болтовню хозяина. Интересный был тип, этот Иван Андреев Апасов, и цельная натура. Прасол и маклак



Купание призовых лошадей

с головы до ног и мужчина жог. Он с детства полюбил рысистых лошадей, хорошо знал добрынинский завод, а когда вышел на самостоятельное хозяйство, стал держать резвенького рысачка из дешевеньких – для своей тележки. Пробавляясь чайком и благодушествуя, я отдохнул. Собираясь домой, не помню для чего зашел я с хозяином в горницу и, к удивлению своему, увидел в ней развешанные по стенам фотографии лошадей. Их было несколько штук, все в хороших городских рамках. Я подошел к стене и стал их рассматривать. Вот превосходный портрет Арабки – матери Баядерки, вот портрет красивого белого жеребца, запряженного в американку, на которой сидит красавец Мурфи, дальше узнаю вороного жеребца Гайдамака, какая-то верховая лошадь и наконец небольшой фотографический портрет превосходной по себе кобылы. Я обращаю внимание на нее и спрашиваю Апасова, что это за кобыла. «Эсмеральда, – следует ответ. – А снята трехлеткой». Вот как нашел я фотографию знаменитой матери Эльборуса. Счастливый случай, редкая удача, ведь это было единственное сохранившееся изображение Эсмеральды! Апасов получил эти фотографии в прилепском доме Добрыниной во время продажи имущества. Увидев, что фотографии заинтересовали меня, он сейчас же их мне подарил.

Наступило время дать краткий комментарий к рассказу Назаревского. Я охотно верю, что Ширяй, любимая городская лошадь Н. Н. Добрынина, был жеребцом исключительной красоты и очень резвым. Происхождение Ширяя нашел я полностью изложенным в заводской книге добрынинского завода. Оказывается, Ширяй, рожденный у графа К. К. Толя, был сыном Летуна 3-го! Теперь эти два имени никому, кроме историков, ни о чем не говорят, но во времена Коптева они многое говорили уму и сердцу любого охотника. Граф Толь, коннозаводчик-художник, вывел в своем заводе много совершеннейших по формам лошадей. Летун 3-й был одним из самых красивых жеребцов, когда-либо принадлежавших Казакову и вышедших из знаменитой Хреновой. Поэтому вполне закономерно, что и сын его Ширяй был замечательной лошастью.

Говоря о семье Добрынина, Назаревский упомянул, что старший сын Алексея Николаевича женился на Лапшиной, дочери знаменитого Василия Андреевича Лапшина, спичечного фабриканта, который был и страстным любителем лошади, и ездоком-охотником. Не могу попутно не рассказать о случае с Лапшиным, свидетелем которого был ныне уже покойный Феодосиев. Николай Константинович Феодосиев

рассказывал мне, что Лапшин сам ездил на своих рысаках, не исключая и классного телегинского Беркута, который был крэком его призовой конюшни. Ездил Лапшин прескверно, но считал себя великим мастером этого дела. Из-за своей нерасчетливой езды он часто проигрывал, и публика редко на него ставила. Однажды ехал он на Беркуте в такой компании, в которой, казалось, никак не мог проиграть, Беркут был мертвым фаворитом. Но Лапшин проехал отвратительно и приз проиграл. Когда он возвращался к весам, возмущенные игроки освистали его, а один остроумец крикнул: «Борода, тебе спичками торговать, а не на рысаках ездить!» Публика заготовала от удовольствия и подхватила острое словцо. И потом в течение всего сезона, как только бывало, выедет Лапшин на своем Беркуте, так публика устраивает ему овацию и отсылает торговать спичками. Лапшин сердился, ругался, но поделаться ничего не мог.

Теперь относительно очень резвой езды Добрынина. Я, хорошо зная дорогу в Прилепы, позволю себе усомниться. Дорога от Прилеп до Тулы отвратительна; думаю, что худшей нет нигде на Руси, которая, как известно, не отличается хорошими проезжими дорогами – недаром еще Пушкин сказал, что в России нет дорог, а есть лишь направления! У меня тоже были неплохие тройки, но ездить по нашей дороге резво они не могли: либо колесо долой, либо рессора лопнет, либо коляска так накренится, что вот-вот вывалишься, либо так увязнешь, что не выбраться! Не говоря уже про два брода: в Лутовинской ложине и у Корсунской плотины. А топь, знаменитая топь в Двориках? Нет, не думаю, чтобы и Добрынин мог «лететь» по этим дорогам...

Два слова о том, почему Ареку надо покрыть Востоком. Я видел Ареку несколько раз в течение революции, когда наезжал в Светлогорский завод проведать Э. Ф. Ратомского и его брата. Знал я эту кобылу и молодой, когда ее только привели с завода Фёдорова, наблюдал Ареку на бегу и, наконец, видел почти весь ее приплод. Арека – замечательная по себе кобыла выдающегося происхождения. Она обладает



Барин-Молодой

классом, и цена ее по мирным, не революционным временам была никак не менее 15 тысяч рублей. Арека принадлежит к тому редкому приплоду Барина-Молодого, который обладал формами и имел ипподромный класс. Резвых и классных лошадей Барин-Молодой дал много, но хорошими, капитальными и, главное, в орловском типе получились от этого производителя считанные единицы. Я видел едва ли не всех, во всяком случае большинство приплодов этого по заслугам прославленного жеребца. Приплоды были пестры, мелки, недостаточно породны, уклонялись от орловского типа к полукровному. Блестких и блестящих лошадей среди них не было вовсе, а имевших недостатки – довольно много. Наиболее характерные из недостатков: тяжелые шеи, мелковатый рост, прямые бабки, некоторая сыроватость. Лошадей классического экстерьера, с хорошими линиями и узлами, среди детей Барина-Молодого я вовсе не видал. Коноплин хотя и зло, но очень метко характеризовал экстерьер громадного большинства Баринов: «Кореннички в помещицью тройку средней руки!»

Около двух лет, уже во время революции, Барин-Молодой пробыл в Прилепском заводе. Здесь я мог достаточно изучить его. Сам Барин-Молодой был то, что называется «в квадрате», и так пропорционален, что не производил впечатления короткой лошади, хотя и являлся таковой. Передние его ноги были далеки от идеала, шея грубовата, небезупречен он был и по сухости. Глубиной не отличался и породностью не блистал. Но спину имел превосходную, что я в нем весьма ценил, ибо, к несчастью, спины у наших рысаков, из-за распространения крови шишкинского Бычка, в большинстве были недопустимо низки. Прилепскими приплодами Барина-Молодого я не удовлетворился, однако должен заметить, что в общем и целом, как любят выражаться советские писатели, приплод был породнее, чем от маток других кровей и заводов. И здесь Потешные, Бережливые и Лебеди сделали свое дело и облагодарили формы молодых Баринов.

Однако и среди приплодов Барина-Молодого попадались, хотя и редко, превосходные лошади. К их числу я отношу и Ареку. Она имеет хороший рост – вероятно, 3,5 или же полных 4 вершка. У нее породная голова, лентистая шея, превосходная, почти идеальная спина, хороший круп с такими же окороками и кругом, вполне правильный постанов ног. Арека суха, глубока и женственна. Словом, учитывая такой ее экстерьер, класс и исключительное происхождение, приходится признать Ареку одной из интереснейших кобыл современного коннозаводства. В прежние времена такая кобыла попала бы или в Злынь к Телегину, или в Лотарёво к Вяземскому, или в Сергеевку к Щёкину, или в Прилепы ко мне. Э. Ф. Ратомский высоко ценил Ареку и по заслугам восторгался ею. Во время революции я несколько раз просил Ареку в Прилепский завод, но Ратомский не хотел с ней расстаться. И позднее, когда Светлогорский завод расформировывался, я сделал несколько попыток взять Ареку в Прилепы, но получил отказ. Лучший племенной материал в республике систематически распределялся между двумя коннозаводскими организациями – Хреновским заводом и МОЗО. Такие уж счастливицы были Витт и Пуксинг! Стоило им, подобно Аладдину, воскликнуть: «Сезам, отворись!», как ворота конюшен и заводов отворялись и «аладдины» получали кобыл... Так и не дали мне поработать над Арекой, о чем я не могу не пожалеть.

Посмотрим теперь, как использовалась Арека. Ее заводская деятельность протекала в двух заводах, сначала в Светлогорском, затем в МОЗО. Арека регулярно жеребилась, давала здоровых и нормально развитых жеребят. Ее случали с лучшими орловскими производителями: Эльборусом, Курском, Турчонком и другими. Однако ни одной вполне достойной лошади Арека до сего времени не дала. Приплод ее появлялся на ипподроме, выигрывал, показывал хорошие секунды, но класса ни у кого не было. Значит, к Ареке недостаточно индивидуально подошли, не учли особенностей кобылы, не сумели сделать нужный подбор. По всему видно, что Арека

трудна в подборе. Это еще не старая кобыла, и будем надеяться, что В. О. Витт все-таки попадет на нужного жеребца и даст ей возможность прославиться на коннозаводском поприще.

Когда я несколько раз устремлялся – увы, тщетно – получить Ареку в Прилепский завод, я имел в виду покрыть ее Кронпринцем, учитывая, что сочетание Крутой – Потешный во всех заводах дало блестящие результаты и прежними генеалогами было признано классическим. Мне казалось, что и по другим соображениям Кронпринц чрезвычайно подходил: крайне пылкий, с большим сердцем и горячим темпераментом жеребец – именно такой партнер и нужен был Ареке. Ныне возможность такого сочетания утеряна, но его можно осуществить через сына Кронпринца – Отчаянного-Малого. Я останавливаюсь именно на нем, а не на Ловчем, например, потому, что Отчаянный-Малый – типичный представитель своей линии, а сочетание преследует цель повторить классическую встречу линий Крутого и Потешного. Думаю также, что Отчаянный-Малый придал бы блеска и породности приплоду Ареки.

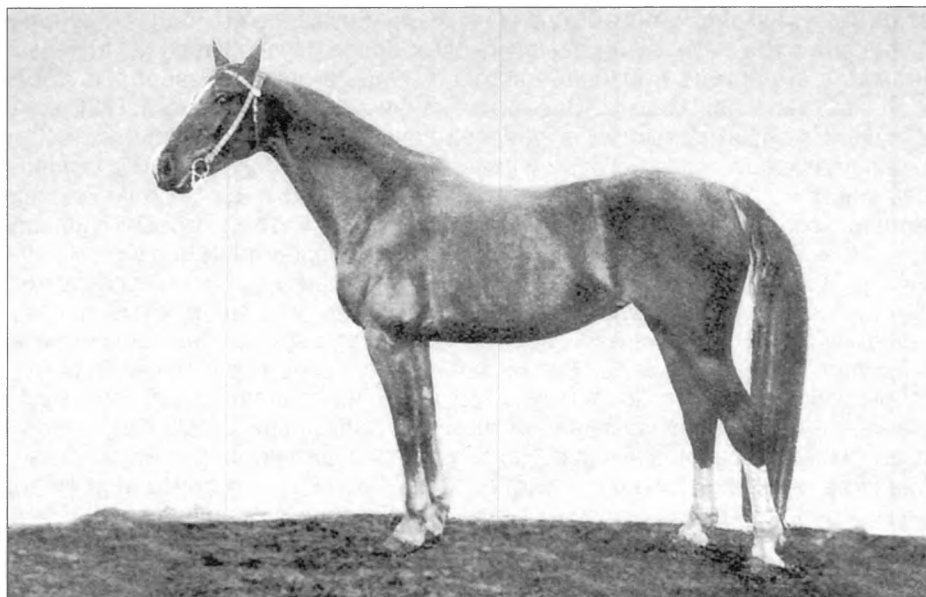
Вторым жеребцом для этой кобылы я имел бы в виду Востока. Такое предложение многим покажется рискованным, ибо отец Востока, первоклассный Эльборус, при повторении имени Потешного не дал с Арекой сколько-нибудь эффектного результата. С моей точки зрения, это произошло потому, что хотя здесь и повторялся Потешный, но Эльборус – отнюдь не типичный представитель этой линии и менее всего напоминает своего великого предка и других жеребцов этой линии. Восток же, будучи сыном Эльборуса, вышел при этом типичным Зенитом; а кто же из лиц, знавших этого жеребца, станет отрицать, что он хотя и не был особенно ярким представителем Потешного, но во многих отношениях продолжал свою линию (я имею в виду только экстерьер и тот казакowski блеск, который присущ кожинским лошадям). Мать Востока Ветрогонка – внучка Бережливого, сына Потешного, – сама в высокой степени отражала кожинских лошадей и по экстерьеру была типичнейшей представительницей своего дома. Сочетание Восток – Арека повторит имя Потешного так близко, как это возможно в современных генеалогических условиях. Кроме этого основного соображения, в защиту сочетания говорит и то, что по Пегасу будет введена кровь Крутого, а следовательно, классическая комбинация Крутой – Потешный будет подкреплена тройным инбридингом на Потешного.



Мне могут возразить, что Восток недостаточно классный жеребец и имеет рекорд 2.18. Но ведь жеребец показал эти секунды будучи уже без ноги, поэтому класс его никак не ниже 2.15.

В заключение позволю себе повторить: Арека настолько выдающаяся кобыла, что надо приложить все старания, дабы сделать ей наилучший подбор.

Надсада. Среди молодых кобыл Прилепского завода Надсада принадлежит к числу наиболее обещающих. Она уже дала двух жеребцов блестящего экстерьера. Во-первых, рыжего жеребца от Лакея – он показал рекорд 1.38, после чего был поломан; во-вторых, Напильника (2.29). Я не видел Напильника ровно год: он ушел в Грязнушенский завод в конце декабря 1927 года, а сейчас, когда я пишу эти строки, 7 декабря 1928 года. Напильник, каким я его знал, был чрезвычайно сух, кровен



Нирвана завода Я. И. Бутовича. Премиирована на конской выставке в Симбирске в 1912 г.

и породен. Он принадлежит к тем детям Надсады, кои идут по ее женской линии, то есть по Нирване, в чьей родословной мы видим имена знаменитой Волны, толевских лошадей, казаковских и кожинских, то есть такое сочетание высокопородности и красоты, что дальше и «ехать некуда». Что сейчас представляет по экстерьеру Напильник, я не знаю, но думаю, что очень уж к худшему он измениться не мог, что тип его остался тот же. Прежде чем вернуться к описанию матери Напильника Надсады, надо еще хоть несколько слов сказать о его бабке Нирване, одной из родоначальниц моего завода.

Нирвана была выставочно хороша, суха, породна и дельна, как кровная лошадь. Происхождения самого высокого: она принадлежала к женской семье великой Самки – матери ознобишинского Кролика. В ней трижды повторилась кровь Крутого!

Как заводская матка Нирвана вполне оправдала себя. Первая же ее дочь Неугомонная, родившаяся еще у Терещенко, имела 1.36 и позднее была также куплена мною. Она приходилась по отцу внучкой Бережливого. По себе чрезвычайно хороша: в казакском типе, сухая, блестящая, благородная, изящная и дельная. Я не дождался от нее приплода и уступил в Лотарёво, где ею остались очень довольны.

Следующая дочь Нирваны, гнедая Нормандия, родилась уже в моем заводе, ехала версту без двадцати трех и происходила от Кобзаря. Она тоже была суха и породна, но вышла более в отца и по типу приближалась к малютинским лошадям.

От Громадного Нирвана дала замечательную, чисто арабскую светло-серую Нору, которая тяжело мыгилась, потом болела плеввропневмонией и либо пала, либо калеккой была продана. В этом меньше всего виновата Нирвана и больше всего завод.

В те годы на бегу и в Хреновой гремел Палач – второй после Крепыша орловский рысак России. Продумав подбор, я послал под него Нирвану: имелось в виду усилить и закрепить в родословной будущего приплода казакско-кожинский комплекс. Результат соединения получился превосходным – первоклассная по себе и резвости Ненависть (1.35), резвейшая дочь Палача. Харитоненко предлагал мне за нее 20 тысяч рублей, но я кобылу не продал. В. Розмайер, поступивший тогда к Харитоненко, считал Ненависть не тише 2.15, но нога у кобылы, увы, была уже

с браком, так что выдержать работу она не могла. Розмайер ее подлечил и четырехлетней проехал три раза, выиграв три первых приза. После этого нога Ненависти уже не могла выдержать призовой работы, и кобыла пошла в завод. По себе Ненависть – выставочная кобыла. Впервые она фигурировала не то в 1920-м, не то в 1921 году на тульской выставке – первой конской выставке в Советском Союзе, которой сопутствовали два беговых и скаковых дня. Этот спортивный праздник был устроен мною и привлек не только местную публику, но и кое-кого из москвичей: отдел животноводства НКЗ командировал в Тулу Э. Ф. Ратомского. От Прилепского завода я показал двух кобыл: белую Леду, давшую впоследствии Ловчего, и вороную Ненависть. О Леде говорить не приходится – это была не лошадь, а совершенство! Ненависть произвела большое впечатление, ей присудили золотую медаль и дали вторую премию. «Платоническая», впрочем, золотая медаль, без выдачи ее натурой... Увидев прилепских кобыл, Ратомский пришел в восторг и сказал своему брату, который служил тогда в Прилепском заводе: «Я никогда не думал, что у Бутовича есть такие кобылы!» На следующей выставке, состоявшейся в 1923 году в Москве и имевшей уже всесоюзное значение, Ненависть тоже фигурировала. На этой выставке Ненависть обокрали: эксперты выставки Щёкин и Юрасов присудили ей только большую серебряную медаль и третью премию. По общему мнению охотников, первая премия была правильно присуждена Леде, хреновской кобыле, но вторую следовало дать Ненависти, а не Полыни, особенно близкой сердцу Щёкина по своему родству с Булатной. После экспертизы А. А. Брусиллов смотрел на выводке премированных рысистых лошадей. Когда вывели Ненависть, Брусиллов обошел кобылу, похвалил ее и выразил удивление, что она получила только третью премию и серебряную медаль. Спросив, кто от Прилепского завода привел лошадей, он уполномочил Попова, тогдашнего управляющего заводом, передать мне поклон и сказать, что Ненависть произвела на него очень большое впечатление и что лично он ставит ее на второе место среди рысистых маток, приведенных на выставку. Само собой разумеется, если бы я присутствовал на московской выставке 1923 года, я сумел бы отстаивать интересы Ненависти, но приехать я не мог, ибо мне был запрещен выезд за пределы Тульской губернии, каковое запрещение длилось целый год. У Ненависти, кобылы высокого выставочного класса, есть два недостатка, выраженные, правда, в легкой форме: сыроватость скакательных суставов и некоторая сближенность постава задних ног.

Заводская карьера Ненависти одновременно удачна и неудачна. Ее приплодам определено не везло: они либо гибли, либо же их постигало какое-нибудь несчастье. Благополучно, без несчастий, выросли худшие дети Ненависти. Свою заводскую карьеру она начала вороной кобылой Неурядицей от Лакея. Неурядица попала в голодовку, затем на Ленинградский ипподром в самом начале его восстановительного периода, где тоже почти голодала. В руках наездника она никогда не была; ездил на ней Лыкошин, очень милый человек и впоследствии недурной ездок. На Неурядице он еще только учился тому, как держать вожжи. Тем не менее Неурядица показала рекорд 1.41, била всех метисов, кроме одного, и, по словам Т. Н. Телегиной, являлась кобылой высокого класса. Я зачислил Неурядицу в штат заводских маток, но когда в Прилепах появился Владыкин, то он ее выбраковал и продал на Урал. Витт очень сожалел, что не успел ее купить для заводов МОЗО. От Кронпринца Ненависть дала двух жеребцов; старший из них, золотисто-рыжий и замечательно хороший по себе, вскоре пал, младший, Недотрог, получил на выставке 1923 года вторую премию в группе двухлетних жеребцов. Очень резвый жеребец! Я видел его в Москве на том бегу, когда Недотрог, будучи четырехлетком, выиграл в руках А. Петрова приз в 2.24, идя последнюю прямую произвольно, сдерживаясь на финише до шага. Этот бег надо расценивать не тише 2.20 – резвость для четырехлетка внушительная. После Недотрог разладился и сошел со сцены. Недотрог – лошадь очень



*А. Петров, наездник
В. И. и Я. И. Бутовичей*

трудная на езде и ходу; с такими лошадьми, чтобы вполне выявить их класс, нужно иметь американское терпение, англо-саксонский ум и руки Кейтона. Двух жеребят дала Ненависть от Эльборуса. Дочь Эльборуса и Ненависти – вороная, широкая, костистая и правильная кобыла – класс не показала и сейчас находится в Хреновой. Ее брат Нарядный был замечательной лошадью, лучшим жеребцом в ставке того года – крупный, густой, костистый. Однако он не был свободен от недостатков своего деда Палача: общей сырости и плохого постава задних ног. Когда он был полуторником, на прилепском горизонте появился Владыкин, ставший проводить в заводе разные эксперименты, с тем чтобы прилепские тихоходы скорее побежали. Смоленский барин самодурствовал и творил невероятные вещи. Результатом одного из «чудес» было увечье Нарядного, навсегда оставшегося калеккой. Сейчас жеребец находится в Тульской заводской

конюшне. От Барина-Молодого Ненависть дала также двух жеребят, вороной масти. Из Прилеп в Хреновую Ненависть ушла холостой от Ловчего.

Сделать подбор к Ненависти нелегко. Однако эта кобыла такой ценности, что ключ к подбору найти должно. Лично я крыл бы Ненависть пылками, сухими и образцово правильными по ногам партнерами. Масса у жеребцов необязательна, ибо Ненависть дает очень капитальных детей. Охотнее всего я крыл бы ее Меценатом или стариком Меркурием, если тот еще жив. В последнем случае повторилось бы имя Серебряного, усилено основной казаковско-кожинский комплекс. Нельзя, наконец, не отметить, что Ненависть принадлежит к числу тех немногих кобыл рысистого коннозаводства, у которых нет и капли крови Бычка.

От Хулигана и Нирваны родилась вороная кобыла Надсада, состоящая ныне заводской маткой в Грязнушенском заводе. Когда Хулиган закончил свою блестящую беговую карьеру, я решил послать к нему Нирвану. Великий князь дал свое согласие, и в первый же год Хулиган получил дубровских кобыл и одну мою, других кобыл частных владельцев не допустили. Делая означенный подбор, я хотел получить Бычка в казаковском «футляре», но вместо этого получил кобылку. Я хотел назвать ее Досадой, но по традиции завода имя должно было начинаться на букву «Н», так что по созвучию кобылка получила имя Надсада. Она оказалась единственным жеребенком, родившимся в том году от Хулигана: все остальные данные Хулигану кобылы прохолостели. Великий князь очень этим встревожился, а обо мне отозвался как о счастливце. Однако я также встревожился, в особенности когда увидел, что родившаяся кобылка суха и ворона без отмет. В душу закралось сомнение: уж не от орлово ли ростопчинского пробника зажеребила Надсада? Я поделился сомнениями с управляющим Дубровским заводом Н. Н. Кулаковым, с которым находился в приятельских отношениях. Кулаков отрицал всякую возможность подобного казуса в Дубровском заводе, ибо там при случке обязательно присутствуют маточник, ветврач, его помощник и несколько учеников ветшколы. Он клялся, что это абсолютно невозможно, что однажды был подобный случай, но его не скрывали, составили о случившемся акт и донесли в Петербург великому князю, а не в меру ретивого пробника сняли с должности. Эти уверения меня совершенно успокоили, и я больше не сомневался, что Надсада действительно дочь Хулигана. В настоящее время Надсада является единственной в Союзе дочерью Хулигана.

Имела ли Надсада класс как призовая лошадь, сказать сейчас трудно, так как ее совершеннолетие совпало со временем прекращения беговых испытаний в России. В числе 50–60 лошадей двух возрастов она ушла из Прилеп в Хреновую. Туда

я отправил своих лошадей, так как в Прилепах было очень тревожно и я боялся их гибели. Вернулись все эти лошади и вновь вошли в состав Прилепского завода по постановлению Чрезвычайной комиссии по спасению животноводства. Когда Надсада была еще в Хреновой, наездник Лохов сообщал мне, что две из кобыл – Фаворитка и Надсада – резвейшие и идут не тише хреновских. Следует думать, что Надсада обладала призовой резвостью.

По себе Надсада невелика, широка и глубока – наследие отца Хулигана – и идет по линии Бычка. Она очень суха, что заимствовала у Нирваны, имеет породную голову и великолепную спину. Наконец, некоторая чистота ног (беднокостность) наследована от старых казаковских кровей. Надсада регулярно жеребится, очень молочна, что является весьма важным качеством. Она дает почти одинаковый процент жеребчиков и кобылок. С начала своей заводской карьеры она еще ни разу не прохолостела; очень хорошо держит тело и крайне неприветлива на корм. Словом, иметь в хозяйстве или в заводе такую кобылу было по прежним временам чрезвычайно выгодно.

Если мне память не изменяет, в Прилепах Надсада дала шесть жеребят: двух от Лакея, двух от Эльборуса и двух от Барина-Молодого. Ушла она в Грязнушенский завод в декабре 1927 года жеребой от Ловчего. Оба сына Лакея появились на ипподроме. Старший, вороной Нахал, был нерезв, но по себе хорош, делен и правилен. Интересно, что он имел ту же характерную и редко встречающуюся лысину с белой полосой к одному глазу, какая была у его бабки Нирваны. О втором рыжем сыне Лакея я уже говорил: он был очень резв, но ему не дали возможности показать свой класс, и он покинул ипподром с рекордом 1.38. От Эльборуса Надсада имела рыжего жеребца Недруга (2.19) и вороную Новизну (2.21). Новизна нехороша по себе: высока на ногах, беднокостна, имеет мягкую спину и мало ребра. Сейчас она находится в тренировочной конюшне Хреновского завода и бежит в Москве. О родном ее брате следует поговорить обстоятельнее, так как он, несомненно, один из класснейших сыновей Эльборуса. Недруг – красивой ярко-рыжей масти, с более светлыми гривой и хвостом. У него лысина и типичные отметины Бычков. Он костист, сух, фризист и очень делен. Голень у него замечательная, а углы бросаются в глаза даже малоопытному охотнику. К сожалению, спина у него типично бычковская – с провалом от связки к холке. В ставке он обращал на себя внимание, имел прекрасный характер, был очень резв, много резвее сверстников, из числа которых вышли такие лошади, как Крестник (2.14). Недругу не повезло: высоко цена этого жеребца, я отправил его не в Москву, а в Ленинград, с тем чтобы его там сберегли до четырех лет, и уж затем я думал перевести его в Москву. Лыкошин, получив особые инструкции, приготовил Недругу специальный денник и стал его ждать. Недруг пришел в Ленинград днем, выгрузили его вечером. В деннике оказалась одна гнилая доска, Лыкошин ее не заметил, и в первую же ночь Недруг провалился задней ногой, изуродовав ее. Жеребца лечили полгода, но вылечить, конечно, не смогли. Несмотря на это, Недруг хорошо бежал, а затем в Туле в руках любителя Платона Апасова, мало подготовленный, после утомительного случного сезона, показал резвость 2.19, бил метисов Тульского треста класса 2.17. Я считаю класс Недруга никак не меньше 2.12–2.14. На эту лошадь должно обратить внимание. Сейчас Недруг состоит в штате Тульской заводской конюшни. Остается сказать о последних детях Надсады. Ее сын от Барина-Молодого Напильник, ныне двухлеток, уже в заводе был страшно резв и стоек. Тренировавший его Лыкошин восторгался Напильником и, по-видимому, не ошибся в классе этой лошади: Напильник по второму или же третьему выступлению в Москве осенью этого года показал резвость 2.29 и занял одно из первых мест среди двухлеток государственных заводов. По всей вероятности, жеребца ждет блестящая беговая карьера. По себе он сух, породен и своеобразен, с Бариним-Молодым не имеет ничего общего и, очевидно, вышел в казаковского предка. Его сестра-погодок, превосходная вороная кобылка, сейчас в Хреновой.

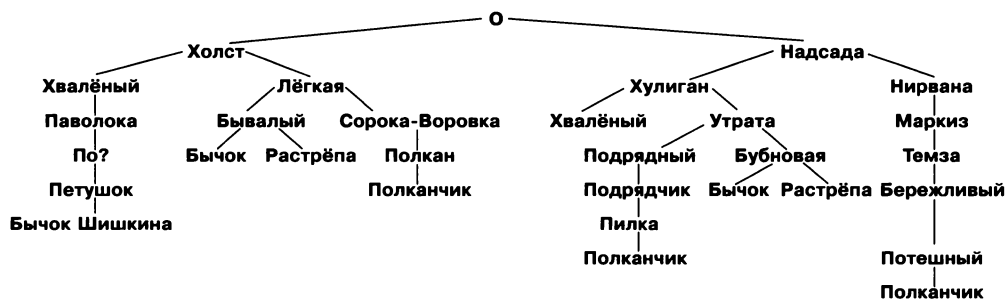
Таким образом, заводская деятельность Надсады показывает, что это одна из наиболее обещающих заводских маток современного коннозаводства.

Среди сыновей Нирваны лучшими были успешно бежавший в Санкт-Петербурге Ноябрь от Молодца (1.36 и 4.47), проданный мною светлейшему князю Лопухину-Демидову, и сын Петушка рыжий Наряд. Наряд получил свое имя по праву, так как был блестяще хорош. Табачный король Богданов предлагал мне за него, двухлетка, 10 тысяч рублей. Однако продать его я не мог, так как одновременно некто Эш, германский подданный, предложил мне за 27 двухлеток по 2200 рублей и без Наряда взять лошадей не соглашался. Я продал Эшу всю ставку, и Наряд ушел к нему. Во время империалистической войны Эш исчез. Его заподозрили в шпионаже, а лошади не то были конфискованы, не то исчезли неизвестно куда. С тех пор о Наряде ни слуху ни духу. Я знаю об этом потому, что после исчезновения Эша Богданов разыскивал Наряда, но найти его не мог. Богданов любил рыжих лошадей и имел лучшие выезды в Петрограде из лошадей этой масти. Наряда он хотел купить в эгоистку.

В 1917 году в Прилепы приехал сибирский миллионер А. А. Винокуров и отобрал трех кобыл: Панночку, Пилу и Нирвану. Была нужда в деньгах, кормов не хватало, революция все усугублялась – и я продал кобыл. Осенью 1917 года Нирвана переменила владельца и навсегда покинула Прилепский завод. В Сибири она дала резвую Василису-Мелентьевну (1.35) и вороного жеребца, который также показал безминутную резвость. Чрезвычайно успешная и значительная заводская работа Нирваны тем более обязывает нас сделать для ее лучших дочерей Ненависти и Надсады возможно лучший подбор, дабы они вполне проявили себя на заводском поприще.

Перехожу к вопросу о подборе к Надсаде. Сочетанием простейшим и наиболее понятным для всех – при том увлечении инбридингом, которое ныне с легкой руки В. О. Витта существует, – будет следующее.

ПРИПЛОД ГРЯЗНУШЕНСКОГО ЗАВОДА

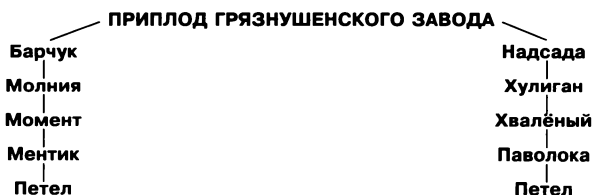


При данном сочетании мы имеем ряд инбридингов, и притом на выдающихся лошадей. Инбридируются имена знаменитого Хвалёного, дубровского Бычка, Растрёпы – матери рекордиста Бывалого; трижды повторяется Полканчик – отец великого Потешного; наконец, входит основной (шишкинский) Бычок, от которого в прямом – мужском – колене происходит дубровский Бычок. Рассматривая означенное сочетание всесторонне, мы ясно видим, что Бычок играет в нем чрезвычайно видную роль и является фундаментом этой родословной. Троекратное вхождение Полканчика также обращает на себя внимание, и хотя оно значительно отдалено, тем не менее прекрасно представлено через таких лошадей, как Полкан – родной брат великого Потешного, Пилка – мать знаменитого Полотёра и Бережливый – сын Потешного. Инбридинг на Хвалёного, как на выдающуюся лошадь своего времени, также чрезвычайно интересен и не может быть не отмечен. Кроме того, обращает на себя внимание комплекс Бычок – Растрёпа, который, с одной стороны, создал

в Дубровке рекордиста Бывалого, а с другой – дал Бубновую, бабу знаменитого Хулигана. Этот комплекс полностью повторяется, а значит, и закрепляется данным сочетанием. Трудно угадать, какая сторона родословной возьмет верх в будущем приплоде и какие именно инбридинги окажут решающее действие, но можно сказать наперед, что это сочетание таит в себе богатейшие возможности. Пока что Холст как производитель не проявил себя ничем; весьма возможно, что он принадлежит к числу тех производителей, которые нуждаются для успешной заводской работы в укреплении и усилении основы своей родословной. Надсада именно такая кобыла, которая это осуществляет, да еще и привносит течение крови Полканчика.

Свои соображения я изложил в сжатом виде А. С. Кученеву, однако думаю, что мой глас останется гласом вопиющего в пустыне. Побоятся послушать Бутовича, ибо не простят метизаторы, имеющие зоркий глаз. Ведь предложенное сочетание чревато выдающейся лошадей и подрывает интересы метисного дела. То ли дело случить Надсаду с Брянском и получить резвенькую и кривоногую лошадуку, или покрыть ее Корешковичем и получить грубую скотину, или случить с вармиковским представителем и получить класс, но неудовлетворительный экстерьер! Вот тогда Пейчу, этому современному отцу метизации, и всем его клеветам можно будет шептать кому следует на ушко: «Вот видите! Орловцы... Куда они годятся! Где преимущество орловца над метисом? Ведь до резвости метисов далеко и Вармикам с Корешками да Лесками». Эти слова, сказанные вовремя и убедительно, действуют, и как действуют! Владыкин, этот губитель орловской породы, однажды мне проговорился, что «они» до смерти боятся появления «таких» Ловчих, ибо тип и формы подобных лошадей импонируют всем и каждому. Такому экземпляру простят, что он тише метиса, и при взгляде на него поймут, что нельзя забывать об орловской породе. Владыкин мне сознался откровенно, что ни Лески, ни Вармики, ни Корешки им, метизаторам, неопасны. Я вполне согласен с Владыкиным и глубоко скорблю, что Витт, Щёкин и Юрасов не сразу поняли политику метизации. Теперь-то и они разделяют мою точку зрения. Но сколько возможностей упущено безвозвратно, скольких исторических комбинаций уже нельзя осуществить и сколько вреда орловской породе этим принесено! Те же модные три линии могли бы, при осторожном и вдумчивом подборе к ним более старых, типичных, хотя и менее модных линий, дать превосходные результаты и много не только резвых и классных, но и превосходных по себе лошадей.

Вернемся к подбору жеребца для Надсады. Судя по Напильнику (кстати, этот последний явился результатом встречи модной вармиковской линии с немодной, над которой совсем не работали в годы революции), к Надсаде хорошо подошел бы Барчук. Барчук дает грубоватых и иногда простоватых детей, Надсада же наоборот. Барчук очень костист, и это хорошо для Надсады. В экстерьерном отношении Барчук весьма подходит к Надсаде тем, что не имеет недостатков, которые есть у кобылы. С генеалогической точки зрения подбор выглядит так:



Здесь центр тяжести комбинации переносится на имя Петела и вводится новая и такая сильная кровь, как кровь Ветерка, который трижды повторен у Барчука и играет очень большую роль в его родословной. Дополнительной основой сочетания остается опять-таки комплекс Бычок – Растрёпа. При таком варианте скрещивания

доминируют уже не Бычок дубровский и не Бычок голохвастовский, а непосредственно Петушок, что чрезвычайно интересно. Наконец, имена родословной Барчука, Волшебника и некоторых других прекрасно гармонируют с казаковско-кожинским комплексом.



Как показывает составленная таблица, у Реума кровь Бычка не играет никакой роли: она встречается очень далеко и лишь один раз во всей родословной – через лермонтовского Булатного. Зато чрезвычайно мощную поддержку получает весь казаковско-кожинский комплекс родословной Надсады. Я разработал его поверхностно, тем не менее чертёж показывает нам, что будущий приплод от Реума и Надсады будет ближе к Полканам, чем к Вармикам и Бычкам. У Надсады я показал на чертеже два главнейших и ближайших полкановских течения: одно – по отцу Хулигану, другое – со стороны матери Нирваны. Само собой разумеется, что, имея я заводские книги, я значительно дополнил бы эту сторону работы, ибо Полкан 3-й участвует у Нирваны не только через Маркиза, но и через Крутого, Волну и других. Сочетание Реум – Надсада принадлежит к числу наиболее интересных и при удаче может создать такого рыска, который явится двигателем породы по пути ее прогресса.

Из жеребцов той же линии приемлемым для Надсады был бы и Ветерок – сын Вия и Утраты. Он подойдет к Надсаде по экстерьеру, а кроме того, внесет свежую струю крови (Удалого). Могучего же, Беркута, Кречета и Талисмана я рассматриваю как жеребцов полкановского толка или очень близких к нему, а стало быть, и подкрепляющих казаковско-кожинский комплекс родословной Надсады.

Делая подбор к Надсаде, я бы также стремился дать ей такого жеребца, который, принадлежа к линии Лебедея 4-го, был бы силен именами Полкана 6-го, Лебеда 5-го, Чародея Казакова и старыми казаковскими кровями. Таким жеребцом является старик Меркурий (2.18) – внук Серебряного с одной стороны и роговской Маруси с другой.

Если основываться только на одном инбридинге, то теоретически к Надсаде подойдет один из основных производителей Грязнушенского завода – Отчаянный-Малый (4.36) от моего Кронпринца. У матери Надсады трижды повторен Крутой, а Отчаянный-Малый его прямой потомок. Однако я не считал бы это сочетание бес-

спорным. Четырехкратное повторение имени Крутого, с моей точки зрения, излишне. Кроме того, Отчаянный-Малый, будучи арабски породной лошастью, сухой и блестящей, не так уж богат костью и невелик ростом. Здесь полезно указать, что на скрещивание мелких лошадей между собою у нас в настоящее время, к сожалению, не обращено должного внимания. Потому среди современных рысистых лошадей, в особенности среди метисов, так много мелких. Я считаю, что мелкий рост очень стойко передается в потомство и изжить его нелегко. Если же скрещивание мелких лошадей между собой происходит в течение двух-трех поколений, то неудовлетворительный рост так закрепляется, что получить крупных лошадей становится почти невозможно. В таких случаях приходится проводить длительную работу в целом ряде поколений, добиваясь в каждом из них постепенного повышения роста. Процесс этот идет медленно и требует много времени.

В данное время распространён взгляд, что путем хорошего кормления легко поднять рост. Этой точки зрения придерживаются многие наши специалисты. Так, когда меня на старости лет принялся учить коннозаводству Владыкин (безо всякой просьбы с моей стороны), то он говорил, что мелкий рост легко изжить путем усиленного кормления. Еще раз скажу, что это не так, и приведу два-три примера. Барин-Молодой и без того дает некрупных лошадей, от мелких же кобыл – только



Крутой 2-й

мелких. Так было в Прилепском заводе. И несмотря на то что все его дети одинаково хорошо кормились, мелкие от этого не стали крупнее и не догнали в росте своих более крупных сверстников, сыновей и дочерей крупных кобыл. Еще в начале моей коннозаводской деятельности у меня в заводе была классная по бегам на южнороссийских ипподромах кобыла Гильдянка 2-я – и сама роста невеликого, и весь приплод ее был мелок. Граф Ходынский, сын этой кобылы от такого крупного жеребца, как малютинский Горыныч, имел два вершка роста. По словам К. П. Черневского, который управлял заводом Г. Н. Бутовича, продавшего мне Гильдянку 2-ю, мать ее тоже была мелка (в свое время она принадлежала Башкирцеву, отцу знаменитой Марии Башкирцевой). Таким образом, налицо мелкий рост в трех поколениях, который очень стойко передавался потомству.

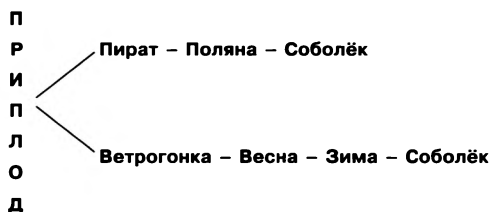
Иное дело, когда мелкий рост кобылы не наследован, а образовался в силу плохих условий – недостатка кормления и неправильного воспитания, а сама кобыла происходит от родителей нормального или крупного роста. Такие кобылы действительно дают, по моим наблюдениям, лошадей нормального роста, когда они сами и их приплод поставлены в нормальные условия существования.

В данное время с легкой руки В. О. Витта – воздадим ему должное – молодежь изучает генеалогию и с появлением его классической работы «Орловская рысистая порода в историческом развитии ее линий» имеет полную возможность правильно разбираться в генеалогии рысистых лошадей. Следует, однако, пожелать, чтобы помимо чисто генеалогических данных были разработаны по отдельным линиям и знаменитым лошадям подробные сведения, включающие такие данные, как рост, вес, промеры, экстерьер, отличительные черты и характерные особенности, даже отметины, темперамент, характер, препотентность, молочность и хорошее жеребленье у кобыл. Надо знать, какие линии «любят» инбридинг, а какие – нет, главные даты карьеры лучших лошадей (так сказать, канву их жизни) и прочее. Все эти данные, собранные воедино по линиям и лучшим лошадям, проработанные и изданные, составят необходимое дополнение к учению о разведении по линиям. Без них все сводится только к генеалогической стороне вопроса, к механическому применению инбридинга и, как любое увлечение и любая модная теория, может принести орловской породе больше вреда, чем пользы, ибо инбридинг есть то орудие, с помощью которого можно создавать и хороших, и плохих лошадей.

Упущенные возможности. В первые годы революции, когда объективные условия жизни не позволяли получить для завода первоклассного жеребца и в Прилепах приходилось пользоваться лишь двумя своими производителями – Кронпринцем и Лакеем, я имел возможность сделать два-три интересных в генеалогическом отношении сочетания. Далеко не все кобылы подходили к своим производителям, некоторых, как полусестер, нельзя было крыть, а потому для них приходилось искать жеребцов из числа тех, что находились на территории губернии. Просмотрев в первую очередь состав Тульской заводской конюшни, я решил покрыть по одной кобыле Пиратом (2.27) завода В. В. Оболонского и Самолётом, рожденным в моем заводе от Мага и Скалы и проданным мною графу А. Л. Толстому.

Пират – внук Соболька. Его родной брат, знаменитый Ворожей, прославился своим приплодом во Франции. Действительно, его дочь классная Аида приходится бабкой Жокею (2.09), а другая дочь является бабкой Вируа (1.29), одного из лучших производителей Франции. Я всегда высоко ценил Гранита и немало писал о нем. Его сын меня чрезвычайно интересовал, и я не только писал о нем, а во время своего участия во французских коннозаводских журналах запрашивал сведения о нем у редактора газеты «La France Chevalière»*. Само собой разумеется, что потомство Соболька, который состоял производителем в заводе А. Н. Терещенко, также чрезвычайно меня интересовало. Однако когда я получил возможность покупать лошадей, дочерей Соболька уже не было. В те годы А. Н. Терещенко вел завод в городском направлении, и дочери Соболька продавались за границу. Последняя, крайне интересная, дочь Соболька Поляна, принадлежавшая барону Энгельгардту, случайно попала на ипподром и имела хороший рекорд. Я хотел ее купить, но барон тогда Поляну не продавал, а затем, не предупредив меня, продал ее В. В. Оболонскому. Я пытался купить ее у Оболонского, но тщетно. Сын Поляны и попал в Тульскую заводскую конюшню. Я решил покрыть с ним Ветрогонку, дочь Весны, внучку Зимы от Соболька. Делая такой выбор, я имел в виду закрепить кровь Соболька и, быть может, получить классную лошадь.

* «Конная Франция» (фр.).

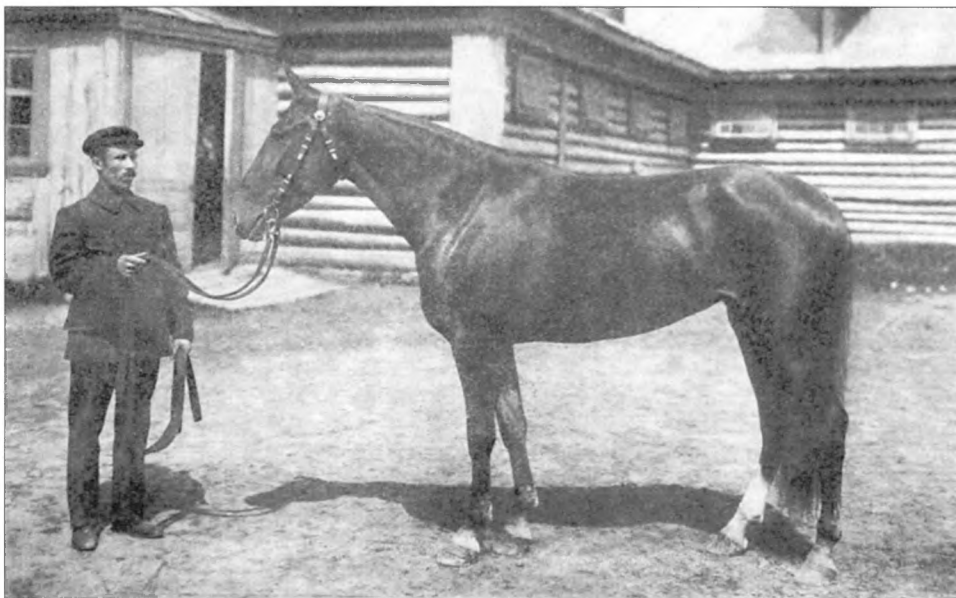


Пират имел безминутный рекорд и в то время не был еще истрепан. Прежде чем объяснить, почему мне не пришлось воплотить свои намерения, приведу второй пример подбора, который я предполагал осуществить.

В Прилепском заводе знаменитая рекордистка Скала имела всего лишь одного жеребенка — Самолёта, сына Мага. Выдающийся, замечательный по себе и породности, он уже двух лет погиб для призовой карьеры, навсегда оставшись калекой. Я высоко ценил Самолёта и, продав его своему соседу графу Толстому, не упустил жеребца из виду. Ко времени, о котором рассказывается, я хотел покрыть Комету-Галлея Самолётом.



Комета-Галлея, бабка Кумира (2.16), очень интересная по себе, была дочерью выставочной кобылы. Маг за красоту форм получил первую премию, которая присуждалась в редких случаях и только выдающимся участникам этого почетного тогда приза. Самолёт был не только хорош, но и в типе отца; он не уступал Магу по делу, был крупнее и имел лучший глаз. По поводу глаза Мага в старину между Щёкиным и Шапшалом произошло немало сражений, одно из которых чуть не окончилось



Комета-Галлея

дуэлью... Я хотел повторить имя Беркута. Однако покрыть Комету-Галлея Самолётом мне также не пришлось, и теперь пора объяснить почему.

Здесь нужно вспомнить далекое уже время, первые три-четыре года после революции. Попытаюсь нарисовать картину тогдашнего ведения заводов и руководства ими. Надеюсь, что такая зарисовка представит несомненный интерес для будущего историка, а потому охотно приступаю к делу.

В те годы всей животноводческой деятельностью в губернии – плановыми мероприятиями, а равно заводами и стадами – ведал подотдел животноводства при губернском земельном отделе. Заведовал подотделом Д. Н. Волков, председательствовавший также в губернской зоотехнической комиссии. Именно в этой комиссии предварительно прорабатывались все серьезные вопросы животноводства, обсуждался и утверждался подбор, а уж после этого подотдел животноводства проводил все принятые постановления в жизнь. Политику, как известно, творят люди. У нас в животноводстве также имела своя политика, стало быть, и ее творили люди, а потому и прежде всего – о них.

Глава подотдела Д. Н. Волков, старый губернский работник, достался большевикам «по наследству» от прежнего режима. Человек он был ловкий, очень хитрый и двуличный. Выше всего ставил свою карьеру и интересы молочных артелей, куда направлял очень много концентрированных кормов, предназначавшихся для племенных стад губернии. Артели эти в свою очередь его тоже не забывали: в то время как у других земельных работников ничего, кроме жалования, не было, Волков получал от артелей масло, молоко, хлеб, крупу и прочие блага. Как было ему в эти голодные годы не порадеть об артелях, которые кормили и поили его?! Держал он себя хорошо, был сдержан и очень осторожен. Прилепы и меня ненавидел всей душой. В его глазах я был барином, а он еще так недавно в три погибели сгинулся перед барами. Кроме того, в душе его жил эсер, а какой эсер не заклятый враг любого из нас, помещиков? Волков не мог мне простить, что я, со своим помещичьим прошлым, занял вдруг такое положение в губернии, являюсь лицом, контролирующим его (в то время я служил особоуполномоченным отдела животноводства Наркомзема по Тульской губернии). Всего этого Волков прощать мне не собирался и готов был и меня, и Прилепский завод утопить в ложке воды. Борьбу свою против Прилеп он вел очень осторожно, внешне оставался крайне любезным и предупредительным, всякую пакость умел облечь в красивую форму, преподносил ее мягко и деликатно, с неизменной улыбочкой на устах. Бороться с ним было нелегко, но в серьезных случаях я всегда оставался победителем, а в остальных проходил мимо, стараясь не замечать, игнорировать его мелкие подвохи и интриги.

Губернским специалистом по коневодству служил А. А. Пусторослев, бывший управляющий Тульской заводской конюшней. Я знал Пусторослева еще по Хреновой, как одного из помощников Дерфельдена. Ближе мы познакомились в Туле, а когда я вплотную столкнулся с ним по совместной работе в трудное революционное время, то совсем полюбил и оценил его. Вот человек, которому я сделал большую неприятность, который знал об этом и никогда не только не мстил мне, но и не намекал о случившемся. Пусторослев управлял Тульской заводской конюшней, я же, будучи губернским специалистом, снял его, назначил на свое место, а на его место назначил Мамонтова. Пусторослеву очень не хотелось уходить с насиженного места, тяжело было расставаться с Рудаковым, где размещалась в то время заводская конюшня. Он вынужденно подчинился, переехал в Тулу и начал служить в земельном отделе. Человеком он был рыцарским, благородным, мягким, добрым и порядочным. Лошадь он знал по-кавалерийски, то есть экстерьерно, но понимал немного и заводское дело, так как несколько лет прослужил в Хреновском. У него очень неудачно сложилась семейная жизнь. Где он теперь, жив ли, я даже и не знаю, но добрую память о нем сохранил навсегда. Пусторослев состоял также членом гу-

бернской зоокомиссии. Положение его было трудное. С одной стороны, служебно он зависел от Волкова, с другой – я также являлся чем-то вроде наезжающего «сверхначальства», и Пусторослев оказывался меж двух огней. Человек неглупый и тактичный, он хорошо выпутывался из создавшегося положения и вел среднюю, примирительную, линию. Этот человек никогда не сделал ни мне, ни Прилепскому заводу никакого вреда. Немного найдется таких лиц в Союзе Советских Социалистических Республик!

В. С. Мамонтов, которого я назначил на место Пусторослева, – интересная фигура, вернее, тип. Всеволод Саввич – сын знаменитого мецената, московского купца Саввы Мамонтова, чье имя известно каждому образованному русскому. Будучи женатым на красавице Е. В. Свербеевой, он, таким образом, со стороны жены имел связи в дворянских кругах, а со стороны семьи отца – в высшем купеческом обществе Москвы. За женой он получил небольшое имение в Тульской губернии, которое очень любил и в котором проводил со всей семьей лето. Зимой Мамонтовы жили в Москве, ибо Всеволод Саввич был директором какой-то фабрики. Во время империалистической войны его призвали, и он попал в ополченский корпус в Туле, где получил назначение адъютантом при корпусном командире. Так Мамонтов вместе с семьей очутился в Туле, где и застрял после революции. Я познакомился с ним уже при большевиках. Во время Февральской революции Мамонтов приветствовал падение режима, ораторствовал на митингах, получил назначение начальника милиции. Верхом, с неизменной трубкой в зубах, в сопровождении двух милицейских он разъезжал по Туле и наводил порядок. Как только большевики взяли власть в свои руки, они сейчас же дали ему по шапке... Этого-то Мамонтова я и назначил вместо Пусторослева. Каюсь, поступок я совершил нехороший, но исполнял просьбу, будучи безумно влюбленным, а стало быть, ненормальным... Это хоть отчасти является смягчающим обстоятельством.

Большой дипломат, В. С. Мамонтов умел всякому сказать любезность, был «спецом» по разговору, обхождению и опутыванию товарищей (в этом последнем он был незаменим и неподражаем). Он был не столько умен, сколько хитер, однако злым человеком назвать его нельзя. Он любил подтрунить, приметить и высмеять какую-либо слабую черту, позлословить и посплетничать, но дальше этого не шел. Словом, человек был неглубокий и некрупный. Как он «попал в революцию», догадаться и объяснить нетрудно, ведь все московское купечество, вернее, сливки этого слоя, будировало, было против дворян, выражало недовольство властью. Все эти Гучковы, Крестовниковы, Челноковы, Коноваловы и прочие подготавливали, делали и при помощи благоприятно сложившихся обстоятельств и дезертиров сделали-таки революцию. Им казалось, что вся гроза разразится только над дворянством, лишит их земли, разорит, сметет с исторической арены. Пути откроются, дороги расчистятся для купечества и плутократии, которая, имея капиталы и фабрики, возьмет еще и власть! Однако в этих расчетах не были учтены некоторые особенности натуры русского человека: революция так углубилась, русский человек так самоуглубился, что ограбил не только помещиков, но и все и вся кругом и около! Люблю большевиков и признаю из всех левых партий только эту одну: уж если грабить, то грабить всех – по крайней мере, справедливо и ни для кого не обидно. А то вдруг почему-то у Бутовича имение ограбить, а Гучкову фабрику оставить. Стричь так стричь, всех под одну гребенку!.. Мамонтов представлял верхушку этого будировавшего слоя, потому совсем не удивительно, что во время Февральской революции он чувствовал себя хозяином. В лошадях он ничего не понимал, но по должности состоял членом губернской зоокомиссии. Здесь он больше молчал, слушал и присоединялся к большинству. Впрочем, должен заметить, что против Прилеп и против меня он не решался делать вылазки, ибо это могло ему дорого обойтись.

Из остальных членов зоотехнической комиссии я назову еще лишь трех, как имевших влияние на ход заседаний, – людей знающих, опытных и серьезных.

Л. Ф. Ратомский, в то время служивший в Прилепском заводе, приезжал очень редко и посетил всего лишь два или три заседания комиссии. Он решал вопросы подбора и иные, связанные с коннозаводством в Тульской губернии.

И. М. Стахов – небольшого роста старичок, сухой, подвижный, в очках, говоривший скороговоркой и всегда куда-то спешивший. Этот добрейший и благороднейший человек, кристальной чистоты и порядочности, был незаконным сыном М. А. Стаховича, так рано и так трагически погибшего. По образованию и профессии ветеринарный врач, он долгое время заведовал заводом А. А. Стаховича в Пальне, а на старости лет купил под Тулой небольшое имение, образцово его обустроил и завел замечательное стадо коров. Стахов был редкий работник: усидчивый, прилежный и дельный. Он был правой рукой Волкова, и тот, признаться, на нем «ездил». Этот специалист не имел большого кругозора, не был человеком государственного масштаба, просто хорошо работал и знал свое дело. В этом значении и вес Стахова, ибо в то время все решали государственные вопросы и все были государственными людьми, а просто дельных людей, способных хорошо работать, было очень мало. По поводу этих «государственных людей», вернее, такого их обилия вспоминаю слова тульского ювелира Гимпельсона, как-то сказавшего мне: «Большевики – большие государственники!» В заседаниях зоотехнической комиссии Стахов всегда поддерживал Волкова, под влиянием которого он полностью находился.

Остается сказать о действительно крупном, дельном человеке и выдающемся хозяине – Ф. Г. Смидовиче, родном брате того Смидовича, который тогда был заместителем Калинина. Несмотря на такое высокое родство, Смидовича тоже ограбили – впрочем, не до бесчувствия: кое-что в виде пчел, двух-трех лошадей, нескольких коров, кое-какого инвентаря, птицы и домашней обстановки ему оставили, это «оставленное» он вывез в Тулу. Поэтому Смидович хотя и не был богатым человеком, но копеечку за душой имел. Он устроился где-то на окраине Тулы, и мы смеялись, что его пчелы летают по городу. Смидович был очень умен, широко образован. Как сельский хозяин – выше всяких похвал: из ничего сделал состояние и купил хорошее имение. У него были превосходные свиньи, он варил сыры, развел небольшой конный завод, имел птицу, сад – словом, из всего извлекал деньги. Он довольно долго держался в своем имении, а затем, уже работая в земельном отделе, внимательно за ним следил и принимал близко к сердцу его интересы. Смидович умел держать себя в обществе, умел все для себя получить чужими руками, оставаясь при этом в стороне. Тому немало способствовали головки сыра, который он варил, мед, птица, поросята и молоко. Каюсь перед потомством, какую перед российской революцией: и я грешен – принял в дар по особой просьбе Смидовича гнездо племенных индюшек! Это было после заседания зоотехнической комиссии. Мы остались поболтать, и в разговоре Смидович узнал, что я ищу хорошее гнездо индеек. Он мне таковое подарил, отказаться было неудобно. Впрочем, я недолго утешался этим гнездом и вскоре скушал его с таким аппетитом, что только кости трещали... Вот эти-то приношения немало помогли Смидовичу в первые два с половиной года революции!

Смидович шел против меня, однако не открыто, а через Стахова, который был его рупором. Борьба велась принципиальная, и Смидович никогда не делал и не способен был сделать гадость. Вот почему я его уважал и уважаю теперь. У нас мало порядочных и одновременно умных и дельных людей. Позднее я ближе сошелся со Смидовичем и еще больше его оценил. Это произошло вскоре после того, как Смидович, получивший высокое назначение вести все совхозы губернии, задумал присоединить к этому «хозяйству» и Прилепы, которые находились в ведении центра. В Москве я тогда наголову разбил Смидовича и отстоял самостоятельность

Прилеп. Он понял, что не стоит идти со мной вразрез, и у нас установились хорошие отношения. Позднее, когда он перешел работать в Ясную Поляну, я имел возможность оказывать ему услуги, случая с прилепскими жеребцами его кобыл. Мы тогда часто виделись, бывали друг у друга. Я стал инициатором и вдохновителем перехода Сидовича из Ясной Поляны в Александровский завод, устроил его на службу в коннозаводство, несмотря на противодействие обеих групп этого управления, как смоленской, так и Асаульченко. Сидович привел Александровский завод в блестящий порядок, и тот теперь процветает.

Вот главные силы зоотехнической комиссии, в которую входил и я, по своему положению и как член центральной зоокомиссии в Москве. Помимо указанных лиц в состав входили еще специалисты по пчелам, птицам, овцам, свиньям и коровам. Все бывшие земские служащие, они либо молчали, когда велись высокие дебаты по коннозаводским вопросам, либо прислушивались к тому, что скажет Волков. В большинстве случаев их интересовало только разрешение своих вопросов, до остальных материй им дела не было. Иногда в зоотехническую комиссию наезжала, вернее, врвалась очень бурная, краснощекая, полная, подвижная и энергичная дама, и тогда раздавались упреки и жалобы, жалобы и упреки на то, что Волков, Стахов и другие изменили «рогатикам» (то есть рогатому скоту), увлекаются лошадьми, а в это время «дорогие рогатики» гибнут. Это была известная владелица едва ли не лучшего в России стада симменталов госпожа Оппель.

Итак, чтобы случить Ветрогонку с Пиратом, а Комету-Галлея с Самолётом, жеребцами Тульской заводской конюшни, мне предстояло выступить с докладом в зоотехнической комиссии. Должно было вынести постановление, потом составить журнал, затем собрать подписи участников и утвердить у начальника учреждения. Только после этого уведомялись я, завод, заводская конюшня. То, что можно и должно было просто предоставить на усмотрение управляющего заводом, проходило столь долгий путь – и это называлось как угодно, но только не бюрократизмом!

Заседания зоотехнической комиссии обычно собирались по вечерам, часов в шесть или даже позднее, а заканчивались не ранее девяти. Опишу одно из таких заседаний, именно то, в котором решался вопрос, можно ли случить Ветрогонку с Пиратом, а Комету-Галлея с Самолётом.

Зоотехническая комиссия заседала в кабинете Волкова в подотделе животноводства. Волков, как обычно, сидел за своим письменным столом, сбоку от него помещался делопроизводитель, исполнявший обязанности секретаря. Почти все члены комиссии были налицо, в том числе и заведующий ветеринарным подотделом. Волков обвел всех глазами и открыл заседание.

В о л к о в. Первым мы рассмотрим предложение особоуполномоченного отдела животноводства Наркомзема по вопросу о покрытии кобыл Прилепского завода пунктовыми жеребцами Тульской заводской конюшни...

Сделав ударение на слове «пунктовыми», Волков опять обвел всех взглядом, в котором заиграли огоньки: вот, мол, сейчас начнется потеха. Совершенно неожиданно для меня первым взял слово Ратомский.

Р а т о м с к и й. Я не могу понять, как такое предложение могло поступить от Якова Ивановича. Крыть такую знаменитую кобылу, как Ветрогонка, пунктовым жеребцом, а Комету-Галлея – калеккой, безрекордным Самолётом? Это недопустимо! Я не подпишу протокол, за такие решения мы попадем под суд!

Я удивился выступлению Ратомского: он жил в Прилепах, пользовался полной моей поддержкой, с его стороны было более чем неудобно выступать против меня, предварительно не согласовав вопроса!

С т а х о в. Мне кажется, нет достаточных оснований для того, чтобы предпочесть Кронпринцу этих жеребцов, и я присоединяюсь к мнению Ратомского. У нас нет достаточных оснований для такого подбора.

Пусторослев. Считаю возможным сделать этот подбор. Самолёт – лошадь замечательная по себе. А что у него нет рекорда – это не имеет большого значения. У нас в Хреновой много было безрекордных лошадей, а результаты получались хорошие.



Жена Я. И. Бутовича А. Р. Вальцова

Р а т о м с к и й. Я возмущен! Губернский специалист отрицает пользу испытаний. Весь мир знает, что тренировка – это экзамен лошади. Здесь предлагают сделать ставку на бездарность. Я горячо протестую! Если мы допустим такой подбор, нас надо отдать под суд!

Слово опять берет Пусторослев, ввязывается Смидович, вставляет свое слово представитель ветеринарного отдела. Стахов начинает горячиться – ему, очень робкому и запуганному человеку, уже кажется, что он попал в тюрьму. Словом, пошла потеха. Волков, с виду спокойный председательствуя, торжествовал в душе, наблюдая, как проваливается мое предложение. Не стану утомлять читателя приведением дальнейших подробностей, скажу лишь, что вопрос проваливают, председатель в своем резюме говорит в мой адрес любезности и, подводя итог прениям, за-

являет, что таких ценных кобыл никак нельзя разрешать покрывать пунктовыми жеребцами. Я вижу, что бесполезно настаивать, и мы переходим к следующему вопросу.

Да, очень трудно было провести что-либо в тульской зоотехнической комиссии, в особенности склонить ее к решению в пользу Прилепского завода. Волков красиво проваливал мои предложения, но в серьезных вопросах, вопросах жизни и смерти, я все же умел побеждать. Иначе Прилепский завод не украшал бы собой Хреновую, а давным-давно был бы разведен и погиб.

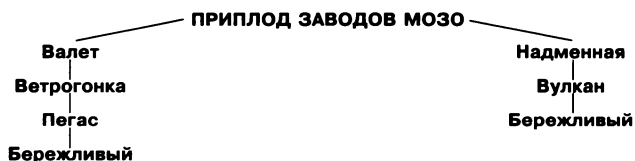
Уже поздно было, когда вместе с Леонардом Францевичем Ратомским я возвращался домой. В то время А. Р. Вальцова (Александра Романовна Вальцова, жена Я. И. Бутовича. – *Прим. ред.*) жила еще в Туле и имела квартиру по Александроневской улице, в доме бывшего городского головы Любомудрова. Там я и останавливался. Мы шли молча. Снег скрипел под ногами, стоял хороший, морозный вечер, но на улице не было никого. Темно, изредка кое-где в окнах мелькал тусклый огонек. Это было время, когда все сидели по домам, прятались в своих норах. Жуткое впечатление производила тогда Тула, да и не одна только Тула...

Так мне и не пришлось повторить имя Соболька, родного брата знаменитого Ворожея, и получить от Ветрогонки кобылу, о которой я мечтал. Много позднее, идя

как-то по Москве, я встретил замечательную по себе серую лошадь. Это оказался сын Самолёта, и я вновь пожалел, что мне не удалось в свое время покрыть Самолётом Комету-Галлея.

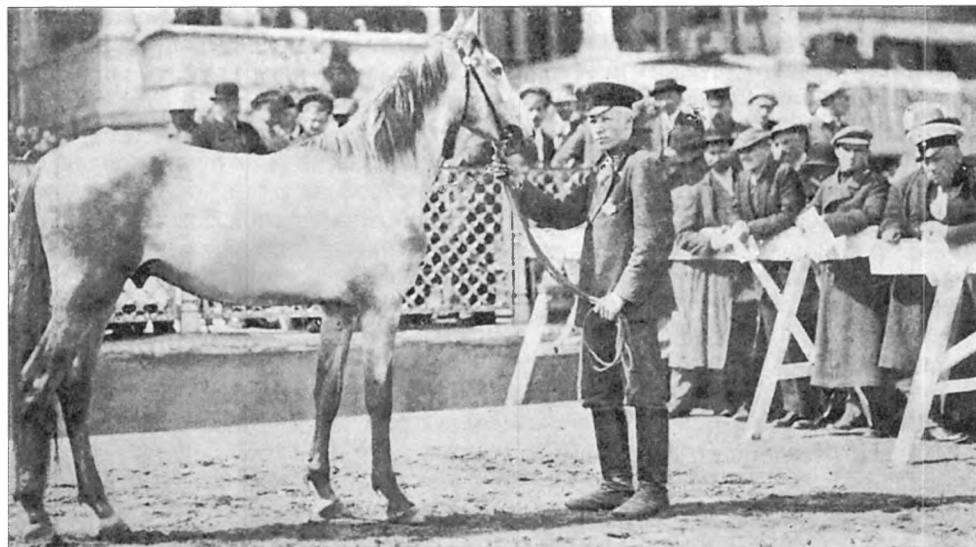
Дети Ветрогонки. Ветрогонке и ее происхождению я посвятил немало страниц своих мемуаров и пятилетнего плана Прилепского государственного завода. Здесь я остановлюсь на ее заводской работе. Возможно, попутно приведу и еще кое-какие до сего времени не опубликованные данные об этой интереснейшей семье. Ветрогонка находится в Хреновском заводе, однако последние два-три года она холостела, а потому можно предположить, что эта кобыла, уже далеко не молодая, перестала жеребиться и ее следует рассматривать как почтенную пенсионерку, доживающую свои дни.

По своей заводской деятельности Ветрогонка принадлежала к числу тех кобыл, которые не всегда дают ровный приплод. Среди ее детей есть выдающиеся, но есть и посредственные. Однако общий их уровень очень хорош, почему ее нельзя не признать одной из интереснейших кобыл Прилепского завода. Передо мной, когда я пишу эти строки, нет списка приплода Ветрогонки, и мне приходится вспоминать. Хорошо помню, что Ветрогонка пришла ко мне из завода Сахарова, жеребой от телегинского Павлина, который поступил к нему производителем после знаменитого Пегаса. Не помню, говорил ли я в мемуарах о том, как вынужден был, дабы получить Ветрогонку, купить весь завод Сахарова, а затем распродать остальных маток в разные руки. Помимо Ветрогонки я оставил замечательную Перцовку да еще, на некоторое время, Вьюгу. Ветрогонка дала от Павлина превосходную серую кобылу, которая, впрочем, резвостью не отличалась, и позднее я ее удачно продал А. С. Хомякову, в заводе которого она пробывала до самой революции. От Боярина Ветрогонка дала высококлассного Валета (2.16), который в четырехлетнем возрасте проигрывал лишь рекордисту Барчуку и был вторым по резвости четырехлетком среди орловцев своего года. Валет – длинная, сыроватая, костистая и дородная лошадь. На аукционе его в возрасте двух лет купил у меня за шесть с чем-то тысяч елецкий миллионер и махорочный туз В. А. Заусайлов. После революции Валет попал в МОЗО, но так как кровей он был немодных, да еще из моего завода, то в этом учреждении он находился в полном загоне, покрыв за все время едва ли более пяти-шести кобыл. Не сомневаюсь, останься Валет в заводе Заусайлова, на него обратили бы должное внимание и он, оставил бы тот или иной след в орловском коннозаводстве как производитель. А вместе с тем в заводах МОЗО была, да и сейчас есть кобыла, которая теоретически идеально подходит под Валета. Я имею в виду внучку Бережливого вороную Надменную.



Бережливый – во всех отношениях выдающаяся лошадь, повторить его имя в приплоде всегда желательно. Жаль, если эта возможность упущена Виттом.

От Громадного Ветрогонка имела двух сыновей – Вальса и Велизария; оба к году стали светло-серыми, а к трем – белыми. Следует заметить, что Ветрогонка давала только серых, притом преимущественно светло-серых лошадей, становившихся к трем годам белыми. У таких лошадей очень часты черновики, однако как сама Ветрогонка, так и ее дети были свободны от этой особенности. Вальс и Велизарий, родные братья, были очень разными. Вальс ниже на ногах и мельче. Велизарий



Вальс (от Громадного и Ветрогонки) завода Я. И. Бутовича

очень плоский, безреберный и высокий на ногах. Оба чрезвычайно породны. Не подлежит никакому сомнению, что Велизарий унаследовал особенности экстерьера от своего предка Гранита. В начале 1870-х годов Лодыгин и Бутович, восхищаясь Гранитом, отмечали эти его недостатки, с чем соглашался и Коптев. Нельзя не отметить мнение Бутовича, считавшего, что Гранит, поступив в завод, станет глубже. М. И. Бутович – проникновенный знаток лошади, его предсказание относительно заводской деятельности Гранита замечательно. В 1871 году он писал, что Гранит даст выдающихся производителей, и назвал его жеребцом-кобылятником. С тех пор прошло пятьдесят с лишним лет, и мы видим, что имя Гранита и его сыновей Соболяка, Ворожея и других дошло до нас только по женским линиям и через таких кобыл, которые составляют украшение орловской породы.

Время детства и юности Вальса и Велизария было неблагоприятным для моего завода. Три или четыре года подряд свирепствовали мыт и плевропневмония, которые унесли много ценных лошадей, многих изуродовали. Оба сына Ветрогонки долго и серьезно болели. Продали их за невысокую цену аукционным порядком, на бегу они не появились.

Еще до революции от Ветрогонки родился Вадим, бежавший уже после возобновления беговых испытаний в новой России (его рекорд 2.21). Сочетание Крон-принц – Ветрогонка есть классическое терещенковское сочетание; повторенное у меня в заводе, оно в очередной раз себя оправдало. Вадим – лошадь крупная (замечу, что Ветрогонка, будучи сама пяти вершков роста, давала очень крупных лошадей). Вадим сух, породен и весьма делен. Это ценный и интересный жеребец для улучшения массового коневодства.

Еще до подбора, сделанного до революции, родилась серая Вяжля (2.29). Ее рекорд ни в какой степени не отвечает ее действительной резвости: только кобыла отдалась и поехала, как я взял ее с ипподрома в завод. Ратомский остался этим очень недоволен, но я хотел поскорее вернуть эту дочь моей любимицы Ветрогонки, почему так и поступил. Вяжля, дочь Барина-Молодого, была чрезвычайно хороша, типична, широка и дельна. Любимица Ратомского, который, впрочем, увлекался Баринами и видел в них только хорошее. Дав одного жеребенка, Вяжля перестала жеребиться. Я долго с ней возился, посылал даже в Ленинград к профессору Тара-

севичу. Тот ее якобы вылечил и, вернув в завод, написал, что кобыла явно жереба и, судя по исследованию крови, жереба коньком. Это не подтвердилось, Вяжля прохолостела опять и затем была продана тульскому госбанку, где служила разъездной лошастью.

Теперь мне предстоит рассказать грустную и тяжелую историю гибели четырех дочерей Ветрогонки. Эта гибель стала большим ударом не только для меня, но и для всего орловского коннозаводства. Я и сейчас, через много лет после этого несчастья, не могу вспомнить о нем без боли. Прямо какой-то злой рок тяготел четыре мрачных года над приплодами этой кобылы. Если бы не это поразительно неблагоприятное стечение обстоятельств, хреновские табуны украсил бы целый букет дочерей Ветрогонки.

Все четыре дочери Ветрогонки повторяли классическое терещенковское сочетание и, следовательно, были дочерьми Кронпринца. Старшая из них, светло-серая, почти белая, получила имя Венера. Она носила его по правде, ибо это была не кобыла, а само совершенство, красота, изящество, благородство образцовых форм. Венера очень походила на знаменитую красавицу Волну, дочь Лебеда 4-го. Волна вдохновила великого Сверчкова, и он написал с нее тот знаменитый овальный портрет, что принадлежал когда-то графу Толю, потом Нарышкину, а последним был подарен мне. Только благодаря этому портрету мы можем судить о том, что представляла собой Волна. По Ветрогонке Венера имела кровь Волны, хотя и в довольно дальнем колене. Тем не менее она повторяла ее – видно, здесь имел место тот редкий случай, когда именно ген Волны взял перевес над другими. Венера была всеобщей любимицей в заводе. Ей минуло полтора года. Я смотрел на нее не иначе как с трепетом. Глаз у меня нехороший, и те лошади моего завода, особенно кобылы, в которых я влюблялся, долго не жили. Так было с Саклей, Славянкой, так позднее случилось с Ледой, и та же участь постигла Венеру. У нее образовался подсед, который, несмотря на все старания Ратомского, перешел в заражение крови, и кобыла погибла. Вот потеря, которую я никогда не забуду, вот кобыла, которая никогда не изгладится из моей памяти!..

Со следующей дочерью Ветрогонки приключилось невероятное. Говорю «невероятное» потому, что маточник завода Андрей Иванович Руденко за всю свою долготлетнюю службу в Прилепах лишь один раз отлучился перед родами кобылы, и это произошло как раз перед родами Ветрогонки! Ветрогонка была на сносях, а так как время наступило беспокойное – 1919-й или 1920 год – и на конюхов положиться было нельзя, я сам зашел вечером проверить кобылу. Ветрогонка не пила, из сосков показалось молоко – явный признак скорого наступления родов. Кобыла была здорова, не беспокоилась и взглянула на меня своим добрым и ласковым взглядом. Я потрепал ее по шее, поправил ей короткую и жидкую арабскую челку и пошел домой. В коридоре маточной встречаю Андрея Ивановича и задаю вопрос о Ветрогонке. Он не соглашается со мной и считает, что она еще «походит». Я убедительно прошу его ночью дежурить и ухажу. Однако эта ночь оказалась роковой для приплода Ветрогонки. Я забыл сказать, что это было под Пасху. Когда деревенский колокол стал сзывать поселян к заутрене, не выдержал Андрей Иванович, послушал свою Ульяну и пошел в церковь. Когда он вернулся, то первым делом пошел на маточную. В деннике Ветрогонки лежал мертвый, задохнувшийся жеребенок – кобылка. Грустный это был праздник для меня и тяжелый для Андрея Ивановича.

Третий приплод Ветрогонки тоже погиб трагически. Дежурный прозевал предупредить Андрея Ивановича, проспал – и жеребенок погиб. В истории Прилепского завода это единственные случаи подобного рода несчастий, и с кем же – с Ветрогонкой, любимейшей из любимейших моих кобыл!

Четвертая дочь Ветрогонки и Кронпринца была крупна и очень напоминала по типу и сложению Вадима. Ей было далеко до Венеры, но все же она была хороша.

Пала она годовичкой от глистов, ибо в то время не было еще патентованного немецкого чудодейственного средства.

Так погибли четыре дочери Кронпринца и Ветрогонки. Останься они в живых, в совсем ином виде рисовали бы нам заводскую карьеру Ветрогонки.

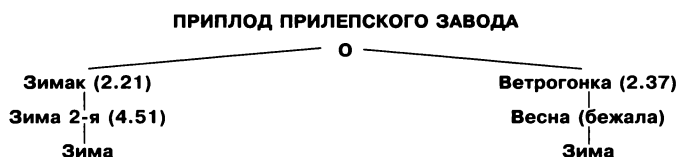
13 декабря 1928 года

От Удачного Ветрогонка имела также дочь, серую кобылку с плохой спиной и мелкую – по Бычкам, но очень породную. Она не была резва (2.37) и бежала только в Ленинграде в руках Лыкошина. Ее продали с аукциона какому-то частному лицу. Последними детьми Ветрогонки были Восток и Вещунья, оба от Эльборуса. Сочетание Эльборус – Ветрогонка чрезвычайно интересно и идейно: оно принадлежит к числу наиболее мною любимых, как повторяющее кожинского Потешного. Результат этого подбора оказался очень удачным. Восток – лошадь по себе превосходная, его рекорд 2.18 (в возрасте четырех лет). Он вышел не в Эльборуса, а в деда – Зенита, чем особенно дорог. Свой рекорд он показал уже изломанным, его класс близок к 2.15. Его сестра Вещунья узковата, крупна и имеет плохую спину, чем обязана Эльборусу. Сейчас эта блестящая и правильная кобылка находится в Хреновой.

Для характеристики тех порядков, вернее, беспорядков, что с легкой руки Владыкина утвердились в Прилепском заводе, приведу эпизод с грыжей у Вещуни. Маточник неудачно перевязал ей пупок, и у нее образовалась грыжа. Стоило после отъема сделать ей бандаж – грыжа бы прошла. Однако Самарин этого не пожелал: он делал свое дело и знал, к какой цели идет. Что в это время делал Повзнер? Молчал, боясь что-либо сказать Самарину. Какой бездарностью, каким ничтожеством был этот самый Повзнер, из-за которого я поломал столько перьев, чтобы провести его в управляющие Прилепским заводом! В лице Вещуни Хреновая имеет единственную дочь Ветрогонки, сохранившуюся в казенных руках. Будем надеяться, что ее оценят там должным образом.

Таков итог заводской деятельности Ветрогонки. Всего она дала пять призовых лошадей, из них безминутных – четыре. Резвейшие – Валет (2.16) и Восток (2.18).

Классически интересно было бы закрепить имя Зимы через двух таких ярких представителей рода, как Зимак и Ветрогонка.



Зима 2-я – 3+3.

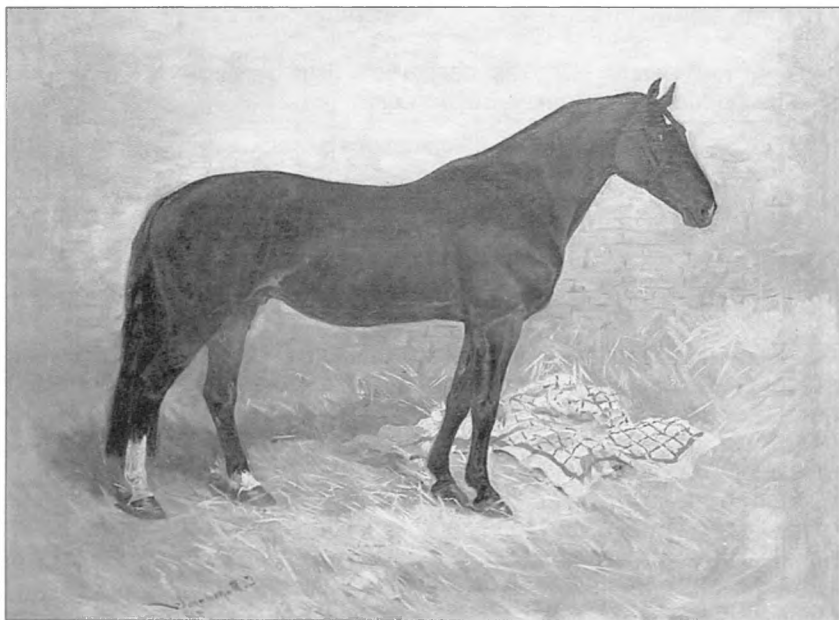
Почему не пришлось осуществить эту комбинацию, я говорил. Ни Витт, ни Щёкин, решавшие вопросы подбора, никогда бы не дали на это своего согласия, ибо в те годы увлекались Лесками и Корешками. С их точки зрения, Зимак не более чем пунктовый жеребец, и в Прилепский завод его, конечно, не пустили бы: мол, там и так Бутович творил чудачества, увлекаясь Полканами и Лебедями, отстал в своих взглядах на четверть века и жил как бы вне времени и пространства, витая в облаках... Зимака терпели только в Моршанском заводе. А тем временем действительность опрокидывала все эти критические соображения: от Зимака родился Зимарь (2.14), мечты и грезы прилепского утописта осуществились!

Прежде чем перейти к подбору, который я предложу сначала для Вещуни, потом для Зимаря и Востока, необходимо решить вопрос, была ли мать Зимака

Зима 2-я действительно дочь Паши или же, как многие утверждали, дочь Бережливого. Точно определить, конечно, нельзя, но привести веские доводы за и против необходимо. Это позволит нам полнее учесть весь смысл сочетания, ибо далеко не безразлично, кто повторится при данных сочетаниях – Бережливый или Паша.

Когда на ипподроме появилась Зима 2-я, ее сейчас же купил печальной памяти Шишкин, имевший, однако, и счастье, и большое чутье при выборе призовых лошадей. Шишкин перепродал Зиму 2-ю Кожевникову, одному из крупнейших петербургских охотников того времени. В цветах Кожевникова и в руках Кости Кузнецова Зима 2-я блестяще бежала и показала выдающийся для кобылы по тем временам рекорд 4.51! По себе Зима 2-я была исключительно хороша. Юнкером я приезжал на конюшню Кожевникова, позднее несколько раз видел ее у Малютина. Это была кобыла четырех вершков росту или около того, белая с серебристым оттенком и несколько выющейся гривой, с чудной спиной, сухая и вместе с тем костистая, правильная, исключительно породная и столь же благородная. Ее купил за 10 тысяч рублей Н. П. Малютин. Как о цене, так и о самой покупке тогда много говорили, но все признавали, что кобыла замечательная и было за что платить. Привод Зимы 2-й в Быки стал событием. Яков Никонич Сергеев, управляющий Быками, рассказывал мне, как боялись, что Зима 2-я, придя в малютинский табун, затеряется. Однако этого не случилось. Зима 2-я и в малютинском табуне бросалась всем в глаза (позднее то же самое было и с Летуньей, бабкой моего Ловчего). Малютин высоко ценил Зиму 2-ю и очень ее любил.

В 1905 году, когда в Курской губернии начались аграрные беспорядки, Малютин 12 лучших своих заводских маток и жеребцов привел в Москву и они зимовали на даче Малютина, перевидавшей в своих стенах немало знаменитых рысаков. Среди отборных малютинских кобыл пришла и Зима 2-я. В тот год многие из нас заезжали к Малютину, дабы полюбоваться этим исключительным орловским гнездом. Но показывали кобыл неохотно, и далеко не все их видели. Я видел эту группу дважды:



С. Ворошилов. «Лель»

первый раз – перед знаменитым малютинским завтраком, который обычно длился от часу до четырех; второй раз Малютин сам во время вечерней уборки, прервав ее, показал мне всех кобыл и знаменитых, известных всей России рысаков – Леля, Горыныча и Смелыча! Есть вещи, которые нельзя описать, но которые надо видеть, чтобы вполне почувствовать их красоту! К их числу принадлежала и эта группа бесподобных малютинских рысаков...

Итак, Зиму 2-ю я знал хорошо. В то время, когда она бегала, много говорили, что она дочь не Паши, а знаменитого Бережливого. Эти слухи держались упорно и шли с юга, где родилась Зима 2-я. Происходила она из завода Шестакова, главного управляющего терещенковским имением. Терещенко никому не разрешал крыть с Бережливым, но Шестаков будто бы все же покрыл с ним свою кобылу, показав ее от Паши. Это, конечно, возможно, такие случаи в старину бывали. И появление подобного слуха уже само по себе неприятно, ибо навсегда кладет тень на истинное происхождение лошади. По опыту зная, как люди злы, я никогда не был склонен преувеличивать значение подобных разговоров, но иногда поговорка «Нет дыма без огня» оправдывалась. В случае с Зимой это, по-видимому, так.

У меня в заводе перебивало немало детей Паши: был его сын Алеко, дочери Ундина, Услава, Ненаглядная, Светлана, Жемчужина и другие. Наконец, я очень хорошо знал завод Терещенко, видел и там, и на ипподромах многих детей Паши и скажу, что все они были разными лошадьми. Под этим я имею в виду, что Паша был далеко не препотентный жеребец. Вот родные сестры: Светлана мелка, пряма, коротка, а ее сестра Жемчужина длинна, без спины, имеет хорошие углы, костиста – словом, типичная заводская лошадь; Ненаглядная длинна, спина плоха, ей можно пожелать получше кость и побольше глубины; Ундина и Услава – две дивные белые кобылы, о которых в заводе мне прямо говорили, что обе в деда Бережливого, то есть с отцом не имели ничего общего. Иначе говоря, разнойбой.

Уточним теперь экстерьер Ундины и Уславы. Характерная серебристо-белая масть, тонкие, чуть волнистые гривы, превосходные, как по линейке, спины, лебединые шеи, исчерпывающая сухость, бездна аристократизма. Экстерьер Зимы 2-й подходит к этим двум кобылам, олицетворявшим собой тип Бережливого. Зима 2-я не имела ничего общего с характерными чертами других дочерей Паши. Это, конечно, очень мелкий признак – выющиеся гривки, но глаз знатока ищет и ловит именно такие черты – мелкие, но при этом столь характерные – и из многих выделит лошадей родственной крови. Если же я теперь вспомню мне принадлежавших дочерей Бережливого – Кралю и Мечту, то сходство Мечты, этой знаменитой дочери Бережливого, с Зимой 2-й будет удивительно. Та же голова, тот же глаз с тем же выражением, наконец, та же колодка, замечательное строение зада и низость на ногах. Словом, Мечта и Зима 2-я точно, насколько только может точно повторить природа два живых организма, повторяли друг друга. Сказанное приводит меня к убеждению, что Зима 2-я не была дочерью Паши.

Вот еще одно соображение. Зима 2-я сама хорошо держала дистанцию, но ее сын Зимак был ярко выраженным спринтером и на три версты даже не пытался бежать. То же явление мы наблюдаем в приплодах Зимака. Та же комбинация кровей, что создала Зиму 2-ю, создала и Ветрогонку, приплод которой отличается не столько силой, сколько резвостью. Все это черты Бережливого, но не Паши. Сумма этих данных, мое внутреннее убеждение и, наконец, знание терещенковских лошадей приводят меня к заключению, что на этот раз дым шел из пламени и что этим пламенем был мой любимец Бережливый.

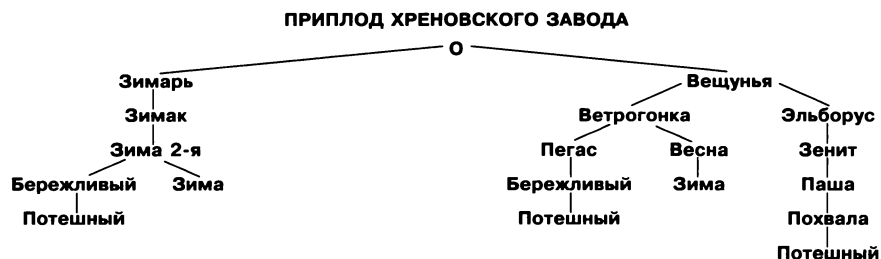
Зимак был проще и грубее Зимы 2-й. Любя и ценя терещенковские крови, я интелесовался приплодом Зимы 2-й и говорил о нем с Яковом Никоновичем. Зима 2-я дала у Малютина всего лишь одного жеребенка – Зимака – и перестала после этого жеребиться. Многим ли известно, что Зимак был резвейшим двухлетком ставки, что

Чернов делал на нем головокружительные четверти, что о Зимаке как о будущем светиле завода (и какого завода – малютинского!) говорили все Быки. Никоныч рассказывал мне, что Чернов считал Зимак феноменальной лошастью и что, наблюдая за его работой, видя, как отдаллив и как еще незрел этот рыхлый двухлеток, выглядевший жеребенком, он сам, Никоныч, приходил в ужас и боялся, что Чернов его сломит. Малютин интересовался Зимак и смотрел его на езде. Худшие предположения Никоныча сбылись: Чернов начисто сломил Зимак, и тот потом хотя и ехал трех лет, и был позднее 2.21, но резвость эта посвященным в его способности ничего не говорит. Коннозаводская статистика секунд, как она ни точна, все же не всегда дает понятие об истинном классе лошади.

Итак, Зимак был лошастью исключительного класса и вся его беда заключалась в том, что «божество», как называл Коноплин Чернова, не соразмерив сил и средств жеребенка, чересчур рано и много взял у него. Сколько раз такая история повторялась позднее с лучшими лошадьми моего завода...

Дав краткие и необходимые сведения о Зимаке, Зиме 2-й, Ветрогонке и Востоке, я должен был бы сообщить и о Зимаре, ибо он явится весьма активным партнером предлагаемой мной комбинации. Однако ничего сколько-нибудь точного сказать о нем не могу, так как я его никогда не видел. Судя же по фотографии, он весьма напоминает своего отца – таким, каким я его помню еще на конюшне Малютина. Данное сходство крайне важно установить, ибо оно показывает, что Зимарь вышел в отца, а его мать Грузинка оказала на него значительно меньшее влияние. Та же комбинация кровей, которую я предлагаю, основана именно на закреплении предков Зимак. Класс Зимаря не подлежит сомнению. Рекорд 2.14 сам по себе весьма внушительен, а если учесть, что Зимарь – воспитанник Моршанского завода, где царил безобразное воспитание молодняка, то его рекорд заслуживает еще большего внимания.

Теперь о подборе к Зимарю, Востоку и Вещунье.



Истинной основой этой комбинации является великий Потешный, красиво повторяется Бережливый и, наконец, закрепляется имя Зимы, родоначальницы той семьи, которая получила самостоятельное бытие с 80-х годов прошлого столетия. Семья эта – как видим, молодая, своим первоисточником имевшая какую-то Хозяйку из Германии, возможно орловскую кобылу, – несмотря на все неблагоприятные условия, выдвинулась на весьма видное место. История семьи более или менее обстоятельно рассказана мною в перспективном плане Прилепского завода. Предлагаемое сочетание выглядит настолько классическим, что нет надобности далее на нем останавливаться. Следует лишь сказать, что Вещунья – легкая, сухая, воздушная (несколько приподнятая на ногах) и благородная кобыла, а Зимарь, судя по фотографии, и глубок, и широк, и очень костист, что в экстерьерном отношении хорошо.

Пусть читатель не подумает, что я создаю какую-то упрощенную теорию исправления одних недостатков другими. Я не это имею в виду. Основываясь на своей практике, я боюсь лишь слушать таких кобыл, которые имеют те или иные недостатки

в резко выраженной форме. По моим наблюдениям, при инбридинге эти недостатки переходят в потомство, а иногда и усиливаются. При обычном же разведении иногда и минус на минус дает плюс. Будем надеяться, что Хреновской завод не упустит возможности осуществить столь интересное сочетание и, когда наступит время, покроет Вещунью Зимарём.

Само собою понятно, что когда поступят в завод Зимарь и Восток, то надлежит дочерей одного крыть другим и наоборот. При данных сочетаниях главная цель – закрепить женскую линию и повторить Зиму. Одновременно будет инбредироваться великий Потешный, что должно дать хороший результат именно на фоне этих родословных. Дело в том, что принадлежавшая мне резвая Прелестная, преждевременно погибшая из-за черновиков, по отцу Петушку являлась внучкой Потешного 2-го, сына Потешного, а ее матерью была старая Зима. Далее. Зима 2-я – дочь Бережливого, сына Потешного, и опять-таки Зимы. Тут полная аналогия, указывающая, что Потешный превосходно и через Бережливого, и через Петушка сочетался с Зимой. Все это учитывается в предлагаемом сочетании. Восток и Зимарь принадлежат к числу далеко не легких рысаков, то есть рысаков хорошего веса. Кроме того, оба костисты и дельны, а Восток еще и очень породен. Так что с этой стороны все обстоит более чем благополучно. Кроме того, среди их приплодов и при дальнейшем соединении таковых может получиться много выдающихся лошадей, ибо нельзя забывать, что из семьи Зимы две ее дочери – Зима 2-я и Прелестная – были выставочных форм.

Продолжая далее подбор к Востоку и Зимарю, я стал бы вести таковой для Востока все более «полканизируя» его, а для Зимаря – приближая к Удалому. Для этой цели я дал бы, например, Востоку Похвалу (Крепыш – Порфира) либо кобыл близких родословных.



Все эти линии замыкаются у имени Полкана 3-го! На чертеже показаны лишь основные течения, устанавливающие, что и отец, и мать, и дед Востока происходят в прямом мужском колене от Полкана 3-го. Ту же картину наблюдаем и у Похвалы. Если же мы дадим себе труд углубиться в родословную хотя бы Зенита, то увидим, как накапливалась у этого жеребца кровь Полкана 3-го. Действительно, сам великий Потешный имел пять течений Полкана 3-го, его сын Похвальный – уже восемь, внук Паша, отец Зенита, – двенадцать... Далее. Зенит родился у Злючки из линии Могучего, дед которого Вадим происходит, как со стороны матери, так и со стороны отца, опять-таки от Полкана 3-го. Мать Могучего Виновная тоже вела родословную от полкановского жеребца. Точно так же и мать Зенита Злючка была полкановской кобылой, ибо она дочь Кролика (5.40) из линии Полкана Рогова. Таким образом, Зенит кругом полкановский жеребец.

По сравнению с ним у Эльборуса эти течения ослаблены, ибо мать Эльборуса имеет лишь одно яркое течение полкановской крови: она дочь Ратника из линии роговского Полкана. Предназначая Востоку Похвалу, дочь Крепыша, я у будущего приплода вновь усиливаю полкановские течения, причем по линии роговского Полкана – через такого знаменитого представителя этой ветви, как Варвар, а по линии Визапура 1-го – через Добродея. Принадлежность матери Похвалы, кобылы Порфиры, опять-таки к дому Полкана, и главным образом через казаковско-кожинские соединения, имеет чрезвычайно важное значение и учитывается мною как самый благоприятный фактор сочетания. Теоретически следует ожидать самых интересных результатов от встречи Востока с Похвалой, особенно если принять во внимание, что по типу, породности и другим данным они очень подходят друг другу.



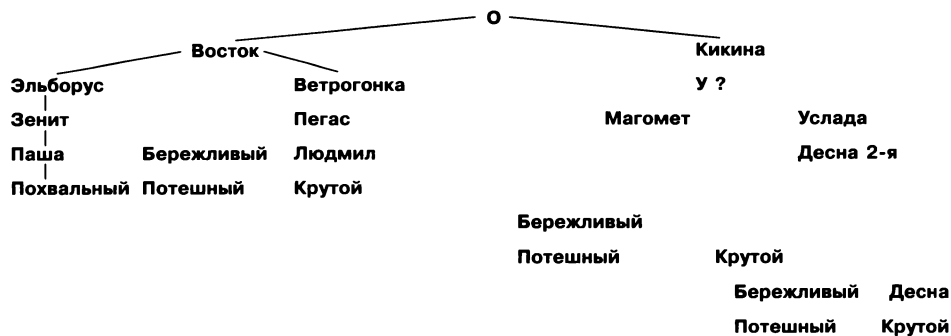
Хреновской государственный завод



Лошади на Хреновском государственном заводе

Имея в виду Востока, все для того же усиления в нем Полканов вообще и казаковско-кожинского комплекса в частности, я предложил бы покрыть с ним также хреновскую кобылу Кикину.

ПРИПЛОД ХРЕНОВСКОГО ЗАВОДА



Данное соединение дает четырехкратное повторение имени Потешного, трехкратно повторяет имена Бережливого и Крутого и «в общем и целом» чрезвычайно усиливает казаковско-кожинские крови. Я никогда не видел Кикины, но слышал, что это превосходная по себе кобыла. Ее отец Молодец, принадлежа к линии Лебеда 4-го (по Леску) и имея кровь Волшебника, является генеалогически тоже весьма подходящим партнером в этой комбинации кровей.

Так бы я вел заводскую работу с Востоком и Зимарём. Полагаю, что при внимательной оценке тех кобыл, которые подводились бы к этим жеребцам, результаты получились бы весьма утешительные, а с генеалогической точки зрения и чрезвычайно интересные. Весь вопрос в том, выберет ли Хреновской завод путь индивидуальной заводской работы или же Пуксинг останется верен себе и, пользуясь величием и славой прежней Хреновой, будет брать везде и всюду лучших кобыл и жеребцов, а затем... затем крыть их наличными хреновскими жеребцами и производить то, что он производит сейчас! Боюсь, что ни у управления Хреновского завода, ни тем более у его помощников нет знаний о старых кровях и настоящая работа окажется им не по плечу.

Десятого декабря уже с утра я чувствовал себя неважно. В 5 часов прошла обычная поверка, но я был так слаб, что подняться не смог, болело горло и носоглотка. До обеда я кое-как еще держался на ногах, но после обеда слег. Ночь провел тревожно, а наутро встал совсем больным: кашель буквально душил меня. Особенно тяжелым было это утреннее пробуждение – не столько от сна, сколько от полубессознательного состояния. В крошечной камере нас пять человек, воздух к утру ужасный, дышать нечем, все кашляют долго и страшно, на мертвенно-зеленые лица страшно смотреть. Наконец наступает счастливый момент: звенят ключи, гремит засов, дверь открывается – это разрешение унести парашу. Воздух становится как будто чище, так мне, по крайней мере, кажется... Тяжело сидеть в Тульской тюрьме. Проходящие по этапам с ужасом взирают на кошмарные условия, рвутся отсюда и шлют свои проклятия здешним порядкам. Эти люди, прошедшие десятки тюрем, свидетельствуют, что нигде, ни в одной тюрьме, ничего подобного нет!

Если так тяжело сидеть здоровому человеку, что же должен чувствовать больной? Описать этого нельзя, это надо испытать. И вот, заболев, я это испытал. Как страшно, как тяжело лежать одному среди тесноты и зловония, в насквозь враждебной обстановке! В Тульской тюрьме на заключенных смотрят как на отверженных и погибших, как на отбросы общества – словом, не как на лиц, которых надо исправлять, а как на лиц, которых надо уничтожать.

Заболев, я на следующий день после обеда слег и уже больше подняться не смог. Меня охватил страшный озноб, душил кашель, я был в полузабытьи. К вечеру температура резко поднялась, и я начал гореть. Обеспокоенные моим состоянием, товарищи по камере вызвали фельдшера. Пришел добродушный на вид толстяк. По-

щупал меня, посмотрел язык, смерил температуру (38,5) и сказал, что берет меня «на больницу». Однако через час он вернулся и, вызвав к волчку Косыхова, сказал: «Начальник исправдома товарищ Семенюк не разрешил Бутовича класть в больницу». И ушел. Я плохо сознавал, что делается кругом, лишь доносились, как сквозь сон, голоса возмущенных товарищей. Я задремал. Около десяти часов со мной сделалось дурно, потом рвота, затем схватки желудка, и я потерял сознание. Очнувшись уже на своей койке. Косыхов и Зенякин накрыли меня шубой и сидели возле меня. Косыхов опять вызывал фельдшера, но тот сказал, что взять меня в больницу не может, так как начальник запретил, а вновь беспокоить начальника он не решается, дабы его не заподозрили в пристрастии к бывшему помещику. В глазах здешнего начальства я не человек, не специалист, проработавший десять лет с советской властью, а только бывший помещик, классовый враг, которого надо уничтожить. Итак, распоряжением Семенюка я был предоставлен сам себе и мог спокойно умереть в камере даже без права получить медицинскую помощь. Насколько это гуманно, насколько это человечно и, наконец, насколько это законно – пусть каждый, кто прочтет эти строки, решит сам.

С утра я чувствовал себя лучше, но к обеду вновь стало хуже, я опять слег. Прощество с Бутовичем, этим многострадальным Бутовичем, который является здесь притчей во языцех, стало в тюрьме злобой дня и, очевидно, дошло до слуха врача. Около трех часов дня меня вызвали в больницу. Принимал врач Марголин. Выслушав и осмотрев меня, он сделал распоряжение оставить меня в больнице, где я попал в палату № 2. Должен сказать, что на лицах фельдшерского персонала я читал сочувственное отношение к себе, лицо же врача было непроницаемо. Сделав свое дело, он перешел к следующему больному. И вот с выводным мы опять спускаемся в подвал, на знаменитую «десятку». Там я собираю кое-какие вещи и с узелком, как странники на больших дорогах, вновь направляюсь в больницу, чтобы на этот раз остаться там до полного излечения. Второй раз я лежу «на больнице», как здесь говорят. В первый раз это было в июле: я попал сюда с острым желудочным заболеванием и пролежал тут три дня. Тогда я был поражен той грязью и запустением, что царили здесь, теперь же приятно удивился. Палата № 2 выглядела чисто и уютно: стены и потолок побелены, окна и двери окрашены, вдоль стен протянута панель оливково-зеленого цвета, печь сверкает и блестит. Словом, полное превращение. Я с удовольствием, а не с отвращением, как в первый раз, лег в кровать и закрыл глаза...

Грязь, которая царит в Тульской тюрьме, совершенно невообразима. Я сидел в трех тюрьмах ГПУ и в Бутырской тюрьме и должен сказать, что там чистота и порядок образцовые. Те тюрьмы – это рай по сравнению с тем адом, в который превращена Тульская тюрьма. Тем больше делает чести молодому врачу тот ремонт и тот образцовый порядок, который он установил у себя. Это тем резче бросается в глаза, что стоит переступить заветную черту – порог двери, отделяющей больницу от других тюремных корпусов, – и вновь попадаешь в пучину грязи, зловония и нечистот!

Обход главного врача имеет место обычно между часом и тремя. Признаюсь, что на следующий день я с большим интересом ждал этого обхода. Вот дверь палаты открылась, и вошел небольшого роста совсем еще молодой брюнет с красивыми чертами лица. Я с удивлением посмотрел на этого главного врача и подумал, что большевики часто бывают правы, выдвигая решительную молодежь на ответственные посты. Вот и этот привел свою больницу в порядок, чего до него не могли или не хотели сделать десятки служивших тут врачей. Фамилия главного врача Чернов или Чёрный. Он внимательно выслушал меня, расспросил, поставил диагноз, прописал лекарство и затем поинтересовался, почему я так поздно лег в больницу. Я ответил. Он тактично промолчал, не стал с заключенным говорить о диком, воз-

мутительном распоряжении начальника; затем спросил, была ли мне своевременно оказана помощь фельдшером. Я поблагодарил и сказал, что со стороны медицинского персонала мне была оказана немедленная помощь и дано лекарство. Врач встал и пересел к койке следующего больного...

В больничной палате № 2 я опять встретился со стариком Назаревским. Хотя знаменитая «десятка» и оставила на его лице неизгладимые следы и отразилась на состоянии его здоровья, он отошел и выглядит лучше. Вчера по моей просьбе он записал свои воспоминания о В. И. Ливенцове и передал их мне. Ливенцова я хорошо знал: в свое время он был весьма заметным человеком в коннозаводском мире. Вот почему рассказ Назаревского приобретает определенный интерес и в будущем может послужить хорошим материалом тому биографу, который решится наконец составить и издать словарь русских коннозаводчиков.

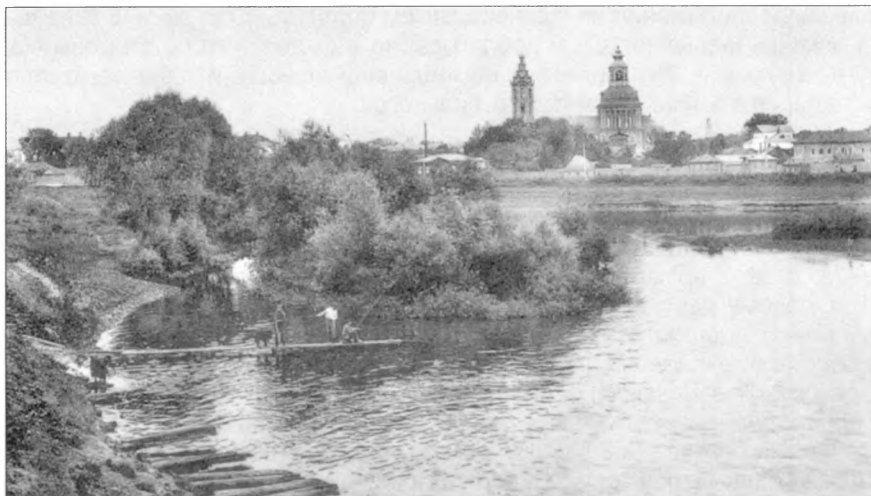
Вот рассказ Назаревского о Ливенцове:

«В городе Туле до наступления революции весьма долгое время существовала торговая фирма братьев Ливенцовых. Фирма эта была весьма состоятельная и считалась одной из лучших в городе. Руководили фирмой три брата – Николай, Иван и Василий. В городе все трое пользовались всеобщим уважением и любовью. Каждый из братьев заправлял отдельным магазином, хотя средства у них были общие. Торговлю они вели колониальными и москательными товарами в весьма обширном объеме. После смерти Ивана между оставшимися братьями и невесткой их был учинен раздел недвижимого имущества, хотя торговля оставалась по-прежнему общей.



Тула, улица Воздвиженская

Пишущий эти строки, как старожил города и покупатель товаров Ливенцовых, знал всех братьев. Однако более короткое знакомство с ними, и в особенности с Василием Ивановичем, у меня произошло на деловой почве. Все братья Ливенцовы были большими любителями лошадиного спорта, и двое из них, Николай и Василий, имели конные заводы. Особой любовью к лошадям отличался Василий Иванович. Он выращивал лошадей и пускал их на бега в других городах, например в Калуге, а затем и в Москве. В Туле беговое дело было совершенно заброшено, и Василий Иванович, задумав возродить его, затратил весьма значительную денежную сумму



Тула, вид с реки Уты

из собственных средств на оборудование. Им был обнесен забором весь беговой круг и истрчено на это до семи тысяч рублей. Познакомившись в Москве с представителями высшей администрации и Главного управления государственного коннозаводства, Василий Иванович очень много хлопотал о Тульском беговом обществе, и вскоре оно стало получать от Главного управления денежные суммы на призы.

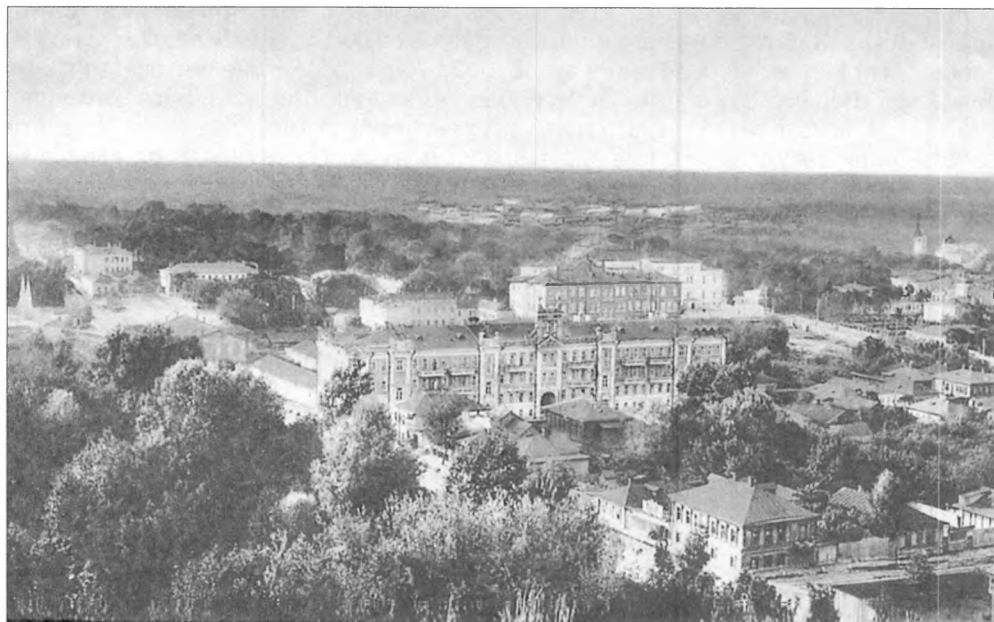
Организовывая тульские бега, Василий Иванович задумал открыть на бегах тотализатор. И обратился ко мне с предложением принять на себя продажу билетов и расчет тотализатора. С этого времени у меня началось весьма короткое знакомство с Василием Ивановичем. Имея у себя конный завод, с каким интересом он дожидался выезда на бега своих любимцев! Надо было видеть выражение его лица, когда на ипподроме бежали воспитанник или воспитанница завода. Глядя на секундомер, он был в восторге, если его лошадь приходила на проезде хотя одну четверть вровную. От собственного завода лошадей Василий Иванович ждал, как всякий хозяин-любитель, чего-то редкостного и небывалого. Маток у него в заводе, как я припоминаю, было десять-пятнадцать. Так, была у него вороная кобыла Жемчужная резвости необыкновенной, но имела она и недостаток: на самом сильном ходу вдруг наклоняла голову до самой земли, и сделать с ней ничего не могли. На Василия Ивановича в этот момент просто жалко было смотреть: у него выступали слезы от душевной боли! Об остальных лошадях я ничего не могу сказать за давностью времени, зато очень хорошо помню восторженное душевное состояние Василия Ивановича, когда начал себя проявлять Мужичок, приобретенный им у Вознесенского и в конце концов выигравший в Москве Императорский приз. Этот Мужичок оправдал все расходы Ливенцова по его конному заводу.

Василий Иванович все время был казначеем бегового общества. За свои труды по его организации и пожертвования он имел не одну благодарность от Главного управления коннозаводства. Ко всему Ливенцов был человеком доброй и отзывчивой души. Всякий приходивший к нему с просьбой не уходил с отказом в помощи, и помогал он так, что одна рука давала, а другая об этом не знала.

Оставшись один после смерти братьев, Василий Иванович в конце концов понес весьма большие материальные потери – опять-таки из-за своей доброты. Был в городе Туле некий совладелец патронного завода, а впоследствии городской голова Гиллендшмит. Этот Гиллендшмит, увидав, что открытый под Тулой, на Косой горе,

чугунолитейный завод разворачивает широко свои дела, беря руду почти на собственной территории, предложил Василию Ивановичу поставить в его имени, находившемся рядом с Косой горой, доменную печь, руда для которой могла свободно добываться из недр его же земли. Были исследованы две-три десятины земли, и руда найдена. Оставалось дело за деньгами, требовалось выпустить на 10 миллионов акций. Было уже послано ходатайство министру финансов, от которого последовал запрос управляющему казенной палатой о том, в каком размере можно разрешить выпуск акций с обеспечением и в каком – без обеспечения. Пока шло дело, Гиллендшмит, войдя с Василием Ивановичем в хорошие отношения, начал попрашивать у него для учета в банке векселя, которых было выдано тысяч на сто. Я не бросаю никакой тени на Гиллендшмита, но, взяв несколько векселей у Василия Ивановича и учтя их в банке, Гиллендшмит вдруг умер, и Василию Ивановичу пришлось свои векселя выкупить, для чего он вынужден был пожертвовать своим угловым домом на Киевской улице.

Последним тяжелым ударом после смерти Гиллендшмита стало для Василия Ивановича требование невестки Александры Александровны, жены его брата Ивана, выделить ей часть из торгового дела. Пришлось отдать 55 тысяч рублей, уплата которых была заменена домами. А весь капитал Ливенцовых был ими в свое время унаследован от богача Трухина».



Тула. Вид на дом земской управы (в центре)

Пример, достойный подражания. Сейчас прочел в последнем номере нового журнальчика «Коневодство и коннозаводство», что с середины этого лета стал выходить в Москве, статью молодого специалиста Басова о первом крестьянском рекордисте. В этой статье, талантливо и тепло написанной, Басов дает историю Милого, рассказывает много интересного о его матери, бабке и прабабке, сообщает ценные бытовые подробности из жизни того района, описывает, как шло воспитание Милого. Словом, делает то, что я неоднократно на страницах

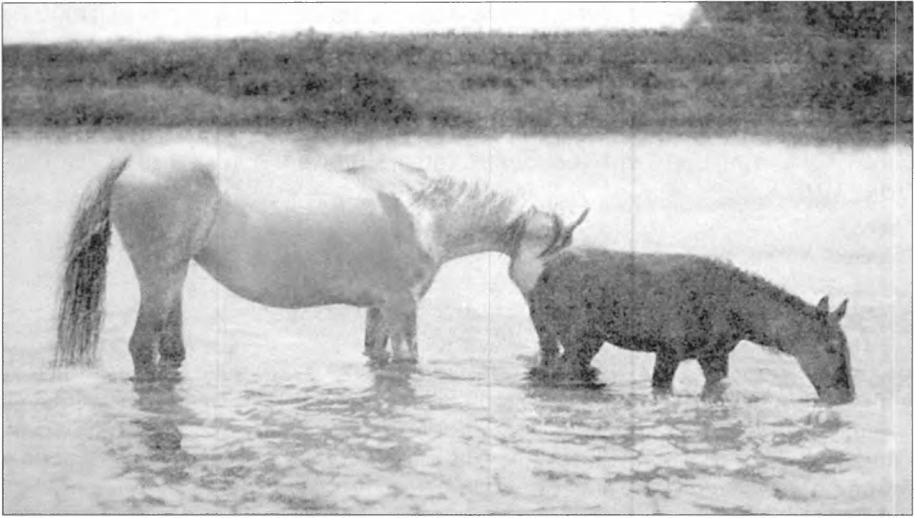
своих воспоминаний и даже в этих коротких заметках делал и призывал делать других. Такие сведения, какие собраны и опубликованы Басовым, имеют величайшее значение для истории породы, ценны для быта, необходимы при подборе и, наконец, просто интересны для всех тех, кто увлекается лошадьми. Вот почему я горячо приветствую появление статьи Басова и отмечаю ее на страницах этой тетрадки, которая заменяет для меня в настоящие тяжелые дни всё...

Совершенно неслучайно, что именно Басов написал историю Милого. Басов – ученик моего приятеля Потёмкина, который, начав свою работу в Орле, обратил на него внимание и выдвинул. Потёмкин – страстный любитель лошади, зоотехник, знаток рогатого скота и друг Щёкина – дал Басову верное направление. Дальнейшая близость Басова ко мне и Витту сделала остальное, и в его лице мы имеем не только зоотехнически образованного человека, но и страстного любителя лошади, и если не знатока, то человека грамотного в генеалогии. Неудивительно поэтому, что он с большим знанием дела вел заводы Орловского губсельтреста, и об отъезде его из Орла можно лишь пожалеть. Басов принадлежит к числу тех молодых специалистов, которые не строили карьеру на травле «старых спецов» (как это вульгарно звучит!), а учились у них и одновременно проходили курс в высших учебных заведениях, слушали профессоров и тем самым подводили научный фундамент под свои знания. Будущее заводского дела принадлежит им, а не молодым карьеристам.

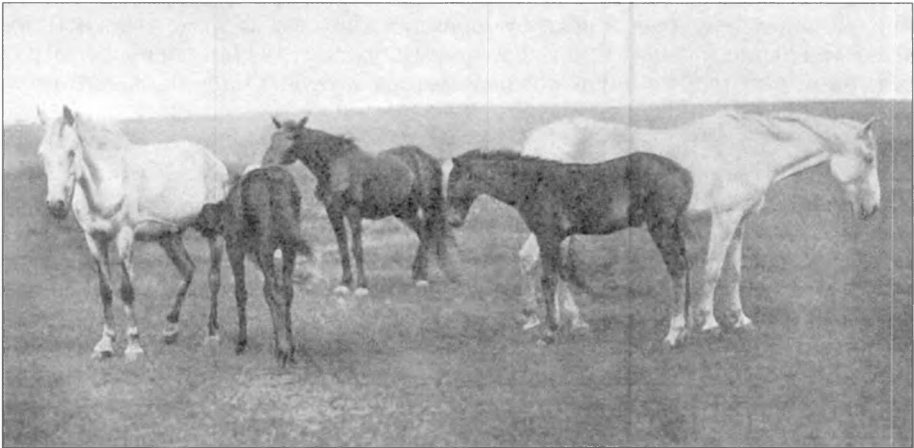
Статья Басова напомнила мне давно прошедшее время, и отец Милого, вороной Магнат, все это утро как живой стоит перед моими глазами. Вот он на выводке в Малых Борках. Я смотрю на него и невольно думаю: «Как хорош! Идеальный по типу орловец!» Но Магнат не орловец, а сын Барона-Роджерса, и мне не хочется громко признаться Шереметеву в том, что жеребец так хорош. Шереметев мелкими шажками бегаёт вокруг меня, щурит глаза и иронически смотрит на меня. Совестно молчать, видя такую замечательную лошадь, и я чистосердечно и от всей души поздравляю Владимира Фёдоровича с такой покупкой. Его лицо расплывается в счастливой улыбке, и он протягивает мне руку. Магнат, гордый сознанием своей красоты, продолжает спокойно стоять и равнодушно смотреть на это трогательное единение метизатора и орловца!..

Еще картина возникает передо мной, и память, хотя и ослабевшая от всех последних бурь и невзгод, воссоздает ее с поразительной точностью. Я вижу себя в шереметевской беседке на берегу крутого оврага, у самой опушки сада. За оврагом спокойно рокочет степная речушка. Где-то справа стучит и грохочет мельничное колесо, этим знакомым и с детства родным шумом нарушая спокойствие тихого, живописного уголка. Я прислушиваюсь к шуму колеса, любуюсь мерным ходом воды, но мысли мои далеко. Я думаю о шереметевском заводе, его былой славе, о старике Шереметеве, о периоде метизации и Магнате. «А хорош, очень хорош! – думаю я. – Следует с ним случить несколько кобыл». Но эту преступную мысль я, правоверный орловец, стараюсь поскорее заглушить и радостно поднимаюсь навстречу показавшемуся хозяину, который уже давно меня разыскивает по саду...

А вот другая картина. Я на заводе Телегина. Только что окончилась езда, она произвела на меня феерическое впечатление. Было ясно, что завод перерастает всероссийскую известность и быстрыми шагами идет к европейской славе. Я стою посередине круга. Ко мне подходит Телегин, мы оба молчим и возвращаемся домой, ибо проба молодежи и на Телегина произвела громадное впечатление. Первым приходит в себя хозяин: «Ну, Яков Иванович, теперь я вам все показал. Впрочем, нет, вы не видели Молодости – она на хуторе, и я вас не отпущу из Злыни, пока ее не покажу». «А что, хороша?» – спрашиваю я. «Сами посмотрите, – следует лаконичный ответ. – После обеда поедем». И вот мы едем по Болховскому уезду, по тем заброшенным местам, где, быть может, бродил Тургенев со своей собакой, где охотился Ермолай с Валеткой и где все дышит первобытностью и спокойствием. В одном из



Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фотоэтиюд Н. А. Алексеева. 1913 г.

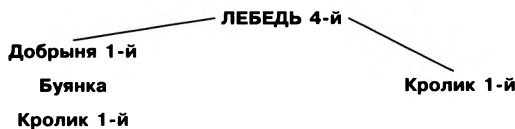


Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фотоэтиюд Н. А. Алексеева. 1913 г.

этих глухих уголков и расположился телегинский хутор. Неподалеку от него ходил табун, и здесь-то я впервые увидел Молодость. Что это была за кобыла – ни рассказать, ни описать невозможно! Ярко-гнедой масти, суха, породна, замечательно сбитая, имела дивную линию верха, была широка и вся как точеная. Это, несомненно, была одна из лучших орловских кобыл, когда-либо мною виденных...

Картины пронесаются перед моими глазами. Я вспоминаю прежних людей и лошадей и думаю о том, что хорошее и большое наследство оставили они новой России...

Аналогии. Напомню о том, что есть наиболее яркого в педигри Лебеда 4-го:



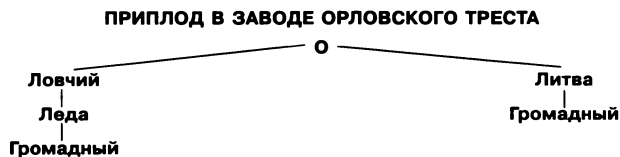
Лебедь 4-й, этот совершеннейший по формам из всех орловских рысаков, когда-либо выходивших из Хреновой, имел чрезвычайно характерно построенное педигри. Шишкин сначала ввел кровь Кролика 1-го в родословную Добрыни 1-го, а затем подвел ему дочь Кролика 1-го и таким образом закончил в Лебеде 4-м освоение этой крови.

Теперь посмотрим, что есть наиболее характерного в педигри отца Лебеда 4-го, Добрыни 1-го.



Создавая Добрыню 1-го, Шишкин инбридировал Лебеда 1-го. Сравнивая генеалогические чертежи отца и сына, мы видим, что Лебедь 4-й, будучи типичным представителем своей линии, вместе с тем менее Лебедь, чем его отец Добрыня. Для меня несомненно, что Кролик, этот замечательный производитель, оставил большой след и дал яркий отпечаток в Лебеде 4-м.

Мне хотелось бы, чтобы одну из лучших дочерей Громадного Литву случили с Ловчим. При этом сочетании, воспользовавшись тем, что я уже ввел кровь Громадного в родословную Ловчего, в приплоде мы освоим кровь Громадного, который, подобно Лебеде 4-му, был и яркой индивидуальностью, и замечательной по себе лошадей, и, наконец, отцом Крепыша. Таким образом, мы проведем работу с Ловчим и Литвой по старому шишкинскому методу и будем надеяться, что результат окажется неплохим.



Здесь полная аналогия с тем, как была введена и потом освоена в педигри Лебеда 4-го кровь Кролика 1-го.

Настоящий рассказ из жизни Прилепского завода относится к революционной эпохе, когда этот завод уже принадлежал государству. Дочери Кронпринца и Лакея подросли и начали поступать в заводские матки. Большинство маток по несколько лет кряду крылись этими жеребцами, и вопрос о новом производителе вполне назрел. В советских условиях, когда все племенные лошади принадлежат государству, казалось бы, что может быть проще, чем получение производителя для одного из государственных заводов? Однако я добивался жеребца в течение целых двух лет. Два года в заводе был полный застой, ибо выяснилось, что Лакей не отвечает своему назначению, а Кронпринц подходит далеко не всем кобылам (дочерей и сестер Кронпринца крыть было нечем). Словом, заводская работа приостановилась и то, что было упущено тогда, оказалось трудно наверстать впоследствии.

Объяснить, почему так сложно было получить для Прилеп первоклассного орловского жеребца, не составляет труда. К тому времени на развалинах прошлого стал возрождаться Хреновской завод. Пуксинг взялся за дело энергично и брал все лучшее. Ему все помогали, и лучшие жеребцы оказались в Хреновой. Кроме того, Прилепы никогда не пользовались симпатией некоторых специалистов. Одни вставляли палки в колеса, а другие, которые поумнее, в душе боялись Прилеп: «Дадим туда

первоклассного жеребца, а потом их и не объехать». Кто же сам себе враг?! Кто же желает усиления своего конкурента?! Что касается метизаторов, то они готовы были в ложке воды утопить и меня, и весь Прилепский завод.

Когда начали расформировывать Дулеповский завод, его чрезвычайно ценный орловский материал с Эльборусом во главе предназначили Хреновой, лишь несколько кобыл передавалось Витту в МОЗО. По плану этой ликвидации Прилепы, конечно, не получали ничего. Я решил взять Эльборуса, ибо Прилепский завод задыхался без первоклассного жеребца-производителя. Однако задумать это было легко, а осуществить очень трудно. В Москве все были против того, чтобы Эльборус шел в Прилепский завод, но я правильно учел, что метизаторы меня поддержат, ибо сочтут, что для них Эльборус менее опасен в Прилепах, чем в Хреновой. Мои расчеты оказались верными. После протеста с моей стороны и категорического требования дать Эльборуса в Прилепский завод коннозаводское ведомство назначило комиссию для решения этого вопроса. Я подсказал кому следует, чтобы пригласили и метизаторов. От них участвовали Телегина, Пейч и Малевинский. Когда мы прибыли в комиссию, орловцы – Витт, Пуксинг и еще кто-то – удивились такому составу, но делать было нечего. Все прошло как по писаному: метизаторы присудили Эльборуса Прилепам. Орловцы негодовали, а Витта я на радостях обругал и не простился с ним, так как он неприлично себя вел в отношении Прилеп. Так что поступлением Эльборуса в Прилепский завод мы всецело обязаны метизаторам.

Та же история повторилась, когда расформировывали Светлогорский завод. Маток поделили между Виттом и Пуксингом, то есть между МОЗО и Хреновой, ну а Барина-Молодого оставили на пункте в Москве. Проект был хороший – дать ему лучших орловских маток на ипподроме. Только под этим соусом и смогли метизаторы задержать его и не отдать Хреновой. Когда же шумиха вокруг Светлогорского завода поутихла, я переговорил с Пейчем – и Барин-Молодой ушел в Прилепы.

Ухват пришел в Прилепы из Хреновой. В то время положение Пуксинга в коннозаводском управлении было исключительно прочно: Пуксинг пользовался личным доверием наркома Смирнова, а потому делал все, что хотел. Он задумал не только отобрать у Прилеп Эльборуса, но и дать взамен никуда негодного Ухвата. Это было осуществлено по щучьему велению, и результат получился для Прилеп весьма плачевный.

В эти годы Хреновая зашла с производителями в тупик: от собранных Пуксингом жеребцов ничего путного не получилось, и он поспешил сослать Ухвата в Прилепы, Воеводу в Моршанск и т. д. Тогда же на горизонте Хреновой появился Щёкин, который оказал несомненное влияние на Пуксинга, склонив его к модным линиям. Нужно здесь заметить, что в генеалогии Пуксинг ни бе ни ме! Словом, Эльборус ушел в Хреновую спасать положение, а Ухват был прислан в Прилепы ухудшать его!

Я узнал об этом будучи в Москве, но поделать ничего не мог. Вернулся в Тулу. На вокзале узнаю, что Ухват уже пришел. Сажусь в сани, еду прямо домой. Само собой разумеется, что подъехал я к конюшне производителей. Навстречу мне вышел знакомый нарядчик Хреновского завода, мы поздоровались. Я велел вывести Ухвата! Прошло несколько минут, и знакомая голова Ухвата появилась в дверях. «Такой же», – подумал я, но тут же испытал разочарование: Ухват весь был в черновиках, подтянут, имел большой вид. Поодаль стояли мои сани, запряженные парой. Увидев лошадей, Ухват приободрился, потоптался на месте, и из члена его на снег скатилось несколько капель крови и гноя. Это была жалкая и отвратительная картина! Я пришел в негодование, еще раз посмотрел на Ухвата, на его заросшие копыта и запущенный вид, плюнул, обругал самыми отборными словами Пуксинга и Хреновую, сел в сани и уехал домой.

Вот в каком виде пришел Ухват из знаменитой Хреновой в Прилепы! Пришел, чтобы умирать – и в лучшем случае дать холостых кобыл, а то и заразить ползавода. Но это, конечно, была вина не Ухвата...

Как я и думал, к случке Ухват оказался почти непригоден: с трудом справлялся, вместо семени исторгал кровь. Жаль было эту когда-то знаменитую лошадь. Дал он только одного жеребенка, все же остальные покрытые им кобылы прохолостели... Коннозаводское ведомство, куда своевременно поступили об этом сведения, смолчало и замяло неприятное для всех происшествие. Ну а какой ущерб, позволительно спросить, понесло государство от того, что в Прилепском заводе от Ухвата родился лишь один жеребенок, а не двадцать или пятнадцать, как должно было бы быть?..

Ухват, конечно, не виноват в том, что он пришел в Прилепы в таком жалком состоянии. Не виноват он и в том, что дал здесь лишь одного жеребенка. Кстати, этот гнедой, сын Похвалы, очень хорош и костист, но, боюсь, будет грубоват. Ухват – отец Вандала (2.13) и других резвых лошадей, а потому я выскажу о нем свое мнение и опишу его безотносительно к тому, что он не оставил следа в Прилепском заводе.

Впервые я увидел Ухвата в Москве, на конюшне Синегубкина. Я имел дела с Синегубкиным и нередко заезжал к нему. Синегубкин высоко ценил Ухвата и однажды пригласил меня посмотреть этого жеребца. Я поехал на Верхнюю Масловку. Жеребец мне не понравился. Он был, сказать откровенно, чересчур прост и к тому же имел малопривлекательную спину. Роста был удовлетворительного, с маленьким подсадцем и сыроват. Кроме того, я находил, что он хотя и костист, но круглокоп, с чем Дмитрий Иванович Синегубкин согласиться никак не мог. Класс Ухват имел большой, характер хороший, но не был так прост в езде, как все остальные Корешки. Его сын Вандал чрезвычайно напоминает своего отца.

После осмотра Ухвата мы по традиции отправились пить чай. Тут-то и выяснилось, что Синегубкин хотел мне продать Ухвата в завод. Соблазнял он меня тем, что будет постоянным покупателем на его детей. От покупки я категорически отказался, но двух кобыл под него записал. Ухват очень высоко расценивался. Мне, как своему человеку, и то пришлось заплатить 600 рублей, то есть по 300 рублей за кобылу. От этой случки родилось две кобылки, одна из них белая, с кирпично-красным пятном большого размера по лопатке. Этой замечательной кобыле я дал историческое имя Персиянки. Она была дочерью офросимовской Пилы. А. П. Офросимов был в восторге от Персиянки и все приговаривал, что это магометовская кобыла. К несчастью, она пала в двухлетнем возрасте.

Во второй раз я увидел Ухвата на выводе в Прилепах. Бедный старик был запущен и жалок. Впрочем, внешне он мало изменился. Однако в нем появилась одна черта, которая ранее совершенно отсутствовала: он стал привлекателен, и если не вполне породен, то все же в нем чувствовалось что-то от Чародея, его великого прародителя! Масть Ухвата стала замечательной: он сделался белым и от самой холки вниз к ноге шло темное, синевато-серого тона пятно неправильной формы. Если бы по крупу или с другой стороны бросить еще одно такое же или меньшее пятно, то жеребца следовало бы считать серо-пегим. Эта столь редкая и столь характерная отметина выявилась тогда, когда Ухват побелел. Весьма возможно, что к старости Вандала она появится и у него. Не подлежит никакому сомнению, что эта отметина есть наследие матери Свирели и идет по Петушкам и Бычкам. В одной из моих неопубликованных работ я подробно касался вопроса об отметинах и пежинах в орловской рысистой породе и пришел к выводу, что наибольшее число пестрых лошадей приходится на семейство Бычка. Среди детей Корешка отметину в этом роде имеет еще только родной брат Ухвата Воевода.

В Прилепском заводе Ухвата привели в относительный порядок, но после первых его садок маточник Крал Осипович Крал сигнализировал об опасности и просил его убрать. Я бы, конечно, так и поступил, но в апреле того же года состоялось назна-

чение Владыкина. Тот был рад всячески напакостить Прилепскому заводу, почему и продержал Ухвата еще год! Только с приездом Повзнера, после долгих хлопот и пререканий, было получено разрешение убрать Ухвата. Ухват очень тяжело умирал: последний год жизни буквально гнил от своих черновиков и так заражал воздух в конюшне, что был переведен на рабочую. Жаль было его там видеть: он стоял всеми заброшенный и забытый в темном уголке более чем скромной сергиевской конюшни. Из Москвы распоряжение на его уничтожение долгое время не приходило, так как Москва списывалась с Астраханью. Месяцы шли, а Ухват все страдал и страдал. Приезжая в Сергиево, я заходил в денник к старику. Он стоял грязный, со взъерошенной гривой и встречал и провожал меня своим умным, страдающим взглядом...

Итак, Эльборуса в Прилепах уже не было, Ухват стал непригоден, Барина-Молодого Владыкин усрал в Грязнушенский завод. Тогда-то и был спешно прислан в Прилепы на всех маток старик Воевода, дававший не более 25 процентов приплода! Положение пришлось спасать. Я посоветовал Повзнеру немедленно взять моего Ловчего, что тот и исполнил.

Воевода был снят из Моршанского завода, где уже начал крыть кобыл, и прибыл в Прилепы в марте, то есть в разгар сезона. О каком правильном или идейном подборе тут можно было думать! Приходилось просто крыть тех кобыл, которые были в охоте. Иначе сезон был бы упущен и завод мог остаться совсем без жеребят. Вот что натворил Владыкин перед самым своим уходом из Прилеп...

Воевода пришел из Моршанска в порядке. В случке он был вял, малоплоден, и свыше 60–70 процентов кобыл оставались от него холостыми. В Прилепах он покрыл несколько интересных кобыл и в конце декабря 1927 года ушел в Хреновую вместе со всем Прилепским заводом. Жив ли Воевода сейчас и дали ли прилепские кобылы от него хоть нескольких жеребят, я не знаю. Было бы жаль, если бы все они остались холосты, так как Воевода – очень интересный производитель. Я много раз видел Воеводу на бегу, на моих глазах прошла его карьера. Он не производил своим ходом большого впечатления, но, несомненно, был очень резов. Шел он не низким ходом, не крутым, не нарядным орловским, не плыл и не нырял, а имел высокий ход. Характером отличался превосходным. С. В. Ляпунов очень его ценил. Я разделяю точку зрения Ляпунова и считаю, что Воевода во всех отношениях выше своего брата Ухвата.

В заводском теле я впервые увидел Воеводу на выводке в заводе В. К. Мельникова в 1916 году или около того времени. Вместе с Мельниковым и Ляпуновым я смотрел этот небольшой, но с таким вкусом собранный завод. Производителями там были тогда Барс, Воевода и Шкипер. Воевода, как, впрочем, и все остальные производители, был страшно раскормлен. Выглядел он несколько вялым, но поражал костью, делом и глубиной. Это была настоящая заводская лошадь. Он произвел на меня большое впечатление. Во время революции Воевода очень много пережил: его перевели в Орёл, потом эвакуировали в Нижний Новгород, назначили в Хреновую, перевели в Моршанск, потом в Прилепы, опять в Хреновую, где, будем надеяться, ему дадут спокойно умереть.

Расстался я с серым Воеводой, а снова встретился с ним тогда, когда он весь побелел и по нему пошла гречиха. Это была все та же дельная и хорошая заводская лошадь. Однако он стал породнее и отражал, несомненно, чародеевский тип, при этом был меньше Корешком, чем, например, Шкипер. У него был широкий лоб, открытый и при этом спокойный глаз, хорошие углы, длина, удовлетворительный верх, хороший зад и превосходные ноги. Хвост он имел короткий и висеченный. Скакательные суставы были далеки от идеала, но других существенных недостатков не имелось. На выводке Воевода подкупал и производил впечатление: в лошади был свой фасон. Масти замечательной – по белому фону характерные серо-синие пежины. Таков был Воевода, этот калиф на час в Прилепском заводе.

Как попал Барин-Молодой в Прилепы, уже рассказывалось. Хотя я никогда не числился сторонником Вармиков и, в частности, недолюбливал самого Барина, тем не менее его появление в Прилепах в качестве производителя я, конечно, не мог не приветствовать. В те годы советское коннозаводство приняло исключительно спортивное направление, формы и тип рысака игнорировались, а потому Барин-Молодой, дававший скороспелых детей, был самым подходящим жеребцом. Само собой разумеется, что в другое время и в другой обстановке я не дал бы ему заводского назначения, так как его дети ни по типу, ни по форме не удовлетворяли меня. Лошади Прилепского завода были ценны именно тем, что обладали экстерьером и орловским типом, почему и находили себе покупателей по хорошей цене даже тогда, когда не были резвы. Уходить от взятого направления я не имел никакого основания и не сделал бы исключения даже для Барина-Молодого. Я высоко ценил этого жеребца как производителя призовых рысаков, имел даже пай на него (право крыть трех маток ежегодно) и ежегодно получал бы от него двух-трех жеребят для призовой славы завода, но дальше бы не пошел.

Когда Барин-Молодой пришел в Прилепы, состав маток, более чем наполовину сократившийся, уже не имел тех форм и той ценности, что прежде, так что вреда он принести, конечно, не мог. При отсутствии орловских представителей Барин-Молодой, учитывая его высокое происхождение, был для Прилеп интересным жеребцом. Его поступление давало заводу тот плюс, что прививало приплодам раннюю резвость, к трем годам выводило их на ипподром и добавляло спида основным стайерским линиям завода.

Барин-Молодой прибыл в Прилепы и занял место рядом с Эльборусом. Таким образом, резвейший орловский рысак республики оказался рядом с лучшим в свое время производителем орловских рысаков. И где же?! В Прилепах! Это невероятное происшествие немало меня позабавило. Я знал, как и почему оба жеребца прошли у Пуксинга мимо носа, а орловцы не могли понять, как это случилось... В Прилепы Барин-Молодой прибыл тихо, безо всякого шума, как бы украдкой. Я условился с Пейчем, что он пришлет жеребца и проведет все формальности сам. Пейч умеет работать втихую, конспиративно, и ему не стоило труда получить разрешение на передачу Барина-Молодого в Прилепы. Я думал, что будет вызван из завода конюх, будут акты, комиссии и прочее – ведь речь шла о Барине-Молодом, но все это оказалось излишним. В одно прекрасное утро, гуляя по дороге, ведущей к Туле, я заметил на горизонте фигуру приближающегося всадника. Каково же было мое удивление, когда, поравнявшись с ним, я во всаднике узнал Алдошина, а в лошади – Барина-Молодого! Оказалось, что Барин-Молодой накануне был, что называется, вмиг собран и погружен в вагон. Алдошину дано было седло и сделано распоряжение: по прибытии в Тулу выгрузиться, подседлать жеребца и немедленно ехать в Прилепы, где и сдать его. Алдошин в точности исполнил распоряжение. Услышав его рассказ, я улыбнулся и пошел рядом с Барин-Молодым. Минут через пятнадцать мы были уже на конюшне. Барина расседлали, высвободили и поставили рядом с Эльборусом.

Вечером я сделал визит Барину. Его вид мне не понравился: он был худоват, шерсть тускла, ел плохо и вообще был не в порядке. На другой день я смотрел Барина-Молодого на выводке, и он произвел на меня то же неблагоприятное впечатление. Ко вчерашнему виду добавилась еще общая подтянутость и вялость. Вместе с Кралом Осиповичем я приступил к тщательному осмотру жеребца. Сделать это было тем необходимее, что и утреннюю дачу овса жеребец наполовину не проел. После тщательного осмотра я убедился, что рот Барина-Молодого не в порядке: зубы у него приняли характерно старческую форму – выдвинулись вперед и заострились, так что жеребец не мог прожевывать и плохо ел. Отсюда все его беды – и худоба, и плохая шерсть, и вялость. Когда рот Барина-Молодого был приведен

в относительный порядок, тот стал быстро поправляться. Однако его вид все еще меня не удовлетворял, а я хотел к случному сезону привести жеребца в блестящий порядок. Следя за Барин-Молодым, я пришел к заключению, что он все-таки плохо пережевывает и что дело в желудке. Мы с Кралом стали давать ему кашу из дробленого овса и отрубей, и в какой-нибудь месяц жеребец совсем воскрес. К случному сезону он был действительно приведен в порядок и в этом порядке удержался до своего ухода в Грязнушенский завод.

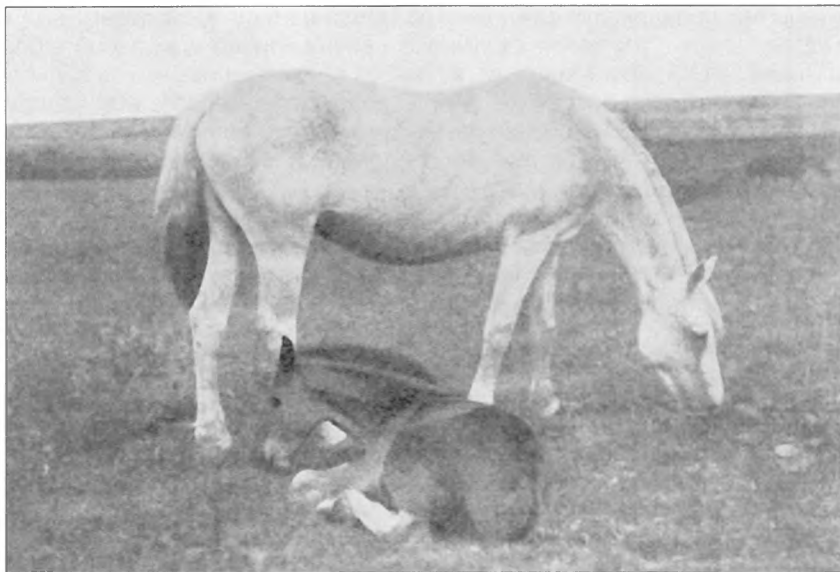
Барину-Молодому было за двадцать, когда он пришел в Прилепы. Стариком он производил на меня такое же неблагоприятное впечатление, как и молодым. Это была, можно сказать, квадратная лошадь. Если представить себе мысленно квадрат, то туловище Барина-Молодого помещалось в нем. Такова была отличительная черта его экстерьера. Голова у Барина довольно выразительная, шея же тяжелая и мясистая, спина превосходная, что неудивительно, ибо Барин-Молодой не имел ни единой капли крови Бычка! Задом он стоял хорошо и круп имел правильный. Передние ноги его были малоудовлетворительны, не без размета и с прямой бабкой. Копыта неважные, в задних – наливчики. Жеребец вышел ни сухим, ни сырым, роста небольшого. По типу он был далек от орловского рысака, как я понимаю этого последнего.

Характером Барин-Молодой обладал идеальным. В деннике он не имел никаких дурных привычек и был приятен, но на выводке держал себя дураком и все время вертелся. Спид, класс и происхождение Барина-Молодого настолько общеизвестны, что на них едва ли есть необходимость останавливаться. Заслуги его как производителя в дореволюционной России сейчас едва ли кого могут заинтересовать, а то, что он дал после революции и до поступления в Прилепы, не заслуживает никакого внимания. О заводской деятельности Барина-Молодого в Прилепах буду говорить особо.

Хотя я и не любил Барина-Молодого, но отнесся к нему как к знаменитой лошади и, несмотря на присутствие Эльборуса, в течение двух лет давал ему лучших маток завода из числа тех, которых считал наиболее к нему подходящими. Отдавая должное Барину-Молодому, я окружил его заботой. Я сдал его с рук на руки Кралу, который был золотым человеком и лучшим маточником, когда-либо служившим в Прилепах. Барин-Молодой был отправлен к нему на Сергиевский хутор, жил там в просторном деннике, гулял, получал в летний период траву, купался в реке, осенью и зимой сам Крал ездил его под верхом, а зимой в легких призовых саночках по лужку. Корм ему отбирался самый лучший – сено из любимых им трав, и я иногда, сидя с трубочкой на лавочке в скромной сергиевской конюшне, наблюдал, как Крал колдовал над порцией сена Барину-Молодому.

В прежней России слава Барина-Молодого как производителя была исключительно велика. Затем наступила революция – и он очутился в Сибири, а потом попал в Светлогорский завод, где работал Ратомский – ярый поклонник и фанатик этой крови. Барину-Молодому были даны лучшие орловские кобылы, лучших кобыл дал еще Витт из МОЗО, но результат получился далеко не утешительный. Слава Барина-Молодого как производителя померкла: говорили, что он уже не тот, что сибирские злоключения отразились на нем и что лучшие его годы безвозвратно миновали... Однако меня все это мало трогало, я был уверен в прилепских матках и несколько не сомневался в том, что от них Барин-Молодой даст такой приплод, который не уступит его дореволюционным детям. Насколько я был прав в своих предположениях, покажет близкое будущее.

Безнадёжная-Ласка, лучшая матка завода, дала от Барина два приплода – вороного сына и гнедую дочь. Сын, не по Барину крупный жеребенок, от гнедого отца и такой же матери вышел вороной масти, лысый и чистоватый ногами. И мастью, и отметинами, и приподнятостью на ногах, и даже беднокостностью этот жеребенок –



Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фотоэтиюд Н. А. Алексеева. 1913 г.

вылитая бабка, то есть Милушка, мать Барина-Молодого. Я хорошо знал эту знаменитую кобылу. Сын Барина и Ласки очень на нее похож, и в первой ставке приплода Барина-Молодого я его всегда особенно отмечал. Его сестра была женственной, прелестной и правильной кобылкой, ее я очень высоко расценивал и ставил в душе выше других дочерей Ласки, то есть Большой Медведицы, Британки и Буянки. Таким образом, Барин-Молодой дал от Безнадёжной-Ласки вполне достойный приплод.

Двух полусестер, Надсаду и Ненависть, я также давал Барину два года кряду. Каждая из них принесла по жеребчику и кобылке – все вороной масти. Не сомневаюсь в том, что из этих четырех жеребят трое, то есть обе кобылки и сын Надсады Напильник, заставят о себе говорить.

Все по тем же своим казаковско-кожинским и ультраполкановским увлечениям я дал Барину все гнездо Перцовки: и ее дочь Порфиру, и обеих ее внуков Персиду и Похвалу. Порфира дала двух блестящих жеребцов – вороного и гнедого. Признаю, что вороной имел наливчик, но был идеально хорош: по своему рисунку это была европейская лошадь. Погубил его Владыкин: он отобрал лучших жеребят и начал экспериментировать с ними, то есть гонял несчастных и травил их собаками (факт!). Они носились по колено в снегу по фатеевскому лугу! Так Владыкин учил бегать прилепских тихоходов. После этих экспериментов у сына Порфиры, сына Купли и других образовались колоссальные наливки, и они в результате стали калеками. В этих безобразных упражнениях и издевательствах над прилепскими лошадьми самое деятельное участие принимал, конечно, Самарин. Второй сын Порфиры – гнедой, сухой, по-казакowski блестящий – вероятно, заставит о себе говорить.

Персида имела от Барина-Молодого своего первенца – Приёмистого (2.20). Он родился еще в Светлогорском заводе, куда Персида отправлялась из Москвы. В Прилепах она дала от Барина двух кобылок, хотя и мелких, но правильных. Из них старшая, Простота, была очень хороша по себе. От Похвалы и Барина я помню гнедую Пирамиду – сухую, представительную и дельную, но очень мелкую и с мягкой спиной.

Интересным обещало быть соединение Барина-Молодого со Светлячкой: повторялся столь известный Добряк. И действительно, результат получился превосход-

ный – гнедой жеребец, которого я назвал Смельчаком. С первых дней жизни этого жеребенка я отмечал его и предсказывал ему хорошую будущность. Сейчас он уже в Москве на бегу и считается одним из резвейших двухлеток. К несчастью, еще в Прилепах он получил очень серьезный ушиб плеча и долго хромал. Хреновая его приняла, не заметив случайного увечья. Я думаю, что из-за него Смельчак не сможет показать всего своего класса. Жаль, так как жеребчик был очень интересный.

Складка, дочь Султанши и внука Соперницы, дала от Барина-Молодого мелкую и бесспинную кобылку. Назначение Султанши под Барина-Молодого есть несомненная ошибка – приплод действительно должен был быть мелким. И хотя кобылка получилась точеная, но миниатюрная и по спине порочная.

Родная сестра Крепыша Купля дала от Барина-Молодого двух сыновей. Старший вышел светло-серым, а младший – красно-серым. Старший был очень крупен и делен, лишь голова мне не нравилась. Этого жеребенка, как и сына Порфиры, погубил Владыкин. Второй сын Барина и Купли родился при самых неблагоприятных условиях. Купля очень болела, незадолго до рождения этого своего последнего жеребенка сильно исхудала и почти потеряла молоко. Месяца через два после появления сына на свет Божий она пала, и малыша приняла и выкормила мамка из рабочих кобыл. Жеребенок был дельный и правильный, но пережитые им периоды ненормального питания отразились на нем.

Одного, зато превосходного по себе жеребенка принесла Соколиха. Ее дочь Свирь очень правильна и дельна. Судя по первым выступлениям, Свирь обещает стать резвой кобылой.

Наконец, еще двух жеребят, о которых я упомяну, дали Урна и ее дочь Услада. Сын Услады – красно-серый в холке, некрупный, с неважной спиной жеребчик – мне не нравился. Зато дочь Урны, последнее ее произведение, является выдающейся по себе кобылкой, лучшей дочерью Барина-Молодого из числа тех, что родились в Прилепах.

Должен сказать, что дети Барина-Молодого в общем некрупны, очень типичны, имеют, за редким исключением, хорошие спины, довольно сухи и породны. Они лучше тех, что я видел в других заводах, так что прилепские крови и прилепские матки сделали свое дело. Крайне важно отметить, что дети Барина-Молодого хорошо усваивают корм и обладают хорошим здоровьем: ни один из них, несмотря на трудные условия в Прилепах, не пал. В упрек им можно поставить общую недоразвитость, точнее, запаздывание, но я полагаю, что тут играют роль весьма преклонные годы жеребца. Не могу здесь не заметить, опять-таки для молодых охотников и зоотехников, что в будущем, работая над этой группой детей Барина-Молодого, их нужно крыть молодыми жеребцами.

Расскажу, какое впечатление произвел на Владыкина Барин-Молодой. Владыкин только что был назначен в Прилепский завод и приехал принимать его. Лошадей я сдавал сам. Производители и заводские матки находились в Сергиевском, и в открытой коляске мы поехали из Прилеп в Сергиевское. В то время Владыкин еще не был «великим человеком» и с ним можно было говорить. Когда он говорил о лошадях, его можно было слушать, но как только он касался других вопросов, то становился скучным и нудным. «Имеет ли этот, так хорошо рассуждающий молодчик, понятие об экстерьере и типе орловского рысака?» – думал я, слушая Владыкина, когда мы подъезжали к маточной конюшне Сергиевского отделения. Ответ на этот вопрос я получил очень скоро: уже на выводке я убедился, что экстерьер лошади как таковой Владыкин знал, в недостатках разбирался, но об орловском типе, орловском рысаке и его направлениях он не имел ни малейшего понятия. Вкуса к орловскому рысаку у него не было, чутья – еще меньше. Он меня совершенно сразил, когда, увидав Усладу, не только остался равнодушен, но и развязно заявил, что она ему не нравится! Да просит мне читатель, но я должен написать слово «осел» и на этом поставить точку.

По-видимому, Барин Владыкину тоже не понравился, но он об этом промолчал и только несколько месяцев спустя, когда в разговоре я его припер к стене, признался, что такие жеребцы, как Барин-Молодой, погубят орловскую породу, ибо хотя они и дадут резвых детей, но те будут все же тише метисов, а кроме того, по себе метисы будут лучше таких орловцев. «Зачем же, – добавил он, – тогда разводить орловского рысака?»

Так думали, так чаяли и так уже отпевали орловскую породу новоявленные метизаторы. Но они не учли одного: страшную силу сопротивления орловского рысака и те богатые возможности, которые таит эта порода и которые она сейчас же проявляет, как только получает к тому хотя бы мало-мальски благоприятный толчок. Лучшим примером тому служит все тот же многострадальный Прилепский завод: его заплевали, иначе как тихоходами прилепских лошадей не называли, прислали самого Владыкина его dokonать, достигли этого, растащили завод – и вдруг (какой ужас!) прилепские лошади попали в руки первоклассных наездников и так побежали, так стали лупить направо и налево, и чистых и нечистых, что чертям стало тошно!

Пора, однако, в назидание потомству рассказать печальный эпизод – о том, как и при какой обстановке покинул Барин-Молодой Прилепы. Дни пребывания Владыкина в Прилепах были сочтены. Он это чувствовал и буквально рвал и метал. Владыкина поддерживал Асаульченко, а Рапп – фактический вершитель в эти годы судеб советского коннозаводства – был его приятелем. Если к этому добавить, что некто Вильямсен ведал в отделе коннозаводства кормовыми и финансовыми вопросами и что он тоже был смоленец, то станет понятным, почему Владыкин был своим человеком в коннозаводстве. Рапп, полный невежда в коннозаводских вопросах, без зоотехнического образования и даже не любитель, был, однако, очень способным человеком, а главным, ловкачом.

В том решительном столкновении, которое вскоре произошло между мною и Владыкиным и окончилось его уходом из Прилеп, меня поддерживал по просьбе Н. И. Муралова член коллегии Наркомзема Савченко, и ни Асаульченко, ни смоленцы поделаться ничего не смогли. Между этим столкновением и теми прениями, которые произошли между мной и Владыкиным, последний и умудрился оставить Прилепский завод без производителя. Это был явный погром завода, и как мог Владыкин на него решиться – я до сих пор понять не могу. В Прилепах к осени 1927 года было налицо два производителя – Ухват и Барин-Молодой. Ухват буквально заживо гнил, и крыть им было нельзя. Так что фактически на 40 кобыл оставался один старик Барин! Несмотря на это, Владыкин едет в Москву, пользуется тем, что ни Синицына, ни Асаульченко не было в отделе, и получает от Раппа распоряжение отправить Барина-Молодого в Грязнушенский завод. И Прилепский завод остается без производителя. Как я уже сказал, Владыкин со дня на день должен был уйти. Сознывая это, он ставил в безвыходное положение будущего управляющего, ибо где же было перед самым сезоном найти классного жеребца, когда все они были на местах? Ясно, что пришлось бы взять первую попавшуюся мало-мальски приличную, а главное, свободную лошадь. Всякому охотнику понятно, какой ущерб наносился этим одному из старейших орловских заводов. Добавлю, что когда Асаульченко и Синицын узнали о произошедшем, то были возмущены и Раппу влетело. Однако дело вышло настолько неприятным, что они его замяли, ибо иначе неизбежно возник бы вопрос: кто же, в конце концов, распорядился отделом – Рапп или Асаульченко? Выход из положения был найден позднее, уже после ухода Владыкина и переговоров со мною: из Моршанска в Прилепы был срочно переброшен Воевода и дан свой Ловчий. Ухвату было приказано, конечно, кобыл не давать. Безобразие, сделанное Владыкиным и Раппом, исправили, но какой ценой! Из Моршанска взяли жеребца, который был там нужен и которого заменить было нечем, а значит, другие жеребцы получили добавочную нагрузку и подбор полетел вверх тормашками. Прилепы полу-

чили Воеводу поздно, уже во время случного сезона, поэтому подбор тоже нарушился и заводу грозил в будущем крупный недобор жеребят.

Вернусь теперь к Владыкину и Барину-Молодому. Получив разрешение Раппа, Владыкин приезжает в завод и никому, кроме Самарина, не говорит ни слова. В тот же день заказывается вагон, и вечером или рано утром, точно не помню, несмотря на двадцатиградусный мороз, Барина-Молодого грузят и отсылают в Грязнушенский завод! Так тихо, без шума, украдкой покинул знаменитый Барин-Молодой Прилепский завод, чтобы отправиться в далекую Саратовскую губернию на новое и на этот раз, вероятно, последнее место своей заводской работы. Нечего и говорить, что когда об уходе Барина-Молодого узнали в заводе, то не только общее недоумение, но и общее негодование было велико. Владыкина без стеснения бранили и порицали. И наш герой, отдадим ему должное, сделав эту пакость, все же имел смущенный и сконфуженный вид...

Сегодня 16 декабря, воскресенье. Стоит солнечный, яркий, морозный день. Окна больницы покрылись причудливыми узорами, весело трещат в печке дрова, и у нас в палате праздничное настроение. Обхода больных не будет, вызовов тоже, и целый день будет царить тишина. Приятно лежать в кровати, покоить усталые кости и наблюдать за игрой солнечного луча: он то осветит яркой полосой карниз, то переместится свои лучи на косяк двери, то образует круги на оливково-зеленой панели, то поиграет на одеяле соседа. Я лежу, наблюдаю и думаю. Сколько событий, сколько переживаний, сколько тяжелого и страшного для меня уже случилось и осталось позади! Что еще ждет в будущем, что предстоит впереди? Вопрос, на который ищешь ответ и ответить не можешь! Впрочем, сейчас этот вопрос не страшит: так ярко светит солнце и так величественно просто расстилается голубой свод неба, что на душе становится спокойно и хорошо. Я гляжу в окно: через призму стекла краски небосклона еще нежнее, еще лазоревее, еще мягче и прозрачнее. Расстилается снежная равнина, вдали виднеется лесок и военный лагерь. Этот лесок много лет тому назад посадили Тавринский и Бородинский гренадерские полки. Левее лагеря военное кладбище и высокая кирпично-красная стена городского погоста...

Воскресенье – счастливый день для заключенных: в тюрьме сравнительно тихо, работы не производятся и все или почти все отдыхают. После невообразимого шума, стука и грохота, недели напряженной работы, волнений, вызовов к следователям и в суд, ссор и часто драк воскресенье – это мертвый день, когда заключенные отдыхают и не видят никого, кроме дежурного надзора. В камерах разговаривают, читают, играют в шашки и домино – так проходит день. В лазарете всегда относительно спокойно и тихо: больше лежат, больше читают и больше думают. По воскресеньям заключенные из числа сотрудников, то есть те, кто работает в канцелярии и на лучших должностях, могут посещать друг друга, хотя это делается неофициально и не без труда. Так вот в это воскресенье меня и навестили двое таких сотрудников: мой старый знакомый Паншин и граф Татищев. Приятно было поговорить о лошадях и вспомнить старину. И я был очень благодарен моим визитерам, несмотря на то что из предосторожности они оставались у меня не более пятнадцати минут.

К. Н. Татищева я знал еще по Москве. Одно время он был московским губернским прокурором, потом слиберальничал и пошел в присяжные поверенные. Татищев принимал большое участие в семье моего покойного брата Георгия Ивановича, потому я знал его довольно близко. Во время революции он потерял все, испил горькую чашу до дна, на службу, как граф и бывший прокурор, нигде поступить не мог. Много голодал и странствовал и наконец, работая в какой-то артели, по ее делам получил срок в полтора года и очутился в Тульской тюрьме. Здесь его тоже долго «не выводили» на работу, но в конце концов назначили юристом. С неизменной папкой в руках и кучей дел Татищев ежедневно обходит камеры, пишет заявле-

ния в суд, кассации, просьбы о помиловании и прочее. Заключение его очень ценят, и он действительно им много помогает. Лично мне Татищев оказал, в особенности на первых порах, ряд мелких и очень полезных услуг.

Н. И. Паншина я знаю уже не один десяток лет. Познакомился с ним в Воронеже, когда купил у Паншиных белого жеребца Громкого, сына Бережливого и Тени. Отец Паншина, Иван Никифорович, был одним из крупнейших конноторговцев в России. Сын помогал ему в деле и был его правой рукой. Позднее я встречался с Паншиным на выставках, а во время революции хорошо знал его по работе в сельскосоюзе. Я имел несчастье привести Паншина в тюрьму, и это единственный человек, который пострадал по моему делу. Он с большим достоинством принял постигшее его несчастье.

Мои гости уселись рядом со мной на больничной койке, и мы начали беседу. Как водится среди заключенных, поговорили сначала о своем горестном положении, потом о тюремных делах и порядках, но в конце концов перешли-таки на лошадей. На столике появилось три стакана фруктового чая и сухари – все, что я мог по своему теперешнему состоянию предложить гостям. Паншин вынул из кармана лимон и мешочек донника, которые и преподнес мне в подарок. Лимон пригодился к чаю, а цветок донника явился ценным приношением. Донник растет больше на сухих местах да на межах и в сухом виде издает приятно-пряный аромат. Его подмешивают к махорке, и вкус и запах получаются замечательные. Так как все эти десять месяцев я курю только махорку, то подарок Паншина очень пришелся мне по душе.

Поговорили о последних бегах, потолковали об Эльборусе, затем Паншин стал говорить о последней статье Витта, касавшейся орловских рысаков, вывезенных за границу. Паншин заметил, что, перечисляя страны, куда вывозились рысаки, Витт забыл упомянуть Испанию. По словам Паншина, в эту страну их отправили немало. Несколькими десятками были куплены у его отца в Воронеже испанской комиссией, причем покупались эти лошади исключительно для заводских целей. Взяты были лошади преимущественно завода Елисеева, но попало несколько лошадей и других заводов – например, филипповские рысаки. Лошадь выбиралась сухая, рослая, без пороков, с хорошей спиной и благородная. Платилось по 2200 рублей за голову, так что вся продажная сумма составила внушительную цифру в 70 тысяч рублей.

Я заметил Паншину, что эти данные, конечно, интересны и я их обязательно отмечу в своей тетрадке, что же касается неполноты сведений Витта, то это не имеет существенного значения. Важно было сделать то, что он сделал, то есть напомнить о заслугах нашей национальной породы в момент скрытого гонения на орловского рысака, организованного и проводимого Пейчем. Далее я рассказал случай из истории завода моего отца. У отца в заводе родился от Рыцаря очень хороший караковый жеребец по имени Боец. Для своего времени он был очень резв (2.28) и выиграл в Санкт-Петербурге тысячи четыре с лишним. В то время он принадлежал господину Лешоко. Так вот этот последний продал его в Швецию. Там Боец бежал блестяще и поставил рекорд на версту. Боец стал в Швеции очень популярным жеребцом и поступил производителем в один из государственных заводов, где пользовался большим успехом. Об этом мне рассказывал князь С. П. Урусов, автор «Книги о лошади», хорошо знавший коннозаводство северных стран. Вообще же орловский рысак сыграл гораздо более видную роль в создании упряжных пород Европы и Америки, чем принято думать у нас. Никогда не забуду случая, рассказанного мне князем Н. Б. Щербатовым и подтвержденного Р. Р. Правохенским: на последней перед войной Всемирной конской выставке и Олимпиаде в Лондоне первый приз получила четверка серых американских рысаков миллионера Вандербильда; когда же Щербатов спросил менеджера вандербильдовской конюшни о происхождении этой замечательной четверки, тот, узнав в нем русского, сказал: «Мне приятно вам сообщить, что бабка этих лошадей – орловская рысистая кобыла!»

Коснувшись елисеевского завода, Паншин рассказал, что существовало четыре грандиозных фотографических альбома Гавриловского завода (бывшего завода Борисовских, а потом Елисеева). Альбомы созданы Елисеевым. В них вошли все знаменитые борисовские лошади, затем все производители и все матки завода Елисеева, и ежегодно туда добавлялись изображения наиболее выдающихся лошадей из ставки. Один альбом принадлежал Елисееву и находился в Санкт-Петербурге, другой был в конторе завода, третий – в Москве у главного управляющего В. В. Лонгинова, четвертый – у И. Н. Паншина в Воронеже, куда елисеевские ставки поступали в течение долгого ряда лет. Ежегодно в Воронеж присылались дополнения для альбома, и воронежский фотограф Селиверстов приезжал на дом к Паншину подклеивать присланные фотографии. Альбом был так тяжел и велик, что когда его показывали почетным покупателям, то в гостиной ставился отдельный стол, двое молодцев выносили альбом и сам Иван Никифорович Паншин, поглаживая свою патриаршую бороду и поправляя очки, благоговейно раскрывал альбом и давал последовательные объяснения...



В.В. Лонгинов

Читатель не знает, вероятно, кто такой Карлуша Фац, и не слышал никогда о Червонском-Огоньке, но, конечно, догадался, что Червонский-Огонёк – жеребец, и скорее всего, раз я собираюсь о нем писать, полкановского племени. Действительно, Червонский-Огонёк принадлежал к разряду так мною любимых серых Полканов, но был ли он замечательной лошадью – этого я не знаю. Думаю, что даже сам Витт не ответит на этот вопрос. Однако перестану шутить, ибо пора познакомиться с добрым Карлушей и его другом Червонским-Огоньком.

Эти дни в больничной тишине я особенно много думал о Бережливом и его славном потомстве. И вот вспомнил свою поездку в дебри Херсонской губернии в поисках Червонского-Огонька, о котором один старый одесский кузнец Яншек сказал мне, что это была замечательная лошадь. Родной брат двух знаменитых кобыл Бережливой и Червонской-Лисички – этого было достаточно, чтобы я загорелся и принялся за поиски Червонского-Огонька. И нашел его, беседовал и даже пил кофе у Карлуши Фаца, но самого Огонька все-таки не увидел.

В заводе Терещенко одной из лучших заводских маток была Капризная, мать Дуная, Бережливой завода Чеховского, Бережливой завода Терещенко, Червонской-Лисички завода Телегина, моей Ненаглядной и других. Все эти лошади, за исключением Ненаглядной, происходили от Бережливого и стяжали себе громкую известность на южных и столичных ипподромах. О резвости и классе Бережливой завода Терещенко ходили легенды, в свое время была даже напечатана целая статья о ней. Не менее интересен и остальной приплод Капризной. К тому времени, к которому относится этот рассказ, весь приплод Капризной, конечно, уже не продавался. Интересно отметить, что многие дети Капризной носили именную приставку «Червонский» или «Червонская». Заметим, что дети только этой кобылы удостоились быть «червонскими» – вероятно, потому, что очень ценились. Червонское – так называлось знаменитое имение, где жил Терещенко и где находился его конный завод. Отсюда Червонская-Капризница, Червонская-Лисичка, Червонский-Огонёк и другие.

Червонский-Огонёк был белой масти. Я им интересовался давно и из заводских книг знал, что от Терещенко он был продан Щербинскому, богатейшему херсонскому помещику. Щербинский купил у Терещенко нескольких выдающихся лошадей, и они с успехом бегали в его цветах еще в те времена, когда начинал свою карьеру ездок Гирня, а Новороссийское беговое общество было только основано. Словом, во времена Очакова и покоренья Крыма! Хотя Червонский-Огонёк и не бежал, но уже сам факт покупки его Щербинским говорил о том, что это была одна из лучших лошадей в ставке. Не появиться же на старте он мог и чисто случайно.

Я думал о том, что следует разыскать Червонского-Огонька, но узнать, куда и кому он был продан после смерти Щербинского, так и не удалось. Живя в те времена в Херсонской губернии, на Конском хуторе, и частенько берясь за заводские книги и журналы, я нет-нет да и вспоминал Червонского-Огонька. Так прошло года два. Однажды в Одессе пил я чай со знаменитым охотником Яншеком. Яншек был знаток лошади и замечательный человек. В поисках работы он пешком пришел из Чехии в Одессу. Чех родом, он устроился здесь молотобойцем к кузнецу, сам стал кузнецом, потом лучшим хозяином кузни в Одессе, разбогател, купил три дома, заохотился лошадьми и вывел своих детей в люди. Это был прямой, честный старик. Охотился он главным образом на сахаровских лошадях да на браке, который скупал в городе за гроши, подлечивал и потом пускал на бега. Он знал и помнил буквально всех лошадей, бежавших за все годы в Одессе, и давал им меткие оценки. Перед терещенковскими лошадьми благоговел, а о Проворном иначе как о мировом рысаче не говорил. Вот тут-то, наведя беседу на терещенковских лошадей, я узнал от него, что Червонский-Огонёк находится в Ананьевском уезде, у одного колониста, которого знает Сахаров. Яншек очень хвалил Червонского-Огонька, говорил, что его поломали у Щербинского и что он был не тише Разлуки, знаменитой дочери Бережливого, блестяще бежавшей в цветах Щербинского.

«Вот бы купить жеребца», – сказал я Яншеку и просил его мне посодействовать. Яншек оглянулся кругом, и мы, как заговорщики, стали шептаться. Такова уж натура всех лошадиников, когда речь пойдет о купле и продаже лошади. Яншек обещал мне осторожно узнать у Сахарова адрес хозяина Огонька, и мы условились встретиться на другой день у меня в гостинице – я позвал Яншека к завтраку. Настало утро следующего дня, и я с нетерпением стал ждать Яншека. Мне уже мерещилось, что мы едем с ним за Огоньком и приводим замечательную лошадь...

Яншек был аккуратен, и в час дня мы уже сидели за отдельным столиком в ресторане гостиницы и беседовали. «Огонёк, – начал Яншек, – принадлежит Фацу. Это колонист в Ананьевском уезде. Сахаров сказал, что лошадь замечательная, что он хотел ее купить для себя, да немец не продает! Адрес отказался дать – говорит, авось еще удастся купить».

Я был в восторге от полученных сведений, и мы решили, что начнем узнавать адрес Фаца каждый со своей стороны. На этом и расстались. Адрес я узнал через несколько минут. На Николаевском бульваре я встретил Карла Генриховича Ремиха. Это был представитель богатейшей фамилии Ремихов, имевших в Одесском и Ананьевском уездах большие имения. Их дед, выходец из Швейцарии, сделал большое состояние на земле. В мое время Ремихов было шесть или семь семейств, все они замечательно вели свои хозяйства, были очень богаты и увлекались главным образом симменталами. Я спросил Ремиха, не знает ли он случайно Фаца-колониста в Ананьевском уезде. «Ну как же не знать Карлушу, – уверенно отвечал Ремих, – ведь он живет в двенадцати верстах от меня». Далее Ремих подтвердил, что у Фаца действительно есть очень красивый белый жеребец по имени Огонёк, замечательная лошадь и гордость Карлуши.

С Ремихом я был в самых лучших отношениях, поэтому я откровенно ему рассказал, в чем дело, и просил помочь мне купить Червонского-Огонька. Карл Генрихович,

очень любезный и обязательный человек, подумал и сказал: «Знаете, что я вам предложу? У меня завтра свободный день. Если мы выедем сегодня с вечерним поездом, утром будем у Карлуши, днем пробудем у него, а вечерним поездом вернемся в Одессу». Этот план меня очень устраивал, и я поблагодарил Ремиха. Тот обещал сейчас же послать к себе в имение телеграмму, чтобы лошади нас ждали на станции. На этом мы с ним расстались.

Харьковский поезд приходил на станцию Каменный Мост рано утром. Нас уже ждала новенькая коляска, запряженная превосходной четверней коней. Это были типичные «немецкие» лошади: раскормленные, рослые, вороные, без отмет и сыроватые. Немцы любят этот сорт лошадей и охотно их разводят. Местность в этой части Ананьевского уезда довольно живописная, ехать ранним утром в полях было сущим удовольствием, и я не заметил, как мы подъехали к небольшому хутору неподалеку от немецкой колонии. Все кругом было чисто и опрятно: небольшой домик ярко белел, а традиционные на юге акации украшали скромный палисадник. Хозяйственные постройки были невелики, но все содержалось в удивительном порядке. Было видно, что здесь живет хотя и небогатый человек, но хороший хозяин. Как я после узнал, у Фаца было не более 150–170 десятин земли.

Хозяин встретил нас с радостным лицом на пороге дома. Ремих обменялся с ним приветствиями по-немецки. Мы познакомились. Приезд богача-соседа, да еще с гостем, льстил самолюбию хозяина, и он не знал, где нас посадить. Было заметно, что он теряется в догадках о цели нашего приезда.

Хозяйка уже хлопотала у стола. Это была толстая немка с добрыми, наивными глазами. Скоро поспел кофе, и она напоила нас этим превосходным ароматным напитком с жирными сливками и свежим белым хлебом. Все было очень вкусно, и за столом мы, проголодавшиеся, больше жевали, чем говорили... Наконец Ремих вынул папиросу, я закурил сигару и предложил другую хозяйину. Он поблагодарил, повертел ее в руках и с видимым удовольствием тоже закурил.

Мы помолчали. Чувствовалось, что наступает торжественная минута, и Ремих действительно заговорил. «Ну, Карлуша, – сказал он, – покажи-ка нам своего Огонька». Последовало длительное молчание, и Карлуша дрогнувшим голосом ответил: «Такое несчастье, Огонёк недели две как пал!» Жена Карлуши прослезилась и все повторяла: «Так жаль, так жаль! Такая хорошая была лошадь, и нам предлагали за нее хорошие деньги!» Это воспоминание еще больше расстроило хозяйку, и оба немца принялись ее утешать...

В воспоминаниях я говорил о своем заводе и отдельных лошадях, имея в виду дореволюционный период времени. Теперь в этих тетрадях я буду говорить преимущественно о жизни Прилепского завода после революции. Само собой разумеется, что исключительное значение для каждого завода имеют производители – вот почему я обстоятельно говорил об Эх-Ма, Воеводе, Ухвате и Барине-Молодом. Теперь мне остается сказать об остальных жеребцах, которые состояли в Прилепском заводе после революции и среди которых наиболее яркий след оставил знаменитый Эльборус.

Назначение Эльборуса в Прилепский завод вызвало очень много толков. Сторонники Прилепского завода приветствовали это назначение, но большинство было недовольно. Признаю, что провести это назначение было очень трудно и, добившись его, я одержал одну из крупнейших бескровных побед. Многие орловцы недооценивали значение Прилепского завода и созданный там путем удачной заводской работы материал, а потому считали, что в Прилепах Эльборус не создаст ничего выдающегося. По их мнению, в Хреновой этот жеребец мог чуть ли не возродить орловскую породу. Метизаторы – те охотнее всего не дали бы Эльборуса ни в Хреновую,

ни в Прилепы, а сослали бы его в Грязнуху, как сокращенно называли Грязнушенский завод, где в то время работа еще не была налажена и где Эльборус имел все шансы отправиться на тот свет. Однако поступить так было бы чересчур рискованно, и из двух зол они выбрали меньшее, то есть помогли мне получить Эльборуса для Прилеп. Особенно большую роль в этом деле сыграл Н. В. Малевинский, в то время начальник отдела коннозаводства. Помощником его был некто Голенко, старый коммунист, приятель Малевинского. Окончательное решение было за ним, и он его, разумеется, дал. Таким образом, Малевинскому, Телегиной и Пейчу, но отнюдь не Витту, Пуксингу и Юрасову Прилепский завод был обязан тем, что получил Эльборуса, резвейшего рысака республики.

Покуда разрешался этот вопрос, среди лошадиников было много разговоров. Чем кончится спор между Прилепами и Хреновой – вот вопрос, который интересовал весь лошадный мир! Беговой муравейник был взбудоражен. Оставался спокоен, пожалуй, один лишь виновник всей этой шумихи – сам Эльборус, который стоял в Дулепове и ждал решения своей участи.

Наконец решение было принято, утверждено и подписано. Я получил на руки бумаги – и Эльборус стал производителем Прилепского завода. Со всех сторон сыпались советы и указания, а скептики и недоброжелатели шептались по углам: «Как-то еще дойдет Эльборус до Прилеп? При теперешних железнодорожных порядках все может случиться. Какой риск перевозить Эльборуса! Его надо было оставить на пункте в Москве!» Подобные разговоры доходили до меня, и я хорошо понимал, какую ответственность беру на себя. В Прилепах не было ветеринарного врача, так что в случае болезни жеребца ему невозможно было бы оказать немедленную помощь. В случае рокового исхода мое имя склонялось бы во всех падежах, а на Прилепский завод, и без того гонимый, высыпались бы все шишки. Однако ни до ни после революции я никогда не отступал перед опасностью, и раз считал, что надо что-то сделать во имя интересов коннозаводства, то поступал так, как мне подсказывала моя совесть. Конечно, в Эльборусе нуждалась и Хреновая, но в то время заводская жизнь не была еще там налажена и жеребцу грозила опасность погибнуть. Насколько я оказался прав, показало недалекое будущее: сведенные в Хреновую со всех концов лучшие кобылы погибли. Теперь в Хреновой царит образцовый порядок, но в то время там был хаос. Эльборус уцелел, оставил в Прилепах и Тульской губернии высокоценный приплод, дал нескольких производителей для госконезаводов, создал Утёса и Бубенчика и, целый и невредимый, был передан Хреновой. Я сделал, что мог, пусть другие делают лучше!

Я принял все меры, чтобы Эльборус благополучно пришел в Прилепы. В то время Прилепским заводом управлял А. И. Попов – молодой человек, исполнительный, аккуратный и ловкий. Я дал ему все указания, и Попов выехал в Москву за жеребцом. Не только Прилепы, но и вся Тула уже знала об этом событии, интересовалась им. Словом, Эльборуса ждали с нетерпением и о прибытии его говорили много. Попов все мои распоряжения выполнил в точности: жеребец был принят в Москве; целая комиссия его сдавала, составили акт, после чего жеребца перевели на прилепскую тренконюшню. Попов заказал вагон, оборудовал его, выхлопотал разрешение прицепить вагон к пассажирскому поезду, а сам вместе с конюхом и кузнецом поехал в вагоне с Эльборусом. В Туле первую встречу сделали Эльборусу на вокзале железнодорожники. Они знали, что в Прилепский госконезавод следует жеребец, оцениваемый в 100 тысяч рублей. Это всех заинтересовало, и все вышли на него поглазеть. Эльборуса окружили, Попова расспрашивали и, очень интересуясь ценой, выражали сомнение в том, что лошадь действительно может стоить 100 тысяч рублей.

По моему распоряжению ночевку Эльборусу назначили в Туле. В доме Попова в распоряжении госконезавода была конюшня, ее лучший денник заранее продезин-

фицировали и приготовили для приема жеребца. Эльборус был разбинтован, раскварт, вывожен, поставлен в денник, а конюшня заперта. Только после этого Попов дал мне в Прилепы телеграмму о том, что Эльборус здоров и прибыл благополучно. К десяти утра следующего дня Эльборус должен был прийти в Прилепы. Это было оговорено заранее, и я вышел его встречать. Со мной пошли оба маточника, то есть Андрей Иванович и Крал Осипович, все наездники и двое крестьян – Дмитрий Тимофеевич и Егор Тимофеевич Лыковы, большие охотники до лошадей, мои приятели, в прошлом старые добрынинские конюхи. Эльборуса мы увидели возле Кишкина, а встретили на так называемом треугольном клину, где в тот год было клеверище. Я поздоровался с Поповым, поблагодарил его и велел снять с Эльборуса попону. Жеребец был в полном порядке и имел замечательную мускулатуру: в Светлогорском заводе, куда я перевел его из Дулепова еще в мураловские времена, Ратомский все время его работал и держал в превосходном боевом состоянии. Когда мы шли встречать Эльборуса, я сказал Лыковым, что этот жеребец – сын прилепской кобылы Эсмеральды. Егор Тимофеевич хорошо ее помнил и начал хвалить. Дмитрий Тимофеевич поддержал его и добавил, погладив свою козлиную бородку и по привычке потряхнув головой: «Хорошая была кобыла, прогонистая!» Лыковым Эльборус понравился: они нашли, что «лошадь настоящая и хомутина у нее редкая, только не добрынинская – те были другой природы и другого характера: нипочем бы спокойно не выстояли на выводке, да еще в поле, да еще на ветру». Это было крайне любопытное для меня замечание. Интересно отметить, что и Иван Андреев Апасов, увидав дня через два Эльборуса, сказал буквально следующее: «Хорош пес – только не в добрынинскую породу пошел!»

И вот Эльборуса привели в Прилепы. Он был поставлен в тот денник, который до него занимал Громадный, а потом Кронпринц. Последнего я велел поставить рядом. В течение двух-трех дней Эльборуса пересмотрели все Прилепы, а заводская администрация была очень довольна. А. И. Руденко, с мнением которого я считался, так как он хорошо знал лошадей и имел к ним вкус, в первый же вечер таинственно отвел меня во время уборки в угол конюшни и сказал: «Пожалуйста, хорошая лошадь, из завода не нужно выпускать».

Отдали дань прибытию Эльборуса и тульские власти: его смотрели губернские специалисты, ветеринарные врачи и представители земельного управления. Эльборус всем понравился, но власти и ветеринарные врачи находили, что для такой дорогой лошади он мог бы быть «красивее». Охотники-крестьяне вернее оценили Эльборуса, отмечая в нем хорошие ноги, редкую хомутину и говоря: вот, мол, настоящий жеребец для крестьянского дела.

Итак, сыну добрынинской Эсмеральды, этой уроженки Прилеп, было суждено на несколько лет обосноваться на своей второй родине и восстановить традиционные нити, так долго связывавшие Прилепы и Лотарёво и так неожиданно оборвавшиеся во время революции.

Принято, начиная жизнеописание производителя, прежде всего остановиться на его происхождении. Это тем более обязательно, когда перо находится в руках такого присяжного генеалога, как я. Однако на сей раз я не последую этому мудрому правилу: прежде всего потому, что не имею при себе заводских книг и материалов по генеалогии, а также потому, что происхождение Эльборуса общеизвестно. Однако есть один вопрос, коснуться которого я считаю себя обязанным. Когда Эльборус победил с таким успехом, а это было в 1915–1916 годах, среди охотников пошли толки, что он сын не Зенита, а Вилбурна М. Конечно, никто из приличных людей, зная порядки, царившие в Лотарёвском заводе, не придавал этому слуху решительно никакого значения. В основе слуха лежало то, что Эльборус не был в типе Зенита, имел вороную масть, как и другие дети Вилбурна М. и Эсмеральды, и, наконец, обладал феноменальной резвостью. Последнего было более чем достаточно, чтобы

метизаторы, а еще более метизаторствующие заподозрили в нем метиса. Когда эти слухи дошли до меня, я был ими возмущен. Вскоре после этого я был в Петрограде и обедал в Царском у В. Л. Вяземского. Я был в очень хороших отношениях с князем, а потому после обеда и позволил себе говорить об этих неприятных слухах. Князь внимательно меня выслушал и сказал: «У меня есть неопровержимые доказательства, что Эльборус – сын Зенита. Вам я об этом расскажу, но опубликовывать ничего не стану, так как считаю ниже достоинства Лотарёвского завода возражать на эту клевету!» Вот что рассказал мне князь: «На случной сезон 1910 года Зенит был отдан в аренду Телегину. За Лотарёвским заводом было оставлено право послать в Злынь под Зенита двух кобыл. Право это было осуществлено, и одной из этих кобыл стала Эсмеральда. Ее крыли Зенитом в Злыни, и в следующем, 1911 году она дала в Лотарёве вороного жеребца Эльборуса. Как видите, этот последний никак не может быть сыном Вилбурна М. Допустить, что Телегин мог покрыть Эсмеральду вместо Зенита своим жеребцом, никак нельзя, да в Злыни был и конюх из Лотарёва». После этих слов версию о происхождении Эльборуса не от Зенита, а от Вилбурна М. надо оставить навсегда. Я не находил нужным опровергать ее, но смею уверить читателя, что, так дорожа чистопородностью Прилепского завода, я никогда бы не взял Эльборуса в Прилепы, если бы этот слух имел хоть тень основания. Года три тому назад я разговорился об этом с С. Кейтоном. Американец пожал плечами и сказал, что для него нет и быть не может никаких сомнений в том, что Эльборус – орловский рысак, ввиду того что по езде и по характеру его дети – типичные орловцы и, наконец, многие из них близоруки, а этим страдали и сам Эльборус, и Зенит, но этого и в помине не было у Вилбурнов.

Не могу здесь не упомянуть о трагической судьбе Зенита. В начале революции Вяземский, желая спасти завод, отправил в уральские степи к овцеводу Овчинникову лучших маток и молодняк Лотарёвского завода. Не помню, кто из жеребцов ушел с основной группой завода. Все эти лошади погибли во время Гражданской войны. Зенита, как старика, с частью лошадей оставили в Лотарёве. Когда лотаревских лошадей, оставшихся в Тамбовской губернии, развели крестьяне, Зенит попал к одному из них и ходил в тройке. Это было время опьянения крестьян волей, и не приходится удивляться, что в богатом селе крестьянство каталось на тройке, в корню которой ходил Зенит. И жеребца загнали. Так погиб лучший орловский производитель моего времени. Я должен оговориться: если мне удалось в точности восстановить историю трагической смерти Крепыша, то в отношении Зенита это слух, который упорно держался в начале революции в Москве, а шел из Тамбова.

Призовая карьера Эльборуса была блестящей. Ее расцвет пришелся на тяжелые военные годы (1915–1916), а потому он не был так популярен, как, скажем, Крепыш. Впрочем, Эльборус все же не Крепыш... Я пишу эти заметки в тюрьме, не имея никаких книг и материалов, кроме книги Коптева и первого тома Племенной книги, пишу, чаще всего держа тетрадку на коленях, в полутемной камере, основываясь только на своей памяти. Вот почему не могу разобрать призовую карьеру Эльборуса так, как бы я того хотел и как она того заслуживает. Скажу лишь, что, по мнению многих авторитетных лиц, Эльборус ушел с ипподрома в расцвете своей славы и не показав всей своей резвости. Этому можно верить, ибо он родился в 1911 году, революция произошла в 1917-м, когда ему исполнилось только шесть лет! Однако и то, что показал Эльборус, достойно удивления: рекорд 2.10 ставит Эльборуса на второе место среди всех остальных орловских рысаков.

Эльборус отличался не только резвостью и силой, но и поистине железным здоровьем: за все время своего пребывания в Прилепах он ни разу не болел. Все его дети отличались тем же, и, если мне не изменяет память, ни один жеребенок от него не пал. Лишь одно несчастье приключилось с Эльборусом. В деннике он держал себя спокойно и никаких конюшенных пороков не имел. Тем не менее беда про-

изошла именно в деннике. У Ратомского Эльборус нес большую работу, а у меня в Прилепах жеребцы всегда несли легкую работу. Эльборуса определенно недоработывали. В один из таких дней он стал валяться по деннику, переворачиваясь с боку на бок, и со страшной силой ударился головой о стену. К счастью, это произошло перед уборкой. Жеребец разбил себе глаз, поднялась температура, и он сильно страдал. Спешно прибыли два лучших ветеринарных врача из Тулы, которые признали его положение очень серьезным. Все мы, а я больше других, переволновались и немало пережили в эти тревожные дни. Когда опасность миновала, мы облегченно вздохнули, но Эльборус еще около двух недель не мог прийти в себя. Наконец врачи объявили его окончательно выздоровевшим. После этого случая он стал хуже видеть на тот глаз, который ушиб, и только его исключительно сильная натура справилась с последствиями несчастия.

Промеров и роста Эльборуса я не помню, но полагаю, что его рост не превышал четырех вершков. Масти Эльборус был вороной, лысый и во все четыре ноги белоногий. Я считаю, что эти отметины он наследовал от Бычков, то есть по женской линии. Среди других детей Зенита я не встречал больше отметистых лошадей, потому думаю, что тут «виновата» его бабка Любодейка, дочь голохвастовского Бычка. У Эльборуса большая, но не безобразная голова, с довольно ясно выраженным бараньим профилем, челка умеренной длины. В Лотарёвском заводе, в старом маточном составе, такие головы попадались часто, причем бараньи профили бывали и более резко выражены (я тогда их называл римскими профилями). Я считаю, что голова Эльборуса – в несколько смягченном виде, но вполне типичная голова роговских лошадей линии Полкана.

Шея Эльборуса довольно длинная, с небольшим гребнем и приятная по рисунку. Кадка нет, но мясистость шеи все же чувствуется. Холка хорошо развита. Спина удовлетворительная и имеет приятную положинку. Почка замечательная, круп превосходный, хвост жидковатый. Плечо жеребца – замечательного фасона, а подплечье богато развито. Хомутина великолепная, и, глядя на нее, старик Сахновский обязательно бы сложил свою богатырскую длань в кулак, уместил бы ее на хомутине и воскликнул: «Вот она, матушка Русь – какова хомутина!» Грудь у жеребца широкая, постав передних ног образцовый по правильности. Задние ноги тоже хороши, образуют угол, но не оттянуты назад. Фриз есть, и притом типичный орловский. Жеребец имеет хорошо отбитые сухожилия. Эльборус длинен. По типу это стопроцентный орловский рысак. В нем видны следы многих тренированных предков, и таких, чьи имена не из последних в истории коннозаводства. У Эльборуса есть *sachet** большого рысака. Эльборус не подкупает, не поражает, не подавляет, как подавлял, например, Крепыш. Он внушает доверие и завоевывает вас. Не подлежит никакому сомнению, что Зенит не оказал на внешность своего сына решительно никакого влияния: Зенит был близок к казаковскому типу, а Эльборус этих черт совершенно не имеет. Оказали ли влияние на его внешность старые лотаревские крови? Думаю, да, и притом довольно сильное. Я говорю это так уверенно потому, что видел у Н. А. Алексеева замечательный рисунок, исполненный Сверчковым в 1853 году. Рисунок имеет, безо всякого сомнения, портретный характер. На нем изображен вороной жеребец на рыси. Ход лошади очень напоминает ход Эльборуса, тип и голова тоже, и приметы очень близки. Взглянув на рисунок, я был поражен сходством. Задав ряд вопросов Алексееву, я узнал от него, что рисунок им куплен не так давно у антиквара вместе с карандашным портретом самого Вяземского. Это говорит о принадлежности рисунка Вяземскому и дает указание, чья лошадь изображена на нем. У Вяземского, как мне хорошо известно, были рисунки, которые хранились в папках в его петербургском доме на Фонтанке. Во время революции

* Печать (фр.).

их, конечно, растащили, и два из них попали к Алексею. Так как рисунок исполнен Сверчковым в начале 1850-х годов, а в те годы Лотарёвский завод состоял преимущественно из роговских лошадей, то нетрудно сделать вывод, что изображенная лошадь – это кто-либо из детей Серьёзного, то есть братьев или полубратьев столь известного лотарёвского Кролика. Вот основания, по которым я считаю, что старые лотарёвские крови оказали несомненное и весьма заметное влияние на внешность Эльборуса.

Я также полагаю, что на формы Эльборуса повлияла его мать. С одной стороны, она принадлежала к линии Кролика и, стало быть, усиливала старый лотарёвский тип, с другой – ее матерью была Любодейка, дочь голохвастовского Бычка. Это сказалось главным образом на линии спины, отсутствии ясно выраженной нарядности и на железных ногах жеребца.



Табун маток завода Я. И. Бутовича

Дети Эльборуса – лошади далеко не крупные, и не менее пятидесяти процентов его приплода имеет неудовлетворительные спины. Если же в приплоде повторяется имя Бычка, как, например, у Недруга (Эльборус – Надсада, дочь Хулигана), то спина получается часто, хотя и не всегда, просто порочная. Две приведенные черты экстерьера суть типичнейшие родовые черты Бычков. Вторая и, к сожалению, менее значительная группа детей Эльборуса стоит ближе к нему и приближается по типу и формам к старым лотарёвским лошадям. Это наиболее приятные дети Эльборуса и, с моей точки зрения, наиболее интересные. Замечательно, что в Прилепском заводе они происходили от кобыл без крови Бычка или таких, у которых это течение было нехарактерным или очень отдаленным. Так, Порфира и ее дочь Похвала дают интересную по типу группу детей от Эльборуса, среди которых такая кобыла, как Память, и ее брат с отличными спинами. Дочери Приятельницы и она сама дают Псишу, Пскова и других, то есть лошадей опять с великолепными спинами и очень типичных. От Клеветы родится Крестник, из всех детей Эльборуса наиболее похожий на своего отца, и т. д. Наконец, среди детей Эльборуса в редких, даже исключительных случаях попадаются лошади, приближающиеся к казаковскому типу и к самому Зениту. В Прилепском заводе это имело место при повторении имени Потешного. Таковы Восток и его сестра Вещунья. Плохих и явно порочных лошадей Эльборус вовсе не дает, что служит доказательством его исключительного здоровья, уравновешенности и ценности как производителя. Опасаюсь лишь того, что в Хреновой с опытом Прилепского завода не захотят да и побоятся считаться. Впрочем, чтобы им воспользоваться, следовало бы либо спросить моего совета, либо прочесть эти тетрадки. Первое бы никогда не сделали, а второго я сам не хочу...

Эльборус в случке сейчас верен, но поначалу это было далеко не так. Когда я был начальником отдела коннозаводства, Ратомский, который принял жеребца из Дулеповского завода, докладывал мне, что Эльборус очень вял и плохо кроет. Хороший режим и правильная работа сделали свое дело, и когда Эльборус пришел в Прилепы, то его половая потенция была нормальной. Здесь уместно напомнить, что пониженная половая деятельность, а иногда и полное бесплодие встречались в линии Полкана 6-го. Так, например, сын Потешного Бережливый хорошо крыл кобыл, но из его детей Магомет долгое время вовсе не садился, Мимолётный почти не крыл, Громкий – очень слабо, Скромный почти не дал жеребят и, наконец, Зенит, отец Эльборуса, дал весьма ограниченное число жеребят.

Эльборус оставил в Прилепах четыре ставки приплода; причем ставки 1923, 1924 и 1925 годов были весьма значительны, а ставка 1926 года, последняя, очень невелика. Из-за старости Барина-Молодого я спешил в 1925 году использовать Эльборуса и получил ограниченное и притом однородное гнездо Приятельницы и ее дочерей плюс еще двух-трех кобыл. Лучшие две лошади из ставки 1926 года – кобыла от Псиши и кобыла от Пряжи – были искалечены еще в годовалом возрасте в Прилепах, вскоре после их выхода в табун.

Я не имею возможности по памяти перечислить весь наличный приплод Эльборуса, оставленный им в Прилепах, а потому, приведя имена лучших, дам оценку их класса и в общих словах скажу об остальных. Вот как этот приплод распределяется по годам:

1923 год	1924 год	1925 год
Недруг (2.19)	Восток (2.18, четырех лет)	Утёс (2.16)
Крестник (2.14)	Прелесть (2.21)	Наездник (бежал)
Украина (2.19)	Укор (2.24)	Бубенчик (2.15)
Память (2.30)	и т. д.	Смех (2.19)
Псков (2.30, хромой)		и т. д.
и т. д.		

Читая эти три списка, куда я внес только лучших детей Эльборуса, мы видим, что в каждой ставке есть своя первоклассная лошадь, а в последней их две, и это из числа тех, что проявили себя. Ежегодно создавать первоклассную лошадь – редкий успех для производителя, и в этом отношении Эльборус занимает исключительно высокое место.

Ставка 1923 года, несомненно, была выдающейся, ничуть не уступавшей ставке 1921 года (Ловчий, Прохожий, Концессия и др.). К сожалению, определенно лучшая в ней лошадь Недруг и такая замечательная лошадь, как Псков, преследуемые несчастьями, выбыли из строя. И все же я продолжаю считать, что Недруг был резвейшим представителем ставки 1923 года и, весьма вероятно, резвейшим из орловских рысаков своего года, рожденных у нас в Союзе. На поездках в Прилепах он по льду ехал без пяти четверть – в руках Маркова; будучи полуторником, ехал феноменально и, кроме спины, имел все данные первоклассной лошади. Рекорд Недруга 2.19, показанный в руках любителя (П. Апасов), на неподготовленном рысаче, да еще с убитой ногой, прямо-таки изумителен!

Второе место по праву занимает Крестник. Он обращал на себя внимание под матерью, был хорош полуторником, ехал резво, а по типу был Эльборус, повторенный точно, до мельчайших примет. Когда Крестник был полуторником, в Прилепы приезжал Крымзенков и из всей ставки облюбовал именно его. Крестник показал свой класс, последними ездами подтвердил его. Ко всему это еще и железная лошадь, ибо даже Петров – и тот не мог его сломать!

Исключительно высоко ценил я Пскова. Как он был хорош, густ, костист, сух и спинист! Что это была за замечательная по себе лошадь, только некрупная! Псков

был очень резв, но в заводе с ним, еще двухлетком, что-то случилось, и в Москву он пошел уже калекой. Там его лечили, раз или два он выиграл (2.31), после чего совсем сошел со сцены. У меня имелся превосходный портрет телегинского Бычка, так вот Псков изумительно похож на него: та же характерная отметина белой ноги, та же линия великолепной спины, тот же тип и сложение. Вылитый Бычок!

В ставке 1923 года были и другие классные лошади. Например, Украина (2.19), показавшая эту резвость уже здорово-таки потрепанной, Порода и другие. Однако лучшей кобылой из числа рожденных в том году, несомненно, была Память, кобыла высокого класса, хорошего типа, с великолепной спиной, но очень скверными наливами. Память была безумно строга (собой распорядиться не позволяла и ехала когда и как хотела), но зато и резва.

В ставке 1924 года резвейшим я считаю Востока. Это был весьма способный жеребенок. Он подтвердил свой класс, показав этим летом секунды 2.18, будучи четырех лет. К сожалению, к М. Д. Стасенко Восток попал уже изломанным. Если его нога выдержит, Восток еще покажет себя и будет близок к 2.15. Среди всех сыновей Эльборуса он и Утёс по себе и типу – мои любимцы. Очень был делен, необыкновенно костист и бросался в глаза Удар, сын знаменитой Урны, лучший жеребенок по делу, на которого я возлагал величайшие надежды. Однако по езде он был туповат, еще, что называется, не проснулся. Его скромный рекорд (2.24) меня удивляет. Почему Удар не бежит, почему он не показывает своего класса – понять не могу. Эта лошадь обладает страшной силой, и я уверен, что на длинных дистанциях он себя еще покажет и заставит о себе говорить. Среди кобыл резвейшей я считал Прелесть, она уже показала хорошую резвость (2.21). Следует заметить, что ставка 1924 года была менее удачна, нежели предыдущая. Нельзя также не заметить, что в этой ставке была сестра Недруга – вороная Новизна (2.21). Однако насколько у Недруга был хороший характер, настолько у Новизны плохой. Я никогда не верил в большой класс этой кобылы, ибо по экстерьеру она прямо-таки безобразна.

Ставка 1925 года явила двух выдающихся лошадей и ряд очень резвых. Выдающимися я считаю Утёса (2.16) и Бубенчика (2.15, трех лет), очень резвыми – Правду, Наездника, Смеха, Невзначая и брата Крестника, имя которого позабыл. О двух лошадях этой ставки – Наезднике и вороном жеребце, родном брате Крестника, – необходимо сказать хотя бы несколько слов. Наездник – это достойный брат Недруга: он родился блестящим и выдающимся жеребенком и имел превосходную спину. Я не мог им налюбоваться и ждал от него многого. По себе это был лучший сосун в выжеребке того года. Однако месяца через полтора после его рождения у него начался понос, который длился шесть месяцев. Никакие средства, никакое лечение не помогли, и из дивного жеребенка он превратился в заморыша, отстал в своем развитии, затем получил порок сердца – словом, погиб. Сейчас он в Грязнушенском заводе, бежал тихо – видимо, не доходит дистанцию. Другой сын Эльборуса, вороной, – лошадь крупная, угловатая, очень дельная. В Хреновую он ушел в полном порядке, почему еще не бежит – понять не могу.

Таким образом, в ставке 1925 года целый ряд призовых и высокого класса лошадей. Главное, что бросается в глаза: все эти лошади уже показали свой класс, тогда как большинство лошадей ставок 1923 и 1924 годов ушли с ипподрома с более чем скромными результатами, не проявив себя, что, однако, отнюдь не значит, что те ставки были хуже. Произошло это лишь потому, что к моменту совершеннолетия ставки 1925 года Прилепский завод был расформирован и ставка погала в хреновские тренировочные конюшни, в руки первоклассных наездников. Прилепский же завод никак не мог получить сколько-нибудь классного наездника: Пейч не допускал этого. Даже Семичев не хотел брать Ловчего только потому, что, как откровенно сам мне признался, боится Пейча – тому якобы это будет неприятно! Я уговорил Семичева взять Ловчего, обещая ему свою поддержку. Что показал Ловчий в руках Семи-

чева, всем известно! Видя теперешние блестящие успехи прилепских лошадей, чувствует ли угрызения совести Пейч? Вопрос, на который я едва ли когда-нибудь получу ответ...

Дети Эльборуса еще далеко не сказали своего последнего слова на российских ипподромах, и имя Прилепского завода еще не раз будет с благодарностью вспоминаться охотниками и любителями лошадей. Правда, Прилепского завода больше уже не существует – он влит в Хреновую, но долго еще будут говорить о Прилепском заводе и сожалеть об его уничтожении. Русские люди – удивительные люди. То же и наши охотники: был Прилепский завод – его не ценили, а только критиковали и ставили палки в колеса его руководителю, перестал завод существовать – все жалеют и плачут о нем. Вот уж поистине, что имеем – не храним, потерявши – плачем!

Если по своему классу дети Эльборуса, родившиеся в Прилепах, вполне удовлетворяют меня, то по типу и экстерьеру определенно нет. Многие из них весьма далеки от идеала орловского рысака. Значительный процент приплодов этого жеребца ясно отражает основные отрицательные черты Бычков: мелкий рост, плохую или же мягкую спину и иногда простоватость. Из всех детей Эльборуса положительно хорош один лишь Утёс – орловский рысак высокого типа и большого блеска; чрезвычайно правилен и делен был Псков, но все же мелок; кругом хорош, если не опустит спину, Восток; Бубенчик при сохраненном типе Бычков имеет удовлетворительную спину и достаточный рост. Среди кобыл я не вижу ни одной, которая хотя бы отдаленно напоминала мне Леду или Венеру, Похвалу или Усладу, или даже Ненависть. Есть дельные кобылы, но с недостатками: Память – наливы, Правда и Сорока – мягкая спина, Украина – очень плохая спина, Порода – мелка, Новинка – бедноконна и неглубока, Прелесть – правильна и дельна, Бодрая – очень мелка и т. д. Конечно, все эти кобылы – благодарный заводской материал, но над ним надо много работать, чтобы отвести орловских лошадей крупных, сухих, правильных и породных. Следует, наконец, отметить и встречающуюся у большинства детей Эльборуса близорукость – весьма серьезный для призовых лошадей недостаток. Нельзя также назвать их лошадьми легкими по езде, среди них встречается определенный процент сбоистых – впрочем, это последнее стоит в тесной связи с их близорукостью и должно быть отнесено на ее счет.

Остается рассказать об уходе Эльборуса из Прилеп в Хреновую. А. И. Пуксинг несколько лет упорно добивался Эльборуса для Хреновского завода. В конце концов его хлопоты увенчались успехом, а в Прилепы был назначен Ухват. Я узнал об этом случайно, будучи в Москве. Возле «Метрополя» я встретил Раппа, который и сказал мне, что Эльборус переведен в Хреновую. Оказывать сопротивление было бесполезно, ибо так приказал сам нарком!

Эльборус покинул Прилепы с помпой: принимать его приехали помощник управляющего Хреновским заводом, молодой и талантливый специалист Калинин, нарядчик и конюх. Комиссия, передававшая жеребца, составила акт, в котором указала, что Эльборус в блестящем порядке. Жеребец, застрахованный на крупную сумму, ушел в Хреновую в специально оборудованном для него вагоне. Только после этого мне рассказали, что в Хреновой Калинину дали особые инструкции, как в Прилепах следить за жеребцом после его приема, конюху велели никуда от него не отлучаться и прочее. Боялись якобы, что с ним что-то приключится. Я не хочу повторять полностью весь этот вздор, но помню, что в то время был этим крайне поражен. Теперь же, когда я пишу эти строки, могу только пожалть плечами: как подобная мысль могла кому-либо прийти в голову?..

Я считал тогда, считаю и теперь, что Эльборуса ни в коем случае не следовало назначать производителем в Хреновской государственной завод. По своему классу и даже экстерьеру он вполне достоин занять это почетное место, но по происхождению отнюдь нет. Я неоднократно указывал в своих работах, что кровь Бычка нельзя

пускать не только в Хреновую, но даже и на порог ее! Старая Хреновая была ценна и велика, между прочим, тем, что там эта кровь, за самым редким исключением, отсутствовала. Правда, был в числе производителей Момент, но Дерфельден не давал ему распространиться. Отсюда отчасти тот замечательный тип хреновского рысака, его рост и формы, отсюда полное отсутствие бесспинных лошадей. Я положительно не представляю себе, что сказала бы комиссия, ежегодно ревизировавшая Хреновской завод, если бы там начали появляться бесспинные лошади!

Конечно, у некоторых хреновских производителей, поступивших со стороны (Поток, Летун, даже Ловчий), была кровь Бычка, но они либо скоро были выкурены, как Летун, либо, как Ловчий, имели эту кровь в очень отдаленном колене, так что она вовсе не сказалась. Не то мы наблюдаем у Эльборуса: он правнук голохвостовского Бычка, имеет его черты и, что хуже всего, дает очень большой процент лошадей с коренными недостатками бычковой линии. Закреплять же эти недостатки в Хреновой положительно преступно! Правда, Эльборус даст там класс, но зато понизит экстерьерные качества хреновских лошадей. В Хреновой уже имеется один производитель с кровью Бычка, притом такой, который пока определенно играет там первую скрипку. Я имею в виду Барчука, внука Момента. Я не видел Барчука давно, по крайней мере лет десять, но спина Барчука, согласно описанию Витта, небезупречна – несмотря на то, что он сын Барина-Молодого. Со стороны же матери за Барчуком имена таких выставочных лошадей, как, например, Волшебник, Ветреница и Вихрястая, у которой была не спина, а линейка. И что же? Стоило только войти одному типичному представителю бычковой линии Моменту, чтобы вся предыдущая работа по созданию выдающихся по себе лошадей пошла насмарку!

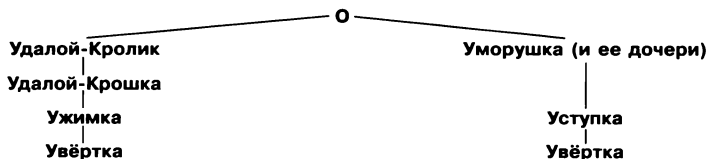
В самом недалеком будущем дочери Барчука пойдут под Эльборуса, а дочери Эльборуса – под Барчука. Слияние этих двух имен неизбежно, а с ним неизбежно и усиление в приплоде влияния Бычков.

Когда я говорил об Удалом-Кролике, то остановился и на его бабке Ужимке.

В последний беговой сезон среди лошадей смоленской группы госконезаводов выдвинулся на видное место по своей резвости Мумм-Экстра-Дрей (одно из пьяных названий смоленцев), происхождение матери которого весьма интересно. Оказывается, мать Мумма, как и Ужимка, тоже елисеевская кобыла и происходит из той же женской семьи. Появление из одной и той же семьи до революции такой ценной и резвой лошади, как Удалой-Крошка, а после революции такого резвача, как Мумм-Экстра-Дрей, показывает, что это явление отнюдь не случайное и что женская семья, выдвинувшая двух таких представителей, заслуживает большого внимания. Имя Увёртки должно быть закреплено, а администрация смоленской группы конных заводов должна стремиться к созданию своего маточного ядра кобыл, происходящих из этой женской семьи.

Я и предложил бы мать Мумма, а если она пала, то ее дочерей покрыть Удалым-Кроликом, дабы закрепить в приплоде имя интересующей нас Увёртки.

ПРИПЛОД СМОЛЕНСКОЙ ГРУППЫ ЗАВОДОВ



Увёртка была выдающейся кобылой в Гавриловском заводе. Уступку я тоже знаю: она была очень хороша. Таким образом, повторяя имена индивидуально превосходящих по себе Увёртки, Уступки и Ужимки и одновременно инбридируя имя

первой, мы имеем все шансы получить не только замечательную заводскую матку, но и блестящую по себе лошадь старого борисовского типа. Конечная же задача каждого госконезавода – не только производить резвых лошадей, но и создавать заводской материал. Последним не так-то богаты смоленские заводы. Я признаю, что с точки зрения резвости смоленские заводы достигли весьма хороших результатов. Правда, работа с американской кровью – это, конечно, несравненно легче, чем работа с основным орловским материалом. Памятный (2.20) и еще два-три безминутных рысака – более чем ничтожный результат десятилетней работы смоленской группы над орловским материалом. А метисы этих заводов хотя и резвы, но явно неудовлетворительны по себе. Вот почему я и рекомендовал бы вниманию смоленцев превосходного по себе и капитального Удалого-Кролика как партнера для Уморушки и ее дочерей. Это соединение имеет все данные создать истинно заводских лошадей, а не только резвых «трепачей».

Кронпринц и Лакей – те два производителя, которые остались в Прилепском заводе к моменту революции. Я имел обыкновение держать в заводе нескольких жеребцов-производителей, однако во время войны я расстался с Громадным, которого уступил Хреновой, с Петушком, которого продал герцогу Лейхтенбергскому для знаменитого Ивановского завода, и с Магом, которого сначала на год отдал Хреновой, а потом продал на юг А. С. Деконскому.

20 декабря 1928 года

Лакей был превосходный по себе и очень блестящий жеребец рыже-бурой масти, с более светлыми гривой и хвостом. Это была крупная, под пять вершков, лошадь, чрезвычайно сухая, очень породная, с отличной спиной и превосходной по рисунку линией верха. Ноги Лакея были правильны и не имели не только пороков, но и каких-либо недостатков; голова – крайне характерная, чисто лотаревская. На езде и выводе держал себя хорошо и был очень эффектен. Из недостатков Лакея укажу на бедные штаны, слегка саблистые задние ноги и короткий зад. Я считаю, что по типу Лакей очень близок к своему знаменитому родственнику роговскому Варвару. Он производил большое впечатление на охотников и трижды был премирован высшими наградами.

Классом Лакей обладал чрезвычайно высоким, и его секунды (4.44) не дают полного представления о его истинной резвости. Он был типичным стайером. Не учтя этого, Синегубкин чересчур рано спросил с него резвость, и притом в дистанционном призе. Это оказалось губительным для дальнейшей карьеры жеребца, а тут еще в пять лет он захромал в результате неосторожной работы и совсем сошел со сцены. Когда Лакей во второй раз ехал на три версты, он сделал без тридцати вторую версту и показал такой класс, что на следующую день Асеев предлагал мне за него 25–30 тысяч рублей. Асеев тогда заводил призовую конюшню и действовал по совету своего знаменитого наездника. Я жеребца не продал.

По своему происхождению Лакей был мною особенно ценим как сын Ласточки, одной из резвейших орловских кобыл своего времени, идеально правильной и типичной. Известно знаменитое пари, выигранное Щёкиным у Феодосиева. Феодосиев спорил, что Ласточка никогда не сделает без пятнадцати четверть круга (это резвость две минуты на полторы версты). Щёкин принял пари – и выиграл дюжину шампанского. Вот как феноменально резва была накоротке эта кобыла! Отцом Лакея был Недотрог. Мать Ласточка – кобыла завода Л. Д. Вяземского, дочь Кудеяра и Лады. Кудеяр (5.07) – сын Павлина и Венгерки, дочери Варвара. Я особенно ценил Ласточку по Кудеяру и был совершенно прав, ибо впоследствии оказалось, что дочь Кудеяра Леда стала бабкой Ледка (2.11), другая дочь Кудеяра, Баталия, – матерью Бреда (2.18, четырех лет), а сама Ласточка – бабкой Литвы, одной из интереснейших

современных кобыл. Я так любил Ласточку, так увлекался ее необыкновенными формами, что закрывал глаза на происхождение ее матери Лады, которое не может быть признано фешенебельным. Кроме того, Ласточка не происходит из знаменитой женской семьи, и, беря ее в завод, я нарушил свой принцип. Но Ласточка была так хороша и так феноменально резва, что я купил ее у Щёкина и не был за это наказан. Она мне дала четырех жеребят, и все оказались призовыми: Лиса, мать Литвы, – 1.41, Лакей – 4.44, Лукомор – 2.22 и Лорд-Канцлер – 1.38.

Между тем заводская деятельность Лакея принесла разочарование. Соединение Недотрог – Ласточка в целом представляло кросс линий и нуждалось в закреплении. Однако в Прилепском заводе не было подходящих для этого кобыл, а в первые годы революции не могло быть и речи о том, чтобы получить их со стороны, из других заводов. Таким образом, возможности сделать надлежащий подбор Лакею были упущены.

С Недотрогом Лакей имел весьма мало общего, только рыже-бурая рубашка была наследием отца. Рыжая масть до метизации в Лотарёвском заводе встречалась как величайшее исключение, а среди роговских лошадей, легших в основание этого завода, я, например, не помню ни одной лошади рыжей масти. Когда незадолго до революции я дал заводское назначение Лакею, Прилепы посетили знаменитый коннозаводчик В. Ф. Шереметев и известный наездник Синегубкин. Вывели Лакея. Шереметев долго смотрел жеребца, несколько раз обошел его и наконец кивнул головой, что означало: он закончил осмотр. Я велел вести жеребца и спросил мнение Шереметева о нем. Он поморщился, сощурил глаза, и сказал: «Мне Лакей не нравится, несмотря на его золотые медали. Увидите, эта лошадь ничего не даст в заводе!» Приходится признать, что Шереметев оказался прав.

Кронпринца – между прочим, ему Шереметев тогда же предсказал хорошую будущность как производителю и предполагал дать под него кобыл – я всегда ставил выше Лакея. Поэтому в Прилепах Лакей играл роль только дублера при Кронпринце. В первую очередь он получал трудных в случке кобыл, неудачниц, продажных, таких, которые случайно задержались в заводе, и, наконец, очень осторожно, одну-две кобылы из основного состава завода. Лучших прилепских кобыл, например Урну, Безнадёжную-Ласку, Ветрогонку, Леду, он не получил ни разу. Только однажды, желая повторить роговского Варвара, я дал ему Куплю, родную сестру Крепыша. Получился Крещенский-Мороз, крупный, несуразный и нерезвый жеребец. Казалось, и сочетание идеальное, и инбридинг налицо, а результат получился неважный.

Классного Лакей ничего не дал. Несомненно, резва была его дочь Неурядица (1.41). Из сыновей резвейшие Силач (2.23) и Нумизмат (1.38). Еще без минуты были только Стожар и Злорад. Остальные бежали много тише, а шесть-семь лошадей не бежали совсем. Лично я, зная, в каких неблагоприятных, чисто революционных условиях протекала заводская деятельность жеребца, считаю Лакея посредственным производителем, между тем как другие охотники и специалисты считают его полным неудачником на заводском поприще.

Лакей давал крупных и очень эффектных лошадей, которых охотно разбирали как пунктовых жеребцов. Дети Лакея крупны и сухи, а некоторые и очень капитальны. Он дал много рыжих лошадей и в своем приплоде совершенно не отразил Недотрога. Из сыновей Лакея лучшим оказался, несомненно, Силач и очень хорош был рыжий жеребец от рымаревской Жар-Птицы, к несчастью, павший под матерью. Из дочерей Лакея лучшей по себе была дочь очень интересной Скворки Светлана – крупная, длинная, дельная, капитальная и в экстерьерном отношении первоклассная матка. Ее, к величайшему сожалению, Владыкин безо всяких оснований выбросил из завода и продал на Урал. Другая дочь Лакея, Клевета, типом напоминает свою бабушку Кашу, но имеет коровий постав задних ног.

Дочери Лакея оказались недурными матками. Первый же сын Клеветы – Крестник (2.14), Насмешница дала Наряда и еще одного жеребца – оба около 2.22. Неурядица и Светлана только начали свою карьеру. Поляна дала своего первого жеребенка – безминутную Пахоту, затем Пальму (2.25) – заводскую матку Грязнушенского завода. Наконец, последняя, Колывань, – крупная, дельная и костистая матка (ее Владыкин видеть не мог и тоже продал на Урал) – не имеет еще совершеннолетних детей на ипподроме. Из дочерей Лакея одна, Клевета, находится в Хреновой, Неурядица, Светлана и Колывань – на Урале, а Насмешница и Поляна – в Уфе. Что же касается сыновей Лакея, то все они продуцируют по заводским конюшням и некоторые, как мне хорошо известно, пользуются большим спросом. Ничего не будет удивительного, если не только Клевета, но и другие дочери Лакея окажутся матерями первоклассных ипподромных лошадей. История коннозаводства, в особенности чистокровного, учит нас, что классные на ипподроме жеребцы, произошедшие от выдающихся кобыл и часто неудачники в заводе, оказываются отцами превосходных заводских кобыл.

Теперь позволю себе высказать чисто академические соображения о том, какие кобылы наиболее подошли бы сейчас к Лакею.

Я бы не побоялся и покрыл с Лакеем такую выдающуюся заводскую матку, как Литва. При данном сочетании преследуется закрепление имени Ласточки, которая, как я уже сказал, была идеальной по себе кобылой.

ПРИПЛОД	—	Лакей – Ласточка
Ор. гр.	—	Литва – Лиса – Ласточка

Дочерей Ларчика, сына Литвы, я также не постеснялся бы дать Лакею.

ПРИПЛОД	—	Лакей – Ласточка
	—	Кобылы от Ларчика – Литва – Лиса – Ласточка

При этих соединениях не только закрепляется имя Ласточки, но и инбридируется Кудеяр, а с ним и весь интереснейший комплекс Кролик + Варвар.

По тем же соображениям чрезвычайно интересны под Лакея дочери Ледка и такие кобылы, у которых сильны старые лотаревские крови указанных выше и близких к ним соединений. Впрочем, все это лишь платонические пожелания, ибо Хреновая никогда не решится покрыть хотя бы одну-другую дочь Ледка Лакеем, который стоит у них тут же под боком, в Хреновской заводской конюшне.

Ежегодно в Прилепах Лакей получал самое ограниченное число маток, а потому держать его здесь дольше было нецелесообразно. Вот почему я отправил его в Хреновской завод, рассчитывая, что там он будет более полезен и даст от кобыл средней руки хороших пунктовых жеребцов, в которых так нуждается современное коннозаводство. Однако управляющий Хреновским заводом не согласился с этой точкой зрения и, продержав Лакея в заводе один сезон, передал его в качестве пунктового жеребца в Хреновскую заводскую конюшню. Там Лакей пользуется очень большой популярностью среди крестьян-коневодов и покрывает много кобыл. Словом, он используется широко и полно в интересах местного коневодства. Следует заметить, что от простых крестьянских кобыл Лакей даст более правильных и более дельных жеребят, чем от рысистых. Еще в Прилепах он был самым популярным среди крестьянства жеребцом и оставил в этом районе много превосходных жеребят. Года три тому назад я случайно встретил в трамвае в Москве нарядчика Хреновской заводской конюшни, и он рассказал мне, что Лакей кроет рекордное число кобыл и под него запись всегда полна. Лакей жив и, по-видимому, еще не один год послужит в заводской конюшне.

Полубрат Лакея Кронпринц ничего не имел с ним общего и, по мнению лиц, знавших еще Крутого 2-го, был типичным жеребцом своей линии. Кронпринц родился в 1907 году у меня на Конском хуторе в Херсонской губернии. Родился он рыжим,

лысым, и все четыре ноги по колено и скакательные суставы были у него белы. Мне всегда нравились отметистые лошади, а потому я был в восторге, когда Каша принесла такого отметистого жеребенка. В эти годы я особенно сильно увлекался якунинским Петушком и был положительно в него влюблен. Поехав в Одессу, я поспешил поделиться своей радостью с Якуниным, которого уважал и с которым очень считался, как с известным коннозаводчиком. В той же ставке была у меня жеребая от Петушка кобыла, которая принесла гнедого жеребца. Якунин об этом уже знал и был недоволен тем, что Петушок дал не рыжего жеребенка. Выслушав меня, он сказал: «Удивительно, что белый Недотрог вдруг взял и дал рыжего... да еще и с отметинами моих Петушков». Потом погрозил мне пальцем и добавил: «Смотрите, Яков Иванович, уж не Петушок ли это – все равно, когда жеребенка посмотрю, узнаю!» Мы посмеялись над этой шуткой, а скоро и сам жеребенок подтвердил свое родство с Крутым, а не с Петушками. Когда он перелинял, то стал серым в краснине, потом светло-серым, а к двум годам был уже белый, так что трех лет на афише в Одессе он записывался как жеребец белой масти.

Будучи двух лет, он феноменально резво ходил по манежу и удивлял всех своим ходом. Кроме того, среди своих сверстников он бросался в глаза сухостью и кровностью. Его родной брат Кот в то время уже творил чудеса на южных ипподромах, а потому на Кронпринца были направлены взоры всех южан-охотников и его появления на ипподроме ждали с напряженным вниманием. Кронпринц и Кот, родные братья, лишь относительно походили друг на друга. Оба были белые (Кот родился тоже рыжим и белоногим) и некрупные, однако Кот был еще ниже на ногах, чем Кронпринц, много костистее, длиннее и имел несколько иную верхнюю линию. Кронпринц был кровнее, суше и более арабист, нежели его старший брат. В то время оба заставили много говорить о себе, обратили внимание на мой завод, а пылкие южане так увлеклись Котом, что считали его феноменальным по резвости и сравнивали только с великим Крепышом!

Сочетание Недотрог – Каша вполне себя оправдало, ибо дало трех таких лошадей, как Кот, Кронпринц и Калифорния. Лучшим и резвейшим был, несомненно, Кот, не выигравший дистанционных призов и Императорского только потому, что уже четырех лет был сломан Петровым после своего исторического бега в Киеве. Тогда он побил знаменитых лошадей старшего возраста Урну (2.16), Хохла-Удалого (2.18) и других. Кот подошел первым, но прошел столб галопом, верста была отмечена 1.30 – и это у четырехлетка да еще в Киеве! Резвость для Киевского ипподрома рекордная! Класс у Кота оказался исключительно высокий. Но этот бег погубил Кота, и больше он бежать уже не смог. Кот был немного резвее своего брата Кронпринца, а что сделал на ипподроме этот последний – всем известно. Наконец, Калифорния, вороная кобыла, родилась уже от больной матери и была ее последним жеребенком. Она показала безминутную резвость и сейчас же была пущена в завод. Здесь она, к несчастью, не жеребилась и была продана.

Я рассматриваю сочетание Недотрог – Каша как крайне удачную встречу кровей Лебеда 4-го, и притом таких, где Лебедь 4-й представлен Лебедем А. Б. Казакова и Лондоном. Недотрог, прямой потомок Лебеда 4-го, получил Кашу, дочь Литого – опять-таки прямого потомка Лебеда 4-го по такой интересной ветви, как Лондон – Любезный. Кронпринц – результат этого сочетания – всегда рассматривался мною как вполне характерный представитель своей линии, и не только на бумаге, но и на деле. Кронпринц – это Лебедь, правда несколько видоизмененный и с налетом других влияний, из которых горностаевское и петушковское, пожалуй, являются сильнейшими.

Углубляясь в родословную Кронпринца, мы видим, что горностаевские влияния, несомненно, сказались на старом Крутом и Крутом 2-м (это совершенно верно отметил Витт). Однако уже Нежданый является со стороны своей матери внуком

Любимца, то есть опять-таки жеребца линии Лебеда 4-го, и притом столь яркой индивидуальности, что Любимец создал даже самостоятельную линию (Обидчик – Залихватский). Таким образом, Нежданый – результат усиления крови Лебеда 4-го.

Следующее поколение, то есть Недотрог, не получает сколько-нибудь яркого подкрепления со стороны Лебедей. Буянка несет новые для линии крови Похвального и Петушка, но одновременно вносит через Колдуна Горностая. Отсюда уклонение Недотрога от основного типа Лебеда и его менее привлекательные формы по сравнению с Нежданным, Крутым 2-м и Крутым 1-м. Отсюда же, как следствие усиления крови Горностая, некоторая круглокость Недотрога и, как следствие Петушка, мелкий рост (три вершка) и мягковатость спины.

Наконец, последнее звено этой цепи – Кронпринц. Подобно своему деду Нежданному, который происходил от кобыл из линии Лебеда 4-го, Кронпринц происходит от Каши, дочери Литого. Словом, тут опять усиление Лебедей. На этом фоне хотя и отдаленно, но появится опять Горностай (по знаменитой Красе). Кронпринц отходит по формам и типу от своего отца Недотрога и приближается к Лебедам. Вследствие этого он восточнее, кровнее и красивее, чем его отец. К сожалению, у Кронпринца остались, как наследие Петушков, небольшой рост и мягкая спина.

Необходимо теперь спросить, какое же участие великий Полкан 3-й принимал в создании этой цепи знаменитых лошадей? Неужели эта линия осталась вне его воздействия? Если бы это было так, то тем самым опровергалось бы давным-давно установленное мною положение, что Лебедеи и Полканы всегда сотрудничали при создании не только знаменитых лошадей, но и таких, которые двигали орловскую породу по пути ее прогресса. Посмотрим, как обстояло дело.

Уже Лебедь 5-й, первое звено на пути от Лебеда 4-го к Кронпринцу, был внуком Отрады, одной из лучших дочерей Полкана 3-го. Его сын – вороной Лебедь, известный производитель у Павлова, со стороны своей матери также имеет кровь Полкана 3-го, ибо его мать Красава – внучка Визапура 1-го, этого лучшего сына Полкана 3-го. Сын Лебеда Лебедь 7-й происходил от павловской кобылы Домашней, которая была резво инбредирована на Атласного 3-го, а мать Атласного 3-го Воструха – внучка Ловкого 1-го, отца Полкана 3-го. Лебедь 7-й дает в свою очередь Крутого от Крутой, дочери Мужика 2-го, сына Полкана 3-го. Ярко входит Полкан 3-й и в родословную Нежданного, внука Крутого, ибо его мать Небось – дочь Любимца. Любимец же – сын Людмила от Тарабарки, дочери Полкана 3-го, и Розалии от Разгрома, сына Полкана 6-го. Наконец, Недотрог получит течение полкановской крови и по Петушку, и по Самке – матери Похвального. Словом, мы видим, что Полкан 3-й принял самое близкое участие в создании этой линии. Его участие выразилось в воздействии на Лебедей путем вхождения в родословную ряда женских имен на протяжении всего существования этой линии вплоть до наших дней.

Все лица, писавшие о происхождении Кронпринца, не исключая и Витта, не учли, однако, того обстоятельства, что Кролик также сыграл немаловажную роль в создании Каши, матери Кронпринца. Я этому обстоятельству придаю чрезвычайно большое значение. Искра, прямая бабка Каши, была дочерью Катка, сына Ловкого-Кролика. Последний получился чрезвычайно резвым жеребцом, весьма интересные данные о нем найдены мною в архивах. Дочь Катка, а стало быть, и внучка Ловкого-Кролика Искра дала не только резвую Комету, мать Каши, но и Индианку – мать Дружбы, одной из лучших заводских маток дореволюционного периода. Таким образом, весьма высоко расценивая происхождение Каши, в ее родословной я придаю особое значение двум кобылам – обе приходились ей бабками и по случайному совпадению обе были рыжей масти, вследствие чего и Кронпринц давал рыжих лошадей. Это были знаменитые Краса и Искра.

Как правильно указал недавно Витт, разбирая происхождение Ловчего, в педигри Кронпринца наблюдается большое количество победителей Императорского приза,

то есть общепризнанных дистанционеров. Неудивительно поэтому, что и сам Кронпринц был таковым. Величайшее значение лично я придаю тому, что в эту родословную входят следующие выдающиеся заводские матки:

Крутая – мать Крутого и Кота М. И. Бутовича (не путать с Котом Я. И. Бутовича);

Метла – мать Крутого 2-го, Сорванца (5.14), Резвого (5.18) и других;

Розалия – мать Любимца (дочь знаменитой Персиянки);

Небось (5.42) – бабка Нежданного;

Самка – мать Похвального (Императорский приз), из женской семьи великой Самки;

Заметная – бабка Буянки, родная сестра Тёлки, из семьи которой происходит Потеря Афанасьева;

Баба-Яга – мать Буянки (5.19) и знаменитой Барышни;

Буянка – мать Недотрога (Императорский приз) и Небывалого (4.51);

Пеструха – мать Любезного, из женской семьи великой Победы;

Краса – мать Литого (2.29), выиграла Императорский приз;

Искра – мать Кометы (5.27) и бабка знаменитой заводской матки Дружбы;

Каша – мать Кота, Кронпринца, Клеопатры (1.37), Креолки (2.20) и Киры, бабки Крестника (2.14).

Двенадцать имен знаменитых кобыл! Немногие производители могут похвастаться таким перечнем.

Подводя итог, скажу, что я очень высоко расцениваю происхождение Кронпринца и считаю этого жеребца типичным представителем линии Лебеда 4-го. Поэтому при подборе ему следовало давать в первую голову кобыл из линии Лебеда 4-го, например дочерей или внучек Леска, дочерей Залихватского и т. д. К сожалению, в Прилепском заводе таких кобыл не было и эти интересные возможности были упущены. Чрезвычайно подходили к нему и кобылы из полкановских семейств или имеющие кровь Полканов. Несколько таких кобыл Кронпринц получил и дал от них Усана (2.20), Вадима (2.21), Ловчего (2.13), Леопарда, Лебедёнка и других. Ввиду того что кровь Горностаевая, несомненно, у Кронпринца сильна, к нему подходили горностаевские кобылы. От них он дал рекордиста Отчаянного-Малого. И этой же крови отчасти обязан своим классом Ловчий. Кобыл с кровью Бычка следовало избегать. Соединение Кронпринца с Лебедами было, с моей точки зрения, чрезвычайно интересно, и я очень сожалею, что Кронпринц не получил ни одной дочери Леска. Когда в Прилепском заводе он покрыл Порфиру, дочь Лоэнгрин (той же линии Лебеда 5-го), то получилась хотя и рыжая, но чрезвычайно интересная по типу и формам и резвая Персида, оказавшаяся ценной маткой, ибо ее первый сын Приёмистый имел 2.19 (в возрасте трех лет). Будем надеяться, что в Хреновском заводе восполнят упущенные возможности и дадут сыну Кронпринца Ловчему дочерей Ледка и внучек Леска. Подбор к этому лучшему сыну Кронпринца вытекает из всего сказанного. Ему следует давать кобыл из линии Лебеда, затем полкановских (например, Корешки, дочери Эх-Ма), потом горностаевских и наконец, учитывая его происхождение со стороны матери, кобыл группы Дара и Удалого. Затем очень осторожно вводить Летучего и свободных, крепких по конституции дочерей Громадного.

Кронпринц, как призовой рысак, заслужил на ипподромах почетное звание если не первоклассного, то классного рысака. Он начал свою беговую карьеру трех лет в Одессе и бежал с большим успехом, однако же менее удачно, нежели его старший брат Кот. Трехлетний рекорд Кронпринца (1.36) весьма хорош для орловского рыска того времени. Вместе с тем не могу здесь не заметить, что уже с августа, когда ему минуло два года, Кронпринц был отправлен в Одессу, где Петров готовил его всю зиму к весеннему сезону. Таким образом, этот типичный стайер преждевременно был потянут, да еще таким требовательным ездоком, как Петров. И в трех-, и в

четырёхлетнем возрасте Кронпринц нес очень сильную работу, и я думаю, что карьера и рекорд Кронпринца были бы иными, если бы он более бережно эксплуатировался в младшем возрасте.

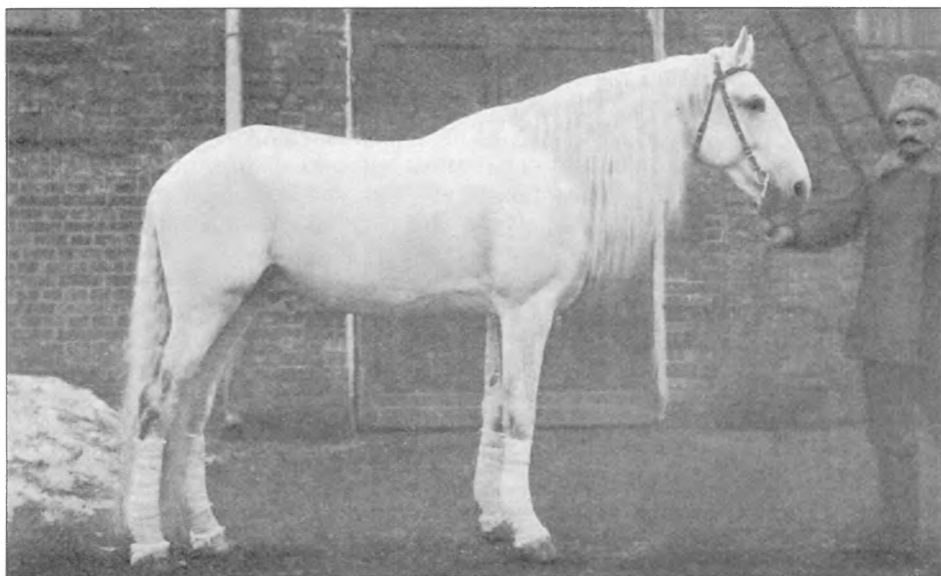
Имея уже опыт с Котом, я следил за Кронпринцем и, как только он пошел назад, сейчас же взял его в Прилепы, куда уже был переведен мой завод. В Прилепах он отдыхал несколько месяцев и был взят в аренду Синегубкиным для Бакулина. Только это спасло Кронпринца, иначе не видать ему Императорского приза как своих ушей. Никогда не забуду первого впечатления, которое произвел Кронпринц на Синегубкина. Жеребца на езде показывал заводской наездник на старом добрынинском кругу. Мы с Синегубкиным стояли посреди круга. Кронпринц выехал, размялся, и наездник выпустил его. Синегубкин обратился ко мне: «Как он похож на Любезного!» Синегубкин едва ли в то время знал, что Любезный – дед Каши, а потому его слова представляют очень большой интерес. Старик Лисаневич высоко ставил Любезного и, когда писал о нем, всегда упоминал, что он типичен как представитель Лебедея. Сказанное подтверждает мое мнение о том, что Кронпринц – типичный жеребец именно своей линии.

В руках Синегубкина Кронпринц бежал чрезвычайно успешно и показал рекорды 2.21, 4.42 и 6.31, когда он по грязи выиграл Императорский приз. Это был его лучший, класснейший бег, и здесь он побил избранную компанию орловцев. Кронпринц был очень труден по езде: он не давал собой распоряжаться и кипел. Весьма возможно, что такой темперамент и бешеное сердце и есть, как думает Витт, наследие Горностая. Недотрог, его отец, был тоже труден по езде, но все же не до такой степени, как сын. Синегубкин всегда говорил, что если бы можно было распорядиться Кронпринцем, а не ехать первую половину дистанции, покуда он хотя немного успокоится, «по заборам», то Кронпринц приехал бы крепко. Классический бросок, когда Кронпринц, идя второй круг, налетал на своих соперников и бурей пронесился мимо них, конечно, надолго останется в памяти прежних охотников. Кронпринц был значительно резвее показанных им секунд, и я никогда не забуду одной исторической езды Кронпринца, уже старика, в Туле. Эта езда воочию показала, как феноменально резв был он накоротке.

В Туле, дабы поддержать в правящих советских сферах интерес к коннозаводству и показать работу тульских заводов, я периодически устраивал выставки, бега, скачки, выводки лошадей. Так вот однажды было решено показать здешней публике нашу знаменитость – Эльборуса, а с ним и других производителей Прилепского завода, то есть Кронпринца и, кажется, Удачного. В то время в Прилепах служили три наездника: Петров, Марков и Каменев, бывший тульский парикмахер, чемпион по велосипеду и ездок-охотник. Революция превратила его в наездника, и я взял его в Прилепы. Учитывая разный возраст производителей, степень их класса, а также неподготовленность, я, зная темперамент наездников, не разрешил им показывать на прямой этих рысаков в ряд, ибо знал, что они поедут вовсю, вступят в соревнование и Эльборус может «зарезать» менее классных Кронпринца и Удачного. Поэтому я сделал распоряжение ехать так: промять мимо публики и затем махом, мимо трибун, ехать в левый поворот, там повернуть и из поворота идти прямую полным ходом в таком порядке: Эльборус, потом Удачный и потом Кронпринц. Жеребцы должны были ехать корпусом в пяти друг от друга, как в Хреновой. Я растолковал это наездникам, они хорошо все поняли, но каково же было мое удивление и гнев, когда в повороте они все выстроились в ряд и пошли! У меня душа замерла от этой езды, и я с тревогой наблюдал за происходящим. Удачный, выйдя на прямую, сбился и отпал, не выдержав адского пейса, предложенного Эльборусом. Последний, подняв голову, как это имел обыкновение делать всегда, мчался своим бешеным, красиво точным и выработанным ходом. Можно было подумать, что двигается не лошадь, а машина, какой-то паровоз. Но кто поистине совершил чудеса во время столь сумасшедшей езды, так это Кронпринц: он

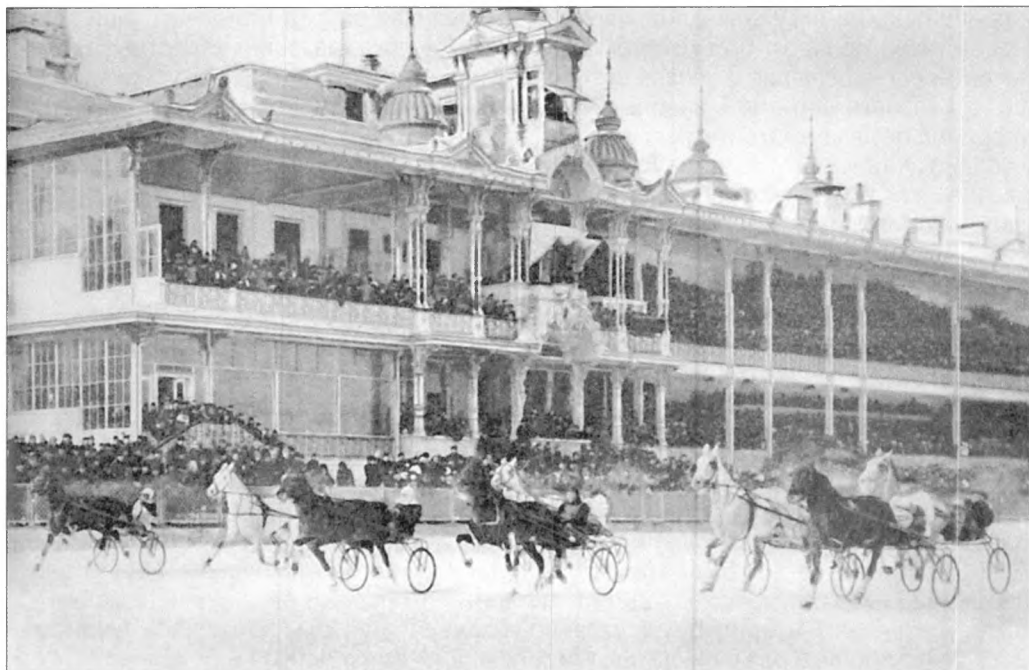
влег в вожжи и мчался горящим снежным комом на фоне темного корпуса Эльборуса. Ноздри его раздувались, арабская голова вытянулась, и видно было, что он напрягал все свои силы, всем своим существом вьелся в Эльборуса и ни на вершок не отставал от него. Это была поистине красивая картина, и публика замерла, наблюдая единоборство двух знаменитых рысаков! Кронпринц так и не дался Эльборусу, и оба они голова в голову пролетели мимо трибун. Как ни увлекательно было это зрелище, я первый опомнился и стал звонить в колокол, чтобы напомнить наездникам, что это не езда на приз, а показательный бег неподготовленных рысаков, бег без борьбы. Публика устроила овацию рысакам и еще долго волновалась после того, как Эльборус и Кронпринц съехали с круга. Тем временем я распекал на проводном кругу зарвавшихся наездников. Каменев оправдывался тем, что не мог же он осрамиться, он – чемпион и любимец тульской публики! Для Кронпринца этот бег имел роковые последствия: он пал той же осенью.

Я уже отмечал, что ход Кронпринца напоминал ход одного из его предков, Крутого 2-го. Об этом мне говорил Расторгуев. Кронпринц на ходу был одним из красивейших рысаков, когда-либо мною виденных. Он был любимцем московской публики: когда он выезжал, охотники встречали его аплодисментами. У Кронпринца был высокий, чрезвычайно эффектный ход: на ходу он поднимался, казался крупнее и производил неотразимое впечатление. Хомяков говорил мне, что всегда приезжал на бег, когда бывал записан Кронпринц, чтобы полюбоваться его ездой. К сожалению,



Знаменитый орловский рекордист Крепыш, выигравший Императорский приз в Москве с рекордной для этого приза резвостью 6.14.1

нию, никому из собственных детей Кронпринц не передал своего хода. Из всех виденных мною лошадей исключительное впечатление своим ходом производили на меня Крепыш, Боб-Дуглас, хреновской Момент и Кронпринц. Крепыш, казалось, не делал никаких усилий, так свободны были его движения. Рысистое движение – это была стихия Крепыша! Боб-Дуглас, тот был эффектен, ход его напоминал полет птицы. Момент ехал страшно, давал впечатление колоссального напряжения и оставался при этом сказочно хорош. Кронпринц кипел, горел на ходу и был необыкновенно своеобразен.



Интернациональный приз 1912 г. в Москве. Участвуют Боб-Дуглас, Дженераль-Эйч, Крепыш, Марка, Милорд, Наль, Хабара, Центурион

Кронпринц имел рост три вершка. Масти он был чисто белой, на солнце горел и переливался всеми цветами радуги, весь был покрыт сеткой жил. Хвост имел густой и держал его красиво. Грива была средней длины, но челка длинная, до самых ноздрей, и притом шелковисто-нежная. Он был слегка фризист и имел типичную орловскую ногу. Голова у жеребца была превосходная, кровная и породная, с небольшим ухом и замечательным глазом; шея тоже хорошая, а вот линия спины, к сожалению, неудовлетворительна. Линия крупа также очень хороша. Глубины у жеребца было мало, и это особенно проявлялось, когда Кронпринц был в тренированном виде; в заводском он казался удивительным по глубине. Лучшее, что имел Кронпринц, были ноги – сухие, тростистые и образцовые по правильности – и поражавшая всех сухость жеребца.

Кронпринц отличался хорошим здоровьем: выдержал очень тяжелую беговую карьеру, в заводе ни разу не болел и преждевременно пал лишь потому, что его погубила езда с Эльборусом. В деннике был очень милой лошадей, ласковой и добродушной. На выводке показывался хорошо, но иногда кипятился. Его неукротимый темперамент обнаруживался лишь на езде.

Как производитель Кронпринц, вне всякого сомнения, является очень крупной величиной. Хотя его заводская деятельность протекала во время революции, при самых неблагоприятных условиях, тем не менее он дал исключительно высокий процент бежавших лошадей и двух рекордистов – успех, которым могут похвастаться немногие жеребцы! Если еще принять во внимание, что в прилепской тренконюшне никогда не было классного наездника, что дети Кронпринца не получали правильной тренировки и хорошего воспитания, неразумно эксплуатировались и езда на них была далека от идеала, то придется признать, что успех Кронпринца как производителя был очень большой. Надо также учесть, что в те годы, когда испытывались дети

Кронпринца, на бегу шла усиленная, форсированная работа молодежи. Пейч установил такой порядок, при котором двухлетки, не показывавшие известных секунд, не прогрессиравшие с начала сезона, снимались с дотации. Это было равносильно их отправке обратно в заводы, ибо иначе конюшня влезала в неоплатные долги и должна была кормить таких лошадей за свой счет. А денег, конечно, не было. И вот наездники тянули молодежь. Так погибло много ценного орловского молодняка, а метисы, как более скороспелые, выдвинулись вперед. Пейч, конечно, знал, что делал, и, установив такой порядок, нанес большой вред орловской породе. Нечего и говорить, что для детей Кронпринца это было крайне пагубно, ибо все они лошади позднеспелые и принадлежат к стайерской линии.

Я уже сказал, что сам Кронпринц обладал хорошим здоровьем, а вместе с тем очень большое число его детей пали под матерями. Отсюда делали вывод, и я первоначально присоединялся к нему, что дети Кронпринца слабы и плохо выдерживают борьбу за существование. Действительно, среди первых ставок этого жеребца мы наблюдаем исключительно высокий процент смертности. Однако дети его последних приплодов выжили и здравствуют поныне. Сопоставляя эти факты, следует заключить, что условия воспитания жеребят в первые революционные годы были ненормальны. Когда же воспитание жеребят и содержание кобыл в Прилепском заводе было поставлено более правильно, то и дети Кронпринца перестали гибнуть. Я хорошо знаю те порядки, которые царили в Прилепах последние десять лет, в 1918–1928 годах, и могу засвидетельствовать, что первые пять лет революции кобылы и молодежь в Прилепах форменно голодали, а потому нет ничего удивительного, что жеребята рождались хилыми и погибали от худосочия и болезней, с которыми их ослабленный организм не мог бороться.

Кронпринц давал довольно высокий процент холостых кобыл, и потому число оставленных им приплодов сравнительно невелико. Я много раз присутствовал при случке Кронпринца и могу засвидетельствовать, что он был чрезвычайно горяч. Его вели всегда два человека на развязках, причем третий шел перед ним с хлыстом и тем удерживал его. Без этого и четыре человека на одних кордах удержать его не могли. Подходя к кобыле, Кронпринц уже не обращал внимания на хлыст и угрозы и бешено, с налета бросался на нее. Во время самой садки он чрезвычайно горячился и, что хуже всего, окончив акт, не высиживал, а немедленно соскакивал, причем часть спермы, а иногда, быть может, и вся, выливалась наружу. В итоге немало кобыл оставались холостыми.

Приведу теперь список оставленных Кронпринцем детей. К этому списку я должен сделать оговорку, что в основу его я кладу сведения первого тома Племенной книги, далеко не полные, и затем добавляю их по памяти.

1915 год
светло-серый Валик
серая Седая (2.50)

1916 год
серый Вадим (2.21)
светло-серый Ленский
красно-серый Любим
светло-серый Отчаянный-
Малый (4.36)
светло-серый Проказник

1917 год
караковый Кипарис (2.31)
серая Большая-Медведица (4.52)
вороная Комедия
серая Светлянка
рыжая Природа (2.21)

1918 год
вороной Железняк (3.11)
серая Кипучая

1919 год
светло-серый Жемчуг (2.26)
серый Усан (2.20)
вороная Британка (2.26)
рыжая Персида (2.26)
серая Пиковая-Дама (2.22)

1920 год
серый Леонард (2.22)
белая Упа (1.39)

1921 год	1922 год	1923 год
белый Ловчий (2.13)	серый Лебедёнок (2.22)	светло-серый в краснине
светло-серый Недотрог (2.25)	красно-серый Сатрап (1.41)	Талисман (2.24)
белый Милый (2.43)	рыжий Грозный (2.20)	
1924 год	1925 год	
серая Арена	красно-серый Злодей	
светло-серый Вязовик	серый Принцип (2.24)	

Среди многих павших детей Кронпринца должен отметить светло-серую Венеру от Ветрогонки и трех ее родных сестер, светло-серого жеребенка от Безнадёжной-Ласки и рыжего от Ненависти. Из этих шести жеребят выдающимися были Венера и сын Безнадёжной-Ласки, во всех отношениях замечательный жеребенок, павший у меня на глазах трех месяцев от роду. Рыжего сына Ненависти я не видел, но Л. Ф. Ратомский глубоко о нем сожалел и говорил, что жеребенок был замечательный. И еще одна кобыла – Сахаровна (2.18) – имела от Кронпринца чудную серую кобылку, которая под нею пала.

Среди приплода было 11 кобыл и 21 жеребец. По мастям: 11 серых, 8 светло-серых, по 3 белых, красно-серых, рыжих и вороных, один гнедой. По резвости: двое рекордистов, 15 безминутных, 5 выигравших, 10 вообще не бежавших.

Кронпринц дал вдвое больше жеребчиков, чем кобылок. Это крайне характерно для всей линии Крутого 2-го. Распределение приплода Кронпринца по мастям также крайне интересно: 22 серых, то есть ровно две трети, причем бросается в глаза, что среди них 3 белых и 8 светло-серых, то есть почти белых при рождении. Таким образом, среди серых ровно половина белых и светло-серых. Гнедые среди детей Кронпринца являются исключением, вороных и рыжих поровну, что я объясняю влиянием Каши, которая сама была вороной, а ее бабка Краса (по Литому) – рыжей. Как и следовало ожидать, Кронпринц, как типичный представитель своей линии, давал преимущественно серых лошадей, с большим перевесом в сторону более светлых оттенков. То же явление наблюдается и в других типичных линиях Лебеда 4-го.

Переходя к подсчету призового приплода Кронпринца, сразу отметим, что 22 лошади, то есть две трети всего приплода, – это очень высокий процент, особенно среди безминутных рекордистов. Однако если принять во внимание, что часть его детей – Ленский, Проказник, Любим, Комедия, Кипучая, Железняк, Светлянка – вовсе не тренировались в заводе и голодали, а стало быть, их резвость осталась неизвестной, то процент призового приплода Кронпринца еще повысится. Три лошади из числа последних приплодов интересующего нас жеребца фактически не могли попасть на бега. Арена была продана к трем годам на Урал, и весьма возможно, что там бежала. Вязовик не имел класса, но в заводе ехал удовлетворительно – ушел в заводскую конюшню. И наконец, Злодей обладал превосходным экстерьером и был очень резв. В прошлом году осенью представитель Украины предложил 5 тысяч рублей за него. Так как завод всегда нуждался в деньгах, Злодея забраковали, с тем чтобы продать Украине. Управление коннозаводства утвердило его вырэнжировку, но продать не разрешило, а перевело при ликвидации завода в заводскую конюшню, какую именно – не помню. Следует также пояснить, почему семь детей Кронпринца вовсе не тренировались. Это было тогда, когда не только лошади голодали, но погибали целые заводы, как, например, Хреновая. Дабы спасти элиту Прилепского завода, я кормил впроголодь лучших лошадей, а худшие вовсе голодали (понятие «худшие», конечно, относительно). Вот почему семеро детей Кронпринца были даже в заводе не заезжены. Если бы я поступил иначе, голодали бы все и не удалось бы спасти лучших лошадей. Поступи я иначе, Прилепский завод не был бы таким, каков он сейчас.

Дети Кронпринца разбрелись теперь по всей России. Мы видим их в Хреновой, в Грязнушенском заводе, на Урале – в Перми, в Сибири, у башкир, на юге и во многих заводских конюшнях. Вследствие этого чрезвычайно интересно дать характеристику приплодов Кронпринца, ибо я всех их хорошо помню и это может оказаться весьма полезным для будущей заводской работы с ними. Не исключена также возможность, что некоторые дети Кронпринца дадут либо выдающихся, либо очень резвых детей, либо таких, которые сделают впоследствии хорошую заводскую карьеру, и тогда сведения, которые я сейчас приведу, приобретут большое значение.

Зимой 1914-го началась заводская карьера Кронпринца. В этом году была сделана проба Кронпринца как производителя: ему было дано только две кобылы – Вершина, хреновская кобыла высокой породы, но выбракованная из Хреновского завода за неудовлетворительный экстерьер и приплод, и Самка, купленная мною у Щёкиных. Самка в следующем, 1915 году дала серую кобылу Седую, недурную по себе и с очень хорошей спиной, но саблистыми задними ногами. От Вершины был серый Валик, дельный, сухой жеребенок. Обе лошади воспитывались хорошо, но, когда они двухлетками попали к Неплюеву в Орёл, началась революция, прекратились бега, и эти лошади не смогли себя проявить. Седая сейчас состоит заводской маткой в Орловском тресте, но ничего замечательного не дала; ее рекорд 2.50 – очевидно, это рекорд революционного времени. Ни Валика, ни Седую я не причисляю к числу лучших детей Кронпринца.

В 1916 году от Кронпринца и Радуги в заводе Э. Ф. Ратомского родился серый жеребец Отчаянный-Малый (4.36), рекордист своего времени. Радугу я продал Ратомскому жеребю от Кронпринца, и эта покупка оказалась для него очень удачной. Рекорд, поставленный Отчаянным-Малым, который был воспитан и тренирован в Светлых Горах, а не в Прилепах, наводит на размышление о том, что Кронпринц с первых же шагов своей заводской деятельности способен был давать выдающихся лошадей. Объективные условия не позволили многим резвым детям этого жеребца показать свой класс. Когда же в Прилепском заводе условия изменились к лучшему, Кронпринц создал такую лошадь, как Ловчий! Отчаянный-Малый очень хорош по себе. Это чрезвычайно типичный представитель своей линии: блестящий, породный и исключительно сухой, причем спина его значительно лучше, нежели спина его отца. Так как Отчаянный-Малый не принадлежал к модной линии, наши «знатоки» не брали его в завод. В настоящее время он, кажется, находится в Грязнушенском заводе.

Следующим по резвости сыном Кронпринца в ставке 1916 года был Вадим (2.21). Он крупен по Ветрогонке, сух, имеет превосходную спину, породен и делен. Сейчас состоит производителем в Молдавии. Три остальных сына Кронпринца – Ленский, Любим и Проказник – не тренировались, и об их резвости сказать ничего не могу. Проказник был мелок, сух, имел длинную спину, но плохие задние ноги. Он или пал, или был продан. Ленский был очень мелок (повторение Петушка), сух и правилен, имел характерную голову матери. Если не ошибаюсь, был сдан в Красную армию. Красно-серый Любим, ничем не замечательный жеребец, был отдан на легковую базу Наркомздрава и ходил в пролетке у замнаркома. Сейчас он, вероятно, попал в какую-либо заводскую конюшню одной из наших союзных республик.

В 1917 году Кронпринц дал всего лишь одного жеребца и четырех кобыл. Жеребец получился чрезвычайно хорош по себе и был назван Кипарисом. Когда ему было два года, в завод приезжала В. А. Оппель, знаменитая создательница и владелица лучшего стада симменталов. Она очень увлеклась Кипарисом и говорила, что имей она возможность, то купила бы его и организовала небольшой рысистый завод. Оппель превосходно разбиралась в лошадях и имела хороший глаз. Кипарис ходил

в Туле в городской езде у управляющего Прилепским заводом Попова и, записанный на приз, почти без подготовки выиграл в 2.31. Это, несомненно, очень резвая лошадь и чрезвычайно напоминает свою мать Кабалу. Сейчас Кипарис находится в Хреновской заводской конюшне.

Тысяча девятьсот семнадцатый год был очень удачным для Прилепского завода. Многие кобылы, как бы прощаясь со мной, дарили одна за другой таких кобылок, которым вскоре суждено было стать замечательными заводскими матками. Можно было подумать, что прилепские кобылы предчувствуют перемену владельца и, предвидя тяжелые годы, страдания и голодовки, свою приближающуюся гибель, спешат создать себе заместительниц. Так, в 1917-м родились Услава – мать Утёса, Похвала, Большая-Медведица, Комедия – мать Кумира, Природа, Вяжля, Светлянка. Все, за исключением выбывшей из строя Вяжли, уже оправдали себя на заводском поприще.

В ставке 1917 года Кронпринц дал четырех кобыл: Природу (2.21), Большую-Медведицу (4.52), Светлянку и Комедию. Природа была моей любимой кобылой: рыжая, лысая, белоногая, с небольшой приятной головой, лебединой шеей и удивительной линией верха, сухая, эта кобыла была очень похожа на Кашу, с той лишь разницей, что Каша была крупнее. Сейчас Природа в Грязнухе, и там считают, что она не будет жеребиться; в Прилепах же она дала двух безминутных жеребят. Большая-Медведица – светло-серая превосходная кобыла. Она суха, глубока, имеет хорошее ребро и превосходные окорока, крайне типична. Кобыла породна и дельна, но несколько кониста. Сейчас находится в Хреновском заводе. Светлянка суха, мелка, имеет мягкую спину, чудные ноги, глубока и очень широка – даст превосходных жеребят. Комедия имеет плохую спину, но суха и породна – даст резвых и классных лошадей (Кумир – 2.16). Сейчас находится в Уфе. Ни Светлянка, ни Комедия не готовились к бегам, и резвость их мне неизвестна.

Тысяча девятьсот восемнадцатый год оказался особенно неудачным для Кронпринца: его дети либо пали, либо кобылы прохолостели. В живых остались Железняк и Кипучая, которые особенно голодали, стали заморышами, вследствие чего были выбракованы из завода и обменены на несколько возов сена. Если эти лошади еще живы, никакого заводского значения они, конечно, иметь не могут.

В 1919 году в Смоленске от Кронпринца родился резвый Жемчуг. Его мать была дочерью Барина-Молодого и принадлежала смоленскому коннозаводчику Ельчинскому. Еще им она была прислана в Прилепы для случки с Кронпринцем. Резвее Жемчуга был его одноклассник Усан (2.20). Усан был рекордистом на версту – правда, в то время, когда рекорды были тихие и бега лишь недавно восстановлены. Однако другие орловские рысаки бежали еще тише, не исключая и представителей модных линий, так что можно, собственно говоря, считать, что Кронпринц дал не двух, а трех рекордистов, из них два настоящие, а третий условный. По себе Усан не был хорош: в нем сказался инбридинг на Петушка, а потому он получился мелок, имел мягкую спину, но при этом был очень костист, широк и грубоват. Родная сестра Природы Пиковая-Дама хотя и оказалась резвой кобылой (2.22), но ничего общего с сестрой не имела: была мелка, беднокостна и нехороша по себе. Она была мною продана в Сибирь. Сестра Большой-Медведицы вороная Британка (2.26, четырех лет) по себе очень хороша: имеет типичную кобылью голову с длинной челкой, хорошую шею, удовлетворительную спину, суха и широка. Персида (2.26) правильно получила свое название, ибо в ней есть что-то азиатское. Это была одна из самых любимых мною молодых кобыл. Несмотря на то что у нее мягкие бабки и есть положинка в спине, я ей все прощаю за тип и чисто восточную красоту. Это весьма ценная матка, ибо первый же ее приплод, Приёмистый, имел рекорд 2.19 в трехлетнем возрасте. И Британка, и Персида – обе сейчас состоят заводскими матками в Хреновой.

К 1920 году относится первый сын Кронпринца и Леды, серый Леонард. Он родился замечательным жеребенком, поэтому Леонард Францевич Ратомский и назвал его в свою честь. Однако подрастая, он становился узок, развивался односторонне и в конце концов превратился в довольно заурядного по экстерьеру жеребца. Леонард имел хорошую спину и был, несомненно, резв (2.22). Кажется, в 1920-м же родилась и Упа, дочь Урны, маленькая белая кобыла. Имея в заводе такую дочь Урны, как Услава, я счел возможным уступить Упу в МОЗО, где, как я слышал, она еще ни разу не жеребилась.

Тысяча девятьсот двадцать первый год – историческая дата в жизни Прилепского завода. В середине мая этого года родился Ловчий, одна из лучших по себе и резвейших лошадей, когда-либо созданных этим заводом. Я узнал о рождении Ловчего на следующее утро, когда пришел на маточную конюшню. А. И. Руденко, человек сдержанный и, как большинство хохлов, скрытный и неболтливый, поздравил меня с рождением замечательного жеребенка, чего не имел обыкновения делать никогда, и повел к деннику. На свежей соломе спокойно лежал крупный светло-серый жеребенок и, услышав, что мы вошли, спокойно повернул к нам голову. Так я впервые увидел Ловчего, которому впоследствии было суждено доставить мне столько отрадных минут! Андрей Иванович подошел к жеребенку, который продолжал спокойно лежать, и похлопал его по крупу. Жеребенок не спеша поднялся и твердо встал на ноги. Я с восхищением смотрел на него: крупный, необыкновенно костистый, породный и правильный, он привел меня в восторг, и я, чтобы не сглазить его, поскорее сплунул и вышел, взволнованный, из денника. Андрей Иванович последовал моему примеру, и мы прошли весь коридор молча.

Уже в то время, увидев Ловчего, я отдавал себе ясный отчет в том, что линия Крутого 2-го получила достойного, а может быть, и знаменитого представителя. Сидя вечером в кабинете, я думал о вновь родившемся жеребенке. В течение дня я видел его еще раз, и он на меня произвел такое же сильное впечатление. Я решил назвать сына Леды Лебедем 12-м, ибо он по порядку, считая от Лебеда 4-го, был двенадцатым прямым потомком этого знаменитого жеребца. Однако поразмыслив, решил не давать ему столь претенциозного имени, а назвать его в честь малютинского Ловчего.

Хорош был и второй сын Кронпринца, рожденный в том же году. Я имею в виду Недотрога (2.25 в возрасте четырех лет, но в действительности это лошадь класса 2.17–2.18). Недотрог цыбат и не так глубокий, как бы того хотелось. Сейчас он состоит производителем в заводах сахаротреста, где имеет все шансы дать резвых лошадей. Наконец, в том же году в Москве, в конюшне Наркомздрава на Сивцевом Вражке, у переданной этому учреждению серой кобылы Марки родился от Кронпринца белый жеребец Милый – небольшой и сухой, совершенный араб. Я случайно увидел его в городе, и он произвел на меня впечатление своей кровностью.

В 1922 году родился красно-серый Лебеденок, последний из трех родных братьев (Леонард, Ловчий). По рождении он был очень недурен, но затем начал хиреть, так как его мать заболела и вскоре пала. Лебеденок остался сиротой, плохо рос и вышел хотя и сухим, но некрупным жеребенком. У него была тяжелая, неприятная шея. Он был очень резв, значительно резвее показанных им секунд (2.22). Если память мне не изменяет, то в том же году от Кронпринца родился красно-серый Сатрап. Как сын Султанши, он был очень густ и капитален при трехвершковом росте. Сатрап, пожалуй, единственный сын Кронпринца, который был сыроват и имел налив в скакательном суставе. Будучи очень резвым, Сатрап хорошо бежал в Ленинграде. М. Л. Вильсон писала мне о нем и предрекала ему хорошую будущность. Однако с Сатрапом что-то случилось, и он сошел со сцены. От случки рыжей кобылы Гражданки и Кронпринца в 1922 году родился в заводах Тульского треста рыжий жеребец Грозный (2.20). Я никогда его не видел, а потому не могу высказаться о его

формах. Слышал лишь, что двух лет он попал на проволоку, сильно порезал ногу и с тех пор хромал.

Со случки 1922 года Кронпринц переходит в разряд запасного жеребца. В Прилепах появляется Эльборус, и все внимание сосредоточивается на нем. Так как численность маток в Прилепах была невелика, а Эльборуса надо было использовать всю, то Кронпринцу дается в течение последних трех лет его жизни 23 кобылы, притом далеко не лучшие. Сознвая, что не использую такого жеребца, как Кронпринц, я предложил его Хреновой, но получил иронический отказ; предложил его заводам Тульского губсельтреста, но отношение к этому предложению встретил такое же! Кронпринц остался в Прилепах и доживал здесь свои дни. Я считаю, что отказ взять Кронпринца производителем, в особенности в Тульский трест, был очень большой ошибкой и ничем, кроме невежества его руководителей, объяснен быть не может.

Вот что представляли собой последние дети Кронпринца. В 1923 году он дал красно-серого Талисмана, сына высококлассной, но безнадежно больной Туманной. Талисман родился бурый, лысым и белоногим, но к году стал светло-серым в краснине. Это был замечательный по своему типу и благородству жеребенок, один из тех, которые так много обещают под матерью и в ранней молодости, но потом разлаживаются и теряют на долгое время гармонию форм. Такие лошади бывают вновь хороши в поздние годы, когда окончательно сформируются. У Талисмана, так же как и у Сатрапа, были наливы, и только поэтому он не смог показать своего высокого класса (по мнению же наездников, он был очень резв). У Талисмана недурной рекорд, и, несмотря на его мягковатую спину, жеребца можно интересно использовать в заводе, хотя делать это следует осторожно.

В 1924 году от Кронпринца родилась темно-серая Арена, крупная, сухая, породная, со щучьей головой, прогонистая кобыла с чуть длинной спиной. Она была резва, и почему Владыкин ее не послал в Москву, сказать не могу. Сейчас она в Сибири и имеет все шансы стать хорошей заводской маткой. Светло-серый Вязовик, крупный, с характерной головой, дельный жеребец, имел круглую ногу и не был достаточно костист. Не помню, куда он поступил из завода и где сейчас находится.

Последние дети Кронпринца, двое или трое, родились в 1925 году. Двух из них я помню. Это Злодей и Принцип. Злодей – сын Знати, кобылы, ничего не давшей в заводе. Злодей обещал многое: был сух, арабски породен и воздушен на ходу. Принцип имел хорошую спину и, вообще говоря, напоминал свою мать, дочь Громадного. Масти стальной, весьма редкой среди детей Кронпринца. У этого жеребца, несомненно, хорошее будущее, и показанные им в трехлетнем возрасте секунды (2.24) заслуживают внимания.

Помимо этих жеребят, являвшихся собственностью государства, Кронпринц дал еще нескольких у частных лиц. Так, я помню, что был жеребенок от метисной кобылы у тульского охотника Копанева. Жеребенок вышел булано-серым и простым. Хорошего жеребенка имел Смидович от Грамоты, дочери Гражданки. Смидович назвал его Князем-Серебряным. Его судьба мне неизвестна. Кобыл с десятков в разное время Кронпринц покрыл крестьянам, но бумаг на жеребят выдано не было, так как эти случки происходили тайно и без моего ведома.

Не подлежит никакому сомнению, что Кронпринц был чрезвычайно ценным производителем и заслуживал гораздо большего внимания, нежели то, которое ему оказывалось. Революционные деятели коннозаводства его не признавали и были жестоко проучены: среди детей Кронпринца оказалось два рекордиста, один из них к тому же сейчас лучшая по себе лошадь на ипподроме. Не подлежит никакому сомнению также и то, что, если бы заводская деятельность этого жеребца протекала до революции, успехи его были бы более значительны. Прежние коннозаводчики очень ценили Кронпринца, и перед ним открывалось широкое поле для использова-

ния. Так, только начав свою карьеру производителя, Кронпринц получил уже двух лучших маток из завода Г. И. Рибопьера, среди которых была знаменитая Берегись. Ельчинский прислал одну кобылу, Русинов – свою знаменитую Ловчую (2.18), и по две кобылы должны были прислать великий князь Дмитрий Константинович, Шереметев и Хомяков. Им не удалось осуществить свои намерения из-за революции. Признание же Кронпринца со стороны современных деятелей пришло много позднее, так сказать постфактум, то есть тогда, когда появились Отчаянный-Малый и Ловчий. Впрочем, буду справедлив к памяти Л. Ф. Ратомского и скажу, что он первый обратил внимание на Кронпринца, высоко его оценил и даже упрекал меня в том, что я недостаточно его ценю.

Большинство детей Кронпринца – в типе своего отца, почему его и следует считать вполне препотентным производителем.

Кронпринц кончил свои славные дни у меня на глазах. Я был в это время в Прилепах и по нескольку раз в день навещал его. Спасти жеребца не представилось возможности, он пал жертвой тщеславия и глупости чемпиона города Тулы Каменева. В день смерти Кронпринца я написал по заводу приказ, в котором отметил день и час преждевременной гибели жеребца, охарактеризовал его заслуги в качестве производителя и выразил надежду, что его сын Ловчий будет в заводе достойным преемником отца и не менее достойным представителем славы своей линии. «Имя Кронпринца не скоро умрет в анналах рысистого коннозаводства» – так я, кажется, закончил свой приказ, и этим словам, по-видимому, суждено стать пророческими.

В дореволюционной России имя рыбопромышленника Платонова не только гремело в родной ему Туле, но было известно и торговой Москве. Еще большей популярностью пользовалось имя Платонова в кругу коннозаводчиков и охотников. Скромно начав свою охоту в Туле на добрынинских лошадях, Платонов вскоре перенес свои цвета на Московский ипподром и стал покупать лучших рысаков. Его зеленый камзол приобрел популярность в Москве, а среди коннозаводчиков Платонов слыл хорошим покупателем. Я познакомился с Платоновым в Москве, а потом хорошо узнал его по Туле. Уже сидя в тюрьме, я на днях случайно услышал историю обогащения его отца и деда, которые положили основание этому когда-то громадному состоянию.

Дед Платонова, Кузьма, был крестьянином Крапивенского уезда Тульской губернии и молодым пришел в Тулу искать счастья. Скопив тяжелым трудом немного деньжонко, он купил два плота на Упе, около Кривого моста. Пуская на плоты баб мыть белье, брал с них деньги. На этом деле Кузьма Платонов сколотил небольшой капитал – тыщонки две, не более. Его сын Игнат был дельный мужик, по-городскому уже бывалый и более развитой, чем его отец. Он знал немного грамоте, понимал счет и был человеком с хорошей смекалкой. Игнат тоже начинал на плотах, а потом открыл рыбную торговлю под «Царским Селом» – так назывался трактир на Жегалинской улице. Торговал он по мелочам и был в полной зависимости от крупных рыбников Тулы, у которых забирал товар. Ему пришлось в голову завязать непосредственные отношения с Астраханью, куда он сам же и съездил. С этого пошло его дело и началось богатство. Игнат Платонов быстро пошел в гору и, обзаведясь в Астрахани своими промыслами, стал сначала богачом, а потом и миллионером. Однако капитала своего он «не проявлял» и жил скромно. Семья у него была большая: три сына и две дочери. Одна дочь вышла за сына чиновника по фамилии Руднев, а другая – за Мишку Василькова, малого недалекого. Из трех сыновей Платонова двое, Владимир и Сергей, оказались неудачниками, оба спились. Владимир был женат на дочери Заитфлибена, одного из совладельцев винного завода, что был тогда в Туле (на этом месте сейчас стоит архиерейское подворье, основанное пресвященным Евдокимом). Сергей женился на дочери купца Неглинского. Второй сын

Игната Платонова, Константин, женился на первой тульской красавице Александре Васильевне Страховой, дочери полковника, служившего на ружейном заводе. Сергей Платонов был, как выражаются туляки, «распивало», что значит «пьяница», и умер бездетным еще при жизни отца. При жизни отца умер и Владимир, после которого осталась семья. Почти все состояние сосредоточилось в руках Константина Платонова. Он хорошо повел дело, построил дом, где помещалась городская управа, и прогремел на всю Тулу. Я знал К. И. Платонова в расцвете его славы, когда он был церковным старостой собора, водил знакомство с губернатором, приятельствовал с полицмейстером, имел конный завод и хорошую призовую конюшню. На их же глазах во время революции растаяло это громадное состояние и Платонов превратился в бедняка.

Витт в своей работе «Орловская порода в историческом развитии ее линий», само собой разумеется, коснулся Ветерка, дав верную и довольно подробную характеристику этого замечательного жеребца, которого по справедливости выдвинул на одно из первых мест среди орловских производителей. Ныне имя Ветерка получило общее признание, завоевало себе такое исключительное положение, войдя в педигри четырнадцати рысаков высочайшего класса! Не то было лет пятнадцать тому назад. В то время Ветерок как производитель ничего собой не представлял. Тем больше заслуга покойного С. Г. Карузо, который ставил Ветерка исключительно высоко, обращал на него внимание коннозаводчиков и всячески рекомендовал пускать эту кровь в заводы. Пишущий эти строки тоже немало потратил чернил, восхваляя охотниковских лошадей вообще и Ветерка в частности. К сожалению, в то время на наши голоса не обратили должного внимания.

Все, что касается такого феноменального производителя, каким был Ветерок, заслуживает самого пристального внимания. Много интересного об этой замечательной лошади я слышал от А. В. Якунина, который хорошо знал охотниковский завод и имел в собственном заводе много охотниковских кобыл.

Цель настоящей заметки – сделать небольшое, но существенное добавление к сведениям, сообщенным Виттом. Перечисляя лучших детей Ветерка, Витт пропустил такого замечательного жеребца, как белый Визирь.

Визирь родился в Хреновском заводе от кобылы Сварливой и, значит, наполовину был хреновской, наполовину охотниковский жеребец. Визирь получил в Хреновой заводское назначение, но дал там самое ограниченное число жеребят, главным образом потому, что был неверен в случке и давал очень большой процент холостых кобыл. Бежал ли Визирь и имел ли он рекорд, я не помню. Лично я никогда не видел Визиря, но знаю, что Карузо им восторгался. От Карузо я и слышал, что Визирь был замечательной лошастью и по своему типу, и по красоте. Масти он был, как и его отец, чисто белой, очень резв, но, как большинство детей Ветерка, чрезвычайно строптив. Вяземский так увлекался Визирем, что даже арендовал его на один год для своего Лотарёвского завода. Там Визирь дал трех-четырёх жеребят, среди которых была Злодейка, мать Злодея (2.19). Стало быть, Ветерок дал Хреновой не только Ветра-Буйного и Волшебника, но и третьего жеребца, который им, вероятно, не уступал и также состоял производителем в Хреновском заводе.

Когда умер Н. П. Малютин, я не прекратил своих посещений Быков и стал бывать у его наследника Б. Н. Бетлинга, сына известного в свое время московского врача. Бетлинг был очень милый человек, но не охотник до лошадей. Полученное им наследство было отягчено долгами, наличных денег не было. Положение Бетлинга оказалось довольно трудным, а тут возникла необходимость подкупить к основному гнезду кобыл, ибо Лелю буквально некого было крыть (в тот период инбридинг давал явно неудовлетворительный результат в малютинском заводе). Бетлинг просил меня посоветовать ему, как поступить. В интересах не только Бетлинга, но и всего рыси-

стого коннозаводства, ведь речь шла о малютинском заводе, я обещал ему содействии. Но как его было осуществить, раз истратить деньги на покупку кобыл Бетлинг не мог? Этот вопрос я разрешил следующим образом. Было отобрано три кобылы в Быках из числа тех, с которыми первоклассный завод может расстаться без ущерба для себя. Этим кобылам предполагалось обменять на равноценных кобыл другого завода. Я остановился на Лотарёвском заводе, где также было отобрано три кобылы, и обмен состоялся. Среди попавших в Лотарёво кобыл была, между прочим, Кроткая, давшая Вяземскому от Зенита Кремня (2.17), а в Быки пришла Злодейка.

Мне остается сказать несколько слов о дочери Визиря Злодейке, которая была замечательной кобылой и даже в малютинском табуне обращала на себя внимание. Злодейка была вершков четырех росту, масти белой и имела темные гриву и хвост. Принадлежала она к числу исключительно костистых, широких кобыл, с таким типом связывают представление о старинной хреновской матке. Это была настоящая рысистая кобыла, глубины исключительной, богатырски широкая в груди, низкая на ногах, с идеальной и притом короткой спиной. При взгляде на эту кобылу как-то не верилось, что она сама или же ее дети могут бежать, и бежать резво, а между тем часто именно такие кобылы были матерями наших лучших орловских рысаков...

На случный сезон 1919 года я взял в Прилепский завод в качестве производителя гнедого жеребца Бронтозавра (4.33) от Бойца и американской кобылы Серафимы завода А. С. Хомякова. Что побудило меня взять в Прилепы метиса? Поезда не ходили, царила полная разруха, и взять жеребца из Москвы было нельзя, а в пределах Тульской губернии классных орловских жеребцов не имелось. Так как в Прилепском заводе находились дочери Недотрога (Нежата, Фурия) и крыть их Лакеем и Кронпринцем было нельзя, пришлось из двух зол выбирать меньшее и взять для этих кобыл хотя и метиса, но классного жеребца.

Бронтозавр был крупной величиной на ипподроме и тоже, как и его знаменитый отец Боец, стайером. Бронтозавр родился в заводе тульского коннозаводчика Хомякова и бежал от его имени. Ездил на нем старик Кочурков, бывший хомяковский кучер, в руках которого Бронтозавр шел хорошо, но который, само собой разумеется, не мог выявить предельных способностей этой резвой лошади. По себе Бронтозавр был хорош: при пятивершковом росте сух, имел хорошую спину, породную голову и хорошую шею. Глубины у жеребца было не так много, и он вышел если не высок на ногах, то высоковат. В деннике был чрезвычайно строг и бросался на коныхов, высоко подымаясь на дыбы и стараясь подмять человека под себя. Уход за ним был очень труден и сопряжен с постоянным риском. Среди виденных мною метисов Бронтозавр был, несомненно, одним из лучших. Бронтозавр дал в Прилепах пять или шесть жеребят в ставке 1921 года. Лучшим, несомненно, был вороной Прохожий (1.32 и 2.15), сын Порфиры. Прохожий был очень хорош по себе, но имел курбы, притом препорядочные. Свой рекорд он показал уже не только изломанным, но прямо-таки убитым. Скучно и нудно писать о тех беспорядках, которые были на прилепской тренконюшне в Москве, но, к сожалению, к ним опять приходится вернуться, так как эти беспорядки достигли своего апогея именно в тот печальный год, когда ставка Бронтозавра поступила в Москву. Тогда на прилепской конюшне в Москве царили безобразие и беспробудное пьянство, тон которому задавал управляющий конюшней – молодой коммунист, впоследствии получивший должность дикпурьера. Лошади на конюшне голодали, и у некоторых были признаки чесотки. В таких вот условиях детям Бронтозавтра приходилось готовиться к бегам и начинать свою призовую карьеру. Стоит ли удивляться, что все они были переломаны еще в двухлетнем возрасте. Если же они все-таки показали резвость, то этим обязаны исключительно своему природному классу. Прохожий был лошастью очень высокого класса. Сейчас он находится на Урале, где сосредоточилось немало интересного

прилепского материала, но где порядки в заводах, как я слышал, далеки от идеала. Что же касается моего мнения о Бронтозавре как производителе, то я считаю его весьма и весьма способным жеребцом, который в Тульской губернии был плохо и неудачно использован, а при нормальной заводской работе, несомненно, дал бы выдающихся лошадей.

Его одноконюшенник Дядя-Сам, также родившийся у Хомякова, имел более чем скромный рекорд (2.32), зато был сыном двух таких знаменитостей, как Барон-Роджерс и Полян, мать Корешка! Из хомяковского завода он был выбракован и стоял одно время в Тульской заводской конюшне. Я взял его на год в Прилепы и крыл им только сестер Кронпринца и Лакея, то есть Нежату и Фурию. Дядя-Сам был невообразимый урод. Я редко встречал более бестипную и, вообще говоря, более неприятную лошадь. Сын двух таких знаменитостей решительно ничего не говорил ни уму, ни сердцу! Он был невелик и имел плохую спину – это прежде всего; передние ноги у него были порочные, с сильнейшим разметом, задние тоже нехороши, ибо сближены в скакательных суставах. Ребра у жеребца было мало. И никакой красоты! Он совершенно не походил на орловского рысака и очень мало напоминал метиса. Это была, повторюсь, бестипная лошадь.

В Прилепах от него было два жеребенка – две серые кобылки. Дочь Фурии была прямо-таки безобразна: проста, абсолютно непородна, косолапа, бескостна и с плохими задними ногами. Я назвал ее Футуристкой, так как всегда возмущался этим течением в искусстве, а дочь Дяди-Сама напоминала мне картины именно господ футуристов. Дочь Нежаты, темно-серая Незабудка, была правильной кобылешкой, некрупной, кругленькой и решительно ничем не бросавшейся в глаза. Бежала она тихо и имела рекорд 2.30. Я ее выбраковал из завода и продал одному охотнику в Шую за 500 рублей. Нельзя, однако, не заметить, что Хомяков не только ценил Дядю-Сама (очевидно, за происхождение) и держал его в заводе, но и умудрился отвести от него Девясила с внушительным рекордом 2.13.

Ловчий был последним жеребцом, который поступил производителем в Прилепский завод. Я уже рассказал о том, какое впечатление произвел на меня Ловчий, когда он родился, и не только на меня, но и на А. И. Руденко. Естественно, что все наше внимание было обращено на этого исключительного жеребенка. Леда в тот год еще не была больна и хорошо его кормила. Жеребенок был как налитой, превосходно себя чувствовал и под матерью ни разу не был болен. Так прошло лето и наступила осень. Настало время отъема жеребенка. Ловчий перенес отъем превосходно: сейчас же взялся за корм и чувствовал себя хорошо. Весь следующий год он выделялся среди сверстников и был определенно лучшим годовиком. В этот год фуражное положение завода было все же удовлетворительно, а Ловчий еще и подкармливался, так что надо считать, что он рос во вполне приемлемых условиях. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что если бы Ловчий кормился и воспитывался так, как это было принято и установлено в дореволюционное время, то он стал бы еще более костистой и блестящей лошадей. Мысленно сравнивая Ловчего-сосуна первых месяцев жизни с Ловчим-годовиком, я вспоминаю, что в годовалом возрасте он поражал менее, чем под матерью, а стало быть, условия его воспитания не были тогда на должной высоте. К двум годам он нес уже нормальную работу, какую обычно несли все его сверстники в Прилепском заводе. Работать его стал Иван Евгеньевич Марков, когда-то с большим успехом ездивший на расторгувском Пекине. Он первый распознал в Ловчехе будущего рысака высокого класса. Марков мне несколько раз говорил о том, что Ловчий хорошо идет, очень резв и имеет превосходный характер. «Вот увидите, Яков Иванович, что это будет классная лошадь», – убеждал Марков, по своему обыкновению вытягивая голову вперед. Марков был всегда задумчивый и очень молчаливый человек, из которого нельзя было выжать ни слова.

Бывало, спросишь его: «Ну как, Иван Евгеньевич, едет такой-то жеребенок?», а он обычно отвечал: «Ничего!» Я не хотел верить, вернее, боялся верить, чтобы потом не разочароваться, что Ловчий резв и обещает быть классным рысаком. Это было воплощение моей мечты – иметь продолжателя линии, да еще таких форм, какими обладал в то время этот двухлеток. А так как мечты редко сбываются, то я думал, что и этой мечте не суждено осуществиться. Однако на сей раз все, даже самые смелые, предположения должны были в самом недалеком будущем осуществиться, и я это отчасти понял, когда впервые увидел Ловчего на езде.

Стоял тихий, ясный день второй половины февраля, почти без мороза, один из тех дней, что бывают на грани перелома к весне. Обычно после двух-трех таких дней зима возвращается с новой силой: метет и крутит вьюга, подымается пурга, и морозы опять властвуют над землей. Но эта власть ненадолго: пройдет какой-нибудь месяц – и весна окончательно вступит в свои права. В такие безморозные, ясные и чистые дни езда на реке бывает особенно удачной и рысаки обычно бегут резво. Вот в такой-то день я и выехал на реку смотреть Ловчего. Подали большие ковровые сани, запряженные моим любимым пегим воейковским меринком. Кучер Василий плавно тронул от крыльца, и мы выехали на реку. Езда обычно начиналась правее островка, встречая который река образует разветвление и течет дальше по направлению к раевской мельнице, не замерзая в затоне, поэтому по той стороне островка и плотины работа невозможна. Правее же острова удобный подъезд к реке и хорошая прямая, с версту длиной. Эта прямая идет от пиваловских дворов и почти что до Красного хутора, где река вновь круто и резко поворачивает. Зимой, когда все покрыто снегом, горный берег реки с его лесами особенно ярко чернеет среди равнины. Снег блестит и слепит глаза. Ледяная дорожка то оказывается под легким снежным покровом, то освобождается от него и являет собой прозрачную, зеркальную поверхность. Лишь изредка ее разрезают, образуя кресты и полосы, многочисленные трещины.

На реке уже отмечена «дистанция» в четверть версты. Две еловые жерди, обозначая старт и финиш, бросают тень на север. Мы подъезжаем к самому берегу реки и останавливаемся. Вся «четверка» видна как на ладони. Я стою в санях и наблюдаю, как осторожно выезжает на реку Марков на крупном сером рысаке. Это Ловчий, и ему впервые предстоит ехать в присутствии других. Это еще не боевое крещение, но подготовка к нему! Спокойным и уверенным махом проходит Ловчий мимо меня. Я наблюдаю: ход у жеребца верный, мах просторный, но чувствуется, что он еще совсем жеребенок и мало работан. Вот он повернул в обратную сторону, едет опять мимо меня. Я вынимаю часы, проверяю секундомер и с напряженным вниманием слежу за жеребцом: махальный поднял красный флажок, Ловчий поравнялся с ним, флаг «упал», едва донесся тонкий и ободряющий голос наездника – и Ловчий поехал!

Четверть была сделана без 3 1/2. Это очень большая резвость для малоработанного и такого крупного жеребца. Особенно было удивительно, что Ловчий ехал спокойно, без большого напряжения и шел очень устойчивым ходом, что так редко для двухлетка.

Я считаю, что эта езда была первым успехом Ловчего, а следующим стало его появление на Всесоюзной конской выставке. Это случилось осенью того же года и происходило в Москве. Подготовка к выставке заняла много времени. Участие в ней лошадей Прилепского завода было обязательным. Все лошади, которые должны были принять участие в выставке, разделялись на две группы, первая экспонировалась в июле, вторая – в августе. Прилепские лошади должны были участвовать в первую очередь, и сообразно с этим уже 15 мая Ловчий был изъят из тренировки и начал готовиться к выставке, получая только длительные проводки. В последний момент пришлось, однако, распоряжение доставить прилепских лошадей на выставку ко второй очереди. Таким образом, Ловчий до августа вовсе не нес работы, а после

выставки сырым, в выставочном теле, совершенно неподготовленным поступил на тренконюшню в Москве. Тем удивительнее, что он уже в трехлетнем возрасте появился на ипподроме и в состоянии был показать такую резвость, как 1.36 на версту. Ловчий был действительно природным, а не «сделанным» рысаком. Как ни мало обычно работали прилепские рысаки дома, но и среди них Ловчий тренировался меньше других – лишь три месяца, с декабря по февраль, время езды по льду.

На выставке в Москве Ловчий оказался триумфатором. Он конкурировал со всеми лучшими двухлетками республики, в числе коих находились, конечно, и хреновские, и был признан лучшим двухлетком, получил первую премию и золотую медаль – вернее, таковая ему была присуждена, но не выдана, ибо выдача медалей натурой не производилась. Появление Ловчего на выставке вызвало чрезвычайно много разговоров, и имя Прилепского завода в связи с этим склонялось по всем падежам. Ловчий понравился всем и очень большое впечатление произвел на охотников. Высоко оценили Ловчего старые конники, такие как Брусилов, и прежние ремонтеры Транхвилевский, Кузьмин и другие. Они потом говорили мне, что для рысистой лошади Ловчий удивительно сух и правилен. Однако раздавались голоса, правда немногочисленные, которые пытались критиковать Ловчего, утверждая, что это не призовой рысак, а каретная лошадь. Так высказывался, например, некий Смирнов, бездарный ездок, пытавшийся ездить на призах и во время керенщины делавший карьеру. По примеру своего патрона он болтал по целым дням, произносил речи и всех учил. Этот недоучившийся адвокат при большевиках, конечно, сошел со сцены, но вертелся среди лошадиников и иногда получал где-либо временную службу. Так вот, Смирнов звенел по всем углам, что Ловчий – каретная лошадь и что на призу он даже не покажется. Прошло немного времени, и Мир (2.11), Ловчий (2.13), Крестник (2.14), Прохожий (2.15), трехлетки Бубенчик (2.15) и Утёс (2.16) и многие другие блестяще опровергли это дикое мнение и показали, что каретные рысаки умеют так бегать, что иные призовые за ними не попадают в пейс.

Говоря о Ловчем, считаю нужным привести мнение о нем такого выдающегося ученого и знатока лошади, как профессор П. Н. Кулешов. Года через два после выставки Кулешов вместе с Н. В. Лежневым смотрели двух крэков прилепской конюшни – Ловчего и Удачного (2.19). Лежневу больше понравился Удачный, а Кулешов гораздо выше поставил Ловчего, которого признал лошадей замечательной по экстерьеру.

После выставки 1923 года, уже осенью, Ловчий поступил на прилепскую тренконюшню и был взят в работу В. С. Сергеевым, который начинал свою карьеру помощником у П. И. Ситникова, а потом с большим успехом ездил на лошадях Новосильцова. Сергеев очень мягкий и, несомненно, талантливый ездок; к сожалению, его губит любовь к вину и женщинам. Говорили, что как раз в те годы он имел двух жен и сильно пил. Неудивительно, что лошади прилепской конюшни выигрывали тогда мало. Сергеев был плохой хозяин по конюшне, и конюхи распорядились там как у себя дома. Надо, однако, отдать должное Сергееву, он очень внимательно относился к Ловчему, бережно его работал и считал рысаком высокого класса.

Ловчий выступил в трехлетнем возрасте всего четыре или пять раз, причем лишь однажды был вторым, проиграв случайно более тихому сопернику. Его секунды (1.36) хорошо характеризовали трехлетка, и, принимая во внимание, что Ловчий происходил из стайерской семьи и что дистанция одна верста совершенно для него неподходящая, эти секунды следует признать хорошими. В четырехлетнем возрасте он бежал удачно, обратил на себя внимание, имел хорошие броски – и о нем заговорили опытные и знающие спортсмены. Когда же в орловском четырехлетнем призе пришел за монополистой того времени Гичкой вторым, то на него было обращено уже всеобщее внимание. Витт горячо и сердечно меня поздравлял. Незадолго до бега с Гичкой Ловчий в деннике разбил себе ногу, ободрал скакательный сустав и после

этого с месяц лечился. На приз он вышел неподготовленным, тем не менее приехал в 2.19. Следовало спокойно и систематически тренировать Ловчего, и Сергеев для этого был вполне подходящим наездником. Надо было подождать, чтобы Ловчий сформировался, окреп, так сказать, созрел, и только тогда следовало потянуть его. Все это я прекрасно сознавал, но боялся, что из-за беспорядков в конюшне все, что наработает Сергеев, может в один день, в один час пойти насмарку из-за недосмотра. Тем не менее я оставил Ловчего у Сергеева, убедительно его просил смотреть за жеребцом как за родным отцом, сам назначил Григория Доильнева к нему конюхом и уехал в Прилепы. Месяца через полтора после этого узнаю, что с Ловчим опять неблагополучно: он вновь искалечился в деннике, попав в решетку. Это было ночью. Дежурный спал, и Ловчий сам освободился. Как он не поломал ногу или не порвал сухожилий – одному Богу известно! После этого я решил взять Ловчего от Сергеева и передать его в такую конюшню, где порядки были образцовые.

Иногда на меня имел влияние Крымзенков, и он начал агитировать, чтобы я отдал Ловчего в аренду. Я знал, что у Родзевича блестящие порядки на конюшне, что он сам живет в том же дворе, что подбор конюхов у него очень хороший и, наконец, что последние два сезона сам Родзевич был в блестящей форме и с исключительным успехом ездил на призах. В каждом сезоне на Московском ипподроме рождается новое словцо, которое становится модным. Это нечто вроде хлопковского «жемса» из тургеневской «Лебедяни». Так вот, последние два сезона в Москве таким модным словцом было «с ножа». На каждом шагу повторялось, что Родзевич берет призы «с ножа». Крымзенков, агитируя меня, не преминул несколько раз повторить, что Родзевич берет призы «с ножа» и сейчас не имеет конкурентов. Он меня усиленно убеждал отдать Ловчего Родзевичу, и по многим основаниям эта идея мне нравилась. Прежде всего я знал, что при тех образцовых порядках, что царят на конюшне Родзевича, Ловчий будет застрахован от случайностей и недосмотра, а это было самое главное. Кроме того, я глубоко уважал старика Родзевича и мне было приятно отдать Ловчего в руки его сына. Таким образом, агитация Крымзенкова падала на подготовленную почву, и если я колебался, то лишь потому, что боялся «сердца» самого Родзевича. Его боевая езда, езда «с ножа», мало подходила для Ловчего, которого надо было подвести к призам постепенно. Но я думал, что мне удастся убедить Родзевича применить к этой лошади другие приемы езды. Это было величайшее мое заблуждение. В глазах Родзевича я сам как спортсмен не пользовался авторитетом, и в душе он, конечно, полагал, что «ученого учить – только портить». А потому и мои просьбы не нашли отклика в его душе. Как человек воспитанный, он меня выслушал, сказал, что примет во внимание мои слова, но просит предоставить ему полную свободу работать Ловчего так, как он находит нужным. Это было равносильно отказу, но дело зашло уже слишком далеко, и я решил передать Ловчего Родзевичу.

На следующий день были исполнены все формальности в отделе коннозаводства, а еще через день я вместе с Родзевичем приехал на конюшню передавать лошадь. Для Сергеева это был большой удар, он имел вид человека, опущенного в воду. Крымзенков присутствовал тут же и угощал нас шоколадом. Вывели Ловчего. Нога его была не в порядке, и Родзевич долго ее рассматривал, после чего негромко сказал мне: «Ну что же, можно его вести на Верхнюю Масловку» (так называлась улица, где находилась конюшня Родзевича). Я сказал Сергееву, что лошадь передаю Родзевичу, велел Доильневу вести жеребца, а управляющему тренконюшнями Кученеву передал официальную бумагу и просил исполнить формальности. Доильнев и еще два конюха повели Ловчего. Когда его уводили, у Сергеева показались слезы на глазах. Родзевич был смущен, он сел на свою городскую качалку и шагом поехал за Ловчим. На меня эта сцена произвела очень тяжелое впечатление: я жалел Сергеева, и мне было больно сознавать, что я его

так огорчил. Я простился с ним и долго шел аллеями Петроградского шоссе, размышляя о том, хорошо ли я поступил...

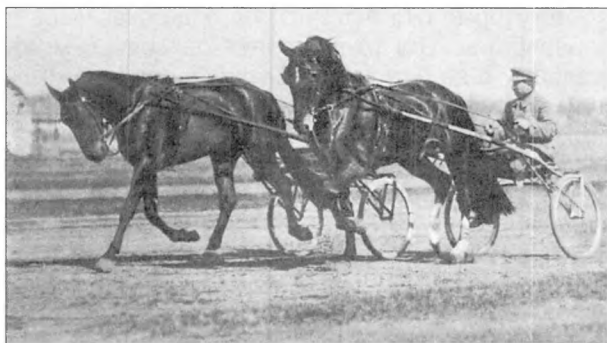
Родзевич принял Ловчего, если память мне не изменяет, в конце сентября и начал его работать. Жеребец шел замечательно и подавал самые блестящие надежды. На конюшне все обстояло благополучно, Ловчий выглядел превосходно. По мнению Родзевича, он имел верные шансы побить орловский четырехлетний рекорд. Было решено, что Ловчий будет в сезоне осторожно эксплуатироваться, а в начале марта выступит на рекорд, как сделал это в свое время великий Крепыш. Сообразно с этими планами и велась работа. Однако им не суждено было осуществиться, ибо в том году Пейч передвинул предельный срок для побития рекорда четырехлеток с 31 марта на 31 декабря. Эта ничем не оправданная мера вызвала тогда всеобщее возмущение, но Пейч, как всегда, сумел настоять на своем, поскольку это ущемляло

интересы орловского рысака. Я был согласен с Родзевичем, что бить рекорд необходимо, что следует рискнуть и повести подготовку форсированным темпом. Итак, перед Ловчим встала чрезвычайно трудная задача – готовиться к рекорду в октябре и ноябре (месяцы эти по своим климатическим условиям и состоянию дорожки наименее благоприятны для подобной подготовки). Словом, Ловчий должен был побить рекорд при таких условиях, при каких до него не бил этого рекорда ни один четырехлетний орловский рысак. Я присутствовал на бегу, когда Ловчий сделал первую попытку побить рекорд по очень жесткой дорожке и при довольно ветреной погоде. Эта езда была неудачной, зато в следующий раз Ловчий блестяще справился с задачей и побил рекорд на $2\frac{1}{4}$ секунды, придя в 2.15. Если при этом принять во внимание, что дул хотя и незначительный, но все же северный ветер, а дорожка была не подготовлена, то подвиг Ловчего заслуживает величайшей похвалы. Силантьев, который ведал на бегу дорожкой, когда я на другой день упрекнул его в том, что он не потрудился приготовить ее как следует, тогда как для рекордов метисов ее чуть ли не языком вылизывают, сказал, что ему было отдано распоряжение не очень-то стараться, так как Ловчий все равно рекорд не побьет. «Кто же вам отдал такое возмутительное распоряжение?!» Силантьев замаялся и уклонился от ответа. Было ясно, что подобное указание мог дать только тот, кто распоряжается технической частью, то есть А. Н. Пейч.

Когда Ловчий ехал во второй раз и так блестяще побил рекорд, я на бегу не присутствовал. Глаз у меня скверный, да и предстояло чересчур большое волнение,



Утро на бегах. Метут дорожку



Трютят

поэтому я предпочел дожидаться результата у себя в гостинице. В это время у меня сидел Л. М. Повзнер, и мы, конечно, говорили о рекорде. Мой номер был так близко от телефона, что звонки были слышны и сильно меня беспокоили. Однако на этот раз я ждал звонка с напряжением и, когда он раздался, хотел устремиться к телефону, но Повзнер предупредил меня и первым поздравил с блестящим рекордом. Мы быстро собрались и поехали на бег. Там, как это всегда бывает в таких случаях, царил приподнятая атмосфера. Меня горячо, хотя едва ли искренне поздравляли.

Через несколько дней после рекорда Родзевич пригласил меня и нескольких моих приятелей отобедать и посмотреть Ловчегу на выводке. Были Бакулин, Повзнер, Алексеев, Крымзенков, Рабинович (до революции охотившийся на щёкинских лошадях) и я. Ловчегу нам показали на дворе: он выглядел бодро и произвел на всех исключительное впечатление. Особенно был поражен Повзнер, который, как охотник до бельгийцев, не представлял себе, что русская лошадь может быть так правильна и хороша. Обед прошел очень весело и оживленно. Было немало интересных разговоров и самых радужных надежд. Поздравляли Родзевича, меня, пили за наше здоровье и здоровье виновника торжества – самого Ловчегу, который в то время, вероятно, спокойно дремал в своем деннике.

Некоторые считают, что эта езда оказалась для Ловчегу роковой и что он был переработан. Эту точку зрения разделяет, между прочим, и Витт. Однако с этим взглядом я не согласен. Ловчий был действительно переработан, но позднее. Лучшим доказательством служит то, что через неделю после рекорда Ловчий ехал на приз высших групп произвольно, кончил буквально махом, а секундомер показал резвость 2.19. За этим бегом я наблюдал вместе с Пейчем из большой ложи, что по левую сторону от судейской. Пейч был поражен стилем бега, высказал мне это откровенно и добавил, что увиденный бег по стилю виигрыша выше рекорда! Родзевич, который знал истинный класс Ловчегу, так им увлекся, что переоценил силы жеребца. Вскоре после этой езды он дал Ловчегу очень тяжелую работу. Ловчий шел замечательно и показал чудеса резвости. Вот эта-то работа и оказалась роковой, чересчур «ударной», после нее он действительно потерял формы.

Вскоре после своей знаменитой поездки Ловчий был еще в состоянии выступить на приз, и хотя с большим трудом, но выиграл его. Однако это был уже не прежний Ловчий: исчезли его свободные, непринужденные движения, исчез стиль бега, и погибло сердце... Об этом беге я получил известие уже в Прилепах и сейчас же написал Родзевичу письмо, прося изъять Ловчегу из тренинга и дать жеребцу полный отдых. Родзевич на меня обиделся, он не хотел верить в роковые последствия своей столь неосторожной работы. После этого Ловчий сделал одно или два бесславных выступления и так пошел назад, что Родзевич уже сам не записывал его на приз. Карьера Ловчегу была прервана надолго. Ловчий остался у Родзевича и весной должен был покрыть трех кобыл. Полагаю, что Родзевич в душе еще лелеял надежду воскресить жеребца.

Я был чрезвычайно встревожен случившимся. На бегу тем временем враги Прилепского завода и орловского рысака злорадствовали, а наиболее умные из них вздохнули облегченно: сошел со сцены орловский рысак исключительного дарования, громадный талант, лошадь, начинавшая завоевывать общие симпатии, вокруг которой уже создавался известный ореол и которая воскрешала давно забытую и страшную тень великого Крепыша!

Не могу сказать, как работал и работал ли Родзевич Ловчегу в те несколько месяцев, когда этот жеребец не выступал, но находился у него на конюшне. Мне лишь известно, что весной Ловчий покрыл трех кобыл, приведенных из заводов Московской губернии. В начале или в середине июля Ловчий пришел в Прилепы. Я тогда уже не управлял заводом, сдав бразды правления Владыкину. Однако когда привели Ловчегу, я пошел его посмотреть. С ним пришел Григорий Доильнев,

к которому Ловчий очень привык. Ловчий имел неприятный, скажу откровенно, жалкий вид. Куда девалась мускулатура и такой спокойный и ясный взгляд? Я разговорился с Доильневым, и он мне откровенно рассказал, что все на конюшне считали ошибкой ту тяжелую работу и резвую прикидку, которую сделал Родзевич вскоре после рекорда. После нее Ловчий стал совсем другой лошадей, вялой и апатичной.

И вот Ловчий снова в Прилепах, откуда ушел двухлетком на выставку два с половиной года назад. Вернулся он уже взрослым жеребцом, с ореолом пострадавшей знаменитости. Владыкин оставил его в Прилепах. Дня через три после прихода Ловчего из Москвы приехал П. Ф. Добрынин. Владыкин решил купать жеребца, но я усомнился, что это будет полезно жеребцу с ослабевшим сердцем. Владыкин, будучи, как все выскочки, чрезвычайно самонадеянным человеком, ответил только, что «это будет прекрасно». На третий день после прихода Ловчего в Прилепы состоялось первое купание, которое едва не окончилось катастрофой. Купание было обставлено торжественно: Владыкин любил помпу, так как в сильнейшей степени страдал манией величия. И вот Владыкин в сопровождении Добрынина и двух «помов» – Самарина и Рутченко – торжественно отправился на реку. Я, конечно, не пошел. Ловчего вели Филипп Левин и Доильнев. Само собой разумеется, что площадки для купания не было. Жеребца ввели в воду и пустили на длинной вожже, думая, что он сам начнет плавать, описывая круги, как болонка на прогулке. Однако Ловчий не понимал, что от него требуют, и стоял в воде. Все начальство вместе с гостем находилось на берегу. «Почему он не плавает? – раздался пискливый голос Владыкина. – Какая странная лошадь!.. У меня в Смоленске метисы – те сами плавали!» Начальство стало сердиться, а Ловчий все стоял и стоял. Тогда в него полетели камешки, раздалось подбадривающие голоса. Левин и Доильнев приняли участие в этом понукании. Ловчий поплыл, а затем стал кружиться на месте и, как лошадь очень массивная, возможно, от неловкого движения вожжи оступился и чуть не утонул. Потом оправился, но плыть на вожже далеко не смог и опять закружился на месте. Компания на берегу изрядно струхнула. Владыкин покраснел как рак – и такое с ним случалось каждый раз, когда он сердился. Кое-как Ловчий вылез на берег, но стоял уже на трех ногах. Безо всякой помпы вернулся Владыкин со своими «помами» и гостем домой, а Ловчего приволокли в конюшню. Он не ступал на ногу, а к вечеру случился жар и образовалась сильнейшая опухоль в области окорока. Так плачевно окончилось это первое купание, так начался отдых и приведение в порядок Ловчего. Владыкин был очень встревожен, послал за ветеринаром. С месяц, если не больше, Ловчий был в опасности. Тогда все, не исключая ветврача Троицкого, считали, что его карьера призового рысака окончена навсегда. Придя вечером на конюшню, я узнал от Левина все подробности этого несчастного купания.

Ловчий поправлялся медленно и очень страдал, он исхудал и выглядел отвратительно. Однако могучий организм жеребца взял верх над болезнью, и через месяц или полтора он был отправлен в Фатеево, где находились лошади завода, состоявшие в тренировке. Там он поступил в езду к Л. Е. Хосроеву, которого Владыкин пригласил из Смоленска и поставил во главе тренерского дела в Прилепском заводе. Хосроев начал работать жеребца, а уже в сентябре заговорили об отправке его в Москву. Это была более чем скоропалительная подготовка, и я ни одной минуты не сомневался, что вся эта работа ничего, кроме вреда, не принесет. Владыкин полагал, что в Москве Ловчий окончательно придет в себя и с середины зимы примет участие в испытаниях.

Владыкин приехал в Прилепы с репутацией хорошего знатока работы молодежи и вообще подготовки и тренировки рысака. Этим объясняли успех на ипподроме питомцев смоленских заводов. Неудивительно поэтому, что, вступив в должность управляющего, он сейчас же принялся за реформы. В Прилепах во главе тренерского

дела был поставлен Хосроев, и я признаю, что это был удачный выбор: молодежь начали систематически работать, чего не было ранее. Зато перемена ездока, которую произвел Владыкин на тренконюшне в Москве, оказалась крайне неудачной. В то время там служил знаменитый наездник С. В. Ляпунов, который принял конюшню в разбитом состоянии, кое-как привел ее в порядок, и лошади недурно побежали. Если бы Владыкин оставил Ляпунова и послал ему осенью молодежь, не подлежит никакому сомнению, что Ляпунов не спеша подготовил бы ее и вернул конюшне ту славу, которую она переживала во времена Леонарда Ратомского. Однако Ляпунов был моим ставленником, и Владыкин не мог с этим примириться.

Само собой разумеется, что Владыкин мог переменить наездника, но сделал он это настолько некорректно, что я лишь развел руками. В это время я был в Москве, приехал туда и Владыкин. Этот приезд совпал с днем именин Ляпунова, и он пригласил Владыкина и меня к себе на пирог. Я принял приглашение, принял его и Владыкин. Весь вечер мы очень мило провели у Ляпунова. Каково же было мое удивление, когда на другой день я узнал, что Владыкин, даже не переговорив с Ляпуновым, уволил его и назначил наездником Дмитричева. Лошади пошли хуже, и конюшня стала сходить на нет. Владыкин нервничал, бранил прилепских лошадей и на них свалил всю вину. Дмитричев прослужил около года и ушел при следующем и последнем управляющем заводом Повзнере.



С. В. Ляпунов

Дня за два до отправки Ловчего в Москву приехал к Владыкину его приятель, наездник Ситников. Они смотрели Ловчего на езде и решили, что жеребца не только можно, но и следует тренировать. Я видел эту езду, и она не произвела на меня никакого впечатления: конечно, на полуверстном ипподроме Ловчий имел вид гиганта и его мах поражал, но это была мертвая лошадь. В Москве жеребец поступил к Дмитричеву. Это были уже четвертые руки, которые менял жеребец и которые решительно ничего с ним сделать не могли.

Следующим этапом в жизни Ловчего было его второе возвращение в Прилепы, сейчас же после ухода Владыкина. В декабре 1927-го или в январе 1928 года завод принял Повзнер и по моему совету сейчас же взял Ловчего в Прилепы. Это было разумно и необходимо: надлежало прежде всего прекратить издевательство над жеребцом, а кроме того, он был нужен в заводе как производитель, ибо Владыкин оставил Прилепы без заводчика. Когда Ловчий пришел в Прилепы, я вместе с Повзнером осмотрел его и мы решили: все, в чем нуждается сейчас этот жеребец, — чтобы его оставили в покое. Так и было решено. Ловчий ушел в Сергиево, где стояли матки. Он был вверен Кралу и вскоре начал случной сезон. Медленно и постепенно отходил жеребец, но все же оставался чрезвычайно вял, а его мускулатура имела жалкий вид. Только через полгода в Фатеево на нем стал ездить Хосроев. Я просил его не резвить, а спокойно и методически готовить лошадь. Хосроев, вполне со мной согласившись, так и повел дело.

Над Ловчим необходимо было упорно и систематически работать, проявляя максимум осторожности и внимания, поставив его в идеальные условия конюшенного ухода. Я часто бывал на конюшне Н. Р. Семичева, знал порядки этой конюшни, знал хорошо и Семичева как человека терпеливого, выдержанного, настойчивого и при

этом чрезвычайно талантливого. Его особенностью как тренера было умение постепенно доводить лошадь до высшей формы и при этом держать ее в теле почти что выставочном. Во всем этом нуждался Ловчий, и я решил передать его Семичеву. Повзнер не возражал, и я поехал в Москву, чтобы переговорить с Николаем Романовичем. Признаюсь откровенно, что он безо всякого энтузиазма встретил мое предложение, ибо прекрасно понимал, какая трудная задача предстоит. Взять Ловчего заглазно он категорически отказался, и мы условились, что он приедет в Прилепы, чтобы осмотреть жеребца. На Семичева Ловчий произвел удивительное впечатление, но он мялся и все не решался дать согласие. Оказалось, что он боялся Пейча. Пейч не любит, когда какие-либо перегруппировки лошадей происходят без его ведома. Потребовалось мое слово, что я буду защищать Семичева в случае надобности, и тогда Николай Романович согласился.

После дерби 1928 года Дмитричеву было объявлено, что Ловчий поступает к Семичеву. На другой день тот заявил о своем уходе. В середине сезона все наездники были на местах, но Пейч выдвинул и провел на должность наездника прилепской тренконюшни Стенина, бездарного ездока, живодера и форменного погонялку. Тем самым Пейч окончательно угробил прилепскую конюшню и сделал это сознательно. Дмитричеву Пейч обещал всяческую поддержку и сейчас же устроил его в МОЗО. Семичев был всем этим, конечно, встревожен, и я с трудом его успокоил. Хотя ценой многих волнений, но я добился своего: Ловчий поступил к Семичеву и через каких-нибудь полгода выиграл четыре рядовых приза, а еще через полгода пришел в такой порядок, нашел такие формы, что сделал ряд бегов в 2.15 и закончил сезон, установив новый для себя рекорд 2.13! Это было уже тогда, когда Прилепский завод был расформирован, я пал жертвой борьбы за него и находился в тюрьме, а сам Ловчий перешел в собственность Хреновой. Отдадим должное Пуксингу: приняв Ловчего, он не нарушил моего плана и оставил жеребца в езде у Семичева. Удивляться такому поступку со стороны Пуксинга не приходится: Пуксинг, конечно, не Владыкин, не выскочка и самодур, а реально знающий и понимающий коннозаводское дело человек.

Прежде чем подвести итоги сказанному и дать оценку истинного класса Ловчего, я считаю своим долгом принести мою глубокую и сердечнейшую благодарность Николаю Романовичу Семичеву, который воскресил Ловчего и тем самым сослужил немалую службу орловскому рысаку.

Переходя к оценке класса Ловчего, я сперва скажу, что 2.13, по моему мнению, отнюдь не предельная резвость этого жеребца. Определяя класс этой лошади, необходимо иметь в виду следующие отрицательные моменты в его подготовке и тренировке:

1. До поступления на тренконюшню в Москве, то есть до двух с половиной лет, Ловчий нес очень небольшую работу и затем имел перерыв в ней с мая по октябрь, ибо готовился к выставке 1923 года.

2. Находясь в тренировке у Сергеева, он был поставлен в малоблагоприятные условия конюшенной жизни и дважды получил увечье.

3. Находясь у Родзевича, был переработан.

4. Едва не погиб во время «экспериментального» купания летом 1927 года, после чего опять стоял полтора месяца с повреждением костреца.

5. Преждевременно был отдан Владыкиным в работу.

Все это такие существенные минусы, что приходится удивляться, как Ловчий вообще смог проявить свой высокий класс. Я считаю, что при благоприятных условиях сын Кронпринца и Леды должен был показать секунды, близкие к рекорду орловского рысака.

Происхождение Ловчего заслуживает самого внимательного изучения. Ловчий – сын Кронпринца, стало быть, принадлежит к славной линии Лебеда 4-го. Мать Лов-

чего Леда была дочерью Громадного и Летуньи. Леда родилась в 1913 году и принадлежала к той рекордной ставке, которую я продал за баснословную цену паточному королю Понизовкину. Я очень высоко ценил Леду, а потому при продаже ставки выговорил ее возвращение в завод после призовой карьеры. При рождении Леда была светло-серой масти, очень крупной, но узкой и высокой на ногах кобылкой, поэтому она не нравилась ни моему управляющему Ситникову, ни маточнику Андрею Ивановичу. Однако я с ними не соглашался. Леда принадлежала к той категории дочерей Громадного, которые в молодых годах и в тренированном теле были высоки на ногах, узки и беднокостны, но с годами становились первоклассными кобылами, а поступив в матки, превращались в идеальных кобыл. Откуда что бралось? Откуда появлялась кость, глубина и ширина? Просто диву даешься и не веришь глазам своим!

Итак, вплоть до самого своего ухода в Москву Леда не обращала на себя внимания посетителей моего завода. В Москве она также не понравилась понизовкинскому наезднику Гусакову и была отнесена к числу наименее интересных кобыл. Через год я смотрел ее на выводке у Гусакова, и Леда произвела на меня неважное впечатление. Она выросла, но мало раздалась, а главное, не имела вида уже работанной лошади. Гусаков мне объяснил, что она нерезва и потому он просит разрешения отправить ее в завод. В то время Понизовкин покупал резвейших лошадей направо и налево, и Гусаков был буквально завален ими. Ясно, что он не имел ни времени, ни охоты заниматься с молодыми лошадьми, когда его конюшня была переполнена резвачами, на которых можно было ехать прямо на приз. Продать Леду он не имел права по условию, а потому и решил поскорее вернуть ее мне. Я прекрасно его понял, однако это не отвечало моим интересам, и я просил на полгода-год оставить кобылу в работе. Просьба моя была удовлетворена, и Леда осталась на конюшне Понизовкина. Гусаков с ней не занимался, а ездили ее только конюхи (подчеркиваю – ездили, а не работали). Леда, дочь Громадного, внучка Летучего, типичная кобыла своей линии, едва ли обладала большой резвостью, вернее, эту резвость было очень трудно выявить. Кроме того, она, как позднеспелая и крупная лошадь, менее всего была подготовлена к состязанию в трехлетнем возрасте, а потому вернулась в Прилепы без рекорда.

Появление Леды в Прилепах совпало с началом революции. В эти годы было очень тяжело жить, в особенности тяжело вести завод. Неудивительно поэтому, что Леду никто не знал, ибо никто тогда уже не посещал заводов. А тем временем Леда превратилась в исключительную по своей красоте ослепительно белую кобылу. У нее была большая, но чрезвычайно выразительная голова, ярко выраженный лебединая шея. Небольшая гривка и такая же челка. Идеальная спина. Образцовый круп, а с ним и вся верхняя линия. Она стала глубока и широка. Ноги имела сухие, правильные, костистые и фризистые. Леда была, несомненно, лучшей по себе кобылой, родившейся у меня в заводе. У нее было много общих черт с отцом и меньше с матерью. Сравнивая ее с лучшими по себе кобылами в наших рысистых заводах – Молодостью Телегина, дубровской Залётной, Чудачкой Куприянова, Зорькой Малютина, Мельницей Лейхтенбергского, Потерей и Мегерой Коноплина, моими Ласточкой и Летуньей, хреновскими Вихрастой, Лаской и Восточной, – чистосердечно скажу, что ни одной из них Леда не уступила бы по красоте, типу и породности. Тульские охотники имели возможность познакомиться с Ледой на первой революционной конской выставке, что была мною устроена осенью 1920 года в Туле. Леда произвела тогда на всех потрясающее впечатление и была премирована высшей наградой – Большой золотой медалью. Весьма кстати будет привести здесь мнение о ней Д. Н. Волкова, председателя тульской зоотехнической комиссии и заведующего отделом животноводства губернии. Волков разбирался в рысистых лошадях и хорошо знал воронцовский завод, так как служил в саратовском имении графа. Увидев

Леду, он мне сказал: «Какая замечательная кобыла! Таких я видал только в Новотомникове». О том впечатлении, которое произвели на Э. Ф. Ратомского Ненависть и главным образом Леда, я уже рассказал, описывая приплод Нирваны. Из прежних коннозаводчиков Леду видел один только Шнейдер: он служил тогда в коннозаводском ведомстве и приехал в Прилепы на ревизию. После осмотра производителей и ставочных лошадей надо было ехать в табун. Меня задержали приехавшие из Тулы комиссары, и Шнейдер отправился один. Вернувшись из табуна, он прошел прямо ко мне в кабинет. «Ну, какое впечатление произвел на вас табун?» – спросил я его. «Хорошее, но далеко не то, что было раньше, до революции. Зато у вас есть одна такая кобыла, какой у вас и до революции не было. Это Леда. Лучшей кобылы я и не видывал!» Леда произвела на Шнейдера такое впечатление, что он несколько раз принимался говорить о ней и все ею восхищался. Позднее он прислал мне из Москвы письмо, где опять писал о Леде.

Фотографических портретов Леды не сохранилось, так как в те годы Алексеев не приезжал ко мне. Единственное имеющееся изображение Леды – ее портрет, написанный известным художником Туржанским, учеником Серова. Портрет этот сейчас находится в коннозаводском музее. К сожалению, Туржанский не присяжный лошадиный портретист. Поэтому он не считал для себя обязательным фотографически точно передать облик кобылы, а больше заботился об общем впечатлении и чисто красочных эффектах. На его портрете Леда грубее, чем была в действительности, но общее впечатление схвачено верно.

Заводская карьера Леды началась рано, когда ей исполнилось четыре года. Уже тогда я высоко ценил Леду и послал ее на случку под Кота, который в то время принадлежал Управлению государственного коннозаводства и был на пункте у пензенского коннозаводчика Н. А. Арапова, моего приятеля. От этой случки родился белый Лаврецкий, который был замечательным жеребенком. К сожалению, у него был такой темперамент, что однажды, влетев за матерью в денник, он так ушибся, что навсегда остался калекой. Ему вообще в жизни не везло. Когда жеребцу было два года, конюх, желая отомстить Ратомскому, ночью ткнул Лаврецкому в брюхо тройчатку, на которой обычно висело мясо. Наутро тройчатку вынули, но Лаврецкий едва выжил и долго болел. Последнее несчастье случилось с ним в Тульской заводской конюшне, куда он поступил. В одной из коммун Лаврецкий заразился подседалом. Был ли он после этого уничтожен или же его подлечили, я не помню. Лаврецкий был резв и даже бежал в Туле.

После Лаврецкого Леда прохолостела, а потом дала подряд Леонарда, Ловчего и Лебеденка.

Заводская деятельность Леды:

1918 год – белый жеребец Лаврецкий от Кота.

1919 год – холоста от Кронпринца.

1920 год – серый жеребец Леонард (2.22) от Кронпринца.

1921 год – белый жеребец Ловчий (2.13) от него же.

1922 год – серый жеребец Лебеденок (2.22) от него же.

Леда пала в июне 1922 года в возрасте девяти лет. Ее заводская карьера показывает, что это была выдающаяся заводская матка. Она дала всего лишь четырех жеребят, причем среди них один оказался рекордистом, двое были близки к 2.20 и один бежал. Не подлежит никакому сомнению, что, если бы Леда не пала и позднее была случена с Эльборусом и другими жеребцами, она стала бы одной из знаменитейших кобыл современности.

Гибель Леды была истинным несчастьем не только для Прилепского завода, но и для всего орловского коннозаводства. Смерть подкралась к ней неожиданно.

В мае я заметил, что Леда начала заметно худеть, хотя при этом по-прежнему хорошо проедала корм. Андрей Иванович меня успокоил, но ненадолго. Вскоре у Леды появился кашель и истечение из носа, правда очень незначительное. Еще через несколько дней полость носа воспалилась, глаз помутнел и кобыла начала явно жаловаться на боли в голове: поворачивала ее набок. Положение стало серьезным. Ветеринар, который лечил Леду, не мог определить болезнь и говорил, что все пройдет. Однако Леда таяла не по дням, а по часам. Последние три дня она невыносимо страдала. Я ясно видел, что ее дни сочтены. Леда почти не вставала, лежала, вытянув шею и откинув голову назад. Она умерла от мозговой болезни. Потом ветеринар определил, что это якобы был пироплазмоз. Последние три дня я почти не покидал Леду, подолгу стоял у нее в деннике. Изредка кобыла приподымала голову, смотрела на меня своим громадным страдающим глазом и как бы просила помощи. Это была тяжелая картина, я никогда не забуду этих последних часов жизни Леды...

Она была дочерью Громадного и Летуньи. Летунья была выставочной, совершенно замечательной кобылой и получила на всероссийской выставке 1910 года в моей группе кобыл золотую медаль и ценный кубок «За лучшее гнездо орловских маток на выставке». Из всех своих кобыл Летунью и Ласточку я, пожалуй, любил больше других. Не я один был высокого мнения о Летунье, другие охотники, например Малютин, Штейнгель, Расторгуев и Витт, восторгались ею и высоко ее ценили.

Ловчий является продуктом классической встречи линий Лебеда 4-го и Полкана 3-го. Старая школа генеалогов именно так рассматривает педигри Ловчего, и я, как один из оставшихся в живых представителей старой школы, всецело к этому присоединяюсь. Затем обращает на себя внимание вхождение в родословную Ловчего целого ряда победителей Императорского приза, чем не могут похвастаться другие современные рысаки. В родословной Ловчего таких победителей 23, и я думаю, что это рекордная цифра.

Не меньшее внимание должно быть уделено тому обстоятельству, что в родословную Ловчего входят также имена многих исторических и знаменитых кобыл. Приведу некоторые по памяти, без заводских книг.

1. Крутая – мать Крутого и Кота М. И. Бутовича (не смешивать с Котом Я. И. Бутовича).

2. Метла – мать Крутого 2-го, Сорванца (5.14), Резвого (5.18) и других.

3. Розалия, дочь Персиянки, – мать Любимца, основавшего свою линию (Обидчик – Залихватский).

4. Небось (5.42) – бабка Нежданного.

5. Самка – мать Похвального (Императорский приз).

6. Заметная – родная сестра Тёлки, из семьи которой происходит Потеря Афанасьева, и мать Бабы-Яги.

7. Баба-Яга – мать знаменитых Барышни и Буянки (5.19).

8. Буянка – мать Недотрога (Императорский приз) и Небывалой (4.51).

9. Пеструха – мать Любезного.

10. Краса (Императорский приз) – мать Литого.

11. Искра – мать Кометы (5.27) и бабка знаменитой заводской матки Дружбы.

12. Каша – мать Кота, Кронпринца, Клеопатры (1.37), Креолки (2.21) и прабабка Крестника (2.14).

13. Ладья – мать Летучего (Императорский приз) и бабка Лубка, отца Милорда (2.13).

14. Громада – мать дербиста Горыныча, Громадного (Императорский приз), Голиафа (4.43), Гагары (1.40).

15. Гроза 2-я (5.17) – мать Грозного (4.47) и Громады.

16. Буянка – одна из родоначальниц у князя Черкасского и основательница знаменитого женского семейства.

17. Упорная (5.52) – мать Удалого и Удалой, от которой Узелок 2-й (2.18).

18. Добрыня – мать Дара.

19. Нарва – знаменитая родоначальница в заводе Петрово-Соловова.

20. Небывалая – знаменитая родоначальница в заводе Петрово-Соловова.

21. Леда – мать Ловчего.

22. Ласка – мать Летуньи (2.22).

23. Луна – знаменитая заводская матка у Воронцова-Дашкова.

24. Добрая – знаменитая заводская матка у Воронцова-Дашкова.

Этот список можно было бы еще продолжать, но и те имена, которые приведены, хорошо иллюстрируют мои слова.

Очень также важно, что из числа ближайших предков отца Ловчего Кронпринца многие обладали выставочными формами. Хотя Кронпринц и не принадлежал к числу патентованных красавцев, но был настолько сух, породен и блесток, что получил золотую медаль на выставке в Одессе. Оба прадеда Кронпринца – Крутой 2-й и Похвальный – также были превосходными по себе лошадьми. Мать Кронпринца Каша была во всех отношениях замечательной кобылой. Однажды она была на очередной аукционной выставке в Москве и получила золотую медаль. Ее отец Литой, судя по его портрету, который я видел у П. Г. Миндовского, был превосходной по себе лошадью. То же следует сказать и про его отца Любезного. Краса, мать Литого, была выставочной кобылой, и не только Каша, но и другие ее внучки – и Природа, и Клевета – очень напоминают Красу. О формах Красы следует судить по ее фотографии, а не по портрету этой кобылы кисти Сверчкова, где она изображена на ходу. Ход Красы был низкий, ползучий и не нравился зрителям. Из двух ее внуков, Кота и Кронпринца, первый имел именно такой ход. На портрете Сверчкова идеально переданы движения Красы, но судить о ее формах следует по фотографии. Я не хочу этим сказать, что Сверчков не улавливал сходства. Отнюдь нет, он обладал совершеннейшим глазом художника и знатока лошади, но известно, что лошадь на ходу и лошадь на выводке часто две разные лошади. Лучшим примером тому служит хреновской Магнит – красавец, когда ехал, и козел, когда стоял на выводке!

Мать Ловчего Леда и его бабка Летунья были совершенно исключительными по себе. Бабка Леды Луна и вся цепь этой женской семьи – превосходные кобылы, об этом я сужу на основании редкого воронцовского альбома, который когда-то принадлежал мне, но где он находится сейчас – неизвестно. Отец Леды и, стало быть, дед Ловчего Громадный получил царский подарок – высшую награду, которая когда-либо принадлежала в России жеребцу. Его отец Летучий тоже был очень хорош. Громада также была премирована. Удалой был высоко оценен экспертами на всероссийской выставке 1875 года. Что же касается Грозы 2-й, старой Грозы и старой Буянки (женская линия Громады), то это были патентованные красавицы, о чем я сужу и со слов Н. П. Малютина, Д. Д. Оболенского, и по фотографиям, и по одному портрету Сверчкова – портрету Буянки.

Итак, из обладателей тридцати имен четырехколенной родословной Ловчего восемнадцать были либо выставочными лошадьми, либо могли получить премии на выставках. Восемнадцать из тридцати – это исключительно высокий процент!

Наконец, последняя особенность родословной Ловчего, которая мне особенно приятна, – это полное отсутствие в ней имен Булатной, Леска, Корешка, Пройды, Варвара-Железного и Вармика! В. О. Витт отметил это в своей интересной статье о Ловчем. Эта особенность родословной Ловчего действительно заслуживает серьезнейшего внимания и показывает, что при умении можно создавать рысаков высокого класса и не прибегая к трем модным линиям. Это тем более важно, что представители модных линий, на которых была сделана ставка в послереволюционном

коннозаводстве, заполнив своими именами решительно все заводы, кроме Прилеп, так и не смогли дать ни одной истинно первоклассной лошади! Зато ухудшили формы, рост и тип орловского рысака. Ловчий появился вовремя и словно для того, чтобы предостеречь увлекающихся и многим открыть глаза. Витт понял это раньше других и не побоялся отметить это в печати, несмотря на то что еще не так давно сам всячески пропагандировал Лесков, Корешков и Вармиков. Осознать свою ошибку – это почти поправить ее...

Экстерьер Ловчего настолько замечателен, что на нем следует остановиться подробно. Благодаря данным статьи Витта я имею возможность привести промеры Ловчего: высота в холке 168 см, косая длина 171 см, обхват груди 184 см, глубина груди 74 см, ширина груди 45 см, ширина крупа 57 см и обхват пасти 22 см. Витт весьма удачно заметил, что Ловчий по своему «калибру» рысак исключительный. Как-то вскоре после того, как Ловчий побил рекорд, Пейч протянул мне листок с его промерами и сказал: «Знаете ли, что это рекордные промеры рысака на нашем ипподроме?!» Весьма любопытно было бы узнать, остались ли они таковыми по сей день.

Ловчий белой масти, безо всяких оттенков или же серых волос. Он именно белый, а не серый, как безграмотно пишут в беговой афише. Белым он был уже к четырем годам, известный процент его детей уже при рождении белые (сын Купли и дочь Пряжи в Грязнухе, ставка 1928 года). Зная внуков Громадного и позднее формирование детей Кронпринца, я должен сказать, что в заводском теле Ловчий будет представлять собой серебряную громаду, будет поражать зрителя своей массой. С ним произойдет то же превращение, которое претерпела Леда: в заводском теле Ловчий станет еще лучше, чем он есть теперь.

Остановлюсь на отдельных частях экстерьера Ловчего. Голова жеребца невелика, на что, между прочим, обращал внимание Повзнер и ставил ему это в минус. Соглашаясь с Повзнером лишь отчасти, я вижу в голове Ловчего другой дефект – не вполне четкий ганаш. Розовые места на храпе и вокруг глаз, приводившие в смущение молодежь, только показывают, что многие не имеют понятия о прежних орловских рысаках восточного направления. Среди предков Ловчего эта «розовость» наблюдалась в очень сильной степени у Дара и в меньшей у Света. Ясно, что Ловчий в этом отношении является их наследником. Шея Ловчего очень хороша и вполне выразительна, однако у него нет того лебединого изгиба, что был у моей незабвенной Леды. Холка у жеребца очень развита, линия спины хорошая, почка широкая и незапавающая, круп превосходно с ней связан. Наклон плеча хорош, подплечье длинное и богатое, запястье очень развитое, и пясть, принимая во внимание рост жеребца, достаточно коротка. Линия от мослака до скакательного сустава очень хороша. Окорок также хорош. Скакательный сустав богато развит и идеален по своей структуре. Путы и бабки превосходны. И замечательный постанов ног: нет и намека на косолапость и коровий постав задних. Копыта четкие и правильные по форме. Жеребец идеально сух (подобной сухости и таких ясно отбитых сухожилий я в других рысаках не встречал) и этим напоминает чистокровную лошадь. Фризов не имеет. Особо надо отметить, что Ловчий не утратил массы, которая была у прежних орловских рысаков, причем имеет ее в строгой гармонии с кровностью и сухостью.

Ловчий, конечно, типичный орловский рысак, и было бы крайне интересно установить, кто из знаменитых предков оказал на него сильнейшее влияние. В смысле сухости он напоминает Кронпринца. Громадный, которому так склонны приписывать высокие качества Ловчего, с моей точки зрения, сказался в нем мало: он имел совсем другой рисунок верха, голову, иные, и крайне характерные, конечности и был, по меткому выражению Витта, «своеобразной и яркой индивидуальностью». Ловчий тоже является яркой и своеобразной индивидуальностью, но без черт Громадного. Сильно сказался в Ловчем другой предок, знаменитый Дар. Существует

фотография Пригожего, который, будучи крупнее Дара, очень напоминал его (я имею в виду тот снимок, что помещен в «Коневодстве и коннозаводстве» изд. Вильсона). Судя по этой фотографии, Ловчий и Пригожий имеют очень много фамильных черт. Что же касается выражения глаза Ловчего, то оно идентично с таковым же у Дара. Наконец, Ловчий имел больше общего со своей бабкой Летуньей, внучкой Дара, чем с матерью Ледой, дочерью Громадного. Есть еще один знаменитый жеребец, имя которого редко упоминается, когда говорят о Ловчем. Я имею в виду Света. В Ловчем чувствуется Свет. Вспомните, что сказал Волков о воронцовском типе Леды, и затем сравните фотографию Ловчего с масляным портретом Света кисти Чиркина, что висит в коннозаводском музее. Вы ясно увидите родство этих лошадей. Существуют жеребцы, которые ярко типичны как Полканы, как казаковские лошади, как Потешные, как Корешки. У Ловчего этого нет, он не типичен ни для одного из своих предков, а является чем-то новым, соединившим в своей особе два главных влияния (Дар и Свет) и два дополнительных (Кронпринц и Громадный). В зависимости от этого при подборе, усиливая ту или другую черту его родословной, легко будет получить лошадей желаемого типа.

Как производитель Ловчий выступил очень рано. Пяти лет от роду он уже покрыл трех кобыл московского земельного отдела. Это было в 1926 году. Подбор к нему сделал Витт, и сделал его теоретически очень удачно. Ловчему прежде всего была дана Говорушка крови Потешного, то есть повторялась классическая комбинация Крутой – Потешный с приятным добавлением Лебеда 4-го по Леску. К сожалению, Говорушка прохолостела и вскоре пала. Вторая из данных Ловчему кобыл, Будущность, также указывает на весьма тонкий, продуманный подбор. Будущность – дочь Сулака, а Сулак – это Горностаи по отцу плюс Бережливый, дед Сулака, котус Туча, родная сестра Света. При такой комбинации имеется Бережливый, который так хорошо соединялся с Крутым, усиливается влияние Света, и все это – на сгущенном фоне Горностаев. Результат подбора – светло-серый жеребец Бурелом, имевший годовиком 20 сантиметров под коленом, весивший 450 килограммов и блестящий по себе. Третья кобыла, данная Виттом Ловчему, Перестрелка – дочь Зенита и Первыньки, а стало быть, родная сестра Перезвона. И в этом случае мы имеем стремление Витта усилить влияние Потешного на фоне Лебеда 4-го, но опять через Леска. Получился серый Прилив, о котором мне пишут, что он хорош, но больше уклоняется в сторону матери. Это все, что пока можно сказать о первых детях Ловчего. Будут ли они резвы – покажет ближайшее будущее.

В 1927 году Ловчий был главным производителем в Прилепском заводе и покрыл достаточное число кобыл. Он бы покрыл еще больше, если бы не Самарин, который дошел до такой наглости, что, несмотря на подбор, утвержденный отделом коннозаводства, и категорическое распоряжение управляющего заводом Повзнера крыть кобыл Ловчим, крыл их Воеводой, от которого они, вероятно, и прохолостели. Особенно возмутителен был случай с Усладой, матерью Утёса. Самарин решил покрыть ее Воеводой, ибо этого хотел Владыкин, и поступил так, несмотря на категорическое запрещение Повзнера, мои просьбы и просьбы маточника Краля Осиповича. Услава трудна в случке и склонна к ожирению. Таким кобылам опасно холостеть, ибо после этого они часто долго не жеребятся. Я все это толковал Самарину, но он поступил по-своему. Услава, конечно, прохолостела. Неинтересен был подбор Услады к этому жеребцу и генеалогически, ибо близко повторял имя Петушка 2-го – стало быть, имелся риск получить у будущего жеребенка плохую спину.

Дети Ловчего родились уже в Хреновском заводе (ставка 1928 года), и я их не видел. Басов мне писал осенью этого года, что все они дельные, костистые, крупные и серые и что лучший из них – сын Безнадёжной-Ласки. Суждено ли мне когда-либо их увидеть?..

Часть кобыл из Прилеп ушла в Грязнушенский завод, и там от Ловчего, судя по письму одного моего знакомого, они ожеребились так: Надсада дала очень хорошего серого жеребенка, который и сейчас выделяется своими движениями из всех отъемышей; Пряжа – светло-серую, почти белую кобылку, крупную, с легкой головой, но так как весной маткам, ввиду недостатка кормов, давали не сено, а солому, то она вышла беднокостной; Хвалёна дала темно-серую кобылку, тоже хорошую, а Концессия – белого жеребчика, очень маленького, очень широкого, но ужасно грубого и с плохой головой. Все жеребята, кроме последнего, крупны, у всех головы похожи на голову Ловчего.

Нескольких жеребят в 1928 году должен был получить Шаховской завод Тульского губсельтреста, стоящий от Прилеп всего в двадцати верстах. Из Шаховского под Ловчего в 1927 году было прислано, кажется, пять кобыл. Я всех их видел на выводке, и они не произвели на меня большого впечатления: очень пестрые по себе, ни одной не только выдающейся, но и сколько-нибудь заметной по экстерьеру. Лучше других была Мечта, рыжая дочь Несносного. Полагаю, что, посылая ее, Попов имел в виду повторение имени Нежданного. Инбридинг рискованный, и следствием его может стать лошадь очень капризная и сбоистая. Другая кобыла была дочерью Бегучего – подбор, который я также не могу приветствовать вследствие усиления крови Петушка, и притом через дубровского Бычка, который имел отвратительную спину. Была еще Золушка, которая идеально подходила к Ловчему, но была прислана под Воеводу и покрыта им. Крыть старую кобылу почти что бесплодным жеребцом, каким был Воевода, – значит толочь воду в ступе. Я указал на это тресту, и тогда было прислано в завод разрешение крыть ее с Ловчим. Но здесь опять на сцену явился Самарин и продолжил ее крыть Воеводой, совершая еще один вредительский акт по отношению к орловскому рысаку. Что дали кобылы Шаховского завода в 1928 году, сколько их ожеребилось и что представляют собой эти жеребята, я не знаю, несмотря на то что писал в Шаховское и интересовался этим вопросом.

Таковы первые шаги Ловчего на заводском поприще. Удельный вес его заводской карьеры – это еще сокрытая от нас, но чрезвычайно интересная страница недалекого будущего!

Я уже заметил, что в противовес Витту нахожу подбор к Ловчему чрезвычайно легким. Витт считает Ловчего жеребцом переходного комплекса, который нуждается в закреплении. Он рассматривает Ловчего как «результат сочетания довольно разнородных линий». Это верно только отчасти. Нельзя, например, рассматривать Кронпринца как результат сочетания разнородных линий. Наоборот, педигри этого жеребца и со стороны отца, и со стороны матери есть прямая линия Лебеда 4-го при соединении с линиями Полкана 3-го и Горностая. О каких же разнородных линиях тут может идти речь? Мать Ловчего принадлежит к линии Полкана 3-го и имеет течения горностаевой крови как со стороны Громадного, так и со стороны Летуны (через воронцовских лошадей), а эти линии, как мы уже видели, однородны с теми, которые имеются у Кронпринца и составляют основу его родословной. Даже Дар, совершенно новая для Лебедей линия, и тот примыкает к ним по Полканам, так как обе бабки Дара, Дюжикова и Натужная, – кобылы полкановской семьи.

Вся наличная группа даровских кобыл, конечно, подходит Ловчему. Кобылы принадлежащие линиям Лебеда 4-го и Полкана 3-го и имеющие их имена инбрированными в своих родословных, тоже очень подходят. Как и вся группа горностаевских кобыл. Итак, я предполагаю, что Ловчий будет успешно сочетаться с этими четырьмя основными группами кобыл и от них, вероятно, даст свой лучший приплод. Кобылы с именем Удалого тоже могут оказаться интересными под Ловчего. Те, которые несут имя Громадного и при этом обладают крепкой и здоровой конституцией, особенно интересны и могут дать исключительных по своему классу, типу и породности лошадей.

В первую очередь я бы покрыл Ловчим Талочку – мать Тополя (2.14), из тех соображений, что она внучка Тайны, которая имеет кровь Света и Дара. Тайна была типичной свето-даровской кобылой, и я хорошо ее знал по заводу Казакова. По тем же соображениям была бы дана Ловчему кобыла Надменная (2.19) – два раза Дар плюс Бережливый. Исключительно подходит к Ловчему Картинка (2.22), носительница полкановской линии в соединении с именами Дара и Пригожей М. И. Кожина. Картинка – мать Казбека (2.13). Все гнездо кобылы Говорушки было бы мною также дано Ловчему – здесь имело бы место классическое соединение Крутой – Потешный. По тому же принципу следует дать Ловчему Ареку и ее дочерей. Все эти замечательные кобылы: Надменная, Картинка и Арека – принадлежат МОЗО, и будем надеяться, что столь богатое учреждение найдет средства и возможности для отправки их и кобылы Будущности в Хреновской завод под Ловчего. Из дочерей Громадного я дал бы Ловчему следующих кобыл: Усладу, Пряжу, Литву и Позу. Последние две – Орловского губсельтреста, Услада в Хреновой, а Пряжа в Грязнухе. Если бы коннозаводское ведомство действительно руководило коннозаводством в республике и в этом учреждении был бы знающий и уважающий себя специалист, то уже в 1929 году с Ловчим были бы покрыты такие кобылы, как Талочка, Арека, Надменная, Картинка, Будущность, Услада, Пряжа, Поза и Литва. Тем самым Ловчему была бы дана возможность вполне проявить себя в качестве производителя.

29 декабря 1928 года

После шестимесячной упорной борьбы между Тульским губисполкомом и Наркомземом судьба Прилепского завода была наконец решена. Тула проиграла – завод должен был уйти в Хреновую. Эвакуация завода происходила в нездоровой атмосфере: наехали приемщики, и в какие-нибудь четыре дня завод был уведен из Прилеп. В этой спешке забыли увезти в Хреновую архив Прилепского госконезавода. Вот об этом-то я и хочу сказать несколько слов. В архиве Прилепского госконезавода было много интересных документов. Прежде всего заводские книги, затем документы коннозаводского содержания со времен перевода завода в Тульскую губернию, все делопроизводство по заводу за революционное время, серия моих приказов, где было много специального и не лишнего общего интереса материала. Этот архивный материал представлял громадный интерес не только для историков, но и для научных работников и зоотехников. Не следует забывать, что Прилепский завод был первым национализированным рысистым заводом, а потому его архив содержал такие документы, которых в архивах других заводов не было. Большинство рысистых заводов, национализированных в первые годы революции, были затем уничтожены, и архивы их погибли. Современные нам рысистые заводы были учреждены позднее и потому не содержат и половины тех важных документов, которые были в прилепском архиве. В приказах по заводу имеется ряд интереснейших данных о прикидках молодежи, подборе, отношении служащих к работе и прочем. Полагаю, что эта часть дела в Прилепском заводе была поставлена хорошо. В делопроизводстве находилось немало принципиального характера бумаг и моих ответов на них времен первых трех лет революции. Все сказанное выдвигает бывший архив Прилепского госконезавода на исключительное по своему значению место. Само собой разумеется, что этот архив должно было приобщить к основному архиву Хреновой. Эвакуацией завода ведал помощник управляющего Хреновским заводом, молодой зоотехник С. И. Калинин, и он, к сожалению, не догадался взять архив Прилепского завода с собой в Хреновую. В те же дни шла спешная упаковка музея, я был занят по горло, да и принципиально не желал вмешиваться в дела эвакуации завода, так как был противником его уничтожения

и открыто об этом заявлял, а потому о коннозаводском архиве так никто и не вспомнил. Я забыл упомянуть, что в ряде приказов почти за десять лет содержались промеры и другие данные о лошадях завода (это было мною заведено задолго до введения таких правил во всех заводах республики, подведомственных Наркомзему). Где находится сейчас прилепский архив, мне не известно. Скорее всего, он был уничтожен, как ненужный хлам, ибо едва ли кому пришло в голову сдать его в губернский архив. Рутченко, стоявший во главе ликвидационной комиссии и производивший ликвидацию всего оставшегося имущества, был склонен, как один из сподвижников Владыкина и человек малокультурный, все это уничтожить, чтобы и следов не осталось от Прилепского завода.

Золушка – мать Зонтика (2.13), Зайца (2.18) и Земляка (2.20). Первый – сын Воеводы, второй – сын Шкипера, третий – Экспарцета 2-го. Все три сына Золушки показали свои рекорды уже после революции и тем самым выдвинули эту кобылу в число лучших орловских маток республики. Серый жеребец Зонтик является одним из резвейших орловских рысаков нашего времени, и ему, вероятно, суждено сыграть заметную роль в заводе. Мне не только известна история Золушки, я видел и ее саму, так как в 1928 году она была прислана из Шаховского завода в Прилепы для случки с Воеводой.

Золушка родилась в заводе известного воронежского коннозаводчика и большого моего приятеля В. В. Оболенского. Здесь кстати будет рассказать о его трагической смерти. Оболенский имел хорошее имение в Воронежской губернии и дом в Воронеже. Однако главное его состояние было в деньгах: он был в Воронеже директором банка. Во время революции, это было в первые годы, его, как заложника, привезли в Москву. Едва ли Оболенского расстреляли бы, так как контрреволюционером он не был и политикой никогда не занимался. Скорее всего, его бы поддержали и отпустили. На беду Оболенского фамилия его была созвучна фамилии Оболенский, что и послужило причиной его гибели. В камеру, где он сидел, вошел надзиратель и вызвал Оболенского. Ему ответили, что такого нет. Он уже собрался уходить, когда Оболенский вдруг сказал: «Оболенского нет, но есть Оболенский». Дело было ночью. «Ну, тогда идите», – ответил ему надзиратель. Больше в камеру Оболенский не вернулся. Говорили, что он был расстрелян вместо одного из Оболенских...

Золушка была дочерью Ахтура и Жмурки и родилась в 1910 году. Оболенский продал ее Мельникову, который тогда формировал завод и, надо отдать справедливость этому коннозаводчику, собрал его с большим вкусом и знанием дела. Помощником Мельникова в этом деле был знаменитый наездник Ляпунов, ему-то, вероятно, завод и был обязан таким замечательным составом. Когда в прежнее время наездники брались за мало знакомое им дело формирования и ведения заводов, то их обычно ждало полное разочарование: такие заводы не производили ничего значительного. Классическим в этом отношении примером может служить завод Воронцова-Дашкова. Когда Кейтон стал ведать этим заводом и покупать для него производителей, завод быстро сошел на нет и потерял свою былую славу... Деятельность Ляпунова в этом направлении составляет блестящее исключение. Плодами этой деятельности воспользовалось уже советское коннозаводство, ибо завод Мельникова был основан незадолго до империалистической войны.

Лучший сын Золушки и, вероятно, ее первенец Зонтик родился еще у Мельникова и после революции достался Орловскому губсельтресту. Свой рекорд он показал в руках талантливого Семичева. Вскоре после рождения Зонтика Мельников продал Золушку известному фабриканту овощей и знаменитой пастилы Прохорову. Золушка была уведена в имение этого последнего в Белевский уезд Тульской губернии. Золушка пришла к Прохорову жеребой от Шкипера и в 1917 году дала

вороного Зайца, небольшую, но правильную лошадь. В 1920-м у нее родился третий ее классный сын – Земляк. Обе последние лошади вместе со всем заводом Прохорова перешли Тульскому губсельтресту. В конце концов Золушка попала в Шаховской, крупнейший завод Тульской губернии, производящий орловских рысаков и находящийся в ведении треста. После того как Золушка перешла в собственность треста, она не только не дала ничего равного трем своим первым сыновьям, но, кажется, не создала больше ни одной призовой лошади. Она часто холостела, скидывала и прочее.

Сама Золушка не имела рекорда и по себе была совершенно заурядной кобылой. Чем же тогда объяснить ее замечательную заводскую деятельность? Только ее происхождением, отвечу я, точнее, принадлежностью к весьма интересной женской семье, в свое время прославившей завод Оболонского. Я никогда не был большим сторонником Ахтура, отца Золушки, хотя и признаю, что это была далеко не плохая лошадь. Зато исключительное значение я придаю происхождению матери Золушки, Жмурки (2.27), которая является дочерью Варвара-Железного и внучкой малютинского Славного.

Когда я узнал о том, что Золушка прибыла в Прилепский завод для случки с Воеводой, я на другой же день поехал ее смотреть. Последние четыре года матки Прилепского завода были переведены на Сергиевский хутор. Так называлось бывшее имение Языковых, находившееся на реке Упе, в десяти верстах от Тулы, в шести от Прилеп и в одной от большой Воронежской дороги, в том самом месте, где еще на моей памяти был построен земский мост через Упу. По установленному мною правилу кобылы, приходившие на случку в Прилепский завод, не допускались, как бы они ни были знамениты, на маточную конюшню госконезавода, им была отведена отдельная небольшая конюшня. Делалось это с целью уберечь маточное ядро от заболеваний, которые могли занести в завод посторонние кобылы.

У конюшни и встретил меня Крал Осипович старший маточник Прилепского завода. Крал был мой ученик и хорошо знал лошадь. Я ему абсолютно доверял и должен сказать, что он ни разу не обманул моего доверия. Увидев Крала, я его сейчас же спросил: «Ну, как Золушка, хороша ли по себе?» Он улыбнулся и покачал головой. Тем самым я уже был подготовлен увидеть посредственную кобылу, но то, что я увидел, превзошло мои ожидания. Когда вывели Золушку, я невольно себя спросил: где же кобыла?

Она стояла передо мной! Это была маленькая вороная кобыла, ростом никак не более двух вершков. Если память мне не изменяет, у нее была звездочка или белая полоска во лбу, а одна из задних ног слегка, вокруг венчика, бела. Кобыла оказалась проста и кругловата. Ни одной выдающейся линии, ни одной серьезной статьи: все мелко, правда пропорционально, довольно правильно, но закругленно. Последнее особенно бросалось в глаза. При более внимательном рассмотрении я заметил, что голова Золушки имела бараний профиль, спина была отличная, кобыла была суха и имела правильные ноги. Однако обладательницу такого экстерьера лично я никогда бы не пустил в завод.

Из трех сыновей Золушки я знаю двух, Зонтика и Зайца. Зонтик не имеет решительно ничего общего с матерью, это лошадь крупная, а Заяц похож на мать, мелковат.

Золушка пробыла в Прилепах весь случный сезон и ушла домой, в Шаховское, в конце июня. Я имел возможность несколько раз видеть ее на выводке, но мнения своего о ней не изменил.

Давно ли я писал на страницах этих тетрадок о Надсаде, ее матери Нирване и обо всем довольно многочисленном потомстве этой последней. Я предсказывал выдающуюся будущность Надсаде как заводской матке, говорил о ее сыне Напиль-

нике, резвейшем в данное время двухлетке на московском бегу, и делал проекты наилучшего подбора к ней. И что же?! Не прошло и двух недель с тех пор, а мне приходится вновь браться за перо, но не с тем, чтобы сообщить о новых подвигах Напильника, а с тем, чтобы написать некролог самой Надсаде! Печальная и тяжелая обязанность для всякого любителя и ценителя орловского рысака, а для меня тем более, ибо я лучше других понимаю, какую выдающуюся, совершенно исключительную матку коннозаводство республики потеряло!

Несколько дней тому назад я получил письмо из Грязнушенского завода, в котором мой корреспондент пишет буквально следующее: «...Надсада этим летом пала. Так как здесь общий загон для маток, где они летом и ночуют все в куче, то часто бывают всякие повреждения, а Надсаде сломали в моклоке кость на три части. Была она жереба от Холста, жеребчиком гнедой масти, лысым».

Хороши же порядки в Грязнушенском заводе, где матки ночуют, наподобие диких косяков, под открытым небом, ломают друг другу ноги, спины и прочее!.. Признаюсь, что я не мог представить себе ничего подобного, даже самая пылкая фантазия меркнет перед этим безобразием. И подумать только, что подобное варварство происходит не где-нибудь в глуши, а на государственном конском заводе, втором по своей величине и собранному там орловскому материалу в республике! Стоило ли ликвидировать Прилепский завод, дабы часть заводского состава поместить в условия такого существования, точнее, прозябания? Думаю, что нет, и бывший помощник начальника отдела коннозаводства Синицын сделал роковую ошибку, организовав поход против Прилепского завода и уничтожив его. Предлогом для ликвидации послужила необеспеченность завода земельной площадью. Богатая Грязнуха с ее семью тысячами десятин земли рисовалась всем (по крайней мере, всех в этом уверял Рапп) какой-то обетованной землей для лошадей. Хороша же обетованная земля, где лучшая кобыла завода погибает так трагически, а отношение к ней ничем не отличается от отношения к любой рабочей кляче, да и ту хозяин едва ли бросит на ночь под открытым небом, с другими лошадьми, на тесном дворе – побоится, что ее покалечат!

Как ни была ограничена земельная площадь (1400 десятин) в Прилепском заводе, но там хозяйство было так поставлено, что не хватало из кормов лишь шести тысяч пудов овса – пустая цифра, если ее перевести на деньги (3–4 тысячи рублей); сеном же и соломой завод был вполне обеспечен. Казалось бы, в богатой земельными угодьями Грязнухе лошади не могут терпеть недостатка в фураже, но говоря уже о голодовках. Однако на деле вышло не так, и тот же корреспондент мне пишет: «...весной маткам давали не сено, а солому, ввиду недостатка кормов...» Оказывается, на одиннадцатом году революции в Грязнушенском заводе кобылы не только плохо кормились, но и прямо-таки голодали! И это в момент, когда они жеребятся, кормят жеребят и должны усиленно питаться! Выходит, что кукушку променяли на ястреба и прилепским лошадям в Грязнухе хуже и голоднее, чем было в Прилепах! Впрочем, уничтожение Прилеп не имело планового характера и диктовалось не государственными соображениями, а личным усмотрением переругавшихся коннозаводских главков и владыкинскими интригами против меня. Как грустно об этом писать, особенно когда вспомнишь о грязнушенском материале, который голодает и погибает от случайных причин...

Я не помню, где я читал речь кого-то из ныне власть имущих о том, что мы безобразно расточаем наши богатства. Случай с Надсадой является лучшей тому иллюстрацией. Вывести Надсладу было не так просто, как это кажется лицам, не посвященным в тайны коннозаводского дела. Надсада, Услава и еще две-три кобылы – это элита прилепских маток, распределенных между Хреновой и Грязнухой. Дабы их создать, потребовалось 28 лет упорной работы, много труда, еще больше денег и, наконец, знание и талант, которые являются неизменными спутниками вся-

кого серьезного успеха. Коннозаводскому ведомству оставалось лишь распорядиться полученным материалом и поставить его в такие условия, чтобы он не ухудшался, а напротив, совершенствовался.

Как поступило коннозаводское ведомство, мы уже видели!

Потеря такой кобылы, как Надсада, не может рассматриваться иначе как коннозаводское несчастье. Это знает и понимает всякий сколько-нибудь грамотный зоотехник и животновод-практик. К сожалению, не так смотрит коннозаводское ведомство, которое даже не сочло нужным отметить в своем издании гибель Надсады! Это либо замалчивание своих неудач и непорядков, либо же бюрократическое отношение к делу. Пала кобыла Грязнушенского завода, номер такой-то, Надсада, исключили ее из списков, отношение завода об этом подшили к делу – и баста! Нет, это далеко не так! Трагически погибла Надсада, одна из лучших орловских маток республики, сын которой ныне лучший двухлеток на ипподроме. Грязнушенский завод может просуществовать 20 лет и не вывести такой кобылы! При таком ведении дел что станет с элитой орловской породы и каково ее будущее – вот вопрос, который было бы уместно задать руководителям коннозаводского ведомства.

Итак, единственная дочь класснейшего в свое время Хулигана погибла в Грязнушенском заводе в мае 1928 года. В Грязнуху она прибыла из Прилеп в первых числах января того же года жеребой от Ловчего и с отъемышем-кобылкой от Барина-Молодого. Надсада прожила в Грязнухе неполных пять месяцев. К счастью, она успела ожеребить от Ловчего серого жеребчика, о котором пишут, что он очень хорош. Точно так же ее дочь Наседка «очень хорошая кобылка, крупная, широкая, с прекрасными движениями». Таким образом, Надсада, эта достойная представительница женской семьи великой Самки – матери ознобишинского Кролика, оставила, к счастью, наследницу своего имени, и в интересах всего орловского коннозаводства республики остается пожелать, чтобы хоть эта ее дочь уцелела и пошла по стопам своей матери Надсады, бабки Нирваны, прабабки Награды и т. д.

Что же касается сына Надсады и Ловчего, того серого жеребчика, который родился в 1928 году и который так резв, что является лучшим среди всех отъемышей завода, то его первые шаги на жизненном поприще совершались в неблагоприятной обстановке. Он голодал под матерью, получавшей всю весну солому, и затем остался сиротой в возрасте четырех месяцев – все это симптомы, предвещающие мало хорошего для нормального развития. А вместе с тем на этого жеребенка должно быть обращено все внимание администрации Грязнушенского завода, если хоть кому-либо из этих лиц дороги интересы коннозаводства и слава грязнушенских рысаков.

Среди двухлеток Хреновского завода, приведенных в Москву осенью 1928 года, хорошее впечатление своим развитием, формами и резвостью произвел на всех вороной жеребец Колосок, внук Уганды, которая когда-то принадлежала мне. Фотографический снимок Колоска помещен в новом коннозаводском журнале, и я имел случай его видеть. Колосок крупнее и массивнее своей бабки, но также вороной и, что очень интересно, имеет те же отметины.

С ранних лет я был ярым поклонником терещенковских лошадей. Я не только посетил Червонское, где когда-то был знаменитый завод Ф. А. Терещенко и где протекала заводская деятельность Крутого и Бережливого, но также знал заводы К. С. Терещенко и А. Н. Терещенко. Кроме того, и в других заводах я обращал особое внимание на лошадей заводов Терещенко и знал всех лучших среди них: Вулкана у фон Мекка, Тенистого у Воейковой, Мечту у Вяземского, Пегаса у Сахарова и других. За десять-пятнадцать лет я пересмотрел целый ряд призовых рысаков этих заводов на ипподромах Одессы и Киева. Словом, могу смело сказать, что терещенковских лошадей лучше меня никто не знал. Свое увлечение я доказал и на

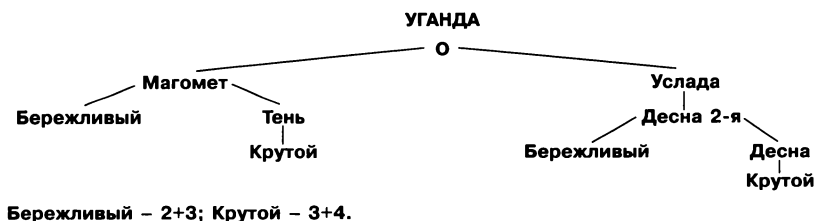
деле: купил Громкого, арендовал Скромного, купил Мечту у Вяземского, Амазонку у Малютина, Заиру у Познякова, дочерей Пегаса у Сахарова и, как только представилась возможность, купил завод А. Н. Терещенко, к тому времени поглотивший остатки когда-то столь знаменитого Червонского завода Ф. А. Терещенко. Завод А. Н. Терещенко я приобрел в три приема: сначала на выбор четырех лучших кобыл – Усладу, Ненаглядную, Светлану (дочь Тени) и Наину; потом целое гнездо, лучшей в котором оказалась Нирвана; наконец, еще лошадей десять, в том числе двухлетнюю Уганду, героиню этого рассказа.

Уганда, как я уже сообщил, пришла в Прилепы с последней партией терещенковских лошадей. Ей было тогда два года. По себе она была только удовлетворительна. Я ее купил лишь потому, что высоко ценил за происхождение ее мать Усладу, достойнейшую внучку Бережливого, кобылу идеальной правильности и красоты. Она пала у меня в заводе месяца через три после покупки – вот почему я приобрел ее дочь Уганду. Когда же мне посчастливилось купить другую ее дочь Урну (2.16), то я поспешил продать Уганду – и ошибся.

Уганда была вороной масти и в сильной седине. С некоторой натяжкой ее уже тогда можно было назвать вороно-чалой. Известно, что среди детей великого ознобишинского Кролика, а позднее среди потомков этого последнего было много лошадей в седине и даже чалине, а под старость и явно чалых. Кролик был сыном Самки. Уганда происходила в прямой женской линии от этой же кобылы, причем в ее родословную собственно Кролик не входил. Отсюда я делаю тот вывод, что чалиной как Кролика, так и женскую семью Уганды наделила Самка. Уганда вышла очень отметистой: у нее была звезда во лбу, белое пятно между губ и все четыре ноги белы. Рост Уганды был средний – полагаю, три с половиной вершка, никак не более. Голова приятная, с очень широким лбом, но короткая. Шея чуть тяжела и для кобылы несколько коротковата. Линия спины чуть мягкая, зад и окорок хороши. Глубины достаточно. Ноги, как, впрочем, у всех терещенковских лошадей, сухие и совершенно правильные. Задом кобыла стояла чрезвычайно широко. На выводке держалась стройно и красиво. Однако при тех повышенных требованиях, которые я предъявлял к рысистой кобыле, Уганда по формам удовлетворить меня, конечно, не могла. По своему типу она, вне всякого сомнения, вышла в старых Крутых. От Бережливого у кобылы не было решительно ничего.

Тысяча девятьсот двадцать восьмой год в историю орловского коннозаводства войдет под знаком сильнейшего увлечения инбридингом. Это увлечение продержится, несомненно, ряд лет, а какие оно даст результаты, увидим позднее. Этим увлечением орловская порода обязана одному из своих историков-генеалогов Витту, который в обзоре линий, помещенном в первом томе Племенной книги, уделил этому вопросу немало места. Как мне пишут, за Виттом идет сейчас вся молодежь наших специальных учебных заведений, которая справедливо видит в нем авторитет, а стало быть, станет проводить в жизнь его теории. Пишущий эти строки также, но очень давно, лет двадцать пять тому назад, писал по тому же вопросу и даже напечатал большое исследование «Значение инбридинга в рысистой коннозаводстве», но эта работа не была оценена должным образом: в то время коннозаводская мысль не была еще достаточно подготовлена для ее восприятия. Вот почему для меня все это далеко не ново. Мне интересно лишь, сумеют ли применить инбридинг талантливо и умело или же его будут делать механически, только по арифметическим формулам, без учета целого ряда особенностей, характера линий и отдельных лошадей. Тогда инбридинг может принести не пользу, а определенный вред.

Родословная Уганды имеет инбридинг на Бережливого и затем на Крутого. Вот ее графическое изображение:



Мы видим, что инбридинг на Бережливого ближе и, стало быть, ярче представлен, нежели инбридинг на Крутого. Отсюда можно было предположить, что Уганда будет в типе скорее Бережливого, нежели Крутого, однако в действительности получилось обратное. Это один из примеров того, какое значение имеет учет целого ряда приводящих факторов при работе с инбридингом, и на эту сторону вопроса должно быть обращено усиленное внимание всех практических работников коннозаводского дела.

Я ни разу Уганду не видел на езде, но мне докладывали, что она нерезва, класс ее оценивали на без пятнадцати-семнадцати версту. Конечно, в трехлетнем возрасте это была такая резвость, с которой в Москве делать было нечего. Решено было Уганду больше не тренировать, и я хотел ее продать. Если я был ценителем терещенковских лошадей, то мой управляющий Ситников был прямо-таки фанатиком их. Это совершенно неудивительно: Ситников сделал карьеру на заводе у Терещенко, прослужил там десять лет и вместе с терещенковскими лошадьми перешел на службу ко мне. Он стал меня просить оставить Уганду в заводе и для этого решил показать мне ее на ходу в манеже. Уганда в манеже действительно производила сильное впечатление: ход у нее был высокий и крутой. Ситников меня уверял, что она страшно резва, но что с нею не могут поладить наездники. Я ему уступил и согласился еще на год задержать кобылу в заводе. В то время Урна хотя еще не была мною куплена, но Бабский выдал обязательство за 7 тысяч рублей после призовой карьеры продать ее мне. Таким образом, видя себя в недалеком будущем владельцем Урны, я считал возможным расстаться со второй дочерью Услады. Если она и задержалась на некоторое время в Прилепах, то лишь потому, что я не хотел огорчать Ситникова, которого ценил и уважал.

В мае или июне того же года я поехал в завод А. С. Голицыной, куда давно собирался, с тем чтобы посмотреть этот знаменитый завод, а если представится возможность, то и купить интересную кобылу. Действительно, мне посчастливилось тогда купить у Голицыной во всех отношениях замечательную Грамоту, которая, к несчастью, недолго прожила в Прилепах.

Матки в заводе Голицыной ходили на хуторе, верстах в пятнадцати от главной усадьбы, где жила сама княжна. Мы решили ехать их смотреть после обеда. Была подана тройка белоногих кобыл, две из которых были вороные, а третья – темно-гнедая. Это несколько портило гармонию тройки, производившей очень хорошее впечатление. Тройка была запряжена в элегантный экипаж без кучерского сиденья. Это меня несколько не удивило, так как я знал (об этом много говорили в коннозаводских кругах), что Голицына сама правит тройками, курит сигары, одевается чуть ли не по-мужски, сама ездит рысаков и прочее. Голицына взяла вожжи, пригласила меня сесть рядом с собой, и мы тронулись в путь. Пятнадцать верст промелькнули незаметно, так как тройка была очень резва, дороги превосходные, а Голицына правила мастерски. Лошади были порядочно взмылены, когда княжна, указывая мне на небольшой остров, затерянный в степи, сказала: «Вот мы и приехали. Это граница Саратовской губернии, а там сейчас и мой хутор. Он лежит уже в другой губернии, Пензенской, и когда-то принадлежал Соловцову, известному в свое время коннозаводчику». На обратном пути Голицына была очень оживлена и много говорила.

Разговор как-то сам собой перешел с кобыл на езду, на воспоминания, потом на тройку, и тут я узнал от княжны, что она ищет третью вороную, кругом белоногую кобылу, чтобы заменить ею гнедую и подобрать одномастную тройку. «Много приводили мне барышники хороших кобыл, да все тихи, не сработают с моими. Видно, так и придется ездить на разномастных лошадях», – сказала княжна. На хуторе она уступила мне по охоте одну из лучших своих маток. Это была исключительная любезность и знак большого расположения с ее стороны, так как кобыл из своего завода княжна продавала только в виде исключения. Когда же я просил назначить цену, то Голицына сказала, что цена не играет роли, и затем назначила полторы тысячи рублей, то есть пустую по стоимости кобылы цену. Я сердечно ее поблагодарил и возвратился в Князевку счастливым владельцем Грамоты. Так вот, когда Голицына мне сказала, что не может подыскать к своей тройке вороной белоногую кобылы, чтобы ею заменить гнедую, я и решил уступить Уганду. Голицына была очень обрадована этим, а когда узнала, что кобыла завода Терещенко, сказала: «Ну, наверное, будет не тише моих и подойдет к ним. У Терещенко был знаменитый завод, и я много лет тому назад торговала у него в Москве резвую кобылу, имя которой сейчас не помню». Мне в свою очередь предстояло назначить цену за Уганду, и я, не желая остаться в долгу, назначил не то четыреста, не то пятьсот рублей. Голицына поняла мою любезность и поблагодарила. Вот при каких случайных обстоятельствах была продана мною Уганда знаменитой коннозаводчице А. С. Голицыной.

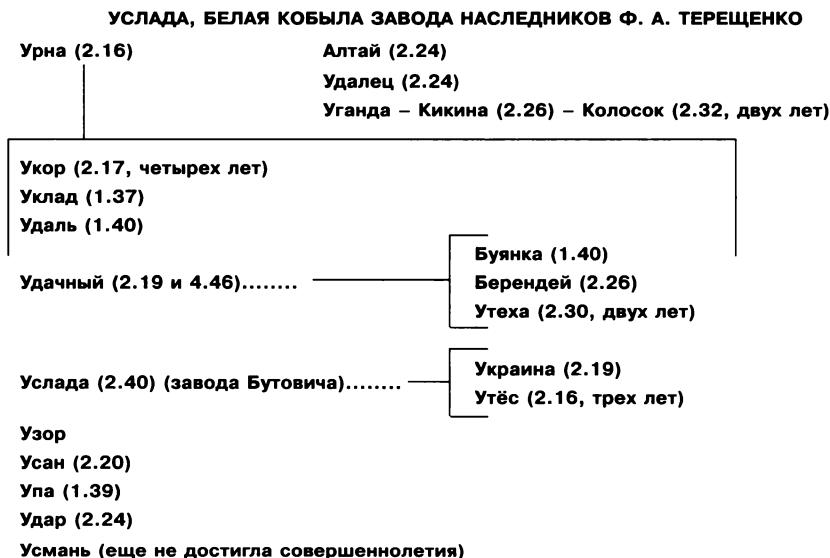
Вернувшись в Прилепы, я вызвал Ситникова и сделал распоряжение отправить Голицыной Уганду, а из Князевки привести Грамоту. Я рассказал Ситникову, что Уганда продана княжне как пристяжная лошадь, но не скрыл от него, что это была любезность с моей стороны в ответ на любезность со стороны Голицыной. Ситников был очень огорчен и ушел. Во время вечернего доклада он имел расстроенный вид и затем сказал мне, что в мое отсутствие он покрыл Уганду Молодцом, так как думал, что я кобылу не продам, а ему в интересах завода всячески хотелось ее удержать в Прилепах. Затем он стал извиняться, что так поступил и подвел меня, ибо хорошо понимал: слученную кобылу нельзя посылать для езды. В этом он был прав, так как княжне нужна была пристяжка для тройки, а не заводская матка. Но делать было нечего, надо было искать выход из положения. Я написал обо всем Голицыной, и она, ответив мне сейчас же, просила все-таки прислать Уганду. Лошадь была отправлена. До осени Уганда ходила на пристяжке, и у меня сохранилось письмо княжны, где она благодарит меня за нее. Кобыла пришлась ей по вкусу. Когда она отяжелела, ее перевели на маточную, и там она ожеребила серую кобылу, которую называли Кикиной. После этого жеребенка Уганда вновь была взята в езду и опять ходила в той же тройке на пристяжке. Когда Голицына заболела, назначила завод в продажу, а сама переехала в Москву лечиться, то Уганда была продана вместе с другими разъездными и частью заводских лошадей на ярмарке. Кикина – единственный жеребенок, которого дала Уганда, непроизводительно погибшая для рысистого коннозаводства страны. На ярмарке ее, вероятно, купил богатый прасол или степняк-купец для своей тележки. Что же касается Кикины, то она недурно бежала, была во время революции национализирована, уцелела и попала в Хреновской завод.

Уганда – дочь Магомета и Услады. Магомет – сын Бережливого и Тени. Услада – дочь Паши и Десны 2-й. Десна 2-я – дочь Бережливого и Десны от старого Крутого. Все это исторические имена терещенковского завода, и какие-либо комментарии к ним излишни, они должны быть в голове у каждого генеалога. Достаточно их выписать в одну строчку, чтобы в воображении и мыслях каждого знающего охотника выросла целая блестящая эпоха в нашем коннозаводстве.

Заводская карьера Кикины в Хреновском заводе предвещает весьма большое будущее. Заводская карьера ее матери Уганды была великолепна, ибо она дала всего лишь одного жеребенка и он стал продолжателем знаменитого рода. Наконец,

заводская работа полусестры Уганды Урны была блестяща и столь же блестяще началась заводская деятельность племянницы Уганды серой Услады. Это показывает, что прапраправнучки великой Самки сумели примениться к тяжелым революционным условиям и в эпоху мировых событий и потрясений завоевали себе исторические имена, которые с таким правом носили их предки в прежней России.

Приведу для наглядности сводную таблицу заводской деятельности Уганды, Кикины, Урны и Услады.



Услада (завода Терещенко) дала всего лишь четырех жеребят и пала. Ее два сына, Алтай и Удалец, погибли во время революции; обе дочери составили себе имя как матки. Уганда дала Кикину, своего единственного жеребенка, а Урна сама была классной и оказалась выдающейся заводской маткой. Только одна Урна имела продолжительную заводскую карьеру.

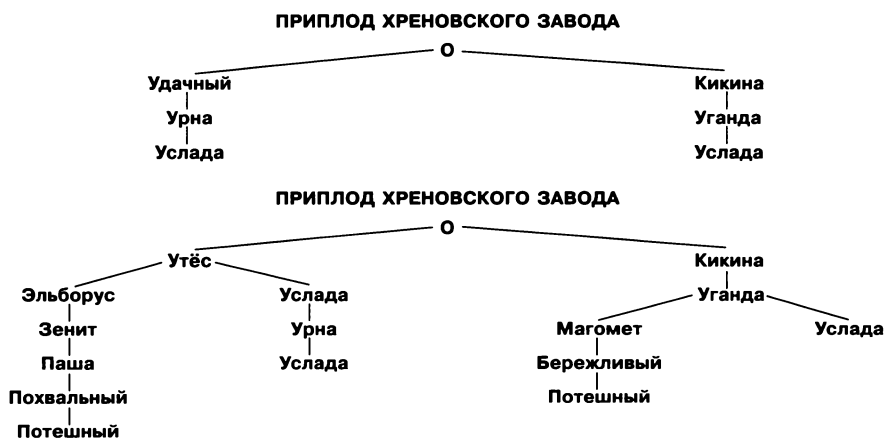
Мне остается приятная задача высказаться по вопросу наиболее интересного и генеалогически целесообразного подбора к Кикине. Однако прежде скажу два слова о том, что есть значительного и ценного в комбинации кровей, создавшей Колоска.



Очевидно, что подбор Кикины к Барчуку был сделан продуманно и лицом, знающим генеалогию орловского рысака. Скорее всего, крестным отцом этой генеалогической комбинации был Витт: он подсказал ее Пуксингу, который, при всех своих

достоинствах администратора и знающего лошадь специалиста, в вопросах генеалогии не искушен. В родословной Колоска по два раза повторены знаменитая Вихрястая и Ментик, трижды в нее входит Волшебник. К сожалению, Колосок не имеет ни блестящих форм Волшебника или Вихрястой, ни интересной и своеобразной наружности Ментика и внешне похож на ближайших своих предков, отца Барчука и бабушку Уганду. Идеино построенный подбор дал превосходный результат, и я, как старый волк студбука, от всей души приветствую автора генеалогической комбинации Барчук – Кикина!

Теперь да будет мне позволено предложить в свою очередь два варианта подбора к той же кобыле. Для Кикины я остановлюсь на двух жеребцах – Удачном и его племяннике Утёсе. Оба родились в Прилепском заводе.



В истории коннозаводства мы имеем замечательный пример создания выдающейся заводской матки Битвы 2-й путем троекратного закрепления в ее родословной имени Дубровы – матери старого Горностаея, одной из лучших шишкинских кобыл.



Эта Битва 2-я была исключительная кобыла. Достаточно сказать, что она дала знаменитого Гордого (Императорский приз), Грозного 1-го – отца Гранита (Императорский приз), ракету (из женской линии которой рекордист Сорванец (2.16)), Самку (из ее женской линии происходит Азарт (4.41) и другие рысаки Рибопьера), Битву 3-ю (из ее женской линии Барометр (2.14)), Верную (из женской линии которой щёкинские Ментик и Молодец) и так далее.

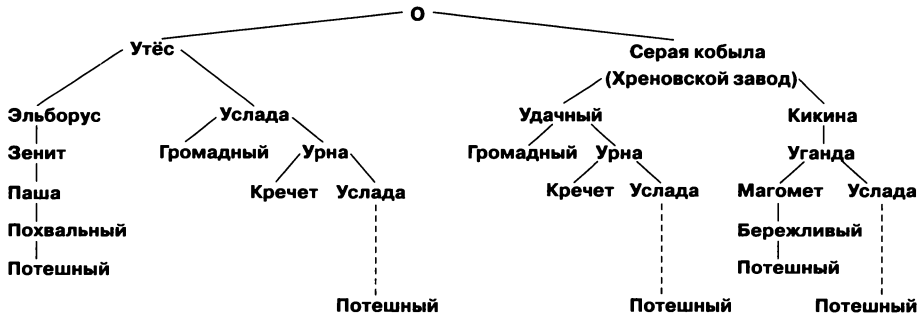
Предлагаю покрыть Кикину Удачным и Утёсом, я имею в виду повторение имени знаменитой заводской матки Услады завода Терещенко. Закрепление в приплоде имен Ветрогонки, Порфиры, Безнадёжной-Ласки, Урны и Нирваны есть очередная работа Хреновского завода с прилепским материалом. Только будет ли она осуществлена?

Если бы я распорядился подбором в Хреновой, то в первую голову я покрыл бы Кикину Удачным и крыл бы ее до тех пор, покуда не получил бы кобылку. Эту последнюю, в свою очередь, я покрыл бы Утёсом (он еще молод и к тому времени войдет как раз в пору заводского жеребца) и тоже стремился бы получить кобылку,

у которой имя Услады было бы повторено трижды и, значит, достаточно закреплено. Думаю, что я не ошибаюсь, считая, что кобыла, полученная таким путем, станет знаменитой заводской маткой.

Проведение заводской работы над Кикиной, Удачным и Утёсом настолько меня интересует, что я привожу здесь чертеж течения инбридированных кровей в этой воображаемой родословной. Полагаю, что всякий генеалог, взглянув на эту родословную, согласится со мной, что она таит в себе большие возможности.

ПРИПЛОД ОРЛОВСКОГО ТРЕСТА



В итоге Потешный повторяется пять раз, Услада – трижды, Громадный, Урна и Кречет – по два раза. Основой этой родословной будет Потешный с одной стороны и Услада с другой. Данное сочетание, помимо знаменитой заводской матки, может дать и жеребца, который воскресит формы и класс великого Потешного.

Естественно будет теперь перейти к заводской деятельности полусестры Уганды, белой кобылы Урны, которая также происходила от Услады, но была дочерью не Магомета, а классного Кречета. Помню, как однажды, приехав в Киев, я, по обыкновению, отправился в завод Терещенко. Сообщение завода с Киевом было чрезвычайно удобно: полчаса электрическим трамваем по Житомирскому шоссе, а там у конечной остановки уже ждала удобная коляска – и через сорок-пятьдесят минут я сидел в уютной квартире Ситникова и беседовал о лошадях. В один из таких приездов я и узнал, что не увижу Усладу на выводке, так как она находится в Копылове, имении фон Мекка, куда отправлена под Кречета. Инициатором этого подбора был Ситников, А. К. Терещенко дал на него согласие неохотно, заметив, что есть и свои жеребцы, а если они плохи, то следует купить жеребца, а не рассылать по другим заводам кобыл.

Урна оказалась выдающейся заводской маткой. Самой природой она была предназначена быть хорошей матерью: обладала прекрасным здоровьем, была широка, утробиста и очень молочна. Последнее является весьма важным условием для хорошей жеребятницы, но, к сожалению, именно этому фактору наши теоретики уделяют в своих работах мало внимания. Заводская деятельность Урны, особенно в первые годы, протекала в очень тяжелых условиях: она голодала не меньше других и одну весну была так слаба, что ее пришлось подвешивать на мешках. К счастью, в последний момент удалось достать кормов и Урна, а с ней и другие кобылы были спасены. Несмотря на это, ни один жеребенок от Урны не пал, а это значит, что она наделяла своих детей железным здоровьем. Во время революции с Урной не произошло никаких особых событий. Жизнь ее текла относительно спокойно, и кроме голодовок в первые годы ей не пришлось перенести больше никаких невзгод. Следует отметить, что Урна ослепла на один глаз, причем потеря глаза была следствием болезни.

Урну, за которую я заплатил 7 тысяч рублей, у меня много раз торговали лучшие коннозаводчики прежнего времени. А после революции мне за нее предлагали

25 тысяч рублей, но я ее не продал. Дело было так. Осенью 1917 года в Прилепы приехал сибирский богач Винокуров. Завод еще не был национализирован, но висел, что называется, на волоске. Ходили слухи, что со дня на день его национализируют, и хорошо расположенные ко мне крестьяне рекомендовали вывезти лучших лошадей в Тулу и там их продать. Они брались сами это сделать, но я не дал своего согласия, не поднял руки на созданный мною завод. Словом, тогда положение было очень напряженное и я ясно сознавал, что уже через две-три недели перестану быть собственником Прилепского завода. Это было тяжелое чувство, но страсть к лошади взяла верх над материальными соображениями, и я решил завод в полном составе сдать государству. Лучше пусть будет народной собственностью и продолжает существовать, нежели увидеть его гибель и продажу лучших лошадей. Приняв это решение, я спокойно ждал развития событий.

Итак, в Прилепы приехал Винокуров и стал искушать меня. Искушение было действительно большое, ибо он предложил мне за трех лошадей 100 тысяч рублей (и платеж через три дня в Москве). Он брал Кронпринца и двух маток – Урну и Безнадёжную-Ласку. Кронпринца он оценил в 50 тысяч, а кобыл – по 25 тысяч рублей. Когда я категорически отказался продать ему этих лошадей, Винокуров стал меня уговаривать. «Я их сохраню, – говорил он, – в Сибири у нас большевиков не будет. У нас это невозможно! У вас же лошади все равно будут отобраны. А тут вы получите 100 тысяч и сможете уехать за границу!» Велико было искушение! Тем более что о этом же мне писал мой старший брат Николай Иванович, он даже прислал мне с кузнецом 5 тысяч рублей на дорогу. Но я решил остаться в России и лошадей Винокурову не продал. Тот был очень огорчен: он был уверен, что уведет из Прилеп Кронпринца и двух лучших кобыл завода. Сибиряки не стеснялись в деньгах, покупали тогда лошадей по дорогой цене и были уверены, что у них заводы сохранятся, тогда как в Центральной России все погибнет. Винокуров все же не уехал из Прилеп с пустыми руками: я продал ему то, что находил нужным и возможным продать! Так и не соблазнил меня ценой сибирский миллионер, который потом стал нищим и был расстрелян в Иркутске. Сожалею ли я об этом теперь, когда пишу эти строки в полутемной камере сырого полуподвала на знаменитой «десятке» в Тульской тюрьме? Вот вопрос, на который я дам чистосердечный ответ: нет, не сожалею! Сохраненный мной для республики и русских людей завод теперь достиг кульминационной точки своего процветания, а внук Урны – Утёс, судя по письмам Витта и Басова, идет по стопам Крепыша. Много испытал я за эти 11 лет революции, потерял все – и средства, и семью, даже имя, которое мои враги втоптали в грязь, но все же я не сожалею о том, что остался в России и служил на коннозаводском поприще народу. Пройдут годы, десятки лет, и мое имя, быть может, с благодарностью и уважением вспомнят и помянут добрым словом в самых широких коннозаводских кругах...

Вернусь к Урне и возобновлю в памяти читателя список ее детей. До революции родились Уклад, Укор, Удадь, Удачный и Услава; после революции – Узор, Усан, Упа, Удар и Усмань. Уклад был первенцем Урны и сыном Лознгина. Результат этого сочетания оказался не из удачных. Уклад был небольшой серой лошадей, довольно резвой (1.37), и выиграл в цветах Заусайлова вступительный приз в Москве. Во время революции исчез бесследно. Укор был сыном Громадного и совершенно выдающимся жеребцом. Я высоко его ценил и продал Понизовкину с условием, что после призывной карьеры Укор вернется ко мне в завод. Укор приехал 1.35 версту, что было очень резво и для рук Гусанкова, и для сына Громадного. Когда Укору минуло четыре года, а это было уже во время революции, он со всей конюшней Понизовкина очутился в Воронеже и приехал 2.17. Я получил тогда от Бибикова, который при Временном правительстве был назначен комиссаром бегов в Воронеже, письмо о том, что Укор – лошадь феноменального класса и еще в этом сезоне

приедет в 2.14. Письмо это меня порадовало, так как Бибииков не только знал беговое дело, но и не был склонен увлекаться. Вскоре, однако, Укор пал в Воронеже, о чем я узнал тоже из письма Бибиикова. Оба письма я сохранил в своем архиве. Укор был очень хорош по себе, и я считаю его лучшим сыном Громадного из числа тех, что родились у меня в заводе.

Удаль была дочерью Петушка. Мелкая, широкая и правильная, типичная петушковская кобылка с удовлетворительной спиной. В трехлетнем возрасте я продал ее в Орёл Неплюеву. Там она бежала, затем была национализирована и в начале революции пала.

Удачный был четвертым приплодом Урны и третьим ее сыном. Он был младшим братом Укора, то есть сыном Громадного. Отъемышем, полуторником, двухлетком и трехлетком обращал на себя всеобщее внимание. Воспитывался в Хреновском заводе, куда я послал в начале революции на дешевые корма и вольные хлеба лошадей пятьдесят-шестьдесят. Медал ими А. А. Лохов. Удачный был сух, длинен, имел хорошую спину, был породен и типичной малютинской масти, то есть того серого тона и рисунка, что встречается среди детей Летучего. С первых же дней был мною отмечен и предназначен в производители завода. Был очень резв, о чем мне неоднократно говорил позднее Л. Ф. Ратомский, который его и погубил.

Случилось это так. В Туле устраивались мною первые в РСФСР бега. Ратомский спешно готовил к ним трех лошадей, в том числе и Удачного, которому тогда было четыре года. Ратомский был чрезвычайно самолюбив и не мог даже допустить мысли, что может проиграть тульским ездокам. Эти последние готовили метисов хомяковского завода, а те ехали резво. Ратомский получал об этом сведения из Слободки и очень волновался. За те два-два с половиной месяца, пока шла подготовка к тульским бегам, он похудел, стал желчным и все меня пробирал, что нельзя так быстро подготовить лошадей. Я его успокаивал и говорил, что это «агитационные» бега и совершенно все равно, кто придет первой, хомяковская или прилепская лошадь. Ратомский, однако, не разделял моего мнения и усиленно готовился. Тогда еще не был запахан крестьянами добрынинский ипподром за рекой, и Ратомский со своими любимцами Егоркой Самониным и Митькой Лыковым отправлялся по утрам за реку. Там работа кипела. Резвость Удачного держалась от меня в секрете. Когда же я спрашивал об этом Ратомского, он неизменно мне отвечал: «Какая же может быть резвость? Разве мыслимо приготовить сырую лошадь в такой срок?!» Затем следовали стоны на тему о том, что «мы» проиграем, осрамимся и прочее. Как-то, недели за три до дня бегов, я стоял на площадке перед домом, беседуя с одним из служащих. Сейчас же за цветниками, левее елочных насаждений, дорога спускалась к реке. На этой-то дороге я и увидел торжественное шествие. Впереди Егор Самонин и Дмитрий Лыков вели Удачного в сбруе, бинтах и летней попонке. Жеребец шел спокойно, отмахивался от мух, на шагу опустил голову, что делали некоторые дети Громадного. Сзади третий конюх вез качалку, к которой было привязано ведро. А замыкал шествие сам Ратомский с хлыстом в руках. Я подошел к нему; он, видимо, был взволнован, а потому проговорился. На мой вопрос «Как дела?» ответил: «Сегодня я доволен ездой. Да, я доволен Удачным!» Старик расправил свою красивую белоснежную бороду и вынул секундомер. Он уже хотел показать мне, как приехал Удачный, но раздумал и, понизив голос, сказал: «Не говорите никому, что я доволен Удачным». Когда он говорил мне эти слова, вид у него был беспомощный и какой-то растерянный. Ратомский, как все охотники, лошадики и спортсмены, был страшно суеверен. Я понял, что он боится, что сглазят Удачного, и дал ему слово молчать.

Дни шли за днями, и Ратомский становился все веселее и веселее. Его приближенные Самонин и Лыков имели торжественный вид людей, которые знают многое, но молчат. Я не сомневался в том, что Удачный едет хорошо: Ратомский во время

уборку особенно ласково трепал его по шее и смотрел на него с любовью, Удачный же, стоя в бинтах, имел вид крэка. Картина необычная для Прилеп, ибо я никогда в душе не был спортсменом, а только коннозаводчиком. Меня увлекало создание лошади, а второй процесс, притом не менее важный, – ее доведения до ипподрома – меня мало интересовал. Это должны были делать другие. Если эти другие умели и хотели работать, то мои лошади бежали резво; если их не было, начинались крики, что прилепские лошади – тихоходы. К этим крикам я и всегда был равнодушен, а во время революции тем более. Я знал цену прилепским лошадям и понимал: когда их возьмут как следует в работу, а предварительно хорошо покормят, они постоят за себя. Так оно и случилось: попав в январе 1928 года в Хреновую, на сытые корма и в руки знаменитых наездников, они дали хороший урок всем своим хулителям: пейчам, владыкиным, самариным и смиренным...

Недели за две до бегов в Тулу и в Прилепы вместе с сыном, тогда еще мальчиком, приехал Шнейдер. Ратомский был настолько уверен в Удачном, что пригласил Шнейдера на прикидку. Это была последняя резвая езда Удачного в Прилепах, после нее он должен был уйти в Тулу. Езда происходила рано утром. За чаем я узнал от Шнейдера все ее подробности. Удачный ехал с лидером, в роли которого выступил Лакей, лошадь высокого класса и, как многие дети Недотрога, очень стойкая. Удачный ехал замечательно, и Лакей не мог от него уйти. Шнейдер был в восторге. Эта езда произвела на него неизгладимое впечатление. Позднее я увидел Ратомского: он буквально торжествовал. Однако расплата за эту езду наступила на следующий же день. Во время обеденной уборки я, по обыкновению, зашел на конюшню и направился к № 1, где стоял Удачный. Дверь денника была открыта, и оттуда доносились голоса. Я подошел и увидел следующую картину: Удачный с мутным глазом и несколько понурой головой стоит, а Самонин ему втирает правую переднюю ногу. Тут же стоит Ратомский и дает ему указания. Вид у Ратомского растерянный и смущенный. Я сразу понял, в чем дело, но и виду не подал.

Трудно описать, как страдал Ратомский и как он волновался. Удачный получил ушиб ноги или легкое растяжение, и было ясно, что вести его в Тулу нельзя. Получилась неприятная история, в которой больше всего мне жаль было Ратомского: целые дни он проводил на конюшне, куда ведрами носили лед, сам делал какие-то лекарства, от него пахло йодом и еще чем-то пряным, в его руках перебивало немало пузырьков и склянок. Через несколько дней выяснилось, что лечение идет успешно и жеребца можно будет отправить в Тулу. Однако перерыв в работе был налицо, большая нога тоже, и ко всему этому – Ратомский с издерганными нервами и уязвленным самолюбием. Перспективы для выигрыша неважные!

Я приехал в Тулу дня за два до бегов. Среди лошадиников царило настоящее волнение, а в городе уже были расклеены афиши, где главными кандидатами на большой приз указывались Удачный и Пастух. Последний происходил из хомяковского завода, был мелок, отвратителен по себе, но резв – 2.21. Словом, соперник очень серьезный.

В тот же день Ратомский был у меня. Он похудел, еще более осунулся и говорил, что ехать нельзя, так как мы обязательно проиграем приз. Пастух шел хорошо и был очень стоек. «Если Удачный не хромает, ехать надо обязательно, иначе будет скандал», – ответил я Ратомскому и тем его очень огорчил. На следующий вечер приехал из Москвы Э. Ф. Ратомский, командированный отделом животноводства Наркомзема на тульские бега в качестве представителя. С его приездом Леонард Францевич приободрился. Днем у них было таинственное совещание на конюшне, а вечером оба пришли ко мне. В то время Александра Романовна жила в Туле, и вечером мы втроем пили чай у нее. Ратомские просили дать им адрес зубного врача, у которого надо было достать, по их словам, кокаин. Такой знакомый врач оказался у Александры Романовны. В городе он был больше известен как муж мадам Мари, у которой

был шляпный магазин на улице Коммунаров. Фамилия его была Рузов. К Рузову-то с запиской от себя и направила Александра Романовна обоих Ратомских. Уже после бегов я узнал, что Ратомские впрыскивали в ногу Удачного кокаин, заморозили ее и в таком виде ехал Удачный на приз.

Наступил день бегов. Погода стояла отличная, и туляки, давно не видавшие никаких зрелищ, валом повалили на ипподром. Представители губисполкома, земельного отдела и других учреждений были налицо. Собрались и все тульские охотники, которые тогда еще не успели разбрестись кто куда по нашей необъятной матушке России. Я распоряжался бегами и стоял у звонка. Скопление такой массы народу



Проводка (вышагивание) крзков на специальном кругу

для Тулы было необычно и придавало дню праздничный и торжественный вид. Первые два заезда прошли удачно. Наступила очередь большого приза дня. Пастух был в блестящем порядке, и Сухарев держался самоуверенно, заранее торжествуя победу. Он раскланивался с публикой, несколько раз принимал поздравления и рисовался на американке. Публика выбрала его твердым фаворитом. Наконец выехал на Удачном Ратомский. Лицо его было бледно, но спокойно, оно выражало решимость и высшую степень напряжения.



С поддужным

Удачный шел круто и не произвел на меня хорошего впечатления. Ратомский его очень осторожно проминал и, поворачивая, сдерживал до шага: для меня было ясно, что он бережет ногу жеребца. «Проиграем», – подумал я и дал третий звонок. В это время у самого барьера шел Э. Ф. Ратомский, возвращаясь от весов, где он стоял с прилепскими конюхами, и наши глаза встретились. Он мне кивнул, как бы желая приободрить.

На бегу торжественная и, пожалуй, самая напряженная минута для судьи и ездоков наступает тогда, когда лошади подходят к старту и готовятся ринуться в бой. На этот раз старт был дан скоро и лошади дружно пошли. Один лишь Удачный замялся, но, быстро выправленный Ратомским, тоже рванулся вперед. Голову бега взял Пастух и уверенно вел, остальные довольно тесной группой держались за ним. Так прошли версту, и казалось, что приз разыгран. Однако в по-

вороте Ратомский начал переключаться и на финишную прямую вывернул рядом с Пастухом. Это было неожиданно для публики, и по трибунам сейчас же прокатился ох, такой характерный и такой знакомый для всех посетителей бегах. Еще мгновение – и Ратомский начинает уходить от Пастуха. Сухарев берется за хлыст, но Пастух не отвечает на посыл. А Удачный, уверенно и красиво подвигаясь, проходит столб победителем, выигрывая на пять корпусов. «Молодец, старик!» – кричат отовсюду туляки, и гром рукоплесканий встречает победителей, ибо их двое – Удачный и Ратомский. Публика устроила настоящую овацию Ратомскому, и он был сторицей вознагражден за все свои волнения и переживания. Трогательно принимал старик поздравления: его окружили и поздравляли со всех сторон, и он был счастлив, как влюбленный юноша.

За вечерним чаем и ужином у Александры Романовны мы отпраздновали блестящую победу Удачного и посрамление метисов. Ратомские торжествовали, но особенно был доволен Леонард. На следующий день Удачный ушел в Прилепы триумфатором. Самонин и Лыков вели его домой и торжествовали вместе с нами. Ратомский на радостях стал величать Егорку Самонина Егором Ильичом и сделал его своим помощником. Так окончилась эта эпопея, имевшая блестящее начало, грустную середину и такой победный конец!

В дальнейшем беговая карьера Удачного была очень хорошей: он показал резвость 2.19 и 4.46. Если же принять во внимание, что уже с четырех лет он хромотал, то станет ясно, что истинный класс Удачного был совсем иной. Следует воздать должное Ратомскому, который был высокого мнения об Удачном и чистосердечно признавал себя виновником того, что Удачный преждевременно показал свой класс во время бега с Лакеем. Как призовому рысаку я ставлю Удачному в вину лишь его ход, ныряющий и неприятный для глаза.

Достигнув полного совершеннолетия, Удачный стал очень хорош. Белый, сухой, слегка фризистый жеребец, с хорошей спиной, абсолютно правильный, дельный и очень породный. К тому же он имеет линии и углы «большой» лошади и обладает хорошим ростом. Это производитель, а не рядовой рысак, и неудивительно, что некоторые бывшие коннозаводчики, как, например, Н. В. Лежнев, такого высокого о нем мнения.

Удачный сейчас состоит производителем в одном из заводов Нижегородского государственного заводоуправления. Он дал трех или четырех жеребят в Прилепах, среди которых половина была без минуты, а остальные – около 2.30. От случки кобылы Варшавянки, принадлежавшей Наркомату здравоохранения, с Удачным родилась серая кобыла Утеха, показавшая резвость 2.30 уже в двухлетнем возрасте. Удачный – резвейший сын Громадного из числа оставшихся в живых, и притом лучший по себе. Пренебрежительное отношение к нему как производителю со стороны коннозаводского ведомства просто непонятно. Оно может быть объяснено только невежеством руководителя технической части Раппа и метизаторскими наклонностями его сотрудников. Во всяком случае такая обстановка была в отделе коннозаводства до моего ареста. Место Удачного как производителя непременно во главе одного из госконезаводов. Если же Нижний Новгород желает его оставить, то дело коннозаводского ведомства проследить, чтобы там он был как следует использован. Учитывая все данные родословной Удачного, зная его первые шаги на заводском поприще и его прошлое, я не сомневаюсь в том, что от Удачного можно отвести замечательных кобыл, которые впоследствии станут украшением любого завода. Едва ли, однако, до этого додумаются, и Удачный, которому уже 13 лет, так и окончит свои дни в малоизвестном заводе Нижегородской губернии.

В 1917 году, еще до революции, я решил сделать налет на щёкинских жеребцов – знаменитого Вожака и его сына-рекордиста Ледка – и отправил под них восемь кобыл, среди которых были Урна, Безнадёжная-Ласка, Приятельница и другие. Это

была целая экспедиция, заранее обдуманная и согласованная между Сергиевкой и Прилепами. Знаменитые производители, достигшие тогда зенита своей славы, в общественную случку не допускались, и получение под них восьми мест было исключительной любезностью со стороны Щёкиных и большой радостью для меня. От этой случки родились Пугачёв, позднее переименованный в Мира (2.11), и Блеск (2.19), оба дети Ледка и рысаки самого первого класса. Менее удачен был результат в отношении детей Вожака, а ему было дано шесть кобыл. Дети его не выдержали голодовок и все, за исключением Блондинки, погибли. Урну я дал Вожаку. Подбор был сделан удачно, ибо в следующем году, 1918-м, родился крупный, костистый и очень правильный жеребец. При серой масти он имел фонарь, ноги его были выше скакательного сустава белы, а одна из передних бела почти по запястье. Я пришел в восторг, увидев такие отметины, и пожалел лишь о том, что жеребенок серый и что со временем эти отметины сольются с основной мастью жеребенка. Назвал я его Узором, ибо он действительно был узорно расписной. Только этот сын Вожака и еще дочь Буйной Блондинка выжили и выдержали все ужасы голодовки. Узор пал в двух- или трехлетнем возрасте, либо же его променяли на сено в 1920 или 1921 году, в самые тяжелые для завода фуражные кризисы.

Первым советским приплодом Урны был Усан, родившийся в 1919 году от Кронпринца. Тогда завод был уже национализирован, и как Урна, так и Кронпринц составляли собственность государства. Усан получился, несомненно, в типе Быков, вернее, Петушков и имеет их характерные черты. Одно время, кажется с половину сезона, трехлетний рекорд орловских рысаков держался за ним. Усан обладает хорошей резвостью и в маленьком заводе будет очень полезен как производитель.

Упа была родной сестрой Усана, но много тише брата. Она кобыла тоже петушковского типа и очень мелка. В заводе я ее не оставил и уступил Московскому земельному отделу. Вообще говоря, сочетание Кронпринца – Урна было не из удачных.



Повторение Петушка по указанной формуле дало в лице Усана и Упы совершенно посредственных по себе лошадей.

Последние годы жизни Урны в Прилепском заводе были не особенно благоприятны. Кобыла прохолостела, разок скинула, разок дала мертвый приплод, а может быть, жеребенка прозевали, а вину свалили на Урну. В итоге от нее получилось еще два жеребенка, по одному от каждого из знаменитых производителей Прилепского завода – Эльборуса и Барина-Молодого.

Сын Эльборуса серый Удар, когда родился, а это было в 1924 году, возбуждал громадные надежды. Это был поразительной ширины, исключительной кости и страшной плотности жеребенок. Родился он темно-серым, лысым и, как отец, в четыре ноги невысоко белоногим. К тому же у него была характерная лотарёвская голова и спокойный, но при этом гордый глаз, что я так люблю в жеребятках. Ко всему он был сух. В большинстве случаев у себя в заводе я определял будущих знаменитостей еще под матерями. Эти жеребята всегда отмечены самой природой, имеют своеобразную, им одним присущую печать, бросающийся в глаза экстерьер. Так в свое время были отмечены природой Кот и Кронпринц, Ловчий, Блеск, по

праву получивший свое имя, Утёс, Низам. И только Зов (2.14), когда он родился, мне не понравился. Да еще посредственное впечатление произвел на меня Бубенчик (2.15). Удар – очень интересная и дельная лошадь. Однако под матерью обещал больше, чем дал позднее. Тем не менее я не могу согласиться, что 2.24 – его предел, и думаю, что руки Гусанкова-сына не по нем. Удару сейчас пошел только пятый год, и если Хреновская конюшня его ценит, будет его работать как следует и передаст в руки более способного ездока, то жеребец еще постоит за себя. Нельзя не пожалеть, что Урна не дала от Эльборуса кобылки, ибо таковая была бы чрезвычайно ценна как заводская матка.

Последним жеребенком Урны была серая Усмань от Барина-Молодого. Я ее назвал в честь хреновской Усманы, воспетой Стаховичем и Карузо, и она оказалась совершенно исключительной по себе кобылкой. По своим формам Усмань ничего не имеет общего с Баринном-Молодым, начиная от темно-серой масти и кончая этой дивной линией верха, чудной шеей, породной головой, характерной орловской фризистой ногой, страшной глубиной и капиталностью! Это дивный экземпляр породы, и она, конечно, равна, а может быть, и превосходит свою полусестру Усладу! Создав двух таких дочерей, как Услава и Усмань, Урна, вероятно, увековечила себя в истории всего русского коннозаводства. Среди прилепских же лошадей имя ее никогда не будет забыто!

Усмань ушла в Хреновую в полуторагодовалом возрасте. Пришлась ли она там по вкусу, не знаю, но думаю, что в такой кобылке там, конечно, сумеют разобраться...

На Усмани оканчивается заводская карьера Урны. Всего Урна дала (весьма возможно, что кого-либо из ее приплода я пропустил) 10 жеребят, и все они живы. Если же Узор не был продан, а пал, то и это не меняет картину, ибо он погиб приблизительно в трехлетнем возрасте. Все ее жеребята серые: светло-серая Упа (к трем годам белая), серые Удачный, Узор и Усан, темно-серые Укор, Уклад, Удадь, Услава, Удар и Усмань.

При подсчете класса ее детей следует двух – Узора и Усмань – из подсчета исключить.

1. Резвее 2.20 – двое: Укор (1.35 и 2.17), Удачный (2.19).
2. Тише 2.20 – один: Усан (2.20).
3. Без минуты – четверо: Уклад (1.37), Удадь (1.40), Упа (1.39), Удар (2.24).
4. Тише 2.30 – один: Услава (2.40).

Итак, 100 процентов призового приплода: 25 процентов резвее 2.20; 12,5 процента тише 2.20; 50 процентов – безминутные; 12,5 процента тише 2.30. Результат говорит сам за себя.

Приплод Урны по своему типу и формам подразделялся мною так:

1. Выраженные Петушки: Уклад, Удадь, Упа, Усан.
2. Малютинский тип: Укор, Услава.
3. Старый орловский тип: Усмань, Удачный.
4. Очень хороши по себе: Узор.
5. Старый лотаревский тип плюс влияние Бычков: Удар.

Таким образом, 50 процентов приплода Урны – это Петушки плюс Бычки (группы первая и пятая). Это были худшие лошади в приплоде как по резвости, так и по формам. Интересно отметить, что все они являлись результатом инбридинга на Петушка и Бычка, ибо их отцы – Лознгрин, якунинский Петушок и Кронпринц – имели эту кровь.

По полу Урна дала шесть жеребцов, то есть 60 процентов, и четырех кобыл (40 процентов). Если мы вспомним, что ее мать Услава имела 50 процентов кобылок и столько же процентов сыновей, то увидим, что в этом Урна почти повторяет заводскую деятельность своей матери.

Наконец, следует иметь в виду, что среди детей Урны больных лошадей совсем не было. Все ее дети обладали хорошим дыханием и были сильными дистанционными лошадьми, а не только резвачами, которые, как иные прочие, летят как угорелые «от фонаря до фонаря», а там выдыхаются...

Я имею все основания быть вполне удовлетворенным заводской деятельностью Урны в Прилепах. Она всегда принадлежала к числу наиболее любимых мною кобыл. Полагаю, что ее имя останется жить не только в моей памяти, но и в памяти многих других охотников и ценителей орловского рысака.

В 1917 году Урна, как я уже сообщал, была под Вожаком, а потому Услава родилась в Сергеевке – так называлось имение Щёкиных. Я узнал об этом из письма Виктора Андреевича и был очень доволен, так как мне хотелось иметь от Урны и Громадного кобылку. Когда все мои кобылы, находившиеся в Сергеевке, ожеребились, Виктор Андреевич Щёкин прислал мне очередное письмо, в котором делился своими впечатлениями и сообщал, что лучший жеребенок – рыжая кобылка под Приятельницей. Далее он указал еще на двух жеребят, но в их числе имя дочери Урны не упоминалось. Кобыл из Сергеевки я забрал очень поздно, так что впервые увидел Усладу уже сформировавшимся сосуном и чистосердечно признаюсь, что не помню, какое впечатление она тогда произвела на меня. Достигнув годовалого возраста, Услава была уже настолько хороша, что обратила на себя мое внимание, а двухлетней была определенно лучшей по себе. Она и Похвала (из ставки 1917 года) были моими любимцами, и это увлечение вполне разделял А. И. Руденко. Ратомскому обе кобылы не нравились, особенно он не любил Усладу. Относился к ней с явной антипатией, что отчасти понятно, ибо братья Ратомские – правоверные «баринисты», фанатичные поклонники Барина-Молодого и его детей – не любили Громадного. Ратомские были поклонники Барса. Позднее и под моим влиянием Леонард Ратомский стал терпимее относиться к Громадному, а Кронпринца начал даже ценить, но Эдуард Ратомский так и остался непоколебим в своих симпатиях к Баринам. Услава находилась в работе у Л. Ф. Ратомского. Впрочем, выражение «находилась в работе» не вполне точно. Правда, Услава стояла на конюшне № 1 и занимала во втором отделении, сейчас за выводным залом, средний из трех денников. Кормление на конюшне № 1 было лучше, нежели на других, и здесь хотя и голодали, но все-таки меньше. Лошади конюшни № 1 проваживались, гонялись в манеже и были заезжены. Интенсивнее работать недокармливаемых лошадей было, конечно, нельзя. Когда Усладе минуло три с половиной года, Ратомский уехал в Москву, а вслед за ним были отправлены несколько лучших молодых лошадей завода для участия в показательной выставке на бегу. Одновременно с этой выставкой мною было устроено два беговых дня. То, что беговые испытания в социалистической республике возобновились, было большим достижением – отныне можно было быть спокойным за судьбу отечественного коннозаводства. Прилепские лошади не могли принять участия в беговых днях, так как не были к ним подготовлены, но на выставке имели большой успех и оказались определенно лучшими. К сожалению, в то время никаких наград не выдавалось и эти успехи прошли неотмеченными. Беговой сезон предполагалось открыть осенью того же года или весной следующего, а потому Ратомский с Удачным, Вадимом, Усладой, Похвалой, Природой и Большой-Медведицей ушел в имение своего брата, в Светлые Горы. Там он должен был подготовить их к предстоящим бегам. В Прилепы Ратомский уж больше не вернулся, а эти шесть лошадей и составили ядро возникшей вскоре прилепской тренконюшни, которая в течение нескольких лет имела огромный успех и одно время стояла на первом месте в стране.

Я навестил Ратомского в Светлых Горах. Жеребцами и обеими дочерьми Кронпринца он был доволен, но о Похвале и Усладе мне были даны самые отрицательные отзывы. «Услава очень сбоиста, – говорили мне, – и класса не имеет. Это типичная

дочь Громадного». Ездил на ней тогда Родзевич, который числился помощником Э. Ф. Ратомского. Я смотрел обеих моих любимиц на езде; их показывал Родзевич, а Ратомский уговаривал меня отправить их обратно в Прилепы. Мое сердце скорбело об этих фешенебельных представительницах Полканова рода, которые пасовали перед потомками мужика Пройды, но я все же не дал своего согласия на их отправку в Прилепы, и тренировка кобыл продолжалась. Я вернулся в Прилепы, а когда опять попал в Москву, Услава была уже на тренконюшне и бежала слабо: ее рекорд равнялся 2.40. Однако в то время с таким результатом выигрывали, и Услава имела один или два первых приза. Я решил взять ее в Прилепы, но тут вдруг, совершенно неожиданно для меня, Л. Ф. Ратомский стал просить оставить ее в Москве. Он говорил, что на последней езде кобыла имела четверть без пяти, что она начинает отдаваться и может еще выиграть. Подумав немного, я отказал и забрал кобылу домой.

Как описать формы Услады, дать ясное понятие об ее красоте? Жаль, что я не владею карандашом: как было бы просто – взять карандаш, на белом листе бумаги нарисовать Усладу так, как умел это делать Сверчков. Я часто говорил о портретах кисти Сверчкова, но некоторые его карандашные рисунки, например Плотного, Бриллиантки или Верного, стоят, конечно, любого портрета. Я же этим даром не обладаю. Когда приходится описывать таких кобыл, как Леда, Услава или Венера, то, право, кажется, что и сам Лев Толстой не справился бы с этой задачей...

Услава отнюдь не мелка – я думаю, что в ней $3,5-3\frac{3}{4}$ вершка росту. Масти она сперва была темно-серой, потом серой в яблоках, а теперь стала светло-серой. Хвост и грива более светлые, с налетом бурины. Голова у нее скорее маленькая и чрезвычайно приятная, все в этой голове точно, верно и красиво. Шея у кобылы превосходная, так называемого высокого подъема. Линия спины хороша, почка также, круп превосходный, а окорока просто замечательные. Верхняя линия составляет один, смело и красиво проведенный профиль. Такую верную линию могла провести только гениальная рука, на этот раз – рука природы. Ноги Услады не менее замечательны. Передние превосходно связаны с плечом, а это редко бывает у наших рысистых лошадей. Плечо, косое и богатое, хорошо соединяется с развитым подплечьем. В свою очередь, богатое запястье связывает пясть, исключительно короткую, с верхней частью ноги в одно стройное целое. Путо у кобылы образцовое, бабки чуть-чуть мягковаты. Передними ногами кобыла стоит образцово, а сбоку трость ее ноги прямо-таки скульптурна. Кобыла при этом суха и не знает, что такое наливывы. Глубины Услава совершенно изумительной. Как эксперт многих выставок, я не задумываясь присуждаю Усладе за правильность и красоту форм Большую медаль.

Что касается типа этой кобылы, то я уже говорил, что больше всего она мне напоминает малютинских маток, например Сирену. Достоин внимания, что у Сирены и Услады есть общее имя – Волокиты Сабуровского. Дочери Волокиты – Гроза 2-я, мать Громады, Заветная, мать Загадки, Сирена, мать Сейма, Смелая, мать Смелычака, – были замечательными кобылами.

Из больших знатоков лошади Усладу видел Брусиллов. Это было в Москве перед показательной выставкой-выводкой. Брусиллов, пройдя по конюшне, где стояли приведенные лошади, попросил вывести Усладу. Он уселся на лавочке возле конюшни, рядом с ним поместились комиссар коннозаводства Кучинский и я. Усладу вывели, и Ратомский стал перед ней с поднятым хлыстом в руках. Брусиллов похвалил кобылу и указал на нее Кучинскому. Алексеев увековечил этот момент на снимке.

Другой «великий» человек – Владыкин – тоже видел Усладу и также дал ей оценку, однако несколько иную. Он ее невлюбил, всячески поносил, когда говорил о ней – то сердился, ибо барин был капризный, и в конце концов решил выбраковать ее из завода – что называется, с глаз долой. Я наблюдал это нарастание враждебности в течение нескольких месяцев. Когда же Владыкин объявил мне, что хочет забракo-

вать Усладу, я не мог этого допустить и попросил его этого не делать. Владыкин жил у меня в доме, ему неудобно было еще отказать, и Услава была спасена.

Расскажу, какое впечатление произвела в январе 1928 года Услава в Хреновой, куда прибыла с основным гнездом прилепских маток. Хреновское начальство оценило ее по достоинству. Было решено, что Услава – лучшая по себе матка в Хреновой! Хотя это не старая, не прежняя Хреновая, тем не менее там собрано около 150 самых лучших кобыл, какие только есть в Союзе. Такая оценка говорит сама за себя!

Услава поступила в завод в 1922 году. Вот результат ее деятельности в качестве заводской матки по годам.

Заводская деятельность Услады в Прилепском заводе:

1923 год – светло-серая кобыла Украина (2.19) от Эльборуса.

1924 год – скинула от него же.

1925 год – светло-серый жеребец Утёс (2.16, трех лет) от него же.

1926 год – красно-серый жеребец от Барина-Молодого.

1927 год – холоста.

В последних числах декабря 1927 года ушла в Хреновской завод слученной с Воеводой. В 1928 году прохолостела уже в Хреновой.

Как показывает приведенный список, заводская карьера Услады только началась и у нее еще много времени впереди для того, чтобы стать одной из лучших заводских маток. Говорю это так определенно потому, что первые же два жеребенка Услады, достигшие совершеннолетия, попали в список 2.20 и резвее. А это такой успех, которым могут похвастаться далеко не многие орловские кобылы.

Первым жеребенком Услады была светло-серая Украина, дельная, очень широкая, костистая, но с плохой спиной кобыла, которая показала резвость 2.19. Не подлежит никакому сомнению, что если бы с молодых лет Украина была в хороших руках, то рекорд ее был бы еще более значителен. В ее лице Грязнушенский завод имеет весьма ценную заводскую матку.

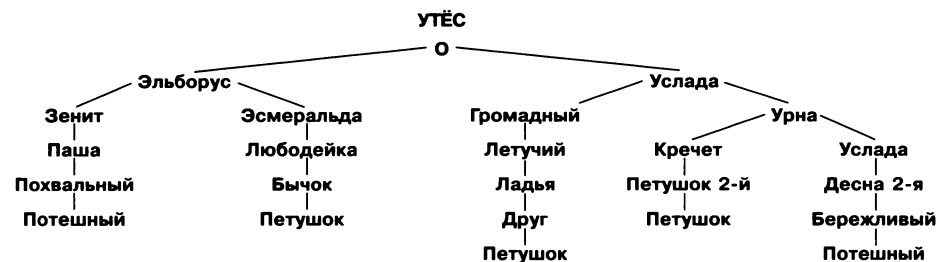
Второй приплод Услады – светло-серый жеребец Утёс, сын Эльборуса, – выдвинул Усладу на одно из первых мест среди других заводских маток республики. Утёс исключительно породен и выглядит незаурядной лошастью. По своему типу он чрезвычайно своеобразен: типичный орловский рысак восточного направления, в нем чувствуется «что-то азиатское». Тонкая, шелковистая небольшая гривка и короткий, от природы высеченный хвост с длинной репицей и постановом «фонтаном», как говорили в старину, также чрезвычайно характерны. Утёс, при полной сухости, правилен и делен. Спина у него очень хороша, хотя строгий глаз и уловит, быть может, самую незначительную пологинку. Однако это обманчиво и происходит от того, что у жеребца очень развитая холка. Наличие такого экстерьера и столь ярко выраженного типа не могло не обратить на себя внимания, и я внимательно следил за жизнью и развитием Утёса. Тогда в Прилепском заводе распорядился уже Владыкин. Я указал ему на то, что Утёс – лошадь по себе замечательная, но Владыкину жеребец не понравился. Хосроев, к которому Утёс поступил в работу, молчал, так как не имел обыкновения противоречить Владыкину. Только после ухода Владыкина, когда я специально поехал в Фатеево посмотреть Утёса, о нем заговорили. Мои самые смелые предположения оправдались: Утёс оказался лошадью исключительного класса.

Описывать призовую карьеру Утёса сейчас более чем преждевременно, она только началась. Следует отметить, что, поступив на Хреновскую тренконюшню, Утёс попал в отделение Э. Ф. Ратомского, что было благоприятным обстоятельством. Рекорд Утёса в трехлетнем возрасте (2.16) выдвинул его в число лучших среди сверстников. Я не видел стилиа выигрышей Утёса, так как в это время был уже

в заточении, но мне пишут, что стиль этот исключительно велик. Вот выдержки из двух писем. В. О. Витт: «...Утёса я считаю самым классным орловским жеребцом в ставке 1925 года, который на будущий год, подобно Крепышу, сможет развернуться в исключительную лошадь». А. Ф. Басов: «...Утёса я ставлю выше, так как к его феноменальному классу надо прибавить и его экстерьер, и изящно-благородный стиль. Утёс обладает всем этим в избытке».

Когда Утёс выиграл в 2.22 вне конкуренции, хроникер журнала «Коневодство и коннозаводство», отмечая этот бег, писал, что «дальнейшие выступления Утёса ожидаются с громадным интересом».

Раз Утёс – лошадь, подающая такие большие надежды, полезно взглянуть на сочетание Эльборус – Услава, создавшее его. Составив небольшой чертеж, мы видим, что фундаментом родословной является голохвостовский Петушок, имя которого трижды повторено у Утёса. Правда, в одном случае это повторение делается через Друга, малотипичного для своей линии жеребца, однако у самого Утёса нет ни одной черты в экстерьере, которая напоминала бы о Петушках или Бычках. Инбридинг на Потешного, присутствие Громадного, влияние замечательной женской семьи Услады, старые лотарёвские крови и, наконец, кожинские крови – вот что создало Утёса, но основой для возведения этого здания была петушковская кровь при поддержке великого кожинского Потешного.

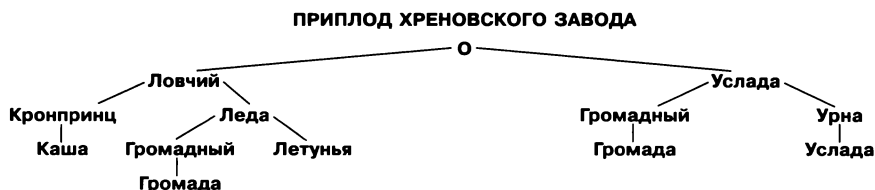


Петушок – 5+6+5; Потешный – 5+6.

В 1926 году Услава дала небольшого красно-серого жеребца, который под матерью мне не особенно нравился и выглядел карапузиком. Это был сын Барина-Молодого. Жеребенок этот сейчас в Хреновском заводе, и его появление на бегу, несомненно, вызовет интерес.

В 1927 году Услава прохолостела, если память мне не изменяет, от Ухвата, а в 1928-м – от Воеводы. Таким образом, два драгоценных года у этой замечательной заводской матки прошли даром, в чем всецело повинен Самарин.

Мне остается сказать, почему я покрыл бы Усладу Ловчим. Трудно придумать более блестящую комбинацию: здесь мы будем иметь и повторение имени Громадного, и наличие шести знаменитых кобыл в первых трех поколениях, и, наконец, вхождение ряда выдающихся по себе лошадей.



С генеалогической стороны данное сочетание «приводит меня в трепет», как сказал бы покойный Карузо, этот великий генеалог и пламенный поклонник кобылы Самки, из женской семьи которой происходит Услава.

Сочетание Ловчий – Услава интересно и по целому ряду других оснований. Первое из них то, что характеры этих лошадей дополняют или, точнее, уравновешивают друг друга. Быть может, то, что я пишу, совершенно ненаучно, но из практики явствует, что нередко лошадь мягкого характера, отдатливая и добрая, как, например, Ловчий, встретив на своем пути такую кобылу, как Услава, пылкую и сумасшедшую по езде, дает детей с превосходным и совершенно уравновешенным характером.

Второе. И Ловчий, и Услава принадлежат к стайерской линии. Таким образом, их приплод, вероятно, будет стайером. При почти полном исчезновении стайерских способностей у современных рысаков более чем важно вести работу в этом направлении и создавать стайеров, а не одних только фляйеров.

Бросается также в глаза обилие премированных лошадей в родословной этого пока что только воображаемого приплода.

ПРИПЛОД ХРЕНОВСКОГО ЗАВОДА



Итого из 14 имен первых трех генераций 12 – премированные рысаки и лишь два (Недотрог и Кречет) были посредственными по себе лошадьми. От Ловчего и Уславы может родиться такой рысак, каким был, например, Лель! Все данные к тому заложены в родословной их ближайших предков.

Я вернулся из лазарета на знаменитую «десятку» 24 декабря. Опять та же камера, тот же полумрак, те же пять аршин длины на два с половиной аршина ширины, окно на четырехаршинной высоте от пола, волчок в екатерининский пятак величиной, вонючая параша и тяжелый, спертый воздух. В камере я застал новое лицо – В. Е. Попова из командного состава Красной армии. Человека очень милого, развитого, когда-то ездока-охотника, ездившего на лошадях А. В. Баташовой, и приятного собеседника. Двумя другими товарищами по несчастью были В. И. Подовинников из Подхоженских выселок Венёвского уезда и П. Ф. Зенякин, крестьянин поселка Городка Богородицкого уезда. (Зенякин и я своими боками сушили «десятку», так как

были водворены сюда еще 15 ноября, то есть в день ее превращения из карцера в постоянное отделение для следственно-заключенных.) И вот опять потянулись бесконечные дни, тяжелые бессонные ночи, переживания – у одних проявлявшиеся особенно остро, у других заглушенные долгим сидением и полной апатией к жизни и ко всему окружающему.

В пять часов, иногда немного позднее, раздается резкий свисток дежурного по корпусу, гремят ключи, стучат засовы, отпираются замки и происходит проверка. Со скрипом открывается дверь, входит дежурный. У него в руках тетрадь, по которой он проверяет наличие заключенных. Его всегда сопровождают конвойные и несколько человек тюремной стражи. Все мы встаем, у нас ужасный, взерошенный вид, полу-безумные глаза, грудь жадно, но тщетно ищет воздуха. Проходит две-три минуты – и дверь уже заперта. Когда все камеры проверены, в коридоре раздаются гулкие шаги уходящего надзора. Звуки замирают, и раздаются лишь размеренные, так действующие на нервы шаги дежурного по отделению.

В камерах начинается повседневная жизнь. Кое-кто умывается, другие убирают свои убогие постели, больше напоминающие вороха грязных лоскутьев. Затем дежурный по камере метет, моет пол и все ожидают утреннего чая. Его приносят в шесть часов утра. Опять в коридоре раздаются шаги, слышатся голоса, и перед крайней камерой раздается гулкий стук: на пол опустили ушат с кипятком. Снова открывается дверь, дежурный по камере поспешно подставляет ведро и принимает кипяток по черпаку на брата. Чай завариваем общий. Китайский чай здесь редкость, и пьем мы обычно фруктовый – какую-то невообразимую смесь пережженных отбросов, четверть фунта за семь копеек. Хлеба выдается по полтора фунта на человека. Он обычно хорошо выпечен и составляет главную пищу почти всех заключенных (передачи, или, как говорят здесь, «передачки», получают очень и очень немногие). Это не Москва, здесь сидит бедный люд – крестьянство, редко рабочие и служилый элемент, лишившийся уже жалованья и тем самым обреченный с семьей на нищенство и голод.

Между утренним чаем и обедом обычно бывает прогулка: полчаса, считая сборы и переходы по коридорам тюрьмы, в тесном дворе, где летом бывает невыносимое зловоние, а зимой еще можно дышать. Заключенные, бедно и грязно одетые, с серыми лицами, больше напоминают на этой прогулке привидения, нежели живых людей. Все с упованием смотрят на «баркас» – так в Тульской тюрьме называется высокая стена, которая изолирует весь этот мир от жизни свободных и счастливых людей.

Я нередко задавал себе вопрос: почему эта стена называется баркасом? Думаю, потому, что баркас в открытом море так же одинок и изолирован от внешнего мира, как и тюрьма. Тюремный язык имеет много своих слов, которые вы не услышите на свободе. Здесь никогда не скажут «на свободе», а скажут «на воле». Далее. Протекция здесь «блат», нож – «перо», письмо – «ксива», сало – «балалас», белый хлеб – «белота», черный хлеб – «пахан», мешок с продуктами – «сидор», надзиратель – «лежавый», карманник – «ширма» и т. д. Кроме того, здесь очень неправильно говорят по-русски: никогда не скажут «свидание» – всегда «свиданка», вместо «передача» – «передачка», взамен «прогулки» – «гулянка» и прочее. Обычно перед обедом на отделение приходит «больница». Вот что это значит. У волчка раздается голос: «Есть больные?» На это обычно следует ответ: «Больные, здоровые, больница!» То есть здоровые в больнице. Дверь открывается, и появляется сестра с листом бумаги и карандашом в руках или задумчивый фельдшер в очках. Рядом на переносной табуретке стоит ящик со всевозможными склянками и порошками. Тут же два санитаря, напоминающие скорее гробовщиков. Больным раздают какие-то мутные жидкости и порошки, все они одного вида и вкуса. Шалфей – любимое лекарство мрачного фельдшера в очках, ромашка – другого; бутылка из-под самогона с какой-то бурдой

особенно рекламируется санитарями и имеет большой успех у заключенных. Тут же происходит запись к доктору «на больницу». Там уже другие порядки, другие рецепты, другие лекарства и другое отношение к больным.

Около двенадцати часов разносят обед – кислые щи, где одиноко, как утлый челн в синем море, плавает кусочек мяса величиной в рваный двугривенный. Эти щи подают ежедневно с середины декабря до середины августа. С августа же по декабрь дается картофельный суп. Заключенные называют это произведение тюремной кухни баландой. По своему вкусу и запаху это нечто невообразимое! Иногда в праздники дается «баланда» из перловых круп. Но что бы ни приготовили на здешней кухне, все имеет один и тот же отвратительный вкус. Не позднее чем через час после супа разносят кашу. Каша здесь гречневая и хорошая. Все, конечно, едят из общих мисок. В три часа опять дается кипяток, в пять ужин, то есть одна «баланда», без каши и мяса. На этом питание заключенных тульского исправительного дома заканчивается, а потому неудивительно, что все заключенные, за самым редким исключением, имеют нездоровый и истощенный вид.

В течение дня бывают вызовы из камер на допрос к начальнику, на объяснение к доктору, на суд, в библиотеку. Кроме того, четыре раза в день по камерам происходит «оправка», то есть вывод в уборную. Между семью и восьмью вечера в том же порядке, что и утром, происходит поверка, с той лишь разницей, что дозор еще сопровождает письмоносец, принимающий корреспонденцию. Раздача же по камерам полученной корреспонденции не имеет определенно установленных часов.

Таков режим тюрьмы для следственных, почти такой же он и для тех, кто уже получил свой срок. Они еще выводятся на работу и исполняют те или иные обязанности. Трудно сидеть в тюрьме: нудно, тоскливо, тяжело тянется день, делать нечего. В камерах бывает шумно, дышать нечем, все члены ломит, и все болит от спанья на полу и других неудобств. Духовных интересов никаких. Человек теряет свое «я» и превращается в живой манекен. Подхалимство, доносы, зависть цветут махровым цветом. А тут еще гнетут мысли о семье, материальные заботы, преследует призрак предстоящего суда, унижения и позора или тяжелые думы о том, как-то вы отсидите срок, если вы уже осужденный. Мечты о свободе непременно преследуют, манят и дразнят и часто отравляют и без того тяжелое существование. Кто не был здесь, в этих стенах, никогда не поймет, что чувствуют, переживают и переносят те, кто здесь томится месяцы, а иногда и долгие годы... Бичом всякой тюрьмы является еще обилие клопов, блох и вшей, которые не дают спать и грызут день и ночь. Тульская тюрьма и в этом отношении не составляет исключения из общего правила.

В этих кошмарно тяжелых условиях опять однообразно и грустно потянулось для меня время. Каждый прожитый день приближал меня к Новому году, и наконец настал канун этого дня. Днем я получил из Хреновой от В. А. Щёкина копченый окорок ветчины. Это был хороший подарок и вовремя оказанный знак расположения и внимания. Не имея никого родных в Туле, а также определенных средств, я не получаю передач и почти что голодаю. Ситный хлеб, колбаса, сыр, иногда рыбные консервы – вот все, что можно получить в здешней лавочке. Эти продукты, правда в очень ограниченном количестве, и поддерживают мое существование, иначе я давно бы превратился в едва двигающуюся от слабости тень... Вечером после проверки я пригласил своих товарищей по камере – Попова, Подовинникова и Зенякина – отвезать окорока и тем ознаменовать встречу Нового года. Мы отдали честь окороку, вспомнили добрым словом Щёкина, и я, как хозяин трапезы, пожелал Зенякину, который «подзашел» в тюрьму третий раз, больше сюда не попадать, Попову, которому предстоит суд, легко отделаться и получить не больше года, а Подовинникову вернуться домой.

Так я встретил новый, 1929 год.

Назаревский все еще находится в тюремной больнице и не подает надежд на выздоровление. В последний раз, когда я его видел, он чувствовал себя немного лучше, и я воспользовался этим, чтобы просить его написать о С. Н. Попове, которого он хорошо знал. Попов был известным коннозаводчиком Тульской губернии. Производителями в заводе у него состояли Роз-Пас, сын американского Пас-Роза, и орловский Кудесник, лошадь замечательная как по себе, так и по породе. Из завода Попова вышло много бежавших лошадей, среди них лучшими были метисы Гамлет-Молодой и Гватимозин, а среди орловцев серый Перун (2.19). Попов принадлежал к коннозаводской семье: его мать была урожденная Григорова, дочь знаменитого коннозаводчика Григорова. Григоровское имение Узуново Венёвского уезда Тульской губернии наследовал младший брат Попова Дмитрий Николаевич, а сам Сергей Николаевич владел имением в Богородицком уезде Тульской губернии. У Д. Н. Попова был небольшой рысистый завод, который он вел в упряжном направлении. Оба брата завели себе заводы самостоятельно, так как все григоровские лошади были распроданы еще дочерью этого коннозаводчика. С Д. Н. Поповым я был знаком по Дворянскому собранию, а С. Н. Попова знал близко. Это был добрейшей души человек, большой чудака и страстный любитель лошади. Приведу воспоминания Назаревского о нем. Воспоминания эти начинаются с просьбы ко мне «поместить их в мемуарах для удовольствия будущих поколений». Охотно это исполняю и вместе с автором надеюсь, что они будут прочтены не без интереса.

«Сергей Николаевич Попов, давно уже умерший, происходил из дворян Венёвского уезда Тульской губернии. Лично владел имением в Богородицком уезде. Получил высшее образование, был директором тульской мужской классической гимназии и имел чин действительного статского советника. Бросив службу, женился случайно на девице еврейского происхождения и легкого поведения. Переведя жену в лютеранскую веру, он занялся делами своего имения.

Собой Сергей Николаевич был мужчина видный, высокого роста, имел крупные черты лица, большой нос, крупную лысину, которую тщательно прикрывал волосами с висков. В разговор вступал весьма охотно со всяким. В разговоре имел обыкновение приподымать вверх обе руки, причем указательный палец правой руки держал всегда книзу, и при этом весьма часто повторял: «Надо удивляться!» – выражение, буквально не сходившее у него с языка.

В жизни Сергей Николаевич был человек миролюбивый, добрый и отзывчивый ко всякой людской нужде и горю. Со всеми он говорил приветливо и чистосердечно. Во все время моего с ним продолжительного знакомства я ни разу не слышал, чтобы он сказал кому-либо хоть одно грубое слово, даже и такому лицу, которое заведомо причиняло ему или беспокойство, или даже материальный ущерб. Только отойдя от такого лица, он, бывало, скажет: «Надо удивляться, какой негодяй!»

Был у Сергея Николаевича в имении небольшой конный завод. Лошадиный спорт любил он очень сильно. Лошади его завода бегали на Елецком, Калужском, Тульском и Московском ипподромах. Однако о достоинствах его лошадей я писать не берусь, так как сам в этом деле мало смекаю. При всех достоинствах был у Сергея Николаевича и свой недостаток – это добродетель. Я лично в течение моей 74-летней жизни не встречал более таких людей. Что с ним делали разные прихлебатели и проходимцы, так это прямо один ужас! Например, нуждаясь в деньгах, он однажды дал одному туляку векселей на 15 тысяч рублей и послал его уечьть их в Москву. Тот охотно поехал, а возвратясь назад, объявил, что три тысячи он проиграл в Москве в карты. Встретив меня, Сергей Николаевич рассказал мне об этом эпизоде и в заключение добавил: «Каков Мишка (так звали молодого человека), и ведь шалопай большой руки!» Тем все и кончилось, а деньги-то пришлось платить Попову...

Имение Сергея Николаевича делилось на две половины протекавшей через него речкой. На одной стороне этой реки стоял приличный барский дом, с большим

количеством комнат и служб, а на другой находились скотный двор, помещения для рабочих, сараи для сельскохозяйственных орудий и прочее. Последнее время постоянно нуждаясь в деньгах, Сергей Николаевич запродавал какому-то кулаку тот участок земли, где был сельскохозяйственный, как живой, так и мертвый, инвентарь. Наступила весна. Из деревни является в Тулу (Сергей Николаевич зимой всегда жил в Туле, в гостинице Чернышова) староста и докладывает, что надо, мол, пахать, время пришло. «Да пахать-то, ваше превосходительство, нечем: ни лошадей, ни плугов, ни сох нет». Сергей Николаевич удивился и говорит старосте: «Что ты городишь, Семён? Как не на чем пахать?» – «Да так, ваше превосходительство. Прохор-то ничего не дает и говорит: «Барин-то твой мне все продал! У меня на это на все и документы есть». Сергей Николаевич не поверил и пошел к нотариусу. Проверил акт, и оказалось, что действительно продал часть земли с находящимися на ней постройками и живым и мертвым инвентарем. Так и пришлось Сергею Николаевичу в том году отдать остальную землю в аренду, а самому остаться без урожая. Вот такие-то мошеннические поступки охотников до легкой наживы подорвали благосостояние Сергея Николаевича и укоротили его жизнь.

Пятого июля, как известно, бывает Сергиев день. В этот день Сергей Николаевич справлял свои именины. В один из таких дней он пригласил В. И. Ливенцова и меня приехать к нему на именины. Имение Сергея Николаевича находилось вблизи станции Караси Северо-Восточной железной дороги, где нас уже ожидали лошади. Велика была радость Сергея Николаевича, когда он увидел нас, приехавших исключительно из одного к нему уважения. Мы застали там помещика Глебова, человека большого роста и сановного, уже пожилого и весьма серьезного. Познакомив нас с ним, Сергей Николаевич предложил нам всем пойти посмотреть его усадьбу и окрестные виды. Пробродив с час времени, мы подошли к реке, протекавшей по середине имения. Увидав чистую и прозрачную воду, Глебов предложил всем искупаться, так как погода стояла жаркая. Не дожидаясь нашего согласия, Глебов быстро разделся и, спросив Сергея Николаевича о глубине реки и получив ответ «Нет, неглубоко», бросился в воду – и пропал. Вынырнув затем из воды, он закричал: «Сережа, как же ты говорил, что здесь неглубоко? А я и дна не достаю!» На это последовал классический ответ Сергея Николаевича: «Когда ты пропал под водой, я испугался и подумал: а умеет ли он плавать?» С нашей стороны ответом на эти слова был дружный хохот...

К обеду приехали еще гости: управляющий имениями графов Бобринских с женой-француженкой, весьма бойкой и красивой дамой, сильно декольтированной, уже пожилой и говорившей исключительно по-французски. Ни я, ни Ливенцов по-французски ни звука. Один лишь Сергей Николаевич, улыбаясь во все лицо, очень часто произносил: «Вуй-вуй, мадам!» – и было нам смешно и обидно за себя, а француженка, возможно, смеялась над нами.

Любя меня, Попов был со мною всегда очень откровенен, поэтому я не удивился, когда он вызвал меня в столовую, где уже собирался стол к обеду, и сообщил, что только вчера прогнал лакея Ваську за то, что он постоянно «портит» всех горничных Любиньки (супруги Сергея Николаевича). «И знаете, «отче», – обратился Попов ко мне (он всегда называл меня именно так), – я вместо Васьки взял конюха Тимофея. Он оказался очень способным для новой, совершенно незнакомой ему службы. Как видите, это он собирает стол и надел уже нитяные белые перчатки». Зная Попова, я этому насколько не удивился и промолчал.

Сели, наконец, обедать. Трещит не переставая француженка, мужчины выпивают, «способный» Тимофей забыл положить ложки. Но этот недостаток был своевременно замечен хозяином и устранен. Затем «способный» Тимофей вносит на большом блюде разварную рыбу под соусом и прежде всех подает хозяйке. Та, сконфузившись, направляет блюдо к гостье. Перегнувшись больше, чем следует, Тимофей

подает француженке рыбу и весь соус выливает гостью на белое платье. Хозяин вскакивает со своего места со словами «Пардон, мадам!» и, совершенно растерявшись, салфеткой размазывает соус по всему роскошному и дорогому платью. Француженка, не поднимаясь с места, захохотала и что-то громко затрещала, хотя хозяин и хозяйка были сильно сконфужены и весьма долго извинялись. Хозяйка, Любовь Акимовна, даже предлагала гостье надеть ее платье. Но гостья осталась неумолима, до самого отъезда ходила в испачканном платье, а Сергей Николаевич все повторял: «Пардон, мадам!» – и целовал у нее ручки.

По окончании обеда гости были приглашены на балкон, куда подали шампанское. Хозяин спрашивает: «Тимофей, можешь открыть бутылку?» – «Могу-с, ваше превосходительство». – «Ну так открой!» Ушел Тимофей и, возвратившись через минуту со штопором в руках, смиренно начинает запускать его в пробку. Момент – и пробка вылетает, вино пенится и летит вверх. Испугавшись, «способный» Тимофей прикрывает бутылку дланью и обдает вином хозяйку и гостью. Смеху не было конца. Передать сейчас на бумаге и выразить, что мы все испытывали в тот момент, невозможно! Это надо было быть на месте и все это видеть собственными глазами.

От Сергея Николаевича мы вернулись в Тулу в самом хорошем расположении духа и долго вспоминали потом свою поездку в Караси. Меня Сергей Николаевич особенно уважал за мое знание Святого Писания и церковных служб. Очень часто, оставшись вдвоем, мы вели дружеские беседы о различных догматах веры и учениях церкви.

Однажды у Сергея Николаевича в номере гостиницы мы играли с ним в шашки, но вынуждены были оставить игру и выйти в общее зало, куда нас вызвал приехавший в гостиницу наш общий знакомый Александр Павлович Офросимов. Последний был, по обыкновению, навеселе и приглашал нас поехать с ним в «Эрмитаж» послушать хор. Узнав, что нам неудобно оставить Любовь Акимовну одну сидеть в номере, Офросимов бросился в комнату последней и начал ее уговаривать ехать вместе с нами. Она согласилась, и, поужинав в гостинице, мы вчетвером отправились в «Эрмитаж». Приехав в «Эрмитаж» и заняв ложу, мы потребовали бутылку аи. Вскоре Офросимов отлучился. Посидев немного, Сергей Николаевич и говорит: «Надо пойти поискать Сашета» (так он и другие звали Офросимова). Прошло четверть часа, и, соскучившись, я говорю Любви Акимовне: «Пойду поищу наших кавалеров». Нашел я их у буфета. Офросимов пил коньяк и бранил какую-то девицу на чем свет стоит. Я смотрел на эту сцену и ничего не понимал. Только вдруг к этой девице, уже сильно захмелевшей, подходит Сергей Николаевич и начинает ее уговаривать. На это участие со стороны Попова девица вдруг выпаливает: «Отойди от меня прочь, старый дурак!» Последнее ее слово, очевидно, взорвало Сергея Николаевича, и он начал доказывать упомянутой девице, что он не дурак вовсе, а действительный статский советник и патентованный педагог. Выслушав Сергея Николаевича, дева такое сказала слово и послала Попова туда, куда он, если бы и захотел, никак попасть бы не смог! Только благодаря моему вмешательству удалось, хотя и с большим трудом, возвратить обоих кавалеров в ложу».

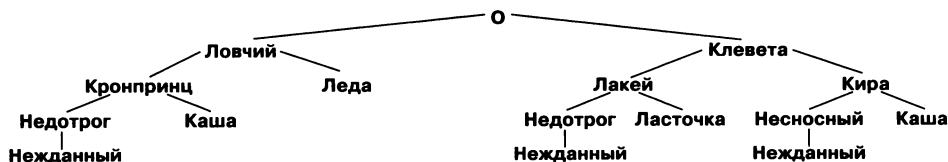
Читатель уже знает, что я не являюсь сторонником инбreds на Нежданного. Точно так же отрицательно я отношусь к инбреду на Недотрога – из-за боязни закрепить в приплоде мелкий рост, мягковатость спины и плохой характер. В Прилепском заводе не было сделано опытов с инбредом на Недотрога, а потому выдвинутые сейчас положения являются лишь теоретическими. Правда, один-единственный опыт в этом роде был, когда Фаворитка была дана Кронпринцу (Кронпринц – Недотрог; Фаворитка – Фурия – Недотрог). Получился вороной жеребчик, очень широкий, крупный, с хорошей спиной и капитальный. Он мне очень понравился. Это был, несомненно, лучший приплод Фаворитки – неудачницы на заводском поприще.

К сожалению, этот жеребенок пал под матерью по чистой случайности. Весьма возможно, что мои теоретические предположения окажутся разбитыми жизнью и инбридинг на Недотрога, если таковой будет в каком-либо заводе проводиться, даст положительные результаты.

Я много раз на страницах этих тетрадок говорил об инбридинге и отмечал как его положительные, так и отрицательные стороны. На этот раз мне хотелось бы обратить внимание охотников на следующее: если при инбридинге повторяется имя порочного жеребца, хотя бы и очень резвого, то весьма часто такой инбридинг приносит только вред, ибо, повышая или давая резвость, неминуемо усиливает и свою порочную сторону. Поэтому каждый работник-практик, применяя методы родственного разведения, должен учитывать, возможно применить этот метод для данных лошадей или же нет. Я совершенно согласен с мнением уважаемого мною профессора И. Ф. Иванова о том, что инбридирование допустимо лишь в тех случаях, когда мы имеем дело с животными абсолютно здоровыми и с доказанной хорошей производительностью. В противном случае родственное разведение ведет либо к вырождению, либо к созданию порочных экземпляров с пониженной хозяйственной производительностью. Ну а много ли у нас сейчас среди орловских рысаков абсолютно здоровых лошадей? Я не только думаю, но даже уверен, что их число невелико, потому у нас инбридинг должен применяться с большою осторожностью и продуманно. Автор этих строк был первым в коннозаводской литературе, кто уже 20 лет тому назад указал на пользу и значение инбридинга в рысистой коннозаводстве. Тогда были совсем иные условия ведения дела и совсем другой по своему здоровью и конституции материал. Теперь далеко не то. В момент увлечения этим методом заводской работы, когда он положен в основу ведения орловской рысистой породы, пусть мой голос вновь прозвучит первым, но на этот раз не за инбридинг, а за продуманное и осторожное его применение. В руках великих животноводов инбридинг создает породы, в руках талантливых и знающих коннозаводчиков – знаменитых лошадей, а в руках дилетантов и невежд – порочных лошадей, а зачастую и дегенератов.

Когда я просил в 1927 году случить Клевету с Ловчим, я предварительно долго думал о том, как увяжутся в новой родословной инбридинга на Нежданного, Недотрога и Кашу и каков общий фон этого сочетания. Принималось также во внимание состояние обеих лошадей, их качества и особенности. Учитывалось наличие в родословной таких кобыл, как Ласточка, Каша, Леда, то есть таких маток, которые были мне известны как идеальные представительницы рысистой коннозаводства. Инбридинг на Недотрога мне казался допустимым, а трехкратное повторение имени Нежданного – нестрашным ввиду наличия имени Каша, которая от сына Нежданного дала двух своих лучших сыновей.

ПРИПЛОД ХРЕНОВСКОГО ЗАВОДА



Трижды повторен Нежданый, дважды – Недотрог и Каша. Украсили родословную имена таких кобыл, как Ласточка, Каша и Леда. Кровь Громадного вводится как могучий кросс в кровь родственников лошадей. Замечу, что в то время, когда делался этот подбор, сын Клеветы еще не был тем выдающимся рысаком, каким он стал в руках М. Д. Стасенко, и имел относительно скромный рекорд. От данного сочетания я ожидал самых утешительных результатов и еще до своего ареста узнал, что не

ошибся. Клевета покинула Прилепы в конце декабря 1927 года и вскоре после этого ожеребилась в Хреновой. Там новорожденного видел Владыкин и рассказывал в коннозаводстве, что Клевета дала от Ловчего замечательную по делу и красоте рыжую кобылку. Я же от себя замечу, что эта кобылка к году будет светло-серой и, вероятно, классной, ибо дети Недотрога и Каши – Кот и Кронпринц – родились рыжими, а стали белыми. Лично я буду с величайшим интересом следить за судьбой этой кобылки.

О том, что умер Э. Ф. Ратомский, я узнал на Новый год из газетного объявления в «Известиях». Что он болел и что дни его были сочтены, я не знал. Я «крупный преступник» и строго изолирован от общества. То, что прочтешь в газете, да то, что узнаешь из письма, – вот и все, на что я могу рассчитывать, сидя здесь. Осведомленность, как видит читатель, небольшая, ибо мне почти никто не пишет: все боится себя скомпрометировать в глазах начальства. «О времена, о нравы!» – воскликну я с горечью и пожелаю род людской...

Не думал я и не гадал, что здесь, в Тульской тюрьме, мне придется писать некролог Ратомскому. Грустна и тяжела обязанность, вернее, долг писать над еще свежей могилой человека, которого знал и любил. И еще тяжелее это, когда находишься в страшной обстановке, где на каждом шагу дыхание смерти, где разговоры о ней постоянны и где сам чувствуешь подчас ее приближающиеся шаги. Но что же делать? Удел человечества – страдать. Он на старости лет положен и мне.

С Ратомским я познакомился давно. Это было в Москве, и конечно, на бегу. Его ввел в беговые сферы некий Сергей Африканович Шпажников, занимавшийся комиссионерством. Ратомский не был москвичом, и его никто не знал. Говорили, что он занимался куплей-продажей имений, также комиссионерствовал при подобного рода сделках и нажил небольшие деньги. Его деятельность протекала исключительно в Минской и Витебской губерниях. Приехав по делу в Москву, он случайно попал на бега. Этот спорт ему понравился, и он решил купить рысака и попробовать счастья. Первой его лошастью был метис, купленный для него Шпажниковым на гремевшей в то время конюшне Коншина. Ратомский стал на метисе ездить сам, и с этого началась его карьера. Ратомский не имел никаких знакомств в беговых кругах и не занимал определенного общественного положения. Вот почему его появление на бегу осталось незамеченным, долгое время он не играл никакой роли и был скромным и мелким охотником. Но у Ратомского по езде оказался талант, и притом далеко не заурядный. Он стал очень удачно ездить на призах и увеличивать свою конюшню. Тогда на него обратили внимание, выбрали в члены-соревнователи общества, и из никому неведомого Ратомского он превратился в Эдуарда Францевича, своего человека, завсегда на бегах и на утренних проездах. Своего основного дела он сначала не бросал, иногда отлучался в Минскую губернию или Витебскую, там проводил все время между сезонами бегов. Однако увлечение спортом пустило такие глубокие корни и успехи его были так хороши, что вскоре Ратомский ликвидировал все свои дела и окончательно переехал на жительство в Москву. Поселился он на Старой Башиловке и всецело отдался беговому делу. Ратомский смотрел на беговое дело не только как на забаву и удовольствие, но как на серьезное коммерческое предприятие. Он был представителем новых деловых людей, которые пошли в охоту, как другие вступают в банки, правления обществ и торговлю – с тем чтобы наживать деньги. Этим людям суждено было вступить в борьбу, с одной стороны, со старыми, традиционными коннозаводскими фамилиями преимущественно из дворянских кругов и высшей знати, а с другой – с именитыми московскими родами Морозовых, Коншиных, Трапезниковых, Шибаевых и Зиминых, которые, обладая миллионами, смотрели на конский спорт только как на удовольствие и удовлетворение собственного тщеславия.

Ратомский поставил свою призовую конюшню на деловую ногу, затратил деньги на покупку молодняка, целые дни проводил в конюшне, учился, приглядывался, все учитывал и подсчитывал и вскоре среди ездоков стал уже не дилетантом, а профессионалом. Его конюшня превратилась в серьезную величину, а сам он – в блестящего ездока. Во время «революции» на бегу, вскоре после свобод 1905 года, Шубинский, который никак не мог пройти в действительные члены Московского бегового общества, сгруппировал вокруг себя недовольных, то есть членосоревнователей из числа наиболее видных. Затем он через коннозаводское ведомство в Петербурге, где имел связи и влияние, провел известный циркуляр, по которому члены-соревнователи, чьи конюшни выиграли определенную сумму, механически, по цензу, входили в состав общества в качестве действительных членов. Права свои они теряли, если ликвидировали свои конюшни. Таким путем и сам Шубинский, и его партия «прошли» в действительные члены. Ратомский стал таковым и получил голос в старейшем беговом обществе России. Этим его положение было упрочено. Старые члены общества, выборные, конечно, протестовали, ибо со стороны коннозаводского ведомства было допущено возмутительное нарушение выборного начала, и очень недружелюбно отнеслись к «цензовикам», как прозвали новых действительных членов. Под давлением общественного мнения Главное управление государственного коннозаводства вынуждено было отменить свой циркуляр, так что выборное начало в Московском беговом обществе было восстановлено. Однако закон обратной силы не имеет, а потому все, вступившие по цензу, остались в обществе. Такова была история вступления Ратомского в так долго для него закрытую среду.

Все сведения о появлении Ратомского на бегу и его первых шагах на этом поприще я получил от Коноплина, который знал подноготную каждого охотника и был вместе с «папашей» (Пейчем) в курсе всех дел. Много позднее, когда брат Ратомского, Леонард Францевич, во время революции служил в Прилепах, я узнал кое-что и об их семье. На эту тему Ратомский говорил очень неохотно, но однажды в минуту откровенности рассказал мне, что они родом из Польши, жили в Минской губернии и что у их отца было небольшое имение. Семья была велика, средств не хватало. Все братья должны были искать работу на стороне и нашли ее. Два брата, в том числе и Леонард Францевич, пошли по военной линии и служили в пехоте. Один брат уехал в Польшу. А Эдуард занялся делами, и хотя богатым человеком никогда не был, но, легко зарабатывая, жил широко. Сестры вышли замуж и тоже устроились. В имении осталась старуха мать с одной из дочерей, на доходы с этого имения скромно доживая свой век. Ратомские происходили, вероятно, из мелкой шляхты и никогда к поместному дворянству Польши не принадлежали.

Я познакомился с Ратомским тогда, когда он уже составил себе положение, был известным охотником и одним из лучших ездоков в России. Это был расцвет его карьеры: именно в те годы ему покровительствовал Н. И. Родзевич, выдающийся коннозаводчик, продававший и сдававший ему в аренду своих лошадей. Если славой ездока и тренера Ратомский в значительной степени обязан лошадям завода Родзевича, то и завод Родзевича во многом обязан своей славой Ратомскому. Рекорд и все успехи Барина-Молодого на бегу показаны в руках Ратомского. Позднее Ратомский же выдвинул на первые роли детей Барина, родившихся как у Родзевича, так и у Фёдорова. Имена Ратомского и Барина-Молодого неотделимы друг от друга, и надо откровенно признать, что их сотрудничество составляет одну из блестящих страниц истории русского спорта и коннозаводства. Родзевич имел счастье в лице Ратомского найти не только хорошего покупателя, но и человека, который прославил его завод.

Ратомский в то время, когда я с ним познакомился, был уже человек немолодой. Его голова серебрилась, лицо было морщинисто и довольно-таки помято,



*Братья Ратомские – Эдуард Францевич, Франц Францевич,
Леонард Францевич – в их заводе «Светлые Горы»*

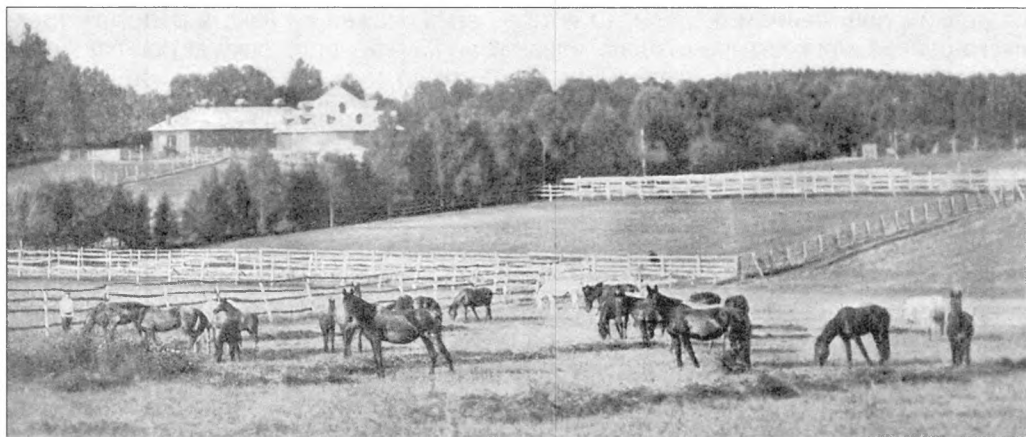
черты лица одновременно мелки и расплывчаты. Лицо у него было круглое и, хотя он не пил, всегда одутловатое, с характерными мешками под глазами. Глаза карие, пронизательные и живые. Волосы он стриг коротко и усы имел жидкие, небольшие и опущенные книзу, типичные усы скромного шляхтича или пана эконома из большого имения кого-либо из Черторыйских или Радзивиллов. Сложения Ратомский был очень плотного, широк в плечах, мускулист, но не тучен и при этом среднего роста. Одевался он, как все завсегдаитаи бегов, просто и скромно. Утром во время работы носил кепку, кожаную куртку или нечто вроде френча, рейтузы и сапоги. Возвращался он после работы в беседку всегда с хлыстом в руках. Ремешок от секундомера, во время езды надевавшийся на руку, неизменно свисал из верхнего кармана куртки.

Ратомский не отличался умом, но, как все поляки, был очень хитер. Образование он, вероятно, не получил, вернее, получил домашнее и очень небольшое. Говорить с ним, кроме как о лошадях, решительно ни о чем было нельзя. Это был удивительно невежественный человек во всем, что не касалось лошадей или купли-продажи имений. И вместе с тем он почитал себя умнейшим человеком и светлой головой. У него была ярко выраженная национальная польская черта: спорщик он был страшный и спорить мог по любому поводу. Любил также выступать с речами и считал себя большим оратором. Я помню его речи в собрании Московского бегового общества. Говорил он долго, нудно, сбивался, повторялся, иногда порол невообразимую чепуху и сердился, что его не слушают. Особенно неприятное впечатление по своему контрасту производили «речи» Ратомского, когда он брал слово после таких ораторов, как Шубинский, Родзевич или Щёкин. Я слышал о том впечатлении, которое произвела на членов общества первая речь Ратомского. Когда он появился в собрании, все были удивлены тем, что на нем смокинг. Это совершенно необычная форма одежды для собрания, и уж по одному этому можно было заключить, что о жизни не только света, но даже общества он не имел ни малейшего понятия. Когда же Ратомский встал и начал говорить, то впечатление от его речи было ошеломляющее. Сначала думали, что он выпил лишнее, когда же убедились, что он совершенно трезв, то появились улыбки, а поскольку свою зна-

менитую речь он затянул на целый час, то стали постепенно покидать зал собрания и переходить в столовую. Кончил он речь при пустом зале, и его репутация как оратора была сделана навсегда. Позднее я много раз слышал Ратомского в собраниях. Приходил он неизбежно в смокинге – впрочем, только зимой, а летом являлся в обыкновенном костюме. Говорил все так же, но к нему все привыкли, и никто не обращал внимания на эти выступления. Кто-то очень метко заметил, что Ратомский велик только тогда, когда он сидит на американке и держит вожжи в руках! Зло сказано, но верно.

Ратомский был человек очень добрый и совершенно нескупой. Жил он просто и скромно. Сошелся с простой женщиной и женился на ней, когда у него родился сын, которого он назвал Виктором. Это было с его стороны порядочно. Этот Витя был единственным ребенком Ратомского и пошел по его стопам: он сейчас ездит на призах, и не без успеха, несмотря на то что ему, вероятно, не более восемнадцати-девятнадцати лет. Если бы отец его умер позднее, то он, несомненно, воспитал бы из сына выдающегося ездока и такого же тренера.

Имущественное положение Ратомского крепло по мере успехов его конюшни, а последний был очень велик. Поэтому неудивительно, что Ратомский имел хотя и небольшие, но свободные деньги и стал владельцем дачи и небольшого имения. Дачу он купил неподалеку от ипподрома, на Ходынском поле. Это было большое владение с хорошими конюшнями и деревянным двухэтажным домом простой ар-



Общий вид завода Э. Ф. Ратомского «Светлые Горы»

хитектуры. Внизу помещались конюхи, а верх занимал сам Ратомский. В то время его брат Леонард Францевич вышел в отставку в чине полковника и жил вместе с ним. Ратомский недаром был специалистом по покупке и продаже имений: когда пришло время подыскать имение для себя, он сделал это очень удачно. В двадцати верстах от Москвы и в двух или трех верстах от станции Сходня он купил у одной старушки небольшое имение с поэтичным названием Светлые Горы. Именьице это он привел в порядок. Были выстроены конюшни, разбит круг и сделаны паaddockи. Имение было превращено в уголок отдыха для призовых лошадей, и летом Ратомский там жил. Позднее там же он завел и небольшой конный завод. Светлые Горы лежали в очень живописной местности и были прелестным и тихим уголком. Дом, небольшой, но уютный и светлый, стоял на ровном месте и своим фасадом выходил на большую площадку с цветниками, среди которых шла дорога к парадному крыльцу. Задняя сторона дома с большим балконом выходила в небольшой, но старинный парк. Аллеи этого парка вели к пруду с проточной водой, который

составлял естественную границу парка. Тут была купальня, через пруд был перекинут узкий мостик, а на другой стороне начинался молодой лес и располагались паaddockи. Левее балкона были парники, небольшой огород и малинник. С правой стороны главного фасада стояли конюшни, а с левой – службы. За ними сейчас же тянулась деревенька. Если вы выходили от главной площадки, раскинутой перед домом, то прямо перед вами располагался ипподром, подъезд к которому со стороны конюшен был очень удобен. Правее ипподрома были леса, а ближе к конюшням и дальше по направлению к шоссе тянулись весьма живописные перелески, в двух местах пересеченные небольшим ручьем. Ратомский очень любил Светлые Горы и охотно приглашал к себе спортсменов. В летние месяцы, когда в Москве стоит жаркая погода, охотники любили съездить на денек к Ратомскому посмотреть лошадей и отдохнуть.

Как ездок Ратомский был звездой первой величины. Езда его отличалась строгим расчетом: он как никто умел сберечь силы лошади и распорядиться ими в решительный момент. Ездил он чрезвычайно хладнокровно. На финише положительно творил чудеса. Был боевым ездоком и в этом отношении имел мало соперников. И тренером был замечательным, пожалуй, равняться с ним мог один старик Кейтон в пору своего расцвета. Все лошади у Ратомского были на превосходных ходах, редко сбились и выставлялись к старту всегда в блестящем порядке. Он как никто умел сберечь лошадь и сохранить ее порядок, у него рысаки бежали по нескольку сезонов кряду и зачастую повышали свою резвость. Ратомский отличался редким пониманием лошади, то есть он знал, можно ли начать работать трехлетка сейчас или к четырем годам, следует ли начать подготовку двухлетка к призам или его надлежит не резвить и выдерживать до трех лет. Словом, он назначал своим лошадям такую работу, которая действительно отвечала их способностям и развитию. Следует еще отметить, что из старших конюхов его конюшни вышло несколько хороших наездников, вследствие того что он делился с ними своим богатым опытом и знаниями. Про Ратомского Коноплин говорил, что у него золотые руки и при этом расчетливая езда.

Как спортсмен Ратомский был человеком новой формации. Для него конский спорт был не забавой, не удовлетворением тщеславного самолюбия, а делом и средством к жизни. Я не хочу этим сказать, что Ратомский не любил лошадей; если бы он их не любил, он никогда бы не достиг и сотой доли того успеха, который ему достался. В то же время он мог продать любую лошадь из своей конюшни, весь вопрос был в цене.

Ратомский испытал свои силы и на коннозаводском поприще. Однако здесь его, баловня судьбы, ждало разочарование. Собрав лучших кобыл из своей конюшни, а среди них были звезды первой величины, он их крыл первоклассными жеребцами, но ничего выше посредственности отвести не мог. Его коннозаводскую деятельность прервала революция, но можно не сомневаться в том, что он, как человек практичный, увидев такие результаты, и сам бы отказался от нее. Единственной замечательной лошадей, родившейся у него в заводе, был белый жеребец Отчаянный-Малый (4.36), но здесь Ратомский как коннозаводчик ни при чем: кобыла Радуга была им куплена у меня жеребой от Кронпринца и в следующем году принесла ему Отчаянного-Малого.

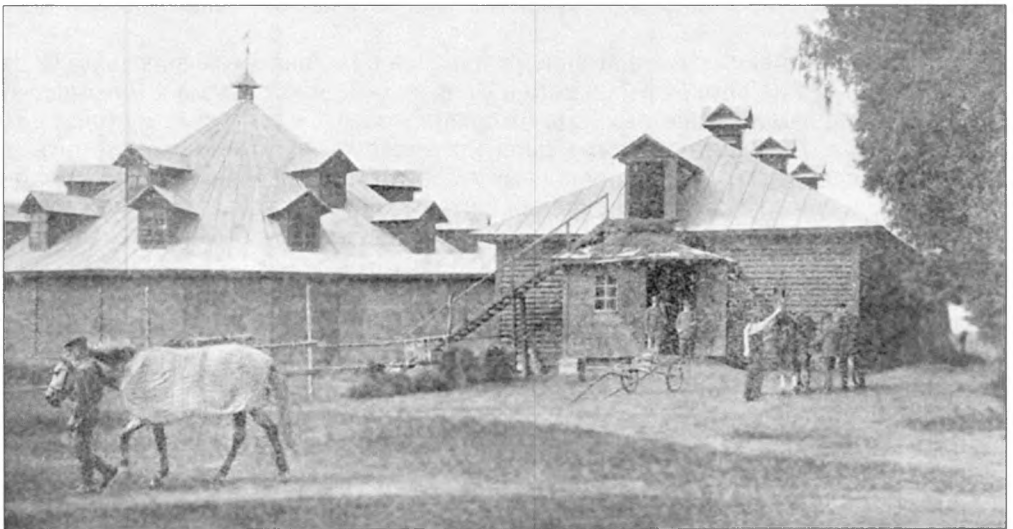
У Ратомского был свой кружок друзей и поклонников. Его постоянным спутником был некто Шрамченко, заядлый тотошник и любитель лошади. Он играл, и притом во всех заездах Ратомского, и говорил, что от этого не в убытке. Близок был к Ратомскому и А. Н. Пейч, который впоследствии, во время революции, делая карьеру, много раз подводил старика и подкладывал своему прежнему кумиру свинью. Ратомский мне на это горько жаловался. Родзевич был своим человеком в доме Ратомского, и их приятельские отношения сохранились до конца. Даже революция

их не испортила, а только укрепила. Фёдоров, купивший у Родзевича лучших лошадей, имел дела с Ратомским. Т. Н. Телегина была поклонницей Ратомского и часто у него бывала. Несколько рязанцев и две-три польские семьи дополняли этот кружок и составляли окружение Ратомского во времена его славы. Друзья звали его почему-то Евфратом.

Мои отношения с Ратомским до революции были чисто официальными и с моей стороны строго корректными. Я постоянно встречался с ним на бегах, в собраниях и раза два или три смотрел его конюшни и был у него в Светлых Горах. По многим коннозаводским вопросам держались мы с ним диаметрально противоположных взглядов. Главным пунктом расхождения были Громадный и Барин-Молодой. Ратомский ненавидел Крепыша, в этом чувстве было много нездоровой зависти. Громадного он не признавал, а я признавал Барина с большими оговорками. Он мне все советовал бросить мудрить со старыми кровями, которые себя пережили, и взять Баринов в завод, тогда у меня и лошади полетят, и деньги девать будет некуда. Я ему возражал, что экстерьер лошадей этой линии меня совершенно не удовлетворяет, что за самым редким исключением они отклонились от основного типа орловского рысака и что целесообразнее взять американца, ибо приплоды от него будут еще резвее, а экстерьер не хуже. Ратомский выходил из себя, и на этой почве у нас происходили дебаты. В Прилепах Ратомский не был. Однажды на аукционе купил у меня двух жеребцов, но неудачно. Я у него купил за крупные деньги Крошку, которая погибла во время революции, а ему продал Радугу – покупка оказалась для него очень удачной. Во время войны я стал владельцем одного пая (права крыть ежегодно трех кобыл) на Барина-Молодого, что было сделано мною исключительно в коммерческих интересах. Ратомский горячо приветствовал этот шаг. Между моим заводом и Ратомским налаживались известные отношения, в связи с чем и наши личные отношения приняли более доверительный характер.

В годы революции Ратомскому суждено было сыграть довольно значительную положительную роль.

Во времена Чрезвычайной комиссии по спасению животноводства создалось как бы двоевластие: на Петроградском шоссе, в доме № 32, находился отдел животноводства Народного комиссариата земледелия, а в скаковом павильоне рас-



Манеж в заводе Э. Ф. Ратомского

полагалась комиссия, подчиненная непосредственно наркому и тоже ведавшая вопросами животноводства, так сказать, в ударном порядке. В ее задачи входило спасение того, что гибло, выезды на места, в заводы и стада, эвакуация лошадей и прочее. Во главе отдела животноводства стоял ветеринарный врач Шемиот-Полочанский, коммунист и поляк по национальности; во главе чрезвычайной комиссии – бывший эсер и толстовец, мой хороший знакомый Буланже. Как издавна повелось на Руси, оба главка враждовали между собой и вскоре вступили в отчаянную борьбу. Я предвидел поражение Буланже и предсказал это ему. Так и случилось. Однако борьба затянулась на несколько месяцев, а тем временем охотники, кто похитрее и подальновиднее, поддерживая отношения с Буланже, бывали и у Полочанского.

Ратомский обратился ко мне с просьбой назначить его брата в Хреновую, что легко мог сделать Буланже. Брат Ратомского был назначен, и с этого начались мои более тесные отношения с Ратомским во время революции. Как человек хитрый и ловкий, Ратомский в то же время поддерживал свои отношения с Полочанским, хотя и не афишировал их. Таким образом, когда победил Шемиот-Полочанский, Ратомский стал персоной грата в отделе животноводства. Он был хорош с Полочанским, тот ездил в Светлые Горы отдыхать, а Ратомский своим влиянием на него принес в тот период много пользы делу спасения и сохранения рысистого материала, собранного в Москве и под Москвой. Полочанский не был сторонником рысистой лошади, выступал ярким противником беговых испытаний, и если бы не влияние Ратомского, то весьма возможно, что многие лошади погибли бы, будучи разосланы по губерниям. Оставленные же в Москве, они хотя и голодали и частично пали, но все же в основном сохранились. Я, конечно, далек от мысли, что все это дело рук одного Ратомского. Отнюдь нет. Основу этому спасению положила Чрезвычайная комиссия по спасению животноводства Буланже, но и Ратомский сделал все, что было в его силах.



Э. Ф. Ратомский

Ратомский сохранил самые лучшие отношения с Полочанским вплоть до ухода этого последнего на службу в Туркестан. Полочанский часто ездил к Ратомскому, лето обычно проводил в Светлых Горах, и такая близость к всеильному тогда диктатору советского животноводства дала Ратомскому возможность устроить на службу и поддержать многих порядочных людей и истинных любителей лошади. Эти последние в свою очередь принесли немалую пользу делу, которому посвятили все свои силы. Таким образом, дружными усилиями группы бывших коннозаводчиков и любителей были спасены те лошади, которые ныне составляют основу советского коннозаводства. Замечательно, что всегда и во всем осведомленные немцы отметили это в специальной прессе и указали, кому и чьей самоотверженной работе советское коннозаводство было обязано своим спасением. К сожалению, не всегда и далеко не все представители советской власти так объективно и верно расценивали работу «бывших» и часто относились к ним с недоверием, полагая, что это делается из личных интересов и надежды получить свое имущество обратно.

Своим влиянием на Полочанского Ратомский пользовался умело и осторожно. После ухода Полочанского коннозаводство было выделено из отдела животноводства. На пост управляющего последним был назначен вместо Полочанского

Яковлев, а во главе созданного Главного управления коневодства и коннозаводства (ГУКон) стал сам Муралов, член коллегии и замнаркома Наркомзема. Он же возглавлял отдел животноводства, вернее, тот в его ведении и остался. Я был назначен начальником отдела коннозаводства, и, таким образом, по всем лошадиным делам и заводам бразды правления попали в мои руки. Я застал конные заводы в самом хаотичном состоянии. Кроме того, не было выяснено наличие племенного материала, не имелось даже списков уцелевших лошадей. В заводах орловцы были перемешаны с метисами. Словом, работы предстояло немало. Первым делом я решил заняться тем материалом, который находился в Москве и подмосковных заводах. Весь он был рассортирован, заводы пересмотрены, метисы отделены, а орловцы сосредоточены в двух заводах – в Светлых Горах и Дулеповском (бывшем Живаго). Учитывая опытность и преданность делу Ратомского, близость Светлых Гор к кормовой базе (все снабжение шло тогда из Москвы) и удобство надзора, я сосредоточил в Светлых Горах лучших орловских кобыл и Эльборуса. Метисы из Светлых Гор были выведены. Каково же было мое удивление, когда Ратомский этим возмутился, заявил, что его обидели, взяв у него метисов, и стал меня разносить. На этот шаг его подговорили метизаторы – Телегина, Пейч, Канделаки и другие. Все они были очень недовольны моим назначением и боялись, что я, как ярый орловец, начну теснить метиса. Это было глубокое заблуждение, я одинаково объективно относился как к орловцу, так и к метису, но само собой разумеется, что орловца я в обиду бы не дал. Ратомский принадлежал к числу тех людей, которые, если вожжа попадет им под хвост, безудержно закусывают удила и несутся, сами не зная куда. Ратомский в этот период своей деятельности стоял в резкой оппозиции ко мне, критиковал все мои действия и будировал. Несмотря на это, я относился к Ратомскому по-прежнему, то есть ровно и корректно. Само собой разумеется, что я, чувствуя свою правоту, был совершенно спокоен и не придавал никакого значения его агитации. Кое-кто из моих друзей и сторонников возмущался таким поведением Ратомского и осуждал его. Особенно сильно было возмущение моего коллеги по службе А. С. Холевинского. Последний, тоже поляк, был близок к Полочанскому, но Ратомский его оттер. Холевинский не мог этого простить, а потому не стеснялся в выражениях и не жалел крепких слов, говоря о Ратомском. «Это кучер, – говорил он презрительно, – который умеет только держать вожжи в руках, а берется рассуждать о высоких материях!»

Несомненной заслугой Ратомского является устроенный им пробег на дистанцию 20 верст на рысаках Трюке и Курске. Пробег был организован хорошо, и оба рысак блестяще подготовлены. Устройство пробега вызывалось тем, что в кругах Наркомзема опять пошли разговоры о том, что рысак нам не нужен, что это барская затея, что хорош он только по беговому кругу, а в пробеге уступит хорошей крестьянской лошади, и прочие глупости. Эти разговоры и толки необходимо было пресечь, доказав неверующим, что рысак способен не только бегать «по треку», как выражались наркомземовские агрономы, но и совершать пробеги. Я переговорил с Ратомским, и он разработал план пробега, взял на себя подготовку лошадей, а затем и проведение этого испытания. Пробег заключался в следующем: Трюк под управлением Ратомского и Курск под управлением Родзевича, запряженные в американские сани, должны были совершить пробег на резвость на дистанцию 20 верст, а другую пару рысаков, меньшего класса, запрягли в розвальни, груженные дровами, и они совершали тот же пробег на резвость и силу. Старт был дан на шоссе против Светлых Гор, финиш – по тому же шоссе против ворот дома № 32. По пути было организовано два контрольных пункта, ветеринарная помощь. Лошади перед пробегом были осмотрены и признаны здоровыми, о чем и составлен акт.

6 января 1929 года

Состязание прошло с большим успехом, лошади блестяще справились с задачей. Вся Старая Башиловка, Скаковая улица и много жителей Петровского парка собрались посмотреть финиш этого состязания. Из Москвы приехали охотники и служащие ГУКона. Я был у финиша. «Идут, идут!» – вдруг раздалось в народе. Мы заняли свои места, а я на минуту вышел на середину шоссе и действительно увидел, что от Стрельны почти голова в голову мчались два рысака. Они быстро приближались и под приветствия и махание шапок миновали финиш. Резвость, с которой была покрыта двадцативерстная дистанция, была блестящей, лошади выглядели хорошо, и Ратомского с Родзевичем поздравляли со всех сторон. Не успело волнение улечься, как подошли на крупной рыси (им старт был дан раньше) оба рысака с груженными санями. Их тоже встретили овацией. Они хорошо выдержали испытание. Собравшаяся публика недоверчиво осматривала груз и, убедившись, что дрова настоящие, была вполне удовлетворена. На наркомземовцев это испытание произвело большое впечатление, и всякие разговоры о треке и непригодности рысака как сельскохозяйственной лошади прекратились. Следует отдать должное Ратомскому: он блестяще подготовил лошадей и так же блестяще их провел. Тот же Ратомский еще во времена Полочанского устраивал показательную пахоту на рысистых кобылах и убедил Полочанского, что рысистая лошадь может пахать не хуже, а лучше крестьянской лошади. Правда, в результате этой пахоты одна из лучших орловских кобыл, Туманная, получила хроническое заболевание легких, но это было результатом форсированной и чересчур спешной подготовки.



Н. И. Муралов во время лыжного пробега. 1920-е гг.

После назначения Н. И. Муралова командующим войсками Московского военного округа (это случилось вскоре после кронштадтских событий) я вернулся на службу в Тульскую губернию. В коннозаводском ведомстве произошли большие перемены: оно получило нового руководителя в лице замнаркома Наркомзема И. А. Теодоровича. Начальником же ГУКона был назначен некто Франц. Вскоре выяснилось, что лето Теодорович будет проводить на даче в Светлых Горах. Теодорович года два с половиной или три жил на этой даче, и Ратомский, часто его встречая, если не сблизился с ним, то, во всяком случае, имел возможность говорить. Вот почему и в этот, третий, период своей деятельности он сохранил свое место и положение. В коннозаводстве с ним считались, так как Теодорович был строг, его боялись, а также боялись, что Ратомский может его информировать с нежелательной стороны. Я уже упоминал, что Ратомский любил произносить речи, а уж во время революции и говорить нечего. Тут он не только говорил, но и научился агитировать и

считал себя очень хорошим агитатором. Он пользовался своими приездами в Москву по служебным делам и без конца говорил, а затем, хитро улыбаясь, отзывал в сторону кого-либо из своих приятелей и спрашивал: «Ну, как я агитировал?» Он также пытался агитировать самого Теодоровича и был в полной уверенности, что преуспел в этом. Глубочайшее заблуждение с его стороны! Теодорович был умный, проницательный, абсолютно порядочный и честный человек, но взбалмошный и нервный. Это была крупная личность, и не Ратомскому было, конечно, сагитировать Теодоровича. Последний ценил Ратомского как честного человека и знающего

лошадника, но в остальном знал его настоящую цену. Теодорович был поляк, так что, может, еще и поэтому симпатизировал Ратомскому. Чрезвычайно остроумный человек, он тонко, добродушно и с большим юмором шутил над Ратомским, но тот не понимал этого и принимал все за чистую монету. Однажды Теодорович вызвал Ратомского к себе, это было летом в Светлых Горах, и предложил ему место начальника коннозаводства. Ратомский два дня носился повсюду и советовался, принять ему эту должность или нет, и наконец решил отказаться, так как не хотел переезжать из Светлых Гор. Само собой разумеется, что не один Теодорович потешался над этим, ибо все понимали, что это шутка. Вспоминаю и другой эпизод. Дело опять происходило в Светлых Горах летом. Я приехал к Ратомскому, и после обеда мы мирно сидели и беседовали на балконе. Вдруг Ратомский смотрит на часы и начинает собираться. Я его спросил, куда он идет. Тогда с таинственным видом он мне ответил: «Иду к Теодоровичу, я никогда не упускаю случая его сагитировать». Признаюсь, что я едва не покатылся со смеху и с трудом сдержал себя. Надо было знать и того и другого, чтобы вполне представить себе эту картину... Ратомский вернулся скорее, чем я ожидал, и был, по-видимому, чем-то недоволен. Зная его болтливость, я молчал. Наконец он не выдержал и заговорил: «Только-то я начал агитировать Теодоровича, как вдруг он улыбнулся, потом поднял палец и сказал: «Хчеш круля!» Я совершенно опешил и начал уверять, что всегда был и есть демократ чистой воды...»

В чем, однако, была польза от близости Ратомского к Теодоровичу, если все ограничивалось шутками и прибаутками? Польза для советского коннозаводства была, и притом весьма существенная. Ратомский имел возможность говорить Теодоровичу правду и указывать ему на те безобразия, которые иногда творились его именем. В таких случаях Теодорович обычно краснел и переводил разговор на другую тему. Однако на другое утро произошло расследование, и если слова Ратомского подтверждались, то Теодорович жестоко взгрывал виновных (как говорил покойный профессор М. И. Придорогин, «примерно их наказывал»). Таким образом, и в этот период своей деятельности Ратомский принес большую пользу дорогому для нас делу коннозаводства.

После ухода Теодоровича и с наступлением эры рационализации конный завод в Светлых Горах постановлено было ликвидировать. С год Ратомский боролся, но это была борьба с ветряными мельницами. Уж так повелось в Советском Союзе, что если кому-либо придет в голову что-либо уничтожить, то «спецы» всегда подведут основания и хорошее дело перестанет существовать... Светлые Горы были превращены в санаторий для лошадей. Ратомский переехал в Москву, получил небольшую квартиру в бывшем владении Вольнотенова-Калугина и занялся ездой на призы. Сначала у него была светлогорская конюшня и часть сборных лошадей, а позднее он перешел на должность наездника в Хреновскую конюшню, на каком-то посту его и застигла смерть. В этот последний период Ратомский сильно постарел, перестал интересоваться общественными делами, перестал ораторствовать, ушел в семейную жизнь и замкнулся в себе. Проехав на приз или окончив работу своих лошадей, он сейчас же уходил домой. В эти последние три года его жизни Ратомского можно было застать либо дома, либо на конюшне или увидеть во время езды, но там, где собирались и спорили специалисты (на совещаниях в отделе коннозаводства, в комиссиях, в которых он всегда принимал такое активное участие), он уже отсутствовал. Ездил он на призы по-прежнему с большим успехом и лишь за несколько месяцев до смерти оставил любимое дело и имя его исчезло с афиш московских бегах.

К сожалению, Ратомский не создал своей школы и никому не передал в полной мере своих знаний. Я имею в виду последние годы его работы, ибо до революции из его рук вышло несколько весьма талантливых ездоков. К сожалению, он также не

написал руководства по тренировке и едва ли оставил на эту тему какие-либо записки. Я слышал, что года два тому назад в течение нескольких недель Ратомский ездил по вечерам к А. А. Андрееву (бывшему начальнику Главного управления коннозаводства) и диктовал свои записки по тренировке. Сам он не владел пером, и весьма возможно, что Андреев взял на себя труд их составления. Если это так, то записки, как бы они ни были отрывочны, должны быть опубликованы.

Порфира принадлежала к числу наиболее любимых мною кобыл. Не только по своему происхождению, но и по ярко выраженному типу и экстерьеру она была казакской лошадей. Такая гармония между происхождением и формами лошади встречается редко и указывает, что данная лошадь во всех отношениях характерна для своей линии. В большинстве случаев такие кобылы повторяют себя в приплоде и тем особенно ценны.

Порфира родилась у меня в заводе в 1911 году и была дочерью Лознгина и Перцовки. Лознгин был наполовину казакский жеребец, а Перцовка была дочерью Бережливого, жеребца казакско-кожинского соединения. Кроме того, некоторые другие имена родословной Порфиры примыкали к основной группе лошадей, казакской. Так что ее следует считать казакской лошадей. Как и большинство других прилепских кобыл, Порфира происходила из исторической женской семьи. Родоначалницей этой семьи была кобыла Домашняя, родившаяся в 1833 году у Шишкина. Внучка Домашней Главная дала феноменального производителя – охотниковского Ветерка! Если память мне не изменяет, то и мать якунинского Петушка происходила из той же семьи. Таким образом, Порфира по своему происхождению принадлежала к отборным рысистым лошадям своего времени. На этом фоне яркой чистопородности и кровности в родословную Порфиры входит имя Визапура 3-го, которого я ценю и люблю видеть в родословной даже самых чистопородных рысаков.

Никогда не забуду одного обеда в Лотарёво, во время которого я услышал от князя Л. Д. Вяземского замечательный рассказ о казакских лошадях. Я был еще совсем молодым человеком и жадно ловил каждое слово Леонида Дмитриевича, а он рассказывал живо и увлекательно. Какой это был интересный человек и какой глубокий знаток лошади! Разговор о казакских лошадях зашел по следующему поводу. В столовой лотарёвского дома висело четыре замечательных сверчковских портрета старинных лошадей этого завода. Прямо перед моими глазами оказался портрет вороного жеребца Ахтыркина, родившегося у Казакова. Жеребец был так хорош, так блестящ, так идеально красив, что я долго не мог оторвать от него глаз и выразил, наконец, сомнение в том, могла ли существовать такая лошадь в действительности. Князь не спеша отдал какое-то распоряжение, потом обратился ко мне и начал говорить об Ахтыркине. По его словам, Ахтыркин был действительно так хорош, как его изобразил Сверчков, но более чист ногами. В остальном сходство схвачено художником замечательно и тип передан верно. С Ахтыркина Вяземский перешел вообще на казакских лошадей, и этот строгий и отнюдь не увлекающийся человек долго говорил о них с восторгом. Только чистоватость (легкость) ног составляла иногда, но не всегда, их дефект, в остальном же эти лошади были полны неотразимого блеска, огня и красоты. А кожинские рысаки – те были еще лучше, так как сохранили все от казакских лошадей и стояли при этом на плотных ногах. Когда князь Л. Д. Вяземский закончил рассказ, я еще долго любовался портретом Ахтыркина...

Так вот, Порфира была в таком казакском типе! У меня сохранился ее портрет, где она снята в возрасте года. Как она тогда была хороша и какой руиной представляется сейчас, после голоденок, измученная слоновой болезнью!.. Порфира была крупна, необыкновенно суха, имела изумительную линию верха, замечательную шею, превосходные части. А при этом еще и блеск! Когда ей в молодости устраивали выводку и она, вступив на подмости, бывало, сначала вздрогнет, потом, на мгно-

вение, словно сожмется, а затем сразу настожится, вытянется, приподнимется, отделит хвост и в таком напряженном состоянии замрет, скосив глаз на зрителя, – ни один охотник не мог удержаться от восклицания «Как она хороша!».

Она не бежала и, тем не менее, никогда не предназначалась в продажу. В двух- или трехлетнем возрасте я сдал ее в аренду Синегубкину, тот поработал ее один сезон и прислал обратно в завод. В письме он мне сообщал, что кобыла большого класса не имеет, а потому для его конюшни неинтересна, но советовал ее не трепать, а поскорее пустить в завод. Я так и сделал.

В завод она поступила рано и регулярно, из года в год, жеребилась. Список ее приплода я составил по памяти.

Заводская деятельность Порфиры:

1916 год – рыжая кобыла от Петушка. Продана в Хреновую.

1917 год – серая кобыла Похвала от Крепыша. Заводская матка в Хреновой.

1918 год – рыжий жеребец Приам (2.41) от Лакея. Курская заводская конюшня.

1919 год – рыжая кобыла Персида (2.26) от Кронпринца. Заводская матка в Хреновой.

1920 год – светло-серый жеребец Полёт от Кронпринца.

1921 год – вороной жеребец Прохожий (1.32 и 2.15) от Бронтозавра. Заводской жеребец на Урале.

1922 год – красно-серая кобыла Помещица (2.35) от Удачного. Заводская матка в Вятском губконезаводе.

1923 год – рыжая кобыла Порода (2.25) от Эльборуса. Заводская матка в Грязнушенском госконезаводе.

1924 год – холоста от него же.

1925 год – вороной жеребец Парус от Эльборуса. Ушел в Хреновую.

1926 год – вороной жеребец Приезд от Барина-Молодого. Ушел в Хреновую.

1927 год – гнедой жеребец от него же. Ушел в Хреновую.

В декабре 1927-го Порфира ушла в Хреновую жеребой от Ловчего.

Мы видим, что Порфира дала одного рысака резвее 2.20 – Прохожего (2.15), двух рысаков резвее 2.30 – Порода (2.25) и Персиду (2.26) и двух ниже 2.30 – Помещицу (2.35) и Приама (2.41). Всего она имела одиннадцать жеребят. Из них первая ее дочь не готовилась к призам и ушла в качестве упряжной, а два последних жеребенка не достигли совершеннолетия. Стало быть, три лошади должны быть исключены из призового подсчета. Получаем восемь голов, из них призовых – пять, то есть больше половины.

Жеребчиков она дала шесть, кобылок – пять. Из них по мастям четыре рысака – рыжие, три – серые, три – вороные и один – гнедой масти. Тут же следует отметить одну чрезвычайно ценную и дорогую черту у Порфиры как заводской матки: она очень молочна и превосходно кормит жеребят, затем регулярно жеребится и дает вполне здоровых и нормальных детей, ибо ни один из ее приплодов не пал. Замечательно, что и дочери Порфиры идут по той же дороге. Так, Похвала, поступив в завод, в течение четырех лет дает четырех здоровых жеребят, причем последний от Ухвата – единственный в ставке. Дочь Похвалы Память, кобыла очень строгая и чрезвычайно нервная, прямо с ипподрома была покрыта и стала жеребой, в то время как такие кобылы обычно холостеют в первый год поступления в завод. Таким образом, на примере Порфира – Похвала – Память, то есть мать, дочь и внучка, мы имеем редкий случай наследственно переданной способности хорошо и обильно кормить сосуна, регулярно жеребиться и давать здоровых жеребят.

Полезно оглянуться назад и посмотреть, как жеребились мать, бабка и прабабка кобылы Порфиры. Этот вопрос в свое время меня интересовал, и я года два тому назад

просматривал заводскую деятельность этой женской семьи. Оказалось, что в заводе Охотникова Домашняя держалась до глубокой старости, регулярнейшим образом жеребилась и несколько ее дочерей получили заводское назначение. Эти последние в свою очередь тоже регулярно жеребились, и их дочери, поступив в завод, шли по тем же стопам. Неудивительно поэтому, что в числе потомков Домашней оказались и Ветерок, и Петушок, и другие. Словом, мы имеем дело с наследственной, а не случайной чертой этой семьи создавать женские гнезда замечательных по себе кобыл.

Первая дочь Порфиры была рыжей масти, крупна и костиста, но имела мягкую спину. Ушла из Прилеп полуторницей в Хреновую и была там продана Лоховым Тейле, одному из совладельцев тульской самоварной фирмы братьев Тейле. Тейле спасся от голода и преследований, перебравшись из Тулы в Хреновую, где поселился в слободе и там нашел смерть... Купил он дочь Порфиры для езды. Куда она девалась после его смерти, мне неизвестно.

Дочь Порфиры серая Похвала – замечательная по своему типу и красоте кобыла. Она родилась от случки Порфиры с Крепышом. Я посылал Порфиру в завод А. Ф. Толстой, и там она была покрыта Крепышом, так как в то время Крепыш в половинной части составлял уже собственность Толстой и стоял в ее симбирском имении Старой Зиновьевке. Делая подбор Порфиры к Крепышу, я усиливал в родословной будущего приплода полкановские течения. Основываясь на опыте прошлого, полагал, что встреча Крепыша с казаковско-кожинским комплексом должна быть очень удачной. Эти теоретические соображения вполне подтвердились, и в лице Похвалы Прилепский завод получил замечательную кобылу.

Похвала – кобыла среднего роста и казаковского типа. Она серой масти, с длинной, низко свисающей черной гривой. Чрезвычайно суха, имеет небольшую красивую голову, лебединую шею с очень красивым зарезом, превосходную спину, хороший круп и правильный, очень верный постанок ног. Кость ноги недостаточно богата, но по своей форме тростиста. Кобыла довольно глубока и чрезвычайно гармонична, в ней много женственности. Линия верха у нее замечательная. «Волшебница», – сказал Кноп, впервые увидев Похвалу в Москве. «Да, Волшебница», – повторил я вслед за ним, мысленно упрекнув себя в том, что раньше этого не видел. Волшебница была знаменитой по красоте кобылой, принадлежавшей графу Толю. Ее увековечил своей кистью Сверчков. Литография с портрета Волшебницы была широко распространена в свое время в коннозаводских кругах. Сходство между Волшебницей и Похвалой чрезвычайно велико и действительно бросается в глаза.

Заводская деятельность Похвалы:

1923 год – вороная кобыла Память (2.30) от Эльборуса. Заводская матка в Хреновой.

1924 год – вороной жеребец Поспешный (2.40) от него же. Тульская заводская конюшня.

1925 год – гнедая кобыла Правда (2.25) от него же. Хреновская тренконюшня.

1926 год – гнедая кобыла Пирамида от Барина-Молодого. Поступила в Хреновую.

1927 год – гнедой жеребец от Ухвата. В Хреновой.

Похвала поступила в Хреновую в декабре 1927 года.

Первая дочь Похвалы Память – кобыла не тише 2.20, и если имеет скромный рекорд, то лишь потому, что была чрезвычайно строга, била и не позволяла собой распорядиться. «Места» имела замечательные и, по словам Ляпунова, который на ней ездил, обладала несомненным классом. По себе хороша, но имеет не вполне приятную голову и налив в скакательном суставе.

Память не имела налива при рождении. Приблизительно в августе, посещая ежедневно табун, я стал замечать, что кобылка начала поднимать ногу, которая, по-

видимому, причиняла ей боль. Осмотрели ножку у жеребенка, поискали в копыте – нигде ничего не нашли, но нога все-таки ее беспокоила. Я решил, что это ревматическая боль и явление временного порядка. Дня через три после этого я сидел на пне на опушке. Раньше тут был лесок десятины на полторы, но крестьяне в первые годы революции его вырубил, и здесь поднялся довольно основательный кустарник. Рубили, конечно, беспорядочно и оставили высокие пни, которые отводчики называют торчками. Такие торчки бывают очень удобны для сидения, и на одном из них я хорошо примостился и наблюдал за табуном. Табун, уже наевшись, рассыпался по жнивью, лениво пощипывая вкусные травы и подбирая колосья. Кобылы, ведя за собой жеребят, подходили иногда к кустарнику, пробирались в глубь кустов, но чаще выбирали сочную траву на опушке. Стоял редкий для осени тихий и прозрачный день. Слабый ветерок едва тянул по верхушкам. Листья не шумели, а лишь слегка трепетали. Раскинувшееся передо мной жнивье то меняло свой цвет на ярко-желтый, то опять блекло. Вот отделилась от крайней группы кобыл Похвала и пошла прямо на кустарник, за ней в некотором отдалении следовал ее сосунок. У опушки Похвала остановилась, подняла голову, тряхнула гривой и замерла. Я с восхищением смотрел на свою любимицу и ждал. Медленно опустив голову, Похвала повернулась и стала щипать траву, приближаясь ко мне. Кобылка подошла вплотную к матери, заметила меня и испуганно прижалась к ее брюху. Похвала спокойно продолжала пастись. Я стал наблюдать за сосунком и заметил, что он нет-нет да и приподнимет ножку. Я всмотрелся и тогда увидел, что налив уже появился.

Сейчас Память состоит заводской маткой в Хреновском заводе, и я уверен, что ее ждет блестящая заводская карьера. Ушла она в Хреновую жеребой от Ветерка.

Вороной Поспешный, второй приплод Похвалы, был блесток, сух и хорош по себе, но узок. Во время ликвидации завода был передан в Тульскую заводскую конюшню и, кажется, этим летом бежал в Туле с печальной резвостью 2.40.

Родная сестра Памяти и Поспешного Правда – кобыла светло-гнедой масти. Крупная, сухая, длинная, дельная, с хорошими углами и очень породная. К сожалению, у нее мягкая спина, иначе была бы кобылой почти выставочного экстерьера. Сейчас находится в Хреновской тренконюшне и, несмотря на то что ей только три года, бежала 2.25.

От Барина-Молодого Похвала дала темно-гнедую кобылу Пирамиду, образцовой правильности, но мелкую. Ей сейчас исполнилось два года, и сказать о ней что-либо определенное еще нельзя.

Последний жеребенок, которого дала Похвала в Прилепах, был гнедой сын Ухвата. Исключительно крупный, широкий, костистый и дельный, но несколько грубоватый. По своему весу и промерам он был первым жеребенком в ставке.

Похвала ушла в Хреновую жеребой от Воеводы. При надлежащем подборе она должна дать еще много превосходного приплода и, с моей точки зрения, является одной из интереснейших кобыл в этом заводе.

Вернемся к приплоду Порфиры. После Похвалы она дала рыжего Приама – лошадь, как говорилось в старину, ровную, но и только. Приам не особенно крупен, и это понятно: он родился в 1918 году и рос в период острых голодовок.

Четвертым жеребенком Порфиры была рыжая Персида, которую очень любил и ценил Л. Ф. Ратомский. Персида – кобыла по себе замечательная, не очень крупная, золотисто-рыжая, с длинной, характерной для некоторых дочерей Порфиры гривой и с большим фасоном. «Манерная кобыла», как говорили козловские барышники. Персида очень суха, чрезвычайно кровна, фризиста и очень блестка. В ней много своеобразного типа, есть что-то от азиатских лошадей. На выводке и проводке держит себя замечательно и очень эффектна. Имеет мягкую спину и мягкие бабки. Была резва, показав четырех лет в руках Сергеева резвость 2.26. Однако ход Пер-

сиды тяжелый и трудный, характер неважный. Заводской маткой оказалась очень интересной, ибо первый же ее сын, Приёмистый, бежал 2.19 трехлетком. Две же ее дочери от Барина-Молодого, особенно Простота, хотя и некрупны, но очень типичны и хороши по себе.

Родной брат Персиды светло-серый жеребец Полёт имел отвратительную спину, неприятную голову и шатал задом. Он был мною выбракован из завода.

Резвейший сын Порфиры вороной Прохожий родился в 1921 году и был сыном метиса Бронтозавра. Это была дельная, сухая лошадь, с характерной головой и превосходной линией верха. Сейчас Прохожий на Урале, где собрано много интересных лошадей (следует отдать должное уральскому специалисту Хоменко).

Дочь Порфиры от Удачного красно-серая Помещица бегала только в Ленинграде в руках Лыкотина. Тогда там были очень тяжелые условия испытаний, а потому ее резвость 2.35 должна быть признана удовлетворительной. *Я продал Помещицу Пермскому госконезаводу. Там есть некий специалист Лямин, большой любитель лошади и преданный делу человек. Он управляет губернским заводом, и надо полагать, что в его руках этот завод будет в хорошем порядке* (курсив наш. – Ред). По себе Помещица была типичной дочерью Порфиры – правильной, блестящей и дельной.

От Эльборуса и Порфиры была рыжая Порода, блестящая и замечательная под матерью. К сожалению, в дальнейшем она не оправдала надежд. При золотисто-рыжей рубашке – масть, которая редко встречается у Бычков, – она по экстерьеру вышла в их породу. Была вполне резва для кобылы и имела рекорд 2.25. Поступила заводской маткой в Грязнушенский завод, о чем нельзя не пожалеть, так как там она уже, наверняка, пала.

Ее родной брат, вороной жеребец Парус, довольно зауряден. Ему сейчас три года, и он находится в Хреновой.

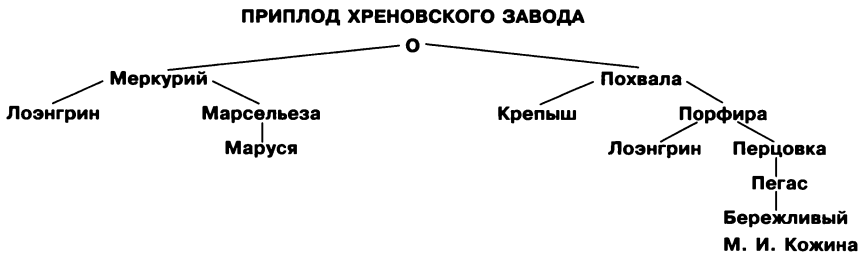
Два сына Барина-Молодого были последними жеребятами, родившимися от Порфиры в Прилепах. Старший, вороной Приезд, был замечательной по себе лошадью, и его погубил Владыкин. Младший – гнедой, чистоватый ногами, превосходный по себе – словом, казаковский – высоко мной ценился, и я предсказывал ему блестящую карьеру. Он родился в 1927 году и выступит лишь осенью этого года. Развился ли он в Хреновой в лучшую сторону, сказать не могу.

Жеребой от Ловчего Порфира в конце декабря 1927 года навсегда покинула Прилепы. По всей вероятности, эту кобылу мне уже не суждено увидеть.

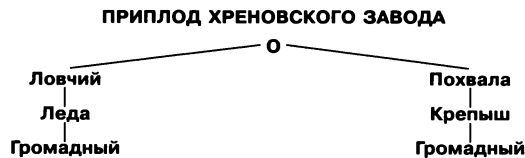
Порфира жива, а ее дочери, за исключением Похвалы, еще только разворачивают свою заводскую деятельность, поэтому крайне интересно наметить тот подбор, которому надо следовать, чтобы получить наилучший результат.

Охотнее всего я бы крыл дочерей Порфиры, за исключением Породы (она другого типа и является бычковой кобылой), с Меркурием. Таким образом, повторился бы замечательный Серебряный через Лознгина. Получение блестящих, правильных и красивых орловских рысаков для нынешнего периода общего падения форм орловского рысака – мера более чем своевременная. К сожалению, этого не понимают наши специалисты, которые в погоне за голыми секундами ведут породу в экстерьерном отношении по пути регресса. Пока не поздно, надлежит принять все меры к установлению равновесия между резвостью и формами орловского рысака. Сочетание Меркурий – дочери Порфиры интересно еще и тем, что помимо основного инбридинга, на Серебряного, вводит имя роговской кобылы Маруси, родной бабки Меркурия. Маруся имела кровь Полкана 6-го со стороны матери и была внучкой казаковского Ахтыркина, которого я, со слов Вяземского и по портрету Сверчкова, уже описал. Маруся в продолжение своей заводской деятельности проявила определенное тяготение к родным казаковским кровям. Ее сын Мраморный (2.23) произошел от соединения с добродеевским жеребцом Удалим. Мраморный же свой

лучший приплод, кобылу Не-Измени (2.14), дает от дочери Беркута, внука казаковского Чародея. Далее дочь Маруси Марсельеза дает Меркурия (2.18, четырех лет) от Лознгрин, сына казаковского Серебряного. В свою очередь Лознгрин дает первоклассного Соперника (1.32) моего завода от Соперницы, кобылы инбридированной на Полкана 6-го. Классная Пальмира (1.33) происходит от Лознгрин и со стороны матери является внучкой Полтавы завода М. И. Кожина.

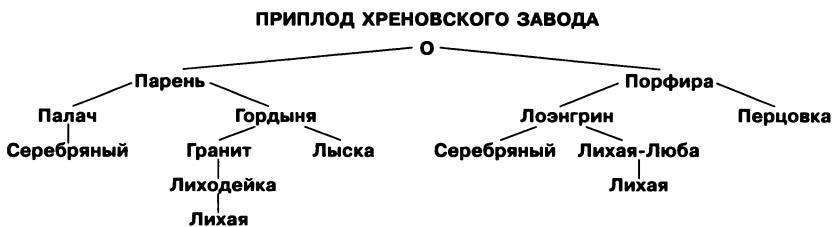


Я также считаю, что Ловчий интересен как партнер для Похвалы.



Здесь мы будем иметь перевес других кровей: центр тяжести ляжет на Громадного. Если принять во внимание исключительный экстерьер как Ловчего, так и Похвалы, результат может получиться замечательный. Вопрос о том, что дает инбридинг на Громадного, еще не выяснен, и это дело ближайшего будущего, но полагаю, что в данной комбинации повторение имени Громадного должно себя оправдать.

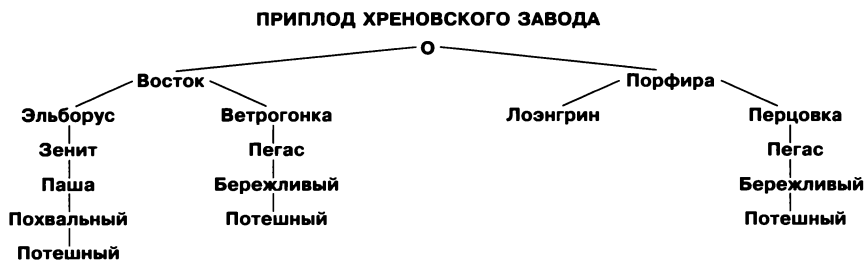
В Вологодской заводской конюшне есть очень интересный жеребец (жив ли он?). Это серый Парень (2.25), родившийся в Хреновском заводе в 1911 году от Палача и Гордыни. Последнюю я помню как редкую красавицу и дочь знаменитой по своей красоте Лыски, получившей золотую медаль на выставке в Харькове. Я бы взял Парня в хреновскую конюшню и покрыл бы с ним Порфиру.



Крайне интересная схема сочетания повторяет имена Серебряного и Лихой. Большой плюс и наличие таких кобыл, как Гордыня, Лыска и превосходная по себе Перцовка (2.22). Последняя была настолько хороша, что когда я решил ее продать, то ее купил Телегин и почитал себя счастливым человеком. Что же касается инбридинга на Лихую, то его я могу только приветствовать. Лихая оставила в заводах Тульской губернии много ценного заводского материала. Она была знаменита тем, что основала женскую семью. Дочь Лихой, Лихая-Люба, дала Лешего (4.36), Лознгрин и других. Ее внучки – Лада (2.21) и другие – играют роль и в современном нам коннозаводстве. Блестящим сыном прославилась и дочь Лихой Лиходейка – мать Гранита, победителя Императорского приза. Третья дочь Лихой в заводе Офро-

симова дала Пилу – мать Пыли (2.16) и моего Парадокса (2.15). Сочетание Парень – Порфира относится к числу тех инбридингов, которые наименее рискованно производить, ибо высокие индивидуальные качества как Серебряного, так и Лихой вне всякого сомнения. Для тех, кто не знает, замечу еще, что Лихая была очень хороша по себе, а ее внучка Пила, что была у меня в заводе, премирована в 1910 году на выставке в Москве золотой медалью.

Небезынтересно, что Порфира – внучка Бережливого и правнучка великого Потешного, поэтому к ней и ее дочерям должно подбирать кожинских жеребцов, а среди Zenитов – тех, которые не являются детьми Эльборуса (последний совершенно нетипичен). Из всех детей Эльборуса пока один Восток в типе Zenита, и потому с ним бы я покрыл Порфиру, пока еще не поздно, ибо она уже немолодая кобыла.



Подбор к Порфире и ее семье надлежит вести в следующих направлениях:

1. Усиление казаковского комплекса по Беркуту. В частности, с этой целью Память была покрыта в 1927 году с Ветерком.
2. Повторение имени Серебряного, его сына Лоэнгрин и внука Меркурия.
3. Инбридинг имени кожинского Потешного.
4. Соединение с Лебедями.

В Хреновском заводе есть очень интересная группа кобыл. Это дочь Залихватского Золушка (2.19) и четыре или пять дочерей Замёта (2.24), сына Залихватского и замечательной по своему происхождению и красоте кобылы Любушки, дочери малютинского Ловчего. Замёт жив и находится в Хреновской заводской конюшне. Эта группа кобыл, если только они уцелели, представляет двойной интерес: прежде всего потому, что она родственна по Любимцу производителю Хреновского завода Ловчему, и затем вследствие ее происхождения от подовских кобыл. Это последние остатки когда-то знаменитого Подовского завода, так щеголявшего капитальными формами своих питомцев. Хотя мне не довелось увидеть эту группу кобыл и я не знаю послереволюционного состава Хреновой, но происхождение из Подов гарантирует их высокие качества, причем как экстерьерные, так и в типе.

Прежде всего выясним степень родства между Ловчим и группой этих кобыл:

Ловчий – Кронпринц – Недотрог – Нежданный – Небось – Любимец;

Залихватский и его сын Замёт – Обидчик – Бедуин – Любимец.

Кровь Любимца течет у Ловчего по боковой линии, но имела большое значение в родословной Нежданного. Что же касается Залихватского и его сына Замёта, то они происходят от Любимца в прямом мужском колене. Таково родство между Ловчим и дочерьми Залихватского и Замёта. У поклонника крови Лебеда 4-го невольно возникает желание инбредировать имя Любимца, который был замечательной лошастью. Это тем более интересно, что данное сочетание помимо основного инбридинга дает целый ряд дополнительных течений крови Лебеда 4-го. Таким образом, появляется возможность создать не только рысаков прямой линии Лебеда 4-го, но и таких, у которых кровь этого жеребца будет если не преобладающей, то очень сильно представленной.

Любимец родился в Москве у генерал-майора В. П. Шрейдера. Это было в 1856 году. Генерал Шрейдер служил по коннозаводскому ведомству, пользовался личным доверием императора Николая Павловича и неоднократно командировался в Англию для покупки чистокровных жеребцов самого высокого класса. Одно время Шрейдер заведовал московскими заведениями государственного коннозаводства и играл очень большую роль в коннозаводских кругах Москвы. Это был европейски образованный человек и большой знаток лошади. Он давал ценные указания коннозаводчикам, которые обращались к нему. Все эти сведения сообщил мне о Шрейдере К. М. Мазурин, с отцом которого, М. С. Мазуриным, Шрейдер был в приятельских отношениях и давал ему советы в то время, когда Мазурин заводил свой впоследствии столь знаменитый завод. У Шрейдера и был куплен Любимец. Несмотря на то что он не имел рекорда, Мазурин назначил его производителем в завод и отвел от него Небось – мать Нежданного и Бедуина. У К. М. Мазурина я видел портрет Любимца кисти Сверчкова. Любимец был поразительно хорош по себе: сух, благороден и блестящ. Капитальной лошадью его назвать было нельзя. Я хотел купить этот портрет у Мазурина. Тот сначала согласился его продать, но затем раздумал и сказал: «Нет, не отдам, жалко расстаться – уж очень красивая лошадь!» Я несколько раз бывал у Мазурина, куда ездил специально полюбоваться портретами мазуринских рысаков. Позднее я купил Красу и Злобного, но Любимца так и не удалось мне купить у Константина Митрофановича. Велико же было мое удивление, когда во время революции я случайно зашел к художнику Ансиду и увидел у него мазуринские портреты Любимца и Лебеда 7-го, отца старого Крутого. Я умолял Ансида продать мне их, но тот отказался наотрез, заявив, что уезжает на родину в Латвию и увозит эти портреты с собой.

Выбирая кобылу в Хреновой, Шрейдер остановился на Розалии, дочери Разгрома, сына Полкана 6-го. Разгром родился в Хреновой еще до уступки Полкана 6-го А. Б. Казакову и был там оставлен производителем. Матерью Розалии была знаменитая Персиянка, дочь Горностая 4-го, прославившая себя созданием Варвара 1-го. О формах Персиянки мы имеем точное понятие по превосходному портрету кисти Швабе, долгое время находившемуся в канцелярии Хреновского завода. Розалия была куплена Шрейдером жеребой, а может быть, и специально, по его желанию, была случена с Людмилом, сыном Лебеда 4-го и Тарабарки, внучки Полкана 3-го. От этой случки и родился у Шрейдера в Москве Любимец. Так что вовсе не удивительно, что этот жеребец основал самостоятельную линию, что внук его Обидчик был очень интересным производителем, а дочь Небось дала такого производителя, как Нежданний.

Линия Обидчика, внука Любимца, никогда не имела большого распространения в России, несмотря на то что дала достаточное количество резвых лошадей и такого классного производителя, каким был Залихватский. Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам уцелели не только резвый сын Залихватского Замёт и его классная дочь Золушка, но и несколько дочерей Замёта. Это интереснейший заводской материал, и к нему надлежит отнестись со вниманием.

Замёт родился в Подовском заводе в 1909 году от Залихватского и Любушки. Залихватский был крупной, несколько сыроватой, дельной, костистой и при этом хорошей лошадью. После целого ряда неудачных производителей приобретение Залихватского оказалось успехом, и охотники вновь увидели подовских лошадей на бегу и на выставках. Дети Залихватского отличались хорошим ростом, были дельны, костисты и массивны. Сына Залихватского серого Замёта я никогда не видел, зато знал его мать, кобылу Любушку. Она родилась от случки Досадницы с Ловчим, под которого сама в свое время посылалась из Подов в Хреновую. Любушка была белой масти и, безусловно, принадлежала к числу наилучших кобыл, когда-либо мною виденных. Красота Любушки имела наследственный характер. Еще будучи юнкером,

я часто бывал у рязанского, а позднее у саратовского коннозаводчика А. С. Путилова, который жил в Санкт-Петербурге. Он был страстным поклонником лошадей Битко и считал, что в свое время это был лучший завод России. Над этим увлечением Карузо трунил, но не подлежит, конечно, никакому сомнению, что у Битко был замечательный завод. Об этом я слышал позднее и от других коннозаводчиков, да и сам видел нескольких лошадей завода Битко, и они произвели на меня очень большое впечатление. Так вот, Путилов из битковских кобыл особенно восхищался Досадой. От дочери Досады Досадницы и родилась Любушка. Судьбе было угодно, чтобы я увидел Досадницу. Это было в Подах примерно за месяц до аграрных беспорядков 1905 года и знаменитого погрома Подовского завода. После этого разгрома часть лошадей была распродана, а остальные уведены в другое имение князя – Чечельник. Досадница была наибольшей кобыла, вершков трех. По себе удивительно суха, породна, дельна и выставочно хороша. Она вышла в арабском типе, но лучше арабской лошади! Я хотел ее купить для своего завода, но в то время об этом и думать было нечего, ибо в Подах она очень ценилась и входила в число непроданных маток. После погрома князь оставил не более двадцати пяти-тридцати кобыл из сотни, а остальные были спешно проданы с аукциона и разошлись по рукам за гроши. В это время мне было не до новых покупок, и я тогда, чтобы не выпустить из поля зрения Досадницу, указал на нее Пуксингу, и тот ее купил для Чесменского завода.

Сравнивая Досадницу с ее дочерью Любушкой, скажу, что Любушка была глубже, шире и массивнее – в этом сказался малютинский Ловчий. В смысле же типа, блеска и красоты трудно решить, которая из них получилась лучше.

Схематически сочетание Ловчий – Золушка – дочери Замёта будет выглядеть так:



В данном сочетании обращает на себя внимание прежде всего инбридинг на Любимца, а затем очень значительное усиление течений крови Лебеда 4-го через других представителей линии. В силу уже одного этого данное сочетание должно быть осуществлено, о чем я в порядке дружеского совета написал В. А. Щёкину в Хреновую.

Последние два дня мне все нездоровилось, я не писал и все лежал и думал. В голове роились разные генеалогические комбинации, и я карандашом по памяти набрасывал их схемы на стене рядом со своей койкой, с тем чтобы не забыть и потом разработать.

Приблизительно за год до революции я был переведен из полтавской ремонтной комиссии в орловскую. Приехав в Орёл, я избрал своим местожительством тихую и скромную гостиницу. Там я устроился со всеми удобствами. Моим соседом по номеру оказался некий Кухаренко, любитель старины. Из разговора с ним я узнал, что в Орле есть интересные вещи: фарфор, мебель, бронза, хрусталь. Были и старь-

евщики – чиновник госбанка Спасовский и некий Мокий Васильевич, фигура достопримечательная. Этот Мокий Васильевич особенно мне хвалил собрания губернско-го предводителя князя Куракина и Галаховой. Куракина я знал хорошо, так как князь был женат на сестре моего приятеля Михаила Сергеевича Олива (его сестру, впоследствии вышедшую за Куракина, я знал еще девочкой). Имя Галаховых мне тоже было известно, они были владельцами хорошего завода орлово-ростовичинских лошадей.

Каждый коллекционер, попадая в незнакомый ему город, испытывает приятное волнение: ему предстоит осмотр местного музея, частных коллекций видных горожан, знакомство с интересными людьми, такими же любителями старины, как и он, и, наконец, интереснейшие поиски по городу, квартирам, лавчонкам и старьевщикам с целью приобретения предметов искусства и старины. Кто не был коллекционером, никогда не поймет этого чувства! Впрочем, не всегда дело идет гладко, сплошь и рядом в целом городе не находишь ничего интересного или видишь замечательные вещи, которые никак не даются в руки... Все это сопровождается многими переживаниями, волнениями, сменой удач и неудач. Словом, наполняет жизнь и делает ее такой интересной и значительной.

Итак, мне предстояло испытать в Орле все эти радости и переживания. Я с головой ушел в эту жизнь и совсем забросил свою основную работу. Впрочем, мой приезд совпал с небольшим перерывом в работе ремонтной комиссии и я, ограничившись визитами к своим сослуживцам, несколько дней был свободен и всецело отдался своей страсти. Мокий Васильевич, старик лет семидесяти, в длинном ватном пальто, с красным платком вокруг шеи, неизменной суковатой палкой в руках и нюхательной табакеркой, был моим постоянным спутником. Много интересных типов пришлось увидеть, еще больше интересных разговоров довелось услышать, но старины было мало. Орёл беден стариной: этот город стоит на большом пути между Москвой и Харьковом, отсюда идет дорога на Елец, другая на Ригу, а потому здесь всегда большое оживление, в городе много проезжих. Все ценное давным-давно уже вывезли, остальное вовсе не продавалось. Если же что-либо случайно попадало на рынок, немедленно подбиралось местными коллекционерами. Словом, все мои поиски оказались неудачными. Я отпустил Мокия Васильевича и возвращался домой. На главной улице города я встретил очень красивого старика, элегантного и изысканно одетого. Высокий рост, осанка и характерные длинные белые усы бросались в глаза, а его привлекательное, спокойное, одухотворенное лицо располагало к себе. Этот старик настолько меня заинтересовал, что я спросил о нем первого попавшегося прохожего. В губернском городе все знают друг друга, а потому моя любознательность была сейчас же удовлетворена. Красивый старик оказался Галаховым, бывшим орловским вице-губернатором.

У Куракиных, где я проводил вечер и знакомился с замечательным собранием князя, речь зашла о Галаховых. Княгиня советовала мне непременно сделать им визит и, кстати, посмотреть их редкое собрание старины. «Галахова – это ведь достопримечательность Орла, – сказала княгиня. – Ольга Васильевна – ближайшая родственница и наследница двух знаменитых русских писателей, Тургенева и Фета. В доме Галаховой всё старина и всё исторические реликвии». Слова княгини меня очень заинтересовали, и я стал ее расспрашивать про эту семью. Я не преминул заметить, что, встретив Галахова на улице, обратил внимание на его наружность. «Да, Николай Павлович очень милый человек, – сказала княгиня. – Но в доме Ольга Васильевна – всё, Галахов – это *le mari de la reine** и ни во что не вмешивается».

На следующий же день я сделал визит Галаховым и познакомился с этой милой семьей. Их дом находился недалеко от моей гостиницы. Это был типичный провин-

* Муж королевы (фр.).

циальный особняк с густым, тенистым садом, большим двором, сараями и конюшнями. Выглядел он уютно и очень опрятно. Чистенький, беленький, под зеленой крышей, с выходящим на улицу парадным крыльцом, он привлекал взор прохожего и как-то сразу располагал к себе.

Благообразного вида лакей в опрятном, даже щеголеватом фраке принял мою шинель и, взяв визитную карточку, поспешно удалился. Я оглянулся кругом. В настежь открытую дверь была видна гостиная. Я окинул ее взглядом и, как старый коллекционер, оценил и весь ансамбль, и качество отдельных вещей – дивную карельскую березу, стильную, превосходной сохранности, к которой не прикасалась рука реставратора. Я вошел в гостиную и застыл очарованный: как хороша была эта береза в своей родной обстановке, среди портретов Тургеневых, Шеншинных и Галаховых! Позднее я узнал, что это была тургеневская гостиная, привезенная сюда из Спасского-Лутовинова. Легкая, воздушная хрустальная люстра с синей грушевидной фигурой внутри была очень красива и хорошо гармонировала со старинной обстановкой. Множество мелких предметов, банкеток, жиронделей, трельяжей для цветов красиво дополняли основной гарнитур и придавали уют этой комнате...

Навстречу мне спешил Галахов. Мы познакомились. Он провел меня в небольшую, почти квадратную комнату с двумя окнами, где мы застали Ольгу Васильевну за чайным столиком. Тут же были обе ее дочери и какая-то дама, пришедшая с визитом. Галахов представил меня жене и сам в удобной позе уселся у окна. Я оглянулся кругом. Это была гостиная-будуар хозяйки дома. Много мягкой мебели, подушек разных размеров на диванах и креслах, миниатюры по стенам, пузатые комоды и столики с фотографическими карточками родных и близких в стильных дорогих рамочках, много фарфора, вышивок и разных «библо», и на всем этом печать красоты и того уюта, который умеют придавать своим комнатам только женщины. Возле хозяйки стоял чайный столик, кипел александровского времени пузатый чайник, и душистая влага разливалась по саксонским, тончайшего фарфора, чашкам.

Хозяйка, казалось, была создана для этой обстановки, а эта обстановка создана для нее. Небольшого роста красивая старушка, совсем седая, с румяными щеками, ясными, добрыми глазами и крошечными ручками, была удивительно привлекательна. Какой милый человек, какая умница была эта Ольга Васильевна! Позднее я ее хорошо узнал и имел возможность вполне ее оценить. Мой визит продолжался недолго; я простился с хозяйкой и, получив приглашение у них бывать, откланялся и собрался уходить. Галахов пошел меня провожать, но в гостиной, как будто вспомнив о чем-то, спросил: «Ведь вы собираете портреты Сверчкова?» Я ответил утвердительно. Тогда Галахов взял меня дружески под руку и повел в кабинет. Кабинет мне понравился еще больше, чем гостиная. Это, несомненно, лучший кабинет из карельской березы, который я видел, и принадлежал он ранее Ивану Сергеевичу Тургеневу. Как хорош был письменный стол, книжные шкафы, кресла, диван-самосон с золотыми украшениями из левкаса, чистейшего александровского стиля! Над письменным столом висело продолговатое полотно. Я бросил на него взгляд и сейчас же определил авторство Сверчкова. Это была превосходная работа знаменитого художника, картина-портрет – жанр, в котором был так силен Сверчков. Сюжет картины был следующий: по набережной Невы в санях мчалась гнедая пара с отлетом, в санях сидел бравый военный в форме николаевских времен. Галахов мне объяснил, что картина изображает его отца (или деда – точно не помню), который был обер-полицмейстером Петербурга во времена Николая Павловича. Второе полотно кисти того же художника было портретом каракового верхового жеребца генерала Галахова, на котором он гарцевал на разводах и других военных церемониях. Жадность собирателя мгновенно проснулась во мне, глаза загорелись, и мне страстно захотелось приобрести оба полотна. Забыв, что нахожусь не в лавке старьевщика, я предложил Галахову продать мне эти полотна, но он только улыбнулся...

Я стал бывать у Галаховых. Это была удивительная семья – такая, какие и в то время редко встречались. Ольга Васильевна была добрейшей души женщина, притом умница и хорошая хозяйка. Про Галахова говорили, что «он не выдумает пороха», но все соглашались с тем, что это был благороднейший человек – рыцарь с головы до ног. Сына я не знал, так как в то время он находился на фронте. Из двух дочерей одна была замужем за Вырубовым, родным братом знаменитой Вырубовой, приятельницы последней русской императрицы. Младшая, Кира, была очень красива, но уже немолода. У нее были в свое время возможности сделать блестящую партию, но она все не могла найти мужа по вкусу и осталась старой девой. Ольга Васильевна очень любила лошадей и владела превосходным заводом орлово-ростопчинских коней в своем воронежском имении. Если память мне не изменяет, она или купила, или наследовала знаменитый Шуриновский завод. После дубровских и подовских ростопчинов галаховские пользовались наибольшей славой. Вместе с Галаховой я по ее просьбе собирался весной съездить к ней на завод, но февральские события помешали этим планам осуществиться.

В доме Галаховых я встречал очень много интересных людей. Между прочим, там уже после революции, в мае или июне 1917 года, я встретился со Свербеевым, нашим бывшим послом в Берлине. Он тогда находился на перепутье: ехать в имение было уже нельзя, и он, видимо, колебался между жизнью в Орле или Санкт-Петербурге. На долю Свербеева выпала историческая миссия – быть послом России в год объявления великой европейской войны. Он мог сделать многое для ее предотвращения, многое должен был предвидеть и предусмотреть, но оказался не на высоте положения. Это был блестящий дипломат, в совершенстве владевший языками, одетый по последней лондонской моде. Как все Свербеевы, он был очень красив. Однако по внутреннему своему содержанию и уму это был совершенно заурядный человек. Его, свидетеля великих минут разрыва России с Германией, слушали с напряженным вниманием, жадно ловили каждое его слово, что было так понятно и естественно. Свербеев говорил много, лицо его при этом было чрезвычайно подвижно, но впечатления его слова лично на меня не произвели. Мне кажется, что больше, чем Россией и Германией, он интересовался собственной особой и той ролью, которая так незаслуженно выпала на его долю и которую он так бездарно сыграл. Он цитировал слова Вильгельма и закончил тем, что сказал: «Вы, конечно, понимаете, как это трудно. Мое положение обязывает к тому, чтобы каждое мое слово было верно, как в Евангелии, ведь мои записки будут читать и изучать будущие поколения», – и обвел всех нас торжествующим взглядом. Было уже совсем темно, когда я вместе с Офросимовым, шурином покойного Столыпина, покинул гостеприимный дом Галаховой. Уже на улице к нам присоединился генерал Ушаков, как и Офросимов, орловский помещик. Он состоял при ком-то из великих князей и вынужден был покинуть Петроград, оставшись не у дел. Это был умный и дальновидный человек. Вместе с Ушаковым мы решили проводить старика Офросимова, который жил неподалеку. Шли молча по уже безлюдным улицам города. Вдруг Ушаков, не обращаясь собственно ни к кому, сказал по-французски: «C'est pauvre sir!..»*

Ольга Васильевна Галахова охотно принимала меня, и я провел в ее доме много приятных часов. Однажды, оставшись вдвоем, что бывало редко, так как Галаховых в Орле любили и у них постоянно бывали близкие и друзья, мы разговорились сначала о Фете-Шеншине, а потом об Иване Сергеевиче Тургеневе. Галахова рассказала мне много интересного о Фете. Этот служитель муз был страстным лошадиником и имел прекрасный конный завод, который вел безупречно и очень хорошо. Его перу принадлежит несколько стихотворений, посвященных известному коннозаводчику Илье Фёдоровичу Офросимову, которые не вошли в собрание стихотворений

* «Бедный государь!..» (фр.)

знаменитого поэта. С разрешения Ольги Васильевны я списал эти стихотворения, и если мой архив не погиб, то они еще увидят свет.

Тургенева Ольга Васильевна помнила хуже и меньше знала. Однако и он, по ее словам, был большим любителем лошади, но рысистой, а не верховой, как Фет. В Спасском-Лутовинове на много лет пережила своего хозяина рысистая кобыла, на которой особенно любил в дрожках ездить Иван Сергеевич. К сожалению, Ольга Васильевна не помнила, чьего завода была эта кобыла. Охотником Тургенев был действительно страстным и, по уверению Ольги Васильевны, ради охоты готов был все забыть. Раз заговорив об охоте, мы естественно перешли к «Запискам охотника» и стали вспоминать бессмертные типы тургеневских Хоря и Калиныча, Лукерьи, Ермолая и других. Ни до ни после Тургенева никому из русских писателей не удалось так просто и широко развернуть на фоне русских полей и лесов такую яркую картину русской деревни с ее обитателями. Картины природы сменяют одна другую, как сменяют друг друга типы русских людей. Все вместе составляет правдивую, обширную и незабываемую картину русской жизни и народной души... Книга Тургенева «Записки охотника» была моей настольной книгой, и я сказал об этом Галаховой. В тот же день Ольга Васильевна подарила мне том «Записок охотника», вышедший отдельным изданием в 1852 году и принадлежавший когда-то Тургеневу. Книга была в роскошном шагреновом переплете, тисненном золотом, и я был глубоко признателен Галаховой и тронут ее вниманием.

Вечером и все следующие дни я читал, вернее, смаковал «Записки охотника». Перечитывая замечательный рассказ Тургенева «Одноворец Овсянников», я задумался над интересной и яркой страничкой об Орлове-Чесменском. Там устами однодворца Тургенев описывает широкую натуру Орлова, создателя орловской рысистой породы. Характеристика этого лица заканчивается эпизодом с сукой Миловидкой, которая принадлежала деду автора «Записок...» и обскакала всех собак. Раздумывая над этим эпизодом, я решил спросить Галахову, не сохранилось ли в их семье предания об этом. На следующий же день я обратился к Галаховой и прочел ей так заинтересовавший меня эпизод. Затем я спросил ее о знаменитой суке Миловидке. Я правильно рассчитал, что если подобное «историческое» событие имело место, то в роду Тургеневых оно не могло быть забыто и передавалось из поколения в поколение. Выслушав меня, Ольга Васильевна сейчас же подтвердила, что сука Миловидка существовала, принадлежала деду Ивана Сергеевича и обскакала на садках Орлова всех лучших собак. Об этом говорила Галаховой ее мать, а дворовые девочки, играя с ней в саду, показали то место, где якобы когда-то была «похоронена» Миловидка. Таким образом, предание о Миловидке пережило несколько поколений и было известно в Спасском-Лутовинове не только в кругу тургеневской семьи, но и обитателям деревни.

Оставаясь в кругу великих имен русской литературы, расскажу еще о моих встречах с женой Льва Толстого, графиней Софьей Андреевной Толстой, и приведу наши с ней разговоры о Холстомере. Ясная Поляна и Прилпы недалеко друг от друга: их разделяют каких-нибудь двенадцать-тринадцать верст проселочных дорог. Таким образом, я был соседом Толстых и в качестве такового был с ними знаком и бывал в их доме. До революции, будучи очень занят ведением завода, частыми разъездами по России, собирательством и, наконец, общественной работой по коннозаводству, я редко бывал у соседей, и на этой почве происходило немало недоразумений. Одни считали меня гордецом, другие – человеком нелюдимым. В общем все, начиная от нашего милейшего предводителя Долина-Иванского, были недовольны. Это неудовольствие не имело достаточных оснований, так как именины и прочие торжества, как это ни было мне иногда скучно, я посещал аккуратно. По этой причине и в Ясной Поляне я бывал очень редко. Однако во время революции обстоятельства изменились и я стал довольно частым гостем в Ясной Поляне. Помещики, лишенные

всего, покидали насиженные гнезда и переезжали в город. Не прошло и года, как по всей нашей округе из числа бывших помещиков остались Толстые и я. Все остальные либо были изгнаны, либо бежали. Время для нас было кошмарное, каждый день мог преподнести любые сюрпризы, а потому неудивительно, что Софья Андреевна Толстая справлялась обо мне, а я о ней. Ясная Поляна и Прилепы стали какими-то оазисами среди разбушевавшейся стихии, и если первую спас ореол великого Толстого, то вторые уцелели только благодаря моей настойчивости и желанию во что бы то ни стало спасти картинную галерею и завод от дикой и варварской гибели. Вот в такой-то момент я получил от Софьи Андреевны записку с просьбой приехать в Ясную (так сокращенно называли обычно свое имение Толстые). Само собой разумеется, я поспешил откликнуться на зов графини и на другой же день поехал в Ясную Поляну.

Поездка из Прилеп в Ясную всегда составляла для меня удовольствие, так как дорога шла проселком и была очень живописна, а местами и интересна. Начиная от Кишкина и вплоть до самого въезда в Лутовиново приходилось ехать полями, через села и среди молодого леса. Впечатления сменялись быстро. Сейчас же за околицей прилепского сада и вплоть до Кишкина шла довольно скверная и колеистая дорога, правая сторона которой, возвышенная равнина, находилась под крестьянскими наделами и навевала уныние своими запущенными межами и плохой обработкой полей. Налево открывался чудесный вид: зеленые леса высоко поднимали свои верхушки к небу, их опушки и склоны живописно спускались к оврагу и тонули в нем. На средней опушке, самой большой и живописной, стоит усадебка Апасовых, и уютный домик осенней порой, в грязь и слякоть, особенно привлекателен и мил.

Само Кишкино – так сокращенно его зовут крестьяне, а по бумагам Суходол-Кишкино – тянется в два порядка. Амбары и клети вынесены вперед и стоят в ряд перед домами, образуя собственную улицу. Церковь находится ближе к Прилепам и стоит на краю села, при самом въезде; правее расположилась поповская слободка, впрочем, давно уже переросшая свое название, ибо и там селятся и строятся кишкинцы. На противоположном конце села когда-то стояла усадьба Бегичевых. Теперь от нее сохранился лишь яблоневый сад; столетние липовые и хвойные аллеи давно вырублены местным прасолом Будановым, который, купив эту усадьбу, дом продал мне на слом, а сам, как здесь выражаются, «заделался» садовником и стал жить на доходы от садов. Дорога идет огибая этот сад, и у самого ее края одиноко стоит столетняя ель, далеко раскинув свой гигантский шатер.

Сейчас же за усадьбой начинается дорога на Лутовиново. Слева отводы тульских купцов, теперь леса местного значения; правее рощи и сады, когда-то принадлежавшие местному богачу Сонцову-Засекину. В самом Лутовинове стоит бывшая усадьба этого древнего и уже вымершего рода, на моих глазах ставшая собственностью тульского садовода Проводина. Какой там был парк, какие аллеи! Как хороши были два уцелевших еще от александровских времен флигелька! Лутовиновская школа, большое, просторное здание, выстроенное лет двадцать тому назад тульским земством, стоит как раз у поворота дороги. Прямо – хорошо наезженная, торная дорога на Тулу. Чтобы попасть в Ясную Поляну, надо свернуть влево и ехать сначала на Свинки, потом на Карандашовские хутора, Тихановские и наконец выехать на большую киевскую дорогу, что испокон веков соединяет Тулу с Орлом, Курском – словом, с югом. От самого Лутовинова и до большой киевской дороги путь лежит по очень живописной местности. Под конец, версты с полторы, дорога идет прямой стрелой и упирается в большак. Все время, то с правой, то с левой стороны, тянутся на сотни верст знаменитые казенные леса, так называемая Засека. Они окружают ближайшую железнодорожную станцию (от них-то она и получила свое название) и составляют величественное украшение здешних мест. По большаку приходится ехать не больше двух верст, причем последняя верста

идет уже лесом и шоссирована. Справа и слева стоят дачи бывших тульских богачей, и как-то вдруг, как это всегда бывает в лесу, вырастает большая насыпь – железнодорожный путь, проложенный по самой Засеке. Справа приютилось небольшое одноэтажное деревянное здание, маленький дворик, две-три постройки захолустной станции Козлова Засека, мимо которой пролетали не останавливаясь все курьерские и пассажирские поезда до тех пор, пока слава Толстого не сделала ее известной не только в России, но и далеко за пределами ее.

Итак, я приехал в Ясную по приглашению Софьи Андреевны Толстой и мы особенно сердечно встретились. Встречи «бывших» людей в те годы отличались особой теплотой, так как все мы чувствовали себя членами одной обездоленной семьи.



С. А. Толстая

Софья Андреевна лично ничего не боялась, но очень осунулась и постарела: видимо, ее беспокоила судьба ее большой семьи. А там далеко не все обстояло благополучно. Чуть ли не накануне во флигель Ясной переехала семья Оболенских, которые вынуждены были покинуть свое имение.

Переговорив о деле, я пошел с Софьей Андреевной гулять в парк. Я любил яснополянский парк, не столько сад и окружающие усадьбу рощи, сколько самый парк при доме. Там, в самом конце, стояла моя любимая скамейка, где я подолгу сживал и смотрел, как рыжие белочки, грациозные и смешные, прыгают по деревьям... Окончив прогулку, мы вернулись в дом. Вместе с Софьей Андреевной я зашел в комнату Льва Толстого. Я бывал там неоднократно, но каждый раз меня охватывало волнение. Софья Андреевна села на старый клеенчатый диван и предалась воспоминаниям. «Здесь, на этом диване, я родила всех своих детей», – сказала она. Несмотря на свои годы, Софья Андреевна говорила очень скоро, сохранила удивительную ясность мыслей и обладала превосходной памятью. Какая это была интеллигентная женщина – обязательная, милая и умная! Я представляю себе, как она была привлекательна в молодости. Совершенно неудивительно, что Лев Толстой так долго был в нее влюблен. Много было написано скверного о Софье Андреевне, еще больше пристрастного, но лично я думаю, что все это сильно преувеличено. Посторонние люди стали вмешиваться в семейную жизнь Толстых, а из этого никогда

и ничего хорошего не получается. В продолжение всего моего знакомства с Толстыми я наблюдал Софью Андреевну, стал уважать и ценить ее и глубоко убежден в том, что ее оклеветали люди, которые были недостойны ее.

Обстановка яснополянского дома всегда поражала меня своей убогостью. Старинные вещи, оставшиеся от отца и деда Толстого, не представляли ничего замечательного, и было их очень немного. Семейные портреты работы крепостных с художественной точки зрения были плохи. Миниатюры, их было немного, неинтересны. Фарфора, за исключением отдельных незначительных предметов, также не было. Словом, здесь любителю старины взять было нечего и все эти вещи указывали на более чем скромный уклад жизни предков Толстого. Помимо этих вещей в комнатах была мебель, приобретенная позднее. Так, в гостиной стоял простой обеденный стол, окруженный венскими стульями. Все же вместе взятое составляло далеко не стильную обстановку и указывало на то, что ни Лев Николаевич Толстой, ни его жена Софья Андреевна не любили и не понимали старины. У них не было потребности окружать себя красивыми старинными вещами, ничто в этом доме не давало впечатления уюта и старого, насиженного дворянского гнезда. Скрипучая лестница, полутемная прихожая, вид потрепанных, стареньких, но не старинных вещей, сработанных на скорую руку домашним столяром или купленных в мебельной лавке у тульского купца, – все это складывалось для меня, эстета и любителя старины, в тяжелую и малопривлекательную картину. Глядя в тот раз на когда-то столь населенный, а ныне опустевший дом, я невольно вспомнил галаховский особняк в Орле, тургеневскую обстановку и улыбнулся: велика была разница между теми вещами, которыми был окружен «певец дворянских гнезд», и теми, что окружали автора «Войны и мира».

Когда я впервые оказался в Ясной Поляне, я, конечно, не преминул спросить Софью Андреевну, где же находятся подаренные Толстому Сверчковым изображения Холстомера в молодости и старости. Я знал об их существовании со слов князя Д. Д. Оболенского и видел репродукции с них в журнале «Конская охота». Познакомиться с оригиналами было для меня чрезвычайно интересно. Помню, тогда Софья Андреевна ответила, что они находятся в Кочетах, имени Сухотиных, так как Лев Николаевич подарил их своей дочери Татьяне. Велика была моя радость, когда в этот раз Толстая мне сказала: «Ну вот, теперь вы увидите Холстомеров. Таня с дочерью переезжает в Ясную и привезет их с собою». Но какова была память у Софьи Андреевны, которая вспомнила наш давнишний разговор! Я попросил Софью Андреевну сообщить мне, когда приедет Татьяна Львовна, так как изображения интересовали меня в сильнейшей степени. Хорошо помню, что именно в этот приезд я выразил удивление, что «Холстомер», который был написан Львом Николаевичем в 1861 году, вдохновил Сверчкова только в 1887-м. Тогда художник написал Холстомера в молодости и в старости гуашью. Позднее он повторил работы маслом и продал петербургскому богачу Елисееву, а еще позднее, в 1891 году, создал свой знаменитый табун с Холстомером, который принадлежит мне. Предположить, что Сверчков прочел «Холстомера» только через 26 лет после выхода в свет этой повести, было, конечно, нельзя. Меня также удивляло то обстоятельство, что никто другой из художников до восьмидесятых годов не писал и не рисовал Холстомера, ведь позднее своих Холстомеров создали Ковалевский, Самокиш, Пирогов, Козловская и другие. Я делал тот вывод, что «Холстомер» был написан не в 1861 году, а позднее. За разъяснением этого-то вопроса я и обратился к Софье Андреевне. Она вполне подтвердила правильность моей догадки. Оказалось, что «Холстомер» был лишь задуман в 1861 году, тогда и несколько позднее Лев Николаевич сделал черновые наброски повести. Закончил же он повесть в восьмидесятых годах, когда она и была опубликована. То, что сообщила мне Софья Андреевна о том, как и когда писался «Холстомер», кто вдохновил Толстого, рассказав ему этот сюжет, чему мы обязаны

тем, что рассказ, пролежавший двадцать с лишним лет без движения, был наконец закончен и напечатан, я тогда же со слов Софьи Андреевны записал.

Не помню, в каком году Татьяна Львовна переехала в Ясную, так как дальнейшее пребывание в Кочетах стало невозможным. Софья Андреевна исполнила свое обещание и вызвала меня. Я сейчас же поехал в Ясную Поляну, и там состоялось мое знакомство с Татьяной Львовной Сухотиной. Это была удивительно симпатичная женщина с толстовскими крупными чертами лица, умная, приятная, образованная и, по-видимому, очень добрая и сердечная. Знакомство с Татьяной Львовной доставило мне большое удовольствие, у нас установились хорошие отношения, которые не прерывались вплоть до ее отъезда за границу. Тогда же я впервые увидел и ее дочь, внучку Толстого, Татьяну Татьяновну, как она сама себя звала в детстве и как ее в шутку прозвали старшие. Помимо Софьи Андреевны, ее дочери и внучки, а также англичанки, на этот раз я застал там и юношу – сына Андрея Львовича от первого брака. Оболенские по-прежнему жили всей семьей во флигеле, так что в Ясной стало довольно многолюдно. Софья Андреевна взяла меня за руку и сказала: «Пойдемте в комнату Тани, там вы увидите Холстомеров». С каким трепетом, с каким восторгом, с каким волнением переступил я порог этой комнаты! Там на стене впервые увидел я эти картины. На одном картоне был изображен Холстомер в молодости: он был блестящ, полон жизни и огня и представлен на той характерной рыси, за которую современники прозвали его Холстомером, от выражения «холсты меряет». Другой Холстомер, в старости, был разбитой, замученной, несчастной и больной лошадей, со следами коросты, но все же величественной и замечательной. Он стоял одиноко в сторонке и дремал. Вдали был показан рысистый табун. Это были замечательные произведения искусства, в которых со всей силой выразились талант Сверчкова и его проникновенное знание лошади. В этих творениях художник дал действительный тип Холстомера, так, как его понимал Толстой, а не просто нарисовал пегую лошадь в молодости и старости, как это сделал Ковалевский. По технике это были не акварели, как ошибочно писал о них Оболенский, а гуаши. «Холстомеры» произвели на меня очень сильное впечатление. Я не выдержал и тут же стал просить Татьяну Львовну уступить их мне. Сухотина-Толстая наотрез отказалась, сказав, что это подарок отца и что она так любит эти акварели и так привыкла к ним (в семье Толстых их также все называли акварелями), что, уезжая надолго из Кочетов, имела обыкновение их увозить с собой.

Тогда же я имел полную возможность убедиться в том, насколько Софья Андреевна была обязательна и как хорошо и сердечно она ко мне относилась. Видя, что я огорчен, Софья Андреевна принялась меня утешать и тут же предложила сделать для меня собственноручно копии с оригиналов Сверчкова. Я был удивлен, услышав, что она рисует, но имел глупость отказаться. Так я упустил возможность иметь копии с «Холстомеров», исполненные женой Льва Толстого специально для меня! Теперь я чрезвычайно сожалею о своем опрометчивом поступке. Впрочем, истинный знаток искусства и старины поймет и не осудит меня: как бы ни была и кем бы ни была исполнена копия, она все же остается только копией... Само собой разумеется, что я не преминул познакомиться с альбомами Софьи Андреевны Толстой и увидел, что она премило владела акварелью и имела несомненные способности к живописи. Это была действительно талантливая, и разнообразно талантливая, женщина.

Время шло, я изредка вспоминал о портретах, но жилось тогда так тяжело, было столько забот, что даже моя коллекционерская жадность стала притупляться и я, если и не забыл окончательно, вспоминал о них все реже и реже. Тем не менее в записной книжке, куда я заносил сведения о всех виденных мною замечательных картинах, акварелях и рисунках, числились и «Холстомеры», с пометкой «Обязательно стремиться купить!». Стало быть, время от времени я, перечитывая эти листки и вспоминая виденные картины, вновь переживал забытые ощущения.

В то время, когда я менее всего думал о покупке Холстомеров, случайно на Киевской улице в Туле я встретил Татьяну Львовну. Это было уже после смерти Софьи Андреевны. Татьяна Львовна остановила лошадь и знаком подозвала меня к себе. Она сказала мне, что решила продать «Холстомеров», так как думает переезжать в Москву и им с дочерью нужны деньги. Затем она добавила, что может продать их только в два места – либо в Толстовский музей, либо в мои руки, так как тогда они попадут в единственное собрание, посвященное лошади. Продать же их на рынке, с тем чтобы они ушли за границу или потерялись, она никогда не согласится, хотя и понимает, что могла бы таким путем получить хорошие деньги. Это тем более вероятно, что «Холстомеры» не только произведения искусства, но и исторические предметы, бывшая собственность Льва Толстого и подарок Сверчкова с его собственноручной дарственной надписью. Я это понимал, конечно, лучше Татьяны Львовны и, поблагодарив ее, спросил, сколько же она хочет за них получить. Она отозвалась незнанием и просила меня самого назначить цену. Положение мое было затруднительно, и я не помню, какую сумму предложил. Счет тогда велся на миллионы и миллиарды, а эти астрономические цифры трудно запоминать. Сухотина не дала мне продолжительного ответа и сказала, что подумает и пришлет мне письмо в Прилепы. Дольше говорить на улице было неудобно, и мы расстались. Придя в себя, я понял, какое счастье меня ожидает. Вернувшись домой, стал ждать письма. Но письма не было, а когда я сам запросил Татьяну Львовну, получил ответ, что «Холстомеры» проданы Толстовскому музею.

Я был положительно в отчаянии. Я прозевал «Холстомеров», как мальчишка, и был кругом виноват! Мне нельзя было отпустить Татьяну Львовну ни на шаг, надо было бросить все дела в Туле, в тот же день поехать с ней в Ясную и там закончить сделку, обсудить цену и купить «Холстомеров». Словом, действовать так, как я имел обыкновение действовать в аналогичных случаях, когда находил какое-либо замечательное произведение искусства. Я же поступил иначе – и проиграл! Сухотина, вернувшись домой, стала обдумывать предложенную мною цену, та показалась ей недостаточной, и она начала советоваться с домашними. При наших отношениях ей не хотелось торговаться со мной, и она решила продать «Холстомеров» Толстовскому музею, где ей дали, конечно, максимальную цену. Теперь, бывая в Москве, я постоянно захожу в Толстовский музей и иногда подолгу сижу перед «Холстомерами»: вспоминаю повесть о пегом мерине, вижу его перед собой и думаю о прежних временах и людях.

Приятельница, имея рекорд 2.15 и 4.38, была одной из резвейших кобыл своего времени и вместе со Слабостью составляла украшение призовой конюшни Конопина во времена ее наивысшего расцвета. Ездил на ней В. Кейтон и считал ее не менее резвой, чем рекордистка и дербистка Слабость (2.11). Приятельница была замечательной породы и происходила от лошадей М. И. Бутовича. Отцом Приятельницы был американский жеребец Гарло, так что она была метиской. По себе Приятельница была очень хороша, суха, абсолютно правильна, в типе отчасти лейхтенбергских лошадей, отчасти конопинских метисов. Особенно важно отметить, что Приятельница была мелка и слепа на один глаз (глаз был ей выхлестнут В. Кейто-

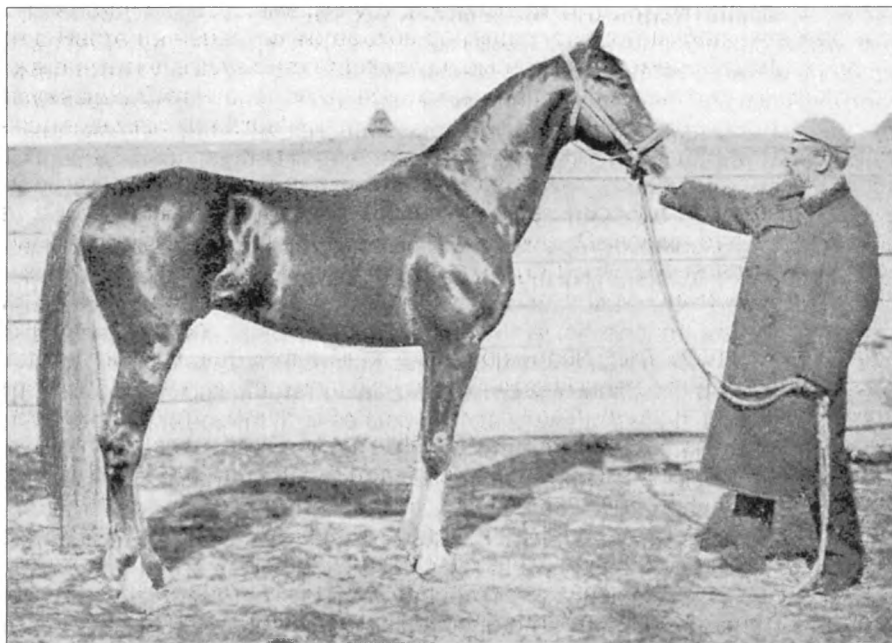


Т. Л. Толстая

ном). В 1919 году она ослепла и на второй глаз, так что в табуне не ходила и круглый год стояла на конюшне.

Заводская деятельность Приятельницы резко делится на два периода. Один – блестящий, когда она дала весьма ценный приплод, и второй, когда все ее дети оказались неудовлетворительными как по показанной ими резвости, так и по себе.

Коноплин прислал Приятельницу в Прилепы для случки с Громадным еще до ее продажи мне и ликвидации своего завода. Таким образом, подбор Громадный – Приятельница был сделан Коноплиным и он ждал от него самых утешительных результатов. Когда совместно с А. С. Хомяковым я купил десять лучших коноплинских кобыл, среди которых были Слабость и Приятельница, то за Приятельницей не пришлось и посылать, она уже находилась в Прилепах.



А. В. Якунин с Петушком

Заводская деятельность Приятельницы (Гарло – Русалка):

1. Приплод завода Я. И. Бутовича:

1913 год – гнедая кобыла Псиша (1.34) от Громадного. Заводская матка в Грязнушенском заводе.

1914 год – рыжий жеребец Произвол от Петушка. Пал в Москве в 1922 году.

1915 год – светло-серая кобыла Пряжа от Громадного. Заводская матка в Грязнушенском заводе.

1916 год – нет сведений.

1917 год – Природа (2.21 и 4.51) от Кронпринца. Заводская матка в Грязнушенском заводе.

1918 год – гнедой жеребец Пугачёв, он же Мир (2.11 и 3.26), от Ледка. Заводской жеребец в Лавровском заводе Тамбовского треста.

2. Приплод Прилепского госконезавода (после национализации):

1919 год – серая кобыла Пиковая-Дама (2.22) от Кронпринца. Заводская матка в Уральском госконезаводе.

1920 год – двойня от него же. Пали.

1921 год – холоста.

1922 год – рыжая кобыла Провинция (2.40) от Лакея. Заводская матка в Уральском госконезаводе.

1923 год – холоста.

1924 год – вороной жеребец Подснежник от Эльборуса. Тульская заводская коношня.

1925 год – вороня кобыла Пена (2.30) от него же. Заводская матка в Уральском госконезаводе, продана Уральскому земельному управлению.

Первая дочь Приятельницы и Громадного, гнедая кобыла Псиша, представляет собой дельную, широкую, очень плотную и глубокую кобылу. Она суха и имеет идеальную спину. Ростом она крупнее своей матери, но у нее нет тех идеальных ног, какие были у Приятельницы. Путовые суставы и бабки Псиши не выносят, по-видимому, тяжелого корпуса кобылы, так что летом даже в табуне она ходит кованой.

В двухлетнем возрасте Псиша была сдана в аренду на призовую коношню Понизовкина и уже трех лет показала резвость 1.37, исключительную для дочери Громадного. По показанной резвости Псиша заняла очень видное место среди трехлетних лошадей своего года, и ее будущая карьера рисовалась в самом розовом свете. По четвертому году (1917), вследствие окончания бегов в Москве, все лошади Понизовкина ушли в Воронеж. Гусаков, узнав, что часть моих лошадей находится в Хреновой, отправил туда и Псишу. Поступил он так потому, что продать ее не имел права, содержать было дорого, а призы были небольшие.

Псиша прибыла в Хреновую в тяжелые дни. Там все было вверх ногами, лошади готовились к эвакуации или уже были эвакуированы, точно сейчас не помню. Псиша попала к местному лесничему и превратилась в разъездную лошадь. Узнав об этом от Лохова, который вернулся из Хреновой с прилепскими лошадьми, я был возмущен поступком Гусакова. Как только представилась возможность, я стал хлопотать о возвращении Псиши. Мои хлопоты в конце концов увенчались успехом, и летом 1920 года Псиша прибыла в Прилепы. Пришла она в ужасном виде и в страшной чесотке. Ратомский самостоятельно принялся ее лечить, усиленно кормил и действительно спас кобылу.

Впервые Псиша была случена в 1921 году, восьми лет от роду. Псиша оказалась замечательной жеребятницей: была очень молочна, регулярно жеребилась и давала превосходный приплод. Если же принять во внимание все невзгоды, которые ей пришлось пережить, то выказанные Псишей качества станут еще более ценными.

Заводская деятельность Псиши:

Псиша поступила в Прилепский госконезавод летом 1920 года.

1922 год – вороня кобыла Пасека (2.41) от Лакея. Заводская матка в Пермском госконезаводе.

1923 год – вороной жеребец Псков (2.30) от Эльборуса. В заводской коношне.

1924 год – гнедая кобыла Прелесть (2.21) от него же. Заводская матка в Хреновой.

1925 год – серый жеребец Принцип (2.24, трех лет) от Кронпринца. В Грязнушенской тренконошне.

1926 год – вороня кобыла от Кронпринца. Там же.

1927 год – приплод пал или холоста от Ухвата.

В декабре 1928 года переведена в Грязнушенский завод.

Первая дочь Псиши, вороня Пасека, была невелика, но удивительно хороша по себе. Резвости не имела. Теперь состоит заводской маткой в Пермском госконеза-

воде и может оказаться хорошей заводской маткой. Сын Псиши Псков был замечательной лошадей. Его сестра Прелесть не только хороша, но и показала хорошую резвость. Это, несомненно, одна из наших многообещающих заводских маток. Следующим приплодом Псиши был серый Принцип от Кронпринца. Дельный, правильный жеребец, с хорошей спиной и очень сухой. Ему сейчас четыре года, и его беговая карьера еще впереди. В 1926 году Псиша дала от Эльборуса замечательную вороную кобылку, хотя и несколько беднокостную. Летом 1927 года ей одна из товаров ушибла ногу в табуне, и кобылка ушла в Грязнушенский завод калеккой. Едва ли она когда-нибудь появится на ипподроме, но в качестве заводской матки должна быть оставлена. Последний свой приплод в Прилепском заводе Псиша дала от Ухвата, и, если память мне не изменяет, жеребенок пал. По имеющимся у меня сведениям, в 1928 году Псиша прохолостела и сейчас жереба от сына Крепыша – Картала.

Вторым приплодом Приятельницы был рыжий красавец Произвол, сын Петушка. Он был удивительно костист, очень глубок, широк и необыкновенно эффектен. Принадлежал к числу тех лошадей, которые уводят за собой целую ставку, и дорогой ценой ушел из Прилеп. В 1917 году ему исполнилось три года, а потому он не бежал. Когда господа ветеринары во главе с Шемиотом-Полочанским распорядились судьбами коннозаводства, Произвол был назначен... пробником в Дулеповский завод. Когда я принял отдел коннозаводства, Произвол находился уже в конюшне Наркомзема и около года был моей городской одиночкой. Он пал вскоре после моего отъезда из Москвы, о чем нельзя не пожалеть, ибо после восстановления беговых испытаний он имел все шансы показать хорошую резвость, а стало быть, попасть либо в завод, либо в заводскую конюшню. По городу ехал очень хорошо и обращал на себя внимание как красотой, так и необыкновенной эффектностью.

Родная сестра Псиши белая кобыла Пряжа очень хороша по себе и была одной из лучших дочерей Громадного. Она мало напоминает свою мать и очень похожа на отца. Пряжа суха, породна, дельна, имеет превосходную спину и обладает вполне выставочным экстерьером. Когда В. А. Щёкин впервые увидел ее в Прилепах, она произвела на него очень большое впечатление. Он мне сказал, что она не хуже Гусыни, знаменитой по своей красоте сестры Громадного. Уже во время революции Пряжа была продана мною в Орёл Неплюеву. Ей тогда было два года. Около полутора лет она голодала в Орле, не тренировалась и затем была национализирована. На заводском поприще ей не повезло: она успела побывать в четырех заводах (Хреновский, Злынский, Прилепский и Грязнушенский). Само собой разумеется, что при таком странствовании она нигде не прижилась и до сего времени еще ничем себя не проявила.

Заводская деятельность Пряжи:

1923 год – серая кобыла Прялочка от Джон-Мак-Керрона.

1924 год – не случена.

1925 год – гнедой жеребец Паяц от Перепела.

1926 год – красно-серая кобыла (имени не помню) от Эльборуса.

1927 год – холоста.

1928 год – белая кобыла от Ловчего.

В декабре 1927 года Пряжа ушла в Грязнушенский завод, так что белая кобылка от Ловчего, приплод 1928 года, родилась уже в Грязнухе. Что представляла собой Прялочка, я не знаю. Паяц родился у меня на глазах. Это дельный и неплохой жеребенок. Будет ли резв – покажет ближайшее будущее. Дочь Эльборуса и Пряжи была красно-серой масти, имела чуть мягкую спину, была чуть беднокостна и не особенно крупна, но мне нравилась. Если ее не поломают, она должна побежать

и по кровям, как матка, очень интересна. Про последнюю дочь Пряжи от Ловчего мне пишут: «...крупна, с легкой головой, но беднокостна». Сейчас Пряжа жереба от Картала (2.17), сына Крепыша.

Я не помню, имела ли Приятельница приплод в 1916 году.

В 1917-м Приятельница приплодила от Кронпринца рыжую, в сильной седине кобылку, которую я назвал Природой. Природа родилась в Сергеевке, ибо ее мать была послана мной туда под Ледка. Вскоре после рождения Природы В. А. Щёкин писал мне, что Приятельница дала замечательного жеребенка, и, по-видимому, был не прочь купить ее. Я так увлечен типом и экстерьером Природы, что, быть может, несколько ее переоцениваю. С моей точки зрения, это замечательнейшая кобыла по типу, идеально правильная по экстерьеру, исключительно женственная, породная и очень блестящая. Она мне сильно напоминает Кашу и меньше Красу (мать Литого – отца Каши). Природа имеет отметины своей бабки Каши. Словом, среди метисов я редко встречал столь благородных и правильных по экстерьеру кобыл.

Природа поступила в тренировку к Л. Ф. Ратомскому, который ее подготовил, а затем и ездил на призах. Позднее ее работал и выигрывал на ней Дмитричев. Кобыла показала резвость 2.21 и 4.51, но всей своей резвости проявить не могла, так как была близорука. На ходу она была замечательно эффектна и имела такие свободные и воздушные движения, что публика прозвала ее Гельцер – в честь знаменитой балерины.

В завод Природа поступила в 1924 году.

Заводская деятельность Природы:

1924 год – холоста от Удачного.

1925 год – рыжий жеребец Пряник (2.27) от Эльборуса.

1926 год – вороной жеребец Покос (2.33) от него же.

1927 год – скинула или холоста от Ухвата.

1928 год – холоста от Воеводы.

Говорить о резвости приплода Природы преждевременно, ибо старшему ее жеребенку четыре года, а младшему еще не исполнилось и трех лет. Оба они уже бежали и выиграла, и я полагаю, что будут не тише, чем без сорока.

Последним жеребенком, который родился у Приятельницы еще в моем заводе, был Пугачёв, позднее переименованный отделом коннозаводства в Мира. О Пугачёве следует поговорить более обстоятельно, так как это, несомненно, одна из резвейших лошадей, родившихся у меня в заводе. Пугачёв – сын Ледка. Это длинный, но с хорошим верхом, костистый, глубокий и правильный жеребец, не особенно крупный, красно-гнедой масти. Очень напоминает свою мать. Он рос в ненормальных условиях, попал в самый разгар голодовок, но, несмотря на это, не превратился в заморыша. Когда ему исполнилось два года, я вынужден был передать его в Волоховскую тренконюшню, как раз тогда организованную. В этой конюшне был поставлен С. Сухарев, бывший платоновский конюх, умевший завоевать симпатии тогдашних тульских главков. Всем заводам губернии было предписано прислать лучших лошадей на эту тренконюшню. Ратомский и я были возмущены вручением тренконюшни Сухареву и не хотели посылать туда ни одной лошади. Мои враги, а таковых у меня всегда было много, поспешили раздуть этот инцидент и доложили начальству, что я бойкотирую начинания губернского земельного управления. Мне было категорически приказано прислать в Волохово трех лошадей. Я ни одной минуты не сомневался, что эти лошади погибнут, и потому в первую очередь решил пожертвовать метисом. Вот почему Пугачёв попал в Волохово. Самые худшие мои предположения оправдались: Сухарев переломал и искорежил всю молодежь. К тому же тренконюшню создать-то создали, а фуражом не обеспечили, а потому лошади

там жестоко голодали, у них появилась чесотка. На этих полуживых одрах и упражнялся Сухарев. Когда дело зашло так далеко, я потребовал прилепских лошадей обратно. Подотдел животноводства поспешил вернуть их, только бы я не подымал скандала. Пугачёв опять прибыл в Прилепы, с чесоткой и безнадежно хромой. Он был невероятно худ и отстал в развитии. Кое-как его удалось вылечить и привести в порядок, но когда его стали работать, он опять захромал. Я решил, что возиться с ним не стоит, и поставил на нем крест.

В это время Ратомский уже покинул Прилепы и с большим успехом ездил на прилепских лошадях в Москве. Заслуги Ратомского перед Прилепским заводом были очень велики, а потому я обратился к И. А. Теодоровичу и просил его так или иначе вознаградить Ратомского за его труды. В то время, когда все кругом мародерствовали, Ратомский был настолько честен, что даже не держал в заводе курицы, чтобы его не заподозрили в том, что он кормит ее казенным овсом, и, голодая, продолжал самоотверженно работать. Теодорович согласился со мной, и было решено подарить ему лошадь. Я остановился на Пугачёве, так как не сомневался, что Ратомский его подлечит, а затем продаст и тем самым получит материальную поддержку. Ратомский принял с большой благодарностью предназначенный ему подарок и занялся Пугачёвым. Он его настолько подлечил, что вскоре продал за 800 рублей. Пугачёв был отдан в езду к Родзевичу и выиграл несколько призов. И для меня, и для Ратомского это было неожиданностью, мы не допускали и мысли, что Пугачёв может бежать и выигрывать. Жеребец переменял несколько владельцев, пришел в себя и побегал замечательно. Сейчас Пугачёв состоит производителем в Лавровском заводе Тамбовского губсельтреста. Пугачёвым заканчивается первый период заводской деятельности Приятельницы.

С 1919-го по 1925 год Приятельница дала четырех жеребят, однажды приплодила мертвую двойню и дважды прохолостела. От Кронпринца она дала Пиковую-Даму, кобылу резвую, но мелкую, бестипную и беднокостную. После двух неудачных лет (1920, 1921) она дала от Лакея рыжую кобылу Провинцию, бездарную как призовая лошадь, очень мелкую, беднокостную и бестипную. От Эльборуса она дала двух своих последних детей в Прилепском заводе – Подснежника и Пену. Подснежник был удовлетворительного роста, но узок, высок на ногах и плоскорезвый. Среди детей Эльборуса он составляет исключение, так как те обычно широки, глубоки, густы и костисты. Во времена Владыкина его, неподготовленного, принялись форсированным темпом тянуть и, конечно, сломали. Его родная сестра Пена мелка, кругла, беднокостна и бестипна. Она была убита в табунах, но сейчас бежит, хотя и скромно, на Урале. После Пены Приятельница была продана мною на Урал, куда, кажется, ушла жеребой.

Общий итог заводской деятельности Приятельницы по Прилепскому заводу дает следующие цифры: две лошади резвее 2.20 – Мир (2.11), Псиша (1.34); две лошади тише 2.20 – Природа (2.21), Пиковая-Дама (2.22); резвее 2.30 – Пена (2.30); тише 2.30 – Провинция (2.40). Всего Приятельница дала в Прилепах девять жеребят, из них шесть появились на ипподроме – это очень высокий процент. Среди них кобылок было шесть, жеребцов – трое. Из детей Приятельницы первого периода получили назначение в госконезаводы все три ее дочери, а сын взят производителем в завод губернского значения. Из приплодов второго периода все кобылки попали в заводы губернского значения, а жеребец получил назначение в заводскую конюшню. Наконец, по мастям Приятельница больше всего дала рыжих лошадей – трех гнедых и по две – серых и вороных.

Теперь мы вплотную подошли к вопросу: чем же объяснить столь неудачную заводскую деятельность Приятельницы после революции? Приятельница не видела на один глаз, что не мешало ей, конечно, ходить в табунах – так было в первый период ее заводской деятельности. К началу второго периода она ослепла и на

второй глаз, а потому в табунах не ходила, круглый год стояла в деннике, и, стало быть, у ее жеребят для развития не было нормальных условий. Далее. Вопрос о кормах в Прилепском заводе всегда стоял очень остро, и недоразвившиеся еще под матерью жеребята и в дальнейшем не могли наверстать упущенного. Прибывание круглый год в деннике без подножного корма, с состарившимся сеном отразилось на кобыле, а значит, и на ее детях. И наконец, Приятельнице, как и другим кобылам завода, приходилось систематически недоедать. Метисы дают результаты в заводе и на ипподроме только в тех случаях, когда они поставлены в хорошие условия существования. Я пришел к этому убеждению во время революции, и заводская деятельность Приятельницы вполне подтверждает его.

Загвоздку я купил случайно. Поехал я однажды в «Славянский базар» завтракать. За спортивным столиком против открытого буфета застаю московских охотников Исакова, Иконникова, Робочку Зейберта и комиссионера Шпажникова, или Африканыча, как его все звали. Я к ним подсел, заказал завтрак и стал с ними обмениваться спортивными новостями. Подали кофе, коньяк и ликеры. Я закурил сигару. Африканыч обратился ко мне и сказал: «Купите, Яков Иванович, у Гриши (так он звал Исакова) Загвоздку». Загвоздка была победительницей вступительного приза, имела недурной по тому времени рекорд (1.38) и родилась у Соплякова от телегинского Гетмана и Зорьки, кобылы борисовских кровей. «Денег у меня сейчас нет, да и особой охоты нет покупать эту кобылу», – ответил я Шпажникову, полагая, что этим вопрос будет исчерпан. Африканыч, у которого в тот момент не было, по-видимому, ни гроша в кармане и ему очень хотелось заработать на комиссии, стал меня уговаривать. Я подумал и решил, что, если это дешево, кобылу следует купить, взять от нее одного-двух жеребят, а затем продать. Ко мне в завод приезжало много начинающих коннозаводчиков, все хотели обязательно у меня купить кобыл, а продажных не было. Вот для таких случаев кобылы, подобные Загвоздке, были самыми подходящими: слученные с моими знаменитыми производителями, они уходили из завода по хорошей цене. «Как вы цените кобылу?» – спросил я Исакова. Тот мне назначил за нее две тысячи рублей, я поторговался и тут же ее купил с небольшой скидкой.

Покупая кобыл, я всегда преследовал определенную цель. В первую голову значение имела принадлежность кобылы к знаменитому женскому семейству, затем ее происхождение, тип и экстерьер, заводская карьера и, наконец, рекорд. Таких кобыл я разыскивал по всей России, покупал дорогой ценой, иногда приобретал целые заводы, чтобы получить двух-трех нужных мне кобыл. Это все были не случайные, а продуманные покупки.

Купив Загвоздку, я вместе с Африканычем и Исаковым поехал ее смотреть на конюшню Джона Реймера, у которого она находилась в езде. Вывели кобылу. Я взглянул на нее, и она мне не понравилась: это была крупная, вершков пяти кобыла, простая и грубая. Масти она была буро-рыжей, имела большую, тяжелую голову, короткую и очень хорошую спину. Кобыла была сыра, имела неприятные суставы и, что редко случается у лошадей, при хорошей глубине была высоковата на ногах: под ней было чересчур много воздуха, как я любил выражаться в то время, а таких кобыл я недолюбливал. Это была, конечно, не матка для Прилепского завода, но дело было сделано.

Заводская карьера Загвоздки в Прилепах не была удачной. Я посылал ее под Ириса с целью получить жеребенка для торговых целей. Она мне приплодила крупного бурого жеребца, которого я продал Синегубкину для Бакулина. Последний учитывал, что жеребенок почти кругом телегинских кровей.

Продать Загвоздку мне не пришлось, и она года три или четыре прожила в Прилепах и пала в начале революции. Две ее дочери, Зобенда и Знать, были национа-

лизированы и ныне состоят заводскими матками в Хреновском и Моршанском госконезаводах.

Знать родилась в 1916 году, то есть принадлежала к предпоследнему приплоду Громадного в Прилепах. Сказать что-либо о ее резвости я не берусь, так как она даже не была заезжена. Голодала долго, все выдержала и развилась в кобылу вполне удовлетворительного экстерьера. По себе Знать неплоха: в ней вершка четыре роста, она гнедой масти и совершенно не напоминает свою мать. Недостаточно типична она и для Громадного. Такая внешность «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца» редко предвещает хорошую заводскую карьеру. По себе это дельная, костистая, фризистая и приятная кобыла. У нее недостаточно длинная шея. При современных пониженных требованиях к экстерьеру орловского рысака она будет определено в числе лучших кобыл хреновского табуна. В Прилепах она рано поступила в завод, уже в четыре года была покрыта Лакеем.

Заводская деятельность Знати:

1921 год – скинула от Лакея.

1922 год – бурый жеребец Залп от него же.

1923 год – гнедой жеребец от Эльборуса. Пал.

1924 год – гнедая кобыла Замена от него же.

1925 год – красно-серый жеребец Злодей от Кронпринца.

1926 год – холоста.

1927 год – гнедая кобыла от Бунчука.

В декабре 1927 года поступила в Хреновской завод.

Стечение неблагоприятных обстоятельств не позволило приплоду Знати проявить себя на ипподромах, и на вопрос, резвы ли ее дети, даст ответ ее дальнейшая деятельность в Хреновой. Я считаю Знать полезной кобылой, но не жду никаких подвигов от ее детей.

Через два года, в 1918 году, Загвоздка дала Зобенду, дочь Барса. Посетив незадолго до этого завод Мельникова, я решил послать под Барса кобылу. Высокий класс, проявленный Барсом на ипподроме, мне нравился. Барс был сух, миниатюрен и отходил куда-то в сторону от типа орловского рысака. Загвоздка же была сыра, крупна и капитальна, а по типу хотя и далека от орловского идеала, но, как внучка Лишнего и дочь борисовской кобылы, должна была противопоставить эти типичные черты бестипности Барса. Результатом этого соединения стала бурая кобылка, которую я назвал Зобендой. Все мои теоретические соображения были жизнью опровергнуты. Я получил мелкую, бестипную, но довольно правильную кобылу, с отвратительным характером и плохим ходом. К тому же Зобенда была чрезвычайно сбииста. В свое время я возражал против назначения Зобенды в госконезавод, считая, что ее надлежит выбросить на рынок. С этим, конечно, не согласились. Покуда я имел влияние на судьбы Прилепского завода, не могло быть и речи о поступлении туда Зобенды как заводской матки, потому ее и назначили в Моршанский госконезавод.

Как призовая лошадь Зобенда, принимая во внимание полученное ею воспитание и почти полное отсутствие работы в заводе, имела вполне удовлетворительную карьеру. Она, несомненно, резва. Пока что в Моршанске Зобенда холостеет или дает неудовлетворительный приплод. Впрочем, Моршанский завод, это детище негодяя Андреева, кроме случайного Зимаря ничего не дал. Я видел несколько ставок этого завода, ничего более бестипного, бездарного по экстерьеру, недокормленного и рахитичного я не знал на своем веку: от этих лошадей падалью пахнет...

Совершенно неожиданно, как снег на голову, как ливень в ясный летний день, на всех теперешних «гогов и магогов» Московского ипподрома, а также «знатоков» орловского рысака обрушился рекорд 2.12, который поставил вороной жеребец Внук-Астры, сын Внучка и Азии. Тем самым он стал орловским четырехлетним рекордистом. И рекорд этот был поставлен не питомцем Хреновой, на которую устремлены все взоры и возложены все надежды, не питомцем МОЗО или Грязнушенского завода, а воспитанником никому неведомого и, конечно, Раппом и Синицыным уже расформированного Ржавецкого завода. Какой конфуз и какой удар по самолюбию наших доморощенных спецов!

Что же это за Ржавецкий завод и почему он был расформирован? Ржавецкий – это бывший Серебряно-Прудский завод старинного коннозаводчика Дарагана, приютившийся в Тульской губернии и с большим трудом мною сохраненный. Им управлял некто Косоуров, преданный делу и добросовестный человек, ученик и поклонник Родзевича и Ратомского. Управлял он заводом хорошо и талантливо, а главное, на медные гроши: все деньги, все средства, все пополнения шли в другие заводы, а на долю таких заводов, как Ржавецкий, оставались циркуляры, распоряжения, предписания и выговоры. Я хорошо знал состав Ржавецкого завода и ценил его: там был хороший сорт рысистых лошадей, породных, костистых, глубоких и дельных. Этот завод мог и должен был давать прекрасное пополнение в госконюшни – пополнение, в котором мы так нуждались и продолжаем нуждаться теперь. Когда же Косоуров обзавелся качалкой и скромным беговым инвентарем и стал правильно работать, лошади недурно побежали. Словом, это был завод, который необходимо было сохранить во что бы то ни стало, и я всячески его поддерживал. Я уже не раз писал о глупом, мальчишеском и прямо-таки преступном увлечении наших специалистов модными линиями. Имена Леска, Вармика и Корешка, а с ними и треклятой прародительницы Булатной были у всех на устах и, что еще хуже, в умах! Увлечение, дорого обошедшееся орловскому коннозаводству и советскому кошельку. Мой трезвый и предостерегающий голос тонул в хоре иных голосов, я был объявлен человеком отсталым, фантазером и чудаком. Нередко я ловил иронический взгляд этих «специалистов», которые думали, как такое ископаемое, с такими допотопными взглядами, еще существует на советской Руси и сует свой нос в дела орловского коннозаводства. Бывший мой помощник по управлению коннозаводством почтенный Н. Н. Шнейдер был окончательно осмеян, затравлен, уволен со службы и, наконец, сведен в могилу. Я, к счастью, был покрепче, и для меня все окончилось более благополучно: соединенными силами Андреевых, Владыкиных, Самариных и Ко меня посадили в тюрьму...

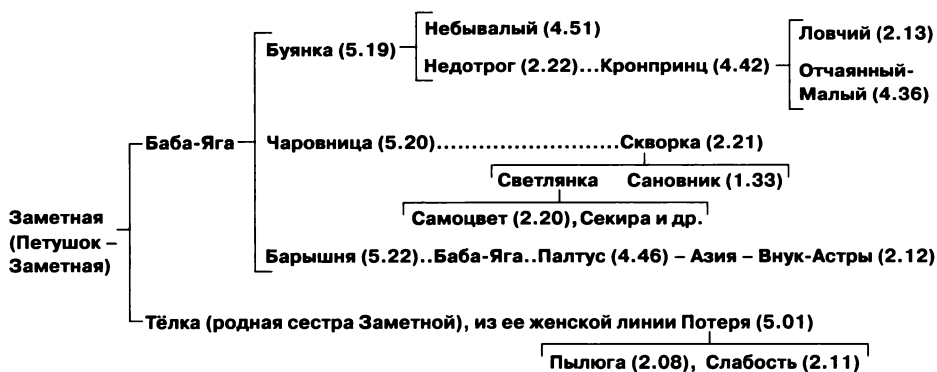
Так вот, в самый разгар вакханалии с модными линиями решено было ликвидировать Ржавецкий завод – это гнездо устаревших кровей. Напрасно я убеждал этого не делать, тщетно доказывал, что в завод Косоуров взял внука Вармика Внучка, представителя модной линии, что встреча его имени со старыми орловскими кровями очень интересна и должна дать хорошие результаты. Тщетно. У Синицына была мания уничтожать заводы, укрупняя два или три основных и забывая при этом, что укрупнять до бесконечности нельзя. Раппу в душе было в высшей степени наплевать на все советское коннозаводство. Судьба Ржавецкого завода была решена!

Когда пришел момент дележа (сколько раз я присутствовал при этой печальной картине!), Рапп стал предлагать ржавецких кобыл в МОЗО, но там отказались. Тогда он предложил в полном составе Хреновой – тоже отказались. Предложили Грязнухе, но там и свои лошади голодали. Словом, завод ликвидировали, а увести его было некуда. Рапп совершил очередное жертвоприношение: он разделил завод. Часть кобыл и молодняка пошла в Хреновую, часть – в Грязнуху, отдельные экземпляры – в другие места! Завод был растащен на куски и уничтожен как самостоятельное целое. Позднее Рапп не постеснялся сделать то же и с Прилепским заводом.

Вороной жеребец Внук-Астры попал в Грязнуху, затем пришел на тренконюшню в Москву и хорошо побегал. Зимой 1928 года, в возрасте трех лет, он ставит рекорд 2.17, что равно дореволюционному рекорду Эльборуса, а летом того же года устанавливает рекорд четырехлеток – 2.12, что всего на 4/8 тише дореволюционного орловского рекорда Барчука. Эти подвиги совершает жеребец расформированного Ржавецкого завода, питомец скромного и дельного Косоурова, чье имя даже не упоминается нигде! Автор этих строк «тоже причем» в деле создания этого рекордиста, это хорошо знают, но об этом усиленно молчат. Само коннозаводское ведомство сконфужено, чувствует себя неловко, и один лишь Рапп продолжает размахивать руками, совещаясь с «великим» человеком из Смоленска и идти своей дорогой!

Азия, коронная кобыла, родившаяся в 1916 году у Дарагана, была дочерью Палтуса и Астры и сама никогда не бежала. В 1924 году, восьми лет, она дала Внука-Астры от Внучка, сына Варнака и внука знаменитого производителя Вармика. Азия – кобыла превосходных орловских кровей, но, увы, немодных. Мимо этой кобылы все наши знатоки, которые часто напоминают мне танцоров, умеющих танцевать только от печки, прошли бы, скривившись в иронической улыбке. Не так отнеслись бы к ней истинные знатоки генеалогии, опытные коннозаводчики и практики.

Много лет тому назад в заводе Голохвастова родилась кобыла Заметная, которая имела инбридинг по формуле 3+3 на Полкана 3-го. Она оказалась замечательной кобылой-родоначальницей и основала весьма ценную женскую семью, из которой происходит Палтус (4.46), отец Азии. Для наглядности я приведу таблицу лучшего потомства кобылы Заметной.

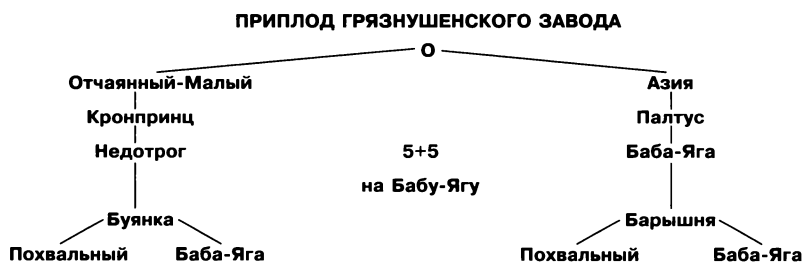


Итак, мы видим, что Заметная дала кобылу Бабу-Ягу, три дочери которой оставили очень большой след в рысистом коннозаводстве. Одна из них, Буянка, хорошо бежала и дала победителя Императорского приза и рекордиста своего времени Недотрога, который состоял производителем у меня в заводе. Его внуки Ловчий и Отчаянный-Малый – знаменитости нашего времени. Другая дочь Бабы-Яги, Барышня, приходится бабкой Палтусу, деду Внука-Астры. Наконец, третья дочь Бабы-Яги, Чаровница, была большой ипподромной величиной и дала Скворку. Скворка у меня в заводе оставила классного Сановника и Светлянку, мать Самоцвета. Дочь Скворки, превосходная по себе, но нерезвая Светлана, была, к несчастью, выбракована Владыкиным из Прилепского завода. Если еще добавить, что от родной сестры Заметной, кобылы Тёлки, в прямом женском колене происходит знаменитая Потеря – мать Пылюги и Слабости, то значение этой женской семьи будет весьма рельефно обрисовано.

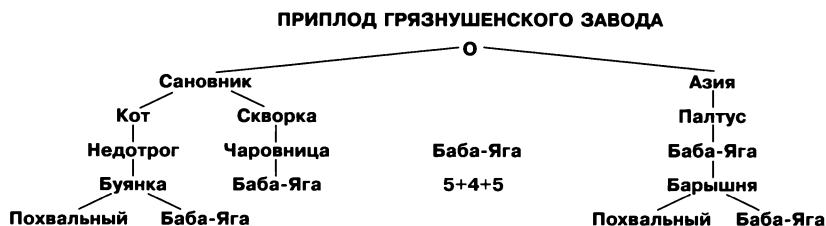
Создание такой лошади, как Внук-Астры, лишний раз подтверждает правильность давным-давно выдвинутой мною теории о значении выдающихся женских семейств.

Приходится пожалеть, что на эту сторону заводского дела в данное время не обращено никакого внимания. Особенно слабо дело обстояло и, вероятно, обстоит сейчас в заводах МОЗО и Витта.

Само собой разумеется, что Азия, мать резвейшего орловского четырехлетка, имеет право на наше признание и мы обязаны сделать к этой кобыле такой подбор, который бы теоретически ей наиболее подходил. Я предложил бы покрыть эту кобылу Отчаянным-Малым. Причины, по которым я бы так поступил, станут ясными после ознакомления со следующим чертежом:



Второе сочетание:



Первый вариант очень интересен: он повторяет имя Бабы-Яги и Похвального, а это сочетание дало двух таких кобыл, как Буянка и Барышня. Есть у данного сочетания и своего рода минус: нам известно, что Буянка была мелка, Барышня также – словом, здесь мы можем закрепить мелкий рост.

Второй вариант более интересен: здесь мы имеем яркое и существенное накопление крови Бабы-Яги, причем оно будет проведено через пятивершкового Сановника, сына крупной Скворки, дочери столь же рослой Чаровницы.

Оба сочетания имеют целью усиление влияния женского семейства Заметной через одну из лучших ее дочерей – Бабу-Ягу. Я написал об этом Кученеву, однако думаю, что мой совет останется гласом вопиющего в пустыне.

За несколько лет до революции старшим членом Тульского бегового общества была избрана женщина. По тем временам явление довольно необычное, а потому вызвавшее интерес. Фамилия ее была Баташова. Баташovy – очень популярная и чрезвычайно распространенная фамилия в Туле. Это купеческий род, издавна занимавшийся самоварным делом и наживший хорошие капиталы. Фирма Баташова пользовалась большой известностью в России и была одной из старейших в Туле. С течением времени род разросся, раздробился, состояние у некоторых его представителей измельчало и они отошли от своего основного дела. Один из Баташовых, Иван Степанович, пошел не по торговой линии: уже в детстве он проявил склонность к наукам, хорошо учился и впоследствии окончил Московский университет, медицинский факультет. Молодым человеком он начал свою работу земским врачом в Тверской губернии. И там познакомился с Александрой Васильевной Есиповой, двоюродной сестрой известного воронежского коннозаводчика П. А. Есипова,



А. В. и И. С. Баташовы

и женился на ней. Детей у них не было, но супруги жили очень дружно. Из Тверской губернии они переехали в Тулу, где доктор Баташов открыл свою хирургическую лечебницу, в которой бесплатно оказывалась помощь беднейшему населению города. Состояние Баташова заключалось в паях фабрики, что была на Новой Павшинской улице, и никогда не было особенно велико. Помимо этого ему принадлежал дом в Туле, на углу Гоголевской и Петровской, и небольшое, десятина на семьдесят, имение Иншинка по Одоевскому шоссе, в семи верстах от Тулы. Там супруги жили лето, а зиму проводили в городе.

Александра Васильевна Баташова была страстной любительницей лошадей. Но муж ее был против этого увлечения, и при его жизни Александра Васильевна могла держать только выездных лошадей. Свое свободное время она отдавала искусству: хорошо рисовала, выжигала и теснила по коже, писала маслом и даже выставляла свои работы на одной из петербургских выставок. После смерти мужа (это случилось перед Русско-японской войной) она долго грустила, а в начале войны отправилась на фронт с одним из земских отрядов. Работа земского отряда ее не удовлетворяла,



Самоварная фабрика Баташовых в Туле

и она организовала на свои средства небольшой летучий отряд, который сама и возглавила. За отличие под Мукденом она была награждена медалью на георгиевской ленте. По окончании войны Александра Васильевна вернулась в Тулу и выстроила в своей Иншинке санаторий для туберкулезных больных в память о муже, который умер от туберкулеза. Попутно в Туле ею было организовано Общество борьбы с туберкулезом, председательницей коего она состояла долгие годы.

Старая страсть к лошадям проснулась с новой силой, и, чувствуя себя свободной, Баташова основала маленький конный завод орловских рысаков в составе пяти маток и одного жеребца. Ее коннозаводской деятельностью вначале руководил В. И. Ливенцов. Однако это было только на первых порах, ибо Баташова, как женщина самостоятельная, вскоре сама повела конное дело, весьма быстро сориентировавшись в сущности его. Производитель завода был куплен у Ливенцова, его звали Артельщиком. Я знал Артельщика, сына Кремня и Алины, лошадь с хорошим рекордом, серой масти и небольшого роста. Артельщик был очень породен и типичен как орловский рысак. Имел прямую спину и очень широкую грудь. Сухостью не отличался и был флегматичен. Тогда же Ливенцов продал Баташовой и трех кобыл: Миленькую, Айву и Малинку. Последняя одно время была у меня в заводе. Вскоре Артельщик пал, и тогда Баташова приобрела, опять-таки у Ливенцова, его сына Артельного (1.35) от знаменитой Ветёлочки – матери рекордиста Мужичка. Артельный был суше и породнее отца, но мельче. У него была превосходная, точеная головка, хорошая, крутая шея и тот же флегматичный темперамент. Артельный прослужил в заводе Баташовой до самой его лик-

видации, последовавшей в 1917 году, когда завод был продан за 500 рублей барышнику Лентяеву и исчез с горизонта. Помимо трех указанных выше кобыл у Баташовой заводскими матками еще состояли Молва и вторая кобыла, имени которой я не помню. Эти две кобылы были куплены у барышника для «кворума», ибо в то время при заявке завода надо было иметь не менее пяти кобыл. Вскоре они были проданы, и постепенно приобретены более интересные кобылы: есиповская Кити, Буря, попавшая после национализации в Фатеевский завод (бывший Офросимова), и Волшебница. Свой завод Баташова вела не менее десяти лет, очень увлекалась своими лошадьми, следила за их воспитанием и под конец завела небольшую призовую конюшню. Ее завод дал следующих призовых лошадей: Перикла (1.40), Моро (1.41), Далилу (1.41), Аспазию (2.34) и Кулаву. Перикл и Моро бежали даже в Петербурге.

В члены Тульского бегового общества Баташова вступила еще до основания завода. Очень заинтересовалась беговым делом, часто бывала на поездках, посещала общие собрания и, как женщина справедливая и пользовавшаяся уважением, была избрана старшим членом Тульского бегового общества. Я очень редко бывал в Туле и еще реже на тульских бегах, но именно там я однажды и познакомился с Александрой Васильевной Баташовой. Она обращала на себя внимание: высокого роста, полная, с резкими чертами лица, стриженная под бобр, в очках, она напоминала мужчину. Носила русскую рубашку с поясом, а поверх двубортный пиджак серого цвета и почти мужского покроя. Вместо дамской шляпы голова ее была украшена кепи. Ездил постоянно с одним и тем же кучером Андряном, которому давала советы и указания, как надо править. Очень любила править сама и имела тройку мелких гнедых лошадей, купленных у баронессы Боде. Баташова делала много добра людям, и я думаю, что имя ее долго не будет забыто в Туле.

Мой сосед Офросимов был чудака большой руки. Свой завод он также вел не без чудачеств, но, несмотря на это, среди офросимовских лошадей попадались хорошие экземпляры, а иногда и весьма резвые. Наездника в заводе последние десять-двенадцать лет Офросимов не имел, держал лошадей больше на пище святого Антония, и тем не менее, когда этот небольшой по своей численности завод был национализирован, там было несколько превосходных по себе кобыл. К сожалению, этот завод был присоединен к Прилепскому года через два после национализации, а за это время лучшие кобылы либо передохли, либо находились в таком состоянии, что отходить их было уже нельзя. В Солосовке все еще кое-как держался сам Офросимов, а заводом управлял некий Талышов – человек очень ловкий, пронырливый и плут. Он воровал и грабил Солосовку вовсю. Офросимов молчал и на все закрывал глаза, лишь бы его оставили в покое, не выселяли и дали спокойно умереть в родном углу. Надо отдать справедливость Талышову, что к Офросимову он относился хорошо и всячески его отстаивал. Все же пришло время, когда Офросимов должен был выехать, и Талышов остался один полным и бесконтрольным хозяином Солосовки.

Я поехал туда принимать завод. Последний находился в ужасном состоянии, и я потребовал немедленного удаления Талышова. Однако сделать это было не так-то легко, ибо Талышов возил картофель, муку, капусту и другие продукты в Тулу кому следует и имел там хорошую руку. Еще целый год он управлял Солосовкой и окончательно довел до гибели бывший офросимовский завод. В конце концов я его таки выкурил. После трудов «праведных» Талышов покинул Солосовку и вскоре под Тулой завел свое хозяйство. Солосовский завод имел ужасный вид: матки погибли, почти весь молодняк пришло, как рахитов и недоразвившихся, выбраковать, но несколько молодых лошадей, и в том числе серую кобылу от Уборной, я оставил и влил в состав Прилепского завода. Кобылка получила название Удачной и вполне оправдала его: ныне это не только одна из резвейших орловских маток, но и превосходная по себе и типу кобыла.

Офросимов очень любил лошадей белой масти, в этом отношении мы с ним сходились. Офросимовский табун состоял преимущественно из белых кобыл, и сам хозяин называл их не иначе как магометовскими кобылами, ибо, по преданию, Магомет особенно ценил белых лошадей. «Понимаешь, это магометовские кобылы, – говорил мне Офросимов и затем прибавлял: – Вот и вот». Среди его самых любимых магометовских кобыл были Уборная и целый ряд Амбиций (вторая, третья, пятая и т. д.). Что же касается Уборной, то в ней Офросимов не ошибался: это была действительно замечательная кобыла. Я добивался возможности ее купить еще задолго до революции, но сделать это мне не удалось. Тогда я купил одну из Амбиций, купил даже Пилу, мать резвейшей офросимовской Пыли (2.16), но с Уборной Офросимов расстаться не пожелал. В Солосовском заводе из ее приплода кое-кто бежал, но классных лошадей она не дала, и это я приписывал исключительно тем порядкам, вернее, непорядкам, которые царили в заводе. Я сделал несколько попыток купить Уборную, но все они оказались тщетными. В конце концов я махнул рукой, хотя всегда сожалел, что это превосходная кобыла так непроизводительно гибнет для русского коннозаводства.

Уборная родилась в 1901 году и происходила от добрынинских лошадей. Ее отец Полкан – лошадь резвая и очень интересная – был сыном Залётного и бабинской Могучей. Мать Уборной кобыла Упа, дочь известного дистанционера – канабеевского Милого, родилась у А. Н. Добрынина от кобылы Боевой. Милый долгое время был производителем у Офросимова. Уборная принадлежала к очень интересной женской семье, которая прославилась благодаря добрынинскому заводу. В завод Добрынина в свое время попала григоровская кобыла Добрыня, дочь известного Баловня и Машины. Добрыня была покрыта в Прилепах толевским Ширяем, и родившаяся от этого сочетания кобылка (1870) тоже получила имя Добрыни. Она дала Добрынину знаменитого Ратника, одного из лучших производителей своего времени, Упу, Добрыню (2.3) и других хороших лошадей.

Уборная отличалась небольшим ростом. Это была длинная кобыла с превосходной линией верха, замечательными окороками, или гачами, как говорил Офросимов, переноса иногда и на лошадь охотничью терминологию. Голова у кобылы была средней величины, с широким лбом, довольно большими ушами и превосходным затылком. Шея у нее также была хороша. Но лучшим украшением Уборной были ноги: костистые, фризистые и абсолютно правильные. Кобыла была широка и очень хорошо стояла задом, низка на ногах и, как следствие этого, глубока. Будучи породной, она не имела той излишней и слащавой арабистости, которая частенько встречалась у офросимовских лошадей, превращая их в хрупкие игрушки. Сама Уборная не бежала, но давала резвых лошадей. Обладала железным здоровьем, так как выдержала талышовское время и не только не погибла, но за эти годы дала трех жеребят. Заводская деятельность Уборной в последние 5 лет ее жизни сложилась не особенно успешно: только два ее жеребенка выжили, но среди них оказалась Удачная – кобыла, которой суждено возродить угасшую было женскую семью григоровской Добрыни.

Заводская деятельность Уборной:

1919 год – вороной жеребец Успех от Туриста (Удачный – Тайга). Завод Офросимова.

1920 год – серая кобыла Удачная (2.20) от Питерщика.

Заводская деятельность в Хреновском заводе:

1921 год – приплод от него же. Уничтожен, как рахитик.

1922 год – холоста от Эх-Ма.

1923 год – холоста от него же.

18 января 1929 года

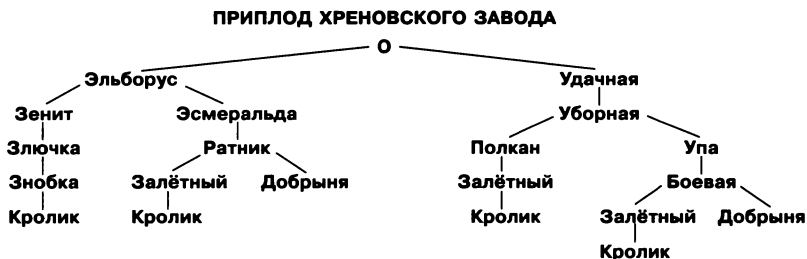
Уборная продана с аукциона в 1923 году за несколько десятков рублей. Ей было тогда 22 года. Надежды, что она ожеребится, не было никакой. К сожалению, эту достойную кобылу оставить в заводе на пенсии было нельзя, так как фуражное состояние завода было очень тяжелым.

Удачная была хороша по себе, и я обратил на нее внимание, когда ей было не больше года. Удачной исполнилось два с половиной года, когда по просьбе Ленинградского ипподрома я послал туда нескольких прилепских лошадей, организовал там небольшую конюшню и езду, а заведование конюшней поручил, по совету Л. Ф. Ратомского, Лыкотину. Это был очень милый и порядочный человек, но ездок слабый. Революция заставила его взяться за ремесло наездника, и он буквально учился ездить на прилепских лошадях. Вся призовая карьера Удачной прошла в его руках. Ленинградское отделение прилепской конюшни было организовано так: Ратомский выделил две качалки, две сбруи и один хлыст Лыкотину, дал одну попону, четыре ведра и столько же недоузтков да один круг бинтов. Вот и весь инвентарь новой конюшни. Ратомский дал Лыкотину трех лошадей из числа самых худших, и Лыкотин тронулся с ними в Ленинград искать счастья. Я послал лошадей из бывшего офросимовского завода – Удачную, Бурку и Быстрого. Они не были заезжены, и, получив их, Лыкотин принялся за их заездку на ленинградском кругу. Это было, конечно, совершенно необычное явление, и все немало над этим потешались и издевались над Прилепским заводом. Работники центра в своем олимпийском величии не понимали всей трудности работы на местах и, критикуя нас, были глубоко не правы. Перед нами стояла основная задача – спасти материал от голодной смерти и расхищения, и было не до тонкостей работы. Как часто это бывает в жизни, плодами наших трудов воспользовались другие. Само собой разумеется, что все великолепные работники центра, наши строгие критики – ильенки, пейчи и прочие – ни за какие блага сами не покидали Москвы и не занимались практической работой в деревнях. Они предпочитали нас критиковать, сидя в удобных креслах и просторных кабинетах. А настоящая работа в то время была именно там, в деревнях, губернских и уездных городах, и руками многих преданных делу и скромных людей, имена которых ныне уже забыты, было спасено культурное коннозаводство страны.

Удачная бежала замечательно и закончила свою карьеру с рекордом 2.20. Забегу еще, что у Удачной был очень милый характер, она имела замечательный прием и не знала, что такое сбой. Во времена своих чудачеств и самодурств Владыкин ее, уже слученную, послал в Москву на тренконюшню, и там на ней ездил Ляпунов. К счастью, этот осторожный и разумный человек ее не погубил и вскоре, увидев, что кобыла жереба, вернул ее в завод. Удачная, имея в своей родословной имена двух таких крупных рысаков, как канабеевский Милый и Питершик, и сама вышла крупной кобылой. Масть Удачной – серая без яблок, приятного стального тона. Лучшим украшением кобылы является ее головка, именно головка, а не голова, так она изящна и вместе с тем остра и удивительно скульптурна. Шея у кобылы превосходна, из числа тонких, лентистых. Спина очень хороша. Круп также. Верхняя линия очень приятная: так и кажется, что она начертана смелой и уверенной рукой большого мастера. Кобыла имеет хорошую подпругу и дельное ребро, но все же при строгой оценке может получить упрек в некоторой приподнятости на ногах. По своему типу кобыла определенно относится к Чародеевскому дому и очень мне напоминает Ворожея, отца Говора и деда Корешка. Из моей практики, хотя и не особенно многолетней, но все же порядочной, я могу сделать вывод, что наиболее типичные кобылы бывают и самыми замечательными матками.

Я не могу точно припомнить, когда я взял Удачную обратно в завод, было ли это в 1925-м или 1926 году. Первый жеребенок Удачной родился либо в 1926-м либо же в 1927 году. Гнедой жеребчик, здоровый, рослый, но несколько плоский и узкий, был сыном Барина-Молодого. После этого Удачную покрыли Ловчим, и жеребой она ушла в Хреновую.

Остается сказать несколько слов о наиболее желательном или, вернее, наиболее интересном подборе к Удачной. В Хреновой есть жеребец, который идеально подходит к этой кобыле, и притом жеребец знаменитый. Я имею в виду Эльборуса.



Добрыня – 4+5; Залётный – 4+4+5; Кролик – 5+5+5+6.

Нетрудно понять интерес этого сочетания: оно рассчитано на усиление имени Кролика и основано на троекратном инбридинге на знаменитого Залётного и повторении имени Добрыни, из прямой женской линии которой происходит Удачная. Мы знаем, что Кролик, родившийся в 1853 году, был представителем линии роговского Полкана и оставил весьма глубокий след в рысистом коннозаводстве, ибо помимо Залётного дал Знобку – бабушку Зенита, Зорю – мать Беркута, Любашу – мать Кумира и других. Так что при надлежащем подборе от Эльборуса можно вывести лошадь не только первоклассной резвости, но и замечательную по себе: крупную, сухую, с превосходной спиной и, наконец, чрезвычайно породную и блестящую (всего этого как раз и не хватает Эльборусу).

Кто не знал в прежнее время офросимовских Амбиций! Амбиция 1-я, 2-я, 3-я и 5-я были любимыми кобылами самого Офросимова. Когда бежала одна из Амбиций, Офросимов очень волновался, а когда они выигрывали – торжествовал. Можно смело сказать, что из всех своих лошадей Офросимов больше всего ценил потомство Азы, родоначальницы Амбиций. Приятели Офросимова знали это его пристрастие и подтрунивали над ним. Молодые же охотники частенько издевались над Амбициями: по правде сказать, бежали они неважно и некоторые без рекорда вернулись в завод. Офросимов не унывал и продолжал превозносить своих Амбиций, никому не продавал их, сохраняя в своем заводе все потомство Азы. Мне одному удалось купить Амбицию, и сделал я это потому, что очень ценил происхождение Азы, а еще более – происхождение ее матери Крали.

Сорок девять лет тому назад, в 1880 году, в заводе тульского коннозаводчика и баловня судьбы князя Д. Д. Оболенского родилась серая кобыла Краля, прежде Ассигнация, дочь Волокиты и Грозы. Офросимов был соседом и приятелем Оболенского. Солосовка отстояла от Шаховского, имения Оболенского, верстах в восемнадцати, и соседи часто виделись и делились впечатлениями по охоте. Оба тогда богатейшие помещики губернии, они пользовались всеобщим уважением, почетом и гремели на всю губернию. Однако изменчивая судьба вскоре повернулась спиной к своему баловню Оболенскому: он разорился и вынужден был распродать свой знаменитый завод. Вот почему Краля попала в руки Офросимова, иначе Оболенский никогда бы ее не продал. Краля была дочерью Волокиты, выигравшего Императорский приз в цветах Оболенского, и знаменитой на ипподромах Грозы (5.36), дочери толевского Гранита и Буянки 2-й завода князя Б. А. Черкасского. Трудно себе даже

представить кобылу более фешенебельного происхождения. Гроза, а стало быть, и Краля принадлежали к замечательнейшему женскому семейству, которое когда-либо существовало в орловской породе. Гроза до рождения Крали дала Оболенскому в 1876 году белую кобылу Грозу 2-ю (5.17), которая поступила в завод Малютина и увековечила свое имя созданием Громады – матери Громатного, от которого появился Крепыш, дербиста Горыныча, Голиафа (4.43), Гагары (1.40) и других. Во времена наивысших успехов и славы Крепыша Оболенский любил говорить: «Бежит моя кровь по Грозе».

Трудно найти охотника, который не отдавал бы должного женской линии Громатного и не знал бы Грозы 2-й. С другой стороны, и в этом я совершенно уверен, никто не знаком с заводской деятельностью родной сестры Грозы 2-й Крали, а имя ее давным-давно забыто. Только знатоки генеалогии, а их в республике три-четыре человека, знают имя Крали и вместе со мной сожалеют о том, что она имела несчастье попасть не в первоклассный завод, а к Офросимову.

Мне принадлежала великолепная фотография Крали, превосходно сохранившаяся и когда-то принадлежавшая Офросимову (она висела у него в кабинете над письменным столом). От Офросимова я, признаться, ничего путного о Крале не узнал. Офросимов во всем был чудак и на мои вопросы отвечал: «Знаменитая была кобыла, вот и вот, теперь таких и у Вяземского, и у тебя нет! Это я ее переименовал в Кралю – она была настоящая краля... А то вдруг Ассигнация... Какая она была ассигнация?!» Князь Д. Д. Оболенский определенно говорил, что это одна из лучших кобыл, родившихся у него в заводе. Краля была чрезвычайно резва и необыкновенно хороша по себе. По-арабски благородна, суха, притом «рысистых ладов». Она была не хуже Грозы 2-й, и князь говорил мне, что Краля вышла длиннее Грозы 2-й и при этом имела превосходную спину. Описание князя очень верно. На фотографии, снятой тульским фотографом и удивительно удачной, Краля светло-серая, с уже уходящими, но кое-где сохранившимися яблоками. У нее была небольшая, очень породная голова с чудным глазом. Подчеркнуто тонкая шея. Дивная линия верха, превосходная тростистая нога. Хороший костяк и много глубины.

Д. Д. Оболенский не мог спокойно говорить о Крале и Офросимове: он возмущался тем, что Сашет, так звали Офросимова, погубил Кралю. От этой кобылы надо было отвести знаменитых лошадей, не хуже тех, что отвел от ее родной сестры Малютин. Оболенский был англоманом. В свое время его лошади скакали с выдающимся успехом, рысаки воспитывались англичанами, отъемыши и жеребятами получали яйца – и это в семидесятых годах! Поэтому менянисколько не удивляло, когда он добавлял, что англичанин, получив такую кобылу, как Краля, считал бы себя самым счастливым человеком в мире, разбогател бы и создал на ее крови целый завод, а пьяный Сашет отвел только Амбиций, в которых есть только глупая амбиция самого Офросимова. Оболенский – человек острый на язык, но так ругаться и издеваться, как делал это он, когда речь заходила об Офросимове-коннозаводчике, мог только фанатик, страстный любитель лошади. Ни об одной своей лошади Оболенский столько не говорил, сколько о Крале, а ведь ему принадлежали Грозный, Светляк и Волокита. Я положительно утверждаю, что любимой кобылой князя была Краля, как любимым его жеребцом был григоровский Железный, отец знаменитого Грозного. Небольшая фотография Железного в рамке, сделанной из подковы этого жеребца, висела над кроватью князя в Туле во время революции.

Продолжать род Крали выпало на долю Азы. Аза родилась в Солосовке и была дочерью Кремня (Залётный – коробынская Крылатая) завода М. П. Жукова. Жуков был большим охотником до лошадей, принимал самое активное участие в делах Тульского бегового общества, имел призовых лошадей. Собственно коннозаводчиком Жуков не был, завода не имел и держал своих лошадей в Туле. Он был владельцем одной из старейших гостиниц города и принадлежал к местному купечеству.

Кремень хорошо бежал и был счастливой лошадей. Благодаря популярности своего владельца, у которого в гостинице останавливались коннозаводчики и охотники, он получил чрезвычайное и далеко не соответствующее своим качествам значение в Тульской губернии. С ним случали кобыл крупнейшие тульские коннозаводчики Кулешов, Добрынин, Офросимов, братья Ливенцовы и многие другие. Позднее Кремень удостоился чести поступить в завод тамбовского коннозаводчика Петрово-Соловова, где не дал ничего первоклассного. Через солововский завод кровь Кременя распространилась по многим знаменитым заводам России, но нигде не дала выдающихся результатов. Следует еще отметить, что в заводе Коншина от Кременя родилась классная Баядерка (2.18). Словом, Кремень был использован самым широким образом, получил немало замечательных кобыл и имел полную возможность себя проявить.

Офросимов покрыл с Кремнем лучшую свою кобылу Кралю, и от этой случки родилась темно-серая кобыла Аза. Она, кажется, не бежала, что не следует ставить ей в вину, ибо офросимовские лошади бежали лишь тогда, когда попадали в другие руки, и притом попадали неизломанными. Аза в езде была очень горяча – об этом мне говорил сам Офросимов. Я ее застал в живых и видел в Солосовке. Это была кобыла не больше двух с половиной вершков росту и, к сожалению, ничего не имела общего со своей красавицей матерью. Аза была типична как дочь Кременя. Помимо мелкого роста она была необычайно широка в заду, очень глубока, низка на ноге, широка в груди и имела замечательную спину. На меня она не произвела впечатления, и я откровенно об этом сказал Офросимову. Сашет обиделся, выругал меня и объявил, что лучшей кобылы нет во всей России. Аза рано ослепла и, подобно моей Приятельнице, половину своей жизни провела в деннике. Само собой разумеется, что это не могло не отразиться на развитии ее детей. В заводе Офросимова она провела всю свою жизнь и там же окончила свое существование. Аза дала Офросимову ряд кобыл, и большинство из них носили имя Амбиция. Все они были дочерьми очень интересного добрынинского жеребца белого Полкана, сына Залётного и Могучей.



А. П. Офросимов

А		}	Полкан – Залётный
М	2-я		
Б		}	Аза – Кремень – Залётный
И	3-я		
Ц			
И			
И	5-я		

Наличие инбридинга на Залётного закрепило мелкий рост у Амбиций. Все они были совершенно нетерпимы в езде, ибо обладали отвратительным характером. Они больше скакали, чем бежали, но были при этом очень резвы. Старик Феодосиев, тот прямо возмущался Амбицией 3-й и мне, молодому тогда охотнику, повторял: «Только не разводите таких сумасшедших лошадей, как Амбиции. Что толку в их резвости, если они могут удачно пробежать раз в году! Американцы таких кобыл бракуют, а таких жеребцов выхощивают. Оттого в Америке вы не найдете столько полуумных лошадей, как у нас в России». Все три Амбиции были очень похожи на Азу, то есть вышли в породу Кременя. Они были широки, низки на ногах и имели

превосходные спины. Все серой масти. Лучшей среди них была Амбиция 2-я. Помимо Амбиций я знал еще одну дочь Азы – серую Азуческу, родившуюся в 1907 году от американского жеребца Кинг-Вагнера. Она была крупна, белой масти, длинна и породна. В офросимовском заводе давала превосходных по себе жеребят.

После того как во время революции офросимовский завод был присоединен к Прилепскому, в мое ведение попали три кобылы этой семьи: Азуческа, Адана и Амбиция 3-я. Когда через некоторое время из Фатеева все лошади были переведены в другой завод, я удержал все гнездо Азы, но, к сожалению, эти кобылы были настолько убиты, что спасти их оказалось уже невозможно.

Я решил во что бы то ни стало купить одну из внучек Крали и свой выбор остановил на Амбиции 2-й. Это было, конечно, задолго до революции, вскоре после покупки мной Громадного. Повторить имя старой Грозы с одной стороны через Громадного, а с другой – через одну из Амбиций было чрезвычайно любопытно, и я рассчитывал от подобного сочетания получить интереснейшую лошадь.

Амбиция 2-я была, несомненно, лучшей по себе дочерью Азы. Она была невелика, глубока, широка и низка на ногах и имела превосходную спину, при этом получилась много породнее своих сестер. От Громадного она дала замечательную белую кобылку, которую я уступил министру Хвостову. Та погибла во время революции в его орловском имении. Я уступил настойчивым просьбам Хвостова и продал ему дочь Громадного и Амбиции 2-й, хотя из заводских соображений этого делать и не следовало. Затем Амбиция дала от Петушка превосходную кобылу Антипатию, светло-серую, в обильной краснине. Больше, насколько помню, Амбиция 2-я детей в Прилепах не имела и либо пала, либо же была продана.

Антипатию в двухлетнем возрасте я продал в Орёл Неплюеву. Это было уже во время революции. Антипатия была суха, очень породна и правильна. Даже у меня в заводе, где такое значение придавалось экстерьеру, она была в числе лучших в ставке. Антипатия не бежала, как и большинство проданных мною Неплюеву лошадей, тогда и бежать-то было негде. Когда лошади Неплюева были национализированы, Антипатия попала во вновь организованный завод. Там и началась ее заводская деятельность. Впоследствии она была переведена в Лучанский завод, а оттуда продана крестьянину Евсееву. К счастью, до своей продажи она успела оставить двух интересных жеребят, которые сейчас успешно бегут.

Заводская деятельность Антипатии:

1921 год – холоста.

1922 год – гнедая кобыла Астра от Балахона. Пала.

1923 год – холоста.

1924 год – серый жеребец Айшан (2.22) от Шкипера.

1925 год – серый жеребец Асхабад от Бунчука. Пал.

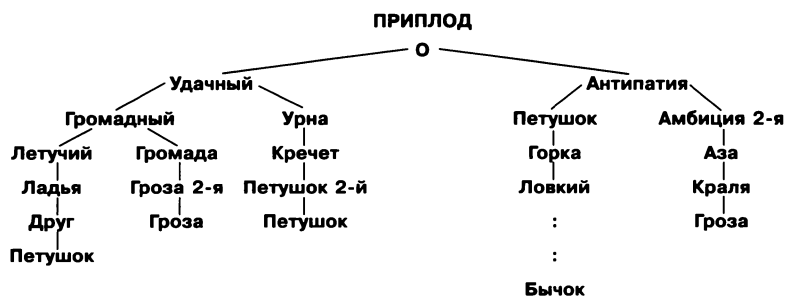
1926 год – гнедая кобыла Агава (2.32) от него же.

О приплоде после 1926 года я не знаю. Прежде всего обращает внимание то, что из четырех данных Антипатией жеребят двое пали. Это указывает на то, что не все дети Антипатии обладают должным здоровьем. Сын Антипатии Айшан – многообещающий призовой рысак, и я не сомневаюсь в том, что его ждет хорошая призовая карьера. Дочь Антипатии Агава успешно в этом году выступила на бегу и выиграла свой приз.

В этом году, 9–12 сентября, был устроен I Всероссийский конкурс-чемпионат в Курске, и там Антипатия, представленная своим владельцем гражданином Евсеевым, получила среди кобыл вторую премию. Казалось бы, не было никаких оснований выбраковывать такую кобылу из завода, и, допустив это, А. Ф. Басов, столь талантливо руководивший коннозаводской работой в Орловском тресте, сделал

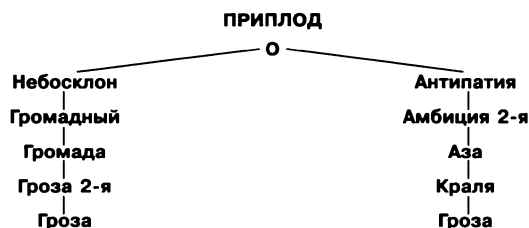
несомненную ошибку. Будем надеяться, что Антипатия будет куплена одним из наших губернских заводов и что ее дети получат возможность себя проявить.

В заключение скажу несколько слов о подборе к Антипатии. Я бы его вел в направлении усиления имени Грозы. Для данного случая весьма подошли бы сыновья или внуки Громадного. Из сыновей последнего лучшим сейчас является Удачный (2.19 и 4.46).



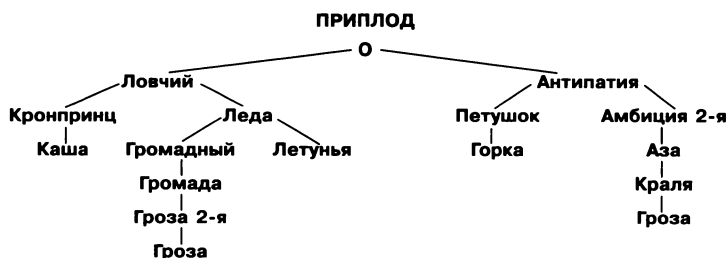
При данном сочетании основной инбридинг будет на Грозу – 5+5, но также повторится Петушок – 6+5 и один раз войдет Бычок, отец Петушка. Потому я предпочел бы покрыть Антипатию менее классным жеребцом, но без крови Петушка. Таков Небосклон, о котором Владыкин рассказывал чудеса. Небосклон, сын Громадного и Нерпы, попал во время революции к одному смоленскому крестьянину, нес у него тяжелую работу, ослеп и, будучи представлен на бега в Сырленске, показал хорошую резвость. Дети его от крестьянских кобыл также были резвы и выиграла.

Сочетание Антипатия – Небосклон будет выглядеть так:



Чистый инбридинг на Грозу без повторения нежелательных имен.

Не менее интересно было бы случить Антипатию с одним из внуков Громадного, например с Ловчим. Здесь Гроза будет повторена на фоне ряда замечательных орловских кобыл, таких как Каша, Леда, Летунья, Громада и Горка. Тем самым можно парализовать отрицательную сторону повторения Петушка.



Гроза – 6+5.

Все эти сочетания так легко было осуществить, когда Антипатия принадлежала Орловскому губсельтресту, и, увы, они почти невозможны для гражданина Евсева.

Завод Кулешовой в начале революции был без остатка разведен крестьянами, и в руки советского правительства не попало ни одной лошади этого завода. Когда через год-полтора представители земельного отдела начали через местные органы отбирать у крестьян рысистых лошадей, последние их сплывали подальше с глаз долой. Таким образом, кулешовский завод погиб безвозвратно и лишь одна или две лошади случайно задержались в нашем районе.

В начале мая 1921 года я, проходя в Прилепах мимо кузницы, заметил среди других лошадей хорошую серую кобылу. В те годы прилепская кузница работала почти исключительно на крестьян: они чувствовали себя хозяевами положения, а интересы завода и совхоза были на заднем плане. С трудом удавалось подковать казенную лошадь или исправить советский плуг. Возле кузницы постоянно толпились крестьяне, стояли отпряженные телеги, были привязаны лошади, и стук молотков о наковальни сливался с говором людей и иногда тонул в нем. Серая кобыла, которая привлекла мое внимание, была, несомненно, рысистая, хороша по себе, и я спросил, кому она принадлежит. Из кузни вышел широкоплечий, приземистый человек с окладистой темно-русой бородой и умным лицом, из тех, что себе на уме, по виду бывший кучер или староста у какой-либо захудалой старухи барыни. Он мне показался знакомым, и я стал припоминать, где же его видел. Память не обманула меня: этот человек ездил одно время кучером у Кулешовых, а потом был у них ключником. Мы разговорились. Он стал рассказывать мне, как спасал остатки кулешовского имущества, как тайком свез их к ним в город, и искренне сожалел о господах. Само собой разумеется, что и себя он не забыл: стал собственником той серой кобылы, которая так заинтересовала меня, да кстати и кулешовской тележки на рессорах, и хорошей городской упряжи. Он знал не только имя кобылы, но и ее происхождение. Оказалось, что это Астра, дочь Бреда и Альфы – одной из резвейших кулешовских кобыл. Не преминул он похвастать и тем, что на кобылу у него есть «бумага», так крестьяне обычно зовут аттестаты лошадей, и что бумага подписана и выдана ему самим Д. Д. Кулешовым, который очень-де рад, что Астра попала в хорошие руки. «А не боишься, что у тебя ее отберут? – спросил я. – Не лучше ли продать и на эти деньги купить хорошую полукровную кобылу: оно будет вернее, да и поспокойнее». В душе решил, что кобылу такого происхождения необходимо изъять из его рук и использовать ее в государственных интересах. «Подумываю об этом, – сказал мне в ответ хозяин кобылы. – Боязно держать, да и кобыла не жеребится, выходит из годов. Вот уж два года у меня, а жеребят не дает, все холостеет. Если бы жеребилась, нипочем бы не продал». Видя, что почва достаточно подготовлена, я предложил ему променять кобылу и взять вместо нее в заводе полукровку. В заводе была дельная, довольно крупная и сухая вороная кобыла, присланная из губплемхоза. Кобыла понравилась, была опробована, в конторе составлен акт, Астра водворена на маточную, а ее бывший владелец уехал домой в своей тележке, запряженной новой кобылой.

Так совершенно неожиданно Прилепский завод стал собственником превосходной рыистой кобылы, да еще и очень высоких кровей. Сделка была настолько выгодна для завода, что тут, казалось, и рассуждать не о чем. Однако на деле получилось иное. Подотдел животноводства при губземотделе, в ведении которого находился тогда Прилепский завод, обиделся, придрался к тому, что обмен состоялся без его ведома, и, выражаясь по-советски, поднял «бузу». Причинив мне немало хлопот, Волков в конце концов утвердил сделку, и дело было предано забвению. Впрочем, этим история не закончилась. Я отдал в обмен на Астру ту кобылу, которая была моей единственной выездной лошастью. Помимо нее еще только две лошади были в распоряжении завкома и заведующего совхозом. Рабочих лошадей было всего три, и это на совхоз в 106 десятин земли, конный завод, на все разъезды и поездки в город! Шел 1921 год, один из самых трудных

и голодных, когда везде царил разруха. Словом, я остался без выезда и обратился в отдел животноводства, прося прислать разъездную лошадь или ассигновать средства на ее покупку. В ответ получил распоряжение взять в езду Астру и зачислить ее в число рабоче-упряжных лошадей, так как подотделу животноводства не известны ее качества как племенной кобылы... В своем роде исторический ответ, до которого мог додуматься только такой бюрократ и крючкотвор, как Волков.

Делать было нечего, пришлось взять Астру в езду. Из маточной, где она так недолго простояла, кобыла перекочевала на рабочую конюшню и стала ходить у меня в пролетке. В езде Астра оказалась очень добронравной, шла резво и была сильна. Так она прослужила года полтора, а когда Прилепский завод получил кредиты центра – были куплены рабочие лошади, собрана пара для пролетки и Астра переведена из рабоче-разъездных в состав заводских маток Прилепского госконезавода. Впервые она была случена в 1922 году.

Астра была кобылой крупного роста, масти серой в темных яблоках, хвост и грива черные. Голова у кобылы была очень характерная – сухая и несколько резко суженная в конце. Ноги правильные и сухие, но по корпусу недостаточно костистые. По своему происхождению Астра была очень интересна. Дочь Бреда, она принадлежала к линии великого кожинского Потешного, но по себе не была типична для этой крови. Мать Астры кулешовская Альфа была очень резва в трехлетнем возрасте и выиграла тульское дерби.

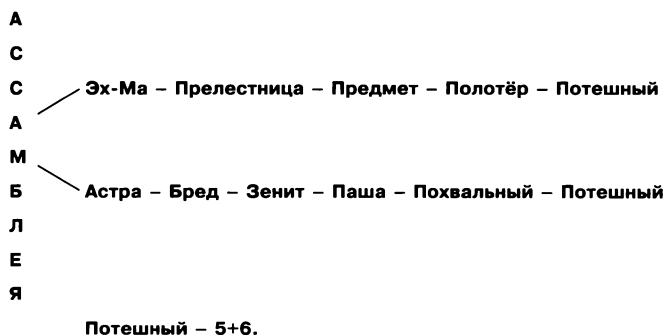
Заводская деятельность Астры в Прилепах:

1923 год – темно-серая кобыла Ассамблея (2.24) от Эх-Ма.

1924 год – темно-серая кобыла Арена от Кронпринца.

Уничтожена в 1924 году.

Старшая дочь Астры, Ассамблея, получилась хороша, а главное, очень дельна: крупна, костиста, имела хорошую колодку и великолепную спину. Голова у нее тяжелая, но вместе с тем приятная и характерная. Кобыла была сыровата и имела жидкий хвост. Я случил Астру с Эх-Ма, желая инбридировать имя кожинского Потешного. Тут формула инбридинга представлялась в следующем виде:



Хотя полученная кобылка и не имела ничего общего с типом потомков Потешного, но оказалась резва, недурно бежала в Ленинграде (2.24) в руках Лыкотина и после поступила в завод. В Прилепах жеребят от нее не было, так как уже в 1927 году она со всем заводом ушла в Хреновую.

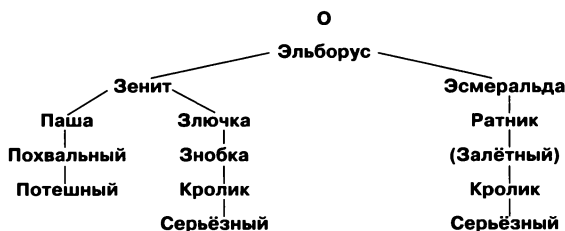
Вторая дочь Астры, Арена, была дочерью Кронпринца. Она очень похожа на мать, но спина у нее хуже, она менее костиста. В трехлетнем возрасте Арена была продана на Урал.

Летом 1924 года захромала табунная кобыла и маточник распорядился взять под табун Астру. Утром прошел дождик, табун ходил на буграх по нагорному берегу Упы. На крутом склоне у каменища Астра поскользнулась и сломала ногу. Ее, несчастную, табунщики имели жестокость на трех ногах буквально притащить в усадьбу. Передняя нога у нее болталась на связках, и завком пристрелил ее из револьвера. В день катастрофы с Астрой я был в Туле. Вечером вернулся домой, и мне доложили о происшествии. Я вызвал маточника Андрея Ивановича и выслушал от него подробности несчастного случая с кобылой. Перед уходом из кабинета Андрей Иванович помялся, кашлянул и затем сказал: «Пожалуйста, Яков Иванович, дня три тому назад ехал из Тулы бывший хозяин кобылы и остановился у меня напиться чаю и накормить лошадь. Спросил про Астру. Узнал, что она жеребится, да так и обомлел. Говорит: «Шутишь! В жисть не поверю, что жеребится, пока не увижу своими глазами под ней сосуна. Что я с ней ни делал: и гонял, и поил раствором, и к ветеринару водил, и два раза в день крыл – ничего не помогло, так и не ожеребилась у меня кобыла. Потому я Бутову (так окружное крестьянство сократило мою фамилию) ее и выменял. Значит, счастлив он на лошадей...» Гость собрался уезжать и пригласил с собой Андрея Ивановича заехать по дороге в табун, посмотреть на Астру. Андрей Иванович согласился. Приехали в табун, и, по словам маточника, как увидел Астру с сосуном ее бывший хозяин, так глаз от них оторвать не может, а сам весь почернел и глаза загорелись. Так больше ни слова не сказал он маточнику, вскоре простился с ним, сел в свою тележку и укатил. А через три дня после этого Астра сломала ногу и была уничтожена. Свой рассказ Андрей Иванович закончил уверениями в том, что бывший хозяин сглазил Астру.

В заключение предложу крайне интересный вариант подбора к дочери Астры, кобыле Ассамблее, которая ныне состоит заводской маткой в Хреновском. Я предлагаю покрыть ее Эльборусом. Сочетание Эльборус – Ассамблея дает следующие инбридинги: Зенит – 2+4; Бедуин – 6+6; Потешный – 5+6+7; Залётный – 4+5; Кролик завода Ознобишина – 8+9; Кролик завода Шишкина – 9+9+10; Кролик завода Вяземского – 5+5+6+7; Серьёзный – 6+6+7+8+8.

Прежде всего обращает на себя внимание инбридинг на Зенита, затем инбридинг на старого хреновского Бедуина и на Потешного. Малопримлем инбридинг на Залётного, но в данном случае он не имеет самодовлеющего характера. Очень ценны течения кровей шишкинского Кролика. Основой, гвоздем сочетания я считаю повторение имен Кролика и его отца Серьёзного.

ПРИПЛОД ХРЕНОВСКОГО ЗАВОДА



...Вчера вечером нежданно-негаданно получаю посылку из Хреновой от А. А. Лохова, который служил у меня несколько лет наездником и отошел от дела уже во время революции. Этот знак внимания со стороны простого и небезопасного человека тронул меня до глубины души. В том положении, в котором я нахожусь сейчас, от-раднo убедиться, что еще не все тебя забыли, что есть люди, которые помнят о тебе и, узнав о твоём несчастье, стремятся оказать посильную помощь. Много было званных и еще больше избранных среди моих друзей и знакомых. Многие обязаны мне своим теперешним служебным положением. Но не нашлось ни одного, кто бы поду-

мал о том, что я почти голодаю в Тульской тюрьме, и прислал бы мне посылку с продуктами. В своей душевной простоте это понял и сделал один Лохов, и стократ ему благодарен и никогда не забуду его дружеской помощи.

За эти долгие 10 лет революции кто только не обращался за помощью ко мне! Одних я устроил, другим создал положение, третьих освободил, вытаскивал из беды, спас, четвертые, благодаря моим советам и помощи, нажили деньги. Кто только не перебивал в Прилепах! Кто из туляков, как «бывших» людей, так и видных партийных и беспартийных работников, не пользовался моим гостеприимством, а часто и более чем гостеприимством!.. И вот, когда стряслась беда со мной и я очутился в Тульской тюрьме, никто, ни один человек, не навестил меня, никто не протянул руку помощи, не прислал передачу и не вспомнил обо мне. Даже писать или ответить на мое письмо и то боялся!

Не имея здесь, в Туле, родных или семьи, я не получаю передач. Не имея на руках свободных денег, я лишен возможности покупать за наличный расчет. Выписка из лавочки на деньги, лежащие в конторе, происходит раз в неделю, но там, кроме плохого ситного хлеба, дешевой колбасы, чая, сахара и консервов, ничего нет. Я почти голодаю и так похудел, что платье висит на мне мешком! Когда я настолько ослабел, что начал чувствовать рвоту и головокружение, я написал Щёкину в Хреновое, прося его выслать мне окорок копченой ветчины за мой счет. Щёкин исполнил мою просьбу и тем поддержал меня в трудную минуту. Теперь пришла на помощь посылка Лохова, присланная от всего сердца без моей просьбы и тем особенно дорогая для меня.

Получение этой посылки, ее распаковка, знакомство с содержанием – все это доставило мне большое удовольствие. Лохов прислал 5 фунтов малороссийского сала сухого засола. Самый лучший кусок от спины... Не пожалел своего добра Лохов и вспомнил, очевидно, евангельское «рука дающего не оскудеет». В посылке было еще полтора фунта домашней грудинки, кило сахара, четверть чая, коробки папирос, одна коробка спичек и десятка два домашних сладких пирожков. Последние, конечно, стряпала дочь Лохова. Я помню ее еще шустрой четырнадцатилетней девочкой, всегда веселой, милой и любезной. Как-то сложилась теперь ее жизнь?..

Таков был подарок Лохова. В том отчаянном положении, в котором я нахожусь, я не преуменьшаю значения посылки, так поддержавшей мое более чем скудное существование, но еще больше я ценю те отзывчивость и простосердечную доброту, память и внимание, которые проявил Лохов в эти трудные для меня дни. Не могу также не вспомнить здесь с благодарностью Моисея Самойловича Кронрода, который сидел со мной в 25-й камере, делился последним куском и затем, по выходе на свободу, месяца полтора поддерживал меня. Маленькую помощь оказывал мне также другой заключенный, Косыхов, и позднее Попов. Если бы не они, то, не имея передач и живя на одном пайке, я давным-давно бы валялся в больнице и от истощения потерял бы здоровье и трудоспособность. Я глубоко благодарен названным лицам и никогда не забуду их. Грустное это и тяжелое чувство – по понедельникам и четвергам (дни передач) сознавать, что ты всеми покинут и забыт. Вызывают к дверям и вручают кульки с продуктами заключенным, те их разворачивают, осматривают, радуются как дети, читают записки из дома, отправляют обратно пустую посуду и пр. А ты сидишь одиноко или ходишь по камере как маятник, и некому вспомнить о тебе... Обездоленный и всеми заброшенный человек всегда жалок, но насколько страшнее, тяжелее и труднее такому человеку в тюрьме! А то чувство стыда и унижения, когда тебя зовут Кронрод или, позднее, Косыхов закусить и ты каждый раз ждешь этого приглашения и не подходишь сам, ибо не можешь внести своего пая и питаешься от их стола из милости и по их доброте, – этого мне никогда, во всю мою жизнь, не забыть! Видно, за мои грехи мне суждено не только испить чашу горя до дна, но и испытать голод, полное одиночество, унижение, стыд и ни-

щету. Мои враги могут торжествовать, мои завистники могут успокоиться. Я больше не человек. Я жалкое, несчастное, голодное, оборванное существо, почти потерявшее человеческий облик...

«В тюремной обстановке сгораешь», – сказал мне однажды один заключенный и был прав. Особенно в Тульской тюрьме, добавлю я. Ничего кошмарнее и представить себе нельзя. Недаром на одной из стен я прочел четверостишие, которое верно отражает общее настроение:

*Здесь все горит
И все сгорает,
Здесь все болит
И изнывает...*

Переступив через этот порог, теряешь все, во что верил, чему служил и что любил. Здесь вам выворачивают душу, превращают вас в манекен, здесь вы теряете самое драгоценное, что у вас есть, – культуру души и свободу совести. Вот почему в этой страшной обстановке, среди этой грязи, грубости, дикости и беспросветного мрака, всякая память о вас людей «с воли», всякий знак внимания, будь то письмо, посылка или просто открытка, особенно дороги и ценны. Как мало это понимают те, кто на свободе, и как скоро забывают они нас...

Получение лоховской посылки меня так взволновало, что я долго, очень долго не мог заснуть. Поздно ночью я лежал на своей койке. Кругом давно все спали. Я слушал завывание бури, свист ветра и думал о прошлом. Вокруг небольшого решетчатого окна все свистело, звенело и пело. То буря рвала окно, обсыпала стекла снежной пылью и гудела вокруг на все лады. Я люблю такие бурные ночи, люблю их русский размах и стихийность. Люблю тогда думать и предаваться воспоминаниям. Картины былого и отдельные образы с необыкновенной ясностью возникают передо мной: то это люди, то лошади, то мои скитания по заводам, то трагические эпизоды последнего времени. О многом передумашь и многое вспомнишь в такие бессонные ночи...

Случайно узнал о том, что умерла Варвара Андреевна Оппель. Это была самобитная натура и крупнейшая личность в области разведения крупного рогатого скота. Жизнь столкнула меня с ней во время революции. О смерти Оппель я узнал случайно от гражданина Дутова, председателя Лебяжинского сельсовета Богородицкого уезда Тульской губернии, попавшего недавно в 10-е отделение Тульской тюрьмы и сидевшего со мной в одной камере.

Я никогда не интересовался рогатым скотом, а потому имя Оппель мне было неизвестно. Впервые я услышал его от М. М. Щепкина, знаменитого свиновода, талантливого писателя по вопросам животноводства и директора Московской земледельческой школы. Как сейчас помню, во время рождественских каникул приехал Щепкин в Прилепы посмотреть завод. Он любил лошадей, недурно в них разбирался, даже на животноводческом поприще первоначально выступил как владелец небольшого рысистого завода и только потом нашел свое настоящее призвание. Мы много говорили о лошадях, животноводстве, делах департамента земледелия и прочих интересовавших нас материях. Щепкин был блестящий рассказчик и очень умный человек. Язычок у него был острый, и пощады своим врагам он не давал. В Прилепы Щепкин приехал из Венёвского уезда, и я его спросил, у кого он там был. Последовал ответ: «У Варвары Андреевны Оппель». Это имя мне ни о чем не говорило, и я спросил Щепкина о ней. Он пристыдил меня и сказал, что Оппель – владелица самого знаменитого стада симменталов в России, что эта умнейшая женщина в своем небольшом имении Нюховке создала такое стадо симменталов, равного которому в стране нет. Все это было создано одинокой женщиной в какие-нибудь двадцать лет, и имя Оппель в определенных кругах пользовалось величайшей попу-

лярностью. Дети знаменитого быка этого стада Франца ценились на вес золота и слыли лучшими производителями. Позднее я видел скот Варвары Андреевны на выставке: он неизменно получал первые премии и расценивался дороже выводного, то есть швейцарского.



Сидят: Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, П. А. Буланже

Познакомился я с Оппель во время революции, и не только познакомился, но и имел возможность оказать ей большую по тем временам услугу. Это было в конце лета 1918 года. Положение помещиков тогда было отчаянное: крестьяне особенно сильно наседали и громили все кругом. Советская власть прилагала все усилия к спасению культурных ценностей страны, и в том числе, конечно, животноводства. Незадолго до этого по моей инициативе возникла Чрезвычайная комиссия по спасению животноводства под председательством Буланже. Буланже приехал в Прилепы укрепить положение в заводе и после этого выступал в Туле в земельном управлении. Он инструктировал специалистов и местные власти о намерениях комиссии по спасению животноводства в стране и получил полную поддержку со стороны тульского диктатора Кауля. Вечером мы ужинали в гостинице. Вдруг мне передали, что меня хочет видеть какая-то дама. Это была Оппель. Она привезла мне письмо от Щепкина, в котором тот просил оказать ей всяческое содействие и уговорить Буланже принять самые экстренные меры по спасению знаменитого оппелевского стада, которому грозит неминуемая гибель. Оппель чрезвычайно волновалась и со слезами на глазах говорила, что крестьяне хотят зарезать Франца, знаменитого Франца, только потому, что он тяжел для их коров... Я ее успокоил как мог, взял за руку и повел знакомить с Буланже.

В таких случаях Буланже бывал очень хорош: он выслушал Оппель, успокоил ее и сказал, что сейчас же будет звонить Каулю и требовать в ночь отправить с Оппель в Нюховку небольшой отряд для охраны стада, а по приезде в Москву настоит на том, чтобы нарком Середа прислал телеграмму за своей подписью с распоряжением перевести стадо Оппель в другой, безопасный совхоз. При нас Буланже связался с Каулем, разъяснил ему значение оппелевского стада и настоял на своем. Кауль был не только умный, но и решительный человек: в ту же ночь Оппель с небольшим отрядом выехала в Венёв. Однако она опоздала, и Франца мужички скушали... Все же стадо, благодаря принятым Буланже мерам, было спасено и переведено в другой совхоз. Оппель была назначена заведующим стадом и стала часто бывать в губернском земельном управлении, где я с ней и встречался. Через некоторое время Оппель приехала в Прилепы и прогостила у меня дня три. Мы смотрели лошадей, и завод очень понравился ей. Хотя лошади не были ее специальностью, она имела верный глаз и такое чутье, что, видя завод впервые и не зная рысистых лошадей вообще, без труда отмечала лучшие экземпляры. Как сейчас помню, очень ей понравился сын Кронпринца Кипарис и она сказала, что, если бы не революция, она бы его обязательно купила и отвела бы от него таких езжалых лошадей, каких, как она выразилась, в Венёвском уезде ни у кого не было.

Прошло около года. Оппель не ладил с Волковым, губживотноводом и заведующим подотделом животноводства губернии. Волков был сторонник швицов и артелей, Оппель – симменталов и государственного ведения стад. На этой почве отношения у них обострились, и я несколько раз их мирил. В конце концов Оппель вместе со стадом переехала в Орловскую губернию, где в лице Н. Д. Потёмкина, человека культурного, гуманного и образованного, в руках которого было животноводство губернии, встретила поддержку и полное содействие. Потёмкин был поклонником симменталов и с Оппель сейчас же нашел общий язык. В этот период деятельности Оппель я редко с нею встречался, но мы не забывали друг друга.

Во времена расцвета централизации племенного дела в РСФСР, когда во главе отдела животноводства Наркомзема стоял Потёмкин, я иногда встречал Оппель у него в кабинете и мы вспоминали старину. Оппель сильно постарела, была раздражительна и однажды в моем присутствии обрушилась на Потёмкина, упрекая его в том, что он изменил «рогатикам»! Да, Оппель была фанатиком своего дела... Когда она ушла, Потёмкин сказал мне, что Варвара Андреевна не ладит с властями и, вероятно, вынуждена будет уйти. Я выразил сожаление, так как это была несомненная потеря для животноводства, и просил Потёмкина поддерживать ее. Впрочем, он и без моей просьбы делал в этом направлении все, что мог.

Прошло года два или три, и я снова встретил Варвару Андреевну Оппель – на этот раз на улице в Москве. Она уже не служила, еще больше постарела, была озлоблена на власть, считала себя обиженной, неохотно говорила со мной, прервала вдруг разговор, спешно простилась и пошла своей дорогой. Больше мне уже не суждено было ее увидеть.

В. А. Оппель – блестящий талант в своем столь живом и интересном деле – в молодости была певицей. Затем уже в зрелых годах купила или наследовала в Венёвском уезде небольшое имение Нюховку и здесь развела стадо симменталов. Талант – он везде и всегда талант! Рано или поздно он найдет себе применение, верную дорогу, выйдет на широкий творческий путь и проявит себя. Так было и с Варварой Андреевной Оппель.

В данной обстановке, на знаменитой «десятке», не до старых знакомств и связей. Неудивительно поэтому, что имя Оппель не вспоминалось мне и только случайная встреча и разговор с Платоном Григорьевичем Дутовым напомнили мне об этой интересной женщине. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что она не так давно умерла! Ведь это была еще очень нестарая, бодрая и энергичная женщина.

Вот рассказ Дутова о ней, который я слушал с напряженным вниманием, а затем и записал.

«По соседству с нами, в бывшем имении Любенкова, в 1921 году организовался колхоз «Красивомеченский». Наша деревня Лебяжье граничит с усадьбой колхоза. Дело это было новое, первые годы не ладилось, но потом общими усилиями стало выравниваться. Завелся хороший инвентарь, построили крахмальный завод, потом появилось два трактора, и хозяйство совсем окрепло. Решили наши соседи колхозники обзавестись и племенным стадом. Во главе колхоза все время стоит потомственный крестьянин Василий Андреевич Липаев, человек бывалый, старый революционер, теперь пользующийся влиянием. В 1926 году он принял в члены колхоза Варвару Андреевну Оппель, поручил ей ведать скотоводством. Колхозники избрали ее на общем собрании в члены правления. Жалованье ей положили сперва 60 рублей, потом прибавили, и последнее время она получала 70 рублей. А позднее приехал и ее брат, которого как агронома вытребовали, чтобы выработать план хозяйства. Там он прожил месяцев шесть и уехал опять в Ленинград. Мы относились к Варваре Андреевне хорошо. Бывало, едет, заметит хорошую скотину, сейчас остановится, скажет: «Прекрасная скотина, чья она? Нужно от нее взять племя», а то и поторгует. Горюшкину сказала: «Продай. Что ты запросишь, я заплачу». И правильно, заплатила 200 рублей, корова была молочного цвета. Стала Оппель разводить свиней, ездила за ними в Москву. Где, у какого свиновода брала – мне неизвестно. Свиньи вышли хорошие, нынче летом их было штук шестьдесят. Крестьяне их охотно покупали. Лошадей тоже начала разводить. Брала заводчиков из госконюшни, а маток подбирала по деревням, выменивала и покупала за деньги. Брала и тяжеловозных кобыл, и легких подбирала, сухих, мы их называем полукровками. Коров начала собирать в 1926 году. Собрала штук сорок, покупала только дойных. Дело было за деньгами. Купит пяток, а то семь штук, на сколько денег хватит. Коров собрала года в полтора. Покупала их сама, ездила больше по санному пути, тогда самый отел. Покупала только по деревням: в Такакове, Лебяжьем, Попарине, Бутырках, Сазонове, Полунинке, Осиновом поселке и Лупани. Когда она ездила покупать коров для колхоза, ездила на колхозных лошадях. Когда ей с Узловой коммуна «Красный пахарь» поручила купить скот, ездила она лично со мной. Могу рассказать, как она выбирала корову. Приехали мы в Полунинку к гражданину Архипу Иванову Иванушкину, у него была отеленная продажная корова со свежим молоком. Попросила хозяина показать корову на дворе. Она первым делом смотрела на ее «физиономию». Если не нравилась ее «физиономия», она даже не открывала цены и уезжала. В то время ей скажешь: «Варвара Андреевна, почему вы эту коровку не купили?» – а она на это отвечала: «Эта нам на племя не идет, от нее нельзя получить завода, который для нас требуется». Если «физиономия» подойдет, то уже она, значит, смотрела зубы, щупала под пузом молочные жилы, опробовала все соски, заставляла пройти корову ходцем, надаивала корову, смотрела жир молока и только тогда покупала, когда это все ей нравилось. Дороже двухсот не платила, а больше по сто пятьдесят, сто семьдесят пять. Скупила в нашем округе коров сорок. Когда уже на ихнее хозяйство попали коровы и выгнали их на летнее пастбище, мы не могли их узнать: другие коровы стали, будто и не у нас родились. Быка было два. Быков привела годовиков. Хороши! Не удалось мне крыть свою корову, арестовали как раз. От купленных коров пошло племя. Шестимесячники, годовики очень хороши выходили, а двухлетков от ливенских быков еще не было. Как она начала работать – скот развела хороший.

Заболела Варвара Андреевна в первых числах июля тифом. У них в колхозе была зараза тифа. Отвезли ее в больницу в Богородицк, там она и умерла. Померла она там в начале августа. Похоронили в Богородицке. Как хоронили, не знаю, а из колхоза ездил хоронить Василий Андреев Липаев».

Как преждевременно и неожиданно оборвалась жизнь этой талантливой и энергичной женщины! Она умерла на своем посту и до конца своих дней осталась верна своему призванию. Я скорблю и оплакиваю ее кончину потому, что в тяжелые минуты уныния и упадка духа она не одного меня окрыляла своим примером самоотверженной любви и преданности делу и вдохновляла на продолжение борьбы за лучшее будущее племенного дела!

Не подлежит никакому сомнению, что Безнадёжная-Ласка была лучшей по своему приплоду кобылой Прилепского завода. К тому же она была и одной из замечательнейших по себе кобыл, когда-либо мною виденных. Исключительному экстерьеру этой кобылы сопутствовал такой же класс и такая же резвость (к сожалению, не вполне ею проявленные на ипподроме).

Начала свою беговую карьеру Безнадёжная-Ласка в Одессе в цветах моего брата, в руках наездника А. Петрова. Бежала она блестяще и показала рекорд 1.35. Осенью я сдал ее в аренду Синегубкину, и у него она бежала так же замечательно. В начале февраля Безнадёжная-Ласка на проезде сделала версту в 1.32 и побила трехлетний кобылий рекорд, который стоял за Шинелью. Я получил об этом телеграмму из Москвы, а на следующий день прочел о том же в «Коневодстве и спорте». Вместо того чтобы ехать на Ласке на побитие верстового рекорда, Синегубкин записал ее на полторы версты и блестяще выиграл. Я очень сожалел об этом, но дело было сделано, и поступок Синегубкина мне до сих пор непонятен. В Москве меня посетил В. Кейтон и просил передать ему Безнадёжную-Ласку в езду. Я не мог этого сделать, так как кобыла по условию была сдана Синегубкину. Кейтон сказал: «Жаль, я бы вам на ней выиграл дерби!» Четырех лет Безнадёжная-Ласка выиграла именной приз в 2.19 и ушла в завод. Только по недоразумению она не стала всероссийской рекордисткой.

По своему происхождению Безнадёжная-Ласка, как дочь Ловчего и внука дубровского Бычка, была кобыла первоклассная. Она происходила из исторического женского гнезда, давшего нашему коннозаводству многих первокласснейших рысаков. Упомяну еще, что кровь Полканчика, отца великого кожинского Потешного, также была представлена у этой кобылы.

Безнадёжная-Ласка — Ловчий — Лебёдка — Лебедь — Кривая — Бычок рыжий — Бычок
 Боярская — Бычок — Правнук — Бычок — Петушок — Бычок
 Бычок завода Шишкина — 6+6.

Имя основного, то есть шишкинского, Бычка в родословной Безнадёжной-Ласки было представлено двумя лучшими его сыновьями, Петушком и циммермановским Бычком.

По себе Безнадёжная-Ласка была замечательнейшей кобылой. Она не имела ничего общего со своей матерью Боярской и Бычками вообще. Следует заметить, что в экстерьере Ловчего Бычок был абсолютно затушеван, то же наблюдалось и у всех его детей. Безнадёжная-Ласка была в типе дочерей Удалого, имела их характерную масть, но вышла более женственной и нежной, чем большинство удаловских кобыл. Она была безупречной кобылой, но, к сожалению, в правом скакательном суставе имела налив.

Безнадёжная-Ласка на всех производила исключительное впечатление, и Телегин предлагал мне за нее 25 тысяч рублей. Позднее, уже в начале революции, ту же сумму, но золотом, давал за нее Винокуров. Оба предложения я отклонил и Безнадёжную-Ласку не продал. Не подлежит никакому сомнению, что заводская работа

коннозаводчиков 1870–90-х годов носила, как правило, случайный характер. Но были и такие, к их числу принадлежал Малютин, работа которых была вдохновенной! Лошади, подобные Ловчему – отцу Безнадёжной-Ласки, лучше всего это доказывают. Глядя на Безнадёжную-Ласку, я часто думал, что дела и труды таких людей, как Малютин, не умирают, они идут на благо всего коннозаводства.

Заводская карьера Безнадёжной-Ласки началась рано, как рано закончилась и ее призовая карьера. Впервые она была покрыта в пятилетнем возрасте и в следующем году ожеребилась. Затем приносила жеребят регулярно каждый год и ни разу не прохолостела, так что в 1924 году я ее не случил, дав ей искусственно прохолостеть в целях отдыха. Из всего ее приплода пал всего лишь один жеребенок, и произошло это в 1920 году, в самый разгар голодовок и непорядков на заводах.

Заводская деятельность Безнадёжной-Ласки в Прилепском заводе:

1914 год – гнедой жеребец Бежин-Луг (1.41, 2.28, 1.33) от Бунчука. В Московской заводской конюшне.

1915 год – гнедая кобыла Благодать (2.55) от Громадного. Заводская матка Орловского губсельтреста.

1916 год – гнедой жеребец от него же. Убит молнией в табуне в 1916 году.

1917 год – светло-серая кобыла Большая-Медведица (2.26 и 4.52) от Кронпринца. Заводская матка в Прилепах, потом в Хреновском заводе.

1918 год – гнедой жеребец Блеск (1.38 и 2.20) от Ледка. Заводской жеребец в Уральском госконезаводе.

1919 год – вороная кобыла Британка (1.40 и 2.26) от Кронпринца. Заводская матка в Прилепах, потом в Хреновском заводе.

1920 год – белый жеребец от Кронпринца. Пал в 1920-м под мать.

1921 год – красно-серая кобыла Буянка (2.28) от Удачного. Заводская матка в 1-м опытном заводе.

1922 год – темно-серый жеребец Берендей (2.24) от него же. В Тульской заводской конюшне.

1923 год – гнедой жеребец Берег (2.24) от Эльборуса. В Хреновской тренконюшне.

1924 год – не случена.

1925 год – гнедой жеребец Бубенчик (2.15, трех лет) от Эльборуса. В Хреновской тренконюшне.

1926 год – вороной жеребец Боевой-Порядок (2.28, двух лет) от Барина-Молодого. В тренконюшне Хреновского завода.

1927 год – гнедая кобыла от него же. В Хреновском заводе.

1928 год – серый жеребец от Ловчего. В Хреновском заводе.

В декабре 1927 года Безнадёжная-Ласка ушла вместе со всем Прилепским заводом в Хреновую и там уже успела дать замечательного серого жеребенка от Ловчего. Будем надеяться, что Безнадёжная-Ласка еще долго проживет в Хреновой и даст там не одного жеребенка. Это необходимо в интересах не только Хреновой, но и всего рысистого коннозаводства.

Первенец Безнадёжной-Ласки Бежин-Луг был, несомненно, хорошей лошастью. Соединение Бунчук – Безнадёжная-Ласка давало инбридинг на Удалого.

Бежин-Луг — Бунчук – Барская – Ларчик – Удалой
 Бежин-Луг — Безнадёжная-Ласка – Ловчий – Лель – Удалой

Удалой – 4+4.

Бунчук по себе не имел ничего общего со своим отцом Корешком. Это был шестивершковый, густой, костистый и капитальный жеребец, внук малютинского Ларчика, родного брата Лея. От него Ласка принесла крупного, исключительно костистого, густого и дельного жеребенка гнедой масти с несколько тяжелой головой. Я назвал его Бежин-Луг, и полуторником он был продан Синегубкину. До революции Бежин-Луг бежал только однажды – и выиграл (1.41). Призовая карьера этого жеребца оборвалась вследствие революции. Он голодал в Москве, потом, во времена Полочанского, был отправлен на случный пункт в Московскую губернию и затем поступил в Московскую заводскую конюшню. Года два тому назад он был еще жив.

Дочь Громадного и Безнадёжной-Ласки, родившуюся вслед за Бежиным-Лугом, я назвал Благодатью, ибо рождение каждого нового жеребенка от Ласки было действительно благодатью для завода. Благодать уже в двухлетнем возрасте покинула Прилепский завод. В мае 1917 года она была продана вместе со ставкой других лошадей в Орёл Н. А. Неплюеву, а после национализации стала собственностью Орловского государственного заводоуправления. Рекорд Благодати 2.55, конечно, ни о чем не говорит: она не несла правильной тренировки, а затем голодала. Свой рекорд показала в Орле, но при каких условиях и когда – мне неизвестно. Благодать в двухлетнем возрасте была густой, костистой, фризистой, широкой и дельной кобылкой с чуть мягкой спиной.

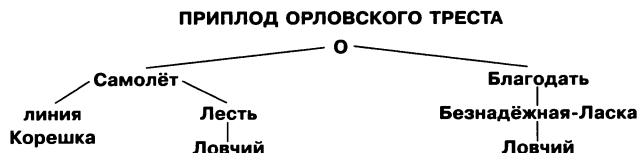
Первые годы революции (1919–1921) Благодать едва ли была использована. Во всяком случае никаких данных о ее приплоде за этот период нет. С переводом ее в 1921 году во вновь организованный Лучанский завод, собственно говоря, и начинается заводская карьера Благодати.

Заводская деятельность Благодати:

- 1922 год – гнедая кобыла Баловница от Балахона.
- 1923 год – вороная кобыла Борьба (2.18) от Шкипера.
- 1924 год – приплод от него же. Пал.
- 1925 год – серый жеребец Базар от Недотрога.

Даже по этим неполным данным видно, что Благодать уже дала одну классную лошадь из трех, а потому и ее будущая заводская деятельность рисуется мне в самых радужных красках.

Над вопросом подбора к Благодати стоит призадуматься. К сожалению, с уходом Басова из Орла трудно предсказать, как там пойдет дело... В ближайшие два года я крыл бы Благодать с жеребцом Самолётом 2.16 (Самокат – Лесть), который также принадлежит Орловскому тресту. При данном сочетании мы получим повторение имени Ловчего и введение через Самолёта, Самоката и Ухвата крови Корешка.



В 1916 году Безнадёжная-Ласка дает своего третьего жеребенка. Сосун Ласки и Громадного был крупен, сух, делен и очень типичен. Окончательно высказаться о его типе нельзя потому, что пал он совсем еще малышом, но в ставке был едва ли не лучшим жеребенком. Вот при каких обстоятельствах он погиб. Это было в середине или конце июня – словом, когда в наших местах происходят сильные грозы. Табун в те дни ходил на Макаровом лугу. Совершенно неожиданно небо заволокло, зашверкали молнии, кругом стемнело, поднялся вихрь, загремел и загрохотал гром, страшный, но короткий ливень пронесся над Прилепами и ушел по направлению

Солосовки. Табун, испуганный и возбужденный, сбился в кучу. Когда ливень прошел, табун опять рассыпался по лугу и продолжал спокойно пастись. В тот день я выехал в табун позднее обыкновенного. Как всегда, не спеша обходил кобыл, любовался сосунами, наблюдал за игрой резвых и шустрых годовичков и незаметно подошел к Ласке, которая всегда была одной из моих любимиц. Удивительно картинно ходила в табуне Ласка: бывало, подходишь к ней, а она не отрываясь ест сочную зеленую траву и только поведет на тебя глазом, длинная седая челка свесится на одну сторону лба. Иногда она заржет тихо и нежно, предупреждая сосуна о приближении человека, а то важно и спокойно пройдет мимо, потом остановится, оглянется на сосуна, потом вытянет свою красивую шею и смотрит куда-то вдаль, как это любят делать лошади. На этот раз подойдя к Ласке, я обратил внимание на ее беспокойный вид. При моем приближении она нервно заржала и легкой рысью направилась к реке, я последовал за ней. Там, на берегу, у самой воды, лежал мертвый сосун. Его убило молнией во время грозы.

В 1917 году от Ласки и Кронпринца родилась небольшая, но очень хорошая светло-серая кобылка, которую назвали Большой-Медведицей. Несмотря на то что Большая-Медведица тоже голодала и росла в малоблагоприятных условиях, она со временем превратилась в превосходную по себе и весьма типичную кобылу. Рост Большой-Медведицы не менее трех вершков, она чрезвычайно суха и очень породна. Замечательно стоит задом и имеет образцовый постанов передних ног. Голова у кобылы хорошая, но ухо поставлено несколько вперед. Шея превосходная, с крутым подъемом. Холка развитая. Спина вполне удовлетворительна, круп короткий и кругловат, глубины достаточно, и кобыла низка на ногах. Грива и хвост черные.

Большую-Медведицу отличала резвость, ее рекорды 2.26 и 4.52 для кобылы более чем удовлетворительны. В езде Большая-Медведица была очень горяча и несколько сбоиста. Ход имела превосходный и обладала вполне определенными стайерскими способностями. Ездил на ней С. Сорокин, но наблюдал за ее тренировкой и давал указания по езде такой компетентный человек, как Л. Ф. Ратомский.

Большая-Медведица поступила в завод в 1923 году, в шестилетнем возрасте.

Заводская деятельность Большой-Медведицы:

1924 год – гнедая кобыла Беда от Барина-Молодого. Матка в Уральском государственном заводууправлении.

1925 год – вороная кобыла Бодрая (2.30) от Барина-Молодого. В тренконюшне Хреновского госконезавода.

1926 год – точно не помню.

1927 год – холоста от Ухвата.

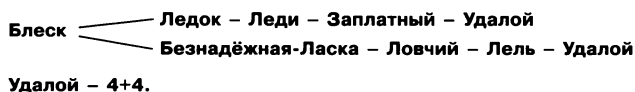
В декабре 1927 года поступила в Хреновской госконезавод. Заводскую карьеру Большой-Медведицы я пока не могу признать удачной. Ее первая дочь Беда родилась хилым и тощим жеребенком: у матери совершенно не было молока и она была очень строга. То, что упустила Беда в своем развитии в эти первые полгода жизни, в скудных прилепских условиях существования, она уже не смогла наверстать позднее и очень отстала в развитии. По себе она в конце концов превратилась в довольно правильную кобылу нормального роста, но так и осталась беднокостной, плоской и узкой. Из завода она была отправлена в Ленинград, там ее начали работать, но вскоре после этого Беда была продана Уральскому государственному заводууправлению.

После Беды родилась вороная Бодрая, дочь Эльборуса. Это мелкая, простоватая, очень широкая, плотная, чрезвычайно костистая кобыла. Истинной основой родословной Бодрой является, конечно, Петушок. Рекорд Бодрой 2.30, и в руках М. Д. Стасенко она больше скачет, чем бежит рысью. Из Хреновского завода кобыла должна быть выбракована.

Решаюсь прописать общий рецепт подбора к Большой-Медведице: следует давать ей жеребцов из линии Лебеда 4-го (причем чем сильнее выражен этот родоначалник, тем лучше), но остерегаться повторения Петушка и избегать для этой кобылы модных линий, в особенности издерганных и изорванных ипподромной работой, мелких, беднокостных, косолапых, хрипчатых, порочных и бестипных лошадей.

Сын Безнадёжной-Ласки Блеск – первоклассный жеребец. Ласка была случена с Ледком в заводе Щёкина. Родившийся на следующий год гнедой жеребчик был очень сух, породен и хорош по себе. Блеску, рожденному в 1918 году, пришлось расти в особенно трудных условиях, очень скудно питаться и первые два года не нести никакой работы. Все это не могло не отразиться на его росте и развитии. Жеребенком он обещал стать если не крупной лошадей, то имеющей, во всяком случае, нормальный рост.

Соединение Ледок – Безнадёжная-Ласка повторяло Удалого, притом через таких типичных и интересных представителей этой линии, как Ловчий и Заплатный.



Таким образом, его педигри было достаточно консолидированным и, помимо основного инбридинга, богато именами таких выдающихся лошадей, как Вожак, Лесок, Варвар, Лель, Бычок и Волокита. Словом, Блеск – лошадь замечательного происхождения и в данное время является одним из интереснейших молодых орловских жеребцов.

Блеск еще в заводе обращал на себя внимание точностью форм и правильно-стью экстерьера. Он был очень породен. Когда в Туле устроили первую выставку, Блеск двухлетком был показан там и получил первую премию. Мне могут, конечно, возразить, что первая премия в Туле стоит немногого. Это неверно, ибо в 1920 году на этой выставке были лучшие двухлетки как Прилепского, Хомяковского, так и других заводов губернии. Позднее, достигнув совершеннолетия, Блеск представлял собой породную, правильную и дельную лошадь. К сожалению, он остался мелким и не имел достаточно веса и, если можно так выразиться, объема. Сухости был абсолютной, но имел несколько торцовое копыто, а главное, прямоугольную бабку. Однако эти дефекты не были сколько-нибудь сильно выражены.

Призовая карьера этого жеребца начиналась очень успешно: ему посчастливилось попасть в руки Ратомского. Трех лет он был рекордистом (1.38) среди орловцев. Учитывая, что жеребенок начал свою работу лишь с двух с половиной лет, Ратомский очень бережно его работал. С четырех лет Блеск побежал замечательно, и о нем заговорил весь ипподром. Летом он ехал на дерби и был признан вторым, за метиской МОЗО Брысью. По общему мнению, он опередил Брысь на голову, но судьи признали его вторым. Тогда метизаторы были очень сильны и делали все, что хотели. Выигрыш дерби орловцем стал для них совершенной неожиданностью и большим ударом. Меня не было на бегу, а Витт заступиться не хотел, так как Брысь была кобыла МОЗО – завода, где он служил... В то время призы разыгрывались одним гитом, но тут метизаторы, вопреки правилам и положениям, назначили второй гит, где Брысь якобы выиграла у Блеска. Если мне память не изменяет, дело было так: в первом гите Брысь и Блеск пришли голова в голову, а во втором Блеск выиграл голову, но был признан вторым. Это темная страница в истории борьбы орловцев с метизаторами, которая, во всяком случае, не вписала лавров в венки метизаторов. Ратомские, конечно, были возмущены, да и не одни они... Зимой четырехлетком Блеск бежал блистательно, побил рекорд. Когда я приехал в Москву, почтенный наездник А. Ф. Пасечной, буквально захлебываясь от восторга, говорил мне о Блеске. Генерозов уверял меня, что Блеск – рысак феноменального класса. А оценка этих

двух опытных лиц чего-нибудь да стоит. К сожалению, все это забыто и Блеск прозябает на Урале...

Характер у Блеска был превосходный, ход замечательный, и Ратомский говорил мне, что за всю свою беговую карьеру в его руках Блеск имел один сбой! Это был природный рысак, а не искусственный, то есть не выработанный. Вскоре умер Ратомский, и его любимец трепался у нескольких наездников, имел резвые бега, но класса своего проявить уже не мог. В данное время Блеск состоит производителем в одном из заводов Уральского государственного заводоуправления. Как он используется и что там дал, мне неизвестно.

В 1919 году Безнадёжная-Ласка дала от Кронпринца Британку. Британка – вороная кобыла без отмет; масть у нее замечательная по тону – блестящая, как вороное крыло. Кобыла не велика, но и не мелка, очень низка на ногах, которые у нее костисты и фризисты. У Британки маленькая, породная голова с длинной, завесистой челкой и очень густой хвост, который ниспадает тяжелым снопом. Выход шеи крутой, с хорошим гребешком. Спина только удовлетворительна, ноги сухи и хорошо стоят, кобыла широка и глубока. На выводке очень эффектна. Несомненно, это одна из наиболее породных и интересных по себе дочерей Кронпринца.

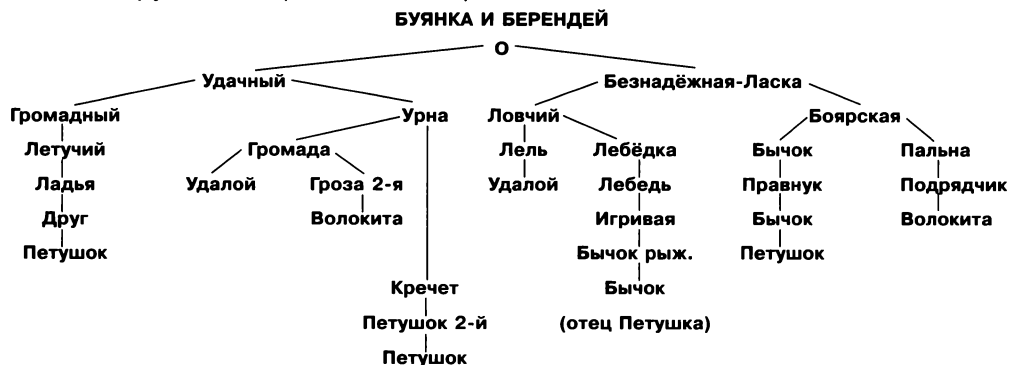
Призовую карьеру Британка начала в Москве в трехлетнем возрасте. Конюшной тогда заведовал Ратомский, но по старости лет он ездил уже только на спокойных и мягких по езде лошадях. Британка же была очень строга: подхватывала, тянула и сбила. Ратомский отдал ее в езду Егору Самонину, бывшему конюху Прилепского завода, человеку хорошему, но легкомысленному и бездарному. Его Ратомский очень любил и выводил в люди.

В завод Британка поступила относительно рано и уже в пять лет была покрыта. О заводской деятельности этой кобылы говорить преждевременно: она только началась. В Прилепах Британка успела оставить всего лишь двух жеребят, двух вороных кобылок, затем прохолостела от Ухвата и в 1927 году со всем заводом ушла в Хреновую. Первая дочь Британки, вороная Борона, происходит от Барина-Молодого и родилась в 1925 году. Это была дельная и широкая кобылка, но с несколько мягкой спиной. До сего времени на ипподроме не появилась. Я посылал Британку в Лучанский завод для случки с Бунчуком. Родившийся жеребенок, вороная кобылка, вполне оправдал мои ожидания. Вышла костистая, рослая, дельная, длинная, породная – словом, превосходная кобылка, которая, получив в Хреновой хорошее воспитание, заставит о себе говорить. Я весьма ценил и по-прежнему ценю Британку и считаю, что при хорошем подборе она даст замечательных детей.

В третий раз Кронпринц покрыл Безнадёжную-Ласку в 1919 году, и в 1920-м она принесла замечательного светло-серого, почти белого жеребчика, который очень походил на отца, но был крупнее последнего. В заводе его в честь меня называли Беспартийным. Я всегда сам называл жеребят, и мне это имя не нравилось, но так как об этом просили и Ратомский, и Руденко, и комиссар завода, то я согласился и это имя было внесено в книги завода. Маточная конюшня рассчитана в Прилепах на 66 денников, имеет вид буквы «П», с одним общим коридором. Так как из 66 кобыл к 1920 году осталось не более 25, то в конюшне царил холод, сквозняки и завелась сырость. Поэтому совершенно неудивительно, что в первые годы революции в Прилепах пало столько жеребят (этот падеж прекратился лишь после того, как я отстроил конюшню для маток в Сергиевском, рассчитанную на 25–26 кобыл). Сын Безнадёжной-Ласки простудился, получил плевропневмонию, а так как перевести его было некуда (на беду тогда стояли холодные и дождливые дни), он погиб.

Буянка и Берендей. Я объединяю эти два имени и буду говорить о них вместе не только потому, что это родные брат и сестра, но и потому, что по типу и экстерьеру обе лошади очень близки. Буянка родилась в 1921 году, а Берендей –

в следующем, 1922-м. Отцом их был Удачный. Соединение Удачный – Безнадёжная-Ласка теоретически было очень интересно. Прежде всего тем, что оно повторяло имена Удалого и Волокиты и у будущего жеребенка почти рядом ставило имена двух лучших моих кобыл – Безнадёжной-Ласки и Урны. Я ждал выдающегося результата от этого скрещивания и был обманут в своих надеждах. Несомненно, известную роль сыграло то обстоятельство, что по себе Удачный не имеет решительно никаких черт Удалого. Недостаточно учел я и то, что, как ни хороши индивидуально Безнадёжная-Ласка и Урна, обе они крови Петушка, а потому при соединении их имен усиливался именно Петушок, поглощая Ловчего – Удалого в Ласке и Крутого – Бережливого в Урне.



Петушок – 6+5+6 плюс его отец Бычок (самостоятельно); Удалой – 4+4; Волокита – 5+5. Таким образом, истинной основой родословной этих двух детей Безнадёжной-Ласки являются Петушок и его отец Бычок, причем их кровь представлена очень ярко.

Экстерьеры Буянки и Берендея очень схожи. Обе лошади темно-серые, в очень легкой краснине. Рост хороший, причем кобыла крупнее жеребца. Обе лошади сухи и очень породны – влияние Волокиты, Громадного и вообще всего комплекса Гранит + Волокита + Бережливый. У обеих лошадей спины мягки, причем у жеребца спина немного лучше, чем у кобылы. Глубины у Буянки и Берендея мало.

Их призовая карьера не может быть названа удачной. Буянка и Берендей бежали уже после смерти Ратомского, когда на прилепской конюшне в Москве царил полный беспорядок. Рекорд Буянки – 2.28, Берендея – 2.24. Следует еще отметить, что Буянка имела типичный для всех Бычков ход; таким же ходом, но в меньшей степени, отличался и Берендей.

23 января 1929 года

Приплод 1923 года от Безнадёжной-Ласки я ожидал с величайшим нетерпением, ибо в 1922 году эта кобыла впервые была покрыта действительно выдающимся по своему классу жеребцом. Однако жеребенок не только меня, но и всех нас разочаровал. Простой, грубоватый, очень костистый и очень дельный, гнедой масти и с несколько запавшей спиной, он был типичный представитель Бычков. Взрослой лошадью Берег остался таким же. В заводе никаких особых надежд не подавал, в езде был туповат, ход имел тяжелый и нудный. Начал свою призовую карьеру в Ленинграде у Лыкошина, потом бежал и в Москве, но резвее 2.24 не был. Впрочем, следует учесть, что Берег не видел в молодости рук хорошего наездника, а это исключительно важно для рысака. В конце концов Берег получил назначение в одну из заводских конюшен и там будет очень полезен.

Родившийся Берег произвел на меня удручающее впечатление, и я решил, что Безнадёжная-Ласка переутомлена и необходимо дать ей отдохнуть. Когда имеешь дело с такими кобылами, как Безнадёжная-Ласка, важно не количество, а качество жеребят. Берег был десятым ее жеребенком, и за эти десять лет она ни разу не прохолостела. Вот почему в 1924 году Безнадёжная-Ласка не была случена. Она очень плохо перенесла этот год и сразу как-то обвалилась и постарела. До сентября была в охоте и выказывала явное беспокойство, осенью и зимой плохо ехала и сильно изменилась. Так что я серьезно за нее опасался. Ласка принадлежит к числу тех кобыл, на которых материнство и роды действуют самым благотворным образом, это-то и есть настоящие «кобылятницы», как говорил в давние времена М. И. Бутович.

Когда родился Бубенчик, мне сейчас же дали знать и я сразу собрался в Сергиево смотреть жеребенка. На мой вопрос, каков новорожденный, маточник Крал неопределенно что-то промышчал, и мы направились к деннику Ласки. На свежей соломе, поджавши ножки, лежал жеребенок. Роженица, уже замытая, вычищенная и пришедшая в себя, спокойно жевала душистое сено. Крал был большой мастер сберечь охалку отборного сена и дать его любимой кобыле в нужный момент. Ласка встретила нас приветливо. Я приступил к осмотру жеребенка. Тот был слаб, шустрости в нем не было никакой. Крал помог ему подняться, и тогда я увидел худенького, но хорошо развитого темно-гнедого жеребчика, отместистого и с характерной головой отца. Жеребенок меня разочаровал: я ждал лошадь совсем другого типа, а получился типичный Бычок. Когда же я заметил, что у жеребенка курбочка, – окончательно расстроился и поделился своим разочарованием с Кралом. Последний не разделял моей точки зрения и считал, что жеребенок дня через три выравняется и окрепнет. Я уехал из Сергиевского в полной уверенности, что и на этот раз Безнадёжная-Ласка не создала будущей знаменитости.

Но Крал оказался прав: Бубенчик, так я назвал нового жеребенка, быстро окреп. Он рос вполне благополучно и уже в табуне под матерью начал обращать на себя всеобщее внимание. Сходство Бубенчика с основным Бычком было разительно. Лишь масть, темно-гнедая, по своему оттенку была ближе к масти Ласки. Я совсем по-иному стал относиться к Бубенчику, ибо, по моим наблюдениям, те жеребята, которые так ярко напоминали кого-либо из своих великих предков, часто и сами становились выдающимися лошадьми.

К двум годам Бубенчик бросался в глаза своим развитием, мускулатурой и делом. В заводе все смотрели на него уже не иначе как с надеждой и признавали лучшим жеребцом в ставке. Лишь один я, отдавая должное Бубенчику и более, чем кто-либо, ценя его столь ярко выраженный тип, повторял, что в ставке есть еще одна лошадь, которая может оказаться не тише Бубенчика и которая по себе лучше, и что эту лошадь зовут Утёсом.

Приведу мнение о Бубеннике человека, который создал мельниковский завод и был одним из лучших наездников в России, мнение Ляпунова. Бубенчик был годовичком, и Ляпунов видел его работу в манеже на Фатеевском хуторе, когда приезжал навестить меня в Прилепах. Вернувшись из Фатеева, он сказал мне: «Это будущая знаменитость! Если бы были прежние времена, я не задумываясь заплатил бы вам за Бубенчика 50 тысяч!»

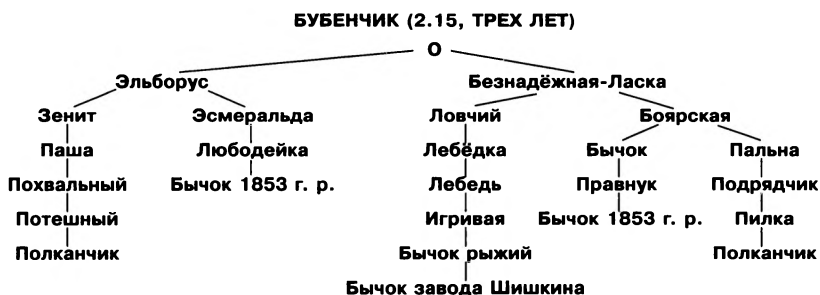
Меня очень беспокоила курба Бубенчика, и я стал говорить Повзнеру, что необходимо вызвать Цветкова и сделать жеребцу прижигание еще до отправки его в Москву. Повзнер начал охать, стонать и жаловаться, что нет денег, пытался мне доказать, что все бесполезно, что Бубенчик самая заурядная лошадь и прочее. Я прикрикнул на него, в Москву была послана телеграмма, Цветков вскоре приехал и сделал Бубенчику удачное прижигание.



Братья В. Ф. и С. Ф. Кейтоны

Месяца через полтора после этого я отправил жеребца в Москву Кейтону. Следует отметить, что никогда до Бубенчика на лошадях завода Бутовича не ездил ни один из представителей этой знаменитой семьи наездников. Бубенчик побегал в руках Кейтона замечательно, и о нем заговорили как о лучшем орловском представителе 1925 года. Незадолго до моего ареста он имел блестящий бег: версту без двадцати девяти (это трехлеток в начале зимы!) и гит 2.23, завершённый сдержанно, легко, вне конкуренции. Этим бегом он выдвинулся в ряды класснейших орловских лошадей молодого возраста. За неделю до моего ареста я видел Бубенчика на бегу. Он ломался и позорно проиграл. Я уехал с бега, так и не повидавав Кейтона, но вынес впечатление, что жеребец был не в своей тарелке (думаю, что у него болел зуб). Вскоре после этого я был арестован и не смог высказать это мнение Самуилу Кейтону. Летом Бубенчик бежал блестяще, выиграл крупнейший трехлетний приз сезона и показал рекорд 2.15 с дробью – резвость первоклассная для трехлетнего жеребца в России! В этом сезоне он еще не выступал, но надо надеяться, что все его лучшие бега впереди. Дня за два до своего ареста я случайно встретил в автобусе Валентину Александровну Кейтон, и она сердечно благодарила меня за Бубенчика. По ее словам, Самуил исключительного о нем мнения и считает, что он не тише своего отца Эльборуса.

Сочетание Эльборус – Безнадёжная-Ласка чрезвычайно интересно.



Бычок 1853 года рождения – 4+5; его отец Петушок – 5+6; Полканчик – 6+6.

В родословной Бубенчика мы прежде всего усматриваем инбридинг на Бычка 1853 года рождения, состоявшего производителем у Д. А. Энгельгардта. Роль Бычков в этой родословной усиливается и другим сыном основного Бычка – циммермановским рыжим Бычком, и здесь инбридинг на основного Бычка происходит помимо Петушка. Инбридинг на казаковского Полканчика, по-видимому, совершенно поглощен Бычками, и Бубенчик не имеет ни одной черты этого знаменитого по своей красоте и высокой породности жеребца. Одновременно родо-

словную Бубенчика пронизывают кроссы Зенита, Ратника, Удалого и Подрядчика. В полной гармонии с такой родословной Бубенчик – типичный Бычок. Судя по знаменитому портрету кисти Рауха, Бычок был очень длинен, имел хорошие линии и углы, был сух, сильно отместист, с большой выразительной головой и характерной спиной с положинкой от связки к холке. В экстерьере Бубенчика есть все эти черты.

Следующий приплод Безнадёжной-Ласки – вороной жеребец Боевой-Порядок – родился от старых родителей. Когда Барин-Молодой покрыл Ласку, ему было 22 года, а когда от этой случки родился Боевой-Порядок, его матери исполнилось 18 лет. Старость родителей не сказалась на развитии Боевого-Порядка сколько-нибудь заметным образом: он рос нормально, развивался хорошо и был обещающим жеребенком в ставке. В заводе среди годовиков он считался вторым по резвости (первым шел Напильник). Из Прилеп сын Барина и Ласки ушел в Хреновую полуторником. Этот сын гнедого отца и гнедой матери вышел вороным с лысиной во лбу. Впервые увидев его после рождения, я пришел в восторг: вороной, лысый, высокий на ногах жеребенок как две капли воды был похож на свою бабу – мать Барина-Молодого знаменитую Милушку. Такое сходство новорожденного предвещало самую утешительную будущность. Боевой-Порядок стал моим любимцем, и я зорко следил за ним в заводе.

Боевой-Порядок, когда осенью прошлого года его привели в Москву, обратил на себя общее внимание и был на выводке единодушно признан лучшим в хреновской ставке 1926 года. Он уже два или три раза с успехом выступил на призу, выиграл и показал резвость 2.28, что очень хорошо для его возраста и первых выступлений. Очевидно, Безнадёжная-Ласка создала еще одного первоклассного рысака.

Родная сестра Боевого-Порядка родилась в 1927 году. Я забыл, как ее назвал. Кажется, Березанью – в память одного из полтавских имений моего деда. В тот год Безнадёжная-Ласка отбила, по обыкновению, после двух садок и с февраля считалась жеребой. Каково же было мое огорчение, когда в начале июня, приехав в Сергиево, я увидел, что она в охоте. Узнав, что я в табуне, сейчас же пришел Крал. Я ему указал на Ласку, и он подтвердил, что она уже второй день в охоте. «Как быть?» – спросил меня Крал. Владыкин был в отъезде, он больше жил в Москве или в Смоленске, чем управлял заводом, и без него Крал не решился крыть кобылу так поздно. Я взял это на себя, и Ласка была покрыта Бариним. Владыкин, вернувшись, устроил скандал в заводе, выразил мне свое неудовольствие и заявил, что так поздно случать кобылу не следовало. Однако результатом этой случки было рождение в 1927 году превосходной гнедой кобылки, с чудной спиной, сухой, дельной и породной. Кобылка была необыкновенно женственна и нежна, она напоминала мне лучших дочерей Барина-Молодого. Сейчас эта дочь Безнадёжной-Ласки находится в Хреновском заводе, и я не имею о ней сведений.

Этот жеребенок был последним, родившимся от Безнадёжной-Ласки в Прилепском заводе. Семнадцать лет эта кобыла украшала мой завод, но в конце декабря 1927 года она навсегда покинула родные места. А вскоре после ухода лошадей и сами Прилепы, где столько лет стоял сначала добрынинский, затем мой, потом казенный завод, превратились в пепелище, и уже никогда никому не суждено разводить там рысистых лошадей...

В Хреновом в 1928 году Безнадёжная-Ласка приплодила от Ловчего, с которым была случена еще в Прилепах, серого жеребца. Само собою разумеется, что, сидя в Тульской тюрьме, я не мог его видеть. О том, что он родился очень хорош и костист, написал мне Басов. Это известие меня порадовало, так как сочетание Ловчий – Безнадёжная-Ласка крайне интересно и сулит большие возможности.

СЕРЫЙ ЖЕРЕБЕЦ ХРЕНОВСКОГО ЗАВОДА

1928 г. р.



Петушок – 7+7+8+6; Бычок (его отец) – 7+7 самостоятельно + четыре раза через Петушка; Удалой – 5+4; Волокита – 6+5.

Объясним это сочетание. Здесь дело обстоит сложнее, и подчеркивать только одни инбридинги недостаточно. Имя Петушка, правда, повторяется четыре раза, но этого повторения не должно опасаться (с точки зрения мелкого роста и не орловских форм), ввиду того что имя Петушка окружено именами выдающихся по своему экстерьеру кобыл: у Кронпринца – Кашей и Красой, у Громадного – Громадой, у Ловчего – Ледой и Летуней, у Боярской – Пилкой и у серого жеребца – Безнадёжной-Лаской. Бычок, отец Петушка, повторяется через кобылу Ходистую и рыжего циммермановского Бычка – лошадей по себе тоже первоклассных. Таким образом, шестикратный инбридинг на Бычка хотя и составляет фон этой родословной, но уравновешен, если можно так выразиться. Замечу, что Удалой и Волокита, эти спутники родословных всех лучших малютинских лошадей, инбридированы в родословной сына Ловчего и Безнадёжной-Ласки. Бросается в глаза, что великий родоначальник рысаков-рекордистов Полкан 3-й как бы ступшевывается в данном сочетании или, точнее, представлен не прямыми, а только боковыми течениями. Доминируют в этой родословной Лебедь 4-й и Горностаев 4-й.

Итак, серый сын Ловчего и Безнадёжной-Ласки, имея фундаментом своей родословной Петушка и Бычка, повторяя имена Удалого и Волокиты, является сильнейшим представителем своей прямой мужской линии, именно линии Лебеда 4-го. Вторая и последняя особенность этой родословной – ее горностаевская сущность. Само собой разумеется, что сын Ловчего и Ласки по своему происхождению выдающийся экземпляр, потому я с величайшим интересом буду следить за его карьерой.

Безнадёжная-Ласка определено дает приплод в отцов или же преимущественно в мужскую родню отца. Арабы очень ценят таких кобыл.

Всего Безнадёжная-Ласка дала с 1914-го по 1928 год включительно, то есть за 15 лет, 14 жеребят, причем один год не была случена, так что она ни разу еще не прохолостела. Из всего ее приплода пал лишь один жеребенок, да и то по объективным условиям революционного времени, а не потому, что был слаб и хил. Из этого числа было 9 жеребцов и 5 кобыл.

По мастям они распределяются так: гнедых – семь, серых – пять, вороных – два. Из них заводское назначение получили: в заводские конюшни – три (Бежин-Луг, Берендей и Берег); заводскими жеребцами в заводы – три (Блеск, Бубенчик и Боевой-Порядок); заводскими матками в госконезаводы – три (Большая-Медведица, Британка и Буянка); заводской маткой в губконезавод – одна (Благодать); несовершеннолетними – два (гнедая кобыла от Барина-Молодого и серый сын Ловчего).

По резвости дети Безнадёжной-Ласки распределяются так: резвее 2.20 – Бубенчик (2.15, трех лет), Блеск (2.19¹/₂, галопом столб), Боевой-Порядок (2.28, двух лет); резвее 2.25 – Большая-Медведица (2.25), Берендей (2.24), Берег (2.24); резвее 2.30 – Бежин-Луг (2.28), Британка (2.26), Буянка (2.28). Двух несовершеннолетних и одну кобылу, Благодать, как не бежавшую при нормальных условиях, из подсчета следует исключить. Остается девять жеребят, и все они вошли в список 2.30 и резвее. Таким образом, Безнадёжная-Ласка дала 100 процентов безминутных лошадей.

Подводя итоги заводской деятельности Безнадёжной-Ласки, необходимо принять во внимание следующее: с одной стороны, все ее дети бежали уже после революции и, следовательно, получили революционное воспитание; с другой – вследствие неудачно сложившихся обстоятельств Прилепский завод оказался в числе гонимых и преследуемых, а потому никогда не имел классовых наездников на своей тренконюшне и терпел всяческие лишения. Итак, Безнадёжная-Ласка по своему происхождению, резвости и классу, по формам и заводской деятельности является одной из лучших орловских кобыл последнего 25-летия, а потому ее потомки должны очень высоко расцениваться специалистами. Автор этих строк, а вместе с тем коннозаводчик всех этих лошадей, глубоко убежден в том, что придет время, когда кровь Безнадёжной-Ласки будет цениться на вес золота, а может быть, и дороже...

Незадолго до революции, а именно в 1916 году, я купил у некоего Макарова трех кобыл: классную Сахаровку (2.18), Жар-Птицу (2.24) и Панночку. Эти кобылы входили в состав завода молодого коннозаводчика и охотника Б. Ф. Морозова, одного из представителей знаменитой московской фамилии. Борис Морозов был типичным дегенератом и к тому же алкоголиком. На бегу он имел свой столик и в течение всего бегового дня дул красное вино. На его конюшне перебивало несколько резвых рысаков, а позднее он завел небольшой завод под Москвой. Вскоре после этого он умер и своих лошадей завещал Макарову, который служил у него управляющим. Из трех купленных мною лошадей резвейшей была Сахаровка, за нее я уплатил что-то около 7 тысяч рублей. Морозовские кобылы пришлись мне не в руку: ни одна из них не оставила следа в заводе и все причинили убыток моему карману.

Панночка – куприяновская кобыла высокого происхождения, так как в прямой женской линии восходила к знаменитой Красавице, матери чиркинского Машистого. Панночка (2.22), мать Казбека и других, не нравилась мне сама по себе, и я не хотел ее покупать. Однако Макаров, желавший поскорее ликвидировать так неожиданно доставшийся ему завод, без нее не продавал Сахаровку, и я вынужден был ее взять. Впрочем, у меня она задержалась недолго и была продана в Сибирь Винокурову. В Прилепах она оставила одного жеребенка – серую кобылку Приязнь от Микулы-Селяниновича, мелкую и бестипную, которую я выбраковал в 1923 году. Панночку я продал Винокурову раза в четыре дороже, чем ее купил, но все же не покрыл убытков от гибели Сахаровки. Последняя обладала высоким классом, хотя при этом имела безобразный экстерьер: будучи шести вершков росту, она напоминала верблюда. Дала в Прилепах серого Стольника и серую же кобылу от Кронпринца. Затем Сахаровка пала, пала и ее дочь от Кронпринца. Добавлю, что Сахаровка была куплена с сосуном, серой кобылкой Маркой от Микулы-Селяниновича. Марка поступила на конную базу Наркомздрава, и затем я потерял ее следы.

Третья кобыла, Жар-Птица, несколько лет провела в заводе, давала хороших жеребят, но ее приплод был несчастлив и погибал. Кобыла тоже оказалась не в руку, и в конце концов я продал ее в Пермский конный завод. Жар-Птица как-никак оставила след в рысистом коннозаводстве, а потому я нахожу возможным сказать о ней несколько слов. В Прилепы она пришла с сосунком по имени Варшавянка. Эта Варшавянка, дочь Вараввы, сына Вармика, была превосходной по себе, дельной, глубокой, правильной и породной кобылой, но небольшого роста. Варшавянка также поступила на базу Наркомздрава и оттуда, покрытая моим Удачным, была продана конному заводу совхоза «Ярославна». От этой случки в 1926 году родилась серая Утеша, которая обещает стать классной кобылой, так как еще двухлеткой показала резвость 2.28.

Жар-Птица родилась в заводе А. И. Рымарева в 1907 году. Она была дочерью Геркулеса. Последний был очень хорош по себе, имел рекорд 1.40, происходил из завода Елисеева и был кругом борисовских кровей. Его отец – сын Листопада и внук Подарка 2-го, известных производителей борисовского завода. Не менее интересна была и мать Геркулеса, кобыла Горделивая, дочь высокопородного Памятника и кобылы Гордой. По своим кровям Геркулес относился к лучшим борисовским линиям и вполне оправдал себя в заводе. Он не произвел ни одной первоклассной лошади, но дал хорошо бежавших, а главное, товарных лошадей. Его приплоды были густы, фризисты, несколько сыроваты, не особенно крупны, но имели правильный экстерьер, породность, замечательные спины, хороший характер и борисовский тип. Ставки от Геркулеса очень ценились барышниками и никогда не застаивались в рымаревском заводе. Именно в таких лошадях была нужда для улучшения массового коневодства, а в настоящее время их нельзя сыскать и днем с огнем. Этот тип и сорт лошадей ушел в безвозвратное прошлое, был вытеснен сначала более резвым рысаком, потом метисом. Позднее революция уничтожила и распылила последние остатки и гнезда подобных лошадей.

Мать Жар-Птицы, кобыла Гневная, была одной из лучших – как по себе, так и по своей заводской деятельности – маток в заводе Алексея Ивановича Рымарева. Гневная дала много хороших лошадей, целый ряд призовых, и если мне не изменяет память, то резвейшая лошадь рымаревского завода, знаменитая Награда, была именно из этой женской семьи. Гневная кругом происходила от павловских лошадей. Генерал Д. И. Павлов был большим знатоком лошади и одним из четырех братьев-коннозаводчиков, сыновей известного тамбовского коннозаводчика И. И. Павлова. Лошади генерала не отличались красотой, но были очень дельны, широки, костисты, крупны и вместе с тем простоваты. Имели крайне характерные головы с римским профилем. Часть лошадей Д. И. Павлова, и притом лучшая, была куплена моршанским городским головой А. И. Рымаревым. Последний вел свой завод не мудрствуя лукаво и достиг хороших результатов. К сожалению, его сыновья завод модернизировали и тем значительно понизили качество и достоинство прежних лошадей.

Жар-Птица была кобылкой небольшого роста, гнедой масти и отмет не имела. Она была очень глубока и низка на ногах. Особенно хороша была у нее верхняя линия: прямая, как линейка, спина, хорошие круп и окорока, приятная шея, не тяжелая, но и не легкая голова. Нога была костистая, правильная по форме и фризистая. Жар-Птица хорошо бежала и имела рекорд 2.24.

Происхождение, принадлежность к очень ценной женской семье, резвость и формы Жар-Птицы вполне отвечали тем требованиям, которые я предъявлял к заводской матке. Выбрав Жар-Птицу, я не ошибся. Она давала превосходных по себе и резвых детей, но приплодам ее не везло: дети ее гибли. Да и сама она часто холостела. Словом, заводской карьере этой кобылы в Прилепах сопутствовал ряд неудач и я решил с нею расстаться. Перемена рук в таких случаях часто единственное спасение, и на примере Жар-Птицы это лишнее подтвердилось. Перед

продажей я велел ее покрыть с Ухвatom, и Жар-Птица оказалась не только жеребой, но и дала здорового сына, который – по крайней мере, так мне писали из Перми – очень хорош по себе.

Заводская деятельность Жар-Птицы в Прилепах:

1917 год – гнедая кобыла от Вараввы. Продана.

1918 год – вороной жеребец Железняк от Кронпринца. Продан.

1919 год – рыжий жеребец от Лакея. Пал.

1920 год – вороной жеребец Жадный (2.30) от Лакея. В заводской конюшне.

1921 год – гнедой жеребец Живописный (1.42) от Бронтозавра. В заводской конюшне.

1922 год – приплод от Удачного. Пал.

1923 год – вороной жеребец Желанный-Гость (2.21) от Эльборуса. В заводской конюшне.

1924 год – холоста.

1925 год – холоста.

Начало 1926 года – продана Пермскому государственному заводууправлению.

До своего поступления в завод Жар-Птица дала Варшавянку, о которой я уже говорил. Она и два следующих приплода Жар-Птицы попали в самое тяжелое в смысле голодовки время и погибли. Та же участь постигла Железняка, сына Кронпринца.

Лучшего своего сына Жар-Птица дала в 1919 году. Этот жеребенок происходил от Лакея. Ах что это был за жеребенок! Что за идеальная по ладам лошадь! Никогда, ни до ни после, Лакей не давал ничего подобного! Когда этот сосунок погиб, я прямо плакал... В 1919 году Жар-Птица была так слаба и имела так мало молока, что жеребенок, выйдя с ней на пастбище, после первого же дождя простудился и пал от воспаления легких.

В 1920 году Жар-Птица опять имела приплод от Лакея. На этот раз родился вороной жеребец с мягковатой спиной, некрупный, длинный, костистый и с характерной павловской головой. Он был, несомненно, резв, бежал в Ленинграде и официально показал 2.30. Для пунктового жеребца вполне достаточно. Его полубрат Живописный от Бронтозавра родился в 1921 году. Это была очень интересная и блестящая по себе лошадь.

В 1922 году приплод от Удачного и Жар-Птицы пал, а затем, в 1923-м, от Эльборуса и этой кобылы на свет появился класснейший Желанный-Гость. По экстерьеру в ставке 1923 года он был едва ли не лучшим, а по породности – определенно первым. В тот год отъемыши зимовали в Фатееве, туда же был направлен со своими сверстниками и сын Жар-Птицы. В то время Фатеевским хутором (в официальных бумагах он именовался отделением) управлял Мышецкий, очень внимательно относившийся к своим обязанностям. Желанный-Гость был любимцем Мышецкого, и, когда я приезжал смотреть жеребят, он в первую голову выводил его. Сын Жар-Птицы был действительно хорош, но, как часто случается с такими забереженными любимцами, с ним стряслась беда: он сбил себе кострец и навсегда остался калекой. Несчастье лишний раз убедило меня, что Жар-Птица не в руку заводу.

В 1924 и 1925 годах Жар-Птица прохолостела, и я решил с ней расстаться.

Было ли удачно сочетание кровей Эльборуса и Громадного? Целый ряд дочерей Громадного в Прилепском заводе поступили от Эльборуса, и все они без исключения дали от этого жеребца свой резвейший приплод.

Соколиха (Громадный – Соперница) дала пять голов приплода от трех жеребцов: Лакея, Эльборуса и Барина-Молодого. Резвейшей оказалась Сорока (2.25) от Эльборуса.

Псиша (Громадный – Приятельница) имела четырех жеребят от Лакея, Кронпринца и Эльборуса. Резвейший приплод – Прелесть (2.21) от Эльборуса.

У Складки (Громадный – Султанша) из четырех голов приплода от жеребцов Эх-Ма и Эльборуса резвейшим был Смех (2.19), сын Эльборуса.

Услада (Громадный – Урна) дала три головы приплода от Барина-Молодого и Эльборуса. Резвейшим был Утёс (2.16), опять-таки от Эльборуса.

Менее благополучно обстоит дело с экстерьером лошадей, родившихся от данного сочетания кровей. Впрочем, Эльборус и при других сочетаниях редко дает породных и хороших по экстерьеру потомков. Вот почему я никогда не был сторонником поступления этого жеребца производителем в Хреновской завод: повывисив резвость у хреновских рысаков, он одновременно ухудшит их экстерьер. Едва ли это является задачей первого государственного завода рысистых лошадей. Не то плохо, что Эльборус со стороны матери внук Бычка завода Голохвастова, а в том беда, что, сам не имея коренного недостатка этой линии – плохой спины, он очень устойчиво передает его своим детям. Если же еще принять во внимание, что другой хреновской производитель, Барчук, тоже имеет кровь Бычков и при этом обладает не вполне безупречной спиной, то станет понятным, какая опасность угрожает в будущем Хреновскому заводу.

Основная ошибка, допущенная в свое время в Хреновском, заключалась в том, что в заводе чересчур большое значение придали трем модным линиям и собрали здесь главным образом представителей этих линий. Кроме того, при назначении кобыл в Хреновую в первую очередь обращали внимание на их резвость. Не была учтена фешенебельность их происхождения, принадлежность кобыл к знаменитым женским гнездам. В результате в Хреновском заводе получились весьма разношерстный состав маток. Затем в заводской работе погнались, что называется, за двумя зайцами, то есть захотели сразу получить и классных, и экстерьерных лошадей. Естественно, не достигли ни того ни другого. Все резвейшие орловские рысаки, ныне украшающие Московский ипподром, родились в других заводах. Правда, шестеро из них – Ловчий, Крестник, Эмир, Казбек, Бубенчик и Утёс – бегут в хреновских цветах, но это свидетельствует только о ловкости Пуксинга, который сумел их получить для вверенного ему завода. Фактически же четверо из них родились в Прилепах, двое – в Светлых Горах. В этом списке лучших ипподромных лошадей мы не видим ни одной, которая бы родилась в Хреновой. То же следует сказать и про экстерьер. В массе современная хреновская лошадь, благодаря исключительным условиям этого завода, хороша, но выдающихся экземпляров нет. А ведь на Хреновую последние восемь лет были обращены все взоры, заводу выделялись неограниченные средства, предоставлялись широчайшие возможности. Другие заводы республики не смели и мечтать о таких благах и таком материале, а на деле их успехи оказались выше. Стало быть, при ведении Хреновского завода была допущена капитальная ошибка.

Масштабные и широкие задачи должны стоять перед Хреновой: там надо научиться создавать не только резвых, но действительно первоклассных и выдающихся по себе лошадей, формировать элиту не только для Хреновского завода, но и для всей орловской породы. Если Хреновая не справится с этими задачами, песенка орловской породы спета. В первые десять лет после революции в республике еще сохранялись остатки знаменитых лошадей, уцелело два-три старых орловских гнезда, но теперь все это влито в Хреновую, и во второй раз спасать этот завод будет уже нечем. Пусть это твердо помнят руководители коннозаводского ведомства, управляющий Хреновским заводом и его помощники. Они приняли на себя великую ответственность, и их имена история либо вознесет, либо заклеяет.

В Прилепах и до революции никогда не было много земли, а так как я вел завод в очень крупном масштабе и число кобыл доходило до 60–70 голов маток, то кормов всегда не хватало и их приходилось подкупать. В то время это было нетрудно: на рынке овса сколько угодно, солома покупалась у окрестных крестьян, а сено, 6 тысяч пудов, доставлялось по договору из имения председателя Крапивенской уездной земской управы Игнатьева. Иное дело во время революции. Кормовой вопрос встал так остро, что скот и лошади погибали от бескормицы. Временами положение в Прилепах становилось просто трагическим... Теперь существование прилепских лошадей кажется таким естественным явлением: национализировали, мол, в свое время лошадей у Бутовича, спасли их, наименовали новый завод Прилепским и пользуемся плодами своей разумной политики. Никто из современных деятелей не хочет обременять себя размышлением: а каково было спасти этот завод в годы голодород и разрухи? Кто это сделал, кто положил на это все свои силы, умение и самоотверженную любовь к делу? Те, кто могли бы ответить на эти вопросы, либо умерли, либо сошли со сцены. Их сменили новые люди, которые недостаточно ценят старых специалистов, жертвовавших собой в буквальном смысле слова и спасших заводы и лошадей от гибели. Имена создателей советского коннозаводства забыты, их трудами воспользовались другие. Надолго ли? Беспристрастный суд истории отметит их заслуги и воздаст «коемуждо по делом его».

Местность, в которой находятся Прилепы, окружена селениями и деревнями и густо населена. Крупных имений поблизости не было. После революции все окружавшие Прилепы небольшие имения пошли под крестьянские наделы. С величайшим трудом удалось отстоять 106 десятин земли. Из соседних имений, превращенных в совхозы, уцелело Фатеево с 70–80 десятинами да Сергиево, где осталось 130–150 десятин земли. В Прилепах остался конный завод, в Фатееве – бывший завод Офросимова, а в Сергиеве – стадо голландских коров.

Я тогда же указывал в земельном управлении, что необходимо, пока не поздно, дать Прилепскому заводу подсобные хозяйства, присоединить к нему крупный совхоз в другом уезде (он составил бы кормовую базу завода, и зимой по санному пути в Прилепы доставлялись бы овес и, в прессованном виде, сено и солома). Выводить завод из Прилеп я не считал рациональным. Сохранить культурные ценности в те годы можно было лишь вблизи города, пользуясь поддержкой и покровительством более культурных губернских властей; в уездах же царила полная неразбериха, там все гибло, расхищалось и уничтожалось. Кроме того, найти вполне оборудованное помещение для конного завода такого масштаба было уже невозможно. Власти со мной соглашались, но исполнение проекта натолкнулось на резко отрицательное отношение со стороны всех без исключения губернских специалистов. В большинстве своем это были люди отнюдь не крупного масштаба, политически недалекovidные: они со дня на день ждали изменения положения и желали снять с себя ответственность, сохранить в неприкосновенном виде все оказавшиеся в их руках совхозы.

Когда положение в Прилепах стало почти что катастрофическим, я опять поднял этот вопрос и власти вынуждены были пойти на уступки. К Прилепам был присоединен Фатеевский завод с его клочком земли. Однако это ни в какой мере не разрешало вопрос: Фатеево не в состоянии было прокормить даже своих лошадей. Вот почему я стал добиваться увода оттуда завода. Около года шла эта борьба. Вопрос в конце концов разрешился в пользу Прилепского завода, и фатеевские лошади были уведены. Зная, что при тех порядках, которые царили в уездах, и при том ведении дела, что имело место в отделе животноводства государственного заводоуправления, все эти лошади обречены на гибель, я оставил лучших кобыл: рекордистку Бурливую, гнездо Крали, гнездо Уборной и еще двух-трех. Наконец Фатеево опустело, было, сколько возможно, приведено в порядок и стало

подсобным хозяйством завода. Это не разрешало, конечно, кризиса, но все же облегчало положение.

В те годы Шаховское, богатое имение князя Д. Д. Оболенского, с хорошими постройками и большим массивом земли, было в ведении не уездных, а губернских властей, и там находился чистокровный завод, бывший Вольнотенова-Калугина. К Шаховскому несколько позднее было присоединено бывшее имение барона Фредерикса, и таким путем образовался мощный и крупный в земельном отношении совхоз. Я опять выступил с проектом – передать лошадей этого завода, кстати сказать весьма посредственного класса, в другие руки и перевести их в более южные уезды, Шаховское же присоединить к Прилепам и тем самым обеспечить лучший в губернии рысистый завод земельной площадью, подвести под него твердый фундамент и раз и навсегда решить проблему его существования. Это вполне отвечало государственным интересам коннозаводского ведомства. Однако в губернской технической комиссии вопрос был провален. В Шаховском царил некий Борисов; лошади у него заболели чесоткой, и завод он привел к полному упадку. Это был хитрый человек, который знал, когда и кому следует привезти крупы, бидон молока, куль муки... Если бы Шаховское отошло к Прилепам, то вся эта благодать прекратилась бы. Само собой, что в докладных записках, докладах, на совещаниях и заседаниях не было забыто и значение чистой английской крови, и прочие высокие материи.

Борьба за Шаховское совпала с моим назначением начальником отдела коннозаводства Главного управления государственного коннозаводства при Наркомземе. На мою долю выпала нелегкая и ответственная задача составить первый перспективный план, обосновать его, выявить тот племенной материал, которым владеет республика, сформировать госконезаводы и прочее. Коротко говоря, на чистом листе надо было создать все и затем от слов перейти к делу. Эта трудная задача была мне облегчена тем вниманием и доверием, с каким относился к моим проектам и предложениям Н. И. Муралов, заместитель народного комиссара земледелия и мой непосредственный начальник. Я всегда с удовольствием вспоминаю совместную работу с этим дельным, толковым, справедливым и порядочным человеком. Именно Муралову наше коннозаводство в значительной степени обязано тем сравнительно хорошим состоянием, в котором оно находится теперь. Работать с Мураловым было легко и приятно: он относился к своим подчиненным с доверием и уважением, и те, естественно, платили ему тем же.

Одной из первоочередных задач того времени в коннозаводском ведомстве было выделение лучших конных заводов и закрепление их за центром. Я приступил к составлению списка и включил в него Шаховской завод чистокровных лошадей. Это мероприятие было одобрено коллегией Наркомзема и затем через ВЦИК проведено в жизнь. Шаховское перешло в ведение центра, и на этот раз губернии пришлось подчиниться.

Через полгода после перехода Шаховского завода я предложил в Совете коннозаводства вывести оттуда чистокровных лошадей, а совхоз передать в ведение Прилепского завода. Все рысачники меня поддержали, но «скакуны» во главе с Брусиловым и Ильенко встали на дыбы: они и слышать не хотели об уходе из Шаховского чистокровных лошадей. Дело дошло до Муралова. Брусилов сделал доклад, и Муралов согласился с ним. Напрасно я доказывал Брусилову, что чистокровные лошади в Шаховском потеряли всякую ценность, что они голодали, перенесли чесотку и лучшие из них пали, что ныне этот завод не имеет коннозаводского значения, что через три-четыре года будет гораздо выгоднее купить чистокровный материал за границей, нежели истратить на шаховских лошадей уйму денег и ничего от них не отвести. Брусилов стоял на своем. Когда он ушел, Муралов, словно извиняясь передо мною, сказал, что он со мною согласен, но неудобно было обидеть Брусилова.

Прошло еще полгода. Все госконезаводы Тульской губернии и завконюшня были объединены в управление, и я был поставлен во главе его. Как ни мешали мне работать туляки, дело все же наладилось и шло недурно. В Шаховском стояли чистокровные лошади, вернее, жалкие остатки и без того всегда скромного завода. Время шло, и коннозаводское ведомство безо всякого давления с моей стороны приняло решение ликвидировать Шаховской завод, как не отвечающий своему назначению. Часть лошадей была назначена в Гомель, часть – в Хреновое. Брусилов ушел из коннозаводства, а Ильенко утратил влияние, так что эта ликвидация не встретила никаких затруднений. Борисов, который уцелел в Шаховском, зорко следил за происходящим и, как только было получено распоряжение об эвакуации, сообщил в земотдел, что Шаховское велено превратить в подсобное хозяйство Прилепского завода. Это не отвечало интересам самого Борисова и затрагивало самолюбие специалистов и губземотдельцев. Они дали вывести завод, но после этого я был приглашен на чрезвычайное и расширенное заседание губернской зоотехнической комиссии.

Приезжаю на это заседание. Члены комиссии в полном составе плюс несколько агрономов, ветврачей, управляющие заводами, кое-кто из партийцев – словом, целое собрание. Волков торжествует, и это торжество написано у него на лице. Наконец заседание открывается. Волков делает доклад, сущность которого сводится к тому, что раз завод выведен из Шаховского, то коннозаводское ведомство потеряло право на совхоз, поэтому губерния берет его в свои руки и сосредоточит там рысистый завод губернского значения. Я попросил слово и указал на незаконность подобного решения. Шаховское было закреплено за коннозаводством постановлением ВЦИКа, и только этот высший в республике орган может отменить свое решение. Члены зоотехнической комиссии власть наговорились и затем присоединились, все без исключения, к предложению председателя. Я остался при особом мнении, которое и приложил на следующий же день к протоколу заседания. Так единым росчерком пера зоотехническая комиссия аннулировала распоряжение ВЦИКа и отобрала Шаховское. Подобный казус возможен был только в Советском Союзе и только в то время! Замечательно, что коллегия государственного заводоуправления утвердила это постановление. В центре сначала возмущались, хотели протестовать, но потом махнули рукой: пускай, мол, Бутович выкручивается как хочет, наша хата с краю. Во главе коннозаводского ведомства стоял в то время бестолковый и безличный человек, совершенная бездарность, ему интересы коннозаводства были абсолютно безразличны. Я попытался опять начать борьбу, но мне в Туле в верхах очень прозрачно намекнули, что если буду протестовать, то мне в Тульской губернии не жить...

Так Шаховское прошло мимо моих рук, «по усам текло, а в рот не попало». Желая подсластить пилюлю и придать видимость плановости своим работам и постановлениям, губернская зоотехническая комиссия передала Прилепскому заводу вместо двух тысяч десятин Шаховского Сергиевский совхоз площадью 150 десятин! Голландское стадо, или голландеры, как называл их Волков, было выведено оттуда, и Сергиевское стало составной частью Прилепа.

Третью, и последнюю, попытку получить Шаховское я предпринял, когда Волков ушел из губернии, ряды специалистов поредели, а мнения и установки у них изменились. Государственное заводоуправление поддержало мое ходатайство, но на этот раз заупрямился трест, к которому перешло Шаховское. В то время мое положение в Москве было очень шатко, и, получив отказ треста, я раз и навсегда махнул на это дело рукой. Тем самым судьба Прилепского завода была предreshена, ибо я прекрасно понимал, что рано или поздно завод расформируют, придравшись к тому, что в Прилепах малоземелье, корма надо закупать и завод является убыточным предприятием.

Свою роль в деле укрепления прилепского хозяйства сыграли присоединенные к Прилепам Сергиевское и Фатеevo.

Фатеevo спокон веку было родовым хозяйством господ Офросимовых, старой дворянской фамилии. Последний хозяин Солосовки и Фатеева старик Офросимов владел большим имением в Епифанском уезде, но жил постоянно в Фатееве. Я хорошо знал Солосовку еще до революции, и если бы только она продавалась, то непременно купил бы это имение и переехал туда из Прилеп. Мне редко доводилось видеть более мирный, укромный и красивый уголок, столь живописно расположенный почти на самом берегу реки. Дорога из Прилеп в Солосовку приятнее и спокойнее, чем та, по которой приходилось ездить в Тулу. С одной стороны дороги идут пашни прилепского имения, с другой – кишкинских крестьян. Кишкинские земли заканчиваются у большого оврага, который служит границей двух владений: по одну сторону земля принадлежит Кишкину, по другую – крестьянам Лабынского села, или Лабынок, как говорят местные жители. На кишкинской стороне когда-то был хороший лес. Теперь он вырублен, но молодежь хорошо принялась. В этой поросли было много белых грибов, и, возвращаясь из Фатеева, я нередко отпускал лошадей и, гуляя там, набирал полную шапку грибов. Лабынская сторона безлесна и гола. Крайний надел у оврага, самый неудобный и кочковатый, уже во время революции сердобольными лабынцами был выделен попу, здесь я часто видел его трудившимся в поте лица...

Лабынки – довольно большое село, вотчина знаменитого коннозаводчика и владельца чистокровных лошадей П. Н. Мясова, одного из основателей скакового дела в России. В мое время имение это принадлежало Медее Фигнер. Оно лежит справа от дороги и утопает в зелени дубовой рощи, парка и фруктовых садов. Однообразно и скучно тянутся поля лабынских крестьян, «аржаные» поля, как говорят туляки. То ли дело блестящая и стройная пшеница – она так радует глаз, или шуршащие, говорящие поля овсов, или голубые льны и душистые гречи, или, наконец, волнообразные, свободные и сочные холсты клевера. Все они наполняют душу удовольствием, тогда как тощая блекло-желтая рожь с ее поникшими колосьями повествует проезжему о горестях и бедах русской жизни...

Прямо открывается простор. Вдали, на фоне старого парка, белеет красивый дом Хитрово, фасад дома виден как на ладони и обращен к реке. Несколько поодаль приютилась скромная железнодорожная станция Присады и видна линия железнодорожного пути. В низине течет река Шат, на ее берегах рассыпались несколько деревень, огороды, луга, а еще дальше высится железнодорожный мост. Ближе течет и извиляется Упа, ей преграждает путь раевская мельница. Сейчас же за мельницей, на крутом бугре, стоит деревушка Каменка, а поодаль – офросимовская усадьба. Ряд столетних елей стройной линией тянется по рубежу усадьбы и отделяет ее от проезжей дороги. Все постройки усадьбы – дом, конюшни, службы, амбары, кладовые, клетки, сараи, навесы – разбросаны в каком-то живописном беспорядке. Дополняет картину небольшая деревушка Солосовка, скромно приютившаяся за садом и оврагом. Сколько раз я ездил по этой дороге, казалось, каждая кочка, каждое деревце, всякая полоса и нива мне знакомы, и тем не менее всегда эта дорога производила на меня неотразимое впечатление и была полна очарования.

Свою первую остановку я обычно делал на раевской мельнице, которая принадлежала Апасовым. Здесь я любил постоять на плотине и послушать шум воды. Неизменно выходил меня приветствовать хозяин, как и все мельники осыпанный мукой, точно пудрой. Бывало, скажешь с ним два-три слова, садишься в экипаж и едешь дальше. А над мельницей стоит невообразимый шум: грачи, свившие себе сотни гнезд в небольшой роще, ведут свою болтовню на непонятном птичьем наречии. На выгоне ходят крестьянские лошади, деревенские ребяташки здороваются со мной. Я поглядываю на лошадей и узнаю тех кобыл, которых приводили на случку

к пунктовым жеребцам в Прилепы. Их сосуны отличаются от простых, а дети Эх-Ма прямо напоминают рысаков. Отсюда до Фатеева рукой подать. Мимо мелькают красавицы ели, показываются, быстро оставаясь позади, постройки, еще один-другой поворот – и вот наконец Фатеево...

Все постройки фатеевской усадьбы были обращены к реке и расположены на склоне. Барский дом, двухэтажный, из хорошего соснового леса, по своей архитектуре напоминал дачные дома под Москвой. Он был построен при последнем владельце Солосовки А. П. Офросимове. Дом большой, поместительный, с террасой, над которой во всю длину балкон для второго этажа. Внутри дом не был удобен: громадные комнаты больше напоминали сараи, чем жилые помещения; обоев нигде не было, и это довершало его сходство с подмосковной дачей. Правее дома был разбит смешанный парк: липовые и березовые аллеи чередовались там с куртинами яблонь, было несколько грушевых деревьев. Границей парка служил пруд, где в изобилии водились караси; сейчас же за ним располагалась деревушка. Перед домом когда-то был цветник, но во время революции его запустили. Аллея молодых берез, что шла левее дома к пруду, служила границей парка с противоположной стороны и отделяла его от служб. Я любил офросимовский парк: в нем было тенисто и как-то особенно ярко зеленели поляны, окаймленные столетними липами и березами. А в разных уголках сада одиноко стояло несколько редких деревьев – кедр, пихта и голубая ель. Была в этом саду и традиционная горка, но грот, этот неизменный спутник помещичьих садов, отсутствовал.

Все постройки офросимовского имения, кроме одной, были из камня и положены на глине. Крыты они были старым железом, окрашенным в черный цвет. Самые большие постройки – это конюшня и каретный сарай. Правее – изба для конюхов, кузня, плотня и бондарня. Большой деревянный манеж стоял поодаль, между призовой конюшней и маточной. Эта маточная, низкая и примитивная оборудованная, имела открытый варок, к одной стене которого скромно притулился поднавес. С маточной соединялась конюшня для молодежи, в крайнем углу которой было помещение для рабочих лошадей. Возле молодой березовой аллеи располагались кирпичный флигелек, кладовая и амбар. За плотней и бондарней когда-то был большой скотный двор, а недалеко от него – свинарник, погреба, картофельные ямы и еще две-три стройки. Все это было старое, убогое, покосившееся. Во время ветров и бурь офросимовские крыши неизменно «улетали», их собирали по всей усадьбе и потом тем же примитивным способом водворяли на место. Во время революции эти постройки пришли в окончательный упадок: манеж остался без верха, в конюшнях перегородки почти исчезли, стекла были выбиты, крыши текли, везде дуло и сквозило. Приняв в таком состоянии имение, я привел его в порядок: манеж был возобновлен, крыши поправлены, стены конюшен переложены, вся внутренность сделана заново, и Фатеевский хутор стал выглядеть так, как не выглядел и при самом Офросимове.

Земли в Фатееве после наделения ею крестьян осталось 60–70 десятин, да еще 20 десятин лугу. Земля вся в одном холсте и очень плодородная – урожаи в Фатееве были рекордные. Вместе с хутором был принят кое-какой инвентарь и две-три рабочие лошади. Из прежних работников уцелел один старик, который был у Офросимова и старостой, и плотником, и бондарем, и шорником. Я его знал давно. Это был трудолюбивый человек, очень неглупый и, подобно почтмейстеру из «Мертвых душ», любивший иногда уснастить свою речь. Он прослужил в Фатееве в течение десяти первых лет революции и ушел вместе со мною.

Фатеево, несмотря на свое малоземелье, было ценным приобретением для Прилеп. Первое время там стояли заводские матки и часть молодежи. Потом я превратил Фатеево в питомник для воспитания молодежи. Там стояли сосуны, шла тренировка, был разбит ипподром, а зимой исключительно удобна была работа на реке.

Сергиево было имение другого типа и характера. Относительно большой массив земли, сто с лишним десятин превосходных лугов, хорошее стадо голландских коров и великолепное ведение дела старостой-хохлою. Сергиево, а точнее, Сергиевское принадлежало генералу Языкову, брат которого, тоже генерал, владел неподалеку, в Кишкине, отдельным имением. Языковы были очень богатые люди, имели дом в Петербурге, дачу в Крыму и круглый капиталец в банке. Жили они всегда в столице и в свою деревню приезжали только летом на месяц-два. С Офросимовыми они были в родстве. Когда я купил Прилепы и познакомился с ними, генерала уже не было в живых, а собственницей и распорядительницей всего состояния являлась вдова Софья Васильевна. Оба ее сына, Василий Александрович и Пётр Александрович, служили: первый был мировым судьей в Петербурге, второй – одним из секретарей нашего посольства в Берлине. Петя Языков не любил деревни, его брат охотно проводил в Сергиевском свой отпуск и был страстным охотником. Обе дочери Софьи Васильевны сделали хорошие партии: одна была замужем за бессарабским помещиком, известным Крупенским, другая – за Княжевичем. Оба брата были холостяки. Я был в хороших отношениях с этой семьей.

Сергиевское лежит в конце Тульского уезда, гранича с Богородицким уездом. Оно расположено на самом берегу Упы и находится в двух верстах от шоссе, которое соединяет упскую часть с Тулой. Дом в Сергиевском стоял на самом берегу реки и фасадом был обращен к дороге. Трехэтажный, старинный, он, как все такие дома, отличался удобством и вместительностью: множество комнат, уютные уголки и небольшой интимный балкон с видом на реку и луга. В доме была хорошая старинная обстановка и замечательные печи, которые в гостиной имели вид колонн, установленных на фундаментах и увенчанных вазами. Все это вышло в александровское время из рук хорошего мастера.

Усадьба Языковых была довольно велика – два сада, как два крыла, расprostерлись справа и слева от дома. Правый сад был не очень старый и фруктовый. Левый был, собственно, не садом, а парком, переходившим в сад. Между этим садом и домом лежала короткая улица, в конце которой стояло два-три амбара да навес над возовыми весами. Сад и парк были обнесены низкой каменной оградой. Языковский парк, преимущественно липовый, был очень хорош: широкие центральные аллеи и узкие боковые, весь заросший тиной пруд, какая-то причудливая пирамида из земли – в былые времена, вероятно, площадка для затейливого китайского павильона. Парк был очень запущен, над ним постоянно кружились грачи, вили свои гнезда и усыпали дорожки тонкими сухими веточками. Уже во время революции я любил побродить здесь один. Грачи при моем приближении целыми стаями поднимались вверх, кружили и затем с пронзительным криком опускались на ветки своих излюбленных лип. Грачи, эти спутники заброшенных дворянских усадеб, никогда не раздражали меня, напоминая о безвозвратно ушедшем прошлом... Парк переходил в яблоневоый сад, который упирался в пруд, длинный, довольно узкий и поросший камышами. Был в этом саду и второй пруд, где в прежние времена разводилась рыба к столу. В конце сада, за прудом, находилось гумно: стояла рига, один поднавес для соломы, деревянный сарай. Гумно было обнесено рвом и обсажено серебристыми тополями и осокорями. Дальше начинались пойменные луга.

Насколько был хорош, удобен и фундаментально выстроен дом, настолько были плохи остальные постройки имения: все поставлены вкривь и вкось и содержались в очень неряшливом виде. Постройки эти стояли с екатерининских времен, потому окна в них заменяли щели и низки они были невероятны.

Когда Прилепский завод принял Сергиевское, там не оказалось никакого инвентаря: все вывез губсовхоз. Пришлось покупать лошадей, делать сбрую, дать инвентарь из Прилеп, приобрести телеги, хода и прочее. Управлять Сергиевским отделением остался прежний заведующий Кареев, человек дельный и знающий, но люби-

тель выпить и непроходимый хам. Он именовал себя агрономом, ибо кончил какое-то низшее земледельческое училище. Земля в Сергиевском была очень плодородная, черноземная и совсем не запущенная, урожаи хороши, а заведенное травосеяние давало несколько тысяч пудов клеверного сена, остальное получалось с заливных лугов.

Сколько-нибудь терпимо расположить лошадей в Сергиевском было невозможно, прежде следовало привести все постройки в сколько-нибудь удовлетворительный вид. Это было тем труднее, что Прилепам центр кредитов на постройки не отпускал, за все приходилось платить из хозяйственных сумм, главным источником которых были продажи бракованных лошадей и аренда садов. В первый же год была оборудована маточная, а в течение трех последующих – переоборудован скотный двор и отремонтировано две конюшни для ставочных лошадей. Был даже разбит очень удобный полутораверстный круг. Позднее в Сергиевском остались одни заводские матки, а вся молодежь ушла в Фатеево. Мало-помалу все пришло в относительный порядок.

В Сергиевском были очень хорошие выпасы: помимо лугов кобылы ходили там на клеверах, а осенью – на всех отавах. Я часто навещал кобыл в Сергиевском, особенно любил приезжать в табун. Тут я провел лучшие часы своей жизни, отдыхал от всех треволнений, которые выпали на мою долю за последние десять лет. В табуне я оставался подолгу: изучал жеребят, любовался кобылами. Над старым языковским парком заходило солнце, замолкали грачи, табун начинал ходить беспокойно и тянулся к реке. Вечерело. Бросив последний взгляд на лошадей, я уезжал домой в своем одноконном шарабане. Выпадали вечера, когда все кругом заполняла необыкновенная тишина и воздух становился как-то особенно прозрачен. Вдруг откуда-то возникали шумы или стуки, которые рождались неожиданно и так же быстро умирали. И снова та же гладь и пустота окрестных полей...

Присоединение Сергиева и Фатеева к Прилепскому заводу сыграло большую и положительную роль в существовании этого завода. Они дали несколько тысяч пудов сена, полностью обеспечили завод рожью, на три четверти – соломой, а своего овса стало хватать до 1 января. Я уверен, что присоединение еще одного небольшого, в 150 десятин, хозяйства вполне разрешило бы кормовой вопрос в заводе.

Не менее важной для завода оказалась возможность правильно распределить племенной материал и ввести в нем строгую специализацию. В Фатееве все внимание было сосредоточено на молодежи. Были сделаны две левады, сюда доставлялся лучший овес, были подобраны люди, работали три наездника. Здесь жизнь была ключом, здесь был нерв завода. В Сергиевском стояли матки и заводские жеребцы. И царил Крал, «лучший маточник на земном шаре», как я ему шутя иногда говорил. Тут были устроены варок, левада, хорошо шоссированный водопой к реке и прочее. Само собой разумеется, что если бы не эти два хутора, то воспитать таких лошадей, как те, которые ныне бегут в Москве, было бы совершенно невозможно. Если когда-нибудь будет написана история Прилепского завода, Фатееву и Сергиеву будет отведено там далеко не последнее место.

Тяжело на старости лет кочевать с места на место и не иметь своего угла, но еще тяжелее это в тех условиях, в которых я нахожусь. Тут больше, чем где-либо, дорожишь своим местом, которое по размерам не превышает могилы. Тем не менее к своей камере привыкаешь и с ужасом думаешь о том, что вот-вот переведут и опять предстоят новые знакомства, новые люди, свои порядки в камере, новый староста, свои авторитеты, неизбежное для новичка место у зловонной параши, а затем медленное перемещение к лучшим местам. Все это знакомо тем, кто, подобно мне, имел несчастье кочевать по тюрьмам...

Прямо-таки отчаяние охватило всех нас, когда вчера, 28 января 1929 года, неожиданно загремел и щелкнул замок в первой камере и в дверях появились фигуры Бутылёва и Тонышева. «Собирайтесь», – последовало лаконичное распоряжение. Задавать вопросы не полагалось. С трудом поднялся я со своей койки и стал собирать имущество. Кругом, а в крохотной камере нас было пять человек, уже суетились. Я сложил старый соломенный матрац, две простыни и одеяло, которое прислал мне Швыров в мае прошлого года (с февраля по май я не имел ни одеяла, ни подушки, спал на голом полу, укрывался легким пальто, а под голову клал шубу). Затем свернул койку – кстати, и койку, и матрац подарил мне, уходя отсюда, один порядочный и очень сердобольный еврей Моисей Самойлович Кронрод. Я открыл мой дорожный чемодан (он всегда упакован, и в нем все мои богатства: несколько пар белья, три шапки, брюки, несколько книг), уложил туда эти тетрадки, коннозаводской журнал, кое-какую мелочь. Затем собрал свою кошелку и корзинку. Обе они старенькие, за них и гривенника не дадут на базаре, но тут они мне так нужны. Их тоже подарил мне Кронрод. В корзинке у меня грязное белье, махорка, коробка из-под монпансье, где я держу донник, который подмешиваю к махорке, кипа беговых афиш, старые ботинки и туфли. В кошелке стакан, две ложки, три жестяные банки – с чаем, сахаром и солью, женский платок вместо салфетки, гребень, зубная щетка и тюбик с зубной пастой. Вот и все мое имущество. Думаю, что даже Андреев с Синециным и Будником не признали бы его музейной собственностью...

Опять заскрипела дверь. Тот же голос спросил: «Готово?» Мы готовы, одеты и с вещами в руках ждем. Два моих товарища по несчастью, крестьяне, у которых нет ничего, кроме ложек за голенищем да того, что на них, любезно берут мои вещи, ибо я так ослаб, что донести их сам не смогу. Впереди идет надзиратель. Мы поднимаемся по крутой и грязной лестнице из нашего полуподвала... Попадаем в 4-е отделение – отделение следственных, ибо я уже одиннадцатый месяц имею несчастье быть таковым, меня не выводят на работу и ко мне применяется режим строгой изоляции. Нас приводят в 21-ю камеру. К счастью, она пуста – ясно, что очищена для нас, то есть для всего 10-го отделения. Пользуюсь выпавшим счастьем и занимаю лучшее место у окна. Угол сырой, на стене блестит вода, большая мокрица сидит у подоконника, словно ожидая гостей, но я все же занимаю это место: подальше от параша. Моя койка у стены, так что у меня будет только один сосед. Подовинников, Попов, Дудов и Ботвинов занимают места начиная от меня в ряд по стене. В камере, конечно, сыро и холодно. Спать все должны на полу, и только я буду, как Крез, лежать на койке. Минут на десять мы остаемся одни, есть время осмотреться, и я с ужасом замечаю: угол так сыр, что вода выступает сквозь штукатурку. После короткого раздумья я решаюсь там остаться, так как ни сырости, ни простуды, ни холода я уже не чувствую.

Двадцать первая камера начинает быстро заполняться. Нас уже 30 человек. Я успел отвыкнуть от шума, а тут стали торговаться, спорить из-за мест, раскладываться и примеряться. Впрочем, как ни мудрили, разместиться не смогли (камера рассчитана на 8–12 человек), так что пришлось занять и средний проход. Все устроились на своих узлах. Я с грустью смотрел на эту картину, которая так живо напомнила мне 1919–1920 годы и наши вокзалы: там так же сидели на своих узлах и мешках бедно и грязно одетые, пришибленные и утомленные люди... Как много воды утекло с тех пор, но эта картина по-прежнему стоит перед моими глазами. Это не воображение, не воспоминание. Это явь.

В эту ночь, как, впрочем, и всегда, я долго не мог заснуть. Камера стала обогреваться, и с окон, заиндедевевших, когда мы пришли сюда, потекли тонкие струйки воды. Это уже вторая камера в Тульской тюрьме, которую я обогреваю своими боками. Воздух, спертый и удушливый, ужасен, фортки нет, и большинство за то, что нет никакой надобности ее устраивать.

Выбираем старосту, знакомимся, шумим, спорим, ругаемся, кое-как успокаиваемся и курим. Без конца курим махорку. К вечеру от табачного дыма не только ничего не видно, но дым уже выедает глаза. Как может выдержать человек этот режим, эту обстановку, я положительно не понимаю! На «десятке» я пробыл два месяца одну неделю и шесть дней. Теперь я «житель» 21-й камеры – правда, не знаю, надолго ли. Во всяком случае я решил продолжать ведение этих тетрадей, не падать духом, работать и ждать лучших времен!

Утром наблюдал жизнь целой семьи мокриц и пришел к заключению, что это либо очень смелые, либо очень глупые насекомые. А может быть, их, как безвредных, не уничтожает человеческая рука, а посему они спокойно взирают на человека и доверяют ему. После проверки (пять часов утра) долго не мог прийти в себя и лежал. Зато был вознагражден картиной восхода солнца, ибо наша камера обращена на восток. Я наблюдал за восходящим светилом, тихая грусть и вместе с тем радостное чувство охватывали меня. Глаза, которые после двух с половиной месяцев полумрака сильно ослабели, не способны были воспринять всей красоты этого зимнего утра, но душа умилялась и радовалась. Как бы я хотел, чтобы 21-я камера была моим последним пристанищем в Тульской тюрьме!..

Ласточка, Лиса, Литва и Лихая – вот те кобылы одного семейства, которые играют далеко не последнюю роль в современном рысистом коннозаводстве.

Ласточка была замечательной кобылой как по резвости, так и по себе – вороная, без отмет, длинная, с хорошими углами и линиями, низкая на ногах, сухая, породная и чрезвычайно типичная. У нее была характерная голова с лобочком и много женственности. Это была, несомненно, одна из самых красивых кобыл, когда-либо мною виденных. Я ее купил всего за 500 рублей, и эта покупка оказалась исключительно удачной. Это было давно, во время моего первого посещения щёкинского завода. Щёкин продал Ласточку, так как был недоволен ее приплодом: сочетание Лесок – Ласточка было и в самом деле не из удачных.

Ласточка была интереснейшего происхождения. Кудеяр, ее отец, долгое время состоял производителем в Лотарёвском заводе. Он был сыном Павлина и Венгерки (5.33), дочери знаменитого Варвара. Сам Павлин, сын Хозяина, правнук Кролика 2-го и Задорной, дочери ознобишинского Кролика, являлся в свое время одним из лучших представителей этой линии. Помимо Ласточки Кудеяр дал еще несколько замечательных кобыл: Баталию – мать Бреда (2.18), Леду – бабу Ледка (2.11) и других. Лада, мать Ласточки, родилась у А. Н. Вельяминова и была дочерью Любимца и Ладной. По своему происхождению Лада была, конечно, чисто орловской кровью, но ее предки не отличались фешенебельностью происхождения, хотя и включали в свои родословные несколько замечательных имен. Эта женская семья, по словам Л. Д. Вяземского, отличалась из поколения в поколение красотой, потому и ценилась весьма высоко, давая ценных, а иногда и замечательных по себе лошадей.

Существенным минусом родословной Ласточки было то обстоятельство, что она не принадлежала к какой-либо исторической или знаменитой женской семье. Заводская деятельность самой Ласточки и двух ее внучек, Литвы и Лихой, дает нам некоторое право считать Ласточку основательницей самостоятельного гнезда. Выдвигая эту кобылу на столь ответственную роль, я, разумеется, учитываю также удачную заводскую деятельность ее дочери Ледяной в заводе курского коннозаводчика Познякова.

В Прилепах Ласточка дала четырех жеребят. Это были Лиса (2.28), Лакей (4.44), Лукомор (2.22) и Лорд-Канцлер (1.38) – все от разных жеребцов. Иначе говоря, Ласточка дала 100 процентов безминутных лошадей, и среди них Лакея – лошадь замечательных форм и большого класса, и доказала свою широкую сочетаемость с другими линиями, а это весьма ценное качество у кобылы.

Лиса, единственная дочь Ласточки, родившаяся в Прилепах, получила, конечно, заводское назначение. Она принадлежала к числу тех кобыл, которые дают неровный приплод: среди ее детей были замечательные экземпляры (Литва), были хорошие лошади (Львёнок, Лихая), но были и неудачные (Ларчик) – я имею в виду экстерьер, ибо все дети Лисы отличались резвостью. Лиса была кобылой гнедой масти (хотя масть ее была неприятна для глаза и чересчур тускла), рослой, очень сухой и правильной. Голова Лисы была типична и напоминала голову матери; шея превосходна, без подчеркнутого гребня и лебединого изгиба, холка очень развита. Спина тоже была превосходная, почка отличная, круп правильный. Кобыла была глубока и замечательно стояла ногами.

Лиса бежала только на южных ипподромах в цветах моего брата, и очень успешно, и рано ушла в завод. Петров, который на ней ездил, считал ее резвой кобылой, но не классной. Отец Лисы, караковый жеребец Обер, был рекордистом своего времени (2.15 и 4.45). Обер родился в маленьком заводе, и его считали лошадей случайной. Я не согласен с этим уже по одному тому, что его мать родилась в заводе Терещенко и была дочерью белого Друга (5.28), замечательной лошади, которая, к сожалению, непроизводительно погибла для коннозаводства. Обер был представителем линии Визапура 3-го. Присутствие крови Визапура 3-го в родословной заводской матки мною всегда ценилось: оно дает кобыле капиталность и зачастую сообщает ей характерные черты родоначальника. Покойный С. Д. Коробьин, посылая своего доверенного смотрителя Быкова выбрать в том или другом заводе кобылу, обычно говорил: «Выбирай кобылу повизапуристее». Я видел замечательных «визапуристых» кобыл, например Чудачку у Куприянова, Кушку у Вяземского, несколько кобыл у Н. А. Павлова и целую группу маток у Елисеева. Все это были фундаментальные заводские матки. Сама Лиса не была «визапуристой» кобылой, но ее дочь Литва вполне отражала это направление.

Заводская карьера Лисы распадается на два периода: до национализации завода и после нее. О первом я лишь скажу, что Лиса оказалась матерью трех интереснейших кобыл – Литвы и Лихой от Громадного и вороной кобылы от Барина-Молодого, которая, к сожалению, пала в двухлетнем возрасте. Литва и Лихая ныне продолжают род Ласточки в наших заводах.

Заводская деятельность Лисы:

1919 год – холоста.

1920 год – гнедой жеребенок Ласковый (1.40) от Паяца Хреновского завода. Заводская конюшня.

1921 год – серый жеребенок Львёнок (1.41) от Кронпринца. Заводская конюшня.

1922 год – вороной жеребец Ларчик (1.38) от Эльборуса. Заводская конюшня.

1923 год – холоста от него же.

1924 год – приплод от Кронпринца. Пал.

1925 год – приплод от Удачного. Пал.

Выбыла в Пермское государственное заводоуправление.

В 1919 году Лиса была покрыта с хреновским ставочным жеребцом Паяцем, и от этой случки родился правильный жеребенок, названный мною Ласковым и впоследствии показавший безминутную резвость. Недурен был по себе и резв Львёнок, следующий приплод Лисы и Кронпринца, бежавший в Ленинграде в руках Лыкошина. В 1921 году я послал Лису в Светлогорский завод вместе с Кометой-Галлея и Фурией для случки с Эльборусом. По железным дорогам посылать лошадей тогда было опасно, а потому кобылы пошли из Прилеп в Москву, а оттуда в Светлые Горы гужевым порядком. Это была целая экспедиция, которая закончилась благополучно. Стёпочка Кучинский, бывший скаковой мальчик, довел кобыл превосходно. Я смот-

рел их в Москве, где в то время служил. Кобыл вели через всю Москву привязанными к креслам, рядом шли два конюха, далее следовала подвода с вещами, а замыкал шествие сам Стёпочка. Говорят, это была интересная картина – от таких зрелищ голодная и холодная в 1921 году Москва отвыкла.

В результате этой случки Лиса дала посредственного во всех отношениях жеребенка, что очень досадно, ибо от сочетания Эльборус – Лиса я ждал многого. В 1923 году Лиса прохолостела от Эльборуса, а приплоды 1924 и 1925 годов пали (из них очень хорош был сын Кронпринца, блестящий гнедой жеребенок). Все эти неудачи с Лисой так меня расстроили, что я решил с нею расстаться и уступил ее Пермскому государственному заводу-управлению. Какова ее дальнейшая заводская деятельность, мне неизвестно.

Лиса была замечательная по себе кобыла, достойная дочь Ласточки, имела хорошую резвость и превосходное старинное происхождение со стороны отца. Если ее заводская деятельность во время революции сложилась не совсем удачно, то не следует в этом винить кобылу и надлежит отметить, что три ее уцелевших сына были наделены рысистыми способностями и ехали с безминутной резвостью.

Литва, лучшая дочь Лисы, родилась в 1915 году. В то время ее матери было восемь лет, а отец, Громадный, был уже стариком. Красно-серая, очень густая, костистая, глубокая, правильная и, главное, типичная кобылка была названа Литвой в память одного из моих предков, в 1537 году совершившего какие-то подвиги в Литве. Как раз накануне вечером я читал об этом старинную польскую рукопись, причем в моих руках были как оригинал, так и перевод. Видно, мой предок был счастливый человек, ибо счастье сопутствует и кобылке, родившейся в ту памятную ночь: она не только пережила революцию, не только оказалась превосходной по себе, но и выдвинулась в число лучших орловских кобыл нашего времени.

Литва ушла из Прилеп в двухлетнем возрасте вместе с теми лошадьми, которые были проданы в Орёл Неплюеву. Литва уже тогда была настолько хороша по себе, что я выговорил ее возвращение в завод после призовой карьеры. Впрочем, карьеры она не имела, так как в 1918 году, когда ей исполнилось три года, бегов уже не было. Литва была дочерью Громадного, и притом типичной дочерью этого жеребца. Однако много черт она унаследовала также от своей бабки Ласточки. Литва уже в два года бросалась в глаза своей глубиной, хорошей костью, фризом, прекрасной спиной, а главное, типом. С тех пор, а минуло уже 11 лет, Литву я не видел. Прошлым летом Алексеев показал мне ее фотографию. Тип кобылы, конечно, сохранился, и она по-прежнему бросается в глаза.

Заводская деятельность Литвы:

1921 год – холоста.

1922 год – серый жеребец Ларчик (1.28 и 2.16) от Бунчука.

1923 год – холоста.

1924 год – серый жеребец Ливан (2.19) от Шкипера.

1925 год – серая кобыла Лига (2.28) от Недотрога.

1926 год – гнедой жеребец Лубок от Бунчука.

Дальнейших данных о заводской деятельности Литвы у меня нет. Литва жива, продолжает регулярно жеребиться, так что мы вправе ждать от нее дальнейших успехов в заводской деятельности.

Первый же сын Литвы, серый жеребец Ларчик, оказался выдающимся призовым рысаком. Его рекорды – 1.28 (тысяча метров), 1.33 (верста) и 2.16 (гит) – красно-речивы. Но что еще важнее, Ларчик – замечательная по себе лошадь, каких у нас в данное время немного. При исключительной длине он глубокий и низок на ноге; по верхней линии – типичный Удалой, имя которого в его родословной инбридировано. Голова характерная, близка к типу головы Удалого. Исключительная ширина, плот-

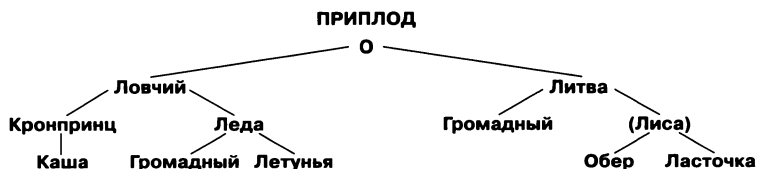
ность, глубина и масса – это чисто визапуровское наследие, и я уверен, что сам Коробьин, так любивший лошадей «повизапуристее», если бы подобного рысака ему привел почтенный Алексей Максимович Быков, остался бы очень доволен. Чтобы дать понятие о том, как в действительности массивен Ларчик, приведу следующий эпизод: Лежнев смотрел его на выводке и убежденно сказал: «Это не рысак, а тяжеловоз!», на что ему справедливо заметили, что этот «тяжеловоз» едет в 2.16 гит, однако Лежнев продолжал упрямо твердить свое: «Все-таки это не рысак, а тяжеловоз». Будущее Ларчика как заводского производителя чрезвычайно интересно. Этот жеребец, при достаточно широкой и правильной эксплуатации, может сыграть исключительную роль в современном коннозаводстве. Для меня не подлежит никакому сомнению, что на ближайшей выставке, если таковая состоится, Ларчик получит за формы и экстерьер золотую медаль.

В 1923 году Литва прохолостела, а в следующем дала от знаменитого Шкипера, тоже сына Корешка, темно-серого жеребца Ливана. Ливан – лошадь очень хорошего класса. Сейчас ему пять лет, он бежит очень успешно. Ливан – правильная лошадь, хотя ему далеко до Ларчика. Ливан короче, суше и проще Ларчика. Он очень похож на своего отца Шкипера, в нем есть глубина и плотность. Я с большим интересом слежу за каждым выступлением этого жеребца.

В 1925 году Литва дает от Недотрога, жеребца завода Куприянова, серую кобылу Лигу (рекорд 2,28 в трехлетнем возрасте). В том же году Литва была покрыта Бунчуком и приплодила гнедого жеребца Лубка. Он родился в 1926 году и уже в двухлетнем возрасте выступил два раза и выиграл – начало, предвещающее жеребцу хорошую карьеру. Очевидно, что среди двухлеток Орловского треста он лучший.

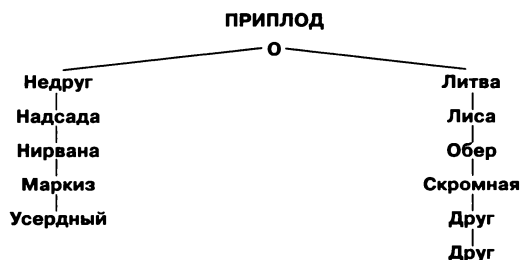
Литва дала пока четырех жеребят, и все они появились на ипподроме. Из ее приплода мы имеем 100 процентов безминутных и 50 процентов резвее 2.20. Литва является типичной представительницей своей семьи. Она дает превосходных по себе лошадей и в этом отношении идет по стопам своей бабки Ласточки, прабабки Лады и прапрабабки Ладной. Следует также отметить широкую сочетаемость Литвы с другими линиями. Словом, Литва во всех отношениях замечательная заводская матка, и остается лишь пожелать, чтобы она была покрыта действительно первоклассным производителем. Литва, почти не имея крови Бычка (Петушок входит через Летучего), могла бы стать хорошей партнершей для Эльборуса (соединение Эльборус – Громадный дало ряд классных лошадей). Данное сочетание интересно еще и тем, что Литва, кобыла замечательного экстерьера, не имеет недостатков Эльборуса и может дать превосходную по себе лошадь.

Неменьший интерес представляет сочетание Литвы – Литва. С генеалогической точки зрения оно повторяет Громадного в окружении замечательных по своей препотенции кобыл. Кроме того, оно окружено именами выставочных по себе лошадей и вносит струю сильной крови Кронпринца.



Инбридинг на Громадного 2+3 через таких его потомков, как Ловчий и Литва, очень интересен. Имена замечательных кобыл – Каша, Леда, Летуния, Литвы и Ласточки – составляют ценнейший фон этого сочетания. Кроссы Кронпринца и Обера также сделают свое дело и внесут равновесие в эту родословную.

Я бы рискнул случить Литву с Недругом. Имя Друга играет очень большую роль в родословной Обера, а потому было бы желательно его повторить.



Родная сестра Литвы гнедая кобыла Лихая родилась в 1916 году и в 1920-м или 1921-м была передана конной базе Народного комиссариата здравоохранения. Лихая жестоко голодала, росла в самых трудных условиях, что, конечно, отразилось на ее развитии. Это была крупная кобыла, много проще сестры, но все же дельная и ценная. В Наркомздраве она находилась в езде с 1921-го по 1925 год, после чего была покрыта известным Турчонком и продана совхозу «Ярославна», где есть рысистый завод. Там она в 1926 году приплодила гнедого жеребца, который ныне успешно бежит в Москве. Это очень резвый и многообещающий двухлеток. Ездит на нем молодой Ратомский, сын Эдуарда Францевича. Таким образом, дебют Лихой на заводском поприще оказался удачным.

В настоящее время семейство Ласточки представлено двумя ее внучками – Литвой и Лихой и одной правнучкой – Лигой. По-видимому, кровь Ласточки получит весьма широкое распространение в послереволюционном коннозаводстве и имя ее, как кобылы, основавшей замечательную женскую семью, вышедшую из недр Прилепского завода, станет общепризнанным.

Известное распространение имеют в настоящее время дочери Нерпы, которых в заводах и коннозаводских товариществах насчитывается четыре: Надменная производит в заводах МОЗО, Насмешница – в заводе Башнаркомзема, Кабарга – в 1-м Сибирском заводе и, наконец, Новороссия – в коневодческом товариществе на Урале.

Нерпа родилась у М. В. Воейковой (бывший завод светлейшего князя В. Д. Голицына) и была мною куплена вместе со всем заводом. Вороная, очень широкая, костистая и глубокая, она стояла правильно, не имела размета и других дефектов на ногах. Спина короткая, прямая, с превосходной связкой, зад, конечно, спущенный и голова большая – типичные особенности голицынских лошадей, у которых было много дела и мало красоты. Породы Нерпа была замечательной. Ее мать, знаменитая Зорька, дочь Злобного и Вечеринки, была лучшей кобылой голицынского завода последнего периода его существования и дала поголовно призовой приплод. Нерпа также бежала, и рекорд ее был вполне удовлетворителен. Нерпа не имела блестящей заводской карьеры в Прилепах, но дала хороших лошадей. И она сама, и ее приплоды, причем как в ставках, так и в составе завода, были золотой серединой – словом, очень полезными лошадьми.

Среди детей Нерпы большого внимания заслуживал ее сын, серый Небосклон от знаменитого Громадного. Это была превосходная по себе лошадь, соединившая благородство отца и дельность матери. Небосклон попал к Понизовкину, но на бегу не появился. Вынырнул он уже во время революции: слепым стариком этот сын Нерпы был приведен своим хозяином на крестьянские бега в Смоленске, показал хорошую резвость, а дети его из других крестьянских хозяйств оказались резвыми рысаками. Крестьянин не согласился продать Небосклона государственному коннозаводству и увел обратно в свой район.

В 1917 году я продал Нерпу в Сибирь Винокурову жеребой от Лакея. Родившийся жеребенок был назван Лосем и бежал в Сибири. Теперь он состоит там пунктовым жеребцом.

31 января 1929 года

Продолжать род Нерпы в Прилепском заводе выпало на долю ее дочери от Лакея, бурой Насмешницы. Последняя родилась в 1917 году. Вместе с другими рядовыми лошадьми Прилепского завода она голодала, потом была переведена в Фатеево, тренировке не подвергалась, а затем поступила в завод. Конечно, голодовка не могла не отразиться на развитии Насмешницы, тем не менее из нее вышла крупная и дельная кобыла. Насмешница очень напоминает свою мать: та же глубина, то же дело, та же богатая кость, спущенный зад и большая голова.

В завод Насмешница поступила в 1921 году, впервые была покрыта в четырехлетнем возрасте и в следующем же году оказалась жеребой.

Заводская деятельность Насмешницы:

1922 год – вороная кобыла Нация (2.28) от Эх-Ма.

1923 год – серый жеребец Налог от него же.

1924 год – вороной жеребец Наряд (2.23) от него же.

Продана Башнаркомзему.

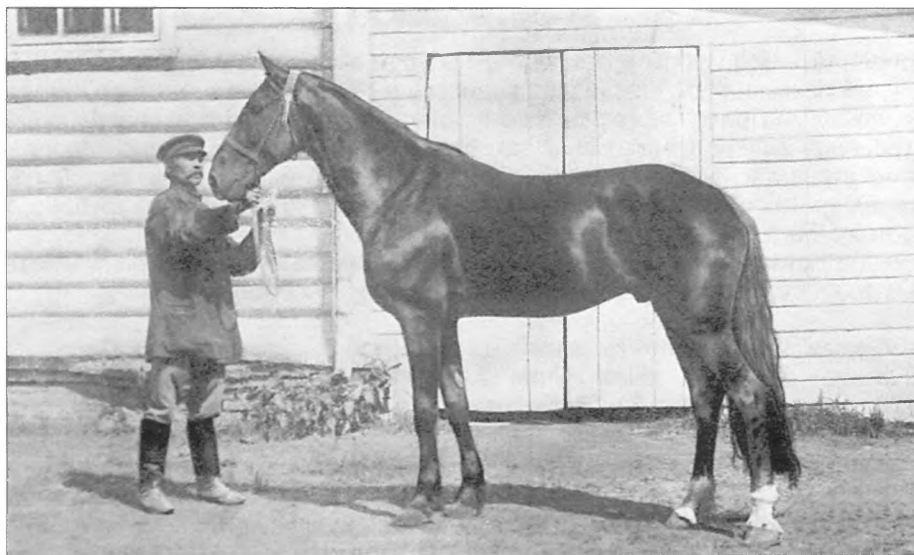
Дочь Насмешницы Нация была чрезвычайно правильная и приятная кобыла. Эх-Ма придал блеску ее формам. Нация недурно бежала и затем была продана в один из заводов. Родной брат Нации Налог отличался очень крупными размерами, исключительной массивностью, костистостью и дельностью. В нем было много типа. Словом, лошадь была далеко не заурядная. Трехлетком он попал в ведение Владыкина, и тем самым судьба его была решена: Налог, как и многие другие лошади Прилепского завода, был изломан форсированной тренировкой. Последним приплодом Насмешницы в Прилепском заводе был Наряд, лошадь посредственная по себе. Я представил Наряда в брак, но коннозаводское ведомство с этим не согласилось и перевело его в Грязнушенский завод. Наряд успешно бежит в тренконюшне этого завода и показал недурную резвость.

Постоянная нужда в деньгах принудила меня зимой 1924 года продать Насмешницу Башнаркомзему. Там эта кобыла регулярно жеребится и, как писал мне И. Г. Курлин, является многообещающей заводской маткой.

Родная сестра Небосклона называлась Надменной. Она родилась в 1916 году. Была гнедой масти, имела глубину, костяк и плотность матери, но линия верха и общий тип напоминали о Громадном. Она также имела несчастье попасть на конюшню Понизовкина, и там на нее не обратили должного внимания. Надменная была продана и так же, как Небосклон, вынырнула только во время революции. Оказалось, что она «принадлежит» Каширстрою. Где-то ее увидел Витт и взял в МОЗО, таким образом сохранив эту кобылу для коннозаводства. В Каширстрое Надменная имела следующий приплод: в 1923 году рыжую кобылу от Прометейя, пунктового жеребца, и в 1924 году тоже рыжего сына от жеребца Тульской заводской конюшни Перстеняка. Витт в разговорах со мной с большой похвалой отзывался о Надменной.

Третья дочь Нерпы, Новороссия, была от Мира (2.15), знаменитого призового рысака, победителя Императорского приза. Мир принадлежал Наумову, в заводе которого и родился. Я в свое время посылал под Мира трех кобыл, в их числе была и Нерпа. Новороссия вышла посредственной бурой кобылкой, в которой хорошего было немного – только то, что она позаимствовала от матери. Кому Новороссия была продана, не помню. Теперь она находится в Тюменском коневодческом товариществе.

В Сибири, уже в заводе Винокурова, Нерпа дала от жихаревского Капитала вороную кобылу Кабаргу (2.24), которая успешно бежала в Москве. Кабарга родилась в 1919 году и ныне состоит заводской маткой в 1-м Сибирском госконезаводе.



Мир

Таким образом, несмотря на неблагоприятно сложившиеся условия заводской работы, Нерпа оказалась весьма полезной маткой и вполне достойной дочерью знаменитой Зорьки.

Ненаглядная родилась в заводе Терещенко и была дочерью Паши, которого я не особенно любил и невысоко ценил. Зато мать Ненаглядной, знаменитая Капризная, являлась одной из лучших заводских маток терещенковского завода. Капризная – дочь старого Крутого и Резвой, кровей роговского Полкана и голохвастовского Петушка. Резвая оказалась замечательной маткой-производительницей и основала знаменитое семейство.

Ненаглядная сначала прославилась у Терещенко, дав там призовой приплод; затем у меня в заводе родила резвых детей и по особой просьбе В. Л. Вяземского была ему мною уступлена для Лотарёвского завода. Резвейшим ее сыном из числа родившихся в Прилепах был Низам (1.33), одно время состоявший производителем у А. С. Голицыной; ныне он продуцирует в Пензенской губернии. Резвейшей дочерью Ненаглядной была Нежата (2.27), которую я оставил в заводе. Вяземский, этот молодой и талантливый коннозаводчик, во что бы то ни стало хотел заполучить Ненаглядную. Он ее еще не видел, но считал, что кровь кобылы Капризной очень хорошо сочетается с американскими кровями, и в пример приводил дочь Капризной Червонскую-Лисичку, давшую замечательный приплод в заводе Телегина. Расчеты Вяземского оказались верными: в Лотарёве от Ненаглядной и американского жеребца родилась кобыла, которая в двухлетнем возрасте была резвейшей в ставке. К сожалению, этой дочери Ненаглядной не суждено было увидеть ипподромов, ибо произошла революция, а вскоре погиб и Лотарёвский завод.

Ненаглядная не была хороша по себе. Очень длинная, она, однако, имела плохую спину. Кроме того, почка у кобылы была запавшая, с характерным выступом. Передняя нога, равно как и запястье, не отличалась богатством кости. В остальном же Ненаглядная была правильна: хорошо стояла ногами, была суха, имела породную голову и лентистую шею.

Нежата родилась в 1908 году еще на Конском хуторе в Херсонской губернии, то есть до покупки Прилеп. Под матерью она выделялась своими округлыми формами, костью и плотностью. Нежата успешно бежала и в четырехлетнем возрасте показала хорошую резвость – 2.27. Это была одна из резвейших дочерей Недотрога.



Крутой – 4+3; Петушок – 5+5.

Параллельно проведенный в этой родословной инбридинг на Петушка поглотил инбридинг на Крутого. В соответствии с этим Нежата получилась типичной кобылой петушковско-бычковой группы. Темно-серая, светло-серая, но не белая даже в старости. Длинна и с мягкой спиной. Низка на ногах, утробиста, глубока, костиста и проста.

Синегубкин, который ездил на Нежате, был очень высокого о ней мнения. Нежата состояла в родстве с Безнадёжной-Лаской, и обе эти кобылы в 1913 году были покрыты в Москве Бунчуком. От Нежаты родился превосходный темно-серый жеребчик, названный Новобранцем. Он был простоват, но чрезвычайно делен, обладал большой резвостью и хорошо ехал двухлетком. Новобранца купил Бакулин, и тот погиб во время революции. Не уступал Новобранцу и белый Неман, появившийся на свет в 1915 году от Громадного. Замечательный по себе двухлеток, белый уже в то время, с превосходной сухой головой и хорошей спиной, очень породный, он, как и многие дети Громадного, был узковат и приподнят на ногах. Неман был продан в начале революции в Орёл Неплюеву; там он уцелел и, кажется, донине состоит пунктовым заводским жеребцом в Орловской заводской конюшне. Я всегда был высокого мнения о Немане и обязал Неплюева распиской вернуть его мне после карьеры за цену не дороже двух с половиной тысяч рублей. Позднее я спрашивал о Немане, но Басов отвечал уклончиво – по-видимому, его не ценил. Высоко расценивая жеребца, я оказался прав: на днях прочел в «Коннозаводстве и коневодстве», что сын Немана и Мисс-Момад, Набат, установил в 1928 году в Харькове новый рекорд для трехлетков, покрыв версту в 1.30!

Заводская деятельность Нежаты до революции:

1914 год – серый жеребец Новобранец (1.44, двух лет) от Бунчука.

1915 год – белый жеребец Неман от Громадного. Орловская заводская конюшня.

1916 год – нет сведений.

1917 год – белая кобыла Незабвенная от него же. Заводская матка в Прилепах.

1918 год – нет сведений.

Прилепский госконезавод:

1919 год – серая кобыла Незабудка (2.30) от Дяди-Сама. У частного лица.

1920 год – холоста от Бронтозавра.

1921 год – светло-серый жеребец Набег (1.40) от Удачного. Смоленская заводская конюшня.

1922 год – красно-серая кобыла Награда (2.30) от него же. Заводская матка в Грязнушенском госконезаводе.

1923 год – вороная кобыла Натура от Эльборуса.

1924 год – вороная кобыла Нужда от него же.

1925 год – рыжий жеребец Невзначай (2.25) от него же.

Продана в заводы МОЗО.

Не могу припомнить, имела ли приплод Нежата в 1916 и 1918 годах. Следует, однако, с полной откровенностью сказать, что дети Нежаты, родившиеся до революции, были удачнее и лучше по себе, нежели те, что появились после национализации завода.

О Новобранце и Немане я уже сказал несколько слов, и останавливаться на них дольше нет оснований. Третьим по счету жеребенком Нежаты была родная сестра Немана, которая уже годовичкой имела белую масть. Незабвенная получилась пылка, горяча и чрезмерно строптива в езде. Она невелика, но это объясняется тем, что кобыла сильно голодала и остановилась в росте искусственно. У Незабвенной превосходная спина, хорошие круп и шея, длинная грива, породная голова и сухая, тростистая нога с легким фризом. К сожалению, в передних ногах у нее в сильной степени выражен размет. Была ли резва Незабвенная, сказать не могу, так как она не тренировалась для ипподрома: в то время было не до того.

История этой лошади представляет определенный интерес. Насчет Незабвенной между мной и Ратомским, а позднее между мной и зоотехнической комиссией возникли большие разногласия. Все эти лица требовали забраковать кобылу ввиду сильного размета ее передних ног. Я отстаивал Незабвенную. Мне почему-то казалось, что она будет хорошей заводской маткой, и я не ошибся. Мною руководило чутье, я бы и сам не смог ответить тогда, почему верил в заводское будущее Незабвенной. В конце концов приняли компромиссное решение: постановлением губернской зоотехнической комиссии Незабвенная была переведена в число пользовательных лошадей госконезавода. Я смотрел на это равнодушно, так как знал, что в нужный момент, когда у зоотехнической комиссии пыл поутихнет, я включу кобылу в число заводских маток. Но Волков не успокоился и через полгода затребовал Незабвенную в Тулу, с оставлением, однако же, ее в списках завода. Отправили мы Незабвенную в город и затем узнали, что она назначена разъездной лошадей при ветеринарном подотделе. Два года тульские ветеринары катались на ней, два года не кормили ее и, окончательно ободрав, вернули в завод... Вспоминаю и другой период жизни Незабвенной, вскоре после ее зачисления в разряд пользовательных лошадей. Пахать было не на чем: в госконезаводе имелось всего три рабочие лошади, которые от истощения едва передвигали ноги. Между тем необходимо было во что бы то ни стало вспахать 10 десятин земли. Крестьяне бойкотировали совхозы и на работу не шли. Тогда Ратомский «сформировал пару» – пробника и Незабвенную, и его любимец Егор Самонин пахал на них. Что это была за картина! Полуголодные лошади – пегий полукровный жеребец и белая рысистая кобыла – в веревочной упряжи, исхудалые, едва живые, но пахавшие из последних сил, и Самонин, в потертом пиджакишке, в лаптях, который едва удерживал их, вернее, Незабвенную, так как она тянула не только плуг, но и пегого жеребца... Как-то поздно вечером возвращаясь из Тулы, я застал их на пахоте. Незабвенная так старалась, что даже выгнула спину и глаза ее налились кровью. Она шла шага на полтора впереди своего дружка, который едва передвигал ноги и, казалось, вот-вот упадет от усталости. Я вел Самонину ехать домой, а сам задумался о том, какая участь ждет завод. Годы были тяжелые и непонятные, нельзя было предвидеть, что будет завтра. Тем временем мы уже въехали в усадьбу, и меня, как всегда, охватило чувство спокойной уверенности и вера в себя...

Уехал из Прилеп Ратомский, исчез с тульского горизонта Волков, утеряла свое значение зоотехническая комиссия – и Незабвенная была восстановлена в правах. Я официально включил ее в число заводских маток. В Прилепах Незабвенная дала всего лишь одного жеребенка, но зато это был классный рысак.

Заводская деятельность Незабвенной:

1920 год – находилась в работе в Прилепах.

1921–1922 годы – находилась в езде в Туле.

1923 год – приплод от Валета. Пал.

1924 год – серый жеребец Новобранец (2.19, трех лет) от Эх-Ма.

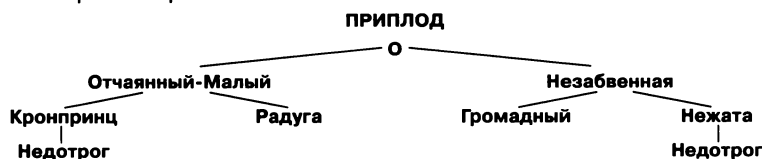
Продана Башнаркомзему.

Впервые Незабвенная была случена с Валетом, который в тот год стоял в Прилепах. Позднее, в 1924 году, у Незабвенной родился серый жеребчик – небольшой, но правильный и дельный. Он был сыном Эх-Ма, и я назвал его Новобранцем. В тот год ставка в Прилепском заводе была очень большая, и часть ее я представил к продаже или переводу в другие заводы. Новобранца перевели в Грязнуху, из Прилеп он ушел полуторником. В трехлетнем возрасте он замечательно бежал в Ленинграде, показав секунды 2.19. К сожалению, его загоняли в буквальном смысле слова. Теперь ему пошел пятый год. Новобранец – плотная и дельная лошадь. Будучи сыном Эх-Ма, он, стало быть, имеет кровь Потешного. Сочетание Эх-Ма – Нежата – это классическое сочетание Потешный – Крутой, давшее такие блестящие результаты в заводе Терещенко. Сочетание это было наперед обдуманно, а потому мне особенно приятно, что его результат отвечает той цели, ради которой оно было предпринято. Новобранец – это какой-то пасынок Московского ипподрома, и господин Лейч давно должен был обратить на это внимание, поставив на вид конюшне ненормальную эксплуатацию столь ценного жеребца. Если он этого не делает, то лишь потому, что ни у кого нет охоты себя собственноручно сечь. Тот завод, который возьмет Новобранца производителем, не будет в накладе.

Зимой 1924 года Незабвенная, наряду с другими кобылами – Поляной, Насмешницей, Урной 2-й и Кумушкой, была продана мною Башнаркомзему. Уступая эту группу кобыл в одни руки, я рассчитывал, что они создадут основу будущего завода (в Башнаркомземе образовался как бы филиал Прилепского завода, и я охотно шел им навстречу). К сожалению, они своего слова не сдержали и в следующем году отказались от тех пяти кобыл, которых я им предназначал, что было предусмотрено нашим соглашением.

Итак, Незабвенная дала в Прилепах только одного жеребенка, но зато это был классный рысак. Таким образом, Незабвенная вполне оправдала свое родство с Неманом, свою принадлежность к знаменитой женской семье и, наконец, горностаевскую сущность своей природы. Эта кобыла тем ценнее, что она обладает поразительным здоровьем и страшным сердцем: то, что ей довелось перенести во время революции, даже для лошади Прилепского завода не совсем обычно. Надо обладать поистине железным здоровьем, чтобы в таких условиях не погибнуть да еще оказаться замечательной заводской маткой.

В настоящее время Незабвенная жива и дает жеребят в заводе Башкирской Республики. Мы не видим их на ипподроме, как, впрочем, и других лошадей из этого края, а потому затруднительно сказать, как эта кобыла там используется. Будет очень жаль, если остальные ее дети не пойдут дальше роли пунктовых жеребцов Башкирского края. А между тем есть жеребец, который чрезвычайно подходит к Незабвенной. Это Отчаянный-Малый, сын Кронпринца и Радуги, жеребец с сильными течениями крови Горностаев.



Здесь мы имеем инбридинг на Недотрога (3+3) при усилении горностаевской сущности будущей родословной через Радугу, Громадного и Кронпринца.

Заводская продукция Нежаты дореволюционного периода весьма интересна: из трех данных ею лошадей только Новобронец начал было бежать и показал большие задатки, два других приплода не бежали по революционным основаниям, но оказались ценными заводскими лошадьми. Однако этим детям Нежаты не везло в жизни: Новобронец пал, Неман и Незабвенная с трудом пробили себе дорогу. Посмотрим теперь, какова судьба тех детей Нежаты, которые родились после переворота.

В 1919 году Нежата приплодила от Дяди-Сама миниатюрную серую кобылу, которую я назвал Незабудкой. Из всего приплода Дяди-Сама Незабудка оказалась единственной лошадью, которая походила на рысистую и была хотя мелка, но правильна. Незабудка имеет рекорд 2.30 и сейчас находится в частных руках, где может стать полезной маткой.

От Бронтозавра Нежата прохолостела, а в 1921 и 1922 годах имела приплод от Удачного. Сын Удачного и Нежаты Набег родился в 1921 году. Это был жеребец серой масти, породный, абсолютно правильный и дельный. Бежал он весьма успешно и теперь состоит пунктовым жеребцом в Смоленской заводской конюшне. Его родная сестра Награда, родившаяся в следующем году, была крупная, сухая, длинная, блестящая, правильная кобыла, хотя и несколько приподнятая на ногах. Жеребенком она была очень хороша и имела, между прочим, характерную горбоносую голову. Я был чрезвычайно рад рождению столь удачной кобылки, назвал ее в знак признательности к Нежате Наградой и смотрел на нее как на будущую заводскую матку и продолжательницу семейства Резвой. К сожалению, этим мечтам не суждено было осуществиться. У Награды оказался плохой ганаш, а затем еще обнаружилось, что у нее нечистое дыхание. Некоторая конистость кобылы тоже внушала мне опасения за успешность ее будущей заводской деятельности. Я решил выранжировать Награду из завода. Коннозаводское ведомство назначило ее, если не ошибаюсь, в Грязнушенский госконезавод, и с тех пор я не имею об этой лошади никаких сведений. Награда бежала только в руках Лыкошина в Ленинграде и особой резвостью не отличалась. Впрочем, она была очень близка к безминутной резвости.

Течение крови Петушка у Немана и Нежаты было представлено следующим образом:



Мы видим, что Набег и Награда прежде всего были инбридированы на Пашу. Второй инбридинг, на Крутого, вовсе не сказался, а Петушок, истинная основа данной родословной, вообще никак не повлиял на формы и тип Набега. Ведя работу в таком живом деле, как разведение лошадей, сплошь и рядом наблюдаешь, как теория расходится с практикой. Вот почему руководитель завода должен хорошо

знать генеалогию, тип и особенности линий, их качества и недостатки, чтобы иметь возможность судить о результатах предпринятых им сочетаний.

Три года кряду Нежата имела приплоды от такого знаменитого производителя, как Эльборус. Сочетание было интересно и само по себе, и как закрепление имени Петушка. Однако оно принесло одно разочарование.

Старшим приплодом Нежаты от Эльборуса была родившаяся в 1923 году Натура – мелкая, простая кобыла с мягкой спиной. Одна челюсть у нее была, между прочим, короче другой. В следующем году Нежата опять дала вороную кобылу, которую я назвал Нуждой, – несколько улучшенное повторное издание первой. Обе кобылы были проданы из завода. Последним приплодом Нежаты в Прилепском заводе стал рыжий Невзначай, жеребец чисто бычковского типа: среднего роста, очень костистый, широкий, дельный, но с мягкой спиной и простой. Все три приплода Эльборуса – Нежаты были типичными экземплярами петушковско-бычковской группы.

Невзначай я отправил из Фатеева в Сергиевское. Там работать было некому, и жеребец всю зиму простоял в старой, холодной конюшне. Только летом его вернули в Фатеево, там заездили и, посчитав тихоходом, забросили. В декабре Невзначай ушел в Хреновую, а вскоре после этого поступил на тренконюшню и попал к М. Д. Стасенко. Тот его подготовил и стал успешно на нем ездить. Невзначай пришелся Стасенко по рукам: тот знал, как надо ездить и тренировать Бычков.

В 1925 году Нежата была случена с Бариним-Молодым и продана МОЗО. Что она там делала, мне неизвестно. В этом году Витт назначил ее в продажу – думаю, что остались недовольны ее приплодами.

Получить заместительницу Нежаты так и не удалось, и женская линия знаменитой Резвой в Прилепах пресеклась, о чем я очень сожалел. Всего Нежата дала в Прилепах девять детей: пять кобыл и четырех жеребят. Среди них белых – три (Неман, Незабвенная и Набег), серых – тоже три (Новобранец, Незабудка, Награда), вороных – две (Натура, Нужда) и рыжих – один (Невзначай). Победителями стали пять лошадей, то есть свыше 50 процентов приплода показали безминутную резвость. Двое уже получили известность в заводе: Неман дал Набата, а Незабвенная – Новобранца. Если принять во внимание, что Незабвенная и Натура вовсе не работали, а Нужда очень мало тренировалась, то следует признать, что Нежата дала поголовно призовой приплод и что все ее дети были наделены хорошими рысистыми способностями. Продолжение женской семьи Резвой именно через Нежату будет, по-видимому, иметь значительное распространение в послереволюционном коннозаводстве.

Позёмка была одной из основных кобыл в моем заводе, и я ее очень ценил. Она давала превосходных по себе жеребят и не предназначалась мною к продаже, хотя охотников ее купить находилось немало. В двух словах описание экстерьера Позёмки сводится к следующему. Среднего роста белая кобыла с удивительно выразительной головой, очень крутой шеей, положительная в спине, с сильным задом, широкая, низкая на ногах и глубокая. Нога суха, образцова по форме и фризиста. Мускулатура замечательна, сухожилия резко отбиты, а отдельные части тела как-то особенно резко подчеркнуты.

Позёмка родилась в небольшом заводе у Н. Н. Ермолова, когда-то служившего в лейб-гусарах, а по выходе в отставку поселившегося в своем пензенском имении. Это был талантливый коннозаводчик, который сумел собрать интересный завод и очень удачно купил, по совету Л. Д. Вяземского, в производителе Каприза, родившегося в Лотарёве от Бычка и Кручи. Каприз и сам недурно бежал, и Ермолову дал резвых лошадей. По словам пензенского охотника Вышеславцева, которому в молодости принадлежала Позёмка, Каприз был очень хорош по себе: серый в яблоках, с белой гривой и белым хвостом, он при четырехвершковом росте был и довольно сух, и весьма капитален. По кровям Каприз был не менее интересен: сын знаменитого телегинского Бычка, а стало быть, внук Могучего, он со стороны матери приходился

внуком Крутому 2-му и известной коробьинской Картечнице. Подопечные Ермолова получили известность благодаря Капризу и его достойной партнерше Пальме, от которой, за редким исключением, родились все резвые лошади этого завода.

Пальма родилась хотя и в старинном, но очень небольшом и малоизвестном заводе Челюсткина. Она относилась к числу тех кобыл, которые при любых комбинациях кровей и от любых жеребцов давали резвых лошадей. Позднее тем же отличались ее дочери. Все без исключения потомки Пальмы и ее дочерей бросались в глаза своими формами и белой мастью. Как-то однажды, уже во время революции, приезжаю на бега. Вхожу в судейскую в тот момент, когда на старте Сушкин вертит рысаков и никак не может их пустить в бег. Я сразу обратил внимание на светло-серую, почти белую кобылу, которая напомнила что-то родное. На кобыле ехал Ляпунов. Беру афишу и читаю: *Прелюдия*, от такого-то и такой-то. Это была одна из внучек Пальмы.

Пальма была необыкновенно хороша по себе. Впервые я увидел ее в Москве, куда она была приведена для случки с одним из классных жеребцов Московской заводской конюшни. Это было во время войны, кажется в 1916 году. Совершенно случайно проезжая по Поварской мимо коннозаводства, я решил заехать посмотреть лошадей. В манеже меня встретил нарядчик. Я попросил не докладывать о моем приезде управляющему и никого из начальства не беспокоить. В то время рядом с манежем была небольшая конюшня, где стояли кобылы частных коннозаводчиков, приведенные на случку в Москву. В этой конюшне я прежде всего увидел знаменитого Ваньку Казакова. Тот бросился ко мне с бурным проявлением радости: «Тут есть такая кобыла, что ты все пальчики оближешь! Впрочем, ты запоздал, я ее уже купил». Казаков был первостатейный враль, и я ни на минуту не усомнился в том, что он соврал о покупке им этой «замечательной кобылы», а что она была замечательная – в этом я, конечно, не сомневался: Казаков был тонкий знаток лошади, талантливый коннозаводчик, человек с большим чутьем. Вывели кобылу, и я узнал от нарядчика, что она из Пензенской губернии и зовут ее Пальмой. Передо мной была мать знаменитой Пальмиры, моей Позёмки и других, рассеянных по заводам Пензенской губернии. Кобыла была действительно замечательная: вершков трех росту, белой масти, исключительно породная и чрезвычайно женственная. Небольшая арабская головка, тонкая шея, спина как по линейке, полная сухость. По типу лошадь была превосходна и по праву могла занять одно из первых мест в любом заводе.

Среди приплода Позёмки, оставленного ею в Прилепах, резвейшим был Пахарь, белый сын Громадного, лошадь замечательная по себе.

Позёмка была национализирована в 1918 году, в то время ей было 20 лет. В 1919-м она дала приплод от Кронпринца, но сама была настолько худа, что кормить жеребенка должным образом не смогла, и он пал. В 1920-м Позёмка прохолостела, а осенью зоокомиссия выбраковала ее по старости лет из завода и постановила прирезать, а мясо отдать в общую разверстку. В этот день в Прилепы приехал Борисов и просил меня передать ему Позёмку – он хотел ее отходить и надеялся получить от нее жеребенка. Я охотно на это согласился, а дня через два из подотдела животноводства пришло распоряжение передать кобылу в Шаховское. Борисов был свой человек в государственном заводоуправлении и с Волковым быстро сговорился (я думаю, что два-три фунта масла разрешили вопрос и определили цену Позёмки). Борисов возился с Позёмкой года два, но отвести от нее ничего не смог, и она у него в Шаховском пала в возрасте 23–24 лет. Продолжать род Позёмки остались Поза в Орле и Поляна в Прилепах.

В 1915 году Позёмка ожеребила в Прилепах двойню – двух кобылок от Громадного. Одна из них, темно-серой масти, была совсем мелка, другая же, пепельная, к отъему почти белая, очень хороша по себе. Первую я назвал Пирушкой, вторую – Позой. Как обычно бывает при рождении двойни, один жеребенок обречен на гибель

или, в лучшем случае, из него никогда не выйдет хорошей лошади, а другой будет жить и из него вырастет если не хорошая, то вполне удовлетворительная лошадь. Так было и в данном случае: Пирушка никуда не годилась, а из Позы вышла замечательная кобыла. В двухлетнем возрасте Поза ушла к Неплюеву в Орёл, но по договору подлежала обратному возвращению в завод. С тех пор я Позы не видал. Ныне она состоит заводской маткой в заводе Орловского губсельтреста. Поза была мелка, но изумительно породна и правильна. Это была положительно точеная лошадь. Поза не бежала, как и остальные лошади ставки 1915 года. Заводской маткой ее видел Витт, и потом он мне говорил, что такой породной, правильной и идеально красивой кобылы он давно не встречал.

Заводская деятельность Позы в Орле:

1921 год – холоста.

1922 год – серая кобыла Первушка (2.21) от Бунчука.

1923 год – приплод от Шкипера. Пал.

1924 год – светло-серая кобыла Пачка от него же.

1925 год – гнедая кобыла Пыль от Бунчука.

Первая дочь Позы, Первушка, была – я ее видел – крупной, сырой и дельной кобылой по типу Бунчука. Она, несомненно, одна из резвейших орловских кобыл, родившихся в первое пятилетие Октябрьской революции. Дочь Позы Пачка, по отзывам многих, была замечательной красоты. Ее мне хвалили и Семичев, и Витт, и Алексеев, и Крымзенков. Дочь Шкипера, жеребца высокой породы и такого же класса, естественно, возбуждала величайшие надежды. Она пришла в Москву, ее работал Семичев и потом отослал в завод на один год. Пыль – родная сестра Первушки; судя по гнедой масти, вероятно, вышла в Удалого, на которого была инбридирована. До сего времени на ипподроме не выступала. Басов говорил мне, что Поза – одна из наиболее обещающих заводских маток в заводах Орловского губсельтреста. Поживем – увидим, как говорят французы, а пока перейдем к другой дочери Позёмки, Поляне, которая осталась в Прилепах.

Поляна была на два года моложе Позы, родилась в 1917 году. Ее отцом был Лакей.



Особенно интересно, что в данном случае было закреплено имя Крутого 2-го. Приятно также в этой родословной и то, что обе бабки – знаменитые кобылы, Ласточка и Пальма. При такой родословной заводская карьера Поляны должна была оказаться удачной.

Поляна была трех с половиной вершков роста, светло-серой масти, очень сухая, блестящая и породная. Недостатков она не имела, но была недоразвита и беднокостна. Само собою разумеется, что это явилось следствием жуткого голодания. Поляна не была даже заезжена, так что ее резвость осталась неизвестной. Она поступила в завод в 1921 году.

Заводская деятельность Поляны:

1922 год – серая кобыла Пчела от Эх-Ма.

1923 год – серая кобыла Пахота (2.29) от него же.

1924 год – вороная кобыла Пальма (2.24) от него же. В Грязнушенском заводе. Продана Башнаркомзему.

Первая дочь Поляны, Пчела, родилась хилой и мелкой кобыленкой и позднее была выбракована и продана. Ее сестра Пахота получилась блестящей и породной, однако и ее я выбраковал, так как она имела запавшее запястье и отличалась общей беднокостностью. Пахота была поразительно эффектна на выводке, и ее купил некий Алексеев, у которого она показала безминутную резвость. Лучшей среди сестер оказалась вороная Пальма. Крупная, дельная, породная и блестящая, она хорошо бежала и поступила в Грязнушенский завод. Зимой 1924 года я продал Поляну Башнаркомзему. Заводскую деятельность этой кобылы я признаю удачной, так как из трех голов ее приплода две показали безминутную резвость и одна, Пальма, была выставочной кобылой.

Помимо Позы и Поляны в заводскую книгу внесена еще Пурга, которая была на восемь лет моложе Позёмки. Ее национализировало Пензенское заводоуправление, и там с 1919 по 1925 год включительно она дала одного жеребенка! Кроме того, несколько внучек Пальмы сегодня разбросаны по заводам Пензенской губернии. По-видимому, наибольшую роль суждено сыграть тем ее потомкам, что происходят от Позёмки.

Кира родилась у Н. С. Шибаева и была дочерью Несносного, одного из любимых жеребцов старика Сахновского. Матерью Киры была Каша, впоследствии прославившаяся у меня в заводе. Впервые я увидел Киру в Аргамакове, когда она была еще под матерью, 26 лет назад. Жеребенком Кира производила хорошее впечатление и во многом напоминала Кашу, но была короче ее и круглее. Своими законченно округлыми формами она оказалась ближе к своей бабке, знаменитой рыжей Красе, масть которой она, между прочим, тоже наследовала. По приметам Кира была очень пестра, как и ее мать Каша, и это было наследием уже другой бабки, именно гнедопегой Кометы.

В 1919 году Кира принесла рыжего жеребчика, очень отметистого и правильного, который был назван Красиком. Он хорошо выдержал голодовку, выжил и сравнительно нормально развился, бежал тихо и был назначен в Курскую заводскую конюшню. В 1920 году, когда Деникин наступал на Мценск, экстренно потребовались лошади для командного состава армии, и тогда из заводов Тульской губернии было взято 50–60 рысистых лошадей, и в их числе лошадей десять из Прилеп. Среди них оказалась и Кира, отстоять которую не удалось, хотя она была жереба и тогда ей исполнилось уже 17 лет. Она понравилась приемщику своими округлыми формами, великолепной спиной и спокойным характером: на пробе пошла под седлом, как старая лошадь. Таким образом, Кира окончила свои дни в Красной армии, а может быть, погибла на поле брани.

Все три дочери Киры, о которых пойдет речь далее, родились еще у меня в заводе: Касперовка в 1915-м, Каска в 1917-м и Клевета в 1918-м. Старшая из них, Касперовка, была дочерью Петушка и очень мне нравилась: некрупная, но костистая, усадистая кобыла хороших ладов напоминала мне старых яньковских кобыл. Масть Касперовки бросалась в глаза главным образом благодаря ее отметинам: все четыре ноги у кобылы были выше колен белы, во весь лоб лысина и под брюхом белое пятно. Хвост и грива были светлые, золотистого оттенка. С некоторой натяжкой лошадь можно было считать рыже-пегой. Я всегда любил пегих лошадей, а потому рождение столь отметистой кобылки доставило мне превеликое удовольствие и я назвал ее Касперовкой – в честь имени моего отца, где я родился.

Останься Касперовка у меня в заводе, я соответствующим подбором отвел бы от нее пегих рысаков, и притом без капли посторонней крови. Подходящий жеребец был у меня уже на виду и имел хороший рекорд – 4.49. Словом, для Прилепского завода вопрос создания своих пегих чистопородных рысаков был лишь вопросом времени, а то, что они нашли бы себе очень большой сбыт, не вызывает никакого сомнения.

В начале революции Касперовка вместе с другими лошадьми была продана в Орёл Неплюеву. Эта сделка оказалась чрезвычайно удачной: все проданные кобылы, за самым малым исключением, уцелели. Это была ставка 1915 года, и там оказались Пряжа, Благодать, Роса, Касперовка, Седая, Каширская Старина, Поза, Литва и другие. Ставка 1917 года удержалась в Прилепах, в ней были Насмешница, Незабвенная, Похвала, Улада, Большая-Медведица, Светлянка... Иначе говоря, во время революции уцелели только две ставки кобыл, 1915 и 1917 годов, и все же роль и значение прилепского материала в современном коннозаводстве никто отрицать не станет. Каково же было бы значение этого завода, если бы он «выжил» полностью, не понес страшных потерь в ставках 1919–1921 годов и сохранились бы те кобылы завода, которые находились в разных руках? Надо полагать, что тогда значение Прилепского завода в своем, то есть орловском, направлении ненамного бы уступило значению телегинского завода в орлово-американской среде.

Я ценил Касперовку настолько, что она в числе шести кобыл подлежала возврату в завод. К сожалению, иначе ее расценил Басов, работавший в Орловском тресте с начала революции. Дети Петушка ему не импонировали, масть Касперовки, вероятно, не нравилась, и эта кобыла оказалась определенно в загоне. Мы не имели сведений о ее заводской деятельности вплоть до 1924 года, в котором она прохолостела от Бунчука. В 1925-м у нее был приплод от Недотрога, павший в том же году. Дальнейших сведений в заводской книге нет, а так как ее приплодов не бегу мы не видим, следует предположить, что Басов ее продал, несмотря на несколько предостережений с моей стороны. От Касперовки не только можно, но и должно было отвести ценный приплод, и если это не было сделано, то лишь в силу предвзятого мнения, что Петушок неинтересен как производитель, а стало быть, и его дочери не заслуживают внимания как заводские матки.

Каска, другая дочь Киры, родилась в 1917 году. Она решительно ничего общего не имела ни со своей матерью, ни со своей знаменитой бабкой, а вышла в породу отца – Громадного. Каска была темно-серой масти в краснине, сухая, очень дельная, лентистая, чуть конистая и чрезвычайно породная кобыла. Необыкновенно горячая, она имела, как сказал бы покойный Карузо, огненный темперамент, который и явился причиной ее гибели. Эту кобылу наметил себе для езды Волков и требовал ее в Волохово. Но как он ни злился, распоряжение его я не исполнил и кобылу из Прилеп не выпустил. Однако в 1921 году Каска не была случена, так как предназначалась в езду и являлась яблоком раздора между Прилепами и подотделом животноводства губземельного отдела. В 1922 году спор был окончательно решен в мою пользу – и Каска была случена с Эльборусом. К несчастью, в конце мая того же года в Сергиевском, куда были отправлены холостые кобылы, она попала в картофельную яму и убилась. В этом происшествии кругом был виноват заведующий хутором Карелин. Я своевременно сделал распоряжение закрыть яму, Карелин с этим не спешил. Как агроном, он не любил лошадей, а кроме того, считал, что знает все лучше других. В первый же день выпуска табуна Каска подыграла, ее не смогли задержать, не успели перенять, и она попала на гумно, а оттуда, взяв левее, угодила в прикрытую камышом яму. Конечно, когда случилось несчастье, Карелин, как настоящий русский человек, перепугался, прискакал в Прилепы, просил прощения и прочее. Противно было видеть господина агронома в жалкой роли провинившегося мальчишки... Тот же Карелин угробил и другую интереснейшую кобылу, именно Комету-Галлея. Это было в том же году, месяца через полтора после несчастья с Каской. Дело с табуном в Сергиевском не ладилось. Карелин все стонал о своих коровах, которые так хорошо его подкармливали, а теперь покинули Сергиевское. Кобылы только что пришли на хутор и были встречены Карелиным со скрытой враждебностью: в душе тот все еще надеялся вернуться к блаженным временам губсовхоза, когда он был полным хозяином и распорядителем дела. Мне об этом сообщил Крал, я принял сказанное к сведению и каждый

день бывал в Сергиевском. После случая с картофельной ямой Карелин изменил тактику, принес покаяние, и я согласился его оставить, но при условии, что Крал будет самостоятелен в своих действиях и распоряжениях на маточной и в табуне. Как ни обидно это было для самолюбия Карелина (а я вынес наблюдение, что агрономы – самый самолюбивый народ среди всех остальных специалистов), он согласился. Несмотря на это, через некоторое время в другую яму попала Комета-Галлея и погибла. Это была превосходная по себе, безминутная кобыла, дочь знаменитой Кабалы, а потому ее гибель явилась крупной потерей для завода. На этот раз струхнул Карелин не на шутку и приехал с повинной головой. Привез с собою Крала и стал меня уверять в том, что больше никаких происшествий не будет. Я подумал, что кобыл все равно не воскресить, что на место Карелина придется брать нового заведующего, тот может оказаться не лучше этого, а Карелин уже достаточно проучен, и решил его оставить. С тех пор Карелин стал работать согласно с Кралом и ни одного несчастного случая на Сергиевском хуторе больше не было.

Третья и последняя дочь Киры, Клевета, осталась в Прилепах продолжать род Каши и оказалась вполне достойной внучкой своей знаменитой бабки. Клевета родилась в 1918 году от Лакея. От отца она получила типичную голову и его характерную рыжую, слегка отдающую в бурину масть и точно так же, как Лакей, была суха. Превосходную спину, породность и столь характерную для этой семьи округлость форм она унаследовала от матери и бабки. У Клеветы был один, и притом существенный, недостаток, именно сближенный постав скакательных суставов. Впрочем, недостаток этот она не передавала своим детям. Сочетание Лакей – Кира было удачным вследствие того, что закрепляло имя старого Крутого.

Клевета не обладала резвостью, следует даже сказать, что у нее был в своем роде исторический рекорд – 2.17 верста, то есть на целых 17 секунд тише нормы! Такой рекорд для тех, кто расценивает кобыл исключительно по их резвости, а подобные «знатоки» у нас, к сожалению, преобладают, имел только отрицательное значение. Неудивительно, что Владыкин, приехав в Прилепы, сейчас же решил гнать ее из завода. Тщетно я ему указывал, что кобыла хороша по детям, «великий» человек и слышать ничего не хотел. К счастью, судьба смилостивилась над Клеветой: не нашлось никого, кто бы пожелал купить в завод кобылу с рекордом 2.17 верста. Так Клевета осталась в Прилепах, а там и сам Владыкин собрал свои чемоданы и навсегда исчез с тульского горизонта. Участь Клеветы была решена, и кобыла спасена для коннозаводства.

Поступив в завод, Клевета оказалась очень хорошей маткой: регулярно жеребилась, была спокойна во время выжеребки, отличалась развитым материнским инстинктом и была очень молочна.

Заводская деятельность Клеветы:

1923 год – вороной жеребец Крестник (2.14) от Эльборуса. Хреновская тренконюшня.

1924 год – вороной жеребец Ковёр от него же. В одной из заводских конюшен.

1925 год – светло-серая кобыла Клязьма от Удачного. Хреновская тренконюшня.

1926 год – вороной жеребец от Эльборуса. Там же.

1927 год – холоста.

В Хреновском заводе:

1928 год – светло-серая кобыла от Ловчего. Хреновской завод.

Стало быть, в течение шести лет, что Клевета провела в заводе, она дала пять жеребят и только один раз прохолостела. Все ее дети были нормальными и правильными жеребцами. Три года кряду я ее покрывал с Эльборусом, ибо при таком сочетании повторялось имя Серьёзного.

КРЕСТНИК, КОВЁР И ВОРОНОЙ ЖЕРЕБЕЦ 1926 ГОДА РОЖДЕНИЯ



Серьёзный – 6+6+7; Кролик – 5+5.

Серьёзный был сыном рекордиста Степенного – лучшего сына роговского Полкана. Лучшими же сыновьями Серьёзного стали Кролик (5.40) и Варвар (5.25).

Крестник – вороной, со всеми отметами отца, костистый, угловатый. Имел черты роговских Полканов, но был ближе к отцу.

Ковёр – вороной, без отмет, сухой, со спущенным задом, выразительной головой с лобочком – получился типичным для линии роговского Полкана. Этот замечательный жеребенок был погублен еще под матерью. В тот год в Тульской губернии был недород трав и табунам негде было ходить. Решив сохранить небольшие участки для лучших подсосных кобыл и старух, я молодых и холостых отправил на летний период в один из совхозов Тульского губсельтреста, ибо другого выхода у меня не было. В то время директором треста был Березовский, теперешний управляющий Шаховской группой. Он охотно пошел мне навстречу и предложил для выпаса на лето один из совхозов в Епифанском уезде. О количестве земли не говорили, ибо, по словам Березовского, там было 300 десятин заливного луга, из коих 25 десятин некошеного отводилось под прилепский табун, а по снятии трав кобылы могли ходить по всем лугам. Кроме того, по договору полагалась ежедневная выдача восьми фунтов овса на каждую подсосную кобылу. Договор был подписан, и в уплату за все эти блага трест получал кобылу Уцелевшую, оцененную в полторы тысячи рублей. Я вернулся в Прилепы, составил список кобыл, нарядил провожатых, назначил старшим дельного и честного человека Филиппа Левина, дал ему инструкцию, контора снабдила его деньгами, и в одно раннее утро поезд двинулся в Епифанский уезд. Кобылам предстояло пройти гоном 130 верст, что было нелегко для жеребят. Левин благополучно прибыл на место назначения. Но каково же было его отчаяние, когда на месте обещанных конюшен оказался сарай, овса – ни зерна во всем совхозе, а луга сданы крестьянам! Получив об этом телеграмму, я на другой же день чуть свет выехал в Епифанский уезд. В корню шла Наседка (2.22), дочь Ментика, на пристяжке – пегий жеребец Лель. Эти 130 верст я отмахал в один день и к ночи был уже на месте. Свалился я к заведующему совхозом как снег на голову и, признаться, изрядно намылил ему шею, хотя он-то был тут ни при чем. Березовский же подписал договор по своей неосведомленности, не зная, сданы угодыя или нет. Имение было богатейшее и ранее принадлежало графу Олсуфьеву. Купив овса для маток, пустив их по паровому полю и взяв с управляющего слово, что сейчас же после уборки лугов он пустит туда кобыл, я попробовал приспособить конюшню. Но как ни бился, как ни изворачивался, сделать ничего не смог, так в сарае кобылы и провели все лето. Отдохнув дня два в этом имении, съездив на поле Куликовской битвы и отдав Левину распоряжение следить за кобылами, я вернулся в Прилепы. Когда осенью кобылы вернулись домой, о них только и можно было сказать, что живы, но жеребята остались заморышами и уже не поднялись. В их числе был сын Эльборуса Ковёр. Только по этой причине мы не видели его на ипподроме, по типу же и сухости он был лучше Крестника.

Интересно, как реагировал на все это происшествие Тульский трест? Сначала Березовский был смущен, затем нашел какое-то оправдание, а уже через каких-нибудь десять дней Тула была убеждена, что я кругом не прав, что всему виною мой тяжелый характер и те преувеличенные требования, которые я предъявляю ко всему и ко всем, когда дело касается прилепских лошадей! Это было если не остроумно, то во всяком случае неглупо придумано, а главное, всех удовлетворило...

Но несомненно, лучшим из трех братьев является жеребец, родившийся в 1926 году (имя его я забыл). Тоже вороной и несколько отметистый, он имеет линии классной лошади, очень сух, длинен, превосходен по спине, делен, костист, но несколько высок на ноге. Из всех братьев он наиболее близок к Варвару и наиболее типичен для роговских Полканов. Ушел он в Хреновую полуторником.

Таким образом, сочетание Эльборус – Клевета или, что будет точнее, Эльборус – Лакей, основанное на повторении Серьезного при введении через Ласточку старых лотарёвских кровей, вполне себя оправдало. Поступивший уже на ипподром Крестник показал первоклассную резвость, и это несмотря на то, что в талантливые руки Стасенко попал уже изломанным. Следует еще отметить, что в настоящее время успешно начал бежать двухлетний Крикливый, сын Эльборуса и Кольвани, дочери Лакея (в данном случае мы имеем вполне аналогичное сочетание, но в усиленной форме).



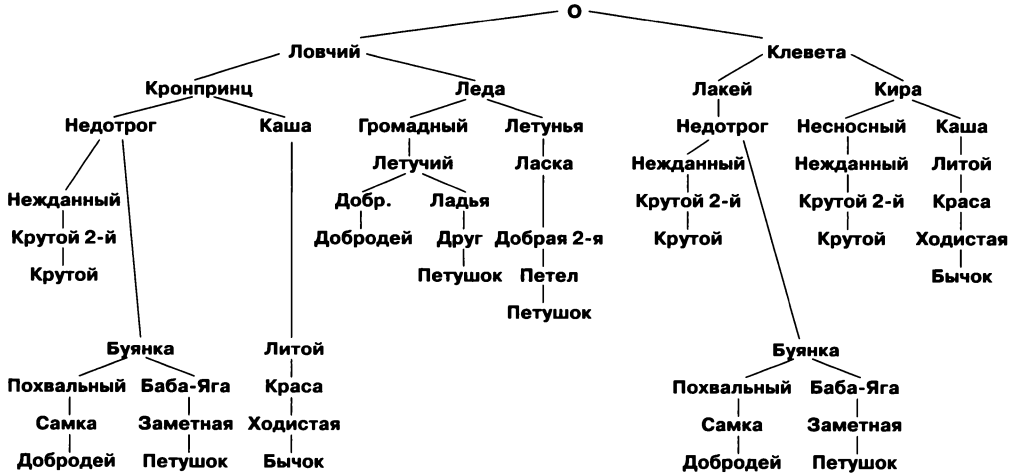
Кролик – 5+5+6; Серьезный – 6+6+7+7.

Остальные приплоды Клеветы, две светло-серые кобылки, родились от своих, то есть прилепских жеребцов. Старшая из них была дочерью Удачного, младшая – Ловчего. Старшая, по имени Клязьма, – крупная, костистая, абсолютно правильная, породная и дельная кобыла в типе лучших дочерей Громадного. Я должен сказать, что разобраться в качестве Клязьмы – ей было два с половиной года, когда она ушла в Хреновую, – может только лицо, хорошо знающее тип и постепенность развития дочерей и внуков Громадного. Сейчас у Клязьмы голова велика и имеет бараний профиль, кобыла кажется высокой на ногах и простоватой, но при этом суха и имеет чудную спину. К пяти годам откуда что возьмется: голова подсохнет, шея примет лебединый контур, проявится порода, кобыла сядет и станет глубока. Словом, превращение будет полное. Опасаюсь лишь одного: Пуксинг, который никогда не работал с линией Летучего, совершенно не знает Громадных и в настоящий момент не оценит должным образом Клязьму, а так как резвости она не проявила, выбракует ее из завода. Это будет большой ошибкой: дочери внуки Громадного, как правило, бегут плохо, но производят хорошо!

В 1927 году Клевета прохолостела и в декабре того же года вместе со всем заводом ушла в Хреновую. Там она в 1928 году благополучно ожеребилась, и когда я после окончательного разгрома Прилеп в феврале приехал в Москву, то результат выжеребки Клеветы был уже известен. Только накануне моего приезда вернулся из Хреновой Владыкин и рассказывал в отделе коннозаводства, что Клевета приплодила замечательную рыжую, белоногую и лысую кобылку. Мы уже знаем, что в свое время и Кронпринц родился рыжим и отметистым, но уже к двум годам стал белым.

То же и его родной брат Кот. Кронпринц в дальнейшем давал рыжих жеребят, которые позднее становились белыми (Недотрог), иногда красно-серыми (Сатрап). Все они были ценными и резвыми лошадьми. Вследствие чего можно полагать, что дочь Ловчего и Клеветы тоже ждет хорошая будущность.

ПРИПЛОД 1928 ГОДА, КОБЫЛА



Каша – 3+3; Петушок – 7+7+7+7; Недотрог – 3+3;
 Бычок (самостоятельно) – 7+7; Крутой – 6+6+6; Добродей – 7+6+7.

Инбридируются также Крутой 2-й и Нежданнный. Таким образом, мы видим, что родословная родившейся кобылки является результатом планомерной коннозаводской работы. Обращает на себя внимание повторение имени Каши, инбридинг на которую, по-видимому, сыграл решающую роль, ибо кобыла получилась замечательного экстерьера и рыжая (в будущем белая). Хорошо представлены знаменитый Добродей и старый Крутой. Бычок повторяется в этой родословной шесть раз: дважды – через одну из лучших своих дочерей Ходистую и четырежды – через класснейшего своего сына голохвастовского Петушка. Нельзя также не отметить, что отцы Ловчего и Клеветы – полубратья, так как оба происходят от Недотрога. В данном случае столь близкого инбридинга бояться не следует, так как это лошади твердой породы. Некоторое опасение при этом может вызвать только характер будущей кобылы, но, думаю, Каша и Ласточка, обладавшие идеальными характерами, сгладят остроту положения.

Клевета еще молодая кобылка, и расцвет ее заводской карьеры впереди. Она может и должна дать много ценного, в особенности по экстерьеру. Тем и ценно женское семейство Каши, что помимо резвых рысаков оно давало и дает замечательных по правильности и красоте форм лошадей.

В давно прошедшие времена была у Стаховича кобыла Простота, впоследствии прославившаяся в заводе Суручана. У Шереметевых была кобыла Тишина, давшая Кракуса, первого рысака, показавшего резвость 2.20. Ну а Теснота? Чем прославилась эта кобыла? Увы! Не знаю в русском коннозаводстве кобылы, которая бы носила такое имя, ибо широк русский человек и не любит он никакой тесноты, а душа его всегда ищет простора и все новых и новых, еще никем не изведанных возможностей, всяких заманчивых далей и сказочных горизонтов. Правда, почти всегда вместо исполнения своих желаний и осуществления грандиозных планов он остается у разбитого корыта и, почесывая затылок, сваливает все беды на других... Впрочем, не об этой черте я хотел здесь говорить, как и вообще не предполагаю вдавать-

ся в разбор характера русского человека. Все, что я сказал, это так, к слову... Пора объясниться. Теснота – это не кобыла, это самая ужасная, самая прозаическая теснота, царящая в 21-й камере 4-го отделения тульского исправдома, который только по недоразумению носит это название.

Двадцать первая камера рассчитана на десять-двенадцать человек. Здесь поместили тридцать, потом добавили двух или трех – словом, уплотнили так, что пройти по камере практически нельзя. Все мы сидим по стенке и посреди камеры на своих жалких узлах и сундучках. Какая это ужасная и какая это тяжелая картина! Ни ноги размять, ни походить, ни сесть к столу невозможно: везде спины, плечи, головы, руки и опять спины, плечи, головы и руки людей. Это что-то кошмарное и граничащее с пыткой! Вечером, когда ложимся наконец спать, долго не можем уместиться – кому-нибудь да не хватает места. Лежим в ряд так тесно, что трудно повернуться на другой бок. Даже на столе и двух скамейках, которые каким-то чудом пристраиваются у дверей, ложатся три человека. Когда все умещаются, камера представляет сплошное человеческое тесто и яблоку буквально негде упасть. Все время вспыхивают ссоры, ибо камера следственная, все раздражительны, угрюмы, ждут решения своей судьбы. Ко всему еще камера сборная, не имеет традиций, и всяк гнет кто куда.

Само собою разумеется, что камера не отапливается. Несколько дней она была пуста, а потому промерзла. Мы ее отогрели своим дыханием, и по стенам потекли струйки воды. Сырость в камере невероятная, и я был уверен в том, что это мое последнее пристанище и отсюда меня поволокут в больницу, а оттуда на кладбище. Пока этого, слава Богу, не случилось. Все мы держим провизию на окнах, а когда ее берем, все мокрое и продукты расплозуются в руках. Постельные принадлежности и верхнее платье все время волглые. Полотенце не просыхает, и им больше нельзя пользоваться. Утром белье на нас тоже сырое, хоть выжимай. И наконец, карандаш, которым я пишу, от сырости размяк так, что когда его чинишь – графит крошится, а когда пишешь – ломается.

Не лучше обстоит дело и с воздухом. Фортки в камере, конечно же, нет, и ночью мы все буквально задыхаемся. Но самый ужасный момент наступает утром. Будят нас в 5 часов. От человеческих испарений, страшной скученности и отсутствия притока свежего воздуха рвота подступает и берет за горло, а голова пуста, как медный таз. Прошел день в этой ужасной камере, и на ночь решили выбить стекла, что и сделали. Свежий воздух клубами повалил в камеру, и стало легко дышать, но на смену испорченному воздуху пришли сквозняк и холод. Однако само собою понятно, что лучше мерзнуть, чем задыхаться... Жидки краски на моей палитре, чтобы нарисовать картину наших страданий в 21-й камере, которую смело можно назвать камерой медленного угасания и прямого пути «на картошку» – так называется поле, где хоронят умерших в тюрьме... Вынослив русский человек, но все же в течение двух-трех дней в лазарет слегло семь человек, а остальные полубольны и еле перемогаются. Благо дернули морозы в тридцать градусов – и в камере воздух стал чистый, сухой, холодный.

Беда, большая беда, что советская общественность, которая так зорко за всем следит и везде имеет свой глаз, не заглядывает за тюремные решетки! Тут она многое бы увидела!

Итак, свершилось! Двадцать третьего января 1929 года в городе Москве, во владениях Московского государственного ипподрома, в бывшем скаковом павильоне, открыт Государственный научный и художественный музей по коневодству и коннозаводству. Этот музей, созданный мною, находился 20 лет в Прилепах, в феврале 1928-го был перевезен в Москву, там в течение года находился в стадии организации и наконец был торжественно открыт. Заветная мечта моей жизни, таким



Галерея в доме Я. И. Бутовича в Прилепах

образом, осуществилась. Двадцать девять лет тому назад я начал свою собирательскую деятельность и, любя лошадей и искусство, стал покупать картины с коннозаводскими сюжетами. Параллельно шло мое ознакомление с делом, приобретение знаний, изучение теории искусства и его истории. Вскоре я стал своим человеком среди коллекционеров, искусствоведов и торговцев картинами. Все знали, что Бутович покупает картины «с лошадьми», что нашелся маньяк, который скупает Сверчкова, и многие стали мне помогать. Время шло, собрание мое росло, и о нем уже начали говорить в широких кругах, а сам я стал общепризнанным авторитетом по батальной живописи. Известно, что в прежней Академии художеств существовал батальный класс, где лошадь была главным предметом изучения. Я часто бывал в этом классе и находился в приятельских отношениях с его руководителем – профессором и академиком живописи Н. С. Самокишем. Как историк коннозаводства, я в своей собирательской деятельности обратил особое внимание на портрет и первым в России стал собирать портреты лошадей. Мне удалось собрать несколько сот интереснейших портретов прежних знаменитых рысаков, тем самым было положено начало иконографическому отделу моей коллекции. По мере роста моих знаний и авторитета к картинам, собранным в Прилепах, стали относиться серьезно и с большим вниманием. В глазах знающих людей это было не просто собрание картин, утеха большого барина или любителя-коллекционера, это было новое, большое и серьезное дело. Нашлись люди, которые стали сравнивать меня с Третьяковым, утверждая, что если незабвенный Павел Михайлович Третьяков создал исчерпывающую галерею русской живописи в целом, то Бутович в идейном отношении идет по его стопам и собирает в своей галерее отдельную ветвь или отрасль живописи, именно батальическую. Со временем, говорили они, это собрание, несомненно, раз-

растется, охватит лошадь во всех ее проявлениях (военное дело, охота, спорт, труд и портрет лошади) и в итоге выльется в музей лошади. По размаху Бутовича, продолжали они, собрание перерастет размеры обычных частных коллекций и оформится в интереснейший музей, который станет достоянием государства. Приблизительно в это время наш маститый академик живописи И. Е. Репин, знавший меня с юнкерской скамьи и руководивший моим художественным образованием (я был своим человеком в доме Репиных), когда в академическом кружке зашла речь обо мне в связи со сделанными мною крупными заказами художнику Самокишу, Френцу и другим, сказал: «Запомните мои слова: Бутович – будущая историческая фигура на фоне русских собирателей!» Я не могу пожаловаться на отсутствие внимания к моей собирательской деятельности и всегда с благодарностью вспоминаю об этом.



Гости в доме в Прилепах

Моя деятельность как коллекционера достигла своего зенита незадолго до войны. Я являлся постоянным заказчиком портретов лошадей, в Прилепы ежегодно командировался из батального класса наиболее способный молодой художник, туда же приезжал лауреат баталического класса, получивший заграничную командировку, и писал этюды лошадей. Я, не стесняясь в средствах, покупал лучшие произведения баталической живописи. Наконец, каждое лето Прилепы посещали наши знаменитые художники – Самокиш, Френц и другие. Неудивительно поэтому, что галерея быстро росла и в качественном, и в количественном отношении. В газетах и журналах стали появляться статьи и заметки разных авторов о прилепском собрании, и начали раздаваться голоса о том, что держать такое собрание в деревне небезопасно. Все тот же Репин, на этот раз лично мне, сказал: «Вы Герострат русского искусства, собрали величайшие ценности и держите их в деревне. Все это может погибнуть!» К счастью для русского искусства и истории нашего коннозаводства, эти предположения Репина не оправдались: мне удалось даже во время революции отстоять галерею, провести ее через все трудности революционного времени, все эти годы отапливать музей, не дать его распылить и в полном порядке сдать представителям Наркомзема.

В 1917 году закончился первый и самый блестящий этап моей собирательской деятельности, а с ним и первый период жизни галереи. После революции я не склонил своего знамени, не бежал за границу, не распродал галерею за гроши, а решил продолжать пополнять собрание до тех пор, пока у меня хватит средств. Уже тогда я не сомневался в том, что галерея превратится в музей государственного значения. У меня оставались на руках свободные средства, и вот, вместо того чтобы купить золото и тем вполне и совершенно обеспечить себя, я в течение полутора лет покупал картины. Время для этого было самое подходящее: все было выброшено на рынок. Традиционные фамильные картины, имевшие всероссийскую, а иногда и европейскую известность, первокласснейшие произведения искусства продавались тогда, и сердце обливалось кровью, когда знаменитые полотна уплывали за границу одно за другим... Не то было на батальном фронте русского искусства: здесь я сам и мой уполномоченный, знаменитый торговец картинами Чекато, страстный лошадиник, снимали с рынка картины и портреты лошадей и направляли их в Прилепы. Именно тогда были куплены многие исторические портреты, например подовских жеребцов Отрада, Летуна, Богатого 3-го, толевского табуна, Веслянки, портреты хреновских, болдаревских, дубовицких, шишкинских, казаковских и других лошадей, картины Виллевалде, Соколова, Сверчкова, Ковалевского, Грузинского, Швабе, Худякова, Свебаха, Френца и так далее, и так далее. Словом, многое ценное в этой отрасли живописи было спасено, не допущено до продажи за границу, куплено, а затем и сохранено. Хотя из-за этих покупок я теперь нищий, но все же я не сожалею о том, что так поступил, и думаю, что уже сейчас многие сознательные и порядочные люди, сожалея о моей судьбе, чтут мои заслуги на поприще баталического искусства.

Это был второй этап моей коллекционерской деятельности и второй период жизни галереи – короткие по сроку, но богатые по содержанию. Именно тогда галерея пополнилась многими блестящими произведениями нашего искусства, которые в обычное, не революционное время купить нельзя ни за какие деньги.

В середине 1919 года принадлежавшая мне галерея была национализирована, оставлена в Прилепах, зачислена за тульским наробразом, а я был назначен ее хранителем. Этим начался третий, почти десятилетний, период жизни галереи. Период самый тяжелый, отнявший много сил, потребовавший немало умения и даже ловкости, чтобы отстоять галерею сначала от расхищения, потом от раздробления и наконец от перевоза в Тулу. Ни одно полотно, ни одна акварель, ни один рисунок не ушли из галереи. Много раз подымался вопрос о нецелесообразности держать музей – он уже тогда назывался коннозаводским музеем – в деревне и о том, что его следует перевезти в Тулу. Подобного рода поползновений было очень много, но я все их предотвратил, и музей как был в Прилепах, так в них и остался. Если бы только он был перевезен в Тулу, он бы погиб: на моих глазах были перевезены замечательные предметы искусства из Сергиевского княгини Гагариной, из Першина Н. Н. Романова, от Олсуфьевых и из других имений – все это много раз учитывалось, переучитывалось, перевозилось с места на место, куда-то отправлялось и в конце концов испарилось. Где-то когда-то кому-то удалось прибрать добро к рукам, а затем и распродать... Прилепский музей этой участи избежал.

Помимо основных трудностей было немало других, преодолеть которые было не так-то легко. Главной из этих, второй категории, трудностей был вопрос отопления. Музей поглощал 6 тысяч пудов угля в отопительный сезон, и нетрудно понять, как-то было получить уголь в те годы кризиса советского хозяйства. Уголь всегда выхлопывал я сам в центре, то есть в Москве. Таким образом, все годы революции музей отапливался и картины нисколько не страдали от сырости и перемены температуры. Кредиты на музей не отпускались, и если музей существовал, то лишь потому, что я одновременно управлял Прилепским заводом и давал средства на музей.

Много по этому поводу было у меня неприятностей, но все они были сглажены и преодолены. В разное время музей был в ведении различных учреждений – сначала тульского наробраза, потом Главмузея, далее опять наробраза, затем госконезавода, потом отдела коннозаводства, пока, наконец, в 1928 году не был формально принят отделом коннозаводства Наркомзема и перевезен в Москву. Музеем в начале революции заведовало несколько лиц, но так как они не получали жалованья, то скоро ушли. Я безвозмездно работал в музее все годы революции. Само собой разумеется, что эту работу я понимал как сбережение ценностей. И что же? Когда меня судили, то ставили в вину, что я не вел учета по музею, не составлял и не пересоставлял описей. Словом, мало того, что я все сохранил, безвозмездно работал и умудрился сберечь от крестьянского погрома, потом от перевоза в Тулу и разграбления, мало того, что я доставлял уголь, ездил, хлопотал и, наконец, сдал все в блестящем порядке – так еще хотели, чтобы я отвечал за промахи других, был бы и писарем, и делопроизводителем, и сторожем музея!

Далеко не все отдают себе отчет, сколько я принял горя и унижений, сколько было волнений и страданий, сколько преодолено опасностей, сколько истрачено денег, положено сил, здоровья и энергии, чтобы спасти музей и целым и невредимым сдать, наконец, правительству! На это ушло десять с половиной лет жизни и все мои средства... И вот теперь, на старости лет, я у разбитого корыта, а другие «открывают» музей и пожинают плоды! *O tempora, o mores!**

Следует сказать хотя бы два слова о том, как пополнялся музей после национализации. Ввиду того что музей находился в деревне и не имел охраны, я не был сторонником получения картин из государственных фондов, ибо опасался, что и те, что уже находятся в Прилепах, могут погибнуть. Тем не менее некоторые пополнения из госфондов были мною получены. Это имело место в тех случаях, когда данным вещам грозила опасность продажи. Несколько раз я получал в ленинградском фонде портреты лошадей – не сделай я этого, они по оценке два-пять рублей были бы распроданы в годы безобразной, хищнической торговли ценностями из ленинградских дворцов и фондов. Вот каким образом появились эти фондовые картины и портреты в Прилепах. Их число невелико, и, полагаю, общее их количество не достигает и 150 номеров.

Было бы ошибочно думать, что после национализации музея, то есть с середины 1919 года, я перестал покупать картины. Отнюдь нет. С 1919-го по 1923-й я сделал ряд крупных и чрезвычайно удачных приобретений. К 1919 году личные мои средства были уже исчерпаны. Чтобы удовлетворять свою страсть и продолжать любимое дело – создание музея, я помимо государственной службы работал и наживал деньги, их-то я и вкладывал целиком и без остатка в покупку картин. Указав источник средств, скажу, что за этот период времени я купил не менее 350–400 картин, рисунков и акварелей. Покупал их для меня Чекато, посещая ради этого аукционы и распродажи. Будучи антикваром, он прекрасно знал рынок и покупал очень удачно. Обычно два раза в год я приезжал в Ленинград, расплачивался с ним, увозил «товар», как он шутя называл картины, в Прилепы. Приобретая картины прежних мастеров, я, кроме того, ежегодно, до 1923 года, приглашал на лето в Прилепы художников, и они по моему специальному заказу писали портреты прилепских лошадей. С этой целью перебивали у меня такие известные и знаменитые художники, как Юон, Виноградов, Туржанский, Савицкий и другие. Период 1919–1923 годов в моей коллекционерской деятельности был трудным, ибо деньги зарабатывались нелегко, жизнь была тяжелой, а я все силы отдавал любимому делу. Но для музея это был хороший период.

* О времена, о нравы! (лат.)

После 1923 года для государственных служащих наступило трудное время: заниматься посторонними делами, состоя на службе, стало уже нельзя, пошли всевозможные строгости, гонения и прочее. Словом, зарабатывать деньги оказалось невозможно, пришлось сокращаться во всех расходах и стало уже не до покупки картин. Кроме того, моя связь с госпожой Вальцовой была оформлена, родилась дочь, пошли новые расходы, явились новые требования и капризы вздорной и неумной женщины. Линия моей жизни именно тогда сделала крутой поворот от беспрерывного подъема к падению, пока не докатила меня до сырого угла в Тульской каторжной тюрьме. Понятно, что после 1923 года и вплоть до самого моего ареста (24 февраля 1928 года) я купил очень незначительное число картин – едва ли более восьмидесяти. Среди купленных произведений искусства первоклассных было немного.

В общей сложности в Прилепах образовалась тысяча картин, акварелей и отдельных крупных законченных рисунков, не считая нескольких тысяч рисунков в альбомах. Это такое по количеству, не говоря уже о качестве, собрание произведений искусства, каким, кроме Третьякова, не владел в России ни один человек. Когда составлялась опись собрания представителем Главмузея художником С. И. Лобановым, он увидел, что число картин не соответствует тому, которое было национализировано, – оно увеличилось в два или два с половиной раза. Лобанов запросил меня, в чем дело. Я объяснил ему, что все эти годы покупал картины и что они составляют мою собственность. Не оспаривая этого положения, он, однако, заметил мне, что едва ли кто поверит, что нашлось такое частное лицо, которое купило 500 картин во время революции. Затем, улыбнувшись, добавил: «Знаете, в советское время как-то рука не подымается написать: 500 картин у частного лица». Я согласился, что это действительно «неудобно», и затем сказал: «Если бы не было революции, я бы все равно завещал свое собрание государству. Теперь оно национализировано, является общим достоянием, но, к сожалению, пока еще не устроено. Тем не менее внесите в госопись 300 картин из числа моих». Вопрос был разрешен! В составленную Лобановым государственную опись Прилепского коннозаводского музея вошло 700 с лишним картин, а отдельная опись моих картин заключала 182 номера и была подписана начглавмузея Троцкой. Таким образом, к моменту сдачи мною музея казенных по описи было 750–780 картин, моих – 182, затем разного хлама, копий и прочего – номеров 70 (их Лобанов в свое время не взял на учет) и, наконец, картин, купленных мною для себя уже после составления описей Лобановым, в последние годы, – номеров 50–70.

К концу декабря 1927 года та травля, которую в течение последнего года вели против меня Рапп, Владыкин и их присные, наконец-то принесла свои плоды: Прилепский завод было постановлено передать Хреновой, а музей – Москве. Не оставив, таким образом, камня на камне от моей двадцатилетней деятельности, они могли почивать на лаврах. Однако еще одному моему врагу, Сеницыну, и этого показалось мало. Незадолго до моего отъезда в Прилепы для сдачи музея он прозрачно намекнул, что не худо бы мне подарить государству и свои картины, иначе музей будет неполным. Я понял обязательность намека. Разбивать музей и собственными руками разрушать то, что создал, я не намеревался, а потому тут же заявил Сеницыну, как официально должностному лицу, что я приношу свои картины в дар музею. Казалось, что все уладилось, но мстительный Сеницын только ждал моего отъезда из Москвы, чтобы путем лжи и подлога восстановить против меня верхушку Наркомзема и окончательно меня погубить. В это время я, представитель Главмузея Лобанов и некий Будник от Наркомзема мирно работали в Прилепах – я по сдаче, они по приему музея, после чего мы предполагали приступить к упаковке ценностей, а затем я навсегда покинул бы Прилепы и переехал вместе с музеем в Москву. Параллельно другая комиссия принимала завод. Вели они свою

работу спешно и закончили ее в три дня. Когда лошадей вводили, я не пошел смотреть на эту грустную и тяжелую картину, но слышал, что почти все крестьянство двух деревень было налицо. Длинной вереницей потянулись знаменитые прилепские кобылы, а за ними и молодняк, к присадам. Их везде встречали как своих, родных, и крестьяне, качая головами, говорили: «Рушили бутовский завод! Долго держался, а все-таки рушили!»

Тем временем Синицын в Москве не спал. Он сделал доклад члену коллегии Наркомзема Савченко, тот наркому, и меня без объяснения причин отстранили от должности, назначив на мое место некоего Андреева, ренегата, шпиона и мерзавца первой руки. Савченко, инструктируя Андреева перед отъездом в Прилепы, сказал: «Пустить Бутовича, как бывшего помещика, из Прилеп без штанов и все отобрать!» Синицын эти инструкции углубил – в том духе, что нельзя ли на месте покопаться, чтобы найти против Бутовича материал и посадить его куда следует. Такого рода дела Андрееву были по душе: он до этого создал несколько процессов и это он, между прочим, в 1923 году посадил Витта в тюрьму... Андреев, дрожа от радости, что может погубить еще одного человека, как снег на голову свалился к нам в Прилепы. Приехал он поздно вечером и, разумеется, без предупреждения. Будник совершенно растерялся, когда узнал, в чем дело. На другое утро объявив мне, что он назначен заведующим музеем, а я уволен, что у меня приказано все отобрать и что это будет строго выполнено, Андреев приступил к делу – и пошла писать губерния. Он опечатал кладовые, назначил ночного и дневного сторожей у входа с распоряжением никого и ничего не впускать и не выпускать, стал во всем рыться, требовать отчета, обыскивать мои сундуки и творить невероятные безобразия и все беззакония, на какие только был способен. А на что был способен Андреев – это знают многие... Параллельно он вел работу ищейки: таинственно исчезал, кого-то допрашивал, записывал, узнавал подноготную моей жизни и прочее. В доме стоял суший содом. Андреев матерно ругался, хлопал дверьми, стучал сапогами и всячески бесчинствовал, он буквально навел ужас на всех окружающих. Отобрав у меня все, он вызвал РКИ и заведующего губернским музеем и дал мне норму мебели и кое-какой хлам. При этом он приговаривал: почему, мол, у *моей* жены все отобрали, у всех помещиков отобрали, а господину Бутовичу оставили – отобрать!

В Москве, куда я приехал в начале февраля, навсегда простившись с Прилепами, я застал атмосферу сочувствия и возмущения поступком Синицына. Вскоре я имел случай официально говорить с секретарем наркома, и последний был возмущен теми безобразиями, которые именем Смирнова были допущены в Прилепах. Синицын увидел, что дело поворачивается в мою пользу. Андреев, дрожа за свою шкуру, отдал ему собранные против меня материалы, и Синицын, в последний раз нажав на Савченко, добился того, что тот снесся с ГПУ и в ночь с 23 на 24 февраля я был арестован.

Не буду сейчас описывать всех перипетий, постигших меня после ареста, и всех бед и злоключений, свалившихся на мою бедную голову. Скажу лишь, что меня обвинили, а потом судили за то, что я... разграбил прилепский музей. Это я, основатель и создатель музея, положивший на это дело все свои средства, знания, самоотверженную любовь и, наконец, талант, без которого нельзя создать ничего не только великого, но и большого!..

Судили меня в Туле и присудили за музей к трем годам тюрьмы со строгой изоляцией. Одновременно вынесли постановление, что казенные картины налицо, а 182 картины составляют мою собственность! Дали же мне срок за распродажу якобы другого имущества, то есть мебели, фарфора и прочего, хотя на суде было доказано, что если таковые продажи и происходили, то это продавались вещи, купленные мною после революции, а стало быть, мои. Придрались к продаже казенного шкафа, а я его считал своим. Но если бы это и было не так, три года тюрьмы за продажу старого шкафа – многовато!

Так закончилась моя деятельность как музейевода в советской стране. Эти строки я пишу в каторжных условиях Тульской тюрьмы. Так отблагодарили меня за создание единственного собрания, посвященного лошади, за сохранение величайших культурных ценностей, которые ныне в коннозаводских кругах имеют и будут долго иметь исключительное значение.

В то время как меня таскали из тюрьмы в тюрьму, от следователя к следователю, жизнь шла своим чередом. Здание скакового павильона ремонтировалось, картины приводились в порядок, рамы чинились – словом, готовились к открытию музея уже, так сказать, во всероссийском масштабе. Наконец к январю все было готово, и 23-го числа музей был торжественно открыт. Я читал об этом в «Коннозаводстве и коневодстве». Судя по отчету, никто из главков не был на открытии и роль премьеры выполнял Асаульченко. Мое имя даже не было упомянуто. Можно было подумать, что этот музей образовался сам собою и не имеет никакой истории. Асаульченко распротранялся на тему значения музея, значения науки вообще и говорил о прочих высоких материях. Другие ораторы – все – приветствовали музей. И выходило так, что виновник торжества есть не кто иной, как отдел коннозаводства, а стало быть, сам Асаульченко, что и требовалось доказать! Все ораторы знали историю музея, знали и мою судьбу, они также знали, где я нахожусь, но ни один из них, ни блестящий профессор Чайнов, ни Бочаров, ни Юрасов, не рискнул произнести мою фамилию и сказать правду о музее и его основателе. Мало осталось у нас на Руси смелых людей, и еще менее – порядочных. Об этом нельзя не пожалеть.

Лежание в сыром углу, да еще в обстановке 21-й камеры не прошло даром для моего здоровья: я заболел гриппом, и температура поднялась до 39 градусов. К счастью для меня, начальник исправдома был в командировке в Москве и мое поступление в больницу не встретило затруднений. И вот я опять лежу во 2-й палате, рядом со стариком Назаревским, который здесь находится третий месяц и никак не может поправиться. Мы беседуем о старине, я нежусь в кровати, смотрю в окна, которые льют в палату обильный свет, и думаю о тех, кто в эти небывалые тридцатиградусные морозы под скрип полозьев бороздит наши необъятные снежные равнины. Тяжело сейчас в пути, холодно, и сколько запоздавших и подвыпивших путников никогда уже не увидят родного крова...

Разговорившись с Назаревским, я узнал от него кое-что о тульском охотнике Жукове – владельце знаменитого Полканчика, Кремня и других знаменитых лошадей. Так как в нашей специальной литературе нет никаких сведений о названном охотнике, то и те отрывочные данные, которые сообщил мне Назаревский, представляют некоторый интерес. Поэтому я и решил занести их на страницы своих тетрадок.

Михаил Павлович Жуков был коренным туляком. Весь род Жуковых спокон веку занимался в Туле мелкой торговлей и трактирным промыслом. Все они были людьми с хорошими средствами, и Михаил Павлович держал в Петербурге, на Киевской улице, прямо против кремлевской стены, гостиницу. Известно, что в Туле есть свой кремль, возведенный еще во времена, предшествовавшие татарскому игу. Жуков вел свои дела хорошо, и в 1870–80-х годах его «Петербургская» была лучшей гостиницей в городе. Впрочем, в то время здесь было всего две-три гостиницы, «Лондон» и «Петербургская» считались лучшими.

Жуков был крупный, пудов десяти, мужчина, имел круглое, арбузом, лицо, хорошо одевался и умел себя держать, что совершенно неудивительно: у него останавливалось дворянство, и Жуков нередко завтракал с Оболенским и другими знатными барями. Это был добрый человек и очень широкая, настоящая русская натура. Охотник до лошадей он был страшный, а так как детей у него не было, он всю свою

страсть перенес на лошадей. Его брат Назар держал гостиницу «Орёл», а другой брат, Семён, имел трактир под названием «Столбы» на углу Киевской и Площадной. В этом трактире собиралось исключительно чиновничество и приказные, там за чаем или сборной солянкой решались дела, и просители знали, куда зайти, чтобы повидать нужного человека.

Много шума наделала в городе продажа Жуковым Полканчика за 25 тысяч рублей. Купил он его недорого, но лошадь оказалась выдающейся и много выиграла. Потом Полканчик был перепродан в Париж за очень большие деньги, и Жуков жалел, что продешевил. Я выразил Назаревскому сомнение по поводу того, что Жуков взял такую крупную сумму, но Назаревский настаивал на своем, утверждая, что так говорили в то время в городе. По себе Полканчик был действительно очень хорош. Другого жуковского жеребца, белого Кремня, знала вся Тула, и сам Жуков в нем души не чаял. Жеребец тоже был очень хорош, но мелок. У Жукова были и другие лошади, но их имен рассказчик за давностью лет не помнит.

Племянник М. П. Жукова Александр одно время служил секретарем бегового общества. Назаревский видел у него доставшиеся ему по наследству от дяди фотографии лошадей, а также масляный портрет Кремня. Мы с Назаревским решили, как только я освобожусь, вместе отправиться на поиски наследников Александра Жукова, с тем чтобы увидеть портрет Кремня, а также старые жуковские фотографии. Ясно, что я попытаюсь их купить, а может быть, найду в этой семье и другие коннозаводские материалы.

Едва ли мне когда-нибудь в течение всей своей коннозаводской деятельности довелось так удачно и так дешево купить кобылу, как тогда, когда я приобрел бурую Соперницу завода Лагутиных. Дочь Соперника и Звезды была в ужасном состоянии и походила скорее на клычу, а ее характерный и довольно своеобразный экстерьер много терял из-за этой худобы. Соперница была из числа тех кобыл, которые имеют особенно непривлекательный вид, когда они не в теле. Обычно так бывает с крупными, угловатыми кобылами, к коим принадлежала и Соперница. Разобраться в худой лошади – дело нелегкое, нужно быть действительно знатоком и иметь хороший глаз, чтобы, покупая такую «клячу», не ошибиться. Неудивительно, что Соперница не находила покупателя. Корсак, которому она принадлежала, потерял надежду ее продать и готов был сбить кобылу за любую цену. Приехав в Москву и узнав об этом, я отправился смотреть Соперницу. Кобыла поразила меня своим ужасным видом, но опытный глаз оценил ее формы, и я купил Соперницу в два слова за 500 рублей (цена, если принять во внимание происхождение и резвость Соперницы, совершенно ничтожная).

В начале своей призовой карьеры Соперница принадлежала Оконишникову, и ездил на ней Александр Поставнин. Соперница оказалась феноменально резвой накоротке, но к версте уже стихала. Тем не менее она имела рекорд 1.37, что было очень хорошо для кобылы. Однако Поставнин сильно поил лошадь (давал допинг) и тем окончательно расстроил ее здоровье. Вот причина, по которой Соперница так захудала и впоследствии относительно рано пала.

Происхождения Соперница была чрезвычайно интересного. Она принадлежала женской семье Булатной, имела кровь Ворожея и сильные течения кровей Полканов вообще, главным образом через лошадей Н. А. Дубовицкого. В прямой мужской линии относилась к Бычкам. По себе Соперница была не только типичной, но утрированно типичной представительницей экстерьера роговского Полкана: была крупна, не менее пяти вершков росту, высока в ногах, имела спущенный зад и превосходную спину. Сухая, весьма широкая, она имела прямой, но неплохой выход шеи и довольно большую голову с очень широким лбом и небезупречными ушами. От Бычков Соперница наследовала рыже-бурую масть и отметины: лысину во весь лоб

и неравно белые выше скакательных суставов задние ноги. Ни блеском, ни породностью эта кобыла не отличалась.

Когда Соперницу привезли в Прилепы, Ситников пришел в ужас от вида и состояния лошади, но, будучи преданным делу человеком, принялся ее ревностно лечить. Возились мы с нею не меньше года и привели ее только в относительно хорошее состояние.

Соперница прожила в Прилепах шесть-семь лет и оказалась выдающейся заводской маткой. Она дала Соперника (1.32), резвейшего рысака на эту дистанцию, который родился в Прилепах. Ее дочери Скука (2.25) и Славянка (2.25, трех лет) – первоклассные во всех отношениях кобылы. Остальные три приплода Соперницы – два жеребца от Петушка и Соколиха от Громадного – не бежали, так как достигли совершеннолетия в начале революции, когда бега были уничтожены.

Продолжать род Соперницы осталась единственная уцелевшая из ее дочерей и последний ее приплод – Соколиха. Уже жеребенком она не была особенно удачна, а затем, попав в период самой острой голодовки и разрухи в заводе, плохо развивалась. Ростом Соколиха вышла в мать, но несколько мельче. Голова у нее простая, отчасти бараньего типа и с вялым ухом. Шея удовлетворительная, спина хорошая, зад спущенный, глубины мало, ноги только удовлетворительные по постанову и костью бедные. Породности и кровности никакой. Ко всему этому Соколиха оказалась чрезвычайно нервна: в денник влетала с размаху, и удержать ее не было никакой возможности. Все эти отрицательные черты – повышенную нервность и неуравновешенный темперамент – она, несомненно, унаследовала от своего отца Громадного и деда Летучего (мать ее обладала превосходным характером и нервной отнюдь не была). При этом Соколиха отличалась хорошим здоровьем и таким же здоровьем наделяла своих детей. Нужно было быть фанатиком породы, чтобы оставить кобылу подобного экстерьера в заводе. Я это сделал, и орловское коннозаводство получило замечательную заводскую матку. Никогда не забуду, как Л. Ф. Ратомский возмущался оставлением Соколихи в заводе и требовал ее уничтожения... Будучи дочерью Громадного и замечательной по своей заводской деятельности Соперницы, к тому же единственной в настоящее время прямой представительницей знаменитой Булатной, Соколиха вызывает громадный интерес как заводская матка.

Заводская деятельность Соколихи:

1920 год – скинула от Паяца Хреновского завода.

1921 год – скинула от Лакея.

1922 год – рыжий жеребец Самородок (1.40) от Лакея. Пунктовый жеребец заводской конюшни.

1923 год – рыжая кобыла Селитра от него же. Заводская матка в Пермском губернском заводе.

1924 год – гнедой жеребец Сарафан от Эльборуса. Тульская заводская конюшня.

1925 год – рыжая кобыла Сорока (2.25) от него же. Хреновская тренконюшня.

1926 год – вороная кобыла Свирь (2.30) от Барина-Молодого. Там же.

1927 год – не случена.

В декабре 1927 года ушла в Хреновую.

1928 год – холоста.

Как видно из настоящего списка, Соколиха была случена уже в трехлетнем возрасте. Я никогда не был сторонником такой ранней случки кобыл, но в данной ситуации находил ее не только целесообразной, но даже необходимой. Я полагал, что после случки Соколиха успокоится, что отчасти и произошло. Кроме того, слученная, она тем самым вливалась в состав заводских маток и ее было уже труднее выбраковать. Тут была своего рода хитрость, примененная, чтобы спасти кобылу, жизнь которой первые два-три года революции висела на волоске.

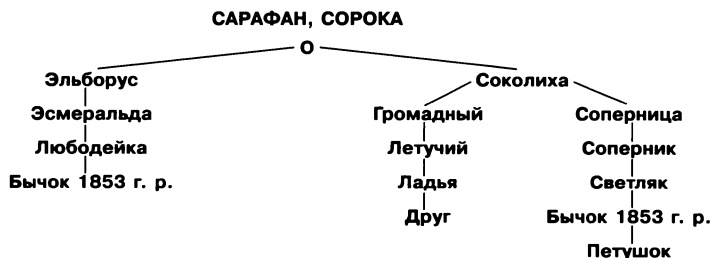
Начало заводской деятельности Соколихи не было удачным: она скинула в 1920 и 1921 годах. Это дало прямой повод Ратомскому, который был довольно упрямым человеком, вновь настаивать на ее забраконе, но я и слышать не хотел о том, чтобы выбраковать из завода дочь знаменитой Соперницы. Я стал совещаться с маточником А. И. Руденко по поводу предохранительных мер, которые следовало предпринять, чтобы Соколиха не скидывала и благополучно ожеребилась. Хотя лошадь и стала намного спокойнее, но в денник по-прежнему влетала как пуля и могла сильно ушибиться, поскользнуться и прочее. Руденко предложил устроить двойные двери, и кобыла стала действительно много спокойнее входить в денник. Взяв слово с Андрея Ивановича, что он не доверит Соколиху никому из конюхов и будет выводить и вводить ее только сам, я на этом успокоился. После принятия этих предупредительных мер в третий год своей заводской деятельности Соколиха принесла от Лакея светло-рыжего, приятного и дельного жеребенка, который был назван Самородком. Жеребенок был сухой, правильный, породный и не имел недостатков. В генеалогическом отношении подбор Лакей – Соколиха не представлял большого интереса, но, подводя кобылу к Лакею, я имел в виду формы и здоровье жеребца. Самородок бежал не особенно удачно, но показал резвость и имел хорошие места. Ныне Самородок состоит в одной из заводских конюшен, где, без сомнения, является ценным жеребцом.

Его родная сестра Селитра родилась в следующем году. При медно-красно-рыжей масти она получилась лысой и отместистой – очевидно, в свою бабку, знаменитую Соперницу. Селитра была крупнее брата, а главное, имела хорошие линии. Это была кобыла с превосходной выразительной головой, лентистой шеей, сухая, дельная, породная и приятная. Она производила хорошее впечатление на выводке и внушала доверие как будущая заводская матка. Так как дочери Лакея бежали нерезво, я не считал целесообразным посылать ее на тренконюшню в Москву, а продал в трехлетнем возрасте за хорошие деньги в Пермский губернский конезавод.

Уже в следующем году Соколиха дала от Эльборуса во всех отношениях выставочную лошадь, гнедого жеребца Сарафана. Среднего роста, с небольшой породной головой, поразительной шеей, удивительной верхней линией, замечательными штанами, исключительно глубокий и плотный, сухой и низкий на ноге, он был тем, что в старину называли мастерской лошадью. Дорого бы заплатил по прежним временам знаменитый Василь Петров Ильюшин за такого жеребца, и попасть бы Сарафану как пить дать на царскую конюшню... На выводке Сарафан был эффектен и форсист, что называется, до отказа!

К сожалению, эта замечательная лошадь была чрезвычайно строга. Работал Сарафана наездник Виноградов. Два раза жеребец его подхватил, а в третий раз Виноградов вывалился из саней, и Сарафан сам вернулся домой. С тех пор Виноградов боялся его ездить, а Д. М. Киреев скрыл это от меня. В течение всей зимы Сарафана заложили всего лишь один раз. Успокоить Сарафана не удалось, и он был сдан в заводскую конюшню как лошадь отбойная и без рекорда.

Сочетание Эльборус – Соколиха представляет собой следующую основную комбинацию кровей.



Таким образом, Сарафан и его сестра Сорока инбридированы на Бычка, родившегося в 1853 году от Петушка, по формуле 4+5. Кроме того, имеется самостоятельное течение Петушка. Все остальное генеалогическое табло этой родословной буквально заполнено именами Полканов. В соответствии со своей родословной Соколиха является полкановской кобылой, но при соединении ее с Эльбурисом повторился известный производитель Бычок 1853 года рождения, что решающим образом повлияло на формы одного из приплодов Соколихи от данного сочетания.

Всего Соколиха имела от Эльбуриса двух детей – сына Сарафана и дочь Сороку. Сарафан не имел бычковых черт, и на него этот инбридинг, по-видимому, не повлиял. Сорока же, наоборот, типична для Бычков: она золотисто-рыжей масти, очень отметиста, у нее мягкая спина с несколько запавшей связкой и падением линии спины от связки к холке. Однако сильные полкановские течения родословной Сороки не могли не сказаться на этой кобыле. В соответствии с ними она крупна, несколько высока на ногах и имеет спущенный зад.

Во время ликвидации Прилепского завода Сорока ушла в Хреновую и уже оттуда попала на призовую конюшню в Москве. Там она недурно бежала, показала резвость 2.25, и это несмотря на то, что ей не исполнилось и четырех лет. Призовая карьера Сороки, которая, между прочим, была названа так мною за свою пестроту, только началась, и ее лучшие бега, по-видимому, еще впереди. По своему экстерьеру она не представляет большого интереса и менее правильна и дельна, нежели, например, ее полусестра Селитра. Однако если принять во внимание класс и происхождение Сороки, она, конечно, должна быть оставлена в заводских матках, но, может быть, не в Хреновой, где нежелательно иметь даже классных кобыл с характерными бычковскими спинами.

В 1925 году я решил покрыть Соколиху с Бариним-Молодым, исходя из следующих соображений. Барин-Молодой не имеет и капли крови Бычка. Кроме того, при данном сочетании инбридировалось имя Добродея, а я, как известно, являюсь большим сторонником этого жеребца. Важно и то, что в этой родословной очень хорошо ложились и группировались имена знаменитых кобыл – Милушки, Волны, Гордой, Громады, Соперницы и Звезды, одной из лучших дочерей Ворожея. Также была интересна встреча имен Громадного и Барина-Молодого. Наконец, не только сам Барин, но и его дети обладали превосходными характерами, чего нельзя сказать о Соколихе.

В 1926 году Соколиха приплодила вороную кобылу, которую я назвал Свирью. Это была нормального роста, без отмет кобыла, сухая, длинная и с превосходным верхом, глубокая и низкая на ногах – лучшая из дочерей Соколихи. У нее не было преувеличенной породности и большого блеска, зато она отличалась дельностью, имела правильные формы и хорошо выраженный тип. Глядя на эту кобылу в табуне, я тысячи раз поздравлял себя с тем, что не послушал других, а руководствовался только своим внутренним чутьем, спасая Соколиху и зачислив ее в заводские матки. Свирь покинула Прилепы полуторницей и ушла в Хреновую. Там она провела вторую половину зимы, лето, а ранней осенью с отборными хреновскими двухлетками пришла в Москву. Стало быть, она была в числе резвейших. Ее облюбовал и взял в свое отделение Э. Ф. Ратомский, а после его смерти на ней стал работать, а потом и ездить на призах молодой наездник Шельцын. Она недурно шла, а с января побежала замечательно: оказалась победительницей в трех призах и показала резвость 2.30, что очень хорошо для кобылы, еще не достигшей трехлетнего возраста. В лице Свири Хреновская тренконюшня имеет, несомненно, многообещающую лошадь.

Итак, начиная с 1920 года, то есть считая и оба выкидыша, Соколиха дала кряду семь жеребят. Поэтому я решил дать ей отдохнуть и в 1926-м не случил. В течение всей случной кампании 1927 года Соколиха никак не могла отбить и в 1928-м оказалась холостой. Это было уже в Хреновой. Жереба ли она на этот, 1929 год мне неизвестно.

Заводская карьера Соколихи, будем надеяться, еще далеко не закончена, так как ей сейчас только 13 лет. Судя по Свири, Сарафану, резвой Сороке и превосходной по формам Селитре, Соколиха имеет все шансы дать еще много хорошего приплода, а при удачном сочетании – и первоклассных лошадей. Достоинство Соколихи в том, что она дает детей, которые лучше, чем она сама, а для кобылы это драгоценное качество. Соколиха очень молочна и хорошо кормит своих жеребят; она наделяет их превосходным здоровьем, и ни один из ее приплодов не пал. Среди пяти ее жеребят было три кобылки и два жеребца, из них рыжих – три, гнедой – один и вороной – тоже один. Из пяти приплодов три появились на ипподроме, и все они показали безминутную резвость. Причем ее дочь Свирь, несомненно, обладает первым классом, а Сорока близка к резвости 2.20. Особенно следует отметить способность Соколихи давать правильных, дельных и породных лошадей. Нельзя забывать, что Сарафан – лошадь выставочная, Селитра очень хороша по себе, Свирь – замечательная кобыла, Само-родок правилен и сух и только одна Сорока имеет недостатки.

На примере заводской деятельности Соколихи вполне подтвердилось изречение известного французского коннозаводчика: «Le bon sang ne peut jamais mentir!»*

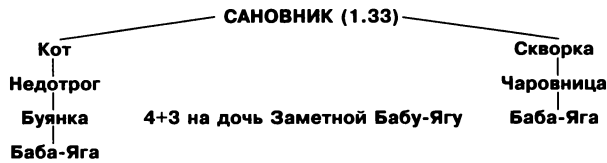
Скворка, несомненно, была самой оригинальной по своей масти кобылой в Прилепском заводе. Официально – в аттестате, на беговых афишах и в рысистых календарях – она именовалась серой, но ее масть никак нельзя было считать таковой. Вот что в действительности представляла собой масть Скворки: по мраморному полю были неравномерно и неправильно расположены серые и черные волосы, они чередовались с крапинками черного, светлого и отчасти коричневого цвета; отдельные места были сплошь черными, другие – серыми разных оттенков; наконец, по лопатке, от холки до предплечья, шло большое черное поле, сразу бросающееся в глаза. Впрочем, описать масть Скворки не только трудно, но прямо-таки невозможно. Изобразить ее было легче, и это довольно удачно сделали Самокиш и Ворошилов. В описи своего завода я определял Скворку серо-пегой, что было только отчасти верно, и, наверно, правильнее было бы назвать ее сложно-чалой.

Скворку я купил у М. Ф. Семиградова, точнее, у его вдовы. Это была одна из резвейших орловских кобыл своего времени (имела рекорд 2.23). Родилась Скворка в Новгородской губернии у К. А. Зотова от Добряка и знаменитой по своим бегам в 1880-х годах Чаровницы, известной ангельгардтовской кобылы, замечательной тем, что она не имела крови Бычка (1853 г. р.), от которого произошли все резвейшие лошади этого завода. Чаровница была дочерью Пруссака и Бабы-Яги (Колдун – Знаменитая). Стало быть, Скворка и производитель моего завода Недотрог состояли в родстве – оба происходили от одной и той же знаменитой женской семьи. Отец Скворки, резвый Добряк завода Кученовой, был сыном Добряка Черкасского и внуком воронцовского Добряка, родоначальника этой линии. Незадолго до ареста я видел у Алексеева фотопортрет Добряка. Это была лошадь удивительной красоты, вполне в типе Добродеев. Основными составляющими родословной Скворки следует считать Добряка, Волокиту и Бабу-Ягу. Впрочем, после некоторого раздумья к этим именам я добавлю еще имя Пруссака.

По себе Скворка была чрезвычайно хороша: крупна, широка, дельна и суха. У нее была замечательная по своей выразительности голова, превосходная линия верха, хороший круп, отличные ноги с легким, приятным фризмом.

До революции Скворка вполне оправдала себя в заводе, так как дала Сановника (1.33), блестящая призовая карьера которого была прервана революцией. Сочетание Кот – Скворка, давшее Сановника, было идейно проведенным сочетанием с целью закрепить замечательную женскую семью Заметной.

* «Хорошая кровь никогда не лжет!» (фр.)



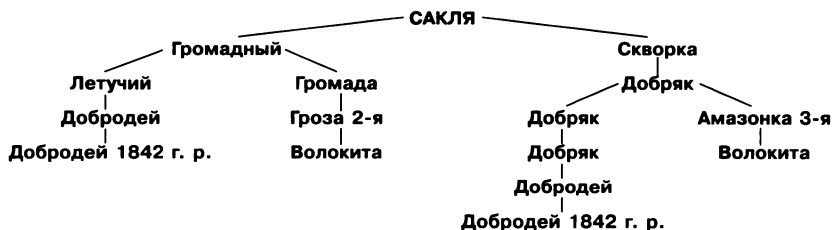
Этим путем я закреплял имя Бабы-Яги и хотел получить кобылку, которая, по моим расчетам, стала бы замечательной заводской маткой. Однако вместо ожидаемой и желанной кобылки родился замечательный вороной жеребец, которому я присвоил имя Сановника – в честь генерала Здановича, пытавшегося тогда, хотя и неудачно, играть эту роль. Со своим отцом Котом Сановник имел очень мало общего. Совсем ничего общего не имел он с энгельгардтовскими лошадьми и семейством Бабы-Яги, к которому, в частности, принадлежал. Ген Пруссак, вне всякого сомнения, взял верх над всеми остальными. Сановник – это типичный Пруссак, только голова более сухая и породная.

По себе Сановник – великолепная лошадь. Это крупный, густой, тяжелого типа жеребец, вороной и без отмет. При этом он сух, имеет превосходную спину, выразительную голову, густой хвост юбкой и хорошую гриву. Это идеальная городская одиночка и вместе с тем рысак, способный пролетать версту за 1.33. На ходу он производит впечатление паровоза, а на выводе довольно «визапурист», недаром же мать Пруссака родилась в заводе незабвенного коннозаводчика Коробына! Как лошадь завода Бутовича, он не вызывал симпатии у поклонников модных линий, и если в начале революции попал производителем в Дулеповский завод, то лишь потому, что был назначен туда за свои формы Шемит-Полочанским. В Дулепове Сановник дал Сумрака (2.16), Геную (1.28) и других резвых лошадей. Когда заводы пришли в относительный порядок, увлечение модными линиями достигло своего апогея и Сановнику просто перестали давать кобыл, а потом и вовсе сослали в Астрахань, где он играл роль даже не дублера, а только запасного жеребца при Ухвате, Гаревнике и других астраханских премьерх!

Несомненно, что в лице Сановника Скворка создала замечательного сына, которому, однако, не повезло в жизни: его призовая карьера была искусственно прервана, а заводская – сложилась неудачно. Жаль, что Сановнику не дали возможности проявить себя как производителю, и в особенности на дарагановских кобылах: он имел все шансы дать замечательных по типу и формам и очень резвых лошадей и мог, наконец, создать надежнейшее маточное гнездо.

Скворка имела в Прилепах во всех отношениях замечательную дочь. Звали ее Саклей. Она была светло-гнедой масти и родилась от Громадного. Лучшей по себе кобылы я не помню на своем веку. Много родилось в Прилепах хороших кобыл, но три дочери Громадного – Сакля, Леда и Славянка – и дочь Недотрога Венера были исключительными по себе. Они и сейчас как живые стоят перед глазами, и, мысленно сравнивая их друг с другом, пальму первенства я отдаю Сакле. К тому же она была очень резва. Заболев осенью в год империалистической войны, Сакля пала в возрасте двух лет. В это время меня в Прилепах не было: я был призван. Ситников не растерялся и срочно вызвал из Москвы магистра ветеринарных наук Муковича, но тот спасти кобылу не смог. Позднее, встретив меня, Мукович выразил мне соболезнование и добавил, что лучшей по себе двухлетки он никогда не видал, а ведь перед его глазами и через его руки прошли тысячи двухлеток на Московском ипподроме.

Сочетание Громадный – Скворка было чрезвычайно интересно. Вот что оно дало:



Добродей – 4+5; Волокита – 4+4.

Мы знаем, что Волокита не только сам был очень хорош, но и давал замечательных по себе кобыл. Поэтому той исключительной капитальностью и правильностью форм, которыми обладала Сакля, она была обязана инбридингу на Волокиту. Другой инбред, на известного по своей красоте Доброея, тоже не мог пройти бесследно.

Скворка пала уже во время революции. Она была национализирована с остальными лошадьми завода и прожила после этого два с половиной года. Имела ли она приплод в 1918 году, и если да, то какой, я не помню. В 1919 году ей минуло 22 года, и она принесла замечательную по себе рыжую кобылу, которую я назвал Светланой – в честь поэмы Жуковского. В 1920 году Скворка, когда ей исполнилось 23 года, оказалась холостой. Зоотехническая комиссия ее выбраковала и отправила в Тулу, где она окончила свои дни под ножом в тульском губпродкоме...

Продолжать род Скворки в Прилепах была оставлена Светлянка, а позднее и последняя дочь Скворки – Светлана.

Светлянка родилась в Прилепах в 1917 году и была дочерью Кронпринца. Сочетание Кронпринц – Скворка было рассчитано на тот же генеалогический эффект, что и сочетание Кот – Скворка, так как в точности его повторяло. На этот раз результат получился такой, какой и ожидался. Светлянка мелка, масти светло-серой, исключительно широко стоит задом и при этом очень глубока. Она суха и имеет образцовый по своей правильности постановки ноги. Спина явно мягка, выражаясь яснее – малоудовлетворительна. Голова у кобылы сухая, небольшая и породная, шея довольно остро поставлена и, конечно, без лебединого гребня. Несмотря на свой маленький рост, кобыла не производит впечатления миниатюрной, а выглядит настоящей маткой. Были охотники, которым она чрезвычайно нравилась. Так, в 1919 году приехал ко мне из Москвы барышник с Конной Крамер, более известный под именем Исая Семёновича. Вместе мы должны были ехать в Ефремов закупить сотню лошадей и затем гоном с ними идти в Москву. В то время я очень удачно торговал лошадьми, зарабатывал большие деньги и обращал их в картины. Так вот, с Исаем Семёновичем зашли мы на конюшню. Он попросил вывести Светлянку, сам побарышнически подвязал ей хвост, пробежал с ней на свободном поводу и затем ловко осадил передо мною, поставив на выводку. Передав повод конюху, он стал любоваться кобылой и заметил: «Этой кобыле сносу не будет, и силы она необыкновенной!» Это предсказание барышника позже подтвердилось. Попов одно время, правда недолго, с моего разрешения ездил на Светлянке в шарабане в город. Оказалось, что кобыла не только резва, но и силы исключительной: чем дальше, тем лучше шла и тем больше тянула. Резвость Светлянки осталась неизвестной, так как лошадь на бегу не была, ее прямо пустили в завод.

Заводская деятельность Светлянки:

1922 год – гнедой жеребец Самоцвет (2.20) от Бронтозавра. Ленинградская заводская конюшня.

1923 год – холоста от Эльборуса.

1924 год – вороной жеребец Стрепет от него же. Азербайджанская конюшня.

1925 год – серая кобыла Секира (2.30) от него же. Хреновская тренконюшня.

1926 год – гнедой жеребец Смелычак от Барина-Молодого. Там же.

1927 год – белая кобыла от Ухвата. Пала.

В декабре 1927 года ушла в Хреновое.

Светлянка поступила в завод в четырехлетнем возрасте. В 1921 году ее некем было крыть в Прилепском заводе, ибо Кронпринц являлся ее отцом, а Лакей – полубратом. Вот почему Светлянку отравили в Тульскую заводскую конюшню, где и покрыли с Бронтозавром (Боец – Серафима). В следующем году она приплодила дельного гнедого жеребца Самоцвета, который недавно бежал в Ленинграде (2.20). В 1923 году она прохолостела, а в 1924-м и 1925-м имела приплод от Эльборуса – сначала жеребца Стрепета, потом кобылу Секиру.

Стрепет не бежал потому, что попал в самый развал прилепской тренконюшни, в то время, когда там чудил и безобразничал Владыкин. Из этой трепки жеребец вышел изрядно изломанным, и я посоветовал продать его профессору Потёмкину для Азербайджана, благо за эту превосходную по себе лошадь предложили подходящую цену – 2500 рублей. Лично я ни одной минуты не сомневался в том, что Стрепет был лошадыю очень резвой.

Его сестра попала на Хреновскую тренконюшню вскоре после ее привода из Прилеп в Хреновую. Она понравилась Ратомскому, и тот быстро подготовил ее к призу. Кобыла представляла собой совершенно сырой материал, а потому показанные ею секунды (2.30 в трехлетнем возрасте) очень хороши. К сожалению, после этого мы ее что-то давно не видели на афише – возможно, форсированная подготовка сказалась на ней.

В 1926 году Светлянка приплодила от Барина-Молодого превосходного жеребца, названного Смелычком. Я с нетерпением ждал появления на свет этого приплода, так как он являлся результатом идейного, заранее обдуманного подбора. Сочетание преследовало цель повторения имени такой замечательной лошади, как Добряк завода Черкасского.



Три плюс четыре на Добряка – это довольно сильный инбридинг, и при удаче можно было ждать повторения Добряка Черкасского, чего, однако, не случилось. Маточник Крал был посвящен в сущность сочетания, знал, что я с нетерпением жду жеребенка от Светлянки и Барина, и сам заинтересовался им. Вот почему, когда этот жеребенок родился, он дал мне знать, и я поехал в Сергиевское. Посияющему лицу Краля я сразу понял, что жеребенок хорош. Высадив меня из саней, он это подтвердил и поздравил. Я поблагодарил и вошел в конюшню. Под Светлянкой крепко стоял на ногах крупный, сухой, породный, с идеальной спиной жеребенок светло-гнедой масти. «Хорош!» – не удержался я от восклицания. Полюбовавшись жеребенком, плюнул на него, чтобы не сглазить, и вышел из денника. В коридоре у меня произошел обмен мнениями с Кралом о новорожденном, который нам одинаково нравился и казался замечательным. Однако как ни был хорош этот жеребенок, он не имел ничего общего с Добряком: тот был вороной, лысый, несколько мясистый и более простой. Как я думаю, Смелычек вышел в породу григоровских лошадей. К величайшему сожалению, с ним произошло несчастье под матерью: кобыла его ударила, и так сильно, что он опрокинулся и долго лежал, после чего длительное время хромал. Я считаю, что этот случай не прошел для Смелычка бесследно, хотя позднее наездники и говорили мне, что он не хромает. Это был уже далеко не тот блестящий и шустрый жеребенок. Когда осенью прошлого года Хреновая прислала в Москву своих отборных двухлеток, среди них находился и Смелычек, что было отмечено в печати. Он недурно проехал

несколько раз, но после этого на бегу не появляется – весьма возможно, старый и столь серьезный ушиб дал о себе знать.

В следующем, 1927 году Светлянка дала замечательную по своему развитию почти что белую кобылку от Ухвата, которая пала вскоре после рождения. Дети Ухвата его последней ставки не отличались здоровьем и все, кроме сына Похвалы, погибли, не выдержав борьбы за существование.

Такова была заводская деятельность Светлянки в Прилепском заводе. В декабре 1927 года она ушла в Хреновую жеребой от знаменитого Воеводы. Там она дала жеребца, названного Стрепетом. Его, конечно, следует переименовать, так как приплод этой кобылы 1924 года носит то же имя. Стрепет очень хорош и отмечен в числе лучших жеребят рождения 1928 года в Хреновском заводе.

Заводская деятельность Светлянки, которой всего лишь 12 лет, сейчас в полном разгаре, а потому высказывать окончательное суждение о ней преждевременно. Однако и те дети, которых она успела дать, выдвигают ее в ряд интереснейших кобыл нашего времени. Всего Светлянка дала шесть жеребят, из них один пал и пятеро живы. Среди этих пяти один несовершеннолетний, а остальные уже показались на ипподроме. Из них один уже попал в класс 2.20, кобыла трехлеткой была без минуты, а двухлеток Смельчак показал хорошую резвость. Стрепет не бежал лишь в силу случая, и я считаю, что Светлянка дала 100 процентов призового приплода, притом весьма хорошего качества. Среди ее детей было двое гнедых, один белый, один вороной и один серый. Кобылок – две, жеребчиков, считая и хреновского, – четыре. Я считаю Светлянку весьма хорошей заводской маткой, которая вполне оправдала мои надежды, а также теоретические предположения.

12 февраля 1929 года

Последняя дочь Скворки, рыжая кобылка от Лакея, была замечательна по экстерьеру. Она родилась в 1919 году, во время жесточайшей голодовки и полной разрухи. Скворка была очень худа и истощена. Мы с Ратомским опасались, сможет ли она разжеребиться, а Андрей Иванович Руденко умолял хоть чем-нибудь ее подкормить. Увы, «подкормить» было нечем... Положение усугублялось еще тем, что кобыле было 22 года. Наконец Скворка благополучно ожеребилась. Она дала очень крупную и очень длинную красно-рыжую кобылку с лысиной во весь лоб. Кобылка отличалась исключительной женственностью, чрезвычайной породностью, имела превосходную спину и была дельна. Она была замечательна, но ее ждала тяжелая судьба. Недели через две выяснилось, что у Скворки от скудного питания почти нет молока. Жеребенок стал хиреть, болеть и чахнуть. Жаль было смотреть, как померкла и потускнела у него шерсть, а потом поблек глаз. Жеребенок исхудал, опустил головку и медленно умирал. Ничего не может быть страшнее, чем видеть страдания детей, а также мучения лошадей, и особенно жеребят... К счастью, дело шло к весне, и едва зазеленела травка, мы выпустили Скворку в рощу, а потом на бугры. Этим был спасен от голодной смерти жеребенок. Само собой разумеется, что ни о подкормке овсом, ни о правильном питании матери не могло быть и речи. Дочь Скворки Светлана боролась за жизнь героически, но была худа до такой степени, что мне казалось, она не выдержит отъема и погибнет. Летом, как все слабые жеребята, она болела, и хотя сумела болезнь победить, но вышла из нее еще более истрепанной. Здоровье у кобылки было, однако, железное: она переборола и вторую тяжелую зиму, а летом на травке кое-как отошла. Полуторницей и двухлеткой она тоже недоедала, но голодала все же меньше. И вот, несмотря на такое «воспитание», к трем годам Светлана стала крупна и дельна, превратилась в ценную лошадь. На призовой конюшне в Ленинграде, где насчет кормов тоже было негусто, она окончательно сформирова-

лась. Только западина у глаза, некоторая недоразвитость и выражение глаза говорят о том, что она перенесла. Голова у Светланы очень интересная, с характерной лысиной, линия верха хороша, шея тоже, но круп мог бы быть и подлиннее. Постав ног у нее замечательный, но имеется сырость в скакательных суставах. Кобылка глубока и очень просторна. В ней много типа, и даже по прежним временам она была бы замечена в прилепском табуне маток. Я очень ценил Светлану, главным образом, конечно, за происхождение, но также за массу, тип, вес и костяк. Это была «старинная» кобыла, и ее продажа со стороны Владыкина была большой ошибкой.

Светлану я отправил в Москву, а позднее она ушла в Ленинград, где в руках Г. Л. Лыкошина и протекла вся ее призовая карьера. Лыкошин не считал кобылу резвой и однажды предложил мне ее продать, за что получил порядочный нагоняй. Рекорды Светланы – 2.42 и 5.42 – позднее, кажется, были несколько повышены. Само собою разумеется, что я дал этой лошади заводское назначение и в 1924 году взял ее в завод.

Заводская деятельность Светланы:

1925 год – красно-серая кобыла Струна (2.35) от Удачного. Продана гражданину Ростовцеву.

1926 год – вороная кобыла от Барина-Молодого. В Хреновском заводе. Продана Пермскому государственному конезаводу.

Я признаю, что, случив Светлану с Удачным, я сделал неудачный подбор. Струна не мелка, но и не хороша по себе, простовата и имеет плохую спину. Она была выбракована Повзнером из завода. Ее купил некий Ростовцев, тульский извозчик, барышник, плут и продувная bestия. В 1928 году он ехал на Струне на приз, и в его варварских руках кобыла показала недурную резвость, так что о ней заговорили, а сам Ростовцев стал в Туле героем дня. Я иногда наблюдал за бегами Струны из окна небольшого прохода в Тульской тюрьме. Это окно выходит на новый ипподром, недавно разбитый в Туле вместо старого. Он находится сейчас же за винным заводом и виден как на ладони, если смотреть на него из окна тюрьмы на втором этаже. Ипподром, кстати сказать, по своему профилю очень неудачный.

Вторым приплодом Светланы была вороная кобыла от Барина-Молодого, имя которой я позабыл. Это была крупная, дельная и несколько сырая кобылка с типичной лысиной на лбу, точно такой же, какая была у ее знаменитой бабки Милушки. Кобылка никому в заводе не нравилась, и я этому несколько не удивлялся: она была крупна, высока на ногах и принадлежала к числу тех жеребят, которые формируются поздно. Из них часто выходят замечательные лошади. Я так и смотрел на эту кобылку и ждал. Ныне она находится в Хреновой. Я рассчитываю, что мы еще увидим ее на бегу, а позднее и среди заводских маток. Сходство этой кобылы с Милушкой – явление многозначительное, и остается лишь пожелать, чтобы дочь Светланы и своими внутренними качествами походила на знаменитую бабку.

Владыкин, как только появился в Прилепах, решил после молниеносного осмотра кобыл выбраковать из завода всех дочерей Лакея и привел это намерение в исполнение. Задержалась одна лишь Клевета, мать Крестника (2.14), ибо на нее, к счастью, не нашлось покупателя. Все остальные были проданы. Владыкин совершенно не учел того, что Светлана – дочь Скворки и что она принадлежит к замечательной женской семье. На то, что она так хороша по себе, он закрыл глаза и, как человек упрямый и болезненно самолюбивый, не захотел ни с кем посоветоваться. Признаюсь, что выбраковка Светланы меня возмутила, ибо я увидел, что цель и задача Владыкина – уничтожить Прилепский завод. Тогда же я понял, что борьба между нами на почве орловского рысака и завода неизбежна.

Светлану купили в Пермь, где она сейчас и находится.

Фатеевский хутор вместе с остатками офросимовского завода и теми кобылами, которых прислали туда из государственного заводоуправления, был в свое время присоединен к Прилепскому заводу. Присланные кобылы, за исключением Бурливой и Вражды, не заслуживают большого внимания.

Вражда родилась в Грабовке, пензенском имении Устиновой, и была дочерью Бычка, сына Могучего и Прелестницы. Мать Вражды, Вишня, хотя и родилась в малоизвестном заводе Д. А. Протопопова, отца последнего министра внутренних дел А. Д. Протопопова, но имела очень интересное происхождение. Ее отец – гаршинский Усан – был сыном казаковского Чародея (1862 г. р.), основателя могучей и знаменитой линии в рысистом коннозаводстве. Мать Вишни, Ступенистая, родилась у Н. Д. Апушкина и являлась дочерью Строгого (5.28), что от Заветного и Строгой, дочери рекордиста Степенного.

Вражда была темно-гнедой масти и, если память мне не изменяет, примет не имела. Роста она была хорошего – никак не меньше трех вершков. Имела характерную голову, подчеркнутую верхнюю линию, была дельна и приятна по типу.

До революции Вражда принадлежала известному тульскому охотнику К. И. Платонову и в его небольшом заводе эксплуатировалась для метизации. Когда платоновский завод, стоявший в Волохове – том небольшом имении близ Тулы, которое Платонов купил у Ливенцова, был расформирован, кобылы этого завода разбрелись по заводам Тульской губернии. Это было большой ошибкой со стороны Волкова. На него влиял мой тезка Яков Иванович, по фамилии Луст, бывший платоновский управляющий, у которого с Платоновым имелись личные счеты. Объектом своей мести Луст избрал конный завод. При всем своем богатстве Платонов был человеком мелочным и скупым. Когда в начале революции Луст уходил от него, Платонов не дал ему седло и корову, которые тот просил. Злопамятный латыш этого не простил... Корову и седло все равно забрали крестьяне, а Луст, который вступил в партию и стал работать в земотделе, жестоко преследовал бывший платоновский завод. Он имел влияние на Волкова и в конце концов настоял на расформировании завода.

Вместе с другими орловскими кобылами Платонова Вражда была отправлена в Фатеево, но пробыла там недолго и уже в 1920 году ушла в Липецкий завод. В Фатееве она год прохолостела, но в Липецк отправилась жеребой от сына Корешка Питерщика. В 1921 году у Вражды родилась гнедая Венера (1.50), после чего кобыла холостела и в 1924 году пала – вероятно, уже в Шаховском.

Венеру я впервые увидел в 1927 году, когда ее, среди прочих, Попов с моего разрешения прислал в Сергиево под Ловчего. Это некрупная гнедая кобыла с удовлетворительной спиной, явно недоразвившаяся, сухая, не особенно породная и недостаточной типичная. На меня Венера не произвела никакого впечатления, но я признаю, что по своему происхождению она может оказаться очень интересной заводской маткой.

Бурливая тоже пришла в Фатеево из завода Платонова. Я зачислил ее в штат заводских маток Прилепского завода, желая получить приплод от столь интересной кобылы. Бурливая родилась в 1902 году у М. М. Бочарова и была дочерью Сейма и Босой. Ее отец являлся очень ценной по себе лошастью и заметным производителем. Мать Бурливой, гнедая кобыла Босая, родилась в Дубровском заводе от Бычка и Пряхи. Сказать что-либо новое о Бычке после всего того, что было о нем написано, нет никакой возможности, и я здесь только замечу, что Босая была одной из типичнейших его дочерей.

Бурливая была одной из класснейших кобыл своего времени на столичных ипподромах. В трехлетнем возрасте она показала резвость 1.34, а в четыре года установила новый рекорд – 2.18. Бурливая была рекордисткой, а таковых среди кобыл отмечалось немного.

Бурливая бросалась в глаза тем, что покрывала очень много пространства. Она имела образцовые дубровские ноги – правильные по формам, костистые и физи-

стые. Голова и шея у нее были превосходные, ширины достаточно, но глубины немного. Кобыла не была сыра, но и не была преувеличенно суха. Формы имела скульптурные, резко очерченные; на выводке производила хорошее впечатление, а новичков поражала своей длиной. При всем этом у Бурливой была типичная дубровская спина – с падением линии спины от связки к холке. Это был единственный недостаток кобылы, в остальном она была чрезвычайно хороша, породна, а главное, типична. Типична без конца! Желая увековечить формы Бурливой, как одной из характернейших и типичных орловских кобыл, я просил художника Савицкого написать ее портрет, что он и исполнил с большим успехом, верно и точно схватив тип и отметив все отличительные черты ее экстерьера.

Бурливая, конечно, принадлежала к числу тех кобыл, мимо которых ни один охотник не мог пройти равнодушно, и я, например, не только очень ценил, но и любил эту кобылу. Более того, таких Бычков, как Бурливая, я не только ценю и люблю, но признаю их, признавал и буду признавать: это лошади, которым один недостаток простить можно, а других они не имеют...

Заводская деятельность Бурливой в Прилепском заводе:

1920 год – холоста.

1921 год – красно-серая кобыла Блётка (1.41) от Питерщика. Грязнушенский госконезавод.

1922 год – красно-серый жеребец Баян (1.36) от Эх-Ма. В Чувашской Республике.

1923 год – холоста от Кронпринца.

1924 год – красно-серая кобыла Брага от Эх-Ма. Продана на Урал.

1925 год – холоста от Эльборуса.

В 1926 году безвозмездно передана в Шаховской завод, где и пала.

Дочь Бурливой Блётка по праву получила свое название. Это действительно блестящая и чрезвычайно породная кобыла. Она заимствовала от матери длину и классические линии, от отца Питерщика – хорошую спину, а от серых Полканов, к линии которых принадлежит, – блеск и породность. Блётка недурно бежала (1.41 верста), и это несмотря на то, что она попала в самое тяжелое время прилепской тренконюшни, когда дипкурьер, заведовавший конюшней, пьянствовал, а Сидорыч (Сергеев) от него не отставал... Блётка была назначена в состав Грязнушенского госконезавода, где, по словам Кученева, является одной из лучших заводских маток.

Следующим приплодом Бурливой был Баян, сын Эх-Ма, превосходная по себе лошадь, длинная, с отличным верхом, сухая и породная. Баян хорошо бежал в руках А. Петрова в Москве (1.36 верста). По окончании призовой карьеры отдел коннозаводства передал Баяна Чувашской Республике в качестве производителя для формирования там завода. Я уверен, что сын Бурливой принесет пользу в том крае и окажет благотворное влияние на местное коннозаводство.

Не без раздумья я решил покрыть в 1922 году Бурливую Кронпринцем, так как боялся, что небезупречная спина последнего и усиление имени Петушка могут очень сказаться на будущем приплоде. Однако искушение получить классный приплод взяло верх над этими благоразумными соображениями. Впрочем, от Кронпринца Бурливая прохолостела. В следующем году я решил ее покрыть со знаменитым Эльборусом. К сожалению, Бурливой не суждено было дать от него приплод. Вот что произошло. Бурливая находилась в Фатееве, там же стоял Эх-Ма и партия его кобыл. Утвердив подбор, я сделал распоряжение перевести Бурливую в Прилепы, но Мышецкому дали знать об этом с опозданием на два или три дня. Как на грех Бурливая в это время пришла в охоту, и Мышецкий поспешил покрыть ее с Эх-Ма. Она отбила от первой же случки и больше в охоту не пришла. Когда об этом узнали в коннозаводстве, Витт, ведавший им в тот период, возмутился, устроил скандал и по

телеграфу потребовал от меня отправки Бурливой в Хреновую. Наступившая распутица помешала мне исполнить его распоряжение, и я постарался поскорее забыть эту бестактность Витта.

От случки Эх-Ма у Бурливой родилась бесспинная, мелкая красно-серая кобылка, названная Брагой. У нее была красивая головка, недурная шея, но сама она получилась кругла, беднокостна и коротка. Позднее, уже при Повзнере, она была выбракована из завода и продана нашим постоянным покупателям на Урал.

В 1925-м Бурливая прохолостела от Эльборуса, а в следующем году, не желая уничтожить 22-летнюю старуху и не имея кормов для зачисления ее на пенсию, я безвозмездно передал Бурливую Шаховскому заводу. Там с ней повозились год или два, и она пала. Годы взяли свое...

Подводя итоги заводской деятельности Бурливой, я должен сказать, что в Прилепах она ни разу не была покрыта первоклассным жеребцом и все же дала двух лошадей хорошей резвости. Последняя дочь Бурливой тоже бежала, так что все 100 процентов ее приплода появились на ипподроме. Из трех ее детей Блётка и Баян были очень хороши и лишь одна Брага неудовлетворительна. Продолжать род Бурливой выпало главным образом на долю Блётки. Имя Бурливой, вероятно, будет сохранено, а может, и продлено в классных рысаках ближайших десятилетий.

Я уже рассказывал о том, каким путем Эх-Ма попал производителем в Прилепский завод. До революции жеребец принадлежал А. В. Апушкину, молодому тамбовскому коннозаводчику, служившему по ведомству государственного коннозаводства. Апушкину принадлежала также кобыла Младость, которая после национализации очутилась вместе с Эх-Ма в одном совхозе Тамбовской губернии. Когда был решен вопрос о переводе Эх-Ма в Прилепы, Апушкин просил взять с ним и Младость, которая была в ужасном состоянии и не дала в Тамбовской губернии ни одного жеребенка. Я, разумеется, дал свое согласие, и Младость благополучно привели в Прилепы вместе с Эх-Ма.

Младость родилась у смоленского коннозаводчика Трембицкого, с которым я долгое время состоял в деловой переписке. Познакомился я с ним во время революции, когда Трембицкий служил в отделе животноводства. Это был фанатик своего дела и ярый поклонник Бычков. В своем фанатизме по отношению к Бычкам Трембицкий переходил все границы и вне этой линии отказывался видеть знаменитых лошадей. Само собою разумеется, что, как и большинство смоленских коннозаводчиков, он был поклонником Энгельгардта и дубровских лошадей, которых имел в составе своего небольшого завода. Трембицкий был интересный и образованный человек, но чудак, несколько назойлив, хотя при этом большой добряк. Он только чудом спасся от расстрела и после этого стал не совсем нормален. Я любил говорить с ним о лошадях, так как это был настоящий любитель рысака, к тому же хорошо разбиравшийся в вопросах генеалогии.

Младость родилась в 1908 году от Муравья-Молодого, который появился на свет также у Трембицкого и был оставлен в его заводе производителем. Мать Младости, Грѣза 2-я, была кобылой замечательного происхождения хотя бы по одному тому, что она принадлежала к историческому женскому семейству Грозы, дочери толевского Гранита. Отцом Грѣзы 2-й был интереснейший жеребец Удалой-Крошка.

Младость пришла в Прилепы в ужасном состоянии. Апушкин мне очень ее хвалил, и я ожидал увидеть блестящую, почти что арабскую кобылу белой масти, очень сухую и, быть может, недостаточно капитальную. Меня постигло разочарование. Как ни была худа Младость, разобратся в ее типе и формах мне было нетрудно. Это была кобыла среднего роста, грязно-белой масти, с хорошей спиной, удовлетворительная разве что в смысле породности и кровности. Вся развинченная и расхлябанная, она производила впечатление больной и до последней степени истощенной. С огромным трудом ее привели в относительный порядок. Возни с ней было много, и Крал постоянно жаловался, что боится за нее.

Заводская карьера Младости началась в Прилепах в 1921 году, когда она была покрыта с Эх-Ма, что было сделано по желанию самого Апушкина. Родившийся жеребенок получил имя Мрамора, потом недурно бежал (1.38) и был назначен в одну из заводских конюшен. Мрамор меня совершенно разочаровал. Он был мелкий, породный и сухой, с неприятной прямоватой бабкой передней ноги – лошадь, что называется, пустая, несерьезная и не заводская. В 1923-м Младость от Эх-Ма прохлостела. В том же году Витт и Щёкин, разбирая подбор в Прилепском заводе, порешили крыть Младость с Эльборусом. Я на это возразил, что желание Апушкина было покрыть ее с Эх-Ма, что я поддерживаю этот подбор и что кому, как не бывшему владельцу, лучше знать собственную кобылу. Витт неохотно дал свое согласие, а Щёкин прямо заявил, что считает Апушкина ненормальным человеком, ибо нормальный человек не стал бы крыть свою кобылу с Эх-Ма, раз есть возможность покрыть ее со знаменитым Эльборусом. Итак, Младость была покрыта с Эх-Ма, в результате чего получилась кобыла Эмблема (2.20). Позднее Младость имела приплод от более классного жеребца Барчука – кобылу Молодку, но ее рекорд (2.24) на четыре секунды тише рекорда Эмблемы! Значит, прав оказался Апушкин, а не Витт и Щёкин.

Сочетание Эх-Ма – Младость чрезвычайно интересно, ибо повторяет имя великого кожинского Потешного. Действительно:

МРАМОР (1.38)	}	Эх-Ма – Прелестница – Предмет – Полотёр – Потешный
И		Потешный – 5+5
ЭМБЛЕМА (2.20)		Младость – Грёза 2-я – Гурия – Пильщик – Потешный

Таким образом, Эмблема – одна из немногих в союзе кобыл, имеющих инбридинг на Потешного. Неверие в породу, которым еще так недавно страдал Щёкин, признававший только три модные линии и рекорды, получило в данном случае хороший урок!

Эмблема родилась уже в Хреновском заводе, куда я отправил Младость. В Прилепах был постоянный недостаток в кормах, а Младость надо было усиленно кормить, что неизбежно ложилось бременем на других кобыл. С выпасами в Прилепах тоже было неблагополучно. В Хреновом же всего этого было вдоволь, и там, на исторических хреновских выпасах, Младость не только имела шансы поправиться, но и должна была дать ценный приплод. К сожалению, эти мои побуждения получили превратную оценку в глазах Апушкина и он был очень на меня обижен. Впрочем, впоследствии он признал свою неправоту и мы остались в добрых отношениях.

Итак, летом 1923 года я отправил Младость в Хреновую. Кобыла уже носила под сердцем Эмблему. Пуксингу она не понравилась. Продержав ее год и получив Эмблему, Пуксинг отправил Младость в Моршанский завод. Там в 1925 году она дала от Барчука (случена была еще в Хреновой) резвую Молодку (2.24). Дальнейшая судьба Младости и ее приплодов мне неизвестна.

На заводском поприще Младость вполне себя оправдала, а создав двух таких дочерей, как Эмблема и Молодка, дала не только интересных, но и надежных своих заместительниц. В генеалогическом отношении было бы весьма любопытно покрыть дочерей Младости кем-нибудь из сыновей Громадного, дабы усилить женскую линию знаменитой Грозы.

Во времена свирепствования антоновских банд в Тамбовской губернии, сопровождавшегося погромом советских хозяйств и захватом племенного конского материала, губернские рысистые заводы сильно пострадали, а уцелевшие буквально погибали от голода. Тогда Управление коннозаводства решило взять в Москву остатки наиболее ценных заводов. Таким образом пришли в Москву ивановские лошади бывшего завода герцога Лейхтенбергского, афанасьевские ло-

шади и некоторые другие. Все они были в ужасном состоянии. В те годы во главе ведомства стоял некий Франц, в прошлом биржевой маклер, сын управляющего сахарным заводом в Тёрках, имени князя Б. С. Щербатова. Франц был невероятно сумбурный и очень недалекий человек, случайно попавший на ответственный пост управляющего коннозаводством и в этом деле, конечно, ничего не понимавший. Само собою разумеется, что и в коннозаводском ведомстве при нем царил такая неразбериха, что и сам черт сломал бы там ногу... А тут еще, как на грех, подсыпали лошадей из Тамбова, в то время как и своих-то, московских, кормить было нечем. Франц окончательно потерял голову, вопрос снабжения новой базы фуражом разрешить не сумел, и лошадям грозила голодная смерть. Тогда и решено было развести их по «благополучным» заводам. Была создана комиссия, которая распределила тамбовских лошадей, вернее, заводских маток – жалкие остатки когда-то знаменитых заводов. Группа ивановских маток почти целиком была отправлена в Северный завод, некоторые попали в новый завод зоотехнического института под Москвой. Отдельные матки были распределены по другим заводам, и Белую Куплю, родную сестру Крепыша, назначили в Прилепы.

Купля пришла в Прилепы в 1921 году, под ней был сосунок-кобылка светло-серой масти от неизвестного жеребца. Купля была в ужасном состоянии и более походила на Коцея Бессмертного, чем на лошадь. Жеребенок-замухрышка был так худ, что едва стоял на своих тонких ножках и буквально качался от слабости. Губы Купли были порваны зверским обращением во время пахоты: характер у Купли был своенравный, и она тянула, а потому ей бечевкой делали закрутку, то есть прибегали к варварскому способу укрощения. Спина у нее была побита, а ноги изранены. Поправлялась Купля очень медленно, и как мы ни бились, но поделывать ничего не смогли, так и не привели ее в порядок. Купля прожила в заводе семь лет, но в теле никогда не была, все ребра у нее можно было пересчитать. Несмотря на это, она хорошо кормила жеребят, была молочна и как мать очень заботлива.

Само собой разумеется, что я был рад ее назначению в Прилепский завод, и не только потому, что она дочь Громадного, но еще и потому, что она, будучи родной сестрой феноменального Крепыша, представляла чрезвычайный интерес как заводская матка. Поработать с Куплей было завлекательно, и плох тот коннозаводчик или зоотехник, который в душе не мечтал бы создать от нее нового Крепыша или же выдающуюся орловскую лошадь, близкую ему по классу.

Матерью Купли была Кокетка. Я отнюдь не разделяю взглядов тех охотников, которые считают Кокетку кобылой заурядного происхождения только потому, что среди ближайших ее предков нет громких и модных имен! Это далеко не так: внучка знаменитого Варвара с одной стороны и Кролика-Татаркина с другой, кобыла, в которой течет кровь Серьезного, Степенного, Визапура 3-го, Кролика-Казаркина и старого Кролика, Петушка голохвостовского, Мужика и Быстролёта, не может быть заурядного происхождения!

Купля недурно бежала и имела хорошие для кобылы четырех лет рекорды – 1.37 и 2.25. По окончании призовой карьеры она поступила в завод своего владельца, но до революции не дала ничего замечательного. По себе Купля была хороша, однако не имела ничего общего со своим великим братом. Это была кобыла среднего роста, с довольно сухой головой, превосходной спиной и несколько коротким крупом. Верхняя линия была изогнута. Глубины достаточно. Нога очень костиста и хороша по форме. По типу была хороша и производила впечатление матки-жеребятницы. Конечно, ей было далеко до лучших дочерей Громадного, однако хорошей кобылой ее необходимо признать. Если бы я, например, не знал, что это Купля, и даже не знал, что такое Купля, я бы ее все же взял в завод.

Заводская деятельность Купли в Прилепском заводе:

1921 год – светло-серая кобыла Концессия (4.45) от американского Кильпатрика. Заводская матка Грязнушенского завода.

1922 год – холоста.

1923 год – красно-серый Крещенский-Мороз от Лакея. Продан.

1924 год – темно-серая Купчиха (2.38) от Эльборуса. Заводская матка в Хреновой.

1925 год – темно-серый жеребец Колос (2.26) от него же. Хреновская тренконюшня.

1926 год – серый жеребец от Барина-Молодого. Хреновской завод.

1927 год – красно-серый жеребец от него же. Хреновской завод.

Пала в мае или апреле 1927 года.

Остановлюсь прежде всего на первом приплоде Купли, то есть на той светло-серой кобылке, которая пришла в Прилепы под ней. В первую очередь я принялся выяснять ее происхождение и, списавшись с Тамбовом, узнал, что она была дочерью жеребца Кильпатрика, которого В. Т. Асеев выписал из Америки для своего завода. Так как эта кобылка получилась метиской и к тому же была мелка и запущена, я махнул на нее рукой и перестал ею интересоваться. Она была поставлена в запасной конюшне, получала уменьшенную норму овса и была заезжена в два с половиной года. Несмотря на все это, из нее вышла хотя и мелкая, но правильная кобыла. Назвал я ее Концессией. Будучи отправлена в Москву, она превосходно бежала, имела хороший ход и такой же характер, была добросовестной работницей в конюшне и показала резвость 4.45. По окончании призовой карьеры Концессия была взята в Прилепы и зачислена в заводские матки. В 1927 году покрыта Ловчим. В декабре того же года ушла в Грязнуху и там дала белого жеребца, судя по письму Лыкошина, очень грубого и простого.

В 1923 году Купля дала красно-серого жеребца Крещенского-Мороза от Лакея. Я рассчитывал получить выдающегося жеребенка, а получил грубого жеребца с плохой спиной, кадыковатой шеей, костистого, но круглокопного, со смазанными линиями. Это был, пожалуй, один из худших сыновей Лакея, на езде задиравший голову кверху – таких лошадей барышники называют «звездочетами». Как ни был плох Крещенский-Мороз, но 1500 рублей он стоил. Однако Самарин умудрился его сменить на белую верховую кобылу 20 лет, цена которой была не выше 150 рублей!

В 1924 году Купля дала от Эльборуса темно-серую Купчиху. Это была узкая, очень нервная и очень породная кобыла. Все дети Эльборуса получались лошадьми плотными и костистыми, Купчиха же вышла в породу Громадного и ничего общего не имела со своим отцом. Она была приподнята на ногах, очень суха и имела превосходную спину. Таких кобыл давал Громадный. С течением времени, когда они созревали и поступали в матки, то становились шире и глубже и из них получались замечательные кобылы. Я не сомневаюсь, что подобное превращение ждет и Купчиху. Я очень ценил эту кобылу и оставил ее в заводе. Купчиха не показала резвости на ипподроме, хотя и имела хорошие места и признавалась Ляпуновым кобылой резвой. В Прилепах она была случена с Ловчим и в декабре 1927 года со всем Прилепским заводом ушла в Хреновую. Там она и состоит сейчас заводской маткой.

Родной брат Купчихи темно-серый Колос родился в следующем, то есть в 1925 году. Это был типичный Эльборус – дельный, густой, костистый, довольно крупный, с хорошей спиной, несколько сыроватый. Интересная и многообещающая лошадь. В заводе шел хорошо, но заболел ревматизмом, после чего долго не работался и перешел в новые руки. На Хреновской тренконюшне он попал к Ратомскому, бежал недурно и трехлеткой или позднее показал резвость 2.26. Сейчас ему только четыре года. Колос бежит неровно, иногда беспричинно скачет – я считаю, это происходит

в тех случаях, когда его мучит ревматизм. Если бы Колоса как следует подлечили, этот жеребец был бы, конечно, резвее.

Последние два приплода Купли, два родных брата, происходили от Барина-Молодого, и на них я не без основания возлагал большие надежды. Старший был серый, очень крупный, очень сухой, очень правильный и очень дельный жеребенок, но имел недостаточно мужественную голову. К несчастью, Владыкин его отметил, облюбывал и начал воспитывать вместе с тремя другими жеребятами. Владыкин находил, что прилепские лошади не умеют бегать, а потому стал их учить этому искусству, применяя к жеребяткам всяческие новшества. Он гонял их по колено в снегу, не давал ни минуты покоя, травил собаками – и погубил: у жеребят образовались наливывы величиной с кулак. Сейчас сын Барина-Молодого и Купли находится в Хреновском заводе.

Его родной брат был мельче, красно-серой масти, но также очень правильный и дельный. Купля была уже безнадежно больна, когда он родился, а вскоре потеряла молоко. Жеребенка подкармливали, а когда мать пала, его приняла рабочая кобыла, благодаря чему он быстро оправился. Отъемышем он ушел в Хреновую, и я считаю его хорошей лошадейю.

Купля пала в мае 1927-го в возрасте 19 лет. Всего в Прилепах она дала шесть жеребят, из них жеребцов было четыре, кобыл – две. Резвейшей показала себя Концессия. Будем надеяться, что обе дочери Купли, Концессия и Купчиха, станут хорошими заводскими матками.

Впервые интересные сведения о Туманной и Наседке я получил от их бывшего владельца А. А. Силина, который незадолго до революции удачно охотился призовыми лошадейми и был правой рукой С. С. Шibaева по всем его конским делам. Силина я знал в лицо, был с ним даже немного знаком – когда-то он купил у меня в заводе недорогую лошадь, – но близких отношений у меня с ним не было. Удачно купленная им у Шibaева кобыла Туманная и некоторые другие лошади начали хорошо бегать, и Силин как-то сразу сделался призовым охотником, неожиданно появился на бегу. Однако его основной профессией было барышничество лошадейми. Силин происходил из скромной, небогатой семьи и был коренным москвичом. Говорили, что он пошел в гору после того, как сошелся с Марией Григорьевной Емельяновой, владелицей известного извозопромышленного заведения, что находилось на Мясницкой улице в Москве. Емельяновские пары и одиночки пользовались известностью в городе, и сама хозяйка хорошо вела свое дело. Силин с ней жил и, как говорится, оттуда почерпнул свои первые средства. Как человек оборотистый, ловкий и одаренный хорошей торговой сметкой, он быстро стал на ноги, получил самостоятельность и с большим успехом занялся барышничеством. В первые два, а может быть, и три года революции я с ним быстро сошелся, исключительно на деловой почве: я стал торговать лошадейми. Я закупал тяжелый сорт лошадей, а иногда легкую полукровную упряжную лошадь в Ефремове, Епифанове и Богородицке, гнал в Москву или посылал с доверенным Силина, знаменитым Липатом. Силин реализовывал этих лошадей на Конной в Москве и по учреждениям, которые в те годы много покупали лошадей, так как не все имели свой транспорт. К сожалению, Силин был очень недобросовестен в расчетах и так подводил итоги, что на мою долю приходилось процентов 20–25 прибыли. Я это, конечно, замечал, но молчал, так как искать другого компаньона в те годы было небезопасно, Силин же был очень неглупый и дельный человек.

После национализации Емельянова переехала из своего дома на Мясницкой наспротив, где заняла на верхнем этаже во дворе небольшую квартиру. Силин последовал за ней. Я стал останавливаться у них, что было очень удобно. Емельянова была неприятная женщина – типичная торговка, всю жизнь привыкшая иметь

дело с конюхами и пьяными кучерами, очень вульгарная, совершенно необразованная, страшно жадная и хитрая. При этом квартиру она держала в порядке и была хорошей хозяйкой. Стол у них был сытный, простой и жирный – все плавало в масле и сале. Я, в то время избалованный французской кухней, с ужасом смотрел на эти блюда, а отведав их, чувствовал, как они комом лежат у меня в желудке. И все-таки по сравнению с тем, что пришлось пережить впоследствии, это было хорошее время. Можно было работать, зарабатывать деньги, относительно легко дышать; были еще люди, которые вас понимали, сохранились прежние условия быта, хотя и не везде. Правда, и опасность была велика: каждую минуту вас могли схватить и по пустакам расстрелять.

В один из вечеров я сидел у Силина за самоваром, мы пили чай. Мария Григорьевна гремела посудой и жеманно угощала меня. На столе стояли пироги, жамки и лепешки, жареная печенка плавала в масле, малороссийское сало розовело и ласкало глаз. Электрический свет играл на многочисленных граненых вазочках с разным вареньем домашнего приготовления. Мы пили чай, беседовали о лошадях, обсуждали события дня. Только утром пришла партия тяжелых лошадей из Богородицка, и я приехал с ней. У Силина глаза горели от предвкушения барышей. Тут же, в столовой, вертелись и слушали нас оба сына Емельяновой, молодцы богатырского вида и телосложения. Поодаль сидел знаменитый Липат, доверенный Силина по поводу лошадей, бородатый рязанский мужик, и почтительно пил чай с блюдечка, держа его всеми пятью пальцами. Из кухни доносились голоса: там тоже пили чай ребята, пришедшие с лошадьми, два-три мелких барышника, и среди них молодой Лентяев, туляк и плут первой руки – про таких туляков еще в давние времена была сложена пословица «Хороший заяц, да беляк, славный малый, да туляк». Никто лучше Лентяева не умел провести лошадей мимо заставы, пробраться с ними ночью под мостом, обмануть комиссара и прочее. Недаром он в конце концов сложил свою буйную голову под пулей...

Поговорив о делах, порядочно вспотев от чая, жары и духоты, мы с Саней, так уменьшительно звали Силина, легли на перины отдохнуть. Мазоха, так емельяновские кучера прозвали Марию Григорьевну, убирала посуду в соседней комнате и тихо переругивалась с кухаркой. Ни мне, ни Силину не спалось, и мы нежились на мягких емельяновских пуховиках. Разговор зашел о призовой охоте, и я попросил Силина рассказать мне про двух его лучших кобыл, Наседку и Туманную.

Вот что я от него услышал:

«Наседку я купил случайно, она родилась в заводе Ивана Ивановича (Казакова. – Я. Б.). Стал на ней ездить, кобыла пошла замечательно. Тогда я ее пустил на бега, и она замечательно бежала, показав резвость 2.22, а на проезде, незадолго до революции, была прикинута в 2.16! По себе и езде была милая кобыла. Сейчас она находится в Северном заводе, и если бы продавалась, то я бы охотно ее купил.

Туманную же я купил у своего дружка Сергея Сидоровича Шибаева. Торговался я с ним всю ночь, а шампанского при этом выпили целую батарею. Шибаев был страшно богат, но любил торговаться, когда продавал лошадей. Лучше меня их никто не мог у него купить, и Шибаев меня очень любил. Я был своим человеком у него в доме, и даже Дора Марковна, его жена, дама тонкая, начала меня к нему ревновать: «Что ты все с Силиным да с Силиным сидишь, а я скучаю!» Туманная оказалась феноменальной двухлеткой – в этом возрасте она показала резвость 1.36, а в три года была прикинута в 1.30. Об этом заговорила вся Москва, и Шибаев пришел в восторг. Хотя бега в Москве были уже без тотализатора, но мне предложили за Туманную 50 тысяч рублей. Я, разумеется, кобылу не продал, так как Шибаев хотел взять ее обратно, а с ним у меня были большие дела, и идти против него я не мог. Подготовил Туманную к призам Куликов, и он говорил мне, что на этой кобыле мы выиграем все призы. Вот бы выкупить кобылу у товарищей!»

Эти сведения не могли меня не заинтересовать и запомнились. Летом 1922 года Шнейдер, служивший тогда в коннозаводстве, обратился ко мне с просьбой взять в Прилепы Наседку и Туманную и тем спасти их. Он только что вернулся из Северного завода и был в ужасе от тех беспорядков, которые там застал. Этот завод, основанный Шемиот-Полочанским по указанию другого ветврача – Щеглова, находился в Череповецком уезде, в нездоровой болотистой местности. Там летом лошадей комары буквально заедали насмерть! Кругом были болота, сено кислое, земли мало. Полочанский и Щеглов основали этот конный завод, потратили уйму материалов, денег и соли (тогда она была дороже денег), все постройки возвели заново и сосредоточили там лучший национализированный рысистый материал. К стыду наездника Орлинского, он тоже приложил руку к этому позорному делу: пошел в помощники к Щеглову, производил отбор лошадей и громко заявлял всем и каждому, что отведет знаменитых рысаков. Само собой разумеется, что ничего ни он, ни его начальник Щеглов не ответили, последний же в конце концов попал под суд, а затем и вовсе исчез с коннозаводского горизонта. Большинство замечательных лошадей Северного завода погибли, молодняка почти не было, а жалкие остатки уведены оттуда отчасти при Муралове, отчасти несколько позднее.

Шнейдер рассказывал мне, что кобылы там в ужасном состоянии, молодняк тоже, и он, конечно, не представляет никакой племенной ценности. «Возьмите в Прилепы Туманную и Наседку, – просил Шнейдер. – Ведь это знаменитые орловские кобылы, и их надо спасти». Мне вспомнился вечер у Силина, его рассказ об этих кобылах, и я дал свое согласие. Получив официальные бумаги, я уехал в Прилепы и оттуда послал за лошадьми.

Наконец кобыл привели. Наседка была в относительно порядке, но Туманная худа как щепка и больна, а ее сосун, рыжий жеребчик Экватор от Эльборуса, походил на кого угодно, только не на жеребенка. Прилепцы даже предложили мне его уничтожить, ибо считали, что он погиб. Я не согласился и, как показало будущее, поступил благоразумно. Для этих несчастных знаменитых кобыл началась, после тех кошмарных голодовок, которые они вынесли, нормальная жизнь хотя и в бедном, но хорошо благоустроенном заводе. Так как Наседка была вполне здорова, она быстро пришла в блестящий порядок, но Туманную так и не удалось привести в нормальный вид. В Прилепы она попала уже безнадежно больной, и все мои заботы сводились к тому, чтобы продлить ей жизнь и получить еще одного жеребенка.

Наседка родилась у И. И. Казакова в 1914 году от Ментика и Новости. Знаменитый казакский Ментик, которого я хорошо знал, был превосходной по себе лошадью и к тому же обладал исключительной резвостью накоротке. Новость была дочерью лотарёвского Навета (Кречет – Норка) и кобылы Дикарки, дочери Бычка завода Вяземского.

По себе Наседка была очень хороша. Надо правду сказать, Казаков был очень талантливый коннозаводчик и умел создавать первоклассных и типичных рысаков. К их числу, несомненно, принадлежала и Наседка. В ней было не меньше четырех с половиной вершков росту. Статная, вороная без отмет, очень сухая, породная, она имела хорошую верхнюю линию, превосходную спину, но бедноватое предплечье, вследствие чего казалась высокой на ногах. Я думаю, что своим экстерьером она больше всего была обязана своему прадеду со стороны матери, знаменитому по своей красоте и блеску Кречету.

Наседка поступила заводской маткой в Северный завод. Первые два года она прохолостела. В 1921 году ее приплод пал, а в 1922-м она дала гнедого жеребчика Матроса от Маркиза, тоже казакского жеребца. Осенью 1922 года Наседка прибыла в Прилепы. Ее сын Матрос, как, впрочем, и все остальные лошади, родившиеся в Северном заводе, погиб для племенного дела, и хотя он появился в Ленинграде на бегу, но ничего особенного не показал и скоро сошел со сцены. В Прилепах

в 1923 году Наседка прохолостела, и, так как весь случной сезон она была в охоте и никак не отбивала, я пригласил ветврача исследовать кобылу. Оказалось, что у нее разрыв шейки матки – следствие неблагополучных родов – и она больше непригодна для заводской деятельности. Скрепя сердце мне пришлось ее зачислить в разряд пользовательных лошадей завода. Она ходила у меня в езде. Что это была за милая, умная, спокойная и приятная лошадь! Ездить на ней было истинным удовольствием! Она не только улавливала малейшее движение вожжей, но была столь умна, что понимала и слушалась голоса. Иногда в легком шарабане я выезжал на ней на хутора, и когда она спокойно и непринужденно, не сменив ноги, плыла своим просторным ходом и версты только мелькали, то я вспоминал Тургенева и его восторженные слова о приятности езды на рысистой кобыле и в беговых дрожках среди наших необозримых полей и думал, что и он, вероятно, имел такую кобылу, как Наседка... Наседка в езде была не только очень резва, но также и сильна: чем дальше, тем лучше она ехала, и казалось, ей незнакомо чувство усталости. В 1926 году Наседка была продана с аукциона в Крапивне владельцу кожевенного завода, уплатившему за нее, несмотря на ее почтенный возраст, 1200 рублей. Как не было мне жаль, но заводу деньги были нужны, поэтому я решил расстаться с этой милой упряжной лошадью.

Туманная была кобыла совсем другого типа. Э. Ф. Ратомский прекрасно знал ей цену, а потому отвоевал ее для Светлых Гор. Казалось, ей была обеспечена полная возможность себя проявить, но случилось иное: в Светлых Горах Туманная навсегда потеряла здоровье и превратилась в инвалида. Это были смутные годы: новым хозяевам русской земли приходилось доказывать пользу рысистой лошади, племенной свиньи, породистой коровы. Полочанский, тогдашний вершитель судеб в отечественном животноводстве, отрицательно относился к рысакам и утверждал, что призовые лошади никуда не годятся: они не могут возить, пахать, а стало быть, не нужны вовсе. Ратомский, желая поддержать рысака, решил устроить в Светлых Горах показательную пахоту – и на рысистых кобылах, и на крестьянских лошадях. Полочанский прибыл на эту показательную пахоту, и рысистые кобылы, конечно, справились со своей задачей блестяще. Однако форсированная подготовка отразилась на Туманной, которую Ратомский выбрал для этого испытания: кобыла получила небольшой запал. Не будем осуждать Ратомского: он испортил Туманную, но «сагитировал» Полочанского, принес большую пользу коннозаводскому делу в целом. Оставить Туманную в Светлых Горах было неудобно, и Ратомский, случив ее с Эльборусом, через некоторое время перебросил кобылу в Северный завод. Там, в тяжелых условиях, Туманная получила сильнейшую эмфизему легких и, конечно, отправилась бы на тот свет, если бы Шнейдер вовремя не назначил ее в Прилепы. Когда я впервые увидел в Прилепах Туманную, она тяжело дышала и водила боками, как кузнечными мехами. Надо отдать должное ветврачу Троицкому, который сумел ее поддержать, а также Кралу, который самоотверженно ухаживал за ней.

Туманная была заурядна по себе: не больше трех вершков росту, масти серой, с кое-где проглядывавшими яблоками, хвост и грива темные. Голова большая и неподродная, шея прямая, но с хорошей линией внизу, спина длинная и ровная, круп хорош, а окорока замечательные. Ноги, тростистые и абсолютно правильные, были костисты. Кобыла вышла низка на ногах и покрывала много пространства. Благородством Туманная не отличалась, была проста, но кругом дельна.

Призовая карьера Туманной получилась чрезвычайно непродолжительной, ибо она родилась в 1915 году, а в 1918-м бегов уже не было. То, что официально показала кобыла – 1.36 на первых выступлениях, будучи двух с половиной лет, – вполне свидетельствует о ее выдающемся классе. Туманную надлежит рассматривать как одну из резвейших орловских кобыл, когда-либо существовавших в России. Помимо резвости Туманная обладала поразительным по своей воздушности и красоте ходом.

Туманная принадлежит к знаменитой женской семье солововской кобылы Тоски, расцвет этого женского рода падает на последнее 25-летие.

Отцом Туманной был Хвальный – жеребец, родившийся в небольшом заводе ковровского коннозаводчика Федоровского и оказавшийся превосходным производителем. Он дал серию призового приплода, в котором были лошади несомненного класса. С. С. Шибаев купил его по совету знаменитого наездника Синегубкина, причем последний сам его приторговал и приобрел для Шибаева за тысячу рублей – цену смехотворную для такого интересного производителя! Шибаев вообще был очень счастлив в своей коннозаводской деятельности. У него Хвальный дал Туманную и Гордость (2.16), родившуюся в 1918 году от Гориславы.

Мать Туманной Туча была мне известна. Она состояла заводской маткой у Казакова, где я ее и увидел, а вторично я осматривал эту кобылу в Москве, когда ее приобрел Шибаев. Она была крупна, светло-серой масти, суха, имела превосходную спину, была очень породна и хорошо стояла ногами. Кстати, с покупкой Тучи произошел довольно неприятный инцидент. Шибаев заглазно купил у Казакова другую кобылу той же породы и заплатил за нее крупную сумму. Казаков постоянно нуждался в деньгах, а потому проданную уже кобылу продал другому, Шибаеву же послал Тучу. С Казаковым такие неприятные истории бывали не раз. И хотя Казакову многое прощали, но иметь с ним дела избегали, а если покупали у него лошадь, то тут же платили деньги и уводили ее со двора. Так поступали те, кто хорошо знал Казакова, но Шибаев ему доверился и был наказан. Когда произошел этот инцидент, возмущенный Шибаев потребовал вернуть ему деньги, а у Казакова их, конечно, не оказалось. Дело приняло скверный оборот, и хотя Туча стояла уже у Шибаева, но он требовал либо возврата денег, либо ту кобылу, которую купил. Я был очень хорош с Шибаевым, и он заехал ко мне в «Славянский базар» посоветоваться. Я дал ему совет не подымать истории, взять Тучу, а с Казаковым больше дел не иметь. Так он и поступил. Появление Тучи в заводе Шибаева носило, таким образом, случайный характер, и надо было иметь счастье Шибаева, чтобы именно от этой кобылы отвести резвейшую лошадь своего завода!

Заводская деятельность Туманной:

1922 год – рыжий жеребец Экватор от Эльборуса. В заводской конюшне.

1923 год – красно-серый жеребец Топаз (2.30) от Маркиза. Там же.

1924 год – красно-серый жеребец Талисман (2.24) от Кронпринца. Там же.

1925 год – холоста.

Уничтожена в 1925 году.

Первого своего жеребенка Туманная дала в Северном заводе, он пришел в Прилепы под матерью. Экватор был небольшой, рыжий, очень костистый и фризистый жеребец, широкий, плотный, дельный и простоватый; спина у него была с положинкой, и сам он был в типе дубровских лошадей, то есть Бычков. Экватор получился не только резвой, но и, несомненно, классной лошадью. Осенью в заводе, по второму году, жеребец ехал замечательно. Его работал Петров, и Экватор показал мне и Курманову четверть без пяти. Желая сохранить жеребца, я отправил его в Ленинград к Лыкошину с наказом беречь. Там Экватор бежал очень хорошо и был резвейшим орловским трехлетком. В Москве, куда он был позднее переведен, бежал столь же успешно, но всего своего класса не показал. Экватор, несомненно, лошадь большого класса, однако посредственный экстерьер едва ли даст ему возможность поступить производителем в госконезавод.

В следующем году Туманная дала красно-серого жеребца Топаза от Маркиза, с которым была случена еще в Северном заводе. Топаз имел характерную горбоносую голову, был мелок, сух, ловок на езде. Он был то, что называется лошадкой. Зимой,

по второму году, ехал замечательно. С ним не поладили наездники в Москве, и он ушел с ипподрома, так и не показав своей резвости.

Последний сын Туманной, светло-серый в краснине Талисман, родился в 1924 году и происходил от Кронпринца. Под матерью он был исключительно хорош и так породен, что я считал его лучшим по себе жеребенком в ставке. Таких породных жеребят я видел только среди арабов в табуне Сангушко. С годами Талисман ухудшился и стал проще. Последний сын Туманной был очень резв, его считали лошадейю большого класса, но проявить этот класс ему мешали наливы. Талисмана следовало еще поддержать на ипподроме, но Рапп передал его в Калугу.

В 1925 году Туманная прохолостела. К тому времени дни ее были уже сочтены, и было решено кобылу уничтожить, что и исполнил ветврач Троицкий.

Подводя итоги заводской деятельности Туманной, следует иметь в виду, что все три ее сына родились уже от больной матери, а первый из них к тому же был запущен и первые девять месяцев своей жизни голодал. Большое несчастье, что Туманная не дала ни одной кобылы, вследствие чего род этой феноменальной по резвости лошади прекратился.

Однажды совершенно случайно встречаю в коннозаводском ведомстве генерала Розенберга, который был председателем одной из ремонтных комиссий еще до революции. Он приехал из Симбирска, где закупал лошадей для военного ведомства. Это был глубокий знаток лошади и, как большинство прежних ремонтеров, вышедших из школы Струкова, владел своим делом в совершенстве. Мы разговорились, и я стал расспрашивать его про судьбу, постигшую некогда знаменитый дурасовский завод, его владелицу А. Ф. Толстую и отдельных лошадей. Розенберг сообщил мне много интересного и в заключение добавил: «В Симбирске, в руках частного лица, есть кобыла завода Толстой. Это лучшая из рысистых кобыл, которых я когда-либо знал! Вам необходимо предпринять шаги, чтобы ее купить». Справившись в записной книжке, он назвал мне имя этой кобылы – Гордость-Павлина от Павлина и Миловидной. Слова Розенберга произвели на меня большое впечатление. Дело в том, что я сам во время войны служил по ремонту армии и прекрасно знал, как строго относились ремонтеры к лошадям, как тонко они в них разбирались и как верно их расценивали. Уж если один из них так отозвался о рысистой кобыле, значит, она была действительно замечательная.



Симбирская коннозаводчица графиня А. Ф. Толстая, приобретающая право собственности на половину Крепыша



*Крепыш 2-й, первый жеребенок Крепыша, родился в 1911 г.
у М. М. Шапшала от лагутинской матки*

Встав на другой день пораньше, я поехал на бег и там справился в заводских книгах. Оказалось, что Гордость-Павлина была дочерью знаменитого Павлина, сына Пройды, а ее мать Миловидная – второй внучкой дурасовского Полкана и дочерью голицынской Миловидной от Злобного и Мглы. Таким образом, Гордость-Павлина имела выдающееся происхождение, а кроме того, рекорд 1.43 в трехлетнем возрасте. Я вспомнил, что Толстая трех своих лучших кобыл посылала в Хреновую под Павлина, когда он был куплен туда в производителе. Следовало во что бы то ни стало купить эту кобылу. Приняв решение, я сейчас же поехал в коннозаводство. Там я опять встретил Розенберга и просил его списаться с Симбирском и выяснить, можно ли купить кобылу. Он охотно согласился и через месяц сообщил мне в Прилепы, что Гордость-Павлина продается, что через две недели ее владелец будет в Москве и просит меня прибыть туда же для переговоров. Это было в 1921 году. Я с радостью поехал в Москву, встретился с владельцем кобылы, тут же купил ее за какое-то число миллиардов, и Управление коннозаводства эту сделку утвердило. Я был очень рад благополучному завершению дела и с нетерпением стал ждать кобылу. Наконец ее привели, и слова Розенберга вполне подтвердились: Гордость-Павлина оказалась действительно замечательной кобылой и произвела на меня очень большое впечатление.

Она была серой в яблоках – той чистой и определенной масти, которая так ценилась еще недавно (лошадей этой масти охотно покупали за границей, а барышники за них платили лишнюю сотню). Росту она была крупного, голову имела большую, но выразительную, с крепким лобком. Шея у кобылы была очень приятная, спина короткая и замечательная. Круп хороший, окорока богатые. Лошадь была исключительно костиста, глубока и дельна. По типу – истинная дочь Павлина.

Желая показать эту замечательную кобылу охотникам, я посылал Гордость-Павлина на всесоюзную выставку в Москву в 1923 году. Там она получила премию, хотя и была оценена ниже своих достоинств.

К сожалению, все мои хлопоты пропали даром и все мои мечты об использовании Гордости-Павлина пошли прахом: и Розенберга, и меня перехитрил бывший владелец кобылы, так как оказалось, что она не жеребится. В Прилепах она прохолстела от Лакея. Когда выяснилось, что она не будет жеребиться вообще, я отправил ее в Хреновое, где тогда организовали пункт для лечения кобыл, страдающих бесплодием.

Бывший пензенский коннозаводчик А. М. Эснехо одно время был инспектором в Главном управлении государственного коннозаводства. Вернувшись из Новотомниковского завода, он сделал мне доклад. Я подробно расспросил его о воронцовских кобылах. По его словам, знаменитые старухи уже сошли со сцены, завод сильно пострадал от голодовок и неурядиц и потерял почти весь свой племенной состав. Среди уцелевших кобыл, как утверждал Эснехо, очень хороша была Зурна. Я знал, что это внучка Бережливого, потомков которого я особенно любил и многих из них имел в своем заводе. Сочетание Бережливый – Крутой было историческим в русском коннозаводстве, а следовательно, Зурна идеально подходила к основному жеребцу Прилепского завода Кронпринцу. Я решил взять ее в Прилепы, но осуществить это удалось только в следующем году, и Зурна пришла в Прилепы зимой 1921-го.

Эснехо был прав, когда говорил мне, что это замечательная кобыла. В своем типе кобылу лучше и совершеннее трудно было встретить, и Зурна заняла очень видное место в Прилепском заводе. Кобыла была невелика, масти белой в гречихе, что частенько встречалось и у дочерей, и у внучек Бережливого, и чрезвычайно породна, в типе кожных кобыл. Голова и шея у нее были замечательные, линия верха удивительная и круп превосходный. Ноги костисты и правильны, она была очень суха и эффектна на выводке. При этом, будучи утробистой, кобыла выглядела настоящей маткой. К сожалению, у Зурны было слабое зрение и темперамент чистокровной лошади (не следует забывать, что ее мать Сударыня была дочерью Боярыни от чистокровного Бояра – победителя приза города Парижа).

В табуне Зурна совершенно не могла ходить: лошади ее раздражали, и она носилась как полоумная. Для таких кобыл следует иметь пaddockи, чего в Прилепском заводе не было. Зурна оказалась маломолочна и плохо кормила жеребят, а так как они, бедняжки, плохо поспевали за ней, то всегда были худы и тощи. Словом, в примитивных русских условиях ведения конного завода она не могла иметь успеха как matka. Ее детей следовало воспитывать как англичан, подкармливая яйцами, давая молоко, а самой Зурне предоставить спокойное пастбище.

Зурна родилась в заводе графа Воронцова-Дашкова в 1910 году и была дочерью Сударя (2.15), сына Пройды. Ее мать, Сударыня, была замечательной по себе кобылой. Я однажды видел ее дочь белую Сударку на конюшне у старика Кейтона и пришел в положительный восторг: то была поразительная по своему блеску, породности и правильности кобыла, типичная для линии Полкана 6-го (а в России лучших по себе лошадей никогда не было и едва ли когда-либо будут). Я просил Кейтона устроить мне покупку Сударки, он обещал, но граф не согласился ее продать...

Заводская карьера Зурны после революции сложилась неудачно: она только поступила в завод, а потому проявить себя не успела. В Моршанском заводе Зурна дала всего лишь одну кобылку, которая, как и большинство приплода 1920 года, погибла.

Заводская деятельность Зурны в Прилепском заводе:

1922 год – приплод от Козыря. Пал.

1923 год – холоста от Кронпринца.

1924 год – красно-серая Задира от Кронпринца. Серый жеребец Забияка от него же. Пал.

1925 год – вороная кобыла Забота от него же. Продана на Урал.

1926 год – гнедой жеребец от Эльборуса. Ушел в Хреновую.

1927 год – холоста.

Поступила в Хреновской завод или же была продана.

Из Моршанска Зурна пришла слученной с Козырем, пунктовым жеребцом Тамбовской заводской конюшни. Странная фантазия, чтобы не сказать дикая, со стороны товарища Гая, управлявшего тогда Моршанским заводом, покрыть столь замечательную кобылу пунктовым жеребцом! Впрочем, в те времена и не такие еще дикости совершались в госконезаводах. Так, тот же Гай в том же Моршанском заводе, возомнив себя знаменитым наездником и вооружившись хлыстом, сам начал тренировать лошадей и переломал всю ставку!

В Прилепах от Козыря и Зурны родился серый, длинный, сухой, угловатый, очень крупный жеребенок в типе чистокровной лошади. Мать была еще худа и почти не имела молока, поэтому жеребенок захирел и пал. Три года кряду я крыл Зурну с Кронпринцем, осуществляя историческое сочетание Крутой – Бережливый, но большой удачи не случилось. В 1923 году Зурна прохолостела. В 1924-м дала двойню – жеребчика и кобылку. Жеребчик оказался совсем заморышем и пал, а кобылка выжила, но, как это почти всегда бывает при двойнях, была не лошадь, а половина лошади. По себе она получилась чрезвычайно хороша и в миниатюре повторяла мать, но костью вышла беднее. В заводе ее оставлять было нельзя, и двухлеткой я продал ее на Урал. Ничего не будет удивительного, если она окажется хорошей заводской маткой. В 1925 году Зурна дала от того же Кронпринца вороную кобылу Заботу, которая отличалась хорошим верхом, но типом была ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца, к тому же имела беднокостную ногу и торцовые бабки. Я ее забраковал и продал на Урал, где она, кажется, бежала.

В 1925 году я переменял Зурне жеребца и случил ее с Эльборусом. Это было тоже интересное сочетание, ибо повторяло имя великого кожинского Потешного. Однако все мои теоретические соображения были разбиты, и вместо кожинской по типу лошади в 1926 году получился небольшой темно-гнедой жеребец со звездой во лбу, плотный, костистый и коротковатый, с недурной спиной. Он, несомненно, вышел в породу Сударя – Пройды и ничего общего не имел ни с Потешным, ни с Бережливым, ни с кожинскими лошадьми. Трехлетком он ушел в Хреновую, и дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Этот жеребенок был последним приплодом Зурны в Прилепском заводе. В 1927 году она прохолостела, а затем либо ушла в Хреновую, либо была продана – точно сейчас не помню.

Когда из Злынского завода было решено вывести всех орловских маток, кои туда попали случайно, и тех кобыл, которые имели 7/8 орловской крови, то одна из этих кобыл, Лафа, была назначена в Прилепский завод и прибыла к месту своего нового назначения. Лафа родилась у Н. В. Телегина в 1912 году и была дочерью Легенды и Азарта. Она показала первоклассную для кобылы резвость (2.14), но преждевременно сошла со сцены из-за курб. Любопытно отметить, что ее отец Азарт тоже имел курбы, но в менее выраженной степени, и также из-за них рано сошел со сцены. В заводе Азарт ничем не выделялся, но по происхождению, как сын Ириса и Актрисы (2.19), внучки Дара, был, безусловно, интересной лошадей. Мать Лафы, Легенда (1.36), родилась от Прометейя и Лавы (Чародей – Умница). Легенда хотя и была сыра, но вполне правильна и дельна – она оставила хороший приплод в Злыни. Лафа принадлежала к знаменитому женскому семейству, как, впрочем, и большинство телегинских кобыл.

Лафа была очень крупна и очень сыра. Имела большую и непородную голову, хорошие костяк, спину и окорока. На выводке она производила впечатление несурьезной кобылы и совершенно мне не нравилась. В заводе Лафа принесла тоже одно разочарование. В Светлых Горах она дала одного жеребенка, Лафу 2-ю, с рекордом 2.35, и это от такого производителя, как Эльборус! В Злыни у нее родились Лада от сухого и довольно породного Брянска и Любимка Т-Н. от Тальони – обе кобылы даже

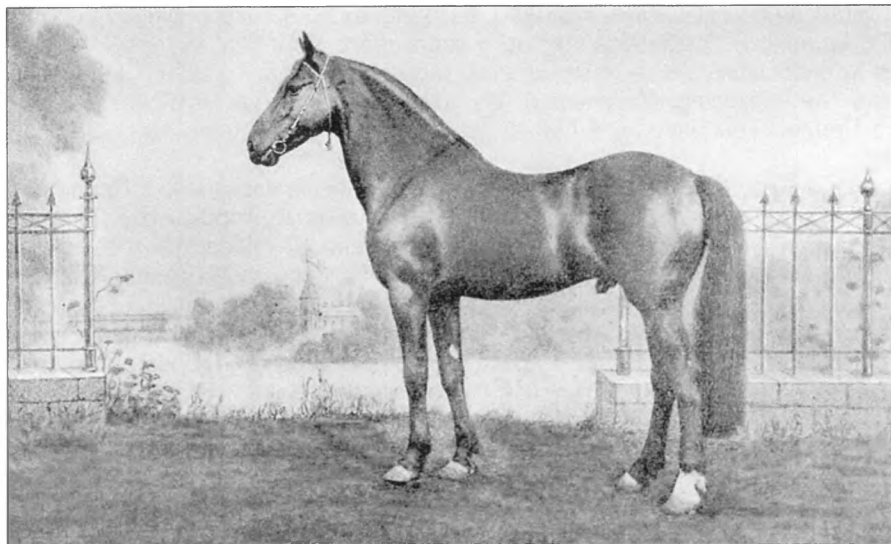
не показались на ипподроме. Наконец, в Прилепах в 1925 году Лафа прохолостела, а в 1926-м дала от Эльборуса крупного каракового жеребца, который сейчас находится в Хреновском заводе, а может, уже и выбыл оттуда. Когда в Прилепы приехал Владыкин, он не мог примириться с тем, что такая классная метисная кобыла находится в Прилепском заводе, и сейчас же отправил ее в Смоленск.

Дербистка Краса, любимая кобыла Шубинского, была назначена в Прилепы по моему желанию, что вызвало целую бурю негодования в метизаторских кругах. Краса была дочерью американского жеребца Пас-Роза и знаменитой орловской кобылы-рекордистки Крылатой (4.44). Крылатая происходила от мосоловского Кролика и Львицы, кобылы из линии Лебеда 4-го, и принадлежала к очень интересной женской семье (портрет родоначальницы этой семьи был когда-то приобретен мною у Куприянова и ныне находится в заводском музее). Ее дочь Краса была хороша по себе: среднего роста, караковой масти, с очень хорошей головой, превосходной линией верха, замечательными окороками, низкая на ногах, глубокая и очень плотная. Она была определенно породна, и по экстерьеру я считаю ее одной из лучших метисных кобыл своего времени.

Заводская карьера Красы не была удачной. После революции она дала в Осташевском заводе Кремня от Кодора и Банкира, Кралю-Красы и Базулинца от Бонапарта. Все они либо вовсе не бежали, либо бежали тише 2.30! Я решил взять ее в Прилепы и рассуждал при этом приблизительно так: Краса ничего не дала в Осташевском заводе, ее дочь и несколько сестер находятся там, увод одной кобылы из этой многочисленной семьи никак не может отразиться на интересах завода, равно как и на метизации в целом. Вместе с тем представлялось чрезвычайно интересным хотя бы одну дочь выдающейся орловской кобылы Крылатой вернуть обратно в лоно орловской породы. Надо отдать справедливость А. Ф. Пасечному, который понял меня, переговорил с управляющим Осташевским заводом Дзеркалом, и со стороны завода протеста не последовало. Иначе отнеслись к этому в лагере метизаторов: там поднялся невообразимый шум, началась травля человека, который якобы желает погубить метизацию и берет лучшую метисную кобылу под орловского жеребца! Особенно много волновался и шумел некий Полежаев. До революции это был мелкий калезинский торговец, который после потери своей лавочки возомнил себя «спецом» по лошадиной части и пролез в управление Базулинского завода, откуда его позднее уволили. Однако он уже пустил корни на бегу и устроился заведовать осташевской тренконюшной (туда влились базулинские лошади) в Москве. Выкурили его и оттуда, однако он опять где-то устроился и так превратился в коннозаводского работника. Человек тупой и бездарный, к тому же мелочный, и со временем себя хранителем базулинских лошадей, критиковал действия всех, даже почтенного А. Ф. Пасечного, и все находил, что не так ведут дело и не так, как нужно, обращаются с бывшими лошадьми Шубинского. Вот этот тип и пришел в положительное бешенство, когда узнал, что Краса ушла в Прилепы. По русской привычке он сделал донос, потом стал распускать всякие небылицы, взбудоражил метизаторов и поднял шум вокруг моего имени. Вся эта возня, конечно, ничем не кончилась, и Краса так и оставалась в Прилепах, куда я управлял этим заводом.

Краса пришла в Прилепы осенью 1924 года жеребой от американского жеребца Джой-Варда и в следующем году дала посредственного жеребчика, который был возвращен в Осташево. В 1926-м она, к сожалению, прохолостела от орловского жеребца, и Владыкин, принявший бразды правления, вместе с Лафой отправил ее в Смоленск. Там Краса, кажется, пала, так и не дав больше жеребят.

Первые два-три месяца после своего назначения управляющим Прилепским заводом Владыкин еще делал вид, что печется об интересах дела, а потому, взяв в Смоленск Лафу и Красу, привел взамен двух орловских маток, Память-Момента



*Могучий (Подарок – Виновная) завода В. Н. Телегина,
знаменитый производитель Злынского завода*

и Хвалёну. Коннозаводское ведомство благодушно взирало на все действия Владыкина и санкционировало его фантазии. Он был тогда в апогее своей славы. Память-Момента и Хвалёна стали последними кобылами, поступившими в Прилепский завод, а потом и сам завод прекратил свое существование.

Память-Момента, белая кобыла 14 лет, представляла собой заурядную лошадь второклассного завода дореволюционного времени, каких в те годы было много. Именно они составляли ядро орловской породы, давая себе подобных, обычно правильных и дельных служилых лошадей. Память-Момента родилась в заводе Ельчинского и имела хороший рекорд – 1.36. Она была дочерью известного Момента (2.14), внука знаменитого телегинского Могучего. Ее мать Плутовка происходила от Зайчара, внука того же Могучего. Бабка Памяти-Момента Пахита (Кряж-Быстрый – Победа) была мне известна, так как я ее купил, вернее, получил в придачу от Ельчинского перед самой революцией. Пахита была очень интересна по своему типу, вследствие чего я просил художника Юона написать ее портрет, который сейчас находится в коннозаводском музее. Таким образом, по своему происхождению Память-Момента представляла несомненный интерес. Но я не считал ее надежной заводской маткой: в Смоленске она дала всего лишь одну резвую лошадь, Памятного (2.20). Владыкин восхищался Памятью-Момента, много говорил о ней, уверяя всех, что это будет лучшая кобыла в Прилепах. Когда ее привели в завод и поставили в Сергиевском, я через несколько дней встретил Крала и поинтересовался, что представляет собой новая кобыла. Тот лишь улыбнулся и пожал плечами!

В Прилепах Память-Момента успела дать только одного жеребенка – гнедую кобылку от Сухаря, которая родилась в 1927 году. Она была суха, отметиста и очень коротка. В Прилепах же Память-Момента была случена с Ловчим и, кажется, жеребой ушла в Хреновое.

Вторая смоленская кобыла, Хвалёна, была по себе тоже проста и заурядна, но зато принадлежала к историческому женскому гнезду кобылы Паволоки, матери знаменитого Хвалёного. Хвалёна родилась у Трембицкого в 1912 году и происходила от дубровских лошадей: ее отец Бесперывный был сыном Бычка и Протяжной, мать Хвойная – дочерью Хвалёного и Томной.



Меценат

Хвалёна не бежала, но дала в Смоленске в 1920 году резвого Амура, а в 1921-м – Хорунжего (1.30 верста). Оба – дети Альказара (1.31), сына Альвина-Молодого и Пани-С. Затем Хвалёна имела приплод уже от орловских жеребцов, а именно от Кремневого и Холстомера. Это были Хризантема, Ход и Хулиган, но из них побегал один Хулиган и класса не проявил. В Прилепском заводе Хвалёна в 1927 году осталась холоста и по моему указанию ее случили с Ловчим. После разгрома завода кобыла ушла в Грязнуху и там родила в 1928 году хорошего серого жеребца.

По себе Хвалёна была типичной дубровской кобылой: вороная (очевидно, в Подарка), с проточиной во лбу и седой репицей хвоста, костистая, фризистая, дельная, густая, но несколько простая. Она, конечно, покрывала много пространства и, что особенно ценно, имела вполне удовлетворительную спину. Немало таких кобыл я видел в дубровских ставках, и большинство из них, разойдясь по рысистым заводам России, оказались хорошими заводскими матками. В Грязнушенском заводе Хвалёна при правильном подборе может дать серьезных лошадей и принести много пользы.

Во время революции мне не довелось побывать ни в каких других заводах, кроме тульских да еще, во время одной служебной поездки, Светлогорского и Красноружанского. Однако отдельных интересных лошадей я видел либо на призовых конюшнях, либо случайно. И среди них вороной Меценат по своему типу и классу наиболее заслуживает внимания.

Меценат, безусловно, один из лучших орловских рысаков последнего десятилетия. Его высокий класс вне всякого сомнения. Достаточно указать на его рекорды – 2.14,3; 4.33,4; 6.13,3, чтобы прийти к заключению, что это не только фляйер, но и выдающийся стайер. Рекорд Мецената на три версты до сего времени – я имею в виду послереволюционные бега – не побит ни одним орловским рысаком, а в дореволюционное время три версты резвее бежал лишь один Крепыш! Я был свидетелем этого исторического бега. На Меценате ехал Кочетков и провел жеребца мастерски: жеребец прошел дистанцию буквально не сменив ноги и произвел огромное впечатление своим эластичным и свободным ходом.

Позволю себе повторить удачное выражение молодого зоотехника И. Лакоза, который сказал, что «исключительному классу Мецената сопутствует не менее исключитель-

ный экстерьер». Это верно и метко. Меценат действительно исключительный по экстерьеру рысак, среди многих тысяч орловских рысаков он выделяется своим особенным, ему одному присущим типом. Описывать таких лошадей, конечно, нелегко. Масти Меценат вороной, никаких отмет не имеет. Поражает своей сухостью, приближаясь в этом отношении к чистокровной лошади (редкая черта у рысистой лошади). Признаюсь, не без страха быть осмеянным, что, не любя сырых лошадей, боюсь в заводе чересчур сухих рысаков: их приплоды легко переходят грань, отделяющую упряжную лошадь от верховой, и склонны к утере массы, этого драгоценного качества орловского рысака. Породность также составляет отличительную черту Мецената, однако это не та породность, которая характерна для серых Полканов и Потешных: блеска и эффектности в Меценате нет! Голова, ухо, глаз, ганаш, затылок и храп у этого жеребца превосходны и, что главное, прекрасно связаны между собою, составляя одно гармоничное целое. Шея хороша, холка развита, линия верха плавная, но круп коротковат. Он увенчан превосходной репицей и довольно жидким арабским хвостом. На выводке жеребец держит репицу полуфонтаном, что очень красиво. Нога у Мецената сухая и правильная по форме, без малейшего признака фриза. Лицу, знакомому с иконографией орловской рысистой породы лошадей, не так уж трудно определить, на кого из своих предков наиболее похож Меценат. Я утверждаю, что немалое сходство он имеет с Сободем 1-м, в чем легко убедиться, взглянув на портрет последнего, имеющийся в коннозаводском музее и писанный Охотниковым со сверчковского оригинала.

По типу Меценат превосходен, но в нем опытный и искушенный глаз увидит нечто азиатское, восточное. Это совершенно своеобразная, единичная лошадь. С одной стороны, это положительная черта, с другой – отрицательная, ибо подобные исключительные лошади редко передают свой тип и в большинстве случаев дают в приплодах разнородной. Если же такой жеребец окажется высокопрепотентным, то он становится родоначальником целого направления в породе.

Меценат – сын Ментика завода Щёкиных и Крали, уроженки маленького завода ефремовского купца Вавилова. Стало быть, Меценат – внук одного из знаменитейших орловских производителей, именно Леска. Еще большее значение имеет то обстоятельство, что Ментик происходил из исторической женской семьи, едва ли не самой известной в охотниковском заводе. Таким образом, со стороны отца Меценат вполне респектабельного происхождения. Иначе обстоит дело с родословной матери жеребца. Индивидуально Краля была превосходной кобылой не только по себе, но и по заводской карьере, ибо другой ее сын, Ловкий от Ловчего, выиграл Императорский приз. Однако происхождение Крали далеко от идеала.

В МОЗО Меценат, лучший орловский жеребец, получил наиболее ценных кобыл. Несмотря на это и на то, что ему уже 15 лет, до сего времени Меценат не создал ни одной истинно первоклассной лошади. Для наглядности, имея под руками данные, распределим приплод Мецената по годам и укажем рекорды всех его детей.

1921 год – Ментик (2.23), с примесью американской крови.

1922 год – Мститель (не бежал), Лесбия (1.37), Буддистка (2.23) – рекордистка в трехлетнем возрасте на полторы версты.

1923 год – Саккая (не бежала), Лемма (2.39).

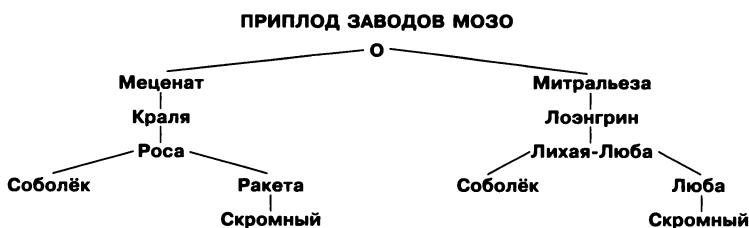
1924 год – Петарда (2.15), Последняя-Мечта (не бежала) от знаменитой Ареки, Джильда (2.33), Прибой (2.19) от родной сестры Перезвона (2.14), Мальчишка (2.13) – с примесью американской крови.

1925 год – Нерейда (не бежала), Серна (не бежала), Серия (не бежала).

Итого 14 жеребят, из них совсем не бежавших – шесть, то есть почти 50 процентов! Тише без минуты – одна, остальные семь – резвее 2.30, но среди них Ментик и Мальчишка – с американской кровью. Классными я признаю Петарду и Буддистку.

Бросается в глаза, что от рядовых маток Меценат не способен дать резвых лошадей и все его лучшие дети происходят от замечательных по резвости и родословной кобыл.

Я бы крыл Меценатом кобыл старинных, отнюдь не модных кровей. Например, в Хреновой есть остатки подовских кобыл, прилепских, борисовских и прочих. От них Меценат дал бы, может, менее классных, зато крупных, породных, костистых и вполне дельных лошадей. Мне кажется, Витт до сих пор не нащупал для Мецената нужного сочетания. В МОЗО есть кобыла, которая, с моей, конечно, точки зрения, очень подходит этому жеребцу. Это Митральеза, родившаяся в 1915 году у Расторгуева от Лоэнгрин и Марсельезы 2-й. Здесь я имею в виду следующую комбинацию имен:



Многим покажется странным, что я строю благополучие будущего приплода на усилении женской линии родословной Мецената, то есть усиливаю слабую сторону его происхождения. Однако в действительности будут повторяться не Роса и Ракета, а имена жеребцов Соболька и Скромного. Комплекс Соболёк – Скромный, несомненно, сыграл решающую роль в высоких качествах Крали как заводской матки. Тот же комплекс создал Лихую-Любу, которая была одной из лучших рысистых кобыл в заводе Расторгуева. Предлагаемое мною сочетание Меценат – Митральеза усиливает охотниковскую часть родословной Мецената, а это особенно интересно ввиду того, что Меценат имеет сходство с охотниковским Соболем 1-м.

Этому жеребцу следовало бы дать также мою Порфиру, дочь Лоэнгрин, а равно и ее дочерей Похвалу и Персиду, Леду, мать классного Бубнового-Туза, и всех ее полусестер, находящихся в Грязнушенском госконезаводе. Очень также подходят по кровям Меценату дочери Палача, и в первую голову прилепская Ненависть и ее дочь от Эльборуса.

Как ни труден подбор к Меценату, но при желании ключ к нему может быть найден, и если до сих пор этого не произошло, то лишь потому, что к вопросу отнеслись недостаточно серьезно. Увлечение классом Мецената было настолько велико, что полагали, что он даст резвый и классный приплод при любых комбинациях кровей. Это глубокое заблуждение: Меценат больше чем какой-либо другой жеребец требует к себе индивидуального подбора.

17 февраля 1929 года

В 1907 году в заводе тульского коннозаводчика и большого моего приятеля А. С. Хомякова родился жеребец Правый, сын Потока-Богатыря и Посылки. Правый очень успешно бежал и показал резвость 2.20 и 4.50. После национализации завода Правый остался в Слободке, и я его видел много раз. Отец Правого, Поток-Богатырь, родился в заводе Шувалова и был сыном шуваловской же кобылы Незваной, дочери молоствовского Наветчика. Мать Правого Посылка – дочь Меча-Булатного, давшего много резвых лошадей у Петровского, в том числе классную Принцессу.

Правый был хорошей по себе лошадейю, но по типу далекой от воронцовских лошадей. Он больше был в типе лошадей Петровского, завод которого находился

в Екатеринославской губернии (я в молодости видел многих лошадей этого завода на Георгиевских ярмарках в Елисаветграде, а также на бегах в Одессе). Правый был не менее четырех вершков росту, очень костист и фризист. Плотный и широкий, он имел замечательную линию верха, густой хвост, хорошие гачи и в то же время не был сырым. При большой капитальности выделялся породой и производил впечатление настоящего жеребца. В деннике и на выводке был очень строг, а на езде – кипуч и горяч.

В Слободском заводе Правый не дал ничего замечательного. Впрочем, в этом заводе были такие условия, что, пожалуй, и сам Эльборус там ничего бы не дал. Только с уводом из Слободки хомяковские лошади пришли в относительный порядок. Одно время я думал случить с Правым нескольких кобыл. Тогда в Прилепах служил Ратомский, и я счел нужным посоветоваться с ним. Ратомский был категорически против посылки кобыл под Правого, указывая на то, что прилепские лошади линий Кронпринца и Громадного и без того тяжелы в езде, а при сочетании с Правым на них и совсем ездить будет нельзя. Довод основательный, и я оставил мысль о случке дочерей Кронпринца с этим жеребцом.

Другой резвый жеребец, находившийся на территории Тульской губернии, – Тушинский-Вор – мне вовсе не нравился. Им увлекались Волков, Пусторослев, бывший управляющий Тульской заводской конюшней, и другие. В Тулу Тушинский-Вор был приведен из Ефремовского уезда, где его разыскал в одну из своих служебных поездок Пусторослев. Незадолго до революции этот жеребец был куплен Л. Н. Свечиной для своего завода и после разгрома ее имения, случайно уцелев, попал в один из совхозов Ефремовского уезда, где ходил в езде и пребывал в ужасном состоянии. Пусторослеву он очень понравился, и тот взял его в заводскую конюшню. Потом этого жеребца довольно широко использовала зоотехническая комиссия в заводах Тульской губернии, но ничего сколько-нибудь заметного он не дал.

Тушинский-Вор родился в 1906 году в заводе Блинова и был сыном Павлина и Торопливой. О знаменитом Павлине, сыне Пройды, говорить нечего, а вот женская семья Торопливой имеет большое значение и в настоящее время даже представлена классными кобылами.

Тушинский-Вор имел хороший для своего времени рекорд – 2.22. Это был очень крупный жеребец, вершков под шесть. Масти светло-серой, с хорошей головой и такой же линией верха. Стоял он на правильных и костистых ногах, но не был глубок ни в ребре, ни в подпруге и производил впечатление какой-то развинченной лошади. По своему типу совершенно не напоминал Павлина и столь же далек был от типа борисовских лошадей. Кровь Тушинского-Вора имеется в заводах Тульской губернии, а также в крестьянских хозяйствах, где он дал много полезных лошадей.

Я любил посещать тренерскую конюшню Н. Р. Семичева: там был очень интересный подбор орловских рысаков, царил образцовый порядок, лошади были в блестящем теле, а конюшенный персонал хорошо дисциплинирован. Приезжая в Москву, я всегда бывал на этой конюшне и отлично знал ее рысаков. Следует рассказать о двух старых здешних крэках, Самолёте и Зонтике.

Самолёт родился уже в советское время, в 1921 году, в Малоборковском заводе (бывшее имение В. Ф. Шереметева), куда было сведено некоторое количество национализированных лошадей. Самолёт – сын Самоката, которого Шереметев очень ценил и оставил его в заводе несмотря на то, что у него не было рекорда. Шереметев не ошибся: Самокат дал резвый и дельный по себе приплод. Будучи сыном Ухвата, Самокат, стало быть, принадлежал к линии Корешка, а его матерью была классная кобыла Семелла (Карачун – Степь), происходившая из замечательной женской семьи, выдвинувшейся в заводе Шереметева.

Мать Самолёта, Лесть, родилась у В. В. Павлова, «недостойного сына великого родителя», как говорил о нем покойный Н. М. Коноплин. В. В. Павлов был сыном В. И. Павлова, одного из пяти знаменитых братьев-коннозаводчиков. Лесть родилась от купленной Павловым на аукционе в Хреновском заводе забракованной синицынской кобылы Малинки, которая была жереба от малютинского Ловчего. Следует, кстати, заметить, что Хреновской завод очень легкомысленно поступил с синицынскими матками, которые были приобретены для Хреновой во время ликвидации синицынского завода. Под одной из них, между прочим, пришел знаменитый впоследствии в Хреновой Магнит (2.16). Синицынские матки по себе были хуже хреновских – не так крупны и менее «визапуристы», но были среди них очень породные. Однако администрация начала говорить о порче Хреновского завода и постепенно свела на нет весь синицынский материал, распродав его на аукционах

В педигри Самолёта преобладают малютинские крови: он имеет три течения Удалого (два через Леля) и два течения Лебёдки, матери знаменитого Ловчего, Лишнего и Любы. Отмечу также наличие Корешка, хорошую синицынскую основу и присутствие классной кобылы Семеллы, происходящей из замечательной шереметевской кобылейей семьи.

Самолёт – лошадь хорошего класса, за что говорит его рекорд 2.16. По экстерьеру он тоже хорош, хотя и имеет столь существенный недостаток, как косолапость передних ног. Это очень крупный, белый в яблоках, белогривый и белохвостый жеребец, костистый и капитальный. Самое ценное в нем то, что он типичен как орловский рысак и ближе к синицынским и малютинским лошадям, нежели к Корешкам.

Зонтик – орловский рекордист советского времени (2.12), а потому имеет все шансы на самое широкое использование в современном нам коннозаводстве. Я не только ценю, но и люблю эту трудолюбивую, работоспособную лошадь. Говорят, что в молодости Зонтик был лошадейю отбойной и чрезвычайно строгой, но терпение и выдержка Семичева победили неукротимый характер жеребца.

Зонтик родился в 1916 году в Орловской губернии, в заводе В. К. Мельникова, который так талантливо и с таким умением велся С. В. Ляпуновым. Оригинальное, чтобы не сказать более крепко, имя Зонтик было дано, очевидно, в подражание имени другого жеребца – Умывальника. Борис Морозов, у которого родился Умывальник, считал это название остроумным, и тонкий Ляпунов, вероятно не без иронии, назвал сына Воеводы и Золушки Зонтиком. Мельников и Морозов были большими друзьями.

Зонтик – очень широкий, очень густой, тяжелый и костистый жеребец, серый в яблоках, с белыми гривой и хвостом. Таков был и Воевода, когда он бегал в Москве в дореволюционные времена. Кроме масти сын имеет много общих черт со своим знаменитым отцом. Зонтик – это типичный, но увеличенный и, если можно так выразиться, утяжеленный Корешок. Лошади подобного экстерьера если и не дают блестящих и сверхпородных лошадей, то создают дельных и капитальных рысаков, которых так любила и на которых ездила прежняя Россия.

Класс Зонтика как призового рысака не подлежит никакому сомнению. Замечательно, что свой рекорд он поставил в двенадцатилетнем возрасте, а может, даже и на год позднее. Это крайне редкий факт в истории терфа и делает большую честь как самому Зонтику, так и его тренеру Н. Р. Семичеву. Будучи типичным Корешком, Зонтик три версты вовсе не бежал, его излюбленная дистанция – гит или полторы версты. Призовая карьера Зонтика и продолжительна, и очень продуктивна. Ход его напоминает ход Воеводы, но менее крут. Зонтик, как и все Корешки, хорошо терпит посыл и не сбоят.

По своему происхождению Зонтик – один из интереснейших современных рысаков. Достаточно сказать, что со стороны отца он внук Корешка, а со стороны матери – правнук Варвара-Железного. Другие имена родословной этого жеребца не менее замечательны: здесь мы видим очень ценного производителя Славного (5.03), сына

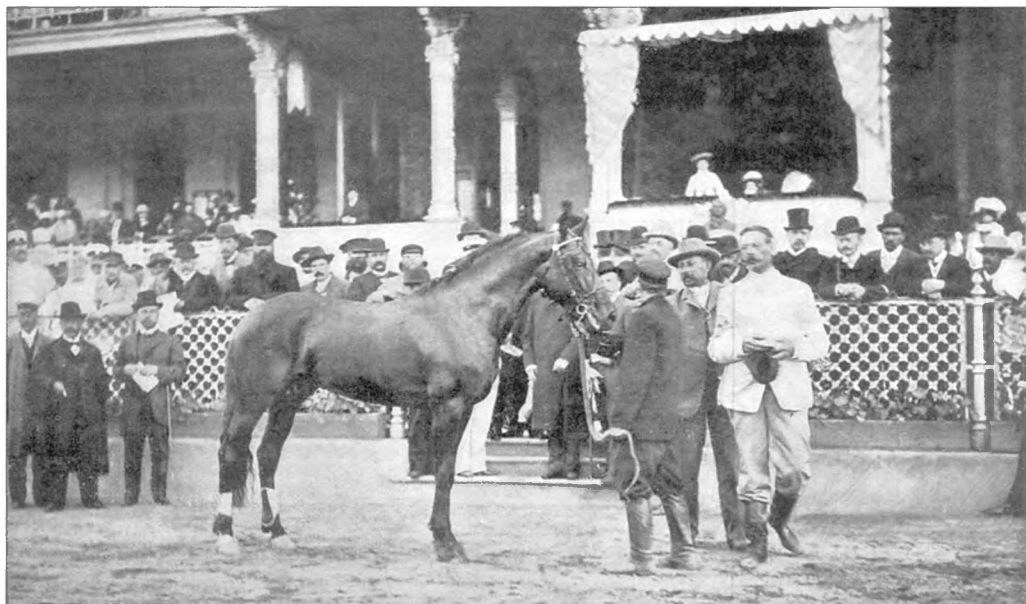
Удалого, Ахтура (2.19), сына Аламана, Света, Задорного, Петушка 2-го и таких кобыл, как Булатная, Полынь, Обидная, Косушка и Слава. Кроме того, Зонтик происходит из замечательной женской семьи, прославившейся в заводах Лейхтенбергского и Оболонского. Как правильно заметил Витт, педигри Зонтика обнаруживает отход от Корешка в сторону комплекса Задорный + Обидная + Косушка + Петушок 2-й. Казалось бы, что в соответствие с такой родословной Зонтик и по формам должен был пойти в воронцовских лошадей, но этого не случилось. Однако его дети, по словам Басова, блестящие и породные, они ближе к воронцовским лошадям, нежели к самому Зонтику и его деду Корешку.

П. П. Бакулин был очень счастлив в любви и в лошадях и до революции, и после нее. До революции лошади его бежали блестяще, в покупках классных рысаков он был баловнем судьбы и конюшня его имела репутацию одной из лучших в Москве. После революции, в период возникновения, а потом и расцвета НЭПа, Бакулин опять стал появляться на бегах и вновь завел рысаков. Купить классных лошадей в то время было почти невозможно, так как все заводы принадлежали государству и из них продавался лишь брак. Конечно, иногда могла проскочить резвая и даже классная лошадь, в силу злоупотребления или же незнания дела той комиссией, которая производила выбраковку, но подобные случаи были чрезвычайно редки. Так вот резвейшие рысаки Август и Капитальный, выбракованные во время революции, были куплены именно Бакулиным и блестяще побежали в Москве. О Бакулине опять заговорили в охотничьих кругах, но в те тревожные времена это сослужило ему плохую службу. Вскоре его постигли большие неприятности: он был арестован, год просидел и потерял своих лошадей. Капитальный стал собственностью одного учреждения и ныне состоит производителем при совхозе «Ярославна».

Капитальный – лошадь очень интересная и заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Он родился в 1914 году в Сибири, в заводе известного тамошнего коннозаводчика Фуксмана. Как он попал в Москву, сказать не берусь, но Бакулин его купил при посредстве конноторговца Грибанова. Капитальный замечательно побежал и показал резвость 1.28 (в старшем возрасте) и 2.18; в паре с пристяжкой – был однажды устроен такой приз – он пришел в 2.16. Капитальный, несомненно, лошадь хорошего класса и очень резвая. Он принадлежит к линии кожинского Потешного, так как его отец Рок – сын Зенита. Рок имел рекорд 2.18 и был от лотаревской Рады, дочери добрынинского Ратника. Здесь небесполезно заметить, что и резвейший сын Зенита Эльборус тоже был сыном дочери Ратника.

Мать Капитального Невинная была внучкой знаменитой телегинской Невинной, в честь которой и получила свое имя. Она родилась у Фуксмана от Быстрого-Кряжа (2.22). Последний оказался хорошим производителем и дал в Сибири много ценного материала, преимущественно с примесью американской крови. Его сын Тамань – современная беговая знаменитость. Матерью Невинной была Свечка, серая кобыла завода Телегина, имевшая недурную беговую карьеру. Сама Свечка родилась от знаменитого производителя Лишнего и Невинной, одной из лучших кобыл телегинского завода.

Я много раз наблюдал Капитального на бегу, и он произвел на меня самое отрадное впечатление. На выводе я его не видел ни разу, но однажды, столкнувшись с ним на проводном дворе, я остановил его и осмотрел. При типичной светло-серой с серебристым отливом масти потомков Потешного он был очень породен, сух, гармоничен, делен и обладал достаточным ростом. Я не знаю состава маток совхоза «Ярославна», помню лишь тех, что родились в Прилепах (Лихая, Варшавянка), но полагаю, что едва ли этот совхоз имеет ценное маточное гнездо, и будет очень жаль для линии Потешного, если столь ценный и интересный жеребец, как Капитальный, будет нерационально использован.



С. И. Гирня (в белом костюме). Капризный после выигрыша дерби в Москве в 1903 г.

Ветерок появился на свет у С. И. Гирни под Москвой и был сыном знаменитой призовой кобылы Утраты (2.15), пожавшей немало лавров в цветах своего владельца. Ветерок родился в 1915 году от случки с Вием, после того как этот жеребец был сначала куплен П. А. Стаховичем и В. А. Михалковым для себя, а затем перепродан ими Московскому беговому обществу, так как они, очевидно, убоялись назначенной за него высокой цены. Инициатива продажи Вия шла со стороны Стаховича, который был очень расчетливым человеком. Московское беговое общество, купив Вия, объявило его в общественную случку, вот тогда-то Гирня и покрыл с ним Утрату. После национализации Ветерок стал собственностью МОЗО и с возобновлением бегах достиг больших успехов: в старшем возрасте показал рекорд 1.29 (верста) и позднее 2.16 (гит). Будучи представителем линии Вармика, он был фляйером. Свой рекорд он поставил в руках Э. Н. Родзевича.

Ветерок – лошадь, несомненно, хорошего класса, но первоклассным рысаком его назвать нельзя. Ход у жеребца превосходный, характер тоже, спида много, сбоев он не знает. Эти-то качества после изменения системы испытаний и водворения коротких дистанций и послужили стимулом к появлению, а затем и процветанию линии Вармика и некоторых других.

Отец Ветерка Вий – классный четырехлетка своего времени – родился у охотника-москвича М. И. Алексеева. В молодые годы Вий подавал огромные надежды, но оправдал их лишь отчасти. Вся карьера этого жеребца прошла на моих глазах, и я хорошо его знал, так как был в приятельских отношениях с Алексеевым, который состоял казначеем нашего Союза орловских коннозаводчиков, когда я был там членом правления. Вий никогда мне не нравился: он был далек от основного типа орловского рысака и, на мой взгляд, легок, мелок, короток и относительно беднокостен. Он был типичным сыном Вармика и ничего общего не имел со своим дедом Варваром-Железным.

Вий не был лошастью, он был лошадкой – правильной, сухой и приятной, но все же лошадкой. К счастью, его сын Ветерок уже настоящая лошадь, и этим он обязан своей матери Утрате, одной из лучших по типу и формам орловских кобыл своего времени.

Утрата обладала первоклассной резвостью. Я ее торговал у Гирни и предлагал ему 15 тысяч рублей, но он не согласился ее продать и по-своему был, конечно, прав. Утрата была блестящего происхождения и ко всему еще принадлежала к историческому женскому семейству, буквально таки создавшему завод А. С. Голицыной (а завод был первоклассный). Родоначальницей этой семьи стала кобыла Подруга, рожденная в 1880 году. Подруга дала победителя Императорского приза Залихватского и трех кобыл, прославившихся в заводе, – Обиду, Цап-Царап и Нетти. Утрата происходила от Подруги в третьем поколении.



*За столиком слева А. А. Щёкин, Н. С. Пейч, С. А. Шпажников (стоит), М. М. Шатшал;
за столиком справа С. Н. Коншин, А. Н. Крыжановский (стоит), С. И. Гирня, С. А. Похвиснев*

Подчеркну, что в родословной Ветерка кроме Вармика мы встречаем имена Могучего, Полкана 6-го, Кролика Вяземских, Тавора и, отдаленно, Петушка. Все это высочайшие элементы орловской породы, которые превосходно сочетаются с серыми Полканами, и потому я считаю Ветерка интересным жеребцом для кобыл линии Зенита. Витт удачно выразил это словами, сказав, что «мостом к Зениту теоретически является Ветерок». Это совершенно верно. Подбор к Ветерку совсем не труден, но, к сожалению, Ветерок недостаточно широко использован в заводе.

Я часто видел Ветерка на езде, но посмотреть его на выводке как-то не довелось. Однажды Витт предложил мне зайти на конюшню МОЗО (в то время лошади стояли в Петровском парке, почти против старого птичника, и еще не занимали отдельной дачи, как позднее, когда были устроены на бывшей даче Морозова). Войдя в конюшню, я увидел вороного жеребца, которого двое конюхов разбирали после езды. Это был Ветерок. Его наскоро протерли полотенцем, и я тут же, в коридоре, его осмотрел. Лошадь мне понравилась: довольно крупная, костистая, правильная, она бросалась в глаза своим сходством с лошадьми завода Голицыной. Я также обратил тогда внимание на поведение Ветерка на выводке: он был очень тревожен, глаз его горел и конюху никак не удавалось его успокоить. Ветерка следует рассматривать как весьма типичного представителя линии Беркута и вести с ним заводскую работу именно в этом направлении. В 1927 году я отправил для случки с ним вороную кобылу Память, дочь Эльборуса и Похвалы от Крепыша и Порфиры. Интересно, каков будет результат этого сочетания?

Курск сейчас состоит производителем Хреновского завода, где довольно широко используется. Однако результат его заводской деятельности совершенно неудовлетворителен, и это положительно ставит меня в тупик. Курск – лошадь первоклассная, замечательного происхождения и очень хороша по себе. До поступления в Хреновое Курск был производителем в Светлых Горах, где дал более удачный приплод, например Факира (2.16), Кровного (2.16), Куртизанку (2.19).

Курск родился в 1913 году, накануне великой империалистической войны, у В. А. Щёкина, который в Сергеевке имел свой небольшой завод из пяти кобыл. Кобылы эти были выделены Щёкину-сыну из основного завода – такой порядок вещей нередко имел место в коннозаводских семьях того времени. Курск был сыном Вожака и Купчихи, стало быть, принадлежал к главной линии щёкинского завода – линии Леска. Вожак был чрезвычайно типичной и значительной по себе лошадей, а высокое происхождение его матери Вольной-Ласточки бросалось в глаза. Но на внешность Курска, по-видимому, наибольшее влияние оказала его мать, малютинская Купчиха (2.26), которая была резвейшей дочерью Летучего.

Курск – лошадь высокого класса, и до 1927 года, имея рекорд 2.13, он был советским рекордистом среди орловских рысаков. Курск не только резв, но и силен: не следует забывать, что за ним и Трюком числится 20-верстный рекорд в санях по проселочной дороге – 42 минуты 9 секунд.

Курск – сын белого отца и светло-серой матери – сам вороной. Это крупная лошадь, очень породная, с отличной и яркой линией верха. Голова и шея у жеребца исключительно хороши, почка замечательная, спина удовлетворительная, круп хорош. Передняя нога хороша сбоку, но спереди хуже, задние ноги имеют не вполне хорошие скакательные суставы, то есть сыроваты. У жеребца приятный фриз и превосходный тип, приближающий его к малютинским рысакам.

Итак, Курск – жеребец выдающегося происхождения, превосходных форм и первоклассной резвости. Однако до сего времени он не оправдал надежд как производитель. Ему уже 16 лет – возраст, в который как будто и поздно выдвигаться в первые ряды орловских производителей. Будет жаль, если эта интереснейшая лошадь так и не создаст себе достойного заместителя.

Отчаянный-Малый родился у Э. Ф. Ратомского от купленной им у меня жеребой кобылы Радуги. Он был сыном Кронпринца. Свое воспитание Отчаянный-Малый получил в Светлых Горах и первые годы решительно ничем не выделялся. В то время трудно было предвидеть, что уже в ближайшем будущем этот небольшой, сухой и правильный жеребенок станет вторым по резвости, после Мецената, орловским рысаком на три версты. И если Отчаянный-Малый таковым стал, то этим он обязан прежде всего своему тренеру Ратомскому, который с редким терпением и большим знанием дела занимался его подготовкой. Ратомский показал, на какую резвость способны дети Кронпринца, если их правильно и не спеша работать. Все дети этого жеребца-стайера обладали дистанционными качествами своего отца и не были лошадьми-скороспелками. А между тем условия испытаний первых пяти лет революции настоятельно требовали проявления максимальной резвости уже в молодых годах, вследствие чего большинство приплодов Кронпринца, родившихся в Прилепах, погибли из-за форсированной подготовки, так и не проявив своего настоящего класса.

Мать Отчаянного-Малого можно охарактеризовать в двух словах: это была классная кобыла на ипподроме, не оправдавшая себя, однако, в заводе. До Отчаянного-Малого она не дала ни одной классной лошади, несмотря на то что состояла заводской маткой в Лотарёве, а потом у меня. По себе она была заурядная, но происхождения очень высокого – дочь воронцовского Света и буланой Редкости от Могучего. При сочетании с Кронпринцем получилось значительное усиление горностаевских кровей, в результате чего мы имеем классного рысака.

Класс Отчаянного-Малого не подлежит сомнению: 4,36 на три версты – это такой рекорд, которому позавидуют многие орловские рысаки. На ходу Отчаянный-Малый напоминал своего отца, но шел менее круто и менее картинно. Этот жеребец – типичный стайер, ехал только на дистанцию. Он был силен, обладал хорошим здоровьем и долго оставался на ипподроме – редкая для современных нам рысаков черта.

Ввиду того что Отчаянный-Малый не является представителем модной линии, его использование в заводе почти что равно нулю. В последней ставке он дал всего лишь пять жеребят, и едва ли число оставленного им приплода превышает десяток голов. И этот возмутительный факт проходит мимо коннозаводской общественности! Впрочем, раппы и пейчи умеют замечать следы своих ошибок и заблуждений. Подбор к Отчаянному-Малому хотя и нелегко, но в республике есть достаточно кобыл, которые подходят ему по кровям.

Я очень часто наблюдал этого жеребца на езде, видел его в борьбе с прилепским жеребцом Удачным, но на выводке ни разу не смотрел. Однажды, зайдя по делу к Эдуарду Ратомскому, я не застал его дома: он находился в конюшне, где происходила вечерняя уборка. Я направился в конюшню и действительно нашел Ратомского там. Мы стали смотреть рысаков. В крайнем деннике стоял Отчаянный-Малый. Он в это время ел овес. Когда мы вошли, он заложил уши и покосился на нас. Беглого взгляда было достаточно, чтобы признать в нем типичного Кронпринца. Не только ростом, типом, но и складом этот жеребец очень близко повторял отца, был менее широк, но зато имел лучшую спину. При абсолютной сухости и чрезвычайной породности Отчаянный-Малый вполне правилен и делен. Безусловно, это один из интереснейших современных орловских рысаков так называемого восточного направления.

Кроме этих интересных жеребцов мне пришлось во время революции увидеть и несколько замечательных орловских кобыл. О них я и намереваюсь сейчас сказать несколько слов.

Гражданка принадлежала Ф. Г. Смидовичу и входила в состав его небольшого завода чисто хозяйственного значения, находившегося при сельце Зыбине, неподалеку от великолепных хомяковских владений. Гражданка была лучшей заводской маткой у Смидовича и дала там резвых Башибузука (2.22) и Сатурна (4.52). После революции резвейшим ее приплодом стал Грозный (2.20), сын Кронпринца. Гражданка принадлежала к тем яньковским кобылам, из среды которых вышло много замечательных заводских маток. Я несколько раз предлагал Смидовичу отдать ее в Прилепы. Здесь, поставленная в нормальные условия существования, эта кобыла, несомненно, дала бы классный приплод. К сожалению, Смидович не согласился и продолжал держать Гражданку в Зыбине, а потом она, попутешествовав по заводам Тульской губернии, очутилась в Шаховском.

Гражданка родилась в 1906 году у Е. А. Хлюстиной в ее ефремовском имении. В заводе Хлюстиной было много яньковских кобыл, но, к сожалению, завод этот велся безалаберно и в большинстве случаев превосходные кобылы непроизводительно погибли для коннозаводства. Янтарь, отец Гражданки, родился у Хрущева и был сыном Кумира, очень полезного жеребца, происходившего из линии Задорного. Мать Гражданки Гитара – дочь белянинского Тумана, основного производителя хлюстинского завода, и яньковской кобылы Грёзы, дочери Верышки и Андромахи, которую воспел Карузо.

По себе Гражданка была дельна, но невелика. Бурой масти, так же как и родоначальница этой семьи Андромаха. Низкая на ногах, костистая, Гражданка отличалась глубиной, имела хорошую спину, но была сыровата и несколько проста. Несомненно, что при правильном подборе эта кобыла могла дать классных лошадей и в ее лице Смидович имел в свое время очень ценную заводскую матку. Едва ли, впрочем, он тогда это создавал...

Появление резвой серенькой кобыленки Говорушки на бегу вызвало много разговоров, главным образом потому, что она родилась в заводе Гриши Мамышева, а из этого завода до нее не вышло ни одной резвой лошади. Мамышев был небогатый человек, имел кое-какое именье, несколько кобыл и жеребца Матроса, сына Леска (купил его за гроши у Щёкина). Гриша был в родстве с известным Бибиковым, который долгое время состоял старшим членом Московского бегового общества и имел свою партию. К числу бибиковцев принадлежал и Мамышев. Когда воронежцы приезжали поддержать своего ставленника Бибикова, среди них неизменно находился и Гриша Мамышев. Бывший кавалерийский офицер, он был сух, подвижен и приятен в обращении, носил постоянно русскую поддевку черного сукна и стриг волосы бобриком. Бибикову был предан телом и душой.

Мамышева мы привыкли видеть в Москве в дни больших собраний и в качестве «голоса». И вдруг он появился с кобылой своего завода, которая выиграла несколько рядовых призов и вскоре была продана за хорошие деньги Шапшалу. Это еще больше взволновало коннозаводские круги, так как в каждой покупаемой Шапшалом лошади склонны были видеть второго Крепыша. А тут еще «деточка», так звали старика Щёкина, всем и вся рассказывал, что он сменил Мамышеву Матроса, отца Говорушки, на кобеля и что даже бракованные сыновья Леска дают резвых лошадей. Отсюда напрашивался вывод, что следует покупать лошадей у Щёкина, и цены на Лесков росли. Тем временем в «красных номерах», квартире Бибикова, шел кутеж: счастливый молодой коннозаводчик угощал друзей и знакомых. Бибиков пил больше всех, но ума не терял, ибо вовремя отправил Мамышева домой, иначе те несколько тысяч, что были выручены за Говорушку, остались бы в Москве, а деньги эти были более чем нужны в маленьком хозяйстве Мамышева.

Говорушка успешно бежала в трехлетнем возрасте и значительно слабее позже. По своим выступлениям трехлетней она обещала превратиться в классную ипподромную величину. Появление Говорушки именно из завода Мамышева, как я уже сказал, вызвало немало разговоров и удивления среди охотников, но генеалогов оно нисколько не удивило и удивить не могло. Дело в том, что отец Говорушки, белый жеребец Матрос, был сыном Леска, а матерью Матроса являлась резвая призовая кобыла Мечта 2-я – дочь знаменитого Полотёра, а стало быть, внучка великого кожинского Потешного. Мать Говорушки Гордячка родилась у Черемисинова и была дочерью вполне заурядного жеребца Гордого, зато бабка Говорушки, Задорная 2-я, она же Арфа, имела феноменальное происхождение: она родилась в Лотарёве от Ахтыркина и знаменитой Задорной, дочери ознобишинского Кролика и матери Павлина, победителя московских юбилейных бегов 1878 года Витязя и других. Задорная была необыкновенной во всех отношениях кобылой, ее портрет кисти Сверчкова украшал лотарёвскую столовую. Таким образом, Говорушка принадлежала к исторической женской семье и вела родословную от жеребца очень высокого происхождения.

Говорушка оказалась превосходной заводской маткой. Еще у Шапшала она дала от Крепыша резвую Сарлы-Чешме (1.36), которая в Дулеповском заводе дала в свою очередь резвую Солнечную (1.36), ныне заводскую матку в МОЗО. После национализации Говорушка была назначена в Дулеповский завод и здесь принесла кряду трех классных лошадей: в 1921 году от нее родился Вампир (2.22), в следующем году – Гичка (1.33 и 2.18), в 1923-м – Генуя (1.28; 1000 метров). Все они – дети Ваграма и Сановника. Перейдя в МОЗО, Говорушка получила назначение в Хреновский завод и здесь дала в 1923 году Гавань от Немврода, в 1924-м – Гондолу от Хамелеона и в 1925-м – Гемму-Т от Барина-Молодого. Дальнейших данных о ее приплоде у меня нет.

Когда в Мозо получили право покрыть трех кобыл с Ловчим, под него на конюшню Родзевича, между прочим, была приведена и Говорушка. К сожалению, от случки

с Ловчим она прохолостела и вскоре пала. В то время я случайно оказался в Москве и, само собою разумеется, сейчас же поехал посмотреть кобылу. Я был поражен ее истощенным видом. Думаю, что Говорушке следовало предоставить отдых, ибо принести шесть жеребят кряду на скудных революционных кормах было, конечно, нелегко и это не могло не отразиться на ее здоровье.

По себе Говорушка была породной и сухой белой кобылой очень небольшого роста. Голова у нее была сухая, шея хорошая и спина великолепная. Лошадь получилась низка на ноге и очень утробиста. В матках Говорушка уже не производила того игрушечного впечатления, как тогда, когда бежала в Москве в цветах Шапшала. По своему типу она была приятна и ближе всего к полотёровской группе. Благодаря тому что Говорушка оставила шесть дочерей, женская семья Задорной имеет все шансы на самое широкое распространение. И я, как генеалог, не могу этому не радоваться.



В. Т. Молоствов

Во времена ГУКона из-за Мимолётной-Славы разгорелась целая война между этим учреждением и Управлением делами Совнаркома. Дело в том, что после национализации эта кобыла попала на конную базу Совнаркома, которая находилась на Поварской, в бывшем помещении Главного управления государственного коннозаводства. Основой базы было имущество (воланы, упряжь, конское снаряжение, сани, экипажи) придворной конюшни, частично эвакуированное из Ленинграда. С ним также пришли придворные лошади и кучера. Вот почему в те годы на улицах Москвы можно было встретить царские выезды. Лейб-кучер Александров, ездивший с Николаем II, тоже приезжал в Москву и служил на этой базе. Его характерная кучерская фигура с длинной седой бородой бросалась в глаза, и его знали многие москвичи. Базой в то время заведовал бывший офицер с длинными черными усами, серьгой в одном ухе,

постоянно ходивший в поддевке и часто появлявшийся в ГУКоне. Это был тип Ноздрёва, один из тех, кто был возможен и имел успех по службе только в это время. Фамилию его я забыл. Он пользовался доверием и поддержкой управляющего делами Совнаркома Бонч-Бруевича, в непосредственном ведении которого находилась база, а потому чувствовал себя прочно и пользовался этим. Так вот, на эту базу и попала Мимолётная-Слава, которую заведующий счел своей собственностью, что обнаружилось позднее и при следующих обстоятельствах. Была назначена комиссия от ГУКона с целью осмотра лошадей базы и изъятия тех из них, которые были нужны коннозаводскому ведомству для случайных пунктов. В ходе работы выяснилось, что среди кобыл имеется замечательная по себе Мимолётная-Слава, родившаяся у Молостова, – кобыла первоклассного происхождения и к тому же с рекордом 2.20. Было решено ее изъять и передать в Светлогорский завод. Тогда заведующий базой представил удостоверение Управления делами Совнаркома о том, что эта кобыла является его собственностью, ибо он купил ее в Казани. Никаких доку-

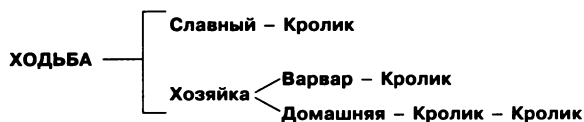
ментов – у кого, когда и за сколько была куплена кобыла – «владелец», конечно, не представил. Было известно, что Мимолётная-Слава состояла заводской маткой в заводе Молоствова. Так как ее нынешний хозяин «работал» в Казанской губернии в начале революции по закупке лошадей, то было ясно, что эту кобылу он приобрел или, вернее, присвоил незаконным путем, ибо купить племенную кобылу законно он не мог. Дело было совершенно ясно по существу: удостоверение, выданное Управлением делами Совнаркома, противоречило основному декрету о национализации племенного материала, а потому Мимолётная-Слава подлежала изъятию. Муралов так на это и посмотрел и подписал бумагу в соответствующем духе. «Владелец» кобылы, прикрываясь именем Бонч-Бруевича, с ответом всячески затягивал, кобылу не отдавал, осаждал работников ГУКона просьбами и заявлениями и смертельно всем надоел. В конце концов кто-то на кого-то надавил, кто-то за кого-то попросил – и дело с Мимолётной заглохло: она осталась на базе. История эта надела много шума и некоторым работникам ГУКона принесла немало неприятностей...

Время шло, обстоятельства менялись, стал терять свою силу заведующий базой, и Бонч-Бруевичу было уже неудобно открыто его поддерживать. Переменились главки и часть специалистов в ГУКоне, но лошадики – это те же фанатики, они не забыли Мимолётную-Славу и вновь возбудили ходатайство о передаче кобылы Управлению коннозаводства. Момент был выбран удачно, и хозяин кобылы едва ее отстоял. Правда, с его стороны были пущены в ход все связи и кое-кому он доставил немало неприятностей – кого-то посадили, кого-то отстранили. Но полностью отстоять кобылу ему все же не удалось, и Мимолётная была зачислена в штат базы Совнаркома. Бывший ее хозяин, пойдя на этот компромисс, надеялся вернуть свое прежнее положение, но в конечном счете борьбу проиграл. Не прошло и года, как он был уволен, а Мимолётная-Слава бесспоротно закреплена за базой Совнаркома. В это время я счел возможным переговорить с новым заведующим базой Шаховым и просил его передать кобылу, ввиду ее высоких качеств, коннозаводству. Шахов был ограниченный и упрямый человек, он наотрез отказался выполнить мою просьбу и заявил, что при Совнаркоме организуется свой конный завод. Это было время, когда почти все учреждения организовывали заводы и увлекались лошадиным делом. Вскоре этому был положен предел, но немало коннозаводского материала погибло в таких импровизированных и нежизнеспособных заводах. Итак, Мимолётная-Слава осталась на базе и выудить ее оттуда, несмотря на все старания специалистов, так и не удалось.

Мимолётная-Слава родилась в 1911 году в заводе братьев А. В. и Л. В. Молоствовых, сыновей известного казанского коннозаводчика В. Т. Молоствова, с именем которого тесно связано имя знаменитого Нагиба, поистине создавшего молодостровский завод и сыгравшего важную роль в коннозаводстве края. В Мимолётной-Славе тоже текла кровь Нагиба, как, впрочем, и во всех лошадях, родившихся в этом заводе. Мимолётная была особенно интересна по происхождению своей матери, одной из лучших кобыл завода Молоствовых. Отцом Мимолётной был шереметевский Славный-Малый (2.31), жеребец посредственной резвости. Он был сыном Любезного (5.05), лошади резвой и превосходной по себе. Портрет Любезного кисти Сверчкова, где тот изображен на ходу, мне посчастливилось купить во время революции. Ныне портрет находится в коннозаводском музее. Мать Славного-Малого Строптивая не может похвастаться фешенебельным происхождением, зато она принадлежит к одному из лучших женских семейств шереметевского завода. В этой женской семье было много игреневых по масти, и кобылы данной линии были исключительно хороши по себе: они имели удивительно плавную линию верха, были глубоки и низки на ногах, фризисты, имели превосходные спины, были широки и необыкновенно женственны. Я очень их любил именно за формы и тип. В моем собственном заводе была одна из представительниц этой женской семьи.

Если опытный коннозаводчик и генеалог к происхождению Славного-Малого отнесется критически, то, взглянув на породу кобылы Мамуры, он непременно «придет в священный трепет», как сказал бы в подобном случае покойный Карузо. Мамура была дочерью Аламана и Могучей, что от Гордого и Чусовой, – всё имена, много говорящие уму и сердцу генеалога. Обратимся к отдаленным временам старика Молостова и вспомним кобылу Ходьбу, к женскому семейству которой принадлежит Мимолётная-Слава.

Ходьба родилась в 1868 году в заводе Ознобишина и была резко инбридирована, как и большинство лошадей этого завода, на Кролика (5.38), имя которого в родословной Ходьбы встречается трижды.

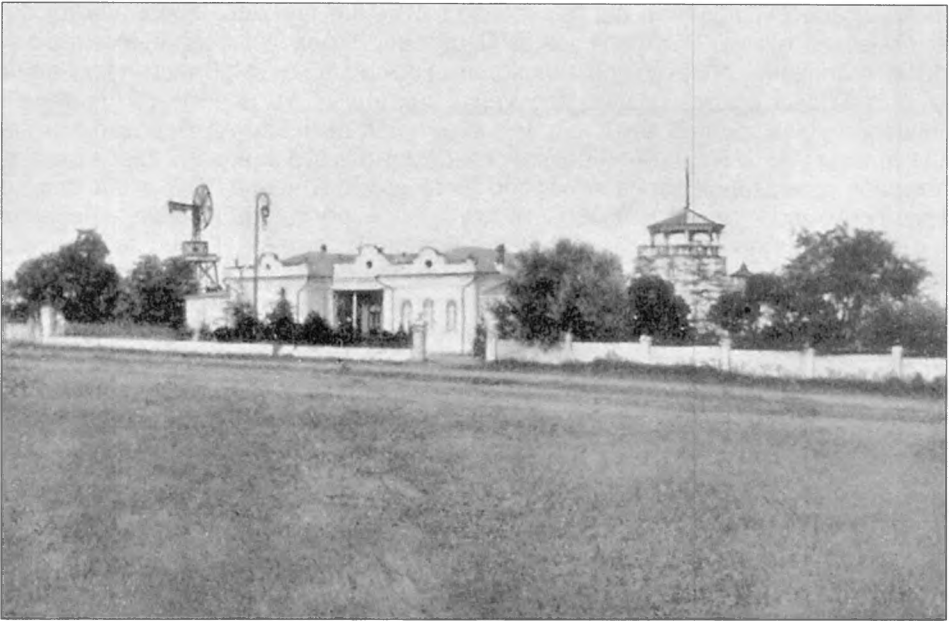


Кролик – 2+3+4.

Ходьба оказалась выдающей заводской маткой и, пожалуй, одной из лучших кобыл Кроликова дома. Она недолго пробыла в заводе и оставила всего лишь двух жеребят, которым, однако, суждено было прославиться. Сын Ходьбы Наветчик (4.59) – первоклассный рысак своего времени, один из первых трех рысаков, побивших рекорд великого кожинского Потешного! Ее дочь Чусовая дала двух блестящих рысаков – Чудного 2-го (4.51) и Чародея (4.59). Чудный 2-й был во всех отношениях выдающейся лошастью, по словам такого авторитета бегового дела, как Шапшал, одним из резвейших рысаков, когда-либо им виденных. Дочь Гордого и Чусовой Могучая была послана в завод Воронцова-Дашкова под знаменитого Аламана, и от этой случки родилась кобыла Мамура, мать Камчатного (4.40) и Мимолётной-Славы. Таким образом, Мимолётная-Слава была выдающегося происхождения со стороны своей матери и принадлежала к историческому женскому семейству.

По себе Мимолётная-Слава была очень хороша: масти светло-рыжей, со светлыми гривой и хвостом, среднего роста, с идеальной линией верха, глубока, костиста, широка, нежна и породна. Это была замечательная во всех отношениях кобыла, в типе кобыл из женской семьи шереметевской Сокрухи. На ипподроме она показала хороший класс и, если не ошибаюсь, была в аренде у Синегубкина. Для завода Мимолётная погибла, о чем нельзя не пожалеть. Покуда спорили и ряздили о ней, кобыла стояла на базе Совнаркома. Годы шли, а она в завод не поступала. Затем ее начали крыть Шаховы и Ко, люди неопытные и в этом деле ничего не смыслящие. Ее крыли и одновременно держали в езде – словом, погубили.

Замечательная кобыла Гордость родилась в заводе Шибаева, этого счастливца в коннозаводском деле. Незадолго до национализации завода бывшему управляющему шибаевским имением удалось продать нескольких молодых лошадей, в их числе была и Гордость. Она не погибла, прошла несколько рук и наконец осела у некоего Елисеева – человека с темным прошлым. Я слышал, что до революции он служил лакеем на Александровском вокзале. Елисеев не пошел в партию, а предпочел иную карьеру: местом службы избрал хлебные должности и работал в Москве в Наркомпроде. Ходили слухи, что какая-то богатая старуха дала ему спрятать свои драгоценности и вскоре после этого неожиданно и при очень подозрительных обстоятельствах умерла. Прошло два года, и у Елисеева появились деньжонки, золотые зубы и в придачу к ним недурная дача в районе Петровского парка. Он зажил спокойно и осторожно. Прошло еще года полтора, и Елисеев завел рысаков, занявшись призовым делом. Ему посчастливилось купить Гордость, оказавшуюся классной призо-



Вид конного завода. Начало XX века

вой кобылой. Вторая его кобыла также была интересна и происходила от Чины, одно время находившейся у меня в заводе. Елисеев стал потихоньку приторговывать лошадьми и комиссионерствовать и зажил припеваючи. Вот в это-то время я и посетил его с целью осмотра Гордости, которую хотел купить для Прилепского завода. Елисеев принял меня очень любезно, угощал редким ликером и даже предложил сигару, но от продажи кобылы категорически отказался. В обращении он был человеком приятным, выдавшим виды и держал себя прилично, но физиономия у него была типично лакейская, да и сам он как-то не внушал доверия. Я всегда остерегался подобных людей. Лошади у Елисеева были в большом порядке, ездил на них он сам, и притом очень успешно, а Гордость, его любимица и кормилица конюшни, не только блистала порядком, но и бросалась в глаза своей породностью.

Гордость родилась в 1918 году в заводе С. С. Шибеева и официально числится дочерью Хвального и Гориславы, но я считаю ее дочерью Зенита.

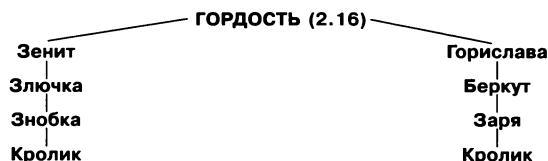
Однажды, это было давно, я разговорился с Силиным о шибеевском заводе и самом Сергее Сидоровиче Шибееве. Силин знал этот завод и его дело как свои пять пальцев, он-то и сказал мне, что Гордость – дочь не Хвального, а Зенита. Когда управляющий шибеевским имением впопыхах, буквально накануне национализации, продал нескольких молодых лошадей в Козлов, в их числе была и Гордость. По ошибке в аттестате она была показана дочерью Хвального, что ничуть не удивительно, ибо управляющий не был лошадиником, да в тот момент и не придавал, вероятно, значения, от кого происходил тот или иной жеребенок, – важнее было их поскорее продать и потихоньку вывести из имения. Зная, что Вяземский в последние годы никому, кроме самых близких друзей, и ни за какие деньги не крыл кобыл с Зенитом, я в словах Силина усомнился. На это Силин сообщил мне очень интересные данные в пользу своей версии и вполне меня убедил.

По желанию старого князя знаменитое Лотарёво перешло в собственность старшего его сына, князя Бориса. Второй сын, Дмитрий, получил не менее знаменитое имение – Осиновую Рошу под Петербургом, а младшему Владимиру, страстному

охотнику и знатоку лошади, достался завод. Имение для него предполагалось купить и вывести туда из Лотарёва завод. Саратовский Аркадак, третье имение старого князя, с большим винокурненным заводом, хотя и перешел к Владимиру Леонидовичу, но там был основан завод его жены, княгини С. И. Вяземской, урожденной Воронцовой-Дашковой. В этот новый завод ушел сын Зенита Перезвон, а матки были куплены у А. С. Голицыной целым гнездом. Пока что основной завод оставался в Лотарёве и числился заводом князей Вяземских. В конце 1916 года для князя Вяземского было куплено в Тамбовской губернии громадное имение – великолепное, одно из наиболее благоустроенных в России и когда-то принадлежавшее знаменитому откупщику Атрыганьеву. Имение было заложено у С. С. Шибаева, и за него Вяземские заплатили несколько миллионов рублей. С закладной встретились какие-то затруднения, и пришлось прибегнуть к любезности Шибаева. Он ее охотно оказал и в свою очередь просил разрешения прислать одну кобылу под Зенита. Само собою, разрешение это он получил и, по словам Силина, в 1917 году послал в Лотарёво под Зенита Гориславу, которая в следующем году и приплодила серую кобылку.

Все это более чем вероятно. Я просил Силина сделать об этом заявление в коннозаводском обществе, но он наотрез отказался, говоря: «Какое мне дело, еще попадешь в историю!» Проверить слова Силина я хотел следующим образом: запросить Кобешова, бывшего управляющего лотарёвским имением, который ныне служит в Тамбове, а в случае надобности списаться с самим Шибаевым, который находится за границей. Затем следовало попытаться разыскать заводские книги шибаевского завода в Козловском тресте: они также могли пролить свет на этот интересный генеалогический вопрос. Нужно сказать, что по типу и формам Гордость – типичная дочь Зенита. Лично я не сомневаюсь в достоверности слов Силина.

Гордость, как и громадное большинство лучших орловских лошадей, принадлежит к замечательной женской семье, прославившейся в Лопандинском заводе светлейшего князя В. Д. Голицына. Ее мать Горислава – дочь Беркута и Гари, что от Света и Горемычной. Свет, как известно, победитель Императорского приза, замечательный производитель и жеребец горностаевской линии. Говорить что-либо о происхождении Зенита и Беркута едва ли есть необходимость. Основой родословной Гордости является инбридинг на Кролика.



Кролик – 4+4.

Итак, Гордость, собственно говоря, на 3/4 лотарёвская лошадь. Инбред на Кролика дал положительные результаты и обосновал класс кобылы. В родословную Гордости входит много первоклассных имен, но и среди них имена Полканов наиболее ярки и наиболее интересны. Со стороны своего отца Зенита Гордость кругом полкановская кобыла: дед ее матери Беркут имеет кровь Полкана 6-го со стороны отца, ее прадед Свет – внук серого Полкана, сына Полкана 5-го и т. д. На этом фоне родословную пронизывает могучее течение Горностаевская и основные голицынские крови. Гордость не посрамила своих предков и оказалась выдающейся на ипподроме: секунды 2.16 для кобылы говорят сами за себя. Подчеркну, что едва ли эта кобыла получила нормальное воспитание – тем удивительнее ее ипподромные успехи.

Гордость успела проявить себя и на заводском поприще. В возрасте четырех лет ее случили с Бором, и от этой случки родилась Гордость-Бенгалии (2.18), кобыла очень резвая, выигравшая недавно именную приз. После этого Гордость была взята

в тренировку, бежала ряд сезонов и показала замечательную резвость. Поистине удивительная кобыла! Я несколько раз говорил в коннозаводском ведомстве, что ее необходимо купить у Елисеева и назначить в Хреновской завод. Однако чиновники этого ведомства пропустили мои слова мимо ушей. Пуксинг не пожелал купить Гордость потому, что его могли заподозрить в покровительстве частнику. Это не охотник, а жалкий карьерист!

Елисеев показал мне Гордость сначала в деннике, а потом на выводке. Она велика ростом и оправдывает народную поговорку «Мал золотник, да дорог». Это сухая, правильная и образцовая по экстерьеру кобыла, исключительно породная и блестящая. Жаль, если она будет использована под американскими или метисными жеребцами. А по-видимому, так и случится!

После Шемиот-Полочанского управляющим отделом животноводства был назначен агроном, некто Яковлев. Это было время великого переворота в области животноводства и коннозаводства, ибо с падением Полочанского царству деятелей-ветеринаров пришел конец. Тогда свободно и облегченно вздохнули «бывшие люди» из числа охотников и старых лошадиников, наездники и все те, кто был причастен к лошади и кого, за редким исключением, Полочанский не допускал и на порог своего управления. Член коллегии Наркомзема М. В. Фофана, возглавлявшая отдел, которым управлял Полочанский, тоже ушла, и на ее место был выдвинут Муралов. С ним пришли новые люди и новые порядки: ставка до известной степени была сделана на «бывших», которым Муралов верил и которых привлек к работе. Я считаю, что они оправдали оказанное им доверие и заложили первые камни советского коннозаводства. Сам Муралов стал во главе обоих управлений, ибо коннозаводство выделили в особое Главное управление (сокращенно ГУКон), куда были привлечены многие выдающиеся специалисты, начиная с Брусилова и кончая Ильенко. Автор этих строк получил в ГУКоне отдел коннозаводства. Холевинский, бывший начальник ветеринарного управления пограничной стражи, человек образованный и знающий, был назначен начальником отдела коневодства, Брусилов – инспектором, Раттель – помощником Муралова по административной части, а сам Муралов стал начальником ГУКона. Во главе отдела животноводства был поставлен Яковлев, агроном по образованию и крупный общественный работник по мясному делу во время империалистической войны.

Муралов, по образованию агроном, любил и знал лошадь, по роду своей прежней службы близко соприкасался с ней: до революции он управлял имением, а также чистокровным заводом Рябова, находившимся в Алексинском уезде. Рябов был богатым серпуховским фабрикантом и в имении почти не жил, так что Муралов, пользовавшийся его абсолютным доверием, был полным хозяином дела. В самый критический момент существования советского коннозаводства – если только то, что тогда было, можно назвать коннозаводством – Муралов обратил внимание Ленина на то, что коннозаводству грозит окончательная гибель. К его словам прислушались, и Муралов был назначен заместителем народного комиссара земледелия, ему были доверены судьбы советского животноводства. Это было очень удачное и более чем своевременное назначение. Создался центр, вокруг которого сгруппировались «лошадиные люди», и появилась возможность настоящей, продуктивной работы. Коннозаводство было спасено, и этим оно всецело обязано Муралову. Хотя первые три-четыре года было еще много неурядиц, но в конце концов дело пришло к тому относительно блестящему состоянию, в котором оно находится сейчас. Вот почему имя Николая Ивановича Муралова займет почетное место среди деятелей русского коннозаводства и с такой же благодарностью будут вспоминать имена тех, кто самоотверженно работал рядом с ним. Можно смело сказать, что если в первый, самый трудный, период разрухи и бед на коннозаводском фронте Чрезвычайная комиссия по спасению животноводства, созданная по моей инициативе в 1918 году,

спасла от голода и гибели конский состав, то образование ГУКона и деятельность Н. И. Муралова вывели эту важную отрасль народного хозяйства на широкую дорогу. Так говорят нам факты истории одиннадцатилетнего существования коннозаводства в новых условиях русской жизни.



Первомайский парад на Красной площади. Председатель РВС Л. Д. Троцкий, К. А. Мехоношин, С. М. Буденный, командующий войсками МВО Н. И. Муралов (справа). 1920-е гг.

На долю М. Н. Яковлева под непосредственным руководством Муралова выпала ответственная роль реорганизации и ведения животноводства. Знающий, широко образованный и очень дельный человек, Яковлев превосходно вел свой отдел и вскоре завоевал общие симпатии и уважение – как в профессорских кругах, так и среди своих подчиненных. На службе он был ровен со всеми, любезен, но требователен: он умел и любил работать сам и требовал того же от своих помощников. Я был с ним в превосходных отношениях, и мы поддерживали друг друга. Всего лишь один раз между нами произошла серьезная размолвка, но и она была быстро ликвидирована: Яковлев, как умный человек, увидев, что он не прав, не стал упрячиться и уступил.

Вот этот маленький инцидент. Шемиот-Полочанский имел на разъездной конюшне при отделе животноводства нескольких первоклассных рысаков, которым место давно было в заводе, а не в городской езде. Однако удовольствие кататься на резвых рысаках он ставил выше интересов советского коннозаводства. Среди этих рысаков была, между прочим, и замечательная во всех отношениях орловская кобыла Пава, дочь Павлина. Ей минуло уже десять лет, а она еще ни разу не была случена! Пава была любимой разъездной лошастью Полочанского и, так сказать, по наследству перешла к Яковлеву. Последний тоже ее оценил и вскоре стал ездить только на ней. Тем временем в отделе коннозаводства я со своими помощниками приступил к выявлению рысистого материала, который находился в городской езде, с тем чтобы ценнейшие экземпляры изъять для нужд государственного коннозаводства. Параллельно шло ознакомление, сортировка по кровям и выявление рысисто-

го материала, находившегося в провинции и по заводам. Когда эта работа была закончена, я решил сосредоточить орловский материал в Светлых Горах, что и было исполнено. Само собою разумеется, что в число маток завода я включил и Паву. Яковлеву было послано отношение с просьбою отдать кобылу на базу ГУКона для дальнейшего ее направления в Светлогорский завод. Получив эту бумагу, Яковлев, а он был человек довольно горячий, вскипятился и помчался к Муралову. Последний вызвал меня к себе, и я объяснил ему существо дела. Муралов вполне одобрил образ моих действий и послал телефонограмму Яковлеву с требованием сдать кобылу. Яковлев на меня обиделся, и между нами, что называется, пробежала черная кошка. Хотя этот инцидент и был для меня неприятен, но, чувствуя свою абсолютную правоту, я отнесся к нему совершенно спокойно. Вскоре Яковлев осознал свою ошибку, наши отношения вновь стали дружескими и больше не нарушались. Тем временем Пава пришла в Светлогорский завод и была зачислена в заводские матки. Как говорит пословица, все хорошо, что хорошо кончается...

Пава родилась в 1909 году у нижегородского миллионера Балина от купленной им в заводе наследников Блинова кобылы Русалки, которая была жереба от знаменитого Павлина. Впоследствии Пава бежала с большим успехом (ее рекорд – 2.18), была одной из резвейших орловских кобыл на ипподроме и даже в то время, время расцвета рысистого коннозаводства и наполнения Московского ипподрома действительно замечательными лошадьми, бросалась в глаза и оценивалась никак не менее 10 тысяч рублей. Паву завода Балина отнюдь не следует смешивать с другой Павой, которая также была дочерью Павлина, также родилась в 1909 году и также была серой масти. Эта вторая Пава появилась на свет у Наумова от Ходливой-Ханки, резвой призовой кобылы своего времени, вышедшей из небольшого завода Бахтеярова. Пава завода Наумова была очень резва и имела рекорд 2.20, она пала в Дулеповском заводе в 1922 году, оставив лишь одну кобылу Персиянку, судьба которой мне неизвестна.

Пава завода Балина была очень интересного происхождения и, как большинство истинно выдающихся орловских лошадей, принадлежала к знаменитому женскому семейству. Родоначальницей этой многочисленной семьи была кобыла Радость, родившаяся в заводе Сапожникова от соллогубовского Кролика, одной из резвейших лошадей своего времени. Этот Кролик был сыном ознобишинского Кролика. К величайшему несчастью для русского коннозаводства, как он, так и почти все его дети сгорели во время пожара сапожниковского завода. В числе немногих уцелевших была дочь Кролика Радость, которая успешно бежала и, поступив сначала в завод Колюбакина, а потом Борисовских, прославилась своим приплодом. В заводе Соловьёва, основанном на борисовском материале, состоялась заводской маткой дочь Радости, замечательная по себе Радуга. Позднее она поступила в завод Блинова, где и дала Паву.

Отцом Пavy был знаменитый Павлин, которого лично я считаю лучшим сыном Пройды. Павлин был рекордистом своего времени. Помимо этого он получился хорош сам по себе: обладая костью и массивностью, вместе с тем был типичен и орловски породен, но без блеска. Я видел его в Хреновском заводе уже стариком, но даже тогда он произвел на меня очень большое впечатление. Пава была типичной дочерью Павлина: будучи не менее пяти вершков росту, она отличалась костистостью, шириной, глубиной и имела превосходную спину. Масти, как и большинство лучших Павлинов, была серой в яблоках, со светлыми гривой и хвостом. Назвать ее кровной и блестящей нельзя, но дельной и породной она была. Именно от таких маток можно отводить замечательных рысаков.

В Светлые Горы, где началась ее заводская деятельность, Пава пришла в очень потрепанном виде: продолжительная езда в городе при полуголодном содержании, как мне кажется, навсегда отразились на ней как на заводской матке. Впервые Пава

была покрыта в 1921 году, 12 лет от роду, то есть поступила она в завод очень поздно. Сколько в прежнее время погибло на Руси выдающихся кобыл только потому, что они поздно ушли с ипподрома, оставили там все свои соки, а потому либо вовсе не жеребились, либо давали неудачных жеребят, и притом в ограниченном количестве! Та же участь, но еще усугубленная голодовками, постигла и Паву. Я думал, что первое время она вовсе не будет жеребиться. Однако она оказалась жеребой от случки в первом же году и в 1922-м дала от Курска серого жеребчика Костра. Какова его судьба, я не помню. В 1923 году Пава была случена с моим Удачным и передана в Хреновской завод, где в 1924-м дала от него серого жеребчика Урала, которого мы не увидели на бегу. Приплод 1925 года был уничтожен. Сведений о заводской карьере Павы после 1925 года у меня под руками нет. Можно предположить, что она пала до 1926 года. Нельзя не пожалеть, что эта знаменитая кобыла, на которую я возлагал такие надежды, столь непроизводительно погибла для нашего коннозаводства.

Когда я сосредоточивал в Светлогорском заводе лучших орловских кобыл, то вполне естественно, что туда же я перевел из Дулепова и бурю кобылу Картинку, которая хотя и не нравилась мне по себе, но принадлежала к знаменитому женскому семейству. Это распоряжение было неодобрительно встречено моим ближайшим помощником Шнейдером и вызвало резкую критику со стороны Ратомского. Оба находили, что Картинка не является выдающейся орловской кобылой, а потому ей место в Дулепове, а не в Светлых Горах, где собиралась элита орловской породы. Впрочем, тогда выражение «элита» не было еще в ходу, отчего, конечно, существо дела не менялось. Мысль сосредоточить лучших орловских кобыл в Светлых Горах с целью иметь их всегда на глазах, под опытным наблюдением такого знающего человека, как Эдуард Ратомский, была верна и принесла свои плоды: весь собранный там материал сохранился и дал блестящий приплод.

К сожалению, Светлогорский завод раньше времени, не без давления Пуксинга, расформировали и часть кобыл ушла в МОЗО, а остальные – в Хреновской завод. Но в то время там еще не было прочно установившегося порядка, потому почти все эти замечательные кобылы пали. Согласен, завод в Светлых Горах следовало расформировать, так как содержать его под Москвой было нецелесообразно, но сделать это надо было не ранее того, как в Хреновой установился твердый порядок. Преждевременная ликвидация Светлогорского завода нанесла орловской породе большой ущерб. Интересно отметить, что сам Ратомский был возмущен тем, что старый состав Светлогорского завода был мною разранжирован и на его месте создан орловский завод по определенному плану и с тщательно подобранным заводским составом. В прежний состав, основанный при Полочанском, входили, с одной стороны, бывшие лошади Ратомского (и среди них не только такие замечательные кобылы, как Последняя-Радость и Арка, но и несколько весьма посредственных лошадей), а с другой – метисы разной степени кровности и орловские кобылы, присланные из Москвы. Все это было собрано без плана, без руководящей коннозаводской идеи, не было объединено общностью происхождения, форм или класса и больше напоминало лавочку с розничным товаром, чем правильно организованный завод. Ратомский не был коннозаводчиком ни в душе, ни на деле, а потому не понимал всей нецелесообразности сохранения старого состава Светлогорского завода, который, кстати сказать, содержался у него в блестящем порядке. Вот почему он встал на дыбы, наговорил мне кучу несообразностей, начал по своей привычке агитировать и был поддержан метизаторами. Последним, конечно, не нравилось, что лучший орловский материал сосредоточивается в одних руках, да еще таких, как руки Ратомского. Вот почему после принятого мною решения зашевелился весь коннозаводской муравейник, пришли в движение темные силы и мои враги. Все было под-

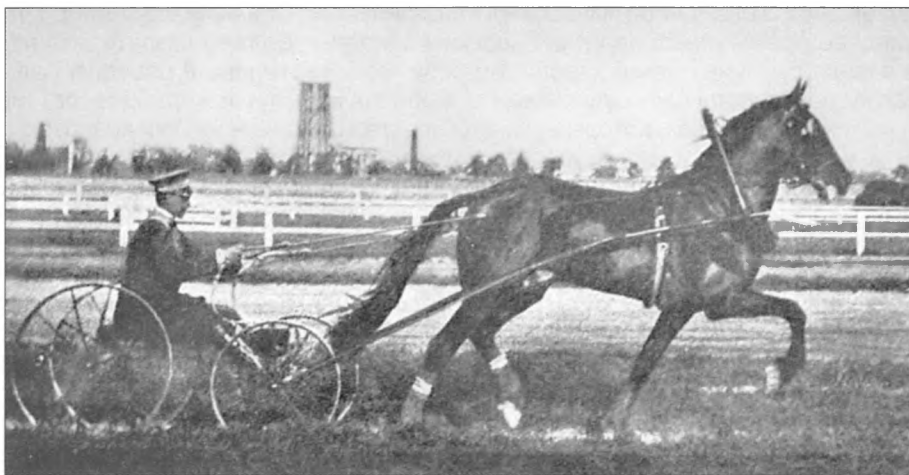
нято на ноги, чтобы провалить это начинание. Но Муралов снова встал на мою сторону, и мои враги, глухо рыча, попрятались по своим конурам, а Светлогорский завод продолжил свое существование, но уже в новом составе – во главе с Курским и Эльборусом, при наличии 20–25 лучших орловских кобыл. Ратомский примирился с этим и, надо отдать ему справедливость, содержал лошадей и вел работу молодежи превосходно... Прошло несколько лет. Светлогорский завод был уже расформирован, лучшие кобылы, попавшие оттуда в Хреновую, успели даже отправиться на тот свет, но питомцы Светлогорского завода по-прежнему блестяще бежали в Москве, напоминая всем о том заводе, в котором они родились. Тогда стали восхвалять Ратомского и превозносить его заслуги, приписав ему создание этих лошадей. О том, кто собрал этот завод, конечно, молчали!

Картинка родилась у Ю. Д. Куприяновой, родной сестры небезызвестного художника-портретиста лошадей А. Д. Чиркина. Я не знал лично ни Чиркина, ни его сестру, но много слышал о них от старика Сахновского и некоего Вишина, который в последнее время управлял куприяновским заводом. Должен сказать, что лошади этого завода были не только хороши по себе, но и картинны. Я объясняю это тем, что основатель завода был художником и, выбирая кобыл или жеребцов, останавливался на тех экземплярах, которые ласкали его глаз правильностью и красотой своих линий и удовлетворяли его вкус гармоничным их соединением. Художник в нем удачно сочетался с коннозаводчиком. Я любил и ценил куприяновскую лошадь, побывал в свое время на этом заводе, закупил даже двух превосходных по себе кобыл, а кроме того, арендовал четырех лучших маток завода, среди которых была феноменальная красавица Чудачка – лучшая по приплоду матка куприяновского завода. Куда девались такие кобылы, как Чудачка, воронцовская Княжна, моя Леда, дубровская Залётная, хреновские Лыска и Восточная, афанасьевская Победа, коноплинская Потеря, телегинская Молодость, лейхтенбергская Медаль, принадлежавшая мне Летунья, малютинская Зорька, Сирена и Громада? Их теперь не видно, и при том направлении, которое приняло современное нам коннозаводство, поглощенное тремя модными линиями, нам их уже не создать! Как это грустно и как это тяжело!.. Представляю себе ту мышиную возню, тот переполох, которые поднялись бы, воскресни эти кобылы. Я думаю, что все от изумления остолбенели бы, а затем Пейч объяснил бы всё наваждением и закончил бы докладом об очередном советском достижении Московского ипподрома... Что же касается меня, то когда в эти тяжелые месяцы и дни мне особенно грустно, я вспоминаю Княжну или Чудачку, Леду или Сирену, Молодость или Медаль и, мысленно уходя в прошлое, нахожу успокоение и вновь обретаю надежду, что возрождение орловской породы еще возможно, еще не все погибло и не все потеряно...

Картинка хотя и получила это название, но носила его, и, надеюсь, будет еще долго носить, не по праву. Именно картинного, чего так много было в куприяновских лошадях, в ней и не было. Картинка – кобыла крупная, с довольно большой головой, хорошей спиной, костистая и дельная, но несколько сырая и, если память мне не изменяет, слегка приподнятая на ногах и определенно простоватая. Что касается резвости Картинки, то, не будучи классной кобылой, она все же резва, в чем убеждают оба ее рекорда – 2.22 на полторы и 4.54 на три версты.

Отцом Картинки был жеребец Недотрог, который, кажется, жив и сейчас и от которого довольно успешно бежит в данное время дочь моей Литвы Лига (2.28). Как производитель Недотрог ничем особенным не выделялся, хотя сам и был довольно резв – 2.22. Его дети, впрочем, бежали, и резвейшей среди них определенно была Картинка. Недотрог принадлежал к линии Полкана 7-го, одного из сыновей Полкана 6-го, этого лучшего из производителей в казаковском заводе. К сожалению, никаких данных о формах и типе Полкана 7-го мы не имеем, но его сын Лебедь был портретирован для Сахновского Чиркиным. Этот портрет от Сахновского до-

стался Кнопу, а у него был приобретен мною. Ныне он находится в коннозаводском музее. Судя по портрету, Лебедь очень интересная лошадь, с некоторыми характерными чертами Полкана 6-го. Лебеда откопал в городе М. И. Бутович и купил его. В 1874 году Лебедь показал рекорд 5.24 – в то время ему было уже 13 лет. Показанная резвость (в дрожках) была выдающейся для того времени, и Сахновский купил Лебеда у М. И. Бутовича для завода Шibaева, где от этого жеребца и родился Лихач, впоследствии знаменитый производитель у Петрова-Соловова. Лихач дал, между прочим, в 1888 году светло-рыжего жеребчика Нарядного (2.24), который в дальнейшем успешно бежал в цветах Морозова и, поступив производителем к Куприяновой, оказался хорошим жеребцом. Получив кобылу Волну, дочь Машистого и Вороны, Нарядный дал Недотрога, который был оставлен производителем в куприяновском заводе и является отцом Картинки.



Машистый

Мать Картинки Краля родилась у Чиркина и была дочерью добрынинского жеребца Визапур. Если память мне не изменяет, этот Визапур принадлежал В. И. Богданову и успешно бежал в Санкт-Петербурге. По себе он был очень хорош. Богданов, который был завсегдаем у Феодосиева, очень мне хвалил своего жеребца. Впоследствии я купил фотографический портрет Визапур в дрожках на ходу, и, судя по этому портрету, Визапур был далеко не мелкой и правильной лошадейю темно-серой масти. Матерью Крали была знаменитая Красавица – знаменитая, так сказать, со всех сторон, ибо она была красавица по себе, высочайшей породы и дала Машистого, лучшую лошадь своего времени, к несчастью так преждевременно павшую. Портрет Красавицы был мною куплен у Куприянова и лучше всяких слов передает замечательные формы этой кобылы, которая по праву получила свое название. Те, кто желал бы посмотреть это портрет, могут обратиться в коннозаводской музей, где он сейчас и находится. Заговорив о Красавице, не могу не упомянуть, что Чиркин получил ее за написание портретов для герцога Лейхтенбергского, о чем мне рассказывал Сахновский. Красавица была дочерью Красивого-Молодца, отца Кряжа, и Пушки, кобылы из Кроликова дома. Это последнее обстоятельство недостаточно учитывалось генеалогами, когда они писали о Машистом, а между тем именно оно, по всей вероятности, сыграло решающую роль в классе Машистого. Сочетание Недотрог – Краля оказалось очень удачным, ибо дало не только резвую лошадь, но и замечательную заводскую матку.



Красавица – 2+4.

Таким образом, Картинка не только происходила из женской семьи Красавицы, которая ей приходилась родной бабкой, но и была инбридирована на нее, ибо сын Красавицы Машистый был с другой стороны прадедом Картинки. Укажу еще, что мать Волны, от которой родился Недотрог, была кобыла Ворона, дочь кожинского Пригожая, а наличие кожинских кровей в любой родословной – факт, который мною отмечается в обязательном порядке.

Заводская карьера Картинки в Светлых Горах сложилась блестяще. В 1921 году она уже имела приплод в Светлогорском заводе, куда пришла жеребой от Эльборуса. Впервые Картинка ожеребилась 11 лет от роду. Жеребенок был бурой масти и получил имя Казбека. Он оказался выдающимся рысаком и, имея рекорд 2.13, в течение ряда сезонов занимал одно из первых мест на Московском ипподроме среди своих орловских сверстников. К сожалению, Казбек, а я видел его года три тому назад, мелок и нехорош по себе. В следующем году от Эльборуса и Картинки родилась родная сестра Казбека, вороная Эскадра (1.30 верста в трехлетнем возрасте), кобыла очень высокого класса, преждевременно и не по своей вине закончившая свою призовую карьеру. По себе Эскадра была лучше брата, но имела малоудовлетворительную спину. Таким образом, сочетание Эльборус – Картинка оказалось очень удачным. Предпоследним жеребенком, родившимся у Картинки в Светлых Горах, был вороной Кровный (2.16) от Курска, а последним – гнедой Бурлак от Барина-Молодого. Вместе с этим своим приплодом Картинка перешла в МОЗО, где в 1925 году дала снова от Барина-Молодого гнедого Казуса. У меня нет данных о дальнейшем приплоде Картинки, но могу сказать утвердительно, что ничего классного по 1926 год включительно от нее в МОЗО получено не было.

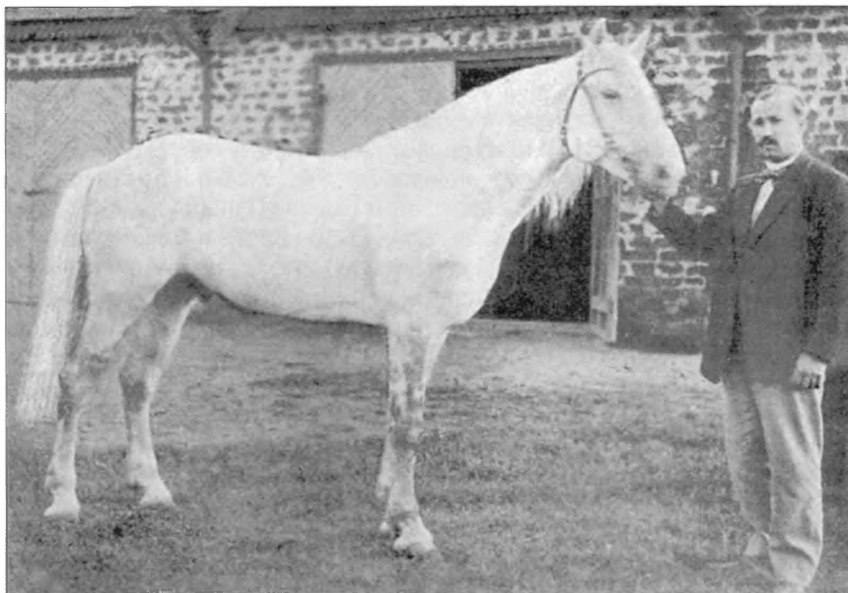
Две замечательные кобылы завода Фёдорова – Арека (1914 год, Барин-Молодой – Проталинка) и Последняя-Радость (1915 год, Ментик – Натуля Р.) – находились в Светлых Горах, так как первая принадлежала Э. Ф. Ратомскому, а вторая – его брату Леонарду.

Последняя-Радость была удивительной по себе кобылой: она приближалась к идеалу упряжной лошади, притом вышедшей из недр орловской породы. Леонард Ратомский в ней души не чаял и, показывая Радость, всегда восхищался ею и находил, что лучше кобылы в России нет. Последнее было, конечно, преувеличением, однако Последняя-Радость была действительно замечательной во всех отношениях лошадей. Она принадлежала к числу тех лошадей, которых можно охарактеризовать немногими словами и все же каждому будет ясна их сущность. Крупный рост, замечательная кость, длина при хорошей спине, ширина и необыкновенная глубина, несколько тяжелая голова с излишне развитым ганашем, серая в яблоках масть – такова была эта великолепная дочь Ментика. Она служила бы украшением в любом табуне, обратила бы на себя внимание в городе и на езде и, наконец, на ипподроме оказалась кобылой большой резвости, попавшей в класс лошадей 2.20 и резвее. Лично на мой вкус у Последней-Радости было излишне много «мясов», как говорят собачники, а эти «мяса» у кобылы в заводском теле имеют тенденцию округляться и смазывать формы.

Ратомский с большим успехом ездил на своей кобыле, и ее рекорд из числа тех, что были показаны уже после революции. Он тем значительнее, что ей пришлось

ехать по очень тяжелой и плохо отремонтированной дорожке. Я много раз видел Последнюю-Радость, так как одно время она стояла на прилепской конюшне, и мне всегда казалось, что эту кобылу следует случить с таким пылким, экстрасухим и породным жеребцом, каким был мой Кронпринц. Я и хотел взять ее в Прилепы, но в этом мне было отказано, и кобыла ушла в Хреновую.

Последняя-Радость была дочерью Ментика (4.53) завода Щёкиных, сына Леска и высокопородной Ментички. Стало быть, она принадлежала к модной линии Леска. Среди всех сыновей этого прославленного жеребца Ментик оказался единственным, кто получил премию за красоту и правильность форм в Императорском призе. Мать Последней-Радости, вороная кобыла Натуля Р., происходила из семьи Варвара-Железного, отца Вармика, так что ее родословная не нуждается в длительных комментариях. И все же следует сказать, что Натуля Р. была дочерью Кремня (Вар-



Варвар-Железный завода Н. И. Родзевича

вар-Железный – Бирюза), прославившегося в качестве производителя в Дубровском заводе, и знаменитой Милушки, одной из резвейших кобыл своего времени. Таким образом, Последняя-Радость стала продуктом встречи, и притом чрезвычайно удачным, двух модных линий, Леска и Варвара-Железного. Натуля Р. была замечательная во всех отношениях кобыла. Имея рекорд 2.19, будучи полусестрой Барина-Молодого, она принадлежала к исторической женской семье. По себе Натуля Р. вышла тоже чрезвычайно хороша: вороная без отмет, крупная, густая, фризистая, несколько сырая, с превосходной спиной и замечательными окороками, очень широкая и дельная, с пышным хвостом, она совершенно не напоминала по форме и типу лошадей Родзевича и была очень близка к лошадям Лейхтенбергского. Таких кобыл, как Натуля Р., я не одну видывал в ивановском табуне. Своими формами и типом она была, несомненно, обязана своему деду, вороному Кремню завода Лейхтенбергского, сыну Красивого-Молодца и знаменитой Метелицы.

Долго раздумывал Леонард Ратомский, кем покрыть свою любимицу, которая, закончив призовую карьеру, должна была поступить в завод. Я предлагал ему послать кобылу под Кронпринца. С моими доводами, что при некоторой тупова-

тости Последней-Радости ей надо дать сухого, энергичного и породного жеребца и что Кронпринц отвечает этим требованиям, Л. Ф. Ратомский согласился, но этому воспротивился Эдуард Ратомский. Он хотел взять Радость в Светлые Горы и покрыть с Барином-Молодым. Однако он очень считался с братом, уважал и не хотел открыто идти против него, а потому поехал в отдел коннозаводства, переговорил с кем следует, после чего было получено распоряжение покрыть Последнюю-Радость Барином-Молодым, а вскоре после этого кобылу взяли в Хреновую. Результатом этой случки стала родившаяся в 1924 году вороная кобыла Былая-Мечта.

Сочетание Барин-Молодой – Последняя-Радость представлялось в следующем виде:

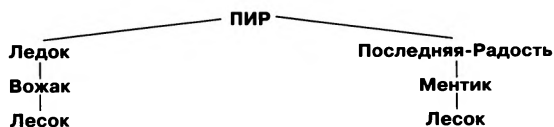


Варвар-Железный – 3+4; Волна – 3+5; Милушка – 2+3.



Я. И. Бутович с гостем в галерее дома в Прилепах

В 1924 году уже в Хреновском заводе Последняя-Радость была покрыта внуком Леска, знаменитым Ледком (2.11). Вновь делалась ставка на усиление одной из модных линий.



Лесок – 3+3.

Здесь мы имеем чистый инбридинг на родоначальника линии, без сопровождения его другими родственными инбридингами. Несмотря на то что инбридинг был сделан через одного из лучших сыновей Леска, Ментика, а с другой стороны – через Ледка, резвейшего внука Леска, результат получился плачевный, ибо Пир даже не появился на ипподроме...

В 1925 году Последняя-Радость пала в Хреновском заводе, и это стало большим ударом для орловского коннозаводства. То были годы, когда в Хреновой одна за другой сошли в могилу лучшие орловские кобылы, ибо Пуксинг не смог в тот период установить в заводе твердый порядок. Его ошибка заключается в том, что он слишком рано собрал в Хреновую знаменитых кобыл и не сумел создать для них нормальных условий существования.

В 21-й камере мы пробыли недолго, всего какие-нибудь две недели, и были вновь водворены на историческую «десятку». Не хотелось покидать отчасти обсушенную и сколько можно приведенную в порядок камеру, хотя жить в ней было очень тяжело, половина из нас здесь переболела и та же участь ожидала остальных. Особенно ужасна была духота и вонь в этой камере, дышать было совершенно нечем. Тем не менее, когда нам объявили, чтобы мы собирались, всех охватило волнение: жаль было покидать уже, казалось, насиженное место. Так привязчив бывает человек к своему углу, даже к такому, как угол в камере... Невообразимый начался в камере шум и гам: все засуетились, по русской привычке подняли крик, стали связывать свои узлы и собирать в котомки мелкое барахло. В это время камера напомнила мне помещение третьего класса на большом вокзале перед приходом поезда... Наконец нас разбили на группы по шесть человек и затем отвели на «десятку», разместив по старым камерам. Я опять попал в первую камеру и занял угол, где прожил почти три месяца. На «десятке», оказывается, делали ремонт: перекладывали печи. Работа как раз совпала с теми страшными морозами, которые установились по всей стране, а так как «десятку» две недели не топили, то все здесь отсырело, стены покрылись плесенью и холод стоял страшный. Опять начались наши мучения из-за холода и сырости, и это продолжалось дней десять, пока мы не отогрели помещение собственным дыханием и оно не подсохло. Надо правду сказать, что этому много помогла печь, которая больше не дымила и хорошо грела. После шума и гама, которые царили в 21-й камере, как-то странно было очутиться на «десятке», где в мертвой тишине лишь раздавался звон ключей в руках дежурного да его гулкие шаги по пустынному коридору. Столь же угнетающе действовал на психику после светлой камеры, в которой мы находились, царящий здесь полумрак: глаза с трудом привыкали к нему, и каждый из нас чувствовал себя еще более прижатным и подавленным. Тихо было на «десятке», как в могиле, и грустно, монотонно тянулась наша жизнь...

Единственным удобством пребывания здесь являлось то, что в камерах находилось по шесть человек, а в нашей, первой, как самой маленькой, даже пять, так что не было шума и имелась полная возможность работать, то есть читать и писать. Теперь этого преимущества «десятки» больше не существует. Тула, вернее, ее кооперативы охвачены эпидемией растрат. Власти, конечно, с этим борются, ревизии следуют за ревизиями, аресты за арестами, и растратчики попадают в тюрьму. Вчера привели тринадцать человек из магазина Тулторга, начиная от заведующего и кончая кучером; сегодня пришли приказчики и заведующие из ЦРК, отдельных его магазинов и т. д. Тюрьма опять переполнена, в камерах буквально яблоку негде упасть, а потому «уплотнили» и нашу «десятку». В моей камере (одиночка) сейчас восемь человек! Опять духота, вонь, теснота, споры обиженных и обездоленных судьбою людей. Все они следственные, а потому целый день только и говорят что о своем деле, и голова от этих однообразных и надоевших разговоров трещит еще

больше, чем от физических лишений. Теперь мы уже и не пытаемся протестовать, вызывать доктора, указывать на антисанитарные условия, ибо хорошо знаем, что все это не только бесполезно, но еще и усугубит наше бедственное существование. Писать в этой обстановке невозможно. Тем не менее я каждый день открываю очередную тетрадку и с величайшим напряжением всех сил пишу часа два или три, иначе без дела, сидя весь день в этой клетке, я, конечно, сошел бы с ума. В этих своих писаниях я нахожу здесь единственное утешение, но само собою понятно, что это не литература, не творчество, это тяжелый труд, и с этим должны считаться те, кто будет читать мою работу. Пусть не ищут они красоты и красочности слова, метких характеристик, свободной речи и глубины мысли и пусть помнят, как и в какой обстановке пишутся эти строки. Пусть также вспомнят о том настроении, том состоянии духа и самочувствии, которые налицо у всех заключенных – этих глубоко несчастных, всеми забытых, отверженных, униженных и пришибленных судьбою людей...

На протяжении каких-нибудь двух месяцев мне уже не в первый раз приходится писать о смерти знакомого или близкого человека. Уходит старая Россия! Каждая такая смерть и меня приближает к могиле, напоминая о том, что я уже старик или почти что старик, недаром же здесь все называют меня дедушкой (правда, я так поседел и постарел за этот год, что мои знакомые едва ли узнают меня). Каких-нибудь полтора месяца тому назад я узнал о смерти Э. Ф. Ратомского, а сегодня получил известие, что умерла Дарья Михайловна Кноп, жена моего старого друга Карпа Карповича Кнопа. Дарья Михайловна долго болела, так что смерть ее не явилась для меня неожиданной. Я знал о ее безнадежном положении, знал, что дни ее сочтены, и все-таки ее смерть, как всякая смерть, взволновала меня и заставила еще раз призадуматься над тщетностью всего земного. Любила Дарья Михайловна, волновалась, копила, сердилась, радовалась – словом, жила, а теперь ее уже нет среди нас и никто не заменит ее в сердце мужа и в памяти друзей. Старые привязанности – самые сильные привязанности, и одной из таких была связь, существовавшая между супругами Кноп. Эта смерть оставляет ее мужа одиноким, ибо между ним и сыном нет никакой близости и решительно ничего общего. Дочь и первая жена, с которой Кноп так решительно порвал, живут за границей, детей от второй жены у него не было, и вот, остался он на старости лет бобылем! Бедный Капочка, так любивший домашний уют жену-хозяйку за самоваром, порядок в доме, хороший и простой обед, отдых за совместным чтением книжки, он теперь одинок и, быть может, когда я пишу эти строки, горюет, тоскует и думает о том, что больше никогда не вернутся счастливые годы такой спокойной, такой спелой и интересно прожитой жизни...

Я узнал о смерти Дарьи Михайловны из открытого письма, отправленного Кнопом из Москвы 21 февраля. Вот что он пишет: «В субботу, в шесть часов утра, моя больная страдальца тихо скончалась в полном сознании, но уже без языка и с парализованными зрением, руками и ногами. Слава Богу, что она избавилась и так тихо скончалась, так как доктора предполагали, что она может промучиться еще с месяц. Во вторник мы ее проводили на вечный покой. Кроме близких в храме были Оскар Эдуардович и Владимир Оскарович Витты, Лидия Ивановна, ее сестра, А. В. Апушкин с женой; последние три лица были и на кладбище. Когда пришла твоя последняя открытка, меня до глубины души опечалившая, я ее прочитал Дарье Михайловне, и она просила меня тебе передать привет и сказать, как искренно она тебя жалеет и тебе сочувствует. Она в возможность своей кончины совершенно не верила и, почти лишенная возможности говорить, во все входила и хотела всем распоряжаться. Ужасно тоска и одиночество меня давят!»

Хорошая была женщина Дарья Михайловна, и я ее не только любил, но и уважал. Познакомился я с ней давно. Это было в Москве, после того как Кноп разошелся

с первой женой. Я должен был у него пить чай и провести вечер. Отношения у нас были хорошие, но еще не дружеские, нас связывала только общая любовь к лошади, и главным образом к генеалогии и портрету. Позднее на этой почве наши отношения окрепли и мы стали друзьями. За самоваром сидела довольно полная, с роскошным бюстом, очень красивая женщина, мелодичный тембр голоса которой привлек мое внимание. Она разливала чай неторопливо, и хотя наружно была совершенно спокойна, но подергивавшаяся жилка у глаза выдавала ее внутреннее волнение. Кнопу тоже было не по себе, он явно волновался: Дарья Михайловна осторожно вводилась в его семейную жизнь, он знакомил ее со своими друзьями в семейной обстановке вечернего чая, и было ясно, что это близкая ему женщина и что вскоре она займет место хозяйки дома. То впечатление, которое она произведет на его друзей, было важно для Кнопа. Дарья Михайловна – русая, крупная женщина, с маленькими руками и красивой ножкой, с поразительно приятным, мелодичным голосом и тонкими чертами лица – была настоящей русской красавицей. Боярская кичка и сарафан были бы ей очень к лицу, и, глядя на нее, я часто вспоминал знаменитую картину Маковского, где по реке в лодке плывут боярышни: вот лодка остановилась в заводях, одни боярышни плетут венки, другие пускают их на воду, а в центре лодки во весь рост вытянулась голубоглазая русская красавица, рукою она стремится схватить цветы, которые вьются по дереву и свисают к реке... Так вот Дарья Михайловна напоминала мне эту боярышню Маковского, которую, как говорили, художник писал со своей жены, известной красавицы того времени. Держала себя Дарья Михайловна просто, говорила спокойно, не умничала и все время была настороже. Владела она собою прекрасно. Она не была образованна, но, несомненно, обладала большим природным умом и природным тактом, это и помогло ей держать себя умело и с достоинством в таком обществе, куда она едва ли когда-либо думала попасть.

Дарья Михайловна была простая женщина. Родилась она на Волге, в Саратовской губернии, и подростком была взята в Санкт-Петербург к дяде. Тут ей посчастливилось в том отношении, что она попала в услужение в хороший дом, а именно к Кнопам, которые жили тогда на Васильевском острове. Это были добрейшие люди, а мамаша Капочки славилась тем, что была знаменитой хозяйкой. Дарья Михайловна ей понравилась, стала ее выученицей, а потом и правой рукой в доме. Там она и прожила до смерти старика Кнопа и вместе с мамашей – так звал Кноп свою мать – переехала в Москву. Таким образом, Карп Карпович познакомился со своей будущей женой еще в юношеских годах. Несомненно, что уже тогда началось их сближение, вскоре перешедшее в более серьезное чувство. За ним последовала любовь и желание жениться. Это известие было встречено в семье недоброжелательно, мамаша Кнопа прямо заявила, что этому браку, покуда она жива, не бывать (при этом, как умная женщина, она еще более приблизила к себе Дарью Михайловну). Я считаю, что отъезд Кнопа на полтора года для учения в Англию был следствием именно этого романа, но пребывание за границей не принесло ему пользы в этом отношении, и он вернулся столь же, если не более, влюбленным в свою Дарью Михайловну, которую по-прежнему застал в родительском доме, возле мамашы. О женитьбе нечего было и думать, и молодой Кноп уезжает в Москву, здесь быстро выдвигается, делает карьеру и женится, тоже на красавице – дочери Ферстера. Я не столько думаю, сколько чувствую, что Кноп не переставал любить Дарью Михайловну, а потому брак его с Ферстер не был удачным и закончился разводом. В это время мамаша и Дарья Михайловна уже жили в Москве. Кноп стал постепенно вводить Дарью Михайловну в круг своих друзей, но делал это исподволь, осторожно. Увидев ее впервые, я ошибся лишь в том, что счел ее за будущую хозяйку в самом скором времени, она, однако же, стала таковой чуть ли не через десять лет после нашего знакомства, ибо Кноп сдержал слово и женился на ней только после смерти своей матери. Тогда-то мы все, друзья и знакомые Капочки, увидели Дарью Михайловну

уже в роли его жены и полноправной хозяйки его дома. Она была все так же мила, сердечна и тактична и, что главное, держала себя с большим достоинством.

Вот краткий контур жизни этой интересной женщины, которая недавно покинула нас навсегда. Самым замечательным в ее жизни была преданность и любовь к одному человеку, Кнопу. Если бы Дарья Михайловна дожила до марта месяца, то минуло бы сорок лет со дня первой их встречи. В продолжение этих долгих сорока лет, за исключением полутора лет, проведенных Капочкой в Англии, они почти постоянно виделись. В декабре прошлого года минул двадцать один год, что они были женаты. Дарья Михайловна серьезно заболела уже после моего ареста. Правда, она хворала и ранее, но ее сильный организм боролся с болезнью, и она имела вид здоровой женщины. Вот почему я был очень удивлен и огорчен, когда впервые из письма ее мужа, в октябре прошлого года, узнал о ее болезни и о том, что надежды на выздоровление нет никакой. Тяжело одиночество вообще, а в переживаемые нами годы в особенности, вот почему, скорбя о смерти добрейшей Дарьи Михайловны, я вместе с тем жалею и моего друга Капочку, который потерял не только жену, не только верного друга, но и человека, который охранял, опекал и оберегал его. Для Кнопа это не только тяжелая, но и незаменимая потеря! А для нас, его друзей, тяжелая утрата.

24 февраля 1928 года – 24 февраля 1929 года. Это историческая дата в моей жизни: в ночь с 23 на 24 февраля 1928 года я был арестован и вот ровно год, как я нахожусь в тюремном заключении. Поймет мои страдания только тот, кого, как и меня, постиг в жизни такой же удар. И никто не скажет, что ждет меня еще впереди!..



ЖИВОЙ ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ

Орловская рысистая порода – это живой памятник культуры. Он создан трудом многих поколений талантливых русских людей различных сословий. Впервые в мировой практике они блестяще решили поставленную перед ними задачу создания универсальной быстроаллюрной лошади – рысака – как породы.

Резвая рысь, мах, не является природным аллюром лошади, таким как галоп, иноходь, трот, а встречается у отдельных особей. Орловский рысак был создан гением русского человека, причем такими методами скрещивания, кормления, содержания, воспитания, тренинга, испытаний каждой особи, которые в дальнейшем использовались не только в коневодстве, но во всей мировой зоотехнии при выведении многих культурных пород. Это не только национальное достояние России, но и непреходящая мировая ценность.

В мире существуют три рысистые культурные породы лошадей: орловская, американская и французская. Орловская порода – единственная в мире культурная порода животных, носящая имя своего создателя – графа Алексея Григорьевича Орлова. Он создал также верховую породу уникальных лошадей, орловских быстрокрылых почтовых голубей, орловских бойцовых гусей, орловских канареек с особым напевом. Сам он был силачом, разносторонним спортсменом, любителем кулачных боев, конных «каруселей», испытаний верховых и рысистых лошадей, владельцем лучших свор борзых и гончих собак. Помимо всего этого Алексей Григорьевич был крупным государственным деятелем своего времени и талантливым военачальником. Чего стоит один только факт победы русского флота под командованием кавалерийского генерала Орлова в Чесменской битве, во внутренних водах Османской империи, столетиями, до 1770 года, господствовавшей в Средиземном море! Имя А. Г. Орлова-Чесменского звучало после этого наравне с именами А. В. Суворова, М. И. Кутузова, П. А. Румянцева.

И все же как памятник культуры народа орловский рысак создан не только гениальностью своего творца. Орловец в живой плоти несет в себе и наследует множество оттенков труда талантливых русских людей. Это был труд творческий, в который люди вкладывали душу. Из поколения в поколение разные особенности наследственно закреплялись в фенотипе орловца – через общение, биотоки, ауру, биополе... И расположение конезаводов в различных климатических зонах тоже имело значение. Лишь среди орловских рысаков существуют внутривидовые эколого-заводские типы, обусловленные фенотипом лошади, сложившимся не только при определенных условиях содержания и среды, но и, в известной степени, благодаря характеру народа, там проживающего. Можно назвать эти места и народы: Хреновской и Новотомниковский заводы (средняя полоса России – великороссы), Дубровский и Запорожский заводы (Украина – украинцы), Пермский и Шадринский заводы (Урал – уральцы), Алтайский и Кемеровский заводы (Сибирь – сибиряки).

Благодаря этим людям орловская порода рысаков продолжает жить на нашей земле. Она остается ее украшением и славой, что хорошо понимал Яков Иванович Бутович. Недаром он называл орловцев «лошади моей души». И будь он жив сегодня, добивался бы, как добиваемся мы, для орловской рысистой породы статуса национального достояния страны.

*Андрей Соколов, главный зоотехник по коневодству
ФГУП «Пермский племяконзавод № 9»,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ*

СОДЕРЖАНИЕ

От издателей	5
<i>Е. Гусяров. Лошади души моей</i>	7
1912 год. Петербург	9
1913 год. Прилепы	35
1914 год. Начало войны	43
1915 год. Сибирь	59
1915–1916 годы. Полтавская губерния	75
1916 год. Кирсанов. Архангельск. Вологда	114
1916–1917 годы. Орёл. Москва	125
Тульская тюрьма	167
<i>А. Соколов. Живой памятник культуры</i>	494

Яков Иванович Бутович
ЛОШАДИ МОЕЙ ДУШИ
ВОСПОМИНАНИЯ КОННОЗАВОДЧИКА
часть вторая

Расшифровка рукописи, подбор архивных фотоматериалов – С. Бородулин
Редакторы – Н. Гашева, К. Гашева
Художественный редактор – С. Можаяева
Компьютерная верстка – Ф. Назаров
Корректор – Т. Ускова

На обложке – жеребец Пермского конного завода № 9 Колорит (Иппик – Купавка), семикратный чемпион орловской породы по типу и экстерьеру, рекордист по количеству выигранных традиционных призов в Москве (25) и по сумме выигранных «призовых», единственный орловец, трижды выигравший приз Пиона. Входит в десятку лучших орловцев XX века. По прямой мужской линии восходит к Ловчему завода Я. И. Бутовича.

Подписано в печать 01.12.2008. Формат 70×100¹/₁₆.
Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 39,0; вкл. Тираж 1000 экз. Заказ № 3252.

Издательство «Книжный мир»
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34,
тел. 220-01-70.

Отпечатано в ОАО «ИПК «Звезда»
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

ББК 93

Я. И. Бутович «Лошади моей души»
Издательство «Книжный мир»



КНИЖНЫЙ
МИР
2008